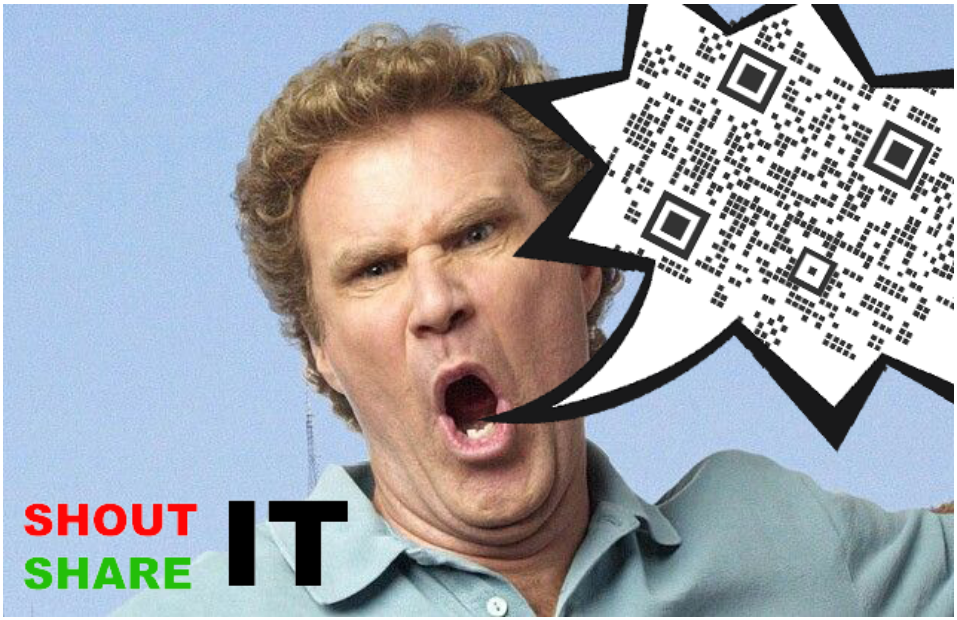
НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ



ДЕТИ ВОЙНЫ

В оккупации, в эвакуации, в плену,
в партизанских отрядах, в блокаду...


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень разные – как и люди, которые их писали. Но ни одно из них не оставит равнодушным, потому что за каждым – личная трагедия, история спасения на фоне страшного военного времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас примером. Примером мужества, стойкости и силы духа.

Писатель Андрей Кивинов

- Дети войны. Народная книга памяти
  -
  - Предисловие
  - Мы – дети войны
  - Дети блокады
    - Блокада Ленинграда
    - В ленинграде я понял, что такое судьба
    - Талант изобретательства
    - Голубое небо вдруг стало черным
    - Страшнее всего была мысль, что мама погибла!
    - Мы с мамой выжили, потеряв всех родных
    - Один день блокады
    - Без вины виноватые
    - Как мы с мамой спасали отчий дом
    - Маленькая история большой войны
    - Воспоминания блокадного мальчишки
    - …Всё должно стать лучше!
    - По дороге жизни
    - Умирали прямо на ходу
    - Весна сорок второго
    - Давайте съедим все, а то убьют – еда останется
    - Мама закрывала меня своим телом
    - Красное и белое
    - Привычка делить все поровну
    - Школа в бомбоубежище
    - Я прикладывала к животу кусочек хлеба и говорила: «мало!»
    - Стойкий оловянный солдатик
  - Дети в тылу и эвакуации
    - Эвакуация и тыл
    - Временное пристанище
    - Дети войны своих не сдают
    - Хождение по мукам

- Хлеб замерзал: его грели на кострах и рубили топорами
- Помню, как из самолета вытягивали окровавленного летчика
- Мы резали картошку монетками, «клеили» к раскалённой «буржуйке»
- Мир моего детства в годы войны и послевоенной разрухи
- Мечтала о булке с маслом…
- Две недели растянулись на четыре года
- Малый ломтик большой войны
- Как бомбили Москву
- Про мой портфель
- Глазами ребенка
- Неназванное
- В тылу тоже был фронт
- Все мои военные воспоминания связаны с мамой
- Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой
- Дети не притронулись к подарку от немцев
- Нас, ребятишек, было много, потихоньку мы умирали
- На работу выводили под конвоем
- Местные жители называли нас «выковырянными»

○ Дети в оккупации

-
- Жизнь на оккупированных территориях
- Я думал, что отец привезет нам с войны новую игрушку
- Сила десятины
- Стасика положили рядом с папой в окопе
- Все еще можно увидеть
- Мы собирали урожай, чтобы ни крохи не досталось врагу
- Больше отца никто не видел
- За каждое разоренное воронье гнездо полагалось вознаграждение
- Жалеть нас было некому и некогда
- Ужас вселился в нас, и мы сразу стали взрослыми
- И чудо случилось!
- Мы жили за счет табака
- Из-за немцев я пострадала, и немцы же мне

помогли
- Летчик открыл по мне пулеметный огонь
- Наши солдаты часто отдавали нам свои пайки: чай, крупу, сахар
- Картошку мы ели только мелкую, крупную всю продавали
- Я шла домой и плясала от радости
- Мы думали, что карточки вводят ненадолго
- От тифа нас лечили наши солдаты

○ Дети в плену
- Дети – остарбайтеры
- Вход в крематорий был похож на звериную нору
- Хозяйка-литовка выкупила меня у немцев за бутылку водки
- Алюминиевая ложка с «обратным адресом»
- Мама жила вместе со свиньями
- Немцы сбрасывали в колодцы мертвых детей
- Лагерь щерлон никогда не забудется
- Над нами проводили опыты
- У сталина не было пленных, а все были предатели
- Вспоминать это страшно
- Мы старались выбрасывать взрывные капсюли
- Меня должны были сжечь в крематории!
- Страх остался на всю жизнь
- Нас спас немецкий полицейский
- После концлагеря всю жизнь боюсь собак
- Немец-истопник вывел нас в лес
- Нас били за малейшую провинность
- В Австрии я встретила русских подпольщиков
- Дорогой смерти
- Взрослые накрывали нас, детей, своими телами
- Вонь гнилой брюквы преследует меня до сих пор
- Мое существование нигде не было зафиксировано
- Пыль въедалась в кожу
- Годовщину октября мы отмечали забастовкой

○ Дети в партизанских отрядах
- Дети в партизанских отрядах
- Пулемет мне вручили за смелость
- Мы двумя минами взорвали эшелон
- В праздники старались преподнести фрицам какой-нибудь сюрприз
- Мы помогали спасти военнопленного

- Старосты в деревнях помогали и партизанам, и немцам
- Мне было интересно у партизан
- Я помогала пленным солдатам пробраться к партизанам
- Партизанский парад победы
- Разуваться в партизанском отряде было запрещено
- Все деревни сдавали партизанам продналог
- Лесная школа
- Имеешь оружие – в отряд зачисляют, Нет оружия – добывай
- Летчик горел заживо, спасая нас
- Мы собирали лечебные травы
- Мне удалось спасти сестру
- Мы наградили фрицев березовыми крестами
- Немецкий приспешник расстреливал меня в грудь
- Как я стал народным мстителем
- Фашисты трижды имитировали мою смерть
- Нас повезли в сторону оврага. у меня мелькнула мысль: «на расстрел!»

○ Дети полка
- Дети полка
- У меня было оружие – сабля и дамский пистолетик
- Я разрубил свои лыжи, чтобы не отдавать их немцам
- Одна связка гранат на двоих
- Родительский дом был сожжен на Курской дуге
- Прошел 20 000 морских миль
- В тринадцать получил свою первую медаль «За отвагу»
- Фашистские пираты обстреливали теплоход, не щадя ни детей, ни женщин
- Приписал себе годы и отправился на фронт
- Еще на фронте я решил: «если не убьют – буду артистом»
- Я спасла шестерых раненых солдат
- Защищал небо Москвы
- В семнадцать командовал взводом
- Хирурги не выходили из операционной сутками
- Лошадь ласточка спасла мне жизнь
- Я лежал, а немцы стояли с поднятыми руками

- Майор относился ко мне как к сыну
- Я подбил вражеский самолет
- Саперам смерть в глаза дышит
- Я твердо решил: «погибну, но в плен не пойду»
- Боевое крещение в четырнадцать лет
- Девушка, подбившая танк
- Москвичи в бескозырках на деле доказали, чего они стоят
- На переднем крае
- В двенадцать лет я сбежал на фронт
- До сих пор могу принять на слух радиограмму
- От связного остались только пилотка и ботинок
- Я был самым младшим во взводе

○ Дети Севастополя
- Оборона Севастополя
- Мы выжили благодаря маме
- Без надежды на спасение
- Никогда не забуду, как освобождали Севастополь
- Из-за фашистов мамина сестра сошла с ума
- Немецкие конвои не жалели патронов
- Меня звали работать в цирке, но мама не отпустила
- Севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных…
- Мы выстирали пять тонн окровавленного белья
- Не пойти в школу считалось трусостью
- На наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов
- Все восемь месяцев осады я учила стихи
- Немцы сбрасывали рельсы с самолетов
- Мы мылись золой…
- В ту ночь моя мама полностью поседела
- Из-за нехватки воды умывались шампанским
- Родители не верили, что Севастополь сдадут
- Мы готовили манную кашу на шампанском
- Я помню, как немцы уничтожали евреев в Севастополе
- Я помню, как летели фашистские самолеты бомбить Севастополь
- Соседи украли наши вещи
- Отец вошел в город с первой автоколонной
- Мою сестру расстреляли как подпольщицу
- Снайпер убил моего одноклассника

        - Утром отец ушел на завод, и больше я его не видел до конца войны
        - Хотели нас расстрелять, но за нас вступился немец
        - Мы старались помогать армии по мере сил
        - Воду добывали под сплошной бомбёжкой
        - Вербовщики предлагали поехать в сша, но я вернулась в родной Севастополь
        - Мама в 27 лет осталась одна с тремя детьми
        - На мою маму написали донос
        - Мы были живым щитом
    - Иллюстрации к книге
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 27
    - 28

Дети войны. Народная книга памяти

Автор идеи и составитель *Виктория Шервуд*
Руководитель проекта «Народная книга» *Владимир Чернец*
Редактор проекта «Книги моей жизни» *Татьяна Майорова*
Ведущий редактор *Виктория Пименова*
Художественный редактор *Юлия Межова*
Технический редактор *Валентина Беляева*
Компьютерная верстка *Ольги Савельевой*
Корректор *Валентина Леснова*

Дизайн обложки: *Юлия Межова*
Макет подготовлен редакцией АСТРЕЛЬ СПб
Фото на вклейку предоставлены информационным агентством ТАСС

Создатели сборника благодарят за помощь в подготовке материалов:

Казарина Павла Владимировича,
Национальное Представительство МТРК «Мир» в Республике Беларусь в лице Директора *Перцова Владимира Борисовича,*
Глотову Ирину Васильевну (глава ветеранской организации «Жители осажденного Севастополя 1941–1942 гг.»),
Кириенко-Гудкевич Ираиду Ивановну (председатель севастопольского общества узников немецких концлагерей),
Ходыреву Лидию Петровну (председатель Крымского Союза узников – жертв нацизма),
Кадацкую Евгению Михайловну (глава евпаторийской организации Союза узников – жертв нацизма),
Сотрудников Дмитровской центральной библиотеки (Московская область), заведующую *Николаичеву И. П, Тутенко Веронику,*
Васильеву Светлану, главного редактора газеты «Полезно для пенсионера»,
Татаренкову Людмилу,
Холтобина Александра,
Холтобину Анастасию,
Холтобину Ларису, заведующую Курским военно-историческим музеем «Юные защитники Родины»,
Майорову Татьяну,
Чертинова Владлена, главного редактора еженедельника «„МК“ в Питере», *Андрееву Алину,* ученицу школы № 2 города

Яхромы,

Симоняна Аревика и *Савченко Маргариту*, город Дмитров,

Сайкову Инну, Нижний Новгород,

Романовскую Ларису, Москва,

Алексееву Наталью,

Макаряна Арнольда,

Геддис Елену, директора русской школы «Первая русская школа Белфаста»,

Остропицкого Виталия, Иженякову Ольгу,

Давыденко Сергея,

Гриву Татьяну Анатольевну, Курск,

Сергееву Людмилу Васильевну, Курск,

Худякову Зою Яковлевну, Курск,

Боеву Наталию Николаевну, Курск,

Бессчастных Юлию Сергеевну, Курск,

Быкову Татьяну Георгиевну, Курск,

Музалеву Ксению Александровну, Курск,

Маркову Марину Владимировну, Курск,

Худякову Олесю Юрьевну, Курск,

Малееву Александру Николаевну,

А. Чикина, Севастополь,

О. Руденко, Севастополь,

Левчук Александра, Брест,

Матюшкину Екатерину,

Пилецкую Анну,

Павлович Галину Викторовну,

Немтырева Михаила Васильевича,

Солдатова Геннадия Васильевича

Предисловие

Идея создания этого сборника возникла под впечатлением воспоминаний моих отца и тестя о Великой Отечественной войне. Лет до десяти у папы, да и большинства его друзей, была одна мечта – когда-нибудь досыта поесть. Он родился в деревне Сухлово Псковской области. Когда началась война, ему было всего пять. В семь остался круглым сиротой. Оккупация, жизнь в землянке, голод, пули и снаряды, смерть близких… Я ни разу не видел, чтобы отец плакал. Даже на самых траурных мероприятиях. Он как-то сказал, что все слезы остались в детстве…

Я никогда не видел своих дедов. Оба погибли совсем молодыми. Только пять лет назад удалось найти могилу одного из них – маминого отца. Он бился в ополчении, брошенном против элитных немецких частей. До недавнего времени числился пропавшим без вести. Бабушка искала его до самой смерти, надеялась, что жив, что просто потерял память после ранения… Но, увы, умерла, так и не узнав, где его могила. В войну она осталась с шестью детьми на руках, двое младших умерли с голоду. По старшинству мама была четвертой… Выжила. Сразу после войны, чтобы прокормиться, перебрались из Мурманска в Ленинград, где бабушка смогла получить работу. Мама отца умерла в тридцать, там, в Сухлово, от тяжелейшей ангины, перенеся перед этим тиф.

Тесть всю блокаду провел в Ленинграде, чудом выжил вместе с матерью. То, что он рассказывает, нельзя слушать без комка в горле.

Судьбы этих родных людей, такие разные и такие значительные для нас, натолкнули на мысль – собрать воспоминания тех, кто во время войны был ребенком, чье детство пришлось на страшные годы. Ведь то, что пережили люди старшего поколения, забывать нельзя. И не только потому, что история, говорят, повторяется. Не дай Бог таких повторений. Но наши внуки должны знать. Особенно сейчас.

Воспоминания, собранные в этом сборнике, очень разные – как и люди, которые их писали. Но не одно из них не оставит равнодушным, потому что за каждым – личная трагедия, история спасения на фоне страшного военного времени. Эти люди выжили. И во многом стали для нас примером. Примером мужества, стойкости и силы духа.

Андрей Кивинов

Дорогие друзья!

Удивительная штука – память детей. Они видят и помнят то, что не видят взрослые. И наоборот, дети забывают все то, что врезалось в память взрослых навсегда. И это, наверное, к счастью. В этой книге слепки памяти тех, у кого не было Детства. У них вместо него была Война. Если вглядеться в их фотографии, то поражает, какие у них недетские глаза. Это они помогали партизанам и подпольщикам, тушили «зажигалки» на крышах блокадного Ленинграда и участвовали в обороне Севастополя, работали в тылу и сумели выжить на оккупированных территориях. У каждого из авторов нашей книги была своя Война. И своя история войны. Эта книга – попытка собрать воспоминания детей Войны. Чтобы помнили мы.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Радик Батыршин

Известный философ утверждал: в этом мире главное – не стремиться к удовольствиям, а стараться избежать страданий. Избежать страданий они не могли – обстоятельства оказались намного сильней. Но они смогли пройти через горнило этих страданий с достоинством и выйти из них победителями. Победив в своей войне.

Испытания, которые выпали на их долю, под силу далеко не каждому взрослому. Война украла у них детство, она же стала их главным воспитателем. И в преддверии Великой Победы нам хочется дать им слово. Чтобы пройти вместе с ними этот путь, склоняя головы перед подвигом стойкости и мужества. Чтобы помнить!

От составителя

Мы – дети войны

Страшные военные годы уходят в века, в историю, в безвестность. Как ни печально, но надо признать тот факт, что новое, подрастающее поколение не знает фактически ничего о прошедшей войне. И что особенно грустно – не особо стремится узнать. Кроме того, в наших СМИ редко встретишь правдивое описание или изображение тех военных лет. А если учесть, что мы – старшее поколение 30-х годов XX века – сотнями, тысячами покидаем этот свет и все уносим с собой, становится до глубины души обидно, что скоро люди будут так же мало знать о Великой Отечественной войне 1941—45 годов, как молодежь сейчас почти ничего не знает о великой и кровавой битве под Бородино в 1812 году.

Ибо, как я бы сказал, люди-документы – участники и очевидцы тех грозных событий – имеют сейчас преклонный возраст 70–90 лет. Это при нашем среднем уровне жизни в 59–60 лет – уникумы.

И поверьте, нам, очевидцам, чье детство пришлось на военные годы, есть что передать нынешним и будущим поколениям. Нам просто нужно, чтобы нас выслушали.

Спасибо издательству «АСТ» и телерадиокомпании «Мир», что дали нам слово…

Один из детей войны Константин Павлович Исаченков, 1930 г. р.

Мне было только десять лет, когда началась война, и почти четырнадцать – когда закончилась. А с другой стороны. Она была и осталась самым главным переживанием моей жизни. Которое всегда лежит отдельно от всех. Даже от счастья.

Один из детей войны Борис Александрович Голлер, 1931 г. р.

Есть у поэта, у известного барда Виктора Берковского, щемящая душу песня на стихи Дмитрия Сухарева «Вспомните, ребята!» Она обращена к нам, сверстникам поэта – мальчишкам военных лет, которые должны хранить в памяти те страшные события, не забывать тех, кто ушел на фронт и не вернулся, ведь «скоро кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу». Да, как ни печально, вслед за участниками войны начинают уходить из жизни и ее малолетние свидетели.

Один из детей войны Вадим Александрович Хачиков,1933 г. р.

Дети блокады

Блокада Ленинграда

Битва за Ленинград, продолжавшаяся 1125 дней, органической частью которой стала блокада Ленинграда, одна из самых героических и трагических страниц не только Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, но и всей мировой истории. Человечество не знает другого такого примера, когда бы многомиллионный город в течение 872 дней находился в безжалостном кольце вражеской блокады и не только жил, но и бескомпромиссно боролся с врагом. Под стенами Невской твердыни непобедимая до сих пор немецкая армия была остановлена и в итоге потерпела поражение.

Гитлер неоднократно подчёркивал необходимость взятия Ленинграда в первую очередь. В протоколе совещания ОКВ 3 февраля 1941 года по поводу плана «Барбаросса» указывается: «Фюрер в общем и целом с операцией согласен. При детальной разработке иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и Ленинградом». Выступая на совещании высшего руководства вермахта в рейхсканцелярии 14 июня 1941 года, то есть непосредственно перед нападением на СССР, Гитлер назвал «… взятие Ленинграда так же, как и завоевание Украины, индустриальной Донецкой области и нефтяных районов Кавказа, одной из решающих оперативных целей новой войны».

Намечая в качестве одной из первоочередных оперативно-стратегических задач захват Ленинграда, Гитлер учитывал его огромное значение как крупного политического, экономического и военно-стратегического центра.

Взятие Ленинграда преследовало несколько военных целей: ликвидация основных баз русского Балтийского флота, вывод из строя военной промышленности этого города и ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву. «Стратегические цели Гитлера, – указывал генерал-фельдмаршал Е. Манштейн, – покоились преимущественно на политических и военно-экономических соображениях. Это был, в первую очередь, захват Ленинграда, который он рассматривал как колыбель большевизма и который должен был принести ему одновременно и связь с финнами, и господство над Прибалтикой».

…23 августа 1942 года, выступая на совещании в Ставке, где присутствовал командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал Г. Кюхлер, Гитлер говорил о необходимости полного уничтожения города и крепости на Неве. Фюрер указывал на необходимость избежать уличных боёв. Упор делался

на удары с воздуха и жёсткие артиллерийские обстрелы жилых кварталов. «Я считаю, – говорил фюрер, – что положение под Севастополем было иным и что будет совершенно правильно принять обратный способ действий: сначала уничтожение города, а потом укреплений». В указаниях Гитлера говорилось, что задача операции «Нордлихт» на втором этапе – овладеть Ленинградом и «сровнять его с землёй».

Во время блокады первые артиллерийские снаряды разорвались в городе 4 сентября 1941 года, а последние – 22 января 1944 года. Первые бомбы упали 6 сентября, последние – 17 октября 1943 года. Всего за время блокады фашисты сбросили на Ленинград 4643 фугасные и 102 520 зажигательные бомбы, на его улицах разорвалось 148 478 артиллерийских снарядов. Ежедневно на город падало по 175 авиабомб и 245 артиллерийских снарядов. На каждый квадратный метр городской территории приходилось по 480 снарядов и 16 авиабомб. Общие потери мирных горожан от огневого штурма составили 50 529 человек, в том числе 16 747 убитых и 33 782 раненых.

Героизм защитников Ленинграда не дал фашистам разрушить город и похоронить жителей под его развалинами. Ленинград стал первым крупным городом Европы, который не смогли захватить немецкие войска. Тогда фашисты решили уничтожить ленинградцев самым варварским способом – голодом, оставив город с многомиллионным населением на зиму без продовольствия.

Гитлер так объяснил немцам непредвиденную «задержку» взятия Ленинграда: «Петербург мы не штурмуем сейчас. Он сожрет себя сам».

…Была проявлена неоправданная медлительность в организации эвакуации, и проводилась она в первое время без учета обстановки, складывающейся на фронте. Ошибки, допущенные в первые дни войны, усугублялись тем, что эвакуация детей в районы Ленинградской области не была остановлена с началом налетов немецкой авиации. Она продолжалась вплоть до 21 июля 1941 года включительно. С приближением противника детей возвращали в Ленинград, а затем эвакуировали вторично в отдаленные от военных действий районы.

Следует подчеркнуть, что отсутствие информации о реальном положении дел под Ленинградом обуславливало нежелание людей эвакуироваться в июле. Главной причиной нежелания оставлять родной город было неверие большинства ленинградцев в опасность угрозы со стороны немецких войск.

Промахи с эвакуацией негативно отразились на судьбе значительной части населения, оказавшейся в блокаде. Необходимо также отметить, что эвакуация жителей Ленинградской области практически не планировалась, большая часть их, уходя от наступающих немецких войск, стихийно пришла в город и пополнила ряды блокадников.

Следует иметь в виду, что до войны Ленинград являлся своеобразной перевалочной продовольственной базой. Сколько-нибудь значительных запасов на складах города не имелось.

Введение карточной системы не привело к большой экономии продовольственных ресурсов города. К тому же эта мера оказалась запоздалой.

22 июня 1941 года на первом заседании оперативного штаба начальник ОБХСС А. С. Дрязгов поставил вопрос о немедленном введении карточной системы. Однако только 18 июля, на 27-й день войны, в Ленинграде, Колпине, Кронштадте, Петергофе и Пушкине была введена карточная система снабжения, а 19 июля карточки были введены в городах Волхове, Шлиссельбурге, Сестрорецке и пригородных районах – Слуцком, Красносельском, Ораниенбаумском, Мгинском, Всеволожском и Парголовском.

Руководство в это время ещё не предполагало, какая огромная опасность таится в необеспеченности Ленинграда продовольствием на длительный срок.

Буквально до конца августа 1941 года потребление продовольствия в Ленинграде ограничивалось не больше, чем на территории всей страны. Нормы продовольствия, отпускаемого по карточкам, были достаточно велики, еды хватало. Далеко не все были в состоянии потребить всю полагавшуюся им норму. Лишь немногие ленинградцы чувствовали приближение беды и, по-возможности, запасали продовольствие.

Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада Ленинграда немецко-фашистскими войсками принесла неисчислимые страдания его населению. Главным, самым страшным врагом ленинградцев стал голод, возникший в результате прекращения сухопутного сообщения города, со страной, с Большой землей, как назовут её в дни блокады жители осажденного города.

Германское командование имело достаточно полную информацию о продовольственном положении осажденного Ленинграда. Подробную картину о положении в блокированном городе даёт «Сообщение о событиях в СССР (от 18 февраля 1942 года) относительно смертности от голода ленинградского населения». «Уже в декабре у большей части гражданского населения Ленинграда наблюдалось опухание от голода, – говорится в нём. – Всё чаще жители падают на улице и остаются

лежать мёртвыми. В январе среди гражданского населения началась массовая смертность… Уже в конце января количество ежедневно умирающих от голода и холода составляет 2–3 тысячи человек. В конце января в Ленинграде ходил слух, что ежедневно умирает уже 15 тысяч человек. И в течение трёх последних месяцев от голода уже умерло 200 тысяч человек… Следует, однако, учесть, что количество умерших будет с каждой неделей неслыханно возрастать, если сохранятся нынешние условия – голод и холод… В большом числе жертвами голода могут стать дети, особенно – малыши, для которых нет питания. К тому же, в ближайшее время ожидается вспышка эпидемии оспы, от которой должно погибнуть много детей»…Следует привести и выдержку из приказа верховного командования вермахта от 16 декабря 1942 года: «Представляется не только оправданным, но и необходимым, чтобы войска использовали любые методы без каких-либо ограничений даже против женщин и детей, если это будет способствовать нашим успехам. Любое проявление жалости является преступлением против народа Германии». Командиры немецких войск, осаждавших Ленинград, принимали все меры, чтобы осуществить этот чудовищный замысел.

С первого дня блокады перед руководством Ленинграда остро встала проблема снабжения населения продовольствием. Имевшихся запасов могло хватить лишь до конца сентября. Поэтому было решено снизить хлебные нормы – со 2 сентября по карточкам стали выдавать хлеба рабочим и инженерно-техническим работникам – 600 г, служащим – 400 г, иждивенцам и детям до 12 лет – 300 г.

Однако положение с продовольствием в городе продолжало ухудшаться. 10 сентября 1941 года Военный совет принял постановление «Об экономии продовольствия», которым устанавливались новые нормы продажи продовольственных товаров по карточкам. По новым нормам выдавалось хлеба: рабочим и ИТР – 500 г, служащим и детям до 12 лет – 300 г, иждивенцам – 250 г. Но несмотря на принятые меры истощение внутренних продовольственных ресурсов продолжалось.

Катастрофическое уменьшение продовольственных ресурсов в городе и слабый подвоз продовольствия в Ленинград через Ладожское озеро, в том числе и из-за начавшегося ледостава на Ладоге, привели к чрезвычайно тяжелому состоянию продовольственного снабжения населения. 13 ноября произошло четвертое снижение норм выдачи продовольствия. Рабочие стали получать 300 г, а остальные 150 г хлеба.

Во второй половине ноября положение с продовольствием было настолько напряженным, что 19 ноября 1941 года Военный

совет Ленинградского фронта своим постановлением «О временном изменении норм отпуска хлеба» с 20 ноября в пятый раз снизил норму хлебной выдачи и установил её: для рабочих и ИТР – 250 г, для служащих, иждивенцев и детей – 125 г.

В ноябрьские дни 1941 года Ленинград стоял на грани продовольственной катастрофы.

Прошло уже больше семидесяти лет со времени разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, со дня снятия трагической блокады города. Несмотря на ужасные муки и страдания ленинградцы сумели сохранить своё человеческое достоинство, преданность Родине, своему родному городу.

Дорогой ценой заплатили ленинградцы за победу. Она навечно зачислила в свои списки ушедших из жизни на полях сражений и в осажденном врагом городе. Невозможно перечислить всех героических дел защитников города, которые жили, боролись, умирали и выстояли. Установить точное число жертв голодной блокады практически невозможно. В вышедших в последнее время работах историков, расследующих трагедию населения в блокированном Ленинграде, все чаще число погибших от голода определяется в пределах 700–800 тысяч человек.

Ленинградская битва, бессмертный подвиг ленинградцев в блокадные дни вошли в историю освобождения нашего Отечества.

Из книги Михаила Фролова «Блокада»

В ленинграде я понял, что такое судьба
Волков Владимир Михайлович, 1938 г. р

Родился в 1938 году в Ленинграде. Всю блокаду жил в родном городе.

С отличием окончил Ленинградское военное училище, Московский инженерно-строительный институт. Более 34 лет прослужил в армии. Полковник.

Память моя до сего времени хранит много эпизодов – фактов моего блокадного детства. Расскажу вам о некоторых из них: о моей судьбе, о прожитом и пережитом.



Матери своей и старшей сестры я не помню. Они умерли незадолго до блокады. Мы с отцом остались вдвоем в нашей комнате на четвертом этаже дома № 120 на Международном – ныне Московском – проспекте. Напротив дома находились Вагоностроительный завод имени Егорова и знаменитая тогда и в последующие годы обувная фабрика «Скороход», где долгие годы работал отец и в какой-то период сороковых годов был заместителем директора.

Наш Московский район находился под постоянным огнем немецких орудий, обстреливающих с Пулковских высот прямой наводкой жилые массивы, промышленные предприятия, железнодорожные и трамвайные пути. Каждый раз из окна своего дома я видел взрывы одиночных снарядов, осколки, следы от пулеметных очередей «с неба», раненых людей в лужах крови, убитых, оторванные части тел, кареты скорой помощи белого

цвета с красными крестами на крыше.

Уже тогда, пятилетним мальчонкой, я научился безошибочно по звуку и свисту различать вражеские и наши снаряды. Радовался, когда стреляли свои.

В любое время ночью и днем мы, оставшиеся в Ленинграде дети и взрослые, слышали резкие, пронзительные звуки ревущих сирен, к которым привыкли. Это были сигналы воздушной тревоги. За ними следовали леденящие сердце тревожно-предупредительные слова из круглой черной тарелки репродуктора: «Внимание, внимание! Воздушная тревога, воздушная тревога! Всем уйти в бомбоубежище…»

Уже тогда, пятилетним мальчонкой, я научился безошибочно по звуку и свисту различать вражеские и наши снаряды. Радовался, когда стреляли свои.

Зимой 1942 года несколько бомб разрушили часть нашего дома, подъезд и нашу коммунальную квартиру. Новыми «нашими» жилищами становились уцелевшие жилые помещения, бомбоубежища – подвальные площадки с перегородками, которые тогда были практически в каждом доме, и служебная комната отца на фабрике «Скороход», где он продолжал работать.

С каждым днем войны жильцов в нашем доме и в округе становилось все меньше и меньше. Район пустел на глазах. Заканчивалась эвакуация. В домах остались единицы. И эти оставшиеся люди с ослабленным здоровьем – старики, солдатки, молодые вдовы с грудными младенцами и юнцам – собирались вместе в небольшие «семейные» группы. Вчера еще незнакомые взрослые и дети становились поистине родными. Родными по духу, по жизни, по общежитию, по еде. Это были НАШИ дорогие люди! Они, старшие, берегли нас, детей, совершенно не щадя себя. Границы «свой-чужой» не было! Отцовский служебный паек в нашей группе делился на всех. Этих «всех» было шестеро: Шурка – вчерашний ученик третьего класса, Вовка, я, девочка Тамара, ее мама и тетя Ганя – Агафья Захаровна Лобакина, мать Вовки. Только ей работающие взрослые доверяли нас, малолеток. Она, как могла, со всей сердечностью заботилась и сторожила нас, уберегала каждого от травм, всякой заразы, от вшей и крыс.

Покидать дом без разрешения и тем более встречаться с чужими людьми на улице нам – детям – КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещалось. Был установлен строгий порядок: на улицу можно было выходить только с тетей Ганей, чтобы отстоять в очереди за хлебом, с Тамарой – на посильную уборку бомбоубежища, иногда с Шуркой – на «дежурство» по чердаку нашего дома.

Однажды нам первый раз в жизни удалось неумело, но все-

таки потушить руками, ногами, песком, своей одеждой горящие обломки деревянных конструкций чердака нашего дома. Личные результаты были неутешительны: Шурка сильно обжёг руки, немного – ноги, а Вовка, заглядывая в пробоину от этого снаряда, не удержался и полетел вниз. Его спасло то, что своей безразмерной одеждой он зацепился за торчащие, как пики, расщепленные обломки перекрытия 4-го этажа. Его спасли подоспевшие взрослые. У меня прогорели валенки и немного поранились ноги. За этот «поступок» родители намеревались «всыпать» нам ремня и, без сомнения, всыпали бы, и много, если бы не управдомша – тетя Катя. Она при всех похвалила вдруг нас и сказала, что эти мальцы – молодцы! Они хорошо справились с пожаром!

Находясь почти круглосуточно на работе, отец очень часто брал меня с собой на фабрику. Она работала не переставая. Там, на «Скороходе», были наши с отцом коечка и матрасик. Добрые сердцем и сильные духом рабочие нередко угощали меня гостинцами. Это были их хлебные пайки. И вот тогда я увидел, как они аккуратно, ровными дольками нарезали кусочки этого хлебушка. Потом, облизав палец и потыкав им по столу, налепляли оставшиеся крошки, слизывали их, смачно причмокивая губами.

Нехватка продуктов ощущалась все сильнее. Свирепствовал голод. Люди умирали на глазах. Появлялись голодные бандиты-одиночки. Участились случаи людоедства.

> Вчера еще незнакомые взрослые и дети становились поистине родными. Родными по духу, по жизни, по общежитию, по еде. Это были НАШИ дорогие люди! Они, старшие, берегли нас, детей, совершенно не щадя себя. Границы «свой-чужой» не было! Отцовский служебный паек в нашей группе делился на всех.

Помню, как под вечер мы с тетей Ганей долго стояли в булочной в двух очередях за хлебом. К нам с новыми хлебными карточками должен был подойти отец. Вдруг из очереди ко мне подошел какой-то незнакомый мужчина и тихо спросил, как меня звать и с кем я сюда пришел. Я назвал свое имя и сказал, что пришел с тетей Ганей, что она стоит здесь в другой очереди и что скоро должен прийти мой папа. Как мне показалось, мужчина с какой-то восторженностью сказал: «Тебя, Вова, на улице ищет отец, пойдем, покажу, где он». Я согласился, и мы вышли на улицу. Отца там не было. Незнакомец предложил посмотреть во дворе. Я знал этот двор. Он был с двумя выходами: один – на Заставскую улицу, другой – на Международный проспект. Больно

сжав мою руку и быстро пройдя через весь двор, незнакомец вывел меня на Заставскую. Отца и там тоже не было. Мне стало немного страшно. Сильно дернув меня за руку, мужчина обхватил меня как бревно и, крепко удерживая под мышкой, почти бегом потащил в глубину улицы. Темнело. В сознании мгновенно пронеслись строгие слова отца о недопустимости встреч с незнакомцами. Я окончательно испугался. Начал вырываться и кричать. Мужик ударил меня несколько раз и стал затыкать рот, чтобы я не орал. Со всей силы я до крови укусил его. Он расслабил руки. Я свалился на землю, но убежать не смог. Он быстро схватил меня и, ругаясь, начал бить. Бить сильно, по-мужски.

Сильно дернув меня за руку, мужчина обхватил меня как бревно и, крепко удерживая под мышкой, почти бегом потащил в глубину улицы. Темнело. В сознании мгновенно пронеслись строгие слова отца о недопустимости встреч с незнакомцами. Я окончательно испугался. Начал вырываться и кричать. Мужик ударил меня несколько раз и стал затыкать рот, чтобы я не орал.

Я не видел, откуда появились отец с тетей Ганей. Но от мощного неожиданного удара мужик вдруг упал. Это набросились на него мои спасители. Они сильно били мужика и кричали. Похоже, ему крепко досталось, он бросился бежать. Догонять его не стали. По дороге домой тетя Ганя тихо всхлипывала и часто молилась. А папа несколько раз повторял мне, что этот мужик был бандитом и хотел меня зарезать… Хлеба в тот день нам не досталось. А на руках отца были ножевые раны.

Бомбежки и обстрелы нарастали. Фашистские снаряды продолжали разрушать жилища. В памяти остался эпизод, после которого я узнал и понял значение слова «СУДЬБА».

Это было в начале 1944 года. Радио и сирены объявили об очередной воздушной тревоге. Начинался обстрел. Были слышны совсем рядом разрывы снарядов. Грохот нарастал. Едва мы выбежали из подъезда во двор, как оглушительный взрыв раздался над нашими головами. Очередной снаряд теперь уже точно угодил в наш подъезд, разворотил лестничную клетку, по которой мы только что спустились, пробил внутренние стены и перекрытия второго этажа, обдав нас обломками кирпича, древесины, разбитым стеклом и горячим огненным жаром. Появились очаги пожарищ.



Отец тащил меня за руку.

До бомбоубежища оставалось шагов пятьдесят (это я потом просчитал). Чтобы добежать до него, спуститься по шестнадцати ступенькам вниз, прямо к металлической тяжелой двери, повернуть дверной рычаг затвора, открыть дверь, перешагнуть высокий порог, войти, закрыть дверь рычагом, потребовалось бы примерно пять минут. Снаряды рвались чаще. Мы бежали к бомбоубежищу, оставалось до него несколько шагов. Вдруг какая-то внезапно появившаяся сила позволила мне вырваться из рук отца. Что было сил я помчался назад к соседнему подъезду и мертвой хваткой вцепился в массивную ручку парадной двери дома. Отец бросился за мной. Оторвать меня от этой двери, несмотря на несколько хлестких и достаточно сильных затрещин, отцу не удавалось.

Мы бежали к бомбоубежищу, оставалось до него несколько шагов. Вдруг какая-то, внезапно появившаяся сила позволила мне вырваться из рук отца. Что было сил я помчался назад к соседнему подъезду и мертвой хваткой вцепился в массивную ручку парадной двери дома. Отец бросился за мной.

Жуткий свист очередного снаряда вмиг превратился в сильнейшей силы удар. Дом задрожал. Всё затряслось. Огромная кирпичная глыба карниза дома, где находилось бомбоубежище, стремительно полетела вниз в тот самый приямок с шестнадцатью ступенями, по которым мы должны были спуститься. Мы замерли. Я прижался к отцу. Посмотрел на него. Губы его дрожали. Он гладил меня по голове… Спустя немного времени он еле-еле выговорил: «В…О…В… В… это с…у…дь…ба, что мы жи…вы, а ведь… должны быть т…а…м, под… глы…бой».

Он трясущейся рукой указал на огромную кучу кирпича, крепко обнял меня, поцеловал и заплакал. Заплакал громко, навзрыд.

Много еще было различных эпизодов.

Много воды утекло со времен блокады.

Много прожито и пережито. Поистине родными и близкими стали для меня, для жены Ангелины Николаевны, для детей – мои друзья-блокадники, их дети и внуки. Здоровья им и счастья! Некоторых уже нет…

Светлая им ПАМЯТЬ.

Талант изобретательства
Жукова Нина Александровна, 1941 г. р

Я родилась 9 мая 1941 года в Ленинграде. Собираясь публиковать эти записи, я решала, как писать: как было на самом деле, что достаточно страшно, или сглаживать особенно страшные случаи. Я решила все писать так, как я помню, потому что, кому неуютно это читать, тот и не будет, но это записи абсолютно правдивые.

Итак, я родилась в семье творческих людей: мама, Орлова Анастасия Александровна, родом из-под Москвы, из Богоявленска (ныне Ногинск), была пятым ребенком из двенадцати детей в семье, где моя бабушка знай себе рожала одного за другим, а дедушка почти непрерывно шил одежду, то есть был портным, и к нему даже приезжали клиенты из Москвы. Моя мама всегда с интересом училась, кончила рабфак, поступила в аспирантуру Технологического института в Ленинграде, в котором она затем творчески проработала всю оставшуюся жизнь.

Папа, Троц Александр Андреевич, родился в Белоруссии, в городе Мозыре, шестым ребенком в большой семье. И тоже единственный из всех детей, закончив рабфак, стал преподавать марксизм-ленинизм в Ленинградском горном институте.



Огороды на Лесном проспекте. Нина Троц (Жукова) с мамой

Жили мои мама с папой в огромной двенадцатикомнатной квартире на Невском проспекте, дом 142. Это был самый большой доходный дом на Невском проспекте, в котором жили люди самого разного сословия (до революции). Наша комната с роскошным камином, в которую папа привел маму из роддома, была частью танцевального зала, разгороженного после революции на отдельные комнатки, в которые селили рабочий и научный люд. Самое удивительное, что всю блокаду все комнаты были заняты, и я хорошо помню всех соседей и обстановку их комнат.

31 мая родители зарегистрировали свой брак (тогда это была формальность: так, больше из-за родившегося ребенка), и моя мама 22 июня приехала к родителям в Ногинск предъявить дитя. Ее радостно встретили, побежали за угощениями, и тут: «От советского Информбюро» объявление о немецком нападении. Никто из родных не испугался, потому что все были уверены, что врага мы сразу же отбросим, и радостно отметили наш с мамой приезд.

Моя мама 22 июня приехала к родителям в Ногинск предъявить дитя. Ее радостно встретили, побежали за угощениями, и тут: «От советского Информбюро» объявление о немецком нападении. Никто из родных не испугался, потому что все были уверены, что врага мы сразу же отбросим, и радостно отметили наш с мамой приезд.

Но через несколько дней стало ясно, что не все так просто, и моя умная мама решила вернуться в Ленинград. Когда мой папа, уже в военной форме (политрука), открыл нам дверь, он даже испугался, так как из Ленинграда все срочно эвакуировались. Нас с мамой тоже сразу стали готовить, так как отправляли эшелоном уже только с Финляндского вокзала. Народу было очень много, и маме места на вокзале не хватило, она сидела со мной (грудным ребенком) на руках на улице, около забора вдоль путей. Однажды мы с ней (уже после войны) поехали с этого вокзала, и она мне рассказала, что этот каменный забор она запомнила на всю жизнь, так как с маленьким ребенком (памперсов тогда не было) просидела два дня и ночь в сентябре в холоде и на дожде. И вдруг по путям подходит поезд. Все вскочили и бросились к вагонам, но из них начали выходить люди с детьми и говорят: «Идите домой, город окружен. Поезд перед нами прорвался, правда его бомбили, и два вагона загорелись, их отцепили, и поезд срочно рванулся

вперед».

Что интересно: на том прорвавшемся поезде эвакуировались мой теперешний муж, а тогда трехлетний ребенок, с сестрой, братьями и мамой. А из вернувшегося поезда вышел четырехлетний мальчик – теперешний мой сват, так же, как и я, попавший в блокаду, а сегодня это большой ученый, доктор наук, награжденный орденами «Знак Почета», «Трудового Красного знамени», «Александра Невского», лауреат премии правительства РФ.

Опять же, как рассказывала мама, вернувшись в квартиру с вокзала, она очень скоро перестала бегать со мной в бомбоубежище, так как уже не было сил и слишком часто бомбили. Однажды она пошла на поиски еды для меня, так как грудное молоко у нее пропало. Началась бомбежка, дежурные стали загонять людей в бомбоубежище или хотя бы в подворотни, ну и маму тоже. Но она улучила момент и, перебежав улицу, рванула дальше, а бомба попала как раз в тот дом, в подворотню которого ее заталкивали. Так она осталась жить, и я, естественно, тоже. Во время бомбежек, даже еще во время сирены о начале обстрела, я с воплем: «Тивога!» (это мое первое слово) закрывалась с головой одеялом.



Нина с папой, политруком Ленинградского фронта, Александром Андреевичем и мамой Анастасией Александровной, старшим преподавателем Ленинградского технологического института

Еду иногда приносил нам папа, который воевал на Пулковских высотах. Он приносил котелок, в который сливал щи, которыми их кормили, а чтобы они не затухли, кидал туда соду.

Вот его рассказ уже после войны лично мне.

«В отряде, где я служил, знали, что в городе остались моя жена и грудной ребенок, поэтому мне разрешали относить свою

еду один, а иногда и два раза в неделю как награду за снайперские попадания по немцам на той стороне. Вот иду я, естественно, пешком, а это три-четыре часа. Вдруг вижу: тетка стоит с лотком и пирожки продает, а так как нам в армии платили какие-то деньги, то они у меня были. Я кинулся к ней и, купив два пирожка с мясом, тут же оба запихал в рот. Прожевав их и проглотив, я пошел дальше, но стал думать: а откуда мясо? И тут до меня дошло – это человечина, так как другого просто не могло быть. Хотя было много разговоров о том, как готовить шашлыки из крыс, которых было много и которые были очень упитанны».

Вскоре мама решила выйти на работу в институт, там она смогла получать рабочую карточку, и это спасло нам жизнь. Со мной она попросила сидеть пожилую соседку по квартире. Однажды мама вспомнила, что забыла нужные бумаги, и вернулась. Подходя к комнате, она услышала мой громкий плач, открыла дверь и увидела, как соседка жадно съедает оставленную мне кашу, а я стою в кровати и ору. После этого мама просто клала мне на пол матрас с одеялом и подушкой, привязывала меня за ногу к кровати, ставила в отдалении тарелку с кашей и уходила на работу. А я ползала и искала, что бы еще съесть. Однажды я нашла в ящике письменного стола белый порошок, стала пытаться его есть, но не пошло – это был папин мыльный порошок для бритья. Правда, однажды мне повезло, я увидела: в щели паркета что-то поблескивает. В это трудно поверить, но я сообразила, как достать. Я взяла листик бумаги, смочила слюной конец и опустила осторожно в щель. С четвертой попытки я вытащила крупинки сахара, которые туда попали еще до войны.

Однажды мама вспомнила, что забыла нужные бумаги, и вернулась. Подходя к комнате, она услышала мой громкий плач, открыла дверь и увидела, как соседка жадно съедает оставленную мне кашу, а я стою в кровати и ору.

Талант изобретательства достался мне от мамы, которая во время войны изобрела электроды для подводной сборки судов, что было крайне актуально, и все суда стали снабжаться этими электродами. После войны, в 1948 году, Технологический институт представил маму, Троц Анастасию Александровну, на лауреата Сталинской премии за это изобретение. И что интересно, Сталин И. В. обладал колоссальной интуицией: просматривая списки на награждение, он вычеркнул маму со словами с акцентом:

«Странная фамилия». Мой папа всегда говорил, что он

белорус, но правду я узнала только в 1979 году, когда в Белоруссии умирал мой двоюродный брат, который и открыл тайну нашей фамилии: это немецкая фамилия фон Троц, а мои предки пришли при Екатерине по ее приглашению для вложения своих средств и умения этим землям, да так и остались. Клан разрастался и разъезжался по всему Союзу: Казахстану, Украине, Дальнему Востоку, Ленинграду, Севастополю.

А теперь продолжим про блокаду. Я уже подросла и ходила сама по квартире, заходя к соседям, при этом я, случалось, говорила: «Здравствуйте. Как поживаете?» И меня приглашали посидеть, поговорить. У нас была соседка, Ломоносова Настя, имевшая сына Юру, который старше меня на пять лет, мужа, который не воевал, а работал как специалист на железной дороге и которого я никогда не видела, так как если он приходил домой, то очень поздно, а уходил очень рано. И тут выясняется, что тетя Настя родила двойню.

Она принесла их домой, положила на кровать, но кормить не стала. Дети покричали-покричали и умерли. Я хорошо помню, как меня позвали попрощаться с ними, и я увидела два этих сверточка.

Тетя Настя родила двойню. Она принесла их домой, положила на кровать, но кормить не стала. Дети покричали-покричали и умерли. Я хорошо помню, как меня позвали попрощаться с ними, и я увидела два этих сверточка.

Когда я рассказала эту историю в 1976 году в санатории в Сочи, люди с Кубани, которым я рассказывала, изумленно спросили: «А что, ей трудно было их покормить?» Они даже не понимали, что тогда погибли бы все: и мать, и дети, и Юра, то есть им было не представить тот ужас, который был у нас в блокаду. Например, когда в мае 1942 года появились первые ростки, мама набрала их и сварила эти необходимые витамины. Посадив меня на руки, она отрывала мне листочки, и я их ела, а себе она оставила стебли. Но не тут-то было! Я отняла у нее эти стебли и сжевала их сама.

И заканчиваю историю с семьей Ломоносовых. В конце войны, уже после блокады, тетя Настя, во исправление своего греха, родила дочку Зину. В нашей большой коммунальной квартире мы с ней были самые младшие, и я с ней нянькалась в коридорах нашей большой общей квартиры.

А вот еще одна история про то, за счет чего мы выжили в первую страшную зиму. В нашей квартире жила заведующая детским садом. Как мне рассказывала мама, к нам в комнату

утром зашли трое соседок и сказали: «Ася, мы собираемся взломать комнату заведующей, так как подозреваем, что у нее там есть запасы. Пойдем с нами». «Нет, – закричала мама, – я коммунистка и не пойду на грабеж». «Дура, посмотри, у тебя ребенок умирает, а ты что?» «Нет», – кричала мама. «Ну тогда мы тебя связываем и тащим с собой». Так и сделали. Оказалось, что в комнате заведующей стояли штабеля ящиков с крупами, сгущенным молоком и еще много чего съедобного. Соседи все разделили на равные для всех части. Заведующая пришла, но никаких действий не предприняла, т. е. милицию не вызвала, что подтвердило незаконность ее запасов, отобранных от детей детсада. Ну а мы в квартире за счет этого выжили.

Через год народу в Ленинграде стало значительно меньше: кто умер, кто эвакуировался через Ладогу, а мы остались, так как мама работала и определила меня в детский сад-ясли где-то во дворе на Невском проспекте, дом 136. Я только помню, что он был расположен в подвале дома, так как при бомбежке всех детей в убежище не перетащить, а так мы как бы всегда более-менее в безопасности. Я очень хорошо помню, как всех детей уже разобрали, а моя мама задержалась на работе и со мной осталась одна воспитательница. Я стояла на столе у окна и видела ноги проходящих, пытаясь увидеть мамины ноги.

Следующую зиму мы тоже пережили с трудом, мама уходила на работу, а меня соседи выпускали во двор гулять. И знаете, я помню только одну игру: мы все из грязи лепили буханки хлеба, потом кто-то становился продавцом, а мы выстраивались в очередь и покупали за бумажки этот хлеб.

Я помню только одну игру: мы все из грязи лепили буханки хлеба, потом кто-то становился продавцом, а мы выстраивались в очередь и покупали за бумажки этот хлеб.

А теперь совершенно страшная история, но это было. После войны мама рассказывала это тем, кто не был в блокаде и не понимал, как это было тяжело. До войны мамина двоюродная сестра Люся стала работать на Октябрьской железной дороге и поселилась в ведомственном доме напротив Волковского кладбища. Соседка по дому держала корову, так как массовой застройки еще не было. Когда началась война и у мамы пропало молоко, тетя Лида иногда приносила маме молоко для меня. До зимы корову продержали, но сена уже мало заготовили и держали ту корову на кладбище, так как, во-первых, прятали ее там, во-вторых, какая-то трава там росла. И вот сено кончилось, наступила зима, и хозяева решили зарезать корову. Попросили

сделать это соседа: тот топором разделал тушу, за что ему дали много костей, но не мяса. Он принес это домой жене и дочери, велел сварить студень и ушел на целый день на работу. Жена сварила студень, но от голода они с дочерью не удержались и съели все сами до рвоты. А отец на работе только и думал о том, как придет домой и вдоволь наестся студня. И когда он пришел и увидел, что кастрюля пуста, он взял этот же топор и зарубил и дочь, и жену. Сколько раз я ездила на трамвае мимо этого кладбища и уже снесенного дома, столько раз я вспоминала эту страшную историю.

А вот прекрасная история из моих воспоминаний. В конце января прорвали блокаду Ленинграда, а уже в начале марта меня отправили в санаторий для лечения и – главное – кормления. Я очень хорошо помню, как нас, детей блокады, одели в новые синие теплые фланелевые платья, мальчиков – в курточки, теплые голубые штаны, чулки, туфли и мы спали в отапливаемых печами комнатах, кормили нас по пять раз в день, выводили на прогулки, но мы думали только о еде. А летом опять отправили в санаторий, но тут уж мы носились как угорелые, и воспитателям было очень трудно с нами справиться. Подумайте, какая настоящая забота была о нас, детях блокады.

Ну и напоследок история про мой день рождения, 9 мая 1945 года. Родители (папа уже вернулся после госпиталя) решили устроить настоящий день рождения для меня и пригласили всех пятерых детей нашей коммунальной квартиры. Накрыли нам царский стол: винегрет и чай с кустом сахара и хлеба каждому, при этом они хотели, чтобы было все как надо, то есть сначала надо поиграть, повеселиться, а потом уже садиться за стол. Но все пять гостей стояли около стола и смотрели завороженно на винегрет и хлеб. Мама велела взяться всем за руки, идти хороводом вокруг стола и петь песню. Все честно пошли, но при этом не отрывали глаз от угощения. И мама махнула рукой и сказала: «Садитесь!» Мы радостно все слопали и умчались в коридор играть в прятки, причем мне было труднее всех, так как все жители нашей огромной квартиры хватали меня и хлопали радостно по попе, поздравляя. Лучшего дня рождения у меня не было.

Сначала детям надо было поиграть, повеселиться, а потом уже садиться за стол. Но все пять гостей стояли около стола и смотрели завороженно на винегрет и хлеб. Мама велела взяться всем за руки, идти хороводом вокруг стола и петь песню. Все честно пошли, но при этом не отрывали глаз от угощения. И мама махнула

рукой и сказала: «Садитесь!»

Каждый год мы, блокадники, получаем поздравления от президента и памятные медали. Что удивительно, ни я, ни мой сват, ни другие дети блокады никогда их не носим, мы не участвуем в мероприятиях с накрытыми столами, но мы до сих пор по-настоящему работаем, передаем свой богатый научный опыт (я патентовед-зарубежник и автор очень нужных изобретений). А 9 мая мы даже не можем смотреть телевизор, так как воспоминания такие тяжелые, что мы плачем.



Нина Троц (слева) с мамой, отцом и дочерью Леной Жуковой. 1981 год

Это очень правильно, что нас попросили написать воспоминания, так как с нами – блокадниками – уходит целая эпоха, которой можно действительно гордиться. Сколько раз меня с моим изобретательским даром, доставшимся от мамы, уговаривали уехать во Францию, Германию, США. Но для меня это невозможно, потому что эта страна и эти люди меня спасли и я не предатель.

Почему я все-таки согласилась написать эти воспоминания, хотя эмоционально это тяжело, да и времени мало? Я преподаю самую важную сегодня для нашей страны дисциплину «Право интеллектуальной собственности» с упором на защиту научных разработок. Потому что просто необходимо людям, живущим в нашем городе, знать и уважать нашу историю и людей, сохранивших его.

Самое удивительное, что мои папа и мама очень-очень помогли своим многочисленным родственникам, и потому в нашем городе учились в институтах две мои двоюродные сестры и пять племянниц. Все они давно живут в нашем городе, у них дети, внуки, но – только одна племяшка из всех считает своим долгом заботиться обо мне, а остальные ни разу не навестили могилы моих родителей и даже никогда не звонят. Вот такие реалии сегодняшней нашей жизни.

Голубое небо вдруг стало черным
Рок Лев Моисеевич (1932–2006)

Июнь 1941-го. Закончив первый класс, я впервые попал в пионерлагерь, в поселок Прибытково, недалеко от более известной Сиверской. В первой половине месяца погода была весьма прохладная, я ходил в пальтишке и кепке, тепло и даже жарко стало в середине июня.

В нашей палате 10–12 мальчишек 9—11 лет. Я – самый младший, мне все еще восемь: тогда в школу брали с восьми лет, я родился в декабре, и меня взяли семилетним.

В палате – бесконечные споры: вот-вот начнется война, а другие твердили, что войны не будет, доходило до драки. Видимо, тема войны висела в воздухе. Все мы смотрели фильм «Если завтра война», где эскадрильи наших самолетов летели в сторону врага, туда же шли колонны танков, мотопехота, звучала бодрая песня: «Если завтра война, всколыхнется страна…»

> Мой двоюродный брат, десятилетний Ким Каплан, был в пионерлагере под Минском. Его мама сразу же, 22 июня, приехала за ним, но его не отпустили. Семью эвакуировали, руководство лагеря разбежалось. Гитлеровцы пришли в Минск, а Ким пришел домой. Соседи пару дней держали его у себя, но, боясь нацистов, отвели его в гетто. Судьба его неизвестна.

Наконец, 14 июня вожатая прочитала нам сообщение ТАСС (радио у нас не было), где говорилось, что все разговоры о войне – это провокация, никакой войны не будет. Но наши споры не прекратились.

22-го нам не сообщили о начале войны (видимо, не было указаний). Мы узнали об этом только 23-го, а может, 24-го, когда стали приезжать родители.

Затем – официальное сообщение на линейке. Сразу же старшим школьникам выдали деревянные винтовки, поставили их у входов в лагерь, и они, хватая всех проходящих людей, приводили их к лагерному начальству.

А нас стали учить, как вести себя при сигналах тревоги. Мальчики жили на первом этаже, девочки – на втором. Мы по сигналу прыгали из окон, девочки бежали вниз по лестнице. Все вместе мы шли в лес и строили из веток и сучьев шалаши, чтобы скрываться при бомбежках. Это была очень интересная игра.



Декабрь 1940 г.

Родители хотели забрать детей, но им не разрешили: в случае необходимости лагерь будет эвакуирован.

Моя мама сумела выкрасть меня, некоторые другие родители поступили так же. А когда через день они приехали за вещами, то получили серьезный выговор, но милицию за нами не посылали. Опыт показал, что они поступили правильно.

Мой двоюродный брат, десятилетний Ким Каплан, был в пионерлагере под Минском. Его мама сразу же, 22 июня, приехала за ним, но его не отпустили. Семью эвакуировали, руководство лагеря разбежалось. Гитлеровцы пришли в Минск, а Ким пришел домой. Соседи пару дней держали его у себя, но, боясь нацистов, отвели его в гетто. Судьба Кима неизвестна.

Моя первая эвакуация

В начале июля 1941 года началась эвакуация детей из Ленинграда. Меня эвакуировали с Кировским районом (отец работал на заводе «Красный химик»). Мне было восемь с половиной лет. Вероятно, отъезд состоялся 5 или 6 июля, думаю так, потому что знаменитое обращение Сталина «Братья и сестры…» слушал дома 3 июля, а отъезд был через один или два дня.

Нас собрали на площади перед Кировским райсоветом. У меня большой чемодан – там все вещи, даже зимнее пальто, а в портфельчике – еда и тетрадки. На боку у всех – противогаз. Часов в 11 утра нас построили и повели пешком до станции (но это был не вокзал). Вещи несли родители. Посадили в теплушку,

и в тот же день мы доехали до станции Лычково. Нашу группу поселили в деревне Клевичи Демянского района Ленинградской (теперь Новгородской) области. Помнится, деревня большая, на холме – церковь; жизнь здесь казалась тихой, сонной – по сравнению с Ленинградом. Сколько дней там прожили – теперь трудно сказать, возможно дней десять.

Однажды нам сказали: нужно срочно собираться и уходить отсюда. Быстро покормили, вещи побросали в чемоданы, их положили на телегу и пошли. Что, чего, зачем – нам, конечно, не говорят. Вышли примерно в 6 часов вечера, пришли на станцию Лычково около 6 утра. Это было 17 июля 1941 года.

> Неподалеку был железнодорожный мост через реку, и немецкие самолеты – кресты на крыльях и фюзеляже – бомбили его: пикирование, выход из пике, стрельба зенитных пулеметов, взрыв, громадный фонтан воды – ура! – мимо. Представляете, какое зрелище буквально на глазах, не в кино!

Поместили в большом, как казалось, здании из красного кирпича (теперь этого дома нет). Там уже много ребят: они сидели, лежали на полу. Мы тоже втиснулись и заснули.

Спали недолго: разбудила стрельба, свист, взрывы. Выскочили. Неподалеку был железнодорожный мост через реку, и немецкие самолеты – кресты на крыльях и фюзеляже – бомбили его: пикирование, выход из пике, стрельба зенитных пулеметов, взрыв, громадный фонтан воды – ура! – мимо. Представляете, какое зрелище буквально на глазах, не в кино! И все это на расстоянии меньше километра (наших самолетов не было).

Часть детей уже посажена в вагоны, остальные почему-то ждут. Наши вещи сложены пирамидками у вагонов, мы дежурили около них по двое по два часа. Мое дежурство с 10 часов. Пока бродим по Лычкову. Кругом ребята: в памяти застряла цифра «3000», но, откуда эта цифра – не знаю.

Начинается мое дежурство. Бомбежка моста повторяется, но немцы все никак не могут попасть в него. Жарко, сидеть надоело, хочется спать. На здании вокзала висели большие круглые часы. Вот уже 12 часов, а наши сменщики все не приходят. Пришли в двадцать минут первого, такие же мальчики, как мы, фамилия одного из них – Козловский. Обругав их, мы с напарником уходим.

Высоко-высоко в небе медленно-лениво движется самолет (как будто один, но, может быть, и два). Задрав головы, спорим: наш или не наш. И вдруг видим: от самолета отделяются черные точки, и уши раздирает нарастающий по интенсивности свист,

вой – прямо над нами (он и сейчас стоит в ушах!). За эти несколько секунд впрыгиваем на крыльцо то ли аптеки, то ли магазина, где уже сжалась людская масса.

Что было в следующие мгновения – в памяти провал: видимо, детское сознание не смогло вместить светопреставления, сработали какие-то ограничители. Сколько все это продолжалось – минуту, две, три – не знаю. Но на этот раз бомбы упали достаточно точно… (Тогда мне казалось, станция была больше, на путях рядом с нашим составом стоял воинский, но, может быть, он стоял перед нашим).

Наступила тишина, оцепенение, а затем прорвались крики, дым, гарь. Бежим к красному дому. И – стоп! Навстречу несут носилки, на них человек, кишки выворочены – я их вижу сейчас! А потом еще носилки, носилки, носилки…

Нас быстро собирают и ведут в лес. Там мы сидим до ночи, притихшие: мы уже знаем, что есть убитые, раненые. Погиб Козловский, возможно, и его напарник.

> Две учительницы распределяют еду, мне не дают, но и моего руководителя не ищут.
>
> Ну ладно, это, конечно, детские обиды. Но этих учительниц забыть уже невозможно. Их равнодушные лица оживлялись только тогда, когда они основательно кормили своих собственных детей.

Идем опять на станцию. Еще темно, все окружающее выглядит как в страшных сказках: столбы повалены или наклонены, на них, на проводах висят обрывки вещей, кругом разбросаны обломки, вещи, чемоданы. Падаю в какую-то яму или воронку, пока выбрался – отстал от своих. Суета около вагонов, меня куда-то сажают. Это обычный плацкартный вагон.

Через некоторое время поезд трогается. Начинают рассаживать – оказывается, я чужой, попал не в свою организацию и для меня места не находится. Две учительницы распределяют еду, мне не дают, но и моего руководителя не ищут.

Ну ладно, это, конечно, детские обиды.

Но этих учительниц забыть уже невозможно. Их равнодушные лица оживлялись только тогда, когда они основательно кормили своих собственных детей.

Только на третий день на большой остановке совершенно обессиленный выхожу из вагона, плетусь вдоль поезда, реву и вдруг меня хватает в охапку кто-то. Иван Прокофьевич! Наш руководитель! Ведет меня к нашим, у нас теплушка. Мне отрезают большой шмат хлеба; я долго не могу успокоиться…

Доехали до станции Слободской. Здесь нас покормили и

распределили по деревням. Наша группа попала в деревню Лутошкино Шестаковского района Кировской области. Поселились в большой дом, очевидно школу.

Через некоторое время младшие ребята решили бежать в Ленинград. Я об этом написал домой, но неожиданно попал в больницу (видимо, с дизентерией). Когда уже выздоравливал, за мной приехал отец. Он – инженер-строитель – строил укрепления под Ленинградом и, не знаю уж как, отпросился на несколько дней. Всеми правдами и неправдами, на воинских эшелонах, на грузовых поездах добрались до Ленинграда в 20-х числах августа, за несколько дней до того, как замкнулось блокадное кольцо. Это был один из последних поездов, который пришел в Ленинград.

Когда еще были в дороге, на одной из станций отец встретил женщину с его работы, которая ехала к своему сыну. Это была мама Козловского. Отец сказал: «Не стоит ей сейчас говорить, что мальчик погиб». И она поехала дальше. Так закончилась для меня эта эвакуация.

О том, что бомбежка в Лычково произошла 17 июля, я, конечно, не помнил и узнал об этом уже от товарищей по работе – Игоря Сергеева и Всеволода Тихомирова, которым в 1941 году было 13 лет, и они тоже были там.

В середине 80-х годов новгородский историк Г. Акимченко написал в газету «Смена» о том, что он занимается историей детей, попавших в эвакуацию в Демянский район, и просил откликнуться тех, кто остался жив и может сообщить ему какие-то сведения.

В «Смену» написали я и Михаил Владимирович Маслов. В другой газете были напечатаны воспоминания Людмилы Васильевны Пожидаевой. Кроме того, я послал Акимченко свои воспоминания. У меня есть его ответ. Впоследствии, будучи в краеведческом музее на Валдае, я узнал, что детей вывезли 17 июля, а 20 июля в Лычково вошли немцы.

В последней статье Г. Акимченко «Стон безымянных могил», напечатанной в альманахе «Чело» (издание Новгородского университета), написано, что поспешные похороны погибших детей проводились так: фрагменты тел, руки, ноги складывались в ящики и укладывались в могилы без идентификации. Некоторые тяжелораненые дети были отправлены в ближайшие деревни и скончались там. Акимченко нашел могилы и имена детей. Других тяжелораненых, как Людмилу Пожидаеву, довезли до Ленинграда. Она выжила, но до сих пор прикована к коляске.

Сколько детей было эвакуировано, сколько погибло – до сих пор неизвестно. На кладбище в Лычково есть братская могила. На

обелиске написано: **«Ленинградские дети. 1941 г.».** Только 4 мая 2005 года на станции Лычково был открыт памятник погибшим от бомбардировки в июле 1941 года ленинградским детям.

Что я помню о блокаде и что я знаю о ней теперь

…Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку…

Я хочу рассказать о жизни моей семьи в первый блокадный год, об организации блокадного быта, ячейки МПВО. О том, какими разными становились люди в таких экстремальных условиях, о нас, мальчишках и девчонках того времени, о жизни и смерти родных и близких.

Мне было девять лет, я жил на Петроградской, в других концах города был очень редко и не знаю, как проходила жизнь там. Из всей большой семьи сейчас остался я один. «И если не я, то кто же, и если не сейчас, то когда же?»

Может, это будет еще одна капля в истории блокадного быта, «мелочей», о которых не принято говорить и писать.

А теперь меня занимает вопрос: как же получилось, что Киев, находящийся не так уж далеко от границы, оставлен войсками Красной армии 19 сентября, а Псков (тогда Ленобласть) взят немцами на восемнадцатый день войны – 9 июля, а кольцо блокады замкнулось 8 сентября?

> Не помню, чтобы слово «блокада» звучало в первый блокадный год, говорили: «Ленинград в осаде», – а это звучит помягче, дает надежду.

Не помню, чтобы слово «блокада» звучало в первый блокадный год, говорили: «Ленинград в осаде», – а это звучит помягче, дает надежду (есть такие пары слов, вроде бы одно и то же, ан нет: теперь говорят не общественный транспорт, а социальный – оттенки разные; общественный – для всех, а социальный – для убогих).

Я не историк, поэтому могу постараться только изложить свои взгляды на начальный период войны.

Итак, я снова дома, начало двадцатых чисел августа, город еще не отрезан полностью от Большой земли, есть еще железнодорожная ветка на Волховстрой.

На мне тюбетейка, обветшавшая рубашонка, штаны из чертовой кожи (был такой, очень прочный, хлопчатобумажный материал), разваливавшиеся сандалии, а на боку – целехонький противогаз, который нам выдали перед отъездом из Ленинграда, все остальные вещи погибли в Лычкове вместе с моими товарищами. Мама сняла с меня все это и сожгла в печке. Кроме противогаза, конечно.

Сейчас этот противогаз и сама эвакуация десятков тысяч детей на юг Ленинградской области символизируют для меня полное отсутствие реальных представлений о характере предстоящей войны у нашего верховного руководства.

Что я увидел в городе после полутора месяцев отсутствия?

Окна подвалов, выходившие на улицу, заложены кирпичом, оставлены только амбразуры для оружия. Значит, город готовился к уличным боям?

Напротив нашего дома (ул. Шамшева, д. 11) до войны стоял двух– или даже трехэтажный деревянный дом. В двадцатых числах августа его уже не было, его разобрали, там был пустырь, весной 1942 года на этом пустыре я собирал молодую крапиву и лебеду (сейчас здесь Дом культуры им. Шелгунова). Уже в июле было принято решение: разобрать все деревянные дома, уничтожить сараи и прочие «деревяшки» во избежание пожаров. А ведь целые районы состояли из деревянных домов, например Новая Деревня. Где вы увидите там теперь хоть один деревянный дом?

Нынешний стадион «Петровский» – тогда стадион им. В. И. Ленина – был по архитектуре таким же небольшим Колизеем, но деревянным. Знаю, что его разборкой руководил мой отец.

> Город до войны имел, большей частью, печное отопление, поэтому была проблема покупки дров. Я помню, как радовался мой дедушка, что ему удалось в начале июня 1941 года купить дрова на зиму.

Значительно позже, наверное уже в октябре, мне довелось участвовать в разборке дома в конце Геслеровского (ныне Чкаловского) проспекта. Разумеется, основные работы выполняли рабочие или саперы, а мы только носили бревна и доски. Населению их не дали, они шли на заводы и фабрики и уже в блокадное время давали возможность работать заводским котельным. Нам доставалась только труха.

Надо сказать, что город до войны имел, большей частью, печное отопление: высокие цилиндры, охваченные гофрированным железом, плиты на кухнях. Центральное водяное отопление – в домах постройки XX века, да и то не во всех.

Поэтому была проблема покупки дров, и я помню, как радовался мой дедушка, что ему удалось в начале июня 1941 года купить дрова на зиму. Печи в блокадную зиму не топили – слишком много надо дров, ставили в комнате буржуйку, трубу выводили в печь.

Большое преимущество! Где не было печей, там трубу выводили через окно, а, как ни утепляй эту дыру, холод все равно проходит. Морозы же были жуткие. У нас на Шамшевой дров не было, и, пока все не объединились у бабушки на Карповке, пришлось сжечь стулья, книги, в том числе три толстых тома Малой советской энциклопедии, роскошную этажерку для книг: на центральной вертикальной оси, поворачивалась на 360 градусов, книги ставились с четырех сторон. Никогда больше такой не видел!

> Туалетной бумаги не знали, пользовались газетами. Захожу в туалет – крупными буквами надпись: «Если это еще раз повторится – доложу, куда следует». Сначала не поняли, потом сообразили: там лежит газета с портретом товарища Сталина (тоже знак времени).

Вернусь к началу. Мама была на окопах (тогда говорили именно так, а не «на оборонных работах», как теперь), отец тоже строил укрепления как инженер-строитель. Сначала где-то далеко, наверное за Лугой, потом за Гатчиной, а потом – за Красненьким кладбищем, в нынешнем Автово. Там везде росла картошка, и мама, появляясь дома, привозила по 5–6 килограммов картошки, и это отодвинуло для нас начало голода.

Я жил большую часть времени на Карповке, у бабушки. Там, в доме № 18, у бабушки и деда и маминой сестры Татьяны (Туси) две комнаты в коммунальной квартире, еще две у соседки Анны Ивановны и ее мужа. Почему помню имя соседки? Такой эпизод. Еще работала канализация. Туалетной бумаги не знали, пользовались газетами. Захожу в туалет – крупными буквами надпись: «Если это еще раз повторится – доложу куда следует». Сначала не поняли, потом сообразили: там лежит газета с портретом товарища Сталина (тоже знак времени).

Телефоны и радиоприемники реквизировали еще в начале войны.

Каноническим днем начала блокады считается 8 сентября. Это был очень жаркий безоблачный день. Над Петроградской стороной крутился немецкий самолет, разбрасывал листовки с каким-то дурацким текстом. Я во дворе дома 18 на Карповке, у бабушки. Мы собираем листовки и отдаем руководительнице группы самозащиты.

И вдруг в этот ясный день небо почернело, солнце закрылось. Мы не знали, что это значит, потом оказалось, что именно в этот день немцы разбомбили Бадаевские склады, там горел сахар, отсюда и черный дым, закрывший все небо над городом. Представляете, склады находились где-то между Киевской улицей и Благодатным переулком, то есть очень далеко от Петроградской, а небо было черным и у нас.

Недавно по ТВ одна женщина сказала, что склады горели уже поздно вечером, в темноте. Нет, это не так: детская память запомнила этот резкий контраст – голубое небо вдруг стало черным.

Зимой, вероятно в январе 1942 года, мы с моей тетей как-то дошли до сгоревших складов, с трудом выковыривали замерзшую черную землю и, сколько могли, принесли домой. Бабушка на буржуйке растопила эту землю, земля осела, а вода была сладкой.

Может быть, бомбардировки проводились и до 8 сентября, я этого не помню. Но после 8-го начались массированные бомбежки, по несколько раз в день.

Правда, бомбили промышленные объекты и госпитали. Теперь я знаю, что Жукову пришлось принять очень жесткое решение: чтобы остановить немецкие танки, почти всю зенитную артиллерию, установленную в городе, направить на фронт, и город остался открытым для бомбовых ударов. Остались только зенитные пулеметы и батарейные орудия на Марсовом поле (я их видел, когда с тетей ходил в госпиталь в Инженерном замке, где работал мой дед). В 60-х годах я узнал, что этой батареей командовал известный в то время татарский поэт, полковник Риза Халид. Ну и еще зенитки кораблей Балтфлота, стоявшие на Неве. Мы бегали к Стрелке Васильевского острова. Там, на Малой Неве, у Биржевого моста, стояли два эсминца.

И вот после бомбежки 8 сентября на Карповке мы, ребята, стояли под аркой дома № 20 и, когда падали осколки зенитных снарядов, выбегали, хватали горяченькие, с зазубринами, собирали коллекцию.

Еще одно запомнилось. Днем по Кировскому проспекту, по Большому проспекту (тогда Карла Либкнехта) шли девушки в военной форме с очень серьезными лицами и несли аэростаты заграждения. Это небольшие дирижабли, может быть 10–15 метров длиной, а в руках у девушек – катушки с металлическим канатиком. Дирижабли наполняли каким-то газом, и на ночь они поднимались в воздух на несколько сот метров, канатики внизу закреплялись на специальных столбиках. Может быть, где-нибудь они были в воздухе и днем – не знаю. Возможно, эти аэростаты и сыграли положительную роль в защите от вражеских самолетов,

но упади такой самолет на город – хорошего мало.

> Мы стояли под аркой дома № 20 и, когда падали осколки зенитных снарядов, выбегали, хватали горяченькие, с зазубринами, собирали коллекцию.

А вечерами в темном небе замечательная картинка: лучи прожекторов с разных сторон рыщут по небу, освещают висящие на разной высоте серебристого цвета аэростаты, иногда в их пересечение попадает вражеский самолет, и прожектора не выпускают его из этого перекрестия. Вроде бы именно в таком перекрестии наш летчик Харитонов сбил немецкий самолет, об этом сообщали.

Дома № 18 и 20 на Карповке принадлежали до революции известной певице Анастасии Вяльцевой, это были ее доходные дома. Рядом, на углу Ординарной, стоял беленький особнячок с башенками, в котором Вяльцева жила. Особнячок снесли уже в 60-е годы. Теперь там безликая железобетонная громада, какое-то учреждение.

Дома 18, 20, два дома, выходившие торцами на Ординарную, дома на углу Карповки и Кировского, дом № 44 на Кировском, известный как «дом эмира Бухарского» (он построен перед Первой мировой войной одновременно с мечетью по заказу эмира для гостей из Средней Азии), – все они составили ячейку МПВО – группу самозащиты. Ее возглавляла замечательная женщина, жившая в «доме эмира Бухарского». Увы, не могу ни вспомнить ее имя, ни добраться до архивов МПВО. Небольшого роста, никогда не повышала голос, но блестящий организатор, не чета нынешним муниципалам. Моей маме было 34 года, ей, наверное, на год-два больше. Прежде всего она организовала дежурство на крышах и чердаках во время бомбежек.

Только в октябре 1941 года на город было сброшено 43 тыс. зажигательных бомб и 850 фугасных. Зажигалки – цилиндрики 35–40 мм диаметром – сбрасывались кассетами штук по 10–12, на один дом могло попасть сразу несколько штук. Крыши у нас плохие, стояли там женщины, ребят не пускали. Мы назывались связными и находились на чердаках. Если женщины успевали – скидывали бомбочки во двор, если те пробивали крышу и еще только шипели – хватали их большими щипцами и бросали в бочку с водой, а если те начинали разгораться – в ящик с песком. И ведь ни один из этих домов не сгорел!

> Самое страшное – зажигалки замедленного действия. Они впивались в кровлю, а потом, часов через шесть, загорались, когда никто не ждал.

Самое страшное – зажигалки замедленного действия. Они впивались в кровлю, а потом, часов через шесть, загорались, когда никто не ждал. Так сгорел дом на углу Ординарной и Большого и на углу Малого и то ли Плуталовой, то ли Теряевой улицы – точно не помню. Дом на Большом стоял разрушенным до начала 50-х, там от жара стальные балки свернулись штопором. А потом, после восстановления, долгое время на углу было кафе «Ландыш». И еще один дом – на углу Б. Зелениной и Геслеровского (Чкаловского). У него и после восстановления осталась прямоугольная ниша на углу.

А куда падали другие? Ведь на Кировском и Большом ни один дом не разбомблен, да и на Невском тоже. Уже тогда складывалось впечатление, что бомбят заводы, корабли, госпитали. Известен из литературы случай, это было, видимо, в октябре 41-го, когда огромный фугас – 500 кг – попал во двор больницы Эрисмана (там, где теперь фонтан) и не взорвался. Я там был через полчаса, место оцеплено военными, несколько дней прошло, пока бомбу выкопали и вывезли. А если бы взорвалась, не было бы и больницы, и моей мамы: она там со второй половины октября дежурила в пункте оказания срочной (не скорой) помощи.

Вспомню еще две бомбежки.

Между театром им. Ленинского комсомола и зоопарком был комплекс зданий Госнардома (до революции – Народного дома им. Николая II). Теперь там планетарий, большое здание Мюзик-холла и долгое время был кинотеатр «Великан». Правее «Великана» – аттракционы, в том числе «Американские горы» – я был уверен, это настоящие горы из темно-серого шероховатого гранита. И мой лычковский товарищ Михаил Маслов тоже так считал. Видимо, сверху они производили впечатление замаскированного военного объекта. Бомбы попали в здание нынешнего планетария и в зоопарк. Погибла знаменитая слониха Бетти, носорог остался жив. Пошли слухи, что хищники разбежались, но никто их не видел. Однако бабушка пару дней меня не выпускала.

Поскольку школа была занята под госпиталь, наша руководительница организовала занятия для младших школьников в пустующей квартире «дома эмира». Мы приходили с полешком дров, растапливали чуть-чуть плиту, садились рядом, тетрадки на плите, я во втором классе. Сирена – «Воздушная тревога» – мы бежим вниз. Конец тревоги – опять на четвертый этаж.

Уроков, естественно, было немного.

И еще. Много позднее, видимо в январе, мы с Тусей дошли до Инженерного замка. Там работал в госпитале дедушка. Хотя он и не военный, но был на казарменном положении. К тому времени бомба снесла стену замка, выходившую во двор. Дедушка нас покормил, возвращались мы уже в темноте. Дошли до шестиэтажного дома на Кировском, рядом с особняком Витте. Началась бомбежка, самая длинная по времени, вроде бы часов шесть. Меня загнали в бомбоубежище, Тусю на крышу. Там в подвале радио нет, никакой информации, только слышен грохот. Когда все кончилось, вышли с Тусей: мечеть рядом – стоит, дома – тоже, доползли уже ночью до Карповки. Куда же упали бомбы?

Но вернусь опять в осень. Она в памяти очень растянулась – до сильных морозов.

Поскольку школа напротив дома 18 занята под госпиталь, наша руководительница организовала занятия для младших школьников в пустующей квартире «дома эмира». Мы приходили с полешком дров, растапливали чуть-чуть плиту, садились рядом, тетрадки на плите, я во втором классе. Сирена – «Воздушная тревога» – мы бежим вниз. Конец тревоги – опять на четвертый этаж.

Уроков, естественно, было немного.

А днем, когда по радио звучал сигнал тревоги, наша руководительница доставала ручную сирену, нам давала крутить ручку, и во дворе тоже выла сирена.

Но нормы хлеба снижались, переставали ходить в школу одни, другие, третьи… Наконец, 15 ноября, последнее снижение норм – знаменитые 125 г. Для детей, иждивенцев, служащих. Занятия прекратились. Больше во второй класс я никогда не ходил.

По-моему, главным рубежом, когда мы почувствовали блокаду, было прекращение подачи электричества, а затем отключение воды и прекращение работы канализации. Когда это случилось, точно не помню, но если ледовая «Дорога жизни» заработала 22 ноября, то трубы замерзли, наверное, в начале месяца, разумеется, воду заранее не слили.

И вот уже на площади Льва Толстого трубы в земле лопнули и в двух-трех местах деревянная брусчатка вспучилась, вышла наверх, и тут же замерзла вода, образовались ледяные горки.

> Люська мне тайком сказала, что они еще живого папу отвезли к Тучкову мосту и там оставили… А карточка его на январь у них осталась.

Уже в октябре начинается голод. Наша молодая соседка Катя просила маму: «Надежда Евсеевна, отдавайте, пожалуйста,

картофельные очистки мне». Всего в квартире пять семей. Еще семья Екатерины Ивановны и Николая Ивановича, там две девочки-близнецы Галя и Люся. Перескочу в декабрь, когда мы уже нечасто появлялись на Шамшевой. Николай Иванович ослабел, Екатерина Ивановна попросила маму разрешить им съесть нашего кота. Симпатичный рыженький котик Рыжик. Мама с ужасом говорит: «Он ведь недавно съел крысу!» Но Николай Иванович становился все слабее, и мама согласилась. Екатерина Ивановна все сделала, меня пригласили к ним, и я участвовал в этой трапезе. Ни черта не понимал! А в январе я зашел на Шамшеву, и Люська мне тайком сказала, что они еще живого папу отвезли к Тучкову мосту и там оставили… А карточка его на январь у них осталась.

После войны я встречал этих девушек на Большом проспекте, они работали судебными исполнителями в Петроградском райсуде.

В конце октября – начале ноября вся наша семья, включая двоюродных, троюродных, совсем неизвестных мне женщин, объединилась на Карповке у бабушки. Бабушка, Мария Наумовна, пережила в Петрограде голодуху 1918–1921 годов и потом при всякой возможности держала в доме небольшой запас продуктов: несколько пакетов крупы, почему-то вместо муки крахмал, сахарины – у деда диабет, для меня несколько бутылочек рыбьего жира, несколько банок молотого кофе (его тогда мало кто пил). Почему-то никаких консервов. И еще большой кусок парафина. Так было у многих старых петербуржцев.

Бабушка родилась в Петербурге в 1881 году, а ее мама, моя прабабушка, здесь же – в 1850 году. Ее муж, мой прадед, родился в 1837 году и с 1850-го по 1875-й служил в армии, дослужился до унтер-офицера; жил после этого в Павловске и шил мундиры для гвардии. Бабушка с гордостью рассказывала мне, что, когда она шла по улице, великие князья отдавали ей честь. Бабушка никогда не говорила «Ленинград», только «Санкт-Петербург», иногда «Петроград».

Был среди нас еще один мужчина – брат моей мамы Яков. Драматический актер, играл в театре Гайдебурова и Скарской, инвалид-сердечник. Несмотря на это, записался в ополчение. Военная подготовка: «Лечь – встать», «Лечь – встать», – а на третий раз пришлось звать врача. Из армии его выгнали. До войны он исполнял роль Павла в спектакле «Суворов».

С Яшей мы спали на стульях – народу много, места мало.

Широкие фитили керосинки разделили на узкие ленточки, вставляли в них кусочек парафина (вот он для чего!), клали то ли на блюдечко, то ли в баночку, и вот свет. Вечером я читал

подшивку «Нивы», «Вокруг света», даже роман Андре Жида «Фальшивомонетчик» – ничего в нем не понял. Слушали радио. Звучит метроном – значит, работает.

Мы знали, что еще в августе полк морской авиации полковника Преображенского бомбил Берлин. В октябре по радио уже читали повесть Григория Мирошниченко об этом полке, об этом налете. Возможно, уже звучали стихи Ольги Берггольц, но я тогда стихи не воспринимал.

Есть представление, что наличие карточки уже давало возможность получить эту норму. Нет, это не так: талоны расписаны по числам, если вам не хватило – все, на завтра этот талон недействителен.

Теперь о главном – о хлебе. Каждое утро, часов в шесть, я уже стоял в очереди за хлебом на углу Кировского и Карповки. Все карточки при мне – страшная ответственность. Часам к восьми подъезжала фура, ко мне подходил кто-нибудь из взрослых, и мы получали свою норму.

Есть представление, что наличие карточки уже давало возможность получить эту норму. Нет, это не так: талоны расписаны по числам, если вам не хватило – все, на завтра этот талон недействителен.

Такой случай. Подъезжает фура, а в это время обстрел, ударной волной фуру переворачивает, хлеб рассыпается по земле… И эти замерзшие люди, оттолкнув меня, расхватывают буханки и сматываются; продавщица ревет: она ведь отвечает. Я пришел домой ни с чем.

В конце каждой недели в 10 вечера все внимание на радио. Объявляют от отдела торговли Ленгорисполкома о нормах выдачи хлеба на следующую неделю. Подпись – Петр Андреевич Андреенко. Он умер уже в глубокой старости в 90-х годах.

Кроме хлебных талонов, были еще талоны А, Б, В. Иногда по ним что-то еще выдавалось. Наверное, уже в январе – феврале я два раза получал по детской карточке по 2 кило канадского шоколада. Это целая глыба в большом бумажном мешке, с молочными прожилками. Как удавалось отгрызать 25 г, да еще без крошек – непонятно.

Еще очень важные наши походы за водой. Я – непременный участник. Два ведра на санки, идем по мосту через Карповку, влево, мимо бани, поворачиваем направо, мимо школы, слева – Иоанновский монастырь, затем штаб МПВО, выходим на Вяземский переулок, и так до Малой Невки. Спуск по ледяным ступеням, берем воду в полынье, а вот взобраться по ступеням обратно и не упасть с ведром – это непросто. Иногда не

получалось. И так каждые два дня.

Слева по Вяземскому, после домов, большой сквер, за ним – туберкулезная больница. И почти при каждом походе за водой к скверу подъезжал грузовик, и военные девушки в ватниках, ватных штанах, розовощекие (видно, их подкармливали) вытаскивали из кузова трупы людей – за руки, за ноги и укладывали их как дрова штабелями у обочины. Все трупы одетые, значит, их собирали на улицах.

Мне казалось, что в саду были траншеи, и туда потом складывали трупы для захоронения.

Уже в середине 80-х годов зашел в этот сад, там, где вроде бы должны быть захоронения, – детская площадка, качели, песочница и никакого памятного знака. Написал в «Смену» Татьяне Зазориной, она перед этим опубликовала целую полосу о кирпичном заводе на месте станции метро «Парк Победы», имевшую большой отклик. Зазорина позвонила мне и сказала, что передала письмо в Петроградский райисполком. Мне ответили, что РУВД, РУГБ и похоронный трест утверждают: никаких захоронений там не было. А что же делали с этими штабелями трупов? Когда сказал об этом Клавдии Васильевне Борщук, составлявшей «Мартиролог» по Петроградскому району, она посоветовала найти трех свидетелей. В моем-то инвалидном состоянии!

Но я знаю рассказ одного рабочего Ижорского завода о том, что после снятия блокады массовые захоронения около жилых домов были эксгумированы и останки людей сожжены в печах Ижорского завода. Может, и так. Однако вопрос об этих штабелях остается открытым. Одна старушка в блокадном обществе сказала: «Подумаешь, устроили там промежуточный морг». Но если уж возили на грузовике, оставалось проехать два моста, а там – Серафимовское кладбище.

И еще один неприятный эпизод. Заворачиваем на Вяземский, около школы лежит труп, вроде уже раздетый, руки-ноги раскинуты, весь черный. «Туся, это негр?» – «Нет, просто почернел». Идем через день. Тот же труп, но без ноги. Еще через день – без второй ноги. Жуть! Кто-то говорит: «Может, это крысы?» Какие крысы, мороз градусов 25 или больше.

Бабушка строго дозировала пищу. Мне – чайную ложечку рыбьего жира и специально для меня супчик из крахмала с лавровым листом и перцем, такой жиденький клейстер. Она все боялась, что у меня что-нибудь склеится. Но орава родственников большая, продукты быстро заканчиваются.

Начинают умирать родные. Сначала старики. Первой умерла старшая сестра бабушки, она жила на улице Ленина. Бодрая

старушка, много возилась со мной до войны. Дочь ее работала машинисткой в штабе Балтфлота, находилась там на казарменном положении и помочь маме не могла. Но похоронить мать ее отпустили. Потом вторая бабушкина сестра, затем ее муж. Он еще успел прийти 25 декабря поздравить меня с днем рождения и подарить альбом и дней через десять умер. Как-то, видимо по телефону МПВО, дозвонились до отца – фронт-то рядом, и его отпустили похоронить, он отвез умерших на санках на Серафимовское кладбище.

25 декабря было объявлено, что увеличивается норма хлеба, сначала до 150 граммов, а потом постепенно до 200 граммов. Как-то Виктор Иванович Демидов, выступая по радио, сказал, что решение было принято, но выполнить его не смогли. Не знаю, как в других районах, но в свой день рождения я получил уже повышенную норму. Может, Петроградский в каком-то смысле привилегированный район, ведь здесь жили семьи руководителей обороны города, во всяком случае были их квартиры.

При обстреле бабушка заводила меня в ванную комнату, как будто это могло помочь.

25 декабря к нам пришел муж еще одной бабушкиной сестры, находившейся в эвакуации, Николай Александрович Кусевицкий, родной брат знаменитого музыканта Сергея Кусевицкого. Он подарил мне альбом 1812 года, который ему когда-то подарили на свадьбу. Я храню его до сих пор. Там репродукции картин, посвященных войне.

А в середине января 1942 года дядя Коля умер. Его жена и две дочери эвакуировались с одним из зятьев, начальником цеха авиазавода, еще во время боев на Лужском рубеже. Дядя Коля, музыкант, остался при своем рояле с другим зятем, рабочим ТЭЦ, одной из двух, работавших в городе. Тогда, летом, считалось, что враг к Ленинграду не пройдет. Так вот этот второй зять от голода так озверел, что не давал дяде Коле даже его хлебную норму. Дядя пришел к нам, плача, он не был старым, не знаю, дожил ли до шестидесяти лет. Бабушка покормила его таким же крахмальным супчиком, как меня, и рыбьего жира дала.

Где он похоронен – не знаю, видимо в братской могиле на Преображенском кладбище. А к его зятю после войны я никогда не подходил и не общался с ним.

С конца 1941 года шли бесконечные обстрелы, и это казалось страшнее бомбежек: там хоть видны самолеты, а при обстрелах не знаешь, откуда прилетит снаряд. И вот попало в известный дом на площади Льва Толстого (архитектор Белогруд), в нем долгое время находился кинотеатр «Арс»: одна из двух башен снесена

снарядом.

У нас во дворе – госпиталь, в него тоже стреляли, но, к счастью, ни разу не попали. При обстреле бабушка заводила меня в ванную комнату, как будто это могло помочь.

В январе пошли слухи, наверное их пускали власти: «Бондаревцы идут» (дивизия народного ополчения, командир дивизии полковник Бондарев).

Дней десять надеялись, что блокада будет прорвана. Через некоторое время: «Свиридовцы идут» (генерал Свиридов со своей дивизией).

Голод действовал на психику. Я, нормальный мальчик, каждый день обследовал бабушкин буфет в поисках кусочка хлеба, хотя знал: там его нет. Помогал кофе – очень калорийный напиток. А из гущи бабушка делала лепешки с крахмалом.

Еще одна деталь быта, может быть неприличная. Наши отходы жидкие – в ведро, а густые, вы уж извините, заворачивали в газеты и выбрасывали в форточку на кухне. Поэтому весной 1942 года прежде всего очищали придомную территорию – во избежание всякой заразы.

Во второй половине января свалилась от голода моя мама. Туся была худенькой, а мама довольно полной. Дистрофия быстро прогрессировала: голодный понос, выпали зубы, пропала речь. Пришла бабушкина двоюродная сестра, известный петроградский врач, сказала: «С Надей ничего нельзя сделать, дистрофия переходит из второй стадии в первую, а это уже необратимо».

Но вот до нас добралась сестра моего деда Мария Михайловна с мужем, старым инженером Флегонтовым. Он жил на 2-й Советской.

Голод действовал на психику. Я, нормальный мальчик, каждый день обследовал бабушкин буфет в поисках кусочка хлеба, хотя знал: там его нет.

Он был изобретателем снегоуборочной машины. Очень гордился своим изобретением. В то же время патологический антисемит, говорил: «Вот придут немцы, вас всех повесят». Тем не менее именно он назвал имя врача, который сможет оживить Надю. Врач, Алексей Иванович, тоже жил на 2-й Советской.

Он пришел, высокий, худощавый, всех нас выгнал из комнаты и что-то делал с мамой. Что – мы не знали, а она говорить не могла. Таких сеансов было 10 или 12.

Но в результате произошло чудо. В марте мама стала подниматься. Оказалось, у Алексея Ивановича с довоенных

времен сохранился запас больших ампул с аскорбиновой кислотой. Он делал маме питательные клизмы. И вот она ожила.

Но за каждый визит надо было отдавать врачу 400 граммов хлеба или дуранды. Дуранда ценилась больше, это ведь естественный продукт.

Мы с бабушкой ходили на Дерябкинский рынок (после войны он стал «Приморский», потом там построили магазин «Океан» – на Малом проспекте Петроградской стороны). Там мы меняли вещи на хлеб. Вспоминается такой случай. Единственный приличный бостоновый костюм отца мы обменяли на 900 граммов хлеба. А тут появился патруль. Продавца взяли, завели за угол, там, где хозяйственный магазин, и по законам военного времени расстреляли. Мы с бабушкой спрятались в каком-то подъезде на всякий случай. А через пару дней – следующий поход на рынок, другой продавец.

Так мы сменяли все более или менее приличные вещи, но маму спасли. Ни кусочка из обменянного хлеба или дуранды мы сами не ели.

Единственный приличный бостоновый костюм отца мы обменяли на 900 граммов хлеба. А тут появился патруль.

Продавца взяли, завели за угол, там, где хозяйственный магазин, и по законам военного времени расстреляли. Мы с бабушкой спрятались в каком-то подъезде на всякий случай.

Не обошлось и в нашей семье без неприятного случая, о котором я узнал только через сорок лет, в начале 80-х годов.

После похорон одной маминой родственницы я спросил, а что стало с бабушкиной племянницей Асей, она ведь жила на Карповке некоторое время. Дочь покойной, моя троюродная сестра, родившаяся после войны, сказала: «Ты же знаешь, она была на девятом месяце беременности. Твоя мама умирала, и она ушла от вас с ее карточкой. В феврале она родила, и вот здесь ее сын. – Я не знал, что Ася была беременна, за мои девять лет никто из близких не рожал, я этого не понимал. – Ну как это, ты что, не видел большого живота?»

А после войны она боялась прийти к бабушке.

Асин сын подошел ко мне и спросил, какой была его мама в молодости, я растерялся, сказал какую-то глупость. Но бабушка наверняка все знала и никаких разговоров на эту тему никогда не вела.

Жаль, что Ася потом не появилась с маленьким сыном, не обняла свою двоюродную сестру Надю, тетю Маню. Ася обладала

оригинальной внешностью: глаза чуть раскосые, как у китаянки, голос чуть сипловатый, рост небольшой. Очень приятная, а то, что перед родами ей надо было есть, это наверняка бы все поняли.

Приближалась весна. Бомбежек я уже не помню, а обстрел стал какой-то обыденной деталью быта. Госпиталь под окнами, в него все стреляли, но ни разу не попали, хотя снаряды кругом рвались, стекла летели. Из окна было видно, как люди привозят своих умерших родных на санках и оставляют их около сарая, превращенного в морг. Однажды увидели, как какой-то человек что-то выворачивает из челюсти покойника. Яша спустился вниз, сумел отогнать мародера.

Дедушкин госпиталь из разбомбленного Инженерного замка перевели в Александро-Невскую лавру, и мы туда попасть не могли.

То ли в марте, то ли в апреле, когда стало таять, власти решили восстановить водопровод и канализацию. Оказалось, все специалисты в этой области находились в армии или в ополчении. По распоряжению Жданова отозвали из армии десятка два инженеров и несколько десятков рабочих-сантехников. В числе отозванных из армии был и мой отец, по основной специальности, как теперь говорят, «фабрично-заводское строительство». Не знаю, в каком районе он восстанавливал, но не в Петроградском.

Случился такой эпизод. Рабочие везли на телеге трубы. Лошадь – или старая, или больная – упала и умирала. Рабочие пытались ее поднять – никак. Тогда они ее прирезали, разделали и разделили между собой. Часть ноги отдали своему начальнику – моему отцу.

Но, поскольку они зарезали еще живую лошадь, этим занялось НКВД, нервы потрепали, но дело все же заглохло.

Мясо с ноги мы отдали бабушке, а сами на Шамшевой сварили кость. Бульон тоже отнесли на Карповку, но есть его надо было очень осторожно, желудки-то уже отвыкли. Потом распилили кость и сварили еще раз, а потом и в третий.

К маю водопровод работал, вода текла, не надо было больше ходить на Неву, и канализация тоже заработала. Вода, правда, подавалась не все время.

Отца обратно в армию не взяли. Он устроился на завод «Электрик», поближе к дому.

Вероятно, в конце апреля, а может, уже в мае жителям Петроградского района раздавали семена для выращивания овощей в Ботаническом саду. Все дворы перекопали, устроили грядки: турнепс, зелень, морковка. Картошки не было. Площадь,

где теперь памятник Тарасу Шевченко (все уже забыли, что после смерти Жданова ее назвали площадь Жданова), – это огород при госпитале. Когда там стали появляться росточки зелени и мальчишки их таскали, работники госпиталя, если удавалось, ловили мальчишек и сажали в сарай, где морг. Погода уже теплая, трупы разлагаются, наказание суровое. Я, правда, в этих «акциях» не участвовал.

Первым овощем был турнепс. Он рос очень быстро, большие плоды, сочные, вкусные, а ведь считается кормом для животных.

Но я вернусь в начало весны. Мы, трое мальчишек: Паша Виноградов, Вадик, я – и одна девчонка, дочь дворничихи Люська, – собирались в подвале и покуривали (мой дядя, авиамеханик, перед войной приезжал в отпуск и оставил несколько пачек «Звездочки» – папирос «Красная Звезда», еще их называли «гвоздики» – очень тоненькие). Голова кружилась, но мы пытались быть взрослыми.

Я – главный рассказчик. Только что прочитал книжку «Мадам Во. Воспоминания проститутки» (мне ничего не запрещали читать). Всерьез обсуждали и были уверены в том, что в половые связи вступают только проститутки. Про беременность не знал, а про проституток знал.

Иногда заходим в дворницкую к Люське, под аркой дома № 20. В первый раз зашел и ошалел: это просто музей красивой мебели из красного дерева. Была такая практика в блокадную зиму: дворники знали всех жильцов, и, когда кто-нибудь уже не мог ходить за хлебом, за водой, дворники помогали этим людям, а когда те умирали, дворники забирали хорошую мебель, а может, и что-нибудь другое.

Была такая практика в блокадную зиму: дворники знали всех жильцов, и, когда кто-нибудь уже не мог ходить за хлебом, за водой, дворники помогали этим людям, а когда те умирали, дворники забирали хорошую мебель, а может, и что-нибудь другое.

Но сейчас о хорошем. На 1 мая директор школы на Плуталовой (теперь – гимназия № 46), работавшей всю блокаду, пригласил всех окрестных детей на торжественный обед. Я там никогда не учился, но и я был приглашен. Сели за длинные столы, нам дали суп из хряпы, паштет из одуванчиков (хотя какие одуванчики 1 мая) и кисель – розовый, на сахарине. Кисель давали в добавку. Видели бы вы светящееся лицо директора, которому удалось организовать для ребят такой пир!

А ведь обстрелы продолжались. Правда, тогда уже было известно, что Говорову удалось наладить контрбатарейную

борьбу.

Поэтому по радио говорили: «Начинается обстрел Петроградской стороны», – а завтра – другого района.

Мама в мае уже понемногу ходила. Это было просто здорово! Я уже собирал понемногу крапиву и лебеду на месте нынешнего ДК им. Шелгунова. Мы ели лепешки из лебеды, салат из крапивы и уже с зеленым луком.

Еще один памятный летний день. Мой родственник, муж одной из теток, инженер-капитан второго ранга, служил на одном из кораблей на Неве. Его на день отпустили, и он как-то договорился с детсадом в парке Лесотехнической академии о фотографировании детей. Он прихватил меня с собой, мы туда дошли, детей он сфотографировал, нас за это покормили.

На август была намечена эвакуация завода «Электрик».

11 августа мы собрались на Финляндском вокзале, сели в вагоны.

Артобстрел. Все вышли, опять сели, и так – трижды. Потом все же поехали, добрались часам к шести до Борисовой Гривы. Там всех высадили. С вещами, по мелколесью, пошли к Ладожскому озеру. (Кто-то по радио говорил, что их везли к озеру на машинах. Нет, нас не везли, мы шли сами.) На берегу нас предупредили, что в предыдущую ночь немцы разбомбили несколько катеров, кто боится – может уйти назад. Никто не ушел, да и куда идти?

Когда стемнело, посадили на двухтрюмный тендер (так, кажется, назывались эти катера). Трюмы – квадратные отверстия, открытые, с высоким комингсом. В трюмах – вещи, сидим по краям комингсов.

Идем ночью. Приходим к узкой эстакаде, на ней открытая платформа. Матросы вытаскивают из трюмов рюкзаки, чемоданы, бросают на платформы. Некоторые вещи падают в воду, люди плачут, но никто за вещами в воду не лезет.



За полгода до смерти – в июне 2005 г.

Нас, наверное в теплушках, везут на станцию Кобона. Мой отец – начальник эшелона. В Кобоне выдают огромный паек: хлеб, концентраты гречки, тушенку, еще что-то. Нас сажают в теплушки, вижу, как некоторые люди грызут концентраты и тут же, у вагонов, умирают. У нас бабушка кладет наши пайки в мешок и выдает по маленькому кусочку хлеба.

И вот мы едем. Отец как начальник эшелона где-то в передних вагонах. В нашем вагоне умирает одна старушка. Люди хотят выбросить тело на ходу. Тут возникает фигура Тоси Гришковой: молодая, стройная, с редкой тогда медалью «За трудовые заслуги», простая работница завода. Звонким голосом она сказала: «Так нельзя. Будет остановка – сдадим». Ее слушаются.

И еще. Станция Буй Горьковской области.

Отцу выдают два бумажных мешка воблы. Весь состав, несколько сотен человек, готовы расхватать эти мешки. Опять встает Тося, говорит: «1-й вагон – 10 штук. 2-й вагон – 10 штук» и т. д.

С Тосей мои родители поддерживали дружеские отношения до конца своей жизни и я – тоже. Она дожила до 90 лет, умерла в 80-е годы. Ас ее дочерью и ее семьей я до сих пор общаюсь.

Мы приехали в Чебоксары, в Чувашию.

Так началась моя вторая эвакуация.

Страшнее всего была мысль, что мама погибла!
Петрова Мира Александровна, 1935 г. р

Когда началась война, мне не было ещё шести лет, а моему брату Саше только что исполнилось четыре года. Когда в Ленинграде началась эвакуация из города школьников и детей детсадовского возраста, нас эта кампания не коснулась, так как мы в детский сад не ходили, а воспитывались бабушкой. Вместо эвакуации мама отправила нас к своему брату в деревню Старое Колено, расположенную недалеко от Сиверской. Однако долго прожить в этой деревне нам не удалось. Однажды рано утром мы проснулись от грохота и дребезга окон в доме. Было страшно, мы плакали, Саша от испуга после этого долго ещё заикался. Оказалось, немцы бомбили аэродром в Сиверской. Вскоре за нами приехала мама. Пассажирские поезда к этому времени уже не ходили, но маме удалось погрузиться в какой-то санитарный поезд, остановившийся на платформе, на котором мы и вернулись в Ленинград.

> Перед отправкой на фронт к нам зашёл мой двоюродный брат Петя, курсант Артиллерийского училища. По этому случаю мы все вместе съели последнее, что у нас было: баночку килек и несколько картофелин. После этого у нас не осталось ни крошки съестного, а Петю мы больше так и не увидели, он погиб на войне.

Мы жили в большом деревянном доме на окраине города, и к тому времени, когда мы вернулись, наш двор был весь перекопан траншеями, заменявшими бомбоубежище. Начались бомбардировки города. Окна в доме были заклеены бумажными полосами, и, как только начиналась бомбёжка, мама брала мешочек с детскими вещами и мы выскакивали из дома. Недалеко от нас находились заводы: «Металлический», «Арсенал», «Красный Выборжец» – и из наших окон было хорошо видно, в какой из заводов попали бомбы. Постепенно мы привыкли к бомбёжкам и престали выбегать из дома, хотя казалось, что горело всё вокруг. Вскоре бабушку парализовало, и вопрос о нашей эвакуации из города отпал сам собой.

В первых числах ноября перед отправкой на фронт к нам зашёл с группой однокурсников мой двоюродный брат Петя,

курсант Артиллерийского училища. По этому случаю мы все вместе съели последнее, что у нас было: баночку килек и несколько картофелин. После этого у нас не осталось ни крошки съестного, а Петю мы больше так и не увидели, он погиб на войне.



Мира Штрота (слета)

К этому времени норма хлеба по карточкам была уменьшена до минимума, и начался голод. Саша постоянно плакал, просил поесть, но еды не было. Я молчала, понимала, что просить бесполезно, только смотрела на часы, ждала, когда мама придёт и хоть что-нибудь сварит. Мама пробовала сварить суп из фикуса, молола сено, но ничего не получалось. В феврале умерла бабушка. Я всю зиму на улицу не выходила, но как-то держалась на ногах, а Саша вообще перестал ходить. Весной его отправили в стационар и немножко подкормили – так, что он не хотел уходить

оттуда домой. У мамы развилась цинга, ноги покрылись язвами. С наступлением тепла мы стали собирать разные травы, пригодные для еды. Крапива не успевала вырастать, её съедали на корню. Я особенно усердно собирала лебеду, из которой мама делала вполне съедобные лепёшки. Однако увлечение лебедой не прошло даром: я сильно отекла, в особенности отекли лицо и руки. Откуда-то появилась не известная никому до войны дуранда, она казалась нам лакомством вкуснее конфет. Понемногу увеличивали норму хлеба, жизнь постепенно стала налаживаться.

> Саша всё время мечтал, что, когда кончится война, мама купит ему пять буханок хлеба и он их все сразу съест. Думал, что меньшим количеством он не наестся.

Саша всё время мечтал, что, когда кончится война, мама купит ему пять буханок хлеба и он их все сразу съест. Думал, что меньшим количеством он не наестся.

За годы блокады мы рано повзрослели, хотя по возрасту оставались детьми. Летом 1941 года я ещё была капризным ребёнком, одевавшимся с помощью бабушки, а весной 1942 года уже не только полностью сама себя обслуживала, но и во всём помогала маме. Осенью 1943 года я пошла в первый класс. Ключей у меня не было, и ко времени окончания занятий мама, которая работала неподалёку от нашего дома, приходила, чтобы впустить меня домой. А Саша всю первую половину дня сидел взаперти. Жизнь несколько улучшилась, но бомбёжки не прекращались, а временами их интенсивность даже увеличивалась.



Мира Петрова (в центре) с подругами, 1950 г.

Вспоминаю такой эпизод. Однажды я пришла домой из школы, но мамы не было. Мы с Сашей переговаривались через открытую форточку и поначалу не очень беспокоились. Но время шло, начинало темнеть, хотелось есть, а мама всё не появлялась, и мы не знали, где она. Началась очередная бомбёжка, нам было страшно, и страшнее всего была мысль о том, что мама погибла, и мы остались одни. Соседка, увидев меня плачущей у дверей дома, пригласила к себе и даже предложила кусочек хлеба. Есть хотелось страшно, но в голове вертелась мысль, что хлеб придётся отдавать, а неизвестно – будет ли он у нас, и я отказывалась, говоря, что сыта. На счастье, тут появилась мама, живая и здоровая. Оказалось, она была командирована в центр города, попала под обстрел и оказалась в бомбоубежище, откуда её долго не выпускали.

В 1944 году, после снятия блокады, бомбёжки и обстрелы

прекратились, а скоро и война подошла к концу. Хорошо помню День Победы в мае 1945 года. Был тёплый и солнечный день, и казалось, что после такой войны и такой победы будет бесконечный мир и сплошное счастье. Очень этого хотелось.

Мы с мамой выжили, потеряв всех родных
Павлова Светлана Михайловна, 1936 г. р

Я родилась в 1936 году в Ленинграде. Когда началась война, мы жили на Геслеровском проспекте, в квартире, где было две семьи:

моя: папа – Писаров Михаил Федорович, мама – Погодина Наталия Николаевна и двое детей – я и мой брат Костя, 1940 года рождения;

вторая семья – это семья сестры моей мамы: Петр Васильевич Дежорж, его жена Антонина Николаевна и два сына, Николай и Лев.

Так случилось, что мы остались в блокадном Ленинграде. Отец ушел на фронт, а в ноябре мы получили известие, что он пропал без вести. И до сих пор о нем ничего не знаем.



Света (слева) с мамой и братиком

Начался холод, голод, как у всех ленинградцев. Мы поселились в одной комнате, поставили буржуйку; на нее клали кирпичи, чтобы их положить в постель для согревания.

Мой маленький братик, только начавший говорить, произносил целую речь по вечерам: «Мама, пич (кирпич) к нёнькам (ножкам)». В комнате темно, окна занавешены, все теплое клали сверху на одеяла.

Воды в водопроводе не было, а над туалетом выросла гора льда и не таяла.

Рано утром мама уходила отоваривать хлебные карточки. И вот однажды она вышла из дома, и ее внимание привлек труп человека, лежавший на рельсах метрах в двухстах от нашего дома. Ей показалось что-то знакомое, и она подошла. Ужас! Это был ее племянник – шестнадцатилетний Левушка, он был мертв, раздет до нижнего белья, и даже кончик носа примерз к рельсам.

Левушка окончил девять классов и был взят в военное училище, откуда на воскресенье приходил домой. Но в тот день он немного не дошел до дома. Мама ничего не сказала сестре, а та была уверена, что ее сын жив.

В январе из Ленинграда эвакуировались сестра Антонина и ее сын Николай. Но в дороге она умерла, а Николай выжил. Он не вернулся в Ленинград.

Моя мама по профессии учитель, и поэтому в начале 1942 года ее взяли на работу в детский дом. Вместе с мамой была и я в детском доме, а вот братика не разрешили взять и направили в детские ясли. Иногда я и мама приходили проведать Костеньку. Шли пешком с Охты на Петроградскую сторону навещать малыша. Однажды, когда мы шли по Свердловской набережной, где стоял транспорт, занесенный снегом, там лежали трупы лицом вниз, а очень большой человек лежал на спине около ограды из львов. Проходя мимо, я посмотрела на лицо: у него были вырезаны щеки…

Наступил апрель. Мы пошли навестить Костеньку, но оказалось, что он умер, не дожив до двух лет одной недели. Дома мы взяли сундучок, он пришелся как раз по длине нашего мальчика, положили его туда, и какой-то мужчина помог отвезти его на Серафимовское кладбище. Там было много трупов, лежавших на снегу. Мы сняли сундучок и поставили на снег около сугроба.

Мы с мамой выжили, потеряв всех родных. Сегодня уже нет в живых и моей мамы.



Я стараюсь каждое 9 мая ходить на Серафимовское кладбище и кладу цветы на братскую могилу, где стоит дата «1942 год». Наверное, там лежат мои родные братья: Костя и Левушка.

После войны я закончила школу, поступила в Институт имени Герцена на исторический факультет и более пятидесяти лет проработала в школе Калининского района.

Один день блокады
Воскресенский Борис Георгиевич, 1930 г. р

21 сентября 1941 года. Кронштадт.

Утром я со своими друзьями собирал осколки от разрывающихся в небе снарядов, выпущенных из зенитных орудий по немецким самолетам. Накануне был налет, несколько самолетов прорвались к городу.



Мне тогда, как и многим моим друзьям, было около одиннадцати лет, но один из нас, Рыжик (называли его так из-за густых рыжих волос), был старше на три года. Крепкого телосложения, мускулистый, немного неуклюжий, но решительный и смелый, он пользовался уважением со стороны всех ребят. Его слушались, ему подчинялись, с него брали пример. Ему отдавали все найденные осколки – мальчишечье богатство.

Мы с Рыжиком при объявлении воздушной тревоги никогда в убежище не бегали. Считали, что только трусы убегают от бомб, но, скорее всего, причиной являлось то, что после сирены и до

отбоя тревоги в городе, как правило, стояла тишина. К городу немецкие самолеты не подпускала наша зенитная артиллерия.

К сентябрю в Кронштадтском районе и на подступах к нему были сосредоточены большие оборонительные силы, в том числе и зенитно-артиллерийские. Противовоздушную оборону обеспечивали два зенитных полка и четыре отдельных зенитных дивизиона. Достаточно большое количество зениток имелось на крейсерах «Киров» и «Максим Горький», линкорах «Марат» и «Октябрьская революция», лидере «Минск», эсминцах, сторожевых кораблях, катерах, на Кронштадтских фортах.

Примерно в 11 часов вновь завыли сирены и знакомый голос по городской радиосети объявил: «Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога!»

Мы с Рыжиком, как всегда, остались на улице. Но в этот раз тишину прервал нарастающий гул самолетов. Он становился все сильнее и ближе. Загрохотали зенитки. Не так далеко от нас, в небе над морским заводом и военно-морским госпиталем, неожиданно появилось много фашистских самолетов. Несколько минут они медленно (как нам тогда показалось) парили на большой высоте, а затем, как кровожадные орлы, бросались в пике. Мы услышали глухие взрывы бомб, а затем увидели зарево пожара над заводом и госпиталем.

> Первая бомба угодила в центр пищеблока. Если бы мама открыла дверь на несколько мгновений раньше, то лежала бы там – рядом с погибшим или тяжелораненым персоналом.

Два самолета вспыхнули огнем и, оставляя за собой длинный след дыма, падали.

– Ура! Сбили! – радостно кричал Рыжик.

И вдруг… Это произошло молниеносно. К нам с оглушительным воем на самой малой высоте приближался самолет. Все ближе и ближе. Я даже видел лицо пилота. Мне тогда показалось, что летчик издевательски посмеивается над нами.

«Вот она, моя смерть!..» – почему-то мигом подумал я и заметил, что мы с Рыжиком без команды легли, прижавшись к земле. Раздалась пулеметная очередь. Где-то рядом просвистели пули. А затем – тишина.

– Пронесло, Боб, вставай, – тихо промямлил Рыжик. Голос его заметно дрожал.

Мы огляделись вокруг. Огонь пылал теперь не только над заводом и госпиталем, но и над другими местами города. Виден он был и на рейде, где находились боевые корабли.

Непонятное, какое-то смешанное чувство охватывало меня: и то, что немецкие пули не задели, поэтому я избежал смерти; и предчувствие какой-то беды. В моей памяти проскочила мысль о том, что в это время мать находилась на дежурстве в госпитале. Она там работала телефонисткой и сейчас должна находиться за коммутатором. Я поспешил домой.

Меня встретил отчим, который только что вернулся с ночного дежурства.

– Мама там – в комнате. Она ранена, – почему-то тихим, глухим голосом произнес он.

На кушетке сидела женщина в белом халате и перевязывала маме руку; сквозь бинты просачивалась кровь. Шея тоже перевязана. На лице кровавые ссадины, замазанные йодом…

Дежурство началось в 10 часов утра.

> Когда мы вышли из дома, я взглянул на небо и увидел страшную, ужасную картину. В небе было черно от бомбардировщиков. Группами по 20–30 они поочередно с воем пикировали, бросая бомбы.

На телефонной станции, кроме мамы, находился мичман, перебирающий и прозванивающий провода на кроссе.

– Костя, – обратилась мама к нему, – посиди, пожалуйста, за коммутатором.

Я забыла взять из дома сахар. Схожу в пищеблок, попрошу пару кусочков. Хочу чайку попить.

Она подошла к батарее пищеблока.

И когда собиралась открыть дверь, какая-то мощная сила оттолкнула ее и отбросила к противоположной стене. Резкая боль в руке и одновременно в шее. Раздался сильный грохот, коридор быстро заполнялся дымом и гарью. Нечем было дышать. Раздался еще один грохот – чуть дальше.

Первая бомба угодила в центр пищеблока. Если бы мама открыла дверь на несколько мгновений раньше, то лежала бы там – рядом с погибшим и тяжелораненым персоналом.

Ей предложили остаться в госпитале, но она неумолимо стремилась домой. Там – дети, ей нужно знать, что с ними. Мать есть мать.

Затишье продолжалось очень недолго. Отбоя тревоги не было. Вновь нарастал гул самолетов.

– Собирайтесь, – сказала мама, – нужно идти в убежище.

На сей раз отволынить от посещения убежища мне не удалось, нужно было помочь раненой маме. Отчим, как и Рыжик, принципиально не посещал убежище.

Когда мы вышли из дома, я взглянул на небо и увидел

страшную, ужасную картину. В небе было черно от бомбардировщиков. Группами по 20–30 они поочередно с воем пикировали, бросая бомбы. Вой пикирующих «юнкерсов» и грохот разрывов бомб сотрясал воздух. В небе вспыхивали огни наших зенитных снарядов.

Убежище было недалеко, нужно было перейти только проезжую часть улицы. Оно находилось в подвальной части двухэтажной поликлиники и спасало только от ударной волны или от осколков; от прямого попадания бомбы оно спасти не могло, нас бы просто завалило. Кроме того, все, что происходило вне убежища, отлично прослушивалось внутри него.

Среди хаоса звуков внезапно стал нарастать отличный от всех звук. Это был все ближе звучащий визг пикирующего самолета. Было всем ясно, что фашистский пилот намерен бросить свой смертельный груз на поликлинику.

В глазах у всех людей ужас, почему-то открыты рты, тела судорожно съежились и прижались друг к другу.

Сильный грохот вместе с каким-то незнакомым металлическим скрежетом вдруг оглушил уши. Одновременно сильно затряслись стены, пол, потолок. Упали металлические кружки с бачков для кипяченой воды. Из щелей, которые появились в стенах, в убежище повалил густой дым. Вход в убежище завалило. Завал откопали сравнительно быстро.

Когда мы вышли, я увидел полностью разрушенный двухэтажный деревянный, стоящий около поликлиник дом. Конечно же, фашист метил в поликлинику, но промазал.

На месте разрушенного дома была груда перекрытий, досок, остатков вещей, печных кирпичей, разбросанное белье, одежда. Еще дымились не успевшие догореть разные деревянные части.

Около этого хаоса разрушений стонала мать Рыжика. Она в безумии устремлялась в это пекло, в эти остатки дома. Ее удерживали двое мужчин.

– Сыночек мой родной, – громко причитала она, обливаясь слезами и содрогаясь от горя. – Ну почему ты не укрылся? Почему не убежал из дома? Как я буду жить одна без тебя?..

Так жутко и печально закончился для меня этот день —21 сентября. В 18:00 радио оповестило об отмене воздушной тревоги.

В этот день к Кронштадту прорвалось 180 фашистских самолетов. Было сброшено более 500 бомб. Сильно пострадал Морской завод. В Морском госпитале были разрушены приемное и терапевтическое отделения, пищеблок, теплоцентраль, водопровод, канализация. Погибли в госпитале 53 человека, 58 человек (в том числе и мать) получили ранения. Были

повреждены многие боевые корабли.

Мы тогда не знали, что впереди еще будут бомбежки и артобстрелы, отсутствие отопления, электричества, канализации и ни с чем не сравнимый изнуряющий голод.

Но это уже другая история, другая глава воспоминаний.

Без вины виноватые
Некрасова Айли Егоровна, 1937 г. р

Я родилась 28 сентября 1937 года – страшное время репрессий в России. Деда расстреляли как раз перед моим рождением, потом уже узнали, что он похоронен на Левашовской пустоши.

Жили мы тогда под Ленинградом, в деревне Мистолово Парголовского района. И в деревне, и в окрестностях города все церкви были закрыты, поэтому крестить свою дочь – Айли Ранинен, то есть меня, мои родители Хильда и Егор оправились в Ленинград. Крестили в немецкой церкви на Невском проспекте – только ее тогда и нашли открытой.

Началась война… Отец сразу же был призван в армию и вскоре пропал без вести. Помню вой сирены в Ленинграде, которая предупреждала о налете фашистской авиации (в деревне она тоже была хорошо слышна), бой самолетов в небе… Обычно деревенские жители прятались в землянки, но я, если вдруг мама отсутствовала, гуляла по деревенским улицам и гордо заявляла, что меня, мол, немцы не убьют, потому что я крестилась в немецкой церкви.

Вскоре узнали, что такое голод… Мама ходила на торфоразработки, а меня закрывала в доме одну на целый день. Хорошо помню такую картину: солнечный день, на кухне у окна скамейка. Я стою на ней и смотрю в окно. К нашему дому подошла какая-то тетенька и постучалась. Но на двери висел замок. Она села на ступеньку, прислонилась спиной к двери и… умерла.

К нашему дому подошла какая-то тетенька и постучалась.

Но на двери висел замок. Она села на ступеньку, прислонилась спиной к двери и… умерла.

Я прекрасно видела ее через стекло – у нее из-под платка ползли вши. Мама пришла, оттащила ее от двери в снег.

Мама брала с собой на работу бидончик и свою порцию, что ей давали на обед, делила пополам и приносила мне.

Еще им давали к пайку отруби. Мама рассказывала, что однажды вечером возвращалась домой, а навстречу ей – мужчина. Еле идет, качается, голодными глазами смотрит на бидончик… Подошел, начал его отнимать. Мама сумела его оттолкнуть и убежать. Оглянулась – а он, как упал на землю, так и лежит,

подняться не может, так ослабел.

Рядом с нашим домом жила мамина сестра – у них в подполе осталась мелкая картошка. Иногда она приходила и брала меня к себе, угощала вареной картошкой. Я картошку чистила и очистки приносила в подоле маме. Однажды тетя это заметила и спросила, зачем я собираю очистки. Я ей ответила, что мама тоже картошки хочет.

Так вот эти очистки, отруби и щи, что ей давали, мама соединяла вместе и пекла лепешки. Мне говорила перед уходом на работу: «Айли, спи долго, как встанешь – съешь одну лепешку, потом подожди…» Конечно же, как только мама переступала порог, я сразу же вставала и съедала все лепешки, а к маминому приходу была очень голодная и встречала ее словами: «Мама, хлеба!»

В первую блокадную зиму умерло очень много народу. Весной ехали тракторные сани и собирали покойников. Могилы копать было некому, и трупы сложили в подвал одного дома (самого дома уже не было, его разбомбило). Кстати, уборкой трупов на улицах занимались две молоденькие девушки, одна из них была фельдшер, только-только после училища. Так она, представляете, так всю жизнь потом у нас в деревне и проработала! А вторая девушка – почтальон. У них были русские фамилии, поэтому их не выселяли.[1]

После войны на месте этой братской могилы наших сельчан был поставлен крест – памятник погибшему летчику… Те, кто остался жив и помнил то страшное время, много лет приходили на это место 9 мая, чтобы почтить память родственников и соседей… Теперь уже, конечно, приходить на могилу некому, ушли из жизни все, помнившие ужасы той страшной войны. Из деревни в 260 дворов остался один вросший в землю заброшенный домик…

25 марта 1942 года нас с мамой и ее сестрой по Дороге жизни вывезли через Ладогу в Кобону. Полуторки ехали, утопая колесами в воде, с двух сторон – полыньи от бомб…

Наконец добрались до Кобоны, нас накормили. Народу было так много, что хлеб не успевали выпекать. Кто ж тогда знал, что свежий хлеб нельзя есть людям, голодавшим много дней? От этого тоже многие тогда умерли…

> Мама спала внизу, и ее платье за ночь примерзало к стенке… Она сильно простудилась, поднялась температура, образовался большущий флюс. Однажды, когда мама снимала меня с верхнего яруса нар, поезд дернул, и я случайно ударила ее ногой по щеке.

Флюс прорвало, ей стало легче.

Затем нас погрузили в товарные вагоны. Посередине – железная печка-буржуйка и нары, нары… У печки дежурили по очереди, чтобы хоть как-то поддержать тепло. Мамина сестра заняла место наверху, на ночь меня тоже брали туда.

Мама спала внизу, и ее платье за ночь примерзало к стенке… Она сильно простудилась, поднялась температура, образовался большущий флюс. Однажды, когда мама снимала меня с верхнего яруса нар, поезд дернул, и я случайно ударила ее ногой по щеке. Флюс прорвало, ей стало легче.

В дороге нас сопровождали конвоиры в белых полушубках. С виду все выглядело так, что о нас заботятся, берегут… Но это было не так.

Наконец приехали в Сибирь, в Красноярский край, в местечко Карасук. Там местные – киргизы и хакасы – закрывали окна ставнями: боялись. Слава, что едут людоеды, бежала впереди нас.

Маму сразу же отправили на лесозаготовки. Лес возили на быках, женщины вначале боялись к ним подходить, потом привыкли, научились надевать ярмо. За хлебом ездили в Красноярск на крытой повозке.

Но вот война закончилась, и мама решила ехать со мной домой, в Ленинград. Как она упросила директора отдать ей паспорт – неизвестно. Билетов на поезд не было, не было и денег. Из вещей – только маленький узелок (смена белья да синий чайник).

Проводница, которая позволила нам сесть в вагон без билета, показала, куда прятаться, если вдруг нагрянет проверка, особенно на остановках. Потом на одной из станций проводницу кто-то ударил фанерным чемоданом по голове, ее увезли в больницу. А нас обнаружили и ссадили с поезда.

Потом маме снова удалось сесть со мной на поезд – теперь уже в вагон, который наполовину был завален камнями. Еды не было, воды не было… На остановках мы осторожно вылезали из вагона и через тряпочку пили воду, которая стояла между шпалами на железнодорожном полотне…

На одной из станций дежурный в красной фуражке нас «засек», повел на станцию, но тут обнаружились еще какие-то безбилетники, он задул в свисток, побежал в их сторону, а мы бочком-бочком да сели опять на поезд – уже с другой стороны. Забрались в тамбур между вагонами и так проехали до следующей станции. Потом ехали на платформе, груженной колесами для вагонов. Там зайцев типа нас было много. Так, представляете, до драки дело доходило! Уж и не вспомню, по

какому поводу. Мы не знали, куда нам и деваться, – бегали по платформе из угла в угол, пока мужики да бабы дрались. Потом удалось проехать еще какое-то расстояние вместе с отрядом солдат – они нас прятали между ногами от проверяющих.

Вот так мы и ехали – целый месяц! А когда наконец доехали до Ленинграда, вокзал был оцеплен и без пропуска-вызова всех приезжающих отправляли обратно. Мы с мамой тихонько пошли по рельсам в обратную сторону и в конце концов как-то вышли в город.

Нас приютила мамина знакомая – тетя Таня. Увидев, в каком состоянии я и мама, она пришла в ужас. Первое, что мама спросила: «Таня, а бани работают? Отправь нас в баню». Тетя Таня собрала нас в баню, а там я все просила, чтобы мне дали воды погорячее – тело горело от грязи и вшей.

После бани мама выбросила наше белье в урну на улице. Меня накормили, уложили в постель, а мама проговорила с тетей Таней всю ночь.

Утром мама отправилась со мной в Токсово, в милицию. Нам дали 24 часа, чтобы мы покинули черту города…

Но мама не сдалась, она у меня женщина решительная: мы пешком пришли в деревню Мистолово, где я родилась, и тетя Шура-почтальон пустила нас к себе в баню переночевать.

На следующий день приехал милиционер на лошади – проверить, здесь мы или уехали. А мы-то в Ленинград рано утром ушли. Пешком! Денег на проезд не было…

И моя мама, представляете, направилась в Большой дом на Литейном, сказав, чтобы ее пустили к самому большому начальнику. На что ей ответили, что к нему на прием нужно ждать месяц, и записали ее.

И вот нам нужно было как-то прожить этот месяц. К тому времени поспела черника. Мы каждый день ее собирали, и у нас ее покупала одна продавщица в Парголове. На эти деньги и выживали.

Наконец наступил день приема. Идем с мамой по улице, а навстречу – женщина с дочкой, у той в руках – кукла. Мама поинтересовалась, где купили игрушку, и пообещала мне, что если наш вопрос разрешится положительно, то она мне тоже такую же куклу купит.

Провели ее на прием к начальнику. Вопросов было много: откуда мы приехали, каким образом добрались до Ленинграда, где она сейчас живет…

Мама расплакалась и все подробно рассказала: что приехала за 8000 километров, что ее дочке, то есть мне, вот-вот восемь лет минет, а школы в тех краях нет, что дом в деревне, где она жила с

семьей до войны, стоит на месте, что она же, в конце концов, не шпионка… И т. д.

Затем начальник поинтересовался, где же мы жили все это время. «В канаве около дома», – ответила мама. – «Была ли в милиции по приезде?» – «Была, приказали убраться в 24 часа», – и показала резолюцию на заявлении.

На этом же заявлении этот большой начальник написал: «Дом освободить для проживания, после проверки трудоустроить». И мы снова отправились в токсовскую милицию.

Дом действительно освободили, мама пошла работать, а я – в школу. Но радость была недолгой. В 1947—48 годах нас снова выселили, пришлось переехать в Карелию, в Кудомо, а потом и в Салми, в Вилге (под Петрозаводском).

Я уже училась в седьмом классе и написала письмо Сталину. Выписала из Конституции, что в нашей стране нет никаких привилегий никаким народам, никакой нации. Это был уже 1953 год. Умер Сталин, мы с мамой переехали в город Апатиты Мурманской области. Туда мне и пришел ответ от Маленкова: «Можете ехать домой». Но мама уже заключила договор на пять лет на работу.

Позже мы все же вернулись домой, я вышла замуж, у меня родились две дочери. Мужу дали квартиру, куда мы все и переехали.

Несколько лет назад я похоронила мужа, мама, разумеется, умерла еще раньше. Сейчас вместе со вторым мужем и дочерями – Татьяной и Любовью – переехала на постоянное место жительства в Финляндию, в город Иматру. Надеюсь, отсюда нас уже никто не выгонит…[2]

Как мы с мамой спасали отчий дом
Лев Яковлевич Шервуд, 1932 г. р

Кандидат технических наук, изобретатель-разработчик уникальных приборов и устройств для регистрации землетрясений, электрических и магнитных полей.

Первая блокадная зима

Начало Великой Отечественной войны вместе с мамой и отчимом я застал в Ленинграде. Мне было 9 лет.

Проживали мы в коммунальной квартире вместе с интеллигентной татарской семьей Хаджи-Касумовых в доме на углу Мошкова (ныне Запорожского) переулка и улицы Халтурина (ныне Миллионной). Их семья состояла из бабушки, ее дочери, имен которых я не помню, а также двоих детей: девочки Марианны лет 13–15 и мальчика Ненни 11–12 лет. С последним меня связывала большая дружба.

Ненни опекал меня, учил делать из жести консервных банок самолетики, из дерева – подводные лодки, которые за счет жестяных винта и рулей глубины могли двигаться и погружаться в воду. В то время с игрушками вообще было плохо, а подобные просто не выпускались промышленностью.

Хорошо помню воскресный солнечный день 22 июня 1941 года. Я собирался поехать к деду[3] в Полюстрово на автобусе № 2, который ходил тогда от Кировского завода до больницы Мечникова. Он останавливался напротив нашего дома, и мама уже два года позволяла мне самостоятельно ездить на нем. В этот день мама сходила в магазин и купила кое-каких продуктов, чтобы послать со мной, поэтому мой отъезд задержался до двенадцати часов.

И в это время, когда мы уже шли к автобусной остановке, из черных рупорообразных уличных громкоговорителей зазвучало выступление тогдашнего Председателя СОВНАРКОМа СССР В. М. Молотова, объявившего о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии и начале войны.

Мама изменилась в лице, а я стал ее успокаивать и говорить, что Красная армия скоро разобьет фашистов. Знал бы я тогда, насколько мальчишеским было мое заблуждение.

До начала июля город практически не бомбили.

Свято веря в пакт Молотова-Риббентропа о ненападении,

игнорируя многочисленные предупреждения нашей агентуры в Германии и других странах, а также наших зарубежных друзей, после почти двухнедельного молчания, к стране, как побитая собака, обратился «отец народов» И. В. Сталин. Обратился с беспрецедентными до того словами: «Братья и сестры…», призвав к «священной войне» против вероломно напавшей на СССР фашистской Германии. Он и его сатрапы проявили преступную близорукость, доверившись пакту Молотова-Риббентропа, игнорируя сообщения друзей о грядущем нападении фашистов на нашу страну.



Лев Шервуд до войны

Передаваемые ежедневно по радио сводки с фронтов были полуправдой. В них говорилось о том, что после тяжелых и продолжительных боев наши войска оставили тот или иной город и населенный пункт, при этом было уничтожено такое-то количество фашистов, – однако наши потери явно занижались.

Впоследствии выяснилось, что из-за бездарно организованной обороны, физического уничтожения наиболее талантливого комсостава, отсутствия современного вооружения (и даже недостатка старого) потери Красной армии убитыми, ранеными и пленными только в первые месяцы войны составили более 5 миллионов человек! Таких потерь не было за всю историю войн человечества!

Понятно, укажи в сводках фактические потери нашей армии, паника была бы еще больше. В разговорах жителей, случайным

свидетелем которых мне приходилось быть, панических и капитулянтских настроений я не ощущал. Относить это только к тому, что в условиях военного положения за подобные высказывания можно было попасть под трибунал, я бы тоже не стал.

Бомбардировки города немецкими самолетами начались по мере приближения врагов к нам. В первой половине июля, когда они захватили практически всю Прибалтику с построенными как бы специально для них аэродромами: оттуда, ввиду географической близости, самолеты могли летать к Ленинграду по несколько раз в день. Противовоздушную оборону города организовать еще не успели, неким препятствием для немецких летчиков стали лишь белые ночи.

Наших самолетов-истребителей, которые могли бы сбивать вражеские бомбардировщики, в это время практически не было видно и слышно. Зато в Неву стали входить и становиться на якоря военные корабли, преимущественно эсминцы и сторожевики, имевшие на вооружении достаточно мощную противовоздушную артиллерию и спаренные или счетверенные пулеметы.

Бомбардировки города немецкими самолетами начались по мере приближения врагов к нам. В первой половине июля, когда они захватили практически всю Прибалтику с построенными как бы специально для них аэродромами: оттуда, ввиду географической близости, самолеты могли летать к Ленинграду по несколько раз в день. Противовоздушную оборону города организовать еще не успели, неким препятствием для немецких летчиков стали лишь белые ночи.

Наибольшее количество кораблей, в том числе и легендарная «Аврора», стояли между Дворцовым и Николаевским (тогда Лейтенанта Шмидта) мостами и за последним вблизи судостроительных заводов и торгового порта. Там же стояли одни из наиболее мощных тогда кораблей Балтийского флота – линкор «Марат» и крейсер «Киров». Эта зона была фактически закрытой для нахождения там гражданских лиц, но мы, мальчишки, умудрялись разглядывать мачты и верхние части кораблей с середины Дворцового моста.

Выше по течению Невы, между Дворцовым и Троицким мостами, кораблей практически не было, зато на Стрелке Васильевского острова и на пляже Петропавловской крепости защитники города установили зенитные батареи и прожектора, обложив их мешками с песком и закрыв маскировочными

сетками.

На правом берегу Невы выше Троицкого моста зенитные батареи стояли на Петроградской стороне около Нахимовского училища, а также напротив них на Выборгской стороне около Военно-медицинской академии.

Еще выше по Неве, за Литейным мостом, на правом берегу батареи, если мне не изменяет память, стояли только перед Финляндским вокзалом, который впоследствии приобрел крайне важное значение как железнодорожное начало Дороги жизни. Далее, выше по течению, правый берег для этих целей, очевидно, использовать было нельзя ввиду его оползневого характера, так как при артиллерийских залпах берег мог обваливаться.

Вероятно, по этой причине сразу после окончания Великой Отечественной войны с берега на промежутке между Арсенальной улицей и Пискаревским проспектом были сняты трамвайные пути, а сам он подвергся укреплению.

Кораблей на этих участках Невы я не видел – здесь у нее очень сильное течение и, судя по всему, дно, не подходящее для установки на якоря.



Лев Шервуд с дедом Л. В. Шервудом (сидят слева)

Как показало дальнейшее развитие событий, такое расположение точек противовоздушной обороны оказалось наиболее эффективным и помогло сохранить впоследствии от яростных многочисленных бомбежек исторический центр города.

И вот закончилось время тревожного ожидания и рухнула слабая надежда на то, что немцы не начнут бомбить город, поскольку Красная армия сумеет их остановить.

Однако прорыв немцами Лужского рубежа и участившиеся полеты их самолетов-разведчиков, которые пытались сбить или отогнать зенитками, заставили защитников города проводить и другие оборонные мероприятия.

В частности, было рекомендовано производить тщательное затемнение окон при включении в помещениях электрического освещения. Специальные патрули, которые ходили по улицам в вечернее и ночное время, следили за тем, чтобы ни одна полоска или лучик света не проникали наружу. Советовали также заклеивать крест-накрест полосками бумаги стекла окон, чтобы при взрывах бомб, а впоследствии и снарядов они меньше разлетались на осколки и не так ранили людей.

Позолоченные купола и шпили, являющиеся прекрасными ориентирами для наводки при бомбежках и артобстрелах, чехлились или покрывались серой краской. Раньше времени были закрыты досками все скульптуры Летнего сада, Аничкова моста, памятники Петру Великому, Николаю Первому, Екатерине Великой, М. И. Кутузову и Барклаю де Толли.

И конечно, большое впечатление на всех и на меня производили появившиеся в городе аэростаты. По форме они напоминали дирижабли, которые уже не были редкостью до войны, но отличались от них значительно меньшими размерами и простотой. Военнослужащие ПВО, в основном молодые женщины в гимнастерках и пилотках, перемещали их вручную по улицам, держа за специальные поручни, расположенные по бокам.

Аэростаты в ночное время или в пасмурную погоду с низкой облачностью на привязи поднимали в воздух – они являлись заградительным средством от вражеских самолетов. Эффективность их, как показал опыт войны, была невысокой. Даже нам, мальчишкам, тогда было ясно, что выше их расположения (а у них были ограничения по высоте, связанные с длиной и прочностью веревок, за которые они, как воздушные змеи, крепились) немецкие самолеты могли летать безнаказанно.

Скорее всего, здесь расчет делался больше на психологический эффект. Более действенными, как показало дальнейшее, были зенитки. Их наводили тогда только вручную на самолеты при помощи звуколокаторов, принимающих посредством огромных рупоров шумы от двигателей самолетов и указывающих направление на них. Как выяснилось впоследствии, англичане, которые первые испытали на себе массированные бомбардировки немцев еще в 1940 году, уже тогда использовали

гораздо более эффективную радиолокацию, а наши специалисты в этой области или были расстреляны, или сидели в лагерях. И в этой области наша оборона оказалась непростительно оголена из-за безграмотной стратегии Сталина и его окружения. Тогда свидетельством нашего отставания вообще в области радиоэлектроники было почти полное отсутствие у населения ламповых гетеродинных радиоприемников, которые способны были принимать радиосигналы в диапазоне длинных, средних и коротких волн.

У многих, в том числе и в нашей семье, был допотопный, огромных размеров детекторный радиоприемник прямого усиления, принимающий крайне неустойчиво радиосигналы только в диапазоне длинных волн, причем слушать их можно было исключительно через наушники, которые теперь называются телефонами. И этот так называемый радиоприемник родителям пришлось сдать органам, поскольку было такое распоряжение, а его нарушение грозило крупными неприятностями.

Сильное впечатление производили на нас располагающиеся преимущественно на грузовиках прожектора, способные после окончания белых ночей и наступления темноты нащупывать и высвечивать своими длинными лучами вражеские самолеты, которые, попав в их перекрестие, становились мишенями для зениток.

Первый раз мы спустились в бомбоубежище в августе 1941 года, когда начались регулярные ночные налеты фашистских бомбардировщиков.

О начале бомбардировки оповестил зловещий вой сирены из репродуктора, при этом диктор настоятельно рекомендовал гражданам спуститься в бомбоубежище. Однако в нашем, сравнительно небольшом, трехэтажном доме оно отсутствовало, и нам приходилось бегать в соседний, напротив нашего, дом по Мошкову переулку.

В тесном подвале, наспех переоборудованном в бомбоубежище, скапливалось много народу из этого и соседних домов. Мысль о том, что в случае попадания бомбы в этот дом мы окажемся погребенными под ним, естественно, не вызывала у нас и у многих оптимизма. По этой причине, побывав там один или два раза, мы перестали туда ходить.

Вообще, со временем чувство страха при бомбардировках как-то притупилось, если не исчезло вовсе. Дальнейшее пребывание в блокадном городе показало, что человек ко всему может привыкнуть!

Мальчишеское любопытство, несмотря на предостережение матери и отчима, тянуло меня на крышу дома. В это время немцы

при бомбардировках начали часто применять небольшие по размеру, но начиненные термитом зажигательные бомбы. Их коварство состояло в том, что, даже не пробив крышу из-за малой массы – не более 10 кг, – они, оставаясь на ней, легко прожигали кровельное железо и вызывали пожары в деревянных перекрытиях домов.

В это время немцы при бомбардировках начали часто применять небольшие по размеру, но начиненные термитом зажигательные бомбы. Их коварство состояло в том, что, даже не пробив крышу из-за малой массы – не более 10 кг, – они, оставаясь на ней, легко прожигали кровельное железо и вызывали пожары в деревянных перекрытиях домов.

Для их своевременного сбрасывания с крыш и тушения из гражданских лиц были сформированы специальные бригады, оснащенные брезентовыми рукавицами, совковыми лопатами, ломами, песком и иногда огнетушителями, которые были в дефиците. Работа эта была весьма опасной из-за ежеминутной возможности сорваться с крыши, обжечься или попасть под осколки собственных зенитных снарядов. Бригады состояли из людей разных профессий, далеких от пожарных, возраст которых зачастую приближался к пенсионному. В составе одной из таких бригад состоял выдающийся композитор Д. Д. Шостакович, страдавший сильной близорукостью и мало приспособленный к такому роду деятельности интеллигент. Еще в начале блокады он был эвакуирован в Куйбышев, где и написал свою знаменитую 7-ю (Ленинградскую) симфонию.

Несмотря на то что я боялся высоты, меня все же тянуло на чердак нашего дома, где находилось так называемое слуховое окно, через которое можно было вылезти на крышу или смотреть на небо во время налета.

И вот во время одного из налетов я смотрел на испещренное прожекторными лучами и эпизодически освещаемое взрывами зенитных снарядов ночное небо, как вдруг в перекрестии лучей появился силуэт немецкого самолета. Он пытался вырваться из этих объятий, осуществляя различные маневры, однако вскоре к двум лучам присоединились еще два, не давая самолету вырваться в темноту. Взрывы зенитных снарядов все больше приближались к самолету, как бы сжимая его в кольцо, и, наконец, я увидел на его месте вспышку, а через некоторое время купол раскрывшегося парашюта немецкого летчика. Во время спуска, пока я имел возможность это наблюдать, лучи прожекторов не отпускали его.

Другой раз мне довелось с того же места наблюдать уже картину воздушного боя между немецким и советским самолетами. Как и в первый раз, в перекрестии лучей прожекторов попал немецкий самолет, но вдруг в одном из лучей появился другой, который через мгновение врезался в хвост первого. После этого оба самолета хаотично стали падать на землю.

На следующий день по радио сообщили, что в небе над Ленинградом во время ночного воздушного боя, расстреляв все боеприпасы, советский летчик, фамилию которого я, к сожалению, не запомнил, таранил в хвост фашистский самолет, при этом оба летчика погибли. Одновременно диктор отмечал героизм летчика, который приумножил аналогичные подвиги других советских летчиков, и добавил, что в ленинградском небе это произошло впервые.

С наступлением темных ночей немцы для освещения предназначенных для бомбардировок объектов города использовали специальные средства. На парашютах с самолетов сбрасывали устройства, начиненные пиропатронами, которые автоматически на определенной высоте взрывались, образуя большие, наподобие современных фейерверков, точечные источники мертвенно-белого света. Я бы сравнил его со светом от недавно появившихся у нас в продаже светодиодных фонариков.

Продолжительность свечения немецких пиропатронов была значительно больше, чем у фейерверков, что, очевидно, позволяло фашистским летчикам лучше рассматривать город сверху. В качестве явно психологического оружия при бомбежках немцы использовали звуковые приемы. Летящие самолеты, кроме естественного шума, создаваемого моторами, издавали жуткий вой, аналогов которого трудно было найти. Поначалу он действительно вызывал у некоторых людей панику, но в дальнейшем к этому также стали привыкать. Как потом выяснилось, чтобы добиться такого устрашающего звука, немцы подвешивали на выхлопные трубы двигателей самолетов выполненные из консервных банок специальные устройства. Даже нам, детям, тогда было известно, что если на продуваемом ветром чердаке положить порожнюю железную банку, сориентированную навстречу движению воздуха, то она создает подобные воющие звуки!

Помимо этого для наводки авиабомб немцы использовали специальных агентов, которые вблизи подлежащих бомбардировке объектов производили из ракетниц очереди, которые прозвали «зелеными цепочками». Несмотря на введенный в городе комендантский час, запрещающий гражданам без

специальных пропусков появляться на улицах после 22 часов, то тут то там, над крышами домов, взмывали в небо эти ракеты. Через слуховое окно на чердаке мне довелось несколько раз наблюдать их появление.

Одновременно с воздушными налетами немцы сбрасывали на город массу листовок, в которых призывали военнослужащих и жителей сдаться на милость победителей, утверждая, что сопротивление бесполезно, но тем, кто сохранит листовки и предъявит их немецкому командованию, сохранят жизнь. В свою очередь, городские власти предупреждали, что хранение или передача немецких листовок другим лицам будет преследоваться по законам военного времени.

В августе 1941 года началась почти принудительная эвакуация жителей из города. Были предприняты попытки отправить в эвакуацию и нашу семью, но каким-то образом мама и отчим сумели этого избежать. В это же время собрался в эвакуацию академик С. И. Вавилов, известный физик-оптик, впоследствии президент АН СССР. Его супруга, двоюродная сестра моего отчима, обратилась к нам с просьбой на время их отсутствия переселиться в их квартиру, находящуюся в академическом особняке возле университета на Васильевском острове. Основная их просьба при этом заключалась в том, чтобы по возможности сохранить огромную библиотеку, рукописи и другие ценные материалы, связанные с научной деятельностью академика, которые физически не представлялось возможным взять с собой.

Мама и отчим не могли отказать им в просьбе, к тому же глупо было бы лишить себя возможности пожить какое-то время в более комфортных условиях по сравнению с нашими.

Итак, забрав самые необходимые вещи, мы в день отъезда Вавиловых перебрались в их квартиру. Остальные вещи мы собирались перетащить постепенно. В первую же ночь после нашего переезда произошел массированный налет фашистской авиации на город, обошедший стороной эту часть Васильевского острова, а утром, когда мы пришли в нашу квартиру за вещами, то увидели страшную картину! Дверь в комнату, где мы проживали, была сорвана с петель, рамы с выбитыми стеклами валялись на полу, моя кушетка стояла дыбом, а вся комната покрыта стеклянными осколками, повалеными стульями и пр. Оказывается, в ту ночь, во время налета вражеской авиации, во дворе, куда выходило окно нашей комнаты, разорвалась попавшая туда бомба. Останься мы там – шансов выжить у нас бы не было. Наши соседи Хаджи-Касумовы при этом практически не пострадали, так как их окна выходили на улицу с

противоположной стороны. Однако эта семья впоследствии не избежала трагической участи многих других ленинградцев – умереть от голода. Каким то чудом спаслась только Марианна, но дальнейшая ее судьба для нас осталась неизвестной.

В сентябре месяце, когда вражеские авианалеты стали практически регулярными, немцам удалось зажигательными бомбами поджечь основной источник продовольствия города – Бадаевские склады, находящиеся недалеко от Московского вокзала. Никогда не забуду выражения лиц людей, собравшихся на набережной, чтобы смотреть на эту жуткую картину. Большинство из них прекрасно понимало, чем чревата для ленинградцев гибель такого огромного количества продуктов ввиду сжимающегося кольца грядущей блокады.

К небу вздымались зловещие столбы смоляно-черного дыма, а ниже их колыхались темно-красные языки пламени. Ширина зарева, которое было видно со стороны Адмиралтейства, занимало почти половину его длины. Необыкновенный цвет дыма и пламени, как говорили, был вызван горением сахара, круп и подсолнечного масла. Последствия этого пожара, а также сброшенных с вражеских самолетов пропагандистских листовок, да и просто распространяемых фашистскими агентами слухов о грядущем голоде и скорой сдаче нашими войсками города не заставили себя ждать. С полок магазинов быстро исчезли практически все продукты питания.

Моя мама и отчим проявили полную нерасторопность в этом деле и не сумели сделать никаких запасов. Вскоре в Ленинграде была введена карточная система, но даже по карточкам нельзя было полностью отовариться. Был один эпизод, о котором мама рассказывала с чувством вины. Как-то раз, когда она находилась в квартире в Мошковом переулке, пришел ее младший брат Даниил, который служил в то время где-то на Ленинградском фронте. Он обещал нашим соседям Хаджи-Касумовым принести кое-какие продукты в обмен на переданную ему от них бутылку спирта, но обманул и больше не появился.

В связи с предстоящей эвакуацией моей тети Норы мы с мамой пошли проститься с ней, ее мужем и детьми на Петроградскую сторону, где они жили в доме на углу Кронверкского пр. и Большой Пушкарской ул. Никогда не забуду, как их двухгодовалая дочка Оля плакала и просила: «Хеба, хеба!»

Попрощавшись, мы вышли на Большой проспект и пошли домой в сторону Тучкова моста по правой стороне. И вдруг начался артиллерийский обстрел, и снаряды начали разрываться совсем рядом. Мы с мамой перебежали на противоположную сторону, откуда, судя по всему, летели снаряды и где бы мы

находились под защитой самих домов.

Однако, не чувствуя себя здесь в полной безопасности и боясь попасть под осколки снарядов при их разрывах, заскочили в старейшую на Петроградской стороне аптеку, находящуюся на Большом проспекте вблизи Введенской улицы. После окончания артобстрела мы почти бегом поспешили на Васильевский остров, но при этом очень боялись, как бы он не застал нас снова на Тучковом мосту, где от него невозможно было бы укрыться.

Уже тогда мы понимали, что мосты являлись для немцев наиболее важными объектами, которые следовало разрушить, чтобы парализовать жизнь Ленинграда.

После 8 сентября, когда фашисты замкнули кольцо блокады, артобстрелы города стали регулярными и на многих улицах появились написанные на стенах домов объявления: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» В настоящее время единственное объявление такого рода в виде памятной доски осталось на Невском проспекте.

Кстати, по Невскому тогда еще ходили трамваи, один из них № 4, у которого, как и у других, было два кольца: одно из них на острове Голодай (о. Декабристов), а другое – около Волкова кладбища. В связи с этим в блокаду бытовала пословица: «Живу как трамвай четвертый номер: поголодаю-поголодаю, а затем на Волково кладбище!»

Вскоре трамвайное и троллейбусное движение в городе было прекращено – не хватало электроэнергии. Автобусное движение ввиду дефицита бензина остановилось еще раньше. Кроме того, было введено военное положение и запрещено массовое скопление людей в одном месте.

Почти поголовно рабочих и служащих переводили на казарменное положение, при котором они вынуждены были жить там, где работали, и только изредка могли наведываться к себе домой и навещать близких. Эта мера позволяла частично сохранять угасающие от голодного истощения силы, иметь более оперативную медицинскую помощь и, конечно, повысить производительность труда! В связи с этим улицы города даже в дневное время выглядели пустынными.

Трехкомнатная квартира Вавиловых располагалась на втором этаже левой половины особняка, вход в нее находился под аркой.

Несмотря на то что в этом доме, как и во многих других домах города, была собственная котельная, обеспечивающая водяным отоплением квартиры, она так и не начала работать с наступлением холодов. А последние не заставили себя ждать! И нам пришлось из жилого помещения перебраться на кухню.

По Невскому тогда еще ходили трамваи, один из них № 4, у которого, как и у других, было два кольца: одно из них на острове Голодай (о. Декабристов), а другое – около Волкова кладбища. В связи с этим в блокаду бытовала пословица: «Живу как трамвай четвертый номер: поголодаю-поголодаю, а затем на Волково кладбище!»

Для обогрева помещения и приготовления пищи, если ее можно было так называть, родители где-то раздобыли сделанную из листового железа маленькую круглую печку, так называемую буржуйку. Как они говорили, у них уже был печальный опыт пользования буржуйками во время революции и Гражданской войны!

Круглую железную трубу, имеющую форму колена, предназначенную для вывода дыма из буржуйки, вывели наружу через форточку. Поначалу для топки удавалось использовать оставшиеся во дворе дрова, доски, щепки и другие деревянные обрезки, но вскоре, поскольку мы не были одиноки в такой ситуации, все они были сожжены. Топить мебелью, как это делали тогда многие, мы не решались не только потому, что она была старинной и добротной, но и потому, что ее явно не хватило бы надолго!

Спасение пришло неожиданно. Во дворе возле стены дома была обнаружена присыпанная снегом куча угля, которым мы стали топить буржуйку. Хотя процедура топки углем более сложна, во имя собственного спасения пришлось освоить и ее. Дело в том, что для растопки в этом случае все равно необходимы дрова или керосин (можно и бензин), которые были в остром дефиците, поэтому приходилось все время поддерживать в топке огонь, как у первобытных людей. Кроме того, это позволяло не замерзнуть нам даже на кухне.

Выковыривать уголь из замороженной кучи, набирать его в ведро и приносить на кухню приходилось, в основном, мне даже в сорокаградусный мороз! Неудивительно, что при этом я отморозил себе ноги и руки, последствия чего ощущаю до сих пор.

Неменьшие проблемы были вызваны отсутствием водопроводной воды.

В связи с ранними морозами и отсутствием центрального отопления стали рваться трубы, и поступление воды в квартиру прекратилось. Поначалу мы ходили за водой в Институт акушерства и гинекологии им. Отта, где водопровод еще работал, но это продолжалось недолго. После этого за водой мы ходили за

полкилометра на Неву.

Воду носили в ведрах и бидонах сначала в руках, но впоследствии стали возить на детских саночках.

Пока Нева не успела у берега покрыться льдом, воду черпали ведрами прямо со скользких ступенек гранитной набережной с риском свалиться в реку, поскольку держаться там практически было не за что. Трудно передать ощущение ослабленного голодом человека, которому приходилось в руках нести наполненные водой ведра!

Когда Неву у берега сковало льдом, воду стали доставать из проруби, причем люди, как могли, старались не дать ей замерзнуть, раскалывали все время нарастающий лед чем попало, а также накрывая прорубь сверху. Но пришло время, когда ходить на Неву нам стало невмочь. Слава Богу, что наступившая зима была не только морозной, но и снежной, причем снег был сравнительно чистый. Мы собирали его в ведра, а образовавшуюся при таянии воду использовали для питья, предварительно прокипятив на буржуйке, и мытья, а скорее обтирания при помощи намоченной в ней тряпочки лица и рук. Вода эта, естественно, была невкусной, но и она спасала нас от обезвоживания организма. Более вкусной она была, когда удавалось найти и отколоть куски льда и также растопить их. Однако эта работа с каждым днем становилась все труднее и труднее.

Когда немцы захватили большую часть левого берега Невы, вывели из строя 5-ю и 8-ю ТЭС, а также прервали поступление электроэнергии от Свирской и Волховской ГЭС, наш и большинство других гражданских домов города остались без электрического освещения. И снова пригодился родительский опыт освещения (полученный во время Гражданской войны) – при помощи коптилки. Она представляла собой жестяную баночку со съемной крышкой, в центре которой вертикально к ней впаивалась трубочка. В нее просовывался фитиль, изготовленный, как правило, из скрученной тряпки или пучка ниток, один конец которых торчал сверху, а другой, более длинный, – снизу и впитывал в себя керосин или масло, налитые в баночку. Верхний конец фитиля поджигался и тускло освещал небольшое пространство вокруг себя наподобие лампадки, но в отличие от нее источал малоприятный запах. При таком свете читать было практически невозможно, да и необходимость в чтении отпала – не до того!

Пищевой рацион к этому времени свелся до минимума. Весьма скудные запасы продуктов кончились, а по карточкам стали выдавать только по 125 граммов (осьмушке) хлеба. Этот, с

позволения сказать, хлеб представлял собой ломтик, а скорее, брусочек вязкой коричнево-черной массы, из которой со всех сторон торчали какие-то волоски, похожие на опилки. По вкусу он почти не напоминал хлеб, но даже к нему, как к единственному средству выживания, выработалось благоговейное отношение.

Видели бы вы, с каким напряжением смотрели все мы, стоящие в очереди за хлебом, за действиями продавщицы, отрезающей от буханки эти мизерные кусочки и кладущей их на одну из тарелок рычажных весов, в то время как на второй уже лежали соответствующие весу гирьки.

Правильно взвешенным считался хлеб только тогда, когда клювики весов в результате долгожданного равновесия устанавливались друг против друга.

Как правило, достичь его удавалось при помощи так называемых довесков – кусочков этого хлеба, добавляемых к взвешиваемому куску. При тусклом освещении прилавка керосиновой лампой у недобросовестных продавцов появлялась возможность для обвешивания покупателей разными способами.

Самым распространенным являлся следующий: продавец незаметно пальцем левой руки отжимала книзу подвижную часть весов под тарелкой, на которую помещался взвешиваемый хлеб, как бы увеличивая его вес.

Другим способом был тот, когда у гири высверливались снизу отверстия, которые маскировались, благодаря чему ее вес значительно уменьшался, и вместо 125 граммов хлеба покупатель получал 90—100 граммов.

У гири высверливались снизу отверстия, которые маскировались, благодаря чему ее вес значительно уменьшался, и вместо 125 граммов хлеба покупатель получал 90—100 граммов.

При обнаружении этого жульничества продавцов сурово карали, однако случалось это редко.

Употребление такого хлеба вызывало запоры. Это усугублялось также тем, что в нашем пищевом рационе отсутствовала жидкая горячая пища: каши и супы. Одно время нас подкармливали в институте и клинике Отта грудным молоком, неиспользованным роженицами в связи со смертью новорожденных, а также горчичным супом, в котором, кроме растворенной в кипятке сухой горчицы, больше ничего не было!

Даже в состоянии голода, когда я готов был, кажется, съесть все мало-мальски съедобное, один раз попробовав этого молока и супа, больше к ним не прикоснулся! Наверно, до конца жизни у

меня в памяти останется сладковатый вкус чужого грудного молока и горчичного супа. Однако моя мама и отчим не пренебрегали ими, а также пробовали варить и есть суп из столярного клея! Наверно, поэтому моя мама (она дожила почти до 94 лет) всю оставшуюся жизнь страдала желудком и регулярно принимала лекарства.

Мой отчим, Михаил Вениаминович Хвостов, был профессиональным музыкантом: виолончелистом и дирижером.

К началу Великой Отечественной войны ему было около сорока.

В период «потепления» отношений с фашистской Германией в 1939 году, когда был заключен пакт Молотова – Риббентропа и отношения между нашими странами стали почти дружескими, он в составе делегации советских музыкантов посетил родину Баха, Вагнера, Бетховена.

Помню, что из Германии он вернулся, полный впечатлений, граничивших с восторгом. Будучи большим поклонником немецкой классической музыки, он восхищался дирижерским и исполнительским искусством немцев, их высокой музыкальной культурой. Привез оттуда много нот инструментальной музыки: трио, квартетов и квинтетов, часть из которых сохранилась до сих пор. Кроме того, он купил там несколько костюмов, в том числе так необходимый музыканту фрак, плащ, шляпу и, конечно, репродукции портретов ряда немецких композиторов.

Привез он также книгу А. Гитлера «Майн Кампф» (Моя борьба), которая тогда не была под запретом в СССР. Он хвалил немецкий порядок, чистоту городских улиц, которые тогда мылись с мылом, трудолюбие и ответственность людей.

Когда началась война, он говорил моей маме, что с приходом немцев у нас наконец тоже установится порядок и нормальная жизнь. Знал бы он, во что на самом деле выльется их вторжение и как оно скажется на его собственной судьбе. Дело в том, что в сентябре 1941 года по городу уже были расклеены афиши, извещавшие о концерте в Большом зале филармонии Симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, который должен был исполнить под руководством дирижера Михаила Хвостова симфоническую поэму Н. А. Римского-Корсакова «Шахерезада».

К этому времени уже замкнулось кольцо блокады, начался голод, и филармония прекратила работу, однако расклеенные по городу афиши еще долго висели на специальных столбах цилиндрической формы. Только в августе 1942 года, впервые после перерыва, в уменьшенном составе, этот оркестр под руководством своего художественного руководителя Карла

Ильича Элиасберга сумел исполнить в Большом зале филармонии знаменитую Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Шостаковича.

Из нас троих мой отчим, которого я называл дядя Миша, с наступлением голода начал сдавать первым. Будучи высокого роста, но от природы худощавым, он, несмотря на то что занимался спортом: плавал на байдарках (тогда они не были разборными и делались из фанеры), летал на планерах, прыгал с парашютом и хорошо ходил на лыжах, – дистрофией заболел раньше нас. К этому времени мы все переселились на кухню, где находилась печка-буржуйка, так как в остальных комнатах из-за отсутствия отопления жить было невозможно.

С каждым днем отчим слабел все больше и больше, вставая с постели только по мере необходимости. Поскольку водопроводной воды не было, пользоваться туалетом не представлялось возможным и для этих целей пришлось применить ведро, которое мы с мамой выносили по очереди во двор и тут же выливали. Ни о каком мытье, кроме обтирания лица и рук влажной тряпкой, слегка смоченной водой, не приходилось и думать!

К этому времени мы все переселились на кухню, где находилась печка-буржуйка, так как в остальных комнатах из-за отсутствия отопления жить было невозможно. Ни о каком мытье, кроме обтирания лица и рук влажной тряпкой, слегка смоченной водой, не приходилось и думать!

В конце января 1942 года, после временного отсутствия выдачи хлеба по карточкам (говорили, что не работал хлебозавод), его норму увеличили до 250 граммов.

Хорошо помню это солнечное морозное утро, когда мы с отчимом, еле передвигая ноги, направились в ближайшую булочную, которая находилась тогда в Биржевом переулке. Как только мы спустились по лестнице и вышли из дома под арку, увидели слева во дворе веревочное ограждение с красными флажками и военных за ним. Увидев нас, они закричали, чтобы мы скорее проходили, так как во двор упала неразорвавшаяся бомба, которую старались обезвредить саперы.

Мы с отчимом, насколько позволили нам силы, постарались, не мешкая, покинуть арку и, свернув налево, медленно двинулись в сторону булочной. Через какое-то время, отоварившись хлебом, пошли обратно к дому. Когда до арки нам оставалось дойти метров тридцать, раздался оглушительный взрыв. Свернув в нее, мы увидели в глубине двора огромную воронку и сразу поняли,

что это взорвалась авиабомба, которую саперы не смогли обезвредить.

Впоследствии мы узнали, что все они погибли. Полное состояние апатии не позволило нам в тот момент даже взглянуть в сторону образовавшейся воронки и полюбопытствовать, остался ли там кто-либо в живых? Двигало нами только желание скорей утолить чувство нестерпимого голода только что полученным после большого перерыва, похожим на глину черным хлебом.

Тогда мы еще не знали, что при дистрофии, когда желудок человека сильно уменьшается в объеме и перестает переваривать пищу, нельзя сразу набрасываться на еду, так как может возникнуть заворот кишок. Мы с мамой, скорее инстинктивно, решили распределить хлеб на этот и последующие дни, но отчим решил утолить свой голод сразу.

> Затем дядя Миша впал в полузабытье и стал напевать мелодии Баха, Моцарта, Шуберта. Этих композиторов он любил больше других, и их музыка, которая, очевидно, звучала в его душе, помогла ей уйти в лучший мир.

На всю оставшуюся жизнь я запомнил жуткую картину нечеловеческих мучений умирающего на наших глазах человека, которому мы ничем не могли помочь!

Он стал корчиться от невыносимых болей в желудке, вызванных, очевидно, страшным запором, но сдерживал стоны.

Затем дядя Миша впал в полузабытье и стал напевать мелодии Баха, Моцарта, Шуберта. Этих композиторов он любил больше других, и их музыка, которая, очевидно, звучала в его душе, помогла ей уйти в лучший мир.

После этого у нас с мамой возникла проблема, что делать с покойником. Оставлять его на кухне, где мы жили в относительном тепле из-за наличия буржуйки, было нельзя, так как труп неизбежно стал бы разлагаться. Помощи нам ждать тогда было неоткуда. Необходимо было перетащить труп, на первое время, в соседствующую с кухней гостиную. Как это сделать двум дистрофикам-доходягам, как тогда нас называли?!

Мама вообще была миниатюрной женщиной, а тогда из-за голода и вовсе стала похожа на девочку-подростка, а я, десятилетний, – на пяти-шести-летнего мальчика. Постелив около кушетки, на которой он лежал, найденную в квартире дорожку-половик, мы, собрав все силы, сумели свалить на нее труп.

Только на следующий день мы с мамой, взявшись за концы половика, начали пытаться вытащить труп из кухни. Сейчас я уже не помню, сколько времени мы вытаскивали его за дверь, хотя

старались сделать это побыстрее, чтобы не выстудить кухню, ведь в прихожей в это время была практически уличная температура. Термометра у нас тогда не было, но снег и лед лежали на подоконнике в прихожей.

Далее необходимо было перетащить труп в столовую, в которой он мог бы лежать, не разлагаясь, достаточно долго, пока не удастся его отправить на кладбище. Самым сложным делом оказалось перетащить труп в столовую из прихожей, поскольку нужно было преодолеть две или три ступеньки вверх. Нам пришлось буквально перекатывать его со ступеньки на ступеньку, чтобы поднять в столовую и там оставить.

О том, чтобы лично сопровождать тело на кладбище, не могло быть и речи: нам с мамой даже до ближайшего, Смоленского, находившегося от нас в трех километрах, было бы не дойти! Убирали и увозили трупы с улиц, из подъездов и подворотен в то время специальные санитарные команды, но по квартирам они не ходили, и ждать их прихода было бессмысленно. Однако через несколько дней к нам поднялись и постучались в квартиру двое мужчин-дистрофиков, которые предложили за буханку хлеба забрать и отвезти тело Миши на Смоленское кладбище на санках. Помню, что мы могли им дать только полбуханки, но они согласились и на это.

> Никогда не забуду стук обледеневшего тела о ступеньки, когда они его стаскивали вниз. У нас с мамой не было сил, чтобы проводить отчима в последний путь хотя бы до парадной! Кто знает, может быть, они бросили его на улице тут же, около дома, где он был подобран санитарами, свезен на кладбище и похоронен в братской могиле!

Никогда не забуду стук обледеневшего тела о ступеньки, когда они его стаскивали вниз. У нас с мамой не было сил, чтобы проводить отчима в последний путь хотя бы до парадной! Кто знает, может быть, они бросили его на улице тут же, около дома, где он был подобран санитарами, свезен на кладбище и похоронен в братской могиле!

К сожалению, мне до сих пор неизвестно кладбище, где он мог быть похоронен! Как известно, самое массовое захоронение блокадников находится на Пискаревском мемориальном кладбище, где, по официальным данным, покоится 500 тысяч жителей, а на самом деле около миллиона! Дело в том, что в советское время истинные цифры погибших за время блокады преднамеренно занижались. Судя по всему, основной причиной этого являлось недоброжелательное отношение московской

власти к нашему городу (вспомним Ленинградское дело 1949 года с массовыми репрессиями), а также плохой учет количества погибших.

Кроме Пискаревского кладбища братские могилы, но не такие крупные образовывались почти на всех других крупных кладбищах города, например Серафимовском, Волковом, Большеохтинском, Богословском и других. Что касается ближайшего к нам Смоленского кладбища, куда, по логике, должны были свезти Мишу, то там я братскую могилу не обнаружил.

Я с чувством глубокой благодарности вспоминаю своего первого отчима, талантливого музыканта, дирижера и педагога. Он прожил с нами всего пять лет, но на всю оставшуюся жизнь привил мне любовь к музыке, обнаружил во мне музыкальные способности и определил меня в музыкальную школу по классу скрипки.

Итак, мы с мамой остались совершенно одни! Никакой связи с родственниками, которые могли остаться в отчем доме в Полюстрове, у нас не было, так как ни телефон, ни транспорт в городе не работали, а пешком пройти это расстояние у нас не было сил.

Если раньше за хлебом в булочную мы ходили вдвоем с Мишей, то теперь это пришлось делать мне одному. Как-то, получив по трем карточкам, включая Мишину, сразу за несколько дней целую буханку хлеба, я засунул ее за пазуху пальтишка и направлялся в сторону дома. Вдруг на меня налетел и толкнул в сугроб какой-то мужчина, при этом вырвав из-за пазухи долгожданную буханку. Я закричал и пытался отобрать ее, но силы были слишком неравные. Никогда не забуду его глаза – глаза голодного зверя, который готов был убить и растерзать меня из-за буханки. Место, где это произошло, Биржевая линия, не было безлюдным, но никто за меня не вступился, да, судя по всему, и не смог бы при всем желании!

Для нас с мамой это оказалось серьезнейшим испытанием, так как в доме не оставалось ни корки хлеба и даже сварить было нечего!

До сих пор не могу понять: как нам удалось выжить? Видно, это было угодно Господу! Маме где-то удалось достать дуранды, которая представляла собой спрессованные жмыхи – корм для животных: коров и свиней. Вид и размер у них был как у плиток шоколада, только есть их, не размочив предварительно в воде, было невозможно, так как они были настолько твердыми, что можно было сломать зубы! Я еще как-то умудрялся понемногу откусывать от них маленькие кусочки – так хотелось есть, а мама

не решалась!

До Нового 1942 года мы изредка общались с приходящими к нам Иваном Фоминым, впоследствии академиком архитектуры и главным архитектором Ленинграда, известным уже тогда архитектором Виктором Твелькмейером и другими интересными людьми, а после Нового года к нам изредка заходили живущие выше нас этажом жена и дочь известного уже тогда создателя телескопа-рефрактора академика Максутова. Сейчас же к нам никто не заходил, и мы чувствовали себя одинокими и никому не нужными!

Мы голодными глазами смотрели на его сидор, из которого он вытаскивал продукты. Они состояли из буханки хлеба довольно светлого цвета, в отличие от нашего, совершенно черного, и испеченного, судя по всему из натуральной ржаной муки, банки свиной тушенки, банки с лярдом (свиным салом), небольшого, объемом с двухлитровый бидон, матерчатого мешочка, наполненного зернами овса, и завернутого в газету кусочка колотого сахара. Такой сахар был для нас в то время настоящим лакомством!

И вот, как-то поздним вечером, когда мы с мамой уже собирались ложиться спать, во входную дверь квартиры кто-то робко постучал. Мы приоткрыли дверь. В темноте невозможно было увидеть, кто это, но по голосу мы узнали моего дядю, маминого родного брата Даниила. Конечно, мы впустили его в квартиру. Он был небрит, одет в светлый овчинный полушубок, на голове – шапка-ушанка, а на ногах – валенки с подшитыми подметками. За спиной у него находился сидор – так в то время назывался солдатский рюкзак, по сути своей сшитый из брезента мешок защитного цвета. Карманов у него не было, а сверху он завязывался узлом, образованным из пришитой снизу с двух сторон в виде кушака петли, используемой также в качестве лямок.

Естественно, что мы голодными глазами смотрели на его сидор, из которого он вытаскивал продукты. Они состояли из буханки хлеба довольно светлого цвета, в отличие от нашего, совершенно черного, и испеченного, судя по всему, из натуральной ржаной муки, банки свиной тушенки, банки с лярдом (свиным салом), небольшого, объемом с двухлитровый бидон, матерчатого мешочка, наполненного зернами овса, и завернутого в газету кусочка колотого сахара. Такой сахар был для нас в то время настоящим лакомством!

Не будет преувеличением сказать, что для нас, долгое время

не евших в день ничего, кроме осьмушки хлеба, а также изредка дуранды, эти продукты стали настоящей манной небесной! Наученные печальной участью Миши, мы с мамой не стали набрасываться на пищу и медленно, наслаждаясь, ели кусочки хлеба, намазанные сверху лярдом.

Отогревшись, Даниил рассказал нам о том, что сбежал с ладожского участка Дороги жизни, где служил шофером грузовика, перевозившего продукты с Большой земли для блокадного Ленинграда и боеприпасы из него обратно. Основной причиной своего побега Даниил назвал дизентерию, которой он якобы заболел.

Пребывание Даниила у нас, в малоквартирном доме, где все друг друга хорошо знали, было для мамы и меня смертельно опасным! За укрывательство дезертира в то время расстреливали на месте без суда и следствия даже малолеток!

Даниил тоже стремился быстрее покинуть нашу квартиру. Для этого ему необходимы были новые документы и увольнительная, которые он просил принести маму. Идти за ними ей надо было практически на линию фронта к больнице им. Фореля в Автово. Там служил офицером один из его приятелей, на помощь которого и рассчитывал Даниил. В качестве благодарности за эту услугу мама должна была передать ему флягу со спиртом, который ценился тогда дороже золота.

Не знаю, что побудило маму согласиться тогда на многокилометровый и крайне опасный пеший поход, наверно сестринская любовь и жалость к младшему брату, а также опасения за нашу жизнь!

Рано утром следующего дня, когда было еще темно, но комендантский час закончился, мама, надев на спину Даниилов сидор, вышла из дома. Необходимо отметить, что та часть Васильевского острова, где мы тогда жили, в отличие от южной части города по другую сторону Невы, практически не бомбилась и не обстреливалась. Очевидно, это объяснялось отсутствием здесь военных объектов, кроме нескольких зенитных батарей на Стрелке около фондовой Биржи, где размещался Военно-морской музей. В то же время здесь находились многие исторические шедевры архитектуры, которые немцы-архитекторы наравне с итальянскими когда-то проектировали, а сейчас, очевидно, хотели сохранить, надеясь взять город. Маршрут же, по которому пришлось идти маме, начиная с Театральной площади в сторону

Калинкина моста, вблизи которого находился Адмиралтейский завод, регулярно подвергался обстрелам и бомбежкам. Интенсивность их росла по мере приближения к Нарвским воротам и Кировскому заводу.

> Мама решила, что это – конец, поскольку внутри шерстяной кофты, завернутой в тряпье, лежала наполненная спиртом фляга! Не будучи искренне верующей, хотя и крещеной, она шепотом обратилась к Богу с просьбой о спасении! И тут красноармеец, который прощупывал кофту с тряпками, видно не почувствовав в ней твердый корпус фляги, сказал маме, что она может идти дальше.

Мама около часа добиралась только до Театральной площади. На мосту Лейтенанта Шмидта, который тогда тщательно охранялся как стратегический объект, ее остановил патруль. У нее от страха подкосились ноги, когда ее спросили, куда она идет и что несет.

Она назвала какой-то адрес по улице Декабристов, где якобы жила ее сестра, и сказала, что в сидоре она несет ей теплые вещи, так как сестра замерзает от холода. Тогда от нее потребовали развязать сидор. Тут она решила, что это – конец, поскольку внутри шерстяной кофты, завернутой в тряпье, лежала наполненная спиртом фляга! Не будучи искренне верующей, хотя и крещеной, она шепотом обратилась к Богу с просьбой о спасении! И тут красноармеец, который прощупывал кофту с тряпками, видно не почувствовав в ней твердый корпус фляги, сказал маме, что она может идти дальше, посоветовав ей прятаться от обстрелов в подъездах домов.

Далее, пройдя Театральную площадь, мама вышла на пр. Римского-Корсакова и пошла в сторону Калинкина моста, однако через него перешла только тогда, когда убедилась в том, что на нем не было патруля. Этот участок пути был особенно охраняем, так как вблизи был Адмиралтейский судостроительный завод, ныне Адмиралтейские верфи, где находились недостроенные военно-морские суда, видные даже издали. Перейдя благополучно Калинкин мост, мама не рискнула идти прямо, по кратчайшему пути, по проспекту Газа, ныне Старо-Петергофскому. Вместо этого она свернула налево по набережной Фонтанки, а затем дворами вышла на проспект Огородникова, ныне Рижский, а далее, также дворами, – к Обводному каналу.

Перебравшись по пешеходному мосту на другой берег канала, мама снова вышла на проспект Газа, а по нему пошла, а точнее потащилась, в сторону Нарвских ворот. Дойдя до них, она свернула на Промышленную улицу. Далее закоулками двигалась в сторону Кировского завода параллельно проспекту Стачек. Каким чудом ей удалось пройти мимо стратегически важного оборонного объекта – Кировского завода, не прекращающего

выпускать вооружение, в том числе танки, всю блокаду и усиленно охраняемого, она объяснить не смогла. Был бы на ее месте мужчина, его наверняка в прифронтовой полосе неоднократно остановили бы и обыскали!

Мама смогла все-таки добраться до места назначения и передать какому-то Даниилову приятелю – офицеру воинской части спирт и записку: очевидно, находилась под защитой своего ангела-хранителя. Там ей дали отогреться кружкой кипятка, угостили краюхой хлеба с лярдом и снабдили необходимыми Даниилу документами о якобы переводе его на Финский фронт, который в то время был наиболее спокойным местом, поскольку военные действия там тогда практически не велись!

Пришла мама домой только вечером, чуть не опоздав к началу комендантского часа, когда ходить по городу строго запрещалось и ее могли задержать и продержать до утра патрули.

До сих пор не могу представить себе, как могла моя мама, женщина-дистрофик, за день преодолеть почти двадцать километров туда и обратно по засыпанному снегом городу, улицы которого практически не расчищались, не упасть и не замерзнуть! На следующее утро Даниил ушел, оставив нам матерчатый мешочек овса, который сумел несколько подкрепить наши слабеющие с каждым днем силы.

Использовали мы его следующим образом. Сначала овес вместе с шелухой промалывали через мясорубку, а затем через сито просеивали полученную при этом овсяную муку, отделяя ее от шелухи. Из нее мы варили кашу и кисель, а небольшую часть муки жарили, естественно без масла, на сковороде. Полученной при этом коричневой мукой посыпали кашу. Поскольку эта мука имела слегка сладковатый вкус, то создавалась иллюзия того, что мы едим овсяную кашу с сахаром. О настоящем сахаре в то время мы не могли даже мечтать, поскольку он не фигурировал даже в талонах продовольственных иждивенческих карточек! Нам оставалось только руководствоваться бытующей тогда присказкой: «И мы с соседкой пробавлялись пустою кружкой кипятку!»

Не помню, сколько дней прошло после исчезновения Даниила, но вдруг к нам пришла мамина племянница, моя двоюродная сестра Вера. Она была одной из дочерей моей родной тети Лиды, рано ушедшей из жизни из-за туберкулеза.

О настоящем сахаре в то время мы не могли даже мечтать, поскольку он не фигурировал даже в талонах продовольственных иждивенческих карточек! Нам оставалось только руководствоваться бытующей тогда

присказкой: «И мы с соседкой пробавлялись пустою кружкой кипятку!»

Воспитанием и, отчасти, содержанием Веры и ее родной сестры Наташи после смерти Лиды вынуждена была заниматься моя мама до тех пор, пока не вышла замуж за Михаила, моего отчима, и не покинула отчий дом.

Вера, которая не выглядела такой истощенной, как мы, рассказала нам о том, что после одновременной эвакуации деда, Наташи и тети Куси (Екатерины Леонидовны, дочери Владимира Шервуда) в доме осталась совершенно одна. Как рассказала Вера, помимо того, что ей просто страшно находиться в пустом доме, и сам дом в любой момент могут снести. Дело в том, что в блокадном городе стало катастрофически не хватать дров для топки печей в условиях необычайно крепких морозов, и после вырубки соснового леса, который находился на месте нынешнего Пионерского парка, начали, не спрашивая ни у кого согласия, сносить в наших краях деревянные заборы и дома. Такая же участь ждала и наш дом, поэтому мама согласилась туда вернуться. Дополнительным аргументом в пользу этого решения стало также то, что в городе остался племянник С. И. Вавилова, Евгений, изредка навещавший квартиру, который мог проследить за ее сохранностью.

И вот, собрав самый необходимый скарб, который мог поместиться на детских саночках, используемых нами для перевозки воды из Невы, мы втроем двинулись пешком к отчему дому. На полпути до него нам, обессиленным многочасовой ходьбой, необходимо было немного передохнуть.

Единственным местом, где мы могли посидеть, был зал ожидания Финляндского вокзала, вход в который неожиданно оказался открытым. Сам вокзал в то время, естественно, не работал, но от него в ночное время уходили по Дороге жизни эшелоны с эвакуируемыми на Большую землю ленинградцами.

В отличие от других вокзалов, построенных в Петербурге до революции, Финляндский тогда выглядел весьма непрезентабельно. Здание было двухэтажным, фрагмент стены сохранился до настоящего времени. Возле него хотели поставить броневик, якобы с которого В. И. Ленин призывал к революции, но потом передумали. Вместо него в сквере перед вокзалом, который называют теперь площадь Ленина, уже стоял памятник, где вождь на броневике символично указывает ладонью правой руки в сторону зловещего Большого дома, расположенного в начале Литейного проспекта.

Отдохнув немного, поскольку предстоял еще долгий почти

десятикилометровый путь, мы двинулись дальше.

По мере удаления от центра города в сторону окраины, коей считался тогда район больницы имени Мечникова, вблизи которой на углу ныне не существующих Сазоновской и Ростиславской стоял наш дом, идти становилось все труднее и труднее! Это вызывалось не только все возрастающей усталостью, но и тем, что становилось все больше и больше нерасчищенного снега. По сути дела, идти зачастую приходилось по колеям, продавленным шинами грузовиков.

Пройдя по Кондратьевскому проспекту мимо заводов Свердлова, «Красный Выборжец» и «Металлического», где еще были автомобильные колеи, мы, наконец, добрались до кинотеатра «Гигант». Площадь, где это здание стоит до сих пор, но переоборудовано в ночной клуб «Конти», называлась тогда Пятью углами, по аналогии с площадью Пяти углов на пересечении Загородного проспекта с улицами Разъезжей, Рубинштейна и Ломоносова.

Далее город как бы заканчивался и начинались пригороды с деревянными одно– и двухэтажными домами. Основная их масса располагалась вдоль Кондратьевского проспекта. Выйдя на улицу Замшина, мы значительно сократили наш путь.

Улицу Замшина, названную в честь известного врача, жившего еще до революции в этих краях, улицей можно было назвать весьма условно, так как она представляла собой обычную грунтовую проселочную дорогу, которая проходила практически по ровному полю параллельно Кондратьевскому проспекту.

Справа и слева от нее на расстоянии нескольких сот метров располагались деревянные домишки, а поле, покрытое снегом, было усеяно бугорками, которые при ближайшем рассмотрении оказались замерзшими и оледеневшими трупами людей!

Дорога, по которой мы двигались в сторону проспекта Мечникова, была узкой, но довольно укатанной и плотной, что позволяло нам сносно передвигаться и тащить за собой саночки со скарбом. И вдруг мы увидели то, что ошеломило даже нас, много повидавших и переживших! Слева, прямо на обочине дороги, на ватнике лежала отрезанная, скорее всего отпиленная, человеческая нога! Через некоторое время на этой же стороне дороги мы увидели женский труп с вырезанной ягодицей! Не вызывало сомнения, что в этих местах занимались людоедством!

Несмотря на страшную усталость, ноги сами понесли нас вперед. Даже нас, насмотревшихся на мертвых людей, ужаснули эти жуткие свидетельства людоедства!

Позже наш участковый милиционер Вепренцев

доверительно сообщил маме, попросив не болтать об этом, что в одном из построенных перед самой войной кирпичных трехэтажных домов, ныне существующих, жил и работал истопник, а в подвале около котельной были обнаружены кости и черепа порядка сорока человек!

Позже наш участковый милиционер Вепренцев доверительно сообщил маме, попросив не болтать об этом, что в одном из построенных перед самой войной кирпичных трехэтажных домов, ныне существующих, жил и работал истопник, а в подвале около котельной были обнаружены кости и черепа порядка сорока человек! В ходе следствия истопник признался, что продавал мясо и студень, полученные из тел этих несчастных! Когда мы проходили тогда по улице Замшина мимо этих домов, то, естественно, об этом не знали.

Тропинка вывела нас к проспекту Мечникова, перейдя который, по Ростиславской улице мы наконец добрались до калитки и ворот нашего дома! Ворота и забор, выходящие на Сазоновскую улицу, по которой числился дом под № 15, оказались целыми.

Забор, калитка и ворота были сплошными, сколоченными без щелей из почерневших от времени досок. Столбы, на которых держались калитка и ворота, были также обшиты подобными досками и выглядели как возвышающиеся над забором прямоугольные башни.

Отперев ключом единственный врезной замок, мы открыли входную дверь и вошли внутрь.

Весна 1942 года. Полюстрово. Отчий дом

Дедов дом, в котором мы оказались, представлял собой тогда двухэтажную бревенчатую пристройку к изначально построенной скульптурной мастерской.

Отдышавшись, мы с трудом открыли массивную, примерзшую калитку и по нечищеной тропинке, миновали колодец и прошли к дому.

Дверь на крыльце даже не была заперта, а другая, ведущая в дом, оказалась на замке. Когда Вера открыла его и мы вошли в коридор, то на нас пахнуло промозглым холодом.

На втором этаже, куда вела деревянная лестница, была круглая печка, отапливающая обе комнаты, которые относительно быстро можно было прогреть.

Дрова, слава богу, в доме оставались, поэтому, затопив печку, мы стали обживать наше новое (старое) пристанище. Вера занимала дедову комнату на первом этаже, которая не была смежной, но отапливалась общей со столовой круглой печкой. Я так подробно повествую об этом потому, что обогрев помещений в условиях первой жуткой, морозной блокадной зимы являлся одним из основных условий для выживания!

Обогрев помещений в условиях первой жуткой, морозной блокадной зимы, являлся одним из основных условий для выживания!

На первом этаже находилась кухня с плитой, которую нам также пришлось растопить, чтобы накипятить воды, с трудом набранной из колодца. Колодец был неглубоким, сильно замерзшим. Во льду было маленькое отверстие, через которое с трудом проходило ведро. Вытащить его, наполнив водой, нам удалось только совместными усилиями! Согревшись водой, вскипяченной в чайнике на плите (буржуйки в доме не было), в которую для иллюзии чайной заварки бросили корки хлеба, и съев немного дуранды, мы стали растапливать печки в комнатах, где собирались ночевать и жить (мы с мамой наверху, а Вера – внизу, в дедовой комнате).

Прогреть их в промерзшем двухэтажном доме с холодными, необогреваемыми коридором и лестницей сразу, естественно, не удалось, и, ложась спать, мы нацепили на себя все что можно!

Необходимо отметить, что деревянный дом являлся фактически пристройкой к ранее построенной каменной скульптурной мастерской моего деда Леонида Владимировича Шервуда, известного скульптора, профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. Она была построена им в 1913 году на деньги, полученные за памятник адмиралу С. О. Макарову, установленному на Якорной площади в Кронштадте. При мастерской имелись две комнатушки, в которых, непонятно как, размещалась многочисленная семья!

В 1933 году, когда дед на конкурсе по случаю 15-летия РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии) получил первую премию за бронзовую скульптуру «Часовой», он решил на полученные деньги сделать деревянную пристройку к мастерской, представляющую фактически новый жилой дом. Дед привык все делать сам. Он задумал осуществить двухэтажную деревянную пристройку к мастерской, используя ее в качестве четвертой стены. Судя по всему, надежной связки между ними не было, так как весь коридор и лестница со всех сторон продувались морозным воздухом! При этом входные двери комнат совершенно не были

утеплены! Отсюда понятно, что, несмотря на то что печка была натоплена нами чуть ли недокрасна, заснуть мы с мамой смогли только лежа на одной кровати, крепко прижавшись друг к другу и накрывшись всем, чем можно!



Дом скульптора Л. В. Шервуда до войны

Утром мы смогли осмотреться и воочию убедиться в том, насколько запущен был оставленный дедом дом. По сравнению с вавиловской квартирой, где мы провели жуткую холодную зиму в ограниченном кухней пространстве, которое можно было худо-бедно прогреть буржуйкой, здесь обеспечить тепло стало значительно труднее. Угля не было, да и печка приспособлена только для топки дровами, которых в сарае оставалось немного и таскать их приходилось на второй этаж.



Сейчас мне, пережившему и преодолевшему немыслимые трудности первой блокадной зимы, кажется, что все это происходило не со мной, а в кошмарном сне! Однако мы с мамой, истощенные до предела, не могли расслабляться и начали обживать дом! Вера в это время дома почти не находилась и нам практически не помогала. Она говорила, что встречается со своей подругой Шурой Якуниной и даже иногда у нее ночует.

Не прошло и недели, как однажды утром мы зашли к ней в комнату и там ее не обнаружили. Из оставленной на столе записки мы узнали, что Вера вместе со своей подругой Шурой Якуниной решили эвакуироваться. Мы с мамой поняли, что она решила заманить нас в отчий дом, чтобы не оставлять его пустым. С этого «памятного» дня мы с мамой стали жить одни в огромном дедовом доме!

По ночам нам было очень страшно, поскольку наружная дверь дома запиралась на один-единственный замок и задвижку, но в дом можно было проникнуть также через открытую веранду, куда выходила еще одна дверь, оснащенная щеколдой. О том, что она не была задвинута, мы узнали не сразу. В первую же ночь после Вериного бегства мы не могли сомкнуть глаз не столько от холода, сколько от того, что слышали, как внизу кто-то ходил! Дверь на лестницу из наших комнат не запиралась, открывать ее мы боялись и смогли только подпереть ее изнутри стулом!

Ни голод, ни холод не смогли подавить во мне чувство детского любопытства! В первые же дни я излазал в доме все, что можно. Наибольший интерес у меня, естественно, вызывала

скульптурная мастерская. Вход в нее находился в самом конце коридора, справа перед выходом на веранду. Он закрывался тяжелой массивной дверью, сохранившейся еще с того времени, когда не было деревянной пристройки, жилого дома, и она была фактически входной.

Снаружи дверь также закрывалась на массивную задвижку, которая была отодвинута. С трудом открыв дверь, я с опаской вошел в мастерскую.

Сейчас трудно вспомнить, что вызвало у меня дрожь: жуткий промозглый холод в огромном, размером с трехэтажный дом, помещении, которое венчал стеклянный купол, полумрак или скульптурные фигуры, расположенные на деревянном круге и вокруг него.

Честно говоря, вся эта обстановка немного напоминала фрагмент кладбища, поскольку эти фигуры являлись, по сути дела, гипсовыми копиями в натуральную величину памятников и надгробий, ранее отлитых в бронзе. Покрашенные преимущественно в коричневый цвет, они при слабом дневном освещении через промерзшие стекла купола (окон в мастерской не было) производили зловещее впечатление.

С вершины купола свисали массивные цепи с блоком, при помощи которых дед поднимал скульптуры и перемещал в нужное место круга или вне его. Сам круг, имеющий чугунные колесики, по круглому рельсу можно было вращать вокруг своей оси, тем самым поворачивать скульптуры в сторону максимальной освещенности в процессе ваяния.

Сейчас этот круг с замерзшими и давно не смазанными колесиками повернуть не представлялось возможным.

Не могу не вспомнить с благодарностью о нашей соседке, жившей на противоположной стороне Сазоновской улицы. До войны мы ее прозвали «агрономшей» и недолюбливали, а теперь она сама дала нам картофельных очистков, из которых мама сварила нечто наподобие супа, на некоторое время утолившего чувство голода! Звали ее Серафима Лукинюк, у нее был хороший, ухоженный до войны огород, но мы, мальчишки, играя в распространенные тогда игры, в лапту или в волейбол, часто невзначай закидывали к ней за забор мячи, а потом без разрешения лезли за ними, топча грядки. Тогда, естественно, мы, дети, не уважали чужой труд, как, впрочем, и многие взрослые!

Другая соседка, жившая в доме по Ростиславской улице, Елизавета Михайловна Киселева, тоже пригласила нас на обед, накормив супом из протертых овощей, который мы, заедая кусочком хлеба, с удовольствием съели. Впоследствии мы поняли, что ее гостеприимство не было случайным. От мамы она узнала о

вавиловской квартире, в которой было много интересующих ее вещей: ковров, статуэток, сервизных тарелок, чашек, ножей и ложек. Несмотря на то что даже в тот момент дом ее представлял собой фактически антикварный магазин, жажда приобретения ею за бесценок новых вещей была огромной!

За время обеда она настойчиво выпытывала у мамы подробные сведения о ценных вещах, находившихся в квартире Вавиловых, за которые предлагала продукты. А они, судя по всему, у нее имелись, так как она в то время работала сестрой-хозяйкой больницы имени Мечникова. Мы с мамой впервые столкнулись с таким блокадным явлением, как стяжательство, оказывается довольно распространенным. Мне до сих пор непонятно, как в то жуткое голодное время некоторые люди могли думать о наживе.

Отдельно от нее проживал ее муж Григорий Самуилович Киселев, бывший чекист. Судя по всему, у них с Елизаветой, как мы с мамой ее про себя называли, были непростые отношения, и жил он в бревенчатом домишке типа бани, во дворе. Свело нас с ним происшествие, случившееся как-то ранним морозным утром.

Мы с мамой проснулись и вскочили с постелей, когда дом вдруг заходил ходуном, посыпались стекла, и до нас докатился громкий звук мощного взрыва. Как мы впоследствии узнали, на станции Ржевка, вблизи Пороховых, где размещались подземные заводы и склады с боеприпасами, взорвался нагруженный боеприпасами эшелон! По прямой от него до нашего дома было около трех километров.

Единственным человеком, который мог и взялся в нашей округе заделать оставшиеся без стекол окна в наших жилых комнатах, был Григорий Самуилович! По просьбе мамы он довольно быстро дохромал до нашего дома и с трудом поднялся на второй этаж по крутой лестнице. Поначалу он велел нам поискать в доме фанеры, чтобы заложить ею окна, дабы не выстудить помещение, так как на улице был еще сильный мороз, несмотря на ясную солнечную погоду, а сам тем временем стал замерять рамы под новые стекла.

Тем временем мы нашли в дедовой мастерской несколько листов фанеры, которыми с помощью Самуилыча, как за глаза впоследствии его называли, закрыли окна, а также навесили на них одеяла. В этот же день Самуилыч вставил наружные стекла, оказав нам неоценимую услугу. Возник вопрос, как отблагодарить его? Мама решила подарить ему, заядлому курильщику, Мишину трубку, которую тот до войны привез из Германии. Мы с мамой точно помнили, что она лежала на столе на видном месте, но, когда ее хотели отдать Самуилычу, она исчезла! Видели бы вы,

как покраснело невозмутимое лицо чекиста Самуилыча, когда мы при нем вдвоем с мамой тщетно искали трубку! Взамен ее маме пришлось дать Самуилычу что-то другое, но трубку эту я неоднократно видел у него впоследствии! Выходит, что он сам себя ею наградил! В любом случае, я до конца жизни буду благодарен ему, пожилому инвалиду, за эту безотлагательную помощь, а также за то, что он являл собой пример настоящего мужика, умеющего все делать своими руками! За время довольно долгого общения с ним я многому научился у него, но и сам старался помогать ему чем только мог.

Мы с мамой продолжали пользоваться не только своими, но и Мишиной карточкой, однако еды явно не хватало, так как по ним практически выдавали только по 250 г хлеба. По этой причине мама решила пойти работать вольнонаемной санитаркой в сортировочный эвакогоспиталь (СЭГ 2222), расположенный с начала войны на территории больницы имени Мечникова (ныне имеющей первоначальное имя Петра Великого).

В 1942 году он являлся главным госпиталем города, поскольку в него поступало наибольшее количество раненых с Ленинградского фронта. Если на южной части фронта, несмотря на массированные артиллерийские обстрелы города немцами с занятых ими Пулковских высот и Вороньей горы, было относительное затишье и окопная война, то на северо-востоке, в районе Шлиссельбурга и Невского пятачка, сражения не прекращались ни на один день!



Ирина Леонидовна Шервуд

Ирина Леонидовна Шервуд

Наибольшая близость госпиталя к линии фронта (около 40 километров), растянувшегося вдоль реки Невы от Шлиссельбурга до Невской Дубровки, а также его расположение прямо на Дороге жизни делали его стратегическим военно-санитарным объектом блокадного города!

Построенная еще до 1917 года железнодорожная ветка вблизи больницы Петра Великого, соединявшая Финляндский вокзал со станцией Ладожское озеро и со станцией Невская Дубровка, предоставила прекрасную возможность доставлять раненых в вагонах прямо в госпиталь. Для этого непосредственно за больницей была построена железнодорожная платформа (рампа) к ответвлению от построенной тоже до революции железной дороги, соединявшей станцию Пискаревка с Финляндским мостом через реку Неву. По этой ветке, которая называлась Окружной, до 1917 года ходили пассажирские пригородные поезда от Финляндского вокзала до Московского. По ее пути были построены две типовые (как нынешняя

Пискаревка) станции: Полюстрово (вблизи шоссе Революции) и Дача Долгорукова, на месте которой ныне расположен Ладожский вокзал.

В военном отношении месторасположение госпиталя оказалось почти идеальным. От восточной и южной линий фронта до него было около 30–40 километров, поэтому вражеских артобстрелов не было. Со стороны северо-западного Финского фронта, тянувшегося от Белоострова через Лемболово с выходом на Ладожское озеро, расположенного от нас тоже на расстоянии более 30 километров, артобстрелы также не производились.

Не было также немецких авианалетов по разным причинам. Единственный раз, еще до нашего возвращения, преследуемый нашими истребителями немецкий бомбардировщик, летевший со стороны Финляндского вокзала в нашу сторону, хаотично сбросил несколько бомб. Две из них попали в дома по Ключевой и Брюсовской улицам (детский садик), последний был тогда уже эвакуирован, а другие две сброшены на питомник (ныне сквер А. Д. Сахарова) и в поле недалеко от указанного садика. Воронки от этих бомб еще долго напоминали нам о войне!



Абрам Соломонович Спивак – начальник штаба госпиталя СЭГ 2222

Кроме того, немцы за всю войну ни разу не бомбили наш микрорайон, так как в 9-м и 11-м павильонах больницы Мечникова (СЭГ 2222) находились пленные раненые немецкие офицеры, содержание которых было значительно более комфортным, чем наших! В то время, когда в рацион наших раненых военнослужащих входили, в основном, только черный хлеб, каши и тушенка, немцам давали еще белый хлеб, лярд, свиное сало, чай с сахаром и компоты из сухофруктов! Медицинское обслуживание их тоже было особым! К каждому из старших немецких офицеров были прикреплены денщики из легкораненых немецких солдат и ефрейтеров. Отчим говорил, что это делалось по приказу самого И. В. Сталина! И это в то время, когда фашисты хотели измором, бомбежками и обстрелами заставить город капитулировать, что вызывало у большинства из блокадников только лютую к ним ненависть!

В один из дней утром я пошел за хлебом в единственный в

наших краях магазин, расположенный вблизи больницы Мечникова, справа от ее проходной. На подходе к моему дому по Сазоновской улице на меня вдруг сзади напал высокий мужчина, повалил в снег, вырвал авоську с буханкой хлеба и побежал в сторону больницы. Я вскочил, догнал его и пытался отобрать у него авоську, но силы были неравные, и он снова отшвырнул меня в снег. Со слезами на глазах я побрел домой.

Это был второй случай, когда у меня отобрали насущный хлеб. До какой степени голод доводил людей, если они среди белого дня шли на грабеж!

В дальнейшем я никогда не носил хлеб в открытом виде, а всегда прятал его в сумке.

Между тем мама продолжала работать в госпитале, в 18-м павильоне санитаркой, зачастую в ночное время, когда чаще всего прибывали эшелоны с ранеными. Пока еще не растаял лед в верховьях Невы, не прекращались неоднократные попытки прорвать блокаду в районе Невского пятачка – с огромными потерями. Кроме того, под интенсивными бомбежками усилилось движение грузовиков по ледовой трассе Дороги жизни Ладожского озера, откуда тоже поступало много раненых.

В один из вечеров к рампе госпиталя прибыли один за другим три эшелона с ранеными, и в 18-м павильоне, где работала санитаркой мама, персонал не успевал принимать и даже регистрировать раненых. В связи с этим мама попросила меня прийти и помочь в регистрации раненых.

> В 1941 году я закончил первый класс, читать и писать уже умел. Мне необходимо было переписывать основные данные раненых из их красноармейских книжек в истории болезней. Иногда разобрать написанное в книжках было трудно из-за грязи или крови, налипших на их страницах, – приходилось прибегать к помощи взрослых или пытаться самому рассмотреть написанное, приложив страницу книжки к стеклу, освещаемому с другой стороны лампой.

В 1941 году я закончил первый класс и перешел во второй, поэтому читать и писать я уже умел. В процессе регистрации мне необходимо было переписывать основные данные раненых из их красноармейских книжек в истории болезней. Иногда разобрать написанное в книжках было трудно из-за грязи или крови, налипших на их страницах, – приходилось прибегать к помощи взрослых или пытаться самому рассмотреть написанное, приложив страницу книжки к стеклу, освещаемому с другой стороны лампой.

Наконец, когда основная масса раненых была принята и зарегистрирована, примерно около двух часов ночи меня отправили домой. В это время вдруг начали стрелять зенитные орудия, установленные на бронепоезде, который практически постоянно стоял у ворот узловой железнодорожной больницы на путях, идущих от станции Пискаревка на ее территорию. Судя по всему, немецкие самолеты-разведчики, которые на большой высоте летали над нами, но не бомбили, а периодически разбрасывали листовки, похожие по размеру и цвету на партбилеты. Они призывали ленинградцев сдаваться на милость победителей, обещая нам за это всяческие блага! Большое их количество мы собирали и на нашем участке и, естественно, сразу их уничтожали! Последнее мы делали не столько из-за боязни репрессий со стороны НКВД и СМЕРШа, приказывавших их сдавать, сколько потому, что люто ненавидели немецко-фашистских захватчиков, которые обрекали нас на голод и смерть. И мы абсолютно не верили напечатанным в листовках их посулам!

Так вот, несмотря на продолжающуюся стрельбу зениток бронепоезда я, мечтая поскорей попасть домой, до которого было рукой подать, выбежал из проходной и устремился по направлению к дому. И вдруг впереди, на расстоянии буквально двух шагов от меня, упал размером с чайное блюдце осколок зенитного снаряда! От неминуемой смерти меня спасло меньше секунды! Однако в тот момент, забыв осторожность, я захотел взять осколок себе на память, но он оказался настолько горячим, что пришлось сразу отказаться от этой затеи. К тому же стрельба продолжалась, и у меня хватило разума вернуться под своды проходной, но через какое-то время голод и острое желание добраться домой, поесть и лечь спать снова побудили меня рискнуть продолжить путь.

Как я уже писал выше, к мастерской со стороны хоздвора примыкал гараж, в который можно было попасть или из нее, или снаружи через ворота, замкнутые на наружный висячий замок. Так вот, как-то раз, когда я перестал испытывать чувство страха перед мастерской и гаражом, я зашел в него, чтобы взять там какой-то инструмент для работы в доме.

Первое, что я увидел, войдя в гараж, – это граната-лимонка, висевшая в качестве растяжки между внутренними петлями наружных ворот. Корпус гранаты был крепко привязан к одной петле, а ее чека – к другой. Стоило кому-то, открыв наружный висячий замок, отворить ворота и войти в гараж, взрыв гранаты был бы неизбежным!

То же самое произошло бы, если бы я попытался ее снять!

Делать это я, естественно, не стал, а побежал сообщить об этом маме, которая в тот момент находилась дома. Во время ближайшего приезда Даниила мама выразила ему свое негодование, однако тот без тени раскаяния сказал, что повесил гранату, чтобы воры не смогли проникнуть в гараж. То, что во время взрыва могли быть уничтожены не только охраняемые мотоциклы, часть стены мастерской, но и люди, пускай даже воры, его нисколько не смутило! Однако впоследствии гранату он убрал.

Как только мы с мамой стали понемножку избавляться от дистрофии, я начал уходить все дальше и дальше от дома. Детское любопытство брало верх над моими слабыми физическими возможностями.

> Двое мужчин с помощью палок с крюками на их концах стаскивали трупы со стороны открытого борта прямо в траншею. При этом, будучи замороженными, мертвые тела издавали жуткий скрежет! Звук его до сих пор стоит в моих ушах!

Я уже почти привык к шуму со стороны дорог, по которым эпизодически передвигались грузовики, к шуму и ощутимой тряске дома при прохождении по железной дороге мимо станции Пискаревка железнодорожных составов в любое время дня и ночи, но с разными интервалами. А тут мое внимание привлек непрерывный гул, напоминающий работу двигателей тракторов или танков, тоже со стороны железной дороги. Поскольку между нашим домом и железной дорогой расстояние не превышало двухсот метров, а пространство было открытое и земля крепкая, еще промерзшая, как-то утром я двинулся в сторону источника шума.

Когда я добрался до обрыва, за которым в котловане были проложены рельсы железной дороги, то убедился в том, что шум доносится не с нее, а со стороны Пискаревской дороги (по ней после войны был проложен нынешний проспект Непокоренных).

С трудом перебравшись через рельсы и по довольно крутому склону на другую сторону железной дороги, я по полю побрел в сторону источника шума. По мере приближения к нему, я начал различать по другую сторону Пискаревской дороги непрерывно работающий экскаватор, ковш которого поднимал на поверхность и высыпал грунт из вырываемой им траншеи, а к краю вырытой ее части периодически подъезжали грузовики, наполненные обнаженными людскими трупами!

Двое мужчин с помощью палок с крюками на их концах стаскивали трупы со стороны открытого борта прямо в траншею.

При этом, будучи замороженными, мертвые тела издавали жуткий скрежет! Звук его до сих пор стоит в моих ушах! Естественно, в дальнейшем у меня больше не возникало желания туда ходить!

Не могу забыть и о том, что мне пришлось увидеть как-то между нашим домом и железной дорогой. До войны на этой территории, видно, собирались строить новую овощную базу, но не успели. Однако на этом месте остались траншеи, к этому времени слегка припорошенные снегом. На краю одной из них лежал раздетый труп мальчика примерно моего возраста, без глаз, очевидно выклеванных птицами. Даже на меня, уже видевшего много трупов, это произвело неизгладимо жуткое впечатление!

Я многому научился у чекиста Самуилыча и фактически выполнял все ремонтные работы по дому. Позже, когда я увлекся радиолюбительством и переделал репарационный немецкий средне-длинноволновый радиоприемник для приема коротких волн, Самуилыч попросил меня собрать для него такой же. Мы поехали с ним на барахолку, находившуюся на месте нынешнего автовокзала, и купили там старый радиоприемник, тоже не имеющий коротковолнового диапазона.

Надо отметить, что тогда только на этом диапазоне можно было ловить зарубежные станции «Голос Америки» и «ВВС», которые вещали на СССР на русском языке и считались антисоветскими, но еще не глушились. Когда я пристроил к приемнику специальный блок для приема коротких волн, то восторгу Самуилыча не было предела! Он даже сделал для приемника новый футляр и каждый вечер слушал эти враждебные голоса «из-за бугра». До сих пор я не понимаю, почему бывший чекист с таким интересом слушал эти передачи.

В апреле 1942 года мама, работая в госпитале СЭГ 2222, познакомилась с начальником штаба госпиталя – Абрамом Соломоновичем Спиваком. Это был некрасивый человек небольшого роста, горбатенький, но с большими добрыми глазами и густой черной шевелюрой. Жил он прямо в своем кабинете, поскольку находился на казарменном положении. Я одобрил мамино решение, чтобы Абрам Соломонович поселился у нас, так как чувствовал себя беззащитным, оставаясь один в пустом доме, когда она сутками работала санитаркой в 18-м павильоне госпиталя.

Будучи по званию капитаном медицинской службы, Абрам Соломонович имел в своем распоряжении табельное оружие – пистолет ТТ

Оно пригодилось ему для устрашения каких-то людей,

которые с ломами и топорами пришли к нашему дому, чтобы сломать его на дрова, при этом трясли ордером, якобы разрешающим им это сделать. Абрам Соломонович сказал, что как начальник штаба госпиталя он занимает этот дом и не допустит его слома. Однако сломщики уходить не собирались, и тогда он вытащил из кобуры пистолет и дважды выстрелил в воздух. Только после этого они бросились врассыпную и больше к нам не приходили. Таким образом, он спас от уничтожения наш дом и скульптурную мастерскую деда. Впоследствии Абрам Соломонович спас от слома еще несколько домов, принадлежавших нашим друзьям и знакомым.

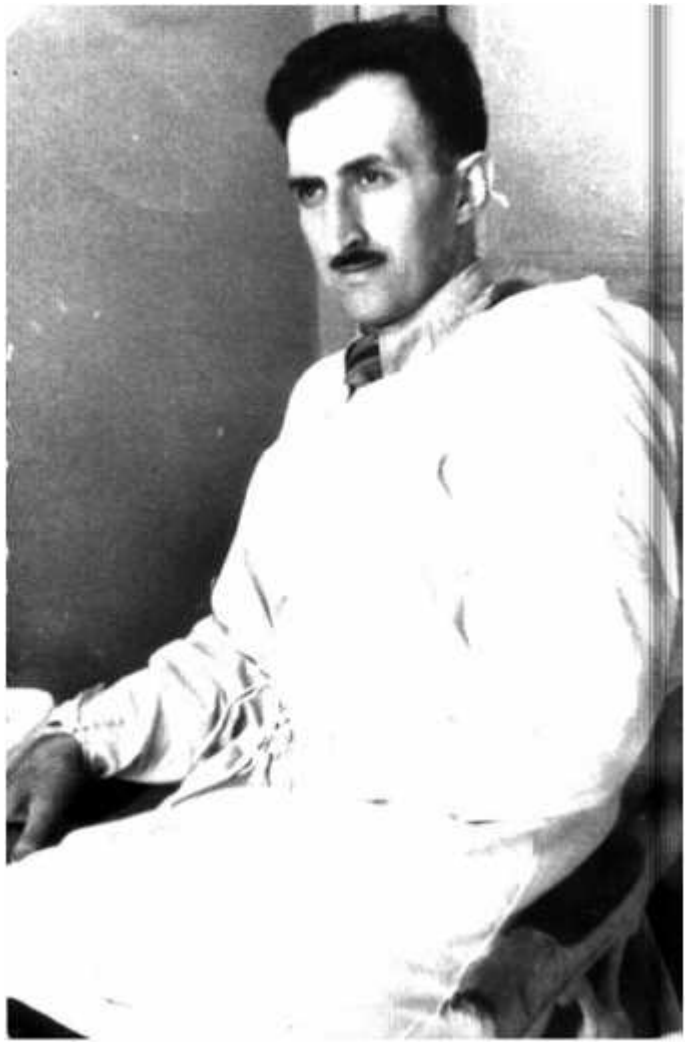
> Из персонала и легкораненых решено было организовать хор с солистами. Мама была до войны опытным пианистом-аккомпаниатором, поэтому Абрам Соломонович не нашел никого лучше нее. После этого санитаркой она уже не работала, а только числилась, так как в штате госпиталя такой должности, как пианист-аккомпаниатор, естественно, не было.

Даже в то тяжелое и голодное время поговорка «Не хлебом единым жив человек» оказалась актуальной. Персоналу госпиталя, работавшему не щадя своих сил, нужна была отдушина. Для этого из персонала и легкораненых решено было организовать хор с солистами. Мама была до войны опытным пианистом-аккомпаниатором, поэтому Абрам Соломонович не нашел никого лучше нее. После этого санитаркой она уже не работала, а только числилась, так как в штате госпиталя такой должности, как пианист-аккомпаниатор, естественно, не было.

В то время в госпитале санитаром в звании рядового служил также Герман Андреевич Новиков, в мирное время работавший артистом в одном из ленинградских драматических театров. Его тоже решили привлечь для организации хора. Начальник госпиталя полковник Шнейдерман поддержал эту идею для того, чтобы поднять дух раненых и медперсонала.

Маму и Новикова освободили от их прямых обязанностей санитаров. Где-то раздобыли пианино, на котором играла мама, аккомпанируя хору, а Герман Андреевич дирижировал. Мама, конечно, втайне посмеивалась над тем, как он это делал, поскольку не имел музыкального образования, а до войны был комедийным артистом (после войны Герман Новиков стал партнером Аркадия Райкина). Несмотря на это, им удалось в короткое время организовать из медперсонала и легкораненых хор, подготовить солистов и достаточно регулярно давать концерты. Одним из запевал в хоре был вестовой начальника

штаба госпиталя Михаил Топлишвили. Исполняли они преимущественно советские песни тех лет, среди которых были, в первую очередь, патриотические, но также и лирические. Трудно переоценить то благотворное воздействие, которое оказывали эти песни на раненых бойцов, поднимая их настроение и способствуя их скорейшему выздоровлению!



Вестовой начальника штаба госпиталя СЭГ 2222 Михаил Топлишвили

Никаких специальных распоряжений со стороны начальства госпиталя или 18-го павильона, где сначала санитаркой работала мама и где в то время часто бывал я, мне лично слышать не приходилось. Складывалось впечатление, что каждый хорошо знает свое дело и выполняет его с максимальной отдачей без

всякого принуждения. Конечно, в павильоне были вывешены патриотические плакаты и портреты И. В. Сталина, но, судя по всему, не они вдохновляли медперсонал в его работе, а чувство долга и сострадание. Таких добрых и сочувствующих глаз у врачей и медсестер я в дальнейшем не много встречал за всю свою долгую жизнь!

С появлением в нашем доме Абрама Соломоновича ассортимент питания значительно расширился. В паек, который ему предназначался, входил белый хлеб, консервы, лярд, яичный порошок, колотый сахар, крупы, чай и сгущенное молоко без сахара. Часть этих продуктов поступала из США по линии ленд-лиза. К ним, прежде всего, относились лярд, сгущенное молоко, яичный порошок и консервы (свиная тушенка или мелкие сосиски). Ходили слухи, что в них находили червей и какие то странные добавки, явно не мясного происхождения, но нам, Слава Богу, они ни разу не попадались.

В условиях, когда нам с мамой по карточкам полагалась в то время только увеличенная до 400 граммов пайка черного хлеба, эти продукты казались манной небесной. За пайком приходилось два раза в месяц ездить на центральный склад военторга, который находился тогда на улице Радищева. Иногда туда брали меня, чтобы помочь таскать продукты в кузов грузовика-полуторки.

Начало нашего маршрута приходилось на проспект Ленина (так тогда назывался нынешний Пискаревский). Как только грузовик, в кузове которого я сидел, свернул с улицы Куракина в сторону города, мы оказались в узком одностороннем туннеле, только что без крыши. По бокам его на всем протяжении проспекта высились снежные сугробы высотой порядка трех метров, которые образовались в результате расчистки проезжей части вручную. И это притом, что длина проспекта от больницы Мечникова до Невы составляет около трех километров.

Две встречные машины могли разъехаться только на нескольких перекрестках проспекта. К счастью, в силу прямолинейности проспекта он хорошо просматривался на всем протяжении. И проблем разъехаться с другими машинами (их было крайне мало), у водителя нашего грузовика практически не было.

Когда мы въехали на Большеохтинский мост (ныне мост Петра Великого), я засмотрелся на Неву – уже начался ледоход. На некоторых льдинах плыли полувмерзшие в лед трупы красноармейцев, зачастую с оружием в руках! Это были жертвы кровопролитных боев в верховьях Невы в районе Шлиссельбурга при неоднократных попытках прорвать блокаду Ленинграда, тогда, к сожалению, неудачных! Поскольку снять этих несчастных

со льдин, чтобы похоронить, видимо, не представлялось возможным, то их траурный путь заканчивался в Финском заливе! Забегая вперед, не могу не сказать, что весной 1943 года наблюдалось и вылавливалось необычно большое количество крупной корюшки, которая, как говорили, и питалась разложившимися трупами утопленников, то есть погибших бойцов!

Далее наш грузовик по немного расчищенным Суворовскому проспекту и Кирочной улице проехал до улицы Радищева и свернул на нее. Недалеко от угла, с левой стороны, и находился гарнизонный склад, на территорию которого мы проехали через охраняемые ворота. За время нашей поездки туда и обратно ни бомбежек, ни артиллерийских обстрелов не было. Очевидно, немцы из-за мощной противовоздушной обороны города опасались летать в дневное время, а артиллерийские снаряды просто не долетали сюда за дальностью расстояния.

Во время одной из последующих поездок за продовольственными пайками я вышел на улицу Радищева, ожидая нагруженную машину. И вдруг увидел, как прямо на меня по узкой улице на полной скорости несется грузовик, причем двигался он зигзагами. Не знаю как, но мне удалось от него увернуться практически из-под колес, а тот тут же врезался в стену ближайшего дома и остановился. Когда я, невредимый, пришел в себя от страха, то увидел, как из кабины вывалился вдрызг пьяный солдат-водитель!

Уже в то время во мне стал проявляться авантюризм, связанный с отсутствием боязни. Видимо, этим я был обязан не только своему юному возрасту, но и выработавшейся привычке к жутким условиям блокады.

Как я уже писал, в блокадном городе нередки были случаи людоедства. Однажды Абрам Соломонович рассказал о жутком случае, произошедшем в их госпитале. В морге больницы Мечникова, который также использовался и госпиталем, у некоторых трупов умерших от ран красноармейцев обнаружили отсутствие частей тела, явно кем-то вырезанных. Наиболее часто следы от вырезанных частей встречались на ляжках и ягодицах.

Под подозрение попадали санитары морга, которых необходимо было поймать с поличными. Поскольку занимались они этим делом ночью, чтобы избежать свидетелей, решено было секретно сформировать небольшое подразделение вооруженных военнослужащих из состава гарнизона госпиталя. Возглавить его пришлось Абраму Соломоновичу, как начальнику штаба и старшему по званию. Он рассказывал, что ему было не по себе: ведь он был капитаном медицинской службы и навыков

прицельной стрельбы из револьвера у него не было. В то же время ожидать от людоедов, что они сдадутся без боя, не приходилось!

Та ночь выдалась лунной, а подходить к моргу нужно было незаметно, чтобы санитары через окна не увидели приближения военных. К счастью, дверь в морг оказалась незапертой, и они сумели тихо проникнуть вовнутрь. Света в помещении не было, и его решили не включать, чтобы не стать мишенью для санитаров в случае, если те начнут отстреливаться.

Солдаты, которыми командовал Абрам Соломонович, в том числе и его вестовой Миша Топлишвили, посоветовали ему не лезть на рожон.

В помещении морга (оно до сих пор используется в больнице), как и сейчас, трупы лежали на двухъярусных стеллажах, только тогда они были переполнены.

> Миша Топлишвили и солдаты почти силой заставили Абрама Соломоновича спрятаться за ближайший стеллаж, а сами стали стрелять в санитаров почти вслепую. Когда ответный огонь прекратился, военные, соблюдая осторожность, подошли к тому месту, откуда велась стрельба. Один из санитаров, с перекошенным от злобы лицом, лежал убитый, другой сумел скрыться.

Несмотря на все предосторожности, проникнуть в помещение незаметно и бесшумно не удалось, и санитары начали отстреливаться! Миша Топлишвили и солдаты почти силой заставили Абрама Соломоновича спрятаться за ближайший стеллаж, а сами стали стрелять в санитаров почти вслепую. Когда ответный огонь прекратился, военные, соблюдая осторожность, подошли к тому месту, откуда велась стрельба. Один из санитаров, с перекошенным от злобы лицом, лежал убитый, другой сумел скрыться. Как рассказывал Абрам Соломонович, они совершили ошибку, не заблокировав выход из морга в систему туннелей, соединявших его с другими павильонами. Туннелем тогда практически не пользовались, но оттуда без особого труда можно было выбраться наружу и бежать.

Осенью 1942 года начала работать 146-я школа, построенная до войны и расположенная на проспекте Мечникова. Поскольку в 1941 году я закончил первый класс в школе на улице Халтурина (ныне снова Миллионная), я попытался закончить второй класс в 146-й школе, но у меня ничего не вышло, так как вследствие перенесенной дистрофии плохо соображал и память сильно ослабела, да и школьники уже прошли большую часть курса.

И мне пришлось снова идти в первый класс, как

второгоднику, зато окончил я его на одни пятерки.

О второй половине 1942 года, как ни странно, у меня осталось немного воспоминаний. Благодаря тому, что маме каким-то чудом удалось достать семян и кое-что посадить в огороде, кроме военного пайка отчима, от которого нам, естественно, перепадало, на столе появилась кое-какая зелень и даже немного картошки вдобавок к крапиве и щавелю. Последних, Слава Богу, было предостаточно. Кроме того, на чудом сохранившихся после лютых морозов кустах красной и черной смородины, а также шиповника созрели ягоды, которые в какой-то мере восполнили нам нехватку витаминов. Естественно, зелень и картошка сами собой вырасти не могли – нужно было вскопать грядки! Разумеется, я не мог позволить, чтобы моя мама, хрупкая музыкантша, которая еще не оправилась от дистрофии, занималась этим делом, а Абрам Соломонович тем более.

Приходилось мне также регулярно таскать воду из колодца, отоваривать карточки в магазине, расположенном тогда около больницы имени Мечникова (сейчас там трамвайное кольцо), и делать многое другое. Еще до войны наш участок со всех сторон был огорожен забором, а со стороны Сазоновской улицы (сейчас она не существует) он был высоким и сплошным. С других сторон он был ниже и с прорезями между досками. К нашему возвращению забор уже начинали разбирать на дрова. Не имея опыта работы с пилой, молотком и топором, ведь мне тогда было всего десять лет, пришлось осваивать профессию плотника и заделывать прорехи в заборе, используя имеющиеся у деда в запасе доски и гвозди.

Хорошо еще, в мастерской у деда и в гараже нашлись каким-то чудом сохранившиеся инструменты! Опыт обращения с инструментами я перенял также у соседа, Григория Самуиловича, который относился ко мне как к сыну. В летнее и осеннее время, когда участились дожди, мне, несмотря на боязнь высоты, пришлось научиться латать крышу.

Летом 1942 года к больнице Мечникова снова пошли трамваи № 17 и 34, до войны ходившие до порта и на Охту, соответственно. Если Охта практически не обстреливалась, то трамвай № 17 в центре города часто попадал под обстрелы! Однако никакой особой нужды ездить на нем туда у нас не было. Исключение составила поездка моей мамы, которая решила выписаться (речь шла о прописке) из квартиры дома на углу Мошкова переулка и Миллионной улицы (ранее Халтурина). Квартира оказалась нежилой, так как татарская семья, о которой я писал, умерла от голода, мама и я, хоть с осени 1941 года там и не жили, оставались в ней прописанными. Управдом начал

уговаривать маму не выписываться, поскольку теперь вся квартира принадлежала нам, однако мама не согласилась, ссылаясь на то, что ей тяжело добираться сюда для получения карточек, и она не может бросить дом и мастерскую отца, моего деда, которые еле отстояли от сноса! В дальнейшем, после окончания войны, мы ощутили на своей шкуре последствия этого благородного шага!

Несмотря на то что в нашем доме была ванная, из-за отсутствия водопровода пользоваться ею было практически невозможно. Ближайшая баня, находившаяся около кинотеатра «Гигант», также не работала. Судя по всему, такая ситуация была практически по всему городу! Ленинград завшивел! В связи с этим руководство города организовало при банях так называемые санпропускники. Ближайший санпропускник находился в Охтинской бане на Среднеохтинском проспекте. Только благодаря тому, что пустили трамвай, нам с мамой удалось добраться до него и провести эту процедуру. Состояла она в том, что, раздевшись догола, мы сдавали всю одежду для санобработки горячим воздухом. Пока это происходило, мы должны были вымыться под душем с головы до ног, используя выданное для этого подобие мыла. Настоящее мыло в то время было большим дефицитом.

> В 1942 году проспекты Мечникова и Ленина покрылись снегом, который не таял вплоть до весны 1943 года. Покрытие булыжной мостовой стало сравнительно гладким, кроме того накатанным шинами проезжающих машин (за исключением тех мест, где булыжники выступали слишком высоко).
>
> И вот по такой дороге мальчишки на коньках-снегурках катались, зацепившись сзади за борт грузовика при помощи крюка, сделанного из толстой, вроде арматурной, проволоки.

По проспекту Мечникова до войны ходил автобус № 2, на котором я ездил к деду, – теперь этот автобус, естественно, не ходил. Покрыт проспект был булыжником, представляющим собой круглый гранитный камень. Ходить по такой мостовой было крайне неудобно, а редко ездившие по ней машины, в основном грузовые, подпрыгивали, как на ухабах.

В связи с ранним наступлением зимы в 1942 году проспекты Мечникова и Ленина покрылись снегом, который не таял вплоть до весны 1943 года. Покрытие булыжной мостовой стало сравнительно гладким, кроме того накатанным шинами проезжающих машин (за исключением тех мест, где булыжники

выступали слишком высоко). И вот по такой дороге мальчишки на коньках-снегурках катались, зацепившись сзади за борт грузовика при помощи крюка, сделанного из толстой, вроде арматурной, проволоки.

Подобные коньки, которые давно уже не выпускаются, в миниатюре представляют собой загнутые кверху полозья саней-розвальней, изображения которых можно найти лишь на старых рождественских открытках или картинах. Я очень хотел покататься на таких коньках и стал искать их в нашем доме среди хлама – поиски увенчались успехом. Но просто найти их было мало. Закреплять их пришлось на валенках, поскольку специальной обуви у меня не было. Валенки удалось найти. Проблема теперь состояла в том, как снегурки покрепче прикрепить к ним. Понаблюдав за тем, как это делали пацаны, я не без труда сделал это при помощи веревки и палки: ну прямо по рецепту Ходжи Насреддина в известной довоенной детской книге!

Найти проволоку для крюка теперь уже не составляло трудности. Проблема состояла в том, чтобы по нечищенной, заснеженной Ростиславской улице, длиной около трехсот метров, добраться на коньках до проспекта Мечникова, а далее уже по нему – к углу с проспектом Ленина. Только там, на повороте, где грузовики неизбежно тормозили, можно было незаметно для шофера зацепиться сзади крюком за его борт. Сейчас трудно вспомнить, сколько шишек я набил на лбу при резкой остановке грузовика, но это не останавливало меня! Однажды мне захотелось прокатиться также за трамваем, уже регулярно ходившим по проспекту Ленина. Между его остановками «Проспект Мечникова» и «Ключевая улица» было наибольшее расстояние, составлявшее около полутора километров. И вот как-то, зацепившись крюком за вторым, последним, вагоном, я лихо покатил за набиравшим скорость трамваем, иногда подскакивая на бугорках, но удерживаясь на ногах. Однако этого мне показалось мало, и я решил выехать на встречные рельсы, но в это время навстречу нам мчался другой трамвай! До сих пор не знаю, как мне удалось увернуться, чтобы не оказаться под его колесами! С этого момента у меня, судя по всему, сработал инстинкт самосохранения, и я не стал больше испытывать судьбу!

В это сверхтяжелое время, как ни странно, многие сохранили чувство юмора, что свидетельствовало о наличии у них силы духа. В обиходе ходили всякие шутки-прибаутки, например:

Ленинградская блокада, до чего ты довела!
Одинокая девчонка лейтенанта завела!
– Не за то тебя люблю, что погоны носишь,

А за то тебя люблю, что паёк приносишь!

Не могу не вспомнить, что в это время был полностью уничтожен росший до войны расположенный вдоль проспекта Мечникова лес. По рассказам мамы, он составлял часть огромного лесного массива, в котором сейчас расположен Ржевский полигон. В нем было много грибов и ягод, а также водились лисы, волки и даже медведи. Видно, недаром вблизи станции Девяткино находится фрагмент этого лесного массива, называемый Медвежьим Станом.

Как стало известно в настоящее время из официальных источников, в конце 1942 года было не меньше пяти неудачных попыток прорыва там блокады. Так вот, когда ветер дул с той стороны, до нашего дома доходили звуки артиллерийских выстрелов, разрывов снарядов и бомб. После этого, как правило по ночам, в сортировочный эвакогоспиталь СЭГ 2222 приходили переполненные ранеными эшелоны, ну прямо как после увертюр к операм с трагическим сюжетом!

Во время прорыва блокады в январе 1943 года шум от взрывов бомб и снарядов был слышен на протяжении нескольких дней!

Вспоминается эпизод, который произошел со мной много позднее, когда я отправился в командировку на Чиркейскую ГЭС в Дагестан, и в купе поезда Москва – Махачкала познакомился с участником боев на Невском пятачке, единственном крохотном участке на правом берегу Невы вблизи Шлиссельбурга, не занятом немцами. Мужчина пенсионного возраста с одутловатым неприятным лицом, как только тронулся поезд, достал бутылку водки, закуску и предложил мне разделить с ним трапезу. Честно говоря, я согласился на это без особого желания, но только после того, как он узнал, что я блокадник, которого ему приходилось защищать, мне не удалось преодолеть его настойчивость. Естественно, поскольку я никогда не встречал раньше воинов этого героического и уникального плацдарма, не имеющего аналогов в истории, то, затаив дыхание, выслушал рассказ живого его защитника.

То, что он рассказал мне, сильно отличалось от подконтрольной советской информации. Оказалось, что окопавшиеся там в траншеях и блиндажах при непрерывных обстрелах и бомбежках русские солдаты и офицеры зачастую неделями оставались без продовольствия. Оно сбрасывалось с самолетов, зачастую попадая не к нашим, а к немцам или на интенсивно обстреливаемые ими участки на нашей территории.

Переправа через Неву также регулярно бомбилась и обстреливалась врагом. После войны на месте Невского пятачка в земле было обнаружено рекордное количество неразорвавшихся снарядов и авиабомб, а также их осколков, достигавших 200–300 килограммов на 1 кубический метр.

Как рассказывал мой сосед по купе, это был сущий ад, пережить который удавалось далеко не всем, особенно в период двух крайне морозных зим! В этих условиях нередки были случаи вынужденного людоедства, поскольку доставка продуктов с Большой земли, то есть из Ленинграда, была нерегулярной и прерывалась на недели. В то же время убитых становилось все больше и больше, а хоронить их не хватало сил! Чтобы не умереть от голода, некоторые, в том числе и мой попутчик, вынуждены были отрезать от мягких частей трупов куски, варить или жарить их.

До сих пор я не знаю, осуждать ли мне его и других защитников Невского пятачка за вынужденный каннибализм. Понятно, что, умри они от голода, оборона Пятачка была бы ослаблена и немцы смогли бы его захватить, а может быть, затем форсировать в этом месте Неву и устремиться к Ленинграду!

В 1954 году мне впервые удалось на речном трамвайчике сплавать до Шлиссельбурга, занятого до прорыва блокады немцами, а заодно посетить с экскурсией находившийся напротив него на расстоянии около одного километра остров. На нем со времен шведской оккупации была расположена крепость, которую с трудом захвативший ее Петр Первый назвал Орешком! Хотя в дальнейшем она использовалась до Октябрьской революции в качестве тюрьмы, но полностью сохранила свою изначальную архитектуру. Толщина окружавшей крепость кирпичной стены достигала пяти метров. Даже стреляя прямой наводкой из орудий, немцы не могли пробить или разрушить её!

> В связи с этим у меня до сих пор вызывает недоумение, почему Брестская крепость, которая была впоследствии сдана немцам, удостоилась звания Крепости-Героя, а наш Орешек, на который так и не ступила нога оккупантов, до сих пор не удостоился этого высокого и вполне заслуженного звания.

На протяжении 500 дней маленький гарнизон крепости, несмотря на обстрелы и бомбежки, не позволил немцам захватить ее! Бойцы крепости погибали или получали ранения не столько от осколков бомб и снарядов, сколько от осколков разбитых ими кирпичей. Захвати немцы Орешек, находившийся на расстоянии полукилометра от правого берега Невы, неизвестно, как бы

дальше развивались события, возможно, немецкие войска могли форсировать в этом месте Неву. В связи с этим у меня до сих пор вызывает недоумение, почему Брестская крепость, которая была впоследствии сдана немцам, удостоилась звания Крепости-Героя, а наш Орешек, на который так и не ступила нога оккупантов, до сих пор не удостоился этого высокого и вполне заслуженного звания.

Не случайно после прорыва блокады Ленинграда, семидесятилетнюю годовщину которой мы скромно отметили 18 января 2013 года, временный понтонный мост был сооружен именно в этом районе. Невозможно переоценить значение этого события для погибающего в когтях блокады нашего города. По проложенному по мосту железнодорожному полотну пошли поезда, которые за короткое время перевезли большое количества продовольствия городу. Вскоре увеличили норму хлеба по карточкам, по ним стали выдавать яичный порошок, свиное сало, американские консервированные сосиски, растительное масло. Это был не только глоток свежего воздуха, но реальная дополнительная пища для нас, дистрофиков!

Не могу не рассказать об одном событии почти детективного жанра, связанном с прорывом блокады. Дело в том, что в самом начале войны мой тесть, Алексей Николаевич Забалуев, всю свою семью, включавшую его мать, жену и двоих дочек пяти и двух лет от роду, отправил в эвакуацию в городок Саньково Калининской (ныне Тверской) области, на родину матери. Сам же вернулся в Ленинград, где работал сначала начальником цеха, а затем и директором одной из фабрик. Однако в Санькове вскоре умерла его престарелая мать, а жена в 1942 году была заключена в тюрьму по необоснованному обвинению в растрате в магазине, где работала продавщицей. По прямому указанию директора магазина она передала кому-то ящик водки, а когда пришли ревизоры, тот свалил всю вину на нее. В связи с этим дочери оказались без матери и остались на попечении дальней родственницы. К моменту прорыва блокады Ленинграда их уже собирались отдать в детдом. Когда же с Ленинградом после прорыва блокады было установлено временное железнодорожное сообщение с Большой землей, Алексей Николаевич, несмотря на казарменное положение, сумел каким-то образом съездить за дочерьми, а самое главное, незаметно провезти их в Ленинград!

Поскольку сам он был на казарменном положении и дочерей при себе держать не мог, то вынужден был свезти их в Парголово к свояченице Надежде, жене его родного брата Александра. Там они жили вплоть до полного освобождения Ленинграда от блокады. К этому же времени была реабилитирована и вернулась

в город их мать, Клавдия Александровна, и семья вновь была восстановлена. Со старшей их дочерью, Кирой, ставшей впоследствии моей женой, мы прожили долгие сорок четыре года, вплоть до ее безвременной кончины!

Блокада прорвана

В январе 1943 года блокада была прорвана и самое страшное оказалось позади. Оставшиеся в живых люди, которым в то время прибавили норму хлеба, смогли по карточкам отоваривать некоторые упомянутые в карточках продукты и стали понемногу приходить в себя! Можно сказать, в нашей жизни появился «свет в окошке». В нашем районе, который и до этого не подвергался артобстрелам и бомбёжкам, а в центр города и его южную часть, где они ещё продолжались, ездить без особой нужды нам не приходилось. Из квартиры в Мошковом переулке (ныне Запорожский) нам пришлось выписаться и прописаться в отчем доме, так как карточки тогда выдавали только по месту жительства. Поскольку моя мама продолжала работать санитаркой в сортировочном эвакогоспитале на территории больницы Мечникова, а мой отчим А. С. Спивак являлся начальником его штаба, она стала получать карточки в паспортном отделе на Кондратьевском проспекте, а он продолжал получать паёк по месту службы. Кроме того, мы перекопали часть участка и благодаря помощи соседей, с которыми у нас сложились добрые отношения, сумели посадить немного картошки, морковки, брюквы и других овощей. Что касается щавеля и крапивы, то они не выходили из нашего рациона питания. Из них мама продолжала варить щи, которые хотя не позволяли насытиться, но зато добавляли так необходимых нам витаминов.

Весной 1943 года нам сообщили, что в одном из магазинов, расположенных на Пискарёвской дороге (ныне проспект Непокорённых), начали давать по карточкам белый хлеб. Но как туда добраться? Только пешком! Но земля была ещё покрыта глубоким снегом, и пройти по нему пешком мне, тогда одиннадцатилетнему пацану, не представлялось возможным. Пришлось вспомнить, что перед войной я уже научился немного ходить на лыжах. Мне удалось найти в доме подростковые лыжи с мягкими креплениями и валенки довольно большого для моих ног размера. Так как помощи ждать было неоткуда, мне самому пришлось изрядно провозиться, чтобы сносно закрепить валенки на лыжах с помощью этих примитивных креплений! Для того

чтобы ноги в валенках не болтались, пришлось найти толстые носки и даже впервые намотать на них портянки! До последнего времени я продолжаю ходить на лыжах, причём по пересечённой местности, но этот «поход» в моей памяти остался на всю оставшуюся жизнь! Взяв карточки и деньги, надев на спину сидор, чтобы освободить руки для лыжных палок, я двинулся в сторону железной дороги. Поскольку никакой лыжни не было, пришлось её прокладывать самому, и ни о каком скольжении речи не могло быть! Кроме того, ноги в валенках, да и сами валенки, болтались из стороны в сторону, исключая необходимую при ходьбе на лыжах их фиксацию. Но самые серьёзные испытания для меня начались, когда я добрался до железной дороги. Дело в том, что она тогда (как и сейчас) находилась в этом месте в глубоком котловане, который необходимо было пересечь! Снимать с таким трудом прикреплённые к ногам лыжи мне очень не хотелось. При попытке спуститься по крутому склону лестницей: другого способа не было – я, естественно, не удержался и свалился кубарем! С трудом встав, я пересёк четверо железнодорожных путей, которые, к счастью, были очищены от снега. Далее необходимо было перебраться на противоположный склон, что я без особого труда проделал, так как он был не такой крутой и более низкий! Дальнейший мой путь пролегал по Пискарёвской дороге мимо образованного в 1942 году Пискарёвского кладбища массовых захоронений в сторону улицы Русская Гражданка (ныне Гражданский проспект), где находился магазин. Дорога на этом участке была слегка расчищена, поскольку по ней ездили грузовые машины, и идти на лыжах стало значительно легче. К моей большой радости, мне удалось получить по карточкам два кирпича белого хлеба и даже яичный порошок, которых мы не видели с октября 1941 года. С этими «трофеями» я уже по проторенной дорожке, но слегка подмороженной вернулся домой. Трудно передать и радость моих близких, когда на столе у нас появился долгожданный белый хлеб! Наша семья, несмотря на житейские трудности, как ни странно, оказалась неким центром общения. Продолжались наши контакты с ближайшими соседями. На углу пр. Мечникова и пр. Ленина в большом трёхэтажном бревенчатом доме жила семья

Мясниковых. Его бывшего хозяина, прораба строительства больницы Мечникова П. В. Мясникова, к этому времени уже не было в живых, но его вдова Надежда Степановна очень часто навещала нас. Для нас она являлась почти родным человеком, так как была крестной нескольких членов нашей семьи. Когда возникла угроза сноса их дома на дрова, мой отчим на несколько дней поселился у них, а затем надолго оставил у них на вешалке

свою офицерскую шинель! Её наличие производило отрезвляющее действие на тех, кто приходил с ордером на слом дома, так как хозяева говорили, что у них живёт начальник штаба госпиталя! Поскольку у Надежды Степановны тоже был огород, но гораздо больше нашего и разнообразнее, она часто нас угощала его плодами! Большая дружба связывала нашу семью с Сельмой Александровной и Николаем Григорьевичем Семёновыми. Эта семья постоянно проживала на проспекте Щорса (ныне Малый проспект) Петроградской стороны, но, ввиду того что родная сестра Сельмы Александровны Лидия Александровна, проживающая в нашем микрорайоне, вместе с семьёй эвакуировались, их попросили занять опустевший дом. Этот деревянный одноэтажный дом площадью более ста квадратных метров, расположенный в живописном месте, ожидала участь многих других, снесённых на дрова. И здесь мой отчим проявил всю свою энергию, чтобы сохранить его! Надо отметить, что скреплённые общими трудностями и взаимопомощью при их преодолении дружеские отношения с этими семьями сохранились до самого конца! Иногда мне приходилось участвовать в концертах для раненых. Перед самой войной я начал учиться игре на скрипке в музыкальной школе и, по словам педагога, был способным учеником. На чудом сохранившейся скрипке я выучил несколько лёгких пьес, конечно, при помощи мамы и под её аккомпанемент иногда играл на организованных концертах для раненых. Особенно часто я играл переложенную для скрипки песню индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко», которая не представляла для меня технической сложности. И вот однажды, когда я вышел со скрипкой на сцену и приготовился играть эту простую мелодию, а аккомпанирующая мне мама уже сыграла вступление, то увидел сидящего в первом ряду раненого. У него вместо одной ноги была культя, хоть и забинтованная, но пропитанная свежей кровью! Уж на что я до этого нагляделся на трупы людей, часто с вырезанными из них частями, но при виде такой раны у меня задрожали руки и пропало всякое желание начинать игру! Хотя я сразу же ушёл со сцены, концерт продолжался выступлением хора и был доведён до конца!

Однажды, когда я вышел со скрипкой на сцену и приготовился играть эту простую мелодию, а аккомпанирующая мне мама уже сыграла вступление, то увидел сидящего в первом ряду раненого. У него вместо одной ноги была культя, хоть и забинтованная, но пропитанная свежей кровью! При виде такой раны у меня задрожали руки и пропало всякое желание

начинать игру!

Поскольку солистов хора нужно было готовить индивидуально, маме приходилось заниматься с ними дома, благо наш дом находился рядом с госпиталем. Мало того, несмотря на продолжающийся голод у нас изредка собирались люди, как тогда шутили, на рюмку чая! К этому времени по рабочим карточкам уже стали выдавать по бутылке водки в месяц, а также колотый сахар и чай. Кроме того, каждый приносил с собой всё, что мог. Как-то раз один из военврачей госпиталя – не запомнил его имени и фамилии – принёс с собой немного спирта. Конечно, его тут же развели водой до крепости водки и выпили под весьма скромную закуску. Только спустя некоторое время, при очередной встрече, когда этого военврача у нас не было, стали выяснять, где он мог взять спирт. Отчим вспомнил, что тот работал в прозекторской и занимался препарацией изъятых у погибших раненых органов. Кто-то с ужасом предположил, что спирт был взят именно оттуда. При таком известии у некоторых женщин возникло предрвотное состояние, но рвота не произошла: видно, нечем было!

Частым участником встреч в нашем доме был уже упомянутый мною Герман Андреевич Новиков. До сих пор помню на «ура!» выполняемую им интермедию, называемую «Утро в деревне», в которой он талантливо подражал лаю собак, мяуканью кошек, блеянью коз, мычанию коров, ржанию лошадей, щебету птиц и т. п.! Многие помнят его работу после войны в ленинградском Театре эстрады совместно с Аркадием Райкиным, когда они вдвоём с большим юмором и талантом изображали тандем двух совершенно разных людей. Что касается меня, то осенью 1943 года я, как и многие, снова пошёл в школу. К этому времени Верховный главнокомандующий И. В. Сталин почему-то решил переименовать Красную армию в Советскую, вернуть командному составу офицерские звания, погоны, практически старую военную форму и фуражки царской армии. Знаками отличия стали звёзды и звёздочки. Снова была узаконена Православная церковь и назначен её патриарх. Изменения коснулись и нас – школьников. Школы разделились по половому признаку, старое дореволюционное название – гимназии – им не вернули, но они стали мужскими и женскими.

Если осенью 1942 года ввиду полного истощения и потери памяти, вызванных последствиями дистрофии, мне пришлось снова пойти в первый класс смешанной 146-й школы, хотя я успешно закончил его в 1941 году, то осенью 1943 года я уже оказался во втором классе чисто мужской 126-й школы.

Располагалась она в здании бывшей богадельни на углу Кондратьевского проспекта и Бестужевской улицы (тогда еще Воскресенской). В настоящее время в этом сохранившемся до сих пор здании находится 21 отдел полиции Петербурга. Директором школы была назначена Антонина Густавовна Ашмутайт. Обладающая малоприятной внешностью, она и на деле ввела в школе палочную дисциплину. Может быть, в этом и была необходимость, так как в этой начальной школе (с первого по четвёртый классы) собралась, как тогда говорили, «тёртая» компания сорванцов-переростков, переживших блокаду. В этом отношении наш второй класс не являлся исключением. Мало того, в нём была группа пацанов, которые промышляли воровством и даже бравировали этим! Пытались они втянуть в свою преступную группу и меня! Им это не удалось, и тогда они решили меня подставить.

> В 1943 году школы опять разделились по половому признаку, старое дореволюционное название – гимназии – им не вернули, но они стали мужскими и женскими.

Воспитателем нашего класса был Николай Иванович, суровый жёсткий человек, который преподавал у нас математику, точнее арифметику. В тот день дежурным по классу, который должен был докладывать ему об отсутствующих учениках, был я. Надо сказать, что в классе я оказался незадолго до прихода Николая Ивановича и, естественно, не знал о том, какую «свинью» мне подложили! Когда он подошёл к столу, то услышал громкое шуршание и писк из своего выдвижного ящика. Он выдвинул его, и оттуда стремглав выскочил котёнок. Разбираться Николай Иванович не стал и виноватым в этом инциденте объявил меня! После этого мне пришлось оправдываться и перед директрисой! Я догадывался, кто это мог сделать, но выдавать никого не стал! Их было трое или четверо, сейчас уже точно не помню, причём один из них – сын милиционера. Может быть, ещё поэтому они вели себя нагло. Приходилось разбираться с ними после уроков в туалете, но, поскольку в то время настоящих друзей у меня не было – в одиночку! Впоследствии двое из них за разбой были приговорены к расстрелу!

Русский язык и литературу у нас преподавала Вера Петровна. Она спокойно и без нажима сумела привить мне и другим ученикам любовь к литературе! Надо сказать, что в доме у деда на чердаке я обнаружил большое количество дореволюционных и советских иллюстрированных журналов. На желтой бумаге, с тусклым от времени текстом, они всё равно, как магнитом, притягивали меня! Кроме того, Вера Петровна выявила у меня

декламационные способности и часто привлекала к чтению стихов на школьных концертах. Хуже у меня обстояли дела в усвоении математики. После пережитой мною дистрофии я плохо усваивал даже элементарные её правила, а Николай Иванович, который, судя по его упитанной внешности, не очень-то голодал, не столько разъяснял, сколько требовал! Поскольку у меня возникла угроза остаться на второй год, пришлось прибегнуть к репетиторству! К счастью, в это время в ближайшей к нам 146-й женской школе работала и жила учительница математики, родная сестра Николая Григорьевича Семёнова. Она в сравнительно короткое время сумела подтянуть меня по этому предмету, обнаружив во мне даже некоторые математические способности!

Мой отчим не обладал большой физической силой, мама вообще была хрупкой женщиной, а дядя Даниил, который служил на Финском фронте и, хотя активные боевые действия там не велись, появлялся в доме очень редко и по дому, естественно, ничего не делал! Так что мне, одиннадцатилетнему пацану, пришлось осваивать работы, свойственные взрослым мужчинам! Прежде всего, ремонта требовала крыша. Она была покрыта толем, даже не рубероидом, поэтому её протечки случались нередко! Причиной их являлись также падающие на неё осколки разорвавшихся зенитных снарядов, запускаемых по самолетам бронепоездом, стоящим недалеко от нашего дома, вблизи узловой железнодорожной больницы. Конечно, больше всего нас беспокоили протечки над нашими двумя комнатами, расположенными на втором этаже, непосредственно под крышей. Добраться на неё можно было только через скульптурную мастерскую, где была расположена прикреплённая наверху к стене длинная лестница. Крепёж этот был очень ненадежным, поэтому при подъёме по ней, особенно в верхней её части, она угрожающе болталась! Далее можно было через лаз проникнуть на так называемый чердак, где даже я не мог встать во весь рост, настолько он был низок! Отсюда уже можно было попасть на крышу. Вот теперь-то и начинались настоящие трудности для меня. Мало того что я тогда боялся, как и теперь, высоты, а крыша была достаточно крутой, но там ведь ещё нужно было работать! Единственная возможность подстраховаться – привязать верёвку к трубе одним концом, а другой держать в руке или обмотать вокруг пояса. Кроме того, нужно было удержать, чтобы не скатились вниз, куски толя для заплаток, гвозди, клещи и молоток. Пришлось использовать для этого ранее упомянутый сидор с длинной лямкой, которую я перекидывал вокруг шеи. Поскольку опыта подобной работы у меня ранее не было, приходилось заново развивать собственную смекалку! Блокада

приучила меня к тому, что в большинстве случаев полагаться можно только на себя! Наверно, с этого времени я стал руководствоваться известной русской пословицей: «Глаза боятся – руки делают!» Слава Богу, в доме не было недостатка в инструментах. Они находились в примыкающем к скульптурной мастерской гараже, где мой дядя Даниил хранил мотоциклы и их детали. Там находилась также полка, заполненная какими-то круглыми коробками. Как оказалось, они были заполнены бездымным порохом. До сих пор мне неясно, для чего он был дяде нужен, поскольку предназначался для заполнения патронов к охотничьим ружьям. Однако охотой он никогда не занимался! В нашем городе, находящемся на военном положении, держать подобные взрывчатые вещества было категорически запрещено!

В это время среди мальчишек моего возраста было распространено изготовление самодельных самопалов из коротких медных трубок небольшого диаметра. С одного конца они загибались и расплющивались, там же с помощью ножовки пропиливалась в трубке небольшая щель. С другого конца трубки наполнялись взрывчатым веществом, в качестве которого использовались соскобленные со спичек серные головки. В качестве пуль применялись шарики от подшипников, размером, равным внутреннему диаметру трубок. Сами трубки, или самопалы, закреплялись при помощи тисков или другими способами к неподвижной поверности. Поджиг взрывчатого вещества осуществлялся при поднесении горящей спички к щели в трубке и или запалу. В качестве мишени использовались пустые бутылки, консервные банки и т. п. Иметь в своём распоряжении бездымный порох и не воспользоваться им для стрельбы из самопалов я, естественно, не мог! Как-то раз, впервые изготовив очередной самопал из алюминиевой трубки вместо медной, я решил пострелять из него по мишени на открытой веранде нашего дома. Заполнив его бездымным порохом и поместив в него шарик, я закрепил его и поджёг через запал спичкой. И в этот момент произошёл взрыв, но пламя вырвалось из заднего, заделанного мною недостаточно хорошо конца трубки прямо мне в лицо! Я каким-то чудом успел вовремя закрыть глаза и сохранить их! Однако всё лицо и шея оказались испещренными мелкими ожоговыми метками, которые, несмотря на усилия мамы и отчима, оставались видны в течение недели, а я вынужден был сидеть дома и не ходить в школу, чему был очень рад! Летом 1943 года в наш и соседние дома начало поступать электричество: до этого для освещения мы пользовались коптилками. В консервные банки заливался керосин или другая горючая жидкость, а через отверстие в крышке пропускался

фитиль. Снизу фитиль погружался в жидкость, а сверху крышки поджигался и горел, тускло освещая помещение.

Сначала из сети в дом поступило электричество напряжением не 127 вольт, а значительно выше, поэтому перегорели почти все включённые лампочки. Счётчик, к счастью, остался цел, но накрутил вперёд много киловатт! В дальнейшем напряжение стало нормальным и жить стало веселее!

> Коптилки представляли собой консервные банки, в которые заливался керосин или другая горючая жидкость, а через отверстие в крышке пропускался фитиль. Снизу фитиль погружался в жидкость, а сверху крышки поджигался и горел, тускло освещая помещение.

С наступлением зимы основным нашим развлечением снова стали катания на санках с немногочисленных горок, на лыжах и на коньках-снегурках. Проспект Мечникова тогда имел мощённую булыжником мостовую, но когда покрылся снегом, то сделался сравнительно гладким и по нему можно стало кататься на коньках. Повторюсь, тогдашние коньки-снегурки имели загнутые кверху передние концы, которые не зарывались в снег и не препятствовали скольжению. Я и некоторые другие ребята любили кататься на них, тайком зацепившись железными крюками сзади за борта грузовиков. В случаях их резкого торможения, что, правда, бывало нечасто, по инерции ударялись лбами о борт грузовика!

27 января 1944 года наконец наступил долгожданный, вымученный нечеловеческими страданиями ленинградцев День Победы города, когда полностью была, по тогдашней терминологии, «снята», а по-настоящему ликвидирована фашистская блокада! На всю оставшуюся жизнь у меня останется в ушах звучавший, как музыка, на протяжении нескольких дней непрерывный гул от стрельбы наших многочисленных артиллерийских орудий и бомбовых ударов! А ведь от нашего дома линия фронта находилась на расстоянии 25–30 километров! Мы с огромной радостью слышали по радио сводки о стремительном наступлении нашей армии по всему Ленинградскому фронту и о паническом бегстве немецкой армии! А уж когда объявили о праздничном салюте в честь освобождения города от блокады, все мы поспешили на ближайшее к нашему дому место, где лучше всего был бы виден салют! Оно тогда находилось за Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова, на месте нынешней гостиницы «Санкт-Петербург» (бывшая «Ленинград»), напротив нынешней стоянки крейсера «Аврора». Отсюда хорошо были видны места расположения артиллерийских

батарей, из которых должен был производиться салют, сопровождающийся фейерверками. С трудом пробравшись сквозь плотную толпу к парапетам Большой Невки, мы хорошо видели салют и фейерверки, запускавшиеся с пляжа Петропавловской крепости, со Стрелки Васильевского острова и из других мест. Каждый залп орудий сопровождался даже не столько криками, а восторженным рёвом ленинградцев! Это был настоящий триумф!

Прощание

В заключение не могу не отметить важную роль, которую сыграл в безукоризненной работе сортировочного эвакогоспиталя СЭГ 2222 его начальник штаба капитан медицинской службы, мой отчим, Спивак Абрам Соломонович! На его плечи легли такие заботы, с которыми далеко не каждый мог бы справиться. Не будучи партийным, он пользовался огромным авторитетом среди подчиненных, в основном военнослужащих, которые беспрекословно выполняли все его приказы. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь повышал голос на меня или мою маму! По своему статусу он никогда не вмешивался в процессы лечения раненых, но в то же время пользовался большим уважением со стороны врачей и профессоров в погонах, что я нередко мог наблюдать со стороны!



Ирина Шервуд и Абрам Спивак

В период неоднократных попыток зимой 1942 года прорвать блокаду, а также в январе 1943 года, когда поток раненых из района Кировска и Шлиссельбурга достигал максимума, мой отчим фактически организовывал и лично контролировал их выгрузку из приходящих преимущественно ночью эшелонов. Их количество часто достигало трех и более за ночь, так что все три платформы, или, как их называли, рампы, были перегружены! Раненые в зависимости от формы и степени ранения распределялись им согласно рекомендациям врачей по павильонам больницы или госпиталя. В некоторых случаях, при отсутствии врачей, которых не хватало, решения ему приходилось принимать самому, поскольку промедление в таких случаях, как говорят, – смерти подобно! Не было проблем в госпитале, в решении которых не принимал бы участия начальник штаба

капитан А. С. Спивак. Кстати, занимал он должность, по крайней мере, майора! Он иногда сетовал на то, что начальник госпиталя, полковник медицинской службы Шнейдерман, подавал на него министру обороны, главнокомандующему И. В. Сталину представление о награждении орденом Красной Звезды и присвоении очередного звания майора медицинской службы, но оно осталось без ответа.

Можно понять горечь обиды отчима на эту явную несправедливость! Это явилось одной из причин, почему, после того как в 1944 году Ленинград был полностью освобождён от блокады и госпиталю пришлось последовать за наступающей, преследующей немцев армией, Абрам Соломонович написал прошение об отставке по состоянию здоровья, которое было удовлетворено! После этого он стал работать заместителем начальника военно-медицинской кафедры Ленинградского санитарно-гигиенического института, а после ликвидации кафедры – до самой смерти в 1970 году, возглавлял ДОСААФ больницы им. И. И. Мечникова. Он ушел из жизни внезапно, собираясь утром 23 мая 1970 года на работу. Прощание с ним прошло в клубе больницы в 9-м павильоне при огромном скоплении народа, в полном соответствии с известной пословицей «На миру и смерть красна», не сдерживали слезы даже санитарки и медсестры! Для моей мамы и меня после совместного 28-летнего проживания с ним это была невосполнимая утрата! Будучи все это время фактически моим отцом, он не только содержал меня, но и поставил на ноги!

Похоронен Абрам Соломонович был на Богословском кладбище Ленинграда с воинскими почестями, соответствующими званию майора, которого он так и не дождался!

Маленькая история большой войны Кравченко Раиса Сергеевна

Много всего за свою долгую жизнь мы пережили с мужем, Кравченко Аркадием Федоровичем. Мы веселые, жизнерадостные люди, любим пошутить, повеселиться. Мы часто собираемся всей большой семьей у нас дома и отмечаем праздники и семейные даты. Но особенно ярко запоминается главный праздник – День Победы, 9 мая. В этот день как-то по-особенному все ждут наши рассказы о тяжелом военном детстве.

Меня зовут Кравченко Раиса Сергеевна. Когда я была маленькой, меня и мою маму Елизавету Павловну война застала в Ленинграде. Мы тогда жили на проспекте Обуховской Обороны. Город стали бомбить уже в сентябре, мама хватала меня и бежала со мной в убежище. Я помню этот пронзительный вой сирены оповещения, полутёмные комнаты бомбоубежищ. Сидим там по пять, шесть часов, в помещении душно, тесно, маленькие дети не выдерживают, начинают плакать и капризничать, они хотят пить, есть. Меня мама всё время уговаривала потерпеть, говорила, что скоро всё закончится, и мы пойдём домой. Когда тревогу отменяли, все брели к своим домам посмотреть, не разбомбили ли их, уцелел ли дом. В начале декабря и наш дом был разрушен. Пришлось нам с мамой переезжать к родственникам.

Зима в 1941 году началась очень рано. Вместе с ноябрьскими морозами в город пришёл голод, были введены карточки на хлеб и на другие продукты. А чтобы хлебушек получить, моей маме, Елизавете Павловне Александровой, приходилось рано утром уходить, часами стоять в очереди, чтобы принести два маленьких кусочка хлеба. Хлеб уже пекли с добавками отрубей и ещё чего-то, он был какой-то тёмный и очень тяжёлый. Мама делила его на крошечные кусочки и выдавала мне порциями.

Однажды в доме пропал кусочек хлеба, но никто не признавался. Все думали друг на друга. Через некоторое время кто-то стол отодвинул, а там этот кусочек лежит. Сколько радости тогда было – найти такой клад!

К началу блокады в семье было немного муки, сахара, макарон, крупы. Мама летом собиралась на дачу с нами ехать и сделала небольшие запасы. Эти продукты помогли нам какое-то время не голодать. Отец до войны сам делал и ремонтировал мебель, поэтому у него был настоящий столярный клей в кубиках и в плитках, похожих на шоколад. Из него варили студень. Мама тогда ругалась: «Не давайте маленькой, у нее же кишочки все

склеятся!» Ну вот видите, у меня ничего не склеилось, до сих пор жива. Потом обои стали отрывать и размачивать в теплой воде, так как приклеены они были клейстером, сделанным из муки. Это суп у нас такой был.

Во время блокады работали детские сады. Когда мама уходила на работу, она меня отводила в садик, поэтому мою хлебную карточку отдавали туда. Все время есть хотелось. Уж какой нас там баландой кормили или супом каким-то из дрожжей. Очень голодно было.

Я помню мамин рассказ о случае, свидетелем которого она была. Вел солдат лошадь по Невскому, за узду вёл. От холода и голода животина часто падала. В какой-то момент на неё налетели люди с ножами, топорами, вилками – кто с чем, и прямо на месте ещё живую разорвали на части. Солдат стоит, плачет: «Что же вы делаете? Мне же её сдать в воинскую часть нужно!»

К марту 1943 года умер дедушка и многие родственники. Тогда мама решила: надо спасаться, иначе не выживем. И я, приходя из садика, тоже начинала уговаривать: «Давай уедем! Говорят, как за Ладогу переедешь, там соленые огурцы дают». (Почему-то мне тогда очень хотелось соленых огурчиков!) С собой в эвакуацию можно было взять только 16 килограммов, поэтому мама надела на себя бостоновый костюм, осеннее пальто, сверху зимнее пальто, а мне зашила в воротник несколько золотых украшений – самое ценное, что было в семье.

С собой в эвакуацию можно было взять только 16 килограммов, поэтому мама надела на себя бостоновый костюм, осеннее пальто, сверху зимнее пальто, а мне зашила в воротник несколько золотых украшений – самое ценное, что было в семье.

На грузовиках нас переправили через Ладогу, посадили в товарные вагоны. Куда везли? Людям было уже все равно. Везли целыми днями, без остановок. На станциях, где должны были кормить, останавливали только ночью. Кормили плохо, купить или выменять какие-то продукты было невозможно – ночью на станциях никто не торговал. В мыслях было одно: только бы покормили.

Ехали несколько суток, дорога была тяжёлой. Наконец остановились на станции Кавказская на Кубани, а там немцы прорвались. Наши войска отступили, беженцы в вагонах так и остались. Немцы выгнали нас из вагонов и загнали в церковь. Я, когда шла, держась за мамину руку, видела, что солдатики наши убитые лежали. И никто их не подбирает и не хоронит. Вот эта картина до сих пор стоит перед глазами. Все, что у нас было,

забрали, сказали, что все мы подлежим ликвидации. Кто-то молиться стал, а кто-то тихо плакал. Но, на наше счастье, среди фашистов оказался бывший белогвардейский офицер. Он в 1921 году бежал из России и за границей продолжал бороться с большевиками. Во время войны у немцев большим начальником стал, ротой или батальоном командовал. Среди пленных были его дальние родственники, поэтому он для них помилование выпросил у немецкого начальства. Целые сутки в страшном волнении все ждали ответа. На следующий день нас отпустили, объявив, что это величайшее помилование пришло из Германии.

Приняла нас местная семья, Елизавета Павловна им за это отдала свое золотое колечко. Немцы недолго пробыли в тех краях, всего около трех месяцев. Моя мама устроилась на работу, научилась готовить блюда из кукурузной крупы, летом на бахчу ходили, собирали помидоры и арбузы.

А потом пришла победа, и засобирались мы обратно. Из целого эшелона, который из Ленинграда на Кубань пришел, в обратный путь набрали только три вагона! Кто от голода умер, кого-то в лагеря угнали, кто в партизаны ушёл, а кто на фронт.

Летом 1945 года мы вернулись в Ленинград. Дом разбомбили, родственников в Ленинграде уже не осталось, а их жильё отдали другим людям. Мама приняла решение переехать к родственникам в Вязьму. Там она устроилась бухгалтером на железную дорогу, и нам дали комнату в общежитии. Спустя несколько лет я закончила школу, уехала в город Оршу, поступила в медицинский техникум и стала фельдшером. На последнем курсе я познакомилась с Аркадием Фёдоровичем Кравченко и вышла за него замуж. Спустя какое-то время мужу предложили работу в Ленинграде, где он закончил художественное училище имени Мухиной и стал ведущим инженером на предприятии «Авангард». А я работала медицинской сестрой физиотерапевтического кабинета, эта работа мне очень нравилась. Позже у нас родились две дочери, Елизавета и Елена, а сейчас у нас четверо внуков.

Вспоминая своё блокадное детство, трудную голодную юность, я часто повторяю: «Вот тебе и не верь! В блокаду не умерла, от расстрела чудом спаслась! Видно, ангел-хранитель меня вел, чтобы все это я запомнила и вам рассказала».

Воспоминания блокадного мальчишки Яцкевич Олег Станиславович, 1934 г. р

РОД ТОТ МНЕ ГОРЬКИМ ГОРЕМ ДОРОГ…

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя…

И. Эренбург

Вступление

Приближается 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. А уже после этой фразы начинаются споры, разночтения и полярные толкования одних и тех же событий.

Я тоже решил отметить эту великую Победу своими воспоминаниями. Я – это Яцкевич Олег Станиславович, коренной ленинградец, 1934 года рождения, «житель блокадного Ленинграда», писатель и журналист, мирно доживающий свой век пенсионер. После окончания учебных заведений я много лет проработал инженером-конструктором в судостроительной промышленности. Занимались мы сугубо секретными разработками для создания… Стоп!! Сами понимаете.

В 2002 году умер мой старший брат, замечательный журналист и писатель – Олег Скуратов. Тогда же я написал о нём очерк, который впоследствии преобразовался в книгу «Весёленькая жизнь, или О любимых с улыбкой». Получив множество комплиментарных отзывов, я продолжил литературную деятельность и к настоящему моменту заканчиваю уже десятую книгу повестей и рассказов. Поскольку я занимаюсь самиздатом, тиражи моих книг крошечные. Половину книг я раздаю друзьям и знакомым, а вторую – реализую через магазин «Книжная лавка писателей». Основной жанр моих произведений – юмористические мемуары, но попадаются серьёзные повести и даже детективы.

Видимо, стал я к старости сентиментальным, если резанула душу до слёз фраза: «Что вы тут ползаете, старьё? Только хлеб

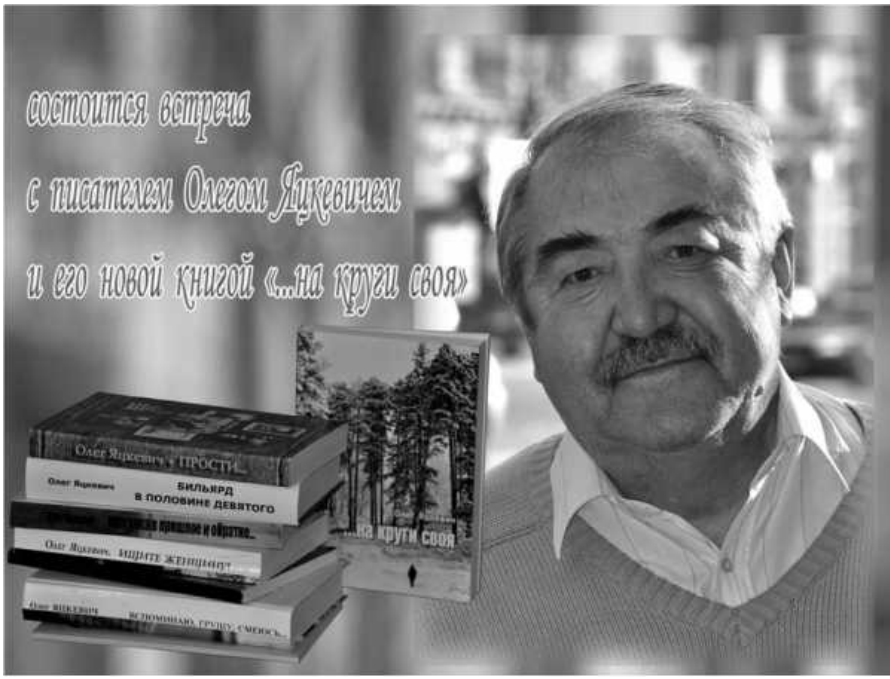
наш жрёте на халяву!» Это выкрикнул грузчик нашего гастронома – алкаш, пропивший комнату и совесть, а фраза была обращена к старенькой учительнице, воспитавшей сотни достойных граждан нашей страны. Прасковья Михайловна (учитель) в юные годы рыла противотанковые рвы под Ленинградом, собирала в промёрзшем цеху пулемёты, чтобы родители вышеупомянутого урода выжили и родили «бесценное» чадо.

Ниже я предлагаю вам то, что сохранилось в моей памяти о тяжких днях войны.

Как рассказать?

У ленинградцев, переживших 900-дневную блокаду, остановивших фашистские дивизии буквально на окраинах города, потерявших более полумиллиона жителей только от голода, порой вызывало ревнивый смешок то, что Москве было присвоено звание «Город-герой».

«Но в эвакуацию мы отправились не сразу, остались в Москве до середины октября. Прекрасно помню 14 октября. В ЭТОТ ДЕНЬ В МОСКВЕ ЖДАЛИ НЕМЦЕВ, И ПОЧЕМУ-ТО ОТКРЫЛОСЬ МНОГО КАФЕ. (Выделено мною. – *Автор.)* ***Невероятно, но мы с актрисой Лебедевой сидели и пили настоящий кофе».*** (Из беседы актрисы МХАТа – Киры Головко с И. Зайчик. Журнал «Караван историй», май 2003 г.)



В сентябре в Ленинграде сгорели Бадаевские продуктовые склады (бомбёжка), в конце октября кто-то съел нашу лайку, а вы про кофе.

1990 год. Мы с братом комфортно сидели за столом и краем глаза посматривали в телевизор, где шла передача, посвящённая годовщине снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Племянник спросил у отца:

– Пап. Вот ты постоянно вспоминаешь блокаду, а как вам жилось в осаде?

Олег (брат) закручинился, а потом предложил:

– Мой рассказ мало что даст. Правильнее сымитировать тогдашние условия.

– Это как? – заинтересовалась дочь.

– Во-первых, вывернуть и выбросить электропробки…

– А как же телевизор, микроволновка и просто покушать?

– А уроки как делать? – вякнул сыночек.

Мы с братом переглянулись.

– Всё это не потребуется, – пояснил он. – Не будет света, воды, газа, отопления. Кушать будет нечего, кроме маленького кусочка хлеба на весь день. За водой придётся ходить на канал и брать из проруби.

– А когда же в школу?

– Школу придётся пропустить, потому что с такими же

ребятами будешь дежурить на чердаке и тушить зажигательные бомбы…

– Ух ты! Ты тоже тушил?

Начало

Я шестилетний мальчик. В то жаркое воскресенье 22 июня 1941 года папа повел меня и старшего брата в парикмахерскую. Дело было на даче в Терриоках (Зеленогорск). И единственный (!) радиорепродуктор передавал речь В. М. Молотова.

Война началась, и мы сразу вернулись в Ленинград, где я с величайшим удовольствием приступил к своей любимой игре «Паровоз-машинист». Реквизитами игры служили латунные шпингалеты и ручки на окне, выходящем на балкон. А уже вечером 8 сентября мама подвела меня к окну: «Посмотри, горят Бадаевские склады!» Мрачное, надо сказать, было зрелище: на фоне – нет, скорее из-за стены домов поднималось яркое зарево.

В те же дни мама, придя домой с рынка, сказала: «Ничего нет, купила только ванильный концентрат». Я не знал, что это такое, и вообще вопросы питания меня не занимали, хотя я замечал отсутствие «вкусностей».

Но наступила зима, и исчезло все! Первыми исчезли собаки и кошки. Кто-то съел и нашу лайку. Изредка мама меняла что-то из вещей, и в доме появлялись дуранда и хряпа. Пайковый хлеб – 375 граммов в день на трех человек – делился на малюсенькие кубики – и мама давала их мне и брату через час. Когда мама и брат уходили на кухню, чтобы распилить и расколоть мебель на дрова для буржуйки, я вылезал из-под трех одеял и, залезая на пианино, переводил время вперед. Возвращалась из кухни мама и, всхлипывая и улыбаясь, давала мне очередной кубик хлеба. (А в эту секунду я думал о том, какое счастье, если можно подойти к холодильнику и сделать себе бутерброд!)

Драматизм голода описал Д. Лондон в рассказе «Любовь к жизни», но я впоследствии думал, что словами повседневность этого ужаса не передать.

Ведь неспроста остались живы,
Когда Кондратий мёл метлой.
Тогда он поступил красиво
Нас не отправив в мир иной.

О. Скуратов…размышления в день юбилея

Голодные будни

Всю войну мы жили в громадной коммунальной квартире в доме № 58 по ул. Некрасова, а окна нашей комнаты выходили на Мальцевский (Некрасовский) рынок. К февралю 1942 года в квартире из одиннадцати комнат жила только наша семья, которая тоже была обречена на голодную смерть. Умерли на наших глазах все соседи, кроме, естественно, ушедших на фронт и эвакуированных. Трагизм голода усугублялся постоянным холодом. И хотя мы истопили в буржуйке массу прекрасной мебели (ее бы сейчас хватило на элитный мебельный магазин) и окно комнаты было забито фанерой и одеялом, я сутками лежал в пальто и ушанке под одеялами (приказ мамы) и мечтал о лете и о еде. Читать я уже умел, но это было невозможно из-за царившей в комнате темноты. Изредка зажигали коптилку – это фитиль, лежащий в блюдце с машинным маслом. Тогда по стенам комнаты двигались громадные тени и можно было, высунув из под одеяла руки, создать «свою собачку».

И тишина! Утром «просыпался» радиорепродуктор: «От Советского Информбюро!!! Вчера наши войска с ожесточенными боями оставили город Н. и отошли на заранее подготовленные позиции (?!). Фашистские оккупанты понесли тяжелые потери…»

> Пайковый хлеб – 375 граммов в день на трех человек – делился на малюсенькие кубики, и мама давала их мне и брату через час. Когда мама и брат уходили на кухню, чтобы распилить и расколоть мебель на дрова для буржуйки, я вылезал из-под трех одеял и, залезая на пианино, переводил время вперед. Возвращалась с кухни мама и, всхлипывая и улыбаясь, давала мне очередной кубик хлеба.

Конечно, нужно было поддерживать боевой дух у населения. Затем Леонид Утесов пел песню: «…Ведь ты моряк, Мишка, а это значит, что не страшны тебе…» Потом была короткая заметка о подвиге рядового, подбившего немецкий танк, и включался метроном. Поверьте, это ужасно, когда лежишь в темноте голодный, замерзающий, а метроном беспощадно отстукивает секунды твоей жизни.

> Поверьте, это ужасно, когда лежишь в темноте голодный, замерзающий, а метроном беспощадно отстукивает секунды твоей жизни.

Зимой 1942 года наша семья умирала от голода. Мама извелась, пытаясь достать дуранды или хряпы, дабы спасти нас. Однажды помогла случайность: мама встретила знакомого, который отлично выглядел, невзирая на кошмар блокады.

– Как дела, Лизочка?

– Не знаю, как сохранить мальчиков!

– Заходи ко мне, только захвати что-нибудь из драгоценностей.

В первый поход к «благодетелю» отправился брат. «Меценат» зацокал от удовольствия, увидев старинный браслет с драгоценными камнями:

– Молодец! Возьми пакет муки и буханку хлеба!

Заметив на лице мальчика недовольство, он добавил:

– Вот тебе ещё пакетик яичного порошка.

Второго похода не было, так как «благотворителя» обнаружили органы и, как говорили соседи, расстреляли прямо во дворе. Война!

Голод пробуждал безумие и предательство. Короткое время в нашей квартире жила молодая женщина с трехлетней дочкой. Позднее мама рассказывала: «…девочка уже не вставала. Нина (мать) уходила за хлебом, но возвращалась с пустыми руками, рыдала и кричала, что хлеб отобрали на улице. Она уже обезумела и съедала оба пайка по дороге к дому. Девочка угасла, а Нина пропала. Говорят, что её забили на Мальцевском рынке, – она бродила обессиленная между менялами, выхватывала еду из рук и тут же начинала судорожно глотать, согнувшись пополам и не замечая ударов…»

Весной 1942 года папа забрал меня к себе на завод «Красная Заря», где выпускались гранаты и еще что-то для фронта. Там у папы была комната, рабочая продуктовая карточка и банка клюквенного варенья, почему-то малосладкого. Там же, на Выборгской стороне, я пошел в первый класс. В нашем (заводском) доме у меня появились два закадычных друга – Дима Лесин (трагически погиб в 10-м классе) и Юра Тракинер. После занятий в школе мы обсуждали положение на фронтах и обязательно придумывали, что мы сделаем с Гитлером, если после войны он попадет к нам в руки. Когда я смотрю по телевизору нынешние триллеры, то поражаюсь скудости фантазии у сценаристов. В части пыток мы для главарей фашистского рейха придумывали такое!

В 1943 году папа был временно назначен директором маленького завода, который выпускал катушки для армейских

связистов. Эта металлическая катушка с телефонным проводом крепилась на спине связиста, который бежал, петляя между воронками и взрывами. Провод разматывался, связист вбегал в блиндаж и докладывал:

– Товарищ майор! Связь есть!!

Майор, оторвавшись от бинокля, хрипел:

– Наконец-то! Дай мне «Байкал»!.. «Байкал», мать твою!.. Подсыпь огонька в квадрат 03–16…

Связисту перевязывали рану, и он убегал. С катушкой! Подобная сцена была в каждом кинофильме о войне, и я гордился тем, что отцовский завод выпускал такую нужную всем катушку.

> После занятий в школе мы обсуждали положение на фронтах и обязательно придумывали, что мы сделаем с Гитлером, если после войны он попадет к нам в руки.

Кроме этого, папа принял на работу нашу бабушку (сразу – рабочая продуктовая карточка!), но если я проходил через малярный цех, то бабулю даже не «замечал». (По «инструкции»!) Весной работникам завода дали по кусочку огородной земли и все дружно посадили морковку (видимо, других семян не было). Летом мы собирали урожай со своих двух грядок, а я спрашивал:

– Пап! А почему мы собираем такую малюсенькую морковку? Может, она ещё вырастет?

– Позже и такую не увидишь – отвечал отец.

Через много лет, когда мы на машине проезжали через Светлановскую площадь, папа говорил:

– Вот там, слева, где стоит гаишник, у меня был огород…

Когда блокадный голод «схватил за глотку», бабушка пришла к нам с Петроградской стороны, но явилась не иждивенцем, а принесла старушечьи запасы: три-четыре баночки, наполовину заполненные разными крупами. Возможно, именно этот мизер спас нам жизнь.

Мне также запомнилось, как в феврале 1942 года (страшнее месяца не было, по-моему!) мама кипятила на буржуйке кастрюлю воды с лавровым листом (его почему-то у нас было много), высыпала туда рюмку (!) бабушкиного риса, а чуть позднее восклицала: «Японский суп!! Давайте сытно пообедаем!»

Был у нас с бабусей один совместный поход: осенью 1943 года мама временно устроилась работать калькулятором в офицерскую столовую, которая располагалась в подвале дома, расположенного на углу Невского проспекта и улицы Плеханова (Казанская). Мама сказала бабушке: «Возьми Алика и к трём часам подойдите к столовой». Мы сидели у Барклая (памятник фельдмаршалу Барклаю де Толли), а далее бабуся сказала мне:

«Зайди вот в тот двор, и там тебя будет ждать мама». Во дворе мама, испуганно оглянувшись, достала из– под кофты маленький бидончик: «Покушайте каши, но оставьте Долику».

ОТСТУПЛЕНИЕ. *Не напрасно мамуля оглядывалась! В сталинские времена сажали людей за подобранные с колхозного поля три колоска, за незначительное опоздание на работу. А за бидончик с рисовой кашей…*

Не успела мама скрыться, как я захныкал: «Бабуля, дай мне кашки».

Она запричитала, вот, мол, сейчас дойдём до дома и (я продолжал канючить)… «Как же я тебе дам? У меня ж ничего нет, чтобы…» Она пошарила вокруг, нашла щепку, тщательно вытерла её платком и: «Кушай, детонька, кушай на здоровье!»

Её слёзы падали на руку, держащую бидончик, а я хихикал от того, что капли разбивались на мельчайшие шарики.

Может, к старости стал чрезмерно сентиментальным, но, проходя мимо Казанского собора, я вспоминаю бабушку и…

О моих родных следовало бы написать книгу. И не только потому, что они сумели спасти от смерти двух мальчишек – меня и брата, – но ещё и работали для фронта в страшных условиях блокады. Вот такие несгибаемые женщины на Руси!

Блокадные чудеса

Мой братишка в метрике значился Адольфом. Это имя было, как вы понимаете, весьма непопулярно во время войны (Адольфом был Гитлер), и Долик стал Олегом.

Вот как он описал чудо времён блокады:

> Мой братишка в метрике значился Адольфом. Это имя было, как вы понимаете, весьма непопулярно во время войны, и Долик стал Олегом.

«Это произошло в январе 42-го. Мой отчим, отец младшего брата, работал на заводе, на Выборгской стороне. Он как-то сообщил маме, что хочет отдать нам талон № 8, по которому давали сто граммов постного масла. Это было огромное богатство! К вечеру я доплелся до завода. Отчим вырезал из продуктовой карточки маленький бумажный квадратик, я переложил его в варежку и двинулся в обратный путь. Миновал Литейный мост и тут же попал под артобстрел. Переждал в подворотне. А когда утихло, пошел, переступая через упавшие

провода и битые стекла. Внезапно меня пронзил страх – пальцы не чувствовали бумажного квадратика! Сдернул варежку. Талон исчез… Как я покажусь домой, где в промерзшей комнате меня ждут мама и младший брат? Повернулся и побрел назад, впиваясь взглядом в чуть видимый снег… Не было у меня ни одного шанса. В полном отчаянии воскликнул: „Господи! Если ты есть – я найду!“ Через два шага я увидел на снегу свой талон. Место, где он лежал, было чуть светлее других… Не веря своим глазам, я поднял драгоценную находку и, потрясенный случившимся, зашагал домой…»

В преддверии холодов папа привёз печку-буржуйку. Я бы этому незатейливому изделию из тонколистового металла поставил памятник после войны. Печурка разгоралась мгновенно и излучала тепло и свет, когда мама помешивала дрова. На топку заготавливали дрова из порубленной мебели, и если поначалу в ход шли старые стулья и кухонная мебель, то к Новому 1942 году брат взялся за старинный шкаф красного дерева.

Папа обложил печку кирпичами, дабы они сохраняли тепло. Но командование гитлеровского вермахта решило, что мы слишком комфортно живём: взрывной волной от упавшей на Мальцевский рынок авиабомбы нам вынесло все стёкла, а здоровенный осколок пролетел по комнате и разворотил буржуйку.

ОТСТУПЛЕНИЕ. Несколько лет назад друзья пригласили нас обмыть новую купленную мебель. Осматривая прекрасный (и весьма дорогой!) гарнитур, я поймал себя на крамольной мысли: «Плохо гореть будет, потому как сделан из ДСП». Тогда же я вспомнил блестящий афоризм: «Только в России заборы делают из досок, а мебель из опилок».

Когда началась Отечественная война, отца не призвали в армию, так как трест выполнял важный заказ для фронта. Зимой 1941 года началась блокада Ленинграда и все работники треста оказались на казарменном положении. Отец пытался помочь нам выжить – однажды прислал бутылку жидкого (машинного?) масла и записку: «Дорогие! Это масло я попробовал. Если не помру, то его можно применять в пищу…»

Отец уже стал дистрофиком, как и большинство ленинградцев, когда начальство снарядило грузовик и отправило папу за Ладогу – сдать военный заказ.

Перед самым отъездом папин знакомый упросил вывезти его с семьёй на Большую землю и, в знак благодарности, дал отцу крошечную баночку шпрот, кулёчек риса и четверть банки

высохшего варенья. Это «богатство» отец оставил нам и уехал.

Ночью (бомбёжки!), объезжая пробитые снарядами и бомбами воронки во льду, машина с ценным грузом прибыла в Кобону. Командир эвакопункта, небритый, с красными глазами от недосыпания, яростно отбивался от многочисленных водителей, требующих питания, заправки машин и разрешения на проезд в пункт назначения. Отец чем-то понравился командиру, и тот, уведя папу в сарай, сказал: «Если я сейчас не посплю пару часов, я покойник! Садись у дверей и никого не пускай! За это я дам тебе два больших сухаря». Этот эпизод отец вспоминал ещё много лет: «Тогда я получил самую приятную в жизни зарплату!»

На Большой земле он выполнил задание, но после этого бросился в «коммерцию»: кого-то уговаривал, с кем-то менялся, торговался. Немцы обстреливали и бомбили Дорогу жизни круглосуточно, и движение машин по льду в темноте (фары зажигать запрещалось), в сорокаградусный мороз, объезжая свежие и старые воронки во льду, напоминало игру в смертельную рулетку. До сих пор казню себя, что не расспросил отца обо всем, связанном с историей войны.

А в Ленинграде на улице Некрасова наша семья угасала от голода. Взрослые уже настолько обессилели, что не могли заготовить дрова и сходить к Неве за водой. И вот в конце февраля в безмолвии нашего жилья раздался стук в дверь. Брат добрел до входной двери, открыл ее и увидел папу! Папа привез несколько килограммов мороженой картошки, целый «диск» замороженного молока и крошечный кусочек сала. И вдохнул в нас надежду на жизнь!

А в январе каким-то образом многие узнали, что в Елисеевском магазине выдают спецпайки известным в городе людям. Вот как рассказала наша приятельница – Татьяна Буковецкая – об этом блокадном ЧУДЕ:

«Я закуталась и побрела с Выборгской стороны в центр. В Елисеевском предъявила папины документы (Танин отец был известным профессором. – Автор), *но услышала: „Нужно, чтобы ваш отец явился лично “. – „Но он обессилел и не сможет дойти…“ – „Тогда привезите его!“ Я даже испугалась – на саночках возили только покойников. Но деваться было некуда. Я погрузила папу и потащила к Елисеевскому, выбирая кратчайшие пути. Я не решилась пересекать Неву по льду, так как не было уверенности, что смогу затащить санки с отцом на противоположном берегу. Мы добрались до магазина, и в коридор вышла дама – распорядительница. Бегло взглянув на папу, она отдала распоряжение, и нам выдали пакет муки и ещё что-то. Спецпаёк спас нам жизнь.*

Мне же запомнилась судьбоносная дама, которая вышла к нам в батистовой кофточке. Значит, где-то было тепло! Вот это было уже за гранью понимания».

Мама тоже сотворила ещё одно чудо! Она обменяла 150 граммов спирта на кило почему-то серых макарон! До сих пор я помню, как ел эти макароны и был абсолютно счастлив.

Собственно говоря, 600 000 ленинградцев, с которыми не произошло чуда, лежат на Пискаревском кладбище.

Все по-разному…

Летом я всё так же гнал свой «оконный паровоз» на фронт и уничтожал фашистов целыми дивизиями, но реальные бомбежки и артобстрелы продолжались, и много времени наша семья провела в бомбоубежищах. Старший брат – четырнадцатилетний подросток – уже сбрасывал с крыши дома «зажигалки» (зажигательные бомбы). Мама работала в каком-то военном учреждении. По городу были расклеены патриотические плакаты, с которых Александр Невский, Суворов и другие русские полководцы звали отдать все силы для Победы.

Я тщательно обдумывал план, как в случае, если фашисты прорвутся в Ленинград, я буду из окна сбрасывать на их головы тяжелую кухонную утварь. По моим расчетам, я должен был уничтожить взвод, а если бы ко мне примкнули все ребята из дома № 58, то фашисты были бы вынуждены отступить.

Я тщательно обдумывал план, как в случае, если фашисты прорвутся в Ленинград, я буду из окна сбрасывать на их головы тяжелую кухонную утварь. По моим расчетам, я должен был уничтожить взвод, а если бы ко мне примкнули все ребята из дома № 58, то фашисты были бы вынуждены отступить.

Но враг продолжал обстреливать город, один из снарядов попал в наш дом, и взрывной волной вынесло наше окно вместе с рамами. Ужас артобстрелов заключался еще и в том, что они начинались совершенно непредсказуемо (в отличие от бомбежек, когда радио и сирена возвещали: «Воздушная тревога!»).

В теплый сентябрьский день мы с одноклассником шли из школы и неожиданно услышали резкий свист с высоты. Далее, в двухстах метрах от нас, раздался страшный взрыв – немецкий снаряд попал в парикмахерскую. Вспоминать последствия этого и сейчас ужасно.

Зато любые победы нашей армии на земле и в воздухе вызывали небывалый энтузиазм и радость. Я помню, как все мальчишки бегали к Таврическому саду, где в ограду «воткнулся» немецкий самолет. Совершил подвиг летчик Севастьянов – автор первого ночного тарана.

Зенитные батареи располагались на крыше казармы по улице Красной Связи. Однако, когда прорвавшийся фашистский самолет дважды заходил над Мальцевским рынком и «поливал» из пулемета мирных граждан, было ужасно. Но на третьем заходе зенитный снаряд поразил самолет. Фашистский летчик парашютировал вблизи рынка, и воинский патруль еле отбил убийцу из рук разъяренной толпы.

В январе 1943 года я с друзьями забрался на крышу нашего дома (что было строжайше запрещено!), и мы с восторгом (с визгом!) наблюдали самый первый артиллерийский салют в ознаменование прорыва блокады! Сколько было радости от того, что мы уже не отрезаны от страны, надежд, что будет легче жить, счастья, что фашисты «побежали».

Война продолжалась, артобстрелы и бомбежки тоже, но голос диктора по радио стал каким-то звонким, когда он объявлял об освобождении очередного города. Уже был Сталинград!

По карточкам стали выдавать яичный порошок, а в школе «американские подарки» – тогда я увидел первый в жизни апельсин. Это тоже было маленькое чудо!

Я видел на улице Маяковского, как после попадания авиабомбы передняя стена дома рухнула на проезжую часть, обнажив все комнаты с мебелью, печками, входными дверями и одеждой. Казалось, что через минуту откроются двери, в комнаты войдут люди и начнут жить. Нет, тишина!

Трагедий было много. Страшно горел громадный госпиталь на Суворовском проспекте. Взрослые рассказывали, как раненые выбрасывались из окон и стоял леденящий душу крик.

Недавно смотрел передачу о М. Жванецком. На вопрос журналиста, каким он видит нынешнее состояние России, сатирик ответил: «Мы, старшее поколение, и не такое видели. Это молодые стонут и суетятся». Цитирую очень приблизительно, но смысл передал.

Вот и сейчас двое соседей возмущены, что дворники плохо чистят двор, не посыпают песком и… А я сразу вспомнил, как в 1944 году толпа пассажиров толкала трамвай на Литейный мост – рельсы обледенели. Впрочем, война давно закончилась, но и песок, видимо, тоже. Во время войны казалось, что все вокруг стали оптимистами, – все верили в победу.

В октябре 1942 года я пошел в первый класс 155-й школы. Но не закончил его – сломал ногу, а потом началась жестокая голодная зима. Но мы все как-то «закалились». Брат устроился работать поваренком в столовую при Смольном, где и ночевал, изредка появляясь дома. Когда взрывной волной были выбиты заколоченные рамы в комнате, он, уговорив шеф-повара, взял меня в Смольный на неделю. Отправились мы туда поздно вечером. Пришли и улеглись спать, подстелив матрасы на ещё теплую плиту. Неописуемое блаженство! Утром растапливали печи, поднося дрова, устанавливая на огонь чаны с водой. Потом вся кухонная команда уселась за общий стол завтракать. Я – изголодавшийся мальчишка – обалдел, когда увидел, как повариха режет буханку БЕЛОГО ХЛЕБА крупными ломтями. Шок наступил, когда к чаю (целая кружка горячего, душистого!) поставили на стол ТАЗ С ИЗЮМОМ!!! Потом, в течение дня, я неоднократно подходил к «раздаче». Повариха, ухмыляясь, шмякала на тарелку пшённую кашу, а я был абсолютно счастлив. Я не видел ни Жданова, ни Жукова – столовая была для младшего комсостава, – но неделю был в тепле и сытым! Ныне, когда я слышу от кого-либо из знакомых, как они чудесно отдохнули на Канарских островах, я снисходительно улыбаюсь и про себя думаю: «А я в 1942 году неделю ел в Смольном пшенную кашу: до отвала!»

Конечно, наших руководителей и защитников следовало отменно кормить; но ужас заключался в том, что в ста метрах от таза с изюмом погибали от голода ленинградцы.

В самые тяжелые времена мы, как заклинание, повторяли лозунг: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!» И все работали на победу. Школьники собирали теплые вещи – «подарок фронту». Подростки работали у станков в холодных цехах по 10 часов в смену. Уже появились кинофильмы: «Два бойца», «Они сражались за Родину» – и мы с восторгом и по много раз смотрели, как наши воины уничтожали захватчиков.

Конечно, наших руководителей и защитников следовало отменно кормить; но ужас заключался в том, что в ста метрах от таза с изюмом погибали от голода ленинградцы.

Мой брат Олег Скуратов активно участвовал в борьбе за Ленинград и даже был в пятнадцатилетнем возрасте награждён медалью «За оборону Ленинграда». В марте 1942 года Олег был включён в комсомольско-молодёжную бригаду. Мальчишки 14–16 лет, из тех, кто ещё не слёг от дистрофии, дежурили на крышах: гасили зажигательные бомбы, спасали детей, потерявших

родителей, – увозили их на эвакопункт, поддерживали одиноких стариков – заготавливали им дрова из мебели.

В 1978 году вышла из печати его первая, маленькая (библиотека «Огонёк») книга «След партизанских саней», где в первой главе описываются будни бригады. Меня трогает, что из скромности он ведёт повествование от третьего, вымышленного, лица. А с обложки книжки смотрит на меня молодой Олег Скуратов и как бы говорит: «Держись, браток, теперь ты за старшего!»

Вот что написал мой брат о героях-подростках:

> Летом 1944 года на улицах появились пленные немцы, они восстанавливали город. Эти молодые люди, с печалью в глазах, совсем не были похожи на изуверов. Ребята делились с ними скудными завтраками, а немцы одаряли нас самодельными игрушками.

«Я поднимаюсь на шестой этаж. Когда-нибудь это будет звучать обыденно. Когда забудут, какие были в Блокаду лестницы. Внизу – это ледяная гора с выбоинами вместо ступеней. И только, пожалуй, с четвёртого – это лестница, хотя и очень обледенелая. Меньше ходят, меньше проливают воду. Стёкла всюду выбиты, на площадках извёстка и снег. Дует отчаянно. За дверью девятнадцатой квартиры кто-то сдавленно плачет… Новая бомба с треском проламывает крышу и ударяет в кирпичную трубу. Мы пригибаемся, а шагах в десяти вспыхивает яркое пламя.

„Слева!“ – хочу крикнуть я, но только кашляю от горького водяного пара.

Руки ломит от напряжения, но я не выпускаю стабилизатор и жду, когда захлебнётся бурлящей водой „зажигалка“.

Нарастающий вой бросает нас на балки.

Близкий разрыв сотрясает дом. Качнулся чердак, заскрипел пол… „Рядом!!“»

В конце войны часть старшеклассников была организована в бригаду по восстановлению здания нашей школы. Мой брат принял самое горячее участие в строительстве, и, как результат, его портрет был вывешен на Доске Почёта на Суворовском проспекте. Пока мама собиралась сходить, чтобы посмотреть фотографию своего красавца-первенца, девчонки (?) из соседней школы сняли портрет.

Дома сохранился снимок Олега, на котором он – семнадцатилетний парень с медалью «За оборону Ленинграда».

А летом 1944 года на улицах появились пленные немцы, они восстанавливали город. Эти молодые люди, с печалью в глазах, совсем не были похожи на изуверов. Ребята делились с ними

скудными завтраками, а немцы одаряли нас самодельными игрушками. Вот уж загадочная русская (детская) душа!

Тогда же в городе появились молодые инвалиды. Их было много, объединяло их фронтовое братство и, к сожалению, водка. Осудить их за это невозможно. В двадцать лет оказаться калекой – это ли не драма!

Не война нас сломила, а годы согнули,
Время бьёт нас точней, чем немецкие пули.
И, как в давние годы, теряем друзей,
Не бывало солдат у России верней.

О. Скуратов. Салажата войны

Герои были и будут

Когда мне предложили написать о героях блокады и защиты Ленинграда, я с энтузиазмом взялся за эту тему. Взялся и вскоре притормозил. О подлинных героях я знаю из прочитанного и рассказов старших. «Нужен очевидец!» – подумал я и позвонил Геннадию Илларионовичу Дымову. Мы встретились через неделю и отправились в большую прогулку. Геннадий как-то взбодрился и разговорился не на шутку:

– Меня и твоего брата спасло от голодной смерти то, что мы в конце 1942 года устроились работать учениками повара в столовую, располагавшуюся в нынешнем театре Ленсовета. Там подкармливали театральную элиту Ленинграда, дабы сохранить народных, заслуженных и просто талантливых артистов.

Кто-то подсказал нам, и мы отправились во Дворец пионеров, в шахматную секцию. Принимал желающих Абрам Яковлевич Модель – фигура, весьма заметная в довоенном шахматном обществе, – человек, обладавший множеством талантов, и, возможно, именно эта многогранность помешала ему достичь вершины успеха в чём-либо одном. А. Я. Модель в годы блокады совершил подвиг: он организовал отправку в эвакуацию почти 15 тысяч детей и взрослых! Те, кто помнят блокаду, знают, что только эвакуация помогла спасти маленьких ленинградцев от голода, бомбёжек и артобстрелов…

Геннадий остановился и, отвернувшись, принялся вытирать глаза. Потом рассердился и принялся орать:

– Чего это я тебе всё рассказываю?! Ты и сам чуть не помер!! – Я кивнул, а Геннадий Илларионович Дымов продолжил: – А разве не подвиг, что зимой 1942 года в Доме офицеров проходило

первенство Ленинграда по шахматам?! Участники должны были закончить игру до наступления комендантского часа. Кого-то вызывали в действующую армию, а кто-то не мог явиться из-за истощения. И всё-таки турнир доиграли. Все читали о блокадном футбольном матче, и у ворот стадиона «Динамо» висит мемориальная доска с составами игравших команд, а вот о подвиге (иначе не назовёшь) девяти голодных шахматистов знает небольшое число ветеранов, которые получили в подарок замечательную книгу «Шахматная летопись Петербурга».

Мы закурили и молча наблюдали за весенней суетой в сквере. Геннадий прервал молчание:

> Зимой 1942 года в Доме офицеров проходило первенство Ленинграда по шахматам. Участники должны были закончить игру до наступления комендантского часа. Кого-то вызывали в действующую армию, а кто-то не мог явиться из-за истощения. И всё-таки турнир доиграли.

– В здании напротив во время войны был госпиталь, и там работала моя мама. Осенью 1943 года я частенько забегал туда, помогал медсёстрам, читал и писал письма тяжелораненым или просто играл в шахматы с кем-либо. Меня подкармливали, а раненые подчас угощали вкусненьким. Мне так хотелось всех отблагодарить, что я сказал маме: «А можно я дам сеанс одновременной игры раненым?» (А. Я. Модель однажды продемонстрировал нам свой талант таким образом.)

Мама удивлённо обрадовалась: «А ты сможешь, Геночка?»

Комендант где-то откопал десять комплектов шахмат, и я пошёл по палатам, предлагая соперничество. Играть предстояло в трёх помещениях, и я уже собрался приступить к сеансу, когда меня пригласили к главврачу. Сухенький старичок (так мне тогда показалось) обнял меня и попросил: «Зайди, дружок, в пятую палату и предложи Ивану Васильевичу сыграть. Ему очень плохо, но, может быть, ты отвлечёшь? Он лежит у окна…»

Иван Васильевич лежал спиной ко входу, и я, положив ему руку на плечо, спросил:

– Не хотите ли сыграть со мной в шахматы?

Грузный мужчина со стоном повернулся ко мне, и я ахнул – его глаза были забинтованы.

– Простите, – забормотал я, – я ошибся… мне не сказали… извините.

Он на ощупь взял меня за плечи:

– Пожалуй, сыграем, богатырь.

Мы оба рассмеялись – я был таким тощим, что непонятно «в

чём держалась душа».

– Ты не смущайся, что я не вижу. Когда-то я весьма прилично играл в шахматы и даже был… Впрочем, это неважно. Расставляй!

Мы сделали несколько ходов, причём мой партнёр пояснял, к примеру:

– Кс6! Коняга со второй вертикали переходит на третью.

Вскоре я временно покинул Ивана Васильевича, так как меня ждали противники в других палатах. К моему счастью, среди раненых не было квалифицированных шахматистов и мне даже удалось дать «киндер-мат». Только трое весёлых зенитчиков (они были необыкновенно похожи друг на друга и получили абсолютно одинаковые ранения от осколков вблизи упавшей бомбы), усевшись за одну доску, ругались, спорили, но сопротивлялись мне достойно. Вернувшись к Ивану Васильевичу, я провозгласил:

– Ленинградцы умирают, но не сдаются!

Иван Васильевич повернул ко мне незрячую голову:

– Положим, умирают не только ленинградцы, а вот сдаться тебе придётся. – Раздумывая, он потихоньку запел:

Броня крепка
И танки наши быстры…

– А вы – танкист?

– Кто же ещё, кроме танкистов, горит? Ну бывает у лётчиков порой…

– А вам удавалось подбить «тигра»?

– А как же! С ним справиться легче, чем с тобой, богатырь.

«Комплимент» мне снова понравился, и я бросился во встречную атаку.

Партнёр улыбался:

– Сейчас я тебе продемонстрирую мощь своей позиции.

И действительно, с каждым ходом моё положение ухудшалось, но тут я заметил, что тело танкиста начало содрогаться.

– Позови сестру, – прохрипел он.

Я бросился в коридор, но мне навстречу уже мчался главврач и сёстры. Я зашёл к зенитчикам и вскоре выиграл партию. В пятую палату я возвращался медленно, словно предчувствуя плохое. Вокруг кровати плотно столпился медперсонал. Кто-то выкрикнул:

– Быстро укол! – а потом: – Не надо. Всё кончено.

Санитары вынесли тело, а я стоял у окна, рассматривая позицию. Вернее, я думал, что вижу шахматы, – глаза были полны

слёз. Как-то незаметно ко мне подошёл главврач:

– Не плачь, сынок. Это – война!

Он бросил взгляд на шахматы и спохватился:

– Чуть не забыл. Перед началом агонии Иван Васильевич прошептал: «Скажите мальчику, что я пошёл ферзём на h2, и это победа».

Мы долго шли молча, а затем я стал «философствовать»:

– В эту войну полегли десятки миллионов, и герои погибали в первых рядах. Я даже не могу вспомнить из наших знакомых ни одного Героя Советского Союза.

– Я тоже не знаком с отмеченными такой высокой наградой, но… Давай присядем, и я расскажу тебе об одном из тех, кто воевал под Ленинградом.

Геннадий снова раскурил сигарету и продолжил:

– В 50-е годы мы с твоим братом завернули в столовую на Литейном. Посетителей было много, но мы обнаружили столик, за которым восседал мужчина средних лет. Я только открыл рот, чтобы попроситься за стол, как «хозяин» жестом пригласил присоединиться. Мужчина разлил «свою» водку в три стакана и сказал:

– Молодые люди! Сегодня десятилетие со Дня Победы. Давайте помянем тех, кто уже никогда не выпьет, не полюбит, не…

Тут он крякнул и опрокинул стакан. Мы тоже выпили и скорбно молчали. Я исподтишка рассматривал воина, который совсем не походил на былинного богатыря, не напоминал покалеченного солдата и не выглядел умудрённым офицером. Чтобы «попасть в тему» и прервать молчание, я спросил:

– А где вы воевали?

– Начинал на Невском пятачке.

– Ого! Там же совсем было плохо?

Он уставился на меня немигающим взглядом. Я уже решил пошутить: «Извините, я что-то не то сказал?» – но осёкся – его тело начало содрогаться, глаза наполнились слезами, которые тут же потекли по щекам:

– …что ты знаешь про «плохо»? – Он говорил рыдая. – Плохо – это когда соседу, с которым ты только что доел пшёнку из одного котелка, сносит осколком мины голову. Плохо – это когда ты достаёшь документы из кармана убитого командира и находишь письмо: «…папочка, мы тебя очень любим и ждём. Твои – Люба, Миша и Настя». Плохо – это когда там же фотка…

Он уронил голову на руки, но я расслышал:

– …это когда полгода в воде по грудь, а кухне до нас не

добраться…

Я не помню, чем окончилась встреча. Наверное, мы сопереживали, но… Из тех, кто вернулся в 1945-м с войны, ныне остались немногие. А я вспоминаю: «Плохо – это когда…»

Моя семья чудом пережила ленинградскую блокаду без потерь. С приближением Победы я стал спрашивать у мамы: «А когда мы (!) победим, будут пирожные?» (Пирожные я запомнил еще с довоенных времен и, естественно, считал эти изделия вершиной кулинарии.)

> И вот наступило 9 мая 1945 года! Победа! В тот день мама купила нам с братом по брикету мороженого! На всю жизнь я запомнил вкус Победы!

Мама смеялась, а старший брат изготовил для меня «шедевр» – кусок хлеба он намазал маслом, посыпал сахарным песком и «припудрил» какао.

И вот наступило 9 мая 1945 года! Победа! В тот день мама купила нам с братом по брикету мороженого!

На всю жизнь я запомнил вкус Победы!

Навсегда в их глазах свет великой Победы
И салюта, гремевшего в майской ночи…
На краю бытия обнищавшие деды
Ещё держат в руках от Берлина ключи.

О. Скуратов. Салажата войны

…Всё должно стать лучше!
Гавришева Валерия Васильевна

Летом мы снимали дачу в районе железнодорожной станции Русановская (после экзаменов в школе я сразу туда уехала). 22 июня 1941 года, где-то в полдень, мы с двоюродным братом возвращались с пляжа. Смотрим – навстречу нам идут какие-то люди. И говорят: «Война началась!» Мы как-то даже не поняли сразу – не знали ведь, что такое война. Через пару дней приехал папа и забрал нас в Ленинград.

Он работал в НИИ на Греческом проспекте, а жили мы на Сенной площади. Поначалу транспорт еще ходил, но со временем отцу пришлось добираться до работы пешком.

Мы с мамой состояли в пожарном звене, она была его командиром. Я и еще одна девочка дежурили на крыше четырехэтажного флигеля во дворе нашего дома – тушили зажигательные бомбы. Для этого на чердаке стояли бочки с водой. Они, кстати, нам не очень-то помогали, поэтому мы бросали «зажигалки» в емкость с суперфосфатом, которую обнаружили неподалеку, в ней бомбы почему-то гасли лучше.

Однажды рядом с нашим флигелем рухнул семиэтажный дом. Всех отправили на разбор завалов. От здания уцелели только каркас и крошечный балкончик на фасаде. А на нем, как сейчас вижу, стоял оставшийся в живых дедушка…

У меня была еще одна обязанность – санитарки. Наше звено ходило по квартирам, помогая совсем уж немощным и нередко одиноким людям; в домах и на улицах мы собирали трупы и уносили их в подвал. Как-то зимой пришлось выносить тела умерших соседей с первого этажа. В этой квартире жила обеспеченная профессорская семья. Они держали большую собаку. Недавно ее, видимо, убили, и семья какое-то время питалась собачьим мясом, но это людей не спасло. От собаки еще кое-что осталось. Мы с девчонками разделали ее, и мама приготовила нам фрикадельки…

> На золотое кольцо или часики мама выменивала у знакомой, работавшей в столовой, чечевичную кашу или суп. Но все равно мы голодали, часто болели.

Зимой отец не смог больше ходить на работу – слег. Я помню, как он все твердил: «Надо потерпеть немного, всё должно стать лучше. Вот-вот, уже скоро…» Он как чувствовал! 11 февраля 1942

года я пошла за хлебом, домой возвращалась чуть ли не бегом. «Папочка! Хлеб прибавили!» – я вбежала в комнату, заглянула за ширму, смотрю – у папы слезы на глазах, а сам он без сознания. Мама тогда послала меня к знакомым за кагором и сахарином, но папе они уже не понадобились. Он умер в день прибавки хлебного пайка. Вот почему я точно запомнила, что паек увеличили 11 февраля, а не 10-го, как позже говорили по радио.

Что было потом?.. От моей крестной матери остались золотые украшения. Она жила довольно богато и уединенно и все свои драгоценности оставила нам. На золотое кольцо или часики мама выменивала у знакомой, работавшей в столовой, чечевичную кашу или суп. Но все равно мы голодали, часто болели. Из-за цинги я чуть не лишилась ноги, а у мамы стали выпадать зубы…

Хотела отправиться на фронт, но меня не взяли. Правда, от школы как-то ездила с ребятами под Гатчину – рыть окопы. Пробыла там недолго. Стоило только начать копать, как появлялись немецкие самолеты и строчили по нам из пулеметов. Было страшно! При первой же возможности нас отправили в Ленинград.

По дороге жизни
Ксенофонтова (Комарова) Э. Ю., 1941 г. р

Родилась я в Ленинграде ровно через неделю после начала Великой Отечественной войны – 29 июня 1941 года. По рассказам моих родителей, когда город был уже в блокаде, многие умирали от голода не только у себя дома, но и на улицах: по дороге за хлебом, за водой, на работу. Маму подобрали на улице только потому, что рядом с ней лежал сверток с дико орущим ребенком – мне было полгода.

Отец, прибывший с Ленинградского фронта на пару дней проведать семью, дома никого не обнаружил. Только на третьи сутки нашел нас с мамой в больнице. Вынужден был вернуться на фронт, но пытался сделать все, чтобы эвакуировать нас из города. Зимой 1942 года эвакуация была возможна только по дороге, проложенной по льду Ладожского озера, впоследствии названной Дорогой жизни. Отец уговорил шофера, грузовик которого был забит людьми до отказа, посадить в кабину мать с ребенком.

Машины уходили от дома№ 12 по ул. Полтавской – это задний двор здания МВД. Что интересно, в 1948 году нам дали комнату в этом доме – наш дом на 2-м Муринском проспекте был разрушен во время войны.

> В нашем вагоне было несколько женщин с такими же, как я, грудными детьми. Из них выжила я одна – только потому, что мама пеленала меня, несмотря на лютый мороз, на остановках стирала в снегу тряпки-пеленки и сушила их на своем теле. А других детей женщины боялись пеленать, чтобы не простудились, и малютки задохнулись в своих же нечистотах.

Как рассказывала мама, по Ладожскому озеру машины шли одна за другой на определенном расстоянии. Вдруг идущая впереди машина проваливается под лед, вместе с людьми уходит под воду… Водитель нашего грузовика в ужасе останавливается, не зная, что дальше делать, куда ехать. Мама уговаривает его объехать образовавшуюся полынью. Опасаясь страшной участи, шофер все же двинулся в объезд и удачно миновал опасное место. Но ехавшая следом за нами машина также провалилась под лед. Видно, в этом месте лед был не настолько крепкий и толстый, чтобы выдержать такое количество нагруженных машин…



Наша семья. Берлин, 1946 г.

Дальше – в глубь страны, к родным отца, в Сибирь – мы ехали в холодных товарных поездах. В нашем вагоне было несколько женщин с такими же, как я, грудными детьми. Из них выжила я одна – только потому, что мама пеленала меня, несмотря на лютый мороз, на остановках стирала в снегу тряпки-пеленки и сушила их на своем теле. А других детей женщины боялись пеленать, чтобы не простудились, и малютки задохнулись в своих же нечистотах.

Вот так мы с мамой выжили: она – благодаря мне, а я –

благодаря ей.

Папа дошел с боями до Берлина. Был несколько раз ранен, осколок попал ему в голову, его спасли каска и шапка-ушанка: после операции осталась только вмятина в центре черепа и отсутствовало с тех пор обоняние.

После Победы и возвращения домой отца послали в Берлин в командировку – служить в Группе советских войск. Мы с мамой вернулись из эвакуации и, конечно, поехали с ним. Но это уже другая история. На Родину отца отозвали в 1948 году, мы вернулись в Ленинград.

В этом году папе исполнилось бы 100 лет, маме – 95. Но их уже нет со мной…

Умирали прямо на ходу
Булина Ирина Георгиевна, 1933 г. р

Мне восемь лет было, когда война началась. Я тогда жила в Колпино с родителями и бабушкой с дедушкой. Дедушка работал на Ижорском заводе – и в воскресенье рабочие предприятия выбрались на пикник на Усть-Ижору. Рано утром мы на автобусе поехали, все было прекрасно. Лето было жаркое и для Ленинграда с его дождливой погодой не очень характерное. В Усть-Ижоре – разливы такие большие, камыши. Мне подарили заводной катер, и я с ним играла в тот день.

Вдруг по громкоговорителям сообщают: «Всем собраться к автобусам, мы уезжаем». Никто не понимал – ведь было всего лишь 12 часов дня. Когда уже подъезжали к Колпино – смотрим, там возле громкоговорителя стоит народ: сообщают, что началась война.

Отец и дедушка работали в танковой промышленности (бабушка и мама были учительницами). И они сказали, что это ненадолго, что танков и самолетов у нас гораздо больше, нечего паниковать. Мы поняли, что стоит паниковать, только когда начали заводы эвакуировать. Дед мой работал главным инженером по боевому производству на Ижорском заводе. Он автор брони для первых советских танков «Клим Ворошилов». И он остался на заводе, хотя часть людей уехала в Челябинск. А отец работал тоже на военном заводе – но уже в самом Ленинграде при Адмиралтействе. Он просто перестал приезжать домой – так как завод был на казарменном положении. А мы сидели в окопе.

В Колпино уже невозможно было жить, когда началась зима. Мы сперва пришли пешком в Обухово, а оттуда уже ходили поезда в Ленинград. Эвакуация по сути была из блокады в блокаду, но в Колпино было лишь два километра до линии фронта: обстрел завода шел прямой наводкой. Мы перебрались в Ленинград – родственники уехали в эвакуацию, и мы въехали в их квартиру.

Меня записали в школу и вместе со школой должны были эвакуировать. Привели на медосмотр за три дня до отъезда – это был последний эшелон с детьми, который уходил из Ленинграда. А у меня как раз начался коклюш, и врач сказал, что я могу заразить весь эшелон. И я осталась дома, а этот эшелон разбили под Лугой.

Мы остались на Петроградской стороне, на Кировском

проспекте. Там мы на пятом этаже и жили. Сначала все было нормально. Столовые коммерческие работали, продукты были. Не было ощущения, что нас ждет голод. Поняли, что все плохо, только когда сократили продуктовые нормы после того, как сгорели Бадаевские склады. Хотя и говорят, что в тот момент там продуктов было всего на семнадцать дней.

За водой мы ходили на реку. На весь день мы набирали ведерко воды, плюс я – бидончик. Топили снег. За хлебом надо было вставать в очередь очень рано. Находили поводы для веселья – бегали со взрослыми на крыши тушить зажигательные бомбы. Нас оттуда выгоняли, правда – ведь толку от нас было мало. Надо было ухватить щипцами «зажигалку» и бросить ее в ведро с песком. Я вот когда в прифронтовой полосе сидела в окопе – одну зажигалку собственноручно потушила. Но это для нас всё была игра – как и то, что дети собирали осколки от немецких снарядов и хвастались ими.

> Вместе со школой меня должны были эвакуировать. Это был последний эшелон с детьми, который уходил из Ленинграда. А у меня как раз начался коклюш, и врач сказал, что я могу заразить весь эшелон. И я осталась дома, а этот эшелон разбили под Лугой.

У нас в доме поселилась семья: отец на фронте, две четырехлетние девочки-близнецы и мальчишка тринадцатилетний – он в ремесленном училище учился. Мать работала на хлебозаводе. Она оставляла девочек дома, а я приходила к ним читать книжки – читать я уже умела, а в школу ходить перестала. Сначала они ходили, потом просто лежали. Затем одна из них перестала открывать глаза, но еще продолжала дышать. А их брат Женька приносил им каждый день с другого конца города в авоське баланду и кусочек хлеба – ему их выдавали как рабочему. Мама девочек говорила: «Женька, зачем ты им носишь – они все равно умрут». Она сама ничего не могла своим дочкам с хлебозавода принести – ее бы расстреляли.

Потом умерла одна из двух девочек. Мама завернула ее и положила на широкий подоконник. Сказала, что когда умрет вторая – то уже одним махом всех отнесут вместе. Отец мой был крупным инженером, и эта женщина его попросила отнести тело своих дочерей на сборный пункт. И у отца слезы текли, когда выполнял ее просьбу. Их в итоге на Пискаревском кладбище похоронили.

> Она, работая на хлебозаводе, не могла принести даже кусочек хлеба своим умирающим детям. Продавцы

не могли даже крошки забрать – каждый довесочек был на счету.

А потом как-то раз объявили, что будет выдача крупы, и моя мама с этой женщиной, которую звали Лида, пошли получать. Спускались по лестнице, и вдруг раздался страшный крик на весь подъезд: они споткнулись о тело старшего сына этой женщины – Женьки. Он лежал на лестнице, сжимая авоську с баландой, – не дошел лишь три этажа до квартиры. Кричала его мать Лида, которая похоронила только что двух девочек, а еще раньше – старшего сына, погибшего на фронте. Она, работая на хлебозаводе, не могла принести даже кусочек хлеба своим умирающим детям. Продавцы не могли даже крошки забрать – каждый довесочек был на счету.

Умирали люди прямо на ходу. Вез саночки – и упал. Появилось отупение, присутствие смерти рядом ощущалось. Я ночью просыпалась и щупала – живая мама или нет. Спали в одежде – во всем, что у нас было, и топили буржуйку. Нам еще повезло, что папа работал на заводе, где строили цех, – и там были заборы и леса. Их разобрали и раздавали работникам завода. Мы с мамой ходили с саночками за досками. А без буржуйки было ужасно холодно.

Потом снаряд попал в соседний дом, и вышибло окна. Мы закрыли окно фанерным листом, но все равно дуло сильно. Выходили на улицу редко. Выйти на улицу – означало, что потом придется подниматься на пятый этаж.

Мама и папа однажды поехали хоронить маминого брата – и не успели вернуться до комендантского часа. Я осталась с бабушкой и дедушкой. Деда парализовало, бабушка сидела и плакала. Пить было нечего. Я пошла с бидончиком снега набрать и забыла варежки. А найти чистый снег было тоже очень трудно. В итоге нашла, руки отморозила, обратно поднимаюсь. Плачу, думала, что родителей уже нет в живых… Они вернулись только через два дня. Мы без них бы умерли сразу.

Потом отец перестал ходить. У него от дистрофии распухли ноги, но он не мог бросить завод, и мама его на саночках возила на работу. Были в городе такие курсы: клали человека в диспансер, кололи ему витамины и давали питание. Вот отца туда положили, но он приносил мне ту баланду, что ему в этом оздоровительном стационаре выдавали.

И вдруг эта женщина – вся в маминой одежде – спрашивает у мамы: «Тебе, наверное, неприятно на меня глядеть?» А мама ответила, что готова ей ноги целовать, потому что выжили мы благодаря ей.

Вдруг повысили норму хлеба – со 125 до 200 граммов. Потом начались еще какие-то выдачи.

Мама ходила, пыталась обменять свои вещи на продукты. Она очень хорошо до войны одевалась, потому что мужчины в семье работали на заводах. Один раз она ушла в каракулевой шубе, а вернулась, радостная, в телогрейке. Она встретила какую-то свою бывшую соученицу – та ее узнала и сказала: давай мне шубу, а я тебе дам овса и еще кое-что. Любовник этой женщины был фуражир конной армии Ворошилова. Она нам приносила жмых – спрессованная кожура от семечек – и овес. Мама все свои вещи им в итоге отдала.

1 апреля была последняя дорога по Ладоге – уже четвертого числа ладожская дорога закрылась. В апреле эти люди пришли помочь нам доехать до вокзала. И вдруг эта женщина – вся в маминой одежде – спрашивает у мамы: «Тебе, наверное, неприятно на меня глядеть?» А мама ответила, что готова ей ноги целовать, потому что выжили мы благодаря ей. Так что были в Ленинграде и те, кто наживались на блокаде…

Через Ладогу нас на машине везли. Помню, как на ногах у меня стояла швейная машинка – и кто-то кричал: «Уберите эту машинку, кто ее с собой везет?!» А на грудь мне ребенка запеленутого положили. Вся семья в разные машины попала. А все же детское какое-то восприятие было у меня. Трассирующие пули освещали дорогу, осветительные фонари висели на парашютиках, а когда снаряды падали в озеро – поднимались огромные фонтаны. Я смотрела на это всё и твердила: «Прямо как Самсон».

А еще очень остро запомнилось, что, когда нас перевезли на ту сторону – станция Борисова Грива – нам там выдали паек: большую луковицу, кусок хлеба серого. Я вцепилась в луковицу, начала есть, а папа начал отнимать – он очень боялся, что будет заворот кишок. Что у многих и происходило: когда мы ехали в эшелоне до Свердловска 17 дней, то там вообще неописуемо что творилось вдоль путей: кровавый понос был у всех. И все ноги были в нарывах – цинга началась. Но все же нас вывезли.

Голод закончился, как только нас по Ладоге перевезли. На каждой станции давали какие-то пайки. Надо было бегать за кипятком. Многие отставали.

А везли нас так: товарный вагон с закрывающимися дверями, посередине дырка – в роли туалета, промерзшие стены и нары. В середине буржуйка, на которой можно было воду разогреть. Умирали и в вагонах люди. Была полная атрофия – ни испуга, ни страха.

Спустя много лет я переехала в Москву, закончила

строительный институт, защитила диссертацию, работала в МГУ, работала на «оборонку».

Но хлеб мы никогда не выбрасываем – даже теперь.

Весна сорок второго
Левертова Людмила Михайловна, 1937 г. р

Я – житель блокадного Ленинграда, как и мой муж – Левертов Давид Шаевич. Он умер в январе 2011 года. Всю блокаду он прожил в Ленинграде. Хорошо помнил все трудности блокадной жизни. Отец его был на фронте, а мама работала на заводе на Васильевском острове в три смены, и потому Давид был один уже с девяти лет. И вот когда он вышел на пенсию, то изложил свои воспоминания в стихах.

Весна сорок второго
Ах, весна сорок второго,
Ох, блокадная пора…
Вот и встретились мы снова —
Дети нашего двора.

Посчитать – совсем немного
Нас осталось, – Боже мой! —
Тех, кто выжил, слава Богу,
Первой, страшной той зимой.

Все худые – кость да кожа,
И у всех заботы есть,
И конечно, мысль гложет:
«Где бы что-нибудь поесть?!»

Не монашка, не шалава,
В двадцать шесть уже вдова,
Нас учила тетя Клава,
Где какая есть трава.

Говорила так красиво,
Мол, вкуснее нет еды —
Щей из свеженькой крапивы
И котлет из лебеды.

С тетей Клавой Юрка, Генка —
Все мы дружною гурьбой
Шли на берега Смоленки
Запасаться той травой.

И домой я шел счастливый,
И была в руках всегда
Сумка, полная крапивы,
И в кошелке лебеда.

Плакала украдкой мама,
Той слезы светлее нет,
И варила вкусный самый
Тот блокадный наш обед.

Ленинградская блокада,
Девятьсот ужасных дней,
Кому надо и не надо,
Все сейчас причастны к ней.

Но средь всякого иного
Будет помниться всегда
Та весна сорок второго,
Та крапива-лебеда.

* * *

Ленинградская блокада —
Ненасытнейшая пасть.
Голод, холод,
Свист снарядов —
Как же выжить,
Не пропасть?
Дорогая моя мама,
Как тебе сейчас в раю?
Как тащила ты упрямо
Ношу тяжкую свою!
Все ждала:
Отец вернется!
Не вернулся…
Сколько их!
Из блокадного Колодца
Напилась ты за троих.
А я парень был —
Не промах,
Десять лет уже,
Большой.

Деревянные хоромы
Разбирали На Большом.
С другом выйдем Спозаранку,
Стырим доску —
Есть улов!
На толчок
Несем вязанку.
Где ты, Юрочка Крылов?
Были те дрова валютой
На Андреевском толчке.
От победного салюта
Мы были очень вдалеке.
Ленинградская блокада,
Девятьсот ужасных дней.
Кому надо и не надо,
Все сейчас причастны к ней.
Мне не нужен незабудок
Ковер зелено-голубой.
Пока я жив, я помнить буду
Снарядов свист
И бомбы вой.

Ленинградская блокада
Ненасытнейшая пасть.
Голод, холод,
Свист снарядов —
Как же выжить,
Не пропасть?

Давайте съедим все, а то убьют – еда останется
Русакова Елизавета Дмитриевна, 1933 г. р

Я родилась 27 апреля 1933 года. Для меня война началась в сентябре 1941 года.

Мне 8 лет. Я сижу на подоконнике, ноги – на улице. Вдруг слышу гул незнакомый, грубый. Вижу, черный птицы летят над железной дорогой, и какие-то черные болванки падают от них вниз. Земля дрожит, комья ее летят вверх, грохот, свист… Стало страшно. Я забралась под кровать, затихла. Там дождалась маму, сестер – все они работали на сенокосе. Лиде – 15 лет, Тоне – 13 лет, Катерине – 10 лет.

Я рассказала, что видела черных птиц с желтыми крестами и что они что-то бросали. Я ведь раньше самолетов не видела. Мне мама объяснила – это немцы, идет война и лучше не высовываться. Надо прятаться.

Я ПОВЗРОСЛЕЛА СРАЗУ, В 1941 ГОДУ. МНЕ 8 ЛЕТ.

А папу посадили в тюрьму в 1932 году. Не знаю, за что. Говорят, что-то сказал о ком-то. Он – железнодорожник. Его отправили строить Карагандинскую железную дорогу. А нас – в колхоз. На фронт папа ушел добровольцем сразу из тюрьмы. Дома был одни сутки – отпустили. Я его увидела первый раз в 1941 году. Спряталась под кровать.

Под Тихвином солдат учили стрелять, бросать гранаты и какому-то военному делу. Попал папа во власовскую дивизию. Быстро перевели его на Финский фронт, в Карелию. Ранили, лошадь убили, пушку разбомбили…

Подобрали финны живого, увезли в госпиталь. Подлечили. Попытка бежать к своим (русским!) из плена не удалась. Опять ранение, госпиталь и двенадцать розог от финнов. (Шрамы от них я руками трогала – считала в 1948 году.)



Август 1938 г. Ленинградская область, пос. Синенка. Дети репрессированных, семьи которых были высланы из Ленинграда.

Лиля Русакова – справа в нижнем ряду.

Верхний ряд: Тося Русакова, Рита, Тася; снизу: Алик, Лиля Русакова (справа).

Все, кроме Лили и Тоси, погибли во время войны

А у нас документ: в убитых, умерших от ран не значится. Искали папу по всем инстанциям того времени. И вдруг известие маме: «Ваш муж находится в Суоярви. Разрешено посещение одному члену семьи». Под следствием. Папа строил БеломорБалт. Обмен военнопленными с Финляндией был. Оправдали его, слава Богу. В 1948 году.

А мы, одни женщины и дети, работали. «Все для фронта, все для Победы». Вязали носки, рукавицы с тремя пальцами. Прятали в них записочки: «Воин – спаси!»

А фронт уже в Тихвине. Идут поезда в тыл с ранеными солдатами, эвакуированными из блокадного Ленинграда. Я видела изможденных, голодных людей-дистрофиков, слабых. Они выносили из вагонов-«телятников» (так называл народ грузовые вагоны, двуосные, переделанные для перевозки людей) мертвых детей и взрослых, складывали трупы в кювет. Люди все это выносили с таким мужеством – без слез и стонов! Санитарные бригады увозили и где-то хоронили трупы. Я знаю где!

На крышах вагонов – красные кресты. А немцам было удовольствие ПОБОМБИТЬ – ПОВОЕВАТЬ с ранеными, голодными людьми и с детьми!

Помню оскал летчика низко летящего самолета и пулеметчика, стрелявшего в нас – детей, несущих воду в ведрах из колонки станции Большой

Двор домой. Мы с Тамаркой Калистратовой убежали в кусты. А немец, гад, продырявил ведра. Вода вытекла.

Помню оскал летчика низко летящего самолета и пулеметчика, стрелявшего в нас – детей, несущих воду в ведрах из колонки станции Большой Двор домой. Мы с Тамаркой Калистратовой убежали в кусты. А немец, гад, продырявил ведра. Вода вытекла.

Армия отступала. Командный пункт был в Большом Дворе, а штаб армии – у нас в доме, в Синенке. Это от передовой – 15–17 км. Для нас в доме оставались печка русская, чулан и чердак.

Лида работала официанткой в офицерской столовой. А Тоня, Катя и я – валили лес! Пилили дрова в лесу, топили баню для солдат. Собирали ягоды, грибы, травы всякие съедобные, делали веники для парной. Есть было нечего. Мама пекла хлеб из лебеды, очисток картофельных. Даже собаки просили милостыню у офицеров и солдат. И собакам есть нечего было.

При бомбежках Катерина просила маму: «Давайте съедим все, а то убъют – еда останется!»



Октябрь 1941 г. Родители Лили Русаковой. Фото перед

отправкой на фронт. Надпись на обороте: «В память моей военной службы. 7 октября 1941 года»

Помню, привезли в баню сибиряков. Они после парилки – нырк в снег! Голяком! Счастливыми казались в этот момент!

А если летели немецкие бомбовозы к Ленинграду, мы прятали головы в снег, а попы – снаружи! Я видела, как наши пулеметчики с полуторок пытались сбить немецкие самолеты станковым пулеметом.

Передовая линия уже в деревне Астрачи. Это горе!

8 ноября Тихвин наши сдали. Единственной связью была железная дорога: Тихвин – Волхов – Мга – Ленинград. А Тихвин теперь – у немцев.

Наши войска дрались насмерть, чтобы освободить Тихвин, Волхов, Волховскую ГЭС. Бои за Тихвин были жестокими. Немцы хотели сомкнуть кольцо блокады Ленинграда на участке Тихвин – Волхов – Ладога. Слава Богу, не удалось! А немцы объявились даже в деревне Ефимовская – это дальше Большого Двора, на северо-восток. С ними наши войска разделались быстро. А Тихвин освободили 9 декабря 1941 года.

Помню: четыре утра. Много-много танков идут в сторону Тихвина: вытурили немцев и пошли далее, на Волхов – Ладогу. Тихвин у немцев был один месяц.

Помню, радио – черная тарелка – ночью заговорила: «27 января 1944 года блокада Ленинграда прорвана!»

Я уже большая, взрослая – мне 11 лет (почти!). Я училась в школе, ходили пешком пять километров. Были занятия по военному делу. Нас, детей, учили стрелять из винтовки, метать гранаты. И держать язык за зубами!

Была и радость: в феврале 1944 года лучших учеников отправили на елку в Ленинград, во Дворец пионеров и школьников имени Жданова. Я получила этот подарок – поездку. Одеть и обуть нечего. Кто-то чего-то дал.

Помню вагон, везли ночью. Дали паек какой-то. Ах, какая вкусная лепешка ржаная была! Привезли нас ночью. Мы шли пешком по Невскому (тогда – проспект 25-го Октября) до ДПШ. Снегу было – по уши! Я провалилась в люк заснеженный – ничего, воспитатели достали меня. И вот елка – красавица! Обращаются с вопросом: «Кто из Тихвина и района?» Мы встали. И взрослые люди, воспитатели, ленинградцы-блокадники, нам, детям с передовой линии фронта, говорят: «Спасибо!»

Такое не забыть! Слезы радости у всех!

Помню, пошли к Садовой улице. Толпы народу: по Садовой пошел ПЕРВЫЙ после снятия блокады трамвай. Номер 13. Мне

почему-то именно «13» запомнился, не уверена.

Город разрушен.

1949 год. Учусь я в Ленинграде. С трудом удалось получить паспорт. Из колхоза не отпускали. Помню анекдот: «Отгадай, чей скелет, если шерсть сдал, молоко сдал, мясо сдал, яйца сдал, масло сдал?» Ответ: «Колхозника!» – «Правильно!»

А в техникуме стипешка – 140 рублей (это повышенная, у отличников!). А есть охота. Надо подрабатывать: чистить снег на Марсовом поле или разносить телеграммы. Или сортировать письма на Главпочтамте. И все равно – ходили в кино, театры, на танцы. Одеть нечего. Из мешка американского сшила сама юбку, а сзади – крупные буквы – «USA»! Успех был – потрясный!

С 1953 года начинается моя трудовая деятельность. Город восстанавливается. Пригороды – Павловск, Царское Село (г. Пушкин), Ломоносов – немцы загадили. Где-то были конюшни, где-то мастерские. Ох, что же вы, фашисты, натворили! И молодые комсомольцы – а я активная! – каждые выходные шли на восстановление города и музеев. Даже разбили Парк имени 10-летия комсомола, что на проспекте Обуховской Обороны!



После войны. Лиля Русакова (справа) с подругой

И самое приятное и неожиданное было в 1957 году, в праздник 250-летия Ленинграда, который город отмечал с опозданием в четыре года (вместо 1953).



Август 1951 г. Лиле Русаковой 18 лет

Я вместе с ленинградцами была награждена ПУБЛИЧНО медалью в память 250-летия Ленинграда. Мне 24 года. Для меня это и сегодня самая дорогая награда.

Р.Б.:

Во время войны я ребенком совершила два недостойных поступка:

1. В Новый год в Большедворской школе (пятый класс) Люська Кутузова меня обманула, сказав, что отличникам дают по два подарка, а я получила один.

И я пошла за вторым.

Калугин Иван Павлович (директор) спросил меня, получила ли я подарок (пряник, две конфетки и карандаш).

Я утвердительно ответила: «Да!» И он мне дал второй подарок. Когда я вошла в класс, Люська отняла его у меня с криком: «Обманули дурака на четыре кулака!» Я в растерянности.

2. А еще во время войны у нас в квартире квартировал уже стройполк. Начальник Лоскутов Василий Кузьмич. Придя домой из школы, я почувствовала запах сгущенки. Поискала, нашла открытую банку у Василия Кузьмича на шкафу. Подставила табуретку. И украла один глоток очень сладкого вкусного молока. Глаза увидели лежащего на диване Василия Кузьмича. Он делает вид, что спит. Я в ужасе! А дома тихо, мама не ругала! Я его спросила, отчего же он маме не рассказал. На что я получила ответ: «Я виноват в том, что не поделился с голодными детьми». И меня простил.

После войны в Ленинграде я жила у них, мы были как родные. И их сын Рэм в войну жил у нас, и еще Славка Калинин, его друг. У них матери-врачи тоже воевали, как и отцы. К сожалению, Рэм и Славка погибли – они глушили рыбу в речке Мга. А у Люськи Кутузовой вся родня погибла – прямое попадание бомбы в землянку. Ее тоже уже нет в живых, она умерла позже.

А с Калугиным Иваном Павловичем я тоже объяснилась, попросила прощения. И он меня тоже простил.

Спасибо всем.

Прислала Лариса Романовская

Мама закрывала меня своим телом
Наталья Владиславовна Переломова (Сухоносова), 1935 г. р

15 июня 1941 года мне исполнилось 6 лет, а через неделю, 22 июня, началась война. В это время моя семья находилась в Ленинграде, я ходила в детский сад. Уже к 10 июля немецкие войска вышли на подступы к Ленинграду с юго-запада, а с севера наступали финны. Блокады ещё не было, но первая волна эвакуации была обьявлена. Ленинградских детей от ясельного до подросткового возраста было решено эвакуировать в начале июля.



Наталья с мамой Евдокией Ивановной

Наш эшелон отправлялся с Московского вокзала, у всех детей были сумочки с фамилией, необходимыми вещами и немного

еды. По дороге на вокзал моя бабушка плакала и не раз проверяла, запомнила ли я наш ленинрадский адрес, имена и фамилии близких – мамы, отца, высланного в Мурманск как сына «врага народа», бабушки и дедушки.

На вокзале нас посадили в поезд, который, как потом оказалось, двигался в южном направлении навстречу наступающим немецким армиям. По-видимому, это было связано с неразберихой первых недель войны. Наш эшелон попал под бомбёжку и обстрел, были первые жертвы, несколько вагонов были разбиты и загорелись. Оставшихся в живых разместили в ближайшие села, куда стали привозить и раненых красноармейцев.

Продолжавшиеся бомбёжки, убитые, покалеченные – и цветущие школьные клумбы, сад около школы – всё это стало первым детским потрясением от первых дней войны. Моя бабушка, бывшая в то время на рытье оборонительных окопов и траншей, узнала о судьбе нашей группы эвакуированных детей, отпросилась на несколько дней и каким-то чудом сумела выхватить меня из нашей группы и вернуть в Ленинград. А вскоре, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. В этот же день немцы разбомбили и сожгли стратегические Бадаевские продовольственные склады.

Мы жили в рабочем районе Ленинграда, теперь это Невский район, недалеко от железнодорожного моста через Неву. В нашем доме располагался штаб по формированию народного ополчения, и наш район бомбили и обстреливали практически ежедневно. Сначала мы ходили в убежище, потом вообще перестали реагировать на сигналы тревоги – уже не хватало на это сил. В городе начался голод, прекратили работу водопровод, канализация, отопление. Наступило самое тяжёлое время – зима 1941–1942 года с сорокаградусными морозами.

> Мне врезалось в память, как мы с мамой еле бредём от проруби с бидончиком воды, привязаным к детским санкам, натыкаемся и падаем на запорошенный снегом труп женщины с маленьким ребёнком на груди.

Первым умер мой дедушка, известный в Ленинграде мастер по ремонту струнных инструментов. В ноябре погиб мой дядя, ушедший добровольцем в народное ополчение. Мы остались втроём: бабушка, мама и я. Мы сгрудились в маленькой комнате. В огне буржуйки сжигали книги, мебель – всё, что могло гореть и как-то согревать нас, варили «кисель» из дедушкиных запасов столярного клея, который быстро иссяк. В ноябре – декабре 1941 года норма суррогатного хлеба составляла 125 граммов на

человека в день. Хлеб разрезали на маленькие кусочки и старались растянуть на целый день.

За водой ходили на Неву. К счастью, наш дом стоял в пятидесяти метрах от реки. Мама часто брала меня с собой; страшным впечатлением были умершие люди на лестничных клетках, на улице, по дороге на Неву. Мне врезалось в память, как мы с мамой еле бредём от проруби с бидончиком воды, привязаным к детским санкам, натыкаемся и падаем на запорошенный снегом труп женщины с маленьким ребёнком на груди.

> Мы спали втроём на одной кровати, согревая друг друга. И вдруг ночью мы с мамой испытали нечто вроде внезапного и сильного толчка, мгновенно проснулись – бабушка была мертва. А позже на полке у камина мы нашли горсть сухарей, которые бабушка тайно откладывала для нас из своего скудного пайка, из 125 граммов хлеба.

Когда обстрелы заставали нас с мамой на улице по дороге за хлебом или водой, мама ложилась на меня и закрывала меня своим телом. Однажды меня легко ранило осколком в руку, в госпитале мне наложили швы. На кухне в госпитале дали тарелку супа и выдали кулёк картофельных очисток со словами: «Это для девочки». Из этих очисток мы сварили суп – и это был праздник.

В начале января 1942 года слегла любимая всеми бабушка. Страшным и самым ярким воспоминанием, от которого до сих пор стынет сердце, стала её смерть. Мы спали втроём на одной кровати, согревая друг друга. И вдруг ночью мы с мамой испытали нечто вроде внезапного и сильного толчка, мгновенно проснулись – бабушка была мертва. А позже на полке у камина мы нашли горсть сухарей, которые бабушка тайно откладывала для нас из своего скудного пайка, из 125 граммов хлеба.

Мы остались вдвоём с мамой. Мама – маленькая, хрупкая женщина, с уже начинавшемся туберкулёзом лёгких, с трудом ходила к Неве за водой.

Казалось, всё кончено, но бывают чудеса. Нас, умирающих, разыскал старый мамин товарищ по комсомольской работе, давний друг нашей семьи. Он работал на военном заводе и получал повышенный итээровский [4] продовольственный паёк.

И вот раз в неделю, в условиях холодной зимы, через весь простреливаемый город он шёл, чтобы принести нам с мамой часть своего пайка. Это и спасло нас. Имя этого человека Василий Иванович, его фотографии до сих пор в нашем семейном альбоме, мы его всегда вспоминаем как самого родного и близкого

человека.

В июле 1942 года мы с мамой были эвакуированы из Ленинграда по Ладожскому озеру. От берега отплыли три судна с людьми, нас бомбили с воздуха, в одно судно попала бомба, многие люди погибли, берег обстреливался. А далее была долгая, мучительная дорога на восток.



Ехали в товарных вагонах, в жуткой тесноте, располагались с вещами на полу. На станциях можно было достать кипяток и обменять кое-какие вещи на продукты. В пути многие блокадники погибали – это сказывались необратимые последствия ленинградского голода.

Мы оказались вдали от линии фронта, в алтайском селе, в шестидесяти километрах от Барнаула, где нас встретили теплотой и сочувствием. Здесь не было бомбардировок и обстрелов, но жизнь была трудной: все мужчины были на фронте, их заменяли женщины и подростки. Мама в это время работала на полевом стане медиком, объезжала трудовые лагеря, лечила рабочих. Я её почти не видела: так много у нее было работы.

В эвакуации я пошла в школу, в первый класс.

В школе была одна тёплая комната с единственной электрической лампочкой. Там учились дети всех возрастов и всех учила одна учительница. И был, я помню, сторож-фронтовик, инвалид войны, который «заведовал» печкой. Свою «преподавательскую» деятельность я начала в этой школе, поскольку я уже умела кое-как читать и даже писать печатными буквами, и учительница «доверяла» мне группу из двух-трёх

ребятишек.

В апреле 1942 года, защищая Москву, под Можайском погиб мой отец. На Алтай извещение пришло осенью. Эта очередная трагедия в нашей семье свалила мою маму, она тяжело заболела и чуть не погибла. Её выходили замечательные люди из алтайского села. Спасительным моментом в нашей жизни явилось письмо друга моего погибшего отца – Моисея Корнеевича, с которым мой отец сблизился ещё до войны в мурманской ссылке, куда они оба были высланы и жили рядом.

Осенью 1942 года Моисей Корнеевич, замечательный инженер-механик, член партии с 1917 года, из Мурманска был направлен на военный завод в

Казахстане, в Усть-Каменогорск. Уходя на фронт, мой отец просил друга позаботиться о нас, если с ним что-нибудь случится. Моисей Корнеевич разыскал нас в алтайской эвакуации и прислал вызов в Усть– Каменогорск.



На Алтае начиналась суровая зима, морозы достигали шестидесяти градусов, но мама, потеряв всех близких, решилась ехать немедленно. Мы с мамой на телеге, в составе зернового обоза, завёрнутые в овечьи тулупы, добрались до Барнаула. Как

мы не замёрзли, одному Богу известно.

В 1944 году Моисея Корнеевича направляют на Украину, в Винницкую область, где он восстанавливает разрушенные сахарные заводы и возвращает их к жизни. После блокады и Алтая здесь был настоящий рай: цвели яблоневые сады, в толхозе даже был скот, коровы и свиньи, было лучше с продовольствием, отоваривались карточки. Там же застигло нас известие о снятии блокады. А потом была Победа.



После тяжелой авральной работы на Украине Моисея Корнеевича посылают «запускать» сахарные заводы на Кубани. Затем переводят на работу в судоремонтный отдел порта города Сочи. Сочи в те годы представлял собой общесоюзный госпиталь. Как сказали бы сейчас, реабилитационный центр для раненых со всего СССР. Здесь, уже после победы, я опять встретилась с войной. В реабилитации раненых активное участие принимали ученицы моей школы. Мы выводили раненых на прогулки, писали под диктовку письма, читали книги, давали концерты детской самодеятельности.

А что было дальше? Я, окончив среднюю школу в Сочи в 1953 году, поступила в Московский государственный университет на физический факультет. В 1959 году закончила его и была распределена на работу в конструкторское бюро С. П. Королёва, генерального конструктора космический техники страны, занималась материалами для защиты космических объектов. Потом работала в Московском институте стали и сплавов на кафедре кристаллографии. Руководила исследованиями по анизотропии кристаллов, стала профессором, выпустила многих

специалистов-материаловедов, была руководителем более десяти кандидатских диссертаций, написала ряд учебных пособий по кристаллографии и кристаллофизике, в том числе переведенных на несколько иностранных языков. Подробнее я рассказала о своей деятельности в МИСиС в статье «Годы, которых не забыть», опубликованной в сборнике, посвящённом пятидесятилетнему юбилею факультета полупроводниковых материалов и приборов.

Но, как бы далеко ни ушло время, я всегда сохраняю память о жизни в блокадном Ленинграде, о военных и послевоенных годах, о мужестве и стойкости людей, жителей и защитников города, их благородстве и взаимопомощи.

Красное и белое
Лескова Валентина Николаевна, 1941 г. р

Шел третий год войны.

Шел третий год блокады.

Шел третий год моей жизни.

Я была старше блокады на полгода и на три месяца старше войны.

Когда в марте 1941 года у моей мамы родились двойняшки, был обыкновенный год, обыкновенный март. Это потом, после 22 июня, его будут называть страшным годом, мертвым годом.

В июне 1941-го мой отец ушел, как положено, на фронт, на Ленинградский. Домой он вернется с орденом Боевого Красного Знамени, с медалью «За отвагу» и с нашитым на гимнастерке прямоугольничком с красными полосками, означавшими, что ранение было тяжелым. Но это будет потом…

А тогда, тогда в 41-м, моя мама с двумя трехмесячными малышами решила остаться в Ленинграде. «Что будет – то будет». Если выживем – вместе, если не выживем – тоже вместе.

Я была старше блокады на полгода и на три месяца старше войны. Когда в марте 1941 года у моей мамы родились двойняшки, был обыкновенный год, обыкновенный март. Это потом, после 22 июня, его будут называть страшным годом, мертвым годом.

Но блокада распорядилась по-своему. Мой брат умер, когда ему было полтора года. Умер дедушка, потому что он был очень большой и ему не хватило еды, чтобы выжить. Умер от голода. Тогда это было обычное дело.

И вот мы остались с мамой одни. По ее рассказам я знаю, что детям-грудничкам было положено детское питание в виде жидкой манной каши, но почему-то я ее невзлюбила. А у мамы – слезы градом – кормить чем-то надо. И она меняла эту кашу на рынке на картошку, которая и была для меня спасением.

Это все я помню по рассказам моей мамы. Но есть блокадный эпизод, который помню я сама.

Начиналась весна, но зима не хотела сдаваться, и было еще очень холодно. Мы опять едем на трамвае № 3, везем в большом белом узле сшитые мамой теплые вещи для фронтовиков. Каждый делал для фронта что мог. Отец – на фронте. А мама и другие ленинградки – здесь, в блокадном городе.

Скамейки в трамвае тогда располагались вдоль вагона. Я стояла, прислонившись к узлу… Он был такой мягкий. Потом что-то произошло – и мы оказались в подворотне на Садовой, около «Пассажа». Вслед за нами двое санитаров в белых халатах поверх ватников внесли носилки. На них лицом вниз лежала женщина. В зимнем пальто, из которого торчала вата почему-то красного, а не белого цвета. Потом носилки накрыли чем-то белым, и красное пятно стало расплываться по белому… Что было потом, я не помню, но… с тех пор я долго еще панически боялась красного на белом.

В то время в продуктовых магазинах все продавщицы были одеты в белые хлопчатобумажные куртки и почему-то очень любили красить ногти лаком ярко-красного цвета (другого тогда и не было). Так вот после той подворотни еще долгое время больших трудов маме стоило завести меня в продуктовый магазин. Что-то тогда случилось. И красный цвет надолго перестал для меня быть красивым. А ведь еще совсем недавно я рисовала красные цветы на белом листе бумаги, потому что это было красиво. Что же случилось тогда в подворотне, после чего на меня наводили ужас ярко-красные ногти продавщиц?



А «случилась» война, «случилась» блокада, «случилась» бомбежка, и на носилках лежала женщина, из которой уходил красный цвет, цвет крови, цвет жизни…

…Со мной все обстояло не так-то просто, потому как белыми были не только одежды продавцов, но и врачи носили белые

халаты, а посему и визиты в детскую поликлинику тоже становились делом нелегким.

Я и раньше-то не горела желанием общаться с доктором, ну а уж после перенесенного стресса я считала, что имею полное право отдохнуть от медицины, и заманить меня к врачу было невозможно ни кнутом, ни пряником.

К счастью, день за днем страшное для меня событие постепенно уходило в прошлое, и во мне все налаживалось. Тем более что в жизни блокадного ребенка были и свои радости. Так, в три года у меня появился игрушечный медведь. Его купили на барахолке (сейчас сказали бы «на блошином рынке»). Сделали его из какого-то мехоподобного материала шинельно-серого военного цвета, а еще у него были янтарные глаза и черные «ладошки». На долгие годы он стал моим верным товарищем и любимой игрушкой. Кстати, он жив до сих пор, хотя, конечно, состарился, его шкурку поела моль, из него слегка сыплются опилки военного времени, но янтарные глаза смотрят вполне бодро. Сейчас ему 70 лет. И он, конечно, многое мог рассказать, если бы только умел говорить.

> Вслед за нами двое санитаров в белых халатах поверх ватников внесли носилки. На них лицом вниз лежала женщина.
>
> В зимнем пальто, из которого торчала вата почему-то красного, а не белого цвета. Потом носилки накрыли чем-то белым, и красное пятно стало расплываться по белому… Что было потом, я не помню, но… с тех пор я долго еще панически боялась красного на белом.

А еще счастливыми были дни, когда мы с мамой ходили в кино. Может показаться невероятным, что в голодном блокадном городе работали кинотеатры.

Мы жили на Лахтинской улице в доме № 1. Рядом был кинотеатр «Молния», а немного подальше – «Люкс» (потом его переименовали в «Свет»). Фильмы показывали и довоенные («Светлый путь», «Трактористы», «Парень из нашего города», «Александр Невский»), и фильмы военных лет («В шесть часов вечера после войны», «Машенька» и др.). Я хорошо помню все фильмы, потому как и после войны они еще долго не сходили с экранов. Конечно, эта «кинотерапия» помогала мне поскорее забыть ту страшную подворотню на Садовой.

Может быть, не так часто, как хотелось бы, но мы с мамой ходили в кино. В принципе, я вела себя вполне прилично. Тем более что, уютно устроившись на маминых коленях, можно было и немножко вздремнуть, немножко посмотреть, что там делается

на экране.

Но для меня главным было другое…

Минут за пятнадцать до начала сеанса в фойе устраивали небольшие концерты, обычно это были сольные музыкальные номера, но случались и дуэты, и арии из оперетт. Очень популярной в ту пору была оперетта Имре Кальмана «Сильва». Лично мной она была очень любима. Вот тут-то и была собака зарыта.

Дело в том, что я очень любила петь, причем петь громко. Как оказалось, со слухом тоже все было в порядке. В мои почти четыре года я знала довольно много песен и пела с удовольствием, причем не только дома, но и, как оказалось, «на публике». И главное, громко. И вот, если мне случалось бывать в кино, да еще в фойе исполняли что-нибудь из «Сильвы», тут уж промолчать не было никакой возможности. Как только главный герой начинал свою арию – я подключалась с ходу, и мы пели уже вдвоем: «Сильва, ты меня не любишь, Сильва, ты меня погубишь…» – и аплодисменты делили на двоих. Мама рассказывала, что остановить меня было сложно, да особо и не останавливали, видимо, это было забавно, люди с удивлением и по-доброму улыбались и хоть на миг забывали о войне.

А война все не кончалась. И моя четвертая весна, хотя и была еще военной, но уже не была блокадной.

Привычка делить все поровну
Тимофеев Александр Георгиевич, 9 ноября 1936 г. р

Декабрь 1982 года. Дом творчества художников «Старая Ладога». Ветрище такой, что ночью, казалось, выдавит стекла. За окном несколько голых деревьев, дальше голый заснеженный взгорок. Ветер несет снег вдоль забора, такого же тоскливого, как тот, в блокадном детстве, когда родители, уходя на работу, оставляли меня одного, шести-семилетнего. Я сидел у окна и ждал. Сидел, кажется, в той комнатке, где потом у нас с Томой была кухня, откуда была видна дорога, возвращающая родителей с работы. Но из того же окна были видны и два страшных барака, приютивших переселенцев, согнанных войной со своих мест, и в которых, как говорили, жили людоеды. Все могло быть. Гулять на улицу без присмотра меня боялись отпускать. В одном из бараков жила и китайская семья. В начале войны их было несколько в деревне, но многих арестовали, говорили – японские шпионы. Осталось две семьи – Ван Су-Лины и Хо Шу-де. Помню смутно, говорили о каком-то мужике с топором. Не то он кого-то зарубил, не то только грозился, но страх мой детский был велик.

Совсем не помню радости, помню несколько тяжело-унылых, а порой и страшных видений-предчувствий. Вероятно, я болел. Помню себя в бредовом состоянии: лежу на спине, смотрю в потолок, а потолок делится на квадраты, они растут и давят меня.



С семьей и друзьями (до войны)

Семья наша, по теперешним меркам, была довольно большая. Отец мой – Тимофеев Георгий Дмитриевич и мама – Екатерина Ивановна. Нас,

детей, у них было четверо. Мне, самому маленькому, в начале войны было четыре года, брат Жора был старше меня на девять лет, сестры Нина и Зоя, соответственно, на 13 и 15 лет старше. Бабушка и дедушка жили в старом прадедовом доме у речки, там же, своими семьями – отцовы братья дядя Петя и дядя Вася. Мамины родные – Минины жили на Пороховых. У отца были еще

два брата – дядя Саша (на Пороховых) и дядя Миша – в Москве, сестра Мария жила в Яблоновке.

Отца в армию не призвали, он был 1898 года рождения и работал слесарем-механиком по ремонту автодвигателей на военном объекте – Охтинском химкомбинате, бывшем Пороховом заводе.

Деревня Жерновка, скорее не деревня, а рабочий поселок, стояла недалеко от трамвайной линии, что шла от Большой Охты до станции Ржевка. Вероятно, в блокаду нам было полегче, чем городским жителям, в огороде росли кусты черной смородины, немного картошки и капусты.

Через два месяца после начала войны немецкие войска были уже под Ленинградом. 30 августа они захватили Мгу и железнодорожная связь со страной прервалась, а захватив Ивановское, перерезали последнюю шоссейную дорогу. Город был отрезан от всех электростанций.

> Отец собрал и засолил капусту. Черные листья засолил в отдельную кадку – это хряпа. Как на первое время выручила нас эта капуста! Было немного и картошки. Картошку ели понемногу, оставляя глазки на семена.

Восьмого сентября, после падения Шлиссельбурга, Ленинград оказался в блокаде. В этот же день горели Бадаевские склады. Огромный столб черно-зеленого дыма был виден издалека. Сгорели три тысячи тонн муки, две с половиной тысячи тонн сахара и много чего еще. Отец собрал и засолил капусту. Черные листья засолил в отдельную кадку – это хряпа. Как первое время выручила нас эта капуста! Было немного и картошки. Картошку ели понемногу, оставляя глазки на семена.

9 ноября, в воскресенье, мне исполнилось пять лет. Подруга мамы, украинка Валентина Михайловна, жена китайца Ван Су-Лина, принесла мне в подарок кусок хлеба. Я разделил его на шесть равных частей – на всю семью. Об этом долго еще и после войны вспоминали мои сестры. Привычка делить все поровну осталась, вероятно, на всю жизнь.

Запасы хлеба в городе катастрофически таяли. На рабочую карточку выдавали всего 300 граммов, всем остальным – по 150 граммов в день. С 20 ноября новое снижение норм. Рабочим выдавали по 250 граммов, остальным – по 125 граммов хлеба.

20 ноября. Сегодня через болота, через вражеские тылы, через полузамерзшую Ладогу в город пришел первый конный обоз с хлебом.

Город бомбят и обстреливают из крупнокалиберной

артиллерии. От налетов немецкой авиации отец выкопал в огороде яму-бомбоубежище, сделал ступеньки, доски на крыше завалил землей. Он отводил нас туда при воздушной тревоге. Скользкие глиняные ступеньки, жердочка, чтобы держаться, яма для стока воды, коптилка в углу. Не любил я эту яму: сыро и холодно.

На деревню падают бомбы. Военный объект буквально в трех километрах, его часто бомбят и, когда промахиваются, попадают в деревню. Отец говорит, что на комбинат немцы спускали даже морские мины и торпеды на парашютах.

Одна такая торпеда ночью упала около нашего забора, но не взорвалась. Крышка от нее отлетела в огород, в кусты смородины. Отец думал, что это брат приволок такую тяжесть, но потом обнаружил торпеду. Приехавшие саперы сказали, что торпеда начинена не порохом, а железными опилками. Кто был тот русский, чех, поляк или немец, кто таким образом спас наши жизни?

Торпеда ночью упала около нашего забора, но не взорвалась. Крышка от нее отлетела в огород, в кусты смородины. Отец думал, что это брат приволок такую тяжесть, но потом обнаружил торпеду. Приехавшие саперы сказали, что торпеда начинена не порохом, а железными опилками. Кто был тот русский, чех, поляк или немец, кто таким образом спас наши жизни?

Действует Дорога жизни – Ладожская ледовая трасса. Подвоз хлеба увеличивается. С 1 декабря продовольственные карточки прикреплены к трамвайной остановки «Завод Воровского». 25 декабря – повышение хлебной нормы по карточкам. Рабочим 350 граммов, служащим, иждивенцам, детям по 200 граммов. У отца на заводе для рабочих организовали питание.



Георгий Дмитриевич и Екатерина Ивановна

Отец иногда приносил мне в судке немного супа. Судок этот алюминиевый храню до сих пор.

Новый год. На заводе, как отец называет химкомбинат, организовали елку для детей.

Покормили, подарили игрушку и мандаринку.

13 января – известие о разовой выдаче продуктов в счет месячной нормы. Мяса 100 граммов, крупы или муки 200 граммов.

По-хорошему, на один обед, но растянули надолго. Мама говорит: «Вот кончится война, наварю большую кастрюлю пшенной каши на всю семью и наедимся досыта».

Мама варит что-то, топит печь, греет воду, обмывает нас, натирает какой-то вонючей водой от чесотки. Когда человек голоден, липнет всякая дрянь. Работать мама ходит в сельсовет, в деревню Малиновку.

Несмотря на прибавку хлеба, смертность увеличивается. Траншеи под захоронения роют не только на Пискаревке, но и на Пороховском кладбище. Люди гибнут от обстрелов, бомбежек, но в основном от голода.

Что такое недолет,
В детстве я узнал впервые —
Если бомба в огород,
А бомбят Пороховые.

Клей столярный, да подошва,
Да лепешка – лебеда.
Не ахти, но выжить можно —
Настоящая еда!

Сумерки, пришел отец,
Обметает шваброй ноги.
Говорит, ему мертвец
Крикнул «Здравствуй» на дороге.

Отец приходит с работы и рассказывает, сколько окоченевших трупов встретил по дороге. Специальные машины ездили и собирали по городу мертвецов, отвозили на кладбища. Умерших столько, что хоронили, конечно, в братских могилах, без всяких имен и фамилий.

11 февраля – еще прибавка хлеба на карточки. Рабочим положено 500 граммов, служащим 400, иждивенцам и детям по 300 граммов. Но дистрофикам это уже не помогает. Неизлечимо. Кстати, есть сведения, что их, вывезенных на Большую землю, бабки в деревнях спасали кашицей из мелкотертого лука.

7 февраля 1942 года умер от истощения большой русский художник Иван Яковлевич Билибин. Как я любил в действе его иллюстрации к сказкам! Почему не эвакуировали? Детей-то ведь вывозили. Чем он мог помочь городу, войскам? Впрочем, а как же другие ученые, писатели, поэты, композиторы… Какую действенную помощь могли оказать они?

К концу зимы сестра Нина пошла в магазин к заводу Воровского выкупить по карточкам хлеб. Какой-то тип, толкавшийся у прилавка, сказал ей: «Сегодня привезли белый хлеб. Я здесь работаю, не хотите ли отовариться белым? Даже больше будет, могу вам помочь». У нас вообще доверчивый народ, а тут семнадцатилетняя девчонка… Отдала ему все карточки, он зашел за прилавок, вышел в другую дверь и был таков. Сестра пришла домой ни жива ни мертва. Семья лишилась карточек почти на месяц. Нам грозила голодная смерть. На другой день отец пошел на работу и рассказал начальнику о случившемся. Начальник раздобыл где-то три бутылки спирта. «Вот все, чем могу помочь, дальше выкручивайся сам».

7 февраля 1942 года умер от истощения большой русский художник Иван Яковлевич Билибин. Как я любил в действе его иллюстрации к сказкам! Почему не эвакуировали? Детей-то ведь вывозили. Чем он мог помочь городу, войскам? Впрочем, а как же другие ученые, писатели, поэты, композиторы…

И вот бывают же такие удачи в жизни, как будто кто-то их посылает в самый нужный момент. В тот же вечер мимо нашего дома ехали в санях на лошади несколько солдат, везли под брезентом кости убитой лошади. Попросились переночевать, их пустили. Дом был теплый, мы голодали, но дрова в сарае были. Солдаты дали маме что-то от конской ноги, чтобы мать сварила похлебку. Когда сели ужинать, кто-то из них сказал: «Эх, под такую бы закуску…»



Отец за рулем



Отец за работой

«А у меня есть», – сказал отец и выставил на стол бутылку спирта. Когда солдаты уехали, мама обнаружила в сенях в мешке кости от конской ноги. Несколько дней мать боялась тронуть это сокровище, потом отец сказал:

«Вари, Катя, они не приедут. Видишь же, нарочно оставили!» Так мы дожили до следующих карточек. Через несколько месяцев сестра встретила того, кто отобрал у нее карточки, на мосту у завода Воровского. «Это он, это он, держите его, он украл у меня карточки!» Сестра говорит, тут же какой-то невысокий мужчина, шедший по мосту, выхватил пистолет и отвел их в милицию. Обыскали, нашли несколько карточек. Но не наших, конечно, прошло много дней. Расстреляли, наверное.

Мама выменяла на хлеб все ценное, что было в доме. Дорогую дядину скрипку, серьги, кольца, даже обручальные. После блокады в доме не осталось ничего ценного, зато вся семья выжила.

Несмотря на то что люди были истощены недоеданием, по субботникам все работоспособное население принималось за очистку города. Разбирали завалы, вывозили мусор, снег. И вот 7 марта по рельсам пошел первый трамвай. Какая радость! Ведь всю

зиму ослабевшие люди ходили на работу и с работы пешком. Кому-то приходилось вставать очень рано, опаздывать нельзя.

27 апреля 1942 года. Ночью бойцы 86-й стрелковой дивизии обнаружили на берегу Невы медленно ползущего по снегу человека. Это был майор А. М. Соколов. Он переплыл с донесением Неву с плывущими льдинами, трижды раненный в бедро. Переплыл с Невского пятачка единственный оставшийся в живых. Невского пятачка больше не существовало.

Говорят, в почве «Пятачка» железа больше, чем земли.

Еще 20 сентября батальон под командой капитана В. П. Дубика без артподготовки на рыбачьих лодках и плотах переплыл Неву, забрался по крутому берегу и ворвался в первую траншею гитлеровцев. За этим батальоном высадились еще несколько подразделений той же дивизии и батальон морской пехоты. И началась «мясорубка».

Почему пишу об этом, почему запомнил? Вот что прочитал 9 ноября 1941 года (мой день рождения): «Сегодня утром на левый берег Невы переправился сформированный из ленинградцев первый ударный коммунистический полк. Высадившись на „Пятачке“, он уже через час вступил в бой. Атакуя врага, полк понес тяжелые потери. К вечеру в нем осталась лишь треть бойцов».

И так продолжалось почти семь месяцев, 219 дней. Стрелковые, да еще сформированные из гражданских подразделения против хорошо укрепленной обороны фашистов, с артиллерией и танками, с быстрыми подкреплениями из тылов (не через Неву же). Зачем? Кто придумал? Просто приказывали: иди и умирай. И шли, и умирали.



Георгий Дмитриевич

Старшая сестра Зоя пошла в армию строителем. Строили блиндажи, землянки, доты. Пришла с войны с орденами и медалями. Под ее началом было тридцать таких же, как она, девчонок. Сестра была знакома с генералом Говоровым. Он называл ее пышкой. Ее взвод стоял в деревне, где был штаб генерала. Он как-то спросил ее: «Ну что, пышка, к вам в дом по ночам в окна солдаты не лазят?» Сестра зарделась, засмущалась. «О, – сказал генерал, – если у вас все такие, надо к вам часового приставить». С тех пор, пока они стояли в этой деревне, у их дома по ночам стоял часовой.

У сестры Нины был сильный высокий голос красивого тембра. Она говорила: «В какой театр ни приду, сразу берут». Но у нее не было музыкального образования. Долго разучивала партии. Пела Сильву, ездила с концертными бригадами на фронт, на передовую. Иногда попадала в одну группу с Клавдией Шульженко. Позже она говорила: «Саша, у меня был такой мощный голос, что, если бы мы запели вдвоем с Шульженко, ее вообще бы не было слышно. Но солдаты больше любили Клаву. Я пела арии из оперетт, а она „Синенький скромный платочек“». Но пришлось и Нине разучивать народные песни. Пользовалась

популярностью в ее исполнении украинская песня «Ой казала меш мати та й наказувала».

На одном из таких концертов Нина познакомилась с молодым майором и вышла за него замуж. Помню, как-то, чтобы подкормить меня, сестра вывезла меня на несколько дней в село Корнево, где стояла часть майора. Меня кормили солдатской кашей и хлебом с маслом. Масла я не видел очень давно. Помню, меня запирали надолго одного в каком-то деревянном доме. Но я вылезал из окошка и гулял около. Майор погиб в том же году. Наступил новый 1943 год.

Мой брат Георгий не хотел ходить в школу, он хотел воевать во флоте. У нас была красивая большая книга Байрона с шикарными иллюстрациями на мелованной бумаге. Я, конечно, рисовал самолеты, танки и линкоры, но я также любил срисовывать из этой книги красивые купы деревьев, старые замки и мосты. Чтобы попасть во флот, брат пытался подделать документы, приписав себе лишний годик. Он испещрил всю книгу штампами и печатями. Из чего он их вырезал, не знаю, но во флот все-таки попал. Воевал юнгой на тральщике, был контужен, здорово научился плясать. Его потом звали работать в ансамбль песни и пляски – не пошел.

22 июня 1942 года. Прошел год после начала войны. Пожалуй, этот год был тяжелейшим за всю блокаду. В этом году огромное число граждан погибло от голода. Перед тем как закончить эту статью, я сходил на Пороховское кладбище. Там в ряд стоят несколько семейных могил.

Тимофеев Дмитрий Яковлевич (это мой дедушка)
скончался 2 апреля 1942 г.

Тимофеев Василий Дмитриевич (дядя)
скончался 23 мая 1942 г.

Тимофеева Татьяна Ивановна (бабушка)
скончалась 14 июня 1942 г.
Где похоронены другие братья и тетя Мария, не знаю.

Могила отца здесь же, его не стало в 1969 году. Представляю, что он пережил. Голодный человек ворочает и чинит тяжелые автомобильные моторы и месяц за месяцем копает могилы и хоронит родных.

Отец работал слесарем-механиком,
В машинах разбирался он как Бог.

Из самых завалящихся деталей
Собрать мотор полуторки он мог.

Чинить машины было делом жизни.
Вся жизнь, помимо детства, – это стаж.
Машины, что прошли Дорогой жизни,
Прошли ближайший к Ладоге гараж.

А дома мама, четверо детишек,
Крест-накрест окна да на кухне печь.
Дрова-растопка из счастливых книжек,
И нечего в голодной печке печь.

А я – босой малец из дальней дали…
Как много стерлось в памяти уже.
Когда отца навечно провожали,
Гудели все машины в гараже.

23 февраля 1943 года. Продуктов ленинградцы получают уже как и москвичи: 700, 600, 500, 400 г. Соответственно – рабочие, служащие, иждивенцы и дети. (2 февраля по Ладожскому озеру, по свайному мосту прошел первый поезд, напрямую соединивший Ленинград с Большой землей.)

14 января 1944 года началось наше наступление на Ораниебаумском плацдарме. Одновременно – наступление Волховского фронта.

19 января встретились войска, наступавшие навстречу друг другу из Ораниенбаума и с Пулковских высот. Блокада разорвана, но немцы с фанатическим упорством обстреливают Ленинград. 611 дней обстрел.

21 января взята Мга. (Последний поезд прошел через Мгу 27 августа 1941 года.)

24 января освобождены Пушкин и Павловск.

27 января в честь полного освобождения города от блокады дан салют в 24 залпа из 324-х орудий.

Отца наградили медалью «За оборону Ленинграда» и орденом «Знак почета».

В 1944 году я пошел в школу. Бедность, голодно, но в школе организованы обеды, кормят супом. Ребята где-то раздобыли «дуранду» – прессованный жмых. Грызем с энтузиазмом. Блокады нет, войска одерживают победы, впереди сплошное счастье.

Что такое рай – сарай.

Но не просто, а с дровами.
И что выжила семья,
Поклонись отцу и маме.

Я окончил школу-десятилетку на Ржевке, учился в Арктическом училище, был полярником на острове Котельный, был гравером на том самом Охтинском химкомбинате, окончил живописный факультет Академии художеств СССР, член Союза художников с 1982 года, детский поэт, автор-исполнитель своих песен. У меня была жена Тамара, талантливейший график. У меня есть дочь Катя Матюшкина, известный детский писатель и художник, и внучка Настя тринадцати лет.



Школа в бомбоубежище
Градусова Людмила Федоровна, 28.10.1932 г. р

Я, Градусова Л. Ф. (Чернышева), родилась в Кронштадте 28.10.1932 года в семье рабочего. Мой отец, Чернышев Ф. Я., 1910 года рождения, работал на Кронштадтском морзаводе в цехе № 2 кузнецом. Умер от голода 11.02.1942 года (дистрофия). Похоронен в Кронштадте в братской могиле. Мама – Наталья Николаевна – работала в детсаду воспитателем.

Мы жили на улице Карла Маркса в доме 4/11, кв. 39, 4 этаж, последний (лифта, конечно, не было), в коммунальной квартире, примерно 7–8 комнат.

Над нашей комнатой (на крыше) был установлен пулемет, который постоянно «строчил» по вражеским самолетам – артиллерийские расстрелы, бомбардировки начинались всегда внезапно и вызывали большие жертвы среди населения.

Но самое страшное – это голод. Мизерный кусок хлеба (125 г) мне и столько же маме. У отца – 250 г. Хлеб суррогатный (мякина, отруби, целлюлоза). И это было основным средством поддержания жизни.



Люде 3 года (1936 год)

Мы, дети, на окраине города выкапывали из-под снега капустные кочерыжки, а взрослые, кто мог, как-то ловили в Финском заливе очень мелкую колючую рыбешку. Но это было недолго. Я помню, что мама постепенно меняла на кусочек хлеба мебель из комнаты.



Дом, где жила Градусова. Третье окно слева на верхнем этаже – их комната (над ней стоял пулемет)

В суровых условиях блокады правительством было принято решение продолжать обучение детей в бомбоубежищах (подвалах зданий). Там был такой мороз, что замерзали чернила. Буржуйка не могла обогреть подвал. Я спускалась туда с четвертого этажа, пока могла.



Подвал бомбоубежища, в котором была школа

Помню, как мы помогали тушить зажигательные бомбы (засыпали песком), а мальчишки собирали осколки от фугасных бомб. А еще я помню, как долго плакала соседская маленькая девочка (новорожденная) и постепенно умолкла. А на 2-м этаже вся семья сидела за столом – и все мертвые. Полчища крыс, которые не гнушались мертвыми…



Людмиле 17 лет

Тяжело вспоминать. Конечно, это далеко не все. Но одно могу сказать точно, что война, блокада перевернули всю мою жизнь.

Образование я получила высшее педагогическое, мне присвоена квалификация учителя русского языка и литературы средней школы. Мой общий педагогический стаж – 60 лет. Стаж административной работы – 16 лет, а именно: в 1967–1970 годах – заместитель директора школы № 337 Невского района; 1970–1973 годы – директор школы № 29 Невского района: 1973–1977 годы – директор школы № 93 ГСВГ (Группы советских войск в Германии); 1977–1983 годы – директор школы № 341 Невского

района; с 1983 года по настоящее время работаю учителем русского языка и литературы в ЦО (Центр образования) № 133 Невского района.

В 2002, 2005, 2010 годах мне присвоена высшая квалификационная категория по должности учителя русского языка и литературы.

Награждена почетными грамотами и медалями.

Я прикладывала к животу кусочек хлеба и говорила: «мало!»
Саврова Лидия Константиновна, 1938 г. р

Подвиг блокадников известен всему миру и будет жить в веках. Эти печальные и горькие страницы в истории Ленинграда забывать нельзя. Это знание и память нужны, прежде всего, следующим за нами поколениям. Я, житель блокадного Ленинграда, инвалид второй группы, хочу поделиться своими детскими воспоминаниями, а также тем, что мне рассказывала мама.



Лидочка

Когда началась война, мне было всего три года, сестре Вале – тринадцать лет, а брату – шестнадцать. Папа Константин Яковлевич ушел на фронт, с нами же осталась бабушка Мария Федоровна Грондзюк и мама Бронислава Ивановна, которая работала санитаркой в больнице. Брат трудился на Балтийском заводе. В детской памяти у меня отпечатался постоянный звук метронома днем и ночью, а также постоянная темнота (видимо, потому, что в городе не было света). Помню, что во время бомбежек бабушка прятала меня под своей юбкой. Мама

рассказывала: когда я получала кусочек хлеба, прикладывала его к животу и говорила: «Мало!» Помню частое пребывание на больничной койке. А еще мама говорила, что в нашем доме пропадали дети. А на улицах тем временем продавали человеческое мясо в виде котлет…



Брат Геннадий



Сестра Валентина

За мое спасение я очень благодарна отцу. Он воевал на Ленинградском фронте, но однажды приехал нас навестить. Папа устроил меня в круглосуточный детский сад и оставил нам столярный клей (папа был столяром), из которого мы варили кисель. Тогда за опоздание на сутки в воинскую часть его отправили в штрафной батальон, где ему оторвало ногу и руку. Отец вернулся с фронта инвалидом. Брат тоже просился на фронт, и его направили учиться в авиационную школу. Когда он стал профессиональным летчиком, он все-таки попал на войну, но уже с Японией. С фронта брат также вернулся инвалидом.

Моя сестра была эвакуирована со школой глубокой осенью. Их эшелон часто бомбили, но Бог их уберег. Мама работала круглыми сутками, продуктовые карточки отоваривала бабушка. Однажды на нее напали, кинули в сугроб, отобрали все продукты и карточки. Она сильно расстроилась, перестала есть и в феврале 1942 года умерла от голода. Похоронили ее на Пискаревском кладбище в братской могиле № 23.

Мама в блокаду заболела туберкулезом, ее оперировали. А после войны она получила инвалидность и до смерти пролежала дома.

Сестра Валентина Константиновна так же, как и я, является инвалидом второй группы и живет в Краснодаре.



Лидия Константиновна закончила Институт культуры с отличием, работала инженером в НИИ

Дорогие читатели! Не забывайте еще живущих блокадников, чтите память ушедших, их родителей, которые отстояли и сохранили наш самый прекрасный город в мире. «На земле была одна столица, все другие – просто города!» – говорил писатель Георгий Адамович о Санкт-Петербурге. Живите, украшайте наш город, гордитесь им! Да поможет вам Бог!

Стойкий оловянный солдатик
Соболева Наталья Федоровна, 1930 г. р

Я жила в блокадном Ленинграде на Васильевском острове, училась в школе в одном классе с Таней Савичевой. Во время блокады умер мой отец, инженер Балтийского завода Федор Федорович Соболев. Маме, Серафиме Ивановне, удалось спасти своих детей – меня и брата Бориса. В августе 1942 года нашу семью вывезли в эвакуацию.

Школа осенью 1941 года

В эти тревожные дни особенно хотелось увидеться с друзьями по школе, но увы! Школа № 16, где я до войны училась, стала военным госпиталем.

Но занятия всё же начались, правда, не в школе. Детей собрали в полуподвальные помещения красного уголка дома 1/3 по Второй линии. Здесь не было, конечно, парт: их заменили канцелярские столы и откидные стулья. Когда-то, в мирное время, здесь проводились собрания жильцов, и управдом, стоя на подиуме, обращался к ним. Теперь это место заняла учительница. Никто из нас не знал её. Она была из другой школы, знаменитой школы «Шаффе»[5].

> Мы уже давно голодали, и каждый хотел съесть кусочек хлеба, но никто не возмущался, не просил для себя. Старая учительница была одинока, и собачка заменяла ей всё.
>
> Мы чувствовали это и уважали их любовь и преданность.
>
> Но однажды учительница не пришла. Потом мы узнали: маленькую собачку, её друга, вырвали у неё из рук в парадной. Собачку съели. А через три дня умерла наша учительница, наш «стойкий оловянный солдатик». Умерла от горя.
>
> От голода тогда ещё не умирали. Только опухали.

Это была удивительная женщина. Небольшого роста, худощавая, она, несмотря на возраст, держалась всегда прямо и никогда не паниковала. Страх, казалось, был ей неизвестен. Во время страшных осенних налётов, когда земля содрогалась и качались стены, она уверенно направляла детей в бомбоубежище

Академии художеств, прижимала к себе самых маленьких. Мы прозвали её «стойкий оловянный солдатик». Несмотря на бесконечные вражеские налёты, артиллерийские обстрелы, занятия продолжались, даже на дом задавали.

А за невыученные уроки «стойкий оловянный солдатик» строго пробирала.

Она тыкала указкой на битые окна и говорила: «Наши солдаты там воюют, они проливают за вас кровь, а вы обязаны учиться, и хорошо учиться», – и нерадивым детям становилось стыдно.



Наталия Соболева (в архитектурном техникуме)

Обстановка в городе делалась всё тревожнее. В газетах писали: «Укрепить все подходы к Ленинграду, каждую улицу, каждую площадь, каждый переулок превратить в крепость, перекрыть врагу все пути в город». Но мы всё ещё учимся, на улицу почти не выходим, в перемену сидим на откидных стульчиках и переговариваемся о «квадрате налёта». Но была ещё

одна причина, по которой мы сидели так тихо: наша учительница, наш «стойкий оловянный солдатик», никогда не расставалась со своей маленькой собачкой. Когда начиналась перемена, собачка тихонько приближалась к учительнице, вставала на задние лапки, выжидательно смотрела. А учительница незаметно доставала из кармана меленький кусочек хлеба, размером с грецкий орех, собачка осторожно слизывала его и умоляюще смотрела на хозяйку. У обеих на глазах были слёзы. Но странно вот что: мы уже давно голодали, и каждый хотел съесть кусочек хлеба, но никто не возмущался. Никто не просил для себя. Старая учительница была одинока, и собачка заменяла ей всё. Мы чувствовали это и уважали их любовь и преданность. Но однажды учительница не пришла. Потом мы узнали: маленькую собачку, её друга, вырвали у неё из рук в парадной. Собачку съели. А через три дня умерла наша учительница. Наш «стойкий оловянный солдатик». Умерла от горя. От голода тогда ещё не умирали. Только опухали.

Школа в бомбоубежище поздней осенью 1941 года

Вскоре после смерти старой учительницы нас собрали в бомбоубежище дома № 13. Здесь нам предстояло учиться зиму 1941—42 года. Помещение было просторным. Длинные столы были составлены в один ряд, вместо стульев были скамейки. Именно здесь я неожиданно встретилась с Таней Савичевой. Мы были знакомы ещё до школы. Обе очень любили ходить в маленькую булочную на Второй линии.

Именно здесь я неожиданно встретилась с Таней Савичевой. Мы были знакомы ещё до школы. Обе очень любили ходить в маленькую булочную на Второй линии. Когда-то отец Тани был её владельцем. А мой отец раньше был кондитером, владельцем пекарни и магазина. Мы с Таней обе очень любили разглядывать в витрине образцы баранок, бубликов, сушек. До войны мы с ней учились в 16-й школе и окончили там три класса.

Когда-то отец Тани был её владельцем.

А мой отец раньше был кондитером, владельцем пекарни и магазина. Мы с Таней обе очень любили разглядывать в витрине образцы баранок, бубликов, сушек. До войны мы с ней учились в 16-й школе и окончили там три класса. Здесь же, в бомбоубежище, нам предстояло учиться по программе четвертого класса. Учились в нашей школе две смены.

Но положение с продовольствием в городе непрерывно ухудшалось, многие дети уже еле ходили. А паёк всё уменьшался и достиг 125 граммов хлеба в день. Это был конец. Смерть подстерегала каждого. Учителя, как могли, поддерживали детей. Была организована новогодняя ёлка с обедом и маленьким кулёчком-подарком. В нём было несколько печенин, пряник и конфета. Выносить его надо было за пазухой, чтобы не отобрали хулиганы.

Школа в декабре 1941 года

В декабре отключили электричество, город погрузился во тьму. Занятия в бомбоубежище прекратились, ведь окон там не было, а светить в помещении было нечем. Казалось бы, занятия прекратились надолго. Но нет, вскоре детей по Второй-Первой линии В. О. собрали в доме № 1 (на Румянцевской площади). Здесь открылась очередная школа. Она помещалась в полуподвальном помещении. Занятия начинались теперь поздно – с 11 часов, чтобы пользоваться скудным дневным светом, который слабо просвечивал сквозь заклеенные бумагой окна. Парт как таковых, конечно, не было, их заменяли узкие столики. Было много стульев, но мы старались усаживаться плотнее, ближе друг к другу, чтобы немножко согреться. Дикий холод проникал повсюду. Мы почти не писали: страшно было вытаскивать руки из карманов, да и чернила давно замёрзли. Зато никогда так не ценилась поддержка соседа по парте. Прижимаясь друг к другу, мы чувствовали себя сильнее.

> Однажды один мальчик (Его звали Фарид Армасов) залез на стол и, присев на корточки, закричал: «Я картошка! Я картошка». Выпуская клубы пара, он повторял: «Я горячая картошка!» Впервые за долгое время дети заулыбались, мальчик действительно напоминал кастрюлю с картошкой, которую накрыли, чтобы не остывала.

Однажды один мальчик (Его звали Фарид Армасов) залез на стол и, присев на корточки, закричал: «Я картошка! Я картошка». Выпуская клубы пара, он повторял: «Я горячая картошка!» Впервые за долгое время дети заулыбались, мальчик действительно напоминал кастрюлю с картошкой, которую накрыли, чтобы не остывала.

Когда на уроке пения разучивали песню «Вставай,

страна огромная, вставай на смертный бой», от слабости одной девочке стало плохо, ведь петь надо было стоя. Тогда её сосед по парте принёс стул. И так, держась за поручень, девочка допела песню. А на другой день мальчики принесли несколько стульев.

Но однажды картошка всё же появилась. Настоящая картошка. Дело в том, что мы ходили после занятий на Средний проспект. Там рядом с немецкой церковью было организовано дополнительное питание для школьников: тарелка жидкого супа без хлеба. Мы его называли «Крупинка за крупинкой бегают с дубинкой». Но однажды в супе оказалась картошка. Как Фарид радовался, что ему досталось аж три кусочка. И как же он переживал за опоздавших. Им не достался этот суп. Этот мальчик старался подбодрить слабых и уставших. Но самому ему выжить не удалось: в январе вымерла вся его семья.

Наступила самая страшная пора.

Дикие морозы охватили город. За водой надо было ходить на прорубь, и не все могли дойти. Весь транспорт встал. Всё реже и реже встречались прохожие на улицах города, а если и встречались, то с трупом на саночках.

> Когда мы, выстроившись рядами, проходили по улице к столовой, люди останавливались и говорили: «Это же дети, они живы, они выжили» – и вытирали глаза.

Смерть стала обычным явлением.

У нас умерли почти все родные.

У Тани Савичевой тоже. Однажды мы с ней встретились в своей булочной. Таня была очень слаба. Это была наша последняя встреча. А холода всё не отступали, в конце марта термометр опустился до минус 24, занятия в школе прекратились. Но зато удалось наладить Дорогу жизни. Увеличили хлебную норму. Да и весна всё-таки пришла.

Занятия в школе № 5 весной 1942 года

И снова начались занятия. Всех уцелевших детей собрали в школе № 5. Это была настоящая школа, к тому же очень старинная. Там стояли настоящие чёрные парты, и были дырочки для чернильниц. Дети теперь не мёрзли и чернила тоже. Да и с питанием стало намного лучше. Всех учеников водили в столовую, где давали полноценный обед. Когда дети,

выстроившись рядами, проходили по улице к столовой, люди останавливались и говорили: «Это же дети, они живы, они выжили» – и вытирали глаза.



Старший архитектор

Город по-прежнему бомбили. Но теперь уже многие не спускались в бомбоубежище. Прямое попадание всё равно не спасало от гибели. Да и бомбёжки стали реже. А вот обстрелы из орудий участились. Надо было знать, какая сторона улицы наиболее опасна. В школе шли серьёзные занятия. За пять месяцев решили пройти весь учебный год. Мы занимались всю весну и лето. Более сильные ребята помогали отстающим и слабым. Когда на уроке пения разучивали песню «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», от слабости одной девочке стало плохо, ведь петь надо было стоя. Тогда её сосед по парте принёс стул. И так, держась за него, девочка допела песню. А на

другой день мальчики принесли несколько стульев.

Наступило лето. Появилась трава. Правда, её быстро выщипывали, но кое-где её всё-таки можно было найти. Легче стало с питанием. Но тут развернулась мощная эвакуация. Ведь много было ослабленных людей и детей, потерявших родителей. Их надо было вывести из осаждённого города. Нашу семью тоже эвакуировали, далеко, в Казахстан. После войны, когда мы вернулись в город, жизнь стала другой.

Прислала Лариса Романовская

Дети в тылу и эвакуации

Эвакуация и тыл

Процесс эвакуации советских граждан с территорий, на которые наступали части вермахта, был непростым. Во многом это было связано с пресловутой предвоенной концепцией «войны малой кровью и на чужой территории». Из-за этого все планы по подготовке эвакуации населения и ресурсов с пограничных территорий постоянно блокировали на самом верху. Так, еще в апреле – мае 1941 года Сталин отклонил подобный план «как несвоевременный». В итоге после нападения Германии СССР был вынужден начинать процесс эвакуации гражданского населения «с чистого листа».

Фактически уже 22 июня 1941 года началось спонтанное бегство населения с приграничных территорий – местные власти начали эвакуацию, не имея на то официальных распоряжений из центра. В первый же день войны со станций Белосток и Гродно было отправлено 30 эвакопоездов. Разрешение из Москвы поступило лишь 23 июня, а днем позже был создан Совет по эвакуации – в его задачи входила подготовка вывоза промышленных предприятий, материальных ценностей и сырья. Кроме того, определили приоритеты при эвакуации мирного населения: рабочие эвакуируемых заводов, семьи командиров Красной армии и госбезопасности, семьи работников партаппарата и дети до 15 лет.

Угроза оккупации коснулась районов, где проживало 40 % всего населения страны, было расположено 31 850 промышленных предприятий, из них 37 заводов черной металлургии, 749 заводов тяжелого и среднего машиностроения, 169 заводов сельскохозяйственного, химического, деревообрабатывающего и бумагоделательного машиностроения, 1135 шахт, свыше 3 тысяч нефтяных скважин, 61 крупная электростанция, сотни текстильных, пищевых и других предприятий.

До 1942 года в восточные области СССР было вывезено 2593 предприятия, 70 % которых разместили на Урале, в Западной Сибири, Центральной Азии, а остальное – в Поволжье и Восточной Сибири. Вместе с промышленными объектами было эвакуировано до 30–40 % рабочих, инженеров и техников. Помимо промышленных предприятий эвакуировали театральные коллективы, музейные ценности, картинные галереи.

Поначалу считалось, что Красная армия вскоре перейдет в контрнаступление, и из-за этого планировалось эвакуировать лишь два миллиона человек, причем в районы ближайшего тыла.

Реальность очень быстро скорректировала первоначальные планы. Всего за годы войны в тыл было перенаправлено 17 миллионов человек.

Официальное, подписанное разрешение на эвакуацию позволяло его владельцу сесть на поезд – точнее, гарантировало, что его с поезда не снимут: для того чтобы попасть в вагон, нужны были сноровка, сила и везение. Если человек не входил в приоритетную для эвакуации категорию, то он такой документ получить не мог. Именно это удостоверение уже в эвакуации позволяло беженцам получить продовольственные карточки.

При этом основная часть беженцев уходила на восток самостоятельно. Дороги были переполнены, а на некоторых участках наступающие немецкие части даже обгоняли отступающие гражданские колонны. Начиная с 5 июля 1941 года, на основных железнодорожных узлах были открыты эвакуационные пункты. Уже к 18 июля их было сто двадцать. Эти пункты принимали эшелоны, выдавали пассажирам хлеб и кипяток, в некоторых из них были оборудованы столовые и душевые.

Около 60–65 миллионов советских граждан остались жить на оккупированной территории. Многие не хотели уезжать в том числе и потому, что считали, что немцы скоро будут остановлены, что оккупация скоро закончится, что самовольная эвакуация может быть расценена как дезертирство.

Расселение беженцев зависело от того, эвакуировались они с предприятиями или самостоятельно. Основная часть промышленности была перенаправлена на Урал. Те же, кто эвакуировались сами, могли выбирать место жительства. Нередко преимущество отдавали сельской местности, потому что там проще было достать еду.

Условия жизни в эвакуации были разными. Для сотрудников эвакуированных предприятий строили бараки, а на первом этапе и вовсе обходились палатками. Роль перегородок в бараке выполняли простыни, картонные или деревянные конструкции. В некоторых населенных пунктах уплотняли существующее жилье, подселяя в квартиру, где жила семья, еще одну семью. Те же, у кого в тылу были родственники, предпочитали обращаться к ним.

При этом даже продовольственные карточки не гарантировали качественного довольствия. Неработающие люди получали по ним 200 граммов хлеба в день. Привилегированным неработающим категориям людей, а также детям в детских учреждениях полагалось 600 граммов в день. Работающие, как правило, получали от 600 до 800 граммов – этим, во многом, объясняется тот факт, что большинство подростков в эвакуации,

начиная с 12–13 лет, стремились попасть на работу.

Временное пристанище
Гилевич Виктор Андреевич, 1931 г. р

О начале войны с Германией я узнал с изрядным опозданием. В июне 1941 года после окончания мною второго класса родители отправили меня в пионерский лагерь, руководство которого 22 июня по непонятным причинам решило не сообщать своим подопечным о вторжении гитлеровских войск. Лишь через один или два дня всех нас собрали в здании клуба и рассказали, что Германия объявила СССР войну, но доблестная Красная армия отбила нападение и в настоящее время ведёт успешные наступательные бои. Поскольку никто не сомневался, что в случае войны Красная армия в короткий срок разгромит любого противника, полученная информация, насколько я помню, не произвела на нас особого впечатления. Тем большим было моё удивление, когда через несколько дней из Ленинграда приехала мама и рассказала, что немцы вовсю наступают, что в городе готовятся к эвакуации детей, и поэтому надо срочно возвращаться в Ленинград.



Виктор до войны

Действительно, в Ленинграде в конце июня – в начале июля разворачивалась кампания по эвакуации из города детей

школьного возраста. Разумеется, никому в голову не приходила мысль о том, что немцы могут оказаться под стенами города, но люди боялись бомбёжек. Не исключаю, что определённую роль в принятии решения об эвакуации сыграла судьба испанских детей, привезенных в Ленинград во время гражданской войны в Испании. Я помню, как среди знакомых моих родителей активно обсуждались слухи о том, как группа этих детей, присутствовавших на каком-то спектакле, где по ходу действия включалась сирена, в страхе попрятались под сиденья при первых её звуках, очевидно воспринятых ими как сигнал воздушной тревоги. Так или иначе, решение об эвакуации было принято, и безопасные места, которые едва ли могли быть подвергнуты бомбардировкам противника, определены.

Нашу школу вместе с рядом других школ отправили под Старую Руссу и разместили в деревне Птицыно. О дороге и о жизни в деревне у меня сохранились отрывочные воспоминания. Помню редкие остановки на железнодорожных станциях, жару и пыль, здания водокачек и нас, гуляющих, разинув рты, среди непривычного окружения. Крохи информации о том, что происходит на белом свете, доходили до нас редко и больше на уровне слухов. Помню, как обсуждалось известие о введении карточной системы, причём все единогласно согласились, что норма сахара слишком мала. Доходили невнятные слухи об отступлении наших войск. Откуда-то взялся очень понравившийся всем слух о том, что через несколько дней состоится решающая битва, после которой в войне произойдёт перелом в лучшую сторону.

В июле 1941 года откуда-то взялся очень понравившийся всем слух о том, что через несколько дней состоится решающая битва, после которой в войне произойдёт перелом в лучшую сторону.

Тем временем линия фронта неумолимо приближалась к Старой Руссе (о чём мы, конечно, не знали). Удивительно, но, несмотря на всю сложность и трагизм ситуации июля 1941 года, для реэвакуации детей, необдумано вывезенных из Ленинграда прямо навстречу наступающей германской армии, удалось выделить несколько (не менее двух) эшелонов. О том, что эшелоны ждут нас на ближайшей станции, стало известно вечером, и наша директриса (мудрая женщина) решила не ждать утра, а организовала ночной переход на станцию. Двигались частично на подводах, частично пешком, и рано утром, смертельно уставшие, не спавшие всю ночь, но живые мы прибыли на станцию, погрузились в обычные плацкартные вагоны

и отбыли в неизвестном (для нас) направлении. Не знаю, насколько это верно, но потом ходил слух, что соседняя школа, директор которой, не желая мучить детей ночным переходом, отправил их несколькими часами позже вторым эшелоном, попала под бомбардировку. Нас эта участь миновала, и после длительных (не менее двух недель) скитаний по железным дорогам Северо-Запада наш эшелон остановился на какой-то станции в Костромской области. Дальше была опять погрузка на подводы, прибытие в районный центр Парфеньево и наконец на конечный пункт наших скитаний – в деревню Ильинское, где нам предстояло отныне неопределённое время жить.





Виктор с мамой

Вспоминая нашу жизнь в переездах, в Птицыно и в

Ильинском, я не могу определённо сказать – голодали ли мы или были сыты. Полагаю, что при любых провалах в памяти забыть о голоде, если он имел место, едва ли возможно. В то же время трудно предположить, что в то тяжёлое время нас могли обеспечивать нормальным питанием. Скорее всего, кормили по обстоятельствам, в зависимости от того, какие продукты и в каком количестве удавалось достать в местах проживания. В начале войны такая возможность ещё была.

В деревне Ильинское я прожил месяц с небольшим. В одно прекрасное августовское утро я был разбужен маминым поцелуями. Оказалось, что учреждение, в котором она работала, было эвакуировано в город Кириллов Вологодской области, и мама приехала, чтобы увезти меня туда. Железной дороги в Кириллове не было (нет и теперь), и попасть туда можно было только водным транспортом. Предстояло плыть по Волге, а потом по Шексне, и это путешествие оказалось очень интересным.

Мы погрузились на пароход, где нам удалось получить отдельную каюту. На каждой остановке выходили на берег и знакомились с городами: Костромой, Ярославлем, Рыбинском, Череповцом. Судовым рестораном мы не пользовались: то ли он не работал, то ли был слишком дорог. В городских магазинах без карточек тоже ничего нельзя было купить. Но зато в городах работали отделения какой-то организации по оказанию помощи эвакуированным. Обращаясь туда, мама каждый раз получала либо талоны на питание, либо приносила что-нибудь съестное: хлеб, консервы или, как в Ярославле, очень вкусные сдобные булочки.

К пристани Кириллова наш пароход причалил в конце августа. В этом маленьком, но уютном городке мы прожили два с небольшим месяца. Поначалу всё было хорошо, мы сняли комнату на втором этаже небольшого дома, мама работала, я ходил в школу, но потом что-то случилось, и в начале ноября, в самом конце навигации, мы покинули Кириллов и на последнем пароходе отправились в Ульяновск, ставший последним пунктом нашей эвакуационной эпопеи. Почему в Ульяновск? Возможно, потому, что мама в юности прожила в этом городе, тогда ещё Симбирске, несколько лет и рассчитывала встретить там старых знакомых. Так и случилось, и на следующие три года Ульяновск стал нашим последним временным пристанищем. И только в августе 1944 года, через полгода после снятия блокады, мы наконец вернулись домой в наш родной Ленинград.

Дети войны своих не сдают
Аронович Олег Меерович, 1939 г. р

Я родился 1 ноября 1939 года в Ленинграде. Моя мама – Иванова Елена Николаевна родилась в городе Череповце в 1906 году. После окончания средней школы и городских курсов по подготовке руководителей детком-движения работала помощником вожатого 7-й базы Череповецкой организации юных пионеров, как свидетельствует запись в ее трудовой книжке тех лет. В 1925 году она поступила в Государственный институт физического образования имени П. Ф. Лесгафта, который закончила 19 ноября 1930 года, получив диплом квалифицированного педагога и специалиста физической культуры. В 1938 году, после курсов повышения квалификации, она получила звание учителя средней школы и до 1941 года работала инспектором физкультуры школ Нарвского района.

Отец – Аронович Меер Лейзорович родился в местечке Хиславичи в 1907 году. Старший брат отца, Григорий Лейзорович, их двоюродные сестры и выжившие после войны родственники утверждали, что все они, как и их родители, родились в Хиславичах, относящихся тогда к Могилевской губернии, позже к Смоленской области, как и сегодня, но по неизвестным им причинам в 1920 году всех переписали как уроженцев города Гомеля. Подробностей детских лет и юности отца я не знаю. В 1925 году он стал студентом Ленинградской консерватории.



Эривань 27 августа 1929 года. Слева направо: наверху – Борис

Шальман (библиотекарь оркестра), Александр Островский; внизу – Меер Аронович (сидит в центре), над ним – жена Елена Иванова

Мама входила в сборные команды института по волейболу и баскетболу, дважды была чемпионом Ленинграда по стрельбе. Студенты института им. П. Ф. Лесгафта и консерватории часто встречались в Доме культуры им. Первой пятилетки, расположенном на равном от обоих вузов расстоянии (по пятьсот метров). (Сегодня на месте снесенного ДК построен новый корпус Мариинского театра.) Мама рассказывала, как на каком-то киносеансе после документального выпуска кинохроники, в котором был сюжет о чемпионке Ленинграда по стрельбе Лене Ивановой, студенты-лесгафтовцы подняли ее с кресла с криками: «Лена Иванова здесь, в зале!»

После сеанса к ней подошел высокий кудрявый брюнет, представившийся Митей, студентом консерватории. Так встретились мои будущие родители. 22 мая 1928 года был зарегистрирован их брак в ЗАГСе Центрального района. В конце года они получили комнату в коммунальной тринадцатикомнатной квартире на улице Союза Печатников, в доме 17.

> Отца я не помню совсем. Из моих довоенных фотографий сохранились две. Фотографий с отцом нет. Или их не было, или отец взял их на войну. Война разрушила эту, как я понимаю, счастливую семейную жизнь.

Как-то, уже студентом медицинского института и наслушавшись «страшилок» о «позднорожавших», я спросил у мамы, почему я появился на свет только через одиннадцать лет их совместной жизни. «Некогда было!» – честно ответила мама. Она продолжала заниматься спортом, ездила на соревнования, активно участвовала в общественной жизни, активно внедряла в школы своего Нарвского района новые методики физического воспитания. В те годы коллективизации и индустриализации армия и спорт были приоритетными направлениями идеологической работы партии. Отца после окончания консерватории приняли артистом (скрипачом) в Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Постоянные репетиции, концерты, гастрольные поездки по стране, активная общественная работа. Мама говорила, что он был членом партийного бюро и относился к общественным обязанностям очень ответственно. Мама, родственники отца, выжившие в войну, соседки по квартире, особенно три бывшие актрисы Мариинского театра,

рассказывали мне, каким жизнерадостным и жизнелюбивым человеком был отец. Каким чувством юмора он обладал. В доме родителей до войны часто бывал еще не ставший тогда «звездой эстрады» Аркадий Райкин, которому отец не уступал ни в чувстве юмора, ни в умении владеть мимикой. Они разыгрывали перед друзьями сценки из жизни и быта знакомых, известных актеров, копировали Чарли Чаплина так, что и через много лет очевидцы вспоминали об этом со смехом… или со слезами.



Группа альтов. В центре в верхнем ряду – Меер Аронович. Нижний ряд 2-й слева – Антон Чернушенко

Отца я не помню совсем. Из моих довоенных фотографий сохранились две: на одной я – трех-четырехмесячный, лежу голый на животе, на другой – сижу на руках у мамы рядом с бабушкой, на набережной Крюкова канала на фоне задней стены Мариинского театра. Фотографий с отцом нет. Или их не было, или отец взял их на войну.

30 июня 1941 года мама была назначена воспитателем в детский интернат № 19 с эвакуацией в Челябинскую область, как гласит запись в ее трудовой книжке. В тот же день только что созданный интернат с мамой, мной и ее матерью, моей бабушкой – Ивановой Елизаветой Васильевной, которая все предвоенные годы жила с родителями, выехал по месту назначения. Я смутно помню толпу плачущих родителей у вагона, провожающих своих детей в неизвестность, и себя, сидящего на полу теплушки и

вымазанного шоколадом, которым меня щедро угощали эвакуированные ребятишки.

Со слов мамы, интернат поместили в деревне Биликюль. О жизни там до мая 1943 года я ничего не помню, кроме воспоминаний бабушки и мамы о том, что приходилось есть картофельные очистки. Много раз на картах СССР и РСФСР я пытался найти эту деревню, и только недавно моя одиннадцатилетняя внучка на своем планшете за три минуты нашла и Биликюль, и одноименное озеро, на берегу которого он расположен.

С мая по октябрь 1943 года мы жили в Соликамске у младшей маминой сестры, тети Ани, муж которой служил там в НКВД. Старший их сын, мой двоюродный брат Юра, заканчивал авиационное училище, и два раза я летал на «кукурузнике», когда заболел коклюшем. Считалось, что высота помогает при этом заболевании. Не знаю, он ли сидел за штурвалом, но восторг от полетов я запомнил на всю жизнь. И коклюш, как говорила мама, прошел очень быстро.



Меер Аронович с родителями, 1935 год

В октябре, по уже замерзающим рекам, мы доплыли до Калинина, где старший брат мамы – Константин Николаевич Иванов – работал главным механиком Волжского речного пароходства. Я помню толпы людей с мешками и чемоданами, осаждающих пристани и причалы, но слова о том, что мать

Константина Николаевича едет к сыну, служили волшебным пропуском на речные пароходы, катера и самоходные баржи.

Дядю Котю знали и уважали все речники Поволжья. С декабря 1943 года до июня 1944-го мама работала в отделе кадров судоремонтных мастерских города Калинина.

Со слов мамы, услышав по радио о нападении фашистской Германии на Советский Союз, отец пошел в военкомат записываться добровольцем, уверяя, что через три месяца вернется с победой. «Он даже гвоздь не умел забить», – рассказывала бабушка. «Он, кроме скрипки, ничего никогда в руках не держал, а о винтовке и говорить нечего, к моему стыду», – подтверждала мама. Сохранилась справка от 2 июля 1942 года: «Настоящим удостоверяется, что член ВКП(б) артист Симфонического оркестра Ленинградской ордена Трудового Красного Знамени филармонии тов. АРОНОВИЧ М. Л., согласно поданному им в парторганизацию заявлению 3 июля 1941 года вступил добровольцем в ряды действующей Красной армии, в которой находится по настоящее время. Секретарь парторганизации Афанасьев. Председатель месткома Островский».

Сохранилось поздравление из филармонии: красноармейской семье Ароновича – Ивановой с 25-й годовщиной Дня Красной Армии. Заканчивается поздравление фразой «Смерть немецким оккупантам!». Подписи: директор Филармонии А. Пономарев, Афанасьев, Островский.

Мама много лет ждала и надеялась: ведь «пропавший без вести» – это необязательно «убит».

Сохранилось извещение для возбуждения ходатайства о пенсии из НКО Соликамского районного военного комиссариата Молотовской области от 6 августа 1943 года: «Ваш муж красноармеец Аронович Меер Лейзорович, уроженец гор. Гомеля, Гомельской области Белоруссии в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, пропал без вести 6 августа 1941 года».

Очевидно, благодаря именно этому извещению, через год, с 1 июля 1944 года по 1 ноября 1955 года мне была назначена пенсия. Когда мне оформляли паспорт в ноябре 1955 года, я впервые увидел свое свидетельство о рождении и с удивлением узнал настоящее имя отца.

Дома и среди родных и знакомых нашей семьи все называли отца Митей, и я, когда от меня требовались какие-то данные о себе, всегда говорил и писал свое отчество Дмитриевич. Умудренная жизненным опытом пожилая паспортистка

предложила мне взять фамилию матери.

«С фамилией матери вам будет легче жить», – посоветовала она. Я посчитал изменение фамилии предательством отца и при всем уважении к маме отказался сменить фамилию. Так получился Аронович Олег Меерович. Русский. Как у Высоцкого в песне: «Русский я по паспорту».



Елка 3 января 1946 года

Мама бережно сохранила два письма от отца – от 17 и от 20 июля 1941 года. В самодельных конвертах, с грифом на первом «воинское», на втором «красноармейское». На обоих адрес: Москва. Ст. Болшево, п/я 4109, лагерь МВИУ. Письма написаны на листках, вырванных из блокнота среднего формата, чернильным карандашом, четким убористым почерком с легким уклоном, крепкой рукой скрипача, ежедневно часами держащего смычок. Отец беспокоится о родителях, живущих в Смоленской области, о судьбе которых не имеет никакой информации, успокаивает маму, уверяя, что разлука будет недолгой, целует Олежку, передает привет Елизавете Васильевне. О себе очень коротко: «Живем в палатках… все хорошо… народ прекрасный, хотя не похож на наших филармонистов».

Из второго письма: «Будем надеяться, что война с проклятым фашистом долго не затянется и мы снова встретимся и заживем по-старому, по-хорошему. Две недели мы провели хорошо, все

время на свежем воздухе, питаемся хорошо, в целях гигиены я снял волосы. Ощущение весьма приятное».

Смотрю на фотографии: отец с родителями, очевидно незадолго до войны, отец с оркестрантами на гастролях в Пятигорске, отец в составе оркестра на сцене филармонии, отец с мамой и друзьями. Атлетического сложения, с копной вьющихся волос, на всех снимках с открытой белозубой улыбкой, на фотографиях с коллегами из филармонии всегда в смокинге, с «бабочкой». Представляю этот лагерь новобранцев – необученных, необстрелянных, обритых наголо «в целях гигиены», но патриотов, романтиков, искренне верящих в скорую победу на вражеской территории. Один месяц – и в бой. Конец иллюзиям и конец жизни в самом ее расцвете – 35 лет. Это война!

Родители отца и все их ближние и дальние родственники, оставшиеся за линией фронта, пропали без вести. Ни одного свидетеля их гибели не осталось в живых.

13 июня 1944 года мама, бабушка и я вернулись в Ленинград из эвакуации. Я помню свою улицу, по которой мы шли от остановки трамвая на Театральной площади, замощенную булыжником, малолюдную. Я помню разрушенный дом по левой стороне улицы за Крюковым каналом. (В 1966 году я, врач скорой помощи, выезжал в этот заново построенный дом, к умирающему от сердечного приступа Печковскому – знаменитому тенору Мариинского театра довоенных лет. В начале войны он оказался на оккупированной немцами территории, «за сотрудничество с оккупантами» был осужден на 10 лет и в начале 1960-х ему разрешили вернуться в Ленинград. Мне о нем рассказывали мои соседки – бывшие актрисы Мариинского театра.) Я помню окна в домах, заклеенные крест-накрест бумажными лентами. Я помню керосиновую лавку в подвале дома напротив нашего, куда меня посылали за керосином. Помню «Дом-сказку» на углу ул. Декабристов и пр. Маклина, который много лет после войны стоял разрушенным, известный тем, что его фасады до войны украшали мозаичные панно на сюжеты русских сказок, выполненные по рисункам Билибина. Я помню 115 ступенек до нашей квартиры на пятом этаже. Бабушка научила меня считать их уже в 5 лет. До сих пор я считаю ступеньки, когда приходится подниматься к больному на пятнадцатый или двадцатый этаж в домах со сломанными или неподключенными лифтами. Квартиру и 28 соседей, с которыми мы жили очень дружно до 1961 года, когда дом пошел на капитальный ремонт, я вспоминаю с теплом и благодарностью ко всем.

Тетя Соня Балтер воспитывала двух племянников, привезенных из Белоруссии, где их родители были расстреляны

немцами. Тетя Харитина, работающая санитаркой в детской больнице, тоже усыновила племянника, родители которого погибли на фронте, хотя ее муж, инвалид войны, требовал постоянного ухода. С ним мы встретились на пятидесятилетии окончания 250-й школы, в которой учились. Валерий Кулаженок осуществил детскую мечту и работает инженером-кораблестроителем.

Все соседи, жившие в квартире до войны, помнили и любили отца и часто делились со мной воспоминаниями о нем. Мама рассказывала, что в 1945—46 годах звонил Аркадий Райкин, интересовался судьбой Мити. Несколько раз приходил друг отца по филармонии дядя Саша Островский, приносил какие-то деньги и продукты, пытаясь, чем мог, помочь нам. Скрипку отца мама бережно хранила до середины 50-х годов, хотя ей предлагали за нее приличные деньги, особенно за чем-то ценный смычок. Я часто брал ее в руки, водил смычком по струнам. Скрипка, смычок и два письма – к ним прикасались руки отца, и это все, что нас соединяло во времени. Мама много лет ждала и надеялась – ведь «пропавший без вести» это необязательно убит? Некоторые «пропавшие» возвращались из небытия в середине 1950-х. Потеряв надежду, мама до конца жизни хранила верность отцу. Ни одного мужчины, кроме друзей, рядом с ней никогда не было.

По возвращении в Ленинград мама работала воспитателем в детском саду № 80, а с апреля 1945 года была назначена заместителем директора детского дома № 18. Детский дом размещался в бывшем особняке знаменитых промышленников Демидовых, в ста метрах от Исаакиевского собора. Я попал в среднюю группу и на общих основаниях, без малейших скидок на родственные связи, воспитывался в группе вплоть до окончания первого класса в 232-й школе Октябрьского района.

В 1947 году детский дом перевели в новое четырехэтажное здание на Пискаревском проспекте. Единственной привилегией для меня бывали воскресенья, когда мама забирала меня и еще двух-трех ребят из группы домой и мы с бабушкой ездили в Александро-Невскую лавру или на Волково кладбище, собирали молодую крапиву, из которой бабушка варила зеленые щи с одним яйцом для подбеливания на всех едоков. Другим лакомством был суп из сушеных снетков Чудского озера, которые покупались только на Сенном рынке. Вкус его я до сих пор помню.

Исследуя чердак нашего дома, мы с соседом и другом Валеркой нашли два ящика с противогазами и ящик со светящимися в темноте бляхами диаметром в 5–6 сантиметров.

Соседи, пережившие блокаду, рассказали, что такие бляхи, покрытые фосфором, давали жителям города для передвижения по неосвещенным улицам в вечернее и ночное время. В воспоминаниях о блокаде Ленинграда я упоминаний о таких «осветителях» не встречал.



Детский сад № 8, май 1944 года.5-я слева в верхнем ряду – Елена Иванова, воспитатель; 3-й справа в нижнем ряду – Олег Аронович

Воспитанники детского дома были типичные «дети войны». У одних родители погибли на фронте, у других умерли во время блокады Ленинграда, третьи потерялись при эвакуации, четвертые поступили из бывших оккупированных территорий, и судьба их родителей была неизвестна. Были дети осужденных по 58-й статье, и если у них оставались какие-то родственники, то далеко не все находили смелость о себе заявить. Были дети не помнящие своих фамилий: Галя Беленькая и Галя Черненькая, Маня Сталина и Юра Неизвестный. Галя Беленькая поступила в детский дом из квартиры, где ее нашли рядом с умершей от голода матерью, с тряпичной куклой в руках, которую она хранила до 70-х годов, как единственную память о доме и маме. Многих ребят усыновляли и удочеряли вернувшиеся из армии военнослужащие, в основном офицеры, потерявшие во время войны семьи или детей.

Воспитанники детского дома были типичные «дети войны».

У одних родители погибли на фронте, у других умерли во время блокады Ленинграда, третьи потерялись при эвакуации, четвертые поступили из бывших оккупированных территорий, и судьба их родителей была неизвестна. Были дети осужденных по 58-й статье и если у них оставались какие-то родственники, то далеко не все находили смелость о себе заявить. Были дети не помнящие своих фамилий.

Драматична судьба Люции Барминой, с которой я до сих пор поддерживаю связь. Отца ее, экономиста, как «врага народа» расстреляли в 1937 году в Левашово. Ее с мамой, фельдшером-акушеркой, немцы из Петергофа отправили в концлагерь в Гатчину, где одновременно с ними находились уже упомянутый мною Печковский и Зоя Федорова, не успевшие выехать до прихода немцев из мест своего летнего отдыха и впоследствии осужденные по ложным обвинениям. Из 1000 детей, заключенных в лагерь в сентябре-октябре 1941 года, выжили около 20 человек. Отступая, немцы вывезли оставшихся в живых в Таллин.

Из Таллина, после его освобождения, бывших узников посадили в поезд, вывезли в степи Саратовской области как пособников фашистов и оставили выживать, кто как сумеет. Маму Люции вскоре арестовали и осудили как жену «врага народа» и пособницу оккупантов. Восьмилетнюю Люцию удалось вывезти в Ленинград, и в конце 1946 года она поступила в детский дом. Маленького роста, но энергичная, активная, готовая всегда прийти на помощь, она быстро стала любимицей и детей, и педагогов. Моя мама занималась с ней музыкой, привлекала во все коллективные мероприятия. Уже в другом детском доме, закончив школу, Люция поступила в университет, закончила филологический факультет и уехала учителем на Сахалин. На острове она создала танцевальный ансамбль «Грация», с которым объездила весь Советский Союз и пол-Европы. Сегодня она член общества «Мемориал», заслуженный работник культуры СССР. Но до начала 1960-х годов она была вынуждена скрывать драматическую судьбу своих родителей.

Детский дом жил единой, дружной семьей. Ни о какой дедовщине не могло быть и речи, хотя в одной группе были ребята с разницей в возрасте в 3–4 года. Воспитатели относились к каждому ребенку как к своему, а дети в ответ делились с ними своими радостями и печалями. Многие девочки называли

воспитательниц «мамами» и «мамочками» даже через много лет после ухода из детского дома.

Мама Люции выжила в сталинских лагерях и до 79 лет работала по специальности в роддоме им. Снегирева и в Сосново, на Карельском перешейке.

Элла Борисова, Люда Канащенок, Лора Павлова – все стали специалистами в своих сферах деятельности, создали счастливые семьи, сегодня уже имеют внуков и правнуков.

Детский дом жил единой, дружной семьей. Ни о какой дедовщине не могло быть и речи, хотя в одной группе были ребята с разницей в возрасте в 3–4 года. В самые трудные и голодные 40-е годы отмечались все государственные праздники, коллективные дни рождения, новогодние елки, на которых Дедом Морозом всегда была мама. Воспитатели относились к каждому ребенку как к своему, а дети в ответ делились с ними своими радостями и печалями. Многие девочки называли воспитательниц «мамами» и «мамочками», даже через много лет после ухода из детского дома.

У детского дома была своя дача – два двухэтажных деревянных дома и несколько подсобных помещений на 5-й платформе (сегодня – поселок) Вырицы. Несколько лет на запасных путях стояли три разбитых и полусожженных немецких вагона со свастиками и крестами. В бывшем доме лесника, в котором размещалась немецкая казарма, на полу валялись пустые банки из-под консервов, обрывки немецких газет с фашистской символикой, целые патроны от винтовок и автоматов и гильзы от них. В лесу и в придорожных канавах мы находили немецкие, но чаще русские трехлинейки, с разбитыми или со сгнившими от сырости прикладами, часто с затворами и штыками. Оружия в лесах, в траншеях и в полуразрушенных дзотах и дотах было очень много.

Не знаю, каким образом в наших руках – у детей воспитателей, живущих с матерями в детском доме, но в свободном режиме, – оказалась книга-справочник «Спутник партизана», изданная для партизан во время войны. В ней подробно описывались все виды вооружения немецкой армии и их союзников, технологии разминирования всех типов мин, выплавливания тола из снарядов и прочие ценные для нас рекомендации и советы. Только благодаря этой интереснейшей книге, за восемь лет, проведенных в Вырице, никто из нас, любознательных, не подорвался и не искалечился, хотя у нас были в тайниках и мины, и гранаты, и винтовки, и сотни патронов в «цинковках», и даже пулеметы – ручной и станковый.



У детского дома была своя машина – американский «студебеккер», поехать на котором на базу за продуктами считалось поощрением за хорошее поведение и счастьем для всех мальчишек. На территории была спортивная площадка с брусьями, турником, бревном, волейбольной сеткой. Была площадка для игры в крикет, популярный в те годы. Все утренние зарядки и соревнования между группами проводила мама, всегда под музыку. На даче и в городе было фортепиано. Мама, самоучкой, хорошо играла, и ребята с удовольствием занимались физкультурой под музыкальное сопровождение. Академия педагогических наук пригласила маму сделать доклад о своей методике на сессии академии, посвященной физическому воспитанию молодого поколения.



В журнале «Дошкольное воспитание» доклад был опубликован, и маме приходило много писем от ее коллег со всей страны. Физкультура под музыку – я понимаю это как начало аэробики и предтечу современного фитнеса. После доклада в академии маму пригласили на встречу с женой Булганина, который в то время занимал пост председателя Совета министров, а его супруга опекала детские дома. Через два месяца к детскому дому подъехали два грузовика с московскими номерами. Они были загружены списанными из Кремля коврами, ковровыми дорожками, посудой и книгами – подарок жены премьера лучшему детскому дому Ленинграда. Ковров и дорожек хватило на все четыре этажа, группы, спальни, коридоры и лестницы четырехэтажного здания. Значительно пополнилась и библиотека, которой мама уделяла особое внимание. На праздничные вечера приглашали слушателей военных академий из стран народной демократии. Молодые, элегантные, в красивой униформе своих стран, они с удовольствием приглашали на танцы 13—15-летних русских девочек, которые не уступали им в

знании хороших манер.

В начале 50-х годов, на волне государственного антисемитизма («дело кремлевских врачей»), директора детского дома, честнейшую и добрейшую Дину Ароновну Ганкину, ложно обвинили в продаже детской списанной обуви и осудили, не знаю на какой срок. Она вышла на свободу полностью реабилитированной только в начале 1955 года.

В марте 1953 года детский дом расформировали. Причину не знаю, могу только предполагать. Мама перешла работать методистом по дошкольному воспитанию в Октябрьское РОНО. Ребят распределили по другим детским домам, в которых они находились до окончания средней школы.

Не могу не сказать о нескольких моих друзьях тех лет – детях воспитателей детского дома, которые, как и я, до школы воспитывались в группах наравне со всеми, но потом все свободное от школы время проводили в детском доме, но уже в свободном полете. Юра Демин, Эдик Дауэнгаурер, Володя Семичев, Коля Макаров… С ними мы собирали оружие по вырицким лесам, с ними обследовали свалки, которые занимали всю территорию по правой стороне Пискаревского проспекта от улицы Жукова и завода «Кулон» до больницы имени Мечникова. Особо ценилась свалка от завода ЛОМО. На нее свозили целыми машинами брак – линзы со сколами или царапинами от 0,5 до 50 сантиметров в диаметре.

> В один из таких походов в «утиль» мы оказались свидетелями казни. На площади у «Гиганта», на том месте, где сегодня стоит памятник М.И. Калинину, по приговору Нюрнбергского трибунала, казнили через повешение нацистских преступников, совершивших преступления против человечества в Ленинградской области.

Это был Клондайк. По левой стороне проспекта наш детский дом был, по-моему, единственным многоэтажным зданием. Вдоль проспекта тянулись поля совхоза «Ручьи», где мы собирали кости, которыми удобряли поля. Мы собирали их и сдавали в киоск «утильсырья», на площади у кинотеатра «Гигант». Подозреваю, что среди костей были и человеческие, костей было много и больших размеров.

В один из таких походов в «утиль» мы оказались свидетелями казни. На площади у «Гиганта», на том месте, где сегодня стоит памятник М. И. Калинину, по приговору Нюрнбергского трибунала, казнили через повешение нацистских преступников, совершивших преступления против человечества в

Ленинградской области. Это был конец 1946 или 1947 года.

Вдоль левой стороны Пискаревского проспекта, напротив больницы им. Мечникова, текла канава, края которой, как казалось, были из железа. Как раз напротив больницы находился незамерзающий источник Полюстровской минеральной воды.

У меня сохранилась микрофотография, где мы стоим у трубы диаметром около 50 сантиметров. Фотографировал нас Юра Демин. Он был года на три старше нас, и у него был «Любитель». У меня, Юры и Володи отцы погибли, Коля жил с отчимом, судьба его отца нам была неизвестна.

Юра Демин окончил училище имени Фрунзе, был направлен на Северный флот и через несколько месяцев погиб при исполнении служебных обязанностей. Это случилось в 1958 году. Эдуарда Дауэнгаурера я увидел в конце 1990-х по телевизору – он был организатором одного из митингов в защиту сносимых властями гаражей. С его сестрой Маргаритой я встречался по работе – она стала медицинским психологом. Она сказала мне, что Эдик работает инженером в каком-то КБ.

Последним отголоском войны для меня был эпизод летом 1954 года. Впервые после детского дома мама взяла мне путевку в комсомольско-молодежный лагерь ГОРОНО в Петродворце. Лагерь был организован в трехэтажном здании школы при въезде в Петродворец. Школа и сегодня там располагается. В лагере были собраны дети сотрудников системы народного образования, в основном учителей, перешедшие в девятые и десятые классы средних школ. Я перешел в девятый класс.



Мама ждала отца всю жизнь

Напомню, что в 1954 году произошло объединение женских и мужских школ. Помню по себе, адаптация проходила непросто. Мальчики и девочки держались отдельными группами. То, что позволяли себе учащиеся мужских школ, в присутствии девочек было недопустимо.

Аналогичные ситуации возникали и в женских коллективах. Помню, что, войдя впервые в свой новый класс в новой школе, я обратил внимание на девочку – блондинку с голубыми глазами, с тощими косичками. Мальчишек, общий язык с которыми мы нашли очень быстро, я предупредил: к Тане Седовой не приставать!

За год учебы мы позволили себе несколько раз сходить вместе на каток института им. Лесгафта и, по-моему, были счастливы этим. В лагере неожиданно мы оказались в одной

смене. У меня мама работала в РОНО методистом по дошкольному воспитанию, у Татьяны – завучем вечерней школы. Я был на седьмом небе! Мы, уже почти взрослые, были предоставлены сами себе. От нас требовалось не нарушать режим и участвовать в общелагерных мероприятиях. После завтрака мы, мальчишки, собравшись в группки по интересам, расходились кто куда. Чаще всего, конечно, в Нижний парк, к фонтанам, где чувствовали себя как дома. В Александрии забирались на крышу Капеллы, во Дворец Нижнего парка, стоящий в лесах и разрушенный почти до основания, пробирались через дырки в заборе и собирали хрустальные подвески от разбитых люстр. Добирались даже до Константиновского дворца, ремонт которого даже еще не планировался.

На очередной прогулке в Нижний парк, в развалинах царской телеграфной станции, стоящей за забором в десяти метрах от Большого каскада, я нашел противотанковую мину. Она по форме и размеру напоминает керосинку с одной ручкой. Имея опыт Вырицы, я аккуратно освободил ее от мусора, убедился, что в ней сохранен один взрыватель, и предложил ребятам отнести ее в лагерь. Никто не возражал. Мину со всеми предосторожностями донесли до лагеря и положили в кабинете директора на его стол. Директор был в столовой. Двух ребят я попросил остаться у входа в кабинет. «Мина!» – сказал я, подойдя к директору. «Какая мина?» – удивился он. «Противотанковая», – ответил я. «Где?» – спросил директор. «У вас в кабинете», – ответил я. Директор на цыпочках подошел к дверям и, убедившись в том, что я не шучу, из кабинета врача вызвал саперов. Мину увезли и взорвали.

Вечером было объявлено общее построение. Нам сейчас объявят благодарность за спасение Большого каскада, шептались ребята. «Ароновича Олега за нарушение режима и самовольный уход из лагеря из лагеря исключить!» – произнес директор. Трем другим моим помощникам были объявлены выговоры с той же формулировкой

Утром весь лагерь объявил голодовку и не пошел на завтрак. Днем приехал на служебной «Победе» заведующий ГОРОНО вместе с моей мамой. Проблему они решили кулуарно. Я пообещал вести себя хорошо.

Я понимал всю меру опасности, которой подвергал себя и своих друзей, я предполагал возможность наказания, но в соседнем отряде была Татьянка! Мы поженились через семь лет, студентами, и прожили всю жизнь, не расставаясь ни на один день.

На следующий год я снова был в этом лагере, уже без Татьяны. На подоконнике спальни ребята взорвали запал от

гранаты, повредив окно. Первым, кого вызвали на допрос, был я. Я, конечно, знал, как все произошло, предупреждал ребят о возможности взрыва, но «дети войны» своих не сдают.

Мои друзья по школе, ровесники по возрасту, пережившие все трудности военных и послевоенных лет, прожили достойные жизни.

Юра Дмитриев всю жизнь прослужил оперативником и начальником уголовного розыска. Валера Лобов исколесил всю страну геологом. Толик Миллер стал инженером и сегодня преуспевающий коммерсант. В заключение моих воспоминаний не могу не сказать: в фойе Ленинградской филармонии до ее ремонта висела мемориальная доска с фамилиями погибших на войне филармонистов. В их числе была и фамилия моего отца. После ремонта места для памяти о погибших не нашлось. Обидно.

Хождение по мукам
Тищенко Иван Григорьевич (1926–1993)

Считается, что дневники и записи представляют интерес лишь тогда, если они принадлежат людям исключительным. Я же рядовой и пишу не о ком-то, а о себе, о своей жизни. Задача не из легких. Сделать это побудило желание оставить после себя это писание для любознательных.

Сказать о том, что я родился в рубашке, вроде нельзя. Выпало мне в жизни с лихвой всяких несчастий. Жизнь человека зависит от него самого. Все оказывается просто. Прожить ее счастливо – дело трудное. А вот проживет ли он ее достойно – плод его усилий.

Я прошел свой путь через многие пороги и завалы. Всякое бывало на этом пути: большие и малые конфликты, которые легко и нелегко ликвидируются, маленькие и большие радости, которые долго помнятся. И мечты… Меня постигла участь многих самородков из малоимущих слоев, кому досталось силой ума восполнить изъяны в образовании, природной деликатностью – изъяны в манерах.

О времени и о нас

В Романках Днепропетровской области, где в сентябре 1926 года я родился, жили все мои предки. Пахали землю, сеяли хлеб, существовали как многие другие. Деревня расположена на реке Волчья на трассе Днепропетровск – Донецк.

До начала Великой Отечественной войны в Романках проживало около 2000 человек. Здесь, на месте Романок, где-то располагался зимовник, основанный запорожским старшиной. После ликвидации Запорожской Сечи сюда переселились многие запорожские казаки со своими семьями. В прошлом – это воинская слобода. Теперь село относится к Покровскому району Днепропетровской области.

В 1928 году наша семья переехала из Романок в Шамрайку: точнее, Шамрайки в том году и не было на карте – это были земли за 9 км от Романок, на которых обещали выделить земельные наделы. Около 50 крестьян оставили насиженные места в Романках и других населенных пунктах, в течение нескольких месяцев построили саманные хаты, собираясь совместно, по очереди строили хату за хатой. И вот там-то и

возникла Шамрайка (по имени помещика, владевшего этими землями до революции). Через два года землю, скот, инвентарь «добровольно» коллективизировали. Наша семья была среди первых, поселившихся в Шамрайке (сейчас это село называют Горлицкое Запорожской области). Сейчас от деревни нашей почти ничего не осталось. Найти то место, где был наш двор, изба, сад, где росли когда-то деревья, посаженные отцом, матерью и мной самим, – трудно. Не найти вообще ни одной приметы того клочка земли, который, закрыв глаза, могу представить весь, до пятнышка, и с которым связано все лучшее, что есть во мне. Более того – это сам я, как личность. Эта связь всегда была дорога для меня.

Я пытаюсь рассказать о событиях, впечатлениях моей жизни, жизни близких мне людей. Волей-неволей я оказался свидетелем или участником некоторых из этих событий. Это как бы свободное воспоминание о своей жизни и о жизни близких мне людей. Могут быть при этом некоторые неточности. Расскажу что помню.

Война. Начало

Война стала величайшей бедой для народа, ее раны не зарубцевались до сих пор, хотя прошло много лет и уже сменилось целое поколение. Выросшие дети тех времен помнят похоронки, помнят слезы своих матерей. Наверное, нет ни одной мысли, которая так бы владела всеми людьми, как стремление к миру – «только бы не было войны».

И в то же время воспоминание о войне для многих ее участников – самое глубокое, самое настоящее в жизни, что-то, дающее ощущение собственной нужности, человеческого достоинства, так подавляемого у рядового человека в нашем обществе, в повседневности больше, чем в любом другом обществе.

Тогда людьми владела уверенность, что после войны все будет хорошо, что не может быть иначе. Но победа только укрепила жестокий режим, солдаты, вернувшиеся из плена, первыми почувствовали это на себе, но и все остальные тоже – иллюзия расплылась, а народ как бы распался на части.

Завершив учебу, я не покинул отчий дом, родное село. Остался со своими сверстниками трудиться на колхозных полях. Вместе с другими своими товарищами во время каникул пахал, сеял, работал на косилке, скирдовал солому, трудился на току. И вдруг грянула война. Митинг в селе. Мужчины уходят на защиту

Родины. Ушел и папа. Почти все колхозное добро было доверено мне. Все ключи от амбаров, кладовых переданы мне.

Еще с юношеских лет, когда ходил с пастушеским кнутом, я мечтал о службе в Советской армии и, конечно, служить не рядовым. А для того, чтобы стать, как дядя Яша, офицером, надо много знать, учиться. Дядя Яша перед войной несколько раз приезжал в Романки. Я видел, с каким уважением к нему все относились. И поэтому решил стать военным. На уроках допризывной подготовки старался быть лучшим. И конечно же сдал нормы на все оборонные значки.

Естественно, мои представления о военной службе были весьма примитивными. Но они были и развивались. Любовь к армии, к Вооруженным силам довоенная школа прививала весьма успешно. И когда началась Великая Отечественная война, все стремились быть на высоте, хотели помогать стране, как только могли и чем могли. Помню то воскресенье июня 1941 года, когда прозвучало сообщение о нападении Германии на СССР. Мы, подростки, сразу как бы повзрослели.

Поимка диверсантов

В конце сентября произошел эпизод, круто изменивший мою жизнь. За пределами села, когда я вез арбузы с бахчи, меня остановили два красноармейца, одетых в нашу форму, вооруженных. Пытались заставить меня, чтобы я сказал, где аэродром. Называли населенные пункты. Я знал, что аэродром находился в Ново-Николаевке, но об этом не сказал. Один из солдат говорил с акцентом, и я обратил на это внимание. Прикинулся дурачком и ничего не сказал. А сам быстро возвратился в село, где в это время находился погранотряд. Попросился привести меня к командиру и обо всем случившемся рассказал офицеру. Тут же группа пограничников была посажена в полуторку, меня посадили в кабину, чтобы показать дорогу, где это произошло. Подъехали к громадному кукурузному массиву и к тому месту в лесопосадке, где я был остановлен солдатами. Солдаты-пограничники были посланы в разных направлениях кукурузного поля и лесопосадки. Примерно через час прозвучали выстрелы, а спустя несколько минут в сопровождении нескольких пограничников привели тех двух, которые оказались переодетыми фашистами.

Весь хутор сбежался к избе, куда были доставлены фрицы, первые в нашей местности фашисты. За все это мне крепко попало от мамы. Дальше все произошло молниеносно. К нам

пришел Михаил Саенко – друг папы. Он убедил маму, что мне оставаться в селе нельзя – фронт уже приближался к нашей местности. Я был собран в дорогу. Мама насобирала у кого только могла 50 рублей и зашила мне в пояс моих брюк. Наказала достать их, только когда все продовольствие иссякнет.

Погонщик скота

Я, пятнадцатилетний, один ушел из села на восток, «к нашим», сначала на станцию Мечетную (в 20 км от нашего села), а там сел в товарный поезд, следовавший в Таганрог.

Только недавно побывавший в Таганроге Иван Саенко сообщил, что эвакуированный скот нашего колхоза находится в районе Матвеева Кургана. Линия фронта была уже рядом.

Мне удалось найти своих земляков и присоединиться к ним в качестве погонщика скота. Когда решался вопрос об эвакуации колхозного скота, к нам приехал председатель райисполкома. Прошло собрание с теми, кто собирался эвакуировать скот. В нем участвовал и я. Команда была такая: свиней всех забить. Мясо – отступающим частям Советской армии, а оставшееся – колхозникам. Скот вглубь страны. Трактора – Красной армии. Те машины, трактора, которые нельзя использовать, – уничтожить.

К угону в глубокий тыл подготовили скот. Лошадей и овец. Помню слова того представителя: «Гоните скот по полям, где созрел хлеб, по свекле, другим посевам. По тем дорогам, которые не используются Красной армией».

> В пути следования, как предполагалось, нас должны были обеспечить всем необходимым. Но ни единого раза нас нигде, как указывалось в предписании, никто не ожидал. Похолодало. Хлеб замерзал. Разогревали его на кострах, рубили топорами и ели.

На громадном ватманском листе был начерчен маршрут, по которому должны пройти эвакуированные. На бумаге все было обозначено, вычерчены, расписаны маршруты движения. Указывались и места стоянок, ночевок, водопоя, пункты ветеринарного досмотра. Но это на бумаге.

А в жизни? В жизни все было по-другому. Направление движения все время менялось. Ведь много раз мы со своим гуртом оказывались за линией фронта.

А как было с материальным обеспечением? В пути следования, как предполагалось, нас должны были обеспечить всем необходимым. Но ни единого раза нас нигде, как

указывалось в предписании, никто не ожидал.

Ни колодцев для водопоя скота, ни ветеринарных пунктов, ни пунктов материальной помощи, конечно, не было.

А скот нуждался в лечении. Его не было. Не говоря уже о том, что люди тоже болели. Спасали нас те запасы, которые взяли из дома. Но их хватило ненадолго. Наступила осень. Похолодало. Хлеб замерзал. Разогревали его на кострах, рубили топорами и ели.

Заметно уменьшилось количество скота. Погода все ухудшалась. Почти постоянно лил косой надоевший дождь. Балки и лощины наполнились водой. Степные дороги размыло и разнесло. Жидкая грязь чавкала под копытами отощавших животных. Дул, обжигал лица холодный и пронзительный ветер. А мы, уставшие и натруженные, молчаливо двигались все дальше и дальше на восток.

Кто сопровождал скотину? Школьники с хворостинами. Они плелись за гуртом скота. Да старики, да бабки, которые сами еле передвигали ногами (у нас Василенко и Хоменко с хутора Садового).

Особенно плохо было во время переправ через реки, речушки. Здесь творилось что-то ужасное. Все стада перепутывались. Чей там бык, а чья корова, не разберешься, всех подряд гнали на паромы, а паромов не хватало. Немцы по этим скоплениям сбрасывали бомбы. И рядом с убитой скотиной лежали теперь те же мальчики с хворостинами, бабки, но уже мертвые.

Запомнился текст одной немецкой листовки, а их было много:

«До Донецка шли с бомбежкой,
А в Ростов вошли с гармошкой!»

Отступление. На восток

Тем временем мы со своим стадом устремились на восток. И все время находились в прифронтовой полосе. И что приходилось видеть? Тысячи мобилизованных с разных мест, уже занятых фашистами, и из прифронтовой местности мужчин ходили из одного в другое место. Такое впечатление, что их командиры не знают, чем нужно заниматься. Порядка не чувствуют. Без обмундирования. Добрая половина этих солдат ходили босыми, без обуви. Без оружия. Дисциплины никакой.

Громадное скопление этих людей на переправах через речки, особенно через Дон… Что здесь творилось, так это один ужас! Командиры разных рангов доказывали свои права на переправу

через Дон раньше других… Доходило до драки, выстрелов из личного оружия.

> Мне приходилось видеть, как наши уничтожили одну свою деревушку. Пылали потемневшие крестьянские избенки. Матери в ужасе прижимали к себе плачущих детей. Стоял стон над многострадальными деревнями Родины. А все дело в том, что долгое время не могли взять эту деревеньку наступающей пехотой.

Катастрофическое начало войны больше всего сказалось на моральном духе народа. Неудачи наших войск в первые дни войны в приграничных районах, окружение двух наших армий в районе Умани. Киевское окружение, затем провалившаяся харьковская операция, сдача Ростова…

Противник последовательно концентрировал свои усилия то на одном, то на другом направлении и добивался успеха. Мы вынуждены были выдерживать такие тяжелейшие удары, связанные с окружением основных наших сил, – сначала Западного фронта под Минском, затем на Юго-Западном (Украина). А впереди еще назревали две катастрофы – в Крыму и в Ленинграде.

Что приходилось видеть каждый, по сути, день? Массы отступающих солдат, людей, гибнувших на переправах, плач женщин, детей на пепелищах, горы незахороненных трупов, безумные глаза матери возле своего мертвого ребенка…

Мне приходилось видеть, как наши уничтожили одну свою деревушку. Пылали потемневшие крестьянские избенки. Матери в ужасе прижимали к себе плачущих детей. Стоял стон над многострадальными деревнями Родины. А все дело в том, что долгое время не могли взять эту деревеньку наступающей пехотой. Да, часто это диктовалось жестокой необходимостью: мосты, железнодорожные станции, заводы при отступлении нужно было уничтожить. Но едва ли крестьянские домишки могли стать прибежищем для оккупантов.

Зеленый Гай, Благовещенское, Голубовка, Артемовка, Тарасовка… Это все села, разбросанные в степи, через которые пролегал наш путь на восток. Их было много, всех не запомнил.

Дон. Переправа

Шел октябрь 1941 года. Впереди Дон, переправа через него на левый берег. И вот дожди окончились. Наступило резкое похолодание. Замерзла вода. Выпал снежок. Ветер гнал по степи

поземку.

Войск на нашем пути было натыкано – хоть отбавляй. В воздухе постоянный гул фашистских самолетов. Особенно надоедали «хейнкели». Часто они ради забавы, а может для острастки, бросали наугад фугасные бомбы.

Помню 14 ноября 1941 года. В этот день ливневые дожди вдруг прекратились. Лужи быстро затянул мороз. Ветви деревьев покрылись деревянной коркой, а ртутный столбик упал сразу до -10 градусов. В степи разыгрался ветер. Непогода застала нас у капризной речушки Тузлов. Набрякшую одежду схватил мороз, тело оказалось словно в холодном деревянном ящике, а обувь покрылась звенящим панцирем. Было жутко холодно. Спасали костры, которые мы разжигали и поддерживали постоянно.

В районе Батайска мы должны были перебраться на левый берег Дона, а мост был разрушен – работала паромная переправа. По плавучим мостам переправлялась пехота. Поочередно пропускались военные подразделения. А в промежутке – скот.

> Было известно, что бомбежка бывает более ужасной, чем та, на переправе через Дон.
>
> Но я более страшной не видел. Меня Бог миловал. Кругом все взрывалось, грохотало, было страшно ощущать себя маленьким и беззащитным.

А солдаты? Они драпали вовсю. На их головы постоянно падали бомбы с бесчисленных немецких бомбардировщиков, и только одинокий советский «ястребок» обреченно пытался им помешать. Часто усилия фашистов завершались прямым попаданием в цель. И тогда переправа замирала. Срочно вклинивались саперы, которые ремонтировали переправу, и переправа действовала почти беспрерывно.

К Дону мы приблизились вечером, а ночью началась бомбежка. Она не была первой на нашем пути. Было известно, что бомбежка бывает более ужасной, чем та, на переправе через Дон. Но я более страшной не видел. Меня Бог миловал. Кругом все взрывалось, грохотало, было страшно ощущать себя маленьким и беззащитным. Потом все стихло. А к утру разрушенная паромная переправа была восстановлена саперами. Мы переправились через Дон почти без потерь. А на противоположном берегу – заградотряд. Сплошная линия обороны, траншеи, противотанковые рвы, проволочные заграждения.

Комендатура отбирала и задерживала всех мужчин, способных держать оружие, и направляла их в воинские подразделения. Из шестнадцати наших мужчин отобрали только меня – не по возрасту, а по росту. Наш старший, Василенко, уже

из воинской части, куда я попал, сумел возвратить меня в расположение нашего гурта. Я снова оказался среди своих односельчан.

На Кубани

В декабре было приказано сдать скот в колхоз «Тракторстрой» Новоалександровского района Ставропольского края, что мы и сделали. Там же работали до лета 1942 года.

Начиналась – хотя начиналась она не там, а чуть позже – другая жизнь, не та, к которой я привык дома. Детство, в которое кусочком вторгалось и отрочество, – окончилось. Начиналась суровая юность.

Но снова на фронте перемены. Оборона наша оказалась непрочной. Фашистам удалось прорвать линию обороны в районе Ростова. И снова мы в эвакуации. Ростов и Новочеркасск были оставлены нашими войсками 27 июля 1942 года.

Николай, Иван Саенко, Катя Пахольская, Петя Савченко были призваны в Красную армию. Попали в Орджоникидзевское военное училище. Не пройдя курс одиночного бойца, училище в полном составе было отправлено на фронт. Николай получил тяжелое ранение. После выписки из госпиталя он – нестроевик, на фронт больше не попал. Служил в Иране.

Мы же снова в пути. Эвакуация вглубь страны скота, лошадей, овец. Но случилось непредвиденное. Сговорившись, наши женщины решили повернуть скот обратно, в Александровское.

> Знал, что творят фашисты на оккупированной территории Украины. В республике не было ни одной семьи, откуда фашисты не угнали на каторгу в Германию девчат и хлопцев, иной раз еще детей, не только шестнадцати-, но и пятнадцатилетних, которые в жизни еще ничего не видели, кроме своего села. Их отрывали от своей семьи и угоняли в чужую враждебную Германию.

Втянули в это дело Мишу Саенко, Николая Стрюка и других. Именно им было поручено сагитировать меня вернуться назад, домой, к немцам, и поступить так, как поступили все. Их агитации я не поддался и к немцам не ушел. Я наотрез отказался подчиниться этому решению.

Ночью, сговорившись, все они так и поступили. Я – утром проснулся – один.

Куда девались остальные – не знал.

Только потом узнал подробности того предательства.

Когда мне предложили поддержать решение и повернуть скот к линии фронта, я было поколебался. Велико было искушение. Хотелось как-то изменить обстановку, в которой мы были. Ведь знал, что дома была мама. Осталась одна. Что на ее руках двое маленьких детей (Соне тогда было 13 лет, Мише – 3 года).

Но знал и другое. Знал, что творят фашисты на оккупированной территории Украины. В республике не было ни одной семьи, откуда фашисты не угнали на каторгу в Германию девчат и хлопцев, иной раз еще детей, не только шестнадцати-, но и пятнадцатилетних, которые в жизни еще ничего не видели, кроме своего села. Их отрывали от своей семьи и угоняли в чужую враждебную Германию.

Гнать скот фашистам я отказался. И остался на месте, где мы ночевали в ту ночь. Остался голый, босой, остался в чем спал. Меня Миша Саенко и Стрюк просто не разбудили. (Ну а как сложилась их судьба? В том же 1942 году, в июле месяце, мои односельчане пригнали скот обратно в Александровское и вместе со всеми возвратились домой. Жили на оккупированной территории. Но были жестоко наказаны. Не побыв дома и десяти дней, тут же были угнаны в Германию. И всю войну они работали на Германию.)

Да, не ожидал такой ситуации, когда в результате злой воли все мои односельчане повернули назад, к фашистам. Какое предательство! Да, я воспротивился, один пошел против всех! Я уже не говорю, какие материальные ценности достались врагу в результате предательства! Сколько и как все хранили, оберегали, спасли в 1941 году скот, и все, что было, досталось врагу.

Совсем один

Человеку, не побывавшему в таком положении, понять меня трудно. Представьте, в свои пятнадцать лет быть одиноким, без родных, близких, без гроша в кармане, голодным, неумытым, не имеющим угла, где можно переждать непогоду, переночевать. К тому же встречать косые взгляды милиции, избегая с ней встреч.

Ты бредешь не зная куда; можно двигаться, стоять на месте – ты никому не нужен. Думай что хочешь. Поступай как хочешь! Из тысяч возможных решений принимаю одно-единственное – двигаться вперед, двигаться на восток, к своим, к нашим.

На реке Подкумок – проволочные заграждения, заранее подготовленный оборонительный рубеж. Заградотряд. Снова проверка документов. У меня их, естественно, нет. Снова я стал

воином Красной армии.

Обмундировали. Выдали оружие – винтовку образца 1891/30 года. Несколько раз на полигоне обучали стрельбе из винтовки. Принял воинскую присягу – 15.08.1942 года. К этому времени фронт стабилизировался. Фашисты продолжают рваться к Каспию и бакинской нефти. Бои не утихали ни днем ни ночью. Я – связной комроты. Под огнем противника многократно пробирался на связь со взводами. Приказ – и по-пластунски, где как – вперед. Было страшно. И не очень. Но ощущение страха смерти было всегда. И было и не было. Смерть нестрашна, пока пуля не попадет в тебя. И я тоже не боялся, пока сам на себе все это не испытал. Попал под хорошую бомбежку – стал бояться, когда немецкие самолеты бомбили передовую. Впервые такие страшные минуты я пережил в 1941 году – на переправе через Дон. Безнаказанно немецкие самолеты среди белого дня на бреющем полете сбрасывали бомбы на переправу. А наших – ни одного самолета. Было и обидно, и жутко страшно.

Во время одного артиллерийского налета на наши позиции совсем рядом разорвалось несколько снарядов. Погибли семь наших солдат. Несколько человек, в том числе и меня, ранило. Несколько дней я пробыл в медсанбате.

Смерть нестрашна, пока пуля не попадет в тебя. И я тоже не боялся, пока сам на себе все это не испытал. Попал под хорошую бомбежку – стал бояться, когда немецкие самолеты бомбили передовую. Впервые такие страшные минуты я пережил в 1941 году – на переправе через Дон. Безнаказанно немецкие самолеты среди белого дня на бреющем полете сбрасывали бомбы на переправу. А наших – ни одного самолета. Было и обидно, и жутко страшно.

После всего только чудом остался жив.

А сколько разных пуль и осколков во время войны просвистело рядом с моей головой, порой даже незаметно. Если бы рядом они не просвистели, до сегодняшнего дня я бы не дожил. Сколько людей за это время меня спасали, протягивали руку помощи.

Бреду вместе с отступающими частями Красной армии на восток, к Моздоку,

Кизляру. И в один из таких дней вдруг ко мне возле очередной переправы через реку подходит старший лейтенант и говорит о том, что я ему кого-то напоминаю. Присматриваюсь к нему и спрашиваю, не работал ли он преподавателем математики. Как же, говорит он, работал, а я ему говорю: «Вы

Кацалуха Григорий Федорович?» «Да, это я», – отвечает он. Расспросил все обо мне, как попал на Северный Кавказ, почему один. Все рассказал ему. Он ехал на бензовозе. Посадил меня рядом с собой в кабину, за день-второй километров 120 я проехал с ним по направлению к Кизляру. На прощание он дал 50 рублей, гимнастерку, синие военные брюки, сапоги. Я был всему этому рад. Тем более что стал обладателем буханки хлеба, селедки, двух банок мясной тушенки. Выручил он меня здорово. Погиб он в том же 1942 году на Кавказе – об этом я узнал уже после войны.

Хождение по мукам: Северный Кавказ, Прикаспий, Поволжье

Я не в состоянии описывать подробно все что было, шаг за шагом. Не было у меня плана, не было цели, а был инстинкт самосохранения и непрерывная борьба за жизнь; надо было выстоять, не умереть с голоду, не свалиться без сил. Голод и усталость были длительное время моими постоянными спутниками. Мотался я по всему свету. Было и такое. Пытаясь уйти от всего этого ада, в Баку я пробрался на пароход, курсировавший между правым и левым берегом Каспия. Но был обнаружен и, естественно, удален с парохода.

Снова очутился в Кизляре. Здесь масса скопившихся воинских частей, бомбежки. Принимаю решение двигаться по направлению к Астрахани. Разузнал, что туда прокладывается железнодорожная ветка. Никогда не забуду первые сутки этого путешествия. Из города вышел рано утром. Целый день в пути. Подходит время остановиться на ночлег. Заприметил скошенную полянку, а чуть дальше скирду сена. Вырыл глубокую нору в сухом ароматном сене и успокоился, почувствовав, что могу уснуть.

Это была первая ночь из тех сорока пяти, которые мне пришлось провести за время пути из Кизляра к Астрахани.

Не было у меня плана, не было цели, а был инстинкт самосохранения и непрерывная борьба за жизнь; надо было выстоять, не умереть с голоду, не свалиться без сил. Голод и усталость были длительное время моими постоянными спутниками. Мотался я по всему свету.

Описывать все эти сорок пять суток не под силу. Можно лишь представить положение человека, который без денег, без документов преодолел около пятисот километров по почти безлюдным местам.

Пришлось изведать и голод, и страх, и минуты, часы

отчаяния и безнадежности. Неделями питался чем только угодно. Случалось, нанимался в селах на любую работу: копал колодцы, рыл канавы для ограждений, плотничал и т. п., – чтобы иметь хотя бы немного денег и продовольствия в пути.

Были случаи, когда меня задерживали, держали взаперти, но затем с богом отпускали.

> Иду и иду между двумя рельсами, и кажется, что стою на месте. Ведь не у кого спросить, где я, как много еще идти.

Почти шесть недель я вообще не раздевался. А был в суконной офицерской форме (подарок моего бывшего школьного учителя Кацалухи). Форма ведь была рассчитана на осень, зиму, а каково в ней быть в такую жару. Заели вши.

Грязный, голодный, исхудавший. Исхлестанная дождями и просоленная солнцем кожа на лице, шее, руках потрескалась и отвердела.

Иду, считаю уложенные кое-где шпалы. Определил, сколько шпал уложено на один километр пути. Ровным размеренным шагом идти нельзя, ведь шпалы уложены где как. Они лежат то ближе, то дальше одна от другой, и мои прыгающие шаги тоже то короткие, то длинные.

Жарко! Ужасная жара. Хочется есть, пить. Ничего этого нет. Кругом степь, выгоревшая от солнца трава. Когда в глазах заиграют зайчики, немного передохну. Присяду. Или, если уж совсем плохо, а такое было часто, – прилягу. Шел и днем и ночью, не чувствуя усталости, непогоды.

Иду и иду между двумя рельсами, и кажется, что стою на месте. Ведь не у кого спросить, где я, как много еще идти.

Добираюсь до поселка Трусово. Это правый берег Волги. По ту сторону – Астрахань. Путешествовал по стране очень много. И все с пустым мешком.

Только иногда удавалось что-либо подзаработать, достать.

Основное средство передвижения – в тамбуре или на крыше железнодорожного вагона, часто в кузове грузовика. Не раз и не два меня ловила милиция и – в отделение. Там допрос. Кто, откуда, куда?

Географию страны я знал хорошо и по ходу движения поезда называл города. Допустим, говорил, что еду в Саратов, к бабушке. А на какой улице она живет, следовал вопрос. Я ведь знал, что в каждом городе есть улица Ленина. И называл эту улицу безошибочно. И меня, как правило, отпускали.

Ночевки. Где попало: в парке, в разных развалинах, чаще всего на вокзале. И дальше – в путь на крыше вагона. И вот какой

маршрут получился: Дулбент, Баку, Кизляр, Ташкент, Астрахань, Саратов, Куйбышев, Москва, Алма-Ата и многие другие города.

Запасной полк

В сентябре 1943 года я попал в запасной полк. Солдат, родившихся в 1926 году, с фронта отозвали. Перед этим, очутившись вторично в Астрахани, я оказался в ремесленном училище. Здесь учили меня на столяра-краснодеревщика. Производственную практику от нашей ремеслухи мы проходили на фабрике клавишных инструментов, хотя обучение начинал в элитной группе столяров-модельщиков. Пилить, строгать, долбить, шкурить деревяшки было невыносимо скучно. Учиться не хотел. Естественно, что вскоре меня перевели из модельщиков в столяры-краснодеревщики.

Именно на этой фабрике меня научил один взрослый, изворотливый работяга отделять в палитуре спирт от шлака. Но, научившись отделять посторонние вещества, мы так и не приспособились распознавать, до конца ли мы избавились от смертельно опасных примесей, грозящих всевозможными неожиданностями, вплоть до потери зрения. И всю таким образом добываемую продукцию меняли на хлеб, продукты питания. И хотя как-то не принято писать о плохом, пишу и об этом.

Наскитавшись в годы войны в гордом одиночестве – без школы, родителей, вволю наигравшись со взрослыми в небезопасные прятки-жмурки, с увольненим в запас в 1947 году я почувствовал себя не в своей тарелке. Но об этом позже.

Итак, запасной полк, готовивший пополнение для фронта. До этого служил на Украине под Запорожьем, Волновахе, Северном Кавказе – город Прохладный, затем город Цигери в Грузии. Три месяца в учебке. Вышел оттуда младшим сержантом. Командовал отделением. А кого в составе пополнения направляли нам для обучения? Им и были призванные в Красную армию жители Западной Украины, многие из Молдавии.

И почти все пожилые, многие мне в отцы годились. Вот опишу примерно как это было.

6.00 подъем.

23.00 отбой.

Мы, семнадцатилетние мальчишки, учимся точному выполнению распорядка дня. За любое нарушение: опоздание в строй, столовую, на отбой, в туалет – наряды вне очереди.

Учат точному выполнению команд. Режем штыками воздух, вонзая их в соломенное чучело, атакуем укрепленные «позиции»

противника. Шагаем «с места, с песней!». За любую неточность – «бегом марш!». Вон к тому столбу и обратно. И попробуй только отстать!

Главное, мы – артиллеристы, которые должны сопровождать в бою пехоту, уничтожать живую силу врага, подавлять его огневые точки. Весь божий день тягаем на полигоне наши орудия – сорокапятки.

То слышишь команды: «Танки слева!», «Танки справа!», «Танки с тыла!» В один момент надо вскочить, успеть вовремя повернуть орудие в необходимом направлении, зарядить его снарядом, сделать прицельный выстрел.

И мы то в быстром темпе катим свою сорокапятку, то ведем огонь бронебойными снарядами. Хотя и болванка, но снаряд! Попробуй только схалтурь. Всем тогда хватит работы: и наводчику (я был наводчиком), и заряжающему, и рядовым!

Расчет был на конной тяге. Лошади наши сильные, здоровые. С ними всегда справлялся ездовой Миша Трегубов. Подносчики снарядов: таджик Икрамов, киргиз Урсумбалеев. Нам, естественно, хотелось быть лучшими, ведь лучших быстрее отправляют на фронт. У каждого из моих товарищей был свой повод для того, чтобы проситься быстрее попасть на фронт – туда, где идет настоящая война.

И вот пришло время для нашей батареи. Берут нас всех в баню. Помылись. Одели нас во все новое. Белье, обмундирование, ботинки, байковые портянки, обмотки. Это значит, что если не сегодня, то завтра отправка эшелона на фронт. Но что это? Вдруг в числе семи других солдат вызывают и меня – посылают на разгрузку муки для полковой хлебопекарни.

И когда мы к вечеру возвратились в расположение батареи, плакали все в осиротевшей казарме. Вся батарея ушла на фронт. Старшина батареи успокаивал меня в каптерке: «Успокойся. Ты назначен командиром расчета». Был озвучен приказ о присвоении мне сержантского звания. Таким образом, мы заменили сержантов-фронтовиков, которые с новым пополнением убыли на фронт.

Попали все они на Украинский фронт. И вскоре, в 1944 году, после медицинской комиссии я и мой друг Вася Галкин были откомандированы на учебу в Бакинское пехотное училище.

Бакинское пехотное училище

Служба, учеба в училище была очень трудной. Теперь, сравнивая то, что было в запасном полку и затем в военном

училище, то могу утверждать, что изменения, произошедшие в боевой подготовке, были громадными.

Армейская жизнь никогда не была легкой, но в училище начались такие трудности, вспоминая которые, я думаю – как же мы могли такое вынести? Командиры, как это часто бывает в армии, опасаясь за свою репутацию и карьеру, настолько повышали требовательность, что служба порой казалась невыносимой. И все вело к максимальному усложнению, ибо все это исходило из принципа – учить на трудностях. Как только начинался дождь, немедленно объявлялась боевая тревога и нас выводили на поле, на учения.

Армейская жизнь никогда не была легкой, но в училище начались такие трудности, вспоминая которые, я думаю – как же мы могли такое вынести? Командиры, как это часто бывает в армии, опасаясь за свою репутацию и карьеру, настолько повышали требовательность, что служба порой казалась невыносимой.

И под дождем, и в грязи, без горячей пищи, на концентратах, которые нам выдавали, мы проводили по несколько суток. Копали траншеи в ограниченные сроки, была жесточайшая норма времени, за которую нужно было отрыть окоп нужного профиля. Затем это место обороны оставляли и совершали продолжительные марши. Я участвовал даже в стокилометровом марше. Это была настоящая пытка. Как известно, по уставу суточный переход не должен превышать 40–45 км. Нетрудно представить, что значит совершить за сутки стокилометровый марш в условиях бакинской жары под палящим солнцем, когда и обычный марш дается очень тяжело.

Дисциплина была доведена до крайней педантичности. За опоздание из увольнения на 3–5 минут – гауптвахта, на 15–20 минут – курсантов отдавали под суд военного трибунала.

Каждую субботу и воскресенье устраивались двадцати-тридцатикилометро-вые кроссы. Наше училище бегало до своего лагеря в Сумгаите (35 км) и назад с полной выкладкой, то есть с вещмешком с полагающимся запасом всего необходимого нехитрого солдатского имущества, а вместо продовольственного пайка, так называемого неприкосновенного запаса, клали в вещмешок кирпичи.

Дисциплина была доведена до крайней педантичности.

За опоздание из увольнения на 3–5 минут –

гауптвахта, на 15–20 минут – курсантов отдавали под суд военного трибунала.

Станковые пулеметы несли по очереди. Эти марш-броски были настолько изнурительными, что возвращаясь в расположение части (сальянские казармы), мы падали в полном изнеможении рядом с кроватями, а в кровати можно было ложиться только во время ночного сна.

Многие и многие курсанты теряли сознание еще во время бега на дистанции, их подбирала санитарная машина, которая следовала по нашему маршруту. Особенно летом, когда жара стояла невыносимая. В училище были случаи самоубийства, некоторые курсанты не выдерживали такой нагрузки и уходили из жизни.

Шли постоянные учения, днем и ночью, зимой и летом, и все время в поле с главной задачей, чтобы все было как можно труднее. Это считалось приближенным к условиям фронта.

Офицеры на должности училищных командиров подбирались соответственно. Командиром нашего взвода был лейтенант Прокушев, роты – старший лейтенант Меленьтьев, курсантского батальона – полковник Меркулов. Начальник училища – генерал-майор Молчанов. В помещении соседнего батальона нашего училища размещались курсанты-курды. Не азербайджанские, а иранские курды. Наши советские войска находились тогда с 1941 года в Иране.

Питались мы и курды в одной и той же столовой, но нормы питания были разные. Их кормили как на убой. Дважды в сутки давали сливочное масло, мясо трижды на день, а нас пичкали какой-то похлебкой. И тем не менее у них все окончилось восстанием. Курдский батальон был расформирован, многие курсанты, наиболее демократически настроенные, были определены в гражданские вузы, а оставшиеся – отправлены в Иран.

Училище я окончил в 1945 году.

Война и личности

С волнением вспоминаю своих учителей. Может быть, не все то, что они нам внушали, соответствовало истине. Но подавляющее большинство учителей верило в то, что они нам излагали. И не только учителя нашей школы – все учителя. Без этой веры не суждено было нам одержать Победу.

Тот же учитель математики Кацалуха, 1942 год. Паническое

отступление Красной армии на восток. Немецкие листовки, разбрасываемые с самолетов, их постоянные забрасываемые в тыл десанты. Нескончаемые потоки эвакуированных. И вот в этой обстановке, опознав своего ученика, он наставляет меня, как поступать в такой обстановке, такой неразберихе. Он нашел нужные слова для того, чтобы успокоить меня, внушить уверенность в правоте того дела, которым занята наша армия, наш народ. Еще, мол, немного усилий – и фашистская армия будет остановлена, нашей армии удастся не только удержать занимаемые позиции, но и перейти потом в наступление, разгромить фашистскую Германию.



Тищенко Иван Григорьевич – директор школы (на переднем плане)

Не дрогнул, не растерялся мой бывший учитель, стоя и до последнего сражаясь с фашистами. И в том же году погиб здесь, на Кавказе. А его ученики (наш Николай, Иван Саенко, Катя Пахольская) и многие другие воспитанники советской школы понесли Знамя Победы вперед, освободили оккупированные фашистами земли, водрузили это знамя в Берлине. И все годы войны я имел переписку с Иваном Саенко. Письма от него я получал регулярно. Они имели патриотический смысл, они меня морально поддерживали и помогали во многом.

Ведь я понимал, что моей Родине выпало тяжелое испытание, верил, что выйдет она из него с победой. Что добро и красоту она несет в своем сердце.

Хлеб замерзал: его грели на кострах и рубили топорами
Тищенко Николай Григорьевич (1924–1991)

Родился в 1924 году в селе Романки Днепропетровской области. Перед началом войны закончил школу.

В начале войны, в 1941 году, с приближением линии фронта, 17-летним подростком отправился вместе с группой своих земляков гнать колхозный скот – коней, овец, свиней – вглубь страны – чтоб не достался врагу. Неоднократно группа погонщиков оказывалась за линией фронта. Вскоре к группе присоединился младший брат, 15-летний Иван: так как он обнаружил фашистских диверсантов и способствовал их поимке, то из соображений безопасности был вынужден покинуть родное село и присоединиться к группе погонщиков.

Двигались на восток, все время находились в прифронтовой полосе. С наступлением осени сильно похолодало. Хлеб замерзал: разогревали его на кострах и рубили топорами. При переправе через Дон попали под страшную бомбежку.

В декабре 1941 года прибыли в Ставропольский край, где, согласно полученному приказу, сдали скот в колхоз. Там же работали до лета 1942 года.



Николай Тищенко с женой Верой и дочкой Светланой

В 1942 году, как только исполнилось 18 лет, был призван в Красную армию. Попал в Орджоникидзевское военное училище, откуда в составе училища был отправлен на фронт. Получил тяжелое серьёзное ранение под Моздоком. После выписки из госпиталя был комиссован и служил нестроевиком в Иране. Демобилизовавшись из армии в 1946 году, сначала вернулся в родное село, но пришлось вскоре уехать из-за страшного неурожая и голода. Работал в Баку в пожарной команде. Затем был направлен на учебу в Харьковское училище МВД. После окончания училища был направлен в Якутию, где и прожил вместе с женой и двумя детьми всю оставшуюся жизнь.

Помню, как из самолета вытягивали окровавленного летчика
Тищенко Михаил Григорьевич, 1939 г. р

Я родился 29 января 1939 года в Запорожской области и о войне помню очень мало. И все-таки. В 1942 году в нашем селе размещались итальянские военные, в том числе и в нашем доме. Один из солдат меня угощал шоколадкой – видно, вспоминал своего сына, которого оставил в Италии. До этого я даже не знал, что такое шоколад.



Михаил Тищенко, 10 класс (1955 г.)

Помню 1943 год, когда немцы отступали, а Красная армия двигалась на запад, в огороде был вырыт блиндаж. И вот уж не знаю, какие части бомбили село; меня, 4-летнего, мама захватила за руку, и мы бежали в блиндаж, а вокруг рвались снаряды. Было страшно. Но все закончилось благополучно.

Когда немцы отступили, то на выгоне, рядом с селом, был организован военный аэродром для легких самолетов, которые совершали боевые вылеты на линию фронта. Из всего этого помню, как один из самолетов после «работы» приземлился и из него вытягивали окровавленного летчика. Он был жив.

После всего этого я задумываюсь иногда, почему я не

участник боевых действий.

Мы резали картошку монетками, «клеили» к раскалённой «буржуйке»
Баранов Павел Николаевич, 1937 г. р

Война началась на двенадцатый день моего «четырёхлетия»: я родился десятого июня 1937 года. Отца помню мало, будни прошли для памяти незаметно, поэтому отложились лишь те эпизоды, когда он нас воспитывал или еще чем-то удивил.

Один эпизод из «будней» остался в памяти. Отец любил детей и в свободные дни таскал в город и за город кучу ребят: детей, племянников, малолеток со двора. Однажды увёз всех гулять в Марьину Рощу, нас с Колькой не взял «по малолетству», было очень обидно, особенно когда они наловили и притащили оттуда каких-то бабочек громадного размера – их была такая прорва, что двор был ими буквально забит. Запомнил еще один случай: из командировки или из отпуска отец привёз нам, младшим, фанерный разборный домик. Это был такой восторг! Вечером в гости пришел его брат Михаил с семьёй: женой и двумя дочерьми, нашими ровесницами. И вот, когда гости стали собираться домой, девчонок было не оторвать от игрушки. Отец распорядился: «Мы вам дарим…» Скандал был ужасный, даже «старшие» не одобрили широкий жест отца. Со «старшими» нас было пять мальчишек. Андрей (1928 г. р.), Дима (1932 г. р.), Миша (1933 г. р.) и мы: я – Павел (1937 г. р.) и Коленька (1939).



Братья, 1941 г. Андрей – самый старший, у него на руках Николай – самый младший, Павел, Дмитрий, Михаил

Отец был родом из города Рыльска Курской области (8.08.1902 г. р.), родился в семье кузнеца, «мастера первой руки» (так назывался специалист самой высокой квалификации). В семье было девять детей – пятеро парней. После революции старший брат отца, дядя Вася, воевал на Гражданской «в красных», младшие братья подростали в кузне деда молотобойцами. В 20-х годах отец служил в армии в Серпухове, там и познакомился с мамой.

Мама родилась в 1903 году в Нижнем Новгороде, в семье служащего Коновалова Н. А., сына купца второй гильдии города Мурома. Бабушка, мамина мама, Зворыкина Л. А. – дочь купца первой гильдии, оттуда же. Дед Николай карьеру начал делать в Нижнем, был управляющим фирмой «Износков и Зукау», известной тем, что она построила первый в России мартен на Сормовском заводе. В семье мамы было шесть детей, четыре – девчонки. Старшие окончили гимназии, университеты, младшим революция не позволила, мама после гимназии вынуждена была поехать в Москву учиться на стенографистку.

Когда мама с отцом появилась в Нижнем, на первом этаже, который снимал дед, была коммуналка из четырёх семей – старшие сёстры мамы уже обзавелись мужьями и детьми. Молодой семье досталась самая маленькая комната, а когда один за другим начали появляться дети, от кухни отрезали еще

комнату величиной в одно окошко. Было тесно, приходилось спать по двое, но, несмотря на тесноту и отсутствие современных удобств, наша родственная коммуналка была чудом – до сих пор улицу Славянскую, где мы жили (до Первой мировой она называлась Немецкой, потом ее переименовали), вспоминаю с восторгом.

Семья деда жила на первом этаже. Двор из четырёх двухэтажных деревянных домов с флигелем, зелёный, с садом, появился в начале века, после того как уже построенные дома перевезли из Канавино, с места Первой Российской промышленной выставки. Территорию двора окружали сараи – капитальные, бревенчатые, двухэтажные, с сеновалами.



Павел пошел в первый класс (1944 г.)

В нашем сарае отец устроил душ: повесил оцинкованный бак вёдер на шесть – восемь, с клапаном, с лейкой, размером с большое ведро. Летом, по утрам, отец заливал бак водой из колонки во дворе. Вечером, после работы, намыливал нас, загонял всех под лейку, залезал сам и дергал верёвку, открывая клапан.

Вода, согревшаяся за день, выливалась быстро, поэтому время терять было нельзя – нужно было успеть смыть всю дневную грязь.

В нашем доме жили:

– дед Николай Александрович с женой (умер в 1947 году в возрасте 78 лет, работал до самой смерти);

– тётя Настя (1897 г. р.), старшая сестра мамы, с сыном

Ромкой (родился в 40-м, мы таскали его каждое утро в ясли на Студёную, в начале 42 года заболел чем-то детстким, умер в инфекционной больнице с голоду, хотя мать работала и сдавала кровь, чтобы его прокормить);

– семья дяди Коли, брата матери: тётя Тоня, сын Шурка (1925 г. р.), дочка Наталья (1928 г. р.), младший сын Кирилл (1936 г. р.);

– семья тёти Мани, маминой средней сестры (1899 г. р.), и дяди Гени, их дочери Аня (1926 г. р.), Таня (1927 г. р.), сын Генка (1931 г. р.);

– наша семья: мама, папа, и мы – пятеро братьев. Наша единственная сестрёнка умерла почти сразу после рождения.

Довоенное время было тяжелым, помню, как старшие по ночам занимали очередь за хлебом «в низке» на Студёной, а в 51-м магазине на углу Полевой (сейчас это улица Горького) – за всем остальным…

Мы с Колькой младшие, по воскресеньям убегали от нашего довольно скудного завтрака, чтобы ходить по коридору в надежде, что нас угостит кто-нибудь из родственников-соседей. Отец страшно злился на нас за попрошайничество, сажал в наказание на стул лицом к печке.

Война началась в воскресенье, мы всей семьёй были в гостях у дяди Вити, смотрели в окошко, как во дворе ребята кувыркались на лужайке и кричали: «Внимание-внимание, на нас идёт Германия, а нам то нипочём, из пушки – кирпичом!»

И тут началось: исчезли мужики во дворе – ушли на фронт, остались только отец и дядя Геня (муж тёти Мани, средней сестры мамы).

Война началась в воскресенье, мы всей семьёй были в гостях у дяди Вити, смотрели в окошко, как во дворе ребята кувыркались на лужайке и кричали: «Внимание-внимание, на нас идёт Германия, а нам то нипочём, из пушки – кирпичом!»

Чтобы добыть какую-нибудь еду, пришлось прикрепиться к какой-то столовой – она была далеко, на Откосе. Как сейчас помню: возвращаемся мы с мамой оттуда, она вся обвешанная сумками с посудой, навстречу едет какая-то полуторка, вдруг она как бахнет из глушителя, от неожиданности я даже обдулся от страха, я уже тогда знал, что такое взрывы. Автозавод и Мызу бомбили с первых дней войны, по ночам выла тревожная сирена. У нас во дворе даже выкопали защитную щель, зенитки колотили по ушам, прожектора метались по небу, искали самолёты.

К тревогам привыкли быстро, не помню, чтобы хоть раз спустились в щель, жители со всего дома собирались в сенях на первом этаже, с минимумом барахла, выглядывали из двери на то, что творится в ночном небе. В конце войны в сени выходили уже только те, кто просыпались.

Отец безвылазно пропадал на работе и еще был включён в мобилизационную комиссию в райсовете. Со дня на день ему должны были дать на работе бронь – освобождение от призыва на фронт.

В одно из воскресений он был почему-то дома. Обедали, вдруг со двора прибегают девчонки, всполошённые такие: «Дядя Коля, вас там зовут!» Мы все выскочили на крыльцо: две тётки с ребятами, сумки какие-то. Тётки падают на колени и голосят: «Примите, ради бога, бедных беженцев…» Оказалось, тётки – сёстры отца, они жили в Ленинграде, отдыхали летом в Рыльске, чуть не попали под немцев, приехали спасаться в Горький к родне. Зачем нужно было падать на колени, никто не понял, помню, как стыдно было нам всем за устроенный ими спектакль.

> Вскоре отец получил повестку – он отказался от брони и ушел на фронт. Был ноябрь месяц, очень холодно, много снега, настоящая зима. Немцы были уже под Москвой. Вечером накануне отъезда отец принёс колбасу! Я знал только слово, вкус к тому времени уже забыл. А утром отец уехал.

Поселили их в комнате дяди Вити. Тот уже имел бронь, работал на Ленинском заводе на Мызе, был слесарем-лекальщиком седьмого разряда, на работе пропадал сутками, во время воздушных тревог дежурил на водокачке на территории завода. Однажды, во время бомбёжки, взрывной волной его сбросило с водокачки, волна и помогла ему не разбиться. После падения не нашли ран, одни синяки. Только после войны выяснилось, что была контузия, последствия которой не дали ему жить.

Вскоре отец получил повестку – он отказался от брони и ушел на фронт.

Был ноябрь месяц, очень холодно, много снега, настоящая зима. Немцы были уже под Москвой.

Вечером накануне отъезда отец принёс колбасу! Я знал только слово, вкус к тому времени уже забыл. А утром отец уехал. На Ромодановский вокзал его провожал Андрей, старший сын, он должен был забрать одежду, после того как отца переоденут в форму. Но Андрей вернулся с пустыми руками, не смог добиться, чтобы ему выдали вещи отца. Мама первый и последний раз в

жизни сказала ему что-то резкое – он всегда был «слишком правильным».

Отец попал на учёбу в Ташкент, в академию тыла. До самого мая в письмах обещал прислать нам посылку с кишмишем и курагой. Мы тогда мечтали только о еде.

Жизнь стала страшной. Есть хотелось всегда. Мама варила «кашу-завариху» – отруби, сваренные в воде. Как-то раз я решил свою кашу охладить, выставил тарелку в форточку, а дворовые ребята по сугробам подобрались и съели! Беда.

Мама бралась за любую работу, шила на дому, помню, один раз – партию противогазных сумок.

Сдавала кровь, причём ухитрялась в обход правил сдавать два раза в месяц: один раз в районной станции переливания крови, в другой – в городской.

Вечером таскала по сугробам готовые обеды из столовой на Сенной в какое-то учреждение на Тверской (порядка трёх километров), какая-то мелочь доставалась ей в качестве платы. Брала с собой старших сыновей – помогать. А мы с младшим братом Колькой, голодные, вечерами тряслись от холода в тёмной квартире.

Вспоминаю такой случай: как-то вечером пришли знакомые, ждали маму. На столе в тарелке лежали несколько кусочков селёдки. Гости шмыгали в эту сторону носами – тогда голодными были все. Колька предлагает:

– Кушайте.

– Да это маме вашей осталось.

– Мама не ест селёдку, она ест только головы.

С тех пор селедку я есть не могу…

Старший брат Андрей уехал работать в Дзержинск, делал взрывчатку. Иногда привозил нам какую-нибудь еду и головые шашки – нам показать. Ему было тогда 14 лет! Доработался до того, что ему доверили собирать взрыватели для гранат. Работал в бронированном помещении, даже чихнуть нельзя было, иначе взлетит на воздух весь Дзержинск.

Из Москвы к нам эвакуировалась тётя Валя – жена дяди Серёжи, младшего брата отца, с ребятами. Целый день пропадала где-то, добывала прокорм, а мы нянчились с малышами – ребятишки были еще младше нас с Колей, тут уж мы были «старшими». Жили они у нас недолго, через полгода подались обратно.

Шурка, наш двоюродный брат, сын дяди Коли, бросил девятый класс, ушел работать – точил черенки для лопат, рукоятки для ножей.

Взрослых в доме не было целый день – все работали. Старшие

девчонки учились, парни сидели дома. Школы не работали, учили иногда на квартирах, школы стояли холодные – те, которые не были заняты под госпитали.

Дядю Геню, тёти Маниного мужа, мобилизовали. Участник Первой мировой, Гражданской, стал майором, командиром роты химзащиты города Горького.

Отец после окончания академии в Ташкенте получил назначение в Сталинград помощником командира по артснабжению отдельного батальона истребителей танков. Обещал вызвать нас к себе, когда оглядится (тогда еще Сталинград был тылом, шел май 1942 года).

Тревоги участились, начали бомбить и город. Старшие ребята лазили на крыши, охранять от зажигалок, притаскивали кучу зенитных осколков.

> На все запросы ответ был один: «В списках убитых, пропавших без вести капитан Баранов не числится». Пенсию нам не платили, давали пособие по мобилизации – 250 рублей (стоимость буханки хлеба или стакана махорки).
>
> На письмо Сталину в 1947 году пришел ответ: «В связи с уточнением обстоятельств гибели вашего мужа, вам назначается пенсия».

Помню, бомбы падали возле Среднего базара, на Краснофлотской (сейчас улица Ильинская), внизу, на Полевой (улица Горького – это всё исторический центр города). Ходили туда – там жили старенькая мать дяди Гени с дочерью Ниной, сын тёти Нины воевал. Старушка была уже на пределе, от старости у нее отказывали мозги, куда-то уходила из дому, постоянно терялась. Мы всей ребятнёй рассыпались по городу на поиски, приводили домой. Как-то мы ее привели от самой Волги, с улицы Маяковского (теперь Рождественская). Мне тогда было пять лет, по всему городу я передвигался самостоятельно.

Письма от отца пропали. Последнее пришло от 8 августа 1942 года: «Сегодня мне исполнилось 40 лет, а я уже совсем седой…» и еще «Мне присвоили звание капитана». И всё. На все запросы ответ был один: «В списках убитых, пропавших без вести капитан Баранов не числится». Пенсию нам не платили, давали пособие по мобилизации – 250 рублей (стоимость буханки хлеба или стакана махорки). На письмо Сталину в 1947 году пришел ответ: «В связи с уточнением обстоятельств гибели вашего мужа, вам назначается пенсия».

Спустя полвека узнали судьбу армии, положенной с целью помешать немцам форсировать Дон по пути к Сталинграду. Ни

даты гибели, ни подвигов отца, явившихся основанием для повышения в звании за полтора месяца войны, за семьдесят прошедших лет так и не добились.

Не умереть с голоду нам тогда помогла семья маминой средней сестры – дядя Геня с тётей Маней. Они просто объединили две семьи вместе: их пятеро плюс нас шесть человек.

Топить было нечем, дров не было, в самой дальней комнате у девчонок установили «буржуйку», вывели трубу в дымоход, по вечерам в темноте собирались там все вместе, иногда пели хором. Когда была картошка, резали её монетками, «клеили» к раскалённой «буржуйке» (печка была сделана из металлической бочки).

Однажды тётя Маня принесла килограммовый пакет сои – ее прислали на исследование к ним в лабораторию санэпидемстанции. Жарили. Было вкусно.

Война навсегда осталась в памяти тёмными лампочками с чуть-чуть светящимися розовым спиралями.

Читали каждую свободную минуту абсолютно все – это помогало немного забыть о голоде. Дедуся повадился по вечерам устраивать для нас чтения: усаживал в самой большой комнате всех внуков, сам, стоя, читал нам какие-то романы (сериалы блекнут!). Мечтали вырасти и перечитать их. Библиотеку дед продал, нужно было есть. Затем продал коллекцию каслинского литья – были до революции у него какие-то связи по работе с Касли. Последним продал рояль.

Мама читала нам на ночь, пока мы согревались в постели, стихи, чаще Некрасова (в темноте – наизусть). От тёти Мани я узнал о Блоке, Есенине, Саше Чёрном. Их библиотека была абсолютно доступной. Таня (дочь тёти Мани) выучила наизусть «Евгения Онегина». Тётя Настя читала по-французски, тётя Маня по-немецки. Книги обсуждались. Радио было включено круглосуточно, кроме сводок с фронта, слушали симфоническую музыку.

Где-то возле города нашими был сбит немецкий самолёт. Обломки были привезены и выложены на площади Минина у подножия памятника Чкалову. Весь город ежедневно ходил на это зрелище.

Как-то бывшее отцовское начальство сообщило, что нужно забрать «помощь», которую оставили нам на его работе. Мама пошла на Ярмарку в Канавино – в одном из лабазов была контора отца. Мама одна ходить боялась – могла умереть от истощения где-нибудь по дороге, ей нужен был сопровождающий, взяла меня. Идём обратно с кульками в авоськах, уже стали подниматься по Похвалинскому съезду в гору (трамваи почти не

ходили, зато была железнодорожная ветка с моста на Ромодановский вокзал). Вдруг – сирены. Заколотили зенитки, внизу что-то ухнуло – бомба. Мама положила меня на склон, прикрыла собой, и вот он пролетел, низко-низко над съездом, стрелял из пулемёта. Всё так быстро, что я и испугаться не успел.

Дяди Генина рота стояла в Марьиной Роще. Поскольку она состояла из горьковчан, командир роты решил на опушке разбить огород для семей офицеров и солдат. Появилось занятие: с весны до осени ежедневно ходить на огород. Мозоли от лопат не сходили у нас с рук еще много лет. Нужно было охранять посадки, ухаживать за ними, в конце лета прореживали морковь, свёклу, подкапывали картошку (руками лазили в землю, отбирали клубни покрупнее, значит, было что варить).

Очень трудно было найти семена. Картошки к весне уже не было, остатки мелочи тщательно выбирали из подполья, резали пополам, кропили водой и выкладывали на солнце, чтобы она прорастала, – это был наш посевной материал.

Искали грибы, орехи и всё что можно есть. На огороде голод ощущался не так остро: в начале лета крапива, щавель, липовый цвет, потом – всё подряд.

Настоящей проблемой была дорога. По Тверской – через свалку – выходили к речке без названия, затем в гору. Гора – это то, что сейчас Бекетовка, а тогда там было стрельбище. Всё пространство до самой Лапшихи простреливалось днём и ночью, а значит, на тропинке – охрана. Чаще попадали в перерыв, но иногда не получалось. Спускаемся к речке, часовой нас тормозит.

Садимся, сидим. Ему скучно, только он отвлечётся, мы без команды перепрыгиваем речку и бегом в гору. На крики «Стой!» не обращаем внимания. Вбегаем чуть повыше, часовому уже не хочется лезть под пули. Короткими перебежками переваливаем горку и уже спокойно спускаемся к огороду. И так каждый день, только часовой каждый день – новый, вчерашний уже на фронте.

На огороде нас уже ждал какой-нибудь старик из чьей-нибудь семьи – сторож. Он валился в землянку отдыхать, а мы заступали «на службу». Дело в том, что голодные солдатики, отстрелявшись, шли «стрельнуть» что-нибудь съестное, а мы стояли стеной. Доходило до того, что, спрятав в кустах винтовку, солдатик по-пластунски полз «на добычу». В это время кто-нибудь уже перепрятывал его оружие, а мы хором будили сторожа. Не найдя спрятанного, «жулик» молил вернуть ему оружие и клялся никогда не воровать.

Как-то мы нашли в роще половинку немецкой осветительной бомбы – корыто, по форме схожее с лодкой, и с наслаждением катались в озерке.

Дяди Генина рота была отправлена в 43-м на фронт под Курск. Там и пропала. Сам он был комиссован – сердце. Умер в 50 году, прожив 51 год.

Под конец лета к нам пришла учительница Андрея, советовала ему окончить седьмой класс, он ушел с завода, вернулся в школу.

Мобилизовали Шурку, маминого племянника. Он отучился в Арзамасе и как раз угодил на Курско-Белгородскую битву. Он и его одногодки (1925 г. р.) попали в страшную мясорубку, а выжившие после победы должны были дослуживать за погибших и неродившихся до середины пятидесятых годов. Загубленная молодость. Прощаясь, он пел: «Уходит мой год по приказу наркома, прощай, до свиданья, прощай» – это что-то народное. Были там еще слова: «Чтоб сердце моё, чтобы нашу границу не тронул бы враг никогда».

Он родился 9 мая – двадцатилетие пришлось на Берлин.

Радист-разведчик – ни одного ранения, через 30 лет лишился глаза – последствие фронтовой контузии.

Пришло сообщение, что дед Илья, папин отец, пал жертвой Курской битвы. Советский снаряд упал во дворе его дома, дед скончался от контузии.

Брат Андрей, окончив седьмой класс, поступил в военно-морское подготовительное училище.

Брат Мишка – в Суворовское.

В 1944-м я пошел в первый класс. Брали восьмилеток, пришлось нести в школу книгу «Салават Юлаев» – роман страниц на четыреста, который я уже осилил к тому времени. Школа была мужская. Одним из предметов в первом классе было военное дело. Изучали противогаз, винтовку, автомат. Директор школы и преподаватели были инвалиды войны – ходили в форме, хромали.

Меня взяли в Горьковскую капеллу мальчиков. Пел в хоре. Ходили с концертами в госпитали к раненым, солдатики плакали, глядя на нас.

Сердце мучит сумятица,
Степь - не видно конца.
Поезд знай себе катится
На могилу отца...

Сколько всё передумано -
Шестьдесят восемь лет!
Наконец-то сподобился:
Целой жизни обет!

Дальний вечер прощания
Через всё пронесу,
Так он живо запомнился -
Ты ж принёс колбасу!

Время к нам пристрелялося,
Вот двоих уже нет,
Мама тож отождалася...
А тебе сорок лет!

Сыплю, что заготовлено,
Пол-страны провозил,
Болью сердца замолвлено -
Землю с кровных могил.

У подножия лилии,
Всё достойно, елей...
В камни вбиты фамилии,
Что ж не видно твоей?

Уложили тут А Р М И Ю
За страну умирать...
Речка Добрая, Добринка
Боже, надо ж назвать!







Сердце мучит сумятица,
Степь – не видно конца.
Поезд знай себе катится
На могилу отца…

Сколько всё передумано —
Шестьдесят восемь лет!
Наконец-то сподобился:
Целой жизни обет!

Дальний вечер прощания
Через всё пронесу,
Так он живо запомнился —
Ты ж принёс колбасу!

Время к нам пристрелялося,
Вот двоих уже нет,
Мама тож отождалася…
А тебе сорок лет!

Сыплю, что заготовлено,
Пол-страны провозил,
Болью сердца замолвлено —
Землю с кровных могил.

У подножия лилии,
Всё достойно, елей…
В камни вбиты фамилии,
Что ж не видно твоей?

Уложили тут АРМИЮ
За страну умирать…
Речка Добрая, Добринка
Боже, надо ж назвать!

Стихотворение Павла Баранова

Года с 44-го в городе появились пленные немцы – строили дома. Один мальчишка лет двадцати повадился в обед бегать в наш двор – просить поесть. Сочувствие нашел только у мамы, она подкармливала его из жалости, а мы, мальчишки, честно говоря, стеснялись перед соседями. Строили они где-то на Белинского, и каждый день он в обеденный перерыв проделывал немалый путь до нашего дома, потому что нигде больше не находил сочувствующих. Когда мальчишку отправили на родину, он привёл «заместителя» – пожилого немца.

Война вошла в Германию. С фронта поехали посылки. Дядя Миша, брат отца, как-то прислал и нам. Дядя Миша и после войны забегал к нам с работы, приносил подшитые валенки. Помню американские «подарки» – консервы, желтковые порошки, маргарины. Помню, как пригнали американские танки в Пушкинский сад. Мы бегали смотреть, собирали чехлы от снарядов, потом пригодились – таскать чертежи, когда учились в

институте. Танки ушли под Москву, больше об их судьбе я ничего не слышал.

День Победы мы начали праздновать на день раньше – сосед командовал телеграфом в Доме связи, он-то нам и сообщил. Погода была неважная, но кто смотрел на погоду!

Мир моего детства в годы войны и послевоенной разрухи
Тольская Ольга Георгиевна, 1940 г. р

Атмосферу всеобщего страха и тревоги дети воспринимают на уровне подсознания и быстро взрослеют. До трёх лет помню отдельные эпизоды скорее как фотографические снимки, чем связные события. Мне было бы проще нарисовать их, чем описать. Но, к сожалению, рисовать не умею! Кое-что выплывало из туманного небытия при рассказах родителей и старших братьев. После трёх лет помню многое достаточно отчётливо. Для детей и внуков записала всё и попыталась сложить мозаику своего детства.

Когда началась война, мне было полтора года. Мы жили на даче под Ленинградом, в Териоках. В субботу к нам приехал погостить двоюродный брат Андрей, который старше меня на 14 лет, и с моим папой пошёл на рыбалку. В сторону Выборга по шоссе сплошным потоком двигались войска. Папа решил, что проводятся военные учения. Утром, в воскресенье, около пяти часов, на бреющем полёте появились немецкие самолёты. Один летел очень низко.



Видна была свастика и лётчик в шлеме, он улыбался и махал рукой. Вскоре по радио объявили, что началась война!

Папа сумел пристроить нас к эшелону, в котором эвакуировался проектный институт, где он работал. Быстро собрались, не взяв даже тёплых вещей, о чём мама с няней часто с горечью вспоминали, и уехали в Арзамас к маминым родителям. В дороге эшелон бомбили. До сих пор помню пронзительный вой сирены, который проникал везде и вселял необъяснимый ужас. В страхе я прятала голову под подушку, где в темноте и тепле чувствовала себя в полной безопасности. На одной из станций нас кормили манными оладьями с киселём.

В Арзамасе мы прожили около года. Мама пошла работать бухгалтером в школу. Было голодно. Няня продавала свои вещи, чтобы купить продукты.



1941 г., март.
Наталья Кирилловна Тольская с сыном

Дедушка стрелял ворон, их варили и ели. Пахли они отвратительно! Бабушка раз в день топила печку и парила в чугунке мороженый лук. От недоедания у мамы начался фурункулёз, она не могла ходить, и няня возила её к врачу на саночках.

Арзамас расположен в степном засушливом районе, где

летом практически не бывает дождей. Колодцы пересыхают, речку Тёшу может вброд перейти ребёнок. Городской водопровод имел ограниченные возможности, и власти города ввели для населения норму отпуска воды. Воду выдавали на колонке по специальным талонам, которые отры-1941 г., март. вал дежурный.

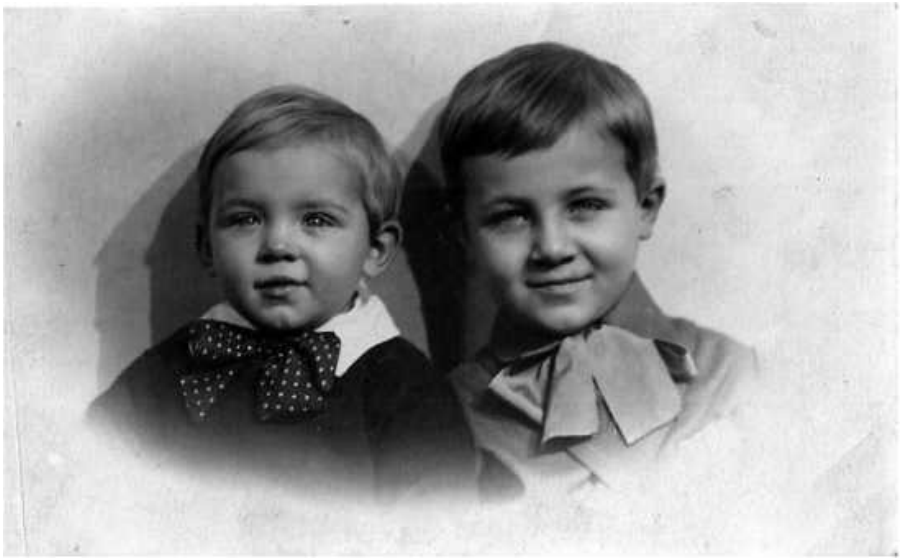
На папу пришла бронь из министерства, и его направили на Урал, в Свердловскую область, на Ново-Лялинский картонный комбинат для организации выпуска военных изделий. Летом 1942 года мы получили от папы вызов и с большими трудностями, в переполненных беженцами составах, добрались до Новой Ляли.

> Утром, в воскресенье, около пяти часов, на бреющем полёте появились немецкие самолёты. Один летел очень низко. Видна была свастика и лётчик в шлеме, он улыбался и махал рукой. Вскоре по радио объявили, что началась война!

Прекрасно помню отъезд из Арзамаса. Жара, пыль, толпы людей на перроне, штурмующих вагоны. Крики, шум, ругань, плач детей. Я отчаянно реву на руках у дедушкиного брата. Наконец, в окне вагона появляются мама, няня и Кирилл. Окно опускается, и дядя передаёт меня в родные нянины руки!

Первое время в Новой Ляле мы жили в бараке вместе с семьями высланных из Поволжья немцев. Большая общая холодная кухня, заиндевелые двери на улицу. На этой кухне, к ужасу моей мамы и няни, немцы каждый вечер сажали своих детей в таз и обливали холодной водой! Русский контингент барака очень взволнованно это обсуждал, осуждал и возмущался.

У этих немцев мама купила мне любимую, сохранившуюся до сих пор, куклу Нельку и фарфоровый детский сервиз с супницей, салатником и соусником.



Ольга и Кирилл Тольские (1,5 и 3,5 года)

Из барака мы переехали в маленький дом в посёлке, где у нас была большая общая комната и проходная кухня с выходом на улицу. На кухне было тепло только тогда, когда топилась чугунная печка. К утру всё выдувало. Поросёнок, который жил у нас на кухне, забирался спать в духовку. Однажды няня не посмотрела и затопила печку. Бедный поросёнок выкатился оттуда с подпаленной щетиной и обгоревшими боками.

Там же я решила проверить, правда ли, что если в мороз языком лизнуть что-нибудь металлическое, то язык примёрзнет?! Оказалось, что правда! Я лизнула дверную ручку и примёрзла. Пришлось няне отливать меня водой из чайника.

Не могу установить какой-то хронологической последовательности в воспоминаниях. Почему-то больше всего помню зиму.

Из летних событий:

– Соседи держали гусей и барана, которых я очень боялась. Гуси шипели и щипали меня, а баран однажды прижал меня к забору, но я была маленькая и оказалась как раз между его рогами. Спасла меня, конечно, няня.

– Ловили налимов в реке под камнями. Однажды Кира руками поймал большущую рыбину.

– Помню первое платье, которое мне перешили из старого маминого красного в мелкий белый цветочек.

До пяти лет меня одевали «мальчиком» в то, что оставалось после Киры, а папа не давал отрастить мне волосы хотя бы до тех размеров, чтобы можно было завязать бант. Папа водил меня

стричь «под мальчика», уговаривал вплоть до подкупа сладким. Против такого аргумента я не могла устоять и соглашалась. Мама сердилась, а папа смеялся и шутил… Вкус и фантик первой своей конфеты помню до сих пор: это был леденец с мятным привкусом. «Дует!» – сказала я, взяв его в рот.

Дружила только с мальчишками, всюду таскалась за Кирой. Помню, что однажды пришла к нему в школу. Учительница посадила меня за последнюю парту.

Играли, конечно, только в войну, в партизан. Наши друзья, братья Леонтьевы – Коля и Витя, – решили проверить собственную стойкость, если попадут к немцам в плен. Витя взял молоток и изо всех сил стукнул Колю по голове. Хорошо, что силёнок у Вити было не очень много, ему было пять лет. Однако голову Коле пробил.

После войны эти мальчики оба погибли. Их отца перевели работать директором ЦЗ «Питкяранта» под Петрозаводск. Он с детьми на «уазике» поехал за грибами. Стал разворачиваться и задними колёсами съехал на обочину дороги. Взрывной волной отца выкинуло из машины, и он остался цел, а мальчики сидели сзади, и их разорвало на куски…

Очень любили играть в бесконечных поленницах, которыми был заставлен весь наш двор. Там у нас были свои тайники. Однажды мы все чуть не сгорели: развели костёр, и дрова загорелись. Кира не растерялся, сдёрнул ватную курточку со своего приятеля и погасил огонь. Куртка почти вся обгорела, и нам сильно досталось.

С детства боюсь пожаров. Запах гари приводит меня в ужас. Сердце начинает бешено биться. Я с трудом справляюсь с собой, чтобы не впасть в панику. Когда мы жили уже в другом большом доме на горе, Кира с приятелями в соседней квартире выкуривали кошку из-под печки, бросая туда зажжённую бумагу. Загорелся мусор, дрова. Мальчики перепугались и закрылись. К нам через стену повалил дым. Я хворала, сидела дома и не участвовала в этом озорстве. Няня испугалась, побежала к соседям, а меня попросила позвонить к папе на фабрику. Мальчишки няне дверь не открывали, испугавшись, что им попадёт. Хорошо, мимо шёл молодой парень. Он выбил окно, влез в дом и погасил огонь. Уже горела стена между нашими квартирами.

Однажды вечером бегали смотреть, как горел большой двухэтажный дом. Суетились люди, выбрасывали из окон какие-то вещи, кричали женщины…

Вокруг посёлка были густые кедровые леса. Папа был заядлым охотником и, когда позволяло время, уходил побродить по лесу с ружьём. Однажды к вечеру ушёл ненадолго и не

вернулся. Утром позвонили на комбинат.

Охотой увлекались многие местные жители. Ходили на медведей. У директора фабрики, Василия Саввича Соломко, в сарае жил медвежонок.

Люди отправились его искать, но вернулись ни с чем. Папа пришёл сам только на третий день. Кругом леса, на сотни вёрст одна деревушка или охотничья заимка. Как он сумел сориентироваться и вернуться, я не помню.

Охотой увлекались многие местные жители. Ходили на медведей. У директора фабрики, Василия Саввича Соломко, в сарае жил медвежонок. С его детьми, старшим Юрой и моим ровесником Васильком, мы очень дружили.



С няней

Мы с Васильком не расставались, дружно бегали на все сеансы в кино. Кино показывали в огромном деревянном бараке с рядами скамеек. Клуб принадлежал фабрике, и нас, детей директора и главного инженера, все знали. Что смотрели, совершенно не помню. Помню только, что часто мы с Васьком там засыпали. Нас теряли и везде искали. В конце концов папа запретил киномеханику пускать нас.

У В. С. Соломко был великолепный вороной жеребец с белой звездой во лбу. Мы с Васькой поджидали, когда Василий Саввич

приедет домой на обед или после работы, чтобы прокатиться. На комбинат нас не пускали, мы стояли на повороте к посёлку. Как-то зимой жеребец испугался и понёс. Василий Саввич вылетел в сугроб, а кучер повис на вожжах и волочился за несущимся жеребцом. Мы с Васькой очень испугались, решили, что кучер запутался в вожжах, и жеребец его убьёт.

Зимы были очень снежные и суровые. Дома и сараи заносило по самую крышу. Последний дом, где мы жили, стоял на краю оврага, и мы катались на санках прямо с крыши сарая.

Забирались на крышу дома и прыгали в сугробы, проваливались до плеч, мальчишки меня, как морковку, выдёргивали за руки. На зиму мама шила нам из отработанного фабричного сукна комбинезоны-«медвежата», так что мы могли ползать в снегу в полное удовольствие.

Поздней осенью, пока ещё не выпал снег, но река уже замёрзла, любили бегать по чёрному гладкому зеркалу льда, лечь и смотреть, как внизу, в воде, шевелятся водоросли и плавают рыбы.

В посёлке почти все держали коз и кроликов. Няня тоже занялась «животноводством». Клетки с кроликами стояли на веранде. Кролики кролились зимой, в лютые морозы, поэтому крольчих забирали в дом, чтобы новорожденные не замёрзли… Однажды няня приняла крольчиху за разжиревшего кролика… Как-то утром, к нашему всеобщему огорчению, в её клетке мы обнаружили замёрзших крохотных крольчат. Как я плакала над ними, а няня корила себя за то, что так обманулась!..

Козлята появлялись на свет божий тоже в зимнюю пору, ближе к Новому году. Из хлева их приносили домой… В большой комнате стояла ёлка. Вокруг прыгали пушистые крольчата, кудрявые, с маленькими шишечками-рожками козлята и мы с Кирой! Носились вкруговую по всем комнатам, скакали друг за другом по столам, кроватям… Няня воевала со всеми!

Часто зимой в посёлке появлялись волки. Около проруби в овраге, куда ходили за водой, почти каждое утро находили останки съеденных собак. Однажды, под вечер, я возвращалась домой одна. Шла не по улице, а задворками, за сараями и увидела волка. Он стоял на пустыре, на пригорке: лобастый, опустив низко голову и поджав хвост… От страха я замерла на месте.

Однажды, под вечер, я возвращалась домой одна. Шла не по улице, а задворками, за сараями и увидела волка. Он стоял на пустыре, на пригорке: лобастый, опустив низко голову и поджав хвост… От страха я

замерла на месте.

Волк тоже не двигался. Наконец я с дикими воплями кинулась бежать!..

Кира решил волка подкараулить. Зарядил отцовское охотничье ружьё и сел на крыльцо, напротив сарая, где жили козы… Сидел, скучал, мёрз на холоде. Волка не дождался и пальнул в дверь хлева!

Когда мне было около пяти лет, я превратилась в очень упрямую и своенравную барышню. Препиралась с няней, дерзила маме… Однажды поссорилась с обеими и решила уйти из дома! Мне без возражений собрали мешочек с вещичками и сказали: «Ну что ж, раз тебе плохо с нами, иди!» Я оделась, взяла мешочек, вышла из дома… Дальше крыльца я не ушла! Сидела, плакала и очень себя жалела…

Была, как говорят, «папиной дочкой». Кира больше похож на маму, я – на папу.

Папа был более терпелив со мной. Уложить спать меня мог только папа. Он садился играть со мной в карты и начинал выигрывать. Я сердилась, лезла на него с кулаками, надувалась и отправлялась спать! Вначале укладывала все игрушки, так что для меня места на кровати оставалось очень мало…

Частенько среди ночи падала и шла под бок к папе: «Подвинься, ишь развалился!»

Мыться в баню ходили к старикам-староверам. Дом и хозяйственные постройки у них были расположены под одной крышей и выстроены из почерневшей от времени лиственницы. Двор выстлан тёсом. При холодных снежных зимах это было очень удобно. Не нужно было выходить на улицу, чтобы пройти в хлев, сарай или баню. Мне очень нравилась сумеречная темнота двора, доски под ногами, низенькие двери в дом, крошечная банька… уютные старые люди, такие же кряжистые, приземистые и основательные, как и их дом…

В бане было невыносимо жарко. Не знаю по какой причине, однажды меня мыл папа. После мытья, одевая меня, не мог разобраться с моей одежонкой: где чистое, где грязное? Кое-как натянул на меня что попало, чулочки к лифчику не пристегнул. Я с рёвом, придерживая сползающие чулки, пришла к хозяевам. Была утешена, напоена чаем и приведена в должный вид!..



1 класс школы № 164. Ольга впереди справа (лежит)

У кого-то из Кириных друзей умерла бабушка. Кирюшка пришёл с поминок и рассказывал, что ел там блины. Мне так захотелось блинов, что я начала горько плакать от обиды, что меня не взяли. Тогда Кира говорит: «Лялька, не плачь! У них есть ещё старенький дедушка, когда он умрёт, я тебя обязательно возьму!..»

Голода я не помню. Бог миловал! Мы не голодали, но, конечно, питались очень скудно. Самым большим лакомством был чёрный хлеб с растительным маслом и солью. Почему-то запомнилось, что масло няня наливала на чугунную сковородку, сыпала соль, и мы туда макали хлеб…

Помню рассказ папы о том, как он с одним парнем с фабрики поехал в командировку в леспромхоз. Там их угостили горячим хлебом. Парень съел всю буханку и умер от заворота кишок…

Сразу после войны появились жмыхи, отходы от приготовления растительного масла, и шроты – от приготовления соевого масла. Все дети грызли их как самое большое лакомство. Даже рыбий жир, который нам давали перед обедом, я пила с удовольствием, заедая его чёрным хлебом с солью. Мой двоюродный брат, Андрей Тольский, лил рыбий жир везде, даже в суп!

Приблизительно в 1944 или в начале 1945 года, начали поступать посылки из Америки по ленд-лизу. Папе на фабрике выдали (что я запомнила): большую жестяную банку колбасы, серую в мелкую клетку юбку из очень мягкой шерсти, которую я

носила, когда уже училась в институте.

Банка с колбасой запомнилась потому, что пустая была выдана мне для игры, и я очень сильно порезала руку о её край. Шрам между указательным и большим пальцами на правой руке у меня остался до сих пор…

Несчастная Россия! В 1990-х годах, в период очередного передела власти, опять, как во время войны, Америка, страны Европы, Израиль… стали присылать гуманитарную помощь: продукты, вещи… Круг замкнулся…

В феврале 1943 года к нам на Новую Лялю, похоронив родителей, из блокадного Ленинграда приехала папина сестра, Анна Андреевна Тольская. Ей было тогда 40 лет, но выглядела она старухой. С опухшими и сочащимися сукровицей ногами, шатаясь от слабости, шла, опираясь на палку. Чулки приросли к ногам. Чтобы их снять, пришлось долго отмачивать. Папа устроил её работать на комбинат браковщицей гильз для снарядов. Придя с работы, тётя Ася забиралась со мной на лежанку русской печки и рассказывала разные истории о том, как маленькая залезала в книжку с картинками и играла с её героями… Она была большая фантазёрка! Я замирала от восторга и допытывалась, как ей это удавалось. Тётя Ася загадочно улыбалась, сияя большими зелёными глазами, и отвечала: «А вот так!» – не раскрывая свою тайну!..

В феврале 1945 года папа был направлен на работу в Финляндию, в торгпредство, в качестве наблюдающего за отправкой оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности в СССР. Из Финляндии папа присылал нам красочные открытки с трогательным текстом, которые я бережно храню и перечитываю с любовью и нежностью.

Папа пробыл в Хельсинки полгода. Решался вопрос о продлении командировки и возможности приезда в Финляндию семьи. Однако этого не случилось. Папу отозвали, и поехал в Финляндию кто-то из министерства.

Папино возвращение в нашу нищую жизнь казалось возвращением из сказки! Его рассказы о жизни в Финляндии, симпатия к финнам запомнились с детства. Тёплое отношение к этой стране и её жителям у меня сохранилось и поныне.

Из поездки папа, конечно, привёз всем подарки! Из того, что помню:

– Швейцарские позолоченные часики на изящном браслете для мамы. Когда я была студенткой, мама подарила их мне. Затем их носила моя дочь Аня, но у неё их украли вместе с сумочкой.

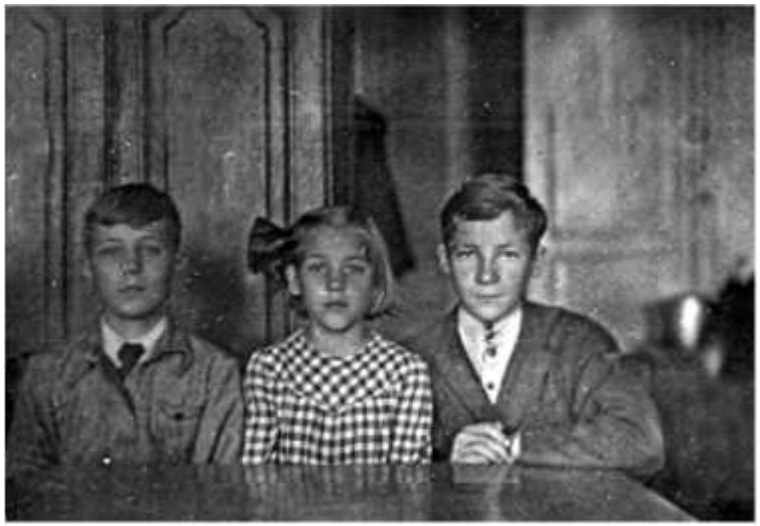
– Немецкий патефон с большим количеством пластинок, который был огромной редкостью и мечтой многих в послевоенное время. Он работает до сих пор, но иголки все затупились, новых не достать. Я редко завожу его – боюсь испортить пластинки.

– Набор цветных карандашей и финских ножей разных размеров с рукоятками из карельской берёзы, в тонких деревянных ножнах, которые мы с Кирой раздаривали, теряли, и очень скоро от них остались один воспоминания! Сохранился только один самый большой папин нож. Теперь он у Кирилла.

Возвращение из эвакуации

В апреле 1946 года мы получили разрешение выехать в Ленинград. Поехать вместе с нами папа не смог – задержали дела на комбинате. Сопровождал нас молодой паренёк Вася. Ехали со всем скарбом в теплушке, малой скоростью. Вагон был рассчитан на две семьи. С двух сторон от двери были настланы нары, в середине – печка-«буржуйка». Входили и выходили из вагона по приставной деревянной лестнице, которую поднимали внутрь вагона. С нами ехала ещё одна семья с двумя девочками, одну из которых я случайно встретила в Архангельске, когда была там в командировке. Она меня узнала, хотя мы не виделись почти двадцать лет!..

Ехали очень медленно. Подолгу стояли на полустанках, пропуская военные эшелоны, возвращающиеся с войны. Когда переезжали Уральский хребет, остановились надолго и побежали смотреть ледоход на реке Чусовой. Стояли на горе. Внизу в расщелине неслась река, выталкивая на крутые скалистые берега сахарные глыбы льда, вздымая и громоздя их друг на друга… Светило солнце, сияли брызги воды, лёд… синело небо, свет слепил глаза… и вдруг мы увидели, что состав медленно тронулся! Мама стояла в проёме двери, и отчаянно кричала нам, и махала руками! Мы бросились догонять поезд. Вася по очереди посадил нас на площадку последнего вагона. Весь перегон мама выглядывала на нас из окошка и очень волновалась. Я стояла, прижавшись к стене вагона. Было довольно страшно стоять на открытой со всех сторон площадке. Хорошо, что перегон был небольшим. Состав просто перегоняли с одного пути на другой!



Слева направо: Кирилл и Ольга Тольские, Валерий Корнилов, 1949 г.

После Уральских гор пошла равнина. Проезжали по полям сражений. Всюду стояли развороченные взрывами танки, какие-то искореженные груды металла… Иногда в кинохрониках военных лет показывают кадры, снятые после боёв на Курской дуге. Очень похоже на то, что мы видели из окна своей теплушки. Теплушка была точно такой, в каких возвращались с фронта солдаты, сидя в проёме раздвинутых дверей вагона…

В пути мы, дети, лежали на нарах, прильнув носами к маленькому окошечку, толкаясь и ссорясь за лучшее место. Внизу взрослые варили обед на буржуйке. На станциях бегали за кипятком и за водой…

Нам нравилась такая кочевая жизнь… Всё было интересно и увлекательно. Я не помню, сколько дней мы ехали, но думаю, не меньше месяца…

В Ленинград приехали под вечер в середине мая. Город поразил множеством разрушенных домов, тёмными провалами выбитых окон, камуфляжной окраской зданий, битюгами, запряжёнными в телеги на резиновом ходу, пустыми улицами с редкими прохожими, сумерком белой ночи…

Приехали мы на старую квартиру, в которой жили до войны, ул. Красной Конницы (до революции и теперь – это улица Кавалергардская), дом 20, кв. 14. Наша комната оказалась незанятой. Мебель и рояль, закрытый клеёнкой, сохранились… Где-то я недавно услышала, что в городе сохранились рояли потому, что их невозможно было сжечь. Дерево было так обработано, что не горело в печках-буржуйках. Не хватало

температуры разогрева для горения.

Квартира была на пятом, последнем этаже. Потолок протекал, на рояль капала вода, но клеёнка спасла его, он не пострадал. Мама очень дорожила этим роялем. Его прислали ей родители в Ленинград из Козьмодемьянска пароходом.

Первую ночь после приезда ночевали у тёти Лены Тольской, чья семья жила в той же квартире. Они вернулись из эвакуации раньше нас и уже обустроились.

В квартире было пять комнат, вдоль них шёл длинный узкий коридор, в конце которого была кухня с выходом на чёрный ход. В кухне – большая плита, облицованная кафелем, раковина для умывания, столики вдоль стен с примусами, певшими на разные лады. Позднее примусы заменились керогазами и керосинками. Они уже не пели, но коптили немилосердно!

Кроме нашей семьи, занимавшей одну комнату, в квартире жили: в двух комнатах семья папиного брата, Петра Андреевича, жена – тётя Лена – и два сына: Андрей и Сергей.

Тётя Лена, Елена Владимировна, урождённая Карцева, была из потомственных дворян. Играла на рояле, прекрасно шила, вышивала, чему учила и нас с Сергеем. В комнате рядом с нами жила бездетная пара: военврач Антонина Алексеевна Швецова и её муж, Иван Александрович Высоцкий, бывший солдат Преображенского полка царской армии. Отечественную войну он закончил в чине майора. Оба имели очень много наград. В войну 1914 года Иван Александрович был награждён Георгиевским крестом. Он тяжело и много пил. Мы, дети, прятались по комнатам, когда он входил в квартиру. Часто скандалил и бил Антонину Алексеевну…

Несчастный был человек, не сумевший определить себя в мирной жизни… Высокий, сутулый, очень худой. Он ходил всегда в длинной солдатской шинели и в сапогах.

До войны у них был сын, который умер от туберкулёза. Его детские игрушки и книги Антонина Алексеевна отдала нам, и мама очень волновалась, как бы мы не заразились, хотя и прошло много лет после его кончины.

В последней маленькой комнатушке, переделанной из ванной комнаты, напротив кухни, жили мать со взрослой дочерью. Обе некрасивые, маленькие, бесцветные, похожие на мышек. Я иногда заходила к ним в гости. Комодик, столик у окна, узенькие кровати, накрытые накидками, салфетками, связанными крючком из простых белых ниток. Даже на настольной лампе была ажурная накидка! Всё это белоснежное великолепие производило на меня огромное впечатление! У нас было проще: стол накрыт клеёнкой, тёмные резные шкафы, чёрный рояль, папин письменный стол из

красного дерева, заваленный бумагами, диван, кровати, покрытые какими-то тёмными шерстяными одеялами. Никаких белых пятен! Всё тёмное. Даже свет от люстры был какой-то приглушённый.

Жили тесно и скудно. Кира спал на сундуке, я – с мамой на кровати, няня – в прихожей на топчане, папа – на диване. Постельное бельё было очень ветхое, застиранное и залатанное. Никаких пододеяльников – одни простыни.

Когда я уже ходила в школу и подружилась с Леночкой Поликарповой, меня совершенно потрясли белоснежная хрустящая накрахмаленная скатерть на столе и постельное бельё с кружевными прошвами!

Вся наша квартира когда-то принадлежала моему прадеду, Петру Андреевичу Тольскому. После его смерти там жил одинокий брат дедушки, Владимир Петрович Тольский. При «уплотнении», которое началось в 20—30-е годы, квартиру перепланировали: закрыли двери между комнатами, перегородили коридор. В неё въехал папин брат, Пётр Андреевич, с семьёй.

Детьми мы любили играть в тёмном закутке коридора, между двумя перегородками. Ставили стулья с высокими спинками, связывали их между собой, накрывали одеялом и играли в «паровоз». У каждого был свой вагон – стул. В вагон усаживались куклы, мишки, забирались мы сами. На первый стул садился «машинист», и… «Ту-ту!..» – поехали! Машинистами всегда были мальчишки, мне доставалась роль пассажира. Андрей катал нас на этом «паровозе» по всему коридору. Взрослые возмущались, ворчали, а мы были рады, что с нами играет старший брат!.. Помню, как Андрей ложился поперёк коридора, лупил ногами в стену и с упоением пел: «У попа была собака…» – а тётя Лена безуспешно пыталась его образумить!

В коридоре было постоянно темно. Очень экономили электричество. Лампочки везде были самой маленькой мощности. Соседи неукоснительно следили за тем, чтобы не забывали гасить свет в коридоре и местах общего пользования. Если кто-либо по рассеянности забывал это делать, поднимался крик и скандал!

Я очень боялась темноты, и меня всегда сопровождал кто-нибудь из взрослых в моих «вояжах» на кухню и в уборную.

После войны в городе было множество крыс. Когда на кухне зажигали свет, они прыгали с плиты, со столов и нехотя прятались по норам. Мне кажется, размером они были с кошку!

Отопление было печное. Внизу, во дворе, в подвале, у каждого был свой сарайчик. Мама договаривалась с дворником, он пилил, колол дрова и приносил нам на пятый этаж, когда

нужно было топить печь. Жена дворника раз в неделю стирала нам бельё. На кухне растапливалась плита, кипятились громадные баки воды. Посреди кухни, на табуретах, ставилось корыто для стирки. Пар поднимался к потолку клубами, как туман, выползал в коридор. Сквозь испарения еле мерцала под потолком электрическая лампочка. Пахло щёлоком, сырыми стенами, на которых оседала и стекала влага. В тёплую погоду бельё сушили во дворе, зимой – на чердаке.

По утрам приходила с бидоном молочница. На Охте ещё держали коров. Это был отголосок XIX века, века А. С. Пушкина: «…с бидоном охтинка спешит…»

В городе соблюдался порядок старого, ещё дореволюционного времени: в одиннадцать часов вечера закрывались парадные подъезды и ворота во двор. Запоздалые жильцы звонили в специальный звонок к дворнику. Тот выходил и открывал двери. За это ему полагалось дать «на чай». По Петербургской традиции дворники, в основном, были татары. В семье нашего дворника была девочка, моя ровесница, с которой я играла во дворе. Мама считала, что это совершенно неподходящая для меня компания, не разрешала ходить к ней и не позволяла приглашать к нам. Я сердилась, плакала и скандалила. Зато теперь очень хорошо понимаю, что значит «человек не нашего круга», как часто мне говорила мама.

Мостовые в городе повсеместно были вымощены булыжником. Только на Дворцовой площади и набережных Невы был диабаз: гранитные стёсанные плитки, необыкновенно скользкие в мороз и в дождь. Тротуары были из плит размером 50 **x** 50 см из местного серого известняка. На них очень удобно было играть в «классики».

Город очень хорошо был убран: ни бумажек, ни окурков на мостовой и тротуарах нельзя было представить! Зимой дворники начинали чистить улицу с пяти часов утра. Мы просыпались под шарканье скребков и лопат. Снег грузили на большие фанерные листы и увозили во дворы, где над сливными люками стояли печурки для таяния льда; вывозили на пустыри, где он не мешал; сбрасывали в реки и каналы. В каждом доме было по несколько дворников: на Петроградской в нашем доме было три дворника.

Игрушек было очень мало. Мы копили фантики от редко доставававшихся нам конфет. Особенно ценили фантики с печатными рисунками: от «Красной Шапочки», «Мишки на севере», «Мишки косолапого». У нас во время войны пропали все хорошие вещи, а ящик с игрушками

сохранился! Там была помпа-водокачка, вагоны с паровозом, ослик на колёсиках с хвостом и гривкой из настоящего конского волоса.

Обязательно кто-нибудь дежурил ночью на улице. Зимой – в полушубке до пят. Их так и звали – «пингвины»! Совершенно не страшно было возвращаться поздно вечером после спектакля или концерта. В тулупах и валенках, переваливаясь, «пингвины» ходили вдоль своей территории, в пределах видимости друг друга. Если кому-нибудь почудится что-то подозрительное, один начинает свистеть, и пойдёт свист вдоль всей улицы!

В каждом доме выделялось помещение под дворницкую. Дворникам предоставляли служебную площадь. После войны это привлекало очень многих. Работали за гроши, но очень добросовестно и дорожили своим местом.

На ул. Красной Конницы (Кавалергардской), рядом с домами № 8 и № 22, были пустыри с грудой строительного мусора от разрушенных зданий. На Очаковской улице, за школой, стоял полуразрушенный дом, огороженный хлипким забором, который никого не останавливал, и дети со всей округи играли в нём в прятки, в казаки-разбойники. Среди мусора собирали разноцветные стёклышки и осколки фарфоровой посуды. Игрушек было очень мало. Мы копили фантики от редко доставáвшихся нам конфет. Особенно ценили фантики с печатными рисунками: от «Красной Шапочки», «Мишки на севере», «Мишки косолапого».

У нас во время войны пропали все хорошие вещи, а ящик с игрушками сохранился! Там была помпа-водокачка, вагоны с паровозом, ослик на колёсиках с хвостом и гривкой из настоящего конского волоса.

На Кирочной улице, рядом с Таврическим садом, стоит музей А. В. Суворова. В правое крыло здания попала бомба: башенка, внутренняя часть помещения были разрушены, а мозаичные картины чудом сохранились!

На углу улицы Красной Конницы и Суворовского проспекта стоит большой пятиэтажный дом, облицованный серым гранитом. Во время войны в нём был военный госпиталь. Александра Ивановна Поликарпова всю блокаду вместе с моей подругой Леночкой прожила в Ленинграде. Она рассказывала, что была свидетельницей, как в этот дом попала бомба и как раненые выпрыгивали из окон, горели заживо… После войны дом восстанавливали пленные немцы, которые там жили. Среди них были расконвоированные. Им разрешали ходить свободно по улице. Худые, серые от голода, они ходили по квартирам, помогали по хозяйству, продавали самодельные игрушки. Их

жалели, кормили. Даже мы, дети, отдавали им свои завтраки.

Закадычным Кириным другом был Юрка Рядов, отчаянная голова! В детстве он катался на трамвае на «колбасе», сорвался, попал под трамвай, и ему отрезало ногу. Он так ловко орудовал своим костылём, что мы не понимали трагедии его положения и даже завидовали, когда он в два прыжка преодолевал лестничный пролёт или лихо съезжал вниз по перилам! Он прекрасно плавал и переплывал Неву возле Охтинского моста. Родители у него были очень сердечными, добрыми людьми, но сильно пьющими. Взрослые между собой говорили, что такого повального пьянства до войны не было. На фронте выдавали «фронтовые наркомовские» сто грамм, и народ привык к выпивке. Но конечно, были и другие, более глубокие причины этой беды.

Самое неприятное воспоминание послевоенных лет связано с еженедельными походами в баню. Огромные очереди стояли уже на улице. На каждый билет выдавали по маленькому кусочку серого мыла. В гардеробе холодно: одетые, голые, уже вымытые и распаренные, и только что пришедшие мыться – все вместе. Толчея, очереди за свободными шкафчиками, за тазами, номерки на руках. Очередь к крану, чтобы налить воды, очередь под душ… Картина совершенно соответствующая рассказу М. Зощенко «В бане»!

Кроме того, мама любила мыться, с моей точки зрения, очень горячей водой! Мыло попадало в глаза, я плакала и не могла дождаться момента, когда меня вымоют и можно будет постоять под душем!.. И почему-то постоянное чувство стыда за то, что ты – голая, а кругом чужие люди…

Со второго класса школы я уже перестала ходить в баню: у моей подруги, Лены Поликарповой, была ванна, которая топилась дровами, и я мылась у неё. Какое это было блаженство!

Ещё одна горькая примета послевоенного Ленинграда – инвалиды без обеих ног. Их называли «самоварами» Особенно много их было в районе Московского вокзала, на Лиговке. Они разъезжали по городу на деревянных подставках, у которых вместо колёс были шарикоподшипники, отталкиваясь от тротуара деревянными «утюжками». По пояс они были зашиты в кожаные штаны. Их плечи казались очень широкими, возможно, из-за непропорциональности фигуры.

Когда их убрали из города, я точно не помню, но думаю, где-то в 50 году. Их ночью вывезли в дома инвалидов, один из которых находился в монастыре на острове Валаам. Мама ездила туда на экскурсию и рассказывала, что была потрясена видом этих несчастных. Говорили, что люди находили там своих

близких.

У Ю. Нагибина есть рассказ с подобным сюжетом, по которому был снят фильм.

Пронзительные воспоминания о жизни этих несчастных оставил театральный художник Кочергин, уроженец Петроградской стороны.

Безвозвратно ушли в прошлое и керосиновые лавки со своим неповторимым ароматом керосина, мастики для натирания полов, мочалок из лыка… В нашем доме, в подвале, была такая лавка: в полутьме стояли квадратные чаны с керосином, желтовато-коричневым, как подсолнечное масло; на прилавке лежали бруски мастики разных оттенков, которые продавали на вес. Продавец резал их тонкой верёвкой. Так же продавали и серое хозяйственное мыло, и разные хозяйственные мелочи, скобяные товары.

Последняя керосиновая лавка в Парголово, около железнодорожного переезда, закрылась в конце 90-х годов.

Жизнь в Суоярви

После окончания войны папа получил назначение на должность главного инженера картонной фабрики «Суоярви». Фабрика находилась на бывшей финской территории, под Петрозаводском, недалеко от границы.

Летом 1946 года мы приехали туда всей семьёй. Папе дали отдельный дом в посёлке, на берегу озера. Деревянные дома финской постройки с большой кухней, высокими потолками и большими окнами стояли на высоких фундаментах. Озеро весной сильно разливалось, и вода подступала к посёлку.

Озеро было огромное, с островами и скалистыми берегами, с корабельными соснами – типичный финский пейзаж! По озеру ходил маленький пароходик, оставшийся от финнов, на котором плавали на острова за ягодами и за грибами. Ездили больше ради прогулки и великолепной природы. В окрестных лесах, рядом с посёлком, было полно ягод и грибов. Места были глухие, заброшенные и после войны пустынные. Развелось много дичи, волков, выходили медведи. Как-то мы с ребятишками собирали малину. Раздвинули кусты и увидели в десяти шагах медведицу с медвежонком! Кинулись бежать кто куда! Кира почему-то решил спасать меня на дереве!!!

Недалеко от посёлка проходила линия Маннергейма. Встречались полностью оборудованные блиндажи и доты. Взрослые пытались нам внушить, что в них опасно лазать, могут

быть мины… Но детское любопытство и легкомысленность побеждали чувство страха и самосохранения! Мы забирались в них и играли. Домой приносили разноцветные пульки, противотанковые снаряды, и даже противопехотные мины! Одну такую Кира спрятал в папин сапог. Обуваясь, папа обнаружил её, страшно рассердился и принялся нас разоружать! Под домом, около фундамента печки, у нас был целый арсенал боеприпасов!

Однажды мы решили проверить мощность противотанкового патрона. Няня топила плиту и варила обед. Я забралась на лежанку, как на наблюдательный пункт, а Кира бросил патрон в плиту… Ахнуло так, что поднялся чугунный верх плиты, а суп оказался на потолке!

Как-то летом нашли закиданный валежником мотоцикл, но взять побоялись. Рассказали папе. Папа с кем-то пошёл, взял его и ездил на нём.

Однажды мы решили проверить мощность противотанкового патрона. Няня топила плиту и варила обед. Я забралась на лежанку, как на наблюдательный пункт, а Кира бросил патрон в плиту… Ахнуло так, что поднялся чугунный верх плиты, а суп оказался на потолке!

В лесу ещё бродили финны. Ночами пограничники с собаками проверяли дома. Как-то ночью пришли и к нам. Мы с няней были одни. Папа уехал в Ленинград. Вошли двое с овчаркой. Всё осмотрели, даже под кроватями посветили фонарём. Я проснулась, испугалась. После их ухода долго обе с няней не спали, всё не могли успокоиться. Из посёлка мы переехали на хутор. Ближайшие дома были в полукилометре от нас. Кругом лес. Двери не закрывались, финны жили без всяких запоров. Папа тоже не счёл нужным сделать замки. Дверь на ночь завязывали на верёвочку. Няня очень боялась, не спала ночами и засыпала только под утро, когда рабочие шли мимо дома на утреннюю смену.

Всем руководящим работникам на фабрике были выданы пистолеты.

У папы был огромный чёрный браунинг. Папа, когда уезжал в командировку, оставлял браунинг няне. Няня торжественно прятала его под подушку, но боялась даже взять его в руки, не то что применить в случае необходимости!

Осенью Кира должен был пойти в школу, и они с мамой с целым арсеналом оружия уехали в Ленинград. Тол и патроны Кира спрятал на печной трубе в коридоре, а с парабеллумом явился в школу и устроил там стрельбу! К нам приехала

милиция, пистолет забрали, а папа заплатил штраф в 300 рублей, что по тем временам были огромные деньги!

В Суоярви с папой остались мы с няней. Няня завела хозяйство: кур, поросёнка и щенка – Барбоса. Барбос был единственным щенком, которого удалось отобрать у немецкой овчарки. Она ушла весной с волками, вернулась щенной, щенилась в закутке под лестницей, никого к себе не подпускала и передушила всех щенков. Еле-еле удалось отобрать и спасти одного!

Барбос был головастый, крупный, с широкими лапами, тёмного окраса. Каким он вырос, не знаю. Мы его оставили в шестимесячном возрасте.

Зимой всё хозяйство перекочёвывало на кухню: вдоль стен стояли клетки с курами, поросёнку и щенку были постланы подстилки – одному около печки, другому у няни под кроватью. Вечером все укладывались по своим местам. Гасили керосиновую лампу… Только всё затихало, как щенок пробирался к поросёнку, и начиналась драка за тёплое местечко возле печки! Няне приходилось вставать, опять зажигать лампу и ремнём восстанавливать справедливость! Разгонит их по местам, ляжет, задремлет, и всё повторялось сначала!

> Всем руководящим работникам на фабрике были выданы пистолеты. У папы был огромный чёрный браунинг. Папа, когда уезжал в командировку, оставлял браунинг няне. Няня торжественно прятала его под подушку, но боялась даже взять его в руки, не то что применить в случае необходимости!

Замечательным был процесс ожидания, когда какая-нибудь курица снесёт яйцо! Начиналось длительное кудахтанье, которое сочувственно подхватывало всё куриное семейство. Настораживалась няня, настораживался и щенок… Оба замирали в ожидании, но няня не могла безотлучно находиться на кухне, ей приходилось выходить из дома то за дровами, то за водой. Щенок был в более выгодном положении, он мог никуда не отлучаться! Поэтому чаще всего яйцо доставалось ему! Придёт няня, а Барбос уже доглатывает яйцо и умилённо виляет хвостом, прося прощения!

Школа

В 1947 году я пошла в школу № 163 на ул. Кирочной. Это было здание бывшей Мариинской гимназии, основанной в 1797

году императрицей Марией Фёдоровной. Первоначально она имела название «Сиротское училище для девиц», позднее – «Институт», переведённый в статус гимназии.

Огромные светлые классы, особенно уютные, когда солнечные зайчики прыгали по паркету, по партам, светили в глаза и манили на улицу; длинный коридор с натёртым до блеска паркетом; актовый зал с бардовыми бархатными шторами на окнах и таким же занавесом на сцене. Это был настоящий театральный зал с лепниной на потолке, на стенах, с хрустальными люстрами.

В нём проходили все школьные торжественные мероприятия: приём в пионеры, линейки, концерты, вечера, посвящённые каким-либо датам…

Отопление было ещё печное. В каждом классе была изразцовая печка-голландка, которая топилась из коридора специальным истопником. В самые суровые зимы и холодные осенние дни в школе было очень тепло.

Нашему поколению повезло. Культура XIX века была ещё жива. Школа сохранила традиции гимназии. У нас преподавали дореволюционные классные дамы. Лучше всех помню Зинаиду Ивановну. Она преподавала у нас математику. Старая седая дама, гладко причёсанная, худая, в длинной узкой тёмной юбке, светлой блузке, с неизменным жабо и брошью. Она плохо видела, носила очень сильные очки, была некрасива, с длинным носом и маленькими глазками. Мы побаивались её, но за глаза посмеивались над её чопорностью и неумением с нами справиться. Самое большое, на что она решалась, когда мы уж очень шумели на уроке, она брала линейку и стучала ей по столу!

Никакой беготни на переменах по школе нельзя себе было даже представить! Нас выстраивали ещё в классе попарно, и мы, взявшись за руки, чинно вышагивали за своей учительницей, как цыплята за наседкой! Иногда в тёплую погоду нас выводили в школьный сад, и учительница играла с нами в «воротики» (золотые ворота, проходите, господа…) и в какую-то игру с «душещипательной» историей о царе и его дочерях, которые по очереди тонули и воскресали! Вся история сопровождалась печальной песней, которую я забыла, но помню, что было что-то трогательно-слезливое, очень меня расстраивало и действовало на детскую душу!

В первый день занятий учительница спросила, не может ли кто-нибудь прочитать стихотворение. В школу я пошла уже умея писать, читать и, конечно, зная много стихов. Почему-то мне пришло в голову прочитать стихотворение Майкова «Весна»:

Весна! Выставляется первая рама,
И в комнату шум ворвался —
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса…

В классе наступило гробовое молчание! На лице учительницы был ужас и недоумение, она даже не похвалила меня, как хвалила всех. Что случилось, я не могла понять, но неловкость положения помню до сих пор!

Это было время, когда о Боге, о религии говорили только как о мракобесии. Дети читали стихи и пели песни о единственном «отце и учителе всех времён и народов», И. Сталине!

В одном классе с нами учились девочки из детского дома, который располагался в одном из флигелей школы, девочки-переростки, пропустившие из-за войны несколько лет учёбы. Эти девочки заканчивали 7-й класс уже совершенными барышнями, лет по 16–17. Однако таковыми себя не ощущали и вели себя как дети!

В седьмом классе у нас после урока физкультуры был урок Конституции, который вёл, как я теперь понимаю, довольно молодой мужчина. Переодевались мы в классе и каждый раз тянули время, чтобы сократить урок. Он терпеливо ждал, когда мы наконец оденемся. Однажды не выдержал, посадил нас и начал урок! Мало кто из нас успел надеть платье! Сидели в нижнем белье, прикрывшись фартуками. В те годы о колготках, шёлковом белье никто и не слышал! Носили батистовые шитые рубашки, чулки с резинками и разноцветные штанишки до колен, в основном голубого цвета. Отвечать к доске он вызвал Лену Закарян (из известной семьи скрипачей, впоследствии и она стала скрипачкой). Та вышла, спереди прилично прикрытая фартуком, а сзади сверкая небесного цвета штанишками! Никакого смущения, что мы полураздеты, мы не чувствовали. Мы даже не понимали, что надо бы стесняться своего положения, что перед нами мужчина. Для нас он был просто Учитель – существо бесполое!

В младших классах формы ещё не было. Школьную форму по образцу гимназической, дореволюционной формы, ввели в 1950 году. Она состояла из коричневого платья, чёрного передника для каждого дня и белого для торжественных случаев.

Это было время, когда о Боге, о религии говорили только как о мракобесии. Дети читали стихи и пели песни о единственном «отце и учителе всех времён и народов», И. Сталине!

После окончания войны у нас подрабатывала портниха, Наталья Ивановна.

Её дом разбомбили, все близкие погибли, и она за малую плату и за еду работала по домам, перешивая и ремонтируя бельё и одежду. Из старой маминой юбки и кофты она сшила мне шерстяную синюю юбчонку и зелёненькую кофточку. По тем временам это было очень прилично! Девочки из детского дома, да и многие другие ходили в школу во фланелевых стираных-перестираных, потерявших цвет платьицах. Многие были острижены наголо. В городе ещё было полно вшей.

Сменную обувь, как теперь, не требовали. В то время все носили калоши или ботики, которые надевались на туфельки. Калоши снимали в гардеробе и оставались в чистой обуви. По нашему климату это было очень практично, а дети не бегали по школе в сваливающихся тапках и меньше болели. Жаль, что в угоду моде эта обувь ушла из нашего обихода. За границей калоши носят и сейчас, конечно не такие, какие выпускались в то время.

Многие девочки из нашего класса пережили блокаду в городе. Маленькая, хрупкая черноглазая Валя Черникова пела в госпитале во время войны. В школе она выступала на всех концертах. У неё был сильный красивый голос, удивительно тёплого тембра.

Жили мы все очень по-разному: отдельных квартир ни у кого не было, но были комнаты, или даже две. Хуже всех жила наша круглая отличница Валя Голубева. У них с мамой был уголок в общежитии трамвайного парка, на улице Зайцева. В одной комнате, перегороженной простынями, ютились несколько семей. В их уголке стояла кровать и стол. Шкафов никаких не было.

В послевоенные годы моего детства, как бы ни относиться к государственной политике того времени, но дети не были брошены на воспитание улице. Кроме городского Дворца пионеров, в каждом районе работали районные Дома пионеров и школьников. Почти во всех организациях, на всех заводах, в научно-исследовательских институтах были свои, ведомственные, дачи и пионерские лагеря. Отдых детей был повсеместно организован и доступен по цене. Городские детские сады выезжали на дачи. Если не было своей, снимали частные дома.

Одно лето Александра Ивановна Поликарпова сдавала в Вырице свой двухэтажный дом детскому саду. На участке дополнительно была построена летняя кухня-веранда, туалет для персонала, детская площадка. Со второго этажа дома был оборудован спуск в виде брезентового жёлоба на случай пожара, по которому мы с Леной с удовольствием съезжали!

Сейчас многие говорят о «затхлой» атмосфере тех 60—70-х годов, о заформализованности детских организаций. Да, была политика, «руководящая роль КПСС», но в то же время и прививались высокие понятия – Родина, патриотизм, гордость за страну… Дети старались хорошо учиться – это было обязательным условием приёма в октябрята и пионеры. Детское тщеславие и стремление быть не хуже других в конце концов пригодилось и во взрослой жизни, превратившись в нормальное честолюбие, чувство долга и ответственности за порученное дело…

В политической ситуации, повзрослев, все разобрались! Кроме того, в основе коммунистических идеалов лежат библейские заповеди и сами по себе плохому не учат. Другое дело, как ими пользовались власть предержащие!

Народ в России и власть давно разошлись. Со времён Петра I все живут сами по себе. Между властью и народом идёт постоянная, иногда скрытая, иногда явная борьба – кто кого?..

Сейчас многие говорят о «затхлой» атмосфере тех 60-70-х годов, о заформализованности детских организаций. Да, была политика, «руководящая роль КПСС», но в то же время и прививались высокие понятия – Родина, патриотизм, гордость за страну…

Как бы ни ругали то время, но в тяжелейшие послевоенные голодные годы, когда ещё не были отменены карточки, детей в школах бесплатно кормили горячими завтраками. Нам часто давали говяжьи сардельки с картофельным пюре.

Таких вкусных сарделек теперь давно не делают! Ножей в школьной столовой не было: плотную оболочку сардельки прокусывали, и душистый сок брызгал фонтаном!.. В четвёртом классе завтраки для нас отменили, и мы стали носить с собой бутерброды. Чаще всего няня давала мне бутерброды с паюсной чёрной икрой, прессованной вместе с плёнками. Икра была плотной, вязкой, резалась кусками и липла к зубам! Я каждый раз, разворачивая завтрак, морщила нос: «Опять с икрой!» А мне так хотелось с сыром! Сыр в то время был гораздо дороже, и папа покупал его только с получки…

В школе была масса всевозможных кружков и секций. Все учителя-предметники вели кружки: физический, химический, литературный, математический, рукоделия, хоровой, фотографии, художественного слова, танцевальный, художественной гимнастики, легкоатлетический… Платным был только кружок обучения игры на фортепиано. В начале учебного года мы записывались чуть ли не во все! Совсем как в стихах

Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота!..» Я ходила в танцевальный и мечтала о Вагановском училище. Однако мама быстро привела меня в чувство, сказав, что дочь-кривляка ей не нужна! Поплакала, поскандалила, но пришлось смириться, и я стала петь в хоре (почему-то вторым голосом!)… Занималась лёгкой атлетикой, снарядовой гимнастикой, фотографией…

Очень любила вышивать. У нас была чудная учительница рукоделия, мамина знакомая, Баркова (к сожалению, забыла её имя-отчество). Дома занималась музыкой с маминой подругой Верой Аркадиевной Коузовой. Своим упрямством я выводила её из себя! Почти каждый урок повторялась одна и та же сцена: с моей точки зрения, я играла какую-нибудь пьесу вполне прилично, а Вера Аркадиевна требовала, чтобы я повторила её ещё раз. Я складывала на коленях руки и заявляла, что больше играть не буду! Вера Аркадиевна сердилась, кричала, шлёпала меня по рукам и от возмущения плевала на пол! Тут появлялся Кирилл и ехидно подкладывал на пол газету! То же повторялось и на уроках моего двоюродного брата Сергея Тольского. После урока няня сажала Веру Аркадиевну обедать. Кирилл всегда старался подложить в хлебницу чёрствые корочки. Время было трудное, Вера Аркадиевна была человеком очень воспитанным и из деликатности брала именно эти кусочки! Мы же, по своей глупости, потихоньку потешались над ней…

Заниматься музыкой я бросила в седьмом классе, как только вышла из-под маминой воли, о чём очень теперь жалею…

Очень много гуляли по городу: Тверская улица, Таврическая, Потёмкинская, Шпалерная, Таврический сад и площадь около Смольного собора. Сейчас идут споры, была ли решётка и ограда между одноэтажными флигелями перед собором. Я совершенно отчётливо помню, что была. В этих флигелях люди жили после войны очень долго. В отдельно стоящем здании, в сквере, выходящем на площадь, был дом престарелых. Очень уютным и провинциальным было место за оградой монастыря, вдоль Невы. Набережной не было, каменистый низкий берег, широченная водная гладь и запах воды, смешанной с запахом дёгтя… Около Охтинского моста была деревянная пристань, от которой отправлялись теплоходы по Волге и небольшие водные трамвайчики в верховья Невы, в Невскую Дубровку, куда мы как-то ездили с тётей Леной… Мы прекрасно знали весь центр города! Исходили его пешком от Смольного до Дворцовой набережной, любовались архитектурой домов и дворцов.

Часто ходили в кино. Любимыми кинотеатрами были «Искра» и «Салют» на Суворовском проспекте, «Спартак» на Кирочной

улице и «Октябрь» на Невском проспекте. Цены на билеты были мизерными, и мы ходили на все новые фильмы. После войны много показывали трофейных фильмов: «Индийская гробница», «Тарзан», «Пётр» с Франческо Галь в главной роли, «Лунная соната», «Девушка моей мечты» с Диной Дурбин, «Джон из Пинкин-джаза», «В сетях шпионажа»… В кинотеатры за билетами в первые дни показа были огромные очереди. На показы английских, французских фильмов стояли ночами! Были даже ночные сеансы. Особенно власти города любили давать в прокат в пасхальную ночь какой-нибудь иностранный фильм, вроде «Сети шпионажа», чтобы отвлечь молодёжь от церкви.

«Индийскую гробницу», «Леди Гамильтон», «Мост Ватерлоо» показывали, когда я была уже взрослой, но фильм «Тарзан», так любимый многими, особенно детьми, почему-то не повторяли…

В государственные праздники, 7 ноября и 1 мая, нам выдавали по 3 рубля, и мы их «транжирили» на резиновые расстегайчики, воздушные шары и мороженое, которое продавали вразвес.

В кинотеатры за билетами в первые дни показа были огромные очереди. Особенно власти города любили давать в прокат в пасхальную ночь какой-нибудь иностранный фильм, вроде «Сети шпионажа», чтобы отвлечь молодёжь от церкви.

На каждом углу стояла тётка в белом фартуке с тележкой в виде сундука на колёсах, торговала газированной водой и мороженым. Вафельную лепёшку вкладывала в металлический стакан с поршнем, сверху ложкой, смоченной в воде, накладывала мороженое, прикрывала другой лепёшкой и выдавала порцию нам в протянутые руки. Выдавалась ли какая-нибудь бумажка или салфетка, не помню… Мороженое держали за вафельные лепёшки и лизали со всех сторон. Съесть нужно было очень быстро, иначе мороженое таяло, текло по рукам и капало, в лучшем случае на ноги, а чаще всего нам на пальтишки!..

Любимым местом прогулок был Таврический сад. Весной и осенью по его прудам и протокам можно было кататься на лодках. Зимой заливали большой каток, были открыты тёплые раздевалки и прокат коньков. С крутого берега пруда ребятня раскатывала ледяную горку, с которой лихо съезжали на портфелях.

О магазинах и развлечениях

В пятидесятые годы, после отмены карточек, продуктовые

магазины наполнились разнообразными деликатесами! В то время химическая промышленность не была развита так, как сейчас, – продукты готовились из натурального сырья по традиционным рецептам и технологиям. Колбасы варёные: любительская, телячья, языковая с мелким жиром, кусочками мяса и языка, какая-то слоёная из разных сортов мяса, свёрнутая в виде рулета… Докторскую колбасу разработали по приказу Сталина, чтобы подкормить народ после военных лишений. В её состав входили только высококачественные сорта мяса, сливки и яйца (об этом я недавно услышала по радио). Копчёные колбасы летнего и твёрдого копчения: сервелат, московская, советская… карбонады, шинка, буженина, ветчина с каплями застывшего желе; сыры твёрдые, унифицированные: советский, швейцарский, голландский, – которые резали не толще, чем папиросная бумага; сыры острых сортов: пикантный, рокфор – которые пахли так, что в транспорте приходилось объясняться, что это не от тебя, а от сыра!

Теперь от тех продуктов остались одни названия. Вкус совсем не тот. Особенно испортились сыры.

Папа с получки обязательно заходил в Елисеевский магазин на Невском проспекте и приносил домой что-нибудь необыкновенное! Он приучил меня к маслинам, острым сырам, сырым сосискам, которые сам и жарил. Сосиски скворчали на сковороде, брызгая жиром и распространяя аппетитный аромат на всю квартиру… Красный «кровавый» зельц с горчицей я с папой уминала за обе щеки. Кира, глядя на нас, кривил губы. А для меня папа был непререкаемым авторитетом во всём, и я разделяла все его гастрономические пристрастия!

Икра деликатесом не считалась. Её продавали килограммовыми металлическими банками и на развес из эмалированных корытец. Какой-то сорт чёрной икры в виде прессованных пластинок был дешевле сыра, и нам постоянно давали её на завтрак.

В овощных магазинах и на прилавках теснились ёмкости со всевозможными солёными и маринованными грибами разных сортов; пирамидками были выложены яблоки и апельсины, каждое завёрнуто в папиросную бумагу. Особой изысканностью отличались витрины Елисеевского магазина. В кондитерских отделах, куда мы с Леной заходили чаще всего, покупали, исходя из наших скудных финансовых возможностей, сливочную помадку, цветную помадку в форме разноцветных лепёшек, ириски, сливочную тянучку… Шоколадные конфеты в красивых фантиках доставались редко, фантики мы бережно хранили и выменивали друг у друга… Леденцы мама считала очень

вредными для зубов, и их никогда нам не покупали. На улице продавали красных петушков на палочке, и няня угощала нас ими потихоньку от мамы. Папа очень любил восточные сладости, особенно ореховые рулеты и зефир в шоколаде.

Изобилие в магазинах не означало изобилия на столах! Жили очень скромно. Няня всё покупала на Некрасовском рынке. На рынке было дешевле, чем в магазинах…

Копчёную колбасу, буженину, ветчину, хорошую рыбу, конфеты покупали только для гостей. Нам, детям, не всегда и доставалось! За стол со взрослыми детей никогда не сажали – было не принято. Нас кормили до гостей, и мы должны были как можно меньше толкаться под ногами и обращать на себя внимание.

Детей в гости брали редко. Для нас устраивали детские праздники – ёлки, дни рождения… Детских праздников у себя дома не помню. Видимо, из-за тесноты, в которой мы жили, у мамы не было возможности всех нас собрать. Нас, довоенных троюродных братьев и сестёр, было семь человек. После войны появились ещё пятеро. Прекрасные ёлки устраивали у тёти Тоси Барановской, у Крюковых, у тёти Вали и дяди Коли Бычковых… У них была старинная фисгармония (маленький комнатный орган). Мама играла, а кто-нибудь из нас под её руководством переключал регистры… Каждый участник праздника должен был обязательно выступить: читали стихи, играли на рояле, устраивали представления, конкурсы. Подарки дарили очень скромные: сладости, самодельные ёлочные игрушки. У меня долго хранились негритёнок и балалайка, сделанные из грецкого ореха…

В дни зимних каникул мама водила нас на ёлку во Дворец пионеров (Аничков дворец), в Таврический, Юсуповский дворец. В Аничковом дворце, в одном из залов, устраивали катальную горку… Проводили много конкурсов, водили хороводы. Дети активно принимали участие во всех мероприятиях, а не сидели в зале на представлении, как стало теперь принято.

Очень часто, всегда с няней, ходили в цирк, не пропускали ни одной новой программы. В оркестре цирка играла на скрипке Ольга Валерьевна Загорная, жена моего дяди Юли Бычкова. Она доставала нам контрамарки и билеты.

Сияние огней, бравурная музыка, особый «аромат» цирка заставляли замирать сердце в предвкушении праздника! Слоны, тигры под управлением укротительницы Ирины Бугримовой, медведи Филатова, фокусники знаменитой династии Кио, воздушные гимнасты, от бесстрашных полётов которых под куполом цирка замирал весь зал. Вёл программу в течение

многих лет руководитель униформистов, пожилой, совершенно лысый человек, с внушительной фигурой, прекрасной выправкой, видимо бывший атлет или гимнаст. Без микрофона он объявлял номера так, что его зычный голос был слышен и на галёрке! Клоун Карандаш с чёрненькой собачкой Кляксой, подражавший в походке и одежде Чарли Чаплину, славился на всю страну…

В интеллигентных семьях считалось обязательным покупать абонементы детям на детские утренники в театр. Мама «брала» ложу в Михайловский, Малый оперный театр или в Маринку (тогда Кировский театр оперы и балета).

Мечтала о булке с маслом…
Ивашкевич Наталья Павловна

Никогда в жизни я не испытывала такого чувства голода и такого наслаждения от крохотного засохшего кусочка хлеба, как в годы войны. Мы жили в эвакуации, я была еще ребенком. Помню, наедимся толкушки (толченых ржаных сухарей), заберемся с подружками на кровать, потушим свечку и в полной темноте слушаем радио – последние фронтовые сводки. А потом накроемся одеялом и мечтаем, как вернемся в Ленинград, как пойдем с мамой по Невскому проспекту и купим бутерброд из французской булки с ветчиной и обязательно со сливочным маслом.

И мы действительно вернулись после войны в Ленинград. Здесь к тому времени открылось много продуктовых магазинов, их называли коммерческими. И пошли мы с мамой, как мечтали, по Невскому, зашли в Елисеевский магазин, но купили не ветчину, а копченый язык – тогда это была модная закуска.

Постепенно прошел страх остаться голодной, хотя к хлебу я навсегда сохранила трепетное отношение. И я так рада, что жизнь не стоит на месте, что меняются гастрономические пристрастия, что появляются новые рецепты, что молодые стали не только жить, но и питаться по-новому. Поэтому желаю всем готовить вкусные и необычные блюда, такая возможность сегодня есть у всех!

Две недели растянулись на четыре года
Шервуд Михаил Алексеевич, 1937 г. р

Мне было четыре года, когда началась война. Отец вместе с несколькими мужиками залез в кузов полуторки, и они куда-то поехали. Мама держала на руках сестру. Рядом молча стояли женщины, провожающие своих мужчин.

Через много лет я спросил маму, почему они не плакали. Ведь позже, провожая на войну следующие призывы, кричали так, что на всю деревню слышно было. «Видишь ли, – сказала мама, – тогда „похоронок“ ещё не было, все верили, что через пару недель наши возьмут Берлин, восстанут немецкие пролетарии, установится советская власть в Германии». Как известно, немецкие пролетарии не восстали. Наши взяли-таки Берлин, это правда, только эти две недели растянулись на четыре года.

Деревня Юрьево Калининской области была небольшая. «Конзавод сто двадцать девок» – так называли во время войны Юрьевский конный завод № 129, потому что остались в нём только старики, женщины и дети. И двое мужчин: глухой и одноногий.

Мама работала учительницей в местной школе, а я нянчился с сестрой. Сестре было два года.

К осени начался голод. Помню, мама с сестрой на руках и я ходили на совхозное поле собирать оставшуюся там мёрзлую картошку. Немного, но находили. Какая же она была сладкая, какая вкусная! И капустные листья собирали, мама варила «серые» щи. Полугнилые зелёные капустные листья, мороженая картошка и вода. Иногда появлялась соль. Больше семидесяти лет прошло, а до сих пор помню. (Через много лет, когда я отслужил своё в армии, я вспомнил эти щи, и мама по моей просьбе сварила их. Без соли, из зелёных капустных листьев и картошки. Правда, мороженой подгнившей картошки не нашлось и зеленоватые капустные листья не подгнили. И без этого есть эту гадость было невозможно. Я отважно старался и не смог.) Мама пекла лепёшки из той найденной картошки. Их почему-то называли «самолётами».

Мама пекла лепёшки из найденной картошки. Их почему-то называли «самолётами».

Огорода у нас не было. Не помню почему, но не было. Весной сорок второго появился, стало легче. И ещё у нас были два эмалированных ведра, только у нас во всей деревне. У остальных

были деревянные. Эти вёдра брала наша соседка, тётя Паня, пасечница. Мёд надо было сдать для фронта. В деревянные ведь мёд наливать не станешь. Потом из этих вёдер мама собирала около полутора литров мёда. Такое счастье было.



Михаил в 5 классе

С хлебом было плохо. По карточкам давали не всегда. Немцы разбомбили мельницу и элеватор. Потому хлеб был с камушками. Сразу за полторы недели дали так много, что лопнула старая авоська, в которой я нёс хлеб – почти две буханки. Килограмм 5–6, наверно. Буханка упала мне на большой палец ноги, и ноготь оторвался. Я еле-еле добрёл до дома. Ревел, конечно.

И ещё помню кашу из чего-то, не знаю. Надо было побрызгать водой изо рта на слой этого «сырья», состоящего неизвестно из чего, и растереть руками по столу. Потом понемногу загрузить в кипящую воду при перемешивании – и получалась эта каша. Мы называли её «каша жуй и плюй»: в ней было много шелухи, которую надо выплёвывать. Соседи называли кашу затиркой.

Осенью приехал в отпуск отец[6]. Их часть вышла из окружения, сохранив полковое знамя. Отличившихся, среди которых был и мой отец, наградили. Отец предпочёл ордену отпуск на несколько дней.

На нём была шинель странного серовато-жёлтого цвета, на пуговицах – две пантеры или леопарда с задранными хвостами. Мама потом объяснила, что шинели – английского экспедиционного корпуса, которые они побросали, драпая из Советской России в 1920, что ли, году.

Отец привёз несколько консервных банок с мясом, соль, сахар. И застрелил двух ворон. Они были тощие-тощие, им тоже нечего было есть, но суп был с мясом.

Потом родилась сестра Лена, прожившая всего около года: не было ни лекарств, ни фельдшера даже в ближайших деревнях. Ни разу до этого не слышал, чтобы так отчаянно рыдали, как рыдала мама, когда умерла Лена.

Отец привёз несколько консервных банок с мясом, соль, сахар. И застрелил двух ворон. Они были тощие-тощие, им тоже нечего было есть, но суп был с мясом.

Фронт подошёл совсем близко, а вместе с ним пришли волки. И дезертиры. Кто был страшнее, не могу сказать. Зима, есть нечего, и те и другие охотились на нас, как могли. Дезертиры заходили в избы, отнимали еду и тёплую одежду, насиловали женщин, избивали сопротивлявшихся. Помню, наш одноногий сосед зимой просидел всю ночь в уличном нужнике, а стая волков пыталась прогрызть стенку нужника. Хорошо ещё, сосед был в валенках и полушубке, не замёрз до смерти. Он орал, волки прыгали и выли, а люди боялись выйти, чтобы помочь. Мама потом сказала ему, что волки его только пугали, а есть не стали бы, потому что он дерьмо, а волки умные и дерьмом не питаются. А дело было в том, что, когда фронт подошёл близко-близко, сосед пришёл к нам и сказал, что, как только придут немцы, он сам повесит всех нас «вон на том суку». Потому что его, русского пролетария, съездил в ухо мой отец, офицер Красной армии.

К весне в деревне появился комендант. Не помню, как его звали. Демобилизованный по ранению офицер. Он ходил в синих офицерских галифе и полушубке. Вот на него напали дезертиры, когда он ехал в Сандово, районную деревню. Но он отстрелялся, умел, значит, это делать лучше, чем они.

Когда пришла весна, потом лето, стало легче. В лесу появилось много съедобной травы, листьев. Мы лазали по деревьям, собирая урожаи птичьих яиц, и с удовольствием их выпивали. Потом пошли ягоды, грибы. Мы так наедались.

У нас была корова Вольда. Я встречал её, когда стадо возвращалось вечером. Увидев меня, эта зараза сразу забиралась в крапиву, которая была выше моего роста. Я бегал вокруг и плакал от обиды и злости, пока не приходила мама.

Молока Вольда давала довольно много, но надо было сдавать фронту определённое количество масла, поэтому оно почти всё шло в сепаратор.

> У нас была корова Вольда.
>
> Я встречал её, когда стадо возвращалось вечером. Увидев меня, эта зараза сразу забиралась в крапиву, которая была выше моего роста. Я бегал вокруг и плакал от обиды и злости, пока не приходила мама.

А мы, в основном, пили обрат. Телят, которые появлялись у Вольды, надо было отводить в Сандово. Мама завела кур, свинью. Только и куриные яйца, курятина, свинина шли для фронта. Мы питались, в основном, картошкой, грибами, квашеной капустой и огурцами. Но их тоже надо было сдавать фронту. Или деньгами. С солью было тяжко. Отец оставил нам свой денежный аттестат, поэтому было на что купить соль. Правда, такой голод, как в первую зиму, ушёл.

Летом сорок третьего стали призывать на фронт семнадцатилетних. Ушёл на фронт соседский мальчишка, маленький такой, веселый. Через полгода он приехал в отпуск на пять суток с орденом Славы на груди. А через месяц его матери стали приходить похоронки: на мужа, старшего сына и младшего. Поочерёдно. Боже мой, как же она кричала!

Помню, почтальонша Галька каждый день ехала по улице на бедарке[7], и женщины в ужасе ждали, кому что она даст: очередную похоронку в конверте или солдатский «треугольник».

Похоронки приходили многим. Женщины кричали часто. К концу войны похоронки получили очень многие. Пришла и нам. Погиб мамин младший брат, командир взвода тяжёлых танков. Это было, насколько помню, через небольшое время после смерти сестры. Мама колотилась головой о стенку, стучала кулаками по столу и себя по голове. И буквально выла.

Я думал, она сойдёт с ума.

К тому времени мама решила, что её мама уже умерла от голода в Ленинграде. Что ей оставалось ещё думать? Да и отец писал не очень часто. Впоследствии оказалось, что бабушка и в самом деле умерла. Где похоронена, неизвестно.



Алексей Леонидович Шервуд

Мама была неверующая, но регулярно ходила с женщинами в соседнюю деревню, где была церковь. «Понимаешь, а вдруг **Там** действительно что-то есть, а мне нетрудно сходить, попросить, если кто-то есть, пусть поможет, чтобы всё было хорошо».

У меня был друг, Толик Смирнов по прозвищу Толя-Ваня. Им пришла похоронка, и его мама слегла. Это было весной сорок второго, самое жуткое голодное время. Он ухаживал за своей мамой, как мог. Но ведь четыре года парню, пятый. Нёс кастрюлю с варёной картошкой сливать воду и опрокинул её себе на живот. Когда он заорал от боли, его мама вскочила, сняла рубашку вместе с прилипшей кожей и тоже заорала. Моя мама побежала к ним помогать. А чем можно помочь, кроме как облить своей мочой и потом смазать льняным маслом? У Толи-Вани остался страшный шрам во весь живот. Он им потом хвастался: гля что у меня, а у вас нету.

Отец оставил маме кавалерийские галифе с кожаными леями, в которых она ездила зимой в лес за дровами. Женщины завидовали ей, у них таких толстых крепких штанов не было. Тогда женщины носили по несколько длинных юбок. Зимой до пяти-шести. Мама была ростом около метра шестидесяти, и, как она управлялась в лесу с брёвнами, представить не могу. Ездила в лес с такими же женщинами, валили вручную лес, пилили, укладывали в дровни, разгружали в деревне. Кололи, складывали

в поленницы.

Приходилось мне валить лес лет через 17–19, я был, не хвастаясь, сильнее многих, но это тяжёлая работа для сильных мужчин. Как женщины с этим справлялись, ума не приложу. «Есть женщины в русских селеньях…» Да уж.

В сорок третьем я пошёл в первый класс и тогда впервые узнал, что моя фамилия вовсе не Воробьёв. Из-за небольшого роста моё уличное прозвище было Воробей. Потому я сам и другие считали, что моё прозвище – по фамилии, как это обычно бывает в русских деревнях.



Военно-полевой лазарет. Капитан ветеринарной службы Шервуд А. Л. в последнем ряду второй слева

Сразу за нашим домом была гора, под которой протекала речушка без названия. Около речушки был колодец, к которому ходили за водой. Зимой тропинка покрывалась льдом. Пока принесёшь домой пару вёдер воды, весь мокрый, потому что приходилось буквально ползти с ведром. Поэтому катались вниз на коньках, чтобы как-то разрушить лёд. Правда, помогало не очень чтобы. Настоящие коньки были только у меня – снегурки. Остальным делал из куска дерева и куска железа глухой конюх Галиуллин. Помню его фамилию, потому что отец после войны часто вспоминал его: тот был отчаянным лошадником, страстно любил лошадей, за что отец, тоже лошадник, его уважал и помнил.

В сорок четвёртом устроили серьёзную облаву на дезертиров. Со стрельбой. Ходить в лес стало спокойно.

Война подходила к концу, и однажды утром кто-то застучал в

окно. «Верка, что дрыхнешь, война кончилась, победа!» Мама включила висевшую на стене «тарелку», и мы услышали торжествующий голос Левитана.

На улице все плясали, кричали. Комендант орал матом и стрелял из винтовки, потом из пистолета. Пока не расстрелял все патроны.

А потом мама чуть не каждый день ходила с женщинами на станцию Сандово встречать отца. Думала, он вот-вот приедет. Через станцию шли эшелон за эшелоном без остановки. На Дальний Восток, как потом оказалось. И шли эшелоны с бывшими заключёнными фашистских концлагерей. На вагонах было написано: «Позор предателям Родины!»

Отец приехал только в начале ноября. И увёз нас на Украину, где стоял его полк.

Малый ломтик большой войны
Хачиков Вадим Александрович, 1933 г. р

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России с 1962 года, ветеран журналистики Ставрополья. Отличник радио и телевидения.

Спасибо, «Снежная королева»!

Есть у поэта, известного барда Виктора Берковского, щемящая душу песня на стихи Дмитрия Сухарева «Вспомните, ребята!». Она обращена к нам, сверстникам поэта, – мальчишкам военных лет, которые должны хранить в памяти те страшные события, не забывать тех, кто ушел на фронт и не вернулся, ведь «скоро, кроме нас, уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу». Да, как ни печально, вслед за участниками войны начинают уходить из жизни и ее малолетние свидетели.



Вадим, 1941 год

Я не слышал свиста путь и грохота взрывов. Не видел убитых и раненых. И вообще ощутил, главным образом, только трудности военного времени. Можно сказать, что война задела меня лишь краешком, хотя и достаточно больно. Но увидеть и пережить пришлось немало. Помню хорошо и первый день войны, которая ворвалась в мирную жизнь так неожиданно.

Июнь 1941 года. Я живу в Ставрополе, куда мои родители переехали из Пятигорска вместе с краевыми организациями, в которых работали. Окончив второй класс, наслаждаюсь летними каникулами. И вдруг событие – приехал Театр юного зрителя! Не помню откуда. Но главное, что был в его репертуаре спектакль «Снежная королева», который мне очень хотелось посмотреть.

Увы, это мне не удавалось почти до самого конца гастролей – все время мешали какие-то обстоятельства. И только в воскресенье, 22 июня, наконец долгожданное чудо свершилось. Принаряженный, радостный, я вошел в зал Летнего театра. Помню, как вместе со всем залом бурно переживал приключения Кая и Герды. Как, радуясь счастливому концу, вышел из театра. И тут меня встретил отец. Еще издали я увидел: он чем-то очень расстроен. А подойдя ближе, услышал: «Ты знаешь, началась война…»

> Мы с отцом очень хотели как-то помочь фронту, но единственное, что могли сделать, это сдать «в фонд обороны» наши лыжи.

Поначалу, помнится, она не очень ощущалась. Даже призванный на военную службу отец вернулся очень скоро – был комиссован, не доехав до фронта. Мы с ним очень хотели как-то помочь фронту, но единственное, что могли сделать, это сдать «в фонд обороны» наши лыжи. Вспоминаются также первые очереди за хлебом, тогда еще не слишком большие и не утомительные. Но, кажется, уже появились хлебные карточки, которые было страшно потерять.

Дыхание войны стало ощутимым позже. Тревожные разговоры старших о сводках с фронта, который все приближался к Северному Кавказу. Обилие военной техники и людей в форме на тихих ставропольских улицах. Меня очень поразила однажды женщина в форме танкиста – галифе, сапоги и шлем, из-под которого вырывалась копна черных курчавых волос.

Отец позже все-таки ушел на фронт добровольцем. Но другие-то мужчины и парни уже тогда все уходили и уходили на фронт. Их, обритых наголо, можно было видеть повсюду: у вокзала, на

призывных пунктах, во дворе военкомата и просто на улицах шагающих нестройной колонной. Торжественно и печально звучали трубы сопровождавшего их оркестра. И само зрелище было грустным и тревожным. Вот почему сегодня так волнуют сердце слова песни:

Вспомните, ребята,
Вспомните, ребята,—
Разве это выразить словами —
Как они стояли у военкомата
С бритыми навечно головами.

Много всякого обрушила на наши детские плечи война. И все же я думаю, что тем, кто посмотрел утром 22 июня «Снежную королеву», в какой-то мере повезло – тот заряд радости, который подарил чудесный спектакль, помог нам легче пережить хотя бы первые удары страшного времени.

Счастливчики

Ловкачи, убежавшие от войны. Счастливчики, не знавшие смертельных опасностей прифронтового бытия, ужасов оккупации и трагических последствий «пребывания на оккупированной территории»… Так или примерно так говорят о тех, кто был эвакуирован из мест, занимаемых врагом. Конечно, их не сравнить с фронтовиками. Или с мирными жителями, побывавшими в зоне военных действий. Но есть в их судьбах и многое другое, о чем могу рассказать, испытав все «прелести» эвакуации.



Отец, Александр Карпович Хачиков



Мама, Валентина Ионовна Хачикова, незадолго до войны

Дыхание войны, далекой до поры до времени от нашего Ставрополя, стало вдруг очень ощутимым летом 1942 года. В конце июля пошли разговоры об эвакуации как о деле решенном. Уезжали мы с мамой. Отец, по болезни освобожденный от военной службы, был зачислен в истребительный батальон и оставался оборонять город.

Отъезд был назначен на первое августа. Рано утром мы явились к маминому учреждению, погрузили вещи в кузов полуторки, но тут маму позвали в здание – вместе с другими сотрудниками уничтожать секретные документы. Прошел час, другой, а полуторка все стояла. Наконец около одиннадцати, видимо, было получено распоряжение немедленно уезжать. Мама и ее коллеги торопливо забрались в кузов, и машина тут же рванулась с места. Ехали мы в Невинномысск, где нас ожидал эшелон.

Было очень тревожно. Фашисты приближались к Ставрополю и, как оказалось, на следующий день заняли его. Над нами уже шел воздушный бой – я видел, как гонялись друг за другом самолеты с красными звездами и черными крестами на крыльях. Время от времени сверху слышался треск пулеметных очередей – иногда они сбивали листья с придорожных деревьев совсем близко от нас. Вдоль дороги располагались войска.

> Едва успели втащить в тамбур свои вещи, как эшелон тронулся. А через несколько минут станцию начали жестоко бомбить. Война преследовала нас по пятам.

Их казалось очень много – достаточно, чтобы задержать наступающих фашистов. Но взрослые понимали, что это не так, – потому и торопились уехать. Мы подкатили к железной дороге, что называется в последний момент, когда к вагонам, предназначенным для нашей отправки, уже цепляли паровоз. Едва успели втащить в тамбур свои вещи, как эшелон тронулся. А через несколько минут станцию начали жестоко бомбить.

Почти сразу же после отбытия нашего эшелона бомбили Минеральные Воды, Гудермес и еще какие-то станции, где у нас были остановки. Несколько дней мы провели в Кизляре – и каждую ночь воздушная тревога – немцы летали бомбить строящуюся железную дорогу на Астрахань. С тех пор мне всегда становится как-то не по себе, когда ночью слышу гул самолета.

Потом был берег Каспия и баржа, отправляемая за море. Трюм ее загрузили недосоленной рыбой с ближайшего рыбозавода, а мы расположились на палубе. Казалось, все тревоги и опасности позади, и ничего, кроме полчищ, комаров нам не грозит. Но ночью внезапно разразился шторм, как раз в то время, когда у буксировочного катера поломался мотор. Катер отошел в сторону, бросив баржу на произвол ветра и волн, грозивших перевернуть ее. Мы, дети, спокойно спали, а вот взрослые уже прощались с жизнью.

К счастью, мотор быстро починили, и мы кое-как дотащились до места, называвшегося Форт Шевченко. Кажется, именно там Тарас Григорьевич отбывал солдатскую службу. Трудно себе представить более безрадостное и гиблое место! Несколько домиков, чахлые акации перед ними. И море песка вокруг – на многие десятки километров. Питьевую воду добывали так: вкапывали посудину без дна и выгребали из нее песок, пока не добирались до тонкого слоя конденсировавшейся влаги, осторожно вычерпывали ее в другую посуду – уже с дном. Других источников водоснабжения не было.

Через какое-то время нас опять посадили на баржу и перевезли в Гурьев, где мы жили несколько дней на открытой танцплощадке в парке, – к счастью, была сухая погода. Начались болезни. Хорошо еще, что в нашей группе дело ограничилось поголовными приступами малярии, заработанной на каспийском берегу. А ведь нередко среди эвакуированных бывали случаи дизентерии, тифа, холеры.

Наконец, очередной эшелон привез нас в город Кзыл-Орду. Там были свои «радости»: полуголодное существование, сорокаградусные морозы при почти полном отсутствии теплой одежды, угрюмое недовольство местных жителей. Но что они значили по сравнению с пережитым в дороге, хотя нам еще на удивление везло! Сколько эшелонов попало под бомбежки на станциях, которые мы благополучно миновали. Сколько бомбежек и обстрелов с воздуха случалось в пути, когда в одночасье гибли сотни людей, когда в панике и суматохе родители теряли детей, а дети родителей! Да и мелкие суденышки, вынужденные пересекать разбушевавшийся Каспий, бывало, шли ко дну! А сколько умирало больных на пристанях и вокзалах или прямо в вагонах, без медикаментов и врачебной помощи… Вот такими они были счастливчиками, эти эвакуированные!

Окна, горящие в ночи

Ах, какая чудесная осень была в казахском городе Кзыл-Орда! К тому времени, когда нас, эвакуированных в 1942 году из Ставрополя, привезли туда, летняя жара уже кончилась. Ласковое солнце как бы вполнакала освещало тихие улицы с рядами деревьев. Особенно красивы были гигантские тополя, ронявшие свои резные ярко-желтые листья на мостовые и тротуары, от чего весь город тонул в золотистом сиянии. Мирная обстановка помогала отдохнуть от тревог и опасностей проделанного пути. Продуктов, сбереженных в дороге, до поры до времени хватало. Маму приняли на работу, я пошел учиться в четвертый класс. Где-то там, далеко, осталась война. А здесь жизнь казалась легкой и беззаботной.

Увы, такой была она недолго. Наступила зима – холодная и бесснежная. Запас продуктов кончился. Оставалось лишь немного риса, выданного нам по приезде, да несколько тыкв. Из них мы варили кашу – основную нашу еду. Ее дополняли скудные пайки хлеба по карточкам и один обед на двоих у мамы на службе. Зарплата у нее была мизерная, да и деньги ничего не стоили. Поэтому нас мучило постоянное чувство голода.

Но куда страшнее был жуткий холод – морозы доходили до 40 градусов, а теплых вещей у нас не было, поскольку уезжали из дома в разгар лета. Из какого-то старья мне сшили куртку и брюки, подбитые ватой, – они и спасали меня от обморожений. Подобную одежду носила и мама. Жили мы на квартире. Недовольная «уплотнением» хозяйка выделила беженцам проходную комнату без мебели, с дверью, открывавшейся прямо на улицу.

«Дома» мы старались бывать поменьше. После занятий в школе я шел к маме на работу и, сидя в уголке, учил уроки под косыми взглядами ее сослуживцев. Потом, съев в учрежденческой столовой один скудный обед, мы в рано наступавшей темноте шли восвояси. Кзыл-Орда – сравнительно небольшой город. Но мамина работа и наше жилье находились в разных его концах. Так что шагать приходилось порядочно. А если мороз, да жестокий ветер, пронизывающий до костей… Можно себе представить, какое это было удовольствие! А что ждало нас по приходе? Холодная комната, тусклый свет маленькой лампочки без абажура. И наша «кровать», устроенная из всякого тряпья прямо на полу…

И все же было в нашем путешествии нечто, позволявшее забыть холод и голод, неустроенность жилья и ночи на жестком ложе. Пройдя примерно полпути, мы приближались к старинному зданию с большими освещенными окнами. Их свет, мягко пробивавший темень пустой оледенелой улицы, манил еще издали, обещая радостную остановку в нелегком пути, счастливую паузу в нашем тоскливом «беженском» бытии. В здании находилась библиотека. Еще на подходе к ней я заглядывал в окна, и на душе теплело от увиденного там множества книг на полках.

И вот наступает восхитительный миг: мы входим в здание. За окном трещит мороз, неистовствует ветер, царапая стекла ветками деревьев. А в читальном зале тепло, тихо. Потрескивают дрова в печке. Уютно горят на столах лампы с матовыми абажурами, оставляя в полумраке громады полок с книгами до потолка. Народу почти нет – кому из местных охота в такую погоду выбираться из дома? Возможно, поэтому нам разрешали, сидя в уголке, читать потихоньку вслух.

Мы перечитали немало книг, по большей части классиков. Особую радость нам доставляли «Записки Пиквикского клуба». Из вечера в вечер мы, то и дело улыбаясь тонкому юмору Диккенса, следили за приключениями чудаковатого добряка мистера Пиквика, нелепого Уинкля, плутоватого Сэма

Уэллера, не обходя вниманием даже второстепенных

персонажей, вроде «жирного парня» на козлах. Куда-то уходили, проваливались в тартарары все наши беды и невзгоды. И даже убогое жилье не казалось таким ужасным, когда, с закрытием библиотеки, надо было отправляться туда…

Давным-давно минула и почти стерлась в памяти та грустная пора, но вечера в библиотеке навсегда оставили след в душе у нас обоих. Мама до конца своих дней читала и перечитывала полюбившегося ей Диккенса. А у меня любые окна, что светятся в холодной темноте ночи, до сих пор невольно вызывают ощущение, что там, за ними, в тепле и уюте, ждет добрая, разумная жизнь, способная согреть и порадовать одинокого озябшего путника.

«Землянка»

Бьется в тесной печурке огонь… Горит жарко, глотая полено за поленом. И потому в комнате тепло, что бывает нечасто, – дров мало, приходится экономить. Но сегодня не грех хорошенько протопить – в полночь наступит новый, сорок четвертый, год. И только что приехала тетя Катя, жена дяди Кости, маминого брата.

Добраться из Пятигорска до нашего Ставрополя ей было непросто. Ведь еще и года не прошло, как прогнали фашистов с Северного Кавказа. Кругом разруха, автобусов нет и в помине, оказии случаются редко. Одну из них тете удалось поймать – подрядилась сопровождать какой-то груз, поверх которого и тряслась в кузове весь морозный декабрьский день по заснеженной ухабистой дороге. Зато к вечеру увидела нас с мамой, единственных родственников мужа, который уже третий год на фронте.

Папа тоже воюет. Поэтому мы с мамой управляемся вдвоем – ездим на заготовку дров, а потом сами пилим и колем их, копаем огород, убираем урожай, весьма и весьма скудный. Чаще всего довольствуемся кукурузной кашей и мелкой, с горох, картошкой, которую называют «свинячкой». Чтобы ее очистить, надо сначала сварить и уже потом, сняв кожуру, жарить на подсолнечном масле, которое покупаем мизерными порциями.



Дядя и тетя – Константин Ионович и Екатерина Гавриловна Водяга. С ними бабушка, Евдокия Дмитриевна Маковская, и двоюродная сестра Вадима Виола, родившаяся незадолго до войны

Но сегодня, по случаю Нового года и приезда дорогой гостьи, на столе кое-какие скудные лакомства. Нашлась даже бутылка вина, хотя мама его не переносит, а мне еще рано – нет и тринадцати. Да и тетя выпивает всего рюмочку-другую. Но и этого ей достаточно, чтобы расчувствоваться. Погоревала, что так долго не видит своего Костю. Погадала, «как ему там воюется»? Потом сказала, что узнала недавно замечательную песню. Начала было пересказывать слова. И вдруг запела:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза…

К тому времени я уже знал много песен про войну. Но эта прямо-таки поразила своей чудесной мелодией, необыкновенной лиричностью. И еще какой-то особой образностью. Сразу представилась полутемная землянка с горящей печуркой – крохотный островок тепла и какого-никакого уюта в холодном и страшном мире фронтовой зимы. Правда, представить это было не так уж и трудно. В нашей комнате было тоже полутемно – светит только коптилка-каганец, да пляшут на потолке отсветы пламени из печки. А снаружи стылая ночь властвует в заснеженном городе, где пугают пустыми глазницами окон сожженные дома, где еще стоит брошенная вражеская техника и мы, мальчишки, без труда находим патроны, снаряды, взрывчатку.

Прослушав песню, мама просит тетю спеть еще раз. Подсела к пианино, подобрала мелодию и стала подпевать. И неважно, что папа, сержант-санинструктор, воюет в Крыму, а дядя Костя, саперный капитан, – в Прибалтике. Обеих солдаток до слез трогают строки:

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, что б услышала ты,
Как тоскует мой голос живой…

Мне их чувства еще непонятны, но поражают – до сих пор хорошо это помню – слова «…а до смерти четыре шага». Много позднее я узнал, что именно из-за них цензоры не хотели пропускать песню. А ведь Алексей Сурков писал не песню вовсе, а фронтовое письмо в стихах своей жене. И лишь благодаря настойчивости композитора Константина Листова дал ему этот текст, не веря, что песня получится. Но она получилась. Еще как получилась! И звучит до сих пор, тревожа душу, как никакая другая песня военных лет.

Папина война

У Владимира Высоцкого есть песня о призывнике военных лет из интеллигентов. В военкомате над ним подсмеивались – мол, из тебя какой солдат? На что он отвечал: «А из меня такой солдат, как изо всех!» – и подтвердил это своим поведением на фронте.

Услышав эту песню, я подумал о своем папе. Вот уж был человек, совершенно, казалось бы, не годящийся для солдатской службы! Мягкий, интеллигентный, он не отличался ни отменным

здоровьем, ни богатырским сложением. На таких интеллигентов-«очкариков» бравые молодцы, «настоящие мужики» смотрят свысока, частенько презирают, считая «бабами». Но характер у отца был отнюдь не «бабский»! Благородство, порядочность, уважение к женщине – всего этого ему было не занимать. Как и мужества – он никогда не бежал от опасностей, хотя встречал их по-своему, как говорится «без шума и пыли», и переносил стойко, по-мужски.



Бойцы воинской части 17206, в которой воевал отец. Он стоит во втором ряду, третий слева

Интересы он имел сугубо мирные – с детства мечтал быть ученым-биологом. Или художником. Обстоятельства жизни не дали осуществиться этим мечтам. Работал папа бухгалтером. Зато на стенах нашей квартиры висели нарисованные им очень чудесные акварели. А на подоконнике стояли то клетки с птицами, белыми мышами, морскими свинками, то террариум с черепахами, лягушками, ящерицами, то аквариум с диковинными рыбками.

Когда в нашу жизнь ворвалась война, судьба старательно оберегала папу от встречи с ней. Призванный в первые же месяцы, он скоро вернулся домой, так и не доехав до фронта – был комиссован по болезни сердца. В августе сорок второго, накануне захвата фашистами Ставрополя, где мы тогда жили, папа был зачислен в истребительный батальон и оставлен защищать город. И опять вмешалась судьба. Началась бомбежка. Взрыв первой же

бомбы швырнул ему в голову большой камень. Заливаясь кровью, папа упал, потерял сознание, был принят за мертвого. Очнулся уже в городе, занятом врагами.

Пребывание в оккупации отец считал позором для себя. Чтобы смыть его, сам, добровольно, вопреки судьбе, пошел на фронт, несмотря на слабое зрение и больное сердце. Правда, попал не в строевую часть, стал санинструктором в медсанбате. Но и там хлебнул войны в полной мере. Его медсанбат был придан бригаде морской пехоты, которую бросали в самые опасные места. Ну а санинструктору частенько приходилось находиться на передовой, вынося с поля боя раненых.

Своим фронтовым бытием папа не хвастался – все, что делал там, называл «работой»: «Конец декабря и начало января были для меня периодом тяжелой работы, подчас без сна и отдыха сутками», – сообщал он в одном из писем. А в другом рассказывал: «Порой бывает страшно, порой просто интересно, а временами даже красиво… Особенно вечером или ночью, когда летают трассирующие пули, а в воздухе парят на парашютах „фонари“ и светят ярко, а если около моря, то дорожки от этих огней протягиваются по воде». И это – о ситуации, когда вокруг рвутся снаряды и свистят пули!

У моря отец много находился в Крыму, который его полку пришлось очищать от фашистов. Стал он и участником парада в честь полного освобождения полуострова, хотя для того, чтобы добраться до нужного места, пришлось порядочно «потопать» по горной дороге. Зато парад удался на славу: «Было очень торжественно. Состоялось вручение гвардейских знамен отдельным воинским частям».

Пребывание в оккупации отец считал позором для себя. Чтобы смыть его, сам, добровольно, вопреки судьбе, пошел на фронт, несмотря на слабое зрение и больное сердце.

Письма отца указывают маршрут продвижения их части лишь в самых общих чертах (многие географические названия вымараны цензурой). Можно понять лишь, что после Крыма было Приднестровье, потом Румыния, Болгария, Венгрия, Чехословакия. Но хранившаяся вместе с письмами целая пачка справок о благодарностях Верховного главнокомандующего, объявленных отцу, указывает более конкретно те города, которые освобождал от фашистов полк, скрывавшийся под номером «Воинская часть 17206». Это: Севастополь, Керчь, Феодосия, Комарно, Галац, Констанца, Брно, Будапешт и еще целый ряд более мелких населенных пунктов. Не зря же отец писал: «Уроки

географии мы получаем на ходу и этнографические сведения приобретаем на практике». В его письмах содержится немало описаний природы пройденных стран, городов, людей, в них живущих, их отношения к воинам-освободителям.



Папины награды

Движение наших войск было стремительным. Лишь в районе Будапешта пришлось задержаться надолго. «Буда (один из городских районов) стоит на холмах, – пишет отец, – холмы изрыты подземными ходами, улицы кривые, кварталов много и каждый дом – это крепость… каждый шаг требует от наших войск максимального напряжения сил». Какое именно участие принимал отец в этих боях, трудно сказать, но медаль «За взятие Будапешта» свидетельствует, что оно было не столь уж малым. Я с гордостью вспоминал об этом, гуляя по мирным улицам венгерской столицы во время туристской поездки в страну, где воевал отец.

Кончилась война. Сколько бравых молодцов, «настоящих мужиков», возвращались с нее, как и уходили, рядовыми, без всяких наград. А у папы на погонах краснели лычки старшего сержанта – значит, не раз повышался в звании. И в заветной коробочке вместе с медалями и пачкой благодарностей Верховного главнокомандующего лежал орден Красной Звезды, который, как известно, давался отнюдь не за рядовое поведение даже храбрым фронтовикам.

Вот вам и интеллигент-очкарик!

Бывая после войны, еще мальчишкой, в гостях у маминого брата, дяди Кости, я имел редкую возможность подержать в руках самый настоящий наган, которым Константин Ионович Водяга был награжден во время войны. Позже это именное оружие все же было сдано в милицию. И кроме воспоминаний об этой «игрушке» да фотографии дяди в форме офицера саперных войск, у меня не осталось никаких следов его участия в Великой Отечественной войне.

Зато о мирных делах этого горячо любимого родственника я знал очень хорошо. Для меня дядя Костя был образцом истинного интеллигента. Наследником тех российских инженеров, которые еще в позапрошлом веке строили города и заводы, прокладывали дороги, создавали основу промышленного могущества страны. XX век значительно разнообразил возможности инженерной профессии. Появились, в частности, инженеры-мелиораторы, одним из которых и стал Константин Водяга. В начале 30-х годов он приехал в Пятигорск, где прожил до конца своих дней. Вначале строил водохозяйственные объекты на Северном Кавказе, потом занимался их освоением и эксплуатацией.



Офицер-сапер Константин Ионович Водяга

Но началась война, и Константину Ионовичу пришлось делать совсем другое. Что именно, я узнал совсем недавно. Дядина дочь, моя двоюродная сестра, передала мне несколько его

писем тех далеких лет. Одно из них, написанное летом 1945 года, уже после Победы, раскрывает суть военной профессии мирного инженера-мелиоратора. Вот отрывки из этого письма, показывающие, помимо всего прочего, и дядино прекрасное владение пером:

«…А проделывание проходов для атаки… Наступает подходящая ночь, темная, дождливая или ветреная… В такую и отправляются минеры из передних траншей в сторону противника… Ползут… Тихо ползут… Впереди наши проволочные препятствия. „Наша проволока“, как мы говорим. Возле неё, иногда и под нею, установлены наши мины. Их нужно снять, отложить в сторону. Очищенное место обозначить с боков… Здесь пойдут в атаку танки, потом люди. А может быть, сначала люди, потом танки…

Мины хорошо замаскированы в грунте. Все надо делать на ощупь. Руками нащупать рыхлое место, открыть поверхностный слой, найти курок и осторожно его обезвредить. Дальше за проволокой – ничейная земля, куда каждый из противников постарался понаставить побольше „сюрпризов“. Потом – проволока противника. Её нужно тихонько разрезать, чтобы образовался проход. Проволока может быть заминирована, через неё может быть пущен электроток огромного напряжения, повешены консервные банки, начинающие предательский трезвон при первом неосторожном прикосновении… И тогда – ракеты и убийственный огонь пулемётов, и смерть, и срыв всего дела… Ползут минеры, слившись с землей, болотом, снегом, травой… Ползут и щупают, ищут мины, снимают их, режут проволоку… Любят свою жизнь. Любят свою родину и ненавидят врага. Только эти чувства могут руководить человеком, когда он идет на верную смерть…

Тяжела и неэффектна служба сапёра. Он всегда впереди самых передних, когда войска наступают. И всегда последний при отходах. Идя впереди, сапёры-минёры расчищают, обеспечивают путь, а замыкая войска – закрывают проходы минами, подрывают мосты, и всё это зачастую под огнём врага. И ещё… Мне не пришлось ходить в атаку. Но слушал об этом я много рассказов. Все они сводятся к одному: атака – это массовое движение людей. И потому им не так трудно, не так страшно, хотя это слово очень условно для тех, кто видел смерть и шёл ей навстречу.

А минеры? Они тоже ходят в атаку. Но в одиночку, обязательно в одиночку. Чтобы не было неоправданных жертв, человек должен идти на мины один! Один навстречу смерти! Говорят, что к минам привыкают, а к атаке привыкнуть нельзя, что поэтому на минах легче, проще, чем в атаке. Да, в атаке тяжел

первый момент, тяжело оторваться от земли. А минёр встаёт в атаку каждую минуту, отыскивая и обезвреживая мину. Кончилась война. Все переходят на учёбу, ремонт, чистку, отдых. Только сапёрам-минёрам дела по горло. Земля ещё на взводе! На боевом взводе! Опасность подстерегает мирную жизнь на каждом шагу. Оступишься – погибнешь! И минёры каждый день выходят в свои атаки на подлейшее из подлых оружие врага – на мины.

Гремят московские салюты, расцвечивается радугой победных фейерверков родное небо. Едут на восток длинные красные поезда, полные жизни, песен, улыбок, смеха, счастья победы, радости близких свиданий. А минёр не кончил ещё своей войны. Он ещё выполняет свой долг. Он уходит с поля боя последним. И если ты увидишь людей, вооружённых шестами с острой проволокой на конце, с „кошками“ у пояса, с собачками на поводу, – знай, это идут минёры. Это идут те, кто до сих пор ещё воюет, кто борется и жертвует собой, чтобы люди могли работать, восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Чтобы женщины могли красиво одеваться и спокойно жить, дети могли весело играть и человек без страха мог наслаждаться природой.

Не смотри с укоризной, если у сапёров не такой залихватский вид, как у лётчиков. Это – труженики войны, большие герои в своём „сереньком“ деле. Подумай, каким должны быть сердце, ум, воля у этих людей, идущих каждый день на мины теперь, когда для многих война закончена, когда вокруг всё поёт, всё ликует. И останься в вечном долгу перед этими людьми».

Капитан Водяга вернулся со «своей войны» в самом конце сорок пятого. Потом, почти два десятка лет, до самого уходя на пенсию, работал главным инженером Управления эксплуатации Терско-Кумской оросительно-обводнительной системы, где начинал еще до войны. Был удостоен почетного звания «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации». Написал историю громадной мелиоративной системы, расположенной в междуречье Терека и Кумы – «Вода и люди».

«Мелиорация» в переводе с латинского, означает «улучшение». Своей работой дядя Костя стремился улучшать землю, чтобы исправить тот большой вред, который был вынужден наносить ей в военные годы.

Как бомбили Москву
Мазаев Владимир Григорьевич, 1937 г. р

Больше 50 лет проработал в ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, ведущий специалист в области ядерной физики

Для меня, четырехлетнего мальчика, война началась в июле 1941-го, когда отец, будучи офицером, ушёл на фронт. Всем членам семей военнослужащих предлагалась эвакуация из Москвы за Урал – за нами приезжали автомобили, но желающих не нашлось.

В то время моя семья проживала в бывших владениях водочного магната Смирнова – в заводских корпусах с высоченными потолками и стенами толщиной более метра, что позволило мне после войны в жаркие дни спать на подоконнике. Территориально корпуса располагались очень удачно: из окна нашей комнаты была видна Красная площадь, куда мы ходили гулять пешком.



Владимир Мазаев – курсант Грозненского военно-авиационного училища (ГВАУ)

Вскоре после начала войны начались бомбёжки Москвы. Особенно было страшно, когда начинало темнеть – ближе к вечеру и по ночам. Однажды пришёл комендант нашего дома и потребовал в обязательном порядке заклеить окна крест-накрест марлевыми бинтами. В целях светомаскировки на окнах

появились шторы из плотной черной бумаги. Оставшиеся жильцы образовали отряд дружинников и в ночное время наблюдали за бомбёжками. Один из них наблюдал за светомаскировкой, чтобы ни один

> Появились карточки, по которым выдавали продукты. Две буханки белого хлеба можно было поменять на Пятницком рынке на один чёрный хлеб, потому что он был сытнее. Из картофельных очисток, пропущенных через мясорубку, получались вполне съедобные котлеты. Мальчиком я слышал, что кто-то использовал при приготовлении пищи машинное масло, употребление которого позже обернулось необратимыми увечьями ног.

лучик света не проник за шторы окон, и, если это требование не соблюдалось, он тут же приходил в квартиру и, сильно ругаясь, призывал: «Если тебе жить надоело, так пощади других».

Казалось, что тогда женщины ничего не боялись. Они дежурили на крышах домов, ликвидировали зажигалки, которые должны были поджечь дом, устроить пожар. Невольно вспоминаются некрасовские строки, посвящённые русской женщине: «Коня на скоку остановит, в горящую избу войдёт…»

В Москве не было такой жестокой блокады города, такого голодного и холодного ужаса, который пережили ленинградцы, но голод был. Появились карточки, по которым выдавали продукты. Две буханки белого хлеба можно было поменять на Пятницком рынке на один чёрный хлеб, потому что он был сытнее.



Младший научный сотрудник

Помню, как на улицах Москвы появились девушки с аэростатами. Аэростаты по форме напоминали огромные

сардельки, которые взмывали над Москвой в целях противовоздушной обороны. Но всё равно бомбы падали. Были разрушены офицерский клуб, интендантские склады с воинским имуществом, а в окнах домов вылетали все стёкла, и наша комната тоже была разрушена. Нас подселили в квартиру, которая не пострадала во время бомбёжки, и не куда-нибудь, а в ванную комнату, так как остальные помещения уже были заняты другими пострадавшими. Естественно, в это время ванная по её прямому назначению не использовалась. Запомнилось, что в новогоднюю ночь 31 декабря 1941 года в разрушенной от бомбёжки комнате мать поставила для нас с сестрой ёлку, да ещё и с лампочками и мандаринами! Это так незабываемо!

Что касается питания – годилось всё, что считалось условно съедобным. Например, из картофельных очисток, пропущенных через мясорубку, получались вполне съедобные котлеты. Мальчиком я слышал, что кто-то использовал при приготовлении пищи машинное масло, употребление которого позже обернулось необратимыми увечьями ног.

В новогоднюю ночь 31 декабря1941 года в разрушенной от бомбёжки комнате мать поставила для нас с сестрой ёлку, да ещё и с лампочками и мандаринами! Это так незабываемо!

Зимой 1941-го мать отправила меня к своим родителям в Сокольники, где её отец в то время был лесничим. Иногда во время бомбёжек, стоя рядом с дедом, я наблюдал, как прожектора, обнаружив вражеский самолёт, уводили его за город в поля, где его поджидали наши зенитки. Это тоже незабываемо…

Бывало и так, что у немцев заканчивались авиабомбы, но все равно они продолжали пугать население, вместо бомб используя пустые бочки с отверстиями, которые при падении отвратительно гудели.

Вот, пожалуй, и всё.

Про мой портфель
Ворончихин Анатолий Александрович, 13 ноября 1932 г. р

Моё первое приключение

Первое отчетливое моё воспоминание долго возвращает ощущение, что на меня надвигается какая-то стена. Отступать некуда, потому что сзади такая же стена. Мне двигаться уже невозможно. Стенка придвигается ещё и останавливается. Потом отодвигается.

Оказывается, это мне сделали рентген, потому что у меня двухстороннее крупозное воспаление лёгких. Мне чуть больше года.

Дело происходит в Заславле.

У меня долго держалась высокая температура. Мама не может меня везти к докторам, потому что то ли родила, то ли собирается рожать сестру Аллу. А моё состояние уже стало тяжёлым. Тогда папа и бабушка повезли меня в Минск.

Профессор увидел меня и сказал:

– Что вы мне труп привезли?

Папа спросил:

– Доктор, у вас дети есть?

– Да, есть.

– Не делайте их сиротами, доктор.

На боку у папы висит кобура с пистолетом.

– Вы отец? – спросил врач.

– Отец.

– Кровь дадите?

– Дам, – ответил папа.

– Ложитесь на стол.

И мне сделали прямое переливание крови от отца. Бабушка взяла меня на руки. Доктор сказал:

– Вы бабушка, Евдокия Степановна? Если малыш через пятнадцать минут порозовеет, то будет жить, а если посинеет… – и вышел.

Бабушка ходит по комнате, смотрит на часы, смотрит на меня.

– Не розовеет. Ну что же это?

Снова из угла в угол. Минуты тянутся. Изменений не видно. Прошло пятнадцать минут. Ещё десять.

Появляется врач.

– Ну как, доктор, – со страхом спросила бабушка, – он же не розовеет.

– Прекрасно! Смотрите, как порозовел.

И меня увезли домой.

Алла умерла, не прожив и года. Похоронена в Заславле.

Галя

Лето. Папа на обед приехал. Я смотрю из открытого окна второго этажа. От нашего дома выходит на дорогу гнедая лошадь. Это же папина Галя!

– Галя! – кричу, – Галя!

Но Галя убегает к себе в конюшню.

Папа же катал меня на ней. Поэтому я думал, что она послушается моего голоса.

Папа рассказывал о том, как ещё мальчишкой любил кататься на лошадях. Он был подпаском, а потом и пастухом под Ижевском. Ему приходилось и объезжать лошадей, которые ещё не знали седла.

Оказывается, когда лошадь не слушается, ей надо дать шенкеля. А пограничнику уметь ездить на лошади надо обязательно. И я тоже буду пограничником, когда пойду в армию.



Ворончихин Алексей Осипович

Папа в четырнадцать лет ушел в Красную армию. Их полк направили в Среднюю Азию против басмачей. Но полк попал в

ловушку. Это басмачи взяли полк в окружение. Люди полка питались теми баранами, которых удалось отбить у басмачей. Соль кончилась. Когда от полка осталось четверо, они придумали, как захватить и увезти знаменитого руководителя басмачей. Это им удалось. Но баранину папа уже не может есть.

Потом папу направили учиться в Харьков. Там он встретил маму. А потом и я появился.

Ещё папа рассказал про шинель. Это и одежда из чистого сукна, это и постель, если приходится ночевать не дома. Ведь на шинель можно лечь и шинелью укрыться – шинели на это хватает. А зимой при езде верхом на коне полы шинели укрывают ноги от ветра.

Мне не более четырёх лет.

Болезнь папы

Отец болеет и лежит в постели. Вечером приезжал врач и не велел вставать ни под каким видом.

Утром к папе зашел сосед – комиссар дядя Березин. Он о чем-то поговорил с папой и быстро ушёл.

Папа встал и начал одеваться. Мама начала шуметь на него:

– Ну нельзя тебе вставать. Доктор же строго предупреждал.

Отец надел ботинки, сверху застегнул краги и сказал:

– Мне необходимо быть на складе, чтобы на меня собак не навешали. Приехала комиссия из Москвы.

И ушёл.

Бабушка спросила маму, почему отец пренебрёг жестким предупреждением врача.

– Мама, вы помните, когда Лёня уезжал на учёбу в Москву, то хотел передать свои дела заместителю. Тогда срочно прислали командира из Минска, которому и было приказано передать дела. После отъезда Леонида его заместитель сказал мне, что новый человек приказывает делать непонятные вещи. Когда Ворончихин вернулся и начал принимать дела, то увидел, что его служба вооружения не может обеспечить боеспособность пограничников. Пулемёты «максим», которые до его отъезда после проверки и пристрелки стояли в определённом месте склада, были разобраны на запчасти.

А запчасти лежат в разных местах склада. Пулемётные ленты обычно были снаряжены патронами и уложены в цинки.

А сейчас в цинках лежат пустые пулемётные ленты, а патроны лежат россыпью в ящиках. И ещё там другие заморочки.



Близниченко

Близниченко Валентина Васильевна

Леонид очень расстроился. Вы помните, мама, он места себе не находил. Каким-то образом он сумел переговорить по коммутаторному телефону с другом в Москве. Друг сказал, чтобы Лёня ничего не трогал и не подписывал акты передачи. Вот тогда он и свалился – заболел. И доктор строго предписал лежать. А сегодня, как сказал Березин, по этому вопросу приехала комиссия из Москвы.

Отцу вечером помог дойти домой его помощник. Потом врач долго с папой что-то делал. Были уколы. Была камфара. Были таблетки.

А того командира арестовали и отправили в Минск.

Двадцать второе июня 1941 года, г. Заславль Минской области

С крыльца нашего дома рано утром смотрю в небо. Там два самолёта кружатся и стреляют. На крыльях одного красные звёзды. Самолёты куда-то уходят. Их больше не видно. А звуки моторов и стрельбы слышны. Правда, со стороны границы. Но самолёты ушли в другую сторону. Значит, стреляют на земле. Раньше со стороны границы не стреляли.

Я почему-то понял – война. Наступило 22 июня 1941 года.

А папа учится в Москве на курсах усовершенствования командного состава, или КУКС.

К дому подъезжают полуторки. Шофера откидывают борта. Они говорят, что их прислали вывезти гражданских куда-то в глубь страны. В каждой машине стоит бочка с бензином. Шофёр

говорит, что горючего до Москвы хватит. Ещё в машине лежит по ящику с винтовками и цинки с патронами.

Дети оказались запертыми в сарае. Они были накрыты рогожей.

– Мама нам не велела отзываться, – говорит старший мальчуган, которому годика три.

Ключ от сарая был у их матери. у их матери.

Я знаю, что каждая жена командира хорошо стреляет. Их этому учили, не жалея патронов. А на кабине первой машины установлен пулемёт «максим».

Мама быстро обходит квартиры. Что-то говорит и торопит женщин на погрузку:

– Много вещей не брать. Скорей всего, через две-три недели вернёмся.

Бабушка собирает что-то и говорит маме, что надо взять и швейную машину. Мама не соглашается. Убегает подгонять других.

А бабушка расстелила скатерть на полу. Складывает на неё одежду, бельё, ещё что-то. Потом берёт противоположные углы скатерти и связывает. Потом и вторую пару углов. Получился шар, который называется «узел». Таких узлов было два или три, потому что приказано было много не брать.

Оказывается, маму назначили начальником автоколонны. Не жену командира части, не жену комиссара, а маму – жену начальника вооружения. Это потому, что мама – женорг нашей части. На эту должность выбирают жены командиров на своём собрании. Кабинета у женорга нет. Никто не спрашивает, когда женорг работает. Оплаты тоже не положено. Такая работа называется общественной. А ещё у мамы есть именной пистолет «коровин», которым её наградили за содействие в задержании нарушителя границы.

Началась погрузка в машины. Бабушка уговорила-таки маму взять швейную машину.

Стрельба со стороны границы становится слышнее.

Все пять машин уже загружены.

– Ну когда же мы поедем? – раздаются голоса женщин.

Мама обходит машины.

– А где твои дети? – спрашивает мама у одной из сидящих в кузове.

– Да где-то бегают. Поехали, что ли?

– А ты их в комнате случайно не заперла?

– Нет, конечно.

Мама командует:

– Женщины, слезайте! Ищем детей Кавериной. Давай ключи от твоей комнаты. Идем с нами.

– Зачем ты взяла у неё ключи? – тихонько спросила маму тётя Хиля Березина.

– Ты же знаешь, ей соврать, что дурню с горы сбигты, – так же тихо ответила мама.

Начали звать детей. На крики никто не отзывается. В их комнате нет никого.

Дети оказались запертыми в сарае. Они были накрыты рогожей.

– Мама нам не велела отзываться, – говорит старший мальчуган, которому годика три.

Ключ от сарая был у их матери.

Когда Каверина с детьми и все, кто их искали, сели в машины, мама даёт команду:

– Поехали!

Мы с бабушкой сидим в кабине. Мама в кузове.

Позади нашей колонны идёт бензовоз. Все шофера красноармейцы. Одну машину ведёт тётенька. Она тоже красноармеец.

На лесной дороге

Дорога идёт по лесу. Повороты один за другим. Через какое-то время с задних машин начали кричать что-то. Оказалось, что из-за очередного поворота не вышел бензовоз. Мама спросила на ходу нашего водителя про шофёра бензовоза.

– Водитель опытный. Парень серьёзный.

– Едем дальше. Если неисправность, то починит и догонит. Ну а если кто-то перехватил бензовоз и ждёт, что мы остановимся, чтобы захватить и остальные машины? Едем без остановок, – решила мама.

Начало темнеть. Впереди на дорогу выходят из кустов трое красноармейцев с винтовками. Голосуют.

– Валя! Что делать? – кричит в открытое окно водитель и сигналит.

А солдаты всё ближе. Один из них вскинул винтовку.

> Красноармейцы пригнулись и расступились. Мы проехали мимо них. Оказывается, мама из пулемёта дала очередь над головами людей на дороге.

– Вперёд! – кричит мама. Над головой у нас застрочил «максим».

Красноармейцы пригнулись и расступились. Мы проехали мимо них. Оказывается, мама из пулемёта дала очередь над головами людей на дороге.

На остановке мама ответила на бабушкин вопрос о стрельбе:

– А если в кустах ещё солдаты, которые хотели захватить машины? Или если это не наши, а немцы, переодетые в нашу форму? Вот и пришлось стрелять. Пока мы двигаемся, мы, в случае нападения, можем и отстреляться. А на остановке? Женщины штыками отбиваться не умеют. Тогда нас просто из машин вытолкают. Нет, мне нельзя рисковать своими людьми.

В чистом поле

Мы едем по прямой открытой дороге. По бокам дороги глубокие откосы. Внизу кое-где растут кусты. Солнышко. На дороге ни впереди, ни сзади никого не видно. Вдоль дороги столбы с проводами.

Вдруг по кабине сверху стук. Крики:

– Воздух!

Машины остановились. Бабушка тащит меня вниз за руку. Бегу, хоть и не хочу. Смотрю вверх. Самолёт летит низко. На крыльях звёзды. Летчик смеётся.

– Бабушка! Это – наши!

Она посмотрела наверх. Самолёт помахал крыльями и улетел. Бабушка посмотрела вперёд и засмеялась.

Женщины с детьми и без детей с разбегу влетели в кусты и замерли. Кто-то упал, а кто-то присел. У некоторых юбки накрыли головы.

На дороге около машин шофера, мама и ещё три или четыре женщины. По крутым откосам с ворчанием, а кто-то и с шутками поднимаются люди.

Провода на столбах почему-то гудят. Это, наверное, телеграммы идут.

После того как все отсмеялись, отворчались и погрузились в машины, мы поехали дальше.

Начало смеркаться. Впереди появилось что-то тёмное. Когда подъехали ближе, оказалось, что это дым.

– Смоленск, сказал шофер.

Под арестом

В город мы въехали уже ночью. На какой-то улице

остановились. Решили поспать до утра. Кто-то из шоферов сказал, что будет спокойнее, если мы с улицы заедем во двор. Так и сделали.

Утром меня разбудил громкий разговор. Мама требует, чтобы наши машины выпустили. А какой-то командир отвечает, что мы можем идти куда хотим, а машины им самим нужны.

Оказалось, что ночью мы въехали в расположение воинской части. Нас спокойно впустили. А утром…

Мама подошла к каждой машине и предупредила, чтобы одновременно с каждой машины сходило не больше пяти человек. Потом пошла к командованию части. Удалось договориться только о том, чтобы женщины смогли выйти в город и купить продукты. Маме уходить от машин нельзя. Иначе людей из машин могут уговорить вылезти. Да маму за ворота и не выпускают.

Вместе с жёнами командира и комиссара нашей части мама договорилась о том, что эти две женщины пойдут к коменданту города. Дело в том, что они и мама знают его лично. Где-то встречались семьями. Комендант города может помочь нам найти выход из нашего положения.

Ещё женщины говорят, что от границы уже отъехали далеко. И стоит переждать где-нибудь под Смоленском. А женщина-шофер сказала, что её родная деревня Рузаевка в пятидесяти километрах от Смоленска. В этой деревне можно пожить. Люди там отзывчивые.

К вечеру вернулись посланцы от коменданта. Они сказали, что через три дня из Смоленска уходит поезд, в котором нам выделяется две или три теплушки. Ещё комендант сказал, что город каждый день бомбят немецкие самолёты. Поэтому нам здесь оставаться нельзя. Он предложил пожить эти дни в какой-нибудь пригородной деревне. Обещал за нами прислать посыльного. Договорились с ним, что мы едем в Рузаевку.

Жена комиссара нашей части тётя Хиля, жена командира и мама уговаривали командира части, в которой мы случайно оказались, оставить нам машины. Мол, пограничники приняли неравный бой с напавшими ночью немцами. Командование погранчасти отдало почти все грузовые машины своим семьям для того, чтобы спасти их от немцев. Маме дали приказ вывезти гражданское население в тыл. Документы оформлены правильно. Полуторки нам нужны для того, чтобы вернуться из деревни в Смоленск. После погрузки людей в вагоны машины могут быть в их распоряжении.

Но командир ничего не хочет слушать. Он сказал, что даёт нам сопровождающего, который приведёт из Рузаевки в Смоленск

освободившиеся машины по законам военного времени.

Нам остаётся только подчиниться.

Как обычно, перед отправкой мама собрала шоферов. Поговорили и поехали. Перед нами двигается машина, в кабине которой едет сопровождающий.

Когда выехали из города, передняя машина съехала в сторону и остановилась. Мама спросила о причине остановки.

– Колесо прокололось. Вы езжайте. Заменю колесо и догоню. Помощь не нужна.

По дороге нас обогнала машина, за рулём которой сидела тётенька-водитель. Мы въехали в Рузаевку вторыми после её машины. На площади посреди села ни машины, ни людей с машины уже не было. Шофёр подошла к маме, что-то сказала и хлопнула по карману своего комбинезона.

Мама сказала, чтобы разгружались быстро. Местные люди разобрали нас по своим избам. Темнеет.

Потом я узнал, что женщина-шофёр спрятала сначала свою машину в какой-то сарай. Затем и остальные машины спрятала в разных местах. Она сказала маме, что все машины у неё в кармане. Без неё никто не заведёт ни одну машину.

Полуторка с сопровождающим пришла последней. Пассажиров развели по избам. На площади осталась одна машина с шофёром и мама. Приехавший командир спросил:

– Где остальные полуторки?

– Не знаю, – сказала мама.

– Вы за это пойдёте под трибунал! – пригрозил командир и уехал на этой машине.

В Рузаевке

Наша хозяйка предложила нам помыться. Бани у неё нет. Она сказала, что они моются в русской печке. Мама удивилась и согласилась.

После того как сварили еду в печи и нагрели воду, хозяйка выгребла жар. Немного погодя она сказала, что можно мыться.

Мы с мамой и тазиком залезли в саму печь. За нами закрыли зев печи. В уголке стоит фонарь «летучая мышь». Со всех сторон на нас идёт тепло. Сидим на скамеечках. Мама вымыла меня. Я вылез вытираться и одеваться. Я даже сажей не испачкался.

Мне приготовили постель на полатях. Чтобы попасть туда, нужно сначала залезть на русскую печь, потом перелезть на полати. Там моя постель. Сесть нельзя. Можно передвигаться ползком. А снизу – это потолок кухни.

Разбудило меня утром доброе потрескивание горящих дров в печи.

Встреча в Смоленске

На третий день за нами никто не приехал.

Утром четвёртого дня мама отправилась в город.

Когда комендант увидел входящую в его кабинет маму, то удивлённо спросил:

> По улице едет колонна грузовиков. В кузовах рядами сидят военные. Ремешки фуражек опущены, чтобы их не сдувало ветром. На одной из машин я вдруг увидел папу. Скорей всего, эта встреча – просто чудо, которое выпало на мою долю.

– Вы ещё здесь? Дня через три-четыре придётся сдавать город.

Потом отдал адъютанту распоряжение, чтобы завтра же для нас приготовили вагоны и чтобы был обеспечен наш отъезд по железной дороге.

В деревне мама сказала, что рано утром колонна машин повезёт людей в город. Пассажиры машины, которую у нас увезли, со слезами спрашивали, что же с ними будет? Мама сказала, что вернётся за ними сама. Люди успокоились.

Утром всё так и было.

В городе мы стоим на тротуаре главной улицы. По улице едет колонна грузовиков. В кузовах рядами сидят военные. Ремешки фуражек опущены, чтобы их не сдувало ветром. На одной из машин я вдруг увидел папу. Я закричал!

Потом папа сидел на нарах в теплушке и держал меня на коленях.

Скорей всего, эта встреча – просто чудо, которое выпало на мою долю.

По железной дороге

В теплушке два этажа нар. Нары с двух сторон от дверей. Двери в середине вагона откатываются в сторону. Между нарами посредине вагона стоит буржуйка. Топят её дровами и углём.

Взрослые на станциях ходят за водой. На каждой станции стоит домик, из которого выходят две трубы с кранами. Около труб висят железные таблички с надписями: «Кипяток» и «Холодная вода». Около этих труб обычно стоят очереди.

Мама на станциях ходит к каким-то начальникам. Однажды она принесла на всех «рисовые карточки». Их выдают тем, кто едет по железной дороге. По этим карточкам на станциях дают продукты. На какой-то станции мама отоварила карточки концентратом каши. Этот оклеенный бумагой брикетик не рассыпался на крупу, когда его вытащили из упаковки. Готовится каша быстро. Мама сказала, что эту кашу на фабрике почти сварили.

Потом кто-то мне объяснил, что карточки эти назывались рейсовыми.

Наш поезд часто останавливается. То станция, то разъезд. Иногда пропускаем встречные поезда.

– На фронт едут, – вздыхая, говорят в вагоне.

Бывает, что наш поезд обгоняют другие поезда. Обидно почему-то.

Иногда наши вагоны отцепляют от состава и убирают в какой-нибудь тупик. Тогда мама вместе с тётей Хилей или с женой командира идут к диспетчеру. Если не удаётся выяснить срок нашей отправки дальше, то мама идёт к уполномоченному НКВД.

Дело в том, что пограничники подчиняются Наркомату внутренних дел СССР, или просто НКВД. Наркома зовут Лаврентий Павлович Берия. С раннего детства я знаю вождей по имени и отчеству.

Уполномоченному НКВД мама показывает какие-то документы и говорит, что везет секретную картотеку. Эти слова я тоже запомнил.

Обычно после таких переговоров нас цепляют к какому-нибудь проходящему товарному поезду. Поезда водят паровозы. От паровоза нельзя глаза отвести, когда он приближается. Это и резкие выбросы пара в трубу, и металлический слаженный стук, и переваливание с боку на бок, когда он с составом трогается с места. А гудки протяжные или короткие, а то какие-то тревожные. Или запах пара, дыма, разогретого железа – это ни с чем не спутать.

На какой-то станции диспетчер огорошил маму вопросом:

– А куда, собственно, вы едете?

Договорились, что едем в Свердловск.

– Вот и напишите на своих вагонах: «Свердловск», чтобы железнодорожники сразу знали ваш маршрут.

С тех пор на наших вагонах с двух сторон мелом написано название этого города.

На Урале

В конце концов мы доехали до Свердловска. На платформе играет духовой оркестр. Мы готовимся выгружаться. Нас встречают какие-то начальники в штатском и военные. Мама, тётя Хиля и жена командира пошли к начальникам.

После разговора наши посланники вернулись.

Мама поговорила со всеми женщинами, и нас повезли дальше.

Оказывается, мы первыми из эвакуированных приехали в Свердловск. Но в ближайшее время сюда ожидается прибытие уже больших эшелонов с заводами. И нам посоветовали ехать в Ирбит. Город, конечно, меньше, чем Свердловск. Предполагается, что жизнь в Ирбите будет более дешёвой, да и с трудоустройством взрослых будет проще.

В Ирбите

Вопросы жизнеустройства семей пограничников мама решает у начальника городского отделения НКВД Павла Южакова. Он по городу разъезжает на мотоцикле.

Нам дали комнату на первом этаже дома на улице Революции, 16. Мебель в комнате есть. Около двери стоит круглая печь.

Мама устроилась работать поваром в городской столовой. Я хожу в круглосуточный детский сад недалеко от дома.

Все семьи пограничников получили комнаты. Взрослые получили работу. Все дети устроены, кто в детские сады, кто в ясли, а старшие пошли в школу. Иногда мы заходим к нашим попутчикам в гости или по делам.

У нас в комнате висит чёрный круглый репродуктор. Почти каждый день диктор Юрий Левитан в передаче «От Советского Информбюро» говорит:

> У нас в комнате висит чёрный круглый репродуктор. Почти каждый день диктор Юрий Левитан в передаче «От Советского Информбюро» говорит:
>
> – Сегодня после тяжёлых кровопролитных боёв наши войска оставили город Н. Враг несёт большие потери.

– Сегодня после тяжёлых кровопролитных боёв наши войска оставили город Н. Враг несёт большие потери.

Взрослые молча слушают. Вздыхают. Иногда говорят, что там остались брат или сестра малолетняя с мамой.

Я хожу в круглосуточный детский сад. Это значит, что я остаюсь на ночь или меня могут вечером взять домой. Постоянно

хочется есть.

Каждый вечер я хожу домой. Бабушка живёт с нами.

Печь в нашей комнате надо топить дровами. Брёвна лежат во дворе. Мама и бабушка пилят дрова длинной пилой. Как-то мама позвала меня попилить бревно. Я с радостью схватил правой рукой пилу и начал пилить. Но пила почему-то гнётся, спотыкается. Мама подсказывает мне, что надо делать, чтобы пила шла легко и пилила.

Бабушкины дети

У бабушки Евдокии Степановны Близниченко три дочери и сын. Старшая тётя Аня, потом тётя Тоня, мама и дядя Боря. Он перед войной учился в Москве. На каникулы как-то приезжал к нам на границу. Во время войны он с семьёй живёт в Москве. У него сын Виталий. Мы с ним примерно одногодки. Его жену тоже зовут тётя Тоня. До замужества её фамилия была Маршуба.

Тётя Аня до войны работала в Киеве в Наркомате юстиции Украины. Когда началась война, её с сыном Валерием эвакуировали куда-то в Казахстан. Там тёте Ане тяжело.

Тётя Тоня с дочерью Женей, кажется, остались в Харькове в оккупации.

Во время войны просто купить билет и куда-то поехать без пропуска нельзя. Мама оформила тёте Ане пропуск для проезда в Ирбит. И она с Валерием приехали. Комнату им дали далековато от нас. Тётя Аня стала работать коммерческим директором спиртоводочного завода.

Бабушка не зря везла швейную машинку из Заславля. Валерию бабушка сшила матросский костюм. Мне она тоже что-то шила.

С приездом тёти Ани бабушка перебралась жить к ней.

Самоволка домой

Как-то вечером мы играли в детском саду на улице. Ребят забирают по домам. Пошёл и я по привычке. Наша комната заперта. Во дворе я поиграл с ребятами. Стемнело. Все разошлись по домам. А наша комната заперта. Хочется есть. И я пошёл к маме на работу. Мама кого-то предупредила и повела меня домой. Под ногами поскрипывает снег.

В нашей комнате холодно. Мама принялась растапливать печь. Большим кухонным ножом от полена откалывает длинную

щепку. Горсть таких щепок взяла в руку, спичкой подожгла эти щепки снизу и аккуратно положила в печь. Потом сверху начала тихонько класть мелкие поленья. При этом приговаривает:

– Осина не горит без керосина.

Всё же дрова загорелись и в печи загудело. Мы поели и улеглись спать. Стало тепло.

А керосин мама наливает в керосиновую лампу и в примус. Когда его разжигают на кухне, у него появляется голубенькая чашечка огня. На примусе варят еду и ещё кипятят бельё. Когда примус горит, то он ровненько шумит. Если шум становится тише, то убывает и огонёк. Тогда мама накачивает примус насосиком. Наш примус всегда блестит. Это мама его начищает.

Омлет

Вчера воспитательницы повели нашу группу в город. Мы идём мимо столовой, где работает мама. Я забежал туда. Хочется повидать её. Она печёт омлет из яичного порошка. Увидела меня и попросила подождать. А ребята уходят. Наконец мама сняла омлет со сковороды и дала кусок мне в руки. Я побежал догонять группу. А омлет горячий. Много в рот не возьмёшь.

> Пришла почтальон и дала хозяйке письмо. Когда она письмо прочитала, то заплакала, закричала. Все сидят, смотрят на хозяйку, которая навзрыд заливается слезами и выкрикивает что-то. Мама взяла стакан. Налила в него воды. Набрала воду в рот и брызнула хозяйке в лицо. Так она брызгает бельё, когда гладит.
>
> Хозяйка вздрогнула.
>
> Замолчала.

Вкусно. А мама? Может быть, она мне свою порцию отдала? Скорее всего, так и есть.

Иногда мы с мамой заходим по делам к нашим пограничникам. А если кому-то приходят письма с фронта, то это как-то становится известно всем остальным.

Однажды мы и ещё две женщины зашли к кому-то из наших. Пришла почтальон и дала хозяйке письмо. Когда она письмо прочитала, то заплакала, закричала. Все сидят, смотрят на хозяйку, которая навзрыд заливается слезами и выкрикивает что-то. Мама взяла стакан. Налила в него воды. Набрала воду в рот и брызнула хозяйке в лицо. Так она брызгает бельё, когда гладит. Хозяйка вздрогнула. Замолчала. Посмотрела на нас. Тут все начали её успокаивать. Она что-то отвечала.

Когда мы шли домой, одна из тех тётенек сказала маме:

– Я сама испугалась, когда у неё началась истерика. Поняла, что пришла похоронка. Что делать с истерикой – не знала. Думала вызвать карету скорой помощи. А ты, Валя, сообразила и успокоила бедную.

– Зачем распотякивать, когда дело надо делать, – сказала мама.

Сон

Приснилось мне, что я снова сижу в теплушке на коленях у отца. Но голова его почему-то в грудной клетке. Он мне что-то говорит глухим, как из бочки, голосом. Когда я проснулся, то у меня было тяжело на душе. Маме я ничего не сказал. Ей ведь и без моих снов несладко.

Через какое-то время пришло сообщение о том, что в боях под Ельней Ворончихин Алексей Осипович пропал без вести.

Потом в Ирбит после ранения приехал сослуживец папы. Его семья приехала с нами из Заславля. Он рассказал маме, что в тех боях под Ельней они вместе с отцом вынуждены были взорвать склад с боеприпасами. Это было длинное строение, из которого не успели вывезти оружие. Была опасность того, что всё это достанется немцам. В середине склада они вдвоём сделали «адскую машину». Чтобы она взорвала всё, надо было дёрнуть за верёвку. Слышно было, что в дальнем конце дверь взломали и в склад вошли люди. Они переговаривались. Это были немцы. Папа сказал подчинённому напарнику, чтобы он уходил. Подчинённый ответил, что он останется и всё взорвёт. Тогда отец приказал уходить. Снова отказ. Тут папа выхватил пистолет и повторил приказ.

Далеко от склада убежать не удалось. Через какое-то время прогремел взрыв.

Папе было 33 года.

На меня мама стала получать пенсию 332 рубля.

Мама и Севураллаг

Ещё мама работала в Севураллаге (так называли Североуральский лагерь) поваром. В лагере были заключённые. Там были преступники и люди, которые преступлений против людей не совершали.

Мы с бабушкой как-то пришли к маме на работу. Поговорили.

Мама пошла на кухню. Ей навстречу вышел дяденька тоже в белом халате.

– Это твои? – спросил. – Надо им поесть дать с собой.

– Да у них и посуды нет.

– Посуду мы найдём.

Через какое-то время он вынес голубую кастрюлю с едой.

– Спасибо.

Голубая кастрюля долго ещё нам напоминала того доброго дяденьку.

Потом маму уговорили перейти работать в магазин продавцом. Магазин стоит на территории зоны. Мама ко всем заключённым относится одинаково по-доброму по своей привычке.

А в лагере, рассказывают, заключённые играют в карты. Бывает, тому, кто проиграл всё что мог, предлагают сыграть на какого-нибудь человека. Он называет человека, на которого играет. Если он выиграет, то ему отдают всё, что он проиграл. А ели проиграет, то он должен до конца этого дня зарезать того человека, которого проиграл. Иначе его самого зарежут.

Мама часто ходила по лагерю без охраны. Заключённые с ней здоровались.

Однажды, когда в магазине не было посетителей, кто-то открыл дверь и крикнул:

– Вас проиграли!

Время было к вечеру. Скоро надо было запирать магазин и идти по лагерю до КПП (контрольно-пропускной пункт), где были охранники.

Когда кто-то пришёл в магазин, мама попросила его сходить на КПП и сказать, чтобы пришёл начальник охраны. Замок ей не запереть.

Пришёл начальник.

– Что с замком?

Мама ему тихонько и сказала, что её проиграли.

Карнач (караульный начальник) повозился с замком. Запер магазин. Мама заметила, что за углом магазина кто-то прячется.

По дороге к выходу карнач рассказывает смешные истории. Мама и рассказчик смеются. Видят, что кто-то крадётся за ними.

Вдвоём с начальником охраны мама вышла с территории лагеря.

После этого в магазин мама больше не вернулась. Она снова стала работать на кухне.

Сухофрукты

Потом мама перешла работать в пищеблок воинской части шеф-поваром.

Оказалось, что этот пищеблок от нашего садика отделяет дощатый забор.

Как-то во время прогулки во дворе детсада я захотел увидеть маму. У забора одна доска отодвигается, и в эту дырку можно пролезть. Я и полез.

Около входа в пищеблок люди что-то сгружают с подводы и носят внутрь. Я подошёл к дверям. Какая-то женщина вышла из дверей и увидела меня.

– К кому ты идёшь? – спросила.

– К Ворончихиной Валентине Васильевне.

– Её сейчас нет. Пойдём.

Она взяла из ящика горсть сухофруктов, из которых варят компот, и пихнула мне в карман.

В детсаду я с удовольствием грызу эти сушёные груши, урюк, изюм и угощаю приятелей. Очень вкусно.

Потом мама больше не велела мне к ней заходить.

Ливень

Однажды в детсаду нас вечером уложили спать. На улице идёт сильный ливень. Моя кровать стоит так, что я вижу дверь в спальню. Верхняя часть двери стеклянная. Вижу, появилась воспитательница, а за ней мама. Она с работы зашла взять меня домой. Значит, мы чего-нибудь поедим.

На маме надет серый длинный папин плащ. Мама сняла плащ, посадила меня на плечи. Сверху на меня уже надела плащ с капюшоном. Мы пошли под дождь.

Плаща хватило на двоих. Только мамины хромовые сапоги забрызганы.

Дома мама вспомнила, как её ещё девочкой водили в Москве к дяде. Его семья жила в Кремле, потому что он был член правительства. Мама сказала, что он был профессором слесарных наук. В коридоре им повстречался Сталин. Он спросил, к кому идёт девочка. Она ответила.

Когда гости от дяди уже собрались уходить, в дверь постучали. Вошёл дяденька, в руках которого была корзина с фруктами. Он сказал, что Иосиф Виссарионович прислал подарок девочке.

Ревизия пекарни

Однажды Южаков вызвал маму к себе и сказал, что у него появилась информация о том, что один командир сдался в плен и выдаёт немцам коммунистов и руководителей гражданского населения Заславля. Назвал фамилию. А его жена с детьми приехала с нами и живёт в Ирбите. Мама сказала, что эта женщина с двумя детьми крутится как белка в колесе. Она после работы кому-то стирает. А всё потому, что у неё маленькая пенсия на детей, из-за того что муж пропал без вести. Но эта женщина очень хороший человек. Если у неё сейчас отнять пенсию, то её положение станет совсем тяжёлым. Нельзя ли не давать ходу этой информации?

– А ты за неё ручаешься?

– Ручаюсь.

– Тогда попытаюсь придержать этот сигнал без развития, – сказал Южаков.

Потом он помолчал и сказал:

– Я тебя позвал вот по какому вопросу. Необходимо проверить работу пекарни. Поступили жалобы на то, что их выпечки не хватает, для того чтобы отоварить карточки прикреплённым людям. Пишут, что пекари воруют. Ты же знакома с тем, как должна происходить выпечка. Подбери себе двоих помощников, и сегодня же идите туда. Выпечка происходит ночью.

Мама с помощниками пришли. Проверили калькуляцию на закладку замеса. Взвесили все продукты, которые нужно закладывать. Проверили все окна и двери. Они заперты.

Всю ночь, пока шли замес теста и выпечка хлеба, никто из комиссии не спал. Когда вытащили из печей хлеб и приготовились взвешивать, мама отложила пять буханок хлеба в сторону и сказала:

– В вашей бригаде пять человек. Дома у вас наверняка дети. Вот каждой из вас по буханке хлеба. Если будете всё закладывать по норме, как сегодня, то выход хлеба будет полным. И каждая из вас будет с хлебом. Так что вам выгодно работать хорошо.

Потом взвесили оставшийся хлеб. Составили акт. Работницы со слезами на глазах благодарили маму и всех членов комиссии.

Южакову мама доложила, что реальный выход хлеба столько-то килограммов. А сколько человек фактически прикреплено к пекарне – надо проверить.

«Прощание славянки»

Дом, в котором мы живём в Ирбите, стоит на окраине.

Дальше ещё три-четыре дома и начинается поле. А через поле идёт от Ирбита дорога вдаль. Иногда через весь город ведут строй новобранцев. Впереди идёт и играет духовой оркестр. Около строя вприпрыжку бегут пацаны. Идти под марш со скоростью строя мы не можем. По тротуарам идут женщины. Это в основном матери будущих солдат. Они провожают сыновей.

> Рядом с оркестром останавливаются провожающие. Кто-то машет вслед уходящим парням. Кто-то крестит их. Но почему-то все плачут. Я считаю, что на войне этих парней ждут подвиги. Но слёзы женщин как-то заглушают мысли о подвигах. Когда я слышу марш «Прощание славянки», передо мной снова возникает картина проводов тех парней под плач матерей.

Около нашего дома оркестр выходит из строя, становится рядом с дорогой и играет. Мимо оркестра идёт строй. Он уходит от оркестра, от города. Уходит от провожающих на пустынную дорогу. Оркестр чаще других маршей играет «Прощание славянки».

Рядом с оркестром останавливаются провожающие. Кто-то машет вслед уходящим парням. Кто-то крестит их. Но почему-то все плачут. Я считаю, что на войне этих парней ждут подвиги. Но слёзы женщин как-то заглушают мысли о подвигах. Плач, причитания, вскрики женщин продолжаются ещё и после того, как оркестр, проводив последнего новобранца, замолкает и возвращается в город.

Когда я слышу марш «Прощание славянки», передо мной снова возникает картина проводов тех парней под плач матерей.

Дедушка

Отец мамы Близниченко Василий Емельянович был ударником в первом составе джаз-банда Леонида Утёсова. Потом работал проводником в поездах дальнего следования.

Дедушка ещё шил мужскую одежду. Шил он и пальто, и брюки. А потом утюжил готовое изделие. Оказывается, очень много зависит то того, как хорошо отглажено пальто, да и брюки тоже.

У дедушки был большой утюг. Дедушка открывал крышку утюга, брал на совок из печки угли и сыпал внутрь утюга. Расстилал на столе сшитую одежду, накрывал её тонкой тряпочкой, из стакана набирал в рот воды и брызгал на тряпочку. Перед глаженьем брал утюг и размахивал им, чтобы он лучше

разогрелся. А потом уже гладил. Все швочики переставали топорщиться, и одежда становилась гладенькой. А спинку и грудь дедушка утюжил на большой кукле без рук, которая стояла в углу комнаты. Пальто становилось уже не плоским, а объёмным, с выпуклой грудью и спиной.

С братьями и соседями составили мобильный оркестр. Играли на свадьбах, похоронах.

Ещё он изготавливал барабаны по заказам. Семью-то кормить надо.

Однажды Василий Емельянович пришёл в магазин купить шкуру для барабана. Молодой приказчик предложил и расхваливал не очень качественный товар. Дедушка отказался покупать. Вошёл хозяин магазина. Поздоровался тепло с посетителем. Спросил, о чем разговор. Приказчик доложил, что у него отказываются покупать классный товар. Хозяин заметил, что этому покупателю нужна только качественная шкура. И отвёл Василия Емельяновича туда, где было то, что ему нужно.

Довелось ему играть в Харьковском оперном театре ударником. Мама рассказывала, что была однажды в оркестровой яме. Шла какая-то опера. На сцене битва. Оркестранты «болели»:

– Васяка, давай. Так, так. Давай.

А ударник один работал на трёх литаврах, подстраивая их по ходу игры, на барабанах, тарелках.

Когда опустился занавес, и артисты выходили на поклоны, оркестранты поздравляли и благодарили своего ударника. Они-то знали, кто обеспечил успех этой сцены.

Мама присутствовала и на концерте, где исполнялась Вторая рапсодия Листа. Василий Емельянович снова был в ударе. Оказалось, что тогда мама в последний раз видела отца. Он остался в Харькове, когда туда пришли немцы. Во время оккупации Василий Емельянович пропал. Говорили, что он попал в облаву и после этого его больше никто не видел.

А мама долго ещё не могла без слёз слушать Вторую рапсодию Листа.

Погалдеть на контору

Вечером собрались в нашей комнате соседи. Играют в лото. Электрическая лампочка помигала и погасла. Мама зажгла семилинейную лампу со стеклом. Поиграли ещё. Кто-то возмутился тем, что опять свет погас. Надо, мол, идти галдеть на контору. И две самые расшумевшиеся женщины пошли-таки в

жилконтору.

Вернулись они успокоенные и притихшие.

– В конторе есть кто-нибудь?

– Есть. Сидят бабоньки, такие затурканные, звонят куда-то. Ну я их напрямую в лоб и спросила, который час. Они ответили, что половина девятого. Мы сказали «спасибо» и пошли.

Так и «погалдели на контору». Все посмеялись.

По репродуктору поёт Клавдия Шульженко. Мама улыбнулась и сказала, что они вместе росли в одном дворе. У них была дружная компания. Мама вспомнила ещё Сеньку Когана. Когда он плясал или дурачился, то у него руки и ноги болтались, как на веревочках. Потом я слышал, как по репродуктору объявили какую-то музыку и её исполнителя на рояле Симона Когана. Оказывается – это и был тот Сенька, с которым мама росла в одном дворе.

В детском саду

Каждый день перед едой нам дают целую столовую ложку рыбьего жира. А запах такой, что хочется отвернуться. Но мама мне сказала, что в нём есть нужные растущему организму вещи. В других продуктах этих вещей нет. А мне надо расти. Значит, надо терпеть и глотать.

Когда я болел, то мне давали пить порошки. В детском саду болел в изоляторе. Скучно одному в комнате лежать. А когда болел дома, то бабушка принесла из аптеки «каплидатского» короля. Они очень вкусные.

А лекарство от разных болезней – это стрептоцид. Он бывает белый и красный. Когда соседка на кухне ошпарилась, то мама взяла таблетку белого стрептоцида, растолкла и посыпала больное место.

Красным стрептоцидом тётеньки красят волосы. Получается кирпично-рыжий цвет. Ещё тётеньки накручивают волосы на тряпочки, чтобы быть кудрявыми. А мама говорит, что она любит отечественную прическу. После мытья головы она расчесала волосы. Когда они подсохли, мама слегка тряхнула головой. Волосы легли красивой волной.

Дома

В пищеблоке мама работает сутками. После суток на выходной мама берёт меня из садика.

Как-то мама велела мне подмести пол. Я стараюсь делать всё как мама. Взял веник, связанный из прутьев кустов, которые растут через дорогу от нашего дома, и взялся за дело. Когда я закончил, мама посмотрела и сказала, что подметать и мыть пол надо не только в середине комнаты. Надо выметать сор из всех углов. Я снова взял веник и сделал как мама сказала. Сору получилось больше, чем в первый раз.

А мама в это время чистит ножи и вилки. Ей где-то удалось достать наждачную бумагу. Наши стальные ножи и вилки почему-то потемнели, хотя и чисто вымыты.

Когда мама почистила нож – он стал выглядеть нарядно. На лезвии над ручкой блестящая полоса шириной в палец. Всё лезвие блестит, но по-другому. Закруглённый конец лезвия тоже блестит, но уже в виде круга. Так красиво начищены ножи только у нас.

Перед стиркой мама бельё кипятит в баке на примусе.

Стирает мама в корыте на стиральной доске. Большой кусок мыла можно положить в углубление на этой доске. После стирки оставшейся водой, которую мама называет щёлоком, она моет пол. Мокрый пол она трёт веником, на который наступает ногой. Доски пола после мытья становятся белыми. А когда он высыхает – в доме особый запах чистоты.

Купает меня мама в том же корыте в комнате. Намыливает голову тем же мылом. А потом и всё остальное. Чистоту проверяет рукой – проведёт по волосам, если скрипят, то, значит, чисто. Ну а если нет – значит, перемывать.

Так же мама учит меня мыть посуду. Если скрипит – можно вытирать чистую тарелку.

Мама говорит, что спички очень дорогие. У неё для получения огня есть огниво. Это камень кремень, кресало и фитиль. Кресалом она бьёт сильно по кремню. Искры падают на фитиль, который тут же начинает дымиться. Мама его раздувает и прикладывает кусочек бумаги. Бумажка загорается, и мама поджигает горелку примуса.

Ещё мама часто вышивает. У неё в коробочке лежат цветные нитки мулине. В нашей комнате лежат на столе и на кровати дорожки с красиво вышитыми цветами. Мама вышивает гладью, ришелье. Крестиком вышивает соседка. Это проще. Но не так нарядно. Соседка гладью просто не умеет вышивать.

Дядя Коля

К нам часто приходят гости. Когда по двое, а когда по

одному. Они обычно просят у мамы помощи или совета. И сегодня пришёл гость. Зовут его дядя Коля. Это старший сержант Николай Петрович Иванов. У него на гимнастёрке красная нашивка. Значит, на фронте он получил тяжёлое ранение.

У дяди Коли мама Дуся и сестра Сима в Ленинграде. А Ленинград окружен немцами. Про ленинградскую блокаду иногда говорят по радио. Хлеба по карточкам там дают по осьмушке в день. Мне рассказали, что это сто двадцать пять граммов, или одна восьмая килограмма. Нам на обед в детском саду дают, оказывается, столько же. Но нам ещё на завтрак дают хлеба и на ужин тоже. А в Ленинграде этот хлеб на целый день.

Ещё у дяди Коли два брата на фронте. Старшего зовут Михаилом, а младшего – Гошей. Дядя Коля часто вспоминает Гошу, который служит во флоте.

Дядя Коля хорошо рисует, хотя нигде этому не учился. На листе бумаги с развёрнутый тетрадный лист он перерисовал мамину фотографию чёрным карандашом. Мне интересно, как он ваткой растирает карандашные линии так, что их становится не видно. Видно только тёмное пятно, которое может быть тенью от головы или прядью волос.



Ворончихина Валентина Васильевна. Ирбит. 1942 г.

Этот портрет висит на стене нашей комнаты.

Нездоровье мамы

Замечаю, что мама худеет. Кому-то она сказала, что у неё болит желудок. Врач заметил, что может помочь родной климат. Но в Харькове сейчас немцы. А тут ещё и Южаков её к себе вызвал. Спросил о делах. Спросил, нравится ли ей хлопковое масло. Маме пришлось ему рассказать и про боли в желудке, и про то, что ей легче есть пищу сухой, чем с этим маслом. Даже от запаха хлопкового масла у неё начинаются спазмы желудка.

Южаков достал из стола бумагу, в которой было написано, что мама из пищеблока ворует хлопковое масло. Мама на это сказала, что по норме положено очень мало масла на человека. Если масла недодать, то это сразу вызовет недовольство обедающих. А маме в связи с болезнью желудка вообще никакого смысла нет брать это масло. Да она и не умеет воровать из пищеблока продукты. За всё время работы она ни разу себе такого не позволила.

Южаков разорвал эту бумагу и бросил в корзину для мусора.

В Харьков

После освобождения Харькова от немцев в 1943 году мы с мамой уехали из Ирбита на мамину родину. Во время войны уехать с Урала невозможно. А тут и Южаков погиб в автокатастрофе. Маме удалось всё же получить разрешение.

> Мама сварила еду в какой-то узкой банке или кружке. Она умудрилась варить кашу в печке, которая отапливает вагон.

Наш вагон плацкартный с деревянными полками. Народу много. Мама сварила еду в какой-то узкой банке или кружке. Она умудрилась варить кашу в печке, которая отапливает вагон. Уголь в печь насыпают сверху в горловину. И он горит где-то внизу. Так больше никто не варит. Горячая пища маме нужна потому, что у неё обострение язвы желудка. Да и меня надо горячим кормить.

Когда мама забирала меня из детского сада в Ирбите, то мне вручили портфель. Это такая традиция детских садов города: всем выпускникам перед школой вручают портфели.

В Харькове

От вокзала в Харькове на Холодную гору мы идём пешком. Там живут мамины родственники или знакомые, которые нас приняли.

Мама относит узел шагов на 30 от кучи наших вещей. Потом возвращается за следующим багажом. Я от этой груды бегу к тому узлу и стою около него, пока мама носит все наши вещи. А у меня в руках чайник и мой портфель. Так мы и двигаемся от одной кучи наших вещей до другой. Многие дома города разрушены.

Мама хлопочет о том, чтобы нам дали жильё. У неё ничего не получается. После долгих хождений и стояний в очередях ей всё растолковали:

> Мама написала в Москву наркому НКВД Лаврентию Павловичу Берия.
>
> Когда ответ пришёл, маме выдали ордер на комнату и ордер на мебель.

– Ну и что из того, что родилась в Харькове? Подумаешь, была выдвиженкой на пост директора первой в городе фабрики-кухни на Теняковке в 18 лет. Но ведь потом вышла замуж за курсанта-пограничника и уехала с ним на границу. А квартира, в которой жила с родителями, занята посторонними людьми не самовольно. Они въехали туда по согласию с Антониной Васильевной Близниченко.

Её заявление есть в деле. Значит, ни вы, ни ваша мама, если вернётся в Харьков, претендовать на то жильё не можете.

Тогда мама написала в Москву наркому НКВД Лаврентию Павловичу Берия.

Когда ответ пришёл, маме выдали ордер на комнату и ордер на мебель. Наша комната на втором этаже флигеля во дворе дома номер 6 по Лопанскому переулку. Прямо из коридора вход к нам в комнату. Напротив двери окно во двор. Около окна стоит стол. У другой стены – кровать. А я сплю на диване, который стоит у стола. Диван чёрный кожаный, с полочкой и зеркалом наверху. За водой я хожу во двор. Там есть кран, к которому дворник присоединяет шланг для поливания двора и мостовой.

Лопанский переулок упирается в речку Лопань. А на большой соседней улице есть мост через речку. На эту улицу мы ходим через проходной двор. Туда же выходят люди после очередного сеанса из кинотеатра.

На набережной иногда тётенька продаёт мороженое в вафлях. В формочку кладёт вафельный кружок. Потом накладывает мороженое. Сверху снова кружок и всё это выдавливает из формочки. Стоит мороженое 10, 20 или 30 рублей, потому что у неё три разные по величине формочки.

За мостом через Лопань площадь. В середине площади маленькое круглое возвышение. На нём стоит милиционер и разводит машины и трамваи, которые приходят с разных сторон. Делает это очень красиво один из нескольких орудовцев, которые приходят туда в разные дни. Тогда по краям площади стоят люди и любуются его работой.

Пришла пора идти мне в школу. Портфель у меня есть. Мама хотела записать меня в русскую школу. Но ей сказали, что я могу учиться только в украинской. Она ходила куда-то, но ей говорили везде одно и то же. Тогда мама решила не отдавать меня в школу, чтобы не пришлось мне потом переучиваться.

Соседи

В нашем коридоре живёт семья – мать, двое детей и их бабушка. Мать работает в военизированной охране. Старший сын Жора пошёл в школу. Сестрёнка его ещё маленькая. Когда Жора делает уроки – слышно далеко:

– Ма-ма мо-ет ра-му!!!

В свободное время Жора без дела не сидит. Он сделал ящик для чистки обуви. С утра он приходит на угол соседнего дома и чистит обувь. Заработок. Когда тень от нашего дома доходит до люка на дороге, Жора идёт домой. После обеда он направляется в школу во вторую смену.

Летом он продаёт холодную воду на Благовещенском базаре (все говорят «Благбаз»), который недалеко от нашего дома. Мы нашли действующий водопроводный кран в разрушенном доме, недалеко от базара. Жора с ведёрком, накрытым выпиленной фанеркой, и с кружкой своим зычным голосом зазывает:

– Кому воды, воды, воды!!!

Деньги, которые он приносит домой, считают всей семьёй. Потом он говорит маме, что он с сестрёнкой пойдёт в кино. Мама даёт ему деньги на билеты. Жора с сестрой идут вдвоём через проходной двор в кинотеатр.

В нашем коридоре живёт ещё одна семья. Дядя Макар с женой и взрослой дочерью. Чаще всего я пропадаю у них.

На первом этаже живёт одинокий пожилой дяденька. В его квартире стоит красивая старинная мебель. В клетке прыгает жёлтенькая канарейка.

В углу стоит пианино. Соседи по дому говорят, что он работал у немцев и многих спас от угона в Германию, а других от ареста.

На Благбазе

Мама взяла меня с собой на Благбаз. Народу много. Пшено, гречку, фасоль продают стаканами. Масло сливочное – круглыми толстенькими лепёшечками. А овощи и фрукты – на вес.

Мама подошла к продавщице картошки и заговорила с ней по-украински. Приценилась. Попросила сбавить цену. Продавщица согласилась. Ещё мама купила яблоки. Тоже поторговалась. Яблоки крупные, красные, сладкие, ароматные. Я даже огрызка не оставил. Всё яблоко съел. Очень смачно.

Дяденька продаёт часы. На руке до локтя у него надеты разные часы. Он просто поднимает рукав, если хочет показать свой товар.

Вдруг неподалёку раздались крики двух мужчин. Это инвалиды на костылях. Каждый из них обвиняет другого. Люди образовали кольцо вокруг них. Смотрят.

А они уже готовы бить друг друга костылями.

Мама дала мне сетку с картошкой, раздвинула людей и подошла к спорящим:

– Здорово, братва! О чём спор?

– Да он…

– Слушай, ты где ногу потерял?

– Под Ржевом.

– А ты?

– Да здесь. Под Харьковом.

– Вы что, братва, опупели? Вместе били фашиста, а из-за какого-то пустяка на радость немцам друг друга костылять готовы. Да пожмите друг другу руки. Ну вот и порядок!

– Ой, спасибо, сестра. Что-то в голову ударило. Спасибо.

Народ ворчливо начал расходиться.

Станция Рада

Из Харькова мы с мамой приехали на станцию Рада. До Тамбова 12 километров.

Здесь находится Четвёртый учебный стрелковый полк, в котором служит дядя Коля.

Живём мы в землянке. Мама сказала, чтобы я называл дядю Колю папой. У меня это не очень получается. А мама стала называть его «отец». Это, наверное, для меня.

Рядом с нашей находится землянка командира взвода связи лейтенанта Синего. У него двое детей. А дальше землянки взвода связи и сапёрного взвода. Я часто пропадаю у сапёров, потому что

дядя Коля помкомвзвода сапёров. Здесь интересно. Рядом с землянкой лежат штабели противотанковых и противопехотных мин. Есть тут и немецкие мины. Взрывателей в минах уже нет, поэтому нам с ребятами разрешили с минами возиться. Мы их разбираем и собираем. Интересно.

К нам в землянку надо спускаться по лестнице. Окон нет. Посредине стоит оштукатуренная и побелённая кирпичная печка.

Мама работает в офицерской столовой руководящим поваром. Работает она сутками. После работы сутки отдыхает.

Мама была выходной. Пришёл к нам посыльный солдат и сказал, что маму срочно вызывает командир полка полковник Адамсон. Мама взяла свёрток со спецовкой и ушла. Оказывается, завтра в полк приезжает комиссия во главе с генералом и надо приготовить праздничный обед. Поэтому Адамсон и попросил маму выйти на работу в её выходной день. А сегодня приехал адъютант этого генерала.

Мама прямо в кабинете командира полка поговорила с адъютантом и выяснила, что генерал любит шашлыки.

Старшему наряда по кухне мама дала задание настрогать прутиков для шашлыков. Прутики принесли. Мама увидела, что они сосновые. Но они же не годятся. Если на них насадить мясо и нагревать, то выделится из них смола и мясо станет горьким. Пришлось прутики делать ещё раз, но уже из берёзы.

Назавтра генералу обед понравился, и маму пригласили в зал. Поблагодарили.

Однажды я пришёл к маме в столовую утром. Мама с тряпкой в руках нюхает большой стол и тут же ножом скоблит доски стола, а потом моет его. Оказывается, вечером на этом столе стояла керосиновая лампа, а сейчас надо здесь разделывать мясо. Стол пахнет керосином. Вот она и приводит его в нормальное состояние.

Около наших землянок тут и там растут сосны. Около землянки сапёров стоит сосна, по сучку которой мы любим скатываться вниз. Этот сучёк уже очень гладкий. Скатишься по нему, а он тут же выпрямляется. Наша компания – три или четыре пацана. Мы везде вместе.

> Весной в землянке появилась на полу вода. Сначала её черпаем вёдрами, кастрюлями и выносим выливать в канаву. Заканчиваем выбирать воду тряпками, которые выжимаем в те же вёдра. Работать надо непрерывно, а то вода прибывает, если остановишься.

Пришла зима. Снег надо разгребать на дорожке около землянки. А сегодня утром открыли дверь и не смогли выйти из

землянки, потому что за дверью стена снега. Отец лопатой пробился на улицу.

Наверху и я взял лопату и откидывал снежные сугробы по сторонам. Стало жарко.

Весной в землянке появилась на полу вода. Сначала её черпаем вёдрами, кастрюлями и выносим выливать в канаву. Заканчиваем выбирать воду тряпками, которые выжимаем в те же вёдра. Работать надо непрерывно, а то вода прибывает, если остановишься.

Адамсон

Наши знакомые офицеры, сержанты да и солдаты тоже называют командира полка полковника Адамсона «батей». Уважают его. А о его заместителе по политчасти подполковнике Каткове просто не говорят и не хотят с ним встречаться.

Несколько раз я видел полковника Адамсона издалека. С ним разговаривали какие-то военные. Отходили от него довольными.

Вчера наша компания возвращалась домой. Солнышко такое, что снег слепит глаза. Кто-то сказал, что по соседней дороге навстречу нам идёт командир полка. Мы захотели с ним встретиться. Но до другой дороги метров 30 нетронутого снега. Не раздумывая, мы бросились бежать по снежной полосе. Снег по колено, а местами глубже. Но нам надо успеть и не пропустить полковника Адамсона, чтобы не догонять его. Наконец мы добрались до дороги. И военным шагом пошли навстречу полковнику. Отдали ему честь и прокричали, запыхавшись:

– Здравия желаю, товарищ полковник!

Он остановился. Поздоровался с нами. Спросил, чьи мы. Потом ещё поговорил с нами. Попрощался, и мы вприпрыжку двинулись к нашим землянкам. Эта встреча была для нас праздником несколько дней. Всем знакомым мы говорим, что строем приветствовали Адамсона, и он говорил с нами.

Суворовское училище

Где-то открыли Суворовское училище. Туда, говорят, берут сыновей погибших офицеров. Там выдают форму. Везде ходят строем. И учат не только тому, что в простой школе, а ещё и танцам. Учат ещё тому, как надо себя вести за столом.

Я сказал маме, что хочу, чтобы меня отдали туда учиться. Мама сказала, что торопиться не надо. Время ещё есть. А я

канючу, что хочу там учиться, и всё тут.

– Ну что ты уперед батька у пекло лизишь? – сказала мама. – Подожди.

Потом мама съездила в Калинин и рассказала, что была в Суворовском училище. Говорила с генералом – начальником училища. Он ей обо всём рассказал. Действительно, там будут учить иностранным языкам и танцам.

– Ну так и отдай меня туда.

– Опять за рыбу гроши. Ты дослушай. Все помещения ребята убирают сами. Моют пол и в классах, и в помещениях для сна. Ну это ты умеешь. Они топят печки везде. Да, а ты знаешь, что самое главное в армии?

– Конечно. Надо аккуратно выглядеть и не ломать строя.

– Это, конечно, важно. Но в армии самое главное – уметь подчиняться. Представь, что ваше подразделение пробежало десять километров с полной выкладкой, то есть с оружием, противогазом и вещмешком. Хочется полежать, отдышаться, а тебя посылают заготовить дрова для приготовления обеда. А ещё надо учиться стрелять. Ты помнишь, в Заславле я пристреливала на стрельбище винтовки, которые наша часть получила? У меня правое плечо было сплошным синяком. Это отдача у винтовки такая. А я ведь надевала ватник в ту жаркую пору. На вооружении в армии и сейчас та же самая трёхлинейка Мосина образца 1891 года. Есть ещё карабин. Он короче винтовки, потому что сделан для кавалеристов. Его ещё называют «драгункой». Но это та же трёхлинейка. Давай-ка договоримся так, что ты сейчас в училище не едешь. Ведь после Суворовского училища нужно поступить в военное училище, для того чтобы стать лейтенантом. И после этого служить в Красной армии 25 лет. Вот, когда окончишь школу, тогда и поступай в военное училище, если захочется. А не захочешь, занимайся тем, к чему душа лежит.

Музыканты

Недалеко от нашей землянки есть ещё землянка, в которой живут мальчишки-музыканты. Самому младшему лет 12. Они одеты в военную форму. Везде ходят строем. Их духовые инструменты всегда блестят.

Этих ребят называют воспитанниками. У кого-то из них родители погибли, у других – воюют. А есть и такие, у кого родители в оккупации. В общем, полк взял этих потерявшихся ребят под свою опеку.

Во время их репетиций меня тянет к ним. Летом они

занимаются на улице. И мне не надоедает слушать бесконечные повторения разными инструментами своих музыкальных фраз. А когда фраза, наконец, получается, я радуюсь за того, кому удалось справиться с трудной задачей. Сам, к сожалению, никакого инструмента поиграть не прошу. Подудеть, может быть, и дадут, но со мной никто заниматься не будет.

У каждого инструмента, за исключением, пожалуй, трубы, партии достаточно ограничены по возможностям. Поэтому в оркестре услыхать соло баритона, валторны или особенно баса практически невозможно. Но если вдруг кому-то из них удаётся сыграть фразу соло – мне за него приятно.

Летом иногда на летней эстраде крутят кино. Мы с другими мальчишками располагаемся перед первым рядом. А когда однажды во время сеанса пошёл дождь, мы забрались на сцену и смотрели на экран с обратной стороны. Получилось всё наоборот. Это ещё интересней.

Перед началом кино играет духовой оркестр. Люди уже знают, что если вечером играет оркестр, то будет кино. Все одеваются и на звуки музыки приходят и занимают места.

После окончания фильма тоже играет оркестр. Под звуки музыки я шагаю двести метров до нашей землянки бодрым шагом. И даже если у картины не очень приятный конец, то послекиношная музыка вызывает приподнятое, радостное настроение.

Почти всё время от самого рождения я живу в воинских частях. Иногда рядом. Как в Ирбите. И мне всё здесь интересно. И нравится, что военный духовой оркестр по праздникам играет. Под эту музыку красивее идёт строй солдат. И нам, огольцам, рядом со строем бежать интереснее под оркестр. А то ещё оркестр играет на танцах. Люди приходят нарядные, в наглаженных одеждах и в начищенной обуви. И я уже знаю, как танцевать вальс, краковяк, польку, падекатр. Ещё какие-то танцы. На всё это интересно смотреть, да ещё и под музыку.

Раннее пробуждение

В нашей землянке слышно, если рядом кто-то проходит. Мы к этому привыкли и обычно не обращаем внимания на шаги. Если идут к нам, то спустятся по ступенькам.

Однажды ночью во сне я услыхал, что кто-то бежит к нашей землянке. Тут же шаги по нашим трём ступенькам вниз и стук в дверь:

– Товарищ старший сержант! Победа! – прокричал сапёр дядя

Паша.

Мама и отчим открыли дверь.

Мама и отчим открыли дверь. – Сейчас связисты поймали сообщение. Победа!

Все трое расцеловались.

А потом увидели, что дядя Паша в кальсонах, отчим в трусах, а мама в сорочке. Часы показывают два часа ночи девятого мая 1945 года. Днём я принёс от мамы из столовой трёхлитровый чайник водки.

– Сейчас связисты поймали сообщение. Победа!

Все трое расцеловались. А потом увидели, что дядя Паша в кальсонах, отчим в трусах, а мама в сорочке. Часы показывают два часа ночи 9 мая 1945 года.

Утром мама собрала свою спецовку, взяла свёрток под мышку и пошла на работу, хотя у неё сегодня выходной. Посыльного из штаба она ждать не стала. Сегодня точно надо готовить праздничный обед.

Днём я принёс от мамы из столовой трёхлитровый чайник водки. Все надели свои ордена и медали.

За столом в нашей маленькой землянке сидят офицеры, сержанты и рядовые. От выпитой водки они не хмелеют. Все стали чуточку не такими, какими были обычно. Лица их почему-то стали немножко мальчишескими и успокоенными. Иногда кто-нибудь из них вспоминает и рассказывает случай из войны, когда погиб друг. Рассказчик подчас не скрывает слёзы. Взрослые дяденьки, не стесняясь, плачут. О своих заслугах никто не говорит. Рассказывают о друзьях, об однополчанах.

Послесловие

В школу я пошёл в сентябре 1945 года на станции Рада, за четыре километра от дома по лесной дороге. В одной комнате сидели ученики от первого до четвёртого класса. Печь топилась дровами. Звонок на урок давали ручным колоколом.

После окончания Ленинградского механического техникума Октябрьской железной дороги служил в Советской армии в войсках противовоздушной обороны (ПВО). С нашей сопки в районе заполярного посёлка Никель невооружённым глазом Норвегия просматривалась на десятки километров. А радиолокационные станции – на сотни. Так что я охранял границу СССР.

Вернулся в Ленинград и в составе бригады депо ТЧ-7 на

паровозах, а потом на электровозах водил грузовые поезда. Заочно учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), а окончил Северо-западный политехнический институт (СЗПИ). Работал инженером-наладчиком систем контрольно-измерительных приборов и автоматизации в Ленинградском специализированном пусконаладочном управлении (ЛСПНУ) треста Севзапмонтажавтоматика (СЗМА). Работа в командировках на новостройках очень интересная. Проблемы технологов приходилось решать методами автоматики нетрадиционно, подчас на грани изобретения. Объекты: Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат (Карелия), Речицкий дрожжевой завод (Белоруссия). В Ленинграде: Невский машиностроительный завод им. В. И. Ленина, Кировский завод, Завод турбинных лопаток, «Большевик» и др. Был избран председателем профсоюзного комитета ЛСПНУ. Между прочим, не освобождённым от основной работы, то есть должность общественная и оклад не положен. По приглашению перешёл работать заведующим отделом в Ленинградский обком профсоюза работников строительства и промстройматериалов. Затем вернулся в наладку.

Хобби: художественная фотография и коллекционирование художественных открыток с репродукциями картин русских художников. Поэтому для коллег и друзей водил экскурсии в Третьяковке, Русском музее.

Сын работает, и растут три внучки.

Глазами ребенка
Драбкин Эдуард Борисович, 1934 г. р

Плакат был очень красивый. На плотной мелованной бумаге красивыми яркими красками был изображен герб Советского Союза. Не помню, как он попал к нам в дом, но он мне так понравился, что я повесил его на стенку возле своей кровати. И мне было очень жаль расставаться с ним, когда его попросил у меня папа. А папу я очень-очень любил. За то, что он сильный, добрый, хороший, за то, что у него золотые руки. Вот и тогда, в воскресенье 22 июня, папа решил починить немного дребезжавший громкоговоритель – «тарелку», как его называли. Для этого и потребовалась плотная бумага. Конечно, плаката было жалко, но для папы я был готов на любые жертвы, тем более что, стоя на коленках на стуле, я с большим интересом наблюдал, как ловко справляются с работой папины руки. И тарелка получилась красивая: черная раньше, она теперь стала яркой и красивой и выглядела совершенно по-праздничному. Наконец наступил самый главный момент – испытания. Папа вставил вилку в розетку, покрутил рычажок – и на всю квартиру зазвучал голос Молотова.

Так для меня началась война.

Первые дни вспоминаются весьма отрывочно. Вот Люсик Марголин, Рем Сакович и я строим во дворе из откуда-то взявшихся еловых веток шалаш. В это время над самым двором, чуть ли не цепляясь за крыши, пролетает самолет с черными крестами на крыльях – так низко, что видно лицо летчика, – раздается звук, похожий на громкое стрекотание швейной машинки, и между мной и мальчишками пыльной строчкой взлетает земля.

А вот во время воздушной тревоги мама стоит на крыльце, опираясь спиной о дверь и глядя в небо, а тут пробегает какой-то мужчина и просит у мамы воды: ему чего-то плохо стало. Мама позвала его в дом, и, только за ними закрылась дверь, тут как раз в то место двери, возле которого стояла мама, врезался прилетевший невесть откуда осколок. Когда мы с мамой его выковыряли из доски, он был еще теплый, даже почти горячий.

Он был по-настоящему такой красиво-военный, что я не сразу узнал в нем собственного папу, а когда узнал, запрыгал от радости на одной ноге и захлопал в ладоши. А мама, глупенькая такая, повисла у него на шее и

заплакала.

Помню, как мы с Люсиком Марголиным играли в войну, стреляя друг в друга из пистолетов бумажными пистонами. А потом Люсик нечаянно уронил свой пистолет через решетку, прикрывавшую подвальное окно соседнего большого дома. После того как все наши попытки извлечь его оттуда закончились неудачей, мы попросили помощи у дворника дяди Вити. Он сразу достал пистолет, долго крутил его в руках, спросил, чем он стреляет, и на наш хоровой ответ «пистонами» мы получили: «Вот подождите, придут немцы, они вам покажут „пистоны“», – только из согласного глухого звука «с» он сделал звонкий, чего мы, естественно, не поняли. И после этого, отдав нам пистолет и почему-то очень разозлившись, ушел восвояси.

А 23 июня, играя во дворе, я увидел, как во двор входит военный, лицо которого мне очень-очень знакомо: в офицерской форме, с тремя квадратиками на петлицах, в военной фуражке и почему-то в солдатских ботинках и обмотках. На боку у него на ремне висела кобура с револьвером наган. Через плечо шел ремень, который назывался «портупея». А с другой стороны висела плоская кожаная сумка-планшет. Он был по-настоящему такой красиво-военный, что я не сразу узнал в нем собственного папу, а когда узнал, запрыгал от радости на одной ноге и захлопал в ладоши. А мама, глупенькая такая, повисла у него на шее и заплакала.

У меня с тех пор, как реликвия, лежит телеграмма, написанная на телеграфном бланке от руки карандашом. Вверху бланка стоит штамп «Правительственная». Текст я помню наизусть: «Гомель. Облсуд. Драбкину, Шаурскому. Вы назначены членами военного трибунала Днепро-Двинского бассейна. Приступить к исполнению обязанностей немедленно». Так мой папа – заместитель председателя областного суда – стал военным. Я его почти перестал видеть. Он приходил домой только ночевать, и то не всегда. А я в это время уже спал. Мы не думали, что немцы так быстро будут продвигаться. И потому удирать от них, или, как стали говорить, «эвакуироваться», и не думали, и не собирались. Единственное, что сделала мама, – сшила на всякий случай три рюкзака: большой – для себя, меньший – для Майи, моей сестры-четвероклассницы, и совсем маленький – для меня. Что она в них положила – не помню, знаю только, что вынула из альбома и засунула в мой рюкзак пару десятков фотографий.



Крайний слева Эдуард, справа – его бабушка Лея, рядом с ней (стоит) сестра Эдуарда Майя

Однажды днем прибежал отец, скомандовал, чтобы через двадцать минут мы были готовы: из Гомеля уходил последний пароход. Он дал маме какие-то документы, расцеловал всех нас и убежал. Времени до отхода парохода было так мало, что мама плакала уже на бегу. Но на пароход мы успели. Народу было – тьма! Нам нашлось место на палубе, возле самой рубки. Как все это было интересно! Пароход дал гудок и отчалил. Прощай, Гомель! Вот тут мама заплакала по-настоящему. И не она одна. Со всех сторон слышались подвывания или тихие всхлипывания.

Назавтра немцы вошли в Гомель.

А мы плыли сначала по Сожу, потом по Днепру. Однажды солнце исчезло, и на небе появилась такая огромная черная туча, что всем стало страшно. Матросы принесли толстые-претолстые веревки и стали привязывать пароходную рубку ко всему, к чему только можно было, чтобы ее не сорвало шквалом. Мама меня с Майей прижимала к себе, но никакого шквала не было, даже молнии или грома. Только маленький-премаленький дождик покапал – и все. Вечером какая-то тетя забрала меня в каюту и положила на верхнюю полку вместе со своим сыном. Я очень боялся быть без мамы, несмотря на то что мне в июне исполнилось целых семь лет, и сильно плакал. Плакал-плакал и уснул. Когда проснулся, было солнечное утро. А мама с Майей спали, оказывается, прямо на палубе. Но Майя сказала, что им было не очень холодно, потому что все люди крепко прижимались друг к другу. Мама пришла за мной и забрала.

Через много лет я узнал, что немцы в первый же день оккупации расстреляли всю Вовкину семью: и братиков, и сестер, и самого Вовку. А пока – мы играли, даже в сарае театр устроили, и взрослые приходили посмотреть на наш «спектакль», в котором моя сестра играла тоже.

Следующий, не очень длинный отрезок нашей жизни связан с городом Сталино. Теперь его называют Донецком, а тогда многие говорили – Юзовка. В этом городе на окраине за огромным количеством железнодорожных путей в одной из комнат большого барака жила мамина сестра, которая работала учительницей русского языка в железнодорожной школе. Рядом с нами жила семья цыган. Папы их я не видел, хорошо помню только маму и кучу детей – мал мала меньше. Со старшим мальчишкой Вовой я очень подружился. Только у него не было ног выше коленок: когда-то, играя, он попал под паровоз. Через много лет я узнал, что немцы в первый же день оккупации расстреляли всю Вовкину семью: и братиков, и сестер, и самого Вовку. А пока – мы играли, даже в сарае театр устроили, и взрослые приходили посмотреть на наш «спектакль», в котором моя сестра играла тоже.

Однажды тетя повела меня в город в кино. Это было очень далеко, и мы ехали автобусом. На тот сеанс, на который хотела тетя, мы не попали. Погуляли по городу, а потом пошли на следующий. Но, когда фильм окончился и мы вышли из кино, оказалось, что автобус уже не ходит. Тетя не знала, что делать, и мы пошли в милицию. Там начальник какой-то думал-думал, что с нами делать, а потом забрал нас и привел к себе домой. Его жена нас покормила и уложила спать, и даже не бурчала, что ее муж привел домой чужих людей. Наоборот, она все придвигала ко мне, как она говорила, вкусненькое и гладила время от времени меня по голове.

Еще через несколько дней высоко-высоко над городом появился «Юнкерс-88». Он кружился на одном месте, пока дымным следом не написал на небе огромную восьмерку. И улетел. Ни одного выстрела по нему сделано почему-то не было. А через восемь дней (говорили потом – это летчик предупреждал) был такой огромный налет, что даже мне было по-настоящему страшно. Бомбы рвались сначала где-то далеко в городе, глухо, надрывисто ухали, а потом все резче и резче, ближе и ближе. И наконец несколько упали на железную дорогу. Хорошо, что стекла у нас в окнах были крест-накрест переклеены бумажными полосками. А то бы выскочили или сломались.

Еще через несколько дней высоко-высоко над городом появился «Юнкерс-88». Он кружился на одном месте, пока дымным следом не написал на небе огромную восьмерку.

И улетел. Ни одного выстрела по нему сделано почему-то не было. А через восемь дней (говорили потом – это летчик предупреждал) был такой огромный налет, что даже мне было по-настоящему страшно.

Назавтра все сходили в город посмотреть на результат бомбежки. Рассказывали, что в сквере на бетонном парапете сидели парень с девушкой. Бомба взорвалась рядом с ними. И от них, в полном и прямом смысле, осталось мокрое место: два огромных кровавых пятна.

Я тоже сбегал посмотреть, а когда вернулся, мама в сердцах поколотила меня.

От папы никаких вестей не было. Однажды мама согрела на плите воду и в коридоре перед комнатой, поставив таз на табуретку, мыла голову. Я играл во дворе. И вдруг из-за угла вырос… папа. Я так растерялся, что, вместо того чтобы кинуться к нему, побежал в коридор, крича: «Папа приехал!» Мама выпрямилась во весь рост, вода ручьем стекала с ее волос, и через минуту вся папина гимнастерка была мокрая.

В тот же день папа увез нас в Ростов.

Ростов помню плохо и смутно. Помню, что жили в Ростове месяц на четвертом этаже дома в микрорайоне (тогда такого слова и не было) «пятое жилстроительство». Опять по-прежнему папы все время не было дома. И еще: каждую ночь нас бомбили. Мы не ходили в бомбоубежище, сидели в своей комнате, которая при каждом близком взрыве ходила ходуном. А однажды бомба попала в соседний дом, и мы утром ходили смотреть, что от него осталось. Ростов должны были сдать, и отца перевели членом военного трибунала в Орджоникидзе.

Жили мы в Орджоникидзе по улице Революции, в доме 33, на первом этаже в комнате площадью сорок квадратных метров. Там были высоченные потолки и четыре огромных окна, которые каждый вечер надо было завешивать из-за светомаскировки. Делать это было ох как тяжело. Мама ставила на подоконник стул, который становился только двумя ножками, забиралась на него и еле-еле доставала до верха окна. Другие две ножки стула изо всех сил держала Майя. Однажды она не удержала, и мама с этой высоты во весь рост боком грохнулась на пол. А я, вместо того чтобы помочь ей встать, стал колотить сестру кулаками, будто она в чем-то была виновата. Долго у мамы потом весь бок

был сине-черный.

Чтобы попасть в туалет или умывальник, надо было пройти через заасфальтированный двор. Однажды Майя несла после обеда посуду, чтобы помыть ее, споткнулась и разбила все абсолютно. Несколько дней нам не из чего было есть.

Маму взяли на трудовой фронт – рыть окопы, но через несколько дней из-за меня отпустили.

В подвале нашего дома был воинский овощной склад, у входа в который постоянно стоял часовой. Обычно это был один и тот же пожилой солдат, который любил со мной поговорить. Видно было, что он очень добрый и очень соскучился по своему дому. Однажды он насыпал мне за пазуху много-много лука, и мама долго готовила из него разные блюда. Часто к нам заходила соседка, тетя Лиза Наурзокова. Они сидели с мамой, разговаривали о чем-то, иногда плакали. А потом она перестала к нам приходить. Нет, они с мамой не поссорились, просто ее забрали рыть окопы, и она, приходя домой вечером, от усталости сразу валилась спать.

Посреди города был сквер, в котором жили настоящие павлины. Мы ходили на них смотреть. Какие же они были с распущенными веером хвостами красавцы! Люди останавливались и любовались этой яркой, переливающейся радугой цветов. И тут мы услышали, какие некрасивые звуки издают эти прекрасные птицы. Их крик напоминал очень неприятное кошачье мяуканье. Но все равно они были красивые! Павлины важно ходили прямо по бульвару, не боясь совершенно людей, а к вечеру забирались на деревья.

А еще в Орджоникидзе было какое-то военное училище, в котором молодых солдат учили прыгать с парашютом. В парке стояла очень тонкая, но высокая металлическая парашютная вышка. Вверху у нее была площадка, всегда сохраняющая горизонтальное положение. Недалеко стояла будка механика, который опускал вышку боком на землю, на площадку садился курсант, к которому ремнями пристегивали всегда раскрытый, подвешенный на тросе парашют, и инструктор и вышка поднимались вертикально. Одни солдаты прыгали сразу, легко, с виду совсем бесстрашно, другие долго не решались, и инструктор их там вверху уговаривал. А один ни за что не хотел прыгать, так боялся. И как его инструктор ни уговаривал, он все никак не мог отважиться. Он подходил к краю площадки, вроде бы собирался прыгнуть, но опять отходил назад. Наконец это надоело механику, и, когда солдат в очередной раз подошел к краю площадки, он на мгновение включил двигатель, вышка дернулась, и солдат просто упал с площадки, ко всеобщему ликованию

собравшихся мальчишек.

А потом те, кто «напрыгался» с вышки, прыгали с самолета на огромную площадку в этом же парке. Однажды один солдат выпрыгнул из самолета, а у него парашют не раскрылся, а закрутился колбасой. Тогда он попытался раскрыть запасной, но и тот закрутился, запутавшись с основным. Конечно, в какой-то степени они тормозили его падение, но не настолько, чтобы остаться в живых. Он падал и кричал. Этот крик, этот жуткий нечеловеческий вой до сих пор стоит у меня в ушах. Солдат врезался в землю совсем недалеко от нас, и звук этого удара был ужасен.

Потом пришел приказ, и папу перевели председателем военного трибунала гарнизона города Грозного. Ему присвоили звание капитана. В Грозном мы жили несколько дней в маленьком домике, хозяином которого был папин шофер дядя Ваня Михайловский. Папа говорил, что он очень лихо водит машину, и даже называл его шофером-хулиганом. Дядя Ваня очень любил папу и был готов за него в огонь и в воду. Однажды дядя Ваня взял меня с собой в какую-то поездку по городу. Он был одет, кроме всего, в теплые стеганые ватные штаны. И был у него трофейный немецкий портсигар со встроенной зажигалкой. Хороший такой, интересный: нажмешь на портсигар сбоку – выскакивает пламя. И вот, когда мы ехали по центральному проспекту города, дядя Ваня вдруг посреди дороги остановил машину, выскочил из кабины и стал ладошками хлопать себя по штанам. Подошел суровый милиционер и стал спрашивать, почему машина стоит посреди дороги. Дядя Ваня не отвечал. И вдруг из ватных брюк пошел дым, милиционер захохотал и сразу простил дядю Ваню. Оказывается, портсигар в кармане прижался, сработала зажигалка и стала тлеть вата в брюках. Мне тоже было немножко смешно, но больше жалко дядю Ваню: каково ему, завернутому в тлеющую вату!

А потом нам дали квартиру по улице Асламбека Шарипова. В квартире была мебель, много книг. Все осталось от прежних хозяев, которых перевели в другое место. Здесь я прочитал книгу китайского писателя Эмми Сяо «Деревня в августе». Мы даже кошку завели. Необыкновенно умную. Она утром лапкой гладила меня по лбу – будила. Нигде не пачкала, всегда просилась. А если дома никого не было, лезла в раковину, а когда приходил кто-либо, мяукала и прыгала в раковину: «Посмотри, что я наделала». И никогда ничего не воровала. А потом, наверное от большого ума, заболела, сошла с ума. Видимо, у нее так болела голова, что она пыталась втиснуть ее в любую щелку. И сдохла. Я похоронил ее во дворе. А затем и сам заболел. Малярией. Регулярно, часа в

четыре дня сильно поднималась температура, и меня начинало трясти. Иногда я даже бредил. Но не умер, как наша кошка, а наоборот, выздоровел.

В подвале нашего дома была гауптвахта.

Сначала там сидели проштрафившиеся солдаты и стоял часовой. Часовые были злые, даже к детям. Потом гауптвахту закрыли, а один часовой прострелил себе что-то, чтобы не идти на фронт, и попал в папин трибунал. Кругом было много чеченцев. Я дружил со многими чеченскими ребятами. Я хорошо знал о герое-пулеметчике Ханпаше Нурадилове, который в одном бою уничтожил свыше трехсот немцев.

Однажды мы легли спать, утром встали – нет ни одного чеченца, всех вывезли. Потом рассказывали, что жителей тех аулов, к которым трудно было подъехать на машинах, просто расстреляли. Всех. Без разбора. И женщин, и детей тоже.

И родителей Ханпаши Нурадилова тоже вывезли.

Однажды мы легли спать, утром встали – нет ни одного чеченца, всех вывезли. Потом рассказывали, что жителей тех аулов, к которым трудно было подъехать на машинах, просто расстреляли. Всех. Без разбора. И женщин, и детей тоже.

А потом мама обнаружила у меня на голове стригущий лишай. Повела меня к врачу. А тот сказал, что надо убрать с головы – не состричь, а вообще убрать все волосы. Меня два дня подряд облучали рентгеновскими лучами. И через неделю у меня все волосы вылезли. Ну не все, конечно, пару сотен осталось. И их вырвали пинцетом. Было это очень больно, и я плакал. Всю голову мне вымазали йодом, и я, как девчонка, ходил в белой панаме, и все мальчишки надо мной смеялись.

Немцы подходили к городу все ближе. Был издан приказ об эвакуации гражданского населения.

А тут из Средней Азии совсем не вовремя к нам приехали измученные, набравшиеся горя бабушка и три мамины сестры: Белла, Аня и Люба. Папа выписал на нас проездные документы, и мы все вместе, с семьей военного прокурора Смирнова, на грузовой машине, управлял которой дядя Ваня, поехали к Каспийскому морю, чтобы на пароходе уплыть в какой-то Красноводск. Но не проехали мы и пары часов, как нас остановили военные, высадили, а машину и дядю Ваню реквизировали для военных нужд. (Правда, через двое суток дядя Ваня угнал машину и вернулся к папе в Грозный.) А нас посадили на открытую железнодорожную платформу проходящего воинского состава, и мы поехали в город Махачкалу. Город был

небольшой, а беженцев собралось столько, что жить было негде. И мы все девятнадцать дней жили на одной из улиц станции Махачкала-Первая под открытым небом. На одной стороне улицы были частные дома, возле одного из которых мы расположились, на другой – низкий забор из металлических прутьев, дальше – крутой невысокий обрыв, железнодорожные пути и сразу за ними – море. В уборные нас местные жители не пускали. Сначала все ходили за угол. Тетеньки присаживались там, не стесняясь, прямо на улице у забора, потом и у забора поселились беженцы. Ходить в туалет стало вообще некуда, и каждый решал эту проблему как мог.

Однажды те беженцы, которые жили у забора, побежали вниз, к железной дороге. Там что-то случилось. Побежал и я. Оказывается, какой-то дяденька, хорошо одетый, в фуражке, кинулся под поезд. Его разрезало ровно пополам. Верхняя часть туловища лежала у путей, нижнюю поезд сколько-то метров протащил с собой. Толпа стояла у верхней части, все плакали. А один мужчина, тоже в фуражке, но старенькой, протолкался вперед, снял свою фуражку, надел ее на покойника, а себе забрал его новую, хорошую. И ушел. Тут подошла мама и забрала меня.

Почему мы жили на улице и не уезжали?

Беженцы, которые жили у забора, побежали вниз, к железной дороге. Там что-то случилось. Побежал и я. Оказывается, какой-то дяденька, хорошо одетый, в фуражке, кинулся под поезд. Его разрезало ровно пополам. Верхняя часть туловища лежала у путей, нижнюю поезд сколько-то метров протащил с собой.

Толпа стояла у верхней части, все плакали.

Дело в том, что документы на проезд были выписаны на нашу фамилию, а у бабушки и теток фамилия была другая, и их не брали. Мама ходила добиваться в махачкалинский трибунал, чтобы помогли, а пароход тем временем ушел. Однажды мама забыла на крыльце трибунала сумочку со всеми документами: проездными, аттестатом, продуктовыми карточками, паспортами и деньгами. Когда она, расстроенная, уходила, ее видела какая-то девочка.

Она взяла сумку, прижала к себе и стала ждать, пока вернется мама. Тем временем подошел какой-то мужик, сказал, что это сумочка его знакомой, и хотел ее забрать. Но девочка не дала. А мама, спохватившись, что оставила сумочку, и хорошо представляя, чем это грозит, побежала назад и, как тронутая, пела на бегу «Если завтра война». Девочка вернула сумку, а мама отдала ей за это одну продуктовую карточку.

Мыться было негде. Я совсем овшивел. У соседа по «уличной квартире», старика-инвалида, была машинка. Мама его попросила, и он постриг меня наголо. Но стричь он не умел, и вся голова у меня была в полоску.

Поскольку с отъездом в Красноводск ничего не получилось, решено было тетю Аню отправить в Грозный, к папе за помощью. Она уехала.

> Мама забыла на крыльце трибунала сумочку со всеми документами: проездными, аттестатом, продуктовыми карточками, паспортами и деньгами. Когда она расстроенная уходила, ее видела какая-то девочка. Она взяла сумку, прижала к себе и стала ждать, пока вернется мама.
>
> А мама, спохватившись, что оставила сумочку, и хорошо представляя, чем это грозит, побежала назад и, как тронутая, пела на бегу «Если завтра война».

Ночное хождение по городу запрещалось: тут же забирал комендантский патруль. Однажды ночью пошел сильный дождь. И мама решила: лучше в комендатуре, чем под таким дождем. Это из-за нас, меня и Майи. Она взяла нас за руки, и мы пошли по улицам. Но ни одного комендантского патруля не было, и мы вернулись назад. Над нами сжалились и пустили в подъезд на пол. А ночью кто-то в темноте наступил маме на лицо, и у нее долго болел нос.

Махачкалу каждый день бомбили. Когда объявляли тревогу, один дяденька появлялся недалеко от нас с какой-то штукой на подставке, а сверху была ручка, как у мясорубки. Он крутил ее то быстрее, то медленнее, и оттуда громко-громко и страшно выла сирена. А когда налет кончался, он крутил ручку равномерно, и весь страх проходил.

На девятнадцатый день мама совершенно случайно увидела, как из окна маленького товарного вагона проходящего мимо поезда высунулась по пояс тетя Аня и кричала одну и ту же фразу: «Наш вагон! Наш вагон!» Мама решила, что тетю Аню арестовали, и побежала в трибунал, чтобы помогли ее выручить. Оказалось, что тетя добралась до папы, он прицепил к какому-то эшелону маленький, приспособленный для жилья вагон с окнами, двумя комнатами и кладовой и позвонил в махачкалинский трибунал, чтобы нам передали, что поезд остановится на станции Махачкала-Вторая. А нас не нашли. Или не захотели искать. Поезд ушел дальше, на Дербент, а мы остались.

Назавтра мы уехали в Дербент. А еще через день точно на то место, где мы «проживали», ночью упала бомба. Нам здорово

повезло. А пароход в Красноводск, на который нас не взяли из-за бабушки, тоже затонул из-за немецкой бомбы.



Первый справа – Эдуард Драбкин, вторая справа (стоит) сестра Майя, третий справа (стоит) – отец Борис Львович, первая справа (сидит) – мама Мира Давыдовна

Дербентскую жизнь помню прекрасно. Пока мы ехали, тетя Аня устроилась работать на виноградник, где разрешалось уносить домой каждому работающему ежедневно по ведру винограда. Из таких, как наш, вагончиков составили небольшой состав, сплошь заселенный беженцами, и поставили его у самого берега моря. В этих вагончиках мы и жили несколько месяцев.

Когда мы приехали, пока нашли состав, проголодались, как черти. А у тети Ани уже было два ведра винограда. И виноград был какой! Тот, что называется «дамскими пальчиками» – огромные кисти большущих продолговатых ягод! Короче, мы так наелись на голодный желудок винограда, что потом много лет не могли на него смотреть.

Возле каждого вагона стояла обыкновенная деревянная лестница. Каждый день в разное время вдоль состава проходил старый железнодорожник. Он стучал по вагонам булыжником и кричал одну и ту же фразу: «Лестницы убирайте, маневрировать будем». Я очень боялся, что поезд отманеврируют, и мама не сможет его найти. Но каждый раз его пригоняли на старое место.

С нами в вагончике жили еще две семьи. В одной была

девочка Оксана, моя ровесница. Но она была очень противная по характеру, и я с ней не дружил.

Начальником этого эшелона был дяденька со странной фамилией Бэвз. Коренной ленинградец, совсем еще не старый, очень интеллигентный человек. Это был почти единственный мужчина в эшелоне. У него очень болело сердце. Все это знали и собирали гранатовые корки, из которых жена варила ему лекарство. Но он все равно умер. На похороны у семьи денег не было, поэтому собирали всем эшелоном. И кто-то перестарался: привезли в разное время два гроба. Один женщины тут же порубили на дрова.

Однажды на машине с Ваней Михайловским по Военно-Грузинской дороге вечером приехал папа и привез два ящика овощных консервов. Но не успел он выйти из машины, как подошел один старик из эшелона и сказал, что наши оставили Грозный, что об этом передали по радио. Папа пришел в ужас: председатель военного трибунала гарнизона во время сдачи города оказался бог знает где. Это же – дезертирство! Он скинул ящики, вскочил в машину и крикнул: «Ваня, гони!» И Ваня «погнал». По Военно-Грузинской дороге. В темноте. Практически без фар (только щелочки). Один раз чуть не слетели в пропасть, даже пришлось задний ход давать. Примчались в Грозный, а он, как стоял, так и стоит. Никто и не думал сдавать его немцам. Несмотря даже на страшные бомбежки и артиллерийский обстрел. С тех пор дяденьку, который сказал, что Грозный сдали, мы прозвали «комиссар паники». И это прозвище к нему прочно прилепилось.

Мама, тетя Люба и тетя Белла работали каждый день на винограднике. А тетя Аня пошла работать в санитарный эвакопоезд и уехала на фронт. Дома было очень голодно. Много винограда, но он не лез в рот после первого дня. Овощные консервы съели. Иногда мама покупала у рыбаков рыбу, даже очень хорошую. Солила, вялила, и мы с голодухи, бывало, ели без хлеба осетровый балык. Однажды сестра принесла ко мне голову огромной белуги. Она была такой огромной и страшной, что я даже закричал от страха. Хорошо, что в этот момент я (извините за прозу) сидел на горшке. А то штанишки точно пришлось бы стирать.

В один ясный солнечный день у всех мальчишек эшелона был праздник. Рядом с эшелоном на песок у самого моря сел наш самолет. Маленький-маленький, с двумя пулеметами. Такие самолеты называли «ястребок». Летчик искупался, и «ястребок» опять взмыл в небо.

Пришел сентябрь. Майя ходила в местную школу, я тоже

пошел в первый класс. Но делать мне там было нечего. Я прекрасно читал и с пяти лет уже брал книги в детской библиотеке имени Герцена в Гомеле, что была у нас за углом. Хорошо считал, решал простые задачи. И мама решила, что мне лучше сидеть дома.

> В один ясный солнечный день у всех мальчишек эшелона был праздник. Рядом с эшелоном на песок у самого моря сел наш самолет. Маленький-маленький, с двумя пулеметами. Такие самолеты называли «ястребок». Летчик искупался, и «ястребок» опять взмыл в небо.

На фронте дела пошли успешнее, тетя Белла забрала бабушку и тетю Любу и вернулась в Грозный. Она стала работать директором школы на тридцать восьмом участке старых промыслов.

Там они и жили. Мы еще некоторое время оставались в вагончике, а потом переехали к ним. Папу еще до этого перевели председателем военного трибунала 13-го стрелкового корпуса, присвоив ему звание майора, и мы ему писали письма по адресу: полевая почта 17351.

На промыслах жизнь была совершенно мирная. Я даже в школу пошел, в третий класс. Учительницу мою звали Александра Степановна. Она мне в диктанте в словах «немецкие оккупанты» исправила «ц» на «тс», зачеркнула одно «к» и поставила двойку. Это теперь я понимаю, что учителей настоящих не хватало, а Александра Степановна была обыкновенной достаточно взрослой девчонкой. Но тогда ее авторитет в моих глазах здорово пошатнулся. В это время я прочитал «Тимур и его команда», побывал на концерте Клавдии Шульженко, несколько раз выступал перед ранеными в госпитале, читал им стихотворение, которое кончалось словами: «…что пули – не горох, что „караул“ – не „хох“, что артналет – не масло, и всем сегодня ясно, что немцами сполна проиграна война». Мне аплодировали, угощали печеньем и конфетами со всех сторон.

Школьный физрук однажды разрешил мне пострелять из его малокалиберной винтовки в небо, за что тетя Белла его очень ругала.

Тете Белле как директору школы дали, правда далековато, участок для огорода, так называемый «добавок». Мы с ней ходили туда работать, и по дороге я сочинил песенку: «Ходили на „добавочек“, на огородик-крошечку, сажали там морковочку, сажали там картошечку». И припев сочинил: «Подсолнух желтый висит-висит, а кукуруза торчком стоит».

Одно плохо: земля была очень жирная, всюду текли мазутные

ручьи, и, когда проходил дождь, ходить без палки было невозможно. На ноги налипало столько грязи, что поднять ногу было очень тяжело, приходилось через каждые два-три шага палкой снимать с ног комья грязи.

Иногда мы брали у соседей крупорушку[8]. Это уже была моя работа. Я садился на скамейку верхом, под нее ставил таз и, засыпая кукурузные зерна в жернова крупорушки, вращал рукоятку, что было неудобно из-за ее достаточно большой длины. В таз сыпалась кукурузная крупа. Из этой крупы мама или бабушка варили мамалыгу и пекли вместо хлеба чуреки, но они мне не нравились, хлеб был гораздо вкуснее.

Зато иногда я катался на ишаке, или в арбе, или даже верхом.

У Майи была подруга, Катя Силаева. Она вместо слова «каблуки» говорила «калбуки» и утверждала, что видела в женских туфлях каблуки в 75 сантиметров.

Любимым нашим занятием было делать воздушную кукурузу. Так интересно было смотреть, как кукурузные зерна, подпрыгивая на сковороде, взрываются, образуя большие желто-белые вкусные-превкусные цветки.

Тетя Люба была большая аккуратистка. Даже слишком. Чистюля – прямо до сумасшествия. Ее кровать была заправлена белоснежной «капой» так, что нигде не было ни единой складочки. Однажды кошка, которая жила у нас, угодила в мазутный ручей. Естественно, что она почувствовала себя неуютно. Выбравшись оттуда, она забралась к тете Любе на кровать, на белую «капу». И улеглась там. Когда тетя Люба это увидела, с ней чуть не случилось то, что теперь называется инфарктом. Тогда говорили проще: разрыв сердца. Мне было по-настоящему жаль их обеих: тетю Любу и бедную кошку.

Мы получили письмо от папы. Он писал, что его 13-й стрелковый корпус вывели на переформировку под Сухуми, на станцию Келасури. И, поскольку это, очевидно, надолго, звал нас к себе. Многие офицеры вызвали свои семьи. И мы с мамой и Майей, конечно, поехали.

На станции Келасури нас встретил папа и повез в корпус. А размещался он ни мало ни много на территории южного филиала ВИРа, Всесоюзного института растениеводства. Совсем рядом со знаменитым обезьяньим питомником. Как только вышли из машины, мама пошла посмотреть, не в кадках ли растут пальмы. Оказалось, просто в земле. Поселились мы в комнате на втором этаже уютного двухэтажного домика, опоясанного по всему второму этажу верандой. Прямо против дверей дома поднималась небольшая гора, а с другой стороны был огромный сад цитрусовых деревьев с мясистыми маслянистыми листьями. Я

знал, что есть лимоны, мандарины, апельсины. А вот что такое грейпфрут – не знал и тут же подошел к Рождену Николаевичу, завхозу ВИРа, чтобы он показал их, а он вместо этого надавал мне большущих апельсинов. Оказалось, что это они и есть, и я потерял к ним всякий дальнейший интерес.

В комнате рядом с нами жил начальник корпусной автоинспекции майор Чаплин, к которому из Москвы приехала жена Маргарита, чудесная тетка. Он ее называл ласково – Маргуся. В комнате с другой стороны от нас жили два молодых лейтенанта-контрразведчика – Глухов и Волосатов. Они давали мне читать интересные книги, например «Три месяца разведки во вражеском тылу». Но их практически никогда не было дома. На первом этаже жила семья начальника химслужбы майора Кузьмина. У него была дочка Эля, ровесница моей сестры, и сын Славик, мой ровесник. И мы сразу же попарно подружились.

Отравляло жизнь только одно: большое количество всяких противных тварей – медянок, скорпионов и прочей гадости. А еще против крыльца, чуть левее, росло держи-дерево. Это такой огромный куст, сплошь состоящий из твердых, прочных, длинных иголок. Стоило только, проходя мимо, зацепиться хотя бы за одну такую колючку, как приходилось уже звать кого-либо, потому что, если сам дернешься, пытаясь высвободиться, в тебя вопьется еще пара десятков таких шипов. Так что лучше сидеть, не рыпаться и ждать, пока подойдет помощь. От дома шла дорожка, которая чуть дальше образовывала развилку: одна часть вела в гору, по ней редко кто ходил; вторая спускалась вниз, где был штаб корпуса и автопарк, а между дорожками – обрыв. Недалеко на горке стоял огромный дощатый туалет, который построил какой-то умник: восемь дырок без единой перегородки. Поэтому каждый, кто подходил к туалету, спрашивал: «Мужчина или женщина?» А капитан Пиралов, подходя, хлопал в ладоши, как в театре.

Ох и интересный был этот капитан! Офицеры его не любили. Он всем говорил каждый день: «Потеряете оружие – восемь лет обеспечено». Прямо надоел всем. А однажды он зашел в этот туалет, снял пояс, повесил его на шею – так все делали, а кобуру с пистолетом засунул за боковую доску.

Недалеко на горке стоял огромный дощатый туалет, который построил какой-то умник: восемь дырок без единой перегородки. Поэтому каждый, кто подходил к туалету, спрашивал: «Мужчина или женщина?» А капитан Пиралов, подходя, хлопал в ладоши, как в театре.

И забыл. Сделал что надо, надел пояс и ушел. А пистолет остался. Сразу после него в туалет зашла Эля Кузьмина. Она видела, как Пиралов выходил оттуда. И вдруг увидела пистолет. Сразу поняв, чей он, быстренько занесла его домой маме. Счастье Пиралова, что самого Кузьмина дома не было. Он с Пираловым был, как говорили, на ножах, и ни за что бы просто так ему оружия не отдал. А капитан хватился, что пистолета нет, вспомнил, где его оставил, бегает, как сумасшедший, а спросить ни у кого не может. Конечно, как он спросит: «Вы не знаете, кто взял мой пистолет?» – если сам постоянно надоедал всем своими угрозами. Потом моей маме стало его жалко, и она говорит: «Зайдите к Кузьминым». Элина мама хоть и поиздевалась над ним, но пистолет отдала. И что вы думаете, он продолжал всем угрожать своими восемью годами за потерю оружия. А Кузьмин вечером готов был побить жену за то, что отдала пистолет.

Через несколько дней после нашего приезда к нам откуда-то с горы пришла огромная кошка с толстыми тяжелыми лапами. На ушах у нее были красивые кисточки. Она никому в руки не давалась, вела себя несколько агрессивно, а через два дня опять ушла на гору. А пока она была у нас, я спал, накрываясь с головой одеялом, страшновато было как-то.

А какая там была рыбалка! Мы со Славиком каждый день ходили на море. Выйдешь из части, пересечешь дорогу и сразу – песок и море. Нет, вру, еще одна колея железнодорожная, сразу за шоссе. Рыбу мы ловили так: к длинному-длинному шнуру привязывали небольшой камень, потом, отступя от него, через каждый метр – 8—10 крючков, и все. Второй конец шнура привязывали к большому камню на берегу. Забрасывали этот шнур в море – чем дальше, тем лучше, – минут через пять вытягивали, и на половине крючков обязательно были бычки. Так легко, что даже и не совсем интересно. Однажды на рыбалку с нами пошел майор Чаплин. Он целый день к этому готовился, строил какие-то переметы, поплавки. Сел рядом с нами. И началось! Мы со Славиком – 5–8 бычков за раз, а он 1–2. Потом разозлился – и на рыбу, и на нас со Славиком – от зависти, наверное, и ушел.

Он вообще был очень неприятный человек. Воровал у нас дрова для топки плиты, а к тете Маргусе относился даже не знаю как сказать. Мы обедали за столом на веранде, он с женой – рядом с нами. Обед мы брали в офицерской столовой. Тетя Маргуся наливала ему суп – полнехонькую тарелку, себе почти ничего не оставляя. И он все съедал. Мы все возмущались, но молча, конечно. Однажды он говорит: «Маргуся, зачем ты мне наливаешь такую полную тарелку?» Ну, думаем, совесть у него

проснулась. А он продолжает: «Ты мне раз налей нормально, потом второй раз столько же». Пожалел волк кобылу!

Однажды он потребовал у корпусного начальства мотоцикл. По штату положено. И вот солдат подогнал мотоцикл к нашему дому. Майор сел, дал газ, резко рванув с места, взлетел по верхней тропинке и тут же грохнулся с нее на нижнюю. Даже ключицу сломал. Больше на мотоцикле не ездил. А однажды вышел из части и пошел вдоль шоссе по направлению к Сухуми. Но я забыл сказать, что он носил пенсне и без него очень плохо видел. Так вот, из ворот части – я говорю «ворота», но ворот не было, а был бело-красный шлагбаум – следом выехала «эмка», догнала его, легонько дала ему крылом под зад, он упал, потерял пенсне, а «эмка» спокойно поехала дальше, зная, что номера он не рассмотрит. Какой же поднялся скандал, как тягали всех шоферов! Виновника так и не нашли.

Сестра моя ходила в седьмой класс в школу в Сухуми. Недалеко, всего четыре километра. Она подружилась с Лялей Старуновой, дочерью полковника Старунова, начальника штаба тыла. Очень хороший был человек. Его любимое выражение было: «Наср… и заморозить!» И к нам, мальчишкам, относился замечательно. Даже когда я на шинельку, которую мне сшили, хотел надеть погоны, а папа не разрешил, сказав, что это будет пародия на офицера, Старунов позволил это сделать и даже дал мне погоны со звездочкой младшего лейтенанта. Вот уж радости было! Однажды Майя и Ляля принесли к нам старуновский патефон и крутили пластинки и танцевали. Мне вдруг показалось, что завод у него кончается, и я кинулся заводить. Пружина лопнула. Ляля очень испугалась, что мама будет ругать. И тогда моя мама пошла к Старуновым. Лялькина мама закричала: «Я так и знала!» – и заломила руки, как по покойнику. А Старунов произнес традиционное: «Нас… и заморозить» – и даже засмеялся. В общем, Старуниха дала маме задание: 1) патефон починить, 2) в город в мастерскую из части не выносить. Тогда мой папа взял в оружейной мастерской пружину от автомата ППШ и отремонтировал патефон. Зато с тех пор, чуть я дотронусь до чего-либо, сразу звучало: «Это тебе что, старуновский патефон?»

Папа возвращался домой вечером очень усталый. А однажды он пришел днем сам не свой. Ходил по комнате туда-сюда, как затравленный зверь, не отвечая ни на один мамин вопрос. Мама забеспокоилась и побежала к папиному заместителю по фамилии Кримнуз. Тот сначала молчал, не хотел ничего рассказывать, но потом все-таки рассказал. А произошло вот что. Контрразведка, ее

называли СМЕРШ – смерть шпионам, поймала немецкого шпиона. Самое интересное, что этот шпион был еврей. Передали его трибуналу и там приговорили к расстрелу в течение 24 часов. Так этот шпион убил часового и ушел. Папе, как говорится, дали по шапке. Через некоторое время смершевцы поймали его опять. Папа распорядился привести приговор в исполнение сразу. Но тот убил двух конвоиров и опять сбежал. Отцу было сказано, что, если в течение недели шпион не будет найден и ликвидирован, его разжалуют в рядовые. В этот день шло заседание трибунала, вдруг четыре смершевца вводят этого гада. И тут папа выхватил свой ТТ и застрелил его сам прямо в кабинете. Мама тогда стала его побаиваться, впрочем, она больше боялась за него самого. Отходил папа долго и тяжело. Одно дело – отправить человека на расстрел решением трибунала, даже присутствовать при этом расстреле (что случалось нередко, но он никогда об этом не рассказывал), другое – застрелить человека самому, даже если он – немецкий шпион.

Питались мы в офицерской столовой. У нас была книжечка с талонами, я ходил туда с двумя котелками и приносил домой первое и второе. Нам всем хватало. Потом папу перевели на генеральскую столовую. И тут сразу нам стало не хватать еды. Готовилось все так вкусно, что все время было мало. И мы опять перешли на офицерскую. А потом, когда папа лежал в госпитале в Тбилиси, стало совсем плохо. В столовой нам давали на первое американский гороховый суп – дрей пак (мы его звали – дрек-пак), а на второе – американский батат, который был как мороженая картошка.

В столовой нам давали на первое американский гороховый суп – дрей пак (мы его звали – дрек-пак), а на второе – американский батат, который был как мороженая картошка.
И так – каждый день.
Невкусно и мало.
Стало очень голодно.

И так – каждый день. Невкусно и мало.

Стало очень голодно. Мама ходила к рыбакам, брала у них бесплатно какую-то мелкую, прозрачную как стекло рыбешку, которую они выбрасывали, делала из нее котлеты и жарила на касторовом масле, которым папа смазывал сапоги. И как еще вкусно было!

Однажды я пошел за обедом и страшно обрадовался: после многих голодных дней дрей-пака и батата мне в один котелок налили мясных щей из свежей капусты, а в другой – положили

котлеты с макаронами. Домой я не шел, а летел. Мама сразу налила мне и себе по тарелке изумительно пахнущих щей (сестра была в школе) и тут обнаружила в тарелке какой-то длинноватый хвост, вроде от бурака. Она решила, что это хвостик от крысы. Позвали на консультацию тетю Маргусю. Та посмотрела и говорит: «Вы тут разбирайтесь, а я пока пойду пообедаю!» – и ушла к себе в комнату, такая была голодная. Тогда мама послала меня в санчасть. Пришел сам начальник санчасти полковник Качехидзе с вестовым, всунул прямо в тарелку свои волосатые пальцы, схватил ими злополучный хвостик, вытащил, сломал его и заявил с акцентом: «Канечна, крыса! Вестовой! Опечатать кухню!» (Потом в котле нашли остальную крысиную часть.) Мама щи вылила, даже Майе не оставила, и спросила, буду ли я есть котлеты. Я отказался. Мама тоже. Она оставила их для Майи – целых три штуки! – и взяла с меня слово, что я Майе ничего не расскажу. Я пообещал, и не успела мама меня остановить, как я помчался поделиться «радостной» новостью с тетей Маргусей. Она как раз доедала второе. «Тетя Маргуся! Крыса!» – торжественно выпалил я и тут же единственный раз в жизни увидел, как струя изо рта человека ударила метра на полтора вперед.

Мама стала работать машинисткой в штабе артиллерии. И подала заявление, чтобы нас перевели на солдатскую столовую. Вот тут все было прекрасно: очень просто, очень вкусно, очень много. И мы уже до конца брали еду в солдатской столовой.

Одно весьма острое воспоминание у меня связано с тем временем, когда корпусную артиллерию вывели в летние лагеря в Гудауты. Мама взяла меня с собой и там не отпускала практически ни на шаг. Это сейчас я понимаю, почему она так делала. Просто она понравилась генералу Горбунову, командующему артиллерией, и он стал за мамой ухаживать. Он был интеллигентный человек, лишнего себе не позволял, но мама для страховки держала меня при себе. Иногда вечером мы ходили гулять: мама, Горбунов и я. А однажды даже в солдатское кино под открытым воздухом поехали на «виллисе», но опоздали, и кино начали крутить для нас сначала. Жили мы с мамой за занавеской при штабе на втором этаже. Я был очень горд, что генерал дал мне поручение: присвоить каждой службе название какой-либо реки. Для позывного телефонной связи. И для позывного штаба я выбрал «Сож», название реки в Гомеле.

Здесь я тоже ходил в столовую за обедом. Правда, это была не столовая, а полевая кухня. Идти надо было по дорожке между двумя рядами палаток, в которых располагался артиллерийский склад. Возле палаток много часовых. И вот один из них, скуки

ради, видно, решил надо мной поиздеваться.



Эдуард с мамой, папой и сестрой

Я иду по дорожке, он меня останавливает и говорит, что здесь ходить нельзя. На вопрос: «А где можно?» – отвечает: «За палатками». Схожу с дорожки за палатки, а там другой часовой вполне резонно заявляет: «Мальчик, тут ходить нельзя, для этого есть дорожка». Вернулся на дорожку, а первый опять не пускает. Я спрашиваю, как же мне к кухне подойти, а он смеется и не пускает. «Сейчас папе все расскажу», – сказал я, надеясь, что это подействует. Он же не знает, чей я сын. А он мне: «Иди, иди, поищи своего папу!» От обиды и бессилия я расплакался и поплелся назад, в штаб, к маме. А там генерал Горбунов разговаривал с офицерами. Увидев меня, еще всхлипывающего, спросил, в чем дело. Я рассказал. Он встал, взял меня за руку и сказал: «Пошли». И вот мы идем по дорожке, часовые вытягиваются в струнку, а у меня от радостного предвкушения справедливого возмездия сердце готово было выпрыгнуть. Часовому, когда увидел меня за руку с генералом, чуть плохо не стало. «Этот?» – спросил генерал. Я даже ответить не мог: сердце, кажется, в горле стучало, только кивнул утвердительно. А он повернулся к солдату и бросил коротко: «Трое суток гауптвахты». Так я был отомщен, и справедливость восторжествовала.

Я любил быть среди солдат. Соскучившиеся по дому, они, как правило, очень хорошо относились к нам, мальчишкам. И однажды я увидел Горбунова другим, жестким, даже жестоким.

Солдат сидел на траве и чистил автомат. Он вынул из ППШ диск с патронами, затвор и приступил к чистке, держа автомат за конец ствола пальцами, а шомпол хотел вставить со стороны затвора. Один Бог знает, как в стволе оказался патрон, по капсюлю которого ударил шомпол. Автомат подпрыгнул, раздался выстрел, пулей солдату оторвало последнюю фалангу одного из пальцев. Как он перепугался! Всем было видно, что это дикая, нелепая случайность. Но генерал Горбунов, оказавшийся поблизости, бросил короткие два слова: «Под трибунал!»

По возвращении из лагерей Славик Кузьмин, я, Майя и Эля пошли в обезьяний питомник. Я и до этого бывал в зоопарке и видел обезьян, но таких всяких и столько!.. Одни жили в вольерах, другие – свободно. Одни были маленькие, такие, что в карман можно спрятать, другие – гамадрилы – огромные и страшные. Но все – очень интересные. Мы ходили по питомнику много часов подряд. А потом по дороге Майя показала мне шоколадное дерево. Под ним даже сторож стоял. Но он разрешил нам попробовать толстенькую коричневую колбаску-стручок, по вкусу на самом деле напоминающую шоколад.

А еще я хорошо помню, как немецкая подводная лодка среди бела дня выпустила две торпеды по Сухумскому порту.

Папу после госпиталя комиссовали, и он поехал в Москву за назначением. Ему предлагали работу в Тбилиси, Москве – он отказался. Только Гомель. Его уговаривали, что в Гомеле плохо, что он весь разбит, но папа настоял на своем, и в ноябре 1944-го мы приехали в Гомель.

> Чернила делали сами из так называемых химических карандашей и носили их в чернильницах-«непроливайках». Ручкой у меня, да и у многих была металлическая небольшая трубка, в торцы которой вставлялись наконечники: один с пером, а другой с карандашом. Однажды папа принес несколько листов белой бумаги и сделал мне тетрадь, так на нее вся школа бегала смотреть.

Гомель встретил нас руинами. В городе только чудом сохранился большущий шестиэтажный дом-коммуна, который немцы заминировали, но не успели взорвать. Все остальное – сплошь коробки и развалины. Дом, в котором мы жили до войны, был разрушен. И мы поселились в маленьком частном домике, хозяева которого были еще в эвакуации, в Залинейном районе, по улице Некрасова. Залинейным этот район назывался потому, что от центра города он отделялся железнодорожной линией, а сообщался с ним через так называемый Мохов переезд. Только

частные домики на окраине и остались целы. Гомель еще изредка бомбили. Я поступил в школу, сразу в третий класс. Школа тоже располагалась в нескольких частных домах. У нас в классе было шестьдесят два ученика. Сидели за партами по три-четыре человека. К тому же класс был проходной. Учительница у нас была чудесная, старенькая немка Марина Оттовна. Она всех нас любила, и мы платили ей тем же. А на большом перерыве нам давали по куску шербета – каким вкусным он нам тогда казался – и чай. Писали мы в тетрадях, сделанных из газет, поперек газетных строк – бумаги, настоящих тетрадей не было. Чернила делали сами из так называемых химических карандашей и носили их в чернильницах-«непроливайках». Ручкой у меня, да и у многих была металлическая небольшая трубка, в торцы которой вставлялись наконечники: один с пером, а другой с карандашом. Писать пером № 86 я не мог, писал «уточкой» – пером с кончиком, почерк был ужасный, и Марина Оттовна ласково называла меня «курица ты моя золотая». «Курица» – потому что я писал как курица лапой, а «золотая» – потому что учился на одни пятерки. Однажды папа принес несколько листов белой бумаги и сделал мне тетрадь, так на нее вся школа бегала смотреть.

В городе по улице Жарковского и по улице Пушкина было два лагеря, где за колючей проволокой содержались немецкие военнопленные. Они восстанавливали город, а по вечерам играли на разных музыкальных инструментах у себя в лагере. Снаружи собирались женщины, слушали музыку, плакали и протягивали какую-нибудь еду. Однажды я шел из школы домой, в портфеле у меня лежал несъеденный бутерброд, который мама дала мне с собой. И увидел немца, сидящего на крыльце разбитого дома, который он восстанавливал. Он устал, присел отдохнуть. Я не обратил внимания на то, что он расконвоирован (а так ходили только немцы-антифашисты). «Ну, немец-перец-колбаса, я тебе сейчас задам», – решил я. Достал бутерброд, втиснул между обоими кусками хлеба несколько камушков, завернул его опять, подошел к нему и отдал. Как он меня благодарил! А я побежал, спрятался за угол и наблюдал за ним. Он развернул бутерброд, жадно-жадно стал его есть, видно был очень голоден. И вдруг на зубы ему попал камень. Он все понял, опустил руку с хлебом и долго смотрел куда-то в пространство. А мне стало так стыдно, так нехорошо на душе, что я, уже достаточно большой мальчик, заплакал горькими слезами.

В городе было много бандитов. Каждую ночь кого-то грабили, убивали. Однажды человека убили прямо возле нашего дома. Военные и работники милиции выследили как-то целую банду. Та спряталась в своей резиденции – в подвале развалин рядом с

Моховым переездом. Их окружили, по радио предложили сдаться. Они отстреливались. Тогда привезли гранатометчиков. Среди убитых бандитов было два милиционера.

У папы было оружие: большой бельгийский парабеллум. Он был такой тяжелый, что папа его не носил, а прятал дома, сверху на буфете. И вот однажды папа пришел с совещания по борьбе с бандитизмом. В этот же вечер он должен был ехать в Минск. Только сел обедать – стрельба. Папа свой парабеллум в карман – и на улицу. Оказывается, лейтенант и двое старшин, вдребезги пьяные, стали ломиться в дом к нашим соседям – к вдове с двумя девочками. Они повисли на заборе, кричали: «Отец, открой!» – а потом стали палить по дому из трех пистолетов сразу. Тут и подоспели папа и еще сосед подполковник, тоже с пистолетом. Надо сказать, что у нас на улице было две достопримечательности: контора Сельхозтехники (немного сбоку от нас) и Маруся-самогонщица (напротив нас). Папа уговорил всех троих пойти к Марусе выпить. За столом, за самогонкой, ему удалось вытащить магазин с оставшимися патронами у лейтенанта. Глядя на папу, тихонько сделал то же подполковник с одним из старшин (все пистолеты лежали на столе перед их хозяевами). А третий даже дотронуться не дал. Папа сказал, что сейчас принесет еще самогонки, побежал в Сельхозтехнику, позвонил в комендатуру – и скорей на вокзал (опаздывал на поезд). Он только успел нам в двух словах рассказать, в чем дело.

> В городе было много бандитов. Каждую ночь кого-то грабили, убивали. Однажды человека убили прямо возле нашего дома. Военные и работники милиции выследили как-то целую банду.

Через какое-то время влетает к нам в дом без стука старшина с пистолетом в руках, морда красная, и спрашивает: «Прокурор тут живет?» «Тут, – ответила мама, думая, что нам пришел конец, – но его нет». (Хотя папа был судьей, а не прокурором.) «Откуда он звонил, скорее!» – тогда мы поняли, что это старшина из комендантского взвода. Оказывается, пятеро из комендатуры не смогли взять этих троих и пришлось вызывать подмогу. Ох и ввалили солдаты этим пьянюгам, когда взяли их, по первое число.

Как-то по радио сказали, что скоро будет передано важное сообщение. Повторяли это много-много раз. Но я, набегавшийся за день, смертельно уставший, не дождался его. Прилег и уснул.

Проснулся от криков и стрельбы. Мама и Майя в ночных рубашках отплясывали какой-то дикий немыслимый танец посреди комнаты. По радио звучал торжественный голос Левитана, а папа во дворе палил во всю из своего парабеллума в

небо.

Так для меня закончилась война.

Такая долгая, страшная, голодная, но богатая для меня всякими интересными событиями война, в память о которой обо всем увиденном глазами ребенка я и попытался рассказать.

Получилось или нет – судить не мне.

Неназванное
Голлер Борис Александрович, 1931 г. р

Друг, назови меня по имени.

Ю. Тынянов

– Почему вы не пишете мемуаров? (Или – «Почему ты не пишешь?»)

Я отвечал обычно… По роду своих занятий я слишком много времени провел, погружась в исторические источники – и в мемуары в том числе. Меня пугает условность мемуарного жанра, его ангажированность – не только личностью автора, но и изменчивостью самой этой личности. Всякий мемуарист, вольно или невольно, пытается соединить в своем рассказе две эпохи: ту, отдаленную, о которой он вспоминает, и ту, в которой существует сейчас. А это разные времена и разные люди.

Потому я не сразу решился написать эти несколько страниц о войне. Да и какой из меня свидетель? Мне было только десять лет, когда она началась, и почти четырнадцать – когда закончилась. А с другой стороны… Она была и осталась самым главным переживанием моей жизни. Которое всегда лежит отдельно от всех. Даже от счастья.

Перед войной

Если б я в самом деле рискнул обратиться к мемуарам, я начал бы, верно, с трех вспышек памяти, которые остались совсем на грани ночного беспамятства детства…

Вот одна из них… (Дату, конечно, после проставит история.) 1 декабря 1934 года. Утро выходного дня. Я в комнате с отцом. Входит мама: «Сергей на кухне сказал, что в Смольном убили Кирова!..» (Сергей – был сосед по коммунальной квартире. Его, наверное, убили на войне. Потому что после войны в его комнате оказались совсем другие люди.) Отец начинает поспешно одеваться. Наверное, еще одевают меня – декабрь. Потом папа берет меня на руки, и мы выходим. На улице он сажает меня на плечи. Мы идем по улице. Куда? – я не знаю, не уверен, что отец в ту минуту знал. Просто шел весь город… К Смольному. Потом мне расскажут, что отец еще курсантом командирских курсов слушал Кирова, и даже стоял в карауле во время одного его выступления. В городе Кирова любили и звали Мироныч.



Борис, 1935 год

Мы жили в коммуналке, в сравнительно большой комнате (с окном, выходящим в угол двора, фактически в стену), совместно с целой кучей маминых родственников. Любовь мамы к своим родственникам и повседневная связь с ними в свое время сыграет тяжкую роль в моей судьбе. Но пока мне три года, и я живу в собственном пространстве, какое предоставлено судьбой. И здесь ничто не стесняет меня. Среди обитателей нашей комнаты – некто высокий с окладистой бородой. Муж старшей тетки – Ф. Так все его зовут в его отсутствие, даже имени не знаю. Я зову его «Аба» – от слова «борода». Кажется, я таскал его за эту бороду.

А муж моей тетки Ф., «Аба», почти в тот момент исчез – даже из памяти своей жены. Только не из моей – уж не знаю почему. Он был старый большевик и один из близких сотрудников Кирова. Его расстреляли почти сразу. Тетка да и вся наша семья не пострадали только от того, что он был тетке муж *гражданский.* Репрессии коснулись его официальных родственников. В частности, лежачей больной – его официальной жены. Наверное,

он очень мою тетю Марию любил, если наше убогое жилье с множеством людей в комнате, да еще с маленьким ребенком – предпочел своей роскошной обкомовской квартире. Да и тетка была очень красивая женщина. Хотя – очень советский человек. Где-то после войны, в опасные поздние сороковые, она не постеснялась сказать при мне: «Партия разобралась в нем раньше, чем я…» (Ну, может, хотела успокоить своего нового мужа. Все ведь знали, что она того, другого, любила.) А в конце пятидесятых, когда все плакали после доклада Хрущева – плакала и она. И вспоминала, как он перед арестом прибежал к ней: «Меня исключили из партии, я – враг народа. Если я – враг народа, то кто же – друг народа?..»

Даже четверть века спустя, в пору хрущевской оттепели, я вряд ли мог понять, что в тот день, 1 декабря 1934-го, началась особая история моего города. Кроме общей истории страны. Это была как бы добавочная пайка к общим страданиям. Не только 37-й, но еще 34-й: убийство Кирова. Не только война, но еще блокада – почти 900 дней. «Постановление о журналах „Звезда“ и „Ленинград“». «Ленинградское дело» – 1949-й.

И теперь, из других времен глядя на толпу людей, стекающуюся с разных улиц к Смольному 1 декабря 1934-го, я словно заглядываю не только в их лица, но в их дальнейшую судьбу, какая еще неизвестна им.

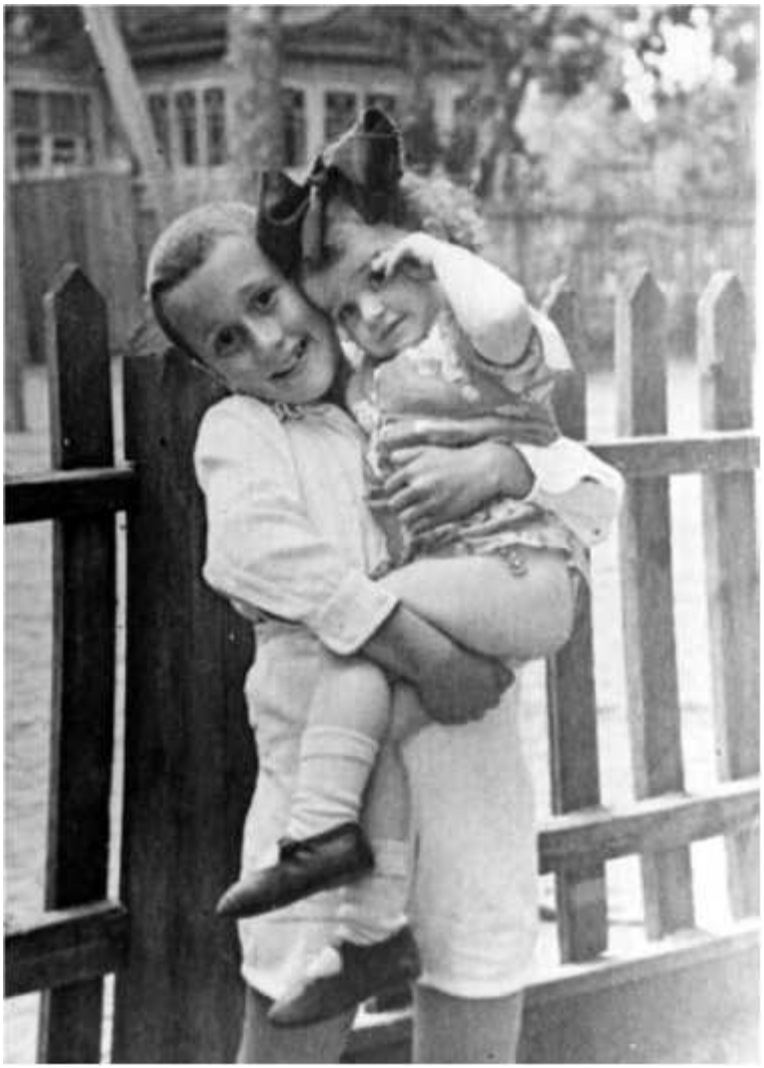
> Это было чуть не главное слово эпохи: «вредитель».
>
> Все равно, что «враг народа». Помню, как воронки въезжали ночью и отца за занавеской у окна в какой-то тоскливой позе.

Как ни странно, я помню и 37-й – к сожалению, даже слишком ярко. Я был сыном инженера-строителя. И уже лет с четырех знал, что мать опасается ареста отца. Он был строитель-проектировщик. И вечно мотался в командировки, в том числе на какие-то аварии. Что-то построили не так по его проекту, что-то падает… И это спокойно могли счесть «вредительством». Это было чуть не главное слово эпохи: «вредитель». Все равно, что «враг народа». Помню, как воронки въезжали ночью и отца за занавеской у окна в какой-то тоскливой позе. (Я об этом рассказал потом в одноактной пьесе «Мальчик у телефона».) Должно быть, не только в нашем окне в тот момент стыли люди за занавесками и смотрели в растерянности, куда направятся прибывшие – в какую парадную.

Потом отец получил письмо из Москвы об аресте старшего брата. (Лицо его представляю себе и сейчас.) Он письмо прочел, сжал в кулаке, и маленький бумажный комок бросил на верхнюю

крышку пианино. (Брат отца в 19-м году был арестован и приговорен к смерти белополяками за подпольную коммунистическую пропаганду в польских войсках. Казнь заменили каторгой, с которой он бежал трижды. В 37-м это все сочли достаточным основанием, чтоб вкатить ему еще 10 лет лагерей.) Я и сейчас вижу тот бумажный комок на крышке нашего старого семейного «Offenbacher'a», доставшегося нам от дедушки. Не маме, а ее младшей сестре, но той негде было его поставить, и инструмент был у нас. За этим пианино меня долго и безуспешно пытались учить музыке. А у меня и так было много дел.

В общем, мне хорошо жилось до войны. Ну, во-первых, я рано начал читать и читал с удовольствием. Во-вторых, был двор. А во дворе – масса интересного. Поленницы с дровами, из которых мы строили крепости. Игра в мяч через сетку – сетка была натянута поперек двора, чуть не в каждом дворе – это было для старших. А подвалы, чердаки – это было для нас. Подвалы готовились на случай войны стать бомбоубежищами (так считалось). Ничего для этого не делалось, но они всегда были открыты. Мы там бродили толпами, а с нами бродили крысы. Еще было развлечение забираться по парадной лестнице на самый верх, на пятые этажи – но не по ступенькам, а по их выступам, которые торчат вовнутрь, за перилами. Это было опасно, но бесконечно привлекательно. До сих пор не понимаю, как ни один из нас не грохнулся тогда.



Борис с сестренкой

Во дворе, кстати, я и начал писать. То есть писать непосредственно я еще не умел, и мой первый рассказ записал во дворе на скамейке, вместо стола, мой приятель-первоклассник. В тетрадке в три линейки. Много лет спустя мы встретились с ним. Полный широкоплечий полковник спросил меня:

– Неужели до сих пор, Боря?..

Я ответил: «До сих пор!»

– Боря, так это ж – болезнь!

– Не знаю – наверное!

А еще у нас было кино. Я верю в предопределение. Как верил в него Михаил Юрьевич Лермонтов, последней частью своего романа «Герой нашего времени» сделавший новеллу «Фаталист».



1938 год

Первым фильмом, на который меня свели – четырех лет от роду (наверное, не с кем было оставить), – стал немой кинофильм «Поэт и царь». Я его покадрово помню до сих пор. И почти уверен, что мои занятия той эпохой большую часть жизни, темы той эпохи – все пошло с того. И потому что первой постановкой не кукольного, но «взрослого» театра, на которую я попал, была опера «Евгений Онегин», которая, кстати, мне не понравилась. Да и сейчас не нравится – как драматическое произведение.

Но главным все же было довоенное *военное* кино…

Во второй половине 30-х появился в нашем доме дядя Петя – муж самой младшей сестры мамы. С этой теткой родной я не ладил после… А с мужем ее – другое дело. С ним мы были близки, хотя в нашей семье с трудом принимали его. «Нас потрясали одинаковые страсти», – как говорил Бабель. Он был из Донбасса, из Горловки. Впрочем, и мамина семья – из Краматорска. Он был большевик, коммунист… То есть из комсомольцев первого или второго призыва и недавно в партии. Он жил романтикой социализма и Гражданской войны. Он даже моего папу в каком-то семейном споре однажды назвал «буржуем», что было глупо и небезопасно в те дни. Его часто выгоняли с работы – не помню сколько раз. И жена за это пилила его. Было слышно за стенкой, и я его жалел. Он во все

вмешивался, что считал неправильным, несправедливым и не соответствующим идеям социализма. (Как он не сел в то время – я не понимаю!) Он всюду требовал того социализма, который ему обещали в 17-18-м и который жил в нем. Потому всегда попадал впросак на службе. Но, когда его выгоняли в очередной раз, и он оказывался дома на несколько дней – он ходил со мной в кино. И мы с ним пересмотрели все героические советские фильмы. «Чапаева» я смотрел несчитаное число раз.

Мне было шесть или семь… А дяде Пете – 24–25 лет. Но, когда скакала красная конница, мы вместе на весь зал кричали: «Ура!» Не мы одни – многие кричали. Моя родная тетка говорила с издевкой, что у нас обоих «конники в голове». «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин // И первый маршал в бой нас поведет…», «Если завтра война, если завтра в поход, // Будь сегодня к походу готов…» Не готовы оказались – что делать? И как неважно воевал «первый маршал» (товарищ Ворошилов)! Но это все после.

Война и еще не война

Для меня война началась раньше, чем для многих. Папа мой был мобилизован во время Финской кампании – так ее называли, эту странную войну. Он собирался в командировку, почти выходил из дому, чтобы ехать на вокзал. Но тут вошел красноармеец и принес повестку. Так отец оказался на Реболском направлении командиром авто-бронероты. У матери на нервной почве отнялись ноги, и она не работала. Наша няня Маруся отказалась брать жалование и ухаживала за всеми. Кроме меня и матери, была еще сестра, которой был всего год… В Ленинграде вечерами ввели затемнение, хотя авианалетов, кажется, не было. На улицах появились странные люди в такой же форме, как у красноармейцев, только с маленькими погонами. Погоны, до сих пор считалось, носят только белогвардейцы. Теперь их придали как отличие бойцам так называемой Финской Народной армии, а финны, с которыми воевали, именовались *белофиннами.* Почти сразу появился анекдот: «Почему, если есть финские мины, то не могут быть *минские финны?»* Впрочем, «минских финнов» было не так много.

Был брошен в бой, в основном, Ленинградский военный округ. Слухи о финских минах, о «кукушках» – снайперах, засевших на деревьях, о лыжниках, наносивших ночные удары по нашим войскам в лесах – полнили город. Особенно это волновало семьи, у которых на войне были близкие. Потому и я знал

подробно об этом. Когда шли уже переговоры о мире с

Финляндией и завершались даже, чуть не в последнюю ночь, штурмом был взят Выборг. И при этом полегло много наших бойцов…

> Финны, с которыми воевали, именовались *белофиннами.* Почти сразу появился анекдот… «Почему, если есть финские мины, то не могут быть *минские финны?»* Впрочем, «минских финнов» было не так много.

Отец вернулся с войны мрачный и какой-то растерянный. Ну да, он воевал, как все, у него погибали товарищи, было несколько обстоятельств, в которых можно было считать, что он уцелел чудом. Война есть война. И он был, в общем, не робкого десятка. Но он был инженер-строитель, вообще крупный инженер. Он не терпел беспорядка и неумения делать свое дело. Его это просто бесило. Кроме того, он проходил командирские курсы при Тухачевском и не раз призывался на военные сборы. И увидел там, на Финской, в каком состоянии армия находилась теперь, и что с ней сталось в 30-е. Он рассказывал о красноармейцах, брошенных в зимнюю войну в шинелях, в сапогах или в ботинках с обмотками. Полушубки появились поздней и не у всех, валенки также. Финская армия была с автоматами, а наша в основном с винтовками и т. д. Финская была вся на лыжах почти, а в нашей лыжников не хватало. От отца мы услышали об огромном количестве обмороженных бойцов, о потерях, которые были просто от неразберихи.



Лето 1940 года

Вообще, год 40-й, после конца финской войны представляется каким-то странным. Люди задумались о чем-то. Вдруг снова негромко заговорили о фашизме. Эта тема фактически выпала из разговора, была перерублена пактом Молотова-Риббентропа. Знаменитая речь Молотова, возвещавшая нам: «Мы должны понимать, что слова „агрессия“ и „агрессор“ теперь меняют свое значение. Что агрессорами являются как раз западные страны, а Германия – страной, стремящейся к миру…» – что-то в этом роде. Тогда это все повторяли на разные лады.



Черт с ним, этим пактом, и, в какой мере он в самом деле был вынужден, не знаю. Но что полностью была прекращена на два года антифашистская пропаганда до войны – это дорого стоило нашему народу в первые месяцы 41-го. Да и не только нашему. Коммунистическим партиям оккупированной Европы, которые в тех условиях одни поначалу могли оказать сопротивление фашизму, но они ведь привыкли равняться на Советский Союз!.. А он был «в мире» с Германией. Это «непротивление злу» сыграло и зловещую роль в том, что война показалась многим столь неожиданной. Но у меня, к счастью, был умный отец.

> Лето 40-го было все равно каким-то почти блаженным. Оно было вовсе не дождливым и в меру жарким. Осталась где-то у сестры семейная фотография: мы на пляже в Сестрорецке с отцом. Отец лежит на песке, а рядом с ним какой-то длинноногий смеющийся мальчик, щурящийся на солнце… Ко мне он уже не имеет отношения.

Была почти радость в нашей семье от того, что в Москве стали печатать роман И. Эренбурга «Падение Парижа». Сама публикация была каким-то нонсенсом, притом что у нас официально немцы все еще ходили в «заклятых друзьях». Роман был четко «профранцузский». (Сам я, разумеется, прочел его

потом, но помню, как читал отец и восхищался.) После занятия немцами

Парижа что-то дрогнуло и в официальной нашей пропаганде. Мрачное предчувствие уже носилось в воздухе… Вести с Западного фронта, где союзники дрались с Германией, стали более ровными, нейтральными. В них проскальзывало сочувствие. Сдача Парижа и отступление англичан от Дюнкерка на судах – это все уже словно и нас касалось.

Лето 40-го было все равно каким-то почти блаженным. Оно было вовсе не дождливым и в меру жарким. Осталась где-то у сестры семейная фотография: мы на пляже в Сестрорецке с отцом. Отец лежит на песке, а рядом с ним какой-то длинноногий смеющийся мальчик, щурящийся на солнце… Ко мне он уже не имеет отношения.

Первые часы…

В эссе о Петербурге несколько лет назад я назвал себя «человеком с канала Грибоедова». Хоть вырос я у Фонтанки, на улице Рубинштейна. И обе школы мои выходили на Фонтанку. Но почти всю войну, с перерывами конечно, где бы я ни находился – мне снился один и тот же сон: залитый солнцем сквер у Казанского собора и памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Хотя это место до войны я и видел, возможно, всего один раз. Может, два от силы. Но сон тот означал для меня, что я когда-нибудь сюда вернусь. Я и сейчас канал Грибоедова люблю в городе более всего. Да и во всем свете тоже.

…И снова я оттягиваю начало. Не знаю почему. Наверное, это очень тяжелое начало…

До войны мы снимали дачу где-нибудь под Ленинградом. В основном в районе Сестрорецка: Разлив, Тарховка и сам Сестрорецк. В 41-м отец нас вывез на дачу почему-то раньше обычного. В начале июня.

Перед выездом дня за два произошел эпизод, заметный в моей жизни, и для меня он имеет прямое отношение к теме. Мы жили в Ленинграде на улице Рубинштейна. На углу было знаменитое перед войной, да и после «Кафе-автомат», где теперь «Макдоналдс». В кафе меня родители отпускали иногда за мороженым. У входа в кафе, у самого тротуара, был газетный киоск. Журналы и книги там тоже бывали. Я увидел книгу в бумажном переплете – газетное издание – «Блок» и купил вместо мороженого. Вечером я спросил у отца – кто такой Блок? Отец сказал, что это великий поэт. Я удивился, я думал, что знаю уже

всех русских великих поэтов. В книге были поэмы «Двенадцать», «Скифы» и «Возмездие». Если для всего другого требовалось время, то «Скифы» захватили меня. Я читал и перечитывал и выучил полпоэмы наизусть и без конца повторял:

Да, скифы мы, да, азиаты мы
С раскосыми и жадными очами.
Для вас века, для нас – единый час,
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас —
Монголов и Европы.

Эти строки для меня явились каким-то входом в войну.

Дача в Разливе была в каком-то чудном доме с садом и с милыми интеллигентными хозяевами. И родителям еще пришлось убеждать хозяев, чтобы они сдали дачу семье с двумя детьми и еще тетке с годовалым ребенком. Обещали, что дети – то есть я в особенности как старший – не будут портить ничего в саду.

Утром в воскресенье отец пошел на станцию за квасом: мама собиралась готовить окрошку. День был солнечный, даже слишком яркий – день по характеру, скорей, для средней полосы; у нас, на северо-западе, такие выдаются редко. Отец взял меня с собой. Мы купили квас, еще что-то на рынке и батоны в магазине и уже возвращались домой. У синего высокого забора дерматологической клиники (говорили, что там лечат от волчанки) мы остановились, потому что радио-тарелка над больницей, укрепленная на фронтоне, вдруг заговорила каким-то особо торжественным или тревожным голосом: сейчас выступит председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов. Конечно, мы стали слушать.

Речь эта всем известна. Более всего поразило не то, что это случилось уже, а слова, в которых это было подано: «Без предъявления каких-либо претензий к Советской стороне…» Это еще можно было понять. Но «вероломное и неожиданное нападение…» Уже недели две по радио передавали, что немецкие войска скапливаются у наших границ. Да и «вероломно»… Они до сих пор так на всех нападали. Но почему-то еще недавно говорили, что они «стремятся к миру». Всю дорогу к дому мы с отцом бежали, верней, бежал он, а я едва поспевал за ним. Я даже спросил:

– Ты чего бежишь?

– Чудак! Мне на войну идти!

В итоге мы расплескали весь квас и почти все молоко.

Молоко тогда носили в бидонах.

> Всю дорогу к дому мы с отцом бежали, верней, бежал он, а я едва поспевал за ним.
>
> Я даже спросил:
>
> – Ты чего бежишь?
>
> – Чудак! Мне на войну идти! В итоге мы расплескали весь квас и почти все молоко. Молоко тогда носили в бидонах.

В тот же день папе удалось нанять грузовик, и мы переезжали в город. В последние дни (опять некое предопределение!) я зачитывался книгой Тарле «Наполеон» (наверное, она только что вышла) и успел дочитать ее. Неделю назад, в воскресенье, ее привез дядя Петя – она была из его заводской библиотеки, он захватил с собой, чтоб не скучать в поезде, а я выклянчил у него на несколько дней. Что-что, а книги я умел выклянчивать. Но в момент лихорадочных сборов я бросился ее искать – не мог найти, да так и не нашел. И главное, что волновало меня в тот день, – что я затерял дядину библиотечную книгу.

Вероятно, не только я – десятилетний ребенок, но многие взрослые утыкались тогда во что-то бытовое, сиюминутное…

И не могли понять, что вступили в другую жизнь, в другой мир – где за книгу, к примеру, уже можно и не отчитываться. Но придется отчитываться по-другому и за другое…

Вечером мы прибыли в город. Был яркий, летний июньский день, вовсю слепило солнце. На улицах, на всех лотках отливала, по меньшей мере, тремя цветами роскошная спелая черешня. И на всех улицах, и со всех вокзалов шла почти одинаково праздничная, явно с отдыха, толпа – с узлами и баулами, с кошелками и авоськами, в легких платьях, в сарафанах для пляжа, с пиджаками на руке, с полотенцами через плечо… И было впечатление, что никто ровным счетом ничего не понимает.

Мой день рождения

Я пишу эти строки в свой день рождения, 3 июля. Только 73 года спустя.

Первые дни после объявления войны было все более странно, чем страшно. Где-то шла война, где-то гибли люди, над Ленинградом повисли аэростаты воздушного заграждения. Но где воюют (и как), где линия фронта? Было похоже, что наши отступают. Но даже всегдашних источников человеческой информации о событиях – *слухов* – почти не было… «От

советского Информбюро…» Сводки передавались каждый день и по несколько раз на дню, но абсолютно неконкретные. В них пытались обходиться вовсе без топонимики: «На (таком-то)… направлении наши войска вели бои с превосходящими силами противника». Сплошной повтор, словно заело пластинку: «…с превосходящими силами противника, с превосходящими силами противника…» Я этот прием застрявшей патефонной пластинки через много лет, в 60-х годах использую в ремарке своей пьесы «Миф о десанте», чтоб обозначить время… «…с превосходящими силами противника…» А собственно, почему и откуда взялись они – «превосходящие»? Нам ведь говорили всегда…

> 3 июля, как раз в мой день рождения, выступил Сталин.
>
> Мы слушали стоя – все взрослые, кроме маленькой сестры. Стояли навытяжку перед черной домашней радио-тарелкой и слушали. Стояли не из почтительности, как понимаю сейчас, а из ощущения значимости момента.

Отец вступил уже 24 июня в дивизию Народного ополчения, часть формировалась в городе, и он часто бывал дома. Но и он ничего не мог объяснить.

3 июля, как раз в мой день рождения, выступил Сталин.

Мы слушали стоя – все взрослые, кроме маленькой сестры. Стояли навытяжку перед черной домашней радио-тарелкой и слушали. Стояли не из почтительности, как понимаю сейчас, а из ощущения значимости момента. Радио-тарелки в домах были по размеру почти такие же громоздкие и неказистые, как уличные. Почему-то они были черные. Сталин говорил глухо, кажется, волновался, и грузинский акцент его был в этой речи сильней, чем обычно. Знаменитая речь: «Дорогие соотечественники, братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Мы впервые узнали, что происходит на самом деле. Что армия отступает, что потеряна территория почти всей Белоруссии, часть Украины, Прибалтика… Как же так? Мы же знали, что у нас непобедимая армия! Что воевать мы будем всегда только на чужой территории. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, // Но и свой вершка не отдадим!» Пели ж мы столько лет! Пели!.. По-моему, именно в этой речи вождь не преминул задеть «плаксивых интеллигентиков», которые вроде первые могут предаться панике в тяжелый момент. (А может, это было в другой речи?) Это был главный пунктик его и всегдашняя главная мишень его расправ. В том числе словесных. Интеллигенты. Зачем это было ему сейчас? Интеллигенция в тот момент как раз

заполняла военкоматы и пункты формирования частей народного ополчения и обижалась, когда ее не брали. По болезни. По возрасту… Надо сказать, что и собственный этот комплекс неполноценности в интеллигенции к сему времени был воспитан советской властью – ох, как воспитан! После отметят не раз, что бывший семинарист, порвавший с Богом, разрушивший такое количество церквей, по приказам которого было убито или отправлено в Соловки столько священников, – вдруг вспомнил впервые истинно христианское обращение *«Братья и сестры!»*… казалось, вовсе забытое в стране, которую он вел. (Куда? На этот вопрос нет вразумительного и полноценного ответа по сей день, и вряд ли я услышу его при моей жизни. И есть только вера – что кто-нибудь когда-нибудь услышит его в окончательном виде, этот ответ!) Говорят, его мать повторяла до конца дней: «Лучше бы он стал священником!» Возможно, в самом деле лучше бы! Но он не поехал, как известно, даже на ее похороны в Грузию, а послал кого-то вместо себя. Кажется, Микояна.

А мы стояли и слушали молча. Не помню, дослушал ли речь до конца мой отец. Но он вдруг выскочил из комнаты. С силой хлопнул дверью. Через полчаса примерно он вернулся с пакетами. Там было все… Сладости, которые мы видели довольно редко… Шоколад, фрукты… Свежий кефир, молоко. Свежие, с подрумяненной корочкой, пахнущие пекарней хлеб и булка. Шпроты и другие консервы…

– Садитесь! Ешьте! Это в последний раз!… (И буквально заставил нас сесть за стол.)

Он был прав. Через день-два полки в магазинах уже были пусты.

Волейбольная сетка

Первое, что исчезло с нашего двора, – волейбол. Я говорил уже, что в нашем, достаточно узком, дворе-колодце старого петербургского доходного дома – впрочем, «доходным» его давно уже никто не называл, – поперек двора меж двумя, напротив друг друга расположенными черными лестницами (парадной считалась только одна – в центре двора) была натянута волейбольная сетка. Играли две команды. Как это переносилось всеми прочими жителями дома – этот бесконечный стук в замкнутом пространстве двора, – уже не помню. Я был в том счастливом возрасте, в котором такие вещи мало занимают… Да и сам был из тех, от кого было шумно во дворе. В волейбол играли старшие – компания спаянная и праздничная. И

вызывавшая зависть у нас, малышей. С ними мы только здоровались, они нам кивали небрежно. Они мало замечали нас, но однажды, когда я по глупости обидел кого-то, кто был меньше меня и, значит, слабей, я получил внушение от кого-то из них, и весьма внятное. Не физическое, нет, но доходчивое в высшей степени, и с высоты роста, того, кто говорил. Команд, как таковых, не было – ребята менялись местами. И когда я вспоминаю наш двор до войны, я всегда вижу эту толпу ребят с двух сторон от сетки. Но… «на площадке танцевальной – сорок первый год!». И все вдруг разом пропали. Как индейское племя, о котором остались только легенды. С Гитлером не поиграешь – ни в футбол, ни в волейбол – тут другая игра…

Странно! Я совсем не помню дня, когда узнал о нашем отъезде. В тот день, по-моему, отец просто позвонил маме из своей части и велел ей быстро собираться. Создан интернат для детей его учреждения, интернат вывозят в тыл, и матери, которые могут ехать с детьми, едут, как вспомогательный состав. Ибо часть детей поедет без родителей. (Сперва, помню, и этот вопрос обсуждался: возьмут ли вообще матерей.) Мама тут же вписала еще свою младшую сестру с ребенком: ему было чуть больше года. Это был сын дяди Пети. А еще соседка по двору, мама Миши Лапковского, пришла к моей маме и спросила, не можем ли мы взять с собой ее сына Мишу. Миша был не то что мой товарищ, он был старше года на три, но мы были соседи и дружны. И мать позвонила в интернат и записала его как своего племянника. Но… соседка, к сожалению, раздумала в последний момент отправлять сына. По-моему, всем казалось еще, что все это ненадолго – эта война. Миша был бы с нами, конечно, где бы мы ни были, и, может, как-нибудь выжили бы все вместе. А так… Он остался жив в блокаду, но не выжил после войны от последствий ее. Такая сложилась у него судьба. И мама, и я никогда не переставали жалеть о том и думать, что все могло выйти иначе.

А потом был переполненный перрон Московского вокзала. Я видел в жизни впоследствии много вокзалов и многолюдных перронов. Сезоны летних отпусков, торжественные встречи, кого-то провожают, кого-то встречают. Ничего подобного я не видел никогда и, надеюсь, не увижу. Это не был отъезд, это был исход. Знак беды. Перрон, перроны, много перронов. Вагоны плацкартные, комбинированные, спальные. Теплушки встревали между ними, и в теплушках тоже были люди, и у теплушек было полно людей. Составы. Они протягивались куда-то вдаль из самого центра города искривленными линиями, прочь отсюда, напоминая собой вывихнутые руки этого города. И над всем этим било солнце.

> Налета ожидали в любой момент и об этом тоже говорили в толпе. Толпа колыхалась, раздвигалась на миг, пропуская кого-то еще, и сдвигалась снова, цепенея. Где-то плакали громко, где-то громко смеялись, столь же натужно, неестественно. Мы с трудом нашли наш состав и вагон.

Июль. Кажется, никогда ни до, ни после лето не было таким безумным, ярким, слепящим в этом хмуром городе. Над вокзалом висели бессильные аэростаты воздушного заграждения. Налета ожидали в любой момент и об этом тоже говорили в толпе. Толпа колыхалась, раздвигалась на миг, пропуская кого-то еще, и сдвигалась снова, цепенея. Где-то плакали громко, где-то громко смеялись, столь же натужно, неестественно. Мы с трудом нашли наш состав и вагон. Молодая женщина, властная, с красивым лицом и легкой проседью в волосах, с военной полевой сумкой через плечо у одного из вагонов заглянула в список: «Да, это здесь! Я начальник интерната! (Назвала себя.)

Документы!» Я не помню, успел ли я проститься с отцом и вообще с кем-нибудь. Слишком тесно, слишком напирали другие из толпы. Отец был в военном, тетка Мария-военврач тоже, и дядя Петя в чем-то похожем на гимнастерку. Они быстро оказались оттиснуты в сторону другими провожающими. А когда поезд тронулся, все побежали, и наши тоже побежали, постепенно отставая от поезда и исчезая в толпе. Первой отстала тетка, потом отец… Последним бежал за составом дядя Петя. Долго бежал – пока не оборвалась платформа и не стали расходиться уже сами по себе подъездные пути, – а я держал в окне, подняв на руки, его маленького сына, чуть больше года… Больше они не увидятся.

Отец моего братишки, Петр Яковлевич Толчинский – инженер, коммунист – был трижды комиссован, то есть забракован медицинской комиссией: у него был белый билет и тяжелая язва желудка. Он мог уехать – он остался в городе. Он пошел в четвертый раз – в истребительный батальон по борьбе с диверсантами и умер в госпитале в Ленинграде 5 мая 1942 года, после первой блокадной зимы… В последней записке, которая дошла до жены, когда его уже не было в живых, мы прочли: «Просто я хочу есть…»

Но я верю в генетику, в гены и генетическую память. И на каждом шагу убеждаюсь в справедливости этой веры. Сын дяди Пети видел отца совсем маленьким. У его отца была любимая пословица: «Мастер Пепко делает крепко!» Он так говорил, чуть похваляясь, если что-то удавалось ему. Я же сказал, он был из Горловки, донбасский. А там такой смешанный язык: русский, но

с украинизмами. Так вот, его сын этого выражения помнить никак не мог. И рассказывать ему точно никто не рассказывал. Но однажды, когда моему двоюродному брату исполнилось 13 или 14, он вдруг, безо всего, и даже, кажется, без смысла особого, так явственно произнес вслух: «Мастер Пепко делает крепко!» Как будто изнутри сами собой явились эти слова…

Когда я вернулся домой в начале июня 44-го – не было больше во дворе волейбольной сетки.

Кипяток

Был такой анекдот много после – не слишком остроумный, право, а теперь уж тоже старый, но он, как нынче говорят, «в теме». Иностранец проехался по России на поезде, спрашивают о впечатлениях… Говорит, ему все понравилось, только станции почему-то все с одинаковым названием! – Как так – с одинаковым?.. – А когда подъезжаешь, видишь всюду большими буквами: «Кипяток».

Людям иных времен, может, и не совсем понятно. Но на нашем пути по стране летом, и осенью, и зимой 41-го, да и на обратном пути, летом 44-го, – кипяток был главной проблемой. Добыть кипятку редко означало возможность заварить чай, чая не было, как правило, но просто иметь воду для питья или чтобы продезинфицировать рану. Ран обычных, бытовых, было очень много. В поездах вода из кранов часто не шла, да и ей не доверяли, а все катаклизмы, вроде войны, сопровождаются кишечными палочками.

И от расстройств такого рода гибнет почти столько же невоенных людей, сколько под обстрелами и под бомбами. Кипяток был главной проблемой, и лично моей в том числе. Я был старший мальчик. И у матери моей была больная нога и, кроме того, ей боязно было оставлять маленькую сестру: вдруг тронется поезд раньше времени. Потому за кипятком бегал я с бидоном. Как только поезд останавливался на станции – уже на подъезде все высматривали – где эта спасительная надпись: «Кипяток», – люди спрыгивали с подножек всех вагонов, спотыкаясь и падая, и неслись, натыкаясь друг на друга и перепрыгивая через рельсы.

Добыть кипятку редко означало возможность заварить чай, чая не было, как правило, но просто иметь воду для питья или чтобы продезинфицировать рану. Ран обычных, бытовых было очень много. В поездах вода из

кранов часто не шла, да и ей не доверяли, а все катаклизмы вроде войны сопровождаются кишечными палочками.

А по другим рельсам тоже шли поезда…

И приходилось бежать наперерез прибывающему. Иногда – чуть-чуть не под колеса…

Кипяток, кипяток! Огромная разнополая, разноцветная толпа. Растекшаяся по всей длине подошедшего состава и на бегу стягивающаяся к некоему центру, ориентируясь на заветную надпись. Взгляд в спину этим людям: вид сверху – из окна вагона или с крыши его мог напомнить, верно, полотно Босха. (Конечно. эта ассоциация явилась мне много после.) Но… «все члены МОСХа не стоят одного члена Босха», как известно, и эта картина так и не появилась среди полотен, посвященных советскими живописцами великой войне. (А какое название роскошное могло быть у нее, реалистическое: «За кипятком!») Не забудьте, что надо было еще успеть вернуться и не опоздать на свой поезд. Многие опаздывали. Потому что, сколько поезд стоит на станции, никто никогда не знал. Не объявляли. И сколько раз мы, отъезжающие, видели в окно этих растерянных, не добежавших, отставших. Вернуться вовремя. Не расплескать это достояние: кипяток. Не обжечься заодно… И успеть найти свой вагон.

Еще сложней, чем с водой, и даже едой, было в пути отправление естественных надобностей.

Война – катастрофа и неминуемо ведет к вымыванию на время из человека каких-то нормальных чувств, привычек, потребностей, брезгливости или стеснительности… Уже где-то в 60-х мне попались в «Новом мире» мемуары одного из руководителей тыла армии в войну. Там, в частности, приводилась цитата из выступления профессора-медика, главного гинеколога Красной армии, о чудовищном положении женщины в военных условиях. Просто потому, что она женщина. Читая это, я вспомнил нашу «дорогу никуда» от Ленинграда до Сибири.

Война – катастрофа и неминуемо ведет к вымыванию на время из человека каких-то нормальных чувств, привычек, потребностей, брезгливости или стеснительности…

Вагоны были так забиты людьми, что вагонные туалеты (в теплушках их вовсе не было) находились в самом отчаянном положении. А представляете себе. что такое туалет на забитой поездами и людьми станции? А еще надо его найти и выстоять очередь… И не потерять свой состав. Поэтому… Когда поезд

останавливался, мужчины, те, кто не бежал за кипятком, выстраивались в ряд, чаще всего за собственным вагоном, считая, что из окон, которые по другую сторону от двери вагона, это как бы не видно… А женщины? Женщины лезли под вагоны! Потом вылезали из-под них, оправляя платье. А у вагонов стояли мужики и курили, и среди них было достаточно тех, кто с интересом наблюдал эту сцену. И я помню эти жалобные, остановившиеся, эти беспомощные глаза – женщин, вылезавших из-под вагонов. Они же были – некоторые во всяком случае – чьи-то любимые, свои, несравненные, оберегаемые от чуждого взгляда… Нет, конечно, я был мальчишка, всего десять лет – и многое понял после… Но мне кажется и сейчас, что смутное переживание было во мне и тогда, неоформленное, жалкое – но было! Я, к примеру, очень переживал за мать. И за нашу приятельницу Нину, совсем молоденькую красивую блондинку, которая ехала с грудным ребенком…

Мы с мамой ехали на Урал, в Камышлов, к дяде моего отца, который был туда эвакуирован с заводом. Там уже находилась младшая сестра папы с мальчиком моложе меня года на три. Почему моя питерская тетка, мамина сестра, не поехала сразу с нами, до сих пор понять не могу. Обычно они с мамой не расставались.

Сентябрь 1941-го. Мы сидим трое суток на станции Данилов. Где фронт – неизвестно. Но слухи, что близко. Вдалеке временами слышатся взрывы: там, кажется, бомбят соседнюю станцию. На площади перед вокзалом – толпа, и этой толпы – тысяч десять, может пятнадцать. Женщины, дети, старики… очень много детей. Слава Богу! – еще тепло и нет дождей. Раз в день открываются двери вокзала и выносят еду на подносах. Пирожки с капустой. Кормят всех – но по эвакоудостоверениям. Нас пятеро: мама, я с сестренкой и Нина с младенцем. Она отправилась с нами из интерната – ей тоже надо на Урал… У нее какое-то осложнение после родов: потеряла слух. Потому мы – ее уши и разговариваем за нее. С мамой они как-то понимают друг друга. Ее ребенку меньше шести месяцев. Она жена папиного товарища. Когда его не станет где-то в 70-х, некролог будет подписан Брежневым. Он будет первым замминистра. Но к тому времени они с отцом вовсе разойдутся по жизни.

Поезда проходят мимо нашей станции, но не открывают дверей. – А как их открыть? Хлынет толпа. Только подходит поезд, из дверей выходят здоровенные амбалы-проводники и заслоняют вход мощными плечами. В толпе, где все всё знают, рассказывают про них, что их специально ставят «на бронь», то есть освобождают от призыва, чтоб охранять поезда.

Трое суток – и выбраться со станции у нас никаких надежд. На четвертые, ночью, бродя вдоль путей (все бродят: делать что-то надо, кроме того, что прислушиваться к взрывам), – мама встречает какого-то сцепщика поездов. И почему-то обращается к нему. Он ей внушает уважение своей огромной фигурой, хоть она его боится немного (потом признавалась). «Помогите нам попасть на поезд!» Он соглашается. Мама имела в виду, что это, конечно, за плату. Утром рано к проходящему составу появляется вся наша экспедиция. Нина с ребенком на руках… Появляется этот наш провожающий. Огромный, одутловатый, лицо какое-то серое, глаза запрятаны, неразговорчивый. Мне он кажется свирепым. Нина тоже как будто тоже опасается его. Но это – единственная наша надежда. Подошел поезд, все как обычно, На пороге встали мощные проводники. Наш провожатый чуть поднялся по ступенькам и негромко сказал проводнику:

– А ну пропусти женщину с ребенком.

И сильно сдвинул его плечом. Тот на секунду растерялся. Но Нину с ребенком сцепщик уже подхватил рукой и продвинул в вагон. Следом были мама с сестрой и я. Проводник, кажется, опешил вовсе. Но вообще все это были мгновенья. (Я и сейчас не понимаю, как это произошло.) Однако наши вещи остались на платформе. Их было совсем немного, вещей, но там было самое необходимое. И тут поезд тронулся. И тогда провожающий стал вбрасывать наши вещи в вагон, в раскрытую дверь, а проводник подвинулся в сторону и даже помог ему. Поезд набирал ход. Мама выскочила вперед, на первую ступеньку и попыталась протянуть деньги… Хотела даже бросить на платформу. Но он только улыбнулся и махнул рукой. Вообще он улыбался впервые за наше краткое знакомство. И то была откровенно человеческая улыбка радости от содеянного добра. Только и всего. Само собой понятно, что мы так и не узнали его имени.

Мама выскочила вперед, на первую ступеньку и попыталась протянуть деньги… Хотела даже бросить на платформу.

Но он только улыбнулся и махнул рукой. Вообще он улыбался впервые за наше краткое знакомство. И то была откровенно человеческая улыбка радости от содеянного добра.

Спустя несколько минут мы уже протиснулись в купе комбинированного вагона, и кто-то чуть подвинулся на скамейке, чтоб дать нам место. Все места были только сидячие, разумеется. И Нина тотчас укуталась пеленкой, как всегда делала, и принялась кормить ребенка. А проводник, тот самый, даже

принес нам чистое полотенце. Одно на всех пятерых… Оно было все в черных разводах, но чистое: просто постирано так. Правда, первым моим подвигом стало то, что я его почти тотчас уронил в зловонную жижу в туалете. И мы потом не знали, куда его деть.

Быстро холодало. Приближался Урал… На станции Камышлов, где мы высадились ранним утром, в пустом зале ожидания моя трехлетняя сестра, которую уложили спать на скамейке, обмочила легкое единственное пальто матери. Наверное, слишком сладко уснула от усталости. В шесть утра заговорила радиотарелка: «От советского Информбюро… После упорных и ожесточенных боев наши войска оставили город Киев». (Мы после узнаем, что это – голос Левитана.) И какое беспросветное одиночество поселилось в зале от этого сообщения!

Недели через две к нам в дверь той комнаты в бараке, в какой нас приютили родственники, и где мы и так уже были вшестером, постучали. Я открыл дверь… На пороге было нечто, вовсе неузнаваемое. Моя тетя с ребенком на руках! Прижатые друг к другу, заснеженные, когда снег уже примерз к ним, и как бы обнятые зимой, они вместе напоминали собой одну снежную бабу, постучавшуюся в нашу дверь.

– Как же ты не встретила? (Маме.)

– Я не получила телеграммы… – Телеграммы и вправду не было – почта ходила плохо.

> Эвакуация была великое кочевье моей страны и испытание всех этим кочевьем.
>
> На прочность, на способность к адаптации, на человечность.

Папин дядя принял и тетку с сыном. В семье у нас его звали по фамилии: «дядя Кабаков». Он был закоренелый холостяк и человек одинокий во всех смыслах, работник среднего звена одного из ленинградских заводов. Рассказывали, что у него в молодости была любовь: он любил женщину, которая вышла замуж за другого, между прочим, за одного из его племянников, брата моего отца.

И он остался один на всю жизнь и продолжал любить ее. Во всяком случае, когда он хотел похвалить за что-то, допустим, меня, он говорил, что я напоминаю ему кого-то из ее детей. Но это он дал приют в войну трем семьям с детьми и заботился о них. Если бы была какая-то семья четвертая, он бы принял ее тоже. Похоже, он, как сцепщик со станции Данилов, не рассуждал о таких вещах. Кстати, его племянник, тот самый, один из моих дядьев, был со своей женой всю жизнь – ох, как несчастлив!

Эвакуация была великое кочевье моей страны и испытание всех этим кочевьем. На прочность, на способность к адаптации, на человечность.

Для меня самое сильное и нестерпимое *личное* воспоминание о войне – железнодорожная станция в тылу с двумя поездами на путях. Пришедшими навстречу друг другу. И один – поезд теплушек, двери раздвинуты, и в дверях, за ограничительным брусом – словно упершись в него, – молодые солдаты. Поезд идет на фронт. Ребята молча глядят на тот, другой состав… Из спальных вагонов. Окна скрыты занавесками, но в окне все же мелькают там и сям загипсованные ноги, забинтованные головы… Госпиталь. Это направляется в тыл отработанный человеческий материал великой войны. Ате молодые, здоровые, со встречного поезда – молча глядятся в этот состав, как в зеркало.

Я молча вхожу мысленно в эти поезда – в один, потом в другой. Чтоб попытаться взглянуть на тот встречный поезд глазами тех, кто смотрел оттуда.

И почти сразу мелькает другое. Это еще в августе, в первые месяцы войны. Рядом с нашим интернатом в Ярославской области был колхоз. И речка, естественно… И длинная-длинная проселочная дорога – сплошь песок. По этой дороге часто вечерком сходились девушки. Что называется, сбивались в стайку. Все в длинных цветных платьицах, в сарафанах от Казимира Малевича – времен до «Черного квадрата». И пели нестройными голосами, но как-то слишком пронзительно. Как-то слишком высоко и всё тянули наверх, всё выше, все печальней…

Милый, я не виновата,
Да и ты не виноват…
Виновата Красна армия
Да райвоенкома-ат!

Я эту песню больше нигде не слышал, никогда. Вряд ли она была разрешенной в ту пору. Да только деревня далеко… Кто услышит?..

Цветастые платьица. И черный квадрат!

Отец

Война неожиданно выпустила из объятий отца. Это случилось нечаянно. По-моему, он до конца дней так и не понял, как. Только что он получил новое назначение – командиром пехотной роты. И стоял в очереди в отделе формирований за получением

документов. За высоким барьерчиком симпатичные девушки в военном выдавали какие-то бумажки.

– Ой, товарищ, вы инженер-строитель?

– Да.

– Вы не знаете случайно таких-то и таких-то? (Ему подали какой-то список.) На них приказ из ГКО!

ГКО – это был Государственный комитет обороны. В бумаге, которую ему подали, было примерно два десятка фамилий и приказ об отзыве означенных специалистов в тыл на строительство военных объектов. Где-то шестой или седьмой в списке шла его собственная фамилия. Сколько я знаю, он до конца дней размышлял над этой превратностью судьбы, спасшей его, но не коснувшейся его товарищей… Провоевав совсем немного – всю Финскую и примерно два-три месяца этой, я не знаю, как кто, а он никогда не забывал о войне.

Он мальчишкам роздал ордена,
Штатское купил себе с получки,
Но сидела за столом война
И кусок брала себе получше…

Было такое изумительное четверостишие раннего Владимира Британишского.

У отца уж точно до конца «сидела за столом война». Это я знаю. И преуспевающий инженер, главный конструктор института, существовал в нем всегда совместно с тем командиром пехотной роты, погибшим где-то под Ленинградом. (Это сказывалось и на отношении к близким. Ко мне в том числе.)

Во всяком случае, когда на заводе в Сибири, который строился с его участием, загружались стотонные бункера, рассчитанные и придуманные им так, что они держались на каких-то почти миниатюрных подвесках, он трое суток не возвращался домой и ходил под этими бункерами. Нам это кто-то рассказал из его сослуживцев, мы не знали, конечно. Он проработал потом главным конструктором института до 86-го года и работал бы дольше, если бы неожиданная, и уже безнадежная, онкологическая операция не оборвала все.

Хозяйка

Так вышло, что где-то в середине ноября отец мог вызвать нас к себе – вместе с тетей, разумеется, и с маленьким двоюродным братом. Стояли уже морозы, а в Сибири в особенности, вообще та

зима выдалась на редкость холодная, так же, как на редкость светлым и жарким было лето 41-го. Это сказано, по-моему, во всех воспоминаниях. Была та же дорога, уже описанная, и в конце концов мы оказались в небольшом деревянном доме в маленьком сибирском городке Старо-Кузнецке, на берегу реки Томь. Через реку был большой мост, а за ним, на том берегу, – более современный город с каменными домами – Сталинск. (Сейчас они объединились в один Новокузнецк.)

Мы снимали в этом доме малюсенькую комнату метра четыре, примыкавшую к сеням. Там были отец, мать и сестра, и две кровати в общей комнате, считавшейся гостиной. На одной спал я, на другой – моя тетка с сыном.

Хозяйка дома была красавица-полька. То есть она считалась красавицей старшими моими, я-то в этом в ту пору, должно быть, еще мало что понимал. Наверное, в ее надменных устах, серых глазах и носике с горбинкой было что-то или чудилось что-то. К ней приехала родная сестра с ребенком из Ленинграда. Вот она была совсем обычной внешности. Своих детей хозяйка, по-моему, не имела. Она была вдовой известного в свое время инженера К., начальника крупной стройки, расстрелянного в 37-м. Отец мой то ли знал его раньше, то ли слышал о нем. Сейчас у нее был другой муж, рядовой инженер какой-то местной конторы. Он был высокий человек, очень скромный, словно потерянный, с жалостными темными глазами – шорец по национальности. Такая небольшая сибирская народность. (Горная Шория.) Он жил не здесь, с женой, а у матери, неподалеку, а к жене лишь наведывался временами, когда его отпускали. А чаще вечерами наведывались «поклонники».

– У Ванды поклонник (кажется, ее звали Ванда), – оповещала старуха-мать хозяйки с гордостью женщины, у которой тоже все это было когда-то, да вот прошло! Она, верно, прежде была тоже красива, но старость сделала ее похожей на ведьму.

Поклонники были разные. Явно почти все семейные. Были ли они близки с этой женщиной или только домогались ее, осталось неясным, кажется, и моим старшим – матери, тетке, которые, что греха таить, иногда меж собой судили о ней. Иногда это получалось при мне, и я, естественно, запоминал.

«Начальник станции», – объявляла старуха. Или: «Директор по снабжению!» – Называю для примера. Или еще торжественней: «Евхей пхи-шел!» – намеренно картавя. Однажды ни с того ни с сего сама хозяйка завела разговор с мамой:

– Вы думаете, ваш Александр Ефимович – какой-то особенный? Не такой, как все?.. – (Это было про отца.) – Мне можно было только мигнуть… или поманить пальчиком!..

Я не выдумываю, это я слышал нечаянно. Своими ушами. Иногда она начинала разглагольствовать о положении на фронтах, и тут выходило совсем ужасно. Это было в пору самых тяжелых боев под Москвой…

– Уж не умеем воевать, так сдавались бы! Чего людей зря гробить?..

Мама после этих разговоров тихо плакала в углу. Мы с удовольствием ушли бы от нее, сняли бы другое жилье. Но городок был заполнен приезжими под завязку.

Настал день, когда мобилизовали и мужа хозяйки. До этого он имел какую-то «бронь».

Он пришел проститься и долго сидел в углу и смотрел на жену, не отрываясь.

Напомню, я жил в проходной, что звалась гостиной, и многое происходило на моих глазах.

На прощанье она сказала мужу: «Только помни! Если тебе оторвет хоть палец – ты мне не нужен!» – Так и сказала. А он стоял перед ней и моргал темными безответными глазами.

Малюсенькая комнатка родителей и сестры располагалась рядом с сенями. И в сенях в огромных мешках стояли замороженные пельмени. Это запасалось хозяевами на зиму. Уборная была во дворе. Мороз 40 градусов. Раза три или четыре за зиму из дыры поднимались высоким жестким конусом застывшие экскременты, их приходилось разбивать ломом…

Наро-Фоминск

В школу я ходил во вторую смену. Она работала в три смены: слишком много наехало детей. Был яркий солнечный день. В Западной Сибири много таких дней, когда отчаянный мороз и вместе какое-то необыкновенное солнце. Было около полудня, и я как раз вышел на центральную площадь городка. В центре ее было кольцо трамвая, он отсюда уходил через мост в Сталинск, за реку. Было 11 или 12 декабря 1941-го.

Я огибал площадь слева, а справа таращились на площадь растянутые по дуге серые дома, похожие один на другой… У магазина в центре дуги, за трамвайной линией, была огромная очередь. За хлебом. Или еще не завезли, или завезли только что. Это был уже хорошо знакомый мне мир, знаки которого я считывал легко.

Когда я вышел на площадь, началась эпопея с Настькой. Так ее звали. Это была несчастная сумасшедшая девушка, которую все знали в городе, – тихая и жалкая, которую почему-то все немного

боялись. Жалели, но боялись. Она появлялась откуда-то незаметно, подходила и заглядывала вам в глаза. И этот взгляд пугал. Кроме того, она была вся во вшах. Вши тогда не были в диковинку, у всех они были, меня тоже отмывали чем-то пахучим. Но у ней, казалось, их было как-то особенно много. И когда она приближалась – все невольно отшатывались. Кроме того, у нее была манера присаживаться по естественной надобности прилюдно и где угодно. И тогда все вокруг принимались кричать: «Настька! Ты что, Настька!» Она спохватывалась и начинала бежать, вздернув юбки, под которыми не было белья. В общем, на площади был момент, когда все занялись Настей. И вдруг заговорила радиотарелка над магазином, громко и торжественно: «…наши войска перешли в наступление под Москвой. Враг разгромлен и отброшен от Москвы». Не помню, говорилось ли что-то о пленных, но о разгромленных немецких частях было в полный голос. И далее: «Освобождены города…» – шел длинный список городов и городков Подмосковья, среди которых почему-то раза два или три в разном контексте был упомянут Наро-Фоминск.

По-моему, сообщение повторялось еще и еще. И вся площадь передавала друг другу: «Наши наступают! Взяли Наро-Фоминск!» И никто, слышите, никто на всей площади не переспросил: «А что это за город? Большой он или маленький?» Все поверили вдруг, что знали про этот город всегда и тосковали о нем. «Наро-Фоминск взяли! Наро-Фоминск!» После всего ужаса

> И вся площадь передавала друг другу: «Наши наступают! Взяли Наро-Фоминск!»
>
> И никто, слышите, никто на всей площади не переспросил:
>
> «А что это за город? Большой он или маленький?» Все поверили вдруг, что знали про этот город всегда и тосковали о нем.

отступлений последних месяцев и бесконечных «оставили, оставили» освобождались наши города. И огромное солнце сибирской зимы полыхало над площадью. Надеждой! Еще вилась огромная очередь за хлебом вдоль площади. Еще бежала несчастная Настя вдоль трамвайных путей, высоко задрав юбки, а за ее спиной без конца трезвонил трамвай. Все равно было счастье. Всем показалось, что это начало конца, что все, что теперь – ого! Хоть это было от силы – лишь *начало начала.* И все еще было впереди: Сталинград, блокада Ленинграда, и Курск, и Прохоровка, и Висла, и Одер, и все-все – вплоть до Зееманских высот и Берлина. Но никто не думал об этом тогда. Была победа!

И я, мальчишка десяти лет, без конца повторял про себя: Наро-Фоминск.

Недавно, вспоминая, я заглянул в Википедию и узнал, что Наро-Фоминск был не весь взят тогда – 11 – 12-го… Только до реки Нары. Что освобожден он был окончательно где-то 26 декабря армией легендарного генерала Ефремова. Который после, в окружении под Вязьмой со своей 33-й армией, отказался вылететь на присланном лично за ним самолете: «Я пришел сюда с этими солдатами и уйду только с ними!» – и вскоре погиб в бою.

Я в жизни так и не попал в Наро-Фоминск, хоть не раз был в Москве. И считаю это своим упущением. Но я хотел бы, чтоб жители этого города знали, что был момент, пусть краткий, когда, верно, не только в далекой Сибири их небольшой город – показался вдруг всем самым главным из городов России. Самым важным. Даже важнее Москвы!

О картошке

Я, наверное, имею право сказать, что всегда был голоден: с 41-го по 48-й. (Потом уж было не так.) Но в 46—47-м меня еще было опасно сажать за стол, когда приходили гости и выставлялись какие-нибудь нехитрые яства. Я мог повести себя неприлично. Я иногда просто «хватал со стола» – так это называлось. Уже в 20 лет и в 22, при росте в те времена приличном (мы были низкорослое поколение) – 168 см, я весил всего лишь 42 кг.

Осенью 42-го нас со школой отправили в колхоз помогать в уборке картофеля. Нам было по 11 лет. Мы работали весь день до позднего вечера – без еды, без питья… Никто не озаботился. Поздним вечером, уже в темноте, нам вынесли вареную картошку – по картофелине на каждого. Конечно, даже без соли… Правда, картофелина была прекрасная: большая и рассыпчатая. И я помню, как мы жадно ели, сгрудившись в каком-то мрачном помещении и сидя на полу.

Летом 42-го меня отправили в пионерский лагерь. «Отправили» – очень смешно, потому что лагерь был здесь же в городке, и вечером я приходил домой. Лагерь располагался на старом кладбище. Там было много деревьев, почти лес, и нам было довольно весело играть в этом лесу, не обращая внимания на прочие элементы антуража. У входа на кладбище, сбоку, был смонтирован большой деревянный стол, за ним нас чем-то кормили. У нас была томная дама – воспитательница, очень добрая старуха, «из бывших», как тогда называли. Когда мы

совершали какой-нибудь неэтичный поступок, она закатывала глаза и стыдила нас. Однажды девочка по фамилии Зицерман за неимением носового платка достала козу из носа и аккуратно отерла руку о краешек обеденного стола. Наша «классная дама», всплеснув руками, закричала почти в ужасе: «Зыцерман! Зыцерман!» Как сейчас помню этот голос и эти выкаченные глаза. Боже мой, то ли мы делали!

> Летом 42-го меня отправили в пионерский лагерь. «Отправили» – очень смешно, потому что лагерь был здесь же в городке, и вечером я приходил домой. Лагерь располагался на старом кладбище.

На этом кладбище, когда мы играли в войну, я случайно наткнулся в кустах между могил на больного мальчика, чуть старше меня. Он лежал там на подстилке и читал книгу. У него было что-то с ногами (врожденный вывих, как я узнал потом). – Он поднял голову и стал мне вполне внятно объяснять, почему мы неправильно обходим наших противников. Оказывается, он с интересом наблюдал за нашей игрой. Мы познакомились, и я обрел друга на всю жизнь – Игоря Лиоренцевича. (Он недавно ушел из жизни.) Он тоже тогда писал стихи, и это нас сблизило.

> Картошку сеяли по-особому.
>
> Не полностью, а только срезанными верхушками с глазками. Остальное шло сегодня в еду. Картошку я сеял, окучивал, выкапывал. И могу утверждать, если кому-то, не дай Бог, когда-то это понадобится: картофель, засеянный не клубнями, а только – верхушками, «глазка́ми» – дает не меньший урожай!

На лето 42-го и потом 43-го нашей семье выделили на выселках небольшой огород: в несколько грядок. Тут уж я был хозяином. Отец слишком много работал и слишком мало бывал с нами, и я его плохо помню на огороде. Мы засевали грядки морковью, свеклой и огурцами. Но основное, конечно, была картошка.

Картошку сеяли по-особому. Не полностью, а только срезанными верхушками, «глазками». Остальное шло сегодня в еду. Картошку я сеял, окучивал, выкапывал. И могу утверждать, если кому-то, не дай Бог, когда-то это понадобится: картофель, засеянный не клубнями, а только верхушками, «глазками» – дает не меньший урожай! Уверяю вас – совсем не меньший!

Я рассказывал, как отец после речи Сталина накупил всяких продуктов, усадил нас за стол и сказал: «Ешьте! Больше этого не

будет!»

На мой день рождения, ровно год спустя, мама привезла мне в подарок с рынка два осклизлых леденца…

О первой любви

«У меня не было первой любви, я сразу начал со второй…» – было у Жюля Ромена. Я расскажу о той первой, которой не было и о которой нигде никогда не говорил.

Как бы ни был противен мне дом Ванды и проходная комната, где стояла моя кровать, он все же имел свои достоинства. И одно из них – окно, выходившее во двор. Оно смотрело на соседний дом, в котором тоже было окно, глядевшее на нас. И за этим окном была девочка Галя. Она была из Москвы и чуть старше меня. И она была прекрасна.

Как мы познакомились, не помню, но остальное врезалось навечно, сделалось пристрастием и дальним светом. Потому никому и не рассказывал никогда. Два ребенка, брошенные в жерло кипящей истории, затерянные среди сводок Информбюро и похоронок в домах. Мы ходили в школу – иногда вместе. Она была классом старше. Два или три раза я имел счастье, мне было позволено – нести ее портфель из школы. Однажды мы переходили через трамвайные пути на той самой площади, и зазвенел трамвай: совсем близко, опасно, почти у нас под ухом. – Верно, мы заговорились. И я успел выпихнуть ее перед собой за линию, а сам достойно следом перескочить через рельсы. Однажды, может не заметив того, – мы шли с ней часть дороги из школы, взявшись за руки.

Дома ей жилось лучше, чем мне. Я жил на съеме, мне даже не всегда можно было торчать у окна. А она жила у родственников – то ли матери, то ли отца – и пользовалась, конечно, большей свободой. У нас было о чем поговорить: мы оба любили читать. Когда я раздобыл однотомник Лермонтова, а у нее тоже был такой, мы уселись с ней однажды, каждый за своим окном, и листали свой томик, ища одни и те же картинки, чтоб издали показать их другому – окно в окно. И очень радовались, когда в слабом вечернем свете узнавали ту или иную иллюстрацию. Это была какая-то утонченная игра. Почти объяснение в любви. Да это и было объяснение в любви. Хотя никто из нас не решился бы назвать это по имени.

Но нас разлучили в итоге. Я сказал, она жила с родственниками, среди них были кобылистые молодые девицы, размашистые – не только на язык. Они стали ее дразнить, за то,

что она дружит с нерусским мальчиком. Могло это пойти и из моего дома – от старой карги, матери Ванды: что трудного было сказать соседкам в ее обычном ведьминском стиле? А они подхватили. Все произошло быстро, Галя сперва сносила молча, хмурилась, потом призналась мне – не помню, в каких словах… А потом… Она сама выдала мне зло некую рацею, в духе того, что было слышано ею в доме по моему поводу. Я обиделся и ушел. Мы перестали встречаться. Верней, я старался с ней не видеться. Тогда она сама начала переживать. Раза два она поджидала меня на пути в школу. Хотела что-то сказать, помириться. Но я остался непреклонен.

Надо признаться, я много страдал и без того по той линии, какую задела она. Сибирь той поры не была краем торжества социалистического интернационализма. Меня часто поколачивали. На какое-то время это даже стало системой: меня встречали по дороге из школы и били. Тут было много причин. К примеру, я хорошо учился. А в нашем классе это было дурным тоном. К тому же считался надменным, ибо не участвовал откровенно в некоторых подвигах местных ребят. Ну и так далее… В общем, мне хватало обид и без Галиных слов. И тогда случилось нечто, почти невероятное… Я же сказал: она жила с родственниками – местными, и родственники были молодые и знали тут всех и кой-кого из местной шпаны. Наверное, она пожаловалась кому-то из старших. И тогда меня стали бить уже целенаправленно… (Хоть это было трогательно по-своему. Но это я понял потом, когда стал вообще что-то понимать.) По дороге из школы меня встречали группой ребята и спрашивали этак в лоб: «Будешь дружить с Галей П.?» «Нет, не буду», – отвечал я упрямо – и получал свою порцию. Впрочем, тогда били не так страшно, меня всего один раз били ногами, и то несильно. Вообще-то в ту пору бить ногами считалось неприлично. Когда я водил в садик сына более сорока лет назад, все уже было совсем иначе…

То, что взрослые разлучили так двух птенцов, ничего еще не смысливших в жизни и желавших только добра, было одной из примет страшного и беспощадного времени. Но, наверное, еще чем-то, всеобщим. Галя была красива какой-то необыкновенной красотой. С ней рядом даже я, мальчик вполне заурядной внешности, смотрелся как-то иначе, наверное. И оба мы вырывались своим видом и нашей дружбой из трудности и заурядности бытия. Это было красиво. «Красота спасет мир» – безусловно, но когда? Красоты люди чураются, как уродства, легче прощают преступление. Нас обязательно надо было разрушить. Жалел ли я о своей непреклонности? После да, жалел! Вспоминал ли ее? Да. Но поздней. В конце 43-го мы вообще

переехали в другой район. Я ее больше не видел.

Но можно считать, с того вечера, когда мы с Галей показывали друг другу картинки из окна в окно, начался Лермонтов в моей жизни. И поскольку Лермонтов продлился во всю мою жизнь, то и она в этой жизни была. Но это отдельный разговор.

А Галя… «На одной из улочек Дель-Кампо, // Если ты теперь еще жива, // Если бы неведомою силой…» – кружится в голове «испанская пластинка» Симонова. Нет никакой неведомой силы! Все равно… я никогда не поверю, что тебе сегодня столько же лет, сколько мне! (Даже больше чуть-чуть, ты ведь была чуть старше.)

Неправда! Это я имел право стариться! А ты – нет!..

Книги

Поначалу в войну, в эвакуации, я ужасно томился отсутствием книг. Меня спас случайно приятель по школе, которого после оторвали от меня, и по тем же причинам, между прочим, что Галю… Но поначалу он мне очень помог. У его папы было несколько подшивок журналов 20-х годов: «Всемирный следопыт», «Вокруг света». И там была великолепная научная фантастика и приключенческая литература. Достаточно высокого уровня и совершенно забытая. К ней надо бы обратиться и лучшее переиздать. Я говорил об этом с некоторыми издателями, но не получил отклика. Эти несколько подшивок сыграли большую роль в моей судьбе. Потому что привычка к чтению не пресеклась у меня, как это произошло со многими…

Однажды на пожаре какого-то дома, когда разлеталось что ни попадя, мне буквально под ноги ткнулась обгоревшая – без начала и конца (переплета не было) – толстенная книга. Это была то ли хрестоматия, то ли вузовский учебник, и там много оказалось стихов – из поэзии символистов. Через много лет мой друг, блистательный специалист по литературе того времени Леонид Константинович Долгополов, сказал мне, что это, верно, был учебник Михайловского. С этой книги я стал по-настоящему читать стихи. Неизвестно как – они выучивались у меня наизусть. И тут начался мой собственный «роман воспитания».

Меня потрясла тогда сказка Ф. Сологуба. (Цитирую по памяти, как запомнил тогда.)

> Шел человек и плюнул три раза. И ушел.
> И сказал один плевок: Он ушел.

И сказал другой плевок: Он ушел и нас оставил.
А третий сказал: Он только за тем и приходил, чтобы нас оставить!

В этой сказке было нечто болезненное, но и то, что мешало мне жить и чего я навидался в войну.

В 1942-м, в Сибири, ко мне привязалась «терциана»: малярия-трехдневка, неизвестно как добредшая со мной до этих мест. Я подхватил ее в единственную мою довоенную поездку с родителями на Кавказ. Теперь она ожила. Это, в сущности, – болезнь жарких стран. Малярийные комары («анофелесы» – может, есть еще другие?) не терпят холода. «Человек никогда не сможет привыкнуть к холоду!» – говорил Амундсен, великий полярный исследователь, проведший полжизни в Арктике. Так и малярийные комары не привыкают. В городе не было ни хинина, ни акрихина. Ими просто не запасались за ненадобностью. А я погибал – мне было 11 лет… Каждые несколько дней меня трясла лихорадка. Три дня. И каждые три были трудней предыдущих. Длилось это месяцы. И вот тогда моя тетка Мария, видный военный врач в блокадном Ленинграде, не знаю каким способом, добилась разрешения послать посылку в Сибирь. Опять же не знаю, как посылка дошла из осажденного города через целую страну. Но пришло все в целости и сохранности, только обертка чуть надорвана – три книги: двухтомник Лермонтова, 1941-го, под редакцией Б. Эйхенбаума, два первых тома: издание оборвала война (в 1940-м было издано полностью первое такое издание: готовились отмечать столетие со дня смерти); и еще лермонтовский однотомник со стихами и прозой, изданный Детгизом для старшего возраста: там был «Герой нашего времени».

(Вот этот однотомник мы и читали с Галей!)

Моя тетка Мария, видный военный врач в блокадном Ленинграде, не знаю каким способом, добилась разрешения послать посылку в Сибирь. Все три книги были проложены порошками с хинином.
Я стал выздоравливать.

Все три книги были проложены порошками с хинином. Я стал выздоравливать.

Я увлекся Лермонтовым, как можно увлечься только в детстве и в юности.

Много позже, слава Богу, я смогу написать о нем, в частности, как о первом нашем батальном писателе, с кого, собственно,

пойдет наша литература о войне – от прозы Толстого до «окопной прозы»

Отечественной войны. Мальчишкой я не думал в подобных категориях. Просто с Лермонтовым было легче жить в войну, осмысленней – я б сказал.

Где-то осенью 43-го пришла из Москвы первая в жизни рецензия на мои стихи. В «Пионерскую правду» я их отправил давно и, признаться, не ожидал ответа. Прошло полгода, я и писал уже несколько иначе. Предо мной, как перед взрослым, извинялись за задержку ответа («в редакции долго не было литконсультанта») и, естественно говорили о том, что какие-то стихи слишком публицистичны, плакатны. Например:

Полки к Днепру! По шляхам, по дорогам,
Где стонет люд под вражеской пятой…

Все правда! И плакатно. И публицистично… Я ведь попутно увлекался и Лермонтовым, и символистами. И сам кое-что понимал уже. Но я был мальчишка войны и ни о чем другом, кроме того, что наши идут к Днепру, думать не мог. По вечерам я расстилал карту и смотрел, где они примерно…

О Гале я еще не сумел бы написать тогда. Не знаю – умею ли сейчас?.. Пройдет лет десять, и я брошу писать стихи именно по этой самой причине – моей стеснительности перед всякой лирикой. Перед всем, что откровенно – *про себя* и *от себя.*

Хунхузы

Нигде не встречал в воспоминаниях ничего о судьбе в войну стройбатовцев, состоявших из жителей среднеазиатских республик. А судьба их была мрачной. В общем, трагической. Я не знаю, кому пришло в голову мобилизовать в строительные батальоны уже достаточно пожилых людей, направить их на военные стройки Сибири, не снабдив ровно ничем, даже обмундированием. Они ходили в своих южных халатах, с большим вырезом на груди в сорокаградусный мороз. Они все почти были седы. Они болели и умирали, а если точней – мерли как мухи. Они почти не знали русского языка. Им мало кто сочувствовал. А если кто выражал малейшее сочувствие, они жаловались и плакали. И смотреть на это спокойно было невозможно. Местные звали их хунхузами, чаще презрительно, хотя хунхузами в этих местах принято было звать только китайцев. Но… Наверное, не нашлось другой клички. Сколько раз

я слышал от них такое жалобное: «Дом далёкь! Узбьекистан!» И кивали по-восточному своими мудрыми, восточными – своими седыми головами. И слезы текли… Мальчишки-ремесленники в мороз срывали шапку с головы старого узбека, а он бегал за ними и молил отдать. А мороз был сибирский, настоящий. А как они произносили это свое «Узбьекистан»! Сколько тепла было в этом слове, сколько всечеловеческой муки!..

Шпана вела себя еще хуже, чем взрослые. А что взрослые?..

Отвлекусь от темы. Как-то в наш дом зашла женщина из местных, еще не старая, но мне она показалась пожилой. (Наверное, мать моя в очередной раз меняла какие-то вещи на продукты.)

Она сказала моей маме: «Вот у вас мальчик играет, – это было про меня, – а мой сын сбежал!»

– Как это – сбежал? – естественно спросила мама.

– Ваш мальчик слышал, наверное, – в прошлом году, на огородах – ремесленник зарезал ремесленника? Так тот, кто зарезал, был мой сын!

И зачем бежал? – Она подробно рассказала, что бы она сделала, если бы сын не бежал: и прокурора бы умаслила, и судью – выпустили бы на поруки. Потом на указательном пальце одну фалангу отмерила другим пальцем и с необыкновенной теплотой произнесла: – Всего такой кусочек ножичка сунул! И прямо в сердце!..

Я эту интонацию запомнил на всю жизнь. И сам мотив – не только оправдания, но почти нежности матери к преступлению, совершенному сыном, – стал потом одним из главных в первой моей пьесе: «Десять минут и вся жизнь» – о судьбе летного экипажа, сбросившего атомную бомбу.

Я иду по улице, навстречу катит телега. Какая-то кладь покрыта рогожей. Возница сидит на передке, лениво помахивая кнутом. Я огибаю телегу сзади и там, где рогожа чуть отвернулась, вижу ноги. Ступни торчат. Спрашиваю возницу:

– А что это? – Мне 12 лет, и я испугался.

– Та… хунхузов везу! – ответил возница и ретивей огрел коня.

Телега удаляется. Рогожа еще чуть приподнялась, несколько больших, черных, загорелых ступней смотрят на меня. Вот все!

В воспоминаниях декабриста Ивана Якушкина рассказывается о первых заседаниях первого революционного тайного общества в России, еще Союза спасения – в 1816 году. Армия только что вернулась из Французского похода. Участники обсуждают, против чего, собственно, они собираются бороться. Там и крепостное право крестьян, и положение солдат в армии при рекрутском наборе и 25-летнем сроке службы… А последним пунктом было:

«Полное неуважение к человеку вообще».

Госпиталь

Нас, школьников, часто водили в госпиталя к раненым. Мы выступали перед ними. Считалось, что раненым солдатам легче, когда они видят детей. Возможно, так оно и было. «Пришли наши помощники!» – говорили врачи. Во всяком случае, пребывание в госпиталях осталось для меня одним из главных волнующих переживаний. Дети читали стихи или пели песни. Танцевать было негде – уж больно узкое пространство.

> Я читал этим людям, прошедшим сквозь ад, Лермонтова: «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще «Бородино», они слушали и, казалось (или мне теперь кажется), невольно сравнивали про себя это, написанное пером, со своим собственным несравненным опытом. Наверное, мы им казались наивными.

Но теперь не помню, может, кто из девочек и танцевал. Палаты четко делились на *солдатские* и *офицерские.* То есть с 43-го уже точно не говорили «командирские палаты». Армия менялась. Слово «офицер» перестало быть словом «белогвардейским». В офицерских палатах было меньше скученности и воздух свежей.

Но мы, не только я, в общем-то любили выступать в солдатских. Там мы вроде были больше нужны слушателям и отношение к нам было более внимательным. Я читал этим людям, прошедшим сквозь ад, Лермонтова: «Бой с барсом» из «Мцыри» и еще «Бородино», они слушали и, казалось (или мне теперь кажется), невольно сравнивали про себя это, написанное пером, со своим собственным несравненным опытом. Наверное, мы им казались наивными. Иногда посреди выступления кто-то просил судно или кому-то делали укол. Это ничему не мешало и ничего не прерывало. Пел какой-нибудь мальчик простую детскую песенку, а они слушали молча. Они ведь и бились за то, чтоб эта песня звучала.

В госпитале нам было хорошо. Мы многого не понимали, конечно, – в том числе физических мучений этих людей. Но здесь была надежда. В отличие от улицы, где приставала шпана, где стыли очереди за хлебом… где мешались мелочи жизни, и люди косились друг на друга или могли раздражаться друг на друга… В госпитале была общность: Народ и Страна. То, что после безошибочно назвала по имени Ахматова: *«Я была тогда с моим*

народом, // Там, где мой народ, к несчастью, был…»

Именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть – не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас – в родительном падеже! Мы все кричали «Ура!» и долго не переставали кричать. Наверное, об этом сейчас имеет смысл вспомнить!

Именно там, в госпитале, во время одного такого концерта перед праздником, я услышал весть – не весть, а крик, «победы торжество». Влетел кто-то с улицы: «Товарищи! Город Киева взяли!» Так и слышу сейчас – в родительном падеже! Мы все кричали «Ура!» и долго не переставали кричать.

А тогда мне виделся невольно пустой осенний вокзал на Урале. Станция Камышлов. И как мы услышали об оставлении Киева, «после упорных и ожесточенных боев…». Наше полное и беспросветное одиночество в ту минуту. Месяца через два или три все показывали на невысокого франтоватого лейтенанта с одной рукой, только что выписанного из госпиталя. Он получил Звезду Героя за то, что при наступлении, раненый, со знаменем переплыл Днепр. За ним бегали решительно все местные девушки.

В городке много солдат и офицеров долечивались после госпиталя. И я тогда уже заметил, что у девушек пользуются большим успехом ребята, которым не нужно уже возвращаться на фронт. Если у них и недоставало – руки, даже ноги… «Что тут удивительного? Каждый дом – это, прежде всего, надежда!» – будет сказано много после в моей пьесе «Десять минут и вся жизнь»…

Наша немка

«Она была прекрасна как мечта…» – строка лермонтовская. Но могла появиться и у Гейне. Лермонтов любил Гейне – понимал, переводил. В строке есть что-то от немецкой лирики.

Та, о ком я пытаюсь рассказать, внешне напоминала собой героиню знаменитого фильма «Девушка моей мечты», в конце сороковых потрясавшего своим легкомыслием наши отвыкшие от легкомыслия сердца – что подростков, что старших. Это был один из первых фильмов, пришедших к нам после войны. Только… эта Марика (назовем ее Луиза, отчества не помню) была, пожалуй, еще красивей главной героини. Умнее, добрей. Но все равно – ни

дать ни взять – немецкая юнгфрау, точь-в-точь образец того, что гитлеровцы считали в женщине признаками истинно арийской расы: блондинка с золотистыми и то ли серыми, то ли голубыми глазами, с розоватым цветом щек, с необыкновенной фигурой, как теперь понимаю. Она была немка по национальности и выслана откуда-то из Центральной России. У нас в школе она преподавала немецкий язык. Она одевалась очень просто, но была необыкновенно изящна, даже в самой простой одежде. Она была хорошей учительницей – не раздражалась, была ласковой. Искренне расстраивалась, если мы чего-то не знали. А случалось это часто, ибо, как я уже говорил, не учиться в школе считалось хорошим тоном.

Она ненавидела фашизм и очень страдала от того, что делали немцы на оккупированных территориях. Тогда как раз шла пора освобождения наших городов и сел, и отовсюду приходили мрачные известия. Печать и радио кричали о зверствах немцев, и кричали справедливо. Мы часто видели ее заплаканной. Она дружила с моей мамой, а мама дружила с ней и сочувствовала ей. Мама узнала как раз тогда, что в Мариуполе погиб целый клан ее близких родственников: родной дядя с дочерьми, с невестками, с внуками, – и помню, они, обнявшись, плакали вместе.

Луиза все повторяла: «Как же так? Как же так?» – и говорила о том, что думала, будто знает свой народ, а оказалось, не знает!

> Это потом про Бабий Яр старались не говорить, но в войну все было не так. Вообще, в войну все было не так, как после войны.

Когда был освобожден Киев и туда выехала комиссия по расследованию (ее возглавлял, кажется, Алексей Толстой), впервые появились сведения о Бабьем Яре. Это потом про Бабий Яр старались не говорить, но в войну все было не так. Вообще, в войну все было не так, как после войны.

Луиза говорила моей маме:

– Поверьте, Белла Осиповна! Когда я вернусь домой… Я пойду в библиотеку, я погружусь в книги! Я хочу понять – откуда это взялось и как это могло произойти?! Как это случилось с моим народом?..

Она задавала вопросы, на которые нет ответа по сей день. И не только в немецкой истории.

Маме было тогда около сорока, Луизе – 23, от силы 24. «С глазами, полными лазурного огня, // С улыбкой розовой, как молодого дня // За рощей первое сиянье». (Опять Лермонтов.) Она была, верно, девушкой, как теперь можно понять – такой несовременный вариант, и была по-девичьи наивна. Помню, как

на нее глазели мужчины – даже наши суровые преподаватели мужского пола – редкие тогда. Но ухажеров у ней не было. Она была немка. Такие дела…

Двое из Сталинграда

О великой Сталинградской битве много говорили тогда, ее эпизоды без конца пересказывались. В госпитале я заливисто декламировал раненым бойкие строфы Маршака о сдаче армии Паулюса:

Лежат, уложенные в штабель,
Напоминая о былом,
Десятки генеральских сабель
С одним фельдмаршальским жезлом.

Они были напечатаны, кажется, в «Правде»…

Как-то вечером, придя поздно с работы, отец вдруг усадил нас с мамой и стал читать какой-то текст. Из газеты или журнала. О том, как в Сталинграде баржи с беженцами переправлялись через Волгу, а немцы бомбили. И когда баржу подорвали, одна мать сказала сыну семи лет:

– Ты прыгай, я попробую спасти ее! (Он был старше сестры.)

– Мама, можно я поцелую тебя? – сказал мальчик и прыгнул.

Плавать он, конечно, не умел. А потом муж не мог простить жене, что она не спасла сына. Вот все.

Зачем отец нам прочел это – не знаю. Он не был по приоде сентиментальным, но сам ужас нечеловеческого выбора, перед которым может быть поставлен человек, просто его потряс. Он повторил дважды, как мысли вслух: «Она сочла, что девочка беззащитней. Но они оба были беззащитны!» Сестре было пять лет. Может, невольно примерял к себе: он ведь тоже был отец двоих детей, и он думал о нас. Или заранее извинялся за выбор, который мог сделать.

Но мой рассказ о другом…

В начале зимы 1944-го, в жестокий мороз, в метельный вечер, к нам в дверь постучали. Мы жили тогда уже не в доме Ванды, а вшестером в сравнительно большой комнате в каменном доме, четырехэтажном. Отец получил на строительстве это жилье.

Я открыл. На пороге стоял высокий мужчина с ребенком на руках: мальчик прислонился к его плечу. Ребенок был весь засыпан снегом – ну точно как мой двоюродный братишка в Камышлове осенью 41-го. Только был постарше, этому было года

три примерно. Мама пригласила их войти и раздеться, стала готовить чай. Конечно, тот фруктовый, который тогда пили. Мужчина раздел и разул мальчика, тот присел на краешек старого дивана и почти мгновенно заснул.

С этой семьей мы были знакомы немного. Но историю этой семьи кто только в городе не слышал! Отец был инженер, только много моложе моего. Ему было лет 26–27… Почему он был не в армии, сказать не могу – по болезни или имел «бронь»… Они были из Сталинграда. Приехали втроем года два назад: муж, жена и малыш. Ему было тогда около полугода. Жена была очень красивая женщина того типа, который принято называть «роскошной женщиной». Может, она и была таковой. Только немного полновата, как мне казалось даже тогда – и теперь кажется. (Ее тоже многие знали как хирурга местной поликлиники. Когда у меня начался фурункулез – она меня дважды оперировала.) По приезде они втроем получили комнатку в небольшой квартире, где за стенкой, в другой комнате, поселился начальник всего строительства. Человек лет сорока с бритым черепом и комиссарского виду, как и полагалось начальнику. Я его тоже видел не раз. Так вот, чуть не через месяц после приезда жена переселилась из одной комнаты в другую – в той же квартире. Бросив не только мужа, но и ребенка. С тех пор отец воспитывал ребенка сам. Как ему это удавалось или кто помогал ему – бог весть! Он ведь работал, как тогда работали все мужчины, кто не в армии: то есть *беспощадно.* Так прошли два года. Мы не были особенно близки, но почему-то он зашел проститься именно к нам (отца дома не было). Он сказал, что они уезжают с сыном и идут на трамвай. Кажется, он просил маму передать кому-то письмо…

– Куда же вы едете? – спросила мама.

– В Сталинград!

– Но там же, говорят, все разрушено!

– Ничего, как-нибудь! – Он улыбнулся мягко.

В его лице, в общем-то достаточно видного мужчины, был один недостаток: оно было слишком мягким. Отчего, наверно, некоторым женщинам могло казаться беспомощным. Мужчины с такими лицами, как правило, не пользуются успехом.

Мама стала уговаривать, чтоб они остались – хотя бы до утра:

– Я вам постелю. Я возьму у соседей матрас…

– Нет-нет! – Он поблагодарил.

– Ну куда ж вы! В такую метель!

– А нас здесь никто не ждет! – сказал он с той же мягкой улыбкой, добавив к тому, что хочет попасть на поезд.

Они и ушли в свое «никто не ждет». А мы еще долго говорили

о них. И мама все волновалась, как они будут добираться. И, по обычной своей привычке искать что-то утешительное в самых ненадежных обстоятельствах, сказала мне:

– Видишь, война все-таки идет к концу. Люди возвращаются в Сталинград!

А через месяц-полтора после их отъезда случилось несчастье, которое тоже мгновенно было разнесено по всему городу. Погиб начальник строительства. Тот самый. Он шел, задумавшись, через подъездные пути, и на него наехала сбившаяся с тормозов платформа.

И к его жене-хирургу прибежали бабы:

– Беги! Там твоего убило!

Вот и все вроде. Мы ничего больше не слышали о ней.

Мужа с сыном мы тоже потеряли из виду. В войну связи быстро устанавливаются, но так же быстро разрушаются. Например, маме не пришло бы в голову сказать: «Вы хоть напишите по приезде!» Но я их часто вспоминал: отца и сына, хотел, чтоб они уцелели в этом дальнем городе. А ставши взрослым и вспоминая их, размышлял о том, когда же люди начнут ценить доброту… Мечтал, чтоб мальчик выжил… дети тогда часто умирали. Если все было в порядке, мальчику теперь должно быть около семидесяти.

Возвращение

Мы возвращаемся домой, в Ленинград. Все получилось неожиданно, но такие вещи всегда происходят неожиданно. Тетка Мария, та самая, военный врач, прислала нам вызовы почти вскоре после окончательного снятия блокады. (Тогда в город можно было попасть только по спецвызову, подписанному Попковым, председателем горисполкома.) Она провела в городе всю блокаду и, верно, соскучилась по своим. Во всяком случае, в письмах она настаивала, что пора. Так вышло, что, когда мы собрались ехать, начальник моего отца, известный инженер, получил назначение в Ленинград, резко повышавшее его статус, и ему предоставили вагон-теплушку для переезда его большой семьи. Он этот вагон кое-как оборудовал полатями в несколько ярусов и даже туалетом и взял также нас: мать, сестру, мамину младшую сестру с мальчиком, и меня, и еще одну свою приятельницу. Отец оставался достраивать свой объект…

Тогда в Ленинград можно было попасть только по спецвызову, подписанному Попковым, председателем

горисполкома. Мы выехали в начале мая и ехали больше месяца.

Мы выехали в начале мая и ехали больше месяца. Весна выдалась ранняя и бурная – даже в Сибири. А когда мы вступили в пределы средней полосы России, было просто лето.

Дорога *туда* была такой же, в принципе, как дорога *оттуда:* столь же часто встречались поезда-госпиталя с ранеными бойцами… Возможно, их и стало больше: армия теперь наступала, а в наступлении всегда больше потерь. Так же ехали на фронт и стояли в открытых теплушках завтрашние бойцы. Столь же много было неустроенных людей, ищущих что-то, кого-то, просто кипяток на станции. Только общее настроение было, конечно, другим. То же «великое кочевье» – только на него падал иной свет. Было больше надежды в людях, больше шумного и на повышенных тонах обмена военными новостями. Но все же что-то изменилось и к худшему: нельзя было не заметить – наверное, в людях проявилась усталость, а может, что-то еще, что после скажется…

> В войну многие женщины спали с лица, стали выглядеть усталыми, замотанными, старше своих лет, иногда – много старше. Это было естественно. Но родилось, порой почти непонятное, неприятие красоты. Иногда просто ненависть. Красота винилась во всех грехах, и красивая женщина сразу подозревалась в порче.

Чуть не на всех длинных стоянках можно было набрести на какой-нибудь конфликт. Выяснялись отношения:

– Я-то был на фронте. А ты где?

– Мой муж воевал! А твой что? Оборонял Ташкент?..

Вся страна давала убежище эвакуированным, и Узбекистан был на одном из первых мест в этом смысле. («Дом далёкь! Узбьекистан!») А сыны его также сражались на всех фронтах и умирали рядом со всеми. Но почему-то именно слово «Ташкент» стало ругательным. На годы. Женщины постоянно шпыняли друг друга, стараясь уколоть по линии женской чести и поведения во время войны:

– Я мужа ждала, а ты кто? Сучка офицерская!..

С женщинами было особенно трудно: кто только не брался обсуждать их судьбу, их поведение, их любовь… Но они сами, надо отдать должное, тоже старались.

В войну многие женщины спали с лица, стали выглядеть усталыми, замотанными, старше своих лет, иногда – много старше. Это было естественно. Но родилось, порой почти

непонятное, неприятие красоты. Иногда просто ненависть. Красота винилась во всех грехах, и красивая женщина сразу подозревалась в порче (об этом, кстати, было у Симонова: «Если родилась красивой…»). Воистину нет объяснения человеку – пристрастиям и отторжениям его! Господь ему судья! Мне было уже почти 13, я многое чувствовал и не мог не сравнивать невольно эту злобу и жесткость, даже жестокость – с той готовностью помочь друг другу, с тем взаимным теплом и заботой, что так часто проявлялись на дорогах в тяжкие дни отступлений 41-го…

Ехали мы долго, я сказал, – но настал день, когда на каком-то разъезде или у разрушенной станции на остановке вошли пограничники в фуражках с зеленым околышем: «Ваши документы!» И после проверки: «Можете ехать!»

Вскоре поезд тяжело и грузно взошел на мост и словно повис над ним. Внизу была Нева в верховье… Мост был военный, построен военными строителями. Он был одноколейный, очень высокий и очень узкий. И вообще без перил. И поезд медленно-медленно полз по нему. Так что примерно на полчаса или сорок минут мы будто зависли над бездною. Мы вползали в город, как вползают в сон…

Я многое чувствовал и не мог не сравнивать невольно эту злобу и жесткость, даже жестокость – с той готовностью помочь друг другу, с тем взаимным теплом и заботой, что так часто проявлялись на дорогах в тяжкие дни отступлений 41-го…

Мы с мамой и сестрой покинули наш вагон где-то около двенадцати дня 4 июня 1944 года на станции Обухово, рядом с кладбищем Памяти жертв Девятого января – где теперь покоятся мама и ее сестры. Часть нашего «экипажа» осталась в вагоне – кстати, младшая тетка с сынишкой, – и вагон еще маневрировал дня три, покуда мы смогли забрать их и взять вещи. А мы двинулись в город. Зрелище поначалу было страшным. Сплошные пустыри и воткнутые в землю таблички с названиями улиц. 1-я улица Александровской фермы, 2-я улица Александровской фермы…

И ни одного дома! Кое-где на пустырях были огороды. Можно было подумать, что весь город таков. (Наверное, это были улицы сплошь деревянных домов, и в войну их просто спалили.) Лишь минут через сорок начали попадаться отдельные жилые дома. Тоже частью разрушенные. Где-то часа через три или четыре пешего хода мы вышли на Советский проспект (ныне Суворовский) в районе Второй Советской. Город, конечно, был

сильно разбит, но это был город. Много развалин – но много и целых домов. Некоторые окна были распахнуты настежь – июнь. От кого-то мы узнали, что в этот день в городе впервые пустили троллейбус по одной линии. Но мы его еще не видели. На большей части окон вместо стекол были фанерные щиты. А стекол, оклеенных бумагой по диагоналям, как показывают в кино, оставалось совсем мало. Наверное, это оказалось ненадежно. Мы вошли во двор на 4-й Советской, где жила тетя Мария, поднялись на 4-й этаж. И так как ее, естественно, дома еще не было – время рабочее, – мы стали ждать, притулившись к подоконнику одним маршем ниже. Удивительно, за два часа или более нашего ожидания никто не вышел из парадной, никто не вошел, никто не появился даже на лестнице: народу в городе еще было не так много. Наконец, раздался стук двери внизу, и кто-то стал медленно, совсем медленно подниматься. Шаги были тяжелые. В просвете между перилами я увидел седую голову, кажется женскую. Я отвернулся: не она! Я говорил уже, что тетка в семье считалась красавицей, да она такой и была: пепельные волосы, огромные серые глаза, пышная фигура, что славилось в те времена. Меж тем человек поднялся по лестнице и остановился перед нами: это была худощавая седая старуха. И это была моя тетя Мария, Мура, как ее звали в семье. Она провела в городе вместе с мужем все 900 дней блокады. Нет, после она поправилась, стала снова статной. Только осталась совсем седой. В отличие от других, она никогда не красилась. Возможно, от гордыни… Она, по-моему, до конца дней не привыкла к тому, что ее красота прошла.

Через день я побежал туда, куда мечтал попасть все эти годы. Дворец пионеров на Фонтанке. Я вошел в здание с колоннами, то самое, меня никто не спросил, кто я и куда, да, кажется, и спрашивать было некому. Я вошел в коридор на втором этаже – совершенно пустой. Передо мной были только двери, двери и таблички с разными надписями. Здание выглядело пустым, но было ощущение, что пустота кажущаяся… Где-то какой-то гуд – не голоса, гудение… Я толкнул дверь с табличкой, на которой было написано: «Студия художественного слова», и оказался в комнате, полной ребят.

– Ты кто? Хочешь заниматься с нами? – спросила меня грациозная, подтянутая и седая женщина за столом.

– Хочу! – сказал я.

Седая и черноглазая на цыганский манер женщина оказалась профессором Марией Васильевной Кастальской. Ученицей Станиславского. Ия ей многим обязан – при всех своих расхождениях с системой Станиславского. Она меня, в частности,

подвигла к тому, чтоб я умел читать вслух пьесы. Это мне очень помогло в жизни как драматургу. В ее чуточку нарочитом, слишком горячем, слишком заинтересованном взгляде на ученика, когда она слушала, как он читает текст, было что-то от всех портретов Станиславского. Но она однажды сказала нам об актрисе, игравшей трагическую роль:

– Не нужно кричать, не нужно руки заламывать. Достаточно просто расстегнуть воротничок… – И это была школа!

В тот первый день, толкая дверь за дверью и входя без спросу в аудитории, я записался разом в пять кружков. В том числе в литературно-творческий. Последним был шахматный. Преподавателя я так и не увидел, меня окружили ребята примерно моего возраста.

– Ты играешь в шахматы? – спросили меня.

– Ну да, – сказал я, – только плохо!

– Сейчас мы дадим тебе мальчика! Он будет тебя готовить! – и позвали кого-то.

Я попытался неуклюже возразить, что мне нужен учитель, а не мальчик.

– Не бойся! Этот мальчик уже сыграл вничью с гроссмейстером Левенфишем. И чуть не выиграл у такого-то… (назвали известную шахматную фамилию). Но… там сложилась, понимаешь, такая ситуация на доске… – и начали длинно и заинтересованно объяснять.

Тут мне вмиг стало хорошо, совсем хорошо. Как не бывает. Комфортно. Мне больше ничего не было нужно. Ко мне подвели того самого мальчика… Он был моего возраста. Ну старше – на полгода, не больше. Он протянул мне руку:

– Витя Корчной!

Я так и не научился играть толком в шахматы. Научился, но чему-то другому – какая разница?

А он стал одним из крупнейших шахматистов этого века. «Гроссмейстер Корчной». Шахматы – ведь не просто игра, но борение духа. Мы года два дружили, а потом как-то разминулись с ним. Не разошлись, а именно разминулись. Но я всегда следил издали за его успехами и неудачами. И болел за его непростую шахматную судьбу.

С кружком литературно-творческим мне, однако, не повезло. Меня выгнали вскоре. Во-первых, я был самый младший в кружке, все прочие кружковцы были старше года на три. А в отрочестве это значит много. Я был рядом с юношами или почти юношами, а мне было только 13, и меня не принимали всерьез. Мои сотоварищи кое-что уже понимали о себе. Но я тоже, как всякий пишущий, что-то о себе понимал. Ко мне относились без особого

интереса, а мне было просто скучно. К тому же я был смешлив от природы. Тут наш руководитель, писатель Сергей Исаакович Хмельницкий, задумал провести вечер кружка, позвать критиков. И к вечеру написал стихотворное вступление, очень высокопарное – длинное и вовсе бесталанное. И поручил мне как участнику другого кружка – художественного слова (о чем все знали) – его на вечере прочесть. Хотя не выпустил меня (единственного) читать собственные стихи. И когда я стал читать на репетиции этот текст, меня стал разбирать смех. Ей-богу, он был справедливым! И каждый раз, когда я принимался читать, я начинал хохотать. Нестерпимо. Со мной бывает такое – и спустя 70 лет бывает. Меня выгнали в итоге. Наш учитель был типичный советский писатель и хотел на вечере показать кружок с лучшей, чисто советской, стороны. Что уж тут поделать! Кроме того, время было такое, что это требовалось показывать. Но я в 13 лет этого не понимал.

Пройдет четыре года, и в 48-м я окажусь одним из четырех школьников, кого направят на Всероссийский съезд поэтов, который проходил в Ленинграде: Игорь Масленников – ныне кинорежиссер, Владимир Британишский, Лев Куклин и я. Но это произойдет благодаря уже другому учителю молодых: Глебу Сергеевичу Семенову. Он будет мэтром и началом начал для пишущих всего нашего поколения в Ленинграде.

А Дворец пионеров станет на целый год моей alma mater. Целый год я буду жить только им и тем, что происходит в нем. И это будет последний год войны. Потом мой отец решит, что мои школьные дела слишком опасно накренились, и заберет меня оттуда. И я буду только временами появляться во Дворце в разных студиях и отвыкну от него. Начало было слишком прекрасным, чтоб оказаться долгим.

Вообще, Дворец пионеров был одним из немногих удавшихся экспериментов большевиков. Может, самым ярким и самым удавшимся. Фасадом их идей в той части, где эти идеи действительно существовали, и до той поры, покуда они сами не обрушили с треском – эти идеи. Не знаю, описан ли где-нибудь как следует подвиг Ленинградского дворца пионеров – его сотрудников, воспитателей, учителей во время войны? Писали об этом или уже перестали писать, но Дворец фактически работал в Ленинграде с кратким перерывом всю блокаду и был, естественно, одним из главных центров Сопротивления города. Одна лишь танцевальная группа А. Обранта чего стоила! Она выступала в войну в частях, оборонявших Ленинград, и на кораблях Балтийского флота. Дворец задуман был, кажется, еще Кировым, открыт в середине 30-х, и во главе его были люди,

которые знали, к чему они стремятся. Директором был замечательный педагог Натан Михайлович Штейнварг, его, конечно, сняли в 49-м, как говорил Райкин, «в рентгене у него было что-то не то».

Как-то, много лет спустя, уже совсем взрослым, на улице я встретил Марию Львовну, завуча Художественного отдела дворца. Мы поздоровались, она узнала меня. Я назвал свою фамилию и услышал в ответ:

– Извините! Фамилию не помню, а мальчика помню!..

Осенью 44-го, в сырость, в холод, когда фонари на улицах светили бог знает как тускло, я вошел в сильно пострадавшее от бомбежки здание Дворца Белосельских-Белозерских, где в некоторых уцелевших комнатах ютились учреждения, в том числе райком комсомола, – и попросил принять меня в комсомол.

Может, это звучит сегодня несовременно. Может быть. Но как сказал Мандельштам в Воронеже: «Ни от кого не отрекаюсь – ни от живых, ни от мертвых!»

А свой двор я застал совсем пустым. Нет, через какое-то время воротились несколько ребят из эвакуации. Но это – были ребята *моего поколения.* Из старших не вернулся почти никто. Помните две команды? И волейбольная сетка исчезла. Через год после войны или поздней появился Вова Р., очень высокий интеллигентный парень. Он воевал и уцелел. Родители его умерли здесь. И очень долго он оставался единственным, кто вернулся с фронта. Кажется, это угнетало и его самого. Ему было тяжело. Он шел через двор, словно жался к стенке… Словно стесняясь самого себя. Он-то знал, что из многих окон невольно, за занавеской, глядят ему вслед и вспоминают своих. Особенно это стало заметно, когда он женился на девушке, которая ждала его всю войну. Она была, наоборот, – маленькая, пухлая и очень скромная. Она была похожа на него. Они проходили через двор – всегда молча, это трудно понять: словно крадучись. Будто она тоже стеснялась собственного счастья.

Через какое-то время воротились несколько ребят из эвакуации. Но это – были ребята моего поколения. Из старших не вернулся почти никто.

Еще поздней вернулся Миша Р. с нашей лестницы – квартира напротив. За его отцом дважды приходили в 37-м году (он был в 20-х нэпманом). Миша был человек совсем другого типа: шумный, летчик. Он рассказывал, что служил вместе с сыном Сталина – Василием. Тоже летчиком. И наперекор всяким слухам отзывался о нем с симпатией.

Ребятам нашего двора из старшего поколения я посвятил через четверть века диптих одноактных пьес «Поколение 41». («Мальчик у телефона» и «Миф о десанте»). Это было уже в 1968-м. Пьесу в Ленинградском ТЮЗе, в которую входили эти новеллы, быстро сняли с постановки: «Мальчик у телефона» был про 37-й год. А танки в августе 68-го уже вошли в Чехословакию. Пьеса «Миф о десанте» была о судьбе десанта из молодых моряков-добровольцев Кронштадтской базы, который высажен был в порядке отвлекающего удара в Петергофе в октябре 41-го и погиб. В пьесе в раковине замершего фонтана, в котором отключена вода, под безрукой статуей Венеры умирают от жажды мальчишки, не знавшие любви. «У меня любви не было. Ребята рассказывали. Интересно». И последний танец Венеры с уходящим на смерть десантом. Фавн играет на свирели «Синий платочек»…

С «Десантом» оказалось не легче. Его поставили отдельно в Мурманске, в Театре Северного флота, в паре с инсценировкой рассказа «Соль» Бабеля. И о спектакле был целый подвал в «Комсомольской правде»: «Как можно писать о героике Отечественной войны в *обветшалых мифологических образах*?» – и советовали Мурманскому Обкому заняться своим театром. Впрочем, тогда же и почти такое же письмо я получил от известного в тот момент драматурга, считавшегося «прогрессивным», которому по глупости подарил распечатку пьесы. Только он к Обкому не обращался. Все остальное было то же самое. Но «Десант» был уже снят театром с постановки ранее появления статьи вместе с другой моей пьесой «Матросы без моря» – о матросах революции. (Эта пьеса потом была запрещена 20 лет.) На заседании политуправления в театре нам с режиссером Мишей Царевым крепко досталось. Управленцы старались, как могли: «Что это у нас за драматургия пошла? Какие-то сны, какие-то фавны?» Ругая нас, они вдруг начинали поносить Хрущева – давно снятого к тому времени. Больше всех старался, как сейчас помню, такой полковник Колкер – возможно, пытался оправдать фамилию. Не слишком удобную в то время.

Один из наших ярых критиков бросил нам в лицо, чуть не задохнувшись собственной смелостью: «Вы думаете, нам обязательно нужна *идейная* пьеса? Вовсе нет! Пусть будет безыдейная – просто развлекательная. Матрос поразвлечется и отправится выполнять свой долг. Но если идея… она должна быть железобетонная!» – и с силой сжал руку в увесистый кулак.

Пьеса «Матросы без моря» была впервые поставлена уже только в «перестройку». На сцене другого «морского» театра – Черноморского флота.

«Десант» писался мною в Москве, в снятой комнате, в очень тяжелую для меня пору, и, если честно – просто голодную. Но все равно… когда рука вписала сама собой (такие вещи рука вписывает сама, это точно!): «Фавн заиграл на свирели „Синий платочек“» и еще последний диалог: «„Удержи меня на этой земле, любовь!“ – „Не могу! У меня нет рук!“» – вся моя, не слишком простая, а в чем-то нескладная литературная судьба показалась мне неслучайной и ненапрасной.

«Десант» ставили с тех пор не один раз. В 2005-м молодые ребята, которые хотели создать новый музыкальный театр в Петербурге, заказали мюзикл композитору М. Аптекману. Его поставили в День Победы в Театре эстрады. И я снова был среди своих зрителей двух возрастов: совсем юных и совсем седых. И среди ребят нашего двора из двух волейбольных команд…

«Настоящий конец большой войны»

Курить я начал в тринадцать. Когда меня спрашивали, почему так рано, я рассказывал иногда про нашу экскурсию в зоопарк с одним из кружков Дворца пионеров – где-то в начале осени 1944-го. Мы смотрели на зверей, обошли все самое интересное, а потом нам сказали, что нас побалуют. И повели к ларьку. Это был один из первых ларьков газированной воды в городе. Только газу пока не было… И нас угостили простой водой, подкрашенной сладким сиропом. И тот, кто не знает, как вкусно пить простую воду со сладким сиропом и даже без газу, – может посмеяться над нами.

> Папиросы продавались на каждом шагу. Ими торговали инвалиды. Они сидели на корточках или просто на земле у всех магазинов, где продавалось курево. Обычным людям, военным в том числе, курево отпускалось по коммерческой цене, а инвалидам – по государственной, куда более низкой. Были среди нас такие – кто не закурил? Были, конечно. Но их немного.

Зато папиросы продавались на каждом шагу. Ими торговали инвалиды. Они сидели на корточках или просто на земле у всех магазинов, где продавалось курево. Секрет был в том, что обычным людям, военным в том числе, это курево отпускалось по коммерческой цене, а инвалидам – по государственной, куда более низкой. И они могли торговать этими папиросами. Сигарет тогда не было. Боюсь, мы вообще не знали, что это такое. Папиросы продавались не пачками – а россыпью. И россыпи эти

лежали в грязных кепках инвалидов. И это было единственное, что могло манить нас тогда.

Были среди нас такие, кто не закурил? Были, конечно. Но их немного.

По Невскому еще шли трамваи. Вообще-то они еще долго ходили. На Аничковом мосту трамвай замедлял ход… Тут мы вскакивали на него большой компанией. К улице Маяковского, у кинотеатра «Художественный», трамвай разгонялся. Тут мы и соскакивали с него один за другим, презирая клаксоны машин, которым иногда мы прыгали почти под колеса. Только движение, разумеется, было небольшим, не то что в 60-х, уж не говоря – сейчас. Как никто из нас не сломал себе голову тогда – не знаю, обошлось. Оказавшись на тротуаре, мы торжественно закуривали. Однажды меня на этом поймал мой дядя – муж тети Муры. «Молодец, Борис! Молодец» – сказал он с издевкой. Мне крепко досталось. Но все равно курил я долго потом, больше сорока лет.

И инвалиды войны у магазинов с россыпью папирос в кепках остались в нашей памяти навсегда. Инвалидов было много. Они шныряли в толпе, ловко маневрируя своими скромными дорожными средствами – маленькими и плоскими тележками на колесиках. Очень часто на этой тележке помещался только торс фактически до паховых впадин – остальной части тела не было. Иногда это средство управлялось всего одной рукой. И как блестяще управлялось этой единственной рукой, с каким шиком! Помню совсем молодого матросика в бескозырке. Его можно было всегда почти встретить на углу Пролеткультовской – теперь Малая Садовая. У него были огромные голубые глаза и лицо Сергея Есенина, невероятно похож… бескозырка была заломлена лихо и с вызовом. Потом, через год где-то, я увидел его там же с лицом опухшим, испитым, словно одеревеневшим. Поэтических ассоциаций уже не было.

Инвалиды эти разом исчезли с городских улиц в конце 46-го или в начале 47-го. Их выселили всех. Говорят, отправили в какие-то интернаты – на Валдай, на Валаам, еще куда-то. Об этом мало написано. Во всяком случае, мне не попадалось. Я встретил об этом только у великолепного писателя и художника Эдуарда Кочергина… Город не знал их судьбы. Просто понял, что они исчезли с улиц, да и то не сразу, и не все заметили. Наверное, нельзя было, чтоб они как-то разрушали своими культями, своими тележками на колесиках – благообразный фасад социализма.

Был такой фильм польского режиссера Ежи Кавалеровича: «Настоящий конец большой войны». Он прошел у нас под другим

названием: «Этого забывать нельзя». В прокате любили менять названия зарубежных фильмов. Так, чтоб было попроще и победнее смыслом.

> Инвалидов было много. Они шныряли в толпе, ловко маневрируя своими скромными дорожными средствами – маленькими и плоскими тележками на колесиках. Очень часто на этой тележке помещался только торс фактически до паховых впадин – остальной части тела не было.

В 46-м вышло «Постановление о журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Я стоял перед газетой «Правда» с этим Постановлением и ничего не понимал. Зачем это сейчас? И что это значит? Зощенко я знал мало как писателя тогда, но Ахматову читал, особенно ее стихи в дни войны. Моя мама вообще-то знала мало стихов и редко их читала, но Ахматову она часто читала наизусть. Журнал «Ленинград» был закрыт, мы слышали, что в город прислан из ЦК от самого Сталина некто Еголин – руководить единственным теперь ленинградским журналом. Фамилия ничего не говорила. Спустя много лет, уже в 60-х, услышу некую байку писательских кругов… В те дни зашла случайно в редакцию «Звезды» Анна Семеновна Кулишер, известная переводчица французской прозы. Это легенда, которая существует до сих пор и несколько напоминает легенды о Раневской. Анна Семеновна славилась среди прочего тем, что последней узнавала новости, о которых успели уже поговорить решительно все. И, зайдя в редакцию и ничего не зная, она по привычке направилась к столику заведующей редакцией, чтоб позвонить по телефону дочери.

– Что вы! – сказали ей. – Нельзя, Еголину может понадобиться телефон! – Телефон у завредакцией был спаренный с телефоном главного редактора.

– Какой Еголин? – и пытается все равно взять трубку.

– Анна Семеновна! Нельзя! Еголин!..

Но та не понимает и буквально вырывает трубку. И кричит в телефон:

– Представляешь, черт-те что творится, здесь какие-то новые порядки! Какой-то Еголин!.. Мне не дают позвонить – узнать, что Уфирька ел, как он покакал…

Уфирька был любимый кот Анны Семеновны.

Рассказывают, сама Анна Андреевна Ахматова пришла в Литфонд в день, когда вышло это постановление, ничего о нем не зная, и начала вести обычные светские разговоры. А на нее смотрели как на привидение…

В 48-м началась история с группой «театральных критиков-антипатрио-тов». Ругали пьесы хорошие, или сносные во всяком случае. Возносили просто бездарные. Винили критиков, которые этими последними не восхищались. И трудно было читать официальные выступления некоторых известных писателей, которые всю эту чушь одобряли.

Чуть не каждый номер «Литературной газеты» приходил со статьей, содержавшей пересмотр отношения к тому или другому из видных советских писателей, уже ушедших из жизни. В одном номере – поругание Ю. Н. Тынянова, в другом – поэта Эдуарда Багрицкого, в третьем – или это был журнал? – чудовищная статья Важдаева с ниспровержением Александра Грина. Когда наша учительница, между прочим очень хороший преподаватель литературы, методист Герценовского института, – присоединилась на уроке к статье, поносившей Тынянова, я хлопнул партой и вышел из класса. Потом на меня кричали в учительской. И я получил первую в жизни тройку по сочинению: «за космополитизм». Я дважды процитировал в тексте сочинения зарубежных писателей – Б. Шоу и Р. Роллана.

В том же году начался разгром университетской науки на филологическом факультете Ленинградского университета. Громили школу покойного академика А. Веселовского, одного из самых крупных дореволюционных исследователей литературы. А попутно почти все другие школы, сложившиеся в науке после Веселовского. В том числе и школы, выросшие при советской власти и пытавшиеся соединить филологию с социалистическим мышлением. У нас шел десятый класс, и мы, конечно, были в курсе университетских проработок – те, разумеется, кто интересовался литературой. Наша преподавательница даже просила нас посещать эти собрания. Но я отказался. Зато наш первый ученик аккуратно туда ходил и в классе с аппетитом делился впечатлениями.

На трибуны поднимались аспиранты и бывшие аспиранты, и даже студенты и с пафосом костерили своих вчерашних или сегодняшних профессоров. Обличали. Особенно старались аспиранты с кафедры советской литературы. Правда, и другие стремились идти в фарватере. Старых заслуженных филологов клеймили как путаников и двурушников, распространявших сплошь и рядом в литературе вредные теории и взгляды. Седые почтенные люди, много сделавшие в литературе и для литературы, поднимались в ответ на трибуны и каялись униженно. Признавали ошибки. Клялись больше не повторять. Просили дать им время для исправления. В итоге одних изгоняли из университета, других оставляли под присмотром и с

сокрушенной репутацией. Надо же было после этого входить в аудиторию к студентам, и что-то говорить, и иметь хоть какое-то лицо при этом! Я лично был свидетелем того, как один профессор, которого побили, но оставили в университете (он был отцом моего товарища) отправлялся каждый вечер навестить своего друга – профессора, которого очернили и изгнали: тот лежал с инфарктом. Это был Б. М. Эйхенбаум, кстати крупнейший тогда специалист по Лермонтову. А сам профессор был видный исследователь творчества Достоевского. (Сам Достоевский в то время тоже числился в опале.) Спустя какое-то время, после хрущевской «оттепели» или в самую «оттепель», – некоторые участники и нападающие тех аутодафе выйдут каяться тоже. Это будет отрадно само по себе, но поздно, к сожалению. Я думаю, филологический факультет Ленинградского университета от того погрома не мог оправиться еще несколько десятилетий. Может быть – и до сих пор не оправился!

Это все был тоже «настоящий конец войны».

Правда, в том же 48-м было последнее – вперед на многие годы – отрадное событие в моей едва начинавшейся литературной жизни.

Всероссийский съезд поэтов, проходивший в Ленинграде. Его старшими участниками были многие знаменитые к тому времени поэты войны. Семен Гудзенко например:

Мне кажется, что я – магнит,
Что я притягиваю мины.
Удар! – и лейтенант хрипит,
И смерть опять проходит мимо!

У него было лермонтовское ощущение батальной поэзии. Я помню его в просвете двери, перед входом в аудиторию, где читают стихи, Он стоит, высокий, ладный, чуть прислонившись к притолоке головой…

Мы не от старости умрем —
От старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром —
Трофейный, рыжий ром…

Он и умрет не от старости – от старой раны в голову. Всего через несколько лет, совсем молодым.

По залам прохаживался Сергей Орлов, автор одной из самых известных строк поэзии войны:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат…

Странно, я так и не увидел его разговаривающим – только слушающим и слышащим. У него было удивительное лицо: вовсе обгорелое, без бровей, без ресниц: он горел в танке. Он не сидел в зале, а именно прохаживался по залам особняка Союза писателей на Воинова, где в каждом зале читали стихи, а он прислушивался, ловил что-то нужное только ему и уходил…

Сам этот особняк сгорит в конце перестройки, а когда его восстановят, он уже не будет больше Домом писателя. Хотя… его следовало сохранить в этом качестве. Он был живой историей. В чем-то великой, в чем-то очень страшной. Здесь много чего происходило… Здесь топтали Добычина и жарко аплодировали разбойным докладам А. Жданова. Здесь жены отрекались от мужей. Но здесь и дважды распятый Михаил Зощенко бросил в лицо Друзину, может, самую важную фразу из всего, что наговорили здесь за все времена существования этого Союза:

«Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации!»

Поэты на съезде, конечно, перессорились меж собой – московские с ленинградскими. На то они – и поэты. Нас, «маленьких», это не касалось. Зато мы успели послушать последнюю лекцию Григория Александровича Гуковского, автора книг о Пушкине, о Гоголе… блестящего литературоведа, хотя, во многом, и типично советского. Его арестуют буквально через две-три недели, и он погибнет в застенке.



1948 год

В 49-м после громкого процесса были расстреляны почти все руководители блокадного Ленинграда во главе с Алексеем Кузнецовым, в ту пору секретарем ЦК, а в войну – первым секретарем горкома партии Ленинграда. Кузнецов, Попков, братья Вознесенские… Их обвинили в том, что они собирались то ли отделить Ленинград от России, то ли сделать его снова столицей России, а Москву оставить лишь столицей Союза… Это называлось «Ленинградское дело». О нем сейчас почти забыли.

Мы под Колпиным скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Орьентир указала неверно…

Поэт А. Межиров столько раз переделывал эти стихи, чтоб они попали в печать, что трудно найти сборник, в котором они были бы в истинном виде…

Я помню на набережной Фонтанки заколоченные двери ликвидированного тогда же Музея обороны Ленинграда.

Летом 50 года, в студенческом летнем военном лагере при

воинской части, мы ехали на понтоне вдоль широкой и вольной реки на Северо-Западе. Мы плыли тремя понтонами. Нас было человек двадцать. Городские ребята, студенты – только в гимнастерках и в мокрых пилотках. Было жарко. Справа на пути уходили в воду мостки, с которых обычно деревенские женщины стирают белье. Но тут было нечто необыкновенное: целый женский колхоз высыпал на берег. Одни женщины, и не было мужчин. Случайно это было, пришли искупаться? Мы ехали, а они смотрели на нас. Их было много – разного возраста. Среднего. Совсем молодые. Целая толпа. Не в купальниках, а в белых лифчиках и в тех чудовищных цветных панталонах с резинкой на бедре почти над коленом, какие наши матери проносили всю войну и еще долго после носили. Эти панталоны бездарно портили женскую фигуру. Про этот женский колхоз из переселенцев мы знали: что он неподалеку. И что в нем почти одни только женщины. Оттуда в часть приезжали бабушки и звали ребят приехать на вечерок, когда отпускают из части. «Надо побыть с женщинами, – говорили они. И добавляли просто и обыденно: – Мальчики, нам дети нужны!» Умеет же русский человек сказать в лоб, вот так, самое важное – и без стеснения.

> Поэты на съезде, конечно, перессорились меж собой.
>
> Нас, «маленьких», это не касалось. Зато мы успели послушать последнюю лекцию Григория Александровича Гуковского, автора книг о Пушкине, о Гоголе… блестящего литературоведа, хотя, во многом, и типично советского. Его арестуют буквально через две-три недели, и он погибнет в застенке.

Это тоже был «настоящий конец большой войны».

Я редко смотрю телевизор или совсем не смотрю. Только в День Победы и близко к нему. Но года два назад показали пленку, которая вроде долго была в забвении или просто потеряна.

День Победы – 9 мая 1945-го в Ленинграде. Толпа идет по Невскому.

Я вижу эту толпу и ищу в ней себя. Я тоже там – мне 14 лет. Мы все идем к главной площади города. Не помню: звалась ли она тогда уже Дворцовой? Или была еще Урицкого?

«Чтобы она была такая – // Взглянуть и глаз не отвести!» – писал Сергей Орлов о грядущей победе. Ну вот она – глядите!

И надо постараться не слышать – и сейчас не видеть в воспоминании – как на углу Невского и Пролеткульта кто-то взывает: «Люди советские, помогите бандита задержать!» – и у него кровь течет с лица. А мимо идут люди советские,

победившие Гитлера и самую страшную военную машину фашизма, – и стараются не смотреть. Бандитов в городе много – это тоже последствие войны. Мир трудней войны – всегда так было, всегда так будет! В войну есть ясность более или менее – кто друг, кто враг. В войну понятней, за что надо жертвовать жизнью.

И все равно… «Глаз не отвести!» Это День Победы в Ленинграде.

Я пытался на этих страницах рассказать то, о чем никогда не говорил. И назвать по имени какие-то вещи, которые не так просто назвать.

Томит неназванное…

В тылу тоже был фронт
Мазуров Алексей Гаврилович

С 1943 по 1945 г. юный труженик тыла, сапер, работал в колхозе им. С. М. Буденного в Бесединском районе Курской области.

Плечом к плечу победу ковали фронтовики и труженики тыла. В период войны существовал жестокий закон для всех – все население от 12 до 60 лет обязательно должно работать для нужд фронта. В тылу тоже был фронт, выживали как могли, пухли от голода и недоедания. Но отработали множество трудодней на рытье окопов, установке оборонительных сооружений. Сбор смертоносного «урожая» с курских черноземов поручался 15– 16-летним подросткам, в том числе и мне: подстегивала великая нужда засеять хлебом поля освобожденных от фашистов территорий, начиненных смертью, очистить улицы города от взрывоопасных предметов.

После войны по комсомольской путевке работал на различных стройках: необходимо было поднимать народное хозяйство, строить дома, заводы.

Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За Победу над Германией», «300 лет флоту» и многими другими.

Все мои военные воспоминания связаны с мамой
Баранова (Меркулова) Алла Сергеевна, 15.05.1939 г. р

Я, Баранова (Меркулова) Алла Сергеевна, родилась 15 мая 1939 года.

Стройную картину моего «военного» детства восстановить невозможно, остались только отрывочные воспоминания: к началу войны мне было два года. Мои первые воспоминания связаны с началом бомбардировок немцами нашего города. Помню, как по радио раздавались звуки сирены и метронома, а затем слова: «Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога…» Мы с мамой в это время жили вдвоём, так как папа, Меркулов Сергей Григорьевич (1900 г. р.) и братья Меркулов Евгений Сергеевич (1922 г. р.) и Меркулов Юрий Сергеевич (1925 г. р.) отсутствовали – тогда я не понимала почему. Как я узнала потом, отец и старший брат были на фронте, а младший брат в 16 лет был зачислен курсантом в ГУЗА (Горьковское училище зенитной артиллерии).

> Услышав сигнал воздушной тревоги, мы с мамой выходили на крыльцо нашего дома (спали мы одетыми, в шубах и обуви, чтобы не задерживаться после сигнала тревоги). Соседка сверху, пожилая женщина, выходила, надев на себя две шубы и три муфты, – спасала самое дорогое. У остальных хватало чувства юмора в таких обстоятельствах обсуждать этот факт.

Услышав сигнал воздушной тревоги, мы с мамой выходили на крыльцо нашего дома (спали мы одетыми, в шубах и обуви, чтобы не задерживаться после сигнала тревоги). Все дома на нашей улице в самом центре города были тогда деревянными. На крыльце собирались обитатели нашего подъезда, видимо, им казалось, что так безопаснее. Соседка сверху, пожилая женщина, выходила, надев на себя две шубы и три муфты, – спасала самое дорогое. У остальных хватало чувства юмора в таких обстоятельствах обсуждать этот факт.

Тон задавала мама (Меркулова Анна Ивановна, 1898 г. р.). Стараясь смягчить тревожную обстановку, она говорила:

> Ночью я просыпалась и чувствовала, что мама

плачет.

Я ладошками проводила по её лицу, а мама делала вид, что спит.

«Посмотрите, как красиво!» В ночном небе висели осветительные бомбы. Раздавались глухие звуки разрывов: бомбили автозавод, но и в центре города иногда падали бомбы. Я, самая маленькая обитательница нашего дома, в ужасе забивалась в угол коридора и стояла там до отбоя. Запах пыли в этом углу я помню до сих пор.

Это было начало войны, а затем потянулись годы тревоги и ожидания. Ночью я просыпалась и чувствовала, что мама плачет. Я ладошками проводила по её лицу, а мама делала вид, что спит. Конечно, страх за своих самых близких и дорогих людей не давал ей спать.

Брата Юрия по окончании учёбы в училище направили на Автозавод, защищать его от бомбардировок. И однажды пришло извещение о том, что Юра пропал без вести. Мама стала ездить в воинскую часть, чтобы хоть что-то разузнать про судьбу сына. Ездить приходилось со мной, поскольку оставить меняя было не с кем. В то время добраться до Автозавода из центра города можно было только на трамвае, с пересадками дорога занимала три часа в один конец. В части сначала не могли дать никаких сведений.

Измученная и расстроенная, мама возвращалась домой. И однажды она забыла меня в части. Как она рассказывала потом, проехав больше половины пути – до Московского вокзала, где делали пересадку, она вспомнила, что в руке у неё что-то было. В ужасе она бросилась назад и нашла меня в части – вместе с солдатами я уплетала кашу. Позднее выяснилось, что брат жив: вместе с орудием его снесло взрывной волной с крыши цеха, на которой он отражал налёт немецких бомбардировщиков, когда на соседний цех упала бомба. Без сознания он был доставлен в госпиталь в Дзержинск – город в Горьковской области. Он был контужен, но его подлечили и направили на фронт.

Часто соседи по двору собирались и обсуждали события на фронте, рассказывали друг другу, кто вернулся, кто ранен. Однажды и я вмешалась в этот разговор: «А я какого раненого видела – руками машет, а сам без головы!» В действительности человек шел в зимнем пальто с поднятым воротником, и голову не было видно. Эта картина отчётливо вспоминается мне и сейчас.

Потребление электричества было строго ограничено, по квартирам ходили контролёры, выявляющие нарушения. Однажды к нам пришла женщина-контролёр,

которую мама увидела в окно. Быстро выключив плитку и сунув её под кровать, мама пошла открывать дверь, а меня, уже одетую, вела гулять. Я, встретясь с контролёром на лестнице, приветливо ей сказала: «Проходите-проходите, мы уже плитку спрятали под кровать».

Потребление электричества было строго ограничено, по квартирам ходили контролёры, выявляющие нарушения. Однажды к нам пришла женщина-контролёр, которую мама увидела в окно. Быстро выключив плитку и сунув её под кровать, мама пошла открывать дверь, а меня, уже одетую, вела гулять. Я, встретясь с контролёром на лестнице, приветливо ей сказала: «Проходите-проходите, мы уже плитку спрятали под кровать». Женщина долго смеялась и ушла, так и не выписав нам штраф. В другой раз, войдя в дом, эта же контролёр первым делом сунула руку под кровать. И обожглась. Очень рассердилась и оштрафовала нас уже в двойном размере.

Мама работала, а я жила у дедушки с бабушкой, которые меня очень любили, никогда не сердились. Только один-единственный раз дедушка рассердился на меня: он повёл меня к маме на работу, повидаться, а я никак не хотела уходить, громко плакала, цеплялась за маму. Всё-таки меня увели, и я первый и последний раз видела дедушку сердитым. Помню, что бабушка держала кур, и я удивлялась, почему они не бегут ко мне, когда я кричала «Цып-цып-цып», а к бабушке мчались по первому зову. Утром мне на завтрак варили яичко в самоваре. Вообще, мне не пришлось испытать чувство голода, хотя лакомством для меня было: блюдечко с растительным маслом, посыпанным солью, в которое нужно было макать чёрный хлеб. Еще мама делала «мурцовку» – по ее выражению. Это тюря из черного хлеба с водой, в которую добавлен лук и растительное масло, а иногда и размятая вареная картошка. В отличие от других семей в нашем дворе мы считались «богатыми» – у нас было красивое жилье, я была всегда нарядная – мама ведь получала деньги по трем аттестатам – за воюющих мужа и двоих сыновей.

Друг моего брата Юры, Герой Советского Союза Иван Егоров, его сокурсник по ГУЗА, устроил меня в детский сад – директор детского сада не смогла отказать герою-богатырю. В 1945 году Иван был участником Парада Победы на Красной площади.

С мамой связаны все мои военные воспоминания. Она была ярким, остроумным человеком, большая выдумщица: какие истории, какие сказки она сочиняла! Много детей из нашего двора и даже из соседних домов собирались каждый вечер у

маминой подруги (у нее самой было трое детей, а муж погиб на фронте), чтобы слушать сказки с продолжением. Помню сказку «Двенадцать препятствий» маминого сочинения, и это была такая захватывающая и страшная сказка, что ребята, сидевшие с краю, старались потеснее прижаться к остальным.

Однажды мама задумала общественно полезное мероприятие – очистить двор от мусора и привести его в божеский вид. Она организовала всех детей нашего двора, пообещав в награду нечто фантастическое – всем купить билеты в ТЮЗ. Двор был вычищен, я со своей подружкой носила в детском игрушечном ведерке обломки кирпичей. Мама сдержала обещание: всем двором мы ходили на спектакль «Финист – Ясный сокол». До сих пор мои дворовые друзья вспоминают и сказки, и театр.



С мамой на новогодней ёлке

Была в нашем доме и новогодняя елка, на которую были приглашены все мои дворовые друзья и соседские ребята. Мама договорилась в детском саду, чтобы дали новогодние костюмы бусинок, снежинок, клоунов. Моя троюродная сестра Роза была Дедом Морозом – в костюме, с красным носом, с подарками. Сохранились фотографии, на которых Дед Мороз, ребята в костюмах, заведующая детским садом Валентина Яковлевна, воспитательница Нина Александровна, мама и я в костюме клоуна.

Было весело, а самое главное, было угощение.

Сохранились яркие воспоминания о сообщениях по радио об освобождении территорий, ранее захваченных немцами: «В ознаменование побед произвести салют двадцатью артиллерийскими залпами». Такие салюты в нашем городе происходили на площади Минина – центральной площади города, в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Мы ходили смотреть эти салюты, совсем не похожие на нынешние: они не были такими красочными, поскольку залпы производились из боевых орудий, но, в сочетании с разрывающими ночное небо прожекторами, казались фантастическими. Толпы ликующего народа собирались на площади. Однажды во время такого салюта произошло курьёзное событие: обломки снарядов падали на землю, и один из них вдруг, шипя, подполз к нашим ногам и полез вверх по штанине моей подруги, оставляя прожженную дорожку.

Рядом с нашим домом был стадион «Водник», там мы гуляли, играли, а позднее катались на коньках. Мама отправляла меня «в школу»: я брала книжку «Русские народные сказки» и шла на стадион, там я проводила полдня и возвращалась домой. Однажды я услышала, как за мной по тропинке между сугробами кто-то идет. Я не оглядывалась, и человек дошел со мной до дома, а человек этот был мой папа. Он вернулся с войны.



1945 год

Все вернулись живыми и здоровыми. Отец, бывший по образованию гидрологом, до самой пенсии работал в Гидрометцентре. Старший брат Евгений окончил Московский юридический институт, но юристом работал мало – трудился на производстве. В конце войны мой отец и старший брат, воевавшие в разных полках, встретились в Германии, о чём было напечатано в какой-то армейской газете. Вырезка до сих пор хранится в нашей семье. Брат Юрий – кадровый военный. В конце войны он был оставлен в армии, направлен на Дальний Восток, окончил Харьковскую радио-артиллерийскую академию, служил во всех «крайних» точках Советского Союза: на севере – остров Рыбачий, на юге – Ташкент, на Кубе, вышел в отставку в звании полковника. Он был очень яркий, талантливый, неординарный человек.

Я, закончив школу, поступила в Горьковский универститет на физико-математический факультет. По окончании аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию, работала в Горьковском физико-техническом институте, а затем 37 лет – доцентом кафедры теоретической механики Горьковского инженерно-строительного института (сейчас Нижегородский архитектурно-строительный университет).

Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой
Мурашкина Маргарита Дмитриевна, 1933 г. р

Родилась 4 ноября 1933 года в деревне Парамоново Дмитровского района Московской области.

Когда закончила первый класс, началось самое страшное – Великая Отечественная война. Школа тогда находилась в Головинском лесу у пруда (в «Головинском» доме). При школе работал буфет, там были очень вкусные козинаки. Мы заклеили полосками черного сатина стекла окон, чтобы сохранить их во время бомбежки.

> Когда пришли на сборный пункт, отец отдал мне и сестре Любе свои часы.

Нашего папу Д. И. Мурашкина (портного по профессии), отца восьмерых детей и дедушку четырех внуков, призвали на фронт. И мы всей семьей пошли его провожать. До Сталь-Моста за фабрикой дошли пешком. Когда пришли на сборный пункт, отец отдал мне и сестре Любе свои часы.

Всё хозяйство нарушили, немец далеко, но мама осталась с такой оравой.

Опять пришлось взять во двор корову (сельским без хозяйства нельзя).

Над поселком пролетел самолет, строча из пулемета. Брат смотрел из бинокля и увидел фашистский знак. Мне он тоже дал бинокль, и я увидела фашистский самолет.

На Почтовой улице домов не было: были овощехранилища и огромное поле, которое бомбили. Фашисты бомбили, потому что думали, что есть скрытые объекты под землей. Бомбили всё: церковь, больницу, вокзал. На железнодорожном пути стояли вагоны, загруженные бинтами, которые шли с Икши. Вагоны тоже подверглись бомбежке и загорелись. Мы с сестрами побежали тушить. Вынимали упаковки с бинтами, били их об землю, сбивая пламя. Тушили кто как мог. На станции «Турист» зенитки и пулеметчики сбивали фашистские самолеты.

И все это на наших глазах. Мы, трое девчонок, разбежались (в разных новых кофточках: зеленая, салатовая, синяя, – которые надела нам мама, чтобы мы не потерялись). Мама увидела, где

мы, и ахнула. Тогда мы твердо решили убежать в партизаны.

Потом начальник станции Воронин погрузил нашу маму Вассу Федоровну и нас – всех её детей – в теплушки, и мы поехали до Икши к маминому брату, а затем в Москву. Мама тогда сказала, что Москву немцам не отдадут.

Сестра Валя, которая старше меня на год, вспоминала, что огромное наше орудие стояло на перекрестке Вокзальной улицы, где сейчас стоит универсам «Пятерочка». В доме на Вокзальной улице стоял пулемет. В нашем доме № 8 на Вокзальной расположился штаб. Дом помыли. Вскоре на улицу Вокзальную перегнали танк. Миша Гдаль был старший в группе, Кураш – заряжал. Потом танк погрузили на широкую платформу и отвезли на передовую. Я помню, что они пели песни по-украински и варили кашу из гречневых концентратов. Восстановили завалинку в подполе. Крыша нашего дома была как решето после бомбежки. Разобрали дом на Почтовой, где погибла бабушка.

После бомбежек немцы оставили тяжелый след. Взрывчатку прятали в мыле, и не только в нем. Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой. Одна такая находка закончилась трагедией для одноклассника Смирнова Николая, который остался без пальца. Его двоюродный брат

После бомбежек немцы оставили тяжелый след. Взрывчатку прятали в мыле, и не только в нем. Дети находили разные предметы, начиненные взрывчаткой.

Евгений тоже нашел в Парамонове взрывчатку и остался без пальца. Наша соседка Горчакова Вера с сестрой Татьяной нашли карандаши, стали их ковырять, и получился взрыв. Вера погибла, разорвало всю. У Татьяны все лицо побило порохом. Их мама в это время была в военкомате, вернувшись, увидела трагедию.

Мы, дети, были заняты учебой в школе, помогали техничке, а вечером шли в кино. Школа № 1 тогда находилась там, где сейчас администрация поселка Деденево. Кинозал находился в трапезной монастыря. В столовой перед ранеными мы, дети, читали стихи, кто какие мог. Раненых было очень много: танкисты, летчики, много тяжелых.

Самое главное для нас было – получить хлеб в 40-градусные морозы. Приходилось стоять в очереди, думать, где прикрепить карточки. Сначала в поселке была своя пекарня. Карточки стало можно прикрепить и в Дмитрове, но после восстановления железнодорожного моста, который был разрушен после бомбежки. У нас в поселке стоял мостопоезд – несколько вагонов, и рабочие мостотряда восстанавливали мост.

Около поселкового совета собрали всех собак. Их было не

менее 500 штук. Поссовет тогда находился на улице Советской рядом с нашей библиотекой. Собаки сильно лаяли. Им надели сумки с красными крестами и всех наших меньших братьев отправили на фронт.

В Деденеве, в санатории инвалидов ВОВ лечился Герой Советского Союза летчик Маресьев. Ему был поставлен памятник. Он размещался на территории санатория за зеленым домом. Памятник впоследствии убрали с территории. Работая в Москве, я как-то ехала в электричке, и был телеопрос. Пришлось мне дать интервью о Маресьеве. Потом это показали по телевидению.



Часто вспоминаю школьные годы, возвращение молодых ребят с фронта, кто без рук, без ног, – в санатории инвалидов. Мы готовились выступать перед ними. Кто читал стихи и т. д. Отправляли на фронт кисеты и т. д. Приезжал Маресьев – летчик Герой Советского Союза. На то время у него была дача в Некрасовской. Поздней вышла книга «Повесть о настоящем человеке», посвященная Маресьеву.

Братья мамы носили фамилию Борисовы и проживали в Икше. Павел Федорович и Василий Федорович, 1900 г. р., были на фронте. Павел скончался в госпитале Томска от ран. Василий на Икше работал после войны продавцом. А его сын Александр Васильевич, 1926 г. р., работал в летной эскадрилье во времена ВОВ, потом работал в Шереметьево, в аэропорту. Арсений – брат отца (1928 г. р.), воевал в войсках авиационным механиком.

Прошел всю войну.

После войны я закончила школу рабочей молодежи, затем Московский авиационный техникум по специальности «Обработка металлов резанием», получила квалификацию техник-технолог. Всю жизнь работала, сейчас – ветеран труда, много лет занималась спортом, особенно любила лыжи. Сейчас проживаю в г. п. Деденево, являюсь почетным членом краеведческого клуба «Родник» Деденевской поселковой библиотеки.

Дети не притронулись к подарку от немцев Гордиевская Нина Павловна, 1926 г. р

Родилась в деревне Парамоново Дмитровского района Московской области.

Все отцы из деревни Парамоново ушли на фронт, а вернулись инвалидами. Один был в плену, а потом его на 10 лет посадили.

У всех в войну были землянки, и все семьи от бомбежки скрывались в землянке (а некоторые в домах).

Немецкая разведка пришла на край деревни Парамоново к Савельевой тёте Нюре. Разведка пришла из деревни Жуково узнать, как пройти на Яхрому. У них не могла иначе пройти тяжелая техника. Немцы на тот момент дислоцировались в деревне Борносово. Им никто ничего не сказал. Они оставили детям шоколад и сухую колбасу. Дети не притронулись к подарку от немцев.

Церковь бомбили в деревне Дьяково в ноябре 1941 года. Упала бомба, и церковь сгорела.

Деревню Жуковка немцы, уходя, сожгли и пошли в Степаново.

Нас, ребятишек, было много, потихоньку мы умирали
Пименова (Лебедева) Фаина Михайловна, 1938 г. р

Родилась я, Лебедева Фаина Михайловна, в городе Мурманске 30 сентября 1938 года. Отец – Лебедев Михаил Андреевич, мать – Лебедева Клавдия Павловна, уроженцы Ярославской области.

> Сестра рассказывала, как во время бомбежки я пряталась под кровать и молилась: «Хопсиси, помилуй, хопсиси, помилуй». Она смеялась и плакала.

Почему назвали меня Фаиной? Родилась 30 сентября, в день святых – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В 1938 году были страшные репрессии, ни за что могли донести, посадить, расстрелять родителей. Крестили меня дома, как говорила мама, меня и еще одну девочку, которая потом умерла. В семье нашей у родителей уже были дети: старший брат Валентин,

1928 года рождения, сестра Тося,

1931 года рождения, и брат Павел,

1935 года. В июне, в канун войны 1941 года, родилась еще Тамара.

Война. Бомбежка города Мурманска, родители оформляли документы, уходили из дома, я оставалась с сестрой. Мне было 2 года 9 месяцев. Сестра рассказывала, как я пряталась под кровать и молилась: «Хопсиси, помилуй, хопсиси, помилуй». Она смеялась и плакала.

Потом отец проводил нас на вокзал в поезд, а сам остался в Мурманске. Во время пути нас несколько раз останавливали, бомбили. Поезд шел на Дальний Восток. Но мама вышла в Костромской области, деревня Рудино (была переименована из Костромской области в Ярославскую).

Там нас встретил дедушка, отец мамы. В дороге у нас умерла Тамарочка: у мамы пропало молоко, и мы привезли трупик. Поселились мы вначале у дедушки, бабушки родной уже не было, была мачеха Ольга Васильевна. Нас было четыре человека, мама пятая. Я очень была больна, был страшный рахит и больные ноги. Я почти не ходила. Мачеха нас, конечно, выгнала, такую ораву. Дед нас перевез в другую деревню, в Соколово. Там жил папин брат Сергей со своей тоже большой семьей. У них был большой

дом и две избы, одна летняя, другая зимняя. Мы поселились в летнюю избу.

Отец шлет нам письма очень часто, его пока на фронт не взяли, он болел воспалением легких и в каждом письме писал маме, чтоб она ни в коем случае не оставалась в деревне и не вступала в колхоз и нас вывезла из нее. И так мы поселились в другой деревне. Помню, была печка русская, на ней сушили зерно колхозное – рожь. И мама меня сажала на печь и грела мне ноги в зерне. Так она подняла меня. Старший брат Валентин и средний Паша пасли деревенских овец, и нам приносили кто картофель, кто зерно, молоко.

К маме часто приходили какие-то люди в военной одежде и хотели ее забрать на фронт – рыть окопы под Москвой. Но она каждый раз отказывалась – нас четверо, больной отец (дедушка). Ей угрожали.

Так мы начали деревенскую жизнь. Надеть нечего, обуть нечего, есть нечего.



Лебедев Михаил Андреевич, отец Фаины

Мама, как могла, подрабатывала, то в поле помогала, рожь серпом жала, потом с ней рассчитывались зерном, я помню это хорошо. Я ходила к ней на поле, сильно кололи босые ноги. Был свой огород: сажали картофель, капусту и другие овощи. Одно лето мать работала на молокозаводе в другой деревне. Мы с сестрой ходили к ней пешком. Я видела, как расстилали творог на брезент – сушили и получали казеин. И пока из начальства никого не было, мы ели этот творог на брезенте (было очень строго, нельзя было трогать), поедим и обратно в свою деревню

через лес, речку, у которой был сломан мост, и я очень боялась ходить – у меня кружилась голова.

Летом было легче жить: ходили в лес, собирали грибы и ягоды. Один раз у нас с сестрой отняли малину вместе с корзинкой мальчишки из соседней деревни. Она мне крикнула: «Беги» – а сама крепко держит корзинку. Так они прокусили сестре руку, и она отпустила корзинку. Мама ходила разбираться, мальчишки оказались сыновьями председателя колхоза, а корзинку нашу нашли на чердаке дома.

Я иногда сейчас задумываюсь: мы ходили босые, голые, и нас никто не покусал – ни змеи, ни осы, ни другие насекомые.

> Отец писал нам очень часто с фронта. В каждом письме просил маму не оставлять нас в деревне и просил всегда беречь меня; мама читала нам эти письма, а потом я и сама читала, мы долго хранили эти письма и ждали отца. Я помню строки из письма, что, как разобьем этих гадов, так и вернемся домой.

Помню, один раз зимой мама с Валентином (старший брат) ушли куда-то ночью, а утром я проснулась и вижу большую лошадиную ногу. В колхозе подохла лошадь, но брать мясо было нельзя, ее увезли в лес и бросили на морозе. Вот мама с братом, чтобы никто не видел, сколько могли увезти на санках, столько и привезли. Я думаю, не только нам досталось, но и другим. Тогда нельзя было ничего брать колхозного, очень строго было, сразу кто-то докапывался, и забирали. И потом с концами. В какой-то праздник мама напекла лепешек как ватрушки, только вместо творога картофель, и пришли цыгане, две или три цыганки, маму заговорили, жив или не жив папа, и попросили показать эти ватрушки. Взяли в руки, оплевали их и сказали: «И ты будешь кормить детей ими?», забрали их у нас, унесли.

Отец писал нам очень часто с фронта.

В каждом письме просил маму не оставлять нас в деревне и просил всегда беречь меня; мама читала нам эти письма, а потом я и сама читала, мы долго хранили эти письма и ждали отца. Я помню строки из письма, что, как разобьем этих гадов, так и вернемся домой.

Так как отца не брали на фронт по болезни, он пошел добровольцем-ополченцем – на десять человек у них был один автомат. Первое сражение было на станции Лопухи, и они не пропустили немцев. Немцы хотели занять выход к морю.

Но вернуться домой так и не пришлось. Принесли извещение: «Ваш муж, товарищ такой-то, погиб в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество,

погиб 18 мая 1942 года. Похоронен – прочерк».



Фаина, 18 лет

Узнав о таком горе, заболел дед. Он в 1943 году зимой умер, и мы остались одни до конца войны.

Мама писала в Мурманск письма, где было наше жилье, ответ пришел – дом разрушен, жилья нет.

У мамы был паспорт, и старшему брату 21 сентября исполнилось 16 лет. Он тоже получает паспорт в 1945 году. Не знаю, как мама узнала о вербовке на восстановление Ленинграда, ее завербовали вместе с моим братом, как рабочую силу.

Мама, конечно, готовилась заранее к этой поездке. Заработала зерна ржи, нам даже не дали смолоть эту рожь на мельнице, маму не отпускали из деревни. Председателем колхоза был папин брат, который вернулся с фронта. Эту рожь смололи на жерновах, получили муку, напекли лепешек и на санках отправились из деревни до Костромы. Взяли с собой икону Спасителя, папино благословление и что могло уместиться на двух санках в феврале 1946 года. На одних санках везли меня, на других поклажу, останавливались в каких-то чайных, ночевали и ехали дальше. Из Костромы поездом добрались до Ленинграда. Хотели нас вернуть обратно, так как мало было рабочей силы, но с трудом оставили.

Поселили нас в Сосновой Поляне, где и проживаем до сих пор. Я сразу заболела свинкой. Потом меня отдали в детский сад.

Валя, старший брат, пошел на стройку с мамой, Тося, сестра, – в ФЗО на прядильную фабрику. Паша, средний брат, помогал маме, его взяли собирать металлолом, которого было достаточно в этом районе.

В Сосновой Поляне было всего шесть домов двухэтажных, коридорная система. Нам дали комнату. Остальные дома были разрушены, со временем их восстановили. Нас, ребятишек, было много, мы потихоньку умирали: и дифтерия, и туберкулез, и тонули в воронках, и рвались на минах. (Немцы, отступая, наоставляли их достаточно.) Я тоже маме помогала – ходила за гнилушками, в Лигове были поля с картофелем, и весной он лежал наверху поля. Собирали крахмал и пекли лепешки. Старшие меня не брали с собой, так как были большие овраги (они и сейчас есть, не доходя «Рубежа»). Короче, в 1946–1947 годы был страшный голод. Мама получала на нас карточки. На них получали жмых, сою, дуранду и другие продукты.



Фаина у обелиска, где похоронен отец

Так мы начали городскую жизнь. Много можно еще что написать, навспоминать, но остановлюсь.

Нашла я место, где погиб мой отец, – в Заполярье, в районе 63-го километра дороги Мурманск – Печенга. На большом обелиске выбиты и его фамилия, имя, отчество. Всех мне

пришлось похоронить на Красненьком кладбище в Автово: маму, старшего брата Валентина, сестру Тоню, брата Павла. Я осталась одна. А у меня большая прекрасная семья. Мне 76 лет.

На работу выводили под конвоем
Маурер Валерия Иосифовна, 1930 г. р

Я родилась 21 мая 1930 года в г. Красноармейске Саратовской области в Автономной советской социалистической республике немцев Поволжья. Немцы поселились в этих краях по приглашению Екатерины Второй в 1764 году.

Тридцатые годы – это было голодное время, шла коллективизация, начались репрессии. Арестовали моего деда, сослали в Магадан, где он был расстрелян (по другой версии – умер). В ссылку попали два моих дяди. Должны были отправить туда и моего отца – в 1938 году. Его отпустили неожиданно, в связи со сменой руководства КГБ.

> Было очень страшно.
>
> Когда я представляла, что к нам во двор явятся фашисты, меня охватывал такой ужас, что я боялась разрыва сердца.

Когда началась война, мы жили на Северном Кавказе в городе Ессентуки. Отец был военнообязанным и сразу явился в военкомат, но его не мобилизовали. Вскоре у нас появилась масса беженцев из Украины и Белоруссии, а город начали готовить к бомбежкам. Рылись окопы, на оконные стекла наклеивались бумажные полоски, чтобы стекло не рассыпалось. Окна надо было завешивать темными тканями, чтобы не проглядывал электрический свет. Было очень страшно. Когда я представляла, что к нам во двор явятся фашисты, меня охватывал такой ужас, что я боялась разрыва сердца.



Валерия

Поступали эшелоны с ранеными. В санаториях курорта расположили госпитали. Все горожане встречали бойцов с цветами и подарками. Школьники собирали у населения фрукты, овощи, сладости, курево, предметы необходимости и посещали раненых, помогали ухаживать за ними, читали письма, писали ответы, выполняли их просьбы, проводили концерты. Балетная студия дома пионеров, в которой я училась, тоже давала концерты. Там я выступала на сцене в последний раз. До боли было тяжело смотреть на молодых ребят, прикованных к постели, ослепших, без рук, ног, на их страдания.

Родители уже знали, что немцев Поволжья выселили в Сибирь, на север, в Казахстан, что идет переселение изо всех районов страны. Нам объявили о высылке 30 сентября. На сборы дали 48 часов. С собой можно было брать только самое необходимое: посуду, постель, одежду. Оставлять свой любимый город было невыносимо тяжело, ведь в указе было сказано, что выселяют навечно, а в случае самовольного выезда с места поселения грозила ссылка на 25 лет.

> Труднее всего было с туалетом – надо было подолгу терпеть. Когда поезд останавливался, все устремлялись из вагонов и садились вдоль состава, подлезали под вагоны. Все рядом: мужчины, дети, женщины.

Весной 1941 года по стране ездила отборочная комиссия

Большого театра в поисках молодых талантов. Посетили и нашу студию. Выбрали меня. Осенью мы всей семьей собирались переехать в Москву, где я должна была продолжить учебу при ГАБТ. Нам давали квартиру – видимо, я подавала большие надежды.

И вот вместо этого мы отправлялись в Сибирь. Балет, без которого я не мыслила жизни, был для меня закрыт навсегда. Нет слов, чтобы передать мои страдания о нем во все последующие годы.

Второго октября наш состав отправился в путь. Ехали в товарных вагонах с чугунной печкой-буржуйкой в середине, а по бокам – нары. На верхней полке была наша семья из трех человек, семья из четырех человек и еще двое. На каждой полке было по девять человек, 36 человек в вагоне. Было так тесно, что, если кто-то поворачивался на другой бок, должны были поворачиваться все.

Внизу лежали мать и сестра отца, жившие от нас отдельно.

Труднее всего было с туалетом – надо было подолгу терпеть. Когда поезд останавливался, все устремлялись из вагонов и садились вдоль состава, подлезали под вагоны. Все рядом: мужчины, дети, женщины. Удаляться от вагона опасно, остановки были до сигнального гудка паровоза, и надо было за считаные минуты забраться в вагон, чтобы не отстать от поезда. Это давалось нелегко – ступенек не было, пол вагона высоко.

Нам надо было ехать вдоль линии фронта и пересечь ее на станции Лиски (тогда она называлась – Свобода, потом – Георгиу Деж, сейчас опять – Лиски). Поезда шли без расписания, а в соответствии с обстановкой. Ввиду того что почти все передвигались в товарняках, железнодорожные линии были загажены вдоль всего пути. Лиски были узловой станцией, точкой, на которой шел поворот на Сибирь. Она более всего приближалась к передовой и часто бомбилась. Не всем составам удавалось ее проскочить. Мы проезжали там после того, как Ростов-на-Дону был отбит нашими войсками. Перед ним на станции Батайск скопилось множество эшелонов, ожидавших свою очередь перегона в Лиски. Наша очередь дошла через двое суток. Ехали под бомбежками. Как только раздавалась тревога, мы должны были не высовывать носа из вагонов. Охранники с винтовками, сопровождавшие нас, закрывали вагон на засов. Те, кто не успели добежать до вагона, прятались во ржи, кукурузе и других растениях. Поля в этот год ломились от урожая. Урожай погибал на корню. Как жаль было смотреть на это! Всем этим мы пользовались в пути. Остановки были, даже успевали иногда сварить суп в самоваре.

Поезд, отправленный перед нами, разбомбили на станции Лиски. Нам повезло – мы проскочили. Когда поезд остановился у вокзала, мы с мамой пошли в туалет. Вокруг валялись чемоданы с рассыпанными вещами, фотографии, оторванные руки, ноги, раздробленные головы.

Трупы успели захоронить – более 300 человек в одной могиле. В тупике стояли обгоревшие вагоны. Жуткая картина. От страха я покрепче вцепилась в руку мамы. На вокзале и вокруг было выломано все, что горело: заборчики, скамейки, деревья и др. Их использовали для печек в вагонах и костров на стоянках при приготовлении пищи, чая.



С родителями

Проехав опасную зону, люди оживились. На крупных станциях в больших городах мы на вагон получали два ведра супа и мешок хлеба. Жизнь шла своим чередом: люди болели, рождались, умирали. Трупы везли в последнем вагоне, был и изолятор, из вагонов доносилось хоровое пение. Пели любимые песни о тяжелой русской доле: «Бежал бродяга с Сахалина», «Раскинулось море широко» и другие.

Ехали больше месяца. На конечную станцию Асино прибыли седьмого ноября. Выгружались в мороз под валившим пеленой снегом. Все складывали здесь же, и оно мгновенно покрывалось снегом.

У мамы начался приступ желчнокаменной болезни, но нам удалось найти квартиру на пару дней.

Людей разместили в залах клуба, школы и т. п. Все лежали на полу грязные, завшивленные. В одном углу кто-то кричал от приступа аппендицита, в другом – дети. Тут же лежала женщина со страшным ожогом, полученным в пути во время спешного погружения в вагон с горячим самоваром. Наши вещи прожаривали, а мы мылись в бане, после чего нас развезли по дальним деревням Томской области. Мы попали в Берлинку, а вскоре нас перевезли в Зырянку, это был районный центр в 50 км от железной дороги. Бабушка с тетей отправились еще на 20 км дальше, в эстонское село Березовка. Опять повезло – в райцентре была школа, и я пошла в пятый класс. Нам преподавали военное дело, во всех классах учили делать повязки, ползать по-пластунски и т. п.

> Все дети были голодные, на уроках жевали кто что принесет: чечевицу, смолу с деревьев и так далее. Нас ругали за это, но ничего не могли поделать. На улицу было боязно выходить – могли обозвать жидовкой, фашисткой.

Все дети были голодные, на уроках жевали кто что принесет: чечевицу, смолу с деревьев и т. д. Нас ругали за это, но ничего не могли поделать. На улицу было боязно выходить – могли обозвать жидовкой, фашисткой.

Несмотря на запрет брать нас на умственную работу, отца взяли бухгалтером в колхоз. Председателя должны были судить за растрату. Учет был запущен.

Отец был опытным бухгалтером, навел порядок в документах, выступил на суде, и председателя оправдали. Отцу заплатили горохом, мукой и молоком. Жили мы в комнате рядом с конторой.

После нового 1942 года мужчин начали отправлять в трудармии. Отца мобилизовали в марте. Было голодно. Мы жили на продуктах, выменянных на вещи: одежда, обувь, постель, посуда. Приходилось ходить по деревням все дальше, уже за 30 км. Мама брала меня с собой, так как походы иногда затягивались не на один день и она не хотела меня оставлять одну. Мне было тяжело, бывало, сяду и не могу встать. Картошку делили поштучно по дням. Варили суп с лебедой. 400 граммов хлеба на двоих. Хлеб был похож на кусок хозяйственного мыла, тяжелый, только черный. Его делили на три части, а не съедали сразу. Мама работала в артели, делала деревянные ложки. Я сидела у окна, глядя вдаль на дорожку, где она должна появиться

в перерыв на обед, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать обед без нее. В августе мы пошли работать на сенокос. Свозили сено к месту стогования. Мама обвязывала копну веревкой, а я вела быка за рога. Нам давали по тарелке супа с горохом и 800 граммов хлеба.

> Осенью забрали в трудармию женщин с шестнадцати лет. Мы сидели на призывном пункте, я держалась за маму и дрожала от страха. Ведь неизвестно было куда, на сколько, увидимся ли еще или нет. Когда дошло до погружения на подводы, детей, даже двухлетних, отрывали от матерей и матерей угоняли.

Осенью забрали в трудармию женщин с шестнадцати лет. Мы сидели на призывном пункте, я держалась за маму и дрожала от страха. Ведь неизвестно было куда, на сколько, увидимся ли еще или нет. Когда дошло до погружения на подводы, детей, даже двухлетних, отрывали от матерей и матерей угоняли. Стоял рев, плакали и окружавшие нас сельчане. Многие дети замерзли на дорогах, ходя по деревням за милостыней. Некоторых приютили и вернули матерям после войны. Я осталась одна. Хорошо еще, что мы недавно выменяли картошку и немного муки.

Со мной в комнате осталась женщина с дочками двух и пяти лет из блокадного Ленинграда, которых к нам подселили. Мы с ней ездили за хворостом в лес, за рекой Чулым. Однажды ей дали лошадь с санями, и мы поехали далеко на заготовку дров. Стояли сильные морозы, до минус 42 градусов, с холодным порывистым ветром. Я выросла из пальто, оно было короткое, руки торчали из рукавов, валенки дырявые, длинных теплых рейтуз у меня не было. Пока мы добрались до делянки, я так замерзла, что думала, останусь на дороге. Хотя всю дорогу шла больше, чем ехала. Мы спилили деревья, срубили сучья и погрузили их. Стало жарко, но на обратном пути опять чуть не замерзла совсем. Все эти деревья я должна была с кем-нибудь распилить, а потом сама расколоть, а были и толстые чурки с сучьями – топора было мало. Надо было бить по нему тяжелой кувалдой.

После того как мы запаслись дровами, она решила, видимо, от меня избавиться. Кто-то открыл отдушину, где лежала моя картошка, и я осталась без еды. Печь она протапливала, когда я была в школе, чтобы я не могла из муки сварить затируху. Я была вынуждена бросить школу и перебраться к родным в деревню, за 30 км. Это далось очень тяжело, так как предстояло перевезти все наше имущество, привезенное с собой при переселении. На нашей улице был карантин из-за болезни лошадей. По соседству был элеватор, и посторонних лошадей не допускали. Помогли наши

знакомые – на санках перевезли вещи к себе, а от них я их увезла, наняв лошадь. Почтового сообщения между деревнями не было, предварительно я сходила к бабушке с тетей одна. Шла и дрожала – боялась волков и медведей. Кричали какие-то птицы, эти звуки я принимала за храп медведя. Боясь его, шла осторожно, стараясь не скрипеть снегом, чтобы не разбудить его.



В селе, куда я переехала, школы не было, пришлось бросить школу. Зато там можно было выменять продукты – село эстонское было, богаче русских деревень. Я батрачила у хозяйки: носила воду с колодца для скота. Коромысло с деревянными намокшими ведрами (в них входило воды больше, чем в обычное ведро) было неподъемным. Мыла некрашеные деревянные полы, выскабливая ножом, ткала дорожки. Питаться должна была отдельно от родных. Научилась печь себе хлеб. За молоком себе и бабушке с тетей (и для них брала масло, сметану) ходила на хутор. Это 2–3 км по лесу, безлюдному, опять боялась волков, каждый раз радовалась, что была живая после похода. Из выкопанной из-под снега оставшейся в земле картошки пекла лепешки на плите без масла. Старики и мужчины, оставшиеся в деревне, соревновались, кто сделает нож или его замену, которые снимали бы с картошки шелуху потоньше. Так прошла зима. Радио не было – глушь беспросветная.

Осенью 1943 года приехала женщина, Люся Петровна, из зоны, в которой была мама, с разрешением забрать свою престарелую сестру, еще чью-то старушку, меня и пятилетнюю девочку, а также забрать свои вещи. Я должна была срочно вернуться в Зарянку – все были там и ждали меня. Перед ней надо было перейти большущую реку Чулым, а на ней стояла вода. Люди с противоположного берега кричали, что идти опасно, лед тонок, но я пошла одна, без провожавшей меня женщины. На пути к железной дороге предстояло еще пересечь две реки. У сестер были все их вещи, в том числе ножная машина «Зингер» с чугунным основанием. Их дочери были в той же зоне. Набралось три тележки тяжелых. Люся Петровна наняла двух женщин с сыновьями-подростками. Третью мы тащили все вместе. Дорог не было, шли по бездорожью – по месиву из глины, земли и снега растаявшего, по лужам, покрытым льдом. Колеса засасывало в грязь так, что приходилось всем вытаскивать одну телегу за другой. Путь удлинился втрое. Проходили около семи километров в день от одной деревни до другой, где ночевали, заплатив за ночлег. Так прошли половину дороги до реки. Это был настоящий ад. Еда кончилась в первые же дни. Сапог не было, на мне были туфельки с галошами. Все промокло и натерло мне ноги до кровяных мозолей, пришлось их снять и идти в чулках. Для переправы с трудом уговорили мужчину с лодкой. Дело в том, что по реке шла шуга (куски льда), которая скапливалась вдоль берегов, и лодка не могла причалить. Мне пришлось помогать нанятым людям перетаскивать багаж с тележек на лодку, а потом с лодки на берег, находясь по пояс в ледяной воде. Провожатые отказались идти дальше. Оставшийся путь нас везла нанятая грузовая машина.

На станции Асино выдали пропуск и билет только на Люсю Петровну и девочку. Я оказалась без денег, еды и крова, сидела на вокзале и плакала. Подошла женщина, спросила, почему я плачу. Я рассказала. Она оказалась железнодорожницей и взялась меня довезти до города Томска в служебном вагоне. В Томске была пересадка, а у нее начальник станции был знакомым, она рассчитывала у него взять мне билет. В этом же поезде ехала Люся Петровна. Но начальник оказался в отъезде. Надо было как-то пробраться в вагон. Когда началась посадка, толпа отъезжающих нахлынула ко входу в вагон. Проводница еле сдерживала натиск. Все совали ей билеты под нос. Мы заранее рассчитали все так, чтобы стоять среди первых у вагона. Люся Петровна имела два билета, проводница не успевала толком рассматривать. Видела нас двоих, а девочка незаметно, согнувшись, проскочила в вагон. Всю дорогу я пряталась на

багажной полке за тюками и чемоданами. Было страшно, так как вагоны прочесывала милиция, проверяя пропуска. Меня бы арестовали.

Приехала я к маме на шахту «7 ноября», находящуюся в семи километрах от Ленинск-Кузнецка Кемеровской области, в день моего рождения, 21 мая. Началась новая жизнь в зоне – лагере для заключенных. Я на верхних нарах, мама внизу. На работу выводили под конвоем. Жить в зоне безработным было запрещено. Меня и девятилетнего мальчика, приехавшего к отцу, отправили поливать капусту. Стояла жара, палило солнце. Воду из бочки надо было растаскивать по огромному полю в тяжеленных деревянных ведрах. Голова была не покрыта. Солнечный удар был неизбежным, если бы мы не сбежали во время перерыва. Отсидели в тени до конца рабочего дня и вернулись в зону. Наотрез отказались идти на такую работу. Меня отправили работать на эстакаду, куда поступал уголь из шахты, породоотборщицей. Мы стояли у транспортерной ленты, на которой двигался уголь к вагончикам для породы, – мы ее отбирали и бросали в вагонетку, которую отвозили на террикон высыпать. Работать должна была наравне со взрослыми, хотя в ночную смену закон запрещал использовать несовершеннолетних. Осенью мне разрешили пойти в школу. Нас с мамой выпустили из зоны на частную квартиру. В клубе шли фильмы о войне, бравшие за душу, мы их смотрели со слезами, хотелось на фронт – помогать бойцам, подносить снаряды.



Перед нашим домом было подобие площади с трибункой. Я в 1945 году заканчивала седьмой класс. 9 мая выдался ясный день, навсегда запомнилось синее небо с плывущими легкими белыми облачками. Я выбежала на площадь и вместе со всеми радовалась, обнималась, целовалась, плакала. Стали возвращаться фронтовики. В поселок приехал родственник наш, немец, служивший в армии в момент объявления войны, командир поменял ему фамилию на русскую, и он прошел всю войну, вернулся с наградами.

В восьмой класс я уже пошла в городе.

Вернулся отец, жили на съемной квартире в городе. В 1948 году я закончила школу. Серебряную медаль, которую я заслужила, мне не дали. Учиться дальше было некуда пойти, ехать куда-то нельзя.

Мне повезло. Началось воссоединение семейств, разбросанных в войну. Наш комендант был очень хорошим человеком, он предложил отцу отправить меня к родственникам, туда, где есть вуз, и включил в список отправляемых в Свердловск, к сестре мамы. Ехала, как в войну, на нарах в товарняке, просидев двое суток на чемодане – вагон был набит до отказа. Сдавала экзамены с опоздавшими. Сдала. Все годы учебы

отмечалась в комендатуре тайком, чтоб никто не знал, стыдилась.

Закончила с отличием Свердловский государственный университет, химический факультет – немногим из нас удалось получить высшее образование. Несмотря ни на что, когда умер Сталин, проливала слезы, казалось, что без него небо рухнет на землю. Эта любовь была привита с детства.

Несмотря ни на что, когда умер Сталин, проливала слезы, казалось, что без него небо рухнет на землю. Эта любовь была привита с детства.

В 1956 году нас реабилитировали. Но комплекс бесправного изгоя остался на всю жизнь.

В 1956 году нас реабилитировали. Но комплекс бесправного изгоя остался на всю жизнь.

Без отрыва от работы защитила кандидатскую диссертацию. Работала начцеха на заводе п/я № 942, в ряде НИИ: Уральском филиале АН, курортологии и физиотерапии, Институте народного хозяйства, в Центральном НИИ тяжелого машиностроения младшим, потом старшим научным сотрудником. Имею награды: медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «Изобретатель СССР» и «Победитель соревнования» от Министерства тяжелого машиностроения и ЦК профсоюзов.

Организовала пять лабораторий, две из них возглавляла. Многие девушки моего поколения не выходили замуж – наши женихи полегли на фронтах. Мне было еще труднее найти спутника жизни – на бывшей «фашистке», заклейменной многие годы, не каждый решился бы жениться, но опять повезло, хоть поздно, но я обрела семью и дочь.

Местные жители называли нас «выковырянными»
Смирнова Валерия Герасимовна, 1929 г. р

Я родилась 10 мая 1929 года. Когда началась война, мне уже исполнилось 12 лет. В этот момент я была в гостях у отца (родители развелись) под Ленинградом – он работал инженером по водоснабжению на Назиевском торфо-предприятии, недалеко от станции Жихарево, в направлении Волховстроя.

22 июня мы с отцом пошли на озеро, навстречу нам попался какой-то местный работяга, сказал: «Лексеич, куда идешь – война началась». На следующий день я поехала в Ленинград.



Валерия с отцом

Мы с мамой жили на углу проспекта 25-го Октября и Знаменской улицы[9] – там стояла красивая церковь Знамения, ее

взорвали за два месяца до начала войны. На фундаменте этой церкви сейчас расположен павильон метро «Площадь Восстания». А церковь собираются восстанавливать, только пока непонятно где.

Я не помню, чтобы была паника. На коммунальную кухню мама меня не пускала.

Но однажды, когда ввели карточки, я услышала, как одна соседка говорила маме:

«Я по карточкам столько хлеба получила, сколько никогда не покупала».

Поскольку отец работал на Назиевском торфопредприятии, он настоял, чтобы мама отправилась в эвакуацию с этим предприятием.

Нас с мамой повезли в Свердловскую область, на станцию Адуй. От этой станции начиналось Лосиное торфопредприятие, которое состояло из трех поселков. Мы попали в 3-й поселок. Приехали в августе, а с середины года мама устроила меня в школу. 6-й и 7-й класс я проучилась в этом поселке. 7-й класс был там выпускным. В 8-м классе я училась уже в 1-м поселке.

В школе были эвакуированные дети из Москвы, Минска и Ленинграда. Местные жители называли нас, эвакуированных, «выковырянными», но относились к нам неплохо. Лучше всех относились к ленинградцам. Москвичей считали «воображулями».

Мама сначала устроилась на работу в охрану, потом чернорабочей, ходила работать во второй поселок, а я ходила собирать валежник для дома. Тогда я впервые взяла в руки топор.

Помимо занятий, мы обеспечивали школу дровами – старшие рубили высокие сучья, младшие их подбирали.

В мае, в 7-м калссе, мы ходили на сушку, укладку торфа для завода, который поставлял оружие на фронт. Под большой сильной струей воды промывали торф, размытая масса торфа превращалась в полужидкую массу, которуя под большим давлением выливалась на специально подготовленные участки. Когда излишки воды из этой массы испарялись или уходили в землю, тогда пускали фрезерные машины – они разрезали ее на прямоугольники, подобные кирпичам. Потом мы должны были из них укладывать змейки. Кирпичи были очень тяжелые, торф сырой, работа неквалифицированная. Кирпичи клали друг на друга, чтобы проветривались. Это называлось «змейка». Когда кирпичи проветривались, то складывали клетки. Из змеек клали клетки, потом укладывали в штабеля – это уже делали старшеклассники. Штабеля клали так, чтобы торфушки (специальные работницы, завербованные из других областей Предуралья) могли их погрузить в состав и отправить на Верхний

Иссецкий завод (ВИС), который работал на оборону.



Мама Валерии

Норму мы должны были выполнять. И выполняли. «Все для фронта, все для победы!» – для нас были не пустые слова. Не платили ни копейки, перчаток никаких, естественно, не давали (руки я себе на этой работе изуродовала), на обед давали по одной чайной ложке сахарного песка, кипяток и по маленькой булочке (зато без карточки).



Валерия (наверху) с подругами

Учителей не хватало. Конституцию, химию, русский и литературу вел у нас бывший счетовод, инвалид Валентин Иванович, которого не взяли на войну. Математику вел Степан Гаврилович, тоже инвалид, на протезах, он очень хорошо к нам, детям, относился и у нас пользовался огромным уважением.

Преподавали нам и военное дело – учили ползать по-пластунски, на уроках сангигиены учили перевязывать раны.

Книг было мало, один одноклассник,

Сенька Большаков, давал мне почитать свои книги.

Но несмотря на военное время, школу убирали уборщицы, были чернила-непроливайки и писали мы 86-м пером. Тетрадей не было, вместо них использовали всякую бумагу, конторские книги. Но за все время пребывания в этой школе я не помню ни одного случая воровства.

Голод утоляли сосновой жвачкой – смолу подогревали, начинали жевать, сначала она крошилась, потом превращалась в вязкую массу. С тех пор терпеть не могу никакую жвачку.

Эта школа была семилетка, в 8-й класс я перешла в другую школу, на 1-й участок, куда надо было идти километров шесть.

Зимой нас возили по торфяной узкоколейке в вагонах для груза. Вагоны были холодные. Но даже в это суровое время специально для нас организовывали доставку в школу.

Иногда на школу нам выдавали несколько пар хлопчатобумажных чулок (они были дефицитом, да что говорить – все было дефецитом). Вначале учителя спрашивали: у кого очень плохие чулки? Мне было стыдно говорить, что у меня самые плохие (все заштопанные), и я молчала. Наверное, по той же причине молчали и другие.

Не помню скандала по поводу распределения чулок.

Директором торфопредприятия был Башкиров, жил он в одном из домов на первом этаже. И однажды у него в доме все застучало – открывались, закрывались и хлопали то крышка подпола, то дверь… Говорили, что это происходит из-за того, что он заставил торфушек выйти на работу в день Пасхи, а они не хотели идти. Говорили, что чертей к нему подселили. Приезжали всякие комиссии, пытались выяснить – в чем дело.



В конце концов Башкиров переехал в другой такой же дом, и у него снова все застучало. Башкиров даже попросил своего ямщика привезти одного колдуна. Но колдун сказал, что тот, кто

напустил порчу, гораздо сильнее, и он помочь не сможет.

Чем закончилась эта история – не знаю. Мы уехали в 1944 году. 1 декабря были в Ленинграде. Квартиру без нас продали. Отчим – он очень хорошо ко мне относился – пропал без вести на фронте. Вызвали нас знакомые – на станцию Саперную. По дороге брат подцепил корь, и мама пошла в больницу. Ей дали справку, что ребенок в больнице, посоветовали – идите устраиваться на работу. А мама – учительница начальных классов, и ее чернорабочей никуда не брали (из-за образования), наконец взяли в отдел труда и зарплаты на завод Ленина. Жили мы то у одной знакомой, то у другой, год я не училась. Одна мамина знакомая нас пустила жить при условии, что я буду следить за ее дочкой и заниматься хозяйством.

Весь апрель 1945 года настроение было приподнятое – ждали окончания войны.

В ночь с 8 на 9 мая кто-то стал барабанить в нашу дверь с криками «Война кончилась!». Люди бросались на шею друг другу, обнимались, в тот момент нам казалось, что все наши беды остались далеко позади.

В 1948 году в Ленинграде я окончила 313-ю школу. В 1953 году я с отличием закончила Ленинградский государственный университет и начала работать в школе. Я преподавала русский язык и литературу более 50 лет, до 2007 года, получила звание заслуженного учителя русского языка и литературы, я – ветеран труда, отличница народного просвещения.

Дети в оккупации

Меня поразили слова «…а до смерти четыре шага». Много позднее я узнал, что именно из-за них цензоры не хотели пропускать песню. А ведь Алексей Сурков писал не песню вовсе, а фронтовое письмо в стихах своей жене. И лишь благодаря настойчивости композитора Константина Листова дал ему этот текст, не веря, что песня получится.

Жизнь на оккупированных территориях

Руководство Третьего рейха имело особые планы в отношении территории СССР. Архивные документы показывают, что с территории Польши и Советского Союза задумывалось выселить до 75 % людей. План был рассчитан на 30 лет, а к его реализации предполагалось приступить после победы Германии в войне против СССР.

При этом повседневная жизнь оккупированных территорий была трагичной – руководство рейха ставило вопрос об эксплуатации природных ресурсов и физическом уничтожении евреев, цыган, гомосексуалистов, коммунистов, психически больных и прочих «нежелательных элементов». В экономическом же отношении ставка делалась на эксплуатацию продовольственной и нефтяной отраслей.

В годы войны под контролем Германии оказались территории Белоруссии, Украины, Прибалтики и 13 областей РСФСР. Кроме того, Молдавская ССР и некоторые районы УССР перешли под управление Румынии, а часть Карело-Финской ССР была занята войсками Финляндии.

Некоторые из этих территорий считались владением Третьего рейха и имели гражданскую администрацию (рейхскомиссариаты, которые возглавлял назначавшийся из Берлина чиновник), другие же имели военную администрацию.

Рейхскомиссариаты в административно-территориальном отношении состояли из генеральных округов, областей *(гебитов),* округов, районов, уездов, волостей, которые возглавляли генеральные, гебит– и районные комиссары. Всего было создано шесть рейхскомиссариатов: «Норвегия», «Нидерланды», «Бельгия – Северная Франция», «Дания», «Украина» (включал УССР и БССР) и «Остланд» (включал Прибалтику и Западную Белоруссию). Территории к востоку от рейхскомиссариатов «Остланд» и «Украина» находились под военным управлением главнокомандующего немецкими сухопутными войсками, командующих группами войск и армий.

На оккупированных территориях области были переименованы в губернии, учреждены уезды и волости, произведена регистрация населения. Во главе городов и уездов назначались бургомистры, волостные управления возглавляли волостные старшины, в селениях назначались старосты. Для разбора уголовных и гражданских дел, не затрагивавших интересы германской армии, действовали мировые суды.

Для советских граждан в возрасте от 18 до 45 лет была

введена трудовая повинность, при этом рабочий день даже на вредных производствах длился 14–16 часов в сутки. Всё трудоспособное население было обязано работать на предприятиях, открытых немцами, на строительстве укреплений, в сельском хозяйстве, на ремонте и расчистке шоссейных и железных дорог. В соответствии с «новым порядком землепользования» колхозы были ликвидированы и образованы общинные хозяйства, вместо совхозов образованы «госхозы» – государственные хозяйства немецкой власти. Населению предписывалось беспрекословно выполнять установленные немцами нормы поставок мяса, молока, зерна, фуража и т. п. для германской армии. Кроме того, немецкие солдаты грабили и уничтожали государственное и общественное имущество, выгоняли мирных жителей из их домов. Люди были вынуждены проживать в неприспособленных помещениях, землянках, у них отбирали тёплые вещи, продукты, скот.

Среди прочего в Германии для оккупированных территорий был разработан так называемый «План голода» (Der Hungerplan), который также называют «план Бакке» по имени его автора – статс-секретаря немецкого министерства продовольствия и сельского хозяйства Герберта Бакке. Он еще в 1940 году заявил о том, что пищевой промышленности Германии может угрожать опасность, и предложил решить эту проблему за счет Советского Союза. Идея состояла в том, чтобы сократить население оккупированных территорий СССР до тридцати миллионов человек, а излишки продовольствия направить на нужды немецких войск и Германии.

План голода привёл к массовой гибели гражданского населения и советских военнопленных, которые почти не получали питания. Например, евреям было запрещено приобретать яйца, масло, молоко, мясо, овощи. Так называемая «порция» для евреев в Минске и других городах в пределах контроля центральной группы армий не превышала по энергетической ценности 420 килокалорий в день.

Хотя план голода был разработан для Советского Союза, он вскоре был использован в оккупированной Польше. К середине 1941 года в Польше немецкое население получало 2613 килокалорий в день, поляки – 699 килокалорий и евреи в гетто – 184 килокалории. Еврейский же рацион составлял 7,5 % ежедневной потребности в пище, польский рацион – 26 %. Только рацион, выделенный немцам, содержал достаточное количество калорий.

В конце 1943 года план привёл к стабилизации системы обеспечения продовольствием немецкого населения. Осенью 1943

года, впервые с начала войны, продовольственные пайки для немецких граждан, которые ранее были сокращены в несколько раз, были снова увеличены. Полностью же план голода не был реализован – немцам не хватало людских ресурсов для полноценной «продовольственной блокады» советских городов, и они не смогли конфисковать все продукты питания.

На оккупированных территориях немцы организовывали политические школы – специальные учреждения по пропаганде и агитации. Публичные лекции на политические темы в обязательном порядке проводились на предприятиях и в организациях. Читались лекции и доклады через местное радиовещание.

Было введено обязательное школьное обучение с использованием учебников, из которых удалялось всё, что не соответствовало нацистской идеологии. Родителей, не посылавших своих детей в школы, принуждали к этому наложением штрафов. С учителями проводились собеседования в гестапо и организовывались двухнедельные политические курсы. С апреля 1943 года преподавание истории было запрещено и введены так называемые «уроки текущих событий», для которых требовалось использовать немецкие газеты и специальные немецкие политические брошюры.

Порядок в сельских районах обеспечивали полицейские, в крупных населённых пунктах – подразделения СС и охранные части. Был введён строгий учёт местного населения, которое подлежало регистрации в полиции.

Жителям запрещалось без разрешения властей покидать места постоянного проживания.

Распространенным наказанием за нарушения служила смертная казнь через повешение – например, за пользование колодцами, которыми пользовались немецкие солдаты, или за нахождение в запретной зоне железной дороги, или же за распространение слухов. Кроме того, смертной казнью карался отказ от работы, сопротивление грабежу и насилию, помощь партизанам, членство в коммунистической партии и комсомоле, принадлежность к еврейской и цыганской национальностям. Также применялись штрафы, заключение в концлагеря, реквизиция скота и пр.

Еще одной особенностью жизни на оккупированной территории становились еврейские гетто, которые нацисты создавали в крупных городах. Крупнейшее гетто было создано в Варшаве, в нём содержалось до 480 тысяч человек. На территории СССР крупнейшими были львовское гетто (409 тысяч человек) и минское гетто (около 100 тысяч человек).

Всего же на оккупированной территории в годы войны погибло более 7 миллионов 420 тысяч мирных жителей.

Я думал, что отец привезет нам с войны новую игрушку
Владимир Дмитриевич Пименов, 1936 г. р

До войны

Деревня Сухлово, где я родился, стоит на шоссе Псков – Новгород, как раз посередине. В этом месте вдоль дороги протекает река Шеронь. Она берет начало в окрестностях города Порхова и впадает в озеро Ильмень. Протяженность реки около ста километров. Ширина метров 50–70 и глубина 5–6 метров. В довоенное время была перегорожена плотинами во многих местах, где строились мельницы. Благодаря этим плотинам поддерживался большой уровень воды, и в реке было много рыбы.

Деревня наша насчитывала до войны 89 домов. Двести лет назад она имела статус волости, население было около пятисот человек, был полицейский участок, два магазина, две кузницы. В деревне имелся постоялый двор – одноэтажное здание, сделанное из камня.

В нем располагалась кузница и прочие мастерские для ремонта саней и карет, которые ездили по тракту Псков – Новгород.

После революции, когда организовали колхоз «Свободное Сухлово», в этом здании был гараж для колхозной полуторки. Разобрали его в шестидесятых годах прошлого столетия за ненадобностью.

Деревня стоит на левом северном берегу реки, вдоль дороги, на возвышенности, поэтому и называется от слова «сухо».

В деревне была построена часовня. В довоенное время служила моргом и по большим праздникам там проходили службы.



Три брата Пименовы, слева Владимир, в центре Александр, справа Евгений

Колхоз «Свободное Сухлово» занимал территорию в 3500 га. Имелся свой колхозный лес, луга и поля. В деревне была школа, где я впервые начал учиться в 1943 году. Она была большая, но одноэтажная. Проучился там сентябрь месяц, и школу закрыли в связи с началом военных действий. Довоенное время я, конечно, не помню, но отдельные эпизоды жизни запечатлелись в памяти очень ярко.

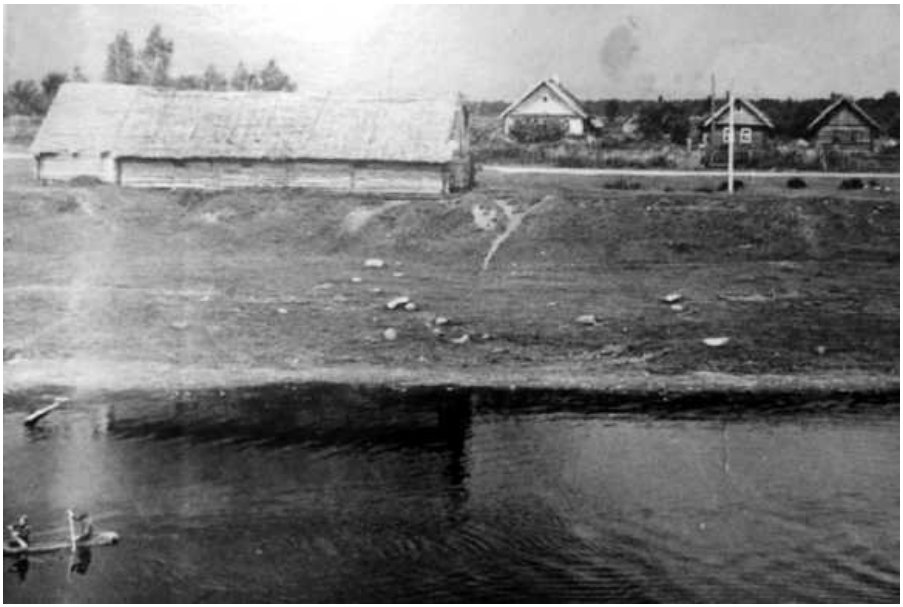
Семья наша к 41-му году состояла из семи человек. Дедушка и бабушка по матери, отец и мать и нас, трое сорванцов: Женя, я – Вова и Саша. Женя родился в 1932 году, я – в 1936 году и Саша в 1937-м. Дед Иван Иванович Большаков – 1868 года рождения. Он был очень мудрый человек, так как прожил большую жизнь,

работал все время на земле, был охотником и рыбаком, занимался садом и пчелами, все последние годы был бессменным лесником колхозного леса. Отец был кузнецом и работал в колхозной кузнице. Кузница находилась недалеко от дома, и я там часто бывал.

В кузнице работали еще два кузнеца. Они были все трое страстные рыбаки (а отец еще и охотник), а также много чудили. Про кузницу всегда в деревне ходили всякие слухи. Например, кузнецы могли, увидев, что кто-то идет по дороге мимо кузницы, нагреть на горне нужную в хозяйстве железяку и бросить ее на дорогу. Человек, увидев вещь, брал ее в руки. Больше всего доставалось глухонемому дяде Жене. Доставалось частенько и мне.

Вероятно, в детстве у меня была неплохая память, и я знал много частушек. Когда в кузнице не было отца и я туда приходил, они всегда просили спеть частушку, и непременно плохую и громко. Я, конечно, пел, меня хвалили, и потом никак не мог понять, почему тут же появлялась мать с ремнем. Она в это время работала в огороде возле дома и, конечно, все слышала.

В летние месяцы в кузнице было много работы. Ремонт колхозной техники: бороны, плуги, косилки и женейки. Работали без выходных. Обычно по воскресеньям приходили на работу пораньше. Клали на наковальню старый лемех от плуга и в три кувалды полчаса лупили по звонкой железяке, после этой операции закрывали кузню и огородами уходили за реку, где с раннего утра уже были заготовлены сети и лодки. Правление колхоза было недалеко от кузни, и все начальство слышало, что кузня работает.



Деревня Сухлово

Правление колхоза находилось как раз напротив нашего дома. Это было большое двухэтажное здание. На первом этаже половину здания занимало правление, вторую половину магазин и весь второй этаж – клуб. В клубе часто показывали кино, и я там бывал с родителями. Конечно, содержания я не помню, но треск аппарата и яркий луч остались в памяти. Ходил я часто и в правление колхоза. Там сидел счетовод дядя Миша. У него не было одной ноги, и он ходил на протезе, с тростью.

Я просил у него книжечку колхозника, пел частушку ему, он вставал из-за стола, открывал старинный сундук, стоявший в углу, я брал одну книжку, бежал домой и рисовал, мне очень нравился запах из этого сундука, запах типографской краски и бумаги.

Немного помню морозы сорокового года. Нас из дома бабушка в морозы не выпускала на улицу. Мы с Сашей, вероятно, ей надоедали, и она сдавалась. Мы одевались, выходили на улицу, и сразу замерзали носы, руки и дышать было почему-то трудно. Мы быстро возвращались домой, и бабушка спрашивала, почему мы так быстро вернулись.

Еще одно воспоминание осталось о финской войне. Моего отца взяли на войну, она быстро закончилась, и наступил день, когда наши деревенские солдаты возвращались домой. С утра уехала наша колхозная полуторка в город Порхов. Туда наши солдаты приехали на поезде из Ленинграда, и вот, вечером, мать встретила отца, и они пошли домой. Отец привез нам с Сашей

подарок – легковую заводную машинку. Мы ее заводили и играли целый день, а вечером во главе со старшим братом ее разобрали, и, конечно, получили хорошую взбучку от матери.

Начало войны. Проводы

Еще осталось много отдельных ярких воспоминаний о днях нашей мирной жизни в сороковом году, и вот наступил год 1941, который я помню достаточно хорошо. Началась война. Мы с Сашей еще не понимали толком, что это такое. Мама все чаще плакала, бабушка с дедом даже на наши шалости не обращали внимания, и все деревенские стали серьезными, прекратился смех и гулянки вечером на пятачке возле часовни. Вскоре деревенские мужики получили повестки, и в назначенное время мы пошли провожать отца в армию. На окраине деревни стояла наша колхозная полуторка, отец нес Сашу на руках, справа шли мама и брат Женя, я шел слева, рядом с отцом. Я думал о том, что отец скоро вернется, как и в финскую войну, и привезет нам новую игрушку. Игрушку мы с Сашей не хотели, а просили отца, чтобы он привез нам две красных звездочки.

> Из нашей деревни ушли на фронт пятьдесят два человека, а вернулись восемь.

На проводы собралась вся деревня. В основном все женщины плакали. Потом поступила команда садиться, и наша колхозная полуторка повезла наших отцов в город Порхов. Машина в деревню больше не вернулась. Ее мобилизовали на войну.

Из нашей деревни ушли на фронт пятьдесят два человека, а вернулись восемь. Из их рассказа получилось следующее. В Порхове их обмундировали, выдали оружие, скомплектовали войсковое подразделение и отправили на боевые рубежи под город Волгу. Прибыли туда поздно вечером, стали занимать оборону. Утром оказалось, что они уже окружены. День они кое-как оборонялись. Оружия не было, на пятерых одна винтовка, гранат и патронов было мало, командиры или были убиты, или сбежали. Ночью провели что-то вроде собрания. Решили разделиться на три группы. Первая группа голосовала за то, чтобы сдаться в плен. Немцы целыми днями и ночью кричали в громкоговорители и обещали золотые горы. Вторая группа говорила, что нужно идти к своим, вырываться из окружения. Третья группа решила, что нужно идти в партизаны. На отца мы получили извещение в 1944 году, что он пропал без вести.

Шофер нашей колхозной полуторки дядя Коля прошел всю

войну и вернулся домой стариком, совершенно глухим, его очень сильно контузило, и он потерял слух.

Жаркое лето 41-го

Наступил июль 41 года. По шоссе со стороны Пскова потянулся непрерывный поток отступающих. Шли, в основном, повозки, много было беженцев, которые тянули на себе тачки всяких конструкций, шли солдаты, санитарные машины, шли так плотно, что нельзя было перейти на другую сторону. Много жителей ушло из нашей деревни, особенно колхозный актив. Наши деревенские дошли до Новгорода и, перейдя Волхов, обосновались кто где мог. Там они работали всю войну в колхозах и на предприятиях. Все они вернулись домой в конце 44 года, когда нас освободили.

Наш дед Иван пережил войну 1914 года, и опыт жизни в военное время у него был. Самое первое, что он сделал, – это выкопал на краю нашего огорода землянку. Она была небольшая, метра три квадратных, но глубокая и имела потолок.

Все колхозное имущество, которое не забрали в армию, распределили по дворам колхозников. Так у нас появилась телега, лошадь, плуг, борона.

Где-то в десятых числах, часа в три, мы с Сашей пошли купаться на реку. В середине деревни река делала изгиб, и наш северный берег был песчаный и мелководный, здесь брали песок для хозяйственных нужд, и весь берег был изрыт углублениями. Возле воды был чистый песок, там мы купались и загорали. Лето было жаркое, и вся деревенская малышня пропадала там целыми днями. И вот, в один из дней, на берегу реки около нашего деревенского пляжа, в полдень, остановилась воинская часть. Было жарко. Солдаты, конечно, раздевались, мылись и купались. На берегу между дорогой и берегом стояла походная кухня. Солдаты накупались, пообедали, стали собираться в дальний поход. Мы с Сашей в это время находились на пляже. Вдруг из-за леса, на другом берегу реки, вылетел самолет. Он летел низко вдоль реки. Я увидел, как что-то отделилось от самолета и полетело вниз. Раздался взрыв. От нас это было метров 300.

Следующий взрыв произошел в реке. Поднялся очень высокий столб воды. Самолет летел дальше, на восток, уже над деревней. Следующий взрыв произошел в конце деревни. Бомба попала в дом моего деда по отцу. Дом был большой, но в нем уже не жили.

У отца была большая семья: 5 братьев и одна сестра. Дед уже умер, бабушка сильно болела, и потом, когда пришли немцы, она

уже умерла. Остальные дети жили в разных городах со своими семьями, все были взрослые.

Я увидел, как полетели бревна в разные стороны, и, что удивительно, дом не загорелся. Папина мать, моя бабушка, находилась в другом доме. В это время прибежал к нам брат Женя, ему было почти десять лет, и увел нас домой, посадил в землянку, принес мешок с сушеными яблоками и приказал сидеть, а сам куда-то убежал. Пришел он к нам часов в восемь вечера и привел нас домой. Дома топилась печь, что меня сильно удивило, я раньше никогда не видел, чтобы печь топили вечером. Бабушка жарила мясо, потом пекли хлеб. Нас мама накормила и уложила спать. Было еще очень светло, вдруг над деревней пронеслось низко несколько самолетов. Они пролетели над деревней на восток, не стреляя и не бомбя. Через минут десять они вернулись назад, пролетев на запад. После этого все стихло, и мы с Сашей уснули.

> Наши женщины, вооружившись ведрами и коромыслами, принесли в наш лагерь эти сваренные немецкими поварами макароны. Макароны были с консервами и много масла.

Проснувшись утром, я увидел запряженную в телегу лошадь. Из разговоров старших я слышал об эвакуации. Я не знал, что это такое, но предположил, что нужно куда-то ехать. Часов в десять утра дед посадил нас на телегу, и мы поехали. Ехали мы в сторону леса на север. Там в лесу, километра через три, протекала река Ситня. Она текла с запада на восток, в основном все время по лесам. Впадала она в нашу реку через 15 километров. Река неширокая и неглубокая, но вода в ней очень чистая и холодная. Вот к этой реке мы и приехали. Там я увидел почти всех наших деревенских. Было как-то очень интересно, мы, ребятня, купались в Ситне и плюс ко всему могли целый день ловить раков. Потом сюда пригнали коров и всю живность, готовили пищу на костре в большом чугунном котле. По ночам слышалась канонада, часто летали самолеты, их обстреливали. Там мы прожили с месяц.

В течение этого месяца произошли важные события. Возле нашей деревни произошел бой. Деревня наша с севера и востока окружена лесом. Но лес от деревни начинался через полтора-два километра. С юга была река Шелонь, а на другом берегу – Дновский район, и на берегу реки стояла деревня Кипрово.

Отступая, наши части поставили за деревней, в начале леса, танки, и, когда немцы начали наступать, завязался бой. В результате этого боя были подбиты две немецкие машины. Одна

машина была набита продовольствием – макаронам, крупами, галетами и прочим, – другая буксировала кухню. Наши танки были подбиты и сгорели, немецкие были сразу убраны. Немцы почему-то бросили и кухню, и машину с продуктами, и даже не подожгли.

Наши женщины, вооружившись ведрами и коромыслами, принесли в наш лагерь эти сваренные немецкими поварами макароны. Макароны были с консервами и много масла.

После этого боя наступило затишье. И вот однажды к нам в лагерь верхом на лошади приехал немецкий офицер. Он подозвал к себе ребят постарше и спросил, показывая рукой на реку: «Ситня?» Ребята сказали да, он еще посмотрел на карту, потом свернул ее, сунул в планшет, развернулся и уехал в сторону деревни. Так впервые мы увидели немца. Пока мы там жили, дед выкопал окоп на высоком берегу Ситни. Тогда те, у кого были возможности, выкопали окопы, сделали потолки из бревен, поставили внутри, верней, заготовили буржуйки. Эти окопы нам очень пригодились зимой с 43 на 44 год, там нам пришлось прожить два месяца.

Вскоре после встречи с немцами все деревенские вернулись в деревню. Когда приехали домой, все оказалось на месте, деревня была цела. Вокруг деревни находились поля, засеянные рожью. Поля были наполовину смяты гусеницами танков. На нашем огороде стояла немецкая легковая машина около бани. Возле переднего левого колеса была маленькая воронка. Осколок от взрыва пробил капот и перебил рулевую трубу, и все, в остальном машина была исправна. Машина в таком виде простояла до зимы. Мы боялись что-нибудь брать с нее, но так как немцы к ней интереса не проявляли, то дед стал ее потихоньку использовать. Сначала он снял колеса и достал камеры. Там была красная резина очень хорошего качества. Из этой резины впоследствии дед наклеил всем галоши и валенки. Снял внутреннюю обшивку кузова, и мать сшила мне куртку, которую я проносил всю войну. Братья постарше растащили весь щиток приборов. Так она простояла до 44 года. Когда пришли наши, весной 44-го, – сняли двигатель и мосты, а кузов забрали позже. Так что мы с Сашей играли в настоящей машине, где были руль, педали и прочее. А когда выросли, проработали всю жизнь шоферами.

Жизнь в оккупации

Итак, мы начали жить в оккупации. Немцы нас не обижали, не грабили, и поэтому нашим деревенским удалось собрать

колхозный урожай и запастись продуктами на зиму 42 года. Немцы постоянно у нас не жили. Они назначили старосту, который должен был доводить до сельчан все немецкие приказы, касающиеся населения. На деревенском сходе поделили колхозную землю между собой. У всех были приусадебные участки, каждой семье выделили землю возле дома, а кому было мало, можно было брать на дальних полях. Коровы были у всех довоенные. Осенью убрали урожай и стали ждать зиму.

До революции в деревне был определенный уклад жизни. С приходом советской власти и колхозов этот уклад был нарушен. В чем он заключался? Все весеннее и летнее время деревня занималась сельхозработами, то есть выращиванием продуктов питания, а когда наступала зима, крестьяне занимались промыслом. Промысел был связан с изготовлением телег, саней, валенок, шуб, тулупов, хомутов, сбруи и прочих крестьянских вещей, необходимых в деревенском быту. Занимались этим промыслом в каждой деревне, но по какой-то одной профессии. Так, например, Сухлово славилось кузнецами. У нас было в старину две кузницы. Деревня Вошково, расположенная в трех километрах от нашей, славилась плотниками. Там можно было заказать телегу, построить дом, сделать раму и прочие столярные изделия. Там делали телегу из дерева, потом ее привозили в Сухлово, и наши кузнецы обковывали ее железом.

В Кипрове и Костыжицы катали валенки. В деревне Порушка жили печники, в Козловичах занимались шкурьем. Там выделывали шкуры и шили шубы, тулупы, изготавливали хомуты и прочую упряжу. В каждой деревне зимой не сидели сложа руки, где-то шили обувь, вязали свитера, носки, варежки, где-то шили летнюю обувь. Когда стали колхозы, всем этим заниматься запретили, это все считалось нетрудовыми доходами, но люди втихую этим делом занимались, потому что альтернативы этому не было. Этих вещей нигде нельзя было купить, да и денег у крестьян не было, работали в колхозе за трудодни, можно сказать бесплатно, так как весь урожай в колхозе сдавали государству по плану, потом сверх плана, и если в районе узнавали, что в колхозе что-то осталось, то просто отбирали. Как это происходило, правдиво показано в фильме «Председатель». Это единственный кадр, где была показана правда о сельской жизни до войны и после войны.

В сорок первом году этот промысел расцвел пышным цветом. Все старики – это бывшие мастера своего дела. В деревне все стало на свои места. Сшить одежду и что-то сделать было без проблем. Зимой 41-го дед нанял портного, который жил у нас месяца два. Он сшил нам троим по пальтишку, маме красивый

полушубок, деду новую шубу и много чего по мелочи. Денег не было, и расчет шел по бартеру, в основном зерном.

Когда пришли немцы, то в деревне осталось много беженцев, которые не успели уйти. Они заняли клуб и пустые дома, из которых ушли наши жители на восток. Конечно, у них пропитания не было, но они помогали другим по хозяйству и этим зарабатывали на жизнь. Беженцы жили у нас до конца войны, и все-таки в конце сороковых все уехали на свою родину, это Западная Белоруссия и Украина. Жили, конечно, не то чтобы хорошо, но особенно сильно не голодали, даже беженцы.

> Первую зиму они прожили в землянках, а в следующее лето построили там деревню, где и прожили всю жизнь. Когда он после войны в 47 году приехал один на родину, к нам в гости, и посмотрел, как мы живем, сказал: «Спасибо товарищу Сталину, что он сослал нас в Сибирь». Сосланные люди были кулаки, а это самые трудолюбивые люди.

У моей мамы был родной дядя Гриша, самый старший, и две сестры, старшая тетя Аня и младшая тетя Надя. Во времена НЭПа вся семья Большаковых сумела купить маленькую мельницу в деревне Козловичи. На этой мельнице мололи муку. В тридцатые годы дядю Гришу раскулачили. Отобрали мельницу, а его с женой и двумя детьми сослали на Урал. Как он потом рассказывал, привезли их в лес в районе Кочконора, вывели из вагонов, поезд ушел, а они остались. Первую зиму они прожили в землянках, а в следующее лето построили там деревню, где и прожили всю жизнь. Когда он после войны, в 47 году, приехал один на родину, к нам в гости, и посмотрел, как мы живем, сказал: «Спасибо товарищу Сталину, что он сослал нас в Сибирь». Сосланные люди были кулаки, а это самые трудолюбивые люди.

Во время войны деревенские организовали бригады строителей. Строители уходили в тайгу и там добывали золото и платину. Там им простили все грехи и за сданное золото хорошо платили. Продукты были все, а также купить можно было любые вещи. Потом дядя Гриша приезжал к нам в деревню много раз, в Кочконоре у него родились еще две дочки.

Две мамины сестры жили до войны в Петродворце, и обе работали кондукторами в местном автобусном парке.

В сентябре месяце 41 года немцы выбросили десант между Стрельной и Петродворцом. Они оккупировали Петродворец. Тетя Аня на автобусе уехала в Ленинград, а обратно вернуться не смогла, дорога была перерезана. В Ленинграде их автобус отдали в медсанбат, а тетя Аня стала санитаркой. До 44 года она была

при госпитале в воинской части и погибла в 44 году. При отступлении немцы минировали все крупные сооружения. Когда приходили наши части, то эти сооружения использовали для своих нужд. Так они использовали в Эстонии большое сельскохозяйственное здание под госпиталь. Примерно через неделю, ночью, над этим зданием пролетел немецкий самолет. Он дал сигнал по радио, и все это сооружение взлетело на воздух. Тетю Аню придавило бревнами, и она погибла. У нее остались дочь Соня 14 лет и сын Коля 12 лет.

> Выгрузив из вагона, немцы построили их в отряд и стали отбирать мальчиков. Тетя Надя не растерялась и переодела Колю в Сонину одежду. Так как девочек не брали, то Коля остался цел.

Когда немцы пришли в Петродворец, то все мирное население собрали южнее Петродворца. Жили они там целый месяц в железнодорожной будке. Тетя Надя, Соня и Коля. Через месяц их погрузили в вагоны и привезли в Латвию, недалеко от Пскова. Выгрузив из вагона, построили в отряд и стали отбирать мальчиков. Тетя Надя не растерялась и переодела Колю в Сонину одежду. Так как девочек не брали, то Коля остался цел. После этого их расселили по хуторам к латышам в дома и дали справки, что они беженцы. Благодаря этим справкам они двинулись в путь к нашему дому. Расстояние в 500 километров они прошли за полмесяца, и где-то в ноябре, на большую радость деда и бабушки, они пришли к нам. Так наша семья стала составлять девять человек.

В сентябре 41 года открыли школу, и деревенская детвора в возрасте до четвертого класса пошла учиться. Учились в школе по советским учебникам, так как других не было. В школе ввели Закон Божий и раз в неделю из Опок, где была действующая церковь, приезжал батюшка и читал проповеди. В сентябре и октябре по ночам в деревню приходили солдаты нашей армии. Они тихонько ночью стучали в окно и просились переночевать и поесть. Их, конечно, пускали. Кормили, и они оставались ночевать. Они шли группами и по одному, с оружием и без. Обычно их прятали в банях или в гумнах, на окраине деревни, чтобы в случае прихода немцев они могли уйти. К нам тоже приходили солдаты, и дед их прятал в бане. Они день отдыхали, а в ночь уходили. Шли они, в основном, на станцию Батецкая, многие шли босиком и, чем могли, им помогали.

Только один раз получился прокол. Два наших солдата рано утром зашли в гумно. Они там легли спать. Одна женщина видела. Днем по деревне ехали два немца на мотоцикле. Эта

женщина остановила их и сказала, что в гумне находятся два партизана. Немцы сначала не хотели туда идти, но женщина настояла. Они развернули мотоцикл и поехали к гумну. Солдаты наши, видимо, со сна растерялись. Вероятно, патронов у них не было, они выскочили из гумна и побежали по ржаному полю в сторону леса. Немец снял винтовку, передернул затвор, встал на правое колено, левый локоть поставил на левое колено и выстрелил. Он с двух выстрелов убил обоих. Эту женщину немцы потом наградили, а когда пришли наши в 44 году, ее забрали сразу, и больше мы ее не видели. Ночью один наш колхозник отвез тела на лошади в лес и там в бору их похоронили. Потом, когда я ходил с первого по четвертый класс в нашу школу, мы ко Дню Победы ходили, украшали эту могилку.

Немцы. Лжепартизаны. Листовки

Пришла зима 41–42 года, начал выпадать снег, и ударили очень сильные морозы. До нас стали доходить слухи, что в Ленинграде очень сильный голод. Немцы дали распоряжение чистить дорогу Псков – Новгород. Движение по ней было большое. Наш участок, примерно 5 километров, территория нашего колхоза, разделили на количество дворов. Нам достался участок за деревней метров 50 и участок в деревне. Всю зиму мы должны были содержать свой участок в чистоте, иначе, как гласит приказ, – расстрел. Правда, до расстрела дело не дошло ни разу, но все приказы заканчивались этими словами.

У нас в середине деревни стоял пустой скотный двор. Он пустовал, так как колхозных коров не было. Немцы облюбовали его под склад. До Порхова из Германии боеприпасы шли в вагонах, а из Порхова до Новгорода их возили на лошадях и машинах. Из Порхова до нас боеприпасы возили на лошадях и разгружали в этот скотный двор. Телеги были большие и на резиновом ходу. В зависимости от веса, запрягались четыре, шесть, восемь лошадей. Если были снаряды, то восемь лошадей, а если амуниция или продукты, то четыре или шесть лошадей.

Морозы в январе 42 года стояли сильные. На этих немцев-кучеров было жалко смотреть, они были обуты в сапоги, на голове – пилотка и в шинели. Слово «кольт» [10] не сходило с губ. Они все время прыгали и махали руками: «Кольт, кольт!» Утром они выезжали из Порхова и 35 километров ехали часа четыре. Разгружались и ехали обратно. Потом, ближе к весне, на машинах увозили это все в Новгород. Там была линия фронта, а у нас прифронтовой тыл.

В феврале 42 года в один из дней к нам пришел староста. Он сказал деду, что к нам в деревню в воскресенье приедет большое немецкое начальство. В деревне, кроме деда, охотников не осталось, все на фронте. И поэтому дед должен сходить с ними на охоту. Дед все приготовил для охоты, сходил, поставил флажки в лесу. Рано утром к нам во двор приехала шикарная легковая машина. Из нее вышли три больших чина. Они были тепло одеты: в белые полушубки, валенки. Погода стояла очень холодная, но солнечная. Они встали на лыжи и во главе с дедом пошли на охоту. Водитель этого лимузина, укутав моторный отсек ватным одеялом, остался в нашем доме. Через каждые полчаса он ходил прогревать машину. Мать по выходным ставила на стол швейную машинку и чинила наше детское бельишко. Немец сел рядом, и они «разговорились». Немец немножко говорил по-русски. Он показывал фото жены, родителей, двух дочерей. Был он из богатой семьи. Войны, конечно, он не хотел и говорил, что нужно Гитлера и Сталина посадить в одну клетку, и пусть они там воюют. Кто победит – того и победа. Потом, когда ходил к машине, брал и меня с собой и сажал на пассажирское сиденье рядом с собой. На левом переднем крыле были прикреплены лыжи. Он один раз даже снял их и предложил мне покататься. Увидев шестилетнего ребенка на двухметровых лыжах, рассмеялся и положил их на место. Вечером они вернулись с охоты и уехали в Порхов. Вечером дед восторгался их ружьями. У нас была собака, сибирская лайка. С этой собакой они и ходили на охоту. Пес был молодой. Звали его Тузик. Он так понравился немцам, что они приехали через неделю и купили его у деда. Нам было очень жаль Тузика, но успокаивало то, что у нас была еще одна охотничья собака – Дунай, с ней охотился наш отец.

Летом 42 года жизнь протекала спокойно. Работали очень много и усердно. Дед был хороший и опытный хозяйственник. Он сеял много гороха и овса. Всю последующую зиму мы ели овсяную и гороховую кашу. Даже нас, детей, дед заставлял работать. Так я в шесть лет возил навоз. Дед дома, со двора, грузил навоз в телегу, потом сажал меня на телегу, давал в руки вожжи, и я ехал в поле. В поле меня встречала мать, выгружала и разбрасывала навоз по полю, и я ехал домой к деду. Осенью так же во время уборки мы помогали убирать урожай.

Немец немножко говорил по-русски. Он показывал фото жены, родителей, двух дочерей. Был он из богатой семьи. Войны, конечно, он не хотел и говорил, что нужно Гитлера и Сталина посадить в одну клетку, и пусть они там воюют. Кто победит – того и победа.

Где-то в поле, в дождливый день, под вечер, к нам в деревню приехал отряд немцев со стороны Новгорода. Они остановились в деревне. Немцы стали ходить по домам, приказали в каждом доме освободить по одной комнате и стали расселяться по домам. К нам в дом пришли часов в девять вечера. С фонариком обошли и проверили весь дом. Мы, три брата и двоюродный Коля, уже спали на сеновале. Немец осветил нас фонариком, сказал «гут» и удалился. К нам поселили на постой трех немцев. Они заняли комнату, а Соня, мама и тетя Надя перешли спать в рядом стоящий амбар, где до этого спал один дед. Амбар летом был пустой, там навели порядок, поставили кровати и стали жить. В доме осталась одна бабушка, она спала на печке и готовила нам пищу.

В общем, в нашу деревню приехало на отдых с фронта воинское подразделение. Вероятно, это был минометный батальон, потому что из вооружения были одни минометы. Обосновались они основательно. Для машин вырыли укрытия, для минометов в берегу реки Шелонь – огневые точки. В середине деревни в одном из дворов поставили кухню. Погода наладилась, и немецкие солдаты стали отдыхать. Они купались, загорали. В нашем доме расположились сапожная и портновская мастерские. Приходили немцы и приносили обувь и одежду в ремонт. Все немцы были молодые. По вечерам они устраивали танцы под аккордеон. За деревней на лугу поставили футбольные ворота и почти каждый вечер играли в футбол. Мы, дети, целыми днями пропадали на речке. Иногда прямо на наш пляж на машине приезжали немцы. Они загоняли машину в реку и просили помыть снизу. Давали нам щетки, и мы мыли ходовую часть. Когда машина была вымыта, водитель всегда нас за работу угощал. Самым маленьким, вроде меня, он давал пакетик с сухим лимонадом, а ребятам постарше по сигарете. Вечером, в восемь часов, они делали развод на караул. Выстраивалось подразделение, которое заступало в караул, им зачитывался приказ, потом играл оркестр марш, и они проходили строем. Комендантского часа у нас не было. Часовые ночью ходили по двое. Они ходили в мае в халатах и в москитных сетках. Партизан в 42-м году еще не было. Было довольно тихо. Вдоль деревни, на околице, стояли гумна. На чердаках немцы поставили стереотрубы и вели наблюдение круглые сутки. Один раз в хорошую погоду несколько девушек сушили сено. Зашел разговор о том, видят ли их немцы или нет. Расстояние до деревни километра два. В том месте уже поля кончились, и начинался лес. Несколько девчонок пошли в кусты по малой нужде. Моя тетя Надя повернулась к деревне спиной и похлопала себя по мягкому

месту. Через некоторое время пошли на очередные танцы, те молодые немцы смеялись и говорили: «Ах, Надя, Надя!» Вот такое было наблюдение.

Немцы даже устроили один раз учения. Минометы стояли у них на боевых точках. Они запретили в этот день пасти скот и выходить из деревни на сельхозработы. Поставили километра за 2 мишени: белые щиты 2 на 2 метра – и стреляли из минометов. Они уехали через месяца полтора так же неожиданно, как и приехали, вероятно по тревоге.

Детей в деревне у нас было много. Да еще много было беженцев. Однажды, после ухода немцев, один мальчик из беженцев собрал компанию из своих ребят да плюс еще деревенских и решили пойти в поле за земляникой. Время было часов 13–14 дня. Пока они шли по деревне, многих ребят позвали домой обедать, так что компания осталось маленькая. Они пошли собирать землянику и нашли большой снаряд. Старшему было лет 12, он сказал, что умеет разряжать снаряды, и стал бить по головке камнем. Рядом с ним стоял его младший брат. Остальные ребята убежали, сказав, что снаряд трогать нельзя. Только они убежали до канавы и спрятались в ней, раздался взрыв. Потом родители этих двух братьев по полю собирали несколько кусочков тел мальчиков. Хоронили их в маленьком гробике: все что собрали. Это были первые смерти в нашей деревне.

В 41 году тоже были убиты наши солдаты при отступлении, но их не успели похоронить. Были убиты и немцы во время боя в 41 году. Так, около нашей школы возле дороги была могила с крестом. Как-то в августе 42 года пришла в деревню большая закрытая машина. Она доехала до этой могилы и остановилась. Из нее вышли двое немцев с автоматами, одна женщина в медицинской форме и трое наших военнопленных. Пленные взяли лопату и стали разрывать могилу. Там лежали 3 немецких трупа. Они были завернуты в плащ-палатки. Женщина развернула палатки, достала жетоны, которые были у нее на шее. Жетон представлял круг из алюминия с двумя одинаковыми номерами. Посреди жетона шла линия разлома. Она отломала половинку жетона на каждом трупе, а вторая половинка так и осталась на цепочке на трупе. Потом их погрузили на машину и увезли. В сорок втором они еще разрывали могилы и отправляли своих солдат на родину, а в последующие годы зарывать мертвых немцев приходилось жителям нашей деревни.

Осень 42 года прошла без особых больших событий. Все население старалось убрать урожай и запасти больше пропитания на предстоящую зиму. Осенью сорок второго немцы стали брать молодежь на работы. Так в сентябре забрали тетю Надю и еще

несколько девушек. Их привозили под Старую Руссу, и они там работали до нового 43 года на лесозаготовках. Отпустили их домой на Рождество католическое. Немцы этот праздник отмечали очень широко. Даже тетя Надя принесла оттуда литровую бутылку рыбьего жиру, который впоследствии нам с Сашей споили.

Зима 42–43 года была не очень холодная, по сравнению с 41 годом, но зато очень снежная. Соответственно, приходилось много работать по очистке снега на дороге. Стали появляться слухи о партизанах, немцы очень боялись партизан и приказали вдоль дороги, которая шла лесом до соседней деревни, выпилить весь лес на сто метров. Вся дорога была очищена до самого Новгорода. Сразу после Нового года к нам ночью постучали. Дед вышел, открыл дверь, и в дом вошли два человека. Они представились партизанами. Были они чисто одеты и не обросшие, без бород. На улице еще было несколько человек. Они ничего не просили, а стали действовать как грабители. Выкидывали все из шкафа, забрали женское белье моей матери, вещи тети

Нади, потом залезли в подвал. Там стояли ульи с пчелами. Дед держал несколько ульев с пчелами и на зиму убрал их в подвал. Разорив ульи, взяв несколько рамок с медом, они ушли. Мы сразу поняли, что это не партизаны. Партизаны были все обросшие, с бородами, все худые и, в первую очередь, просили есть, а эти начали грабить женское белье. Потом мы узнали, что немцы специально создавали такие отряды из уголовников и всякого отребья, пускали их по деревням грабить население, выдавая себя за партизан. Сами немцы писали всякие приказы, в которых говорилось: «Кто из населения заметит появление партизан, должен немедленно сообщить об этом немецкому командованию, иначе расстрел».

Потом мы узнали, что немцы специально создавали такие отряды из уголовников и всякого отребья, пускали их по деревням грабить население, чтобы они при этом выдавали себя за партизан.

Так для нас начался 43 год, самый тяжелый и самый кровавый. Зиму мы прожили довольно спокойно. Немцы по-прежнему у нас в деревне постоянно не находились, и поэтому население жило своим чередом. Весной обработали землю, что могли, посадили и посеяли. Что делалось в мире – мы не знали. Кое-какие слухи до нас доходили, но этого было мало. Немцы в 43 году стали совершенно другими, по сравнению с 41 годом. Они уже не так играли на губных гармошках, были более

молчаливые и серьезные, не хохотали, как в 41-м.

Однажды в феврале или начале марта мы на дороге играли в шалыгу – такая игра, вроде хоккея. Устав от игры, мы сели на перила моста через ручей. У всех в руках были клюшки. Вдруг с запада над дорогой вылетел самолет. Время было к вечеру, и летел он сравнительно высоко. Ребята, смеясь, подняли клюшки и стали целиться в самолет. Он улетел, а мы продолжали сидеть. Вдруг с восточной стороны раздался рев самолета, он летел над деревней очень низко и стрелял из пулемета. Мы, как воробьи, в момент слетели под мост. В это время к мосту подъезжала повозка, мужик торговал рыбой и снетками. Когда самолет улетел и стало тихо, мы вышли из-под моста и увидели, что с неба падают листовки. Повозка стояла возле моста, лошадь лежала на дороге. Оказалось, что самолет попал одной пулей в левую заднюю ногу лошади. Тут собрался народ, рану перевязали, лошадь подняли.

Кость в ноге была цела, и мужик на следующий день потихоньку уехал дальше. Оказалось, что самолет разбрасывал листовки, заметил, что на него нацелились клюшками, принял нас за партизан, развернулся и дал очередь. Больше мы так не шутили. В листовках был призыв не помогать партизанам, а кто будет этим заниматься, тому смерть.

Партизанское движение

В начале лета 43 года иногда по воскресеньям в деревню стали наведываться немцы. Они приезжали за молодежью. Ребят и девчонок в возрасте 14–15 лет они забирали и увозили в Германию. В этот день, когда началась облава, вся молодежь уходила в лес, шли на дальние от деревни сельхозработы. У многих были оборудованы места, где можно было спрятаться, если вдруг немцы приходили неожиданно. Стало ходить много слухов о партизанах. Кое-где вспыхивали перестрелки, что-то где-то взрывали. Однажды в июле месяце к нам в деревню из леса пришли три партизана. Они были одеты во все кожаное, на фуражках звездочки, полевые сумки, пистолеты на ремне. Они пришли в центр деревни и, где обычно, на пяточке около часовни, велели собирать народ. Собралось народу немного, в основном наш брат, дети да старики. Один из них сделал что-то вроде доклада. Рассказал о победах нашей армии, о положении на фронте, о положении в Ленинграде и сказал, что они настоящие партизаны. Рассказал о тех партизанах, которые нас грабили в 42 году. Сказал, что скоро тут будут бои, чтобы мы прятали свое

имущество, так как будут гореть постройки, потому что идет народная партизанская война, и чтобы мы всячески помогали партизанам и едой, и одеждой. С этим они и ушли обратно в лес. Как потом рассказывал один старичок, в это время он ходил в лес за грибами и видел, что пришли в деревню трое, а в лесу ожидало их еще человек 30. Так в июле месяце 43 года в нашем краю зародилось партизанское движение.

И где-то в сентябре месяце в партизаны ушел мой двоюродный брат Николай Николаевич Екимов. Было ему 14 лет. В нашем районе была сформирована 10-я партизанская бригада, ближе к городу Сольцы действовала 5-я бригада. Коля попал во второй отряд 10-й бригады, где командиром отряда был бывший военный Журавлев. Попал он в отряд снабжения ездовым. Занимались они, в основном, добычей кормов для лошадей и продуктов питания для партизан. Иногда их посылали в разведку. Один раз попали в немецкую засаду. Они вдвоем с таким же мальчиком поехали в деревню узнать, есть ли там немцы или нет. Положили на сани целый воз сена и поехали, якобы купили сено и везут домой. Допросили их и, вероятно, поверили. Сено с саней скидывать не стали и отпустили. Если бы нашли винтовки, то мальчишек, конечно, расстреляли бы. Это все было в осенние месяцы 43 года. Партизаны, в основном, базировались в деревнях, которые находились в лесу, вдалеке от шоссе Псков – Новгород. В нашу деревню партизаны пришли где-то в ноябре месяце.

Станция Дно находилась за 25 километров от нашей деревни строго на юг, это по шоссе. Если считать по прямой, то получается 18 километров, это очень крупный железнодорожный узел. Для немцев эта железнодорожная ветка имела очень важное стратегическое значение. Через станцию Дно проходили все железнодорожные составы, питающие немецкую армию на ленинградском фронте. Вот, в основном, из-за этой станции в тылу у немцев развернулось такое сильное партизанское движение. Весь Дновский район был обложен партизанскими отрядами. Уже с сентября 43 года повсеместно шли стычки с немцами. Деревни горели каждую ночь. У партизан была главная задача – это железная дорога. Немцы в Дновском районе сосредоточили очень большие охранные силы.

Отряды СС

Появились и первые отряды СС. Еще немцы, отдыхая у нас в 42 году, говорили, что они такие же люди, как мы, и они нас не тронут. Но если придут солдаты СС в черной форме, то мы

должны убегать в лес или прятаться куда угодно, только не попадаться им на глаза. Это нелюди. Они с детства приучены убивать. В основном, у них нет родителей. Они росли и воспитывались в детских домах. Там их учили только убивать.

Деревня Горушка находится от нас в семи километрах на восток, на том берегу Шелони, в Дновском районе. В октябре месяце там появились партизаны. Естественно, произошел бой, партизаны ушли. Немцы в отместку выгнали все население в поле и расстреляли. Там погибло, по-моему, 240 человек. Там сейчас поставили памятник. Я после войны рыбачил на Шелони и познакомился с одним из участников этого события. Он мне ровесник. Он рассказал, что, когда их в поле построили в строй, мать прижала его к себе под пальто и предупредила, чтобы он оттуда не вылезал. Когда мать, убитая, упала, он оказался под ней. Лежал там молча, не шевелясь. После расстрела они обложили трупы соломой, подожгли и ушли. Из этой кучи выползли всего шесть человек, это были дети, которых спасли матери. Там была и моя родня по линии отца. Это были люди – мастера по глиняному делу. Они по всей округе клали печи, камины и делали горшки.

> Немцы, отдыхая у нас в 42 году, говорили, что они такие же люди, как мы, и они нас не тронут. Но если придут солдаты СС в черной форме, то мы должны убегать в лес или прятаться куда угодно, только не попадаться им на глаза. Это нелюди. Они с детства приучены убивать.

После этого слух разнесся быстро, и мы, малые и старые, четко знали, что если придут отряды СС, то нужно уходить в лес. Партизанские отряды росли как на дрожжах. Все молодые люди, которым в 41 году было по 14–15 лет, в 43-м должны были служить. Их брали в партизаны как по мобилизации. Много людей в 41 году оставалось в деревнях при отступлении нашей армии. Все эти заблудшие солдатики подлежали мобилизации. К октябрю месяцу 10-я бригада занимала уже весь Павский район. Партизаны отбирали у населения лошадей, а также овец, коз и коров. Так у нас взяли еще в сентябре коня. Звали его Персик. Он был рыжего цвета и какой-то маленькой породы. Позже я его видел, когда через нашу деревню проходил партизанский отряд. Персик тащил сани в упряжке. Снег еще не выпал и тащить сани по земле было, конечно, очень тяжело.

Начиная с конца сентября каждую ночь горела какая-нибудь деревня. Каждый день где-то был бой, а по ночам было видно зарево. Старушки крестились и говорили: «В Библии сказано, что

придет Антихрист и загорится земля и небо».

Пришел сентябрь 43 года, мне исполнилось семь лет, и я пошел в первый класс. До 43-го наша начальная школа работала, и мой старший брат уже закончил два класса и пошел в третий. Учебников и бумаги не было. Нам в школе выдали такие большие тетради в виде блокнота. Состояла она из пластмассовых черных листов. Листы были разлинованы белыми линиями в клетку, в линейку и в косую линейку. К тетради прилагался карандаш с белым грифелем. Он хорошо писал на черном листе. Когда тетрадь была исписана, эти листы мыли влажной тряпкой и можно было начинать снова. Так, при помощи этой тетради и классной доски, мы постигали азы знаний. Проучились мы где-то около месяца, и в начале октября школу закрыли. В этот день ночью к нам в деревню пришел большой отряд партизан, они пробыли у нас до полудня и ушли на север от нашей деревни в более лесной район и глухие деревни. Туда немцы не совались.

В конце августа у нас в деревне заболела дедушкина сестра. Она была очень старая, вероятно старшая сестра деда, где-то ей было под восемьдесят. Она жила одна в своем доме на краю деревни. Моя мама каждый день ходила к ней и даже там ночевала. С каждым днем ей становилось все хуже, и ее решили взять в наш дом. Ее перевезли на телеге и положили в комнате на кровать. Температуру было не сбить, лекарств не было, и через неделю она умерла. Ее положили в гроб и оставили в доме на ночь. Обычно покойников, положив в гроб, отвозили в часовню, но, так как лошади у нас уже не было, ее решили оставить дома. Утром, когда встали, стало светло, и все увидели у нее на лице много, очень много крупных вшей. Мама взяла бумагу, намочила в керосине, вши прилипали к бумаге, и она бросила бумагу в печку. Дедушка сказал, что эти вши тифозные, и Мария Ивановна, оказывается, заболела тифом. Дедушка нам всем настрого запретил говорить об этом. Нужно было это сохранить в тайне, а то немцы очень боялись тифа. Если бы они узнали об этом, то могли сразу сжечь наш дом, а то и всю деревню. В этот же день мы похоронили Марию Ивановну.

Начиная с сентября месяца усилились налеты нашей авиации на станцию Дно. В хорошую погоду нам были хорошо видны эти налеты. Вечерами, после девяти часов, каждый день начинался этот концерт. Прилетали наши самолеты, начинали бомбить. Сразу вспыхивали прожектора. Они шарили по небу, находили и вели наши самолеты. Были хорошо видны разрывы снарядов в воздухе, цепочки трассирующих пуль. Если бомбы попадали, например, в цистерны с топливом, то кверху поднимался столб огня, и потом это горело до утра. Днем все тихо, а с 8–9 вечера

это начиналось вновь, и так каждый день. Дед раскрыл крышу в амбаре. Крыши были покрыты соломой, и, для того чтобы они загорелись, достаточно было одного выстрела зажигательной пулей. Всю домашнюю утварь, ценные вещи и продукты питания: зерно, картофель – все закапывали в землю. Делалось это тайком, ночью, потому что полакомиться этим желающих было много. Так, к октябрю у нас в доме не было ничего лишнего, только самое необходимое. В начале ноября заболел дедушка. Я спал с ним в одной кровати. Он заболел также тифом. Однажды вечером я лег спать, а дедушка начал бредить, он сказал, что вот тут возле камня налимы трутся. Тетя Надя была рядом, спросила его: «А щук там нет?» Он ответил, что щук нет. Это были его последние слова. Меня переложили на другую кровать. Ночью я проснулся и увидел, как соседские старушки моют деда. Нас осталось в семье семь человек.

> Начиная с сентября месяца усилились налеты нашей авиации на станцию Дно. В хорошую погоду нам были хорошо видны эти налеты. Вечерами, после девяти часов, каждый день начинался этот концерт. Прилетали наши самолеты, начинали бомбить. Сразу вспыхивали прожектора. Они шарили по небу, находили и вели наши самолеты. Были хорошо видны разрывы снарядов в воздухе, цепочки трассирующих пуль.

Когда вечером мы ложились спать, то бабушка все наши валенки клала в печь. Там они хорошо высыхали.

Однажды был какой-то праздник. Решили испечь пирог. Истопили печку и положили в нее пирог. Осталось немного теста. Мама сделала небольшой хлебец и посадила в печь вместе с пирогом. Когда пирог испекся, его вынули, и оказалось, что хлебец еще сыроват. Его посадили вновь, и про это все забыли. Когда вечером стали укладывать валенки в печку, бабушка вынула этот хлебец. Я ей помогал, подавал ей валенки. Она постучала по хлебу пальцем и сказала, что кто-то в нашей семье сгорит. Хлебец превратился в уголек.

Так бабушка предсказала себе такую смерть.

Похоронив деда, почти сразу заболела мама – и опять тиф. У нас в деревне немцев не было в это время. В Боровичах, от нас в семи километрах, стоял немецкий гарнизон. Там был какой-то немецкий медпункт. Работали там и немцы, и наши русские врачи. У тети Нади я один раз видел несколько колец, какие они были, золотые или нет, я не знаю, но камни на кольцах были очень яркие и красивые. Благодаря этим кольцам, она сумела уговорить одну врачиху приехать к нам в деревню к больной

маме. Врач приехала. Она дала лекарств, сделала уколы.

> У тети Нади я один раз видел несколько колец, какие они были, золотые или нет, я не знаю, но камни на кольцах были очень яркие и красивые.
>
> Благодаря этим кольцам, она сумела уговорить одну врачиху приехать к нам в деревню к больной маме.

Потом она приезжала еще раза два или три. Недели через две мама, можно сказать, поправилась, но была очень слабая.

Ей бы нужно было вылечиться и набрать силы, но она стала вставать и включилась в повседневную работу. Так как она была слабая после болезни, то во время работы часто потела и в результате сильно простудилась. Она заболела ангиной, и так сильно, что буквально через три дня у нее в горле образовались большие нарывы, которые маму и задушили. Мама умерла. Ей было всего тридцать лет. Похоронив маму в середине ноября, сразу заболела бабушка – и тоже тиф.

По ночам горели деревни

К этому времени обстановка сильно обострилась. Немцы вели активные действия против партизан, которые занимали деревни на шоссе Псков– Новгород. Партизан становилось все больше. Из деревень уже уходили все люди. Женщины, старики и дети – в леса, молодежь в партизанские отряды. Партизаны стремились к железной дороге, немцы старались не пускать партизан в Дновский район. Треугольник Порхов – Дно – Сольцы стал районом постоянных боевых действий. Немцы ночью окружали какую-нибудь деревню, и на рассвете начинался бой. Партизаны, конечно, уходили, но недалеко. Гибли и партизаны, гибли и немцы. Бои были каждый день. По ночам горели деревни, и мы знали где идут бои. В конце ноября такой бой произошел в соседней от нас деревне Опоки. Там дрались немцы с партизанами три дня. Там стоит и ныне действует церковь. Партизаны установили на колокольне пулеметы, и немцы понесли большие потери за три дня. Доходила очередь и до нашей деревни. В конце ноября вечером пришли партизаны и забрали всех коров. Они угнали все стадо. Они уже знали, что в деревне будет бой. У нас взяли корову и нетель, которая должна была отелиться.

Сестра Соня ходила ночевать к своей двоюродной бабушке по отцу. Она была старая дева, было ей в ту пору около 70-ти лет, и жила она одна. Звали ее Мария Екимовна, а в простонародье

просто Екимовна.

Образ жизни в ту пору был такой. Окна должны быть занавешены, это называлось «маскировка». В каждом доме были сделаны санки, на них лежали теплые вещи, запас крупы или муки и круглый хлеб. Если момент тревоги – хватали сани и уходили в лес. Такие сани были и у нас. Там лежала мука, немного крупы, мамин новый полушубок и несколько караваев хлеба.

> Мы были маленькие, а пули, вернее цепочки из пуль, летели высоко, и я их не боялся. Они были трассирующие и хорошо видны.

Ложась спать, мы укладывали свою одежду так, чтобы можно было одеться в полной темноте. Хотя мне было и семь лет, но я твердо знал, что если я этого не сделаю, то мне смерть, потому что бежать в лес голому невозможно. Бабушке становилось все хуже, она была в коме, и по утрам тетя Надя давала ей несколько ложек чаю с медом.

В один из дней, утром, прибежала вся взволнованная Соня. Первые ее слова с порога: «Вот вы тут сидите, а в деревне уже во всю идет бой!» Мы сварили картошку и хотели завтракать. Все это в момент отпало, и все мы стали одеваться. Когда мы с Сашей оделись, тетя Надя дала мне Сашу и сказала: «Беги к Екимовне, у нее на огороде есть окоп, там вы и пересидите этот бой». Я, держа Сашу за руку, выбежал на шоссе, и мы побежали в сторону дома Екимовны. Расстояние до дома было метров 300–400. Мы бежали по дороге вдоль реки, а слева, со стороны леса, стреляли немцы. Они стреляли из автоматов трассирующими пулями. Мы были маленькие, а пули, вернее цепочки из пуль, летели высоко, и я их не боялся. Они были трассирующие и хорошо видны.

Прибежали мы к Екимовне. Горела лампа. Топилась печка, тикали ходики, и такое впечатление, что Екимовна куда-то вышла и вот сейчас придет. Так мы с Сашей простояли минут 15–20. Пришла Екимовна и, всплеснув руками, воскликнула: «Что вы тут делаете? Ведь я сюда зашла случайно!» Обведя взглядом комнату, она сняла со стола маленький самовар, дала его мне в руки, сама взяла одну из икон, и мы побежали по огороду к окопу. Окоп находился рядом с двумя банями на северной стороне огорода. Бой уже разгорелся, и трескотня автоматов шла со всех сторон. Сашу отправили в окоп. Окоп был размером примерно 2 на 2 метра. Там уже были люди. Я остановился посмотреть, как на западе деревни уже горел крайний дом и начали разгораться еще два дома. Я был заворожен этим зрелищем. Вдруг совсем рядом раздался щелчок. У меня мимо уха просвистела пуля. Стреляли

явно из бани. Кто там стрелял – немец или партизан – я не знаю. Баня от меня была метрах в 15-ти. Вероятно, меня просто хотели попугать, и, конечно, после этого я сразу нырнул в окоп. Я еще успел заметить, что у окопа стояли наши сани. В окопе мы с Сашей сидели в самом дальнем углу. Народу было много, и поэтому сидели, плотно прижавшись друг к другу. Время было часов 7–8, потому что было еще совсем темно. У выхода сидела Екимовна, и через несколько минут она высовывалась из окна и сообщала – чьи дома загорелись. Напротив нашего окна, к югу, на берегу, между рекой и шоссе, стояла часовня. Там же, вдоль дороги и реки, стояли амбары до самого конца деревни. С одной стороны часовни стоял амбар, с другой стороны – сарай с противопожарным инвентарем. Там были насосы и телеги с бочками. Амбар и сарай были покрыты соломой, а часовня – лесом. Расстояние между крышами было более одного метра. Сгорели оба, амбар и сарай, а часовня осталась цела. Как я понял из дальнейших разговоров, нашим старушкам было не жалко целой деревни, главное, уцелела часовня.

В очередной раз Екимовна высунулась из окна и увидела немца. Он удивился, увидев старушку. В руке у немца была граната. После этого он гранату убрал и стал раскидывать вещи с наших саней. Он забрал мамин полушубок, пошел, сел на ступеньку часовни, отрезал ножом рукава и одел их на ноги, а остальное разрезал на куски.

Часам к двум дня стало тихо, прилетел самолет, сделал два круга над деревней и улетел. Из укрытий стали выходить люди. От деревни осталась примерно одна десятая часть. Остальное все сгорело. Остались бани, они были раскрыты. Осталась и наша баня, и наш амбар, недаром дед снял соломенные крыши. Сгорел дом Екимовны и наш, вместе с бабушкой. Немцы оставили несколько домов, потому что им тоже нужно было где-то ночевать. Остался цел и дом Поляковых, это рядом с нашей землянкой. Вот в этот дом мы и пришли из землянки. Женщины затопили печь и стали варить обед. Немцы ходили по деревне и собирали в кучу молодых женщин. Дали им сани и заставили на себе, так как лошадей не было, свозить своих товарищей, погибших в бою, в один из домов. Как потом говорили, свезли около двадцати трупов. Мы поели картошки с капустой и собрались уже в доме ночевать, но пришли немцы, сказали, чтобы мы уходили, так как здесь будут ночевать солдаты. Они принесли соломы и стали расстилать ее на полу. Из дома мы с Сашей уходили последними. И вот, когда я уже переступил порог, один из немцев, раздетый, расстелил свою палатку на солому, окликнул нас: «Киндер, ком!» Он подошел к нам, взял меня за

руку, подвел к окну и, показав на пол и на Сашу, сказал: «Гуд бай». Мы с Сашей сняли свои пальтишки и легли на солому. В доме было очень тепло. Немец был очень большой, как у нас говорят – шкаф с руками. Волосы на нем были ярко-красные, и даже щетина была рыжая.

> Оказалось, что горел дом, в который наши женщины свозили убитых немцев. Они подожгли его часов в 11 вечера. Он послужил крематорием для покойников и освещал деревню всю ночь.

После такого дня мы с Сашей, естественно, сразу уснули. Ночью я проснулся. В доме было очень светло. В боковое окно я увидел, что метрах в трехстах от нас горит дом. Я быстро надел пальтишко и стал торопить Сашу. На полу вплотную спали немцы. В это время проснулся и наш немец. Увидев, что я оделся, он снял с меня пальто и сказал: «Шляфен никс война». Мы с Сашей опять легли и снова уснули. Оказалось, что горел дом, в который наши женщины свозили убитых немцев. Они подожгли его часов в 11 вечера. Он послужил крематорием для покойников и освещал деревню всю ночь.

Проснулись мы с Сашей, когда на улице было уже светло. В доме мы были вдвоем. Я услышал выстрелы и посмотрел в окно.

Напротив этого дома, который горел всю ночь, был дом моей крестной. Дом был двухэтажный и покрыт дранкой, поэтому и остался цел. Там, вероятно, остановилось начальство. Все немецкие солдаты стояли в строю напротив этого дома. Они почему-то стреляли из автоматов. Стреляли вверх. Создавалось впечатление, что они салютовали своим погибшим и сгоревшим товарищам. Они были в маскхалатах и на лыжах. Потом они построились, встали на лыжи и пошли на юго-запад, через реку Шелонь, напрямую в сторону Порхова. Это были последние из немцев, которых я видел. Тут в дом пришли женщины, затопили печь, наварили картошки, и мы поели картошки с огурцами и квашеной капустой. На всех пепелищах стояли бочки с огурцами и капустой, так что есть было что. Мы с Сашей побежали к своему дому. Пепелище еще дымилось. Так же стояли две бочки с огурцами и одна с капустой. Картошка в сусеке была сверху сгоревшая, а снизу испекшаяся. На том месте, где лежала больная бабушка, лежали косточки обгорелые, во дворе у нас были 3 овцы, и там лежали косточки. Была у нас и собака Дунай. Он жил под крыльцом в конуре. Как-то раз он полаял на партизан. Они сидели на лошадях и были в нетрезвом состоянии. Один снял автомат и выстрелил в собаку. Пуля попала ему в заднюю лапу. Мы его вылечили, но с тех пор он стал бояться выстрелов.

И там, где была конура собаки, лежали косточки, хотя пес не был привязан. Было в доме еще несколько кур. От них не осталось никакого следа, вероятно сгорели. В это время из леса на лошади прискакали партизаны. Увидев нас, они подъехали к нам и спросили, где немцы. Мы показали, куда они ушли, и они поскакал вдоль деревни. К концу дня из леса пригнали деревенских коров. Я увидел и наших коров. Партизаны говорили, что, кто увидел своих коров – тот может их забрать. Тети Нади, Сони и Жени не было. И сена не было, оно сгорело вместе с домом. Коров угнали в Козловичи, деревню, которая находилась в лесу и была занята партизанами. В деревню стали возвращаться жители нашей деревни, которые ушли в начале боя вместе с партизанами в лес. Тетя Надя, Соня и Женя притащили санки туда, к окопу, где были мы с Сашей, взяли по караваю хлеба и, спустившись около часовни в реку, пошли на восток. Все население деревни, которое могло ходить, спустилось в реку и вместе с партизанами ушло в лес. Лес находился в километре от деревни. Немцы на деревню наступали с севера, со стороны леса, так что река всех спасала.

Люди стали возвращаться в деревню. Пришли и тетя Надя, Соня и Женя. Теперь наша семья состояла из пяти человек, и к нам примкнула Екимовна. Все население нашей деревни разместилось в оставшихся домах. Но жить нам здесь долго не пришлось. Прожили мы в этом доме четыре или пять дней, и вот часа в три дня бежит по дороге наш деревенский старичок дед Вася и кричит: «Хозяйки, уходите! К нам идет карательный отряд!»

Мы оделись и, взяв свои пожитки, пошли в деревню Козловичи, это на северо-восток. Не доходя до Козлович, были хутора, организованные во времена Столыпина. Все постройки были заняты, и мы пристроились в бане. Эта баня была большая, печь топилась по-чистому. В этой бане партизаны гнали самогон, так как снабжением занимались они сами. Каждый день вечером они привозили на лошади брагу, переливали ее в 200-литровую бочку, вставленную в печь, и дядя Петя, наш очень дальний родственник, затапливал печь и всю ночь сидел у огня. В бане круглые сутки было очень тепло. По субботам мы из бани уходили в дом, а хозяева бани и все беженцы мылись. Мы мылись в бане в последнюю очередь и там оставались ночевать. Так мы там прожили до нового 1944 года. Народу было нашего деревенского много. Все наши с Сашей сверстники были там. Целыми днями мы находились на улице. Все игры были в войну. Ребята постарше нас делали из дерева автоматы. Они были как настоящие, только маленькие. Целыми днями мы строчили из

автоматов и кричали: «Ура!»

Связи с деревней не теряли. Ребята постарше выходили на край леса, залезали на высокое дерево и в бинокль наблюдали за деревней. Если в деревне никого не было, они сообщали об этом своим родителям, и те ходили в деревню, в основном за провиантом, пекли в печках хлеб, топили баню и мылись, а вечером уходили обратно в окопы. В основном вся деревня жила в окопах, которые были вырыты еще в 41 году. Там была и печка.

Плохо было с питанием. Все продукты, картофель, мука были спрятаны в земле еще осенью, и достать их было невозможно. Ели, в основном, картошку, которую собрали с пепелищ. Была еще гороховая мука. Витаминов никаких не было, поэтому, в основном, дети покрывались коростой. Еще нас донимали вши. Вечерами мы снимали с себя одежду, искали там вшей. И так почти каждый день. Вши были, в основном, из-за того, что мы плохо питались.

> В середине января 44 года партизаны нас предупредили, чтобы мы уходили в лес, потому что немцы создавали большие карательные отряды по борьбе с партизанами и могли появиться и на нашем хуторе. Мы перебрались в окоп. Топили печку круглые сутки.

В середине января 44 года партизаны нас предупредили, чтобы мы уходили в лес, потому что немцы создавали большие карательные отряды по борьбе с партизанами и могли появиться и на нашем хуторе. Мы перебрались в окоп. Топили печку круглые сутки. Морозы были не очень сильные, поэтому было терпимо.

В один из дней января немцы предприняли акцию против партизан. Отряд немцев выехал одновременно из Порхова в Сольцы, из Солец в Дно, из Дно в Порхов. Партизаны об этом знали. От нашей деревни в двух километрах находится деревня Костыжицы, вниз по течению Шелони. На том берегу находится костыжицкое кладбище. Там партизаны сделали засаду. Когда немецкий отряд проехал нашу деревню и выехал на открытое место между деревней и лесом, открыли огонь. Немцев было около ста человек. Ехали они на лошадях, в санях. Лошади были – немецкие битюги. Сколько шел бой – я не знаю, но лошадей убили почти всех. Саней было около 30. Убили много немцев. Так этот отряд перестал существовать. Война между партизанами и немцами становилась все ожесточеннее. После этого боя в нашей деревне немцы уже оставались постоянно. Их было немного, в деревне осталось мало домов, где можно было жить. Стояла там минометная батарея.

Мы не знали ничего о том, что в Ленинграде была снята блокада, и наши части приближались к нам, а немцы готовили оборону. И вот, в один из дней, это было 27 февраля 44 года, утром, часов в 10, начался обстрел нашей территории. Стреляли из дальнобойной артиллерии из деревни Боровичи. От нас километрах в десяти. Снаряды ложились, не долетая до нас и перелетая дальше. В районе наших землянок взрывов не было. Земля была промороженная, и поэтому во время взрывов наша землянка подпрыгивала. Мы сидели вдоль стенок землянки. Длилось это часа два. Потом все стихло. Все жители землянок зашевелились. Стали на буржуйках варить обед, то есть готовить картошку. Картошку сварили и стали обедать. В это время по реке Ситне шел тот же старичок дядя Вася, который предупредил нас в деревне о карательном отряде. На этот раз он нес хорошую весть. Он просто кричал: «Хозяйки, выходите, наша армия пришла!»

В этот же вечер пришли офицеры и наши земляки. Они были одеты в белые полушубки, в погонах, на шапках звездочки, в валенках. Радости не было предела. Люди целовались, плакали. Лично для меня пришло новое понятие, что дальше мы будем жить. До этого в моем детском уме была мысль о том, что нас все равно убьют. За два последних месяца было очень много смертей. Умер дедушка, мама, сгорела бабушка, погиб в партизанах троюродный брат Вася, погиб дядя Петя, который гнал партизанский самогон.

В этот день мое сознание перевернулось, и я понял, что теперь не надо будет бегать по лесам, прятаться от карателей и что теперь можно никого не

бояться. Этот день я помню с утра и до вечера: если с утра мы сидели в землянке, прижавшись к мерзлой стенке, то вечером – такая радость. Деревня наша еще была не освобождена, но мы уже твердо знали, что это будет сделано в ближайшее время.

Радости не было предела. Люди целовались, плакали. Лично для меня пришло новое понятие, что дальше мы будем жить. До этого в моем детском уме была мысль о том, что нас все равно убьют. За два последних месяца было очень много смертей.

Наши части, что приходили к нам лесами, в основном были лыжники. Ночью послали трех разведчиков в нашу деревню. Немцы знали, что наши части подошли к деревне. Они на чистом поле закопались в снег, пропустили в деревню наших разведчиков, те прошли в деревню, никого там не обнаружили и вернулись в лес. На следующий день утром целый батальон на лыжах вышел из леса и был накрыт огнем из пулеметов и

минометов. Погиб почти весь батальон. После этого немцы отступили в деревню и заняли оборону вдоль ручья, который был в середине деревни. После этой трагедии наши основные силы шли по шоссе Новгород – Псков. К полудню этого же дня они подогнали катюши. Катюши ударили по Сухлову, и немцы, которые остались живы, убежали на запад. За два последующих дня освободили весь Порховский район, а через неделю дошли до Пскова. Псков немцы укрепили очень здорово, и наши войска там были остановлены. Шоссе Псков – Новгород стало иметь стратегическое значение. Вся техника и войска двигались в сторону Пскова днем и ночью. Когда боевые действия у нас прекратились, тетя Надя, Женя и Соня ушли в деревню. Баня, хоть без крыши, осталась цела, и ее нужно было приспособить под жилье. Тете Наде в ту пору было 23 года.

Дня через три жилье было готово. Там выбросили каменку, сделали пол, поставили буржуйку, расширили окно. Амбар наш саперы разобрали и сделали из него мост через ручей, который протекал из полей и впадал в реку Шелонь. Народ в деревню стал возвращаться – у кого было какое-нибудь жилье. Осталось в деревне несколько домов. Уходя, немцы оставляли в домах какую-то жидкость, которая потом сама воспламенялась.

Так сгорел и большой дом моей крестной. У моей крестной была семья, двое сыновей и дочь Аня. С младшим Сашей мы дружили. Отец был глухонемой и поэтому для армии был непригоден и все время был в семье. У них осталась баня и амбар. Они приспособили его под жилье. Многие семьи, которым негде было жить, оставались в окопах на Ситне до лета. Летом они соорудили жилье в тех окопах, которые сделали немцы, когда отдыхали в нашей деревне в 42 году. Жили в этих окопах некоторые семьи до 48 года.

Начало марта – всегда хорошая погода. Тетя Надя и Женя ушли в деревню, меня с собой не взяли, хотя я очень просился, и я решил идти самостоятельно. Дорогу я знал хорошо и, предупредив Екимовну, пошел в деревню. Стояла солнечная тихая погода. Дорога была накатана. Когда я вышел из леса, то увидел в поле большую кучу ящиков, хорошо уложенных. Вдалеке виднелась еще такая же куча. Это были брошенные немецкие полевые склады с боеприпасами и взрывчаткой. На самой дороге валялись немецкие винтовочные патроны. Их было много, как будто кто-то их специально насеял, патроны были зеленые, а пули были белые, никелированные. На некоторых концы пуль были окрашены, это означало, что они зажигательные. Я набил два кармана и с этим грузом пришел в баню. Там, на чердаке бани, я спрятал этот товар и, конечно, забыл про него. Соня обнаружила

эти патроны через несколько лет.

Склады боеприпасов и фейерверки из патронов

Итак, в марте 44 года мы пришли домой, в приспособленную под жилье баню. Потом мы ее немного расширили и жили в ней до 47 года. Снег был очень чистый, и поэтому очень хорошо были видны воронки от взрывов снарядов катюш. Они были неглубокие, но было их очень много. Вдоль ручья, где немцы держали оборону, лежало восемь немецких трупов. На них было только нательное белье. Через несколько дней в деревне организовали колхоз, и новый председатель собрал ребят и попросил захоронить эти трупы. Рано утром, в начале марта, когда по утрам сильные заморозки, мы по снегу на веревках, волоком тащили эти трупы метров за 300. Там было небольшое болотце. В болоте было несколько воронок от катюш. Там мы их и разместили. А потом весна сделала свое дело.

В то время ребят в возрасте до 17 лет было много. Осенью 44 года их всех забрали в армию. Весной же 44 года они были дома. Мой брат Екимов Николай Николаевич пробыл в десятой партизанской бригаде до марта 44 года.

Последний бой бригада приняла около райцентра Повы. Там наши войска наступали по Киевскому шоссе, а партизаны ударили им в тыл. Бой был очень сильный, где были большие потери с обеих сторон. В этом бою погиб и мой троюродный брат Вася. После этого боя, когда партизаны соединились с армией, 10-я бригада была расформирована. Партизаны от 17-ти лет и выше были призваны в армию. А партизаны до 17-ти лет были отправлены в Ленинград. Там их зачисляли в школы, где они учились специальности и восстанавливали Ленинград. Такая же участь постигла и моего брата Николая Екимова. Он попал на завод «Красный выборжец». Получил специальность столяра и проработал там до пенсии. Последние годы работал начальником цеха.

> Так как вокруг деревни на полях оружия и взрывчатки было много, ребята тащили все домой. Окопы, которые были вырыты во время войны для спасения, превратились в склады боеприпасов и оружия.

Так как вокруг деревни на полях оружия и взрывчатки было много, ребята тащили все домой. Окопы, которые были вырыты во время войны для спасения, превратились в склады боеприпасов и оружия.

Амбар моей крестной превратился в жилой дом. Там жило несколько семей. Делалось все на скорую руку. В амбаре поставили буржуйку для обогрева, и на ней готовили пищу. Трубу провели прямо через соломенную крышу. Конечно, с такой трубой этот амбар где-то в середине марта поздно вечером загорелся. Загорелась солома около трубы. Попытались потушить, но огонь и сухая солома сделали свое дело. Когда огонь дошел до чердака, то начали трещать патроны, которые были спрятаны на чердаке. Все, кто пытался тушить амбар, разбежались, а когда огонь дошел до пола, то взрывы стали очень громкие. Утром от пепелища нечего не осталось. Даже фундамент был разбросан по округе. За полмесяца Саша, Вася и дядя Женя натаскали много боеприпасов, начиная от гранат, немецких толкушек и кончая противотанковыми минами. Все это хранилось под амбаром. Для ребят всех возрастов было полное раздолье. На поле два склада боеприпасов. Тащили все домой, ребята постарше взрывали лед на реке, брали толовую шашку 200 граммов, вставляли во взрыватель бикфордов шнур, поджигали, клали на лед, и прорубь готова. Когда начался ледоход, то целый день в том месте, где ручей впадал в реку, взрывали толовые шашки по сто граммов. В том, 1944, году рыбы в реке было очень много, потому что три года ее никто не ловил. Рыба всплывала вверх животом. Рыбой снабжали всю деревню, и это было большое подспорье в голодное время.

Вечерами около часовни, на пятачке, устраивали фейерверки. Особенно красиво получалось из патронов 23-миллиметрового калибра. Брали патрон, вынимали пулю, отсыпали половину пороха, вставляли пулю и проталкивали в середину патрона. И сверху засыпали порох. Сначала был огненный фонтан, потом вылетала пуля, и опять горел фонтан.

Всю весну 44 года занимались этим делом. Не обошлось, конечно, и без ЧП. Погиб один из братьев Большаковых, Ваня. У них была землянка в огороде, где они хранили все это добро, и уже в конце весны Ваня отвинчивал взрыватель снаряда, и он взорвался. Ване разорвало весь живот, и он через два часа скончался. Это был сигнал для всех, что пора заканчивать эти игры.

Один мальчик из семьи беженцев нашел противотанковую гранату. Он решил ее бросить в реку. Выдернул чеку и бросил. Противотанковая граната, как только касалась препятствия, сразу взрывалась. Он этого не знал. Она коснулась воды и взорвалась. Взрывной волной его отбросило метров на 10. Засыпало глаза песком и выбило стекла у стоящего напротив дома. Стекла – большая ценность в те времена.

Когда сошел снег, склады и все валявшиеся взрывчатые вещества собрали наши саперы и увезли. Потом стали убирать танки и подбитые машины. Их, в основном, волоком тащили в Порхов тракторами. Грузили на платформу и увозили на переплавку. Мы ходили по полям, собирали медные гильзы, патроны и сдавали в металлолом.

Но это было все весной и летом 1944 года. А пока мы целыми днями сидели на речке или на переправе через ручей, он весной превращался в целую реку. Через ручей на шоссе был построен хороший деревянный мост. Мост отстоял всю войну, и в январе 1944 года, когда в деревне никого не было, партизаны мост сожгли, для того чтобы при отступлении немцев им помешать. Но немцы им не воспользовались, техники у них тут не было. Когда начали наступать наши, мост очень понадобился. Пришли наши саперы, разобрали наш амбар и сделали мост. По нему хорошо проходили машины, повозки. Но когда проходили трактора с оружием и еще тащили сани с боеприпасами и снаряжением, то этот мост вытаскивали на берег вместе с санями. Саперы начинали строить заново. Потом, в начале апреля, когда все растаяло, машины стали вязнуть в грязи, и у переправы стали скапливаться очереди.

Мост построили заново в июле 1944 года. Тогда к нам в деревню приехала воинская часть. Они поселились в лесу на берегу реки Ситня. Там, где мы жили в 1941 году, когда пришли немцы. Солдаты жили в палатках и занимались заготовкой сена. Они косили, сушили и стоговали сено, а часть солдат строили мост. Тетя Надя устроилась работать в дорожную службу. Ей дали хлебную карточку. По этой карточке она получала кукурузную муку, и мы из нее варили кашу.

Конечно, с едой было очень плохо. Все, что было закошено, испортилось. Зерно подмокло, картофель смерз. Но все равно все это шло в пищу. Летом мы с Женей ходили варить раков в Ситню. Их было очень много. Мы нашли место недалеко от наших окопов, где южный берег пологий, а северный крутой и весь заросший ольхой. Там было много раков, когда наступала темнота, часов в 10–11 вечера, мы на южном берегу разводили два костра, примерно в метре от воды. И всю ночь поддерживали там огонь. Раки сами выползали из воды и шли к огню. Наше дело было их собирать в мешок. Так под утро мы набивали два мешка и несли их к солдатам на кухню. Там повар нам давал две или три большие банки каши с консервами. Летом, конечно, посадили огород.

В школу ходили босиком

Еще весной 1944 года пришлось нашим жителям хоронить лошадей и немецких солдат, убитых партизанами в январе 1944 года. Наступила осень 1944 года. Мы пошли в школу. В нашей деревне не было ни одной постройки, пригодной для школы. И поэтому мы должны были ходить в школу в соседнюю деревню Опоки. Там уцелело двухэтажное здание. На первом этаже находилось правление колхоза и магазин, на втором было две комнаты. В одной комнате учился первый и третий класс, в другой второй и четвертый. Было всего две учительницы. Школьники были из трех деревень. Больше всего ребят было из нашей деревни.

Самая большая проблема с бумагой. Бумаги как таковой не было, и под письмо приспосабливали все, что могли. В дело шли старые книги, газеты и даже цветная бумага. Кто что мог достать. Даже ходили в лес – отдирали бересту от берез и на ней писали. Так мы учились. Осенью очень часто ходили на колхозное поле помогать убирать картофель. На эту работу шли с удовольствием. Там варили картошку, и мы были сыты. Ходили в школу босиком, так как обуви не было. Мы до 1948 года ходили босиком до морозов, а там обували валенки. А весной, когда снег сходил, сразу ходили босиком, потому что другой обуви не было.

Мы до 1948 года ходили босиком до морозов, а там обували валенки. А весной, когда снег сходил, сразу ходили босиком, потому что другой обуви не было.

В деревню вернулись все эвакуированные. Вернулся и довоенный председатель дядя Вася и счетовод дядя Миша. Жизнь налаживалась. Начали пахать землю. Давали колхозу лошадей немецких, которые были тяжеловозы.

Но у нас они быстро подыхали, так как их было нечем кормить.

В августе 44 года тетя Надя отвезла Женю в Ленинград. Там остался в живых папин приятель. Он работал на заводе. Он устроил Женю в ремесленное училище. Туда брали детей, круглых сирот, с 12 лет. Женю туда взяли, и проучился он 4 года. Вышел оттуда слесарем и стал работать на заводе Жданова, ныне Северная верфь. Там он и проработал всю жизнь. В декабре 44 года определили и Сашу в детский дом. Как ребенка без родителей. Меня тетя Надя оставила при себе, так как она работала на дороге и не считалась колхозницей. Я как сын колхозников имел право на наш огород, и если бы меня отдали в детский дом, то тетя Надя лишилась бы огорода.

Так мы встречали год 45-й вчетвером: тетя Надя, Соня, Екимовна и я. Соня в 44-м пошла в школу в деревне Гридино,

куда и мне пришлось потом ходить. В 1945-м она закончила 7-й класс и поступила работать на маслозавод в деревне Березе, где и проработала всю жизнь.

В один из дней в июле месяце 44 года я на реке варил рыбу. И вот, начиная с утра и до позднего вечера шли в сторону Пскова катюши. Они шли колоннами по 15–20 машин на студерах, закрытые чехлами и на приличной скорости. Они шли с перерывами по 30 минут. Сколько сотен их прошло, я не знаю. Но на следующий день со стороны Пскова доносился грохот, хотя от Пскова до нас 100 км. Через три дня сказали, что Псков освобожден и немцев погнали дальше. Шли санитарные автобусы и машины. Все везли раненых на станцию Сальцы, а там в санитарные поезда и в Ленинград.

> Уже чувствовалось приближение конца войны. Омрачало только одно, что стали наши деревенские часто получать похоронки. Было очень обидно, что люди гибли перед окончанием войны.
>
> Их так ждали дома.

В 1944 году Сергей Михалков написал гимн Советского Союза, и вот мы учили его, естественно, наизусть. Гимн пели при каждом удобном случае. На концертах, собраниях. Наступил 1945 год. Немцы Псков обороняли долго. Весной была сильная распутица, сильных боевых действий не велось. Вскоре дороги высохли, и каждый день от станции Сольцы пошли войска и техника. Мы чувствовали, что ожидается большое сражение.

Уже чувствовалось приближение конца войны. Омрачало только одно, что стали наши деревенские часто получать похоронки. Пришла похоронка и на отца. Пропал без вести. Погиб и мой дядя Петя. Он погиб при форсировании реки Нарвы. Получили похоронку и на тетю Аню – мать Сони и Коли. Было очень обидно, что люди гибли перед окончанием войны. Их так ждали дома.

Наступило 9 мая. Мы как всегда пришли в школу. Прозвенел звонок. Мы сели за парты. Приходит наша учительница Надежа Михайловна. Она шла к своему столу без журнала и тетрадок, слегка улыбаясь, руки скрестив на груди. Она посмотрела на нас и сказала: «Ребята, сегодня занятий не будет. Сегодня закончилась война!» Что тут произошло! Тридцать ртов в нашей комнате и столько же в соседней закричали «ура!». Поднялся шум, гам, старшеклассники устроили пляску. Кто-то пел, некоторые заплакали. Это длилось полчаса. Потом мы побежали по домам. Я прибежал в свою баню. Тетя Надя была на работе. Соня в школе. Екимовна ушла к соседям. Погода в тот день

стояла чудесная. Светило солнце, дул ветерок, очень по-весеннему теплый. По небу проносились редкие белые облака. Я взял удочку и побежал ловить рыбу. В тот день в деревне никто не работал. Вечером у часовни состоялась большая гулянка.

Сорок пятый – радостный и тяжелый

Сорок пятый год был и радостным, и тяжелым. Стали возвращаться с войны наши мужчины – солдаты. Вернулось очень мало, по сравнению с тем, сколько ушло. Ушли в сорок первом году больше пятидесяти человек, а вернулось меньше двадцати.

Вернулся и мой дядя, брат отца, дядя Миша. Вернулся двоюродный дядя по матери, дядя Вася. Вернулся один из кузнецов, с котором папа работал в кузнице.

Всем, кто вернулся, пришлось жизнь начинать сначала. Семьи жили в землянках. Нужно было начинать строить. Лошадей в колхозе не было. Лес приходилось, в основном, зимой вывозить на себе. Так заготовили за зиму бревен, кто как мог. Основная стройка началась в сорок шестом году. Работали на себя вечерами, потому что днем была работа в колхозе. С едой было плохо. Иногда мужики собирались в кучку и толковали, что делать дальше. В это время неспокойно было на Украине и в Эстонии. Там еще шла война с лесными братьями.

На счастье или несчастье, в это время приехал в деревню вербовщик. И семь бывших солдат завербовались в Архангельскую область пилить лес. По контракту, отработав два года, они получали паспорта. Условия работы очень тяжелые. Работали вместе с заключенными. Зэков кормили, и жили они в бараках. А нашим вольнонаемным пришлось питаться самостоятельно и жить в землянках, как на войне. Два года прошли, и они получили вожделенные паспорта, теперь они могли уехать из деревни, куда хотят. Двое приехали в Пулково, под Ленинградом. Там они устроились в свиноводческий совхоз рабочими. Там с питанием было хорошо, потому что свиней, в основном, кормили просроченными и списанными продуктами. Со временем они туда перевели свои семьи. Остальные уехали на стройку в Пикалево. Там шло строительство цементного завода, и они перевезли свои семьи к себе. Правда, эти бывшие солдаты, дойдя до Берлина и отсидев еще два года в архангельских болотах в голоде и холоде, быстро поумирали, но их семьи и до сих пор там живут.

В то и в последующее время из колхоза старались удрать любым способом – вербовку прекратили. Вербовали только тех, у кого был паспорт, а таких в деревнях не было. Ребята уходили в

армию служить. И там вербовались после окончания службы. Девчонки уходили в город. Их брали в няньки. И после 16 лет они получали паспорта или поступали в техникумы после окончания семилетки. Так поступали две мои двоюродные сестры. Вера работала в няньках с 13 до 16 лет, а Маруся поступила в техникум во Пскове.

Так к новому 1946 году население нашей деревни еще не очень убавилось, но дело шло к этому. Летом 1945 года подремонтировали уцелевший дом и решили там сделать школу. Дом этот после войны оказался ничейным и поэтому стал колхозным. Там сначала сделали в одной комнате управление колхоза «Свободное Сухлово», а в другой половине сделали магазин. Так как у колхозников не было денег, то в магазин никто не ходил, и его вскоре закрыли. Правление перевели в другой дом. Дом был большой, и там жила одна женщина с двумя детьми. Летом 1945 года сделали в бывшем магазине начальную школу, в которую осенью того же года я пошел во второй класс.

Трудные годы после войны

Особенно трудными были год 1946-й и 1947-й.

1946 год был очень дождливый. Картошка выросла на огороде и в колхозе очень плохая, мелкая и гнилая, а это был основной продукт питания в те годы. Это, в основном, и спровоцировало голод 1947 года.



Владимир в училище

Осенью 45 года из армии демобилизовался житель нашей деревни Иван Николаевич Аршавин. И его родители, и брат, и он сам – уроженцы нашей деревни. Еще один брат – дядя Петя, жил в Ленинграде, работал сапожником. Сестра Аня жила в деревне Вошково, туда она вышла замуж. Вот говорят, что футболист Аршавин родился по линии дяди Пети, получается, что дядя Петя будет ему прадедом.

В 1945-м тетя Надя и дядя Ваня поженились, и он пришел к нам в баню жить. Он был человек партийный, прошел финскую и Отечественную войну, имел много наград и был на фронте командиром орудия гаубицы. Во всех отношениях был человек положительный. Он был грамотный. К нему всегда обращались жители нашей деревни, если нужно было составить какую-нибудь бумагу, или письмо, или заявление.

Был у него один существенный недостаток. Если он много выпивал, то становился неуправляем. Может, это сказывались контузии, которых было несколько за две войны. Впоследствии это его и сгубило. Он устроился на работу начальником транспорта на спиртовой завод, который находился в семи километрах от нашей деревни. Естественно, стал приходить домой подшофе и вести себя неподобающе.

В деревне денег не было: даже когда привозили в деревню кинопередвижку, молодежь не могла сходить в кино из-за отсутствия денег.

Тетя Надя была женщина к тому времени волевая и заставила его взять расчет, и он стал колхозником. Они собрали все имущество, которое было у тети Нади и которое привез дядя Ваня из Германии, часы, костюм, продали на барахолке в Ленинграде и купили у нас в деревне недостроенный дом, как говорят «с рук». В сентябре 1946 года у них родился сын Николай.

И наступил год 1947-й. Дядю Ваню выбрали бригадиром. В то время в деревне было три бригады. В колхозе не было тягловой силы. Лошадей в колхозе было очень мало. Сказывалась бескормица. Стали приспосабливать быков. МТС работала плохо. Тракторов было очень мало, да и те были маломощные. Не столько работали, сколько простаивали. В мае месяце мы посадили картошку, и после посадки у нас осталось одно ведро. Так начинался голод в деревне в 1947 году. Произошла отмена карточек. Продукты теперь продавались без карточек, но это в городе.

В деревне денег не было: даже когда привозили в деревню кинопередвижку, молодежь не могла сходить в кино из-за отсутствия денег.

В то время в стране сельского населения было 73 процента, а городского 23 процента. В последующие годы каждый год делалось снижение цен. До сих пор старики вспоминают это прекрасное время.

Но это был политический трюк. Снижение делалось для рабочих 23 процентов, а для крестьян оно не делалось по той простой причине, что у крестьян не было денег. Работали за трудодни, то есть за палочки. Отоваривали эти трудодни в конце года, когда собран был весь урожай, были выполнены все госпоставки и все колхозные закрома оказывались пустыми. Этот момент хорошо показали в фильме «Председатель», поэтому колхозники жили за счет огорода – это те шестьдесят соток, которые давали колхознику в пользование.

Люди соток пятнадцать сеяли озимую рожь. Пятнадцать уходило под постройки и овощи, и остальные тридцать сажали картофель. Это был второй, а в основном первый, хлеб. В то время в деревне пекли хлеб дома, так как хлеб не продавался. Не продавалась и мука. Хлеб пекли из той ржи, которую вырастили на своем участке. Хлеб получался своеобразный. Муки было в этом хлебе процентов 20. А остальное – наполнители. В основном это была брюква, репа и картофель.

Когда шла шумиха по поводу снижения цен, колхозник мечтал съесть кусок настоящего ржаного хлеба. Но когда объявляли о снижении цен, то всегда почему-то на первом месте стоял шифер. Мы знали, что это материал для крыши, но мы и в глаза его не видели. А крыши по-прежнему крыли соломой. И иногда, кто мог, дранкой. Шифер у нас появился только в шестидесятых годах. Тетя Надя перекрыла дом шифером только в 1968 году. Этот шифер я купил по знакомству и по справке, что требуется шифер. Так что снижение делалось, в основном, на те товары, которых не было, или на те, которые не пользовались спросом.

Еще одна беда – для проживающих в деревне были непосильные налоги. Колхоз имел в своём распоряжении 3500 га земли. На эту землю накладывался налог в виде госпоставок продуктов, которые колхоз выращивал, а это мясо, молоко, овощи, сено, лён, яйца и другие продукты. Колхозу за сданную продукцию денег не платили, это был налог на хозяйственную землю. Колхозники платили ещё один налог, на те 60 соток, которые им выделил колхоз для личного пользования. Налог этот составлял немаленькую сумму. Вот налог 1947 года, как говорили в деревне, на кота (это если в хозяйстве не было живности): в год нужно было отдать семьсот рублей (эта сумма была до реформы 1947 года), 40 кило мяса, 100 штук яиц, 1 кг шерсти. Если была корова – 360 литров молока, если поросёнок – то 800 рублей и сдать шкуру, 75 рублей с одной яблони и 25 рублей с куста смородины или крыжовника. Все сады, которые остались целы после войны, были вырублены в 47 году. Коров в деревне было очень мало. Дело в том, что коровам на зиму нужно было заготовить корм, а косить для своих коров на колхозной земле запрещалось. Поэтому в 47 году осенью очень много коров зарезали, потому что нечем было кормить. Что удивительно, были козы. Их не обкладывали никаким налогом, и население стало разводить коз. Коза давала 3–4 литра молока. Две-три козы заменяли корову. Так коз и прозвали «сталинскими коровами».

Что удивительно, были козы. Их не обкладывали никаким налогом, и население стало разводить коз. Коза давала 3–4 литра молока. Две-три козы заменяли корову. Так коз и прозвали «сталинскими коровами».

Так в 1947 году обзавелись и мы козой. Она была молодая, объягнилась и давала около трёх литров молока. Моему двоюродному брату Коле ещё не было и года. У тёти Нади было мало молока, поэтому коза спасла им жизнь.

Начался июнь месяц. Есть было нечего. Тётя Надя была дома.

Она была в декретном отпуске до года с ребёнком. Дядя Ваня целыми днями в поле. Я занимался рыбалкой, целыми днями с удочкой. Дядя Ваня иногда топил ригу в гумне. Сушили лён для переработки. Однажды ночью, когда нужно было подкинуть дров в печку, он взял меня с собой. Гумно стояло на небольшом фундаменте из камней. Дядя Ваня сказал, чтобы я залез в подпол и пролез под полом гумна. В гумне был пол, на котором молотили рожь и другие посевные культуры. Я заметил в середине гумна под полом пирамидку. Когда я к ней подполз, это оказалось льняное семя. В полу оказалась небольшая дырка. Из доски выпал сучок. Всё это я переложил в мешок. Там оказались и другие семена.

Всё это я собрал, и мы принесли домой. Оказалось килограммов 20. Положили на печку, высушили, а потом вечерами, в ступке, перетолкли на муку. Так мы неожиданно разбогатели. К этому времени, в конце мая, мы перебрались жить в купленный дом. Жильё было приспособлено только в одной половине дома. А другая была ещё без пола и потолка. Хотя общая жилая площадь помещения не превышала 15 метров, это были хоромы по сравнению с баней. В бане остались жить Соня и Екимовна. Им дали земли 15 соток. Соня уже работала и получала зарплату деньгами. Там они прожили до 1960 года. Потом Соня купила домик, так там и прожила всю жизнь.

Прожить нам нужно было два голодных месяца: июнь и июль. Утром я брал корзину и шёл рвать траву, крапиву, лебеду, гусиные лапки, приносил домой, а тётя Надя затапливала печку и кипятила воду. Когда вода закипала, в эту воду мы складывали эту траву. Когда она обваривалась, мы её складывали в решето. Вода стекала, трава остывала и её пропускали через мясорубку. Потом тётя Надя делала лепёшки из этой массы, обваляв их в муке из семечек. Они пропитывались запахом масла и на сковородке подсушивались. Они нам заменяли хлеб. Если мне удавалось наловить рыбы, то жарили рыбу. В конце июня на трудодни дали дуранды – это жмых, который остается при приготовлении растительного масла из подсолнухов, из этой дуранды приспособились варить суп. Так мы сумели прожить июнь и июль 1947 года. Эти два месяца были самыми голодными в моей жизни. Первый раз я наелся досыта в августе 1948 года, а так всё время жил впроголодь.

> Первый раз я наелся досыта в августе 1948 года, а так всё время жил впроголодь. Дядя Ваня в одном сапоге послал буханку хлеба, а в другом полкило комбижира. Тётя Надя отрезала четыре куска и намазала их жиром,

это было в самое голодное время. Вкуснее этого хлеба я ничего не ел.

Я до сих пор помню его вкус.

В школу, в четвёртый класс, ходил рядом. В августе месяце уже ели картошку с нового урожая. И смололи немного ржи с моего огорода.

Реформа денег

Осенью 1947 года прошла реформа денег. Первые деньги нового образца нам показала соседка-учительница, получив зарплату. В конце года мы купили корову, козу продали. Я имел наш старый огород, так как числился колхозником, и мы полностью его выкашивали. Налог с меня не брали, потому что я был несовершеннолетний. Потом учителю от колхоза был положен тоже участок земли. Она отдавала его нам. Там тоже было сено. Так что корма корове хватало на зиму, а нам вместе с учительницей молока.

Дядя Ваня попросил дядю Петю купить в Ленинграде кирзовые сапоги. Он выполнил его просьбу и прислал не по почте, а с кем-то, кто ехал из города в деревню. В одном сапоге он послал буханку хлеба, а в другом полкило комбижира. Тётя Надя отрезала четыре куска и намазала их жиром, это было в самое голодное время. Вкуснее этого хлеба я ничего не ел. Я до сих пор помню его вкус.

Так, пережив самый голодный год в своей жизни, мы встретили год 1948-й. В сорок восьмом году жизнь стала налаживаться. В колхозе стали выращивать лён. Его у нас умели обрабатывать. И вот, в зимние месяцы до весны наши женщины его трепали, чесали, и каждую субботу дядя Ваня укладывал недельную продукцию в сани и вёз за 30 км на льнозавод в Павы. Сдавал его высшим сортом. За лён хорошо платили (правда, не деньгами, а зерном пшеницы). Так в 48 году мы впервые попробовали пирогов из пшеничной муки.

В 48-м мы вплотную занялись домом. Всё лето с дядей Ваней строгали по вечерам доски на пол и потолок. Летом наняли плотника из Вошкова. Пришёл старичок и сделал нам полностью жилое помещение из нашего дома. Он настлал пол и потолок, насадил окна и вставил рамы, повесил дверь. Потом позвали дядю Яшу, это был мой двоюродный дед из деревни Горушка, он был большой мастер по печкам. Он сложил замечательную печь, которая простояла до 1970 года, хорошо грела, хотя была сделана

из самодельного кирпича-сырца. На этой печи я спал до 1952 года.

В 48 году я закончил начальную школу, и мы, все будущие пятиклассники, поступили в Гридинскую школу. Там раньше стоял в парке большой барский дом. Это было одноэтажное здание. Только в центре была надстройка, и там были две комнаты. После революции и до войны там была больница. А после войны сделали школу-семилетку. Во время войны вся деревня и школа не пострадали. Деревня всё время была под властью партизан, она находилась в стороне от центральных дорог, в лесу, за рекой Ситня. Со всей округе туда ходили ученики. Нам нужно было идти четыре километра.

Всё бы ничего, но вот с обувью было очень плохо. Были только валенки. Поэтому мы всё время ходили босиком, как только сходил снег и до глубокой осени. Особенно плохо было в октябре, когда на траву ложился белый иней. До леса от деревни было километра полтора, его мы пробегали бегом, прибегали в лес, не чуя ног от холода. В лесу инея не было. Потом Ситню переходили вброд и приходили в школу. Это было в первый год. Потом каждый год в сентябре наши родители приходили в воскресенье в школу с топорами и пилами и сооружали что-то типа моста, и мы уже не переходили реку вброд. Весной, с ледоходом, этот мост уносило, и мы опять переходили вброд. Как только лёд переставал плыть по реке, мы натягивали верёвку, привязав её к деревьям, и утром раздевались догола, уложив вещи на голову, и, держась за верёвку, чтобы не снесло в глубину, переходили реку. Весь апрель и половину мая мы принимали эти ванны.

Придя в школу без пятнадцати девять, мы шли на физзарядку.

После занятий – шесть-семь уроков – мы приходили домой в пять часов вечера.

Я утром выпивал кружку молока с хлебом и брал кусок с собой. Пока шли до школы, появлялся аппетит, и я съедал этот кусок ещё до девяти.

Я сейчас удивляюсь нашей детворе. Обуты, одеты, в школы, в основном, (кто живёт далеко) привозят на машинах, даже одну остановку не пройдут пешком. После школы к компьютеру или телику. В школе никакой физзарядки и урок физкультуры кое-как.

Потом мы горюем, почему наши дети такие больные.

Так мы, отходив в Гридино три года, закончили семь классов, и встал вопрос: куда пойти учиться? Женя, мой брат, уже работал на заводе. Вся трудность была в том, что было негде жить.

Ремесленных училищ было много, но они все были без общежитий. У ребят, имеющих родственников в Ленинграде, проблем не было, поступай в любое, если ты прописан, а если нет прописки, то плохо, было не поступить. Было несколько училищ, куда приглашали детей только из детдомов. Так как я был круглый сирота, без отца и матери, то меня приняли. Не брали сначала, потому что рост у меня был 1 метр 49 см, а брали только с ростом не менее 150 см. Но потом в комиссии одна женщина пожалела меня и сказала, что я обязательно подрасту. Действительно, я скоро подрос. Кормили нас в училище очень хорошо. Еда, которую я дома не получал, сделала своё дело. За три года, проведенных в общежитии, я вырос на 29 см и на конец обучения был 178 сантиметров в высоту.

Было несколько училищ, куда приглашали детей только из детдомов. Так как я был круглый сирота, без отца и матери, то меня приняли. Не брали сначала, потому что рост у меня был 1 метр 49 см, а брали только с ростом не менее 150 см. Но потом в комиссии одна женщина пожалела меня и сказала, что я обязательно подрасту.

С деревней я связи не терял и при каждом возможном случае приезжал.

В 49 году, когда я закончил пятый класс, у тёти Нади родился второй сын, Женя. На работу она ходить не смогла, и поэтому вместо неё на работу ходил я. Дядя Ваня посылал меня на работу, не связанную с большими физическими нагрузками.

Так первая моя работа была связана с тракторами. Тогда трактора были очень старые, и моя работа заключалась в подноске воды к трактору. Радиатор тёк.

Пока трактор делал круг на пашне, я приносил ведро воды из ближайшей канавы.

Трактор останавливался, тракторист лил воду в радиатор и ехал дальше, а я шёл за водой.

Так все три года в летние каникулы, с мая до сентября, я работал с трактористами.

Потом я сидел на плуге и регулировал глубину вспашки, а в 1950 году дядя Миша-тракторист разрешил мне культивировать впаханное поле.

Я уже сидел за рулём и управлял трактором. К 1951 году в колхозе стало жить немного лучше, уже народ не голодал. В колхоз дали грузовую машину. Стали хорошо получать на трудодни.

В конце 1949 года у нас случилось большое несчастье.

Дядю Ваню в октябре 1949-го райком партии отправил в Псков учиться на председателя колхоза, тогда открылись такие курсы. На курсах, в основном, были фронтовики, люди, прошедшие войну. И вот однажды в выходной день они устроили небольшой сабантуй.

На их несчастье, в школу, где они жили и учились, пришёл директор. Завязался какой-то спор с директором, а потом и потасовка, директор начал убегать. В это время из города возвращался дядя Ваня. Мужики крикнули: «Иван, задержи директора!» Дядя Ваня помог, он, вероятно, был тогда подшофе. Директора немного побили. В понедельник утром, когда все протрезвели, директор сказал, что сообщит в партию. Дядя Ваня вечером того же дня взял и повесился. Ему было стыдно перед райкомом, который послал его учиться.

Тетя Надя осталась одна с двумя детьми. Через два года она снова вышла замуж, когда я уже учился в Ленинграде. У неё родились две дочери, Лида и Таня. Она пошла работать на ферму. Там и проработала до пенсии.

В 1953 году умер Сталин, на смену ему пришёл Маленков. Первое, что сделал Маленков, – отменил налог на приусадебный участок. Молоко не нужно было сдавать бесплатно. Молоко брали, но за это платили деньги. В магазинах стал появляться товар. Появились деньги у колхозников, стали покупать коров, заводить свиней. Даже молодёжь стала оставаться в деревне. Учились на курсах шофёров, трактористов, девочки на зоотехников.

Появились хорошие трактора Д. П. На гусеничном ходу, с дизельным двигателем. На лошадях уже не пахали.

> Я поднял руку и спросил: какая разница между колхозником и крепостными.

Пришёл к власти Никита Хрущев. Он сделал два добрых дела: во-первых, ввел пенсию для колхозников. Она составляла 12 рублей. Но это были деньги для стариков. Можно было купить хотя бы соль и сахар. Колхозники стали получать зарплату каждый месяц. А не так как раньше – один раз в конце года. Доярки на ферме, где работала тетя Надя, стали хорошо зарабатывать. А во-вторых, колхозники получили паспорта. До этого они были как крепостные.

Когда я учился в пятом или шестом классе, со мной произошла одна история. Тетя Надя зарезала овцу осенью, и нужно было поехать в Ленинград на рынок продать её. Чтобы поехать в город, нужно было взять справку из сельсовета о том, что ты являешься членом колхоза «Свободное Сухлово», иначе на

рынке не пускали в дом колхозника для ночлега.



Владимир с женой Фаиной и сыном Андреем

Я пропустил школу, сходил в сельсовет и взял справку. Мы как раз в школе в это время проходили крепостное право. На уроке истории учитель в конце урока спросил, у кого будут вопросы по теме урока. Я поднял руку и спросил: какая разница между колхозником и крепостными? Учитель засмеялся и сказал, что мы теперь живём в свободное время, в свободной стране, а крепостные жили при царе и помещиках. Началась перемена, в класс пришла наша классная руководитель и повела меня в учительскую. Когда я зашёл, все учителя повернулись в мою сторону и упёрлись глазами в меня. Николай Николаевич спросил меня, кто мне это сказал. В то время все учителя были стукачи. Их к этому обязывали власти и КГБ. Я рассказал, как брал справку для тёти.

Нина Васильевна вывела меня из учительской и тихонько сказала, чтобы я больше таких вопросов не задавал. Так вот, с приходом Хрущева этот вопрос отпал, он выдал всем паспорта и крепостных у нас в стране не стало.

Хрущев натворил и много плохого. Он отменил и разогнал МТС. Колхозы уже привыкли, что весной приедут трактора и вспашут землю в колхозе. У них была сравнительно хорошая ремонтная база, и все запчасти поступали в одно место. Теперь у колхозов появилась большая головная боль – ремонт техники. Хрущев стал укрупнять колхозы. Это вконец добило сельское хозяйство.

К нашему колхозу присоединили ещё три колхоза. Те колхозы

были намного хуже нашего. У нас был хороший лес. Его выпилили за одно зиму, так как он стал общий. Если раньше штат управленцев колхоза состоял из пяти человек, то теперь вырос в десять раз. Раньше в деревне все были на виду, все знали друг друга. Теперь всё было неведомо. И народ побежал из колхоза. Молодёжь стала уезжать из деревни. Потом, видя такое положение, Брежнев стал уничтожать неперспективные деревни. И если сейчас, не дай Бог, случится война, партизанам никто не поможет. Сейчас в Сухлове проживают постоянно семь человек. Всего лишь. Летом, правда, приезжают дачники.

Деревня, которая раньше состояла из 90 домов, платила налоги государству, кормила 500 человек, обрабатывала 3500 га земли, прекратила своё существование.

Поля все заросли кустарником. Будем ждать, когда Госдума примет новые законы о подъёме сельского хозяйства. А это время уже не за горами.

Сила десятины
Деменчук Галина Демьяновна, 1938 г. р

Моя мама Ксения родила меня, последнего ребенка, в тридцать восемь лет осенью 38 года на Украине. Родители очень ждали мальчика. Папе тогда исполнилось пятьдесят три. А через месяц родила моя старшая сестра Мария. Тоже девочку. Назвали Людмилой.

Мария с мужем жили в Одессе. Мои родители с остальными детьми в Москве. Папа строил метро. Мама волновалась о судьбе старшей дочери. К тому же она была великой труженицей, все время ее тянуло к земле, к хозяйству. Так мои родители приняли решение – переехать на Украину. Здесь сразу же у нас появился огород, виноградник, двадцать кур, поросенок. Папа устроился на станцию Слободка слесарем.

> Мы впервые увидели так много самолетов и в своем неведении подняли руки и закричали в два голоса «Елоплан! Елоплан! Посади нас в калман!». А дикий гул уже прямо над нами.

Лето 41 года стояло жаркое-прежаркое. Мама сшила мне и Люде красные платьица из флагового ситца. Это было в воскресенье, мы нарядились и выбежали на бугор хвастаться. Мне и Люде было по два года восемь месяцев, Люда почти на месяц младше меня. Две рано заговорившие болтушки знали уже по нескольку стишков. И вдруг послышался странный гул. Почти сразу же мы увидели со стороны, куда заходит солнце, как на нас движется огромная черная туча. Туча страшно ревела. Мы впервые увидели так много самолетов и в своем неведении подняли руки и закричали в два голоса: «Елоплан! Елоплан! Посади нас в калман!» А дикий гул уже прямо над нами. Самолетная туча все ниже и ниже. Я случайно оглянулась назад и увидела бегущую к нам с перекошенным от страха лицом маму, она закричала изо всех сил: «Тикайтэ!»

Я схватила Люду за руку, и мы спрятались в кустах люции. К нам подбежала мама, прижала к себе.

Самолеты пролетели куда-то дальше, и вскоре раздался страшный грохот. Это бомбили узловую железнодорожную станцию Слободка нашего района. Так началась для меня война.

Отец Люды, молодой агроном Игнат Бурлака, сразу же ушел на фронт. Мария с дочкой переехала к нам. Эвакуироваться мы не успели.

…Начались тяжелые годы оккупации. Прошла полуголодная армия румын, сразу заставили всех молиться и говорить по-румынски. Мы от них прятались как мухи в щелки. Со дворов брали все: свиней, кур, гусей. Не трогали только коров. Наша Лялька осталась, она нас и спасла в голодный 47 год. Потом в нашем селе появились немцы. Вычищенные, вышколенные. Всю молодежь угоняли в Германию, но в нашем селе никого не взяли. Не оказалось подонков, которые бы предали своих. А может, к нам просто Бог был милостив? У нас ведь с каждого двора десятину на церковь платили. А некоторые даже больше, почитали за честь, вот так! И нарядные войска СС, не видя нас – как будто пелена на глазах у них была, – прошли через Балту, Котовск.

Пока стояли немцы в селе, я старших сестер не видела в доме, они прятались.

Бомбили часто. По малости лет, я запомнила только эпизоды. Вот нас всех, детей, затащили в огромный погреб. Повесили гамак, мне прищемили тело, и я плакала. То волокли нас под утро в глубокий овраг за огородом, где большие кусты терна. Все спрятались под кусты, нас, детей, сверху еще прикрыли подушками. А кругом выстрелы, взрывы. Помню, как горела церковь в Бруштенах. Это уже молдавское село – от нас через долину. Было очень светло. Слышала пулеметные очереди в вербах в долине. Все это лишь отрывки, но на всю жизнь…

…Дом у нас был большой, под железной крышей. Сени, комната, кухня и холодная половина. Поселили к нам немца, мы всей семьей жили на кухне девять квадратных метров, а он один в комнате. Это был какой-то особенный немец, он уходил рано, приходил поздно. На столе держал фотографию: мужчина, белокурая женщина и две девочки. Я запомнила только красивые локоны и огромные белые банты. Эти банты стояли перед глазами все мое детство. Мне же носить бантов не довелось никогда… Нет, не плачу, а так… О себе немец гордо сказал: «Я – зольдат!»

Он часто не приходил на ночевку. Вместо него немец-денщик приводил двух девушек. (Я тогда впервые плохое слово о девушках услышала.) Они были очень красивые, особенно черненькая. Взрослые относились к ним очень настороженно, а мы с Людой – нормально. От них-то мы и услышали впервые русские народные песни. Особенно страстно они пели на два голоса «Раскинулось море широко» и плакали, плакали. Такие грудные голоса, казалось, это мать-земля через них поет, нас утешает. Только намного позже я поняла, почему они плачут. Я не помню время по месяцам, постояли у нас немцы и ушли на восток. Не грохотало, не стреляли – и слава Богу!

Это был какой-то особенный немец, он уходил рано, приходил поздно. На столе держал фотографию: мужчина, белокурая женщина и две девочки. Я запомнила только красивые локоны и огромные белые банты. Эти банты стояли перед глазами все мое детство. Мне же носить бантов не довелось никогда…

А осенью у нас уродилось очень много картошки, понятно, к нежданным едокам. Потом снова прошли какие-то военные части, но у нас они даже не останавливались. Нас тогда мама не пускала даже за ворота.

Быстро прошла зима. У нас на Одесчине весна начинается рано, ночью в долине послышались пулеметные очереди, а потом то немецкая, то русская речь. Вдруг раздался стук в окно. Мы онемели. Папа взял в руки топор, вышел. А это в окно стучал тот немец, который у нас квартировал. Он крикнул: «Гитлер капут!» – и скрылся. До рассвета в доме никто не спал, даже мы, дети. Это была еще не полная победа. Это просто наши взяли верх.

А утром дикое волнение в селе. Немцев погнали за Днестр. Шли первые наши части, шли штрафники. Начался переполох. Люди забегали-заплакали от радости. Кто-то взял хлеб-соль и вышел навстречу нашим солдатам. Обнимали их, целовали, называли сыночками. Солдаты были уставшие, грязные, не очень сытые. Их тут же расквартировали по домам. Мама варила ведерные кастрюли картошки по три раза в день. И еще их кормила грушами-дичками, они помогают при расстройстве желудка. Первые роты пошли дальше. На смену им приходили другие. И наступила весна сорок четвертого. Я уже большая! Мне скоро шесть лет.

К сестре вернулся муж. Игната списали из армии по болезни. Они попали в окружение в Белоруссии, прорывались через болота, и он сильно простыл. Его немного подлечили, и он пошел работать агрономом, тогда лекарств-то особо не было. А третьего мая сорок шестого года он умер от туберкулеза в возрасте тридцати трех лет. Так моя сестра Мария в двадцать семь лет с дочкой на руках стала вдовой.

Наш папа вернулся в свою слободку на прежнее место – слесарем. Вышли на работу сестры Феня и Маруся, а мама возилась с нами, детьми, и конечно же, хлопотала по хозяйству, занималась садом, огородом, виноградником.

В мае, когда яблоня зацвела, у нас на полгода остановились пограничные войска. Полгода счастливейших дней в моей жизни! Никого не надо бояться, можно кричать, бегать!

Пограничники спали прямо на улице, к многим из них

приехали их семьи.

В нашем доме поселился одинокий седой полковник – Егоров Анатолий Константинович. Он ленинградец. Вся его семья: жена, родители жены и его – погибли от голода во время блокады. Остался один сын, его куда-то отправили с пионерским лагерем в тыл. За эти полгода мы увидели очень много, а самое главное – кино.

> В мае, когда яблоня зацвела, у нас на полгода остановились пограничные войска. Полгода счастливейших дней в моей жизни! Никого не надо бояться, можно кричать, бегать! Пограничники спали прямо на улице, к многим из них приехали их семьи.

Представляете, огромный луг, заросший мелкой травкой. На этой площади к двум ольхам натянули огромное белое полотнище – экран. И каждый вечер показывали кино. Мы с Людой не пропустили ни одного фильма. Нашим провожатым был Анатолий Константинович. Он нас очень любил. Бывало, возьмет на руки, несет к винограднику и поет «Калинку», а мы весело ему подпеваем. А там мы ему подносили самый вкусный виноград, уж мы-то знали, где какой куст растет.

К осени Анатолий Константинович заболел малярией. Его сильно трясло.

За ним приехала машина из госпиталя из Рыбницы. Мама укутала его в одеяло и подушки. Через несколько дней наши вещи привезли обратно. Мама испугалась и стала молиться. А когда вернулся Анатолий Константинович из госпиталя, он низко поклонился моей маме и назвал ее своей мамой. Он еще попросил руки моей сестры Фени, но она носом стала воротить: «Мне двадцать, а ему сорок». Она ждала с фронта своего ухажера, но ему не суждено было вернуться. Война забрала его…

А где-то в сентябре привезли сына Анатолия Константиновича, его звали Алик. Я запомнила очень большие грустные глаза. Пограничники переехали дальше, к новым границам. Уехал от нас с сыном и Анатолий Константинович. Наступил сентябрь сорок пятого. Мне исполнилось семь лет.

…А церковь в нашем селе новая, но и старую еще не снесли. Стоят рядышком, как две закадычные подружки. Как в былые времена, и пенсионеры ходят, и молодежь, работы в селе нет, люди ездят по заработкам. И, знаете, что я вам скажу, кто платит «десятину», имеет и дело, и постоянный доход. Вот видите, как Господь заботится, приезжайте, сами увидите…

Стасика положили рядом с папой в окопе
Гундобина Валентина Васильевна, 1930 г. р

22 июня утром радио сообщило, что в 12 часов будет передано важное сообщение, с которым обратится Молотов. Вся наша семья в это время была дома, а папа сказал: «Тише, дети, это война». Выслушав сообщение, папа сразу ушел в военкомат, мама заплакала, маленькие сестренка и братик притихли, а брат Станислав побежал в школу № 6. Там уже было много школьников – притихших, не похожих на себя. Нам никто ничего не сказал, и мы разошлись. Папа вечером пришел расстроенный, его не взяли на фронт, так как у него была бронь. Он работал заместителем в управлении областной конторы «Заготсено». Папа неоднократно обращался в военкомат с просьбой направить в воинскую часть, но получал отказ.

13 сентября 1941 года папа пришел домой в хорошем настроении и сообщил, что зачислен во 2-й истребительный батальон. Штаб его разместили в здании театра. Папа будет обучать молодежь устройству пулемета, как пользоваться противогазом. Ведь он в Гражданскую войну проехал сотни верст, его знания и умения пригодятся.

В это время в Курске были созданы полки народного ополчения, в которые вступило более 11 тысяч человек. Были созданы группы самозащиты для противоздушной обороны. Готовясь дать отпор врагу, сотни тысяч курян сооружали оборонительные рубежи вокруг города, возводили на улицах баррикады, строили огневые точки, копали противотанковые рвы. Мы, подростки, не стояли в стороне, помогали взрослым.

Враг все ближе подходил к городу, истребительные батальоны и народное ополчение, готовясь к защите, перешли на казарменное положение.

Почти каждый день шли проливные дожди – одежда и обувь у защитников города не высыхали. Но боевая обстановка сплотила воедино весь состав батальона. Больных отправляли только тогда, когда они уже не могли держать в руках винтовки. Немало бойцов полегло в первых схватках с врагом. После боев под Фатежом 23 октября 1941 года батальон прибыл в Курск на пополнение и разместился в помещении биофабрики. Как в Гражданскую войну, организовали боевую тачанку. На ней были Филипп Григорьевич Меркулов – мой папа, Иван Александрович Прохоров и Казимир Стефанович Тиль.

Друзья выпросили у командования пулемет, разыскали

бричку и хорошую пару лошадей. Так появилась единственная тачанка.

Приняв пополнение, 2-й истребительный батальон занял оборону в районе улицы Хуторской у кирпичного завода.

Отец облюбовал для своего пулемета место у стены. Рядом, в окопах, заняли оборону его товарищи. Здесь же был и Стасик, мой брат. Он быстро освоился с обстановкой и хорошо выполнял обязанности связного. Бойцы предлагали ему уйти домой к маме, а он не уходил и упрямо твердил: «Мое место рядом с папой».

Бойцы любили слушать, как он поет, любимые песни Стасика – «Орленок» и «Каховка». До войны он учился в школе и был отличником, пел в хоре Дома пионеров, играл хорошо в шахматы, очень много читал. Особенно любил читать о пограничниках, военных всех родов войск. Мечтал быть военным.

…Вечером 1 ноября у северных парков показались фашисты. Они брали город в клещи, стали обстреливать его со стороны Сапогова и Поповки. Главные силы врага шли по Фатежскому шоссе к центру города.

Всю ночь шел мелкий нудный, холодный дождь со снегом. Окопы наполнились водой и грязью. Насквозь промокшие бойцы в окопах готовились к боям. Поздно вечером отец послал Стасика в штаб. Черное небо и черная земля. Грязь хлюпает под ногами. Света в доме не видно: маскировка. Ощупью нашел дверь, тихо вошел в дом. За столом сидят уставшие вооруженные люди.

– Пулеметный расчет Меркулова просит сообщить обстановку и ждет указаний, – доложил он.

И потом по тем же лужам и ухабам назад, к пулеметам.

Серое утро с трудом продиралось сквозь дождь и мокрые хлопья снега. И тут с визгом полетели мины и снаряды, вздыбилась грязь у окопов, появились первые убитые и раненые. Из-за домов и сараев двигались цепи фашистов. По ним ударили из пулеметов, винтовок и ружей. И у немцев есть потери. Стасик видел, как от пулеметных очередей падали враги, и он еще быстрее подавал пулеметные ленты отцу. Грозило окружение. Желая спасти сына и бойцов, папа сказал:

– Немедленно ползи в штаб батальона и передай, что отходим через Тускарь к вокзалу. Я прикрою.

– Папа, я с тобой!

– Сынок, приказы не обсуждают.

Он дополз до штаба и не ушел, а пополз к отцу.

Слышал, как его пулемет не умолкал. И вдруг… Тишина, жуткая тишина.

Стасик бросился к отцу, но был прошит автоматной очередью. Тяжело раненный в ноги и живот, он упал и потерял

сознание. Фашисты на поле боя добивали раненых бойцов, снимали с них одежду, часы, обувь.

> Стасика посчитали мертвым, но он очнулся. Бой шел где-то в центре. Стасик пополз к окопу отца. Дополз, увидел папу мертвым. Стасик забился в маленький окопчик и прижался к мертвому отцу…

Стасика посчитали мертвым, но он очнулся. Бой шел где-то в центре. Стасик пополз к окопу отца. Дополз, увидел папу мертвым. Стасик забился в маленький окопчик и прижался к мертвому отцу… Сторож кирпичного завода, старенький дедушка, пошел к реке за водой, услышал стон, подошел и увидел раненого мальчика. «Дедушка, вытащите меня, я раненый, а папа убит». Дедушка вернулся на завод, потом пришел с бабушкой, вытащили Стасика и принесли его в бытовое помещение.

Постелили сено на пол и положили на него Стасика. Стекла в окне были разбиты, и в бытовке было холодно. Стасик попросил дедушку привести к нему мальчика его же возраста с улицы Хуторской. Пришел мальчик, и он попросил его сходить на Садовую, 6 и передать, что отец погиб, а сын ранен. Мальчик ушел, но пришли фашисты, они искали бойцов и добивали раненых. Они убили Стасика.

…Когда мальчик дошел до калитки дома, ему навстречу вышли две женщины – одна из них была мама, другая – ее сестра. Мальчик сообщил, что отец убит, а сын ранен. Мама закричала, к ним подбежали идущие по улице фашисты и стали обыскивать, обнаружили буханку хлеба, сваренную курицу и простыню. Мама и тетя шли на Хуторскую, чтобы кого-нибудь накормить и перевязать. По городу прошел слух, что много раненых в районе улицы Хуторской.

Фашисты забрали хлеб, курицу и простыню, а их отпустили.

Мать и тетя пошли по Садовой, потом по Семеновской и вышли к Никитскому кладбищу, а потом на Хуторскую. Их встретил дедушка и повел к окопу, где лежал мертвый папа, а потом в бытовку кирпичного завода – где Стасик. На следующий день мама, я и две наши тети пошли через весь город хоронить папу и Стасика. Идти по городу было страшно, еще лежали трупы, немцы останавливали и обыскивали. Когда мы пришли, дедушка снял с петель дверь, положил Стасика на нее, и мы вчетвером поднесли его к окопу папы, мама шла сзади, она плакала, закрыв рот руками. Стасика положили рядом с папой в окопе, накрыв дверью, и присыпали глиной и щебенкой от кирпича.

Все еще можно увидеть
Исаченков Константин Павлович, 1930 г. р

Инвалид 1 группы, ветеран труда, участник войны – работник тыла в годы войны 1941–1945 г., образование высшее, инженер-строитель.

Мне было 11 лет, когда началась война, и все три года немецкой оккупации мне пришлось прожить на оккупированной немцами Смоленщине, в селе Каспля, это в 45-ти километрах от Смоленска. Мои года, пытливый детский ум позволили мне запомнить и запечатлеть в своей памяти все известные события того времени, когда в селе была оккупация. Еще сохранились бараки-корпуса, где содержали несчастных, пути, по которым они шли на смерть; есть место, где расстреливали людей, – там стоит обелиск. Всё еще можно увидеть и снять.

Стоял сплошной крик, гвалт: «Война! Война!»

– Сынок, вставай. Уже пять часов утра, сегодня воскресенье и наша очередь пасти коров. Пасти ты будешь с дедом Михеем, нашим соседом. Он все знает: и как пасти, и где пасти, и куда сгонять на водопой, – говорит мне мать, разбудив меня, одиннадцатилетнего пацана, рано утром.

Наконец я очнулся, сбегал к рукомойнику, плеснул себе в глаза две пригоршни воды и, окончательно проснувшись, сел завтракать. Завтрак был скромный – картошка да хлеб.

Взяв торбочку с хлебом на обед, я вышел во двор и погнал корову Лыску к дороге, по которой уже тянулось стадо. Впереди дед Михей завернул стадо на большак, и мы погнали его под Рытино.



Хата, в которой жил К. П. Исаченков до 15 лет

Утро выдалось замечательное. Ласковое, теплое солнце поднималось на востоке, небо синело голубизной, на нем от края до края не было ни одного облачка. Коровы, пыля, медленно вытягивались в прохладные поля. Отогнав стадо от села на километр, мы свернули его влево, в кустарники и луговины. Коровы быстро разбрелись и стали пастись. Больше всего забот нам с Михеем было от небольшой группы бодливых коз, которые так и пытались залезть на картофельные или хлебные поля. Дедушка Михей – человек уже в годах, спокойный, рассудительный – показывал мне, где подогнать или завернуть животных, чтобы держались они кучно. В постоянной беготне мы не замечали, как быстро летит время.

Когда, видимо, стало часов десять утра, дед Михей стал что-то тревожиться и прислушиваться к общему неясному гулу, катившемуся из Каспли. Наконец дед не выдержал и сказал:

– Знаешь, Костючек, в Каспле что-то творится необычное, что-то, по всей видимости, стряслось. Ты послушай, вот слышны то крики, то вой, то плач женщин, то собаки как-то странно лают. Беги, ты, Костик, в Касплю да узнай, что там такое могло случиться. Погляди, разузнай да скорее беги назад, а то мне одному трудно будет управиться со стадом.

– Хорошо, дедушка. Я мигом: одна нога здесь, другая там. Я вернусь быстро.

Я пустился по большаку в Касплю. Чем ближе я к ней

приближался, тем сильнее меня брал какой-то страх. Наконец и первые дворы – они какие-то все раскрытые и пустые. Впереди была школа-десятилетка, или, как ее у нас звали, ШКМ (школа колхозной молодежи).

Я стремглав влетел в школу. Она вся была забита народом. Стоял сплошной крик, гвалт «война», «война», «война»! Я пытался пройти по коридору школы, забитому мужиками. Они подходили к людям, сидящим за столами, получали бумажки и выходили из школы на улицу, где их встречали плачущие бабы.

Когда я шел по коридору, поднял глаза кверху, кто-то мне прямо в них сыпанул весь пепел с папиросы. Глаза заслезились, защипало, я начал их тереть, но стало еще хуже. Ничего толком не узнав, я выбежал из школы, нашел ближайший колодец и стал плескать себе в глаза холодной водой. Кое-как промыв глаза и проморгавшись, пулей кинулся домой к мамке. Она, вся заплаканная, сидела напротив Тараса Сергеевича – отчима, и они обсуждали, как жить.

– Ничего, – рассуждал отчим, – сама знаешь, я – больной человек, освобожден подчистую. Меня не заберут. А все вместе мы как-нибудь протянем.

– Ты, Костик, почему дома, а не в поле? – строго спросила мать.

> Эта война будет долгой и очень жестокой. Народу перебьют – тьма. Я, наверно, до конца войны и не дотяну, а ты все запоминай, потом деткам своим будешь рассказывать.

– Дед Михей послал разузнать, что творится в Каспле. Да вот на призывном пункте в ШКМ мне кто-то засорил глаза пеплом, и они зудят и щиплют.

– Вечно ты, сынок, попадаешь в истории. Давай я тебе их промою, да беги назад, к деду Михею, или нам могут не зачесть нашу очередь.

Со слезами на глазах я кое-как позволил матери промыть их и, обескураженный и совсем разбитый, поплелся в поле, к стаду. Когда рассказал все деду Михею, он был крайне поражен.

– Знаешь что, Костик, – сказал он, – эта война будет долгой и очень жестокой. Народу перебьют – тьма. Я, наверно, до конца войны и не дотяну, а ты все запоминай, потом деткам своим будешь рассказывать. Немец сильно вооружен. У него много самолетов, танков – не счесть. Так что война будет долгой и тяжелой.

Еле-еле допасли мы с Михеем стадо и раньше обычного пригнали коров домой. Всем было не до них. Кстати, на этом и

закончилась очередь пасти коров, так как их всех разобрали по домам и больше уже не собирали в большое стадо, боясь бомбежек, а каждый хозяин пас корову около своего двора.

На другой день из Каспли началась массовая эвакуация и учреждений, и населения. Рассуждения Тараса Сергеевича, что его не возьмут, не оправдались. Ему пришла повестка явиться на призывной пункт.

– Костик, бери лопату. Пойдем, выберем место да выкопаем вам окоп, пока я не ушел.

На боковом склоне кладбища выбрали место и в песчаном грунте выкопали окоп два на полтора метра. Тарас снял в сенях и сарае несколько дверей, накрыл ими вырытый окоп, насыпал сверху сантиметров 30 земли и сказал:

– Ну, Фруза, убежище тебе и детям готово. Переносите туда все ценное барахло, да и сами там прячьтесь, когда будут бомбежки.

Через два дня мы все со слезами проводили Тараса Сергеевича в армию и остались одни. Мы – это мама Ефросинья, я – одиннадцати лет, сестра Зина – девяти лет, брат Валя – трех лет и брат Коля, которому был всего годик. Как говорится, все мал мала меньше. Мы покинули хату и стали ночевать в окопе.



Константин Исаченков, 1943 год

Начали бомбить все вокруг. Под Касплей, километрах в трех, была МТС (машинно-тракторная станция), обслуживавшая колхозы Касплянского района. Там стояли несколько комбайнов, тракторов, косилок и другая сельскохозяйственная техника. Немного поодаль в землю были врыты две большие цистерны: одна, видимо, с соляркой, а вторая – с мазутом. В один из дней в

начале войны над Касплей залетали, закружились немецкие самолеты и прицельно стали бомбить МТС. Вся ее территория была разворочена бомбами. Одну из цистерн фашистам удалось поджечь. Огромные черные клубы дыма поднимались к небесам. Бомбежка и поджог МТС произвели на касплян удручающее впечатление.

Ну, раз немцам известно было место нашей МТС да еще кто-то направлял самолеты, еще и бомб не жалели, сыпали как горох на нашу захудалую маленькую МТС, заброшенную в никому не известной в глуши, – то что же будет с большими объектами, селами и городами?! Все, видимо, переколотит проклятый фашист, все превратит в руины. Так рассуждали каспляне.

В один из дней в начале войны над Касплей залетали, закружились немецкие самолеты и прицельно стали бомбить МТС. Вся ее территория была разворочена бомбами. Одну из цистерн фашистам удалось поджечь. Огромные черные клубы дыма поднимались к небесам.

Пожар на МТС на несколько дней стал главным объектом обсуждения баб да мужиков в Каспле. Все были очень удивлены, все стали собираться в эвакуацию. И скоро Каспля совсем опустела, в ней не осталось людей. Кто-то нашел возможность уйти к Смоленску, а большинство отъехали в ближайшие к Каспле деревни. Фактически в Каспле осталась одна наша семья: Фруза со своими четырьмя детьми.

Ночью мы, не раздеваясь, сидели в окопе, а днем бродили вокруг хаты. Очень скоро стенки окопа стали осыпаться, и однажды, когда нас, к счастью, в нем не было, окоп рухнул. Подойдя поближе, мы увидели покосившуюся крышу, провалившиеся двери и засыпанные песком наши пожитки. Мать крестилась и говорила, что Бог спас нас. Мы разгребли завал, вытащили свои вещи и больше в окоп не прятались. Мать решила перебраться на окраину нашей улицы Кирова – за пятидворку. И мы обосновались в окопе на пригорке при въезде в Касплю с южной стороны. Окоп был вырыт соседом, но его забрали в армию, а семья совсем уехала из Каспли.

Вокруг большого здания районного универмага, магазинов, столовой, чайной, аптеки бегали толпы людей и тащили все, что только можно было. Грабеж продолжался целый день и стих только к ночи.

Окоп был в крайне опасном месте – на самом верху взгорка по дороге к озеру. Часто над нами свистели шальные пули, и одна

даже легко ранила маму в щеку. Лето было теплое, дождей не было. Днем светило солнце, и мы играли около этого окопа. Все наше домашнее барахло я переносил под соседские липки, мы накрыли гурт брезентом, а наверх я положил хороший полевой бинокль Коли Зуева. Через ночь я пришел проверить вещи – бинокля уже не было, украли. Я все удивлялся, ну кто бы это мог – ведь во всей Каспле были мы одни.

Однажды мама позвала меня и сказала: «Сбегал бы ты на Касплю. Там что-то творится. Туда бегут бабы со всех окрестных деревень».

Я побежал и увидел страшную картину. Вокруг большого здания районного универмага, магазинов, столовой, чайной, аптеки бегали толпы людей и тащили все, что только можно было. Особый водоворот, шум, гам, ругань, драки были вокруг универмага. Я протиснулся внутрь – там шел полный грабеж прилавков и отделов посуды, одежды, продуктов, сельскохозяйственного инвентаря. Везде валялись рассыпанные мешки с сахаром, мукой, крупой. В зале стоял невообразимый гвалт. Женщины тянули друг к другу рулоны материи, буквально рвали их и вязали в узлы. Грабеж продолжался целый день и стих только к ночи.

Я принес к окопу косу и брусочек, чтобы ее точить. Мать, вздохнув, спросила: «Зачем тебе? Жрать нечего, а ты даже сухарей или сахару малым пососать не принес».

Когда наутро я снова побежал в Касплю, она вся была в тишине. Все было разграблено. Хлопали двери милиции, райисполкома, райвоенкомата, райкома комсомола. Все магазины, столовая, чайная, ларьки были открыты. На базарной площади тучей носились голуби и воробьи.

Через Касплю по большаку отступали наши войска. Чаще шла утомленная пехота, иногда проходил обоз, редко тарахтел трактор, волоча за собой орудие. В воздухе все время гудели немецкие самолеты: они звеньями шли на Смоленск, и там днем и ночью была бомбежка.

Большой деревянный мост через реку Каспля на всем протяжении ниже перил был обвешан большими белыми полотнищами, которые трепетали на ветру. По мосту ходил часовой-красноармеец с винтовкой. Я не понимал, зачем мост был обвешан полотнищами. Войска отступали по-разному: иногда шли сплошным потоком – даже нельзя было перейти большак, а иногда – маленькими группами. Крайне удручающее впечатление производило отступление наших войск.

В один из дней я оказался в центре Каспли. По большаку сплошной лентой тянулись войска. Да так, что мне не было

возможности его перейти и побежать в свой окоп на окраину. И вдруг налетели немецкие самолеты и стали бомбить большак, центр села и войска. «Беги, пацан! Чего стоишь, рот разинув?!» – крикнул мне один из запыленных бойцов, сбегая с дороги и ложась в траву.

Я послушался и побежал к реке, рассчитывая вдоль левого берега вернуться к матери. Вбежав на пологий склон берега, я вдруг в дерне увидел четырехугольные вырезки, а кое-где были видны зеленые ящики, стоящие под дерном. Между этими ящиками по траве были натянуты тонкие медные проволочки. Я бежал так, чтобы не наступать ни на квадраты дерна, ни на вьющиеся между ними проволочки. Фактически я не знал, что это стоят противотанковые мины и что я бегу по страшному минному полю смерти.

У нас в школе до войны были уроки физкультуры, на которых мы проходили военное дело. Нас знакомили с деревянными винтовками да тяжелыми болванками гранат с деревянной ручкой. На одном из уроков физкультуры я сам даже оконфузился. Взяв для броска гранату, послушав объяснение учительницы, я вложил в бросок всю свою силу, даже согнулся и… громко пукнул. Весь класс схватился за животы, а девочки стали красными как раки. Я стоял ни живой ни мертвый от стыда и уже хотел дать стрекача. Ко мне подошла учительница, полуобняла меня и тихо сказала: «Костик, успокойся, никуда не бегай и не натвори чего-нибудь. Завтра ребята это забудут и не будут смеяться».

В один из пролетов мне нужно было пробежать и быть на другой стороне моста. Вдруг услышал, как часовой с моста стал кричать: «Назад, пацан! Застрелю! Мины! Назад, пацан! Застрелю! Мины!» Но мне было не до этого. Я продолжал пулей лететь по направлению к крайнему пролёту моста.

Так закончился один из уроков военного дела в школе. Поэтому про мины я не знал ничего и сейчас сыпал по ним босиком, подбегая к мосту. В один из пролетов мне нужно было пробежать и быть на другой стороне моста. Вдруг услышал, как часовой с моста стал кричать: «Назад, пацан! Застрелю! Мины! Назад, пацан! Застрелю! Мины!» Но мне было не до этого. Я продолжал пулей лететь по направлению к крайнему пролёту моста. Два раза рядом со мной пролетели пули «вжик, вжик», но, слава богу, часовой сверху в меня не попал, и я скрылся под пролетом моста. Выскочив на другой берег, я уже не увидел там этих вырезанных квадратов в пожне. Земля была влажная, и я

стремглав понесся вдоль больничных огородов к себе на окраину в окоп. Когда я рассказал, чуть отдышавшись, эту историю матери, она дала мне два подзатыльника и отругала, сказав: «Вечно тебя носит нелегкая! Ну что бы я делала с тремя малолетками без твоей помощи?!»

Через несколько дней мать отпустила меня поглядеть, что делается в центре села. Я увидел, что мост уже сожжен; на левом берегу, вдали от моста – как мы говорили, у второго брода – стоял трактор, взорвавшийся на мине. Он несколько лет там маячил как памятник бесславного отступления наших войск: когда одни минировали, а другие – наши же – гибли.

Движение по большаку совсем прекратилось, все замерло. В большом селе, каким была Каспля, с множеством улиц, разбегавшихся во все стороны, все стихло, вымерло: ни человека, ни животного. Удивительно, как быстро все начальство, все учреждения, все население покинули село. Это потому, что все страшно были напуганы войной, немцами, бомбежкой и пожарищами.

Раньше, до войны, до Каспли доходили слухи, что под Ленинградом идет тяжелая финская война, что солдаты тысячами гибнут от мин, «кукушек», в ямах-снегах, от бездарных руководителей и так далее. Правда, финскую войну и мы ощущали: пропал сахар, дефицитом стали керосин, соль, особенно почему-то резиновые галоши, которые так необходимы в деревне.



Село Каспля с видом на мост через реку. Стрелка показывает

на место, где находится хата, в которой прошло детство Кости Исаченкова

Люди, ездившие на станцию Лелеквинская – это от Каспли в восемнадцати километрах, – удивляясь, рассказывали, что, дескать, по путям в Германию наши правители прут эшелонами хлеб, отборную пшеницу, оборудование и др. Неужели наши правители не понимают, что война с немцем неизбежна, что она на носу?! Это ведь знает уже каждый гражданин – от пастуха до министра? Только сам, рябой, дескать, понять этого не может и все доклады отвергает, говорит «не паникуйте, не провоцируйте, не психуйте». А война шла, стучалась, гремела, бурлила, как вешние воды, и катилась по всей Европе в сторону советских границ. И если бы даже за 2–3 дня до всем известного срока начала войны, 22 июня 1941 года, была дана команда войскам на готовность № 1, как говорили понимающие в военном деле люди, того, что произошло летом 1941 года, никогда бы не было. А так – грянула страшная всесокрушительная бойня, которая докатилась до сердца страны, Москвы, и продолжалась четыре года.

Первые немцы

Уже заочно, никогда не видя немцев, мы их боялись как огня, как каких-то нелюдей, зверей, которые только и знают бить и расстреливать русских. Поэтому, когда я увидел двух немцев в серой форме, сапогах с подковами, у меня перехватило дыхание, я встал к обочине Шинкаревой хаты и замер. Немцы шли из центра Каспли, одеты они были в кители с карманами, погоны окантованы серебряным кантом. На широком ремне на животе у каждого висело по большому пистолету. Поравнявшись со мной, они остановились, и один, пробежав пальцами по ладони другой руки, быстро спросил (как я смог понять), где «цып, цып, цып» – то есть куры. Дрожа от страха, я пожал плечами и сказал, что не знаю. И правда, Каспля была так пуста, что казалось, всё и все вымерли. Потом немец выгнул одну руку, как бы показывая шею гуся, и спросил, где гуси. Я опять пожал плечами, сказав «никс» – не знаю. Немцам это не понравилось, хотя они усмехнулись моему коверканью немецкого языка.

Мы втроем – два немца и я посредине – медленно шли по пыльной дороге на юг, в сторону озерной маленькой деревушки Прудники. Немцы расстегнули кобуры, просмотрели пистолеты и стали поглядывать на

показавшийся вдали лесок под деревней Лубаны. «Партизан, партизан», – несколько раз повторили они. Я молчал и только пожимал плечами.

Один из немцев заглянул за хату в огород, послышались выстрелы, и он вернулся, держа маленькую курицу. Взвесив ее на руке, что-то сказал напарнику, показав мне ладонью, что надо топать. Взял меня за руку, поставил между ними, и мы пошли. Мы прошли всю улицу и вышли на окраину. Когда проходили мимо нашего окопа, с пригорка спустилась мать и хотела взять меня за руку и увести. Но немцы рассердились, показали, что пойдут дальше, и оттолкнули ее. Она заплакала и пошла к окопу, у которого уже голосили сестра Зина и брат Валя.

Мы втроем – два немца и я посредине – медленно шли по пыльной дороге на юг, в сторону озерной маленькой деревушки Прудники. Немцы расстегнули кобуры, просмотрели пистолеты и стали поглядывать на показавшийся вдали лесок под деревней Лубаны. «Партизан, партизан», – несколько раз повторили они. Я молчал и только пожимал плечами.

В первые дни оккупации немцев в Каспле было мало. Они заняли здание райисполкома и милиции, поставили часовых и особо никуда не ходили. Но вскоре приехало несколько легковых и грузовых автомашин. Одна легковая автомашина с четырьмя офицерами поехала по дороге к броду, где река Каспля вытекает из большого озера – того же названия. Немного не доехав до брода, она взлетела на воздух – под ней взорвалась противотанковая мина.

Вскоре показалось Касплянское озеро и маленькая деревушка на его берегу. Там паслось несколько гуртов белых гусей. Немцы весело загоготали, похлопали меня по плечу и прибавили шагу. На завалинках хилых деревянных домов сидели бабы. Они встревожились, вскочили и бросились прутиками загонять гусей во дворы. Немцы побежали бегом, волоча и меня за собой.

Подбежали к ближайшей стае, вытащили пистолеты и стали беспрерывно стрелять. Гуси всполошились и бросились прочь. Но немцы трех застрелили сразу, а четвертого застрелили уже в убегающей стае. Всего было застрелено четыре больших гуся-красавца. Немцы взяли по два и, не обращая ни на что внимания, пошли назад.

– Гляди-ка, бабы, да это ж их привел сюда Фрускин сын Костик! Я ее знаю.

Она около больницы живет. Уж я ее отматюгаю, уж я ее

отблагодарю за сынка!

– Да ты гляди, – сказала другая баба. – Он у них сам под конвоем!

Немцы оглянулись, что меня нет рядом. Один грозно шлепнул ладонью по кобуре и крикнул, чтобы я шел за ними. Я поплелся. Придя в Касплю, немцы крикнули «век!» и прогнали меня. Мать, вся заплаканная, обняла меня. Она, услышав издалека выстрелы, подумала, что немцы меня застрелили. Правда, дня через два две женщины из Прудников приходили к матери ругаться, но когда узнали, в чем дело, то поплакали вместе с матерью, что пацан хоть остался живой.

В первые дни оккупации немцев в Каспле было мало. Они заняли здание райисполкома и милиции, поставили часовых и особо никуда не ходили. Но вскоре приехало несколько легковых и грузовых автомашин. Одна легковая автомашина с четырьмя офицерами поехала по дороге к броду, где река Каспля вытекает из большого озера – того же названия. Немного не доехав до брода, она взлетела на воздух – под ней взорвалась противотанковая мина. Мы радовались, что фашисты напоролись на советские мины.

Через несколько дней из Смоленска пришли две крытые грузовые автомашины, из них вылезли немцы с какими-то рогатками и несколько дней ходили по дорогам, холмам, перелескам, кустам, тропинкам, купальням и броду – искали мины. Они нашли их громадную кучу, свезли все за Кукину гору – недалеко от речки и кочковатого болота. Я видел эту кучу зеленых четырехугольных ящиков, по которым я когда-то бежал под мост.

Однажды, придя проведать свою хату у кладбища, я с ужасом обнаружил, что два немецких танка загнаны прямо на наши огородные гряды. В одной из гряд я сделал яму и закопал все наши семейные фотографии.

Когда немцы в один из дней взорвали всю эту кучу мин, мы думали, что рухнула вся земля. На месте взрыва образовалась громадная яма – метров десять в диаметре и метров пять глубиной. Эта яма впоследствии стала последним пристанищем многих десятков русских людей.

По дорогам стали проезжать одетые во все черное немецкие мотоциклисты, клубы пыли были на их странных комбинезонах.

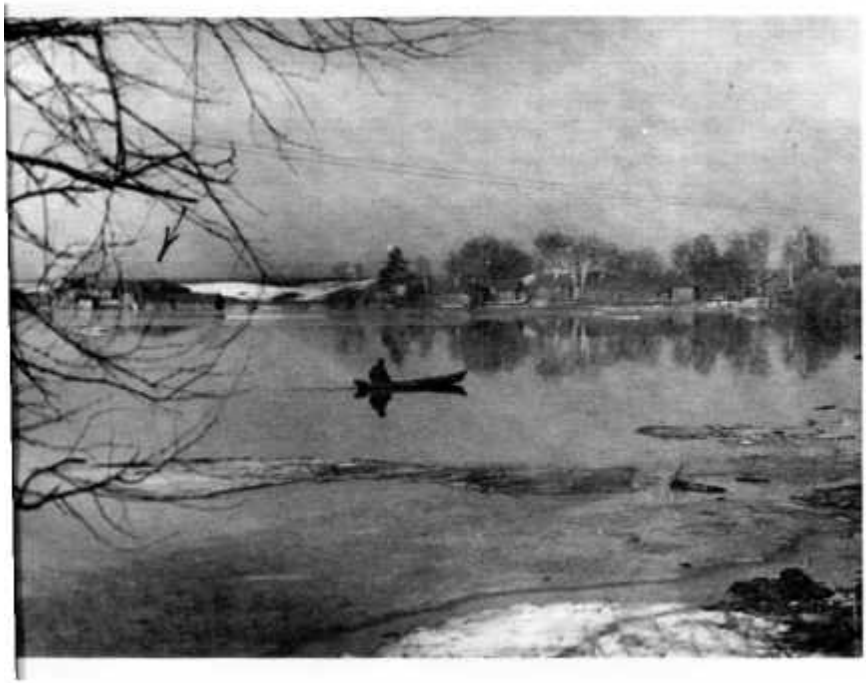
Однажды, придя проведать свою хату у кладбища, я с ужасом обнаружил, что два немецких танка загнаны прямо на наши огородные гряды. В одной из гряд я сделал яму и закопал все наши семейные фотографии. У нас было в семье двое военных:

двоюродный брат Коля (он перед войной окончил Ленинградское училище связи и был лейтенантом) и дядя Гриша – брат матери, который окончил летное училище и был летчиком-истребите-лем – ас, подполковник.

Я испугался, думая, что, когда немцы найдут эти фотографии, нас или расстреляют, или сожгут хату. Но все обошлось: фотографии были вмяты в грязь. Я их вытащил, очистил и перепрятал. Удивлению моему не было предела – почему фашистам понравилось ставить на ночлег танки прямо на бедный русский огород? Утром танки и мотоциклисты снялись и уехали на восток.

Когда я пошел в центр Каспли, по большаку непрерывным потоком шли войска немцев, обозы, танки, автомашины, в пыли шагала пехота с автоматами на животе и засученными рукавами. Рядом со сгоревшим мостом фашисты разобрали пару хат, стоящих около моста, и из бревен сделали наплывной мост прямо на воде. Танки по нему не пускали, они шли вброд. А обозы с куцыми хвостами лошадей тянулись беспрерывной лентой. При спуске с берега к воде два немца с большими кольями с двух сторон повозки вдевали их между спиц в колеса и тормозили возы. Работа была крайне тяжелая, иногда у колеса вылетало сразу несколько спиц, и воз опрокидывался, все высыпалось. Там были продукты и ящики со снарядами. Немцы не давали смотреть и кричали мне «век!».

Помню, по улицам проходили наши пленные солдаты. На них страшно был смотреть. Они еле шли, многие были ранены, некоторых солдат подпирали под руки и вели по бокам двое других. Появившиеся в Каспле женщины, стоящие по обочине улицы, пытались что-то передать военнопленным. Настя Шинкарева подала сзади идущему солдату большую брюкву, он радостно взял. Шедший следом за ним фашист подскочил и нанес в спину сильный удар окантованным прикладом винтовки. Военнопленный буквально рухнул на спины впереди идущих пленных. Такая жестокость немцев озлобляла нас против них.



Село Каспля. Пейзаж

Немцы не щадили никого. Разговор с нами, русскими, у них был один – «русский свинья». Других слов мы не слышали. При этом любой немец мог без всякого повода отобрать скотину, поджечь хату или просто пристрелить тебя, если ты ему чем-то не понравился. Злость, ярость, жестокость немецких солдат в 1941-м – первый год войны – не знала предела.

> Один раз на могильнике, где под склоном стояла хата, разместилась наша отступающая часть. Немецкая рама, полетав над Касплей, прислала 3 немецких «юнкерса», и они два раза заходили на бомбежку хаты и могильника. Но когда зенитки и счетверенные пулеметы открыли сплошную завесу огня, фашисты ушли на высоту и сбросили бомбы в болото.

Школы, больницы перестали работать, хотя из деревень приходили и приезжали больные, раненые люди. Они днями лежали и сидели в приемной больницы. Тогда по своей инициативе фельдшер больницы Федор Тимофеевич Зуев (бывший муж моей тети, Боровченковой Устиньи Трофимовны), на свой страх и риск, начал вести прием. Люди потянулись потоком. Он хоть и был со знаниями фельдшера, но еще до войны

вел продолжительные приемы граждан, как врач. Лекарств, конечно, не было. Лечил Федор Тимофеевич советом, перевязкой да народными средствами.

В Касплю стали прибывать из эвакуации отступившие в деревни. Вышли и мы с матерью из неудобного соседского окопа на пригорке в конце улицы Кирова. Хата наша уцелела от бомбежек, хотя дважды прицельно немецкие самолеты хотели разбомбить ее.

Один раз на могильнике, где под склоном стояла хата, разместилась наша отступающая часть. Немецкая рама, полетав над Касплей, прислала 3 немецких «юнкерса», и они два раза заходили на бомбежку хаты и могильника. Но когда зенитки и счетверенные пулеметы открыли сплошную завесу огня, фашисты ушли на высоту и сбросили бомбы в болото.

Во второй раз могильник был пустой, войск не было. Я стоял в створе своей хаты на улице Кирова и махал другу Петьке Савченко, что летят самолеты, прячься. Сам я как-то не думал о себе и, разинув рот, следил за двумя «юнкерсами» с крестами. Они летели на очень большой высоте, спикировали, сбросили две бомбы, но те не долетели до хаты и взорвались на топком лугу. Самолеты еще раз спикировали и еще раз сбросили две бомбы, которые перелетели хату и меня и взорвались на другом конце улицы, в кустарных кочках.

Почему немцы так вольготно вели себя? Потому что в первые дни войны не было наших самолетов, а во-вторых, они не жалели бомб. Бомбежки доводили нас до страха. Мы вынуждены были спать, не раздеваясь, постоянно выбегали из хаты, как только гул самолетов усиливался. Фашисты взяли манеру бомбить ночью, навешивая в небе сто белых ракет на парашютах. Они освещали небосвод как днем, самолеты летели тучами – одна группа за другой, со страшным свистом пикировали, сбрасывали бомбы над Смоленском, Ярцевом, Вязьмой, Ельней, Рославлем и, возвращаясь, делали разворот для новой атаки. Разворот нередко проходил над Касплей и ее окрестностями; создавалось впечатление, что нас бомбят. А частенько фашисты просто сбрасывали бомбы куда попало, и тогда земля содрогалась у нас под ногами. Весь 1941 год и даже половину 1942 года в небе господствовала только немецкая авиация, а наших что-то было не видно и не слышно.

Выменять у немца кусок мыла можно было за 10 яиц или литр молока, а уж спички были на вес золота, так как у немцев в большинстве случаев были вместо спичек зажигалки.

Немцы ничего нашего, русского, не брали – боялись отравиться.

В первые дни войны нас в окопах, да и в хате стали донимать насекомые: вши, блохи и большие черные тараканы. С тараканами мать еще знала как бороться: выгоняла нас, детей, в холодные ночи спать на улицу, открывала окна и двери, убирала всю воду – и они не выдерживали сквозняков, куда-то исчезали. Труднее было бороться со вшами и блохами. Они буквально не давали нам спать. Раздолье им было большое. Мы все время ходили в одной и той же одежде, в ней же приходилось и спать. Младших мать кое-как еще пыталась мыть в корытах, а нас, уже больших, помыть было трудно. Главное – как-то с началом войны пропало мыло, не было спичек, соли, керосина, и запасов не было. По соли – мать заставляла колоть на щепки небольшую деревянную бочку, где раньше держали соль.

Мать пыталась бороться с насекомыми. Снимала с нас одежду, вешала на веревку, ставила вниз корыто с водой и била и мела наши штаны и рубашки. Иногда в корыто, как горох, сыпались крупные белесые вши. Мать выливала воду в яму и закапывала. Это ненадолго нам помогало.

Выменять у немца кусок мыла можно было за 10 яиц или литр молока, а уж спички были на вес золота, так как у немцев в большинстве случаев были вместо спичек зажигалки.

Немцы ничего нашего, русского, не брали – боялись отравиться. Они только жадно хватали живых кур, яйца и молоко. Я видел, что немецкие солдаты тоже страдали от вшей: часто чесались, бегали купаться в озеро, сами стирали белье, скребли швы в рубашках лезвиями безопасных бритв. Если приходили на постой или ночлег в хату – выгоняли нас на улицу и не брали никакие наши тряпки, чтобы подстилать или укрываться.

У всех немцев была общая привычка. Когда занимали помещение школы, больничного барака или приемной, они сначала оттуда все выбрасывали на улицу, наносили с полей, где увидят, сена или соломы, расстилали ее, клали на нее брезент и так спали. Уезжая утром, никогда за собой не убирали, оставляя эту работу нам, «русским свиньям», как звали они нас.

Однажды после такого их ночлега я нашел у изголовья два небольших черных шарика с кнопкой. Заинтересовавшись кнопкой, я ее отвинтил и потянул. Из «груши» показались два белых тонких канатика. И как я ни тянул, больше сантиметров 20 они не вылезали. Так я проделал с обеими находками. Мне очень понравились крепкие канатики, но, сколько ни тянул – они больше не вылезали. Я не понимал, что это такое.

Мимо проходил немец. Я взял эти «груши», поднес к нему и спросил по-немецки: «Вас ист дас?» («Что это такое?») Немец страшно испугался, показал, чтобы я осторожно положил «груши» на землю, сказал мне «век!». Потом он подошел поближе, взял их, что-то сделал, резко дернул пробку у одной «груши» и быстро бросил ее подальше. Раздался взрыв. Столб черной грязи, как фонтан, взвился вверх. То же немец проделал и с другой, выругав меня своим немецким ругательством «доннер ветер!», и погрозил мне кулаком. «Ганаты, ганаты», – прокричал он напоследок.

Когда я рассказал, как всегда, матери эту историю, она сняла с притолоки «татарку» (так у нас в семье называлась небольшая плетка, служившая для наказания провинившихся детей), отлупила меня, приговаривая: «Не будешь лазить, не будешь брать чужие незнакомые вещи! Вот тебе! Вот тебе урок».

Иногда мать брала грязное ведро и шла на Касплю. Находила там убитую собаку-дворняжку (а надо сказать, немцы очень не любили наших собак: как только завидят – выхватывали пистолеты и сразу стреляли), набирала в ведро вонючие внутренности, приносила домой, заставляла развести костер, ставила ведро на огонь, добавляла туда поташ (как она называла) и варила самодельное вонючее хозяйственное мыло. Когда оно застывало, получалась черная липучая масса, похожая на холодец и деготь одновременно. Вот таким мылом мать стирала белье и тряпки, говоря, что это единственное спасение от вшей.

Оккупация

С конца лета 1941 года у нас началась полная оккупация. Все беженцы-каспляне к похолоданию вернулись в свои дома.

Немцы располагались прочно и надолго. В здании бывшего райисполкома они организовали военную комендатуру, комендант был рослый полковник, живший в доме рядом с комендатурой. Около комендатуры всегда стояли часовые, толпились немцы, приезжали и уезжали легковые и грузовые автомашины. Связисты навесили на столбы какие-то провода, и в окнах было видно, как немцы сидят за столами и болтают по телефонам.

Комендатура занялась своей безопасностью, так как немцы уже знали слово «партизаны». Со всех сторон от Каспли были организованы боевые опорные точки, где в железобетонных дотах сидело по 5–7 немцев. Это было сделано, чтобы опорные пункты заранее предупреждали гарнизон Каспли о нападении партизан. Пунктов таких было 5–6. Особую трудность для немцев

представляло снабжение этих пунктов питанием. В Каспле во дворе комендатуры стояли военные полевые кухни, в них готовили обеды. Основная трудность заключалась в том, что обед надо было доставить в эти пункты по никем не охраняемой территории – дорогам. И нередки были случаи, когда партизаны выходили из леса, искусно минировали колею дороги, и доставляемый обоз из 2–3 повозок (обед да охрана) взлетал на воздух.

Но вскоре немцы нашли выход из этого положения. Однажды мать отправила меня и отчима Тараса Сергеевича Ярцева в баню. Баня в Каспле была одна, ее топили попеременно – то для мужчин, то для женщин. Мы взяли тазы, белье, а Тарас Сергеевич как лесной житель и большой любить попариться – и веник. Пришли, вымылись. Тарас своим паром выгнал из парилки всех касплян. Они говорили: «Ну, если он заберется в парилку, спасу нет – удирай, бросай все». Так оно и было. Я раз зашел в парилку, когда парился Тарас, так думал, что у меня снесло голову, – вот как ее обхватило паром!

Наконец, напарившись и намывшись, мы оделись и вышли из бани. Нас сразу же окружили два немецких автоматчика и подвели к группе мужиков, тоже вымывшихся и стоящих в стороне под конвоем одного часового. Тарас стал тихо спрашивать соседа, что будет с нами. «А черт их знает! От немчуры можно всего ожидать. Могут за Кукину гору свести да и шлепнуть ни за что ни про что!» Когда в нашей группе набралось человек 10–12, немцы окружили нас и повели от бани через мост к военной комендатуре. Там стояло две подводы: одна – запряженная в русскую телегу и русскую лошадь, другая – бричка на пневмоколесах, запряженная в немецкого битюга с коротким хвостом.

Нам приказали сесть на телегу. Из здания вышел какой-то начальник и, взяв под уздцы лошадей, развел их на должное расстояние друг от друга. Посадил на бричку немцев-автоматчиков, гаркнул «гей!», и обоз тронулся. Тарас Сергеевич спросил, куда это мы поедем. Ну тут мужики разъяснили: «Видишь, едем в Язвищи, это в семи верстах. Там находится опорный пункт немцев. Везем им обед. А чтобы немцы не взорвались на заложенных партизанами на дорогах минах, пускают вперед нас, дураков, человек 8—10 на телеге – мы их прикроем. Прошлая партия проехала удачно, без жертв, а некоторые взлетали на воздух. Так погибли восемь человек, пятеро были тяжело ранены, лошадь разорвало на куски. Так что, Тарас Сергеевич, сиди и моли Господа, чтобы пронесло. Слышали, у тебя в партизанах три брата подвизаются – вот и свистни им,

чтобы они перестали этим делом баловаться, а то гибнет наш русский мужик». Тарас крякнул, но ничего не ответил. Все замолчали, только слышно было, как возница цокал на лошадь, чтобы она старалась идти плавно.

Надо отдать должное, мы благополучно проехали семь километров грязной, разбитой проселочной дороги и остановились у небольшого бункера с бойницами, из которых торчали пулеметы да у дверей стоял часовой. Из бункера выскочили три немца, быстро забрали с немецкой брички бачки с пищей, ящик с хлебом, еще что-то в небольшом мешке. Вынесли из бункера такие же термосы-бачки, ящик да передали главному какой-то коричневый пакет. Поболтали немного по-своему – что мы могли понять? Старший опять сам развел наши подводы на определенное расстояние друг от друга, подальше от нас поставил бричку с немцами, гаркнул «гей!», и обоз тронулся.

Обратный путь мы проделали более спокойно и к концу дня с тазами и грязным бельем пришли домой. Мать, вся в слезах, уже и не думала, что мы вернемся живыми. Ей кто-то сказал, что нас от бани забрали немцы, и мы поехали с обедом в Язвищи. Но все обошлось, и мать сказала: «Ну уж нет, мужики! Лучше ходите грязные, чем такие передряги!»

Военная комендатура была в Каспле самым главным учреждением, она выселила касплян из ближайших домов и сделала там постой для солдат. Гарнизон Каспли был небольшой – не больше роты солдат. Фронт откатился за Смоленск и долго грохотал под Ярцевом и Вязьмой, где немцам удалось окружить армию. Героям этой битвы в Вязьме поставлен памятник.

Кроме военной комендатуры в здании милиции на улице Кирова, немцы создали сельскохозяйственную комендатуру. Командовал ею ужасный аристократ-подполковник, страшный чистюля, ходивший в форме как на парад, всегда с тонким хлыстом, стегавший себя по красивым высоким сапогам.

Я несколько раз оказывался вблизи него и хорошо рассмотрел. Особенно когда по дворам прошли два автоматчика и приказали на ломаном русском языке явиться утром на колхозную площадь в центре Каспли. Мать сказала, что не может бросить маленьких Вальку и Кольку, и велела идти мне. Когда я пришел, на грязной площади уже шумел народ. С одной стороны был выстроен помост, на котором стояли переводчик и автоматчики. «Идет, идет», – раздались голоса, и все увидели, как с горушки, где стояло здание милиции, спускалась группа, человек пять-шесть, немецких офицеров. Среди них был и сам комендант. Он не стал долго рассусоливать и попросил переводчика, чтобы тот установил на площади тишину. Говорил

быстро, резко, отрывисто – переводчик еле-еле успевал за ним переводить.

Смысл его речи, как я помню, был таков: «Ну вот вы теперь свободны от коммунистов, а главное – от колхозов. Теперь каждый из вас самостоятельный хозяин. Вы можете держать сколько пожелаете скота, пахать и сеять землю, сколько вам выделит ваше общество. На этом сходе мы вам поможем выбрать одного старосту, который и будет вами руководить. Его распоряжения, приказы вы все должны исполнять так, как будто они исходят от нас – оккупационных властей. Можете открыть школы, организовать работу больницы, завести столовые, магазины. Пусть работает ваш базар. Можете учить детей религии. Мы, немцы, всячески будем поощрять частную собственность, вашу инициативу и работоспособность. Можете начать ремонтировать мосты и дороги, убрать с площади грязь. Вам дана полная свобода в ваших сельскохозяйственных делах. Так кого вы будете выбирать своим старостой?»

> Из толпы послышались голоса, предположения, записали несколько человек. Потом переводчик стал их называть, все они шумно отказывались, понимая, что брать на себя обузу старосты – это равносильно смерти. В соседних с Касплей деревнях эти старосты уже поменялись несколько раз, так как днем сход старосту изберет, а ночью придут партизаны и без разбору его расстреляют, как фашистского прихвостня.

Из толпы послышались голоса, предположения, записали несколько человек. Потом переводчик стал их называть, все они шумно отказывались, понимая, что брать на себя обузу старосты – это равносильно смерти. В соседних с Касплей деревнях эти старосты уже поменялись несколько раз, так как днем сход старосту изберет, а ночью придут партизаны и без разбору его расстреляют, как фашистского прихвостня. После долгих споров, криков, гама староста Каспли был избран, и его заставили взойти на помост и держать речь. Слова новоявленного старосты удивили касплян и сразу же разделили их на два враждующих лагеря.

– Я что хочу сказать, – начал староста, – земли в Каспле мало, да и она малоурожайная: песок, суглинок, глина. Лугов и вовсе нет. Леса для дров тоже нет. Так я думаю своим умом, что землей надо наделять только тех касплян, которые являются, так сказать, коренными жителями, издревле живущими в этом селе. А всем пришельцам: учителям, врачам, служащим, продавцам, работникам разных учреждений и прочим – земли не нарезать.

Пусть пользуются теми огородами, что у них есть у дома, хаты, квартиры, где они проживают. А как вы, селяне, думаете?

В толпе раздался гул. Коренные крестьяне гудели вроде бы одобрительно. Те же, кто были приезжими, но уже давно жившими, – зароптали гневно, неодобрительно и злобно: «И что ж, нам теперь и зубы на полку?! Да разве с одного огорода можно семью прокормить?!»

Над площадью пошел гам и шум. Видя это, немцы стали бросать в толпу, видимо заранее приготовленные трубочки конфет «бом-бом» (как мы их звали), срочно покинули помост и удалились к себе. Мы, детвора, бросились поднимать конфеты, топча и давя друг друга, а то и лезть в драку. Одну-две конфеты и я нечаянно смог схватить, особо не залезая в кучу.

Толпа стала расходиться, обсуждая принцип дележа земли и говоря: «Вот тебе и свобода! Да, зубы на полку положишь!» Придя домой, я рассказал матери о результатах сходки. Она, тяжело вздохнув, сказала: «Мы в Каспле живем лет семь, так что нам придется туго. Ну да как-нибудь, животы подтянувши, проживем на картошке. Два лапика у хаты уж они у нас не будут забирать».

Оккупация расширялась. Появилась в здании бывшего райвоенкомата зловещая жандармерия. Это была большая низкая хата, стоящая на самом крутом берегу реки, причем там, где она круто поворачивает в своем течении с севера на запад. О жандармерии в Каспле ходили легенды. Говорили, у нее принцип работы один: если туда попал, даже невзначай, то оттуда уже возврата не было – только смерть. Там били и нечеловечески истязали людей. Крики из этого здания иногда разносились такие, что у прохожих, идущих по большаку мимо, волосы вставали на голове дыбом. В жандармерии пытали всех – и мужчин, баб и даже детей, – лишь была бы причина. Сами жандармы ходили затянутые во все черное, строгие, чопорные, злые, с блестевшими на мундирах эмблемами костей и черепа. В жандармерии пытали, как правило, пойманных партизан, красноармейцев-военнопленных. Иногда в жандармерию затаскивали баб-касплян по какому-нибудь доносу предателя-подлеца. Тогда крики и вопли пытаемых несчастных были слышны даже у нас за рекой.

Немцы стали бросать в толпу, видимо заранее приготовленные трубочки конфет «бом-бом». Мы, детвора, бросились поднимать конфеты, топча и давя друг друга, а то и лезть в драку. Одну-две конфеты и я нечаянно смог схватить, особо не залезая в кучу.

За жандармерией шла полиция. Она комплектовалась из

русских мужиков.

Это были, как правило, ворье, бандиты, хулиганы, бившие стекла в клубах и больницах в мирное время; учителя, недовольные советской властью из сельских школ прикасплянских деревень; бывшие заключенные, пьянчужки, какие-нибудь мелкие людишки без роду и племени.

Руководил касплянской полицией бывший учитель из деревни (то ли Апольня, то ли Загорье) севернее Каспли с нерусской фамилией Гахович. Это был высокий, стройный человек, почему-то смуглый, с маленькими черными усиками. Он командовал всей полицией. В полиции служило примерно человек 35–40, вооружены они были немецкими винтовками. У командиров отделений были еще и пистолеты. К нам, пацанам, бегавшим и шнырявшим по Каспле, они относились плохо, не любили: ни за что давали подзатыльники или больно драли за уши. Полицейские путались с нашими деревенскими девчатами, которых, в основном, прельщал их паек. Они были буквально везде: стояли часовыми у управы, патрулировали улицы, ходили по домам, разнося повестки, сидели в засадах в конце улиц Каспли, проверяли «аусвайс» (по-русски – документы), толкались на рынке, сидели в столовой, стояли на мосту, часто можно было видеть, как они тащили мужика в полицию. И мы, каспляне, боялись их больше, чем самих немцев.

Однажды – дело было морозной зимой – немцы организовали карательный отряд для прочесывания леса от партизан. Собралось несколько десятков немцев, и они взяли с собой почти всю касплянскую полицию. Перед отъездом один из полицейских зашел к нам попросить валенки. Мать дала ему старые и разбитые тарасовские валенки. Он присел, чтобы их надеть, и рассказал нам сон, который я запомнил на всю жизнь: «Едем мы на санях в лес за дровами. Вдруг из лесу выходит лесник и спрашивает меня – а где у тебя, Вадим, паспорт? Я выхватил из-под себя большой топор – и на него. Вот, говорю, тебе мой паспорт! Да как дам ему топором по шапке – он и упал. Ха-ха-ха! Вот какой сон, Фруза, видел я сегодня».

Мать – мудрая, умная женщина – задумалась и тихо говорит: «Ох, не к добру, Вадим, твой сон. Как бы ты там, в лесу, не сложил свою буйную голову!»

– Ничего, тетя Фруза! Нас много. Мы им покажем, как паспорта спрашивать, – опять громко захохотал полицейский.

Утром все знали, что большой обоз немцев и полицейских ушел в сторону леса, за Белодедово – это километрах в восьми от Каспли. Оттуда слышалась стрельба, потом обоз вернулся.

Оказывается, партизаны уже знали об этой вылазке, устроили немцам засаду и здорово их постреляли. Нам не показали, сколько немцев погибло, а девять гробов с убитыми полицейскими поставили около больницы, в большом здании приемного покоя. Самое страшное для нас, пацанов, было то, что убитые лежали в гробах в тех позах, в каких их застала смерть: вытянутые в стрельбе руки, полусидячее положение, скорчившееся тело и т. п. Видно было, что как их расстреляли в лесу – так они и окостенели в снегу, так их и пришлось класть в гробы. На нашем кладбище, с южной стороны которого мы жили, была вырыта огромная общая могила, и туда, друг на друга, составили гробы. Начальник полиции Гахович произнес краткую речь, рванул трехкратный оружейный салют из винтовок, могилу быстро засыпали. Так нашли свой последний приют девять предателей Родины – касплянские полицейские. Был среди них и Вадим, которого знала мать.

Самое страшное для нас, пацанов, было то, что убитые лежали в гробах в тех позах, в каких их застала смерть: вытянутые в стрельбе руки, полусидячее положение, скорчившееся тело. Видно было, что как их расстреляли в лесу – так они и окостенели в снегу, так их и пришлось класть в гробы.

Немцев хоронили отдельно, на большом немецком кладбище при выезде из Каспли, западнее, на пригорке, с левой стороны от большака.

Чтобы совсем закончить раздел о касплянской полиции, хочу упомянуть, что Гахович заранее, с немцами, бежал из Каспли. И что странно – оставил после себя гору зерна отборной пшеницы напротив дома, где жил. А жил он в доме учителя около школы, напротив больницы. Мы проходили мимо и не брали прекрасное чистое зерно – боялись, что оно чем-то отравлено. Нас удивляло, зачем человек запас столько зерна, зачем его вывалил прямо на дорогу? Удивлению касплян не было предела.

Была в Каспле создана и как бы сугубо гражданская служба, называемая районная управа. Управой руководил небольшого роста, белесый, с редкими волосами на голове и широким добродушным лицом, быстрый, подвижный человек по фамилии Наронский. Имя его я забыл, но говорили, что он был поляк.

Чем занималась райуправа, сколько в ней работало человек – я не знаю. Но говорили, что она вела учет населения, выдавала удостоверения, без которых по Каспле и шагу нельзя было ступить – могли забрать. Райуправа мирила граждан, делила скот, содержала открывшуюся столовую, в которой готовили блюда из

конины, чем каспляне были очень удивлены. Из всех учреждений оккупационных властей только, пожалуй, райуправа была более или менее лояльна к местному населению. Все остальные службы были крайне жестоки: без разбора могли арестовать и без всякого суда и следствия, если не считать допросы с пытками, расстрелять. Человек – я имею в виду простого гражданского жителя – был абсолютно бесправен: любой полицай, любой немец мог его просто так пристрелить, сказав, что тот хотел убежать. Поэтому даже нам, детям, говорили «стой, не беги».

Лето прошло, пролетела осень. У нас организовали занятия в школе. Собрали всех учителей, учеников, и занятия начались. Несколько дней мы сидели в школе и по указке учителя открывали в учебнике страницу и вычеркивали, вымазывали запрещенные немцами слова: коммунист, социализм, колхоз, Сталин, комсомол, революция, октябрь, райком и еще массу слов советского периода. Когда книги были проштудированы, то есть «исправлены», начались занятия, как в обычной школе. Учителя, объясняя, старались говорить в соответствии с требованиями оккупационных властей. Мы слушали и назавтра так же отвечали, и нам ставили оценки. Мальчишки учились плохо, неряшливо, много уроков пропускали вынужденно, а девочки были более прилежны. Я учился в четвертом классе, в диктанте делал много ошибок, плохи дела у меня были и с арифметикой, лучше – по географии, ботанике, литературе.

Зимой 1942 года немцы решили нас, детей, приобщить к религии. В речке во льду вырубили большой крест – иордань, и, построив нас всех по четыре человека в ряд, повели к этой проруби.

С горем пополам нас перевели в пятый класс, и тут я впервые влюбился, как мне казалось, в лучшую девочку. Звали ее Люся Корнеева. Жила она тоже на улице Кирова, только в начале. Конечно, ни подойти, ни объясниться, ни просто поговорить у меня не хватало смелости. Это была моя односторонняя любовь к ней. Люся была из зажиточной семьи, жила в хорошем доме, и в школу ее водила бабушка.

Зимой 1942 года немцы решили нас, детей, приобщить к религии. В речке во льду вырубили большой крест – иордань, и, построив нас всех по четыре человека в ряд, повели к этой проруби. Батюшка-священник всех брызгал – «святил». Бидонами мы несли святую воду домой. Касплянам все это очень понравилось и на нас, детей, произвело впечатление.

Зимы 1941–1942 годов были очень суровые, морозы стояли за 20 градусов, и печи приходилось топить дважды в день.

Про события времен оккупации можно вспоминать много, но я хочу некоторые из них отразить через безымянных героев-родителей.

Родители

Хочу несколько страниц посвятить святая святых – своим родителям, роду своему и рассказать, от каких корней я живу на этом свете.

Мой прадед в четвертом поколении был содат-рекрут, служил в николаевскую эпоху 25 лет. Прапрапрадед в третьем колене Доледудин Никифор Максимович, проживший 94 года, женился на Прасковье Михайловне, прожившей 80 лет. Ее взяли замуж из Бора, как тогда говорили. Им сельчане присвоили фамилию Боровченковы. А прадед Боровченков Андрей Никифорович, прожив 94 года, имел последнего сына – моего родного деда по матери – Трофима Андреевича, 1858 года рождения. И хотя во время разразившейся Первой мировой войны уже был в годах (ему было 56 лет), почему-то его забрали в армию и бросили на немецкий фронт под Витебск. Там злодей-немец впервые пустил газы. Дед попал под эту атаку, нахватался газа и был госпитализирован в Витебск, где и умер. Домой сообщили об этом – мол, забирайте, или похороним в братской могиле. Моя мать, как старшая (а было ей 13 лет), запрягла лошадь, поехала в Витебск – это около 120 км – и привезла мертвого Трофима Андреевича домой. Он был похоронен на сельском Белодедовском кладбище под ранее поставленный тестем памятник Прасковье Михайловне – жене прадеда Трофима. Так и лежат родичи в одном месте.

По характеру умерший Трофим Андреевич был человек прогрессивный, работящий, крестьянин он был зажиточный. Но отлично понимал, что на скудных землях Смоленщины трудно прокормить большую семью в девять человек: родители, сам с женой да пятеро детей – мал мала меньше. Поэтому дед решил заняться гуртовой торговлей. Ранней весной, как только сходил снег, дед садился на лошадь, объезжал ближайшие деревни и скупал похудевших лошадей, коров, бычков, телят, овец. Когда собиралось приличное стадо, и подрастала трава, Трофим нанимал двух работников, и они 3–4 летних месяца пасли скот, который нагуливал бока на вольных лугах да перелесках. Тогда Трофим садился в бричку, брал работников и гнал отъевшееся стадо в Смоленск – за 45 верст – на мясокомбинат. Там, не торгуясь, гуртом продавал все стадо на скотобойни, получал

деньги и был не внакладе. Расплачивался с работниками, увольнял их, а сам шел по смоленским магазинам, палаткам, ларькам и покупал различный ассортимент товаров для мелкорозничной торговли. Вез все это к себе в деревню и открывал маленькую лавку. Ходовые товары – соль, спички, крупа, керосин, галоши, штаны да рубашки, хомуты да шлеи конской сбруи – всегда расходились быстро.

После смерти деда Трофима никто – ни престарелый отец, ни один из трех сыновей – не смог продолжить его дело, и все развалилось. А тут грянуло смутное время Февральской революции да Октябрьского переворота в Петрограде и окончательно развалило хозяйство Боровков. Вскоре в Белодедове создали комитет крестьянской бедноты, и началось страшное раскулачивание. Весь скот, сбрую и прочее забрали в колхоз, разгромили дедовскую лавку, растащили постройки. Долго еще по полям валялись листы долговых книг Боровка.



Дядя К. П. Исаченкова Григорий Трофимович Боровченко. Летчик-истребитель, полковник

Старшая дочь – милая, симпатичная девушка Устинья – вышла замуж за военного фельдшера и уехала жить в Варшаву. Мою мать Ефросинью Трофимовну выдали замуж за Исаченкова Павла Фомича – человека крайне бедного, но грамотного, ярого

гармониста. Трое сыновей, предвидя раскулачивание усадьбы, бросили все и подались «в люди». Старший сын Григорий уехал на Украину и стал шахтером, средний Яков приобщился к спиртному, женился на красавице Кате и стал работать подрядчиком на стройках Харькова, а младший Иван, красневший и смущавшийся, как красная девица, работал на стройке бульдозеристом. Никого из сыновей советская власть не преследовала.

Отец взял одну из малых хат из усадьбы Боровка, поставил ее на взгорке перед выездом в деревню Белодедово, стал работать в колхозе счетоводом-землемером да писал в разные инстанции письма по раскулачиванию своего уже умершего тестя Боровка.

В начале тридцатых годов в деревне с созданием колхозов начался страшный голод. Мы жили в хате, которая топилась по-черному. Это когда с чердака из печки не было трубы, и дым шел в открытый люк, а иногда его ветром задувало в хату. Тогда нас, детей, клали на пол и открывали двери. Отец Павел оказался очень жестоким мужиком, постоянно издевался над матерью и страшно бил ее за все. Жизнь наша была невыносимой. Старшая сестра матери – тетя Устья к этому времени была брошена своим военным фельдшером. У нее на руках было двое детей – сын Коля 8 лет и дочь Тоня 5 лет. Главный врач касплянской больницы пожалел тетю Устью и принял ее на работу медсестрой в заразный барак. Ей была дана в буквальном смысле избушка размером 4 **x** 5 метров – пустая развалюха, где она и поселилась, уйдя от своего Зуева Федора Тимофеевича.

Так как жить в деревне матери с тремя детьми при деспоте-муже Павле было невозможно, она взяла 2-летнюю сестренку Зину и ушла в Касплю к сестре. Так две сестры-разведенки стали жить в хатке-развалюхе за больницей. Приехавший на побывку брат Гриша благословил мою мать на развод, и она подала в суд. Судья, видя неуживишихся родителей и 3 детей, спросил отца, может ли он платить алименты. Тот ответил, что ему просто не с чего платить. Тогда судья спросил мать, сможет ли она одна содержать троих детей. Та ответила – нет. Тогда умный судья принял соломоново решение: старшего сына Виктора 8 лет отдал отцу, а двух младших – меня, 4-х лет, и сестру Зину, 2-х лет, – присудил матери. Так отец с матерью, прожившие вместе 12 лет, расстались навсегда.

Мать, за неимением работы в больнице, года 2–3 пасла больничных коров. А мы жили в избушке: двое детей Устиньи и двое детей Ефросиньи. Наконец, в небольшое отделение терапии потребовалась сестра-няня, и мать взяли туда на работу. И хотя платили там мизерные деньги, сестры и мы, дети, стали жить

лучше.

Говоря об избушке, не могу не остановиться на одном случае, суть которого состоит в следующем. Сестры сложились и купили маленькую корову – для детей очень нужно было молоко. У них был сепаратор, и сестры, прогоняя через него часть молока, собирали сливки и сметану, которую хранили в большой – с ведро – стеклянной банке, постоянно стоявшей на кухне в углу. Я очень любил сметану и часто подходил к банке, макал палец, а потом его облизывал.

Однажды мне захотелось лизнуть языком капельку сметаны – попить. Я, в одной рубашке, без штанов, подошел к банке, взялся за ее край и постарался немного нагнуть на себя. Банка потеряла опору, выскользнула из моих рук, ударилась об пол и разбилась, забрызгав меня всего сметаной. Я перепугался, схватил свое колесо, проволоку, которой его катал, и выскочил на улицу. Но навстречу мне шла тетя Устья. Увидев меня, всего измазанного сметаной, она сразу поняла, что семья лишилась месячной сборки сметаны. Схватила, привела обратно в хату и ужаснулась, забыв обо мне. Банка лежала на полу, табурет опрокинут, вся кухня была залита толстым слоем сметаны. Тетя Устья несколько раз шлепнула меня и с угрозой «уж тебе мать задаст!» выгнала из хаты. Злости, ярости пришедшей матери не было конца: она лупила меня как бодливую козу. На этом история со сметаной и кончилась. Ее стали собирать в более мелкие банки.

Однажды, выйдя на улицу рано утром, я услышал необычный звон и сказал тете: «Как красиво в речке играет бандура!» Она рассмеялась и ответила, что это звонили в колокола в большой касплянской церкви. Ничего подобного я больше никогда не слышал – так как касплянские комсомольцы залезли на купола, сорвали их и с высокой горы сбрасывали в реку Каспля. Колокола катились и жалобно звенели, ударяясь о камни.

Жить в маленькой хатенке шестерым было очень трудно, и сестры стали шептаться меж собой. Однажды мать ушла в Белодедово и вернулась оттуда с черным узелком. Через несколько дней она тихо пошла в Смоленск, и мы, дети, услышали такие слова, как «торгсин», «ценности», «деньги на постройку». Сестры попросили у главного врача больницы Герасимова Петра Тарасовича место, где можно было поставить новую хату – одну из тех, что стояли в Белодедове в развале. Когда отец был где-то в отъезде, сестры наняли бригаду, несколько подвод и перевезли одну большую хату со своего подворья в деревне в Касплю. Бригада в несколько мужиков срыла западный склон кладбища, сделала небольшую площадку и возвела на камнях хату о пяти окнах. Посредине хаты сестры

сложили громадную печь с лежанкой, и новое жилище было готово. Таким же образом они сумели пристроить к хате буквой «Г» сарай, где можно было держать корову и кур. Было это в 1935—37 годах. Мы переехали сюда весной, все вокруг заливало, и вода подходила к крыльцу.

Жизнь налаживалась: сестры работали в больнице, дети – Коля, Тоня и я – пошли в школу. Мама, работая в терапии, часто лечила и меня. Я почти каждую весну попадал в больницу с воспалением легких. Когда попал в пятый раз, Петр Тарасович сказал матери: «Видно, Фруза, пацан твой не выживет. У него двухстороннее крупозное воспаление легких».

Однажды, больной, я лежал на подоконнике. Вдруг наша школьная учительница подвела к окну мой класс и сказала: «Вот Костя Боровченков, он тяжело болен, и мы пришли его проведать». Я никого не узнавал, у меня была высокая температура, был еле жив, терял сознание, бредил. Но молодой организм, уход матери, больница дали результаты, и я выжил, хотя на всю жизнь получил хроническую пневмонию. Этот эпизод как-то врезался на всю жизнь мне в память. И теперь, уже взрослый, бывая на родине, я всегда вспоминаю об этом.

Отчим Тарас Сергеевич

Мать, работая в больнице, встретилась с одним крепким молодым мужчиной, который попал в отделение терапии как гипертонический больной. Пролежав месяц, Тарас поправился. Он приглянулся моей матери Ефросинье, они познакомились. Жил Тарас Сергевич в большой крестьянской семье, у них было 9 детей: 7 сыновей и 2 дочери. Его деревня была в 18 километрах от Каспли, но и после выписки Тарас Сергеевич и мать продолжали встречаться.

Тарас Сергеевич был высокого роста, широк в плечах, белолиц, с красивой доброй улыбкой, по характеру покладистый, мягкий, трудолюбивый и, главное, – работящий и все знавший и умевший в разнообразном крестьянском труде. Он приходил к нам в Касплю и целыми днями занимался починкой дома, особенно соломенной крыши, дверьми, крыльцом, огородом, уходом за скотиной и так далее. Через какое-то время сестры тихо и долго шептались. Мать просила разрешение у тети Устьи привести Тараса Сергеевича жить к нам домой. Они и спорили, и ругались – ведь у них на руках уже было по двое детей. Но нужда в мужском труде, видимо, взяла верх, и Тарас перешел жить к нам. Человек он оказался покладистый и добрый, особо нас не

наказывал, а в домашнем хозяйстве был просто незаменим.

К началу войны у нас уже появилось два ребенка – Валя, 1938 г. р., и Коля, 1940 г. р. Мы с сестрой были уже старшие – мне было 11 лет, а Зине 9 лет. Когда началась война, как я уже упоминал, Тарас Сергеевич вырыл нам окоп и ушел в армию. Мы с матерью остались.

Тетя Устья перед войной выехала в далекую Киргизию с Тоней и там прожила всю войну. А ее сын Коля в войну погиб.

> В нападавшие попал и Тарас Сергеевич из-за своего роста и из-за того, что он лесной житель. Так и сделали. Глубокой темной осенней ночью, при моросящем мелком дожде Тарас Сергеевич с напарником выбрались на крышу, сползли к стрехе и замерли. Когда часовые, обходя сарай, оказались под ними, нападавшие кулем скатились на них, схватили за горло и задушили, не дав не только выстрелить, но даже крикнуть.

В начале войны всю группу мобилизованных касплян повели на станцию Лелеквинская в 18 км от Каспли и, как потом рассказывал сам Тарас Сергеевич, посадили в эшелон и повезли к Витебску. Витебск они миновали, но где-то в районе Невеля их эшелон немцы разбомбили, всех мобилизованных сняли с поезда и, разделив на 3–4 большие группы, отправили самостоятельно пробираться к Пскову, Луге и Ленинграду. Видимо, командование планировало усилить этими людьми оборону городов. Однако дня через два-три группу, в которой шел Тарас Сергеевич, окружили и взяли в плен немцы. Неясно, то ли это были регулярные войска, то ли выброшенный десант. Немцы доконвоировали всю группу, человек 60–70, в какую-то небольшую деревню в Псковской области, заперли в большой колхозный сарай с дырявой крышей из деревянной щепы. Несколько дней пленные сидели в этом сарае. Им не давали никакой пищи, воды и даже не выводили в туалет. Более слабые заболели, несколько человек умерли. Ночи стали уже холодными, в многочисленные щели дул ветер, а пленные спали на земляном полу. Посовещавшись, заключенные решили, что спастись можно, только организовав массовый побег. Решили, что два сильных человека вылезут через дыры на крышу, подползут к краю стрехи и, когда часовые подойдут поближе, бросятся на них сверху, задушат, откроют ворота и всех выпустят.

В нападавшие попал и Тарас Сергеевич из-за своего роста и из-за того, что он лесной житель. Так и сделали. Глубокой темной осенней ночью, при моросящем мелком дожде Тарас Сергеевич с напарником выбрались на крышу, сползли к стрехе и замерли.

Когда часовые, обходя сарай, оказались под ними, нападавшие кулем скатились на них, схватили за горло и задушили, не дав не только выстрелить, но даже крикнуть. Затем они обошли сарай кругом, открыли ворота и выпустили всех. В сарае остались только трупы и умирающие, которые даже не пожелали, чтобы их вынесли.

Большой группой уходить было нельзя. Поэтому решили разделиться на маленькие группы и расходиться как можно дальше, при этом чаще идти по рекам и болотам – из-за собак. Тарас Сергеевич пошел в группе из пяти человек. Днем они отлеживались в стогах, в соломе, в перелесках, а ночью шли. Большие деревни обходили, в малые лесные заходили. Их привечали, обогревали, пытались накормить и дать кое-что с собой. Но через несколько дней им стало ясно, что группа из пяти человек – обуза для жителей. Поэтому решили разделиться и продолжить путь в одиночестве. Тарас Сергеевич, как крестьянский сын, в поле и в лесу чувствовал себя вольготно. Иногда перед заходом в деревню долго лежал в засаде, пытаясь уловить, есть ли в ней немцы. Так он шел более месяца. Наконец добрался до белорусских лесов и болот. Здесь деревни были сплошь заняты немцами. Опасность нарваться на немецкую засаду возросла, и только случайно, как говорил Тарас, он добрел до Рудни и понял, что он почти дома, в Каспле.

Однажды темной и дождливой ночью в окно раздался тихий стук. Мы с матерью вздрогнули и замерли от страха. Стук повторился. Мать подошла к окну и услышала глухой голос: «Фруза, открой. Это я, Тарас». Мать, не помня ног, побежала в сени, открыла двери, и в хату вместе с ней вошел обросший, оборванный, в разбитых ботинках высокий худой человек. «Костик, не пугайся. Это отчим, Тарас Сергеевич», – сказала мать. Узнать его было невозможно. Всю ночь мать провозилась, приводя его в порядок. Наутро он пришел в себя и все это нам рассказал. Мать решила – пусть несколько дней посидит дома, никуда не выходит.

Немцы фактически по домам не ходили. Только 2–3 раза в неделю два автоматчика подходили к дому с бидоном-флягой и большой плетеной корзиной, стучали в окна и на ломаном русском кричали: «Мамка, млеко, яйко!» После этого хозяйка должна была вынести литровую банку молока и десяток яиц. Однажды мать замешкалась и вышла на крыльцо с пустыми руками, объясняя, мол, дети малые. Один из немцев передернул автомат с плеча на живот и дал большую очередь чуть выше головы матери. Мы подумали, что он ее застрелил, и я, стоявший рядом, завизжал, как резаный. Мать от неожиданности упала на

крыльцо и потеряла сознание. Тогда немец толкнул ее сапогом и что-то сказал, мол, «шнель!», «быстрей!». Мать встала, прошла в кладовку, вынесла банку молока и только пяток яиц. Немцы весело заржали, подняли флягу и корзину и удалились.

> Однажды мать замешкалась и вышла на крыльцо с пустыми руками, объясняя, мол, дети малые. Один из немцев передернул автомат с плеча на живот и дал большую очередь чуть выше головы матери. Мы подумали, что он ее застрелил, и я, стоявший рядом, завизжал, как резаный.

Недели через две мать сходила на Касплю, с кем-то посоветовалась, потом пошла в управу и выправила отчиму «аусвайс» (документ), что он пришел из плена, что он больной человек. Там, видимо, спросили у односельчан, поверили и оставили нас в покое.

Еще через некоторое время мать узнала, что в райуправу на конюшню нужен конюх. Она предложила на эту должность отчима, отвела его туда, показала. С ним побеседовали, дали еще одно удостоверение и взяли на работу. В конюшне стояло пять худых чесоточных лошадей, которых надо было привести в порядок и пасти. Этим Тарас Сергеевич и занялся. Он мазал лошадей какой-то страшно вонючей черной жидкостью, называя ее карболкой, гонял пасти, поил, на ночь запирал в сарай. Ему ничего не платили за эту работу, только впоследствии стали давать, как он говорил, паек – две буханки эрзаца (немецкого хлеба с опилками), кулек соли, 3–4 коробки спичек, пачку дешевых папирос, пакет какой-нибудь крупы. Он очень гордился этим пайком и угощал нас, если там был «цукар» – сахар. С возвращением отчима нам зажилось несколько лучше. Он ходил на болото и корчевал там пенечки для топки печи, поддерживал хозяйство, корову.

Наступала весна 1942 года. Мы разъяснили Тарасу Сергеевичу, что, так как мы не коренные каспляне, нас не наделили хорошей землей и живем мы только с небольшого огорода. Но Тарас Сергеевич не очень расстроился из-за этого. Он начал собирать и ладить на корову Лыску немудрящую сбрую. А когда настал апрель, позвал меня пахать. Оказывается, когда пас коней, он обошел вокруг реки, озера неудобные пригорки и кое-что облюбовал. Потихоньку добыл (от своих коней) кое-какие семена: овес, рожь, ячмень.

И мы поехали пахать. Я вел под уздцы корову, на ней был хомут, гужи и плуг. Мы пахали только с одной стороны: на гору я вел корову, Тарас нес на плечах плуг, а на вершине мы

разворачивали корову, Тарас ставил плуг на землю и пахал. Смешной была такая пахота, а что делать? Коня у нас не было. Таким односторонним способом Тарас напахал на корове на взгорках несколько лапиков, заборонил их, а потом, по старому русскому обычаю, сеял зерно – бросал, ударяя его о решето, висевшее на боку. Я, правда, не очень верил во все эти затеи Тараса, но в середине лета на вспаханных лапиках появились и зазеленели настоящие хлеба. А когда осенью собрали урожай, перевезли к дому на тачке и, расстелив брезент, начали обмолот, то обнаружили настоящий хлеб – спасение от голода.

Отчим где-то на Каспле достал два камня-жернова: нижний – круглый и сплошной, а в верхнем была дыра-отверстие на всю толщину камня диаметром 10–12 сантиметров. Эти жернова Тарас установил в сенях под мой рост, и моей обязанностью стала тяжелейшая и нуднейшая работа – молоть на них зерно. Засыплешь горсть зерна да и крутишь верхний камень по нижнему, а по бокам струйками стекает мука. Это уже был настоящий хлеб-батюшка, кормилец. Хотя трудно было и тяжело 12-летнему пареньку крутить эти жернова, но это лучше, чем сидеть голодными. После пуска жерновов мы зажили по-другому и были счастливы.

Конечно, я не смог бы все это сделать без помощи, труда и смекалки Тараса Сергеевича. И как мог, во всем помогал отчиму: и ухаживать за лошадьми, и по домашнему хозяйству.

Вскоре от больных коней я заразился чесоткой, и жизнь моя стала адом. На локтях, коленках, в других нежных местах на теле у меня появлялись маленькие красные пузырьки. Они лопались и страшно чесались. Несколько раз я ходил в больницу на прием к Федору Тимофеевичу Зуеву. Он прописывал мази, разные примочки, но ничего не помогало. Зуд не давал мне спать. Отчим начал мазать меня, как и коней, черной вонючей жидкостью – карболкой. Она вроде помогала, но мне никуда нельзя было ходить – люди шарахались от меня, как от прокаженного. Конечно, о том, чтобы ходить в школу, не было и речи.

Иногда Тарас Сергеевич справлял корове сбрую, брал сани, запрягал ее и ехал в лес за дровами на свою родину. Эти поездки были очень опасными: и немцы, и наши партизаны всегда могли принять его за шпиона и запросто застрелить. Уезжая, он обычно запасался в райуправе каким-нибудь пропуском, который если для пунктуальных немцев что-то и значил, то для партизан был просто бумажкой. Несколько поездок все же Тарасу Сергеевичу сошли с рук. Впоследствии мать перестала пускать отчима в эти поездки, говоря: «Ты – кормилец, на тебе вся семья держится. Не рискуй!»

Он особо не отличал нас, чужих детей, от своих. У него все были равны. Мне, как старшему, иногда больше от него доставалось – за дело, как он понимал. Но рука у него была тяжелая, сильная – как и сам. Он был богатырского сложения, а дрался умеренно. И что нас удивляло – мы, дети, никогда не видели, чтобы Тарас Сергеевич грубо, неуважительно отнесся к матери, несмотря на то что мать была женщина строгих взглядов, суровая, требующая к себе особого уважения.

Тарас Сергеевич уважал и любил и своих стариков – отца Сергея и мать Тотю. До войны он часто бывал на своей родине в Чаче. Эта деревня стояла совсем в лесу и с трех сторон им закрывалась. Только одна сторона – на юг – была светлая. Как там жили люди, я не знаю, но когда ватага братьев Тараса Сергеевича приходила к нам в Касплю, я видел крепких, рослых богатырей, веселых и добродушных по характеру. Они много занимались в летнее время сбором орехов, так как сторона у них была богата орешником. Мешками они привозили их в Касплю на базар для продажи. В основном они собирали и продавали грибы, ягоды, а особенно почему-то чернику. На деньги, вырученные от даров леса, они всегда покупали крепкую ткань, черную или коричневую, называвшуюся почему-то «чертова кожа». Из этой ткани мать и две девки-дочки обшивали, причем вручную, своих богатырей – шили простейшего покроя рубашки и брюки.

Обычно братья отчима 18 километров шли босиком, не боясь многочисленных змей – гадюк, греющихся на солнце на тропинках, дорогах. Сапоги (а они предпочитали только сапоги) висели на плечах – по старому русскому обычаю, и, только входя в Касплю, братья надевали их на ноги. Все были работящие, открытые, веселые, неунывающие люди, и от них исходила жажда жизни.

Партизаны

В войну не было страшнее этого слова, как для нас, русских, так и для фашистов.

Мы в Каспле, в районном центре, особо не ощущали на себе их деятельности. Но крестьяне, приходившие в Касплю в больницу или по другим делам, рассказывали жуткие истории. Например, в деревню, где и поблизости не было ни одного немца, на лошадях врывалась ватага людей с оружием. Забирали все – теплые вещи, продукты, предметы первой необходимости (например, швейные машины, хомуты и другую конскую упряжь, белье постельное, матрацы, подушки, шубы, посуду). Нередко

уводили скот, последнюю корову, овцу. Не брезговали курицей, брали поросенка, теленка, козу. Уговоры, что дети малые, самим есть нечего, – не производили никакого впечатления.

Бывало, рассказывала об этом иная старушка моей внимательно слушающей матери, а потом подносила руку ко рту и так тихо говорила: «Фруза, хочешь верь, хочешь не верь, но прямо бандиты, да и только!» Мать вздыхала, так и не зная, чем и как утешить плачущую женщину.

«Ну пойми ты, Трофимовна, только третьего для мы на сходке избрали нового старосту (старого застрелили неделю назад). А ночью, надо же, приехали, вывели во двор и хлопнули. Трое деток у Пелагеи осталось. За что, ты спроси? Он даже еще ни одного собрания не провел. Да и как он отказывался, если бы ты видела! В ногах у людей валялся, просил не выбирать: и стар уже, и болен сильно – ничего не помогло!»

В Белодедове, посреди деревни, жила наша хорошая знакомая, мама почему-то звала ее «дядина»: «Смотри, сынок! Будешь проходить деревню, обязательно проведай, как там живет наша „дядина“». Я заходил, здоровался, присаживался в очень бедной хате на лавку. Передав привет от мамы и посидев немного, поднимался и уходил.

И вот в один из зимних дней «дядина» едет на лошади по нашей улице и издали кричит: «Фруза, подойди!» Мать, бросив все, побежала к ней, ну и я тоже. Она подгоняла лошадь, прикрывая человека, лежащего в санях. Мы подбежали и пошли рядом, когда она уже подъезжала к приемной больницы и к дому, где жил фельдшер Зуев. «Дядина» кричала и плакала: «Ночью пришли партизаны, вывели мужа из хаты и выстрелили в него. Увидев, что он еще был живым, я скорее запрягла коня, да и привезла к вам в Касплю. Фруза, зови скорее доктора! Может быть, еще можно что-то сделать». Мать побежала в хату Зуева, разбудила его, и он, полуголый, накинув на себя верхнее пальто, со стетоскопом на шее вышел на крыльцо. Поняв, в чем дело, он быстро ощупал раненого, покачал головой и с горечью сказал: «Бабы, ничем я вам не могу помочь. Он уже мертв». «Дядина» завыла не своим голосом, мать бросилась ее утешать. Зуев запахнул пальто и пошел домой, сказав напоследок: «Нет, ничем я вам уже не могу помочь».

Из всех значимых операций касплянских партизан можно назвать два-три случая. Первый – это наведение наших самолетов в ночное время на месторасположение крупного госпиталя немцев у ШКМ, когда погибли десятки и сотни раненых немцев. Немецкое кладбище

под Рытино сразу значительно выросло, немцам пришлось расширить его. Эта диверсия была безответной.

Немцы были потрясены, обескуражены и два дня хоронили умерших от ран и бомбежки.

Один раз партизаны устроили касплянским фашистам крупный переполох. Они снарядили небольшую пушку – не знаю, какого калибра – и выстрелили по селу из-под деревни Треножки, в пяти километрах от Каспли. Что тут было! Немцы в подштанниках выскакивали из хат и бежали в свои укрытия. Но больше ничего не последовало. Партизаны минировали дороги, делали засады, малыми силами делали вылазки, но все это причиняло очень незначительный урон фашистам. Конечно, в целом партизаны были той неведомой силой, которая держала немцев в постоянном напряжении и страхе. Физического, военного урона от них было очень мало, урон был моральный. Чем это объяснить, я не знаю, но это так. Ведь достаточно было группе в 60– 100 партизан напасть на центр Каспли – и немцы были бы разбиты. Как бы мог этот моральный успех прогреметь по всей области!

Из всех значимых операций касплянских партизан можно назвать два-три случая. Первый – это наведение наших самолетов в ночное время на месторасположение крупного госпиталя немцев у ШКМ, когда погибли десятки и сотни раненых немцев. Немецкое кладбище под Рытино сразу значительно выросло, немцам пришлось расширить его. Эта диверсия была безответной.

Немцы были потрясены, обескуражены и два дня хоронили умерших от ран и бомбежки.

Вторая диверсия партизан против касплянского гарнизона – это обстрел Каспли из пушки, о чем я ранее уже упоминал.

Третья серьезная диверсия – расстрел высокого немецкого начальника, говорили полковника, ехавшего в Касплю из Смоленска. Дорога была булыжная, тряская машина шла медленно. С двух сторон ее тянулся кустарник и лесок. На так называемой пуще и завалили дорогу спиленным деревом, устроили засаду и расстреляли всех фашистов, которые были в легковой автомашине и в машине охраны. Эта операция дорого обошлась касплянам. В отместку немцы вызвали из Смоленска карательный отряд и расстреляли 157 человек. Это было настоящей трагедией, пострадала почти каждая семья касплян. Больше об операциях партизан я не могу ничего вспомнить, но в целом партизаны были для оккупантов страшной, непреодолимой силой. Нигде немцы ни днем ни ночью не чувствовали себя

спокойно от того народного гнева, каким был гнев лесных людей. Партизаны являли собой железный сплав мужества, бесстрашия, презрения к смерти.

Мне, подростку, пришлось убедиться в этом. Однажды на большой горе над Касплей вдруг появилась громадная виселица с пятью петлями-веревками, свисающими с перекладины. Два немецких автоматчика обошли дома касплян почти на всех улицах. Зашли и к нам, хотя наша хата от улицы стояла несколько в стороне. Один фашист на ломаном русском языке приказал всем явиться к 12 часам на большую Почтовую гору (как ее у нас называли) и со злостью показал, что будут вешать партизан. (Ослушаться было нельзя: были случаи, когда немцы проверяли свои приказы. Если в хате при их проверке оказывались люди, немцы сразу на месте их пристреливали.) Мать объяснила немцам, что у нее малые дети. «Ну вот этот, большой, – показали на меня, – пусть идет». Немцы кивнули, оглядели хату, убедились, что остальные жильцы были малолетками, сказали «гут» и ушли.

Делать было нечего, и к назначенному времени я поплелся в центр. Взобравшись на гору, увидел страшную картину. Молча и угрюмо стояла большая толпа касплян, окруженная автоматчиками, а на небольшой площадке была сооружена громадная виселица из двух столбов с перекладиной. На перекладине болтались пять веревочных петель, под каждой из них стоял какой-то ящик. «Ведут, ведут!» – раздались голоса, и все увидели, как на гору к виселице поднималась группа людей. В центре, окруженные автоматчиками, шли партизаны – многие без шапок, легко одетые, со связанными назад руками. Когда они поднялись на площадку, немцы каждого партизана поставили под петли. Толпа замерла. Кто-то громко рыдал, кто-то молился Богу, кто-то становился на колени и кланялся.

Высокий худой офицер, видно в чине майора, с одной звездой-кубиком на погонах, встал на постамент, потребовал у толпы тишины и быстро и очень непонятно стал читать нам, русским, видимо, приговор. Партизаны стояли спокойно, гордо подняв головы, и, как мне казалось, смотрели на ясное небо. Закончив читать приговор, офицер слез с возвышения, махнул рукой со стеком, давая сигнал начала казни. В толпе заголосили громко и неудержимо. Офицер крикнул что-то одному из автоматчиков, и тот резко вскинул автомат, дал длинную очередь поверх всех нас, стоявших в толпе. Крики, шум, плач несколько стихли.

К каждому партизану подошли по два немца-автоматчика, приподняли от земли и поставили на ящики. С большим трудом

немцы дотягивались до веревок с петлями и надевали их бедным людям на шеи. Делали это все медленно, садистски, поправляя петли, распутывая веревки. Было такое впечатление, что им было приказано этой казнью произвести на толпу жуткое впечатление, и, конечно, они этого добились. Мы стояли, словно в каком-то оцепенении, дрожа от внутреннего страха с головы до пят. Нас удивляло, как спокойно и тихо принимали свою смерть приговоренные к казни.

Наконец все было готово, офицер вновь взмахнул своим стеком, и немцы-палачи стали подходить слева-направо и выбивать ящики из-под ног стоящих на них партизан. Они падали и повисали на веревках. Когда очередь дошла до четвертого, тот громко крикнул нам в толпу слова, которые я запомнил на всю жизнь: «Хоть три года будет, граждане-товарищи, война, но верьте, победа будет за нами!» В этот момент немец выбил у него из-под ног ящик, и партизан замолчал.

Пятого, самого последнего, ближнего к столбу, немцы вешали очень мучительно. Когда из-под его ног выбили ящик, он из-за своего высокого роста встал на ноги и начал что-то говорить, но из-за поднявшегося в толпе шума слова невозможно было разобрать. Немцы растерялись. Потом бросились искать веревку и, когда нашли, обвязали ноги партизана, сбили с ног и конец веревки срочно привязали к столбу виселицы. Казненный казался повешенным как бы сидя: одна веревка была вокруг шеи вверху, а другая – вокруг приподнятых ног.

Толпа буквально загудела и заревела. Казнь была закончена. Нас плетками стали сгонять с горы. На площадке осталось пять повешенных партизан – мужественных борцов за Родину, да по бокам виселицы стояло у каждого столба по фашисту. Казнь партизан, их мужество произвели на нас неизгладимое впечатление. Каждый шел домой и думал: «Пусть три года будет война, но победа будет за нами!» Мы с матерью проплакали весь вечер, когда дома я ей все рассказал.

Казнь была закончена. Нас плетками стали сгонять с горы. На площадке осталось пять повешенных партизан – мужественных борцов за Родину, да по бокам виселицы стояло у каждого столба по фашисту. Казнь партизан, их мужество произвели на нас неизгладимое впечатление. Каждый шел домой и думал: «Пусть три года будет война, но победа будет за нами!»

В целом, надо отметить, как-то так сложилось, что среди сельчан партизаны Касплянского района не пользовались большим авторитетом. Да, их боялись: боялось и мирное

население, а особенно – оккупанты. Но никаких особых дел, никаких особых свершений от них не видели. И отступление наших в начале войны не послужило массовым исходом мужчин в партизаны. Руководство района как-то тихо, мирно исчезло, бросив все на самотек: и эвакуацию, и отступление наших из Каспли. Буквально ничего не вывозилось: ни оборудование больницы, ни архивы, ни товары из магазинов. Прямо перед войной главврач Герасимов Петр Тарасович выхлопотал для касплянской больницы новое рентгеновское оборудование. Оно в запакованных ящиках долго лежало на улице под дождем, и никто из начальства о нем не позаботился.

Эвакуации касплянских учреждений (а ведь это был район) как-то не было видно. Просто в один из дней все учреждения распустили, а все оборудование осталось на месте, как будто сотрудники ушли на обед. Говорили, что руководители района ушли в партизаны, а чиновники сидели дома, в своих семьях, так же как взрослые комсомольцы. В Каспле при эвакуации не нашлось организующей, направляющей руки. Было впечатление, что все действовали по принципу – спасайся кто как может. После, когда угнали всех мужчин, Каспля замерла. Оставшиеся семьи, забрав скотину и некий скарб, просто отошли в близлежащие деревни и там отсиживались.

Эта неорганизованность районного начальства, бросившего на произвол судьбы многих людей, и привели впоследствии к страшной трагедии касплян. Оккупационные органы начали постепенно по ночам арестовывать этих людей и сажать в тюрьму, в бараки больницы, в полицию. Начались следствия, аресты. Сначала брали только мужчин, позднее стали брать и их семьи. Из-за скрытости или по какой-то другой причине, но массового ухода в лес в партизаны не было. Этим же можно объяснить, что на первых порах про партизан мало кто знал, да и авторитет их был невысок. Фактически народ был оставлен, как говорят, на произвол судьбы.

Старики Елисеевы

К началу Великой Отечественной войны старики Елисеевы были уже в глубоких годах, за семьдесят. Дед Сергей – богатырского роста, с большой белой как лунь окладистой бородой – отличался, как все лесные жители, медлительностью, спокойствием, стариковской мудростью. Всю свою жизнь он прожил в лесной деревне Чаче, окруженной с трех сторон лесом и находящейся в 18 км от районного села Каспли.

Его старуха Тотя, как ласкательно все ее звали, прожила долгую жизнь. Нарожала ему семь сынов-богатырей, в том числе моего отчима – Тараса Сергеевича, да двух дочерей – старшую Марьюшку и Нюрку-невесту. Семья была дружная, жили все в одной большой хате. Все были работящими лесовиками и крестьянами. Они могли все: и дом срубить, и хлеб растить. Самой первой выдали замуж Марьюшку – в деревню Желуди, за Чачу, в еще большую лесную глушь, там было всего 3–4 дома. Старших сыновей Мишку, Гришку и Павла перед войной призвали в армию, они стали кадровыми военными. На войне уцелел только Григорий – грудь вся в орденах. В деревню он уже не вернулся, а осел в Смоленске. Павел и Михаил погибли на фронтах лихой войны.

Мой отчим, Тарас Сергеевич, жил в Каспле, как тогда говорили, в примнях. Со стариками жили еще трое малолетних сыновей, их в армию не забрали. Когда началась война, эти трое сыновей подались в партизаны – они были у них совсем рядом. Звали их Василь, Санька и Ванька. Они ходили героями и гордились своим партизанским положением. Одна дочь перед самой войной смогла уехать к своим родным в Челябинск, на работу.

Фактически вся большая семья Елисеевых разбрелась, и старики под старость оказались одни. А тут, как назло, стали их донимать разные болезни. Поэтому не раз до Тараса Сергеевича доходили просьбы стариков – мол, прислал бы хоть каких-то лекарств, пузырьков и таблеток. Сам Тарас боялся ехать в партизанский край – могли ни за что убить и партизаны, и немцы, а он был в семье кормильцем. Посовещавшись с матерью, они решили, что лучше съездить в Чачу мне, пацану, – дескать, что с меня толку.

Тарас Сергеевич выпросил у начальника управы Наронского коня и сани на два дня – мол, старикам отвезти лекарства, они, дескать, при смерти. «Смотри, Тарас, прибьют твоего возчика в такой дальней дороге!» Но Тарас был по натуре оптимист. Запряг хорошего коня в сани да на сани положил сплетенную из лозы по контуру саней полость, кинул в сани большую охапку соломы, под нее положил мешок с передачей – гостинцы старикам, как он говорил. И в один из ясных морозных дней отправил меня на свою родину в деревню Чачу. Справедливости ради следует сказать, что он сходил в комендатуру и выправил мне «аусвайс» (пропуск) из Каспли в Чачу. Этот пропуск впоследствии спас мне жизнь.

Меня тепло одели, посадили в сани, и я поехал. Сперва лошадь бежала рысцой, а как притомилась – пошла шагом. Из

Каспли я выехал удачно, доехал до Язвищ, где был немецкий опорный пункт. Тут у меня уже начались задержки. Немцы были удивлены, что пацан из Каспли едет прямо в пасть партизанам, где мне будет «капут», как говорили. Но я вспомнил про бумагу, показал им. Они долго вертели-крутили ее. Наконец старший выругался, и, бросив что-то типа «черт с ним!», меня пропустили. На пути было еще две больших деревни – Яшино и Хохлово. Их я проехал без особых историй, так как в это время там не было ни полицаев, ни немцев.

Уже в сумерки я подъезжал к родине отчима – Чаче. Дом стариков Елисеевых стоял с краю, и я прямо с дороги въехал к ним во двор. Сказать, что дед Сергей и баба Тотя удивились, – это ничего не сказать. У них отвалились челюсти. Они некоторое время не могли говорить и только мяли и давили меня, одетого, когда я вошел в их хату. Наконец, первым отрезвел от испуга дед.

– Костик, неужели ты проехал такую дорогу и тебя не убили немцы и не разорвали волки?!

А мне, действительно, пришлось долго ехать по лесу, где заунывно выли голодные волки.

– Не знаю, дедушка, как. Но вот утром выехал, а к вечеру, как видишь, прибыл, да еще привез вам какие-то гостинцы.

Дед накинул на плечи полушубок и пулей вылетел во двор. Там он распряг коня, отвел его в сарай, дал сена, втолкнул сани подальше – спрятал и вернулся в хату. Старики с большим интересом развязали привезенный мешок, нашли каракули – записку Тараса и разные лекарства: йод, бинты, вату, какие-то пузырьки с касторкой (старик страдал запорами), еще что-то из таблеток, порошков и так далее.

Радости стариков не было предела. Разобрав все и спрятав так, что потом и сами не могли сразу найти, наконец занялись мною. Расспросили обо всем, очень были довольны Тарасом, что он устроился на такую хорошую должность конюха да еще давали и какой-то паек. Общим разговорам не было конца. Мы и не заметили, как потемнело в избе и на улице.

Дед с бабой о чем-то долго шептались, даже спорили, потом объявили мне свое решение: «Знаешь, Костик, мы решили, что ночевать мы тебя отведем в другое место – через хату. Там живут Прокоп со старухой. Мужик он хороший, у него и переспишь. К нам частенько заходят из лесу ночью партизаны. Ты ведь знаешь, что и три наших сына с ними. Зайдут, обнаружат тебя и начнут допрос, кто да что, зачем пожаловал. Им же, бестиям, не докажешь, что ты просто от Тараса приехал проведать стариков. Могут забрать с собой, а могут и во дворе шлепнуть. У них, брат, рука крутая, не хуже немцев. Так что пойдем, дед тебя туда

ответет. Ты там спокойно переспишь, а утром приходи – мы тебя отправим назад. Так будет спокойно и нам, и тебе. Да ты не бойся, не зайдут они в ту хату – у хозяев в партизанах никого нет. Это у нас целая орава: как придут – так и одень потеплее, и накорми. Но ничего».

Дед Сергей помог мне одеться и очень осторожно, задворками проводил к той хате, постучал: «Открой, Прокоп, свои!» Они поговорили о чем-то, показывая на меня, у которого от такого гостеприимства уже поджилки тряслись. Дед Сергей ушел. Хозяева меня положили на лоснящуюся от старости широкую лавку, сказали «спи», а сами сели у окна и затихли. Сколько проспал – не знаю, но проснулся от слов стариков «идут, идут!».

Я подошел к занавешенному окну и увидел, что по освещенной луной улице, мимо дома шла группа людей, все больше в черной одежде, но были и в белых маскхалатах. В руках у них были короткие автоматы, на плечах висели винтовки. Вся группа – человек 10–15 – прошла быстрым шагом в начало деревни. И мне, и хозяевам было уже не до сна. Мы стояли у окна и ждали, когда партизаны пойдут назад, к себе в лес. Ожидать пришлось долго – часа 2–3, не меньше. Наконец, на дороге заскрипел снег, и мы увидели, что вся эта группа возвращалась по улице в сторону леса. Когда они прошли мимо, старики перекрестились: «Ну, свят твой ангел-хранитель, что не зашли и что пронесло! Ложись и на печке поспи еще. Потом мы тебя разбудим, и пойдешь к своим». Тяжелая дорога днем и ночные передряги свалили меня, я заснул.

Утром меня разбудили, и я вернулся к своим деду и бабе. Дед сказал: «Хорошо, Костик, что ты не ночевал у нас. Ведь приходили партизаны. Ели, отдыхали, переодевались – часа два были и ушли. Уж мы так за тебя боялись! Не дай бог, набредут на лошадь да спросят, чья, что и как! Давай скорее завтракай и езжай. День-то зимний короток, а дорога длинная». Пока я завтракал на скорую руку, дедушка Сергей уже снарядил мне в дорогу коня. Я попрощался, сел в сани, дедушка вывел меня за околицу Чачи, и я поехал.

Я подошел к занавешенному окну и увидел, что по освещенной луной улице, мимо дома шла группа людей, все больше в черной одежде, но были и в белых маскхалатах. В руках у них были короткие автоматы, на плечах висели винтовки.

Первую деревню от Чачи – Жарь – я проехал без приключений. Да и деревня-то – всего три дома утопали в низине. Потом я поднялся на холм, на нем стояла большая деревня

Яшино. Она тянулась вдоль дороги версты на две. Ее я тоже проехал спокойно, небольшой пролет – и снова начиналась большая деревня Хохлово.

Как только я проехал два-три дома, на дорогу стали стекаться немецкие автоматчики. Они что-то громко болтали, щупали коня, дергали сани, сбрую.

Одному из фашистов, видимо, очень понравилась лежащая во все сани плетеная полость. Он бегал кругом, дергал ее, приподнимал, а я сидел ни живой ни мертвый. Наконец, промямлил, что я «фарен нах хаус». Немецкая фраза как-то немного остепенила немцев, но положение было тревожное. Тут из одной из хат вышел офицер, грозно бросил «вас ист дас?» (что случилось?) и, плохо говоря по-русски, спросил, что я за пацан, откуда и куда еду. Плача и заплетаясь языком, я кое-как объяснил ему, что ездил проведать старых деда и бабу, а сейчас еду домой в Касплю. И тут, наконец, я вспомнил про бумагу (пропуск), долго вытаскивал ее и подал немцу. Тот вертел, крутил, разглядывал ее со всех сторон и в конце концов бросил ко мне в сани и гаркнул, махнув рукой солдатам, мол, пропустите. Я, без ума от радости, дернул вожжи, хлестнул лошадь и медленно стал выезжать из галдевшей толпы немцев. Ну, думаю, пронесло! Спасло меня, как потом оказалось, только это удостоверение – пропуск, выправленный Тарасом Сергеевичем у немцев.

К вечеру, без больших приключений, я въезжал в Касплю. Когда я подъехал к своему дому, из него вышла мать вся в слезах, а Тарас Сергеевич захлопотал вокруг лошади, радуясь, как ребенок. Старики прислали Тарасу две большие круглые буханки черного хлеба и здоровый кусок деревенского сала, которое Тарас очень любил. «Ну, Костючек, а мы уже, грешным делом, думали, тебе „каюк“. Или партизаны застрелят, или немцы ухлопают». «И надумал же, дурень, – ругалась мать на отчима, – парнишку на верную смерть отправить из-за буханки хлеба да куска сала!»

– Видел ли ты, Костик, войска?

– Да, когда проезжал Хохлово, вся деревня была занята немцами, обозом, и даже стояли между домами четыре больших танка.

– Оказывается, из Смоленска прибыл карательный отряд, и он пошел на партизан. Счастье твое, что тебя пронесло!

Так оно и оказалось. Как только я уехал, рано утром, на рассвете, каратели дошли до Чачи, окружили ее и подожгли со всех сторон. Тех жителей, кто выбегал, – расстреливали из пулеметов и автоматов. За 2–3 часа деревня в двадцать домов была полностью уничтожена. С большим трудом, чудом старики Елисеевы, как люди, выросшие в лесу и хорошо знающие

местность (канавы, лощины, тропинки), остались живы. Два дня просидели в яме, на второй день немцы уже людей не расстреливали, а брали в плен. Таких набралось два десятка человек со всей деревни. Их посадили на автомашину и, как пленных, поместили в Каспле в тюрьму.

Тарасу Сергеевичу рассказали, что Чача сгорела, многие жители погибли, а некоторые, в том числе его старики, остались в живых. Он развил бурную деятельность, обошел большое и малое немецкое начальство. Ходил несколько дней, кому-то давал в решете два десятка яиц. Короче говоря, недельные хлопоты Тараса Сергеевича да преклонный возраст стариков возымели действие, и в один из дней он привел их, чуть живых, к нам. Разместили стариков на печке.

> Как только я уехал, рано утром, на рассвете, каратели дошли до Чачи, окружили ее и подожгли со всех сторон. Тех жителей, кто выбегал, – расстреливали из пулеметов и автоматов. За 2–3 часа деревня в двадцать домов была полностью уничтожена.

Мать, как могла, ухаживала за ними. А они были безумно рады и благодарны своему Тараске и жили у нас долго, пока нас не освободила Красная армия в конце осени 1943 года. После войны старики вернулись в свою Чачу вместе с сыновьями, опять отстроили свою хату и жили в ней. Их сыновья, которые были в партизанах, уцелели. Только одному – Василию – оторвало ногу, да трое не вернулись с войны.

Полицай Сетькин

Касплянская полиция была большой помощницей оккупантам. Я уже частично писал, какие дела она творила. Но и полицейские были разные. Сам начальник полиции Гахович ничем особо видимым себя для касплян не проявил. Видно, он был строгий руководитель за столом, на улице мы его не очень-то и видели. А вот из рядового состава выделялся один полицейский. Его звали «чужак», потому что он был пришлый – из какой-то деревни недалеко от Каспли – то ли из Шелатон, то ли из Слободы. Отличался от остальных полицейских своей жестокостью, любил похвастаться перед касплянами, был среднего роста, с неопределенным цветом волос, ходил в какой-то непонятной рубашке и штанах, больше похожих на гражданскую одежду. О нем по Каспле ходили легенды. Жестоко бил даже женщин в тюрьме при допросах, а уж расстреливал – рука не дрогнет, как говорили.

Лично я с ним близко столкнулся два раза. В первый раз я шел по своей улице Кирова и примерно где жила Нинка Котелкова вдруг услышал грозный окрик «посторонись!». Оглянулся – человек с пистолетом в правой руке мне показывал, чтобы я перешел с правой стороны улицы на левую. Я, конечно, послушался, быстро перешел улицу и остановился. Мимо меня гуськом проходила группа из четырех человек.

Впереди шел высокий, худощавый, в пальто зеленоватого цвета человек, спокойно глядя себе под ноги. Ничего необычного я не заметил. За ним шел небольшого роста в черной одежде и с черной копной волос на голове очень юркий, быстрый в движениях человек. Он шел, оглядываясь вокруг, мелко перебирая ногами. По своему виду он был похож на цыгана и еврея. Замыкал шествие этой тройки среднего роста человек-инвалид, тяжело опираясь на костыли. Этот сосредоточенно смотрел себе под ноги, костыли скрипели, и видно было, что ходьба дается ему с трудом.

> Дело шло к вечеру, и все знали: если из тюрьмы немцы или полицаи приводили в больницу людей, то это – расстрел.

Сзади за ними шел полицай Сетькин с опущенной вдоль тела правой рукой, в которой, к своему ужасу, я заметил пистолет. Дело шло к вечеру, и все знали: если из тюрьмы немцы или полицаи приводили в больницу людей, то это – расстрел. Сердце

мое екнуло. Я еще раз внимательно оглядел уходящую группу и побежал домой рассказать маме, что видел.

Мать выслушала со слезами на глазах: «Смотри, сынок, ведь твоих уже повели к Кукиной горе». Заходило на западе солнце, на поле ложились длинные тени. Я посмотрел, куда мне указала мать, и увидел ту же картину. По тропинке возле небольшого взгорья (холма) шла группа из трех несчастных, за ними – полицай Сетькин, замыкал шествие немец с винтовкой. Пройдя мокрую лощинку, люди повернули и пошли прямо по тропинке к Кукиной горе. И вдруг здесь началась драка. Мы увидели, что инвалид повернулся к Сетькину и начал бить его костылями. Маленький черный человек выскочил из группы, круто повернул влево, пулей вбежал на взгорок и быстро скрылся за ним. Первый, возглавлявший движение группы, просто побежал прямо по тропинке, и его сразу расстрелял немец из винтовки. Через некоторое время инвалид, дравшийся с полицаем Сетькиным, упал на землю. Он был убит из пистолета. Немец вскочил на пригорок и стал яростно палить из винтовки. Какая там разыгралась трагедия, нам, стоящим у хаты, видно не было. Но немец не побежал дальше, а стал спускаться с пригорка, и мы поняли, что и быстрому маленькому черному человеку не удалось убежать. Так вечером в летний день окончили свой жизненный путь три советских патриота, дорого отдавших свою жизнь.

Вторично судьба столкнула меня с этим страшным полицаем Сетькиным уже после нашего освобождения – в конце сентября 1943 года. Начальник полиции Гахович как-то тихо и бесшумно куда-то сгинул, исчез. А Сетькина взяли в родной деревне, где он, видимо, думал отсидеться. Его привезли в Касплю вместе со старухой-матерью. В здании больничной амбулатории организовали скорый суд. Зал был набит битком. Там были и свидетели злодеяний Сетькина, и просто любопытные. Судил его военный трибунал из трех наших офицеров, высоких по званию. В зале стоял гам, шум, крики, плач. Женщины-свидетели показывали спины, иссеченные плетьми, синяки от побоев, тыкали ими в лицо Сетькину. Он был невозмутим. Тихо сидел на стуле, охраняемый двумя автоматчиками.

Суд проходил бурно. Видно, много было обиженных этим злым человеком. Наконец объявили, что суд окончен и удаляется на совещание. Через некоторое время судьи вышли из соседней комнаты, все встали, и был оглашен приговор. Я не очень помню его начало, а вот конец запомнил хорошо. «Изменник и предатель Родины, гражданин Сетькин приговаривается к смертной казни через повешение. Приговор обжалованию не подлежит и должен

быть приведен в исполнение в 24 часа». Все загудели, что правильно, что так ему, кровопийце, и надо. Я оказался у задней двери амбулатории и видел, как два автоматчика выводили Сетькина из зала суда. Один автоматчик достал из кармана белый крученый шнур и быстро связал Сетькину руки за спиной. Проходя мимо, я даже подумал, что, наверно, больно, когда руки так связаны за спиной.

К дверям подошла какая-то легковая машина – в нее сели судьи, в другую машину посадили осужденного, его старушку-мать и двух автоматчиков. Все поехали к райисполкому. Там уже возвышалась большая и широкая виселица на двух столбах с перекладиной и болтающейся веревкой с петлей посередине. Рядом в сторонке угрюмо стояла толпа касплян, тихо переговариваясь. Мы, пацаны, прибежали и стали глазеть, что будет дальше. В виселицу медленно въехала большая грузовая машина «ЗИС». Все борта ее были открыты, и образовалась как бы платформа – эшафот. На платформу вскочили два автоматчика, влез на нее и один из офицеров суда с бумажкой в руке. К борту машины подвели Сетькина, подняли его, поставили на платформу под болтающейся веревкой. Офицер громко, членораздельно прочитал по листку приговор, соскочил с машины. Два автоматчика надели на Сетькина веревочную петлю, затем один из них зачем-то вынул из кармана шнур и связал ему еще и ноги. Когда все было готово, один автоматчик хлопнул ладонью по кабине, и машина стала медленно выезжать из-под столбов виселицы. Сетькин медленно перебирал ногами, стараясь держаться прямо. Но вот платформа автомашины полностью выехала из-за столбов. Сетькин вздрогнул, сорвался с нее и повис в петле. Я видел, как его ноги несколько раз конвульсивно дернулись, и все было кончено. Так в 1943 году закончил свой звериный путь один из самых ярых предателей и изменников нашей Родины.

Побег военнопленного

Не знаю, просто уже не помню, по каким делам ходил я за речку в Касплю-2, как ее все звали. Дело было летом, стояла теплая солнечная погода. Я брел, ни о чем не думая, спускаясь с пригорка, по большаку, или – как звали все центральную улицу Каспли, переходящую с востока на запад, – по улице Советской. Спустившись с пригорка около Пашки Марьенкова – знаменитого на всю Касплю балагура, гармониста и даже артиста смоленского театра, – подошел к стоящим близко к дороге зданиям. С левой

стороны была почта, а напротив стояла большая и низкая несуразная хата, в которой до войны размещался райвоенкомат. За этими двумя постройками с юга была речка Каспля с отрывистым берегом, а с севера – высоченная песчаная гора, прозванная Почтовой. Дорога сужалась. Я шел, шлепая босыми ногами по дорожной пыли, когда вдруг у крыльца здания бывшего военкомата (где, как я уже знал, немцы устроили самое страшное заведение – жандармерию) меня окликнул стоявший там жандарм. Я слышал, какие жуткие пытки творят немцы над сельчанами в этой жандармерии, и остановился, подумывая просто дать ребячьего стрекача от столь опасного места.

Немец настойчивее позвал меня подойти к нему. Я увидел, что он стоит не один – перед ним был высокий и стройный наш, советский, военнопленный, одетый в командирскую гимнастерку, брюки, но без головного убора и босиком. Немец, как было видно, что-то нервничал, вертелся. В одной руке он держал большой пистолет, в другой – тонкую плетку, стек, как они называли. Пленный, видя, что я не спешу подойти на зов немца, процедил сквозь зубы: «Пацан, подойди. Иначе он тебя пристрелит». Я свернул с дороги и, дрожа всем телом, подошел к немцу. Это был настоящий жандарм: черный мундир, высокая фуражка, грудь – все было увешено и украшено разными знаками и орденами.

Немец сунул пистолет в свою расстегнутую кобуру, висевшую на животе, переложил хлыст в левую руку и стал мне объяснять, чтобы я зашел в жандармерию и вынес ему оттуда наручники. Это он мне показал свободной от пистолета рукой, обвив своими холеными пальцами запястье. Военнопленный опять тихо, сквозь зубы, сказал: «Пацан, схвати первую попавшуюся железяку и вынеси ему». Я вскочил в здание и замер от страха.

> Это была большая пустая хата, посреди которой стоял огромных размеров стол. На нем были разложены самые различные предметы: клещи, кусачки, кольца, зубы, веревки с металлом, петли, ремни, плетки, толстые нагайки, просто металлические прутья, какие-то катки с острыми зубьями, молотки, пилки и многое другое. Я уже знал из рассказов касплян, что это были орудия страшных пыток, которые применялись здесь.

Это была большая пустая хата, посреди которой стоял огромных размеров стол. На нем были разложены самые различные предметы: клещи, кусачки, кольца, зубы, веревки с металлом, петли, ремни, плетки, толстые нагайки, просто металлические прутья, какие-то катки с острыми зубьями, молотки, пилки и многое другое. Я уже знал из рассказов

касплян, что это были орудия страшных пыток, которые применялись здесь. Ведь иногда душераздирающие крики несчастных были слышны даже у нас в хате, хотя она и стояла далеко от жандармерии.

Дрожа от страха, с сильно бьющимся в груди сердцем, я схватил близлежащую ко мне железяку и выскочил вон.

Увидев меня, немец пришел в страшную ярость и вырвал у меня из рук, как я понял, ненужную ему вещь. Затем разразился громким криком, опять сунул свой пистолет в кобуру, переложил стек в правую руку и со всего размаха стеганул им меня по плечу и спине. Я взвыл от боли – ведь был одет в одну тонкую рубашонку, как мать говорила, из чертовой кожи. Стоя лицом к немцу и военнопленному, я сквозь залитые слезами глаза увидел, как мелькнула тень военнопленного. Он в два прыжка оказался на обрывистом берегу реки и прыгнул в воду. Немец что-то гаркнул, бросился к берегу реки и стал беспорядочно стрелять вниз из пистолета. Я понял, что свободен, выскочил на дорогу и дал стрекача.

Когда пробегал мимо комендатуры на мост, увидел, как оттуда, на бегу заряжая винтовки, выбегали немцы и бежали к жандармерии. Больничными огородами и кустарниками, ни с кем не встречаясь, я, как угорелый, чуть живой примчался домой. Рассказал все матери, она дала мне пару своих увесистых подзатыльников и отругала, что я вечно где-то шляюсь (хотя в данном случае я бегал по ее поручению). Охая и ахая, она сняла с меня окровавленную рубашку, смазала рубец гусиным салом (это было у нее лекарство от всех болячек и болезней). Плача вместе со мной, уложила в постель. Я проспал до утра, как убитый.

Хотя близко от нас был выкопан колодец, но вода была в нем желтоватая, мы брали ее только для скота и чтобы помыться. А за водой для питья и готовки еды мать ходила довольно далеко – в хороший колодец. Придя однажды от колодца, мать была чем-то напугана и расстроена. По ее словам, бабы у колодца рассказали, что вчера от жандармерии при допросе сбежал советский военнопленный. Немцы знали, что убежать ему помог наш, касплянский пацан. Как бы ни было беды, говорили бабы, если немцы его найдут, прочесывая дома. Тогда уж точно засекут до смерти эти жандармы-живодеры. Мы сидели ни живы ни мертвы. Мать дала мне одеяло и сказала, чтобы я лез на чердак, никуда весь день не выходил, а завтра она меня раненько отправит к бабе Марье – двоюродной сестре моего родного отца Павла – в деревню Горбуны, в 5 км от Каспли.

Стоя лицом к немцу и военнопленному, я сквозь

> залитые слезами глаза увидел, как мелькнула тень военнопленного. Он в два прыжка оказался на обрывистом берегу реки и прыгнул в воду. Немец что-то гаркнул, бросился к берегу реки и стал беспорядочно стрелять вниз из пистолета. Я понял, что свободен, выскочил на дорогу и дал стрекача.

Рано утром мать разбудила меня и, дав краюху черного липкого хлеба из картошки, отправила задворками к бабке Марье. Бабушку Марью мы все очень любили, она была воплощением доброты и нежности. Ее называли колдуньей. Она лечила односельчан: клала их через порог, обмазывала разным зельем, давала пить такие отвары из трав, что у человека глаза вылезали из орбит, выправляла вывихи – короче, лечила вместо врача. Эта старуха была незаменимым лекарем. Жила она вместе со снохой Варварой – крикухой, которая никогда не говорила тихо, только кричала. У них было двое детей – Санька и Нинка. Они тоже не разговаривали спокойно: или кричали, или дрались.

> Так как немцы не собирали никого с лопатами рыть за рекой могилу, мы догадывались, что тому военнопленному повезло, и он сбежал.

С большим трудом, под опекой доброй бабы Марьи я пробыл у них в гостях около четырех дней. Рубец мой помаленьку заживал, благодаря мазям.

Озеро самое широкое в этом месте, тишина, никаких немцев, глушь да безделье быстро поставили меня на ноги, и я запросился домой. «Ну ладно, мой ненаглядный, иди. Ты ведь там самый старший, тебе надо помогать матери по хозяйству, да и за мальцами гляди да гляди». И я отправился в Касплю.

Добродушная баба Марья придумала, что ей надо на прием к врачу в больницу, собрала узелок, и мы пошли по тропинке вдоль озера в Касплю. Здесь бабушка впервые показала мне неиссякаемый родничок, который бил на берегу озера между деревнями Лубаны и Горбуны. Долго сидели мы с бабушкой там, наслаждаясь чистейшей родниковой водой, ясным днем и высоким небом.

Когда я вернулся и стал жить дома, мать не очень разрешала мне ходить, как мы тогда говорили, «на Касплю». Так потихоньку сошла молва об удачном побеге от жандармерии нашего советского военнопленного – видимо, командира Красной армии. Да, редко такое сходит – говорили у колодца касплянские бабы, видимо догадываясь, кто был тем пацаном, что невзначай помог сбежать этому командиру.

Так как немцы не собирали никого с лопатами рыть за рекой могилу, мы догадывались, что тому военнопленному повезло, и он сбежал. Это, конечно, был редкий случай – видимо, судьба помогла да то, что он был кадровым военным. Сбежать от жандарма, у которого оружие наготове да к которому на помощь бежали еще два немца, – это непросто. «Но в жизни всякое бывает», – говорила мама, вспоминая этот случай и гладя меня по голове.

Расстрел на Кукиной горе

Шел второй год оккупации Смоленщины немцами. Наше село Каспля, расположенное в 45 км от Смоленска, вместе со всей страной стойко переживало годины военных лет 1941—42 годов.

Мы, жители села Касплянского района, каждый день подвергались большим и малым бедам. Малыми бедами считались ежедневные поборы немцами молока и яиц, бомбежки, аресты, пытки граждан в жандармерии, одиночные расстрелы и др. Большие беды – это организация немцами массовых смертных казней со сгоном всех касплян к месту казни, периодические рейды карательных отрядов из Смоленска в леса для уничтожения партизан или массовые расстрелы ни в чем не повинного гражданского населения.

Страшные военные годы уходят в века, в историю, в безвестность. Как ни печально, но надо признать тот факт, что новое, подрастающее за нами, ветеранами, поколение не знает фактически ничего о прошедшей войне. И что особенно страшно – оно, это сегодняшнее поколение, и не особо стремится узнать правду о войне. Это, во-первых.

Во-вторых, в наших СМИ – в кино, на ТВ, по радио – редко встретишь правдивое описание или изображение правды тех военных лет. Все пересыпано сексом, шапкозакидательством, а не реальными фактами и явлениями. А если учесть, что мы – старшее поколение 30-х годов XX века – сотнями, тысячами покидаем этот свет и все уносим с собой, становится до глубины души обидно, что скоро люди будут так же мало знать о ВОВ 1941—45 годов, как мы сейчас почти ничего не знаем о великой и кровавой битве под Бородино в 1812 году. А ведь в ней погибло 56 тысяч солдат и офицеров русской армии! Вот так и по событиям 1941—45 годов скоро люди ничего не будут конкретно знать и помнить.

Ибо, как я бы сказал, люди-документы – участники и очевидцы тех грозных событий – имеют сейчас преклонный возраст 70–80 лет. Это при нашем среднем уровне жизни в 59–60 лет – уникумы.

Но увы, молодое поколение зачастую не бережет, не ценит, да просто не желает слушать их рассказы среднему поколению! Вот вам яркий пример.

В 2006 году я, 77-летний участник войны и очевидец многих событий ВОВ 1941—45 годов, написал небольшую книгу-брошюру «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. в воспоминаниях подростка». Я обращался в три московских издательства и два ленинградских с предложением издать книжку. И все издательства ответили, что эта тема их не интересует.

Я хотел бы еще рассказать об одной исторической трагедии, которая произошла в годы войны в нашем селе Каспля. Я уверен, о ней никто толком ничего правдиво не знает не только в стране, но даже в Смоленске. Я прожил в селе Каспля до 15 лет – до 1945 года, но ни разу не читал ни одной публикации об этом ни в местных, ни в центральных газетах.

Живя с 1945 года в Ленинграде – Санкт-Петербурге, я читал массу газет и тоже не помню, чтобы мне попалось на глаза какое-нибудь сообщение о касплянской трагедии. Будучи однажды на родине в отпуске, я два часа рассказывал эту страшную историю председателю сельской администрации Каспли – Барсуковой.

А было это так. В начале войны немцы буквально победным маршем захватили всю Смоленщину. В районе Вязьмы в окружение попала даже целая наша армия. В Вязьме стоит памятник, напоминающий об этом событии. Село Каспля до войны было районным центром, и фронт так быстро прошел ее, что многие руководители районных организаций даже не смогли эвакуироваться. Позже они ушли в партизаны, организовав партизанский край в районе прилесных деревень Чача, Яшино, Хохлово, Жарь и др. Некоторые же коммунисты и комсомольцы, работники школы, райбольницы продолжали жить со своими семьями.

Укрепившись и создав в Каспле ряд своих учреждений – военную комендатуру, сельскохозяйственную комендатуру, райуправу, жандармерию, полицию, – немцы, наверное, уже имели списки всех проживающих в селе людей, которые не успели уехать в эвакуацию. Вскоре их начали по ночам арестовывать и содержать в корпусах больницы. Эти аресты велись тихо и продолжались всю весну 1942 года. Помимо значительного количества мужчин, под арест попало много женщин с детьми, молодые девушки-комсомолки.

В Каспле до войны проживало две-три многодетные еврейские семьи. Они занимались, в основном, сбором утильсырья: старых тряпок, разного кухонного инвентаря –

кастрюль, чайников. Я хорошо помню одну семью, где отца звали Берка. У него было пятеро детей – мал мала меньше. Со старшим его сыном, моим сверстником, я даже дружил. Его звали очень странно – Сролик. Из-за этого имени он даже не смог ходить в школу, говорил, что походил 2–3 недели, но его постоянно дразнили, и он вынужден был уйти из школы и просто помогал отцу.

> Нам, касплянам, было непонятно, почему эти еврейские семьи были арестованы.
>
> В то время мы еще не знали идеологию фашизма относительно евреев.

Отец – Берка – брал двухколесную тележку, клал на нее разные игрушки, купленные в Смоленске, и ехал по улицам села, крича: «Налетай, детвора, на мое богатство!» Мы, детвора, хватали что попадется под руки из старья и опрометью неслись к его тележке. Он тщательно осматривал наши подношения, брал их и выдавал взамен игрушки.

Еврейские семьи жили бедно, тихо, ни с кем из селян особо не дружили и, конечно, ничего плохого не делали. Поэтому нам, касплянам, было непонятно, почему эти еврейские семьи были арестованы. В то время мы еще не знали идеологию фашизма относительно евреев.

Всех арестованных мужчин, женщин и детей немцы стали содержать в большом (ранее хирургическом) корпусе касплянской больницы. Она находилась на улице Кирова, занимая большую территорию, и состояла из 3-х больших корпусов, ряда хозяйственных построек и служб. Хирургический корпус шел вдоль улицы и был обнесен деревянным штакетником, вдоль окон корпуса постоянно ходил немецкий патруль.

Немцы пустили слух, что все задержанные будут отправлены в Смоленск, а оттуда в Германию на разные работы. Поэтому родственники несли им передачи: продукты, теплую одежду, обувь, белье. Каспляне верили в этот слух и не особо беспокоились за их жизни: все как бы с этим смирились. В корпусе задержанные жили уже месяца 2–3. Однако слух, пущенный немцами, об отправке людей в Германию, не оправдался – дальнейшая жизнь их оказалась страшной, и вот почему.

Как-то летом, в конце июня, из Смоленска на двух легковых автомашинах ехали в Касплю высокие немецкие офицеры в ранге полковников и подполковников. В небольшом лесочке между Смоленском и Касплей, называемом Пущей, партизаны сделали засаду и всех этих офицеров расстреляли, а автомашины

подожгли. Каспляне замерли. Все знали девиз немцев: «За каждого убитого немца расстреливается 10 граждан мирного населения». Да, говорили сельчане, добром это для нас, касплян, не кончится. И опасения эти оправдались.

В последних числах июня 1942 года в Касплю из Смоленска на 10–12 больших крытых брезентом грузовиках прибыл карательный отряд. Он разместился в пустых зданиях школы. Каратели всегда были одеты в белые мундиры с закатанными по локоть рукавами, серые брюки и ботинки, на голове были пилотки странного цвета. Вели каратели себя очень нагло. Складывалось впечатление, что их боялись даже немцы, стоящие в касплянском гарнизоне.

Немцы и полиция все время пополняли барак новыми задержанными. Последними были ребята-подростки, арестованные за то, что где-то снимали со столбов провода. Зачем они были им нужны, нам было непонятно, так как ни электричества, ни телефона в то время в селе не было.

Лето 1942 года стояло ясное, жаркое.

Каратели всегда были одеты в белые мундиры с закатанными по локоть рукавами, серые брюки и ботинки, на голове были пилотки странного цвета. Вели каратели себя очень нагло. Складывалось впечатление, что их боялись даже немцы, стоящие в касплянском гарнизоне.

Огородные посадки все поспевали.

Мать, зная голодные зимы, как-то умудрилась засадить два лапика огорода около хаты картошкой. Потом упросила соседа деда Сеньку разъехать лапики. И теперь нам с ней предстояло пройти борозды, окучить картошку и поднять ботву уже вручную. Борозды одного лапика шли от крыльца хаты до самой дороги по улице Кирова, вдоль кладбища.

Мы с матерью начали проходить борозды, в день всего по две-три, так как они были длинные, а ботва густая. Однажды утром, когда мы собирались работать, к нашей хате подошли два немца-автоматчика и, коверкая русские и немецкие слова, объяснили, постучав по своим часам, чтобы мы не работали и не выходили на улицу после 12 часов. «Если выйдете, будет пук-пук», – показали на автоматы немцы.

Мать вошла в хату и сказала: «Дети, сегодня немцы что-то затевают. Не выходите на улицу после 12 часов, сидите дома, еще, не дай Бог, пристрелят». Она постелила нам на пол дерюги и одеяла, бросила несколько наших игрушек, и мы засели дома. Прошло уже часа три-четыре. Но вдруг – то ли мать забыла о

строгом наказе немцев, то ли в ней взыграла трудовая крестьянская жилка – сказала:

– Костик, что-то все тихо на улице. Пойдем-ка мы с тобой и хотя бы по одной борозде картошки пройдем.

– Гляди, мама, не пристрелили бы нас с тобой за ослушание!

– А мы, Костик, если что увидим, юркнем в хату. Тем более что борозды идут прямо до крыльца.

Мы вышли на огород и стали окучивать картошку. Да так увлеклись работой, что не сразу заметили оживленное движение карателей около корпусов больницы. Потом стали наблюдать и увидели, как из ворот больницы беломундирники выводили мужчин и строили их в колонну по четыре человека в ряд. Причем я заметил, что вдоль колонны ходил офицер (он был в фуражке) и хлыстом тыкал в строящихся людей, перемещая их по росту с одного места на другое. Получилась большая колонна: впереди стояли высокие, рослые мужчины, потом среднего роста, а к концу – низкорослые черные евреи и задержанные за провода подростки.

Я был невысокий худенький подросток, мама – маленькая худая женщина, поэтому не очень были видны в ботве картофельных борозд. Мы с мамой стояли в бороздах на коленях и, перестав работать и разинув рты, наблюдали за тем, что будет дальше. Когда колонна мужчин была полностью построена как надо, ее быстро окружили конвоиры-автоматчики в белых мундирах с закатанными по локоть рукавами. Их командир, встав впереди колонны, махнул рукой, что-то громко крикнул, и колонна тронулась по улице, приближаясь к нашим бороздам.

Вдруг, когда колонна подходила уже к началу огорода, раздалась широкая автоматная очередь, и над нашими головами просвистели пули, веером срезав картофельную ботву. Мы поняли, что над нами пронеслась смерть. В нас стрелял автоматчик, шедший впереди колонны. Мы упали вниз, лицом в борозды, лежали там плашмя, закрытые картофельной ботвой, и нас больше не было видно со стороны дороги.

Колонна медленно, я бы даже сказал торжественно, шла по дороге. Я удивился, что она шла как ходят на параде – четко печатая шаг. Не было слышно ни одного слова. Передние ряды колонны – рослые мужчины – смотрели не под ноги, а куда-то вдаль. Со стороны казалось, что люди шли не к смертельному месту, а куда-то в торжественную известность. У меня, ребенка, создалось впечатление, что они шли к своей вечности, бессмертию.

Стояла прекрасная погода, было очень тихо. Тишина нарушалась только разъяренным визгом и хрипом громадных

собак-овчарок. Впереди колонны шли человек 10–12 фашистов из охраны, по бокам – по 5–7 человек, сзади – опять группа из 10–15 конвоиров. Все они были вооружены автоматами, которые несли низко на животах.

> Со стороны казалось, что люди шли не к смертельному месту, а куда-то в торжественную известность. У меня, ребенка, создалось впечатление, что они шли к своей вечности, бессмертию.

Всего в колонне было около 70–80 мужчин и подростков.

Колонна медленно прошла мимо наших борозд, где мы лежали, мимо кладбища и скрылась из нашего поля зрения на несколько минут за домом и медицинской амбулаторией. Опять мы с мамой увидели ее, когда она уже шла по дороге вдоль Малой Кукиной горы.

Дело в том, что одна большая гряда —

Кукина гора – протянулась с востока на запад на значительное расстояние. Чтобы рассечь гряду, люди прорыли в песке проезд, разделив, таким образом, горы на две части: Большая Кукина и Малая Кукина горы. Впоследствии немцы выбрали это место за Кукиной горой для расстрела партизан, военнопленных, гражданских лиц. Поэтому все каспляне знали: если немцы повели людей за Кукину гору – это смерть! Вот мы с матерью и поняли, что всю большую группу мужчин немцы повели на смерть.

…Мы снова увидели колонну, когда она пошла вдоль Малой Кукиной горы, приближаясь к песчаному проезду между гор. По-прежнему колонна шла тихо, медленно и как-то торжественно. Головная ее часть стала входить в проезд и через минуту скрылась за горой. Мы замерли, ни живы ни мертвы. За горой некоторое время стояла полная тишина.

И вдруг там началась стрельба. Раздавались звонкие широкие автоматные очереди, тяжело бухали очереди крупнокалиберных пулеметов, расставленных на пригорках, и одиночные винтовочные выстрелы. Стрельба продолжалась около часа, потом все затихло.

– Сынок, поползем в хату! Сейчас каратели будут возвращаться и могут нас пристрелить.

– Нет уж, мама! Если мы спрятались, так давай не высовываться, пока это страшное побоище не кончится.

Мы по-прежнему лежали в бороздах, боясь ползти в хату, хотя оттуда и доносился плач оставленных одних детей.

…И точно, в песчаном проезде между горами показались возвращающиеся каратели. Когда поравнялись с нами, я заметил,

что все они размахивали руками, громко смеялись и гоготали, как это умеют делать только немцы. Нам показалось, что каратели были просто пьяны.

Какое-то время во дворе больницы была тишина. Но вдруг эту временную тишину нарушил сплошной крик и плач женщин и детей. Мы приподнялись в своих бороздах и увидели, что каратели буквально облепили женскую половину барака. Из него за руки стали выволакивать на улицу упирающихся женщин, которые дрались, плакали, громко кричали. Каратели били их прикладами и стреляли вверх. Наконец, немцам удалось выгнать из барака на улицу большую часть арестанток. Они сбились на площадке, у выхода из ворот больницы на улицу. Образовалась бьющаяся, кричащая, голосящая толпа. Каратели пытались вырвать из этой толпы женщин, выводить на дорогу и строить в колонну. Они, как могли, сопротивлялись. Над Касплей стоял сплошной душераздирающий крик и стон.

К больнице прибыло еще четыре большие автомашины, крытые брезентом. Из них стали выскакивать каратели, окружившие толпу женщин, детей. Они погнали их прикладами от ворот на середину улицы, пытаясь построить в колонну по четыре человека.

Мы с матерью наблюдали эту ужасающую, леденящую сердце картину и обливались слезами. Так продолжалось довольно долго. Немцам никак не удавалось построить колонну. Видимо, карателям это надоело, и они натравили на неповинующихся женщин громадных собак-овчарок. Мы видели, как собаки набрасывались на беззащитных, хватали их за ноги и тащили. Особенно тяжело приходилось женщинам, у которых были дети. Малышей они несли на руках, а тех, кто постарше, буквально тащили волоком по земле, подгоняемые прикладами карателей и собаками.

Над Касплей стоял сплошной человеческий стон. Наконец немцам удалось вытащить всех несчастных из барака и с большим трудом построить в нестройную колонну. Опять раздались выстрелы из автоматов в воздух, опять послышались громкие крики конвоя, и колонна медленно тронулась от больницы по улице. Сказать, что колонна шла, будет неверно. Фактически женщины медленно тащились по дороге, волоча за руки детей. По бокам этой колонны было значительно больше конвоя, чем у мужчин.

Колонна проходила торцы наших картофельных борозд, как вдруг мы увидели, что из нее в картошку бросили небольшой белый сверток. Боковой конвоир в этот момент немного замешкался, а потом, развернувшись, с живота дал наугад по

бороздам длинную автоматную очередь. Он даже остановился и хотел шагнуть в борозды, но они были только что распаханы, еще не осыпались, глубокие – и немец понял, что наберет целые ботинки сырой земли. Он тряхнул ногой, махнул рукой непонятно на кого и, круто повернувшись, стал догонять проходящую колонну. Шедшие за ним каратели, хотя и были с собаками, как-то не обратили особого внимания на брошенный кулек, прошли мимо.

Колонна, как я уже говорил, шла медленно. Впереди шли высокие, стройные и красивые девушки-комсомолки. И хотя шли гордо, как бы независимо, по их широко раскрытым ртам было видно, что они тоже кричали, время от времени поднося концы своих платков к глазам и вытирая слезы.

> Вскоре у больницы послышался шум заводимых моторов, и грузовики покинули территорию больницы. Каратели уехали. Мы поняли, что все кончено. За какие-то 4–5 часов было расстреляно 157 граждан села Каспля. Было это 1 июля 1942 года.

Общие крики, плач, стенания женщин постепенно удалялись от нас. Потом мы увидели женскую колонну медленно движущейся по дороге вдоль Малой Кукиной горы. Вскоре она стала вползать в песчаный проезд между горами, и крики и стоны стали еще громче. Позже люди говорили, что их было слышно по озеру в деревнях до трех километров.

Через некоторое время опять за горой началась стрельба. Она была очень яростной и беспорядочной. Затем все стихло.

Опять каратели возвращались из-за Кукиной горы бесформенной толпой. Но на этот раз они шли какие-то пришибленные: не смеялись, ни гоготали. Больше помалкивали.

> Из кулька доносился слабый писк. Я побежал домой. Мы с мамой развернули пакет и обнаружили в нем очень маленького чернявого ребенка – мальчика. «Бедное дитя! – приговаривала мама, горько плача. – И что же нам теперь с ним делать? Ведь, если немцы прочуют и найдут его, нас всех расстреляют!»

Вскоре у больницы послышался шум заводимых моторов, и грузовики покинули территорию больницы. Каратели уехали. Мы поняли, что все кончено. За какие-то 4–5 часов было расстреляно 157 граждан села Каспля. Было это 1 июля 1942 года.

…Мы с мамой вернулись в хату с опухшими, заплаканными глазами. Помылись, убрали и успокоили трех зареванных и

голодных детей. Вдруг мать остановилась, ахнула и крикнула мне: «Костик, быстро сбегай в картошку и принеси тот кулек, который выкинули женщины из колонны». Я сходил, нашел белый, грязный небольшой кулек и поднял его. Из кулька доносился слабый писк. Я побежал домой. Мы с мамой развернули пакет и обнаружили в нем очень маленького чернявого ребенка – мальчика. Мать собрала все его пеленки и бросила в печку (печка у нас топилась торфом, и там каждый день тлела торфяная зола), обмыла мальчика, закрутила в чистые тряпки, дала соску с молоком – он успокоился. «Бедное дитя! – приговаривала мама, горько плача. – И что же нам теперь с ним делать? Ведь, если немцы прочуют и найдут его, нас всех расстреляют!»

Делать было нечего. Время шло к ночи. Мать положила ребенка среди постелей наших детей, и он скоро уснул. «Смотрите, дети, чтобы вы нигде ни словом не обмолвились, что у нас появился ребенок, – иначе всем нам грозит смерть». Ночью ребенок спал среди нас, детей, а на день мать заставляла меня поднимать его на чердак. Ребенок, к счастью, оказался очень тихий и спокойный.

…Однако вернемся ко дню расстрела. На этом в тот день наша беда не закончилась. В окно грубо постучали и крикнули: «Тетка Фрузка, выходи да бери с собой лопату! Пойдем за Кукину гору, приведем там все в порядок.

Немцы приказали». – «Володька, зайди и погляди! Как я брошу эту малышню?»

> Пока мы шли, я подумал, что, если бы эта дорога от больницы до Кукиной горы была не песчаной, а из асфальта, мы сейчас шли бы по лужам человеческих слез и крови.

Полицай Володька, которого мать хорошо знала (он был из Полозов – деревни недалеко от Белодедова, где жила когда-то мать), заглянул в хату, увидел нас, ребят, и сказал: «Ладно, можешь не ходить! Но тогда пусть за тебя пойдет старший пацан».

– Ну что поделать, Костик?! Возьми лопату и сходи. Хотя у нее черенок сломался, когда окоп копали. Иди так.

Полицаи, пройдя по домам, набрали толпу – человек 20 касплянских мужиков, подростков – и повели всех за Кукину гору. С содроганием и страхом мы шли дорогой, по которой несколько часов назад ушли на смерть полторы сотни человек. Пока мы шли, я подумал, что, если бы эта дорога от больницы до Кукиной горы была не песчаной, а из асфальта, мы сейчас шли бы по лужам человеческих слез и крови.

Когда пришли на Кукину гору, перед нами предстала ужасная, не поддающаяся нормальному человеческому представлению картина. На всем южном пригорке валялись горы пустых маленьких гильз от автоматов и больших – от винтовок и станковых пулеметов. Общая братская могила – яма – была заполнена голыми человеческими телами. Сверху немцы засыпали котлован каким-то белым порошком, видимо известью. На это было жутко смотреть. Мы смотрели и не верили глазам. Страшной была эта могила. Казалось, тела, заполнившие яму, шевелились и дышали. Некоторых из нас от этой жути и животного страха стало тошнить и вырвало.

Послышался шум въезжающих в земляной проезд двух грузовых автомашин. Выше, на склоне горы, лежали груды одежды расстрелянных (значит, людей перед смертью заставили раздеться). Грузовики подъехали к одежде и остановились. Из кабин выскочили два немца-шофера, закричали на полицейских «шнель!» и вернулись в кабинки – они боялись нас, русских.

Полицейские распределили всех нас на две группы. Кто был с лопатами – тех поставили по краю громадного котлована и приказали забрасывать эту яму с телами землей. Кто был без лопат, как я, – заставили носить одежду расстрелянных и грузить в машины. Мы брали охапками груду разного белья, одежды, обуви и подносили к заднему борту машин. Сначала нас заставили погрузить в первую машину мужскую одежду, потом – во вторую – одежду женщин и детей.

На всем южном пригорке валялись горы пустых маленьких гильз от автоматов и больших – от винтовок и станковых пулеметов. Общая братская могила – яма – была заполнена голыми человеческими телами. Сверху немцы засыпали котлован каким-то белым порошком, видимо известью.

Я взял одну из охапок мужской одежды, и она показалась что-то очень тяжелой для меня, голодного пацана. Я увидел, что несу большое зимнее пальто. Вдруг, когда стал подавать его наверх, мне в глаза бросилась из-под воротника показавшаяся очень знакомой медная (как мне казалось, золотая) цепочка-вешалка, пришитая за оба конца. Я опешил и все вспомнил.

У нас при школе было несколько уютных домиков для учителей. С Аркадием Зырянкиным – моим ровесником и сыном одного из этих учителей – мы дружили. Несколько раз я бывал у Аркадия и видел вешалку у входной двери, направо, где висело большое зимнее пальто на медной (или золотой) вешалке-цепочке.

Вот как распорядилась судьба! Отец Аркадия расстрелян, а я несу и гружу в машину его пальто! Я даже замешкался, подавая его в машину, – у меня руки как-то опустились, а мой напарник закричал сверху: «Ну что ж ты там, Костик?!» Я подал пальто наверх, но и его, и цепочку запомнил на всю свою жизнь.

Уже будучи студентом Московского железнодорожного института, я как-то оказался в Москве у станции метро «Сокол». Мы – я и дядя по отцовской линии – поздно возвращались к нему на квартиру на улицу Сретенка. Медленно шли по какой-то широкой улице и вдруг увидели шедшего нам навстречу моего друга Аркадия с девушкой. Встреча была настолько необычной, что я не поверил глазам. Но, чтобы проверить себя, когда мы уже разошлись, я крикнул: «Аркадий!» Он остановился, затем подошел к нам. Поздоровались, обменялись несколькими фразами о нашем детстве. Я сразу вспомнил цепочку-вешалку на пальто его расстрелянного отца и хотел ему обо всем рассказать. Но Аркадий нервничал и все посматривал назад, на свою девушку, которая одиноко стояла на тротуаре. Я понял, что не стоит ничего рассказывать и портить ему хорошее настроение. Мы распрощались и разошлись в разные стороны. Так я никогда больше его и не встретил за всю свою жизнь. Но свисающую мне в глаза медную цепочку помню до сих пор.

…И хотя летом дни длинные, этот день за Кукиной горой подходил к концу. Полицаи нас торопили. Мужики с лопатами работали изо всех сил, но как-то у них постоянно не хватало земли, чтобы засыпать этот страшный котлован-могилу. Мы погрузили все кучки одежды в автомашины, полицаи махнули рукой шоферам, взревели моторы, и машины уехали на Касплю. «Век! По домам, пацаны! Да смотрите, не болтайте дома, что здесь видели, что здесь делали», – рявкнул один из полицаев и прогнал нас. Я помчался домой, не чуя под собой ног. Мама предложила мне поужинать, но я бухнулся на свою кровать и уснул, уставший от всего пережитого за этот ясный и теплый летний день 1942 года.

Проснувшись назавтра, я чувствовал себя так плохо, что мать стала меня лечить, приговаривая, что я заболел от всего пережитого вчера, что эти переживания не для моего возраста. Так прошло с неделю. Мы боялись всех, кто шел по тропинке от улицы к нашей хате.

Вскоре мать приняла решение отнести найденного ребенка в деревню Горбуны, в 5 километрах от Каспли. Там у нее жила старая добрая тетка – родня нашего отца. Мы, дети, всегда были рады ее приходу, немудреным гостинцам и звали бабой Марьей. Вдруг эта старушка сама, по каким-то своим делам, оказалась в

Каспле и, конечно, зашла к нам. Они долго совещались с матерью, потом баба Марья решила, что возьмет мальчика, спрячет под широкой кофтой и унесет от нас: «А то ты, Фруза, и сама погибнешь, и всех детей твоих немцы перестреляют, если какой-нибудь мерзавец донесет им!»

Мать накормила ребенка, дала с собой бутылочку с соской, долго привязывала мальчика к кофте, и бабушка Марья ушла. Позже мы узнали, что она успешно дошла до своего дома и ребенок жил у нее около месяца. Затем она переправила его своей родне в деревню Ходыки Касплянского района (это в самой глуши), где никогда не были немцы. О дальнейшей судьбе мальчика ничего не было известно. И лишь после войны мать прослышала, что он был передан еврейским семьям, проживающим в районе станции Рудня. Там до войны обитала большая колония евреев, если так ее можно назвать, и после войны она восстановилась. Кстати, в районе Рудни проживал и Герой

Советского Союза Егоров, водрузивший вместе с Кантария знамя Победы над Рейхстагом.

…Я сел и стал смотреть за реку на центр Каспли. Вдруг увидел, как от военной комендатуры отъехала автоколонна больших грузовых машин с брезентовым верхом. Вспомнив вчерашнее, я понял, что это отбывал из Каспли в Смоленск карательный отряд, расстрелявший на нашей Кукиной горе 157 касплян. Даже посчитал машины: их прошло 12 больших, а между ними – 2 большие легковые, видимо с офицерами карательного отряда. «Вот когда бы нашим партизанам устроить засаду на Пуще да уничтожить всех этих зверей-карателей в белых мундирах!» – подумал я.

Мать мне за обедом сказала: «Костя, ведь прямыми очевидцами этой небывалой трагедии – гибели стольких людей – волей случая оказались только мы с тобой. Только мы смогли увидеть весь путь несчастных от бараков больницы до Кукиной горы, а ты даже побывал на месте их смерти. Помни это и при случае поведай людям».

Мать моя умерла 48 лет тому назад и покоится на лесном кладбище в поселке Колодня под Смоленском. Значит, из двух свидетелей описанной здесь трагедии остался в живых один я. Мне тогда было 12 лет. Все, что произошло на Кукиной горе, мой ум, мои глаза запомнили и зафиксировали, как лента документального кино. Я полагаю, об этом расстреле должна знать вся современная Россия, весь наш народ.

Освобождение

Табор со скотом собирался немалый, а оставлять или убивать скот было жалко (лето, жара, все попортится). Решили отъехать из Каспли не к лесу, а к железной дороге. Там была небольшая деревушка Лубаны – вот к ней и наметили. Запрягли коня, навалили домашний скарб, привязали корову, бычка, около десятка овец, пятнадцать кур – табор получился приличный. Да еще людей восемь человек!

Потихоньку отъехали и целый день тащились шесть километров, пока добрались. «Ну что ж, размещайтесь за двором! – сказала родня. – Во дворе будет тесно». Там и разместились. Питались – лепешки, вода да хлеб. Прожили там порядочное время, наконец мать послала меня узнать, освобождена ли Каспля да цела ли хата.

Как на крыльях, летел я босиком домой. Первыми, кого я встретил, был взвод наших солдат, они шли пешком. Командир остановил меня, расспросил, где немцы, как пройти на Жарь (деревня у нас была такая, вся в торфяниках). Я показал, поговорили, и они пошли. Потом наши войска пошли гуще, но все больше пехота да обозы на уставших лошадях. Прибежав на Касплю, я был несказанно рад, что наша хата осталась цела, не сожгли огнеметами отступающие фашисты.

В тот же день побежал обратно. Все были очень рады, что цела хата, и даже стали в ночь собираться домой. Ехали, радовались освобождению – свои пришли, война гремела где-то под Витебском, от нас в 120 км.

> Пришедшие власти как-то негласно разделили население – был в оккупации или не был. Кто был – вдруг стал считаться второсортным. Позже появились анкеты с графой, был ли в оккупации.

Скоро обросли своими начальниками районные учреждения – и где только они раньше были?! Сразу начали организовывать колхоз, скот забирали из семей касплян. У нас сразу же взяли бычка, лошадь, несколько овец.

Оставили, как многодетной семье, только кур да корову. И что самое странное – сразу же стал ощущаться голод.

Зерно, какое было, быстро таяло под жерновами; картофель в жаркое лето особо не уродился; а мы, дети, вечерами сидели, чистили его и плакали, так как все руки были в кровавых цыпках.

Пришедшие власти как-то негласно разделили население – был в оккупации или не был. Кто был – вдруг стал считаться второсортным. Позже появились анкеты с графой, был ли в оккупации.

Сразу же организовали вербовочные пункты, и мужчин, всех

подчистую, забрали в армию. Коснулось это и отчима, больного заболеванием сосудов. Военные пришли за ним и сказали: «Хватит, Тарас, спать с бабой в то время, как мы кормим вшей в окопах!» Ничего не подействовало – ни предъявленные документы, ни доводы матери. Она собрала ему сумку, и отчима увели.

Всех касплян бросили на фронт под Витебском, где фашисты сильно укрепились. Там громыхало днем и ночью месяца два-три. С уходом отчима дела у нас пошли еще хуже. Жрать было нечего, все запасы как-то быстро подъели.

В осень 1943 года я во второй раз пошел в школу, но учиться долго не пришлось – надо было работать: дров на зиму не заготовили, сена – тоже. Каспля всегда, во все времена, «славилась» дефицитом сена и дров. Мы ходили по Каспле с мешком и собирали конский навоз. Мать делала из крапивы и лопуха кое-какое пойло корове. С топором за поясом я ходил в ближайшее болото и корчевал (рубил) кустарник. Работа эта была каторжная. Мать нигде не работала, мне было 13 лет.

Мы слышали, что в Ленинграде был страшный голод, что люди там ели собак, кошек, крыс и даже были случаи людоедства. У нас-то была еще разная трава и мелкая семенная картошка, из которой получался не хлеб, а грязно-черный комок, пересыпанный песком или землей, так как, хоть сто раз мой эту мелкоту в воде – все равно она будет в песке.

Открылась почта. Тетя Устья и сестра Таня жили в Киргизии, но решили из-за малярии вернуться на Смоленщину. Народа в хате стало больше. Старики Елисеевы, видя, что Тараса Сергеевича забрали в армию, ушли пешком в свою спаленную Чачу. Мать имела кое-какие тряпки и ходила пешком за 45 км, чтобы там обменять их на килограмм отрубей. Корова дни и ночи стояла в хлеве еле живая и ревела. Овец мать сама резала по одной и растягивала мясо на месяцы, но не было соли, спичек, керосина.

Корова дни и ночи стояла в хлеве еле живая и ревела.

Овец мать сама резала по одной и растягивала мясо на месяцы, но не было соли, спичек, керосина.

Потихоньку жизнь налаживалась. На кладбище какой-то высокий начальник похоронил то ли любовницу, то ли жену. Поставил двухметровый памятник из полированного черного гранита, с длинной надписью. Он и сейчас удивляет касплян. В клубе – бывшей амбулатории больницы – стали показывать кино.

Директором клуба была маленькая и злющая-презлющая

женщина, которая страшно боролась с нами, пацанами-безбилетниками. Обычно граждане покупали билеты, рассаживались по рядам и смотрели кино. У нас не было ни гроша, и мы, пацаны, набивались в клуб или через окна, или через крыльцо, когда контролеры уже уставали. Обычно мы садились перед самим экраном на грязный пол и во все глаза смотрели фильм.

Директору это было как ножом по горлу. Она смело вызывала касплянскую милицию и, показав на сидящую перед экраном шантрапу, приказывала очистить зал. Милиционеры – здоровенные ребята – брали нас, пацанов, за что попало и выбрасывали вон через крыльцо, высота которого была метра полтора. Но самое страшное, что начало крыльца на земле обрамляла бетонная плита размером метр на метр да толщиной не менее 20 см. Мы летели с крыльца как попало и куда попало. Только гибкий детский скелет мог выдерживать эти «полеты». Я часто попадал под эти «полеты», но однажды досталось так, что я запомнил на всю жизнь.

Как-то озверевший директор вызвала навести порядок в клубе офицера. Фамилия его у меня осталась в памяти навсегда – это был лейтенант милиции Чернышев. Придя в клуб, он изобрел более простой способ удаления из зала пацанов, чем предыдущие его коллеги. Он брал пацана за ногу и за руку и кованым сапогом бил в бок, а потом выбрасывал вон. Я ему тоже попался. Он взял меня за правую руку и левую ногу и изо всех сил (мужчины в 45 лет) ударил сапогом в правый бок.

Когда я скатился с камня, сам встать не смог. Ребятишки побежали к маме, крича: «Тетя Фруза, твоего Костика убил в кино милиционер!» Мать, в чем была, прибежала к крыльцу клуба и ужаснулась: изо рта у меня шла кровь, я не мог ни встать, ни идти. Она завыла во весь голос, стала звать на помощь. Двое парней подхватили меня под мышки и, благо дом был близко, принесли домой. Утром мать побежала в больницу, привела доктора Зуева Федора Тимофеевича, который осмотрел меня и предположил, что отбита правая почка: «В больницу, Фруза, в Смоленск его надо свезти! А на этого держиморду Чернышева пиши бумагу в милицию – может, чем помогут».

Мать погоревала, поплакала, поругала меня, но ни на второй, ни на третий день в больницу не повезла – не на чем и не на что. Так в 13 лет я оказался с отбитой почкой. Два месяца лежал в постели, харкал и мочился кровью да проклинал своего врага лейтенанта советской милиции Чернышева. Это было в 1943 году, в год освобождения Смоленщины от немецко-фашистского ига.

В полях остались сотни тысяч снарядов и мин. На них

взрывались десятки пацанов. По Каспле прокатились эти взрывы как какое-то поветрие. Буквально каждые две-три недели по два-три пацана взрывались, разряжая эти смертоносные штучки.

В полях остались сотни тысяч снарядов и мин. На них взрывались десятки пацанов. По Каспле прокатились эти взрывы как какое-то поветрие. Буквально каждые две-три недели по два-три пацана взрывались, разряжая эти смертоносные штучки.

Старший брат Виктор, 1926 г. р., служил в армии танкистом и проезжал на фронт через Смоленск. Мы не виделись лет 10. Он прислал письмо и позвал в город, чтобы встретиться. Мы втроем – я, мама и сестра Тоня – пошли в Смоленск пешком. Пришли и увидели весь город в руинах. С трудом нашли около вокзала место и улеглись отдохнуть после 45-километрового пути. И вдруг мать чисто случайно говорит: «Дети, смотрите-ка, вон идут солдатики точно в таких шапках, как сын на фото». Солдаты услышали и подошли к нам. Мы узнали друг друга – радости не было предела. Потом на попутной машине поехали в Касплю. Дома – встречи, бесконечные разговоры. Двое суток, на которые брат с товарищем были отпущены в увольнение из части, пролетели как один час.



Брат К. П. Исаченкова, Виктор Павлович Исаченков. Бывший механик-водитель танка Т-34

С тоской мы пошли провожать брата и его товарища на

станцию Лелеквинская. А часть их уже ушла в Витебск, и брат как бы оказался в просрочке. Отправив его, мы, понурые, вернулись в Касплю. Позже брат писал, что ему здорово влетело за просрочку двух дней (законы-то в армии были строгие). Его из механика-водителя танка в Польше разжаловали в рядовые автоматчики, в пехоту. Вот как дорого обошлась эта встреча! Потом он отлично воевал и войну закончил в Берлине. Только обидно было, что под конец войны был тяжело ранен в ногу.

В войну связь Каспли со Смоленском была только по железной дороге, до которой надо было пройти 19 км по лугам, а главное – лесом, где пошаливали бандиты. И один солдат, шедший этим путем, был убит. Он был сыном женщины, жившей против милиции. Его тело случайно нашли в лесу, и вся Каспля похоронила героя, шедшего домой в увольнение за хорошую службу и погибшего уже дома от рук бандитов. Горе матери было безмерным! Ведь второй, младший ее сын, который сидел со мной на одной парте и которого за большую голову звали Вовка Кумпол, погиб, разряжая крупнокалиберный снаряд.

> Хотелось бы вспомнить и самое позорное, что осталось от войны после освобождения, – это пахота земли женщинами. Лошадей в колхозе почти не было, а осенняя страда не ждет! Эта картина была ужаснее, чем репинская «Бурлаки на Волге». Крик, ругань, бесконечные остановки делали эту пахоту нечеловеческим трудом.

Хотелось бы вспомнить и самое позорное, что осталось от войны после освобождения, – это пахота земли женщинами. Лошадей в колхозе почти не было, а осенняя страда не ждет! Эта картина была ужаснее, чем репинская «Бурлаки на Волге». Крик, ругань, бесконечные остановки делали эту пахоту нечеловеческим трудом. Поэтому приходилось председателю колхоза снаряжать группы по 10–12 женщин для вспашки земли. Делалась специальная ременная или веревочная сбруя, в нее впрягались женщины, на плуг ставился очень высокого класса пахарь, так как чуть глубже плуг пустишь – пахота застревает, высоко поднимешь – что толку сорняки сшибать! Эта картина была ужаснее, чем репинская «Бурлаки на Волге». Крик, ругань, бесконечные остановки делали эту пахоту нечеловеческим трудом. Но это ведь было в годы войны, я сам это наблюдал с тоской.

В один из дней к нам в хату заявился бравый советский солдат-автоматчик, а с ним наш отчим Тарас Сергеевич – исхудавший, раненный в левое плечо, с рукой на перевязи. Автоматчик был строг и суров. Прямо с порога он заявил перепуганной матери, что привел дезертира. «Пускай посидит дома, никуда не ходит. А я пойду в органы выправлять его

документы».

Мы окружили отчима, а он рассказал свою горькую историю. Когда освободили Касплю, всех мужчин мобилизовали в армию, и его в том числе, несмотря на документы и состояние здоровья. Всех доставили в Витебск, обмундировали и дали оружие. Тарас Сергеевич из-за своего роста и силы попал в противотанковую роту. Ему дали большущее 4-метровое, не меньше, ружье и стали обучать стрельбе. Тарас Сергеевич, отличавшийся покладистым характером и прилежностью, сначала все приказы командира исполнял как надо. Но командир все равно был недоволен, ругал Тараса, кричал на него и звал симулянтом.

Провозившись с этим громадным ружьем с неделю, Тарас Сергеевич так и не смог его освоить и научиться стрелять в движущийся макет. Тарас Сергеевич терял терпение, но еще больше буйствовал, кричал, грозил «застрелю» его командир. Дело кончилось плачевно.

Однажды Тарас Сергеевич возился с ружьем, и, как всегда, все валилось из рук, у него начались сильные головные боли. Односельчане, видя это, посоветовали оставить Тараса в покое, дать ему простую винтовку да пару гранат – он тогда и пользу принесет, как все солдаты. Но капитан был настырный, сельчан не послушал и продолжал «учить» отчима стрелять. Тогда у Тараса лопнуло терпение, он схватил эту огромную металлическую «трубу» (ружье) и, как оглоблей, стал махать ею. Многие попали под его удар, и даже сам командир. Когда люди попадали, Тарас бросил эту «трубу» в палатку и побежал. Командир выхватил пистолет и стал стрелять. Одна пуля угодила отчиму в плечо, его связали, сделали перевязку в госпитале. И стали думать – сразу же расстрелять, как настаивал капитан, или отвезти домой и там (если не подтвердят, что он болен) расстрелять как изменника Родины.

Долго сопровождающий конвоир-автоматчик обивал пороги касплянских учреждений, милиции, райвоенкомата, больницы, райисполкома, все обошел, собрал пачку бумаг и к вечеру явился к нам домой. «Ну, Тарас Сергеевич, счастлив твой Бог дважды! Один раз, что тебя сразу не пристрелил командир. И второй – что тебя тут каждая собака знает. Вот, надавали мне оправдательных справок, что ты освобожден подчистую. Так что, Ефросинья Трофимовна, дай мне поужинать. Переночую у вас, а завтра подамся в часть. А ты, Тарас Сергеевич, сиди дома да своих детей расти, отвоевался уже!»

Так и было. Наутро солдат, забрав свой грозный автомат, ушел на станцию, а мы стали опять жить с отчимом.

Прилет дяди Гриши

Как только освободили Смоленщину от фашистов, нам пошли письма. Написал и брат моей матери – Григорий Трофимович Боровченков – военный летчик-истребитель, командир полка. Полк шел с Западным фронтом. Дядя часто летал над Смоленщиной, сопровождал наши бомбардировщики, летевшие на запад, да вел многочисленные бои с фашистскими «мессерами». Он часто сбивал фашистские самолеты, и фюзеляж «ястребка» и его грудь были украшены звездочками и орденами. Дядя Гриша был в своем деле асом. Был он очень энергичен, умен, небольшого роста, крепкого телосложения. В молодости он немного поработал шахтером-забойщиком, потом попал в армию, в летное училище и посвятил всю свою жизнь военной профессии.

Узнав из моего письма, что мы, его родня, пережили оккупацию и остались живы, он загорелся мечтой повидаться с нами. Полк его стоял под Смоленском – до Каспли рукой подать. Я нарисовал ему несколько планов Каспли, и он обещал прилететь. Так и вышло. В один из дней в нашем небе стал кружить У-2 – «кукурузник». Кружил-кружил и сел буквально в 50-ти метрах от нашей хаты. Дядя Гриша пришел к нам в хату вдвоем с ординарцем. Тот подмигнул мне и посадил меня в кабину – дескать, смотри, как все мелькает, только посторонних к себе не пускай. Весь день я просидел в кабине, и только к ночи ординарец пришел и сам забрался туда спать.

Всю ночь родители проговорили с дядей Гришей про войну, про оккупацию, про жизнь – про все, про все. Дядя рассказывал, как он сражался на Халкин-Голе, как воевал в Испании, как тяжело было воевать в первые месяцы ВОВ. Нам с сестренкой он привез в подарок старый синий летный комбинезон и сказал: «Тебе, Костя, верх – синий брезент, ну а девочке Тоне – внутреннюю меховую подкладку». Мы долго ломали голову, как из такого подарка извлечь пользу.

Забыл сказать, что, когда дядя только приземлился у нашей хаты, к нему подошло много людей, проверили документы. Все удивлялись, как он мог посадить самолет на такой маленький лужок, с четырех сторон обкопанный канавами при довоенной мелиорации.

Утром, попив крепкого чая, дядя Гриша попрощался со всеми нами, сел в У-2, сделал над Касплей два круга и улетел. Впоследствии он воевал до конца войны, был тяжело ранен под Старой Руссой и, как Алексей Маресьев, раненый прополз несколько километров, пока его не подобрали колхозники. Дядя всегда руководил большими воинскими соединениями, работал

на генеральских должностях, хотя имел звание полковника.

Его жена – Азалина Петровна – рассказала мне одну интересную историю, из-за которой вся жизнь Григория Трофимовича пошла кувырком. По характеру дядя был человек прямой, кристально честный, верный сын и слуга своей Родины. Его боевое мастерство поражало многих. Так, в одном воздушном бою под Рудней он вел бой с девятью фашистскими истребителями и даже сбил одного из них. Дядю трижды представляли к высокому званию Героя Советского Союза, но всякий раз документы возвращали.

А было это из-за его наивности. При поступлении в партию, когда он заполнял анкету, в графе «социальное положение» написал – «из кулаков». Хотя его отец – Боровченков Трофим Андреевич – был родовитый крестьянин. Эта непростительная оплошность не только не давала дяде возможности получить высокое звание Героя, но он не мог получить и чин генерала, а был этого достоин.

Храбро бил он американцев в Корее, во Вьетнаме. Последней его должностью перед уходом в отставку была должность коменданта Курильских островов. Когда теперь из уст наших чиновников, не нюхавших пороху, я слышу, что можно, дескать, передать Японии один, ну два или три Курильских острова, у меня перед глазами всегда встает гвардии полковник комендант Курильских островов. И с горечью думаю, что дядя, наверно, в гробу переворачивается от этих слов. По приказу самодура Хрущева дядя был демобилизован, поселился в Волгограде, где его святыней стал Мамаев курган. Дожив до 82 лет, он тихо скончался от сердечного приступа во время зимней рыбалки на Волге. В память об этом легендарном сыне России остался скромный памятник на городском волгоградском кладбище среди колышущегося на степном ветру ковыля.

Еще одно яркое доказательство того, каким горячим патриотом был дядя Гриша. Шел голодный послевоенный 1946 год. Я учился в школе ФЗО № 5 в Ленинграде. В стране была жесткая карточная система. Нам карточки не давали – у нас было тогда, как говорили, трехразовое питание. Какое это было питание – страшно вспомнить. Мы, 16-летние парнишки, ходили всегда голодные. Время было очень тяжелое. Я жил один, и мне никто из родни ничем не помогал. От отчаяния я взял и написал дяде Грише откровенное, но пессимистичное письмо про мое житье-бытье. В ответ получил заклинание-наставление, как жить в героическом Ленинграде. «Костя, – писал дядя Гриша, – ты живешь в городе, где каждый камень – история, где каждый кусок земли полит кровью защитников города в годы блокады. Как тебе

не стыдно так ныть и срываться?! Ты должен гордиться городом, судьбой, обстоятельствами, что ты попал в Ленинград, а не ныть. Должен все силы, знания, которые получаешь в ФЗО, отдавать на восстановление святыни нашей Родины – Ленинграда». Вот таким – не менее и не более – был его ответ мне.

Ранение

После освобождения Каспли от оккупации старики Елисеевы ушли жить в свою родную деревню Чачу. Как известно, она была окружена немцами и уничтожена вместе с ее жителями. Часть из них, правда, каратели взяли в плен, привезли в Касплю и держали в тюрьме, а потом расстреляли.

Дед, уже очень старый, был болен и лежал на полатях, когда я в сумерках пришел в Желуди. Бабы Тоти и их дочери Марьюшки дома не было.

– А как, дедушка, развести в хате огонь?

– Возьми, внучек, патрон от винтовки (в красном углу их навалена целая куча), воткни пулю в пол, в щель между двух половиц, сверни ее, оставь в гильзе только порох. Поставь гильзу на загнетку, выбери в духовке маленький уголек и брось в патрон. Когда порох загорится от уголька, сунь в этот фонтанчик лучинку. Она загорится, и ты зажигай фитиль гильзы большого снаряда, который стоит на столе. Вот и будет в хате свет. Спичек-то у нас нет.

Дед, давая свои более чем странные советы, кашлял, кряхтел, просил подать воды и фактически отрывал меня от разведения огня по своему методу. Вечерело, в хате стало совсем темно, маленькие окна совсем не давали света.

Несколько раз у меня загорался фонтанчиком порох в гильзах, вылетая из патрона на высоту примерно 20–25 сантиметров, но я не успевал зажечь лучину. Я повторял операцию, нередко порох просыпался, или его было в патроне мало.

Наконец мне надоело возиться, и я выбрал крупный, видимо бронебойный, патрон с большей гильзой, чем от винтовки. Выковырял пулю, поставил гильзу патрона на загнетку, нашел небольшой уголек и опустил его в патрон, в порох. Сначала никакой реакции не последовало, и я подумал, что и этот патрон сгорит впустую. Тогда я нагнулся, сунул свою голову под загнетку, вернее, туда, где подают чугуны, – в топку. Увидев, что в патроне ничего не происходит, я дунул в него легонько. Порох зашипел, вспыхнул, и

> Увидев, что в патроне ничего не происходит, я дунул в него легонько. Порох зашипел, вспыхнул, и искры большим столбом стали вылетать из патрона. Все пришлось мне прямо в лицо.

искры большим столбом стали вылетать из патрона. Все пришлось мне прямо в лицо. От боли я дернул головой и больно ударился о какой-то выступающий кирпич. Из головы на загнетку начала капать кровь, а все мое лицо было обожжено.

Дед Сергей испугался, вскочил с полатей, вытащил меня из-под загнетки, положил на лавку и стал колдовать надо мной. Он побежал бегом в чулан, принес горшок с гусиным салом, оторвал от полотенца кусок, обильно наложил на него сало и всю эту массу приладил мне на лицо. Завязал тряпкой рану на голове, пытаясь остановить кровь. Я лежал на лавке и корчился от боли. Дед, как будто сразу поправившись, носился надо мной, пытаясь облегчить страдания.

Огня в хате так и не было, и мы сидели в темноте. Тогда дед взял несколько лучинок, сунул их в кучу углей в закутке загнетки и стал раздувать огонь. Наконец это ему удалось, и он зажег большой фитиль от снаряда.

От боли я выл волком. Дед не знал, чем еще мне можно помочь. Тут послышались в сенях шаги, и в хату пришли от соседей баба Тотя с дочерью Марьюшкой. Сначала они подумали, что я уже скончался, и заголосили в два голоса.

– Цыц, бабы! Да жив он, жив! Маленько обжег лицо да разбил голову.

Женщины оглядели меня, стали поправлять повязки, ругать деда – как он мог такое дело доверить мне, ничего не понимающему в таком деле. Три дня, стоная и охая, пролежал я на лавке у окна. Приходили соседки, давали каждая свой совет, приносили разные народные снадобья от ожогов, от рубцов, от волдырей.

Ожог лица был сильный – от самых волос на лбу до кончика носа вся кожа обгорела. «Счастлив твой Бог, – говорили нараспев бабы, – Костючек, что ты успел закрыть глаза, а то мог бы и слепым остаться! Вон у Митьки из Апольни такой же случай произошел. До сих пор сидит с повязкой на глазах и ничего не видит: а уж и в Смоленск, и в Касплю к докторам водили». Отлежавшись и немного окрепнув, я поплелся в Касплю.

Целый день шел домой и все боялся, какая взбучка будет мне от матери. Так оно и оказалось. Увидев меня с тряпкой с двумя дырами для глаз на лице, да еще с перевязанной грязной тряпкой головой, мать всплеснула руками, запричитала, завыла как на

похоронах. Я разозлился – ведь у меня болело все лицо – и стал огрызаться. Это ее немного остудило, она схватила меня за руку и потащила на прием к фельдшеру Зуеву, в больницу. Тот, думая, что я что-то разряжал (мину или снаряд), тоже начал меня костить, но, услышав, что произошло, стал развязывать тряпки и все ломал голову, чем бы смазать бинт, чтобы он не прилипал и потом было легче его снимать.

И ожог лица, и рваная рана от кирпича на голове были серьезными. Зуев даже стал писать мне направление в смоленскую больницу. Но мать, зная фельдшера сто лет, упросила полечить меня здесь, в Каспле. «Как-нибудь обойдется, главное – не затронуты глаза». – «Как сказать, Фруза! Ну-ка, Костик, погляди на этот круг. Какого он цвета?» Я, как ни старался, не отгадал. Потом он много еще чего просил меня определить – какого цвета треугольники, кружки, полоски, но я сбивался.

– Видишь, Фруза. Цвета он уже не различает, значит – это дальтонизм. Машину не будет водить, да и в армии ограничения будут.

К сожалению, предсказания эти в дальнейшем оправдались. Уже в Ленинграде, когда я стал проходить шоферскую комиссию, меня по цвету забраковали. А я всегда мечтал быть шофером и водить автомашину. Вот какой злополучный случай в годы войны в лесной деревеньке Желуди навечно похоронил мою мечту.

Когда меня с повязкой на глазах увидела моя учительница Матрена Ефимовна, она ужаснулась и сказала с упреком: «Ну, Костик, не ожидала, что ты пойдешь по стопам многих твоих погибших товарищей, разряжавших снаряды». Я ей все рассказал, и она несколько смягчилась, но все равно не одобрила способ, которым я пытался зажечь огонь в хате.

Работа в колхозе

«Все, нечего больше баклуши бить! Пора и деньги зарабатывать на кусок хлеба. Иди-ка ты, Костя, работать в колхоз. Слава богу, уже 13 лет исполнилось», – сказала как-то мать, сидя вечером на кухне. «Ну что, ж. Если надо в колхоз – так в колхоз! – ответил я. – Но ребята – кто уже работает – говорят, что им ничего не платят, только палочки пишут в колхозную книжку».

Назавтра мать повела меня в правление колхоза: «Примите на работу мальчонку, ему уже 13 лет». – «Маловат, да и силенок, видать, нет. Ну да ладно, выпишем ему колхозную книжку. За полный световой день работы ставим два трудодня, если меньше

– полтора, еще меньше – один трудодень. Пускай пацан пока поработает возчиком на лошади. Дадим ему лошадь, дроги, сбрую – вот и будет возить на поля навоз, а с полей солому, сено. Работа всегда найдется. Но смотри, Костик, за коня, за сбрую головой отвечаешь. Да и спать теперь будешь поменьше. Ну выходи завтра к 7 часам утра. Определим тебя в звено Надежды Пузачевой. Она около вас недалеко живет, вот и будить будет».

Рано утром я кое-как позавтракал, в мешочек мать положила краюху хлеба да пару вареных яиц: «Ну, сынок, с Богом! Трудись честно, добросовестно, и все будет хорошо».

Я пришел на грязный колхозный двор. Мне дали рыжую злобную низкорослую лошадь, дроги, сбрую, показали, как запрягать, да я это все уже знал. И стал я советским колхозником. На скотном дворе мы грузили мокрый вонючий коровяк, везли в поле, которое надо было весной пахать, сваливали навоз небольшими кучками и возвращались обратно на скотный двор.

Работали без перерыва часов до 2–3 дня. Потом отдыхали, жевали свои обеды, дремали, и через пару часов все повторялось. Работали мы по несколько подвод вместе, 3–4 упряжки. Лошади были худые, малосильные, сбруя веревочная часто рвалась. Да и дроги были – 4 колеса, 4 доски на дне, две – боковые. Как ни старались брать с собой соломы под задницу, все равно к концу дня все вымазывались в навозе. Если шел дождь, заканчивали работу раньше. Обычно работали по 12–14 часов, а при солнце и дольше. После работы распрягали коней и гнали их в общеколхозное стадо, которое пас всю ночь пастух.

На руки в правлении колхоза нам выдали небольшие беленькие «Книжки колхозника». Там было несколько граф. В конце дня бригадир ставила палочки в зависимости от ее настроения и от того, сколько мы работали.

На руки в правлении колхоза нам выдали небольшие беленькие «Книжки колхозника».

Там было несколько граф.

В конце дня бригадир ставила палочки в зависимости от ее настроения и от того, сколько мы работали.

Осенью и весной работать было тяжело: поля, дороги раскисали от воды, колеса вязли в грязи. Совсем другое дело летом – солнце, тепло, сухо! Возить приходилось сено, солому, снопы, мешки с зерном. Ездить я любил, любил лошадей, умел с ними обращаться, и они тоже понимали меня. В колхозе работали почти одни женщины и мы, пацаны. Все взрослые мужчины были в армии.

Осень 1943 года и наступившая зима 1944 года были самыми тяжелыми временами работы в колхозе. Питания никакого, скот отощавший, весь инвентарь пришел в упадок. Зимы были суровые.

Дома не было хлеба, не было дров. Тарас Сергеевич умудрялся запрягать корову Лыску и на ней ездить в лес за дровами. Но разве много можно привезти на корове дров? Беда кружилась и сидела в холодной хате. Мать при четверых детях не могла нигде устроиться на работу. Отчим Тарас Сергеевич, по своему обыкновению, устроился работать конюхом в райбольницу. Но коней было всего три, да и они все были исхудалые. Разрушенные здания и бараки больницы не на что было восстанавливать. Но самое главное – из эвакуации не вернулся хозяйственный главврач больницы Герасимов Петр Тарасович.

Мать, понимая это, ходила мрачнее тучи. Отчим стал как-то косо на меня поглядывать – дескать, не много ли я ем. Все хозяйство и скот приходили в упадок: медленно, но верно, съедались куры, осталось всего две овцы. В семье из шести человек наблюдалась нехватка всего: одежды и – главное – питания. Семенная картошка, на которую отчим молился Богу, таяла на глазах. Все силы были брошены на содержание коровы, которая фактически была единственной кормилицей всей нашей семьи. В семье начались болезни. Два младших ребенка совсем дышали на ладан: Валя – 5 лет и Коля – 3 года.

Кроме того, старики Елисеевы задумали вновь отстраиваться в Чаче и строили хату, отчим помогал им. Они говорили ему на ушко, чтобы он бросал «весь этот касплянский гарем» да перебирался в Чачу: «Найдем тебе молодуху и заживешь у себя на родине!» Но Тарас Сергеевич был большой души человек, очень любил своих сынов и в Чачу не переезжал. Хотя через несколько лет и вышло так, как говорили ему старики.

Проработав более двух лет в колхозе, я не принес семье никакого достатка. В колхозе тоже на трудодни ничего не давали – ни по окончании года, ни в начале.

Отъезд в Ленинград

Придя домой, я рассказал маме, как солдаты забрали весь выращенный нами за 1944–1945 годы хлеб. Она была поражена, плакала вместе со мной и говорила: «А я так рассчитывала, что на твои заработанные трудодни нам дадут немножко хлеба! Это было бы большой поддержкой всей нашей семье. А может, что-

нибудь придумаем?»

Вдруг по Каспле прошел слух, что из Ленинграда приехал вербовщик. Он вербует молодежь на восстановление Ленинграда после блокады. Я очень любил Касплю, речку, озеро, любил ее перелески и горушки, любил ее луга, и особенно – весенние разливы. Я жил здесь с четырех до пятнадцати лет, здесь прошло мое сознательное детство, и я, конечно, никуда и не думал уезжать. Мне казалось, что красивее Каспли нет ничего в мире, ничего милее плесов, озера, прозрачной воды реки, тропинок, полянок! Все это было так дорого моему сердцу!

Наутро мать, взяв меня за руку, повела к вербовщику. Он обосновался в одном из кабинетов райисполкома. Мать попросила взять меня и завербовать в Ленинград. Зосим Маркович сказал: «Маловат он, Ефросинья, да истощен дюже». Мать – в слезы: «Что ж мне делать?! У меня их четверо, да и пятый намечается». – «Ну тут уж я ничем помочь не могу. Вот если ты в милиции выправишь ему паспорт, тогда приводи, возьму его в металлисты». Мы не знали, что такое «металлисты». Вербовщик пояснил: год-два подучат, а потом будем работать на одном из заводов города, жить в общежитии. Каждому питание, работа, шкафчик, фартучек – красота, чистота! Мы ушли. Я – веселый, что не взяли в «металлисты», мать – хмурая и недовольная.

Наутро вижу: мать взяла решето, положила туда полтора десятка яиц, прикрыла платком и пошла в милицию. Что и как она там говорила, доказывала – я не знаю, но через некоторое время вернулась повеселевшая, махая пустым решетом, а платочек был уже повязан у нее на голове: «Ну, Костик, говори спасибо! Есть еще люди добрые на свете! Выправила я тебе паспорт, правда не на отцовскую, как в метрике, а на мою девичью фамилию – Бо-ровченков Константин Павлович. Да заодно и год тебе пришлось прибавить – теперь ты не 1930 года рождения, а 1929-го. И тебе не 15 лет, а уже все 16. Вот так!» Я так и рот разинул.

Пошли к вербовщику Зосиму Марковичу, мать подала ему новый советский паспорт. Он долго его читал, смотрел, вертел, перелистывал странички, смотрел на свет. И когда его все устроило, сказал мне: «Костя! Героическая у тебя мать! Завтра отъезд на станцию. Приходите с вещами к двенадцати дня». И мы ушли домой: мать – радостная, а я грустный – не хотелось мне покидать любимые, привычные касплянские места.

Назавтра с утра мне собрали заплечную сумку на лямках. Положили туда трусы да майку, рваного нижнего белья (был уже конец октября), кое-что из еды – хлеб, пару отварных яиц, пару

луковиц, несколько отварных картошин. То да се – и сумка была готова. «Гляди, сынок, всегда держи там, в городе, сумку перед собой, а не сзади. Так надежнее. Иначе городская шпана – чирк! – и все вывалится». Когда все было готово – меня одели и повесили сумку, – пошли к райисполкому. Предварительно я со слезами на глазах простился со всеми.

> Да заодно и год тебе пришлось прибавить – теперь ты не 1930 года рождения, а 1929-го. И тебе не 15 лет, а уже все 16. Вот так!

И шли мы более чем странно. Я не хотел идти, и мать давала мне подзатыльники, чтобы поторапливался. А сестра Тоня толкала в спину, приговаривая: «Иди-иди, Костюк! Может, там и человека из тебя сделают!» Около райисполкома уже было 18 таких, как я, пацанов и 24 девушки. Их Зосим Маркович брал для подготовки мастеров по осмотру и ремонту газовых плит. Газ тогда только входил в быт. Мы долго сидели у райисполкома. Наш руководитель специально не стал брать автомашины, хотя ему и предлагали. Он сказал, что это дорого, подъедем, мол, и на попутках.



К. П. Исаченков

И что бы вы думали? Через Касплю на станцию железной дороги Лелеквинскую шла воинская автоколонна– машин 10–12. Наш руководитель быстро сговорился, нас досадили на автомашины между какого-то грязного оборудования, а несколько человек попали в закрытую автомастерскую, и мы отправились. Ехать надо было недалеко, 18 километров, – полтора-два часа.

Прибыли на станцию. Беда была одна – когда открыли дверь крытой автомастерской, ребята оттуда стали вываливаться на траву и блевать. Оказалось, что эта автомашина была как душегубка, вся зашита, и окна закрыты. Как ребята ни кричали в дороге, что им плохо, никто их не слышал. Но и это обошлось.

Руководитель наш, экономя на всем, стал ловить товарняк, чтобы ехать дальше. А путь наш к Ленинграду лежал через Рудню, Витебск, Новосоколь-ники. Вскоре подошел эшелон с углем. Руководитель договорился с машинистом, и нас посадили на платформы, на груды угля. Погода была хорошая. Мы ехали и спали. Но кто-то, «проявив инициативу», стал бросать кусками угля в людей, идущих вдоль железнодорожного полотна по тропинке. Несколько человек были ранены. Машинист, матюгаясь, остановил состав где-то в поле, и с помощником стали сбрасывать нас с платформы. Прибежал наш руководитель. Они долго и зло ругались, но потом все утряслось.

Так 30 октября 1945 года я покинул свою Касплю навсегда. И вот уже 65 лет, всю сознательную жизнь, живу в великом городе нашей страны Ленинграде – ныне Санкт-Петербурге.

Послесловие

Оккупацию немецко-фашистских захватчиков мои земляки-каспляне переживали очень тяжело, как и весь наш народ. Порядок, установленный оккупационными властями, ни во что не ставил жизнь гражданского населения, каждый селянин мог безо всякой вины подвергнуться наказаниям: пыткам в жандармерии, мог быть посажен в тюрьму, а мог быть просто расстрелян. Люди боялись своих и чужих, ибо не обходилось без предательства и доносов. Редко проходила неделя-другая, чтобы немцы не вели на смерть за Кукину Гору безвинных людей. Сколько полегло их в период оккупации: гражданского населения, партизан, военнопленных, мужчин и женщин, – не знает никто.



Обелиск мирным жителям, расстрелянным карателями

Поэтому, когда Касплю освободила Советская армия, каспляне задумались над тем, чтобы поставить памятник в том месте, где лежали сотни граждан только лишь за то, что жили в оккупации.

Нужно отдать должное моим землякам-касплянам, что они совершили гражданский подвиг, поставив на громадной братской могиле-кургане скромный памятник-стелу, что они постарались не потерять ни одного имени погибшего. Ходили по домам, опрашивали, собирали сведения и заносили в списки.

В настоящее время за Кукиной Горой высится стела, на ней нанесены все фамилии лежащих здесь безвинно погибших мужчин, женщин, девчат, парней, детей.

Вечная память им от нас!

Я не могу пофамильно назвать всех, кто принимал участие в создании памятника. Хотелось бы отметить главного инициатора, зачинателя и исполнителя всех дел по стеле – женщину неукротимого характера – Барсукову Н. А.

Однажды, будучи в селе Каспля, я ей подробно рассказывал о том, что я как свидетель знал о трагедии на Кукиной Горе. И все, живые и мертвые, никогда не забудут ее дела по сооружению памятника-стелы.

Мы собирали урожай, чтобы ни крохи не досталось врагу
Остропицкая (Тищенко) София Григорьевна (1929–2011)

Родилась 30 января 1929 года в селе Шамрайка Запорожской области. В 1941 году мне исполнилось 12 лет. В июне 1941 года закончила с отличием начальную школу (четыре класса) в своем родном селе Шамрайка: учитель на аттестате написал крупными буквами только одно слово: «ВІДМІННО» [11]. И сразу отнесла аттестат в школу-семилетку в Романках, находвшуюся в девяти километрах. Директор школы, посмотрев на аттестат, сказал: «Молодец! Приходи на занятия 1 сентября». Но в школу в том году пойти уже не пришлось, так как 22 июня 1941 года грянула война…

Папа ушел на фронт. Старший брат, 17-летний Николай, был отправлен в качестве погонщика скота гнать колхозный скот вглубь страны – на Кубань. Бабушке (по маме), как матери офицера, райвоенкоматом было предложено эвакуироваться вглубь страны, но она отказалась. Средний брат, 15-летний Иван, остался за старшего в колхозе.

Добровольцем пошла работать: собирать урожай (чтобы ни крохи не досталось врагу!), строить дороги для Красной армии. Трудилась от зари до зари, в нечеловеческих условиях, не ожидая никакого вознаграждения, на голом энтузиазме, исключительно из патриотических побуждений – все для борьбы с врагом!

Писала при свете лучины письма на фронт родным; каждое письмо начиналось патриотичным приветствием: «Привет доблестным бойцам Красной армии – защитникам Отечества!» Читала старшим неграмотным и полуграмотным родственникам полученные письма с фронта.



Софья с мамой Евдокией Яковлевной и младшим братом Михаилом

Вести от родных с фронта приходили разные. Папа был контужен, получил ранение и после госпиталя попал в нестроевую часть. Погибли на фронте два дяди: папин брат – дядя Семен, а также муж маминой сестры – тети Марии. Двоюродный брат Петя после окончания авиационного училища воевал в звании младшего лейтенанта летчиком бомбардировочного авиационного полка, погиб на фронте при катастрофе самолета в боях в Румынии в 1944 году. Дядя Антон как секретарь партийной организации был оставлен в тылу врага и руководил партизанским отрядом; был расстрелян фашистами в Гуляй-Поле в 1942 году.

Мамин брат дядя Яша – как кадровый офицер – после артучилища в 1941 году отбыл на фронт в звании старшего лейтенанта; воевал в районе Смоленска; в начале войны со своим полком попал в окружение, но удалось вырваться в полном составе; дважды был ранен, контужен; награжден пятью орденами.

В сентябре 1941 года брат Иван обнаружил возле села фашистских диверсантов и помог пограничникам задержать их; такой поступок фашисты ему бы не простили, потому с приближением линии фронта оставаться в селе ему стало небезопасно: было решено, что ему лучше покинуть родное село и присоединиться к группе погонщиков скота, с которой уже ушел старший брат Николай. Мама собрала ему в дорогу нехитрый узел и сказала в напутствие: «С Богом. Иди в ту сторону, где восходит солнце».

Дома остались мама и младший брат Миша, которому было два года. Фронт приближался, постоянно слышался гул канонады, участились бомбежки; чтоб пережидать бомбежки, вместе с соседями вырыли в огороде блиндаж-землянку, куда потом прятались в тревожные дни.



Софья после войны

Немцы вошли в село осенью 1941 года. Людей (в основном – стариков, женщин и детей) не тронули. Забрали отцовский велосипед и (самое страшное) корову: а как же двухлетнему малышу быть без молока? Семье пришлось переждать несколько дней преимущественно в землянке: хату заняли немцы. Запомнилось, как один немец жарил блины на кухне, показал им фотографии своих детей и, уходя, оставил несколько блинов,

сказав: «Essen» [12]. Но прикоснуться к блинам никто не рискнул. Через несколько дней немцы, назначив старостой кого-то из местных, двинулись дальше на восток. Больше их здесь не видели. Следом пришли итальянские войска (у каждого итальянца было перо на головном уборе), перебили всех колхозных курей (вся ферма была покрыта перьями) и вскоре также двинулись дальше.

Два года оккупации ничем не запомнились, в школе занятий не было.

Через два года, осенью 1943 года, вновь стал слышен гул канонады: фронт приближался – наши войска гнали фашистов на запад. Снова пришлось прятаться в землянке во время бомбежек. Немцы быстро прошли через село, в спешке отступая на запад – вымотанные и злые. Когда в небе пролетал самолет, младший четырехлетний брат Миша кричал: «Наш! Наш!» – а взрослые встревоженно шикали на него, чтоб молчал и не накликал беды.

Когда в небе пролетал самолет, младший четырехлетний брат Миша кричал: «Наш! Наш!», а взрослые встревоженно шикали на него, чтоб молчал и не накликал беды.

После освобождения я возобновила учебу в школе (после двухлетнего перерыва); одновременно работала в колхозе и добровольцем строила дороги для содействия наступлению Красной армии —

«Все для фронта, все для победы!» (Через 50 лет, уже в 1990-х годах, как признание за этот самоотверженный труд, получила статус ветерана войны – участника трудового фронта).



С мужем и дочкой

По-прежнему писала письма на фронт родным и читала всем вслух ответы: мамин брат – дядя Яша – дважды ранен, контужен, но жив, сражался на фронте в звании подполковника, 5 орденов. Бабушка по маме, услышав это, тихо сказала «Слава Богу, мой сын жив»; она умерла вскоре от истощения в 1944 году; возможно, этого не случилось бы, если бы она согласилась эвакуироваться в 1941 году вглубь страны. Старший брат Николай после военного училища воевал на фронте, получил тяжелое ранение под Моздоком; после выписки из госпиталя был комиссован и служил в нестроевой части в Иране. Средний брат Иван с 1943 года служил в запасном полку, а с 1944 года был откомандирован на учебу в Бакинское пехотное училище.

Папа после войны был уволен в запас и вернулся домой. Средний брат Иван по окончании военного училища в 1945 году ненадолго приехал домой в отпуск перед отбытием в военную часть, где он стал служить в должности командира взвода. Старший брат Николай демобилизовался из армии после войны и ненадолго приехал в родное село. С радостью встретили известие о Победе и окончании войны!

После окончания школы-семилетки сначала пошла учиться в среднюю школу, но из-за страшного неурожая и голода в 1946 году пришлось оставить школу и перевестись в техникум. Получила среднее специальное образование и работала по

специальности. Вышла замуж. С семьей поехали на строительство Каховской ГЭС и впоследствии остались жить там же в городе Новая Каховка Херсонской области, работала до пенсии химиком-лаборантом химанализа. Стала мамой, бабушкой и прабабушкой.

Больше отца никто не видел
Гринь (Кравченко) Нина Васильевна (1930–1992)

Родилась в 1930 году в селе Наталовка Чаплинского района Херсонской области.

Когда началась война в 1941 году, исполнилось 11 лет; была старшей из четырех дочерей. Отец – Кравченко Василий Филиппович – был призван в Красную армию и ушел на фронт. В 1941 году при отступлении частей Красной армии его воинская часть проходила рядом с родной Наталовкой; он заглянул домой, сказал, что они направляются к Геническу и Арабатской Стрелке, – и отбыл далее вместе с частью. Больше его никто не видел.

Отец заглянул домой, сказал, что они направляются к Геническу и Арабатской Стрелке, – и отбыл далее вместе с частью. Больше его никто не видел.

Мама Евфросинья Ивановна одна растила детей, работала в колхозе; тогда же и произошел с мамой несчастный случай: конь ударил копытом и повредил позвоночник – с тех пор она на всю жизнь осталась инвалидом: спина стала горбатой.

Осенью 1941 года в село вошли румынские войска. Осталось воспоминание, как румынские солдаты, видя как тяжело женщине-инвалиду с четырьмя маленькими дочерьми, подкармливали как могли, давали хлеб. Через два года оккупации село было освобождено Советской армией осенью 1943 года.

Отец с войны не вернулся – числится пропавшим без вести. Мама наводила справки по всевозможным инстанциям: в конце концов был получен ответ – сухая строчка выписки из военного архива: «Василий Филиппович Кравченко, 1908 года рождения, с. Новонатальевка Чаплинского района, Херсонская обл. Дата и место призыва: 22.07.1941, Чаплинский РВК, Украинская ССР, Херсонская обл., Чаплинский р-н. Партийность: беспартийный. Воинское звание: красноармеец; должность и специальность: пехотинец, стрелок. Когда и по какой причине выбыл: письменная связь прекращена с июля 1941 г. Считать пропавшим без вести. Дата выбытия: май 1944 г.».

После войны я закончила школу, вышла замуж, вырастила троих детей, всю жизнь до пенсии проработала в родном колхозе.

За каждое разоренное воронье гнездо полагалось вознаграждение
Гринь Павел Григорьевич (1931–1995)

Родился в 1931 году в селе Наталовка Чаплинского района Херсонской области.

Когда началась война, мне исполнилось 10 лет. Отец был призван в Красную армию, ушел на фронт и воевал на Севере. Осенью 1941 года в село вошли румынские войска. Через два года оккупации село было освобождено Советской армией осенью 1943 года. Помнится, как после освобождения в 1943–1945 годах проводилась кампания против ворон, уничтожавших посевы: за каждое воронье яйцо было объявлено хоть и копеечное, но все же денежное вознаграждение; вместе с друзьями ходили по лесопосадкам в сторону Аскания-Нова и разоряли вороньи гнезда: и посевам защита, и помощь семье: мама в одиночку растила детей в это трудное время, пока отец воевал на фронте. Отец получил в боях ранение, но вернулся с войны живой.

После войны закончил школу, выучился на механизатора, женился, вырастил троих детей, всю жизнь до пенсии проработал механизатором в родном колхозе.

Жалеть нас было некому и некогда
Лаухина Александра Дмитриевна, 1930 г. р

В годы войны жила в селе Становое Липецкой области. Сейчас – в городе Обоянь Курской области.

Когда ворвались фашисты в наше село, мне накануне исполнилось только одиннадцать лет. Несмотря ни на что, о детстве я вспоминаю с большой теплотой и любовью. Спросишь почему? Там, в далеком детстве, была мама, ее неисчерпаемая ласка и поддержка. А когда отца взяли на фронт, я, одиннадцатилетний ребенок, стала ее помощницей и заменила отца шестерым моим младшим братьям. Странно, но я любила их, своих маленьких братьев, как собственных детей. Вся забота о них легла на мои плечи, совсем еще детские. Помогала матери по хозяйству и успевала учиться в школе.

…В годы войны армия детей сражалась в полях за колхозный урожай. В детстве я прошла всю сельхозшколу: сеялки, веялки, копнилки, скирдование, молотилки – все знакомо не понаслышке; бывало, собираешь каждую травинку, чтобы к концу работы наполнить сорняками мешок для сушки на корм скоту. Огорчалась по-детски, когда грядка овощная попадалась не сорная, и мешок был недостаточно тяжелым. Привычка работать и какая-то особая ответственность за все была у каждого ребенка…

Кажется, простое слово «молотилка»? Но, увы – это вам не комбайн, где при скашивании сыплется готовое зерно. Молотилка – это земной ад… Устанавливали ее возле огромного, метров 40–50 длиной, высокого скирда пшеницы. В рычащий, пылящий, бездонный барабан молотилки люди от скирда подносили снопы, которые пережевывались с молниеносной быстротой. Зерно отделялось, а пустую солому надо было успевать откатывать в этом страшном реве и невообразимой колючей пылюке. Почему колючей? Потому что, кроме длинной, красивой, блестящей соломы, из барабана сыпалась полова, или, как называли раньше, «хаботья», она состояла из раздробленных, выпотрошенных колосьев с острыми устюками. Эта масса пылила, будто злилась за отнятые у нее зернышки ржи или пшеницы. Через три – пять часов рядом вставал новый скирд, только уже не такой строгий и аккуратный, как не молотый. Издалека сразу можно было различить по форме: молотый или нет. С молотилки мы возвращались усталые, измученные, черные от пыли; молотили в

две смены, если с утра, то успевали умыться в пруду. Домой приходили как ни в чем не бывало, все равно жалеть нас было некому да и некогда.

> Хорошо было, когда в доме было что-нибудь поесть, если нет, то питались «подножным» кормом: в лесах было много дикого лука, чеснока, сергибуса, заячьей капусты, аниса, щавеля; ели корни лопухов, пышечки подорожника, баранчики, отдающие натуральной валерианой.

Хорошо, когда в доме было что-нибудь поесть, если нет, то питались «подножным» кормом: в лесах было много дикого лука, чеснока, сергибуса, заячьей капусты, аниса, щавеля; ели корни лопухов, пышечки подорожника, баранчики, отдающие натуральной валерианой, и много другого. Осенью кормились брюквой, морковью, огурцами, овощами, фруктами и др. Трудно было, но мы выжили без отца, пропавшего без вести в первые же месяцы войны, – мама и мы семь ее детей.

Подростки помогали взрослым. В то время засевали поля разным зерном вручную. В плетеную меру насыпались семена и при помощи ремня надевались на шею каждому сеяльщику. Вооруженные семенами, становились рядком, в одну шеренгу, на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу. Так и продвигались с одного конца поля на другой, разбрасывая зерно обеими руками в ту и другую сторону. Сеяльщики строго следили за тем, чтобы между рядами не было ни накладок, ни пропущенных мест. Это была серьёзная и трудная работа. С нетерпением ждали всходы. Весь народ любовался тогда молодыми зеленями, радовались сеяльщики ровным зелёным рядкам. Потом зеленя росли, колосились, а как начинали вызревать, все готовились к покосу хлебов. Тогда всё делали женщины, дети, так как мужчин «поглотила» война. На косы прикрепляли особое приспособление в виде широкой снасти, с помощью которой скошенные стебли падали в одну сторону колосками. От этого зависела вся дальнейшая уборка хлеба. Следующий этап – вязание снопов. Вязальщицы, каждая на своём рядке, берут небольшой пучок скошенного хлеба, перехватывают его приготовленным перевяслицем из стеблей и ставят колосками вверх, нагибая «головками» друг к другу. Будто дюжина туго перевязанных человечков о чем-то сговариваются. Эти фигурки из снопов у них назывались «крестцами». Поле в золотистых крестцах – не было радостнее картины. В народе так и говорили: «Слава Богу, хлеб в крестцах».

Когда под ветром и солнцем у снопов подсохнут колосья,

крестцы необходимо было перевезти в то место, где они будут сложены в огромный прямоугольный, продолговатый стог. И непременно колосками внутрь. Это и есть ещё один этап работы.

К этому времени колхоз заранее заготавливал длинные прочные жерди, называемые носилками. Поперек двух таких жердин, уложенных параллельно, укладывались снопы из крестцов. Два человека, один спереди, другой сзади, несли эту поклажу к избранному месту под стог. Иногда помогали мальчишки на лошадях с подводами, тогда дело шло быстрее. Снопы подносят, а на стогу уже орудуют два пожилых квалифицированных укладчика.

Растёт стог. Крестцов на поле остаётся всё меньше. К концу рабочего дня дело идёт к завершению. Стог напоминает красивое архитектурное сооружение, с надёжной плотною крышей, где не намокнет ни один колосок ни в дождь, ни в снег. Бывало, что обмолачивали стога среди зимы, подогнав под них спецмашину-молотилку. Надо сказать, что часть разрозненных снопов ещё с осени свозилась на тока и обмолачивалась цепами.

Один из участников этих хлебных баталий всегда мне казался героем. Это главный укладчик стогов Захар Ефанович Поярков. Его давно нет в живых, но имя его помнят все мои односельчане. Значит, достоин он этого.

Стихи Александры Лаухиной:

У обелиска
Я нередко от сынишки слышу,
Что печалит взгляда синеву:
– Почему есть дедушка у Миши,
А вот я без дедушки живу.

И опять вчера у обелиска,
Где цветы, как радуга, свежи,
Заглянул в глаза мне близко-близко:
– Почему ты плачешь, расскажи?

Отвечаю голосом упавшим,
Ощущая тяжесть плит,
Что отец мой, без вести пропавший,
Может, здесь, под мрамором, лежит.

Улыбаюсь: мал еще мальчишка
Боль понять моих давнишних ран.
– Дедушке. – И тонкие ручонки

Протянули к холмику тюльпан.

Ужас вселился в нас, и мы сразу стали взрослыми
Малахова (Нюнченко) Валентина Степановна, 1931 г. р

Я родилась в 1931 году, 23 февраля. Мне было 7 лет, когда умерла наша мама. Это был 39 год. Нас осталось трое детей – брат Геннадий с 1926 года, сестра Нина, 1929 года рождения, и я – 1931 года. Отец вскоре женился, и у нас появилась вторая мама.

Моя дорогая мне родина – это Псковская область, Пустошка. До войны я окончила два класса, и в 1941 году началась Великая Отечественная война. Отца взяли на фронт, мы с мачехой пошли пешком в ее деревню Мануилово, где проживали до окончания войны. Войну объявили 22 июня, а через неделю нас оккупировали немцы.

У нас в Пустошке 70 процентов жило евреев. Знаменитый врач Гинзбург. Он со своей семьей смог бежать, а те евреи, которые не смогли убежать из нашей Пустошки, подверглись уничтожению. На спине одежды им были пришиты шестиконечные желтые звезды, и в результате всех их заставили копать глубокую яму, затем их всех поставили на край этой ямы и всех расстреляли, – не разбирая, раненые, или убитые, или живые, затем закопали в этой яме и никого из посторонних не подпускали к этой яме, так как яма шевелилась – многие были живыми, и, когда яма замолчала, немцы удалились, убедившись, что все мертвы. Это место до войны называлось МТС, в то время так называлась машинно-тракторная станция. Вот там покоятся евреи всей Пустошки.

Может, не стоит так все описывать, но не могу это забыть до сих пор. Мы уже не были детьми, ужас вселился в нас, и мы сразу стали взрослыми. Брата Геннадия четырнадцати лет немцы взяли в концлагерь. Из лагеря он бежал и, придя к нам в деревню, ушел в партизаны. Через брата мы имели связь с партизанами, но все это было скрытно, так как немцы за связь с партизанами вешали на столбах, а деревни сжигали. Мы с сестрой Ниной ходили в Пустошку, а также ходили по деревням, узнавали, где находятся немцы, а ночью приходил брат Гена, и мы ему все говорили.

Однажды он пришел к нам днем. Видимо, деревенские следили за нами и кто-то сообщил полицаям, а полицаи карателям, что Гена дома. Мы с Ниной всегда были на шухере – она в начале деревни, а я ближе к дому. Заметила карателей

Нина, сообщила мне, а я бегом вбежала в дом и успела сообщить, что идут каратели. Из дома бежать было поздно, и брат залез в подпол и прополз к стенке, чтобы в случае, если немцы заглянут в подпол, его не увидели. К этой же стенке поставили меня и сестру Нину, пытали нас, обстреливая кругом головы меня и Нину, и говорили: «Где брат?» Мы с Ниной отвечали: «Не знаем». Нина думала, только бы Валька не проговорилась, а я думала, только бы Нина не проговорилась. И так нас пытали очень долго. Мы с Ниной боялись одного: только бы они не выстрелили в пол, так как у этой стенки под полом спрятался брат, и, если бы они его ранили, он застонал, и нас бы всех сожгли.

Мы с Ниной боялись одного: только бы они не выстрелили в пол, так как у этой стенки под полом спрятался брат, и, если бы они его ранили, он застонал, и нас всех сожгли.

После такой пытки, не добившись ничего, они уехали. Геннадий вылез, и у него пробилась седина. Он ушел и больше к нам не появлялся, боясь за нашу жизнь. К нам по ночам приходили солдаты, бежавшие из плена, и искали связь с партизанами: мы с Ниной были всегда в курсе, часто ходили в Пустошку и узнавали, где находятся немцы, и, когда приходили солдаты, а точнее, молодые люди – в форме находиться было опасно, – мы им давали направление. Помню, однажды зашел офицер, и с ним была белая лошадь. Я это как сейчас вижу. Он только спросил, где находятся партизаны, и мы с Ниной сказали где.

Мачеха была тоже в курсе, но она постоянно находилась в гостях у деревенских, а мы с Ниной были дома.

Недалеко от нас немцы сделали под открытым небом лагерь военнопленных. Вбитые колья, обтянутые колючей проволокой, и большая охрана. На голой земле они, полуголые, полуголодные, находились долгое время. Когда немцы стали наступать на ближайшие города, лагерь этот куда-то исчез, видимо всех военнопленных ликвидировали. В это время немцы находились в мачехиной хате, а мы ушли в землянку. В ней были сделаны две ниши для меня и Нины, ничем не оборудованные, просто голая земля, только не капал дождь. Даже дверь в землянку завешивали какой-то старой рваной тряпкой.



Валентина после войны

Солдаты все шли и искали партизан. Один офицер в деревне Маслово – недалеко от нашей – зашел, чтобы узнать, где партизаны. Но в этой деревне проживал староста, он сообщил немцам, и ему пришлось бежать. Забежал в пуню – так в деревне называют строение для сена на зиму скотине, – чтобы укрыться. Немцы оцепили пуню и подожгли, чтобы наверняка сгорел. Убедившись, что он наверняка сгорел, они деревню покинули, а пало подозрение на одного инвалида, который был женат на еврейке.

Они ее расстреляли, а инвалида – его звали Коля – повесили и не разрешали долгое время снимать с виселицы, чтобы деревенских устрашить.

Брата моего мы больше не видели, их партизанский отряд соединился с регулярной армией. Он знал очень хорошо немецкий язык и служил в разведке. Мы от него получили одно письмо, в котором он писал: «Иду на задание». В 1944 году в октябре мы получили на него похоронку. Умер от затяжных ран и похоронен с воинскими почестями в Латвийской Республике, тогда она была в СССР, Модонский уезд, г. Эргли. Ему было всего 18 лет, по сути дела ребенок.

Пишу и плачу, вспоминая свое тяжелое детство. Были немцы и хорошие. Помню, это был Новый год. Мы с Ниной очень хотели есть и пошли в нашу хату попросить чего-нибудь поесть. Они нам дали немного хлеба, но он у них был всегда запечатан, а как

только распечатаешь, он тут же и плесневеет. Но мы и этому были рады. Один немец нам показал на пальцах и сказал: «Гитлер, Сталин пук-пук», – видимо и немцам эта война ох как не нужна была.

Один немец нам показал на пальцах и сказал: «Гитлер, Сталин пук-пук», видимо и немцам эта война ох как не нужна была.

Так мы и жили в землянке, голодные, холодные, до освобождения. В 1943 году в феврале месяце нас освободила Красная армия. Со всех деревень в округе немцы нас собрали в деревню Маслово, где был повешен инвалид. Нас всех затолкали в одну хату, а всю деревню подожгли. Нас затолкали потому, чтобы им можно было отступать. Как только разведка доложила, что здесь немцев нет, а только одни мы, стала бить «катюша», снаряды рвались недалеко от нас. Мы с Ниной и мачехой прятались в воронки, так как в одну и ту же воронку снаряды не ложатся. Был страшный туман, но, как только рассвело, мы увидели наших бойцов, нашу разведку. Они спросили, давно ли ушли немцы, сказали – ночью. Каратели отступали на «харлеях», у них на груди всегда была свастика, череп и стрела, все сжигая на своем пути. Уцелели те деревни и те хаты, которые они не успели уничтожить. Уцелела и мачехина хата, так как она была на отшибе от деревни. И так вместе с разведкой пришел обоз собак, запряженных в лодки. На них были закреплены санитарные сумки. В упряжи было по пять собак: одна впереди и по две в первом и во втором ряду.

И потом потянулись лодочки. Эти собаки были обучены таскать раненых с передовой, и на собачках были закреплены санитарные сумки. Собачками управлял один солдат, который сидел в первой упряжке собак, а все остальные были без солдат, сами шли за передней упряжкой. Все они были измучены, но очень послушны и поддавались командам. Все это мы видели. Все это мы выстрадали.

Пришла весна. Нас, детей и стариков, собрали на колхозную работу. Старикам и нам, детям, была дана дневная норма: две сотки земли вскопать лопатой. За это нам ставили один трудодень. По вскопанной лопатами земле нас впрягали по одному человеку в бороны. Мы, дети, на себе таскали бороны, по четыре человека детей запрягали в плуг. Старик шел за плугом, а старуха сажала картошку – и все это за одну палочку трудодня. На трудодень нам давали жмых и мякину. Созревала рожь. Мы жали, затем по три человека, а иногда и по четыре человека молотили цапами, а зерно, которое должно было идти на посев,

стебали вручную. Лен таскали, обмолачивали вручную деревянными молотками, потом в мочулах мочили, мяли и так далее. Косили сено, сушили, стоговали в копны – одним словом, работали на износ вместе со взрослыми. Вот только мне сейчас обидно – за мой тяжелый труд во время войны не дали ни копейки: нет свидетелей. Но какие могут быть свидетели, если я была ребенком и тогда никто не думал, что все это пригодится для добавки к пенсии. Чтобы не умереть с голоду, мы вынуждены были ездить в Латвию. Это тогда, когда колхоз не имел работы. Началась малярия. Лечили только хиной, но ее не было. Старики умирали на глазах. Их просто-напросто малярия уничтожала в сильной лихорадке.

Была зима 1943 года. Мы были голодные. Наша мачеха нас эксплуатировала как могла, мы ей подчинялись, так как у нас другого выбора не было.



Валентина (справа) с подругами

Отец еще был на фронте. В Латвию дорога была открыта, и мы поехали, чтобы заработать кусок хлеба. Мы с Ниной на открытой платформе товарного поезда доехали до города Круспельт, тогда его так называли все по незнанию, а правильное название Венспилс. Не успел поезд остановиться, к нам

> Воды было по колено, мы все только стояли в воде и оправлялись тут же. Нас держали более двух суток. К нам никто не приходил. Мы были просто заперты на

мучение.

подъехала милиция и всех, кто ехал этим составом, арестовали. Латыши нас ненавидели и, когда мы заходили в хутор, чтобы попросить кусочек хлеба, посылали нас к Сталину. Всех нас посадили на машину и привезли в милицейский участок. Посадили нас в настоящую тюрьму. Она находилась внизу полицейского участка. Маленькое окно на уровне земли и огромная на нем решетка. Приближалась весна, шли талые воды, и все талые воды стекали в этот подвал. Воды было по колено, мы все только стояли в воде и оправлялись тут же. Нас держали более двух суток. К нам никто не приходил. Мы были просто заперты на мучение.

Было две двери: одна деревянная, и был маленький глазок, а другая решетчатая железная. С нами забрали одного инвалида на костылях, он был человек взрослый, а мы дети, но нас было много. С нами был мальчик, ему было не более десяти лет. Он был худенький, и инвалид его поднял, и он свою худую руку сунул в этот глазок и открыл засов, дверь открыли, а вторую дверь, которая была на висячем замке, инвалид открыл безопасной бритвой, кончиком бритвы. Таким образом мы смогли открыть вторую дверь. Но мы слишком шумели, спешили скорее удрать, но нас услышали, а мы бежали кто куда, в разные стороны. Только инвалид уйти не смог, у него забрали документы. Что с ним они сделали, мы не знаем.

Мы с сестрой Ниной бежали к дороге. В это время ехал латыш на санях и нас усадил в сани. Таким образом мы ушли от погони латышской милиции. Ему нужна была рабочая сила. Он нас брал валить лес. Я с ним вручную спиливала сосны, а Нина обрубала сучки. Так мы работали за кусок хлеба и печеную картошку. Приближалась Пасха. Он, хозяин, сказал нам с Ниной: «В праздники мы не работаем и кормить вас не буду». И мы с Ниной пошли по хуторам просить кусочек хлеба. Все гуляли. В один хутор зайти вдвоем с Ниной не решились, и Нина осталась стоять по ту сторону калитки, а я зашла в нее и подошла к группе латышей, стоящих на улице. Они на меня спустили пса, он разорвал всю мою и до того рваную одежду, покусал, и, когда они натешились, пса отозвали. Я, вся покусанная, ободранная, пошла прочь, а Нина стояла, смотрела и горько плакала. Вот так в то время закончилась наша поездка. Домой мы вернулись без хлеба, но долго дома мы не оставались, нас мачеха снова посылала в Латвию на заработки.

Наша жизнь была очень тяжелой. Таких случаев, какой я описала, было очень много. Сейчас трудно мне самой поверить,

что мы на ходу поезда бегали по крыше, перепрыгивали с вагона на вагон и ничего не боялись. С заработанным хлебом забирались на крыши пассажирских вагонов, так как с платформы латыши нас прогоняли и сбрасывали. Мне никто не поверит, но я упала с поезда и его догнала. Мы с Ниной везли заработанный хлеб, зерно. Я сидела посреди состава, поезд шел в гору, а я сидела на подножке. Солнышко пригрело, я задремала и свалилась. Как только я упала, я тут же пустилась догонять поезд. Я успела уцепиться за предпоследний вагон, меня кондуктор ногой оттолкнула, и я уцепилась за последнюю подножку последнего вагона. Поверьте, мы были цепкие, проворные, как обезьяны. В это трудно поверить, но это факт. Все, что я пишу, я могу это рассказать в любое время дня и ночи, даже на проверке лжи я все это расскажу точь-в-точь, потому что я ничего не вру.

Мы с сестрой Ниной ездили и батрачили на латышей за кусочек хлеба до конца 1944 года. Потом отец вернулся с фронта контуженый и поступил работать на почту. Его поселили в барак, сделанный из досок горбыля, и он нас взял к себе. Нина пошла работать на почту почтальоном, а я в швейную мастерскую. Набирали только тех, у кого своя швейная машинка, так как все было разорено и машинок у государства тогда не было. У нас машинка сохранилась чудом, описывать не буду, только скажу одно, что на своей машинке, когда нас освободили, это было зимой, я работала в солдатской мастерской, чинила солдатам одежду. Мой труд тоже не в счет. Мы тогда ничего не просили, работали на благо нашей родины ради скорой победы. В мастерской мы пороли парашюты и из них шили нижнее белье мужское и женское, наволочки. И все это наш закройщик сдавал в магазин.

Таким образом я везде работала на благо своей родины, за скорую победу, но в результате я ничего ни за что не получаю. И очень обидно, что двухмесячный ребенок является блокадником и имеет все привилегии блокадника, так же как те, которые были только прописаны в Ленинграде, – они блокадники, а я столько сделала для своей страны, а ничего не имею.

В мастерской мы пороли парашюты и из них шили нижнее белье мужское и женское, наволочки.

В 1949 году, приехав в г. Выборг, работала грузчиком, так как жить было негде, а фабрика нуждалась в грузчиках, и им давали общежитие. Ради общежития я была вынуждена работать грузчиком за 110 рублей. После рабочего дня мы, комсомольцы, должны были отработать два часа на уборке завалов зданий. За

свою активную работу я была делегатом съезда комсомола. До сих пор имею мандат делегата. Четыре года сдавала кровь в больнице по 400 граммов. И за все это я ничего не имею, потому что в то время мы никаких документов на спрашивали, просто были комсомольцы-добровольцы.

И чудо случилось!
Сулейманова Ленина Сулеймановна, 1930 г. р

22 июня 1941 год застало нас с мамой, Мистурой Сулеймановной, на стадионе. Жили мы тогда в молодом красивом городке – Микоян-Шахаре (ныне Карачаевск). Мама работала операционной сестрой в новой больнице, а на стадионе занималась на курсах военных медсестер. Уже 23 июня ей пришла повестка из военкомата, и большой красивый автобус увез мою маму на войну.

На фотографии мы с ней как раз перед ее уходом на фронт. У меня за плечами ее вещмешок. В этом платьице она и уехала тогда. Большой проблемой было найти подходящие туфли – мама была модницей, у нее все туфли были на высоких каблуках.

Но в то же время она была человеком очень ответственным, принципиальным и убежденным (В. И. Ленин был ее кумиром, она и меня назвала в его честь – Лениной), ей и в голову не могло прийти попросить отсрочку. Я осталась на попечении коллектива больницы и дяди, отставного военного, снятого с учета по болезни. Но вскоре забрали и его в армию. А потом началась оккупация – и я осталась совсем одна.

Я осталась на попечении коллектива больницы и дяди, отставного военного, снятого с учета по болезни. Но вскоре забрали и его в армию.

А потом началась оккупация – и я осталась совсем одна.

Помню страшную суету, панику, в военкомате, куда я попыталась обратиться, не до меня было, помню, как отступали наши, как раненые из госпиталей ковыляли по дорогам, эвакуировать их не успевали, они уходили своим ходом в горы. Помню и начальство в машинах, набитых скарбом, равнодушно проезжавшее мимо них.



Ленина с мамой

И вот пришли немцы, началась моя скитальческая жизнь. Бродила по селам и аулам, добрые люди помогали, чем могли, одно время «работала» поводырем у слепого за еду и ночлег. Было очень тоскливо и одиноко, голодно, конечно, до сих пор для меня хлеб – самое главное лакомство, самая любимая еда. Потом настала холоднейшая зима 42–43 годов, отступавшие немцы: «Кальт, кальт». Да уж, морозы тогда стояли, а я в галошах на босу ногу перехожу вброд незамерзающую горную реку.

Добралась наконец до дальних родственников, там и

дождались прихода наших. А летом 43-го приснился мне сон: вижу большой автобус, а в нем – мама! А меня к ней во сне не пускают, говорят, подожди, через два дня она приедет. И вот через два дня отправляет меня родственница за семечками в Черкесск. А вечерний обратный автобус не приехал, и пришлось мне пешком возвращаться, а что делать… Иду, уже темно, страшно, мост через Кубань под ногами качается. Подхожу к дому и загадываю: если огонек горит, значит, мама уже приехала. И чудо случилось! Огонек горел, мама моя сидела у окна и меня ждала.

К тому времени (июль 1943 года) она успела всякое повидать – весь кошмар 41-го, отступления, вой «юнкерсов» (всю последующую жизнь она не могла смотреть фильмы о войне, сразу плакать начинала), контузия, окружение под Вязьмой, пребывание в оккупации с нашими ранеными, которых она не могла бросить после побега всего госпитального начальства, фильтрационный лагерь. После проверок служила в 556-м гаубичном полку, какие там люди были замечательные! Дали ей отпуск – навестить дочь, надавали в дорогу гостинцев, подарков. Во время Курской битвы вроде бы все они полегли… Так что тот отпуск моей маме жизнь спас.

> Я с мамой и еще семь девушек жили на колокольне. Я помогала чем могла – и в госпитале, и по хозяйству, научилась печь пироги со щавелем и прочей зеленью на очаге из двух кирпичей.

И мама стала работать в эвакогоспитале 3329, ей пошли навстречу, разрешили взять меня с собой. Почти год я путешествовала вместе с госпиталем: Тула, потом Селигер и Нилова Пустынь. Я с мамой и еще семь девушек жили на колокольне. Я помогала чем могла – и в госпитале, и по хозяйству, научилась печь пироги со щавелем и прочей зеленью на очаге из двух кирпичей.

Места там красивейшие! Сосны, цветы, соловьи… Вспоминаются многочисленные концерты, красивая музыка разносится над водой, раненые на лодках. Большой был праздник и концерт 6 июня, когда союзники высадились в Нормандии. От того времени остались у меня на память открытки от девушек, которые жили вместе с нами.

Мои военные путешествия завершились в Полоцке осенью 1944-го. Война шла к концу, маму демобилизовали из-за контузии и наличия ребенка, и мы поехали в Кисловодск. Здесь было много госпиталей, так что у мамы была работа. Вот и все, наверное…

Мы жили за счет табака
Кравцев Владимир Григорьевич

25 июня 1941 года мы с отцом косили траву около леса за железной дорогой. Пообедав, мы прилегли на траву отдохнуть. Вдруг над нами пролетели пять немецких самолётов-бомбардировщиков в направлении железнодорожной станции Коренево. Развернувшись над станцией, они сбросили несколько бомб и пошли на снижение к нашему железнодорожному мосту. От него мы находились примерно в километре. Двумя заходами они сбросили десяток бомб, но ни одна из них не попала в мост и даже на железнодорожное полотно. Все они разорвались вдоль полотна по обе стороны реки. Три бомбы попали в реку. Так в этот день мы узнали, что Германия напала на нашу Родину. Началась война. Обстановку в это время никто не знал, так как радио в селе не было и в районных газетах она была опубликована только 26 июня.

С 27 июня 1941 года начался призыв (мобилизация) в армию мужчин до 35-летнего возраста. Ас 15 июля мобилизовали все старшие возраста, пригодные для службы в армии. С июля месяца через наше село стали проходить с Украины мобилизованные отряды ещё в гражданской одежде. Их задерживали на 10–15 дней для уборки урожая и потом отправляли дальше, на восток. Вместе с ними эвакуировали весь колхозный крупный рогатый скот и табуны колхозных лошадей. Отдельными стадами эвакуировали крупных телят, овец и коз. Свиней отправили поездами. Так это длилось до середины августа 1941 года. 18 августа 1941 года со стадом коров ушёл и мой отец, 1902 года рождения. Потом через наше село проходили солдаты в форме группами и поодиночке, а потом и вперемежку в разных одеждах в надежде соединиться с основными силами армии или партизанами.

До 18 декабря 1941 года мы уже не видели и не встречали солдат в форме и мужчин в гражданской одежде, фронт проходил где-то в стороне, откуда мы слышали только глухие взрывы бомб, мин и снарядов. А в этот день в наше село прибыли немцы с военным комендантом и сразу установили комендантский час. Разрешалось ходить только в светлое время, с наступлением темноты вечером или рано утром нельзя было выйти на улицу к колодцу.

Выпал глубокий снег, и настали сильные морозы. На захваченной советской земле оккупанты устанавливали так называемый «новый порядок» – режим террора и насилия,

разрушали государственную самостоятельность и территориальную целостность советских республик. В нарушение принятых международной конвенцией обязательств оккупационный режим Германии преследовал полное порабощение советских людей, ограбление оккупированных районов. Он осуществлялся немецкой администрацией, службами СС и СД, гестапо, военнослужащими регулярных частей. Оккупационный режим поставил людей в бесправное положение, лишил их всех социальных и политических завоеваний.

Бежавшие из плена и окружения мужчины останавливались на некоторое время, чтобы приобрести для себя подходящую одежду, запастись предметами для дальнейшего продвижения домой к партизанам или соединиться со своими частями. Это было ещё до прихода оккупантов в село Снагость. Располагались по 2–3 человека по хатам, в зависимости от размеров комнат.

У нас остановились три человека с Украины. Они помогали нам в уборке нашего урожая с собственного огорода и по хозяйству, заготавливали нам дрова на зиму. Мать отдала им всю отцовскую поношенную одежду и обувь, которая подходила им по росту. Они питались за одним столом с нами и откладывали себе на дорогу наши продукты и продукты соседей. С сентября 1941 года по заданию командиров партизанских отрядов Украины стали они уносить в лес, в свою построенную землянку, вмещавшую 10–15 человек, не более, картофель, лук, чеснок, свеклу, морковь, капусту, соль, зерно, старую одежду от населения. Выкопали погреб для хранения овощей. Когда уходили в первый раз в лес, то они взяли с собой пилу, топор, лопаты, молоток, гвозди, лом и другие инструменты, потом они всё это, после построек, возвратили в наш дом. Уходили они в лес с наступлением темноты, через огороды. Приходили по одному. С приходом оккупантов в село стали приходить реже и реже, только в назначенные дни за махоркой, продуктами и старой одеждой. Они уже знали, с приходом в наш дом, что я занимаюсь изготовлением табака (махоркой), и дали мне заявку, чтобы я меньше продавал населению. И к указанному дню (числу) я уже изготовлял махорку только для партизан не менее как по 100–150 стаканов, обеспечивая их. За время проживания у нас эти партизаны сделали мне саночки из старых разбитых саней колхоза с расширенными вверху полозьями, где внутри загнутых двух полозов выжгли внутри отверстия с незаметными крышечками. Они мало чем отличались от саночек населения, и немцы не обращали на мои саночки никакого внимания, так как и саночки, и хворост (дрова) издалека просвечивались и никаких предметов внутри хвороста не было. И когда нужно было мне

идти в лес со сведениями о немцах, прибывших в село воинских частях, я брал саночки, уже набитые заранее табаком, бежал в лес в назначенные ими разные места встречи. В отверстия саночек вмещалось по 10 стаканов табака, хорошо утрамбованного толкушкой.

И когда нужно было мне идти в лес со сведениями о немцах, прибывших в село воинских частях, я брал саночки, уже набитые заранее табаком, бежал в лес в назначенные ими разные места встречи.

Перезимовав зиму 1941–1942 годов, партизаны дали мне заявку засеять с весны больше табака, так как потребуется ещё больше… Весной 1942 года я засеял все места, даже во дворе, помимо огорода, и до осени я снял четыре урожая табака. Они всё видели, как я занимаюсь выращиванием его и были очень довольны и благодарны, иногда оплачивали мне немецкими марками, бывшими в употреблении, за которые я приобретал у них свечи, спички, мыло, соль. И даже купил на базаре себе валенки. Четвёртый урожай я собрал в конце октября в сухую погоду, с появлением лёгких морозов.

Знал бы я о том, что мне когда-то потребуется какой-то документ за мою очень опасную работу, я бы у них попросил. Отряды под командованием Александра Николаевича Сабурова и Михаила Ивановича Наумова, которые совершали рейды с Украины в Брянские леса и обратно, дали бы мне десяток разных справок и документов с полным их оформлением (все реквизиты). Но тогда об этом никто даже не думал и не мечтал о разного рода военных документах: ни маршал, ни генерал, ни офицер, ни сержант, ни солдат, ни партизан, тем более юный защитник Родины, пятнадцатилетний сельский мальчишка. У всех нас было только одно желание – выжить и победить. И тогда таких юных защитников Родины было немало…

Всё время оккупации я дрожал, как «премудрый пескарь», днём и ночью, прислушиваясь к скрипу калитки – не идут ли за мной немцы. Я каждую минуту чувствовал фашистов за своей спиной и при встрече с ними лицом к лицу шёл прямо на них, идя дальше не оборачиваясь. Прислушивался к любому малейшему стуку, звуку, шлёпанью их сапог по двору. Постоянно был очень бдительным, как меня инструктировали партизаны. Страх всё время сопровождал меня везде: в лесу, когда я шёл по селу, в поле, в своём дворе и огороде. Собранные группы по 10–20 человек вливались в эти отряды (рейды), вооружались и уходили на боевые задания. Большое скопление людей в лесу могло быть замечено немцами и уничтожено. Этого не допускалось, днём они

группами не собирались, а ночью рассредоточивались, так как в землянке находились раненые и слабые здоровьем, поочерёдно грелись. Нахождение людей в лесу и передвижения их немцы не замечали.

Тишину нарушили три выстрела – расстреливали партизан. Очень глупо погибли «руководители» партизанского движения села Снагости и Кореневского района, не убив ни одного немца и не взорвав двухэтажную среднюю школу, в которой размещалась рота эсэсовцев с комендантом с большой охраной. За каждой стеной стояли часовые, и четверо ходили круглосуточно вокруг школы. Помимо партизанского движения, коммунистами была поставлена задача взорвать школу вместе с фашистами. Немцы школу разминировали, и задача этими партизанами не была выполнена.

> Я по какой-то счастливой случайности уцелел, и семья не погибла из-за меня, а может быть, и даже всё село.

За зиму 1942 года было расстреляно в этом месте в Снагости одиннадцать мужчин, пойманных в поле и по дорогам. Троих человек повесили в деревне Вишневке, так как население Вишневки не вступилось за них, зная их. Это Гольбородов с улицы Репяковка, у него осталось трое детей, один из села Комаровка и третий, пойманный около леса. А в октябре 1942 года тоже действовали наши партизаны из села Коренево: Пётр Берков, Зинаида Князева, её дочь Надежда. Они были пойманы с помощью предателей, посажены в тюрьму города и тоже были расстреляны, так как действовали практически поодиночке. Эти трое наших коммунистов знали меня, инструктировали меня, уходя в подполье (в лес на горе, там большие овраги). Они заранее могли бы спокойно построить себе землянку, заготовить продукты, тёплую одежду, но этого не сделали и погибли бесславно. И если хотя бы один из них остался живым, он бы помогал мне и после войны, подтвердил бы моё практическое участие в очень опасном деле моей работы.

Я по какой-то счастливой случайности уцелел, и семья не погибла из-за меня, а может быть, и даже всё село. Многие односельчане догадывались, видели, замечали, но сумели удержаться, чувствуя наше патриотическое движение, наше желание изгнать врага с нашей территории, и принимали все меры, помогая партизанам и армии.

Руководство партизан ещё до прихода немцев в село организовало своё движение, оставив в нашем Гапоновском лесу своих представителей, которые должны были собирать беглых

партизан, солдат из плена, бежавших из окружения, передавая их в отряды Александра Николаевича Сабурова и Михаила Ивановича Наумова, которые совершали рейды по Курской области из Украины и обратно. Собранные группы, человек по двадцать в каждой, вливались в эти отряды, вооружались и уходили на боевые задания. С октября 1941 года до прихода фашистов в наше село эти три организатора подпольной работы собирали у жителей села Снагости всю старую мужскую одежду и обувь, продукты, которые закладывали в заготовленный погреб для хранения. Их задача была поставлена строго: ни в коем случае не сталкиваться с фашистами, не убивать их неподалеку от Гапоновского леса и территории полей, огородов села Снагости на расстоянии примерно 15 км, а также по дорогам.

Обеспечивая партизан всеми сведениями о нахождении и передвижении фашистских войск в селе Снагости и по железной дороге, я одновременно с этим обеспечивал их махоркой. Своим страшным поведением фашисты давали населению села Снагости и другим сёлам, деревням, хуторам понять свой оккупационный режим, и люди боялись. Кто предал коммунистов и других погибших от рук фашистов, до сих пор никто не знает. А те, кто прислуживал немцам, как старший полицейский по фамилии Гриий и другие, чувствуя свою вину, ушли со своими семьями при отступлении немцев из села Снагости и пока ещё не обнаружены.

За всю оккупацию партизаны со всей своей бдительностью и осторожностью выполняли указания командиров отрядов, не убив ни одного фашиста, дабы не обнаружить себя и не подвести Сабурова и Наумова, которых немцы по их следам преследовали бы и уничтожили. Военная тайна соблюдалась всеми. Немцы не обнаружили партизан.

Скрытая связь населения с партизанами многим помогла выжить и победить. Всю колхозную землю немцы поделили на душу населения для обработки и выращивания урожая, огородные участки фашисты не учитывали. Нам, семье из шести человек, выделили по 8 соток на каждого – 48 соток (почти полгектара). На улице, где мы жили, попался посев подсолнечника, самая легкая обработка и уборка. После уборки всех культур фашисты проверили каждый двор, каждую конуру.

> Когда немцы собирались ловить и собирать молодёжь, староста предупредил нас и других жителей, назвал день отлова.

Немцы ходили по дворам и хатам. Брали без разрешения всё, что им понравится: свиней, коз, гусей, уток, кур, яйца, молоко,

сало, мясо и из вещей – всё новое. Никаких слёз и уговоров не признавали. Грабили всё, а при отступлении забрали всех коров и стадами угоняли на Украину. Наши коровы убежали, так как наша мать сопровождала стадо, и, когда стадо сравнялось с кустами около реки, мать позвала Зорьку три-четыре раза, и Зорька, услышав голос и зов хозяйки, раздвинула стадо и прибежала к ней. Немцы начали стрелять, когда Зорька была уже далеко, и не попали.

В нашей семье было шесть человек: сестра 24 года рождения, брат – 26 года, я – 28-го, брат – 31-го, сестра – 33-го. Жили мы все за счёт табака (по большей части), которым занимался, в основном, я. Когда немцы собирались ловить и собирать молодёжь, староста предупредил нас и других жителей, назвал день отлова.

Мы сестру 24 года рождения прятали, дважды я спасал её с помощью табака, так как во время облавы полицейских из других сёл и деревень направляли в село Снагость, а снагостских полицаев направляли тоже в другие сёла. И они не знали, в какой хате находится девушка или парень. Входя в дом, полицаи видели, что у двери стоят два корыта с табаком. Увидев такое изобилие табака, они набивали карманы и, смеясь, уходили в другой двор. Сопровождающий их немец тоже набивал карманы табаком, так что они в хату не проходили и во дворе сарай не проверяли и скирды с сеном и соломой. Некоторые солдаты-фашисты, которые имели хотя бы какую-то малую совесть, платили мизерную сумму денег за табак марками и пфеннигами, спичками, мылом, солью, свечами. Офицеры не платили ничем и брали горсть или две.

Моя семья, в основном, жила за счет табака, которым я занимался. Я лично толок в ступе корни табака, а лист протирал на железном решете. Просеянный от пыли корень хранился в деревянном корыте, а лист в железном.

Продавал я его стаканами: по два стакана корня и один стакан листа. Цена трёх стаканов равнялась 0,50 пфеннига, потому что денег у населения почти не было. Партизаны мне платили хорошо, бумажными марками, бывшими в употреблении. Где они их брали, я не спрашивал, так как все вопросы они мне запретили задавать. А всё, что выручал, я отдавал матери, все деньги и товар шли на дело и обеспечение семьи. Если у партизан не было денег, то они расплачивались после. В основном, они платили тогда, когда в хате у нас сидел немец, попивая и куря мой табак, чтобы те видели, что к нам приезжает коммерсант.

Однажды в день прихода «коммерсанта»-партизана, к нам зашел фашист. Зашёл, посмотрел на табак, он и раньше приходил

и видел два корыта, полных табака, сел за стол, попросил десять яиц и сала. Яйца мать ему дала, иначе он сам бы нашёл их и взял больше. Достал флягу со шнапсом, закурил. Сала у нас не было. В условленный час без стука, по нашей договорённости, как мне приказали партизаны, пришел «коммерсант». Он поздоровался и с немцем: «Гутен таг». «Коммерсант» сразу у дверей развернул свой мешок и, как ни в чём не бывало, начал отсчитывать в мешок стаканы, вслух считая по-русски. Когда он выбрал весь табак, достал бумажные деньги, про себя просчитал стаканы, умножил на 0,50, расплатился со мною, оставив у себя остаток бумажек. Немец всё это наблюдал, я и мать незаметно дрожали, немец попросил «коммерсанта» сесть. «Битте зитцен». «Коммерсант» сел, немец попросил у матери два стакана, налил по полстакана себе и «коммерсанту»-партизану. И поскольку мы всегда кормили обедом «коммерсанта», мать достала огурцов солёных, капусты солёной, картошки варёной из печки, ведь ему мы всегда готовили покушать, хлеб – какой был, неважный. Они выпили, начали разговор на ломаном языке по-немецки. Партизан всё понимал до мелочей, а когда доходило до серьёзного, партизан просил его повторить. Я не знал, что мне делать, а мать подсела к немцу и всё время подкладывала горячую картошку, но он не уходил. Обедали они примерно минут 20–30, не более. Фашист посмотрел на часы, встал, пожал руку партизану, нам сказал «данке» и ушёл. Когда он прошёл двор и вышел за калитку на улицу, мы все трое вздохнули, и партизан, отдав мне оставшиеся деньги, быстро взял мешок и ушёл в сторону разъезда, будто бы к поезду. За железнодорожным полотном. Мы с мамой боялись, что через час нагрянут немцы и нас арестуют. Но прошёл час, два, до вечера никто не появлялся. Второй день нашего ожидания фашистов прошёл тихо. Я никуда не пошёл. В общем, встреча партизана с фашистом прошла благополучно. Дальше таких моментов не случалось. Пронесло…

Потом были другие партизаны, и таких страшных встреч не было. Они тоже очень беспокоились за нас.

Фашист посмотрел на часы, встал, пожал руку партизану, нам сказал «данке» и ушёл.

Когда через село проходили боевые немецкие части, останавливались на 4–5 дней, я шёл через всё село к дяде Косте, он жил со своей семьёй в конце села, посматривал, не поворачивая головы, на всю технику, лошадей, сколько кухонь походных солдатских, запоминал количество танков, машин и примерное число офицеров. А на следующий день после этого я уже был в лесу. Записывать мне партизаны категорически

запретили, и я старался идти по селу туда и обратно, проверяя то, что видел, когда шёл в одну сторону. Обратный мой путь подтверждала другая сторона. Все эшелоны, идущие на Киев и обратно, я тоже запоминал: количество вагонов, количество танков и другой техники. Зимой с крыши нашего дома всё хорошо просматривалось. Летом было труднее, но количество эшелонов я считал точно. Самый удобный момент: обеденный час, когда можно около походных кухонь посчитать солдат. По общему количеству техники (танков, пушек), походных кухонь партизаны определяли общее число солдат и офицеров. Офицеры питались в хатах, где проживало их по

5– 7 человек, я знал количество этих хат, количество постоянно находившихся в них офицеров. В селе постоянно находился военный комендант с ротой солдат и офицеров. Их обслуживали, выполняли все поручения 20–25 полицейских и староста. Полицейские часто менялись с другими сёлами, чтобы их меньше узнавали, особенно во время отправки молодёжи в Германию. Молодёжь немцы брали по внешнему виду: здоровых и крепких парней или девушек. Те, кто хотел избежать этого, стриглись наголо, как бы после тифа, которого немцы боялись и в этот дом не заходили, мазались сажей. Летом партизаны стали приходить чаще. Сады, кустарники, подросшие подсолнухи и кукуруза, рожь, мак скрывали их передвижение. С ноября 1942 года немцы ставили на ночь часовых и из дворов никого не выпускали. В связи с тем, что дороги были завалены снегом и скованы льдом, немцы выгоняли население чистить снег и колоть ломами, топорами лёд, очищая дорогу отступающим. Снега было много, сильные морозы, бушевала пурга.

20 декабря 1942 года за нашим Гапоновским лесом были выброшены с самолёта два парашютиста. Бурей, ветром их отнесло от леса на 4–5 километров к посёлку Десятый Октябрь, который находился за деревней Вишневкой. Это было ещё светло – днём, и немцы не заметили. Спустившись, парашютисты зашли в крайнюю хату и попросили хозяина спрятать их. Хозяин, испугавшись, что немцы его повесят, направил их на чердак, на сеновал. Парашютисты, немного погревшись в хате, пообедали своим сухим пайком.

> В течение одного месяца немцы построили предателю хату, укомплектовав мебелью, посудой и всем необходимым, что отобрали у населения, но пользоваться хатой и чужим добром ему не пришлось.

Когда они улеглись и утихли в сене, предатель Бойченко пошёл и заявил в комендатуру. Примерно через полтора часа

немцы окружили хату. Громко разговаривая и выкрикивая «Рус, сдавайтесь!», – начали требовать через переводчика сдачи в плен. Парашютисты, наверное, ещё не спали, слыша и видя через щёлку, по всем четырём сторонам хаты начали отстреливаться. С чердака им вокруг на снегу было всё хорошо видно, и немцам невозможно было подойти к хате. Через полчаса перестрелки немцы решили поджечь хату. Отстреливаясь до последнего патрона, парашютисты последними пулями убили себя, сгорая в жарком пламени сухого дерева хаты, соломы, сена. С каким заданием парашютисты прибыли, до сих пор никто не знает. Немцы долго искали их парашюты и не нашли. В течение одного месяца немцы построили предателю хату, укомплектовав мебелью, посудой и всем необходимым, что отобрали у населения, но пользоваться хатой и чужим добром ему не пришлось.

В марте – апреле 1943 года, отступая, предатель с семьёй ушёл с немцами в неизвестном направлении, а также и наша полиция во главе со старшим полицаем со своими семьями удрали с немцами при их отступлении, и больше их никогда никто нигде не видел, в село Снагосгь они не возвратились… 24 февраля 1943 года ни одного немца в селе Снагость не осталось, все ушли в деревню Вишневку, где и стали укреплять свои боевые позиции Курской дуги.

Из-за немцев я пострадала, и немцы же мне помогли
Исаченкова Алла Васильевна, 1938 г. р

Семь скобок на щеке

Я родилась в 1938 году. Мы с отцом, мамой, бабушкой и маленькой сестрой жили в Смоленске. Папа служил в Бресте в войсках связи. Еще в апреле 1941-го он предсказал войну и сказал, что нам следует уезжать из Смоленска. Но мы ему не поверили. Мама была медсестрой, и, как только началась война, она сразу ушла добровольно на фронт вслед за отцом, оставив меня на бабушку и тетю.

Когда город начали бомбить, мы решили бежать в ближайшие деревни. И попали под обстрел. Разорвавшийся снаряд сильно повредил мне щеку и подбородок. Бабушка схватила меня в охапку, уговорила попавшегося ей навстречу мужчину, который ехал на телеге, отвезти нас обратно в город в ближайшую медсанчасть. Русские уже отступили, и город был занят немцами. Бабушка обратилась в ближайшую палатку с красным крестом. То есть я из-за немцев пострадала, и немцы же мне помогли. Фельдшер наложил семь металлических скобок на разорванную щеку и вправил запавшую челюсть. Он научил бабушку ухаживать за моими ранами и кормить меня через соломинку.

Бабушка обратилась в ближайшую палатку с красным крестом. То есть я из-за немцев пострадала, и немцы же мне помогли. Фельдшер наложил семь металлических скобок на разорванную щеку и вправил запавшую челюсть. Он научил бабушку ухаживать за моими ранами и кормить меня через соломинку.

Потом мы опять сели в телегу и уехали. Тетя нас встретила в ближайшей деревне. Нас взяли на постой. Но из-за того, что я плакала день и ночь – ведь раны болели, – нам разрешали спать только на улице, а не в доме. Потом мы меняли дома, скитались, умоляли, чтобы разрешили остаться. Нам удалось прибиться к одной семье, в которой и так было четверо детей. Плюсом было то, что тетя взяла с собой швейную машинку, на которой она неплохо умела работать.

Буквально через пару дней и нашу деревню Яново заняли

немцы. Ночью выходить из дома было запрещено – они выпускали собак. С тех пор я плохо переношу собачий лай.

В деревне очень тщательно прятали евреев. Брили им головы налысо, чтобы не было длинных кудрявых черных волос. Немцы постоянно обходили дома, забирая молоко, яйца, и, не дай бог, увидели бы чернявого ребенка. Бабушка меня учила, что когда приходят и спрашивают, сколько в доме детей, надо отвечать: шесть. Четверо детей хозяйки, еще один ребенок другой беженки и я. Мы были все беловолосые.

Котелочек с кашей

На первых порах еще было не так голодно, ведь что-то осталось от урожая. Но постепенно есть стало нечего.

Немцы выбрали старосту из наших русских. К нему бабушка ходила, просила еду. Молодым нельзя было показываться перед немцами, потому как те выслеживали девушек, а потом этих девушек след простывал.

Когда еще голод только приближался, помню, как немцы ходили в черных рубашках с засученными рукавами, с короткоствольными автоматиками под мышкой и стреляли кур на подворье. Потом забирали тушки, подвешивали на шнурок и уносили с собой, хохоча. Но иногда, хотя они и забирали нашу еду, могли принести чего-нибудь сладенького, например рафинада.

У немцев была своя полевая кухня, где они готовили кашу с тушенкой. Они разрешали нам там подкармливаться, но туда можно было ходить только детям, без взрослых. Полтора километра пешком с котелком, болтающимся на шее. Надо было сначала пройти под планкой – если ты был выше планки, то тебе еду не давали. В котелочек нам клали одну поварешку каши. А так как я была ребенком изуродованным, я подходила, показывала на шрамы и говорила, как меня бабушка научила: «Кгˆ! Krieg!» («Война! Война!»), – и мне давали два больших половничка каши. Раненый ребенок на них почему-то производил впечатление. Потом наша большая семья разводила это кипятком, и получался пшеничный суп с тушенкой.

Кастинг в офицерском казино

Мы жили в несусветном голоде. Приближались зима и Рождество 1941 года. По деревне прошли полицаи и объявили,

что им нужно подобрать детей беловолосых, с голубыми глазами и прямыми, а не рахитными ногами. Нам сказали, что такие дети будут проходить кастинг в офицерском казино, которое располагалось в здании школы. Моя бабушка очень боялась меня туда отпускать, переживала, что я могу оттуда не вернуться. Я со своими длинными светлыми волосами, прямыми ногами и василькового цвета глазами прошла кастинг. Но мне сказали, чтобы я стояла, повернув лицо к залу, так, чтобы не было видно шрамов. Всем девочкам, кто прошел отбор, их родные в деревне шили из марли накрахмаленные пачки. Из бус делали короны.



Мама Аллы Мария Андреевна Костюченко (справа)

И вот Рождество 1941 года. Я стою на чем-то похожем на обычный стол – помню, что боялась оступиться и упасть. Нужно было рассказать стих или спеть песню, а также сплясать. Я стала читать: «Ленин, Ленин дорогой, ты лежишь в земле сырой. Но, когда я подрасту, в твою партию вступлю!» Это говорила я, трехлетняя, не понимая смысла, шепелявя невероятно из-за ран, но с большим выражением, махала руками. Всем понравилось, все аплодировали. Фурор произвел мой танец «Яблочко», которому меня учил отец. Руки за спиной, а ножки выбрасываешь вперед и танцуешь вприсядку. Еще я исполнила танец «снежинки» – ручки кверху и кружишься, потом приседаешь в реверансе.



Аллочка на елке

Этому меня до войны научили родители.

Потом немцы нас разобрали по столикам. Видимо, у них была страшная ностальгия по детям, ведь это было их первое Рождество без семьи. Один немец посадил меня на колени, помню, что от него невероятно вкусно пахло – ароматом лета, ландышами. А потом они с нами фотографировались и в заключение раздавали подарки. Подарки (сгущенное молоко, шоколад, орехи и семечки, залитые цветной глазурью) нам клали в подол юбочек, а мальчикам – в карманы. Потом с этими сладостями мы долго пили чай дома. А королевой бала немцы выбрали одну девочку с потрясающими белыми длинными вьющимися волосами. Ее семье дали больше всех подарков. Она даже роняла их по дороге.



Братья Пунины: слева Василий (папа Аллы) и Павел – летчик полярной авиации

Через год, в декабре 1942-го, нас опять собрали в школе. Мы уже знали, что нужно готовиться не экспромтом. Мне тетя сделала красивый синий бант на юбочке, сажей нанесли небольшой макияж – подкрасили бровки и реснички (мне сажа в глаз попала, я плакала). И опять я прошла кастинг. К этому времени меня уже научили бить чечетку. Тогда любимая женщина Гитлера Марика Рёкк танцевала и била чечетку. Этот танец был очень популярен среди немцев, в деревне это знали. Меня без конца вызывали на повтор и дали больше подарков, чем другим детям. За дверью меня ждала бабушка.

Тиф и партизаны

Ночью к нам в дом стучались партизаны, чтобы взять простыни для перевязки и еду.

Все, что нам перепадало от немцев, мы отдавали им. Всегда

боялись, чтобы нас не застукали немцы. Все уже было закручено в простыни и быстро бросалось в форточки.



Алла Васильевна

Потом в деревне начался тиф. Почти все население было поголовно в бреду. Немцы поставили две доски крестом, написали «тиф» и на эту территорию не ступали. Здоровых молодых женщин и детей собрали в одном доме на краю поселения. И мы не знали, как там наши старики. Немцы забросили деревню и перешли в другую, а к нам стали все чаще наведываться партизаны. Вдруг фрицы обнаружили, что партизаны у нас подкармливаются, и несколько десятков наших людей согнали в сарай и сожгли. Тетю угнали на торфяные разработки в 20 километрах от деревни. Однажды она не вернулась, мы решили, что ее забрали в Германию. Но ей удалось

бежать с поезда, и она босая, обмороженная, через две недели к нам вернулась. Мы ее прятали.

В 1943 году Смоленщину освободили. Мы с бабушкой пережили войну.

Моя мама, Костюченко Мария Андреевна (1915 г. р.), прошла всю войну старшей операционной сестрой эвакогоспиталя 1-го Белорусского фронта под командованием Жукова. Закончила войну она в Берлине в звании лейтенанта, при демобилизации расписалась на Рейхстаге. Неоднократно была награждена медалями и орденом. В 1943 году была награждена медалью «За храбрость», так как задержала шпиона, который при большом поступлении раненых пробрался на кухню и пытался бросить отраву в бак с питьевой водой и кастрюлю с пищей. Мама вернулась к нам в 1946 году после демобилизации.

Папа погиб в августе 1941 года в Брестской крепости.

Мой брат Исаченков Виктор Павлович до войны работал на машинно-тракторной станции, а в 1941 году в возрасте 15 лет ушел добровольцем на фронт. Он был зачислен механиком-водителем танка Т-34 и всю войну до ранения в 1934 году воевал танкистом.

После госпиталя воевал в пехоте и дошел до Берлина. В 1949 году демобилизовался и вернулся в Кассилю, где работал председателем ДОСААФ. Умер в 1992 году.

Я пошла учиться, но даже через несколько лет, поступив в медицинский институт, всегда стояла к аудитории неразорванной стороной лица. И до сих пор, если в метро слышу чистую гортанную немецкую речь, у меня начинает бешено биться сердце, я чувствую приступ страха, и мне хочется бежать прочь.

Записала Анастасия Соколовская

Летчик открыл по мне пулеметный огонь Костин Николай Ефремович, 25.04.1931 г. р

Я родился в деревне Шапково Бельского района Смоленской области. В мае 1941 года я окончил первый класс, а 22 июня началась война. Два брата и сестра сразу же были призваны в армию, и вскоре один брат погиб, второй пропал без вести.

> Четко и ясно запечатлились в моей памяти моменты, когда я шел огородами к другу, как вдруг из-за леса очень низко появился в воздухе немецкий самолет – «рама» и открыл по мне пулеметный огонь. Я упал, а пули свистели и падали рядом со мной. Чудом остался жив.

Осталось в душе такое, что не вылечило время, не зарубцевали годы. Видел не только взрывы бомб и снарядов, пулеметные очереди, кровь и смерть. Не забыть вой сирены, взрывы бомб от фашистской авиации и бой самолетов в небе. Четко и ясно запечатлились в моей памяти моменты, когда я шел огородами к другу, как вдруг из-за леса очень низко появился в воздухе немецкий самолет – «рама» и открыл по мне пулеметный огонь. Я упал, а пули свистели и падали рядом со мной. Чудом остался жив.

Людей угоняли в Германию. Мужчина-инвалид и женщина игнорировали это, и их посадили в баню, а через день утром баню с ними подорвали.

Стариков и детей из своих домов выгнали, и они вынуждены были вселиться в три дома, где были больные люди. Пришлось встречаться с немцами лицом к лицу. Большинство людей, в том числе и я с матерью и стариком-отцом, ушли в лес и находились там в течение двух недель, а немцы уже отступали, и им уже было не до нас. Из деревни в 98 дворов остался один вросший в землю заброшенный домик, который отстояли люди, оставшиеся в нем. Находясь в лесу, мы с напарником вышли на опушку и увидели, что по дороге шли и ехали наши солдаты. Мы подошли к ним и все объяснили. Они дождались нас, пока мы все выйдем из леса, посадили на тракторные сани, и, поскольку наша деревня выгорела, они отвезли нас в деревню Скобичеево, где дома были пусты, так как все население угнали немцы. Там мы и обосновались. Вот таким образом пришлось мне перенести все

тяготы и лишения военного времени.

В детском и подростковом возрасте наравне со взрослыми работал в колхозе «Пламя революции» до возобновления учебы в школе. Пришлось ежедневно трудиться в тылу для фронта и победы. Пахали в упряжке люди – вместо лошадок, крутили вручную молотилку, косили, и за этот труд в тылу я имею правительственную награду – медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Работали за трудодни, ничего на них не получая. В послевоенный период во время летних школьных каникул я не отдыхал (как современные школьники), а ежедневно трудился на разных работах до возобновления учебы в школе.

Я закончил школу в 1950 году, затем четыре года была учеба в техникуме, три года я служил в армии, потом снова учился. С 1958 по 1986 год работал в органах МВД.

Являюсь тружеником тыла, ветераном труда, инвалидом второй группы.

Наши солдаты часто отдавали нам свои пайки: чай, крупу, сахар
Алексеева (Ковшова) Алевтина Владимировна, 1937 г. р

Я родилась 25 ноября 1937 года. Когда началась война, мы жили в Яхроме, я была совсем маленькой, но некоторые эпизоды запомнила очень хорошо.

Помню, как мы провожали отца на войну, на фронт. Мы – это моя мама Варвара Дмитриевна, я, тогда еще малышка, две сестры папы – Сима и Люба. Шли пешком, отец часто брал меня на руки, а тети вели меня за руку. Так дошли мы до моста через канал имени Москвы, здесь силы меня совсем оставили, пришлось прощаться, дальше отца провожала мама, а мы втроем пошли назад.

Бабушка радовалась, что напекла пирогов, выпечка у нее получалась и красивая, и вкусная. Но тут вошел немецкий солдат и взял весь противень с пирогами себе. Бабушка заплакала, доказывая ему, что это для нас, детей, но ее слезы не дошли. Бабушке было очень обидно, а мы поняли, что такое враг.

О том, что фашисты уже в Яхроме, мы узнали очень быстро, людей совсем не было видно, все попрятались. Мы тогда жили в большой казарме. Фрицы вели себя развязано, как дома, им казалось, что все вокруг – их. Они ходили по казарме, как по своему дому, брали все, что им хотелось, особенно теплые вещи, ведь было уже холодно. Невозможно больно было смотреть, как взрослые мужики, одетые даже в женские вещи, завернулись в одеяла. Бабушка радовалась, что напекла пирогов, выпечка у нее получалась и красивая, и вкусная. Но тут вошел немецкий солдат и взял весь противень с пирогами себе. Бабушка заплакала, доказывая ему, что это для нас, детей, но ее слезы не дошли, оставить без еды маленьких детей – это для них в порядке вещей. Бабушке было очень обидно, а мы поняли, что такое враг.

А еще я помню деда Кузьму. Его не взяли в армию, так как ему было много лет. Он отвечал за то, чтобы не было видно освещения, то есть огня свечек, и еще он оповещал всех жителей казармы о том, что враг отошел, что можно выходить из подвала, где мы жили. Раз он подошел к окну, которое называли итальянским, оно было широкое, во всю стену, но тут ему попал в

глаз осколок. Дед лишился глаза, ведь сделать операцию было некому, что и говорить, ведь даже перевязочного материала не было. И через несколько дней дед умер. После него остались очень красивые сапожки, которые он сшил для меня, своей внучки, а обувь чинил для всех, кто в этом нуждался.

Оставаться в подвале казармы было опасно, а у бабушки брат жил недалеко от Деденево. У его семьи была красивая и просторная изба, и он нас принял. Помню дорогу, как мы ехали. Машину нам дали наши военные. Помню, что мы ехали дорогой в лесу, а над нами летели фашистские самолеты и старались расстрелять нас. А тетя и бабушка наклонялись над нами, стараясь закрыть нас, детей, своими телами. До сих пор помню рев этих фашистских самолетов. А из просторной избы немцы нас выгнали и поместили в какую-то маленькую комнатушку. Бабушка очень боялась за наши жизни, но эти немцы относились к нам нормально, один из них все показывал бабушке фотокарточку с изображением двоих детей, и все показывал, что это его дети, поэтому он жалел нас: мы напоминали ему его детей. Этот немец объяснял, что за ними идет карательный отряд, вот они-то и лютуют.

Бабушка очень боялась за наши жизни, но эти немцы относились к нам нормально, один из них все показывал бабушке фотокарточку с изображением двоих детей, и все показывал, что это его дети, поэтому он жалел нас: мы напоминали ему его детей. Этот немец объяснял, что за ними идет карательный отряд, вот они-то и лютуют.

Время шло, Яхрому освободили, и мы вернулись домой. Было очень холодно, здание казармы не отапливалось. Но не это было страшным. Кругом руины. Мы рано приучались к труду, ходили разбирать завалы, носили кирпичи – все, что осталось от Дома культуры, который построили перед самой войной.



Хорошо помню, что все мы хотели есть, мечтали о кусочке черного хлеба. Нас подкармливали наши солдаты, они давали нам «дурынду», то есть жмых, которым кормили лошадей. Мы ходили по полям, собирали мерзлую картошку, мыли ее и пекли «тошнотики». А в полях было очень грязно, ноги тонули в этой грязи, мы часто падали, не было сил. Наши солдаты часто отдавали нам свои пайки: чай, крупу, сахар. Женщины стирали им белье, а мы ходили на речку в любую погоду, чтобы его прополоскать.

Учились все хорошо, хотя и писали на газетах, тетради резали пополам и выдавали только тем, у кого все хорошо получалось. Учебников не хватало, был один на весь класс, и мы, занимаясь по нему, должны были уложиться в «расписание», ведь нельзя было подвести тех, кто за учебником приходил после тебя. Получить плохую оценку считалось предательством по отношению к Родине, к армии. Почти все из класса потом получили высшее образование. Я в их числе. Я проработала 53 года. Из них 50 лет работала учителем русского языка и литературы.

Учебников не хватало, был один на весь класс, и мы, занимаясь по нему, должны были уложиться в «расписание», ведь нельзя было подвести тех, кто за учебником приходил после тебя. Получить плохую оценку считалось предательством по отношению к Родине, к армии.

Очень жаль ребят, которые погибли, подорвавшись на минах, ведь их в лесу и в полях было очень много. Рассказывать об этом

времени тяжело, я всегда плачу.

Картошку мы ели только мелкую, крупную всю продавали
Постнова (Аргунова) Мария Васильевна, 1937 г. р

Я родилась 12 августа 1937 года в деревне Пруды Коммунистического района Московской области. Моих родителей звали Ольга и Семен. У них родилось четверо детей. Первые были двойняшки-девочки. Тогда по нашей стране, а это был 1933–1934 годы, ходила скарлатина. Много в то время умерло детей. И наши двойняшки по восьми месяцев тоже умерли. А потом родились брат Миша и я, в 1935-м и 1937 году. 1937-й – это год больших репрессий. Тогда взяли и наших родственников: моего дядю Андрея, отца. Точно мы не знаем, что там с ними сделали. Говорят, первое время они работали на лесоповале, а через шесть месяцев их не стало.

Мама осталась одна с нами двоими. Я только родилась, мне было в то время около одного месяца. Родители отца маме помогали нас растить. Правда, дедушка умер, но я не знаю когда. А вот бабушку помню, она умерла перед самой войной в возрасте шестидесяти лет. Дом их остался пустой.

Все, что там было: шкафы, стулья и еще какая мебель, фотографии, – мама оставила. Папины сёстры: тётя Сима и тётя Настя – уехали жить в Москву. Тётя Настя вышла замуж, а тётя Сима была очень набожной и замуж не выходила. Работала кондуктором в трамвае, а к старости прислуживала в церкви.

А как стали восстанавливать церкви уже в наше время, то Андрея, моего дядю, возвели в святые, так как он состоял в списках в церкви, а отца, видимо, в списках не было, его не возвели в святые. Хотя они одинаково страдали.

Когда отца забрали, мама очень долго по нему плакала. Она мне много рассказывала, какой он был хороший. Он был очень высокого роста, широкоплечий, сильный, красивый и очень добрый, жалостливый. Не только относился хорошо к своим близким, но и жалел всех нищих. А их в то время было очень много. Они ходили по деревням, собирали милостыню. Так вот папа каждого из них приглашал в дом. Накормит, бельё им сменит, их одежду бросит в печку, а свою отдает взамен и оставит ночевать. Детей он очень любил.

А перед самой войной к маме привязался Павел Поливанов. У него уже была семья своя, но там у них получился какой-то

разлад, и он привязался к маме. Она никак не соглашалась, а он знай своё. Так мама и приняла его в семью. Прожили они вместе всего десять месяцев, и началась война. Мне тогда шёл четвертый год. Я знала, что он чужой. Относилась к нему неласково. Жили мы в то время хорошо. Он работал в щёточной артели. Приносил мне щётки – брак. Я ими играла.

Перед войной – уже там где-то война шла – он выкопал в саду убежище от бомбёжки. Закопал в подполе хорошую мамину одежду и папину фотографию, увеличенную. Я помню, как он со мной прощался. Я сидела на печке, он подал мне руку, но я осталась на печке. Меня он никогда не обижал, но почему-то я никак не могла к нему привыкнуть. Он мне сказал: «Береги свою маму». И ушёл.

Перед тем как немцам войти в нашу деревню, у мамы было хозяйство. У нас была коза. Был маленький поросёнок, он был в поросячьем садочке в доме. А большого поросёнка только зарезали, даже ещё мясо не разрублено было. Кур было много, мама забрала и бабушкиных кур себе перед самым приходом немцев.

Немцы шли от Клина по направлению к Рогачёво и от Покровской деревни напрямик к нам в деревню Пруды. Летели самолёты, бомбили. Мы в это время сидели в убежище. Там места было много, и к нам пришли соседи. Там были и постели. Когда бомбёжка затихла, мы решили выйти и погреться сходить домой. А наши солдаты в это время вели перестрелку с немцами. Наши отступали в то время. Стреляли совсем рядом с убежищем. Потом немного затихло, мы вышли посмотреть, около яблони валялось много гильз, а солдат, который стрелял, убежал. Мы озябли и решили сходить домой погреться. Было начало декабря. А стрельба продолжалась.

> Пришли домой, залезли на печку. Вдруг мама вбегает и кричит, слезайте быстрее, одевайтесь теплее и бегите на улицу, мы горим. Немецкие солдаты бегали с факелами, бросали в каждый дом и убегали.
>
> У кого дети были повзрослее, те сами затушили, но не многие.

Пришли домой, залезли на печку. Вдруг мама вбегает и кричит, слезайте быстрее, одевайтесь теплее и бегите на улицу, мы горим. Солдаты бегали с факелами, бросали в каждый дом и убегали. У кого дети были повзрослее, тушили эти факелы, кто мог, сами затушили, но не многие. А у нас на дворе было сено, факел бросили в сено, и сразу всё вспыхнуло. Мама на двор выскочила, стала козу отвязывать, никак не получается,

попросила солдата, он тоже подёргал-подёргал – никак и убежал. А дом вовсю уже горит. Мама сунула буханку хлеба в мешочек и дала Мишке-брату, ему тогда было шесть лет.

Мама кричит нам: «Бегите от дома!» – а мы: «Куда бежать?» «Бегите за народом, а я немного соберу белья с собой». Но мы от дома никуда не бежали, мы плакали, звали маму, боялись, что она там сгорит. Так мама почти ничего не могла собрать. И мы все трое побежали за народом. А народ весь бежал за нашими солдатами. Они отступали, отстреливались и бежали по направлению к деревне Аревское. Там был овраг. Они нас к оврагу не допустили, овраг был заминирован, чтобы немцы подорвались. А в это время шла перестрелка. Пули так и летели мимо нас и над нами. И, что странно, ни одного в этот момент не убило нас, деревенских. Солдаты и немцы падали, а мы вернулись в деревню обратно, дома горят, куда деваться, стреляют. А в другой стороне около леса было картофельное хранилище, оно было под землей. Мы все пошли туда и ждали, сидели с лампами. Собралась вся деревня там. Сколько мы там сидели, я не помню. А когда всё стихло, мы все вышли.

Наша слобода вся дымилась после пожара, много домов сгорело. Стали думать, куда идти. Люди стали забирать тех, кто остался без дома. Нас взяли Степновы, а у них у самих было трое или четверо детей, да нас с мамой трое. Тётя Поля с нами делилась чем могла. Прожили мы у неё немного, и пришла к нам тётя Маня, сестра моего отчима. Она позвала нас к себе. А избушка у неё в деревне была самая маленькая, с одним окошком. И у неё уже поселились немцы. У неё был сын лет тринадцати да нас трое. И мы все спали на печке. А немцы все спали на полу, на соломе да на кровати. До войны света в деревне не было. Были керосиновые лампы. На дворе у них немцы хранили оружие и боеприпасы. В туалет надо было ходить на улицу. А в то время был сильный мороз, был декабрь. Однажды ночью мне захотелось в туалет, а мама велит терпеть. В избе темно, на полу спят немцы – как идти? Я своё. Полезли тихонько с печки. Мама тихонько идёт, меня ведёт, а на руки взять меня не могла, она ходила последние дни беременная третьим ребёнком. Я, как ни старалась тихо пробраться, наступила одному на голову, а он спросонья: «Матка шпать!» Мы перепугались, но всё обошлось, вернулись благополучно.

> Потом у мамы родился третий ребёнок, Александр, Шурка. Немцев попросили выйти, тётя Маня роды принимала. Немцы ее послушались и вышли.

Как-то был такой случай. Я раскапризничалась, никак не

успокоюсь, немец мне дал долю хлеба с тушёнкой, а я его бросила. Тогда немец меня кнутом успокоил. Я залезла на печку и умолкла.

Это были простые немецкие солдаты, среди них тоже были «люди». А карательный отряд шёл от Клина сзади, но они к нам не попали. Говорят, их разгромили в Пенском лесу партизаны. От Воронино до Доршево большой дремучий лес. Там были партизаны, они их и уничтожили. Так у нас говорили.

Потом у мамы родился третий ребёнок, Александр, Шурка. Это всё происходило в этом доме. Немцев попросили выйти, тётя Маня принимала. Они послушались и вышли. Когда я рассказываю это, то мне говорят, что немцы какие-то были у вас хорошие. У них начальник был хороший, они его слушались.

Бабушкин дом был до немцев пустой, его тоже поджигали, но он не загорелся. Там тоже поселились немцы. Мы с мамой однажды пошли посмотреть, в каком он состоянии. Мама держала в одеяльце Сашку на руках, и мы с ней.

Вошли в избу, немцы сидели вокруг печки, стёкла были некоторые побиты. На полу валялись пачки от сигарет, я хотела взять одну, они были красивые, но мама меня заругала. И мы тут же вышли.

Немцы прожили в нашей деревне две недели, они ушли, наверное, числа 20 декабря, потому что Сашка родился 15 декабря, они были еще здесь.

Наши пришли в деревню ночью, когда все спали. Немцы выскочили, почти не одевшись, не успели отстреляться и убежали.

Мы все проснулись, вышли к нашим солдатам и плакали от радости.

Пока немцы жили в нашей деревне, конечно, у кого что было из еды, всё отобрали. Осталось из еды только то, что сохранилось. У нас была зарыта картошка. Мама откопала картошку и одежду свою, а нам надеть было нечего. У кого дом не сгорел, те с нами поделились, всё нам дали из одежды. И мы пришли в бабушкин дом. Там было грязно, стекла побиты некоторые. Мебели никакой не было, всё немцы сожгли в печке, грелись. Всё, что горело, всё сожгли.



Мария слева

Сожгли стену, которая отделяла двор от коридора. Только осталось два стола в каждой избе и по одному деревянному дивану. Диван – это лавка со спинкой. В этом доме было две избы. Поселились в доме две семьи. В передней тётя Лена с дядей Сашей, а мы в другой избе.

В нашей была большая русская печка, где мы первое время все спали.

Пол был грязный. Мама начала мыть, он тут же покрывался льдом, был сильный мороз, окна некоторые побиты. Потом мама кое-что нашла: карточки, доски и заколотила, где не было стёкол. Мы сходили в лес, привезли на салазках дров и истопили печку, но тепла надолго не хватало. Так мы и спали на печке, все четверо. Мылись в печке, и маленького Сашку мама тоже мыла в печке.

Мама с утра до вечера уходила в колхоз на работу. Колхоз наш в то время назывался «Гудок». Потому что у нас была сирена.

Она гудела, когда идти на работу, на обед, с обеда и вечером с работы, на сбор – на собрание.

К весне всё кончилось. Пока шла война, на колхозы давали план, всё для фронта, а себе оставалось мало. Давали на один трудодень несколько граммов хлеба или картошки на человека. В то время голодали. Мы весной, ребятишки, ходили по картофельным полям, собирали гнилой картофель, но они уже были засеяны, поэтому нас гоняли с собакой. Всё равно мы набирали. Мама пекла драники. Масла не было, и они прилипали к сковороде, получались комки. Маленький Сашка бегает, прибегает опять за стол, а драники кончились. Он говорит: «Мама, напеки опять таких комков».

Мама пекла драники. Масла не было и они прилипали к сковороде, получались комки. Маленький Сашка бегает, прибегает опять за стол, а драники кончились. Он говорит: «Мама, напеки опять таких комков».

В колхозе во время войны лошадей не было, а про тракторы вообще слуху не было. Было в колхозе два быка, вот на них работали. Маме прикрепили Яшку. Она на нём пахала, бороновала, а также, когда надо было подвезти, запрягали в телегу. Но иногда приходилось и делать что-то вручную. Например, навоз на поля возили на салазках, собирали по деревне: навоз, золу и возили в поле, даже приходилось всё делать вручную, копать кое-где землю и лопатами. Мама целыми днями на работе, мы одни дома на печке. Прибежит в обед, нас накормит, и опять надо бежать на работу. Мы были дома одни. Один раз мама бороновала поле на Яшке. А быки-то – они упрямые. Вот, если он устанет, хоть убей, будет стоять, не пойдёт. Однажды был такой случай. Мама понукает, а он встал как вкопанный и никак не идёт. Мама говорит: «Ну отдохни и я отдохну» – легла на борону и уснула. Бык стоит, мама спит. А поле от деревни всё на виду. Бригадиром была женщина Вера. Что не посмотрит, бык стоит, мама спит. Проснулась она к вечеру, перепугалась, что ее будут ругать. Пришла к Вере, рассказала, а она всё видела и про себя сказала: «Пусть поспит». Маму она не ругала.

Потом, на следующий год, картошка на своём участке выросла хорошая. Возили в Москву всей деревней, кто сколько мешков, продали, и мама купила козлёночка маленького за 1000 рублей, чтобы вырастить козу. А картошку мы ели только мелкую, крупную всю продавали. Хлеб мама пекла свой. Чистили эту мелкую картошку, мешали с мукой, и получался очень вкусный хлеб. Приходила к нам в дом соседняя девочка Тася, она была моложе меня на два года. А у тёти Лены, которая жила в соседней

избе, была картошка крупная. Так Тася к ней подходила и просила картошки крупной. Она говорила: «Валенушка, дай картошинки». Та ей давала. А мне тоже хотелось крупной картошки, но я не смела просить, сама она мне не давала. Но она очень любила маленького Шурочку. Его подкармливала и иногда помогала мне следить за ним. У них детей не было. Был один сын Володя. Прислали извещение, что пропал без вести. Так они остались одни. Вот она привязалась к нашему Шурику.

Когда он был совсем маленький, не умел ходить, открыли ясли в соседнем доме. Мама его носила туда. Однажды тётя Лена пошла днём его навестить. Попросила на него посмотреть, ведь она его очень любила, а няньки сказали, что дети после обеда все спят, и ушли.

А тёте Лене не пронялось, она решила посмотреть, как он спит. Подошла к двери тихонько, заглянула, а он ползает под кроватками в одной распашонке. Тётя Лена давай ругать их. А они ей объяснили так, что, мол, наша мама очень бедная, ей тяжело и так, лучше он пусть умрёт. С тех пор он стал болеть, болел долго, был совсем плохой, но не умирал. Была какая-то бабка. Мама сходила к ней, всё рассказала. Она дала совет. Нарвать какой-то травы, искупать в этой траве и вылить или утром, или вечером, не помню. Вылить на дорогу. Или быстро умрёт, или выздоровеет. Мама так и сделала. Сашка пошёл на поправку, ноги были застужены, и он не ходил до трех лет. Я за ним всё время ухаживала, даже в школу в семь лет не пустила меня мама, пошла только с восьми лет, когда он начал ходить, тогда с ним оставалась тётя Лена, пока я не приду из школы.

Потом маме пришло извещение, что ее Павел погиб под Курском. Мы тогда с ней обе сильно плакали. Так мама осталась одна с нами троими.

Потом козочка подросла, стало у нас уже две козы, ягнята, купили поросенка, обзавелись курами. Гусей мама выращивала на сдачу в государство, эта обязанность была сдать столько-то мяса, яиц, у кого корова – молока. Стали поживать лучше.

Война кончилась. В деревне мало пришло мужиков, все погибли.

Во время войны вся работа была на плечах женщин, и после войны опять лежало всё на женщинах. Косили, жали, молотили первое время всё руками.

Потом, после войны, дали лошадей. Стали делать всё на лошадях. Появилась молотилка, но света-то не было. Лошади крутили круг, ходили по кругу четыре лошади, и молотилка молотила зерно.



Потом, уже позднее, после войны, появился трактор, жали и косили где можно на лошадях, а где простой косой. Везде было чисто, никаких зарослей не было. У всех была скотина, мы, дети, ходили за травой в лес (в деревне травы не хватало всем), а также за крапивой. Поросят кормили крапивой, немного картошкой и травой. Хорошие поросята вырастали. Жизнь стала налаживаться.

Я закончила семь классов, потом ещё вечернюю школу. Работала на термометровом заводе в Клину. После вечерней школы, пошла в педагогический класс в Клину. По окончании стала работать учительницей начальных классов во внуковской школе, потом перешла работать в семеновскую школу. Затем вышла замуж в Александрово за Постнова Александра Ивановича и стала работать в александровской школе до 1986 года, пока школу не закрыли. Потом до пенсии работала на ферме помощником бригадира.

У меня есть сын и дочь, две внучки, двое правнуков.

Я шла домой и плясала от радости
Барбина Светлана Николаевна, 1937 г. р

О военных годах вспоминать очень тяжело, кругом было очень много горя, несчастья, крови, болезней и смертей. Когда началась война, мне было всего 4 года. Но, несмотря на такой маленький возраст, запомнилось многое. Жили мы в деревне Починки, что недалеко от Яхромы. До войны мой папа был инженером-строителем, мама – экономистом на ткацкой фабрике, бабушка – ткачихой. Один дедушка Сергей был крестьянином, что нам и помогло в годы войны не бедствовать. Другой дедушка был помощником мастера на фабрике. Помню, как во время вспашки земли меня однажды посадили на лошадь, а я, маленькая и нескладная, свалилась с лошади. Плакала я или нет, не помню.

> Когда началась война, самым ярким воспоминанием стало то, как плакала мама, провожая отца на фронт. Я не могла понять, почему она плачет, ведь все у нас в семье было хорошо. Отец на фронт ушел добровольцем, как и многие.

Когда началась война, самым ярким воспоминанием стало то, как плакала мама, провожая отца на фронт. Я не могла понять, почему она плачет, ведь все у нас в семье было хорошо. Отец на фронт ушел добровольцем, как и многие.

Во время оккупации фашистами Яхромы мы с мамой перебрались в казарму к бабушке. Никогда из моей памяти не уйдут картины ужаса от того, как нас с мамой расстреливал немецкий летчик, а нам и спрятаться было некуда, ведь мы были в пустом поле. Мы убежали в казарму к бабушке.

Я была маленькая, и домашними делами меня не нагружали, и поэтому у меня было много свободного времени. (Когда мне исполнилось пять лет, чтобы я не бездельничала, бабушка научила меня вязать платки.) Что делать маленькой девочке в казарме? Конечно, гулять по длинным пустым коридорам. Пустым, так как все взрослые дети помогали родителям по дому, каждый имел свои обязанности. Однажды во время такой прогулки я увидела в коридоре у окна красноармейца с пулеметом. Это я потом узнала, что это пулемет, а тогда я просто и не думала, что он там делает. Солдат приказал мне уйти из коридора и спрятаться в комнате. А на следующий день по казарме шли разговоры, что в кустарнике у нашего дома нашли застреленного немецкого солдата.

Скоро в городе начался голод. Но в нашей семье на столе всегда была еда. Деликатесов никаких, конечно, не было. Но у бабушки и дедушки было свое хозяйство, они держали овец, коз, был огород, поэтому их семья не голодала. Запомнилась коза, худая и безрогая. Рога ей обрезали, чтобы не бодалась. Но безрогие козы молоко не дают, и, куда ее бабушка дела, я так и не узнала. Только теперь я предполагаю, что ее зарезали, и мы ели ее мясо. Но с хлебом было очень плохо, поэтому мать, как и многие яхромчане, меняла фабричную ткань на хлеб, а за ним приходилось ездить и ходить по деревням.

Во время войны умер дедушка. Он очень меня любил, был добрым, ласковым и внимательным. Именно он сделал мне самые первые лыжи, из досок кадки. Санки у меня тоже были самодельные, сделанные отцом до войны.

> Хоть я была и маленькая, но бабушка приучала меня к домашним делам. Отец – на фронте, дедушка – умер, и я стала помощницей бабушке при пилении дров. Дрова были необходимы, так как комнаты во время оккупации не отапливались.

Хоть я была и маленькая, но бабушка приучала меня к домашним делам. Отец – на фронте, дедушка – умер, и я стала помощницей бабушке при пилении дров. Дрова были необходимы, так как комнаты во время оккупации не отапливались.

В Яхроме был такой отдел по снабжению рабочих – ОРС, который учитывал каждого живущего в городе и каждого работающего. Именно эта организация и выдавала карточки на паек, каждому рабочему – свой паек. От чего он зависел, никто не знал. После изгнания фашистов из Яхромы жители города стали в магазине получать продукты питания по карточкам. Давали хлеб, но очень мало, крупу и растительное масло. В нашем городе было много людей татарской национальности, поэтому им выдавали конину.

В школу я пошла в 8 лет, уже умела читать, читала дедушке газеты, а научила меня читать тоже бабушка. Училась в починковской школе. В классах было очень холодно, случалось и такое, что чернила в чернильницах-«непроливайках» замерзали, тогда мы писали карандашами. Чтобы в классах было чуть-чуть потеплее, учителям приходилось топить печки в каждой классной комнате. Детей в классах было очень много, более 40 человек. Учителей не хватало: кто еще на фронте, кто погиб.

Помню, как стояли в очередях в школьный буфет, чтобы купить пирожок, а стоили они всего 5 копеек.

Учебники покупали сами, у каждого ученика был свой учебник. У кого не было денег купить учебники, в школе выдавали старые, подержанные.

В свою деревню моя семья вернулась лишь после окончания войны. Я всю дорогу домой шла и плясала от радости.

Самое тяжелое воспоминание – это когда мама получила известие, что отец пропал без вести. Потом мама и бабушка узнали, что это ошибка, он находился в военном госпитале в Москве. У него было тяжелое ранение, его комиссовали, и он вернулся домой.

Мы думали, что карточки вводят ненадолго
Долинина Надежда Андреевна, 1929 г. р

Две даты в своей жизни я помню всю свою жизнь и считаю их самыми главными в своей жизни. Эти два дня стоят в моих глазах, как будто это произошло только вчера. Первый день – день начала войны – 22 июня 1941 года, а второй день – день долгожданной Великой Победы – 9 мая 1945 года.

Когда началась война, мы жили в городе Яхрома Московской области. Мне было 12 лет, это достаточно взрослый возраст, чтобы все помнить и правильно понимать все происходящее. 22 июня у всех было радостное настроение – воскресенье, погода великолепная: солнечная, светлая, теплая. И вдруг как молния среди солнечного дня – по радио прозвучало страшное слово «война». Куда делось солнышко? Как будто черная туча закрыла его. На улице стоял плач женщин – матерей, они знали, что такое война. А глядя на своих мам, и мы, детвора, начинали плакать, не понимая, от чего они плакали. И с этого дня началась совершенно другая жизнь.

С прилавков магазинов мгновенно исчезли нехитрые продукты: соль, сахар, мука, хозяйственное мыло и многое другое, без чего мы не знаем как жить. Чтобы купить хлеб, необходимо было выстоять длинные-длинные очереди. В этих очередях стояли мы, дети, так как родители работали, да и по дому было у всех хозяек множество дел. Вскоре ввели продуктовые карточки с нормой на все продукты. Думали – ненадолго, а оказалось – на долгих 7 лет. Карточки отменили только в декабре 1947 года.

А в Яхроме, как и во всей нашей стране, начались военные будни.

1 сентября мы, конечно, в школу не пошли. Школу переделали под госпиталь, а нас, детвору, ежедневно направляли на работу, которой прибавилось в городе. На наши плечи легла ответственность и за сенокос, за сушку сена.

Мало кто из детей сегодня знает, что косить сено можно только очень рано утром, пока оно влажное от росы, а значит, нас родители поднимали ни свет ни заря. Вставать было очень трудно, но слово «необходимо» постепенно входило в нашу – детскую – жизнь. Намного легче, да и приятнее было его сушить, то есть ворошить несколько раз в день. Эту работу мы любили,

так как можно было и пошалить, и побаловать, да и вздремнуть на сене под солнышком. Также мы должны были заниматься сбором семян клевера. Намного труднее было работать на колхозном поле на уборке картофеля, свеклы, моркови и других овощей. Приходилось работать в любую погоду, так как по радио все тревожнее становились новости о продвижении фашистов. Урожай необходимо было убрать, и дети, а тем более взрослые понимали, что он будет необходим зимой, когда будет и холодно и голодно. И как будто в воду глядели. А взрослые после отработки смены на фабрике копали вокруг города противотанковые рвы, или, как говорили, – окопы.

Зима в 1941 году наступила ранняя, и снег выпал уже в 20-х числах ноября. А зима была настоящая, русская: снежная и морозная.

Враг в Яхрому пришел в ночь с 27 на 28 ноября 1941 года. Немцев никто не ждал, мы надеялись, что наступление пройдет мимо нашего небольшего городка. Надежды не оправдвались. Враги ринулись на восточный берег канала. Они заняли Красный Поселок и южную часть Перемилова, но наши их быстро оттуда выбили, после чего спустили воду в канале и взорвали мост. Это стало непреодолимой преградой для фашистских танков. Путь армии фашистов на восточный берег был отрезан. А над Яхромой и днем и ночью гремели артиллерийские выстрелы и взрывы. Нам было и очень страшно, и очень любопытно: что происходит в городе?

Страшное воспоминание вызывает пожар на фабрике, которую фашисты разбомбили в первый же день. Над городом стояла черная пелена от горевшего хлопка. На самой территории фабрики нашла свое пристанище военная техника фашистов. В эти дни за наш город шли ожесточенные бои, было много пожаров и разрушений.

Перед вступлением фашистов моя семья выкопала в огороде землянку, думали там пересидеть фронт. Но в своей землянке мы смогли просидеть только два дня: на дворе лютые морозы, и в землянке было очень холодно, поэтому на третьи сутки перебрались в подвалы Троицкого собора, где уже пряталось от фашистов пол-Яхромы. До войны там был овощной склад, и овощей немного осталось, что помогало нам от голода. А еще в подвале были печки, что спасало от холода, в отличие от нашей землянки. Печки можно было топить только по ночам, чтоб не так сильно было бы видно дым из трубы, который мог стать хорошим ориентиром для бомбежки. В подвале церкви было очень тесно, но никто не был в обиде, так как все понимали, что это единственное безопасное место в городе, а выжить хотелось всем.

Печки можно было топить только по ночам, чтоб не так сильно было бы видно дым из трубы, который мог стать хорошим ориентиром для бомбежки.

Там же, в подвале, спасался известный и любимый в Яхроме доктор, Коняров Петр Захарович. «Спасался» – сильно сказано. Спасающийся человек не может организовать подпольный госпиталь, а Петр Захарович отгородил угол простынкой и создал операционную, где проводил операции и раненым красноармейцам, которых приходилось прятать от глаз неприятеля, и яхромчанам, попавшим под обстрелы. Чаще всего ему приходилось спасать мальчишек, которые получали ранения из-за своего любопытства и лезли туда, куда не нужно было совать нос. Светлая ему память. Он на все времена остался в памяти всех жителей нашего маленького городка – Яхромы. В память о нем одна из улиц города названа его именем. Улица Конярова.

Были ранены и мои два двоюродных брата, один из них, Сергей, 1925 года рождения, через две недели после освобождения Яхромы умер. Взрослые переживали за сохранность наших домов, а мы, ребятня, и в этих тяжелых условиях находили себе детские занятия – играли. Но вспоминать эти «счастливые» дни очень тяжело, так как на наших глазах умирали и взрослые, и дети, получившие ранения в городе. А каждая смерть – это горе и слезы.

Яхрому освободили 5–6 декабря 1941 года силами Первой ударной армии – «сибиряки», как их тогда называли яхромчане. 7 декабря мы возвратились в свой дом и были очень рады, что он ничуть не пострадал, за исключением выбитых окон, а ведь некоторые дома были разграблены и загажены. Первым делом мы выгребли весь мусор из дома, залатали, чем могли, разбитые окна, затопили печку и выкопали спрятанную в погребе картошку, наварили ее и были до крайности рады, что остались живы.

О хлебе мы даже не мечтали, так как знали, что его в магазине нет, и его не выдавали нам две недели. Яхромчане спасались от голода тем, что накопали при уборке урожая. Но все же много людей умирало, особенно грудных детей, от дизентерии. Потом мы получили зерном рожь. Зерно парили и ели вместо каши. Животы надувало, а чувство голода не проходило.

Яхромчане спасались от голода тем, что накопали при уборке урожая. Но все же много людей умирало, особенно грудных детей, от дизентерии.

Потом мы получили зерном рожь. Зерно парили и

ели вместо каши. Животы надувало, а чувство голода не проходило.

И начались тяжелые военные будни: работа для фронта и на колхозных полях, и на разборах завалов на фабрике, оставшихся после ухода фашистов. Нам, детям, поручили собирать валявшееся на улицах трофейное оружие, но предупредили, что мы должны быть очень осторожными.

Вспоминается бесконечное чувство голода. Весной 1942 года мы остались с мамой вдвоем, старшие сестры уехали работать, брата мобилизовали на торфяные работы и увезли под Ленинград. Отец пропал без вести. Поиски дров для печки легли на мои плечи, а это значит – ежедневный поход в лес в поисках валявшейся древесины. Еще тяжелее была работа на огородах: весной – копка его и посадка овощей, летом – уход за посаженными овощами, осенью – уборка урожая. Так мы жили все суровые военные годы, постепенно из детей превращаясь в настоящих взрослых помощников своим родителям, мы видели, насколько был тяжел их труд по восстановлению яхромской фабрики. Но детство есть детство: хотелось и поиграть с друзьями, встречаться с ними. И на это мы находили время.

И вот еще один день, который никогда не изгладится из моей памяти, – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. И снова слезы. Слезы у всех. Одни плакали от радости, что остались живы, что дождались с фронта своих близких и родных. У других – слезы горя: у кого – сын, у кого – муж, у третьих – братья не вернулись с фронта, погибли от рук фашистов или пропали без вести.

И тем не менее нельзя выразить словами всю радость и ликование людей, узнавших о победе. Еще несколько лет наша жизнь была не из легких, но мы знали, что мы – победители и что пришло время все заново построить и восстановить все разрушенное. Но это была уже радостная работа – восстановление города и фабрики, восстановление работы колхоза, восстановление школ, о которых мы мечтали все военные годы.

От тифа нас лечили наши солдаты
Яковлева (Караник) Ольга Владимировна, 8 января 1940 г. р

Я родилась в деревне Обухово, Дриссенский (Верхнедвинский) район, Витебская обл. Мне было полтора года, когда началась Великая Отечественная война. На второй день войны мой папа Караник Владимир Игнатьевич, 1908 г. р., ушел на фронт. Наша мама Караник Екатерина Николаевна осталась со мной и моим братом Володей и со своим престарелым отцом, которому было 75 лет, моим дедушкой.

Когда папа уходил на фронт, он сказал маме: «Уезжай в лес с детьми». И вот до 1943 года мы жили в деревне Обухово, но немцы уже полностью были в Белоруссии. Вовремя уехали мы в лес, а тетя Лена, наша родственница, еще осталась.

> Очень хотелось есть, хлеба не было. Мама наварит травы, говорит: «Закройте глаза, кушайте и думайте, что это хлеб».

И вот в феврале месяце немцы порезали овец, какие были в сарае, туда загнали 75 человек, облили сарай керосином и сожгли вместе со всеми, кто остался в деревне. Сейчас на этом месте стоит памятник захоронения.

Ну вот я, брат Володя, дедушка и мама были в землянке в лесу. Землянку нельзя было топить. Как показывался дым через деревья, нас несколько раз бомбили, и мы оставались ни с чем.

Голод, холод, без еды… Так мы дожили до августа 1944 года, а из лесу мы выползали полуживые, так как там мы все заболели тифом. И всех нас нашли немцы, то есть всех нас было 20 человек. Загнали в маленькую 10-метровую комнату, напустили на нас собак. Они искали партизан. Я только хорошо помню мамин крик: «Детки, не открывайте глазки!» – так как они разбили окна. Но в этот момент наша армия освободила город Дриссу – сейчас Верхнедвинск, – и нас лечили наши солдаты от тифа.

И вот наша хата осталась наполовину цела. И начался ужасный голод. Не было хлеба, то есть одна трава. Мы ходили, собирали лебеду, мокрицу, что попадалось. Но пришла беда. Дедушка – ему было 75 лет – умер от тифа. Я окончательно свалилась, так как от тифа у меня отказали ноги, я не стала ходить. Мне было 5 лет, но эти страшные муки я хорошо помню.

Моя мама в большой мешок насыпала муравейник и надевала мне на ноги. Муравьи меня очень кусали, но от этого я стала ходить. Очень хотелось есть, хлеба не было. Мама наварит травы, говорит: «Закройте глаза, кушайте и думайте, что это хлеб».



Здесь захоронено 75 граждан деревни Обухово. Вечная им память

Холод, голод, нищета, обуви не было, и, когда сошел снег, по проталинам мы ходили в школу босиком с 1-го по 4-й класс, все разного возраста. А вот с 4-го по 7-й класс нужно было ходить 7 км каждый день пешком туда и обратно. Самое тяжелое было зимой, когда дорога занесена снегом и сильный мороз до минус 35 градусов.

Но в 1945 году, в июле, пришел папа с войны, тяжело был ранен в грудь и до июля 1945-го был в госпитале. А в этот день – мне никогда не забыть – папа идет, а мы у дороги собирали какие-то палочки, чтобы растопить печь, и спрашивает нас: «Детки, чьи вы будете?» Я сказала: «Мамины». Пришли в дом, а этот солдат стоит с мамой во дворе.

И у него долго не заживали раны.

А мы, дети войны, начинали летом помогать, то есть с девятилетнего возраста я выполняла посильные работы.

Мне сейчас 74 года, я понемногу работаю. Тружусь на одном месте уже 41-й год. Муж умер 20 лет назад, сыну 48 лет, двое внуков.

Дети в плену

Дети – остарбайтеры

Считается, что если объявить минуту молчания в память о каждом погибшем в годы Второй мировой нашем соотечественнике, то мы бы молчали 32 года подряд. Трагедия тех лет не только в цифрах – она заключена в биографии каждого, кого коснулась война. И в этом огромном списке не только солдаты и офицеры, но и мирные люди, которых затянули шестеренки войны.

С 1942 по 1944 год немецкие оккупационные власти отправляли советских граждан на принудительные работы в Германию. Решение об этом было принято еще в ноябре 1941 года, когда стало ясно, что идея блицкрига провалена. Рабочих рук не хватало из-за мобилизации – для спасения экономики рейха было принято решение использовать труд людей, живущих на оккупированных территориях. В январе 42-го была поставлена задача – вывезти на принудительные работы в Германию 15 миллионов рабочих из СССР.

Вопрос решался при помощи добровольно-принудительных методов. К последним относились облавы, которые проводили немецкая армия и полиция. Уже в феврале 1942 года еженедельно в Германию уезжало от восьми до десяти тысяч советских граждан. Всего же на принудительные работы было отправлено 7 миллионов 600 тысяч человек (они обеспечивали примерно четверть всей экономической и производительной мощи рейха). Из них порядка двух миллионов человек были военнопленными. После войны в СССР вернулись 5 с половиной миллионов, эмигрантами стали 450 тысяч человек. Остальные умерли на территории Германии.

От $^{2}/_{3}$ до $^{3}/_{4}$ всех остарбайтеров были украинцами. Кроме того, около 400 тысяч белорусов было вывезено в Германию. Каждый третий остарбайтер был подростком в возрасте от 12 до 14 лет, а к ноябрю 1943 года на работу в Германию стали угонять и 10-летних.

Доля женщин среди остарбайтеров была несколько выше доли мужчин. Они были заняты на работах в области сельскохозяйственного производства, добычи полезных ископаемых, производства оружия, металлопродукции и на железнодорожных работах. Производительность мужчины-остарбайте-ра приравнивалась к 60–80 % от производительности немецкого работника, производительность женщины достигала 90—100 % от немецкого «эквивалента».

Среди иностранных рабочих германское руководство создало

систему различий в соответствии с иерархией национальностей, принятых в Третьем рейхе.

На первом месте стояли «фремдарбайтеры» (нем. *Fremdarbeiter – «иностранный работник»)* – рабочие из стран Скандинавии и Италии.

Затем шли «цвангсарбайтеры» (нем. *Zwangsarbeiter – «принуждённый работник»),* эта категория делилась на две группы: «милитэринтернирте» (нем. *Militarinternierte – «военно-интернированный»)* – в основном, военнопленные из стран Европы и «цивильарбайтеры» (нем. *Zivilarbeiter – «<гражданский работник»*) – в основном, поляки, угнанные на принудительные работы. Люди из этой категории получали уменьшенный паёк и оплату труда; вынуждены были работать дольше, чем немцы. Они не могли пользоваться общественными социальными удобствами и присутствовать на общественных собраниях и в общественных местах (начиная от запрета на пользование транспортом до закрытых для них ресторанов и церквей). Гражданским работникам было запрещено занимать определённые должности; они также обязаны были носить нашивку-обозначение.

Третья категория – это «остарбайтеры» (нем. *Ostarbeiter* – «восточный работник») – были, в большинстве своём, вывезены с территории оккупированной Украины. Их обязывали носить нашивку темно-голубого и белого цвета с надписью «OST» (нем. *«<Восток»),* а условия их существования были гораздо более жестокими, по сравнению даже с «гражданскими работниками». Они жили под охраной в специальных лагерях, обнесённых колючей проволокой. Автором термина «остарбайтер» был Герман Геринг.

Поначалу немецкие оккупационные власти рекрутировали добровольцев. Листовки обещали не только хорошее питание, но и жилищные условия, зарплату и гарантию семьям. В итоге первые поезда отправлялись переполненными. Однако оказалось, что уезжающих ждут нечеловеческие условия труда – и кампания по поиску добровольных работников потеряла всякую эффективность. Процесс приобрел характер силовых угонов. Для облав использовались массовые мероприятия – угоняли тех, кто приходил на церковные службы или спортивные состязания.

Рейхскомиссар Украины Эрих Кох получил приказ – обеспечить приток с территории решублики 450 тысяч работников в год любым методом. Во всех главных украинских городах немецкая армия захватывала на улицах молодых людей и девушек и отправляла их в Германию. 3 сентября 1942 года Адольф Гитлер отдал приказ привезти в рейх 500 тысяч украинок для того, чтобы освободить от ведения домашнего хозяйства

германских женщин.

В Германии остарбайтеры жили в лагерях двух типов. Первый – это частные лагеря при заводах и фабриках, построенных и содержавшихся на деньги компаний, таких как «Хейнкель» или «Опель». Работа длилась 12 часов в день, 6 дней в неделю. Второй тип – это специальные лагеря, охранявшиеся частными охранными структурами, известными как *«веркшутц»* (нем. *Werkschutz)*. Работа также длилась 12 часов в день, 6 дней в неделю.

Труд оплачивался по втрое меньшим ставкам, чем получали немецкие рабочие. Оплата была рассчитана таким образом, чтобы её хватало только на скудное питание, одежду и предметы первой необходимости. В основном деньги не доходили до своих законных получателей, а уходили на покрытие затрат по питанию, содержанию лагерей и т. д. С введением в Германии карточной системы полученные деньги потеряли для остарбайтеров всякую ценность. Многие источники утверждают, что во многих случаях компании не оплачивали труд остарбайтеров и «гражданских работников» вообще.

Те, кому всё же платили, получали свою оплату специально отпечатанными бумажными деньгами или в форме марок, похожих на почтовые, на которые можно было приобрести только ограниченное количество товаров, и только в специальных магазинах при лагерях. Законодательно немецкое правительство установило данной категории работников худшие условия питания по сравнению со всеми остальными группами принуждённых работников рейха. Голодный рацион и примитивные условия содержания являлись стандартом жизни остарбайтеров в нацистской Германии.

Остарбайтеры были ограничены в своей свободе передвижения и в выборе места пребывания, им запрещено было вступать в половые контакты с немцами. Они могли подвергаться побоям и издевательствам или даже быть убиты с минимальными последствиями для совершавших это немцев. Остарбайтеров, пытавшихся бежать, убивали, оставляя «в назидание» труп убитого. Оставление своего рабочего места также каралось смертью. Исключения составляли только те случаи, когда остарбайтеры трудились в частных хозяйствах, владельцы которых не были сторонниками жестких методов.

Многие из тех, кто был угнан на работу в Германию, пытались бежать – в этом случае их отправляли в немецкие концлагеря. Всего же в Германии было создано 55 концлагерей, 1082 филиалов, 7205 трудовых лагерей, 371 лагерь для беженцев, 2071 тюрьма, 506 гетто и 80 других формирований. 11 апреля во

всем мире остается памятной датой – в этот день в 1945 году 56 тысяч узников концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли вооруженное восстание.

После окончания Второй мировой войны те остарбайтеры, которые были в советской зоне оккупации, автоматически были возвращены на родину. Те, кто попал во французскую и англо-американскую зону оккупации, были помещены в лагеря для беженцев и перемещенных лиц, откуда их отправляли в фильтрационный лагерь в Кемптене для установления личности и возвращения на родину. Одно из положений Ялтинского соглашения гласило, что граждане СССР и Югославии должны вернуться в страны своего гражданства вне зависимости от их желания.

Остались свидетельства того, как представители западных властей предлагали бывшим остарбайтерам остаться, мотивируя свое предложение тем, что против них на родине могут быть проведены чистки и репрессии. В октябре 1945 года верховный главнокомандующий англо-американскими экспедиционными силами генерал Дуайт Эйзенхауэр запретил использование силы и принуждения в вопросе репатриации советских и югославских граждан, пребывавших в американской зоне влияния.

По возвращении в СССР остарбайтеры нередко признавались советскими властями изменниками родины. Были проведены масштабные депортации этих людей из мест своего постоянного проживания в отдалённые регионы Советского Союза (например, в казахские степи или в Дальневосточный регион), где им часто было отказано в получении высшего образования. Кроме того, нередко эти люди получали отказ в приеме на определённую работу, на учебу, и – из-за особенностей советского общества – они были подвержены общественному осуждению. Многие жертвы немецкого плена свидетельствовали, что в течение всей своей дальнейшей жизни они подвергались унижениям со стороны других людей, обвинявших их в том, что те жили в Третьем рейхе с комфортом, в то время когда СССР боролся с захватчиками.

Вход в крематорий был похож на звериную нору
Белова Нина Степановна, 1929 г. р

Я расскажу свою нелёгкую жизнь своей внучке Веронике. Отец мой родом из Смоленской области, Сухинического района, деревни Козарь. В 1914 году его забрали служить и направили в татарскую столицу Казань. Бабушка моя Акулина строго наказала отцу, когда надумает жениться, приезжать домой, а сама присмотрела в своей деревне ему невесту. У бабушки моей Акулины было 14 детей: 6 сыновей и 8 дочерей. Дочерей она выдала замуж недалеко, в другие деревни, кроме самой младшей Анны, – она вышла замуж в своей деревне. Сыновья женились в своей деревне. Когда отделялись, дома строили вместе, и все жили в одной деревне. Лишь папа мой нашёл невесту в Казани, и мама моя была городская. Когда отец женился, поехал в Козарь показать жену, но бабушка Акулина не пустила их даже в дом. Они решили: «Посидим на травке, отдохнём и поедем обратно». Но тут пришёл папин брат Никита и повёл их к себе. Они пожили у него два дня и уехали опять в Казань.

В 31 году отец получил хорошую квартиру на улице Чернышевского, в Пассаже. У меня было два старших брата – Серёжа, 1922 года рождения, а Анатолий – 1926-го. Я с 1929-го. Всё было хорошо, но в 33-м стали голодать.

В 36 году мама умерла. Отец продал всё, что можно, даже подушки, только в день его получки наедались досыта, а через несколько дней опять полуголодные. На Новый год 1938—1939-го к нам приехал дядя Никита, привёз кусок сала и полмешка антоновки, посмотрел на нас и сказал: «Надо, Степан, ехать домой в деревню. Дети у тебя здесь голодные, а в деревне есть хоть картошка. Приезжай, Стапан, поможем». И уехал.

В Козарь мы отправились без Серёжи, он поехал в Ленинград на учёбу.

…Отец пошёл к председателю, нам дали маленькую сторожку и землю, и отец стал строить маленький домик из кирпича, покрыл соломой, из тоненьких брёвнышек сделал сени… Купили курочек и маленького поросёночка.

Отец мой был грамотный, читал газеты, с ним любили поговорить. Вечером, когда он варил лапшу на костре, к нам подходили мужики, что-то всё спрашивали у отца про войну. Отец что-то говорил им про Польшу. И вот пришли повестки, стали забирать на фронт мужчин, молодых ребят. Женщины кричали и

плакали, провожая своих мужей, сыновей, братьев, отцов.

Моего отца пока не трогали. Деревня опустела, стало страшно…

Серёжу призвали на фронт, писем от него все не было. Наконец, в начале ноября почтальон вручила отцу пропахшую порохом «треуголку».

Пожилая худенькая женщина из Радождево теперь стала почти сакральной фигурой для жителей окрестных деревень.

Никогда прежде ее появления не ждали с такой тревогой и с такой надеждой.

Она и сама теперь, чувствуя себя проводником высшей воли, по-особому трепетно прижимала к себе большую почтовую сумку с письмами и телеграммами. И каждый раз с замиранием сердца вручала кому-то радость, а кому-то – беду.

– От сына весточка, Степан Игнатыч, – протянула «треуголку».

Это было письмо не вчерашнего мальчишки, а мигом позвролевшего мужчины.

«Здравствуйте, дорогие мои родные папа, Ниночка и Толик!

Пишу вам с фронта. У меня все хорошо. Я служу в мотострелковой дивизии. Каждую минуту думаю, как вы там, и эти мысли помогают мне здесь. Мне даже кажется иногда, что пуля обходит меня стороной. Даже не знаю, как это объяснить. Будто кто-то невидимый охраняет меня от пуль.

Очень хочется вас всех увидеть. Вроде бы только недавно было лето, а кажется, что прошло много лет.

Когда война только начиналась, а меня призвали сразу же, я думал, что никогда не смогу убить человека, даже если это фашист. Но трудным был только первый раз. Теперь я вижу перед собой в прицел не людей, а врагов и думаю только о том, что должен освободить свою землю.

Фашисты – это не люди. Люди не могут так ненавидеть. Даже не знаю, откуда в них такая ненависть, ведь это они пришли на нашу землю.

Я видел, как немецкий самолет низко-низко летит над землей. Женщины и дети бежали от него по полю. Бежали и падали. А немецкий летчик смеялся. Да, он смеялся. Я никогда не видел такой мерзкой ухмылки.

Как будто сам дьявол сидел за штурвалом „Мессера Шмидта“. Я выстрелил в кабину самолета. Палил по нему еще и еще. Самолет загорелся.

За это мне дали ефрейтора и медаль „За отвагу“.

Но хватит о грустном. Вам ведь и так приходится несладко. А

у нас на фронте есть и еда, и одежда. Так что не жалуюсь. Только очень скучаю по вам.

За меня не волнуйтесь. Не знаю, когда смогу приехать повидать вас.

Всех вас крепко целую и обнимаю

Сережа».

В районе грабили магазины, жгли, что могли. Толик пошёл в Сухиничи и принёс к вечеру полмешка манки, пахнувшей дымом.

Говорили, что немцы придут скоро. И правда, они приехали к нам сначала на мотоциклах в кожаных длинных плащах, пахли духами и тревогой, потом приехали две грузовые машины. Одна была накрыта брезентом. Туда кидали кур, гусей, а другую набивали свиньями. Немцы забегали в дома, забирали всю живность и спрашивали: «Матка, яйко, яйко». Но, конечно, яиц им никто не выносил. Некоторые женщины плакали, пытались отнять свою скотину, птицу. Бесполезно! Немцы угрожали прикладами.

В районе грабили магазины, жгли, что могли. Толик пошёл в Сухиничи и принёс к вечеру полмешка манки, пахнувшей дымом.

У нас был поросёнок пуда на два. Отцу пришлось его зарезать, разделать, засолить и спрятать по кускам прямо в соломенную крышу.

Зимой начались бомбёжки, горели хаты, а над ними летели снаряды. Снег был чёрный.

В деревне стояли немцы. Помню, два самолёта упали с каким-то страшным визгом. Они горели, и из них валил дым, а на крыльях красные звёздочки – наши.

Находиться в домах было страшно. Женщины брали детей и убегали в погреба. Через дом от нашего шла дорога на большак, летом по ней можно было ездить, а зимой её заметало снегом (метра два, не меньше). Поэтому дорогу проложили через наш огород, прямо около нашего дома.

Бои были сильные, немцы отступали, и по этой же дороге шли наши, везли на конях (по четыре лошади запряжены) оружие в гору. Солдаты кричали, погоняя лошадей. Гора была высокой, мороз сильным, а полозья скрипели и визжали.

Отец мой топил печь днём и ночью, потому что один за другим в дом забегали солдаты, грели мороженый хлеб. Бомбили непрерывно. В наш дом клали раненых прямо на пол, куда отец настелил соломы. Клали и в сени, тоже на солому. Соседние дома были тоже набиты ранеными солдатами…

Потом нам сказали, что наши отступают. Беда не приходит

одна. У нас умер отец. Я побежала сказать тёте, жене дяди Никиты (сам он был на фронте). В это время налетели немецкие бомбардировщики. Я только спустилась к речке, оглянулась и увидела, как от домов летели вверх брёвна, но наш дом стоял. Меня откинуло к раките. Я поднялась и побежала дальше.

> Кладбище было недалеко, за огородами, но не успели мы дойти до него, как немецкие самолёты опять налетели бомбить. Мы оставили гроб и побежали в укрытие, а когда они пролетели, вернулись и похоронили отца.

На второй день хоронили папу. Кладбище было недалеко, за огородами, но не успели мы дойти до него, как немецкие самолёты опять налетели бомбить. Мы оставили гроб и побежали в укрытие, а когда они пролетели, вернулись и похоронили отца.

От бомбёжек спасались за деревней в овощехранилище с соломенной крышей. Люди набились в него прямо поверх картошки, а у входа сидел наш пулемётчик. Вдруг кто-то сказал, что пулемётчик убит. Крыша загорелась, а в деревне опять немцы, и деревня тоже горела.

Люди кинулись к дверям, и у выхода образовалась пробка. Мой брат Толя и ещё один парень встали около двери и стали выдёргивать людей из огня. Крыша рухнула, спаслись не все.

Мы пошли в деревню. Была ночь, но вокруг светло: дома по-прежнему горели. Брата я потеряла, меня взяла соседка в свой погреб (у нас погреба не было).

Домов в деревне уцелело мало. Утром я вышла из погреба и подошла к своему дому, вернее, тому, что от него осталось. Лишь задний угол… Остальное сгорело, середина завалена кирпичом. Сени же были сделаны из тоненьких брёвнышек и над ними солома. И теперь под тем, что от них осталось, лежали девять человек, чёрных, как головешки, и было видно потрескавшееся красное мясо. На чёрном снегу – повсюду трупы солдат, кони, разбитые телеги…

Немцы бегали и кричали, сгоняя жителей деревни к школе с выбитыми окнами. Людей в деревне уже осталось мало… Нас погнали в сторону Сухинич вдоль реки Жиздры. По дороге бомбили, повсюду под снегом были трупы – где-то торчала нога, где-то рука или голова. А в одном месте в овраге показались копны. Я думала, это сено: вот подойдём поближе, и спрячусь в одной из копен. А когда приблизились, оказалось, что это тела солдат, заметённые снегом, и таких копен было много. На лугу валялись лошадиные головы, копыта, хвосты – самих коней съедали люди.

На ночь немцы бросили нас в какой-то деревне. Здесь также шли сильные бои, очень хотелось есть, и я пошла по домам просить что-нибудь поесть. Я заходила в каждый дом и просила: «Тётенька, дай хоть мороженой картошечки», – но мне отвечали: «Вас, деточка, здесь столько прошло…» В одной избе мне дали пять картошечек, маленьких, как вишни. Я продолжала поиски ночлега. В другой избе увидела родную тётю с детьми, их приютили на время добрые люди. Я очень обрадовалась, что останусь с ними, но она сказала: «Видишь, своих детей много, ещё выгонят… Иди, Нина, поищи где-нибудь ещё переночевать. Ты одна, тебе легче».

> Я вышла из хаты и заплакала. Мороз был такой сильный!
>
> А у меня оторвалась подошва на ботинке, да и пальтишко было худенькое. Рукавиц не было, и руки я спрятала в рукава. Шла, сама не зная куда.

Я вышла из хаты и заплакала. Мороз был такой сильный! А у меня оторвалась подошва на ботинке, да и пальтишко было худенькое. Рукавиц не было, и руки я спрятала в рукава. Шла, сама не зная куда.

> Повсюду полузаметённые трупы, а многие совсем замело – только кое-где виднелись то нога, то кусок шинели. Но было уже нестрашно, разве что когда с визгом летели снаряды. Тогда я молилась Богу, говорила: «Господи, только бы меня не перерезало пополам».

Остановилась около большого дома (мне показалось, в нём живут богато), и я вошла. У порога стояла русская печь. Хозяйка только что вытащила из печки большой чугун мелкой, как горох, дымящейся картошки, а за столом посреди хаты сидели четыре немца. Я попросила: «Тётенька, дай горсточку картошечек». Она молчала. Я попросила снова, она по-прежнему молчала. Мне стало стыдно, и я хотела уйти, но, только взялась за ручку, меня окликнул немец, он шёл ко мне, дал мне тоненький кусочек хлебушка, намазанный маслом.

Я сказала «Спасибо» и вышла.

Темнело, но меня никто не пускал ночевать, говорили «некуда». Лежали даже на полу. Я зашла ещё в одну хату, увидела там семью из нашей деревни. Они мне сказали, что мой брат Толя легко ранен в губу и в руку и что он спрашивал обо мне.

Что его забрали немцы в обозы возить сено лошадям на

передовую и что повязку на лице видно издалека. И что ехать обратно с сеном они будут по другой деревне, километрах в трёх отсюда. И я побежала в ту деревню. На небе светила луна, мороз жёг щёки и руки. Немцы-часовые ходили вперёд-назад, на их головах поверх пилоток были повязаны платки, на ногах поверх сапог – лапти.

Я вышла из деревни и увидела около самой дороги солдата с бородой, со звёздочкой на шапке, с пулемётом, в белой маскировке. Но когда я подошла поближе, то увидела, что это нашего солдата воткнули в снег и прислонили к пулемёту, а то, что показалось бородой, оказалась кровью – немцы содрали у него лицо и нарочно поставили у дороги.

Повсюду виднелись полузаметённые трупы, а многие совсем замело – только кое-где виднелись то нога, то кусок шинели. Но было уже нестрашно, разве что когда с визгом летели снаряды. Тогда я молилась Богу, говорила: «Господи, только бы меня не перерезало пополам». От холода зуб не попадал на зуб.

Я пришла в деревню, где должен утром проехать брат с немецким обозом. Одна женщина сказала, что видела парня с повязкой (в обозе двое русских и один немец) и что обоз очень длинный и рано утром они должны здесь проходить. Сказала: «Места у меня нет даже на полу», – но в хату всё же пустила: «Посиди на подоконнике, оттуда далеко видно». Я была рада этому месту. Очень хотелось спать, и я уснула, но тут же проснулась, потому что стала падать. На рассвете я услышала скрип саней ещё издалека, потом увидела и сам длинный обоз, нагруженный сеном. Я побежала на дорогу и увидела Толю с белой повязкой на подбородке. Он обрадовался, что я жива, а я была очень рада, что нашла брата.

Сам он шёл за возом, а меня посадил на воз впереди и закрыл ноги сеном, протянул какой-то мешок, но он не согревал. Ещё брат дал мне большой кусок варёной конины. Мясо было без соли и стало примерзать, но я его сгрызла. Толя мне сказал: «Сиди, Нина, тихо. Сейчас мы будем проезжать мост, там немец-часовой проткнёт воз штыком. – И закрыл меня сеном. – Но ты не бойся… Если он направит штык в твою сторону, то я признаюсь, что прячу сестру, а если нет, то поедешь со мной. В той деревне я тебя где-нибудь устрою…»

Потом я услышала немецкий разговор и шуршание сена. Штык прошёл посередине воза один раз, и Толя крикнул на лошадь: «Но! Пошла!»

Значит, проехали. Я до того продрогла, что не выговаривала слова. Зубы стучали, а брат меня всё уговаривал: «Скоро приедем…»

Приехали мы только к вечеру, мороз стал ещё сильнее. Брат меня завёл в какой-то дом, в котором топилась буржуйка, и настлал досок для ночлега. Здесь спали обозники и было тепло. Печку топил дед. Он налил мне из чугуна кружку кипятка и сказал: «Грейся». Я выпила кипятка и уснула, а проснулась от грохота бомбёжек – здесь проходила передовая, наши бомбили и бомбили. Брат принёс полмешка чёрной муки, салазки, а мне огромные подшитые валенки и сказал: «Надевай и пошли!» – натянул на меня пилотку, а поверх неё завязал мой драный платок, и мы сбежали кустарником куда глаза глядят, волокли салазки с мукой по глубокому снегу.

Пришли мы в другую деревню, там тоже был фронт.

Мы попросились в крайний дом, маленький, убогий. Хозяйка, увидев, что у нас мука, сразу пустила, испекла хлеб. Мы все наелись досыта.

У неё было четверо маленьких детей, а муж на фронте. Она даже обрадовалась нам: «Будет хоть кому сходить за водой да нарубить дров». И вот я ещё спала, а Толя пошёл за водой к проруби на речку и не вернулся. По этой деревне ехал обоз, и его узнал немец. Мой брат был высокий, видный парень. (Встретились мы только в 1955 году.)

А дней через пять стали выгонять людей. Горели земля и небо. Недалеко проходила железная дорога, туда нас и пригнали, посадили в товарные вагоны, везли недолго. Когда скомандовали выходить, мы увидели два высоких барака, огороженных колючей проволокой, и между бараками тоже была протянута колючая проволока. В одном из них держали военнопленных.

Внутри барака – сплошные нары. Мне досталось место на самом верху. Соседями оказались муж и жена (их там держали уже неделю). Утром к дверям привозили бочку с горячей баландой из гречишной шелухи, в которой изредка попадалась чечевица, жидкой и совсем несолёной. Вторая бочка – для пленных солдат. Пол-литровый ковш на человека – и всё!

Мёртвых вывозили каждое утро и не закапывали, а кидали в заснеженный овраг. У меня появились вши, так что расчёсывала голову до крови, и соседи по нарам тоже чесались и кляли войну и немцев.

> Соседке по нарам тёте Марусе было лет сорок, а её мужу 51. Они спросили, есть ли у меня родные, и я сказала: «Умерли». На второй день тётя Маруся сказала: «Нина, завтра нас погонят на окопы. Ты не говори, что тебе 12 лет, а скажи, что 15, а то немцы детей и стариков не жалуют, им нужна рабочая сила.

И держись нас с Фёдором».

Соседке по нарам тёте Марусе было лет сорок, а её мужу 51. Они спросили, есть ли у меня родные, и я сказала: «Умерли». На второй день тётя Маруся сказала: «Нина, завтра нас погонят на окопы. Ты не говори, что тебе 12 лет, а скажи, что 15, а то немцы детей и стариков не жалуют, им нужна рабочая сила. И держись нас с Фёдором».

Так я с ними и была. Два дня нас гоняли на окопы, а потом, едва рассвело, выгнали на мороз. Было так холодно, что удивляюсь, как я выжила. Видно,

Бог хранил… Пригнали нас с собаками к какому-то разъезду, где стояли товарные вагоны. Тех, кто не хотел подчиняться, загоняли внутрь прикладами. Нам выдали по булке хлеба (он был с мякиной пополам) и по маленькой баночке кильки в томате. Предупредили, что это нам на пять дней, а горячую воду будут давать раз в сутки где будет можно, и сказали, что нас везут «в культурную зажиточную Германию».

Ехали мы долго, пропускали вперёд военные эшелоны. Мы проезжали разбитые города, сожжённые деревни, виселицы… Наконец кто-то сказал:

> Русские, украинцы, белорусы, прибалты, чехи, поляки, югославы, сербы, итальянцы. Столько разных языков, но мы понимали друг друга. Ночевали мы под открытым небом, прижавшись друг к другу, как овцы, чтобы было теплее.

«Польша!» И все кинулись к маленькому зарешеченному окошку. В Польше тоже было всё изувечено, а когда подъехали к Варшаве, это был мёртвый город. Дома с выбитыми окнами, не было и крыш, только торчали чёрные трубы… Мы остановились на возвышенности, откуда хорошо было видно Варшаву, и поехали дальше, в Познань. Там нас высадили и повели в баню, которая находилась рядом. Остригли нас наголо (у всех были вши), дали чёрного жидкого мыла с какой-то вонючей отравой, а вещи наши – в прожарку на кольца. Мы оделись, и нас загнали обратно в вагоны, они были уже подметены и сбрызнуты какой-то вонючей водой.

После бани мы сразу замёрзли, но эшелон стоял долго, пока не вымыли все вагоны. Ехали мы долго, не знаю точно сколько, но погрузили нас в вагоны в феврале, а в Германию мы приехали уже в марте, и было тепло.

Нас высадили и погнали по центральной дороге строем по шесть человек в Бреслау. Навстречу шли гражданские немцы,

ругали нас (швайн!) и плевались. Немецкие солдаты с овчарками привели нас на огромный огороженный двор. За нами закрыли ворота. Каких национальностей там только не было: русские, украинцы, белорусы, прибалты, чехи, поляки, югославы, сербы, итальянцы. Столько разных языков, но мы понимали друг друга. Нам дали по черпаку (грамм по триста) перлового супа. Ночевали мы под открытым небом, прижавшись друг к другу, как овцы, чтобы было теплее. А утром пришли гражданские немцы, выбирали себе на работу людей покрепче. (Немкам, у которых мужья воевали на фронте, давали по три человека.) В работники уводили и уводили.

К вечеру осталось 23 человека. Кто-то сказал: «Ну вот, в России не убили, так здесь в печи сожгут». На третий день нас осталось только девять, все русские: я, хромой дядя Фёдор с тётей Марусей и семья – муж с женой (она сильно кашляла) и четверо детей. Старший, Володя, ему было 15, весь трясся, Илье было 13 лет, Павлику – 10 и Наде – 6. Но вот к вечеру пришёл лесник и забрал оставшихся. На нём был зелёный лесничий костюм и зелёная шляпа с пером, на боку – длинная цепочка. Он был седой, полный, лет шестидесяти. Характер у него был нервный: не знаешь что ожидать.

Мы приехали в деревню Лангомарк, там нас накормили. Две немки принесли ведёрную кастрюлю баланды из какой-то испорченной капусты, в ней было немного начищенной картошки, перловки и рыбных голов, но мы всё съели. Нас закрыли на ночь на замок, а утром повели в другую деревню, вернее, хутор. Там было два больших сарая овец, кормили их немцы, и было там пять домов, где жили бауэры, и длинный барак, разделённый на квартиры, – в нём жили бедные немцы, работавшие в поле. Земля и лес, где нам предстояло работать, принадлежали бауэру, нашему хозяину, а наш лесник Шрайбер подчинялся ему. У бауэра было пять хуторов, овцы, свиньи, коровы, кони и птицы.

Нас поселили на хуторе в маленьком сарайчике, внутри него – нары из новых досок, стола не было, в углу параша – и всё. Сразу было видно, до нас там никто не жил. Хутор назывался Берхерберг.

> Вскоре к нам приехал полицейский, привёз кусок материи, на которой были напечатаны знаки OST. Он разрезал его, выдал нам по тряпочке и сказал пришить на грудь на левой стороне так, чтобы было видно, и ни в коем случае не загораживать («иначе будете наказаны»).

Вскоре к нам приехал полицейский, привёз кусок материи, на которой были напечатаны знаки OST. Он разрезал его, выдал нам

по тряпочке и сказал пришить на грудь на левой стороне так, чтобы было видно, и ни в коем случае не загораживать («иначе будете наказаны»). Ещё нам выдали ботинки на деревянной подошве. А большинство дорог там в деревнях из булыжника, и стук ботинок был слышен далеко.

Так мы и начали работать в лесу…

…У Шрайбера был ученик, парнишка лет семнадцати, он нас водил в лес. Ехал он на велосипеде с охотничьим ружьём и с собакой, ехал медленно и покрикивал на нас: «Люсь, люсь, швайн! Шнель», – а мы шли следом.

Он приводил нас в лес и передавал немцу, а сам уезжал и вечером снова приезжал за нами.

В лесу немец намечал дерево, мужчины пилили его, а мы обрубали сучья, ошкуривали, распиливали на метровые поленья и выносили на дорогу для транспорта. Затем подбирали кору, крупные сучки, ещё раз обрубали и относили на дрова, а «мелочь» и хвою – в кучу и жгли, чтобы в лесу не оставалось никакого мусора.

Леса там маленькие, дорог в лесу много, есть даже беседки – отдохнуть во время прогулки. Спиливали мы сосны. Лес в основном хвойный, а когда встречала берёзку, обнимала и, когда никто не видел, плакала, потому что у нас за домом росла берёза, и я сильно тосковала по дому.

Сажали лес весной и осенью. А ещё осенью мы собирали картошку. Впереди шёл конь, вместо плуга – вертушечка с крылышками, она выбрасывала всю картошку наверх, и мы следом собирали её.

Зимы там тёплые, бурты закрывали соломой и засыпали землёй. А в ноябре у них охота. К хозяину приезжали охотники, такие же лесники (а иногда Шрайбер ездил к ним). Охотились на полях. Сначала пускают собак в лес, чтобы выгнали зайцев на огромное поле, затем окружают его со всех сторон – охотники и узники – всё больше сужается круг. Собаки лают, но охотники не спускают их с цепей. Зайцы начинают метаться и становятся мишенями.

В 43 году, когда мне было 14 лет, Шрайбер наказывал парню, чтобы по субботам или пятницам, когда водил нас на работу, забирал меня убирать хозяйский дом. Парень ехал на велосипеде, я бежала вслед, и, когда отставала, он ругался, но ждал. А потом мне разрешили ходить самой – по субботам или когда скажут.

Шрайбер жил в деревне Лангомарк в двухэтажном доме. Я сначала вытаскивала ковры, вешала на верёвки во дворе, потом мыла или протирала окна. Мыла полы, вытряхивала ковры и заносила их в комнаты, а комнат было десять. Потом подметала

огромный двор, на двух стенах – виноград, с другой стороны – орешник. Когда начинало темнеть, меня отпускали в Берхерберг.

…В бараке с нами жили поляки – брат и сестра Янок и Маришю, в Польше они были очень богатые, знали немецкий язык. Где они работали, не знаю, ни разу не видела их в грязной одежде. Ещё на хуторе из поляков были ребята Янок, Феликс и Габриш, пожилая женщина пани Сконечна, две сестры Маришю и Ганнурата и Стефа.

Стефе было лет 25, я её любила и всё ей рассказывала, а когда сказала, что убираю дом Шрайбера, она мне наказала: «Нина, смотри ничего у них не бери. Раньше в Германии был такой закон: за воровство отрубали руки, а нам и сейчас могут отрубить».

Я очень боялась, а моя хозяйка, жена Шрайбера, первое время меня проверяла – бросит то деньги, то кольцо или серьги – в общем, разные дорогие украшения. Я клала их на столик. Только выхожу с ведром – она бежит туда… Двор подметаю – на стенках виноград, но ни одной виноградинки не сорвала. Орехи падали во дворе – когда мету двор, соберу их и положу под орешник… И это осталось со мной на всю жизнь…

Когда я сказала, что убираю дом Шрайбера, она мне наказала: «Нина, смотри, ничего у них не бери. Раньше в Германии был такой закон: за воровство отрубали руки, а нам и сейчас могут отрубить».

Когда я выходила из Лангомарка и шла на хутор, на пути стояли пять рябин. Когда они начинали краснеть, я спрашивала у хозяина, можно ли их срывать поесть, он разрешал.

По воскресеньям мы на работу не ходили, не потому, что хотели нам дать выходной, а потому, что выходной был у немцев, и некому было нас охранять.

Мы сидели на нарах, кто-то спал, кто-то чинил одежду. У меня было два платья в серую полосочку. Ткань до того прогнила, что сшить её было уже невозможно.

Однажды ехал на прогулку маор со своей женой (они часто прогуливались по лесу). Карета была запряжена в тройку, кони – красавцы, тонконогие, упряжка блестела. Барыня сидела в красивом платье, в шляпе, в красном ожерелье. Борзая устроилась рядом с ней, а маор правил тройкой (он не любил выезжать с кучерами). Кучер только чистил лошадей, запрягал и подъезжал к замку.

Замок был трёхэтажный, очень красивый, а за ним – озеро, где плавали чёрные лебеди. Их кормили, и у них было своё укрытие, так что они никогда и никуда не улетали.

Барыня меня поманила пальцем, чтобы я подошла к ним, посмотрела на меня, усмехнулась, и они поехали дальше.

Дней через пять они опять ехали этой же дорожкой. Они остановились и долго смотрели, как мы работаем, потом барыня снова поманила меня. Я подошла к карете. Карета была открытая и длинная. В этот раз с ними ехали и дочери. Их было трое, шикарно одетые, красивые, но замуж их никто не брал, а они были уже не молодые.

Они смотрели на меня как на какого-то зверька, разглядывали, а потом барыня дала мне бумажный свёрток и уехали.

> В свёртке оказалось красное шёлковое платье, сшитое на старинный манер с огромным вырезом на груди, а по бокам сетчатые вставки. С платьем лежали очень аккуратно заштопанные шёлковые чулки. Ходили слухи, что людей, прежде чем сжечь в печах, сначала раздевали, а всю одежду отдавали немцам, чтобы они раздавали узникам своим на работу. Так платье это я ни разу и не надела.

В свёртке оказалось красное шёлковое платье, сшитое на старинный манер с огромным вырезом на груди, а по бокам сетчатые вставки. С платьем лежали очень аккуратно заштопанные шёлковые чулки. Стефа сказала, что это итальянская мода, что платье сняли с какой-нибудь убитой итальянки. Ходили слухи, что людей, прежде чем сжечь в печах, сначала раздевали, а всю одежду отдавали немцам, чтобы они раздавали узникам своим на работу. Так платье это я ни разу и не надела. Оно долго лежало на подоконнике, а потом куда-то пропало.

В 43 году у дяди Фёдора стало хуже с ногой, он стал сильно хромать. Шрайбер ругал его «швайн, фауль». Он любил подкрадываться, смотреть, как мы работаем, не стоим ли без дела. Дядя Фёдор, как заметит лесника, подпустит его поближе, делает вид, что не замечает лесника и громко выпустит газы. Шрайбер кричал «русский швайн» и уходил от нас. И однажды в воскресенье подъехали два мотоцикла с люльками. На одном – жандарм, на другом – солдат. Полицейский вызвал дядю Фёдора с тётей Марусей, их посадили к солдату, а полицейский поехал один впереди. Поляки сказали, что их повезли в печь.

В 44 году мы ходили в лес без охраны, а там было два немца. Под их руководством мы и работали. Шрайбер приезжал в лес, проверял, все ли работают.

Один раз у меня сильно болела голова из-за малокровия. Как

только ему сказали, что меня нет, он приехал в сарай (ездил он всегда на велосипеде, с собаками).

Их у него было 12 разных пород. Две комнатные маленькие, 2–3 жили во дворе в большой будке (у каждой был отдельный вход), остальных он брал на прогулку. Кормил собак высокий, толстый, очень добрый немец.

Лесник вбежал с криком, почему я не на работе. А я в это время на голой плите пекла блин из картошки, и он уже задымился. Из слов лесника я поняла: хочешь как Фёдор и Маруся пш-пш-пш, показал на плиту и выскочил.

Видно, всё же пожалел меня, потому что у него была дочка моего возраста. Больше я в сарае не оставалась, каждый день ходила на работу.

…Пленные французы асфальтировали дороги, тёмно-жёлтая военная форма была заметна издалека. Всегда весёлые, чистые – сразу видно, жили лучше нас. Откуда-то они узнали моё имя и кричали: «Ниня, скоро наши придут!» – улыбались и махали рукой.

Были здесь и итальянцы, работавшие на фруктовых дорогах, – обрезали ненужные сучья, подбирали их и жгли, а осенью снимали яблоки и паковали их.

У немцев сады по обеим сторонам дорог… Дорога яблок, дорога груш, вишен, слив и так далее, около леса ежевика, а в лесу черника. Мы ели её, когда валили лес, если не было Шрайбера. Ругал он не за чернику, а за то, что не работали. Я очень уставала, еле ноги дотаскивала до нар, и одна мечта была – поесть досыта хлебушка.

…У Шрайбера было два сына и дочь. Старший воевал в России. Когда я начинала подметать двор, на крылечко выбегала их дочка моего возраста. У неё были очень красивые платья, туфли или босоножки, но обязательно белые гольфы с кисточками, а на голове огромный белый бант. Она меня с любопытством разглядывала и не говорила ни слова.

Хозяйка была красивая и добрая, интеллигентная, меня не ругала, но смотрела строго. Как-то она вынесла мне кастрюлю картошки и нож во двор и сказала почистить побыстрее. Я ковыряла этим ножом и ничего не могла сделать (лезвие было посереди ножа). Когда она вышла, я всё ещё не могла почистить даже одну картошку. Она унесла кастрюлю.

На кухне хозяйка убирала сама – узников туда не велено было пускать.

Когда я заканчивала работу, хозяйка выносила мне тоненький бутербродик с вареньем, или с маргарином, или с топлёным салом, а сверху колечками сырой лук.

Я брала бутерброд и бежала в Берхерберг, уже темнело, и я спешила, потому что боялась немецких ребят, кидавших в нас камнями, как уже было не раз. А однажды мы с Ильюшкой шли на работу мимо немецких окон. Мы посмотрели на окошко, а мальчик оттуда показал нам язык, Илья высунул язык в ответ, и мы побежали. А из дома выскочил солдат с раненой рукой. Он закричал, чтобы мы остановились, схватил Илью за ухо и стал его крутить и кричать, что оторвёт ему голову. Ухо стало красным.

Илье много раз попадало. Немец, намечавший деревья, которые мы валили, сказал называть его Мастер. А звали его Пауль. Передний зуб у него сильно выпирал вперёд, и мы его звали Зуб. А Илья (он быстро научился болтать по-немецки) сказал ему, что «мастер» по-русски «зуб». Но как-то он узнал, что мы его дразнили. Утром мы пришли, он схватил Илью за ухо и стал кричать: «Мастер, зуб, я, я!» Илья заплакал. Ухо у него ещё с прошлого раза болело. Ему, бедному, часто попадало. Немки у него украдкой спрашивали, правда ли, что у коммунистов есть рога (потому что в немецкой газете коммунистов рисовали с рогами). Илья что-то рассказывал, а они слушали с опаской.

Немки у него украдкой спрашивали, правда ли, что у коммунистов есть рога (потому что в немецкой газете коммунистов рисовали с рогами). Илья что-то рассказывал, а они слушали с опаской.

Как-то Шрайбер сказал, чтобы я пришла в пятницу пораньше. Я пришла и делала всё то же самое. Хозяйка была в хорошем настроении, бегала по комнатам и мурлыкала песни. Когда я убирала двор, хозяйка переоделась в красивое платье. Слышу, у них какие-то гости. Оказалось, это сын-лётчик, воевавший в России, приехал в отпуск.

Я всё сделала и ждала, когда мне разрешат уйти (без разрешения я никогда не уходила).

На крыльцо вышел сам Шрайбер, позвал меня в дом. Когда я вошла в зал, за большим столом сидели два офицера, один из них был в лётной форме – сын Шрайбера. Я узнала его потому, что видела в комнате его портрет, и хозяйка говорила мне раньше, что это её сын. Ещё в комнате сидели молодые немки и мужчины в гражданских костюмах. Они громко смеялись и повторяли слово «корб» (корзинка). Все посмотрели на меня, а сын Шрайбера поднял на верёвочке новый красный лапоть и спросил: «Правда, что у вас в России носят на ногах эти корзинки?» Я ответила: «Да, носят». Они грохнули со смеху. Хозяин сказал: «Иди во двор». Я ушла и заплакала – уж очень было горько. Сидела во дворе и ждала, когда меня отпустят, но хозяйка про меня забыла. И когда

совсем стемнело, она крикнула с крыльца: «Нина, ты можешь уходить».

Когда я подошла к нашему сарайчику, эконом-немец стоял наготове с ключом, сразу же закрыл на замок. Я забралась на нары под своё тряпьё и думала об их столе, сколько там было всякой еды: колбасы, ветчина, сыр, какие-то салаты, пирог, конфеты, вино. Посуда аж сверкала, на стене оленьи рога, ружьё, сабля. В углу стояло пианино, красивые мягкие стулья. Я подумала о своём разбитом домике, который строил мой бедный папа, и такое зло на них взяло! Но поговаривали уже, что немцы отступают.

В следующую субботу я пошла к Шрайберу, а на другой стороне стоял двухэтажный дом. Я знала, что там были пленные, но не знала чьи. Дом горел, и из него доносилась песня: «Шумела буря, гром гремел». Я хотела подойти поближе, но хозяйка мне погрозила.

Меня больше не звали убирать. Днём мы работали, а ночью сидели на подоконнике и видели на небе зарево, а потом стал слышен и гул боёв. Наши были уже близко.

Нам велели прийти в полицейский участок. В это время туда притащили поляка, всего в крови, в разорванной одежде – его били за то, что он не хотел работать и обругал своего хозяина. Жандарм отчитал и нас: «Кто не будет слушать своего хозяина, будет отправлять в концлагеря». И нас распустили.

…Недалеко от леса было поле, в прошлом году там сажали брюкву. Осенью её убрали, и кое-где валялась маленькая мороженая брюква. По этому полю гнали евреев, не знаю откуда и куда, худых и грязных, некоторые хромали, ноги были перевязаны какими-то тряпками. Они хватали грязную брюкву и ели, а немцы их били прикладами.

В этот вечер мы пришли с работы в сарай, нас закрыли на замок, чтобы больше уже не открывать. Осталось нас только шестеро. Женщина умерла от чахотки, в последнее время она на работу не ходила, харкала кровью. Похоронили её за немецким кладбищем.

Дня четыре мы сидели взаперти голодные, а потом к нашему окошечку подошёл Феликс и крикнул: «Эй, люди, вы живы?» «Откройте нас, пожалуйста!» – отозвался Илья.

– Я попробую…

Долго копался, потом ушел. Вернулись уже втроём: Феликс, Янок и Габриш – и открыли нас. Сказали, что гражданские немцы уехали и что показываться опасно, и мы все полезли на потолок овечника. Там мы хорошо устроились на сене – 6 русских и 8 поляков, лежали и прислушивались. Лангомарк находился менее

чем в двух километрах, оттуда доносился сильный шум.

Мы слышали, как там по центральной дороге пошли танки, но не знали чьи. И вечером Габриш пошёл разведать, а вернулся утром и сказал, что пришли наши. Мы обрадовались, стали друг друга целовать. Ребята зарезали двух больших баранов, принесли картошки. У немцев были чистые котлы на 8 ведер, где они варили сахарный бурак и отжимали патоку. А мы сварили в нём барашка с картошкой на всех 15 человек. Наелись досыта, и тут подъехали на тачанке трое наших солдат. Они сказали, чтобы мы ехали туда, где выставлена наша полевая комендатура, где нам выдадут справки об освобождении и направят в нужное место.

У меня совсем разорвался ботинок, и я побежала в Лангомарк, в дом Шрайбера, в поисках какой-нибудь обуви, так как дочка их была мне ровесница. В дом я вошла со двора через огород, а кухня располагалась сразу по коридору направо. Дверь была распахнута, и я заглянула на кухню. На столе стояли тарелки, на большом блюде лежала жареная индюшка. Видно, они не успели поесть, когда был дан приказ уезжать. Я вошла в одну комнату – всё было разбросано, окна во всех комнатах выбиты, разбиты мебель, рояль, зеркала. Салфетки, прежде лежавшие большими пачками, разбросаны по полу. Перины в спальне у Шрайберов вспороты штыками, везде перья и из них выскочила маленькая комнатная собачонка. Звали её Дуглас. Она меня узнала, кинулась ко мне с визгом, стала прыгать и ласкаться. Я взяла её на руки, она стала лизать мне руки, наверное, думала: «Вот пришёл знакомый человек, не бросит меня…» Но деть её мне было некуда.

Я разломала ей индюшку и полезла в погреб. Как-то раз я вместе с хозяйкой вытаскивала оттуда пустые банки. Одну к продуктам не допускали, боялись, что отравим.

Чего только не было в погребе! Колбасы, окорока копчёные, консервированные индюшки, куры, разное мясо, компоты, бочки патоки – как в хорошем магазине… Видимо, ничего они с собой и не взяли – очень уж много было добра.

Вышла я через парадный ход, очень было жаль собачонку.

В комендатуру мы поехали на велосипедах. Дорога была разбита снарядами, танками, и ехали мы тихо, лишь иногда попадались машины. Я отстала, а навстречу ехала тачанка, и на ней наших два офицера пели песню «Ах, тачанка». Один из них был пьяный, спросил: «Кто ты?» Ответила «русская», а он сказал: «У меня сестра уехала с немцами, так я её своей рукой застрелю» и говорит мне: «Иди». Отошла четыре шага и слышу: взводит курок. Я бросила велосипед и повернулась к ним, а на меня направлен пистолет. А второй говорит: «Подожди. А откуда ты?»

– Из Смоленска.

– Сколько лет тебе было, когда тебя привезли сюда?

– Двенадцать.

Тогда он сказал другому, который держал пистолет:

– Не надо. Ну её, ребёнком была.

И поехали дальше, а я догнала своих, рассказала им, а когда приехали в комендатуру, Феликс рассказал о случившемся коменданту, а тот сказал:

– Ничего не могу поделать: фронт, солдаты, потерявшие семьи, озлоблены.

Меня распределили в госпиталь, на кухню чистить картошку, потом стирала окровавленные бинты, гладила и скручивала их. Носила раненых, сдавала кровь.

А потом пришёл замполит и сказал: «Поедем, Нина, с девчатами коров доить. Раненым нужно молоко».

Отобрали 12 украинок и меня и повезли в опустевший посёлок собирать коров. Дали нам одного пожилого солдата для охраны. Мёртвый посёлок смотрел пустыми окнами. Немцы его покинули – боялись русских, как огня, бежали на американскую зону.

Коров немцы отвязали, чтобы они не умерли с голоду. Мы собрали около ста коров, привязали их и стали кормить и поить. Украинки были девчата сильные, они работали у бауэров, где доили коров.

Я была худая, как говорили, «костями гремела» и коров доить не умела. Девчата мне сказали: «Нина, иди и вари нам мясо. Побольше». Из госпиталя приезжали два раза в день, привозили нам хлеба, забирали молоко.

Немцы отступали, прятались по чердакам с оружием, а наши продвигались к Берлину, бились за каждую улицу, каждый дом.

Госпиталь куда-то перевели, а нас направили в какую-то штрафную роту, где мы тоже стирали кровавые бинты. Дороги были разбиты, везде висели плакаты «На Берлин!», на перекрёстках стояли девчата в военной форме (регулировщики), дребезжали танки, машины везли пушки, «катюши»… Всё кругом крутилось, шумело, гудело, визжало, скребло… Всё шло на Берлин.

Мы не доехали до Берлина километров двенадцать, меня послали в ремонтный цех, где чинили оружие. Солдаты давали мне пострелять из автомата, пулемёта и даже из «катюши», когда выезжали опробовать оружие в поле.

А ещё я носила полковнику еду с кухни. Он давал мне посуду под первое, второе и третье и говорил: «И себе, что хочешь, то и возьми». Я заходила на

Солдаты давали мне пострелять из автомата, пулемёта и даже из «катюши», когда выезжали опробовать оружие в поле.

кухню, и у меня начинала кружиться голова. Чего там только не было! Рулеты, котлеты, печёнка, колбасы разные лежали на столе. И повара были отличные.

8 мая, к вечеру, объявили, что Берлин взят. Мы все выскочили на улицу.

Был салют, разноцветные огоньки летели в небо, это была такая красота неотразимая, такая радость! Все кричали «ура!», плакали – кто-то от радости, а кто-то от горя, ведь в последние дни до Победы солдаты гибли. Немцы повсюду прятались, стреляли исподтишка…

Я всю ночь не спала, думала о том, что теперь наконец-то нас отправят в Россию, и я узнаю, где мои братья.

9 мая подъехал полковник, на переднем сиденье сидела его частая гостья – капитан медицинской службы.

К машине подбежали две девушки лет по 25, в военной форме, с погонами сержанта.

Полковник сказал им: «Ну, девчата, я обещал вам показать Берлин. Садитесь, поехали».

Они быстро, с хохотом вскочили в машину, а полковник вышел из машины.

Я вытащила мусор и стояла на улице.

Рядом, шагах в десяти, росли очень красивые цветы. Он сорвал большую охапку. В первую очередь дал капитану, потом девчатам, а потом мне и сказал: «Садись, Нина, в машину, поехали смотреть Берлин».

И мы поехали. Дорога вся разбита. Машина постоянно подпрыгивала. По обеим сторонам дороги валялось разбитое оружие, перевёрнутые машины, телеги, убитые лошади…

Когда мы подъезжали, из Берлина выводили пленных немцев – они шли по обеим сторонам дороги, метрах в двадцати, прямо по полю, строем по пять человек. Офицеров и генералов вели наши молодые солдаты с собаками. Немцы были чёрные от грязи, со злыми лицами, эти страшные кепки, надвинутые на лоб, некоторые в очках. А наши молоденькие солдаты посмеивались, что ведут такую грозу.

Мы въехали в Берлин, я ударилась головой о верх машины так сильно, что стало ничего не мило. Дороги на окраине Берлина были в камнях, некоторые дома были разрушены и дымились. Из-за завалов проехать к Рейхстагу было невозможно. И мы вернулись. И сколько ехали, столько вели немцев – как

речка – не видно конца.



Нина Белова

Я ещё немного поработала, и цех закрыли, а меня увезли во Франкфурт, откуда шли эшелоны с узниками. Но там меня забрали в железнодорожную столовую чистить котлы, мыть посуду, пол. Нас там было 7 рабочих, 12 поваров, врач, ещё солдаты подвозили продукты.

Эшелоны шли в Россию, товарные вагоны были украшены плакатами и ветками берёз. Демобилизовывались солдаты, уезжали и узники, везли куда-то пленных немцев. Мы продолжали работать, уставали смертельно, очень хотелось спать, потому что работали и ночью, а поспать удавалось совсем немного – на стульях.

Как-то захожу в колбасную, а там немец колбасу ворует: набрал за пазуху и застрял в узеньком окошке.

Я позвала повара, старшину Валю, она пришла и наставила на него пистолет и заставила его протиснуться обратно, к нам. Сказала: «Выкладывай обратно колбасу». Он выложил пять кругов. А Валя говорит: «Сейчас я его шлёпну». Мне стало жалко его: «Не надо, Валя, давай мы его накормим». Он весь трясся, военная форма грязная и рваная, и говорил, что у него мать и сестра голодные. Валя опустила пистолет: «Неси ему жрать». В котле оставались макароны, котлеты. Принесла ему целую тарелку с верхом макарон, четыре котлеты и алюминиевую кружку чаю. Он ел жадно, руки тряслись, а потом остановился, достал носовой платок, положил в него макарон и две котлеты. Валя увидела это и пошла, принесла ему круг колбасы и булку хлеба.

Эшелоны шли в Россию, товарные вагоны были украшены плакатами и ветками берёз. Демобилизовывались солдаты, уезжали и узники, везли куда-то пленных немцев. Мы продолжали работать, уставали смертельно, очень хотелось спать, потому что работали и ночью, а поспать удавалось совсем немного – на стульях.

Он схватил и стал кланяться: «Данке, данке», – а она открыла ему дверь и выпустила. Потом этот немец стал приходить каждый вечер с ведром, ждал меня, когда я буду выбрасывать, что не доели наши солдаты, а еды оставалось много. Так он и ходил, пока я там работала, а потом что с ним было, не знаю.

Меня перевели в морскую часть, в Кюстрин на Одере, на полковой коммутатор. Нас работало четверо девчонок, дежурили мы сутками. Раз по Одеру плыл американский катер, и они сошли на берег, о чём-то говорили с нашим начальством. А простые американцы угощали нас ромом, мясными консервами, галетами, среди них было много негров. Они побыли часа три и отчалили, очень весёлые люди.

Кюстрин был разбит, там шли страшные бои, когда наши наступали с того берега. Немецкий берег освещали прожектора и били, горели земля и небо. Немцы в страхе бежали, не могли понять, что это горит.

На самом берегу Одера стояла двухэтажная небольшая будка. Внизу мы спали, а наверху размещался коммутатор. Звонили без конца.

Шёл май сорок шестого… Как-то пришёл к нам старшина и предложил прогуляться. Одна из нас осталась дежурить, а мы втроём и старшина вышли из Кюстрина…

Идти было тяжело, шли какой-то насыпью: земля рыхлая, да ещё и вперемешку с мягкими и крупными камнями, а внизу пролегала железная дорога, уже одичавшая, заросшая, как щетиной, бурной майской зеленью.

На улице всё ещё стояли бочки с жиром, которым немецкие солдаты смазывали оружие.

С человеческим жиром.

За решёткой была пустота, огромная, чёрная. Она как будто приглашала приобщиться к какой-то страшной тайне. Но, как ни старался старшина вырвать решётку, казавшуюся непрочным препятствием, она как будто пустила глубоко в землю железные корни, и мужчина опустил руки:

– Эх! Ладно, девчата. Пойдёмте дальше. Должен же быть где-

то вход.

Железная дорога действительно привела к воротам крематория и тянулась дальше, где зловеще застыли три пустых товарных вагона.

На улице всё ещё стояли бочки с жиром, которым немецкие солдаты смазывали оружие. С человеческим жиром.

Вход в крематорий был похож на звериную нору, но внутри всё напоминало о временах инквизиции. Только новые инквизиторы превзошли в изобретательности своих предшественников. По бокам коридора тянулись кольца, к каким в колхозах привязывают скот, но вбитые близко друг к другу. Кромешную тьму рассекали, как мечи, полоски света, проникавшие в зарешёченные отверстия в насыпи, на одно из каких и наткнулся старшина. И всё же пробираться во мраке было непросто.

Старшина шёл впереди, нащупывая дорогу. Глаза понемногу стали привыкать к темноте, и можно было разобрать очертания небольшой площадки, заполненной доверху, как стогами, ворохами одежды и обуви.

– Осторожно, девчата, дальше ступеньки, – предупредил старшина. Лестница оказалась эскалатором. Эскалатор вёл только вниз. Остановившаяся машина смерти все ещё помнила железный лязг, стоны и крики.

Старшина нашёл в стене рычаг управления, и страшная машина, вздрогнув, пришла в движение, наполнила темноту скрипом и лязгом.

Ярусом ниже открылась площадка, такая же, как первая, но в стога были собраны человеческие волосы.

– Волосами они зимой пушки утепляли, а сало шло на смазку оружия, – нахмурившись, пояснил старшина. – Даже пеплом людским, и тем, изверги, землю свою поганую удобряли.

Все масти – светлые, тёмные, рыжие – слились в одно зловещее предзнаменование.

Вход в крематорий был похож на звериную нору, но внутри всё напоминало о временах инквизиции. Только новые инквизиторы превзошли в изобретательности своих предшественников. По бокам коридора тянулись кольца, к каким в колхозах привязывают скот, но вбитые близко друг к другу.

Ещё ниже высился холмик зубов, выдернутых заодно с золотыми: благородному металлу негоже плавиться в огромном общем котле, к которому людей спускали транспортёром. Большие щипцы на столе подтверждали страшную догадку.

Обратно выбирались ползком. Такие же горы из волос, одежды и обуви высились и за крематорием, но в свете дня казались еще страшнее. Смерть не делит на богатых и бедных, на расы и национальности. Одежда по итальянской, польской, французской моде вперемешку с обносками гнила под дождём одной кучей разноцветного рубища. А волосы, собранные в кучу, казались головой великана, в волосах которого причудливо сочетались разные масти.

Но ещё больший ужас внушала разноцветная гора сапог, босоножек, ботинок и туфель – разных фасонов, цветов и размеров. Чуть поодаль от неё притягивал взгляд ярким оттенком крошечный красный башмачок.

«Неужели крошка тоже…» Додумывать не хотелось, хотелось уйти.

Возвращались уже другой дорогой, через Кюстрин.

Изрешеченный «катюшами», он осел развалинами, над которыми возвышались редкие уцелевшие дома. Но большинство зданий война сровняла с землей, уничтожив приметы жизни.

Только на месте одного из домов алели похожие на башмачки бутоны. Некоторые уже расправили лепестки. Наперекор всему розы тянулись из каменных трещин к солнцу…

Цвели так, что не оторвать глаз, а я вспоминала дядю Фёдора и тётю Марусю и это шёлковое платье, которое подарила мне барыня… С тех пор, как увижу цветущие розы, сразу хочется плакать, и ничего не могу с собой поделать, до последних моих дней их буду помнить…

Записала Вероника Тутенко

Хозяйка-литовка выкупила меня у немцев за бутылку водки
Зуева Зинаида Павловна, 1933 г. р

Я – малолетняя узница фашистских концлагерей, таков мой статус. Слава Богу, непосредственно в лагере быть не пришлось, но вместе с родственниками была угнана фашистами в рабство. Родилась в Ленинграде, и в начале войны мне было всего 8 лет, я только-только окончила первый класс. На летние каникулы родители отправили меня, как тогда говорили, «на дачу» – к родственникам в Псковскую область. Как известно, эта территория была очень быстро оккупирована немцами, и они стали угонять людей на работы в Германию целыми семьями.

Везли нас в товарных вагонах вместе со скотом. В дороге почти не кормили. Прилечь было невозможно, можно было только сидеть. Возили долго и всюду, так как нас никто не принимал. В конце концов привезли в Литву. Немцы высадили нас в лесу и уехали.

> Мне повезло – моя хозяйка-литовка меня выкупила у немцев за бутылку водки и кусок сала.

Местные жители подбирали нас как своих будущих работников. Всех детей, оставшихся без родителей, немцы отбирали в специальный лагерь. В таких лагерях над детьми проводились чудовищные медицинские эксперименты…

Мне повезло – моя хозяйка-литовка меня выкупила у немцев за бутылку водки и кусок сала. Так что я в сам лагерь не попала, а работала в хозяйстве лагеря: свиней пасла, за коровами ухаживала, огородом занималась.

Помню, как в меня однажды стреляли, и я чудом убежала.

Немцы часто нас задерживали – заставляли учить их русскому языку. Так я обучила русскому одного немца, а он меня – немецкому.

В 1944 году, когда советские войска освободили Литву, нас начали развозить по домам. Так что в конце концов моя мама нашла меня там же – в деревне Копытово на Псковщине, куда отправила в начале войны.

Победу я встречала дома, в Ленинграде.

Во второй класс пошла уже двенадцатилетней. А в четвертом классе училась и работала в типографии. Работать пришлось до десятого класса. После школы поступила в Институт культуры на

библиотечный факультет. Учиться пришлось на вечернем отделении, так как на дневное отделение меня, находившуюся во время войны на оккупированной территории, не приняли.



Зинаида Павловна Зуева

Училась и одновременно работала в библиотеке. Но… была «с хвостом», поэтому при поступлении на работу от меня потребовали подробную автобиографию. Честно все описала, где была во время войны, что было нетипично. Люди, оказавшиеся в таком же положении, как я, старались все скрыть.

> Я жила в самом пекле войны. То русские отступали, то немцы наступали. Все время была под обстрелами, бомбежками. Закрывала уши руками, плакала, пряталась… Забыть такое невозможно.

Прошло некоторое время, я прошла проверку, получила необходимые допуски и даже была назначена начальником секретного отдела. Моя откровенность позже очень мне помогла, так ч как на меня были заведены соответствующие документы, подтверждающие мой статус узника.

Те чувства, которые я тогда испытала, с годами не притупились. До сих пор я не люблю салют – мне это сразу напоминает про те ужасы, которые пришлось пережить.

Ведь я жила в самом пекле войны. То русские отступали, то немцы наступали. Все время была под обстрелами, бомбежками. Закрывала уши руками, плакала, пряталась… Забыть такое невозможно.

Пусть никогда даже наши прапраправнуки не переживут то,

что пережила я!

Война – это действительно страшно. Пусть никто и никогда этого не увидит!

Алюминиевая ложка с «обратным адресом» Улынская (Рабко) Елена Андреевна, 1927 г. р

Сопливые еще!

Детство прошло в поселке Сиверский Ленинградской области, в многодетной семье, где воспитывались четверо детей, папа трудился, в основном, в животноводстве, мама – дома, по хозяйству. Когда началась Великая Отечественная война, закончила семь классов.

22 июня мама поехала в Ленинград по делам, а я вскоре пошла на вокзал ее встречать. Из-за страшной бомбежки не встретила. Те, кто оказался на вокзале, сразу попрятались. И я поспешила домой. Вдруг вижу – навстречу бежит папа и кричит: «Лена, ты откуда?

Жива? Только что „тебя“ отнес в сарай…

> Навстречу бежит папа и кричит: «Лена, ты откуда? Жива? Только что „тебя“ отнес в сарай… Показалось, что ты убита». На самом деле там была девочка в таком же сарафане, как у меня, с черными косами, вся в крови. Вот и перепутал.

Показалось, что ты убита». На самом деле там была девочка в таком же сарафане, как у меня, с черными косами, вся в крови. Вот и перепутал. Да и сам папа стоял весь в крови.

Впятером с подружками вскоре втайне от родителей поехали в Гатчину, чтобы поступить учиться на курсы радисток. Хотелось Родину защищать!

А нас просто «не поняли» – послали в военкомат. Пошли туда – и там тоже прогнали: «Идите домой. Сопливые еще». Тогда мне не исполнилось и пятнадцати, и росточком я была меньше всех.

Папу на фронт не взяли как инвалида. В самом начале войны было организовано дежурство по улицам поселка. Всех учили, как песком гасить зажигалки. В те же дни лихолетья папа и дядя вырыли за ночь большой глубокий окоп у дома, где дети сидели, пережидая бомбежки.

Барак, голод и работа с 4-х часов утра

Совсем скоро железнодорожную станцию Сиверская заняли фашисты. Меня, пятнадцатилетнюю, и двоюродную сестру-одногодку Марину немцы забрали и, несмотря на плач мамы, вставшей на колени, отвели на вокзал. Затолкали в вагон поезда, предназначенного для перевозки скота, и, не сказав ни слова, отправили в Германию на работы – как рабов. На территории Прибалтики всем разрешили ненадолго выйти, мы с Мариной и еще двое отчаянных подростков решили бежать. Однако убежали недалеко: немцы поймали и затолкали обратно в вагон. И снова – долгая дорога. Выдавали

> Привезли в Вальтерсхаузен, в Тюрингию. Поселили в лагерные бараки. Кругом – заборы, автоматчики… В комнате с двухъярусными койками нас было 12–14 человек. «Хозяева» называли не иначе как «швайнами» – свиньями.

только хлеб с водой в котелке, чтобы не умерла «рабочая сила».

Привезли в Вальтерсхаузен, в Тюрингию. Поселили в лагерные бараки. Кругом – заборы, автоматчики… В комнате с двухъярусными койками нас было 12–14 человек. «Хозяева» называли не иначе как «швайнами» – свиньями.

Вставали мы в 3 часа утра, в 4 часа уже начиналась работа, которая заканчивалась в пятом часу вечера. Приходили – и сразу ложились спать. Кормили одними щами из капусты, в которых даже гусеницы попадались. Еще давали немного хлеба, и всё. Помнится, привели на какой-то механический завод. А я маленькая, ноги не достают до педалей на станке. Посадили за другой станок – и для другой работы я слишком мала. Потом определили меня мыть полы, туалеты, лестницу, собирать стружку. Как-то проходил мимо начальник, я собирала стружку и в ней увидела ложку. Показала ему, а он говорит: «Возьми себе». Вроде как на память. Я и взяла. Возила ее отныне всегда с собой. Такими ложками мы, конечно, не ели. Было на ложке клеймо. Именно по этому клейму спустя полвека узнали, где я содержалась. Нашли документы в архивах.

А в конце войны, когда разбомбили Эрфурт, узников концлагеря возили разбирать завалы. Жители этого зеленого города жалели русских и обычно давали им кофе и бутерброды.

День Победы я не помню, потому что уже началась дистрофия: весила всего 36 кг, одни косточки. Освободили нас американцы, передали своим. А я умирала: не могла двигаться, ничего не помнила… Принесли меня, положили. Врач сказал, что надежды нет.

Потом – госпиталь в Бресте, где усиленно кормили. Там пошла на поправку. Наши военные меня спасли. Посадили на поезд и отправили домой в Сиверскую. А там – тяжелобольная мама (вскоре она умерла), папа – инвалид I группы и детям – 7, 9 и 12 лет. Пошла в девятый класс, затем училась в техникуме в Ленинграде, стала мастером цеха, получила специальность «моделирование швейного отдела», позже выучилась на медсестру.

Пришло мирное время, а говорить вслух о том, что была в концлагере, было нельзя. Иначе запросто попала бы в советский лагерь. Начались всякие проверки. Вышла замуж за военного, прошедшего всю войну, но за 31 год службы его ни разу не отправили служить за границу: «виновато» мое прошлое, связанное с концлагерем.

Около 30 лет трудилась диетсестрой и медстатистом, была председателем народного контроля, успевала вести курсы кройки и шитья.

> Я, как и многие, решила достать документ о том, что была узником концлагеря. В ответ: нужны два свидетеля либо справка о том, где именно я была. И когда ответственные товарищи сказали, что никаких документов обо мне нет, я предъявила ложку с клеймом.

Пришла перестройка. Об узниках заговорили открыто. Я, как и многие, решила достать документ о том, что была узником концлагеря. В ответ: нужны два свидетеля либо справка о том, где именно я была. И когда ответственные товарищи сказали, что никаких документов обо мне нет, я предъявила ложку с клеймом.

Представьте себе, тогда отыскались сведения обо мне через Красный Крест или как-то иначе. Прислали справку:

«…24 мая 1942 года была вывезена в Германию, где использовалась рабочей на заводе, содержалась в лагере с 31 мая 1942 г. по 3 апреля 1945 г. Освобождена и 18 сентября 1945 г. вернулась на Родину. В Управлении ФСБ РФ по СПб и Ленобласти сведений о совершении Рабко Е. А. (девичья фамилия) преступлений против Родины в годы ВОВ не имеется».

Мама жила вместе со свиньями
Турчева (Фадеева) Зоя Михайловна, 1943 г. р

Председатель Курского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны».

Слишком тонкая грань отделяет порой бытие от небытия, так что нельзя сказать, где кончается одно и начинается другое. Пожалуй (не удивляйтесь), это было первое, что я поняла в своей жизни. Моё первое воспоминание?.. Я звала братика играть, а он почему-то не вставал…

– Он не встанет, – тихо сказала мама, а я тогда не знала ещё, что это был рок, тяготевший над нашим родом, который мне каким-то чудом удалось разорвать…

Мы с мамой жили тогда в деревне Купань Переяславльского района Ярославской области, куда мама завербовалась сразу после войны. Но больше я жила в Москве, у тёти. Конечно, когда была возможность, мама меня забирала. Тогда-то и случилось событие, тоже ярко врезавшееся в мою память, но в этот раз счастливое событие… Мы спали с подружкой и её сестрами (такие были условия в деревне), когда раздался стук в дверь.

А их мама только что вошла в комнату и стояла с рыбой, которую сама поймала руками в реке. И вдруг в дверь вошёл мужчина с одной ногой, и она повисла на нём.

– Ванечка!

– Это, наверное, папка наш! – всполошилась старшая из сестёр.

Мы все стали реветь. Действительно, нашёлся их папка!

До этого я не задавалась вопросом, где мой отец, принимала, как данность, что мы жили с мамой и московскими родственниками, а теперь стала засыпать маму вопросами:

– Где мой папа? Почему у всех есть, а у меня нет?

Сначала мама говорила, что он уехал далеко-далеко по вербовке, а когда-нибудь тоже приедет так же нежданно, как папка подружки, добавляла при этом загадочное «подрастёшь, я тебе всё расскажу». Когда я чуть-чуть повзрослела, мама рассказала мне о папе и о том, что я родилась в войну, в Германии…

…Теперь это может показаться странным, но до восьми лет у меня не было свидетельства о рождении, только когда пошла в

школу, сделали документы. Но по ним получалось, что родилась я в августе, однако мама точно помнила: кружился снег, и люди ждали чуда, и день рождения мы всегда отмечали перед Новым годом. Слова мамы документально подтвердились только спустя много лет, я тогда уже была на пенсии, но обо всём по порядку…

О том, каким был мой отец, я имела весьма приблизительные представления, какие могла составить по любительскому портрету, на котором папа был похож на продавца Курочкина, уж не помню, как его звали, из нашего сельского магазина.

– Да это же Курочкин! – пыталась открыть глаза маме.

– Нет-нет, – смеялась она над оказией. – Это папа.

Всего лишь похожие черты лица, а папа был гораздо дальше, чем я могла тогда себе представить.

А познакомились они в Москве, куда оба завербовались, – папа работал на стройке, а мама в столовой. У мамы в Москве была родня, а у папы была строгая мачеха, и, когда у неё пошли маленькие дети, старшие – от первой жены, – папа и его сестры отправились обустраивать новую жизнь в столицу. Мама тоже была неизбалованной – шестая или седьмая в семье…

Встретились, всё как положено, полюбили друг друга и поженились, дали им комнату в общежитии в Химках.

Пошли дети: дочка Валя и сын Толик. Мальчик умер в младенчестве, а следующего мальчика снова назвали Толик, но опять семейный рок – воспаление лёгких.

Чтобы сохранить девочку, папа сказал маме:

– Езжай в деревню, там мои мачеха и отец помогут выходить.

Мама поехала в деревню Ловать Калужской области. Но спасти девочку всё-таки не удалось…

И вот началась война… Отец и другие строители, с которыми он работал, пошли добровольно на фронт. Папу ранило в руку, попал в госпиталь Наро-Фоминска, пулю вытащить не смогли.

Когда его комиссовали, он приехал к маме, ушёл в партизаны. Деревня – в глуши, а вокруг дремучие леса.

Вскоре она опустела, немцы собрали селян и погнали в сторону вокзала. Отец как раз пришёл за продуктами и узнать, далеко ли немцы, и тоже попал к ним в руки. Пришёл бы чуть раньше, чуть позже – маму угнали бы без него, а сгоняли людей со всей округи.

Гнали людей, как стадо, плёткой, и каждый боялся, что она опустится ему на спину. Кто не мог идти, а значит, не сможет работать в Германии – убивали.



Зоя с мамой

Маме идти было тяжело, она была беременна мною и слабенькая после смерти дочери и боялась потерять сознание – в последнее время с ней такое случалось в её положении. К тому же ветер разметал ей длинные волосы, которые мешали ей бежать, цеплялись за людей, но папины сёстры Феня и Даша (они приехали к нему из Москвы) и племянницы на ходу подбирали ей волосы, чтоб она не упала.

И всё же она потеряла сознание. Тут же над ней нависло лицо молоденького парнишки, немца:

– Что валяется? Не хочет идти? – сурово спросил он.

– Она беременная, – ответили родные. – Как?

Паренёк тут же разогнал людей, чтоб не затоптали ненароком, и помог ей встать…

…Не знаю почему, но осело у меня в памяти имя Ганс. Может, просто понравилось когда-то это имя, может, где-то читала или услышала в фильме, только запомнился мне этот парнишка как Ганс, точно не могу сказать, так ли его звали на самом деле, так и буду его называть…

На фоне тех зверств, которые творили фашисты на нашей земле, Ганс казался просто ангелом-хранителем, которого послало Небо. Когда узников разогнали по вагонам – мужчины и старики отдельно, а женщины с детьми отдельно, – Ганс помог найти среди этого множества угоняемых в рабство людей женщину-врача, которая помогла моей маме прийти в себя, и помог маме войти в вагон.

На фоне тех зверств, которые творили фашисты на нашей земле, Ганс казался просто ангелом-хранителем, которого послало Небо. Когда узников разогнали по вагонам – мужчины и старики отдельно, – а женщины с детьми отдельно, Ганс помог найти среди этого множества угоняемых в рабство людей женщину-врача, которая помогла моей маме прийти в себя, и помог маме войти в вагон.

В вагонах стоял стон, крик, плач, были и умершие в пути. Не помню, в какой город приехали… там немцы разбирали узников. И этот Ганс (так я его называю, даже когда смотрю фильм и услышу это имя – нет-нет да и всплакну…) специально приходил узнать, к какому хозяину попали мои родители и периодически проведывал.

А были они первое время у одного хозяина, не знаю и знать не хочу, как его звали. Папа работал в конюшне, а мама на свинарнике.

Сёстры попали к другим хозяевам.

Мама рассказывала, что жила она вместе со свиньями, ела после них, что они не доедят, и на поле работала, ставила защитные щиты для озимых, но это была не основная работа.

Как-то мама вспоминала: холодно, спала, съёжившись, и вдруг сзади прижалось тёплое тело. Проснулась – оказалось, свиноматка к ней спиной прислонилась, согревала своим теплом…

С папой они редко виделись, хозяева не разрешали, только иногда удавалось ему передать ей кусочек хлеба… Но ругали и за это…

…Как-то спросила я маму: «Мама, почему я так люблю жмых?» Кажется, и сейчас бы от него не отказалась, даже как

будто чувствую его подсолнечный запах, и, оказывается, есть этому объяснение.

– Потому что, когда ты была у меня в утробе, свиней кормили жмыхом, – ответила мама и вздохнула.

У хозяев был заводик, где сбивали масло, прессовали патоку и делали жмых для скотины…

– Видно, ты захотела в утробе жмыха, – продолжала мама. – Как раз принесли горячий жмых свиньям, а меня аж затрясло – так захотелось.

Хозяйка ушла и дверь закрыла. Мама отломила кусочек от свежего жмыха, ещё не проглотила, а хозяйка вернулась и давай её бить плёткой, а потом ногами.

– Что ты делаешь? От свиней отрываешь? Вот почему у меня свиньи такие тощие! – кричала она на весь дом, сбежались и работники, и её муж, и мой папа. Еле оттащили её от мамы.

Она свернулась клубочком, чтоб меня не выбило, долго не могла подняться после побоев. Очень много нервничала она в те дни, недоедала, видимо поэтому у меня с детства порок сердца…

Папа спросил у мамы: «За что?» – а она сказала: «За то, что съела кусочек жмыха у свиней».

И как раз приехал Ганс, увидел её всю в синяках, но она побоялась признаться, что случилось, а папа рассказал, как было дело.

Видимо, Ганс был какой-то проверяющий, потому что хозяева его слушались и говорили родителям:

– Забудьте даже его имя, он вам не родственник. Никто!

А Ганс приказал им забрать маму в дом и давать ей в день по стакану молока. Они давали по полстакана, но работала она в доме.

Спустя какое-то время отвезли её в больницу в том городе… Не знаю, как мама познакомилась там с Эльзой, – работала ли она там или приходила к кому… Вот справка об освобождении: в том, что мои родители в 1943 году были насильственно вывезены немецко-фашистскими войсками в Германию, где в деревне Готослав у города Гамбурга работали у помещика Карла Орцена. Карл и был мужем Эльзы.

Улицы были празднично присыпаны снегом, как будто расписаны свыше глазурью, – то особое время в году, когда по-иному горят свечи и кажутся маленькими звёздочками, которые легко взять в ладони, а людям вдруг ни с того ни с сего хочется делать друг друга счастливее… В общем, я родилась аккурат в католическое Рождество.

Наверное, то, что мама понравилась Эльзе, и было настоящим

чудом, потому что, если бы мы остались у прежних хозяев, неизвестно, обошёл бы меня стороной рок, выжила бы я…

Эльза и посоветовала назвать меня Зоей в честь нашей Космодемьянской.

– У вас была партизанка, в сорок первом её повесили, стойкая и сильная.

А мама рассказала о смертельном недуге, с которым в семье рождались дети.

– А эта будет жить долго, потому что Зоя! – заверила Эльза.

Так я и получила своё имя.

После выписки эти немцы забрали моих родителей со мной в деревню Готослав под Гамбургом. Я смотрю на карту – это довольно далеко от того места, где мы были сначала, но у судьбы свои дороги…

Маму забрали в дом, а папа работал на конюшне, в поле, на стройке, за рулём машины. Хоть и рука больная, но работал, поблажек не делали, но и не обижали.

А ко мне как к маленькой и вовсе хорошо относились, иногда даже и хозяйский сын, ему лет семь тогда было, подходил к колыбельке проверить, что там плачет малышка, не нужно ли перепеленать.

А когда мне исполнилось девять месяцев, случилось то, чего так боялась мама, – я заболела двусторонним воспалением лёгких. Потеряла сознание и два с половиной месяца пробыла в коме, а сколько слёз пролила за это время мама и уже было потеряла надежду, стала шить тапочки и чепчик меня хоронить, потому что у меня не ощущались ни пульс, ни дыхание. Плакала и шила.

Эльза и посоветовала назвать меня Зоей в честь нашей Космодемьянской.

Переживали очень и Эльза с Карлом и пригласили свою родственницу посмотреть, вдруг можно ещё вернуть к жизни ребёнка.

Родственница закончила медицинский институт, по виду, мама рассказывала, совсем девочка – светленькая, голубоглазая и очень красивая. Она стала щупать пульс, а я уже прозрачная, и… нащупала.

– Она же живая! Давайте лечить!

И начала меня лечить эта девочка-врач, имени которой я не знаю… Ставила мне капельницы, делала уколы…

Но мама всё ещё не могла поверить. Рассказывала мне: «Готовлю кушать, а сама плачу и слышу, как во сне: „Мама, дай мне мяса“, поворачиваюсь, а на маленьком таком личике

огромные глазищи и смотрят в упор, аж страшно. И повторила: „Мама, дай мяса!“»

Мама побежала за этой девочкой-врачом, спотыкается, боится, вдруг проснётся, и окажется – просто сон.

– Она мяса просит!

– Всё, жить будет, – улыбнулась моя спасительница, имени которой я не помню. – Дайте ей покушать какого-нибудь бульончика.

С этого момента я начала поправляться, и хозяева радовались вместе с моей мамой – всю жизнь с благодарностью вспоминаю об этом и буду вспоминать до самой смерти. Они – хозяева, мы – узники, но всё-таки помогли спасти меня… Разные были немцы: были и как мои первые хозяева, а встречались и такие… Не важно, какой ты национальности. Важно, человек ты или нет.

А в то время нельзя было знаться с немцами, да и не говорили лишний раз, что были угнаны в Германию.

Они, когда нам дали справку об освобождении, дали с собой много пелёнок и ещё перину, «чтоб Зоя на перине спала».

Доехали до Брянска, там на вокзале отца моего коменданты стали расспрашивать, узнали, что был угнан, сказали «предатель» и дали десять лет. Отправили в Воркуту, в заключение.

> Разные были немцы: были и как мои первые хозяева, а встречались и такие…
>
> Не важно, какой ты национальности. Важно, человек ты или нет.

А маму на вокзале обокрали, стащили сумку с документами. Она хотела со мной вместе броситься под поезд от отчаяния, но какая-то женщина удержала:

– Ты что? С ума сошла? Разве можно? Ты такой ад прошла, а теперь… У меня мужа тоже забрали, но не отчаиваюсь. Будем жить!

Она помогла маме доехать до Москвы, к тёте Вале, муж у неё железнодорожник, трое детей.

Она и сказала:

– Зою оставляй, а сама вербуйся (с ребёнком не возьмут).

Так мама и завербовалась в то село Ярославской области, потом и отец сбежал из заключения, нашел нас через тётю Валю, но его разыскали… Не скоро потом мы с мамой смогли переехать к нему на поселение, когда ему разрешено было жить за пределами зоны, но необходимо было регулярно отмечаться. А уж сколько радости от встречи было!

Потом у мамы уже в мирное время родился мальчик и не дожил до года, а потом ещё двое детей, слава Богу, живы-

здоровы.

А восстановить своё истинное свидетельство о рождении я смогла только в 2001 году, когда переехала в Курск из Киргизии, где жила до того. И в переезде, и в восстановлении документов мне очень помогли председатель Курского Союза журналистов Александр Петрович Щигленко и его заместитель Анна Николаевна Кочергина, она ушла уже из жизни, царствие ей небесное. Очень благодарна им за это!

Тогда я обратилась в Международную службу розыска города Арользена. Не очень-то надеялась на ответ, но он пришёл:

«Уважаемая госпожа Турчева!

Мы с благодарностью сообщаем Вам, что Ваш запрос от 4.12.2001 года мы получили. Исходя из него нам стало известно, что Вам требуется справка Международной службы розыска для предъявления её в соответствующий фонд для выплаты компенсаций подневольным рабочим. Мы посылаем Вам ответ о каждом человеке в отдельности:

Фадеев Михаил Степанович, 1915 года рождения. Проверка документов Международной службы розыска даёт положительный результат – зарегистрирован в Штзеп-1иНе. В Штзен-1иНе зарегистрирована Фадеева (девичья фамилия Кадушкина) Мария Сергеевна, 1921 года рождения, и Фадеева Зоя Михайловна, дата рождения – 25.12.1943 года. Данные о лицах, вывезенных на работу в Германию, произведены на основании регистрационных, страховых, больничных карточек, документов фирм, трудовых книжек или рабочих карт».

Пришло из Германии и свидетельство о рождении.

А до того значилось, что я 44 года рождения, так как маме в паспортном столе сказали: «Нет, очень она у вас маленькая, точно не сорок третьего, а сорок четвёртого года рождения». Так и записали – 9 августа 1944 года.

Конечно, хотелось бы ещё и лично сказать слова благодарности потомкам Ганса и Орценов, сказать им, какие у них родители были. Но пока запросы, которые делала в Германию, результата не дали. Кто знает, возможно, судьба подарит мне и эту встречу, во всяком случае, я очень на это надеюсь…

Международная служба розыска
Grosse Allee, 5–9,
34444 Bad Arolsen,
Bundesrepublik Deutscland
Tel. (05691)6290
Telfax: (05691)629501

Немцы сбрасывали в колодцы мертвых детей
Матросова Екатерина Ивановна, 26.11.1930—08.05.2014 гг.

Я родилась 26 ноября 1930 года в деревне Ругатенко Смоленской области (сейчас Гагаринский район).

Мне было 11 лет, когда началась война. В семье было 7 детей, а жили мы тогда в деревне Ругатенко Гжатского района Смоленской области. Мать работала бригадиром, отец был председателем сельского совета. Перед приходом немцев старшая сестра вместе с другими девушками погнали скотину в тыл. Гнали через Клин. Когда немцы пришли в деревню, мать прятала в подвале у себя дома партизан. Их было пять человек. Дядя Миша Шумилов был из Дмитрова. Он был радистом и связным у партизан. Среди этих пяти был дядя Костя (Любы Барабановой дядя). Мы с ним встретились уже здесь после войны. Он меня узнал.

Во время войны было много предателей. Кто-то выдал дядю Мишу Шумилова, и его повесили на ветле. Там он висел целую неделю, а потом немцы разрешили его похоронить. Ребята закопали его на бугорке. А партизана дядю Васю Волкова (он был родом из деревни около Дмитрова) немцы расстреляли.

Мать пекла хлеб для партизан, мы выпрашивали санки покататься у немцев, а сами возили на них хлеб и картошку в лес партизанам. Когда у партизан сломалась рация, то я и моя двоюродная сестра Наташа скрутили ее у немцев из машины и передали партизанам. Сестра Валя переправила спрятанных партизан через реку на лодке по два человека, достала для них немецкие палатки. Партизаны были в лесу Красная Роща. На начало войны их было более 700 человек, а к концу войны осталось очень мало – около 20 человек. Много их предали.

Мать пекла хлеб для партизан, мы выпрашивали санки покататься у немцев, а сами возили на них хлеб и картошку в лес партизанам. Когда у партизан сломалась рация, то я и моя двоюродная сестра Наташа скрутили ее у немцев из машины и передали партизанам.

Осенью, уже по снегу, нас погнали в лагеря. Гнали по дороге на Белоруссию.

В одном селе между Смоленском и Дорогобужем все дома

были сломаны, нас загнали в одно большое здание, где были стены, но не было крыши. Народу туда загнали очень много и хотели там нас взорвать. Ребята как-то узнали про это и всем рассказали. Стены были высокие, но люди стали друг друга поднимать и выпрыгивать из этих стен. Выпрыгивали и отбегали в сторону, убежать совсем было невозможно, потому что везде были патрули. Нас опять погрузили в машины и повезли дальше. Чуть отъехав, мы услышали взрыв. Это взорвалось то здание.

В селе Златоустово охраняли только взрослых, а мы бегали и смотрели, что делается вокруг. Мама моя все нас не пускала к колодцам, что были возле фермы. Мы ее не послушались и побежали посмотреть, что там немцы сгружают в колодцы. Лучше бы мы послушались маму. Немцы сбрасывали в колодцы мертвых детей. Их было очень много. Мы убежали обратно и больше не отходили от взрослых.

Лагеря находились почти возле Белоруссии, и там мы жили за колючей проволокой три года, пока наши войска не освободили Смоленск. Там были бункера и окопы. В них мы рыли землянки, в которых и жили. Обогревались собственным теплом, вместо постелей были настилы из досок. Охраняли нас наши солдаты с автоматами, которые перешли к немцам. Много было предателей – полицаев, они особенно злобствовали. Погибло очень много наших людей.

Кормили нас в лагерях похлебкой из картофельных очисток, что оставались после немцев, да ячневой крупы горсть. В голоде большом жили и холоде. Гоняли нас под конвоем работать на полях.

Мама моя все нас не пускала к колодцам, что были возле фермы. Мы ее не послушались и побежали посмотреть. Лучше бы мы послушались маму. Немцы сбрасывали в колодцы мертвых детей. Их было очень много.

По реке не вода шла, а кровь. Самолеты, когда бомбят, летят очень низко.

У немцев были отдельные кладбища. Офицеров хоронили в гробах, а солдат в плащ-палатках.

Освобождали нас американцы. Домой мы возвращались своим ходом. Была весна, реки были разлившиеся. Через реку переплавлялись на плоту по два человека. Много семей шло из разных деревень.

Мы пришли домой утром, часов в 11 (весна 1944 года). Дом наш был полностью разграблен. Все вытащили. Только в подвале осталось зарыто немного ячменя. Мы его посеяли. Еще было

немного ржи, ее мы тоже посеяли в огороде. Когда поспела, ее ножами срезали и сушили на печке. Дядька сделал мельницу, и мы на мельнице муку делали. Так и выжили. Работали в колхозах, пахали на себе. Скотину нам вернули уже после войны.

День Победы – одни слезы и крики. Отец погиб в последние дни войны у себя на родине, в Смоленской области, похоронен в поселке Карманово. Мать всегда ждала отца, ждала его до самой своей смерти. После лагерей мать сильно болела. После войны я закончила три с половиной класса, и потом пришлось идти на раскорчевку леса.

Лагерь щерлон никогда не забудется Карнаухова Варвара Егоровна, 1927 г. р

Я родилась в Крыму, в селе Штормовое Сакского района. 5 сентября 1942 года меня, 14-летнюю девочку, фашисты грубо затолкали в грязный вагон и увезли в Германию, в чужой край на рабский труд. Вместе со мной была моя старшая сестра.

Работали мы наравне со взрослыми, изготовляли какие-то детали на станках. Жили в лагере за колючей проволокой. На одной из стен было написано стихотворение, которое я помню до сих пор:

Новый год, порядки новые,
Колючей проволокой наш лагерь обнесен,
Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная нас всюду стережет.

Вместо фамилии и имени мы имели ОСТ и номер. Мой номер был 118. На этот номер я должна была отзываться.

Чтобы выжить, мы воровали картофель с поля. Однажды чуть не попались, думали, что расстреляют, но, на наше удивление, тот немец, что увидел нас, помог дотянуть кулек с картошкой до дыры в заборе и никому не сказал.

Кормили нас хуже скотины. Утром два ломтика черного с опилками хлеба и кружка кипяченой воды, в обед шпинат, кислая капуста с червями. А хуже всего вечером – приходилось засыпать голодными, кружилась голова, а утром дрожали руки и ноги.

Однажды мы решили устроить забастовку, отказались есть то, что нам дали.

Пришел хозяин с плеткой и такую бойню устроил, бил нас всех подряд, был как зверь. Пришлось нам есть то, что давали, и бастовать уже никто не хотел. От такого питания мы выглядели дистрофиками. Многие не выдержали, умерли:

Наташа Непочатова из Поповки, Аня Штыколенко из села Айбур, Мотя Славка из этого же села и многие другие.

Я пробила на станке палец и не могла работать. Мне дали время для выздоровления, а затем вернули в лагерь. Чтобы выжить, мы воровали картофель с поля. Однажды чуть не попались, думали, что расстреляют, но, на наше удивление, тот

немец, что увидел нас, помог дотянуть кулек с картошкой до дыры в заборе и никому не сказал. Вместе с нами работали люди из разных стран. Немцы Эмма и Ганс тоже были узниками нашего лагеря и работали они наравне с остальными, без каких-либо поблажек.

Эти горькие воспоминания не дают мне покоя и сейчас. Лагерь «Изерлон» никогда не забудется, я только одного хочу, чтобы никогда и ни с кем такое не повторилось.

Над нами проводили опыты
Яровая (Славянская) Нелина Федоровна, 1930 г. р

Родилась в 1930 году. Войну встретила одиннадцатилетней девчонкой.

В 1942 году была угнана в Германию.

Тяжело вспоминать свое детство. А было ли оно у нас? Это существование, когда фашистские изуверы били нас, брали кровь для своих вояк, производили опыты над нами.

Разве я могу забыть концлагерь около Висбадена? Немец, скрутив меня, как щенка, на нарах делал мне пункцию позвоночника. Я перенесла цингу, энцефалит. В 1942 году, после побега с фабрики Найтмана, была сильно избита в полицейском участке: левая нога была прибита к доске, рассечена бровь. Я лишилась зрения на левый глаз.

Потом был Шпандау, где поседела за один час, когда немец бросил меня в брезентовом мешке в озеро. Это было наказание за то, что надзирательница обнаружила меня на нарах. Потом меня спасли женщины, которые вывезли меня в куче каких-то мешков из лагеря. Не знаю, сколько и куда я ехала, – дорога была долгая и страшная. На улицах Берлина шли бои, нас загнали куда-то в подземный цех. Темно, сыро. Пить нечего. Пили собственную мочу.

18 лет страдала воспалением мозга. Только в 1961 году на родине была сделана операция на голове. Несмотря на невзгоды и проблемы со здоровьем, я старалась быть полезной. Руководила в Крыму Джанкойским отделением общества узников концлагерей.

У сталина не было пленных, а все были предатели
Кленова (Бойко) Евгения Игнатьевна, 1927 г. р

В конце октября 1942 года меня угнали в Германию, а в ноябре я уже попала в концлагерь Равенсбрюк. Большую группу женщин под охраной с собаками загнали в баню – остригли и переодели в полосатую форму.

Тогда же нам выдали номера на белой тряпочке и треугольнички красные – вымпела, на которых написана немецкая буква «R», – означала «русская». У представителей разных наций они были разных цветов. В лагере меня поселили в 19-й барак. Спали мы на трехэтажных нарах. Утром рано был подъем, пьем пол-литра холодной воды, а затем аппель[13], где нас пересчитывали, а потом на работу.

Комендантом лагеря был у нас Зурен, овзиерки [14] менялись.

> Я очень часто на территории лагеря встречала эсэсовку, красивую женщину в серой форме, которая ей очень шла. Женщины отдавали честь овзиерке и называли ее обер Хойзен. Она ходила с плеткой и била заключенных, я всегда думала – есть ли у нее дети.

Я очень часто на территории лагеря встречала эсэсовку, красивую женщину в серой форме, которая ей очень шла. Женщины отдавали честь овзиерке и называли ее обер Хойзен. Она ходила с плеткой и била заключенных, я всегда думала – есть ли у нее дети. Когда нас выгоняли на уборку территории и за территорией лагеря, нас бил и кричал на нас Эссе. Говорил: «Языками лижите». Мы были в роли подопытных животных. Нас выгоняли босых и раздетых, хотя уже стоял холод. Мы не были людьми.

В лагере я встретила много умных, хороших людей. Я очень хорошо помню врача чешку Младу Тауферову, которая мне спасла жизнь, так как я очень болела, была маленькая, худая, стриженая и очень страшная. Все иностранцы получали от Красного Креста посылки с продуктами. Млада меня всегда поддерживала, так как мы, русские, украинцы и белорусы, ничего не получали, потому что у Сталина не было пленных, а все были предатели.

Я знала в лагере Розу Тельман. Помню Евгению Лазаревну Клем из Одессы, Надю Козак из Джанкоя, Валю Машер из

Феодосии. Валя была военнопленная медсестра, была взята в плен при сдаче Севастополя. Все они были старше меня. Млада всегда звала меня «ноицо», что означало «маленькая».

За время пребывания в Германии я прошла три концлагеря. В конце апреля 1945 года нас гнали к Балтийскому морю. Освободила нас в Мекленбургских лесах Красная армия.

Вспоминать это страшно
Полевая (Недопышайло) Лидия Андреевна, 1926 г. р

Я жила с родителями в деревне Лушино Новоселовского района. Мне было 17 лет, когда я попала на принудительные работы в Германию. Сначала это была шахта в г. Ессене, а после обыска, когда у меня нашли антифашистские песни и обнаружили переписку с советскими военнопленными, я попала в концлагерь Равенсбрюк.

Сначала прошла санобработку, меня постригли наголо, дали полосатую одежду (пиджак, платье, белье, шапочку), гольфы и деревянные колодки. Присвоили № 26744 и отметку «политзаключенная». Затем поселили в барак, где находилось около 200 человек. Грязь, теснота, вонь. Трехъярусные нары, матрасы, набитые опилками. Из труб крематория день и ночь валил удушливый дым. Два месяца меня продержали в карантине, а затем отправили в филиал Равенсбрюка Росшок-Шваруенфорст на работу. Лагерь обнесен колючей проволокой, на вышках эсэсовцы с автоматами. Больных и немощных грузили в «черный транспорт» и отвозили в крематорий в центр.

Нас поднимали в пять утра. После аппеля эсэсовцы с автоматами и собаками гнали на работу. Тех, кто не мог идти, добивали по дороге. Завод был обнесен колючей проволокой, по которой был пропущен ток. Без разрешения дежурных нельзя было даже пройти в туалет. Чуть задержалась, тут же тебя окатывали водой из шланга. В цехе, где я работала, вручную собирали крыло самолета. Работали до 10–12 ночи.

По возвращении в лагерь – снова аппель, потом – сон. Не всегда приходилось поспать – при малейшем подозрении снова поднимали и пересчитывали. Кормили плохо. Многие болели, умирали, некоторые бросались на электрическую проволоку.

Иногда нам в ящик подкидывали газеты, из которых мы узнавали, что наши войска уже на территории Германии. Не стало электроэнергии, началась паника, нас решили гнать на переправу и там потопить в баржах. Но что-то эсэсовцам помешало. Нас загнали в какой-то двор, где все взрывается, рушится.

Без разрешения дежурных нельзя было даже пройти в туалет. Чуть задержалась, тут же тебя окатывали водой из шланга.

Поляк-часовой сказал нам: «Что вы, дивчинки, сидите – спасайтесь, как можете». Мы побежали и ждали выстрелов в спину, но было тихо. Мы ушли в лес.

Это было 1 мая 1945 года.

2 мая мы увидели советского солдата на лошади. Мы плакали и радовались. Потом пошла пехота. В Германии я работала в военно-стратегическом отряде до декабря 1945 года. Потом вернулась домой. На этом мое лихолетье закончилось. Равенсбрюк вспоминать страшно.

Мы старались выбрасывать взрывные капсюли
Гирич Екатерина Григорьевна, 1925 г. р

1941 год. Война. Мне 16 лет. Я закончила 9 классов украинской школы города Марьинка Донецкой области. Наши войска отступали на восток, а немецкая армия брала наши города и села. 19 октября 1941 года мы оказались в оккупации. Начались аресты, расстрелы коммунистов, комсомольцев и евреев.

В Марьинке за один день было расстреляно 150 человек, среди них были маленькие дети. Моего отца тоже расстреляли как коммуниста; а 12 мая 1942 года меня угнали в Германию. В этот день из Донбасса был отправлен первый эшелон в Германию. Везли нас в товарных вагонах, под охраной немецких солдат, на окнах колючая проволока. Привезли в Померанию (северо-восток Германии), в город Гюстров, на биржу труда. Тут начался отбор, как на невольничьем рынке: бауэры с хлыстами, нам было страшно, они выбирали рабочую силу себе, а военное ведомство – себе. Я попала на военный завод, который находился в лесу Примервальд.

Недалеко от завода был лагерь за колючей проволокой, в котором нам пришлось жить три года. Жили в деревянных бараках, в комнате по 16–18 человек. В лагерной бане мы могли один раз в неделю принимать душ. А один раз в два месяца нас возили в тюремную баню на санобработку и дезинфекцию постелей.

Лагерь охранялся вооруженным вахманом, он же и водил нас строем на работу и с работы.

Завод был огромный, с множеством цехов и бункеров, и все это в лесу. Делали на заводе снаряды. За станком работали две наши девочки и одна немка, выполнявшая обязательную шестимесячную трудовую повинность. Одна из немок, которая работала за нашим станком, относилась ко мне с сочувствием, я была худенькой, бледной девочкой с косичками, и на вид мне можно было дать 14 лет.

Мы были истинными патриотами своей Родины и, по возможности, старались прятать взрывные капсюли в карман, отпрашивались в туалет и там их выбрасывали. Мы радовались, что не все снаряды взорвутся.

Работали в две смены: с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 7:00. Возвращались с работы изможденными. Работа была физически тяжелая и вредная. От горячей серы, которую мы наливали в

гильзы снарядов, волосы у нас были красные, а кожа на руках и ногах желтая. На заводе в дневную смену нам давали на обед суп капустный или перловый, в основном с брюквой, реже – гороховый. В ночную смену нам очень хотелось кушать, работать ночью было очень трудно – соблюдалась светомаскировка, все двери закрывались, не хватало воздуха. В лагере завтрак состоял из двух маленьких кусочков хлеба, манной каши на воде, одной ложечки повидла и черного кофе-суррогат. Кусочек хлеба оставляли для ночной смены, а иногда старались сунуть его кому-нибудь из военнопленных, с которыми встречались, когда нас вели на работу, а их с работы. Военнопленных кормили очень плохо, они были худые, измученные.

> Мы были истинными патриотами своей Родины и, по возможности, старались прятать взрывные капсюли в карман, отпрашивались в туалет и там их выбрасывали. Мы радовались, что не все снаряды взорвутся.

У нас не было теплой одежды, так как из дому нам приказали взять питание на три дня. Мы не знали, куда нас везут, а когда пришла холодная осень, а за ней и зима – мы мерзли. Нам разрешили написать письма на родину с просьбой прислать теплую одежду, но дома к тому времени мама почти все променяла на муку, картофель. Она прислала детское байковое одеяло, носки и платок. Я сшила себе брюки из одеяла, а весной нам выдали фланелевые жакеты и юбки.

> Нам разрешили написать письма на родину с просьбой прислать теплую одежду, но дома к тому времени мама почти все променяла на муку, картофель. Она прислала детское байковое одеяло, носки и платок.
>
> Я сшила себе брюки из одеяла, а весной нам выдали фланелевые жакеты и юбки.

Обувь у нас была – деревянные колодки. Когда они стирались, пятка касалась асфальта, а зимой – снега. Зима была сырая, частые туманы. Мы боялись заболеть, потому что больных отправляли в тюремный лазарет.

От безысходности хотелось умереть. Казалось, эта жизнь будет вечной, и надежды на возвращение домой не было. Но была юность и любовь к Родине. Иногда мы пели советские песни, когда нас строем вели на работу, а вахман[15] злился и кричал: «Руиг меш!» [16]

Мы не знали о событиях на фронтах, не знали, что война близится к концу. Однажды две наши девочки (это было 7

ноября), пока возили из цеха в цех снаряды на тележке, заметили, что солдат, который охранял бункер недалеко от цеха, ушел на обед. Они вошли туда, а там приемник говорит на русском языке – был парад в Москве, они быстро выбежали, и, когда нам рассказали, что Москва жива, не «капут», как нам говорили немцы, как мы радовались! Мы не знали, что наши войска берут города, что уже взят Берлин, – немцы молчали.

Однажды нас не погнали на работу, не дали завтрак, нет вахмана в лагере, в административном корпусе пусто и ворота открыты. Немцы убежали. Мы боялись, что взорвут завод и мы погибнем. Но все было спокойно. Это было 3 мая 1945 года. А 9 мая к нам в лес пришли наши танки.

Мы не знали, что наши войска берут города, что уже взят Берлин, – немцы молчали.

Настал День Победы. Нас стали распределять на работу по воинским частям, подсобным хозяйствам, госпиталям. Я попала в госпиталь Говорова и там еще работала 7 месяцев. Домой вернулась 29 ноября 1945 года. Уже была зима, а я в легком жакете. По возвращении домой нам пришлось горько. На нас смотрели как на изменников Родины, и, чтобы не слышать упреков и оскорблений, я решила в своей автобиографии не указывать, что была в Германии, а для этого надо было уезжать из родной Марьинки. Пришло время пересмотра всего случившегося в нашей истории, и нас оправдали. Мы получили статус бывших узников фашизма, но сколько осталось искалеченных судеб, сколько девушек не вышли замуж, не смогли получить образование, остались одинокими!

Меня должны были сжечь в крематории! Гончаренко Тамара Гавриловна, 1928 г. р

Родилась в 1928 году. Была угнана в Германию, дважды пыталась бежать, после чего попала в концлагерь Равенсбрюк.

Дружно, хорошо мы жили до войны. У мамы была подруга, учительница Роза Абрамовна, с сыновьями-близнецами. Когда началась война, им было 13, мне 15.

Однажды сидим мы и обедаем макухой с кипятком. Вдруг врываются два эсэсовца и сосед-татарин в немецкой форме. Нас затолкали в машину и увезли в комендатуру. Потом меня снова увезли и бросили в полуподвал, где было много молодежи.

На железнодорожном вокзале уже стояли товарные вагоны, и нас погрузили туда. Я всю дорогу кричала: «Мама, мама».

Приехали в Германию, попала я к хозяину, откуда сбежала. Поймали, привезли к другому. Я снова сбежала. Села в товарный вагон, и в каком-то городе меня обнаружили. Так я попала в концлагерь Равенсбрюк, где пробыла год и шесть месяцев.

В концлагере мне чем-то помазали голову – волос не стало, сделали какой-то укол – чуть не потеряла сознание, дали платье в полоску с пришитым номером 34765. Мое место на нарах было на третьем ярусе.

> Я работала в хвостовой части самолета, сделала брак, и меня должны были сжечь в крематории.

Утром всех выстроили и под конвоем с собаками повезли работать на авиазавод. В неволе выкачивали из нас кровь, кормили одной брюквой. Деревянные колодки до крови натирали ноги. Мы были похожи на скелеты, одна кожа да кости.

Я работала в хвостовой части самолета, сделала брак, и меня должны были сжечь в крематории. Но тут началось наступление Красной армии, совсем низко летали самолеты. Конвой с собаками разбежался. Мы поняли, что наши войска входят в проклятый Равенсбрюк. Мы плакали, обнимались, кричали от радости.

В апреле 2010 года в составе украинской делегации я посетила Равенсбрюк, участвовала в торжествах, посвященных 55-летию окончания Великой Отечественной войны и освобождению Равенсбрюка. Было тяжело, слезы подступают к глазам от воспоминаний. Но была и светлая радость: сейчас Равенсбрюк – большой Мемориальный комплекс. Сюда приезжают со всего

мира, чтобы почтить память жертв нацизма. Память живет.

Страх остался на всю жизнь
Романенко (Ярмош) Майя Михайловна, 1938 г. р

Родилась 28 сентября 1938 года в Белоруссии. В 1943 году в возрасте четырех с половиной лет вместе с мамой попала в Германию.

Я постараюсь рассказать то, что осталось в моей памяти. Маленькие дети, попавшие вместе с родителями в мясорубку войны, пережили громадный стресс и страх, который остался на всю жизнь. Я долгие годы спустя вскакивала не просыпаясь, как лунатик, и бежала куда-то, бежала прятаться. Детская психика была серьезно нарушена. Последствия – потеря памяти.

В 1943 году из Гомельской (Полесской) области Белоруссии, после того как немецкие войска сожгли нашу деревню Ветчины, жителей перегнали на станцию Копцевичи, откуда молодых женщин и девушек вместе с коровами вывезли в Германию. Так я в возрасте четырех с половиной лет попала вместе с мамой, Пелагеей Ярмош, к помещику в деревню Нордан (между Бременом и Ольденбургом). Нас везли на открытой платформе, ночевали под телегами. На всем протяжении пути часто бомбили, все разбегались кто куда, мама прикрывала меня своим телом, говорила: «Если попадет в нас, чтобы убило сразу обеих».

На всем протяжении пути часто бомбили, все разбегались кто куда, мама прикрывала меня своим телом, говорила: «Если попадет в нас, чтобы убило сразу обоих».

Жили мы у хозяйки Шумахер. Муж ее воевал. Жила еще бабушка Телли, молодой сын Ганс бывал наездами, в течение которых учил меня «уму-разуму». В хозяйстве работал еще француз. Поместье обширное – коровы, лошади, куры. Маму видела только по ночам, было очень много работы. Гитлер издавал много указов: как для нас – рабов, так и для владельцев поместий. Запрещалось есть за одним столом с рабами, запрещалось слушать радио и так далее. А хозяйке необходимо было сдавать все молоко для фронта. Но однажды моя мама выпросила разрешение послушать радио. Хозяйка часть молока оставила себе и ночью сбивала масло. Мама сказала ей, что скажет, что не все молоко сдала. И когда, получив разрешение, включила радио, то услышала песню «Катюша». Она так плакала,

услышав родной язык. Я и сейчас люблю эту песню, пела своему сыну, теперь пою внукам.

В декабре 1945 года нас вернули на родину.

Нас спас немецкий полицейский Демченко Лидия Михайловна, 1926 г. р

В 1942 году нас увозили из Евпатории в Германию в товарных вагонах, набитых до отказа. В каждом вагоне – солдат с автоматом. Привезли нас в Негайм-Гюстен, на фабрику «Брокельман-Бусс». Лагерь, где нас разместили, был окружен большим рвом и четырьмя рядами колючей проволоки. Нас охраняли полицейские со сторожевыми собаками.

Нас поднимали в 5 часов утра, рабочий день длился 12 часов. Работали в две смены на станках. От изнурительного труда, от голода мы теряли сознание. Деревянные башмаки натирали распухшие ноги. Мучительно хотелось есть. До сих пор помню вкус лагерного супа из брюквы.

После страшной бомбежки союзников была взорвана плотина. 20-метровый столб воды хлынул на бараки, где жили малолетние узники. Бараки запирались на ключ, и тысячи людей оказались заживо погребенными. Только в одном бараке полицейский открыл дверь и крикнул: «Русские, идет вода».

Три года нас днем и ночью преследовали мысли о еде. Три года нас презрительно называли «Русская свинья». Три года – это тысяча дней рабского труда. Среди них есть один день, который и поныне заставляет просыпаться в холодном поту. Это случилось 17 мая.

После страшной бомбежки союзников была взорвана плотина. 20-метровый столб воды хлынул на бараки, где жили малолетние узники. Бараки запирались на ключ, и тысячи людей оказались заживо погребенными. Только в одном бараке полицейский открыл дверь и крикнул: «Русские, идет вода».

Мы, раздетые, разутые, рванулись через лаз в колючей проволоке, через ров, речку, к горе. Мы цеплялись за каждый кустик, каждую травинку и ползли в гору, которую потом назвали «Спасительницей». Вода неслась стремительно, от многотысячного лагеря в ту страшную ночь осталось не больше 50 человек. В этой катастрофе я потеряла сестру и подруг по неволе.

А потом нас, чудом оставшихся в живых, голодных, каждый день гоняли на расчистку равнин. И там, под бревнами и завалами, мы находили тех, с кем еще вчера были вместе…

Я была в четырех концлагерях, все выстрадала, пережила и

дождалась долгожданного освобождения. Мы вернулись на родину, к мирной жизни.

Родина встретила разрушенными городами, селами, похоронками. Только в нашей семье погибло двадцать человек. Дорогой ценой заплатил наш народ за победу в Великой Отечественной войне.

После концлагеря всю жизнь боюсь собак Олифиренко Лилия Владимировна, 1938 г. р

Я родилась 27 ноября 1938 года. Когда началась Великая Отечественная война, мне было три с половиной года. Отец Владимир Васильевич воевал на Карельском фронте, а мы с мамой и маленькой сестренкой поехали в отпуск к бабушке. Жила она в 17 километрах от Витебска. Так мы попали в самый центр партизанского движения.

Что помню: как горел наш дом во время боя между партизанами и фашистами. Когда садилось солнце: зарево заката всегда напоминало мне о пожаре – большое, красное. Меня долго не могли раздеть на ночь: я боялась, что опять нужно бежать от пожара. Затем жили в сарае с коровой – румыны ее сохранили для себя, молоко забирали под конвоем, никогда детям его не оставляли. Правда, бабушка несколько раз недодаивала корову, а потом румыны это заметили и били бабушку. Сохранилось в памяти зарево над городом при бомбежке, как мы прятались от трассирующих пуль и снарядов в ров вблизи речки Хроповлянки. Меня подхватывали за руки сестра и мама, только ноги болтались в воздухе. Помню зеленый самолет с красной звездой, летящий вдоль улицы и стреляющий по немцам.

> Меня долго не могли раздеть на ночь: я боялась, что опять нужно бежать от пожара.

В 1942 году меня с мамой поместили в гетто на 12 дней, так как мама отказывалась выходить на работу. Хорошо, что нас не выдали, ведь папа и два брата мамы были офицерами и воевали на фронте, иначе меня с мамой бы расстреляли. Один брат, Геннадий Филимонович Виноградов, погиб в 1942 году. Судьба Петра Филимоновича Виноградова неизвестна до сих пор, от него было последнее письмо в 1945 году, что воюет со злейшими врагами. Нас из гетто освободили по просьбе помещицы, приехавшей из Польши в свое бывшее имение, где работала бабушка под охраной румын. С апреля по август 1943 года я находилась в концлагере с мамой и сестрой, на территории бывшего «5-го железнодорожного полка», где находились военнопленные и население после карательной операции по поиску партизан.

Перенесла ужасы концлагеря: голод, холод, побои, падение со

второго яруса нар, ожоги рук, заражение сыпным тифом, страх. Мы уже понимали, что за неповиновение – расстрел. Заставляли работать даже детей, моя сестренка 11-ти лет вместе со взрослыми копала ямы, куда потом сбрасывали трупы, расчищала железнодорожные пути, рубила лес, зашивала рваную одежду – шинели, одеяла немецкие и русские, стирала их. Нам делали какие-то уколы и били нас, если мы плакали. До сих пор не могу погладить даже щенка овчарки – страх. Боюсь до сих пор крыс (в детстве – до обмороков), так как крыса укусила меня за щеку, оставив след. Мы, малыши, подходили к колючей проволоке и просили у охранников еды: немцы еще что-то давали, а румыны – никогда и направляли на нас оружие.

Мы, малыши, подходили к колючей проволоке и просили у охранников еды: немцы еще что-то давали, а румыны – никогда и направляли на нас оружие.

Как наша мама смогла сохранить мне и сестренке жизнь в эти годы?

После ВОВ жили в Белоруссии, там я закончила среднюю школу, ФДЧ – была бригадиром швейного цеха фабрики им. Ким. Вышла замуж. Мой муж тоже был военным. Работала в Карелии, на Кольском полуострове по месту службы мужа. Закончила в 1973 году Крымский мединститут. В Крыму проживаю с 1965 года. У меня дочь, внучка и зять.

Но о пережитом во время войны не забыть никогда.

Немец-истопник вывел нас в лес Федотова (Крушевская) Нина Ивановна, 1943 г. р

Я родилась в 1943 году в Германии, в городе Аусбург. До войны семья моей мамы – Анели Крушевской – жила в селе Рытово Житомирской области. Комсомольская бригада, в которой мама работала, находилась далеко в лесу, на торфоразработках, ребята даже не знали о начале войны. Так всю бригаду и отправили на принудительные работы в Германию. На вокзале в Чудово она случайно увидела знакомых и сообщила об этом семье.

Мама вспоминала, что до Берлина они ехали семь суток, кормили плохо. В Берлине была сортировка, в Мюнхене – тоже, а до Аусбурга колонну гнали пешком с охраной и собаками. В Аусбурге – снова сортировка. Мама попала на авиационный завод, где работали 5–6 тысяч человек. Ей было 22 года, а военнопленному украинцу Владимиру Осташевскому – 26. Была любовь, они встречались тайно за бараками. В 1943 году родилась я. В моем свидетельстве о рождении на немецком языке в графе «отец» стоит только номер 517…

Детей в лагере содержали в детском блоке, воспитательницами были немки. Матерей пускали раз в неделю на десять минут. У детей постоянно брали кровь, меня спасла моя третья группа.

Война шла к концу, и ночью пленные видели, как вокруг лагеря немцы спешно устанавливали бочки с бензином. Мама вспоминала, что в два часа ночи в женский блок забежал старенький немец-истопник и стал кричать, чтобы женщины срочно забирали детей. Через лаз в заборе он вывел всех в лес. Минут через 30 на завод началась массированная бомбардировка. Лес был ухоженным, спрятаться негде.

Детей в лагере содержали в детском блоке, воспитательницами были немки. Матерей пускали раз в неделю на десять минут. У детей постоянно брали кровь, меня спасла моя третья группа.

По лесу мечутся женщины в полосатых робах с детьми на руках. Одной оторвало ногу, другой руку, третьей повредило лицо. Мама бежала и падала, прикрывая меня своим телом. Уже около 5 часов утра бомбежка закончилась. Женщины сбились в

кучку. Куда идти? Снова в свой лагерь. А там ходят мужчины в пятнистой форме. Американцы стали бросать женщинам с детьми шоколад и все съедобное, что у них было.

Лагерь ликовал. Самого лютого немца бывшие заключенные буквально растерзали.

Через неделю самых крепких мужчин направили на вокзал. Мама бежала за колонной и плакала: «Володя, куда вас ведут?» Он крикнул только: «Береги дочку». В лагерь на восьмой день вошли советские войска.

После шести месяцев изнурительных проверок мы вернулись домой. Во время войны в деревне сожгли 180 жителей. Встретили нас в деревне враждебно. Меня звали немкой, ребята бросали камни, палки, однажды за пазуху запихали змей. Ютились мы сначала у знакомых, потом в разрушенном доме. Мы бедствовали, голодали. Спас переезд в Крым. В селе Цветочном Белогорского района я пошла в первый класс. За партой часто теряла сознание, была желтой как воск. Меня жалела и помогала учительница Ольга Домбрэ, ленинградка.

Я вступила в комсомол, была активисткой, патриоткой.

В Симферополе закончила строительное училище. Там встретила своего будущего мужа Ивана Ильича Федотова. Вышла замуж в 18 лет. У нас двое замечательных детей Александр и Оксана, трое взрослых внуков, а с Иваном Ильичом мы отпраздновали золотую свадьбу.

Нас били за малейшую провинность
Лобанова Вера Венедиктовна, 1926 г. р

«Вороний мост» – «Raven Brucke» – именно так назывался центральный, и самый большой женский концлагерь фашистской Германии, узницей которого я была.

Я родилась в 1926 году в поселке Саки. 22 июня 1941 года я была в пионерском лагере в Бельбеке. После «костра» старшие девочки пошли встречать рассвет, но встретили войну.

30 октября в Саки ворвались фашисты, мы оказались в оккупации. Начались репрессии: повесили Тертышного, расстреляли евреев, комсомольцев химзавода и врачей местной больницы. Началась вербовка на работу в Германию. Первый эшелон ушел 25 июля 1942 года.

22 июня 1941 года я была в пионерском лагере в Бельбеке. После «костра» старшие девочки пошли встречать рассвет, но встретили войну.

Юноши и девушки стали получать повестки и прятаться по деревням – ехать добровольно никто не хотел. Тогда начались облавы. 10 августа я попала в телячий вагон и 1 сентября 1942 года оказалась в Австрии; попала в небольшой городок Краубат Нижней Австрии

к хозяину Георгу Гопфу. У него была небольшая гостиница. Там я познакомилась с Иосифом Чарным, который организовывал отряды из бежавших военнопленных и остарбайтеров. Однажды хозяйка отправила меня с обедом туда, где отец с сыном пилили деревья; я их быстро нашла по звуку пилы и увидела с ними наших военнопленных. Хозяин сказал солдату, что я русская, Вера, тогда солдат попросил меня достать гражданскую одежду и спрятать возле камня, на котором обедал хозяин. Я это сделала.

Назавтра принесли красные треугольники с буквами той страны, откуда родом, и номера на белой полоске (она была пять на пятнадцать сантиметров). Мой номер был 19760. Теперь у нас не было ни имени, ни фамилии, мы «гефтлинги».

В декабре меня арестовали, избили и посадили в подвал, но скоро выпустили под подписку хозяина. Им нужна была работница, так как старший сын воевал под Сталинградом, а невестка училась в другой стране. Их ребенку было всего

несколько месяцев. Так я прожила под домашним арестом некоторое время, но в Страстную пятницу (13 марта) меня арестовали, надели наручники и повезли поездом в Грац, посадили в Шлоссбергскую крепость. Там я пробыла до 2 мая 1943 года. Оттуда – в Вену, затем в Брно, Дрезден, Берлин и в Равенсбрюк. Там нас раздели догола, сняли все украшения, вынули золотые зубы, остригли наголо, отправили в душ, оттуда – на осмотр коменданта. Голыми построили в шеренгу по одному, и началась экзекуция. Вопрос: «Откуда и за что попала в концлагерь?» – и удар плеткой, рядом стояла переводчица и записывала имя и фамилию. Некоторые называли не свои и получали тоже удар плеткой.

Потом выдали белье, платья синего цвета, фартук, косынку и маленькое полотенце, как носовой платок, и повели в 17-й блок с двухэтажными кроватями. Назавтра принесли красные треугольники с буквами той страны, откуда родом, и номера на белой полоске (она была пять на пятнадцать сантиметров). Мой номер был 19760. Теперь у нас не было ни имени, ни фамилии, мы «гефтлинги» [17].

Через неделю нас перевели в 26-й блок и послали на работу.

Я была на строительстве главной улицы Гауптштрассе. Военнопленные русские подавали нам вагонетки с песком наверх, а мы их подхватывали и везли на строительство, высыпали песок, возвращали вагонетки в карьер – так до обеда. Баланду проглотили – и опять до темна. Так каждый день: подъем, аппель (проверка) и работа. Мне пришлось и каток таскать на этой же дороге, огромными молотками рубить камни в карьере.

> Страшными были собаки.
>
> У меня на правом предплечье отметка, у моей подруги Нины были раны на животе. А скольких загрызали до смерти собаки и забивали до смерти розгами…

Работа – это не самое страшное, страшное – это дисциплина: за малейшую провинность плетки, бункер, где стоишь по колено в воде и не можешь даже на край ванны присесть, надсмотрщик уже кричит: «Ауфштейн!»[18]. В бункере моя сокамерница Галина Мироненко не выдержала эту казнь. За малейшую провинность зимой разденут до рубашки и обольют холодной водой. Стоишь, пока не упадешь.

Страшными были собаки. У меня на правом предплечье отметка, у моей подруги Нины были раны на животе. А скольких загрызали до смерти собаки и забивали до смерти розгами…

27 апреля нас вывели из лагеря, построили по пятеркам и

повели на север. На вторые сутки я убежала в лес, там и встретила наши советские войска 2-го Белорусского фронта, в/ч 28822, с которой и приехала в Белоруссию, а потом домой на перекладных 30 октября 1945 года.

В Австрии я встретила русских подпольщиков
Зубовская (Подгаецкая) Людмила Семеновна, 1927 г.р

Малолетняя узница трудового лагеря в г. Айзеренц (Австрия), Равенсбрюк (Германия), Нойенгамме (Гамбург). Участница войны, инвалид III группы.

10 июня 1942 года нас погнали на вокзал. Здесь в толпе я увидела свою двоюродную сестру Люду Беляеву. Нас погрузили в один вагон-«телятник» и повезли. Ехали долго, голодно.

Привезли нас в Австрию, в небольшой городок Айзеренц. Лагерь был огорожен колючей проволокой, по которой пропущен ток. Сестра работала на кухне, иногда ей удавалось спрятать и принести кусочек хлеба, а меня отправили на работу в шахту. Мы отделяли руду от породы. Однажды я работала во второй смене, конвейер остановился. Я устала и уснула. Надзиратель с бранью вытащил за волосы и стал бить, а я нечаянно ударила его деревянным ботинком. Меня сразу в вагонетке спустили в лагерь, посадили в бункер. Там и просидела сутки, а на второй день стало известно, что меня повесят перед всем лагерем. Мне помогли бежать чехи, дали деньги, одежду, и я поехала в Грауа, где был русский лагерь.

В одном бараке оказались люди из Крыма. Меня прятали под тюфяками, делились едой. Вместе с колонной я ходила в город, но так долго продолжаться не могло, и я ушла из лагеря. Я оказалась одна в городе, а потом в столовой, куда мне в лагере дали талоны на питание, познакомилась с ребятами. Они спросили: «Кто ты – полячка?» Я заплакала и все рассказала. Они привели меня к бауэру, фрау дала кувшин с молоком. Ребята, как я поняла, были сбежавшие военнопленные, а бауэр – коммунистом. У ребят были оформлены документы, была немецкая форма. Они добывали, хранили и перепрятывали оружие, о своих действиях они не говорили, фамилий не называли. Когда выходили в немецкой форме на задание, я шла рядом как их девушка.

Однажды я работала во второй смене, конвейер остановился. Я устала и уснула. Надзиратель с бранью вытащил за волосы и стал бить, а я нечаянно ударила его деревянным ботинком. Меня сразу в вагонетке спустили

в лагерь, посадили в бункер. Там и просидела сутки, а на второй день стало известно, что меня повесят перед всем лагерем.

Виктору, Паше, мне, Косте и Васе даже удалось сфотографироваться на память. Фото я через хозяина Кляйнца отправила сестре Людмиле Беляевой (она осталась жива и вернулась после войны графию, но передала ее мне другая узница, Валя. Так у меня осталась память об этих отважных ребятах. Я только случайно услышала, что Костя был из Севастополя…

Через некоторое время группу разоблачили. Меня ребята заранее отвели к хозяину столовой Кляйнцу, где я стала работать. Вскоре меня тоже увезли в гестапо. Меня били, очень сильно били и допрашивали о моих знакомых. Следователь палкой с наконечником бил по пальцам – до сих пор они кривые. Втащили избитого Пашу, спросили: «Это она?» Он только еле-еле повел головой. Очная ставка ничего не дала. Эсэсовец долго и зло смотрел на меня. Я подумала, что это конец. Зазвонил телефон, и он резко сказал: «Этап». Что случилось с Виктором, Костей и Васей, я не знаю.

Нас, человек 10–15, погрузили в вагон с военнопленными и отправили в концлагерь Равенсбрюк.

Вот тут-то я впервые испугалась. Первое, что меня поразило: люди – ходячие трупы, одна кожа и кости. Второе – чистота. Немцы очень боялись тифа. Мне присвоили номер 34701, одели в полосатое платье и тужурку. Часами стояли в аппеле, на ногах намерзали льдинки.

> Я тайком приносила в барак полоски, которые вырезала, сплела портмоне, которое хранится у дочери как наша семейная реликвия.

Над нами постоянно издевались, была бесконечная работа, голод: суп из брюквы. Так я пробыла в Равенсбрюке около года. В конце 1944 года меня перевели в филиал концлагеря «Нойенгамме», где я работала в цехе по выпуску противогазов.

У меня было лекало, накладывала на кусок кожи и вырезала полоски шириной в палец, затем передавала на следующий стол. Работали целый день. Издевательства, побои. Однажды надзирательнице что-то не понравилось, и она так ударила меня по голове, что шрам остался на всю жизнь.

Я тайком приносила в барак полоски, которые вырезала, сплела портмоне, которое хранится у дочери как наша семейная реликвия.

Нас освободили англичане в первых числах мая 1945 года, отправили в русскую зону в г. Нойенбрандербург. Здесь мы проходили фильтрацию. Когда я заполняла анкету, вдруг услышала голос майора: «Люда, это ты?»

Он, оказывается, знал моих ребят-подпольщиков, знал и обо мне. Мы обнялись, и я заплакала. Майор посодействовал моему скорейшему возвращению на Родину.

Когда я приехала в Симферополь, папа вернулся с фронта, болел, старшего брата ранили на Сапун-горе, еще братик маленький. Надо было работать. Я пошла поступать учеником счетовода в Госбанк, а при заполнении анкеты мне сказали: «Нет». Обратилась в КГБ, рассказала все. Через неделю мне сказали: «Ничего не бойтесь, все будет хорошо».

Я поступила в Госбанк учеником, закончила курсы и стала квалифицированным специалистом. Работала на разных местах, последние 18 лет кассиром троллейбусного парка.

Моим мужем стал старшина Павел Иванович Зубовской, участник Великой Отечественной войны, защитник Малой земли, участник знаменитого керченского десанта. Он освобождал Крым, Варшаву, закончил войну в Берлине.

Дорогой смерти
Корниенко (Горбенко) Клавдия Николаевна, 1925 г. р

Когда началась война, наша семья жила в Днепродзержинске Днепропетровской области. Отец работал мастером на военно-ремонтном заводе, мама медсестрой в горбольнице. Город фашисты оккупировали в июле 1941 года и сразу стали расстреливать раненых прямо на больничных койках.

Мы, школьники, через своих знакомых прятали раненых на чердаках и в подвалах, помогали перейти к своим. Я стала связной подпольной группы. В городе появились виселицы, повешенных не снимали несколько дней, за нарушение комендантского часа расстреливали на месте.

Немецкую форму для проведения операций добывали партизаны, а мы, школьники, несли ее в село Романково, где горожане меняли одежду на еду. Было страшно, но мы уже знали, что дела у фашистов идут все хуже. Подпольщикам удалось освободить из тюрем узников-смертников.

Я возвращалась домой через станцию Баглей и попала под бомбежку. Меня ранило в ногу. Я потеряла сознание. Нас привезли в Днепродзержинск, в гестапо. Всех жестоко избили, мне выбили челюсть и отбили почки.

Из наших подпольщиков 27 человек расстреляли. Сейчас в центре Днепродзержинска установлена гранитная плита, где выбиты имена погибших.

Продолжались бои за Днепр. Накануне освобождения города начальник гестапо сказал молодежи нашей подпольной организации: «Я бы мог сейчас вас здесь расстрелять, но вы поедете в Великую Германию и будете много, очень много работать, пока не сдохнете».

Сначала мы попали в городок Игрень. Садист Кузенко проводил «инструкцию» – он отдавал команды: «Бегом, присесть, на четвереньках, встать, лечь…» Люди, измотанные в тюрьмах и гестапо, с трудом выполняли команды садиста, из ушей текла кровь. Тех, кто не мог встать, пристреливали.

В товарном поезде нас отправили в концлагерь Маутхаузен. Это было начало страшного пути в ад.

Над концлагерем стояла сплошная белая пелена каменной пыли. По высокой лестнице (ее назвали лестницей смерти) узники выносили большие каменные плиты к платформам товарного поезда. Часто охрана развлекалась тем, что сталкивала

узников с лестницы вниз, а сверху сбрасывала плиты, чтобы попасть в живых людей, и хохотала. Это страшное зрелище было нам видно сквозь щели барака. Смотреть на это было невозможно, многим женщинам было плохо. Наш блоковый Ганс сказал, что скоро нас повезут в другой концлагерь, и он будет намного хуже.

Освенцим

На главных воротах лагеря была надпись на немецком языке: «Работа делает свободным».

Когда нас привезли, моросил дождь, было холодно. У брамы на камнях стояла группа женщин. Их черные халаты крест-накрест пересекала красная линия. Нам сказали, что это еврейки-смертницы. Женщины держали по кирпичу. Руки у них посинели и дрожали, а рядом рвались с поводка собаки. Это был день массовой казни евреев и цыган.

Замерзших и голодных, нас втолкнули в вестибюль крематория на санобработку. На левой руке машинкой выбили номер 65171. Надзирательница сказала: «Забудьте, как вас звали. Теперь у вас только номер. Выйти отсюда невозможно. Отсюда один выход – через трубу крематория».

Натолкали нас в барак намного больше, чем он мог вместить. Трехэтажные нары, на бок поворачивались по команде.

Надзирательница сказала:
«Забудьте, как вас звали. Теперь у вас только номер. Выйти отсюда невозможно. Отсюда один выход – через трубу крематория». Натолкали нас в барак намного больше, чем он мог вместить. Трехэтажные нары, на бок поворачивались по команде.

Мы усвоили главное лагерное правило: не попадаться на глаза капо-палачам, немцам, осужденным за убийство, бандитизм, проституцию. Они также носили полосатую форму, но новую, на правой руке, на желтой ткани была надпись: «КАРО». Они были помощниками комендантов лагеря, которые за убийство узника платили 60 марок. Сначала было привыкание к лагерным условиям: рыли ямы, перетаскивали камни, затем другая команда их закапывала. Работа тяжелая и бесполезная.

Через месяц перевали в рабочий лагерь «Б». Я попала в строительную бригаду – на строительство узкоколейки к другим филиалам Освенцима.

Силы уходили, одолевали болезни. Я попала в ревир

(лагерную больницу), откуда больных отправляли в крематорий. Мне повезло: в ревире работала моя землячка, военнопленная Любовь Яковлева Алпатова. Пока я поправлялась, она меня прятала в комнате для медсестер и фактически спасла мне жизнь.

Из Освенцима в Равенсбрюк

Нас привезли в Берген-Бельзен. Это был настоящий ад на земле. Крематорий не работал. Везде были горы трупов, политые жидкостью для сожжения. Воды нет, еды не дают. Оставшиеся в живых предупреждали: все отравлено. Лагерных номеров нам не давали. Это значило, что мы прибыли для уничтожения.

Но дорога в ад продолжалась: снова товарняки, снова нас везут неизвестно куда. После остановки мужчин высадили, а женщин отправили в Равенсбрюк. Четыре дня мы перетаскивали камни, переносили на носилках песок.

Затем снова команда: «Кто может ходить – выйти вперед». Вышли, собрав последние силы.

Флоссенбург

Мы попали в концлагерь, в команду «Дрезден», где был подземный завод, на котором производили самолеты «мессершмитт». Нас определили в наземный барак, где мы спали и работали на станках по обработке мелких деталей. Здесь мне присвоили лагерный номер 62711.

Скоро началась такая массированная бомбежка Дрездена, что работать стало невозможно. Весь лагерь спешно эвакуировали. Для меня это была вторая дорога смерти. Еды нам не давали, хотя каждый узник вез тележку с провизией для эсэсовцев и охраны. Вокруг грохот орудий, разрывы бомб, снова смерть идет рядом. Мы двигались через Пирну в крепость Кёнигштайн, где нас должны были загнать в штольни и отравить газом «Циклон-Б».

При подходе к крепости нас встретили советские солдаты. Надзирательнице и охране удалось сбежать. Нас забрали в передвижной госпиталь и помогли вернуться домой.

Взрослые накрывали нас, детей, своими телами
Гетова Эмма Павловна, 1939 г. р

Я родилась 18 января 1939 года в городе Славянске Донецкой области. Весной 1942 года нас с мамой и с семилетней сестрой Лилей угнали в Германию.

Нас везли в товарном вагоне, по дороге часто были сильные обстрелы, бомбежки. Люди кричали, плакали. Взрослые своими телами накрывали нас, детей. Я это хорошо помню.

Нас привезли в Берлин и загнали за колючую проволоку в бараки лагеря «Осткронц № 5». Взрослых гоняли на работу в Потсдам – с раннего утра и до позднего вечера мыть электрички. Поднимали в четыре утра криком «Ауфштейн, фир уп». Два раза в день кормили баландой.

Мы, дети, целый день находились в лагере, предоставленные сами себе. Спали на двухъярусных нарах. Перед сном мама на тряпочку вычесывала нам густым гребешком вшей. До сих пор при воспоминании мурашки по телу идут.

Днем мы часто подходили к полосатым столбам, где были вооруженные часовые, и просили хоть кусочек хлеба. Очень хотелось есть, но нам не давали. Из соседнего барака русский немец из Краматорска навязал нам с сестрой нянчить восьмимесячную дочь Олю, за что мы получали в неделю кусочек мыла и одну пачку печенья.

Очень хотелось есть, но нам не давали. Из соседнего барака русский немец из Краматорска навязал нам с сестрой нянчить восьмимесячную дочь Олю, за что мы получали в неделю кусочек мыла и одну пачку печенья.

Девочка была очень капризная, и мы очень уставали. Чтобы избавиться от нее, мы во время ее сна выстригли ей на темени волосы, после чего очень испугались и сбежали, спрятавшись на мусорнике. Там сестра взяла с меня клятву, что правду скажем маме только после войны, а тогда сочинили свою историю. Нас до ночи искали всем бараком. Наказания мы избежали, видимо, из-за своего возраста, но ребенка нам больше не доверяли.

В моем воспоминании очень запомнился день освобождения. Это был май 1945 года. Нас освободила Советская армия. Низко летали самолеты, крики радости и слезы – все перемешалось. Мужчины достали телегу и поехали к бауэру за продуктами.

Потом жгли костры, и много было еды, которая нам и не снилась. А затем было возвращение домой, на родину, которая нас встретила враждебно, считая чуть ли не врагами народа.

Из того ада у мамы чудом осталась фотография, где она очень худая, с большим номером на груди. К сожалению, из-за гонения моя сестра спалила это фото. Прошло много лет, но пережитый кошмар часто вспоминается.

Вонь гнилой брюквы преследует меня до сих пор
Фомкин Валентин Васильевич, 1936 г. р

Бывший малолетний узник немецкого концлагеря. Родился 14 апреля 1936 года. Был вывезен из Крыма в июле 1942 года. Инвалид войны первой группы.

Летом 1942 года мы с мамой жили в Керчи Крымской АССР. Оттуда нас угнали в лагерь для восточных рабочих в городе Гельзенкирхен. Лагерь располагался на бывшей спортивной площадке на Дессауэр-штрассе, в так называемом Новом городе. Вокруг нашего лагеря располагались и другие лагеря, притом много лагерей, в которых содержались люди из разных европейских стран. Всего в Гельзенкирхене было 75 лагерей, в которых содержалось до 10 тысяч невольников из всех стран Европы, покоренных фашистским режимом.

Мама работала на сталелитейном заводе фирмы «Рургиталь», я же вначале оставался при лагере, где занят был на переборке гнилой вонючей брюквы в подземном овощехранилище. Вонь гнилой брюквы преследует меня до сих пор, так как нас этой же гнилью, сваренной в котле, кормили три раза в день. Кроме переборки гнилья, грузил на подводы различные отходы, мусор, носил воду в бидонах с таким же, как и я, мальчиком Сеней. Так было ежедневно до 1944 года. Осенью того года мама вымолила у нашего надзирателя-эсэсовца по имени Генрих, чтобы меня вместе с ней гоняли колонной на завод, потому что на заводе лучше кормили и не было там этого мерзавца Генриха, который за любое неповиновение бил штыковой лопатой по чему попадет.

Я был более исполнительным и точным, а вот моему напарнику Сене, который был старше меня на два года, попадало часто. Однажды Генрих ударил его по ноге лопатой так, что в результате Сеня остался без ноги – ее отрезали, чтобы он не умер.

Осенью того года мама вымолила у нашего надзирателя-эсэсовца по имени Генрих, чтобы меня вместе с ней гоняли колонной на завод, потому что на заводе лучше кормили и не было там этого мерзавца Генриха, который за любое неповиновение бил штыковой лопатой по чему попадет.

Умирали в лагере многие: от тяжелой работы, плохой еды и

от побоев, если попадали в лапы Генриха Штрауса и других эсэсовцев. Так с осени 1944 года я стал ходить в колонне со взрослыми на завод.

Выдали деревянные колодки на ноги, так называемые «шуги», чтобы не сбежал и чтобы слышно было; робу со знаком OST и пришили к рукаву номер.

Работал в токарном цехе на уборке, убирал металлическую стружку от станков, укладывал в тачки и вывозил в склад металлолома. Было мне тогда чуть больше девяти лет. В цехе был мастер, он неплохо относился ко мне – ребенку. Мама работала в литейном цехе, в обеденный перерыв мы виделись. Надо сказать, что простые немцы-рабочие (не все, конечно) неплохо относились ко мне, даже иногда отрывали от своего обеда кусочек и давали мне. А были озверевшие немцы-рабочие, которым опасно было попадаться на глаза: они пытались ударить или плюнуть и обозвать «русиш швайн».

В середине октября мы приехали в Крым. В том 1945 году в Крыму очень рано выпал снег. Выгрузили нас на снег, наш дом в Керчи был разрушен. Так началась новая эра – борьба за выживание!

17 апреля 1945 года американские войска начали штурм Гельзенкирхена. Вечером этого дня в наш барак попал американский снаряд, было много убитых и раненых среди нас. Барак горел, и меня завалило горящими балками, я сильно обгорел, но выполз. Ночь промучился, терял сознание. Утром в лагерь въехали на джипах американские солдаты. Всех раненых, включая меня, вывезли в свой полевой госпиталь, лечили до июля 1945 года. Затем начали нас готовить к передаче советской военной администрации. Мама была со мной.

В августе нас передали нашим и повезли нас на сборный пункт в г. Магдебург. Вскорости нас погрузили в «телятники» с колючей проволокой (точно так же, как и немцы в 1942 году) и повезли на родину. Ехали два месяца, кормление для нас не было предусмотрено. В середине октября мы приехали в Крым. В том 1945 году в Крыму очень рано выпал снег. Выгрузили нас на снег, наш дом в Керчи был разрушен. Так началась новая эра – борьба за выживание!

Мое существование нигде не было зафиксировано
Кадацкая Евгения Михайловна, 1945 г. р

Я родилась в 1945 году в Германии, в городе Ванне-Айккель. Друзья из города Моерс помогли мне разыскать семью Пейтерс. В этой семье работали мои мама и папа во время войны. Они были угнаны в Германию на принудительные работы. Тогда я у них и родилась.

Мой папа родом из Новотроицкого района Херсонской области, из села Яновка. В семье, кроме папы, были еще две сестры, старшую звали Даша, а младшую Галя. И тетю Дашу, и тетю Галю должны были тоже увезти в Германию. Чтобы дочерей спасти от угона, моя бабушка накануне мобилизации своим дочерям на руках до самых локтей ножом сделала порезы, а затем в образовавшиеся ранки положила негашеную известь. За ночь эта известь так разъела ранки, что при осмотре в комендатуре девушек посчитали больными экземой и признали непригодными к работе. Раны постепенно зажили, мои тети были спасены от рабского труда в Германии, но шрамы от этих ран остались на всю жизнь. Одна из сестер жива до сих пор, живет в Херсоне и при встрече рассказывает мне об этих событиях.

Мой отец – Михаил – в семье был самый меньший. Его бабушка пожалела, не стала делать ранки, а решила просто спрятать в большой яме, где раньше держали животных. В этой яме папа просидел очень долго, но кто-то из соседей выдал старосте, где прячется отец. В селе опять была мобилизация, и папу забрали в Германию.

Сначала отец и еще несколько односельчан поместили в лагерь, который находился в городе Ванне-Айккель. Работали на лакокрасочной фабрике, на шахте. На работу и с работы шли под конвоем с собаками и сопровождающими автоматчиками. Жили в бараках за колючей проволокой, спали на деревянных нарах в два-три яруса. Все это было перенести очень трудно, но еще труднее было с питанием. Кормили два раза на день, и пищей назвать то, что давали, нельзя. Это было какое-то варево из брюквы и гнилой капусты. В свое время дома этим кормили скотину.

Папа рассказывал, что поначалу работники отказывались есть такую бурду, но кушать очень хотелось, и после таких обедов у многих была рвота, боль в желудках, кружилась голова. Наступало утро, и снова надо было работать, а если кто

заболевал, не мог подняться с нар, то к вечеру он куда-то исчезал. Больше они этих товарищей не видели. Все понимали, что таких слабых, больных и немощных увозили из лагеря и расстреливали. Поэтому из последних сил приходилось идти на работу, чтобы выжить.

Папа мне рассказывал, как один из надзирателей почистил картошку, а кожуру выбросил рядом с оградой. Отец увидел и решил забрать эту кожуру. Пытаясь быть незамеченным, стал ползти к этой кучке картофельных очисток. Конечно же, часовой специально это сделал, чтобы потом позабавиться. Он дал возможность папе доползти до очисток, а затем стал из автомата обстреливать отца со всех сторон. Так желание съесть отходы чуть не стоило жизни моему папе.

Один из надзирателей почистил картошку, а кожуру выбросил рядом с оградой. Отец увидел и решил забрать эту кожуру. Пытаясь быть незамеченным, стал ползти к этой кучке картофельных очисток. Конечно же, часовой специально это сделал, чтобы потом позабавиться. Он дал возможность папе доползти до очисток, а затем стал из автомата обстреливать отца со всех сторон.

Недалеко от этого лагеря у разных бауэров работали папины односельчане и двоюродные сестры: Полина, Григорий, Михаил. Дядя Гриша и дядя Миша работали в семье Питера Пейтерса. Они иногда приходили к лагерю, где был мой отец, приносили хлеб, украдкой, с большим риском для жизни, передавали это нам.

После освобождения моего отца сразу отправили на Урал на лесоразработки. Мама вместе с односельчанами и папиными родственниками проходила фильтрационную проверку, по очереди заходили в кабинет, а меня передавали из рук на руки. Таким образом, мое существование нигде не было зафиксировано. По прибытии к месту жительства моего отца мама побоялась показать немецкий документ о моем рождении в Германии. Выдать новое свидетельство о рождении местные бюрократы отказались. Так я два года жила без всяких документов. В те времена никто не задумывался над важностью этой ситуации.

Через два года моя мама сумела уговорить свою подругу, работающую в исполкоме по выдаче свидетельств, выдать мне документ о рождении. В свидетельстве было написано, что я родилась в поселке Черноморское Крымской области и дата рождения была проставлена тем днем, когда мама посетила этот исполком.

Пыль въедалась в кожу
Брагина Агафья Петровна

Меня угнали на работу в Германию в 1942 году. Освободили нас американцы в апреле 1945-го, а добираться на родину пришлось долгих пять месяцев.

Вскоре после начала войны немцы появились и в Крыму, в нашей деревне. В сентябре 1942 года в наш дом вместе зашли немец и русский полицай, приказали маме собрать мои вещи, запас продовольствия и привести меня к колхозному скотному двору. Загнали всех пришедших девушек в скотник, не дали даже попрощаться с родными и друзьями. О дальнейших действиях нам не сообщили. Далее погрузили в повозки, в сопровождении полицая довезли до Беляуса (вблизи Евпатории) и перегрузили на машины. На машинах нас доставили в Евпаторию на биржу труда. Оттуда – в товарные вагоны и без пересадки до города Кракова (Польша).

> Там произвели дезинфекцию, облили гадкой вонючей жидкостью все места на теле, где росли волосы, затем неровно, оставляя клочья, обстригли. Оставшиеся продукты, взятые из дому, заставили высыпать на землю.

Там произвели дезинфекцию, облили гадкой вонючей жидкостью все места на теле, где росли волосы, затем неровно, оставляя клочья, обстригли. Оставшиеся продукты, взятые из дому, заставили высыпать на землю. Нас снова погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию, в город Зоэст. Там был распределительный пункт. Поселили нас в загоны, там стояли трехэтажные нары. Мы переночевали, утром вызвали нас на площадь. На трибуну взошел немец и сказал на ломаном русском, что, мол, вы приехали сюда добровольно, поэтому будьте добры подчиняться, за невыполнение наших указаний – расстрел.

Построили нас в колонны по три человека и впервые за всё время стали кормить. Привезли в баках какое-то варево из шпината, хлеба не дали. Несмотря на то что все мы были очень голодные, есть такую «пищу» не смогли. Вылили всё под ноги, немцы ругались, говорили, что вы, мол, не голодные. Наконец приехали хозяева шахт, заводов, фабрик, госпиталей и бауэры. Вначале бауэры выбрали себе работников. Нравились им девушки со светлыми волосами. Темноволосым, как я, досталась худшая доля – работа на угольной шахте. Меня в числе других девушек

общим числом 30 человек привезли на шахту в город Эссен Купфедре. Поселили вначале рядом с шахтой, потом перевели в специально выстроенные для нас бараки. На работу будили в 4 часа утра, вели на шахту колоннами по три человека в сопровождении полицаев, как военнопленных. Вначале я работала там, где отбирали породу от угля, потом в цеху, где мыли уголь, а после пошла на повышение – подметала угольную пыль, затем – переключала полотна, когда отпускали уголь бауэрам. Всегда в пыли, пыль въедалась в кожу, забивала дыхательные пути.

> Вначале бауэры выбрали себе работников. Нравились им девушки со светлыми волосами. Темноволосым, как я, досталась худшая доля – работа на угольной шахте.

Кормили один раз в сутки, в обед привозили жидкую баланду. Два раза в неделю, в понедельник и четверг, выдавали сухой паек: булку хлеба, немного маргарина и граммов 200 сахара. Хлеб выпекался неизвестно из чего (буряк, опилки, что-то еще), он колыхался как холодец. Мы, постоянно голодные, съедали этот паек за день, а после 2–3 дня сидели без хлеба. Все мы были невероятно худы, как дистрофики.

Это я указываю для того, чтобы хотя бы медики могли представить себе, как тяжело нам было. Я не умерла с голоду от такого питания за три года лишь благодаря добрым немцам, работавшим на шахте. Они тайком приносили небольшой бутерброд, изредка, по воскресеньям, приглашали домой, там подкармливали.

Ровно в четыре часа утра являлся полицай с гумой (резиновой дубинкой) и кричал: «Авштейн зау банда русиш швайн, лес шнель арбайтен, становись три по три в шеренгу». Не стучите, мол, идите тихо, а то «дойче камарад шляфен», то есть спят. Ехали до шахты специальным трамваем, который возил только нас, в бане переодевались в мужскую спецовку, на ноги – деревянные гольцы (ботинки) и шли на работу.

Перед освобождением нас не повели на шахту, а погнали пешком вдоль леса. Вдруг налетели американцы, стали обстреливать с воздуха из пулемета, мы кинулись в лес и там прожили неделю. Несколько человек со мной вместе жили у бауэра в сарае, спали на соломе, он нас подкармливал. Через неделю нас разыскали американцы с русскими, они ходили с рупорами и призывали выйти из лесу и собраться всем вместе.

> Нас начали отправлять по домам. Возможность

уехать в любую другую страну у нас была, некоторые ею воспользовались, а я вернулась к маме.

Мы собрались, нас привели снова туда, где мы жили, но поселили в немецких казармах на два месяца, кормили хорошо.

Затем нас начали отправлять по домам.

Приехал русский полковник, собрал митинг, призывал ехать только домой, а не разъезжаться по другим странам. Возможность уехать в любую другую страну у нас была, некоторые ею воспользовались, а я вернулась к маме.

Выдали нам сухой паек, привезли на электричках в Мюнхен. Там русские военные на открытых военных машинах привезли нас в Белоруссию, в город Гродно. По дороге до Белоруссии нас охраняли на танкетках от пронемецких партизан, которые могли нас обстрелять. В Гродно мы прожили около месяца, дожидаясь отправки в Россию. Наконец сели в поезд и с частыми длительными остановками доехали до Днепропетровска. Оттуда своим ходом, на чем пришлось, я добралась до города Черноморска, где меня встретила мама на повозке с коровьей упряжью.

Освободили нас 17 апреля 1945 года, а домой я добралась лишь 17 сентября 1945 года, то есть спустя 5 месяцев. Дома меня долго не оставлял в покое НКВД. Вызывали на допросы, там, угрожая пистолетом, допрашивали, а не поехала ли я в Германию добровольно, но каждый раз убеждались, что я была угнана принудительно.

Годовщину октября мы отмечали забастовкой
Степанова Валентина Владимировна

Я мечтала стать балериной, ходила заниматься в клуб. Войну я встретила в Севастополе, а потом меня вместе с другими отправили на работу в Германию, в деревню Майнерцхаген.

Всю оборону я находилась в осажденном Севастополе. Смотрела за дочерью сестры, рыла окопы, тушила фугасы, носила воду из колодцев, не раз попадала под бомбежки. А маму мою однажды завалило во время очередного артобстрела. Лишь вечером, когда отец пришел с работы, ее удалось откопать.

1 июля 1942 года мы увидели первых вошедших в Севастополь немцев. Я как сейчас помню, что было 14 часов 30 минут. Все оставшиеся в живых во время оккупации повылезали из щелей и подвалов, где до этого прятались, и увидели немцев на мотоциклах. После артобстрелов и бомбежек стояла необычная тишина. Один из мотоциклистов подошел к отцу и указал на руку. Отец подумал, что он интересуется временем, и вынул добротные карманные часы. Тогда немец, не церемонясь, нагло забрал их, сел на мотоцикл и уехал. Это была моя первая встреча с оккупантами, которые не считали нас за людей и могли отобрать все, что им заблагорассудится.

Один из мотоциклистов подошел к отцу и указал на руку. Отец подумал, что он интересуется временем, и вынул добротные карманные часы. Тогда немец, не церемонясь, нагло забрал их, сел на мотоцикл и уехал. Это была моя первая встреча с оккупантами, которые не считали нас за людей и могли отобрать все, что им заблагорассудится.

Много нам пришлось помыкаться во время оккупации. Есть было нечего, жили одно время даже в водопроводной будке. Затем всем приказали явиться на улицу Ленина, напротив комендатуры. А после был приказ прийти с вещами на вокзал для отправки в Германию. Погрузили нас в товарняки, поставили часового и 25 августа повезли на чужбину. Было мне тогда всего 14 с половиной лет. Хотела бежать, когда вагон остановился в Симферополе, но немец стукнул по голове и снова втащил в товарняк.

Только 4 сентября мы добрались до города Перемышль,

который находится в Польше. Здесь прошли дезинфекцию и были отправлены на биржу труда в Германию. Вот тут-то понаехали «хозяева». Самых здоровых и трудоспособных они брали на сельхозработы, а на нас, истощенных осадой севастопольцев, никто даже не смотрел. И лишь под конец торгов приехал владелец фабрики

Отто Фукс, купил всех севастопольцев по 9 марок за каждого и повез в лагерь для военнопленных, который находился недалеко от Кельна, на земле Вестфалия, в деревне Майнерцхаген.

Лагерь был интернациональный.

Вот тут-то понаехали «хозяева». Самых здоровых и трудоспособных они брали на сельхозработы, а на нас, истощенных осадой севастопольцев, никто даже не смотрел. И лишь под конец торгов приехал владелец фабрики Отто Фукс, купил всех севастопольцев по 9 марок за каждого.

В нем находились чехи, поляки, французы, русские, украинцы. Все мы имели бляхи с номерами, а каждый из восточных рабочих обязан был носить еще и бирку OST. Мой номер был 489. Каждый день, перед тем как вести нас на работу, полицай выкрикивал номера, открывались ворота с колючей проволокой, мы шли на территорию фабрики.

Меня, как и других самых молодых узниц, направили в сборочный цех, где собирались детали для снарядов. Работали мы по 12 часов в день, с 7 утра до 7 вечера. Трудилась я рядом с подругами Людмилой Карташовой из Ворошиловграда (Луганск) и Юлией Володиной из Донецка… Однажды в этом цехе произошел взрыв. Тогда всех русских оттуда убрали и перевели на другое производство. Там меня поставили к сверлильному станку. Опыта было мало,

Не все были такими жестокими фашистами. Служил в лагере полицай Отто – бывший скрипач. Так он никогда никого не бил, никогда не кричал.

Иногда рассказывал о положении на фронтах, о Сталинграде. Но вскоре его не стало – немцы донесли на антифашиста, и его отправили в концлагерь.

и, когда я сломала несколько сверл, мастер-немец, которого мы называли «Солнышко», ударил меня в лицо так, что я залилась кровью, а начальник цеха Эмиль бил плетью рабочих куда попало: по лицу, по спине, по голове…

Правда, не все были такими жестокими фашистами. Служил в лагере полицай Отто – бывший скрипач. Так он никогда никого не бил, никогда не кричал. Иногда рассказывал о положении на фронтах, о Сталинграде. Но вскоре его не стало – немцы донесли на антифашиста, и его отправили в концлагерь.

Кормили нас очень плохо, лишь бы, как говорится, не протянули ноги. В основном, давали молотую брюкву, разбавленную водой. Иногда туда добавляли немного шпината и синей капусты. Хлеб был сладкий, из буряка. Спали мы на двухъярусных деревянных нарах, соломенных матрасах и таких же подушках, укрываясь грубошерстными вонючими одеялами. Ходили в деревянных колодках и специальных костюмах с отличительными знаками пленных.

> 7 ноября 1943 года почти весь лагерь забастовал. Мы отказались есть брюкву и потребовали в честь праздника лучшей пищи. У кого был красный платочек, лоскутик или косынка, повесили их на станках и перестали работать. Так мы отмечали 26-ю годовщину Великого Октября. Три дня не притрагивались к пище, бастовали.

Но даже в этих тяжелых условиях мы продолжали оставаться советскими людьми. 7 ноября 1943 года почти весь лагерь забастовал. Мы отказались есть брюкву и потребовали в честь праздника лучшей пищи. У кого был красный платочек, лоскутик или косынка, повесили их на станках и перестали работать. Так мы отмечали 26-ю годовщину Великого Октября. Три дня не притрагивались к пище, бастовали. Немцы-охранники испугались, вызвали эсэсовцев, которые грозили нам, стреляли в воздух, но потом все-таки сдались, пошли на уступки и дали узникам немного картошки, чтобы те смогли справить свой праздник.

11 апреля 1945 года нас освободили американцы, но еще целых два месяца мы находились в лагере, и лишь в июне нас вывезли в степь и передали советским войскам. Потом была фильтрация под Кенигсбергом, под Краковом, где нас подкармливали из походных кухонь супом с мясом, молочной и рисовой кашей. Затем работала под Симферополем в совхозе «Боданы» и лишь 9 марта 1946 года наконец-то вступила на севастопольскую землю, после того как мать сделала вызов.

Дети в партизанских отрядах

Дети в партизанских отрядах

Быть может, именно массовое партизанское движение – лучшее доказательство того, что война носила характер Отечественной. Глубоко за линией фронта, с опорой лишь на местное население сражаться с кадровыми армейскими частями противника – это и есть подлинный героизм.

На оккупированной территории СССР партизанское движение имело самый что ни на есть массовый характер – в общей сложности с 1941 по 1944 год на захваченных землях действовало 6200 партизанских отрядов и соединений, а общая численность партизан и подпольщиков оценивается в 1 миллион человек. Кроме того, еще 40 тысяч советских граждан принимало участие в деятельности Сопротивления на территории зарубежных стран.

Впрочем, из-за просчетов командования партизанское движение по сути пришлось формировать с нуля. Дело в том, что еще в начале 30-х годов военное руководство вело подготовку к возможной партизанской войне – анализировался опыт других стран, проводился учет кадров подпольщиков, писались учебные пособия по тактике партизанской борьбы. Кроме того, с конца 1931 года в приграничных районах оборудовали скрытые склады с оружием и снаряжением, а осенью 32 года партизаны принимали участие в военных учениях.

Но, начиная с 1937 года, из-за доктрины войны «малой кровью и на чужой территории» система подготовки партизанских кадров последовательно разрушалась, оборудованные склады перестали существовать, а большая часть подготовленных кадров была репрессирована или расстреляна. В итоге солдаты и офицеры Красной армии не были обучены тактике партизанских действий.

Решение о повторном формировании партизанских отрядов было принято сразу после начала войны – в июне 1941 года. Развертывать партизанское движение было поручено 4-му управлению НКВД СССР под командованием Павла Судоплатова. В частности, именно из подконтрольных ему частей формировались диверсионные группы для заброски в немецкий тыл – они должны были организовывать и пополнять отряды «народных мстителей».

В конце мая 1942 года был создан Центральный штаб партизанского движения – это позволило согласовывать действия отрядов и армейских частей, налаживать снабжение и взаимодействие. Тем более что, несмотря на региональные различия, у большинства партизанских отрядов была схожая

структура.

Основной организационной и боевой единицей партизан был *партизанский отряд,* состоявший обычно из рот, взводов и отделений, а иногда из боевых групп. Его численность колебалась от 20 до 200 человек. Отряд входил в состав партизанской бригады (соединения, дивизии) или был самостоятельным.

Партизанский полк состоял из батальонов, широкого распространения не получил. Действовал самостоятельно или в составе партизанской бригады, соединения (дивизии). В основном полками назывались партизанские отряды на Могилевщине.

Партизанская бригада объединяла несколько отрядов (реже батальонов и полков) и насчитывала от нескольких сотен до 3–4 тыс. и более человек.

Партизанское соединение (дивизия) включало 10 и более партизанских бригад общей численностью до 15–19 тыс. человек, создавалось по решению штабов партизанского движения, подпольных обкомов (райкомов) партии. В боевых действиях соединения (дивизии) преобладало проведение рейдов, в том числе и за пределы советской территории. В некоторые соединения организационно входили кавалерийские, артиллерийские и пулемётные подразделения.

При этом риски для партизанских отрядов были необычайно велики. В 1941–1942 годах смертность среди заброшенных НКВД в тыл противника групп составляла 93 %. Например, на Украине с начала войны и до лета 1942 года НКВД подготовил в тылу 2 партизанских полка, 1565 партизанских отрядов и групп общей численностью 34 979 человек, а к 10 июня 1942 года на связи осталось всего 100 групп, что показало неэффективность работы больших подразделений, особенно в степной зоне. К концу войны смертность в партизанских отрядах составляла около 10 %.

Идеальными условиями для действий партизанских отрядов были леса, болота и горы. Здесь бойцы могли вступать даже в открытые столкновения с врагом, в то время как в степных районах их деятельность ограничивалась диверсиями.

С помощью партизан советское командование решало самые разные задачи. Помимо разведки и агитации при помощи диверсий удавалось срывать планы немецкого командования. За годы войны советские партизаны пустили под откос около 18 000 составов, из них 15 000 – в 1943–1944 годах. Кроме того, бойцы уничтожали линии связи, высоковольтные линии, отравляли водопроводы и колодцы.

Партизанское движение было чрезвычайно сильно на территории Белоруссии, что объясняется ландшафтом республики, сочетанием лесов и болот. К тому же немцы

обложили местное население непомерными продуктовыми платежами, что усиливало базу поддержки партизан. Так, например, жители Белоруссии должны были отдавать 3–4 центнера зерна с гектара, 350 литров молока с каждой коровы, 100 кг свинины с одного двора, 35 яиц от каждой курицы, 6 кг птицы со двора, 1,5 кг шерсти с каждой овцы и в среднем 100 рублей на человека.

В итоге уже к августу 41-го в БССР действовал 231 партизанский отряд, а к лету 44 года общая численность движения в республике насчитывала 143 тысячи человек. Кстати, именно руководители белорусского партизанского отряда «Красный Октябрь» – командир Федор Павловский и комиссар Тихон Бумажков – 6 августа 1941 года первыми из партизан были удостоены звания Героя Советского Союза. А много позже теплоход «Лидия Демеш» был назван в честь тринадцатилетней белорусской партизанки, расстрелянной оккупантами в 1943 году. Вклад народных мстителей в освобождение республики был таким, что 16 июля 1944 года в Минске по случаю освобождения города от немецкой оккупации состоялся партизанский парад.

Еще одним центром партизанского движения стала Украина – в частности, лесистые районы северных областей и прифронтовая полоса. В 1941 году партизанские отряды стекались в Сумскую область. В 1941 году партийное подполье удалось создать лишь в Киеве, Харькове, Чернигове, Ровно, Одессе, Николаеве и некоторых других городах Украины. Крупных боев с немецкими войсками почти не было – преимущество отдавалось разведке, засадам и диверсиям.

В середине 1943 года в битве за Днепр приняли участие 17 332 украинских советских партизан, которые захватили и частично оборудовали 25 переправ через Днепр, Десну и Припять. Общая численность советских партизан и подпольщиков на территории Украины в 1941–1944 годы оценивалась на уровне 220 тыс. чел. в составе 53 партизанских соединений, 2145 партизанских отрядов и 1807 партизанских групп. В количественном отношении среди украинских советских партизан преобладали украинцы, вместе с ними в партизанских отрядах сражались русские, белорусы и представители 38 других национальностей СССР, а также интернационалисты – граждане европейских государств: 2 тыс. поляков, 400 чехов и словаков, 71 югослав, 47 венгров, 28 немцев и 18 французов. Светскими наградами были награждены 183 тысяч человек, звание Героя Советского Союза получили 95 человек (двое из них: Алексей Федорович Фёдоров и Сидор Артемьевич Ковпак – стали дважды Героями Советского Союза).

Кроме того интенсивные партизанские действия велись на территории Молдавии – там за период с 1941 по 1944 год подпольщики вывели из строя 30 тысяч оккупантов и их пособников, организовали крушение 300 воинских эшелонов, подорвали 133 танка и бронемашины, 20 самолетов, сотни автомобилей, взорвали 62 железнодорожных моста.

Сами немцы называли партизан «вторым фронтом» в тылу своей главной линии обороны. Коллаборационистская пресса призывала население оккупированной территории не оказывать помощь и поддержку советским партизанам. Известны многочисленные случаи создания нацистами карательных отрядов (как правило, из коллаборационистов), которые выдавали себя за советских партизан и занимались выявлением и уничтожением партизан и их сторонников среди местного населения. Кроме того, с целью дискредитации партизанского движения они совершали убийства мирного населения, занимались бандитизмом и совершали иные преступления.

Пулемет мне вручили за смелость
Богданович Иван Семенович

Воевал в партизанском отряде «За Советскую Беларусь», участник операции «Рельсовая война». В настоящее время живет в г. Осиповичи Могилевской области.

> Когда вернулись в лагерь, командир построил отряд. Всем объявили благодарность, а мне за смелость вручили пулемет Дегтярева.

Где-то в июле 43-го к нам в партизанский отряд прислали подрывников с Большой земли. Шесть человек. Они нас учили, как подрывать рельсы на железной дороге. Показывали шашки головые, капсюли, которые вставляются в шашку. Учили, как подкладывать под рельсу эту шашку, чем ее закреплять, как потом вставить шнур этот с капсюлем и поджечь… Дней пять, наверное, проводили такие занятия. Мы уже догадывались, что что-то готовится. Что конкретно – не знали, но уже ждали.

А в первых числах августа – приказ: идем рвать железку! Нам выпал участок дороги на Могилев, Осиповичи – Свислочь. И надо было форсировать эту реку Свислочь. Подготовлены были мостки. Быстренько-быстренько нас перебросили, и мы пошли. Поближе к железной дороге.

…Наступило утро. Мы целый день находились около железной дороги, видели-слышали, как поезда идут туда-сюда… В этом лесу собралась вся бригада Королева[19]. Народу, партизан, собралось больше, чем деревьев в этом лесу! Все отряды вышли на это направление.

Потом команда: подойти вплотную к железной дороге ночью. Двинулись. И где-то к полуночи подползли почти к самой железной дороге. Дали красную ракету. Одну, вторую, третью!.. «Ура!» – и на железную дорогу. Стрельба. Земля стонала от стрельбы! Все гремело вокруг. Заложили головые эти шашки – и тут же назад, в лес. Прошло, наверное, не больше пяти минут, как все это закончилось. Ракеты белые – отход! И стало все рваться. Летело все. Такое освещение было от этих взрывов, как днем!..

> …Не было дня, чтобы не рвали железную дорогу. То на одном участке, то на другом, то на третьем. Не давали немцам покоя. Всякие хитрости придумывали. Такие шомпола ставили, например. Поезд идет, шомпол поворачивается, вырывает чеку – и взрыв!

Когда вернулись в лагерь, командир построил отряд. Всем объявили благодарность, а мне за смелость вручили пулемет Дегтярева. Я тогда молодой совсем, зеленый, а мне – пулемет! Их только два было в отряде. Так я с этим пулеметом и провоевал, пока мы не соединились с частями Красной армии.

…Не было дня, чтобы не рвали железную дорогу. То на одном участке, то на другом, то на третьем. Не давали немцам покоя. Всякие хитрости придумывали. Такие шомпола ставили, например. Поезд идет, шомпол поворачивается, вырывает чеку – и взрыв! Так фрицы придумали «козу» тянуть – крюк такой на веревке. Тянут. Взорвалось, и уже команду дают, поезда не идут. Так наши придумали потом по-другому. Взрывчатку со шнуром стали подкладывать. Залягут где-то метрах в пятидесяти и ждут, когда состав подойдет. Появился, тянут за шнур, вырывают чеку, взрыв – и летит все!

Мы двумя минами взорвали эшелон Верещагин Леонид Тарасович, 1925 г. р

Леонид Верещагин семнадцатилетним юношей входил в подпольную комсомольско-молодежную группу, воевал в 752-м партизанском отряде (1-я Бобруйская партизанская бригада). Живет в Осиповичах, Могилевская область.

В ночь с 29 на 30 июля 1943 года на железнодорожной станции Осиповичи была совершена самая масштабная за всю историю Второй мировой войны наземно-транспортная диверсия. В огне было уничтожено несколько вражеских эшелонов с авиатопливом, боеприпасами и бронетехникой, в том числе 30 новейших немецких танков. Совершил диверсию один человек – комсомолец-подпольщик Федор Крылович.

Я еще учился в десятом классе, он комсомолец, и я комсомолец. Крылович был такой вспыльчивый, любил выпить даже. И подраться… Ну характер был такой, не любил, чтобы сильно возражали… Когда немцы заняли Осиповичи, они собрали бригаду электромонтеров при депо. В этой бригаде работал Крылович, я и еще человек двенадцать. Ставили столбы линий электропередач, на паровозах ремонтировали электрооборудование.

В 42-м из Кличевского района сюда, под Осиповичи, перебрался партизанский отряд. У нас уже была подпольная группа. Слушали радио, сводки с фронта, расклеивали листовки… Установили связь с этим отрядом. В ноябре мне и еще нескольким ребятам пришлось уйти в лес. Шли разными дорогами. Ну, если кто-то не дойдет, чтобы не выдал. А Крылович – остался.

В 1943 году к нам прибыл секретарь подпольного комитета комсомола Могилевской области Волошин Павел Фомич. Меня назначили к нему провожатым. Мы с ним обошли все отряды бригады… Был такой отряд «Храбрецы». Им нужна была связь с подпольщиками из Осипович. Договорились,

> И примерно в час – в начале второго первая мина сработала… Начался пожар. Огонь перекинулся на составы, которые рядом стояли. Там были авиационные бомбы, боеприпасы, танки «Тигр». Зарево от взрывов такое, что за пять километров видно было.

что поможем наладить такую связь. А они передали нам две

мины. Я их даже держал в руках… Они небольшие, как пепельницы, пластмассовые, но два сильных магнита. Эти мины потом передали Крыловичу.

…В тот день погас семафор, и Крыловича позвали его исправить. В чемоданчик с инструментами он и положил эти две мины. Там стоял поезд наливной, с цистернами, «бочками», с бензином, соляркой. И он поставил одну мину в голове поезда, а другую – в хвосте. В этот момент подогнали еще один состав, следом другой, третий, все поезда приняли в парке. Это было часов в 11 вечера, когда он поставил. Мины были заведены на два часа – чтобы взрыв произошел спустя 120 минут. Крылович рассказывал, что, когда он уже пришел домой, не мог уснуть. Думал, отгонят поезд, и он где-то в пути сгорит. А поезд не уходит. Что будет? И примерно в час – в начале второго первая мина сработала… Начался пожар. Огонь перекинулся на составы, которые рядом стояли. Там были авиационные бомбы, боеприпасы, танки «Тигр». Зарево от взрывов такое, что за пять километров видно было. Можете представить: подколесные пары – это ось и два колеса – летали метров за двести, такие взрывы были. Весь этот парк был перевернут. Целый день все горело… На следующий день Крылович, как было заранее оговорено, вместе с отцом пришел к нам в отряд. И стал командиром диверсионной группы.

Все ждали, что Крылович получит Героя Советского Союза, но дали только орден.

В праздники старались преподнести фрицам какой-нибудь сюрприз Гуйдо Антонина Алексеевна, 1931 г. р

В годы Великой Отечественной была связной партизанского отряда (Полоцко-Лепельская партизанская зона). Живет в Минске.

Детские обязанности в отряде какие были? Собирать надо было дрова, ведь партизанам некогда было этим заниматься. Еду варить надо было. Иголка, нитки всегда с собой были, что-то починить, пуговицу пришить – это уже наша работа была. Костер развести. Они же мокрые все с задания приходили, под дождь попадут, или по болоту надо было идти. Вокруг костра развешивали одежду, портянки, сушились так…

Меню какое тогда было? Каши варили, суп варили. Курицу – в ведро, картошку порежут, травку какую… Ели на коленках, котелки еще были такие солдатские, мисок не было… Когда курицу разделывали, то жир собирали. Мне давали, а я уже в консервной баночке возле костра топила жир – нечем было смазывать оружие. Автомат мне не доверяли, а винтовку я умела почистить. Пока они отдыхают.

В шалашах жили. Партизаны ночью уходили на задание, а мы, дети, должны были повыгонять из шалашей комаров. Утречком, чуть свет, разжигали у шалаша костерок маленький, сырых щепок подбросишь, чтобы задымил, и вот так веткой какой загоняли, загоняли этот дым. Каждый шалаш надо было выкурить.

Летом к речке бегали мыться. Белья белого почти ни у кого не осталось, все пошло на бинты. Нам давали задание стирать эти полоски ткани. Постираем, развесим на кустиках, а как высохнут, скручиваем в трубочки такие.

Детские обязанности в отряде какие были? Собирать дрова, ведь партизанам некогда было этим заниматься. Еду варить надо было. Иголка, нитки всегда с собой были, что-то починить, пуговицу пришить. Костер развести. Они же мокрые все с задания приходили, под дождь попадут, или по болоту надо было идти.

У меня почерк хороший был. И командир приказал мне садиться рядом с радистом и записывать сводки с фронта. На всяких клочках писала, на упаковке от лекарства, газете, листках

каких-нибудь. Потом сводки эти зачитывали на политинформациях.

В праздники старались преподнести фрицам какой-нибудь сюрприз. Или дорогу где-то взорвать, или нападение на гарнизон устроить. 1 мая 43-го я хорошо запомнила, мы всю ночь не спали, прислушивались. Ночь была ясная-ясная такая. В лесу, когда лежишь на земле, далеко слышно. Мы лежали и прислушивались к каждому взрыву, к каждому выстрелу. Ждали, хоть бы все вернулись. Такое главное желание было. А уже на рассвете слышим голоса наших партизан. Вернулись с задания. Пустили под откос эшелон, который шел в сторону Полоцка. И даже принесли какие-то продукты трофейные.

…Однажды пошли мы с мамой в разведку, на станцию. В лесу собрали черники, в деревне мамина сестра кусочек сала дала, чтобы на что-нибудь его поменять у немцев. Задание такое было: сколько там составов стоит, в какую сторону паровоз, что на платформах… Охрана нас задержала: а где вы ягоды собирали, там же партизаны в лесу? Там женщина была одна, уборщица наверное. Так она подошла и говорит: «Да мы все тут ходим, нет там никаких партизан!» Тогда отпустили. Но после того раза на станцию нас больше не посылали.

Мы помогали спасти военнопленного Гулуева Неонила Кирилловна, 1925 г. р

В 16-летнем возрасте стала участницей минского подполья, узник концлагеря Майданек, живет в Минске.

Комсомольское озеро в Минске, его котлован, рыли и мои родители. Лопата, транспортер и тачка. И вот 22 июня – открытие. Я, конечно, побежала на это открытие озера. Чистая вода. Солнце светит. Играем в волейбол. Все прекрасно. И ровно в 12 часов вдруг объявили: Германия вероломно напала на Советский Союз. Бои идут под Брестом. Кто-то верил, кто-то не верил. Потому, что был заключен пакт о ненападении. Решили, что это какая-то провокация.

23-го все как обычно, отец мой пошел на работу, а уже ночью Минск бомбили… Мы жили в частном секторе на Ивановской, снимали квартиру. В конце улицы – через пять-шесть домов была воинская часть. Их сильно бомбили, и нам тоже досталось – у соседей стена дома обвалилась… Мы выскочили на улицу. Все освещено, видно, как самолет летит, как бросает бомбы.

> Он разыграл такую сцену, что это – его жена, стал просить отпустить его домой. Немцы иногда так делали. Но нужен был документ, штамп в паспорте сестры поставить, что она замужем. Ребята с завода сделали такой штамп. И написали там, что хотели написать. Как там немцы могли разобраться?
>
> Они и не проверяли особо.

Вой и взрывы, взрывы!

…Потом город заняли немцы. И был такой циркуляр: все трудоспособные от 16 лет и старше должны идти на биржу труда. Народ пошел регистрироваться.

Меня взяли на завод Ворошилова[20] уборщицей. На завод привели военнопленных. Они были такие несчастные, страшные, и все мне казались стариками.

Одежда у них была настолько грязная, пропитанная кровью и потом, смотреть было больно. А я с ведром и тряпкой стою. Там один военнопленный был. Подскочил и спрашивает: «У тебя кто-то из родственников есть?» – «Мама и сестра». – «А сестра маленькая или большая?» – «Большая». Так вот, говорит, беги домой и скажи ей, что ее муж попал в плен: «Петр Струве, запомни!» Я, как под гипнозом, побежала домой. Прибежала и

кричу с порога: «Клава, Клава, твой муж попал в плен! Он сказал, чтобы ты его освободила». Мама с сестрой переглянулись. Мама так головой покачала, мол, ну-ну, то ли будет еще… А сестра подумала и говорит: «А пойдем, посмотрим, что там за муж еще у меня такой». И мы пошли.

Он разыграл такую сцену, что это – его жена, стал просить отпустить его домой. Немцы иногда так делали. Но нужен был документ, штамп в паспорте сестры поставить, что она замужем. Ребята с завода сделали такой штамп. И написали там, что хотели написать. Как там немцы могли разобраться? Они и не проверяли особо.

Старосты в деревнях помогали и партизанам, и немцам
Данилов Иван Петрович, 1924 г. р

Боец партизанского отряда имени Калинина (бригада Молотова, Пинское партизанское соединение). После войны – доктор медицинских наук, профессор, гематолог. Возглавлял Институт переливания крови, кафедру пропедевтики внутренних болезней Минского мединститута, работал в Институте радиационной медицины. Живет в Минске.

Гардероба как такового у нас не было. Кто в чем явился в партизанский отряд, тот в том и ходил. Единственное, украшали либо шапку, либо кепку красной ленточной наискосок. Все. Но и это не было обязательным. Те, кто отступали из-под Бреста, «окруженцы», они вначале ходили в армейской форме, потом форма эта износилась, они тоже перешли на гражданскую одежду.

У меня был такой небольшой короткий кожушок и была шапка из овчины зимой, а летом – обычный костюм. И все. Обувь – сапоги с портянками в основном, редко ботинки. Сапоги больше всего ценили, потому что они теплые, более удобные. Мне, например, на лошади было удобно в сапогах. В сапоги заправлены брюки, в сапогах удобно садиться на лошадь, удобно с нее спрыгнуть. Эта обувь ремонтировалась в мастерской, которая была при отряде…

> Однажды мы сбили немецкий агитационный самолет, который разбрасывал листовки. В кабине было три летчика, мертвых. С них сняли одежду, обувь, крепкие такие ботинки, и раздали желающим.

Там работали бежавшие из гетто евреи, портные, организовали мастерские – и швейные, и обувные. Поэтому мы не испытывали никаких затруднений с одеждой. У местного населения были дубленые шкуры, которые некуда было девать. Немцы, когда почувствовали, что такое наши морозы, зимой 41-го даже начали собирать у местного населения эти овчины.

Мой приятель – он партизанил в Витебской области – рассказывал, что они испытывали нужду буквально во всем: голодно было, надеть нечего. Тут дело вот в чем: на территории Западной Украины и Западной Белоруссии до войны не успели провести коллективизацию. Были крепкие хозяйства, население

так не бедствовало, как на востоке. Это, к сожалению, факт…

Военного обмундирования у нас не было. Все, в том числе и командир отряда, ходили в гражданском. Некоторые носили немецкие мундиры, что-то там перешивали, спарывали нашивки. Правда, если в такой одежке попадешься – немедленно расстреляют! Считалось, что форма была снята с убитого, значит, тот, кто ее носит, – партизан.

Однажды мы сбили немецкий агитационный самолет, который разбрасывал листовки. В кабине было три летчика, мертвых. С них сняли одежду, обувь, крепкие такие ботинки, и раздали желающим. И они носили. Несколько ребят, которые бежали из полиции, так до конца войны и проходили в полицейских шинелях. Только прицепили эти самые красные ленточки.

Да, бывали такие случаи, когда заходили в деревню, брали домотканое полотно у крестьян, отрез ткани на портянки, у некоторых оставалось еще фабричное сукно. Забирали, а что оставалось делать? Добром далеко не все соглашались давать. Но это все-таки были исключения.

Все были обложены партизанскими налогами. Овес для лошадей наших, сало, хлеб по заданию в деревнях выпекали… За мной была закреплена деревня Христино, за другим – другая, за третьим – третья и так далее… Нас было во взводе около 25 человек, и каждый имел свою деревню. Были в контакте, в основном, со старостами. Я приходил тайно к старосте и давал ему задание, что доставить за Днепро-Бугский канал. Он, бедняга, был вынужден выкручиваться, потому что надо было сдавать налоги и немцам, и партизанам… После войны его осудили на 15 лет. И он писал во все инстанции жалобы, доказывал, что помогал партизанам. Меня вызывали в КГБ, когда я уже был студентом, и просили подтвердить: правда ли? Я подтвердил. Это же самое сказал и мой командир… Этот староста прислал мне потом благодарственное письмо, писал, что его освободили из лагеря только из-за нашего заступничества. Как он выкручивался тогда, когда собирал по хатам для нас продукты, – не представляю. И никто ведь не донес на него. Такой мужик был неглупый.

Говорят, мол, партизаны практически никогда не раздевались, и спали, и ели в одежде. Не знаю, может, где-то так и было. У нас лишь однажды был такой период, когда мы попали в окружение… Мы тогда в течение двух месяцев действительно не раздевались. И нас одолели вши. Я заболел сыпным тифом. Лежал. Тяжелое состояние было, с бредом, у меня даже забрали оружие.

Мне было интересно у партизан
Делендик Анатолий Андреевич, 1931 г. р

Анатолий Делендик в десятилетнем возрасте был адъютантом партизанского командарма Василия Ивановича Козлова. После войны закончил медицинский и литературный институты, работал врачом, редактором на киностудии «Беларусьфильм». Автор ряда пьес. Член Союза писателей СССР и Гильдии сценаристов России. Живет в Минске.

Перед войной мой отец работал на Старобинской машинно-тракторной станции главным агрономом, а Василий Иванович Козлов, будущий секретарь подпольного обкома партии, командовал Минским партизанским соединением, был директором МТС. Наши дома стояли рядом, дружили семьями. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мы с мамой уехали к деду, в деревню Амговичи – это Слуцкий район, – и жили там.

> Утром моего дядю отвели на кладбище, дали лопату и приказали рыть себе могилу. Он вырыл, и его застрелили. Начальник полиции посмотрел в мою сторону и бросил: «Ну, этот щенок еще не сможет мстить».
>
> Дом сожгли, крепкий такой дом был.

…У мамы была связь с партизанами. Ей давали задания по сбору информации о немцах. Мамин отец был портным, очень хорошим портным. Как-то раз на спор он по размерам мизинца пошил костюм – и тот полностью подошел. Дед ездил по деревням с сыном, брал заказы, шил кожухи и костюмы.

И помогал маме, встречался с партизанскими связными…

Однажды вечером полицаи ворвались в наш дом. Мы ужинали – большая семья, четырнадцать человек за столом.

Полицаи говорят: чего ж нас не угощаешь? Дед налил им самогонки. Они выпили, закусили. И сразу допытываться, чего это он в лес ездил. Выволокли в центр комнаты, стали избивать: признавайся! Женщины в обморок. Мой дядя, он чуть постарше меня был, из окна выпрыгнул на улицу, но там уже ждали полицаи. Они набросились на него, связали. А деда вывели на крыльцо и здесь же в затылок выстрелили… Наверное, кто-то выдал. Мы до сих пор не знаем кто.

Нас всех – женщин и детей – заперли в темную «холодную». Утром моего дядю отвели на кладбище, дали лопату и приказали

рыть себе могилу. Он вырыл, и его застрелили. Начальник полиции посмотрел в мою сторону и бросил: «Ну, этот щенок еще не сможет мстить».

Нам сказали, чтобы мы вместе не жили, разъехались по другим деревням. И мы с мамой ушли… Переезжали из деревни в деревню, жили на хуторах. Однажды к нам пришли какие-то люди с оружием, сказали, что партизаны от Василия Ивановича Козлова. Предложили перейти в отряд. Спрашивают меня: «Хочешь в партизаны?» Конечно, хочу, мальчишка ведь, десять лет! Но мама не пошла с ними, боялась, что это провокация. Тогда много было такого…

А через какое-то время деревню, где мы жили, окружили полицейские. Хорошо помню, как мы бежали к спасительной ржи, за ней лес начинался. А по нам из пулемета! Но ни одна пуля не попала!..

…Попали в штаб Козлова. Мама ходила на задания, а меня Василий Иванович назначил своим адъютантом. Пошили мне форму, погоны, портупею дали, нашли пилотку моего размера. Дали финку и пистолет. И стал я жить вместе с Козловым и Бельским, начальником штаба Минского партизанского соединения. Выполнял все их поручения. Сбегай, сходи, принеси! Да я и сам ко всем приставал: дайте я вам помогу, дайте что-то сделаю! Энергии много было. С утра и до вечера был на ногах.

Штаб размещался в таком деревянном «будане». Помещение было довольно просторным, потому что приходили командиры партизанских отрядов, бригад, совещания проводили. Если было что-то секретное, то тогда кто-то из командиров говорил: «Мальчик, иди, посмотри погоду, сможет ли вечером самолет прилететь?» Мне было так обидно, что не доверяют… После совещания командиров обычно угощали обедом. И самогонка была, не без этого. Я злился, что меня не берут на боевые операции. Я говорил: «Вот полечу к Сталину, скажу, что вы не воюете, а самогонку пьете!» И они смеялись!

Однажды кто-то из партизан предложил мне насобирать чинариков. Спрашиваю: а что это такое? Окурки, говорит. Насобирал. Они накрутили из этого табака цигарки и курили. Одну мне дали. Тяну я эту цигарку, а тут выходит Василий Иванович. Увидел и тут же скомандовал: «Брось немедленно!» Я: «Не брошу!» Он снял ремень и отхлестал меня… Потом мы сидели вместе с ним на бревне, он обнял меня за плечи, успокаивал. С тех пор я не курю.

Часто с Василием Ивановичем ездили по партизанским отрядам и бригадам. У Тихомирова был такой замечательный

комбриг. У них в бригаде была одна пушка и к ней один снаряд. Но они, когда ездили через деревни, всегда везли эту пушку. И население говорило: смотрите, у партизан и пушка есть! А то, что к ней только один снаряд, люди не догадывались.

Козлов первым из партизанских командиров решил строить аэродром, чтобы связываться с Москвой. Привлек бывших летчиков, которые из плена сбежали к партизанам, и те подсказывали, какой длины должна быть взлетная полоса, что надо построить рядом. И построили этот аэродром – недалеко от острова Зыслов[21]

Выбрали сухое место, расчистили его от кустарника, от деревьев, выровняли грунт. Население местное привлекли. Работа большая была проведена… А рядом построили ложный аэродром. Самолет сделали фанерный. Немцы, когда узнали про партизанский воздушный мост с Большой землей, прилетали его бомбить.

Самолеты прилетали по ночам. Иногда не успевали в ту же ночь улететь. Пока самолет разгружали, пока загружали, а ночи короткие! Тогда летчики оставались, а самолет откатывали в сторону и маскировали, и уже следующей ночью он улетал.

Рядом с аэродромом был госпиталь. Там землянки были, навесы. Я ходил читать газеты раненым. Раненых привозили издалека, потому что другого аэродрома у партизан не было в то время, только этот. И они ждали очереди, когда их отправят в тыл.

Первое время самолеты не садились, а сбрасывали контейнеры на парашютах. Случалось, ветер уносил их в сторону, в болото. И тогда ходили искать. Один такой контейнер как-то и я нашел, он был с медикаментами. Потом его лошадьми вытащили на тросах…

…Когда прилетал самолет, это был праздник для партизан. Из Москвы привозили оружие, взрывчатку – она была очень нужна, потому что шла подготовка к «рельсовой» войне. Медикаменты привозили, почту, газеты. Однажды привезли противотанковое ружье. Партизаны не знали, что это такое, не умели бороться с танками. Ну вот если танк на тебя идет? Если гранатой – так надо же подпустить его к себе поближе, и не всегда попадешь. А ПТР уже пробивало броню!.. При мне их испытывали, на березе.

Когда партизаны ждали самолеты, то костры выкладывали определенной формы, по договоренности с летчиками. Немцы, понятно, за нашими самолетами охотились. Тоже разжигали костры, на ложном аэродроме. Но какой формы они должны были быть, не знали!

Был такой случай: в 43 году на партизанский аэродром сел немецкий самолет. Летчики, их было трое, сдались. Понимали уже, видно, чем закончится эта война. И той же ночью за ними прилетел самолет, и их отправили за линию фронта. И самолет перегнали.

> Когда партизаны ждали самолеты, костры выкладывали определенной формы, по договоренности с летчиками. Немцы, понятно, за нашими самолетами охотилась. Тоже разжигали костры на ложном аэродроме. Но какой формы они должны были быть, не знали!

…Пришло время, и меня с мамой самолетом отправили в Москву. Улетать я не хотел, мне было интересно у партизан. Но Василий Иванович настоял: «Тебе учиться надо!» Помню, когда перелетали линию фронта, по самолету с земли открыли огонь. Мама меня прижимала к себе. В наш самолет не попали, а тот, что летел следом, был пробит.

Я помогала пленным солдатам пробраться к партизанам
Зенько Валентина Михайловна, 1926 г. р

Валентина Зенько в 15-летнем возрасте была связной партизанского отряда Громова (бригада «Буревестник»). В настоящее время живет в Минске.

…Помню, как немцы вели наших военнопленных. Как скот гнали. Колонна за колонной. Там, у завода Мясникова (сейчас – Минский вагоноремонтный завод), был взгорок такой, а перед ним – яма. И тех, кто уже не мог идти, расстреливали и сталкивали в эту яму…

Нас было пятеро: три девчонки и два парня с нашего двора, – мы бегали к пленным, чтобы принести что-нибудь покушать: картошки там, хлеба, что было у нас. Я была такая малая драчунья, отчаянная, ничего не боялась. И все наперед заскакивала, прямо к военнопленным. И однажды немец меня как подфутболил ногой. Сапогом. А у них сапоги крепкие такие, халявы [22] широкие, и рассек мне кожу на пол-лица. И я настолько обозлилась. Ну, думаю, узнаете вы еще меня!..

> Как отвлечется конвой, пленные солдаты – когда по двое, когда по трое – прыгали с платформы – и в кусты. И я отводила их к партизанам. Просила у соседей одежду, переодевала, потому что так нельзя было идти. Они уже знали, друг другу передавали, что есть девочка Валя, что она доведет.
>
> Они верили мне.

…Пленных держали в концлагере под Минском, а сюда, на завод, привозили на работы большими группами. На заводе уже была подпольная группа. И мама знала их всех. На товарной станции со стороны улицы Железнодорожной ворота открывали. Там эти поезда делали маневры. А справа были кусты. Я в кустах тех сидела и ждала.

Как отвлечется конвой, пленные солдаты – когда по двое, когда по трое – прыгали с платформы – и в кусты. И я отводила их к партизанам. Просила у соседей одежду, переодевала, потому что так нельзя было идти. Соседи и кашу давали, сухари, чтобы покормить их. Я с ними в лесу ночевала или где-нибудь за деревней, чтобы безопасно было. Они уже знали, друг другу

передавали, что есть девочка Валя, что она доведет. Они верили мне. А потом фрицы заметили, что много пленных пропадает, и поставили охрану. И я уже больше не водила пленных.

…Когда ходила на задание в город, брала скакалку и прыгала. А сама все подмечала. Потом как-то подумала: а как меня за эту скакалку возьмут и подвесят! Так страшно стало. И я уже больше скакалку не брала.

Чаще всего в Минск ходила. Сахарин покупала, медикаменты – стрептоцид, бинты, йод – все, что можно было достать. Возьмешь кусочек мяса килограмма на три за плечи, продашь и купишь что надо. Еще партизаны просили махорку. Соль была в большом дефиците.

Однажды на посту немцу нагрубила. Они что любили? Дай ему пару яичек, курочки поесть. Я протягиваю ему яйца, а он говорит: «Кляйне!» (Маленькие.) Я: «Чтоб тебя разорвало, курочка такие снесла!» А немец снимает с плеча винтовку и уже хотел стрелять, но тут немецкая машина подъехала, и он на нее отвлекся. Они на посту и немцев тоже проверяли. Я испугалась: «Простите, пан, это шутка!» Он меня матом в ответ. Но уже стрелять, видно, расхотел. Вот ведь как, оказывается, понимал по-русски!

Партизанский парад победы
Калинкович Леонид Николаевич, 1925 г. р

Воевал в 259-м партизанском отряде (8-я Рогачевская партизанская бригада), участник партизанского парада в Минске 16 июля 1944 года. Живет в Минске.

5 июля из Центрального штаба партизанского движения была разослана радиограмма о подтягивании к Минску партизанских отрядов и бригад. Мы шли форсированным маршем. Без сна и без долгих привалов. Дошли до Березины. У меня к этому времени мои партизанские ботинки за год партизанщины развалились. Я их за шнурок раскрутил и бросил в Березину… У деревни заметил группу пленных немцев. Подхожу к одному, показываю на ботинки: «Цвай унд фирцих?» (Сорок второй?) – «Найн». К другому – молодой парень: «Цвай унд фирцих?» – «Яя!» Он садится, разувается, я ботинки на босу ногу надел и пошел дальше.

Переправляться по воинскому мосту нельзя было, потому что воинские части шли. Поэтому нам было предложено переправляться вплавь. Для тех, кто не умел плавать, сделали плотик, и на этом плотике их перевезли. В том числе и нашу одежду – тех, кто согласился переправляться вплавь.

…Ночью шли. Солдаты мимо нас проходили. По пути встречали разложившиеся трупы немцев, потому что фронт прошел раньше. Подошли к Минску. Ночевали в поселке второго кирпичного завода по улице Харьковской, последнюю ночь перед партизанским парадом.

Мы даже не знали, что будет парад. Нас привели на улицу Мясникова, к штабу. Первый этаж там был каменный, а дальше – деревянная надстройка. Нам приказали написать, в каких операциях участвовали. Я написал, что в двух боевых операциях. Оказывается, потом на основании этих материалов нас награждали. Я получил в результате медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Ну и тут же нам выдали справки партизанские. Она у меня и сейчас есть. Чувствуется, партизанскую справку писали наши же партизаны, потому что фамилия написана по-русски: «Калинкович», а то, в какой должности воевал, по-белорусски: «радавога»: «Калинкович Леонид Николаевич действительно состоял в партизанском 259-м отряде 8-й Рогачевской партизанской бригады с 1 августа 1943 г. по 28 июня 1944 г. Просьба к местным органам власти оказывать

содействие в устройстве на работу».

Потом нам было объявлено: движемся на партизанский парад. И пошли мы городскими улицами… Город был пуст, весь разрушен. Людей не встречали.

Потом нам было объявлено: движемся на партизанский парад. И пошли мы городскими улицами… Город был пуст, весь разрушен.

Людей не встречали.

Проходим мы по улице Красноармейской, пересекаем Ульяновскую, и тут слева – станкостроительный завод им. Кирова. И где-то поближе к перекрестку, у излучины Свислочи, уже стояли колонны партизан. Все стояли в одном направлении, перед партизанским строем – небольшая трибуна. На трибуне стояли с десяток человек – в форме и без формы. Мы вообще-то не знали никого. Но среди партизан говорили: вот там маршал Рокоссовский! Потому что слава Рокоссовского среди партизан ходила. Это потом мы узнали, что этого полководца на трибуне не было, но тогда мы все были уверены – Рокоссовский принимает партизанский парад.

Выстроились. Подали команду: «Шагом марш!» И колонны одна за другой пошли. Появилось у нас и знамя, изготовленное, видимо, на скорую руку. До этого я бригадного знамени никогда не видел. Первая колонна – минские партизаны, Минской области. За одним из отрядов шел… обыкновенный козел, на рога которого была нацеплена немецкая офицерская фуражка. Все смеялись, конечно.

С трибуны звучали слова приветствия: «Да здравствуют партизаны Минской области!» Потом Гомельской, Могилевской… Все кричали: «Ура!» Никого из посторонних, из местного населения, на этом параде не было. Возле трибуны – да, стояли, но немного. Это было чистое поле, никаких строений вокруг. Партизанский парад проходил на Минском ипподроме. Прошли мимо трибуны и мы. И, наверное, тогда и поняли, что жизнь партизанская закончилась…

После парада – назад, на Мясникова. К строю подошла группа офицеров. Мы же не знали родов войск тогда. Для нас офицер в погонах – это чуть ли не белогвардеец, мы же не видели советских офицеров этих. Стали подходить, отсчитывали: сто человек, двести человек… Эти сюда, эти туда. В строю говорили: эти, наверное, поедут учиться, молодые же все. А вот тех – в пограничники, что ли… К нам подходят, отсчитали двести человек, говорят: ДРУД! Оказывается, дивизион регулирования уличного движения, милиция. Еще семьсот распределили по

Минску. Я вам скажу, никого из наших партизан я больше не встречал. Все они попали под Кенигсберг, и многие без фронтового опыта и погибли там…

Разуваться в партизанском отряде было запрещено
Кононович Анатолий Леонтьевич, 1928 г. р

Я воевал в партизанском отряде имени Суворова. В настоящее время живу в Минске.

В деревнях было сложно жить, потому что немцы налетали на деревню и уничтожали ее. Перешли в лес. Этот лес был пересеченный, с болотом. Потому что, если бы ровный был, то танки могли бы до нас добраться…

Рыли землянки. Лес на месте был, его брали кругляком. Бревна никто не тесал, только ветки и сучья обрубали. Клали одно на другое, связывали, брали в замок такой… Землянки были длинные такие, чтобы можно было коридорчик иметь, а рядом – нары, из бревен поменьше. На них и спали.

Землянки маскировались так, чтобы сверху смотрелось как земля, чтобы ничего не было видно. Сделали накат – засыпали землей, сделали крышу – уложили дерном, ветками, чтобы сровнять ландшафт… К тому же надо было сделать так, чтобы с потолка в глаза не сыпался песок. Пошли в деревню, насобирали у крестьян радюшек[23], подбили ими потолок, и песок перестал сыпаться. Правда, до тех пор, пока не высох. Землянка же отапливалась, бочка железная стояла, вывели камин наружу. Топили. И песок высох, стал мелким и начал просыпаться через эту радюшку.

Под кухню приспособили шалаш такой. Помню как-то зимой пришли с задания. Голодные же все. А в этом шалаше корову подвесили. Мы топором кусок этой говядины отрубили, порубили на мелкие кусочки, с луком перемешали, зажарили на сковороде эти котлеты без сала и без хлеба и соли съели…

> Спали не раздеваясь. Вот как надел этот кожух, так его зимой таскаешь каждый день и летом бросить не можешь. Потому что брось – другого не будет, а зима снова придет. Значит, человек все время должен эту тяжесть носить. А температура тридцать градусов летом, и тридцать градусов зимой.

Спали не раздеваясь. Вот как надел этот кожух, так его зимой таскаешь каждый день и летом бросить не можешь. Потому что брось – другого не будет, а зима снова придет. Значит, человек

все время должен эту тяжесть носить. А температура тридцать градусов летом и тридцать градусов зимой.

Разуваться запрещалось даже в отряде. Все время в обуви. Если удавалось где-то снять сапоги, просушить портянки, то сразу опять надевай… Все время в обуви.

Вши донимали. Сначала же никто не мылся! Я до 43 года вообще в хате нигде не был! Так мы как делали: рубашку над костром крутили, вши трещат и падают в огонь. А вот с кожуха вшу не выгонишь никаким образом. Единственный выход – зарыть кожух в землю, а краешек небольшой оставить снаружи. Вши со всего кожуха соберутся на него. Потом взял топориком отрубил этот кусок полы – и в огонь. Все, откапывай кожух, какое-то время проходишь…

….Это было в начале марта 44 года, освобождение скоро, а у нас тиф начался в отряде. И я тоже в землянке лежал, вторым, кажется, заболел. Заходит комиссар и говорит врачу – он с ней жил, как с женой: «Мария, собирай все свое, мы должны уходить, немцы наступают на наш лагерь с танками». И она ему: «А этих куда?» Он: «Этих придется взорвать». Я притаился. Решил молчать… В это время где-то вдалеке взрыв – один, другой… Кто-то прибежал, говорит: отбой, немцы не пошли дальше, они потеряли 3 танка. Так я остался жить.

Все деревни сдавали партизанам продналог
Микульчик Евгений Васильевич, 1934 г. р

Связной партизанского отряда имени Чапаева (партизанская бригада «Пламя»). Живет в Минске.

Где-то на четвертый день войны в нашу деревню вошла колонна немцев. Нашлась одна семья, которая вышла их встречать с хлебом-солью. К ним первым и пошли. Скомандовали открыть ворота, въехала грузовая машина. С кузова попрыгали солдаты и начали ловить свиней, кур и грузить в машину. Хозяин запротестовал, стал что-то объяснять, а солдат, который в кузове принимал всю эту живность, как двинет ему сапогом в лицо. Вот они, твои освободители!

И так в каждом дворе. У нас был приличный подсвинок. Мой отец стал просить, чтобы не забирали, большая семья. А немец достал пистолет, выстрелил в ухо кабанчику, бросили тушу в машину и уехали.

Тут же начали в реку Свислочь бросать гранаты, рыбу глушить. Мы тогда не понимали, и сейчас я не могу понять: зачем? Вода стала белая-белая от рыбы. Тогда рыбы в Свислочи очень много было. Плотва, лещи, сомы, щука… Рыбу вилами грузили в машины и вывозили. Потом эта рыба разлагалась, гнила там… Как через деревню немецкая часть идет, так грабеж.

Немцы начали в реку Свислочь бросать гранаты, рыбу глушить. Мы тогда не понимали, и сейчас я не могу понять: зачем? Вода стала белая-белая от рыбы. Рыбу вилами грузили в машины и вывозили. Потом эта рыба разлагалась, гнила…

Как-то появились наши солдаты, выходили из окружения, видимо. Отец вышел на улицу: «Хлопцы, куда вы, на кого нас бросаете?» Один оттолкнул его, офицер видимо: «Уйди в сторону, уйди, не видишь сам, что творится!»

Когда наши отступали, побросали имущество – шинели, скатки эти, противогазы, оружие, боеприпасы… И мы стали собирать. Я умом одиннадцатилетнего ребенка понимал, что оружие надо собрать и спрятать. Солидол был. Солидолом смазывали патроны или там карабин – в бумагу и в землю! Или в реку. Нас в семье девять человек. У меня двое старших братьев.

Мы такие были проворные, ничего мимо нас не прошло, целый арсенал собрали!

Когда начались вот эти грабежи, казни, целые деревни ушли в лес. К тому времени в нашем районе появились партизаны. Сначала группы, в основном из окруженцев, потом отряды. Дядька родной ушел в партизаны, брат мой старший ушел. Мы уже в лесу жили, в семейном лагере при отряде имени Чапаева. Землянку вырыли. Отец стал проводником, а меня использовали как связного. Тогда же мобильных телефонов не было. Нужно, например, собрать командиров, другое какое-нибудь донесение передать. Ноги в руки – и вперед!

> В разведку ходили. Брали телегу, сажали туда ребенка и ехали в немецкий гарнизон под предлогом: вот, заболел ребенок, надо врачу показать, а на самом деле выполняли какое-нибудь задание. Нас в Белоруссии было примерно пять с половиной тысяч подростков в партизанских отрядах, таких как я. 88 участников партизанского и подпольного движения в Белоруссии стали Героями Советского Союза, из них 38 – подростки и молодежь, такие как Марат Казей, Зина Портнова… Это о чем-то говорит!

В разведку ходили. Брали телегу, сажали туда ребенка и ехали в немецкий гарнизон под предлогом: вот, заболел ребенок, надо врачу показать, а на самом деле выполняли какое-нибудь задание. Нас в Белоруссии было примерно пять с половиной тысяч подростков в партизанских отрядах, таких как я. 88 участников партизанского и подпольного движения в Белоруссии стали Героями Советского Союза, из них 38 – подростки и молодежь, такие как Марат Казей, Зина Портнова… Это о чем-то говорит!

Ходили в разведку в Марьину Горку, там сильный гарнизон стоял, в Пуховичи. Какие поезда стоят на станции, какую технику везут, как охраняются мосты. А охраняли их очень сильно. Посты с пулеметами и сверху и снизу, лес вырубили метров на пятьдесят по обе стороны, чтобы партизаны незаметно не могли подойти.

Однажды попали мы с товарищем в тяжелую ситуацию. В Марьиной Горке был военный городок. Когда наши ушли, казармы эти заняли немцы. Нам дали по десятку яиц в торбу якобы для того, чтобы обменять их на соль, и задание: посмотреть, что там сейчас в этих казармах, как охраняются. Потом пойти на вокзал и понаблюдать за движением поездов.

Как только подошли к казармам – идет немецкий патруль, два солдата: «Киндер, ком!» Подходим. Полезли к нам в торбы,

стали доставать яйца и сразу пить. Потом стали что-то кричать, ругаться. Мы поняли, что здесь ходить нельзя. Развернулись и бежать. Один из патрульных выхватил пистолет и выстелил три раза нам вдогонку. Не попал…

> В Пуховичах аптекарь был, я к нему ходил. Медикаменты – в лапти, он сам обувал, закручивал, инструктировал, и так проносили в отряд йод, порошки всякие, таблетки.

В тот же день разведали, как охраняется аэродром в Пуховичах. Наши самолеты разбитые стоят, а немецкие садятся – поднимаются, садятся – поднимаются. Такая обида была, такая злость у нас! Вернулись в отряд и все подробно рассказали начальнику разведки.

…Первое время очень трудно было. Ели все, что под руку попадало. Ели ворон, ели сорок, ели лягушек… Когда появились партизанские зоны, все деревни, в том числе и наша, сдавали налог. Приезжал партизан на подводе, и каждая семья сдавала по списку литр молока, несколько буханок хлеба, картошку… А днем немцы или полицаи приходили, спрашивали, кто тут был ночью: «Партизанен, партизанен?» И как было выкрутиться? Однажды приехали к нам в деревню трое партизан на лошадях. Зашли в хату, просят: «Нам бы чего поесть, хозяйка!» Мама быстро сварила картошку, заправила ее льняным семенем, хлеба дала, молока каждому налила. Один из партизан говорит: «Нам бы сальца». А где ж его взять?

Лекарств не хватало. В Пуховичах аптекарь был, я к нему ходил. Медикаменты – в лапти, он сам обувал, закручивал, инструктировал, и так проносили в отряд йод, порошки всякие, таблетки. Потом люди научились использовать лекарственные травы, собирали, сушили, настойки всякие делали. От головы, от живота. Когда у нас появился лесной аэродром, уже самолетами стали доставлять медикаменты, хирургические инструменты, тогда уже стало полегче. А так – пилой, ножом делали ампутации, и без обезболивания! Самогону внутрь дают раненому, и все, терпи!

Болели в основном простудными, кишечными заболеваниями. Воду ведь какую пили? Ее же не кипятил никто. И тиф был. Когда немцы видели, что в деревне тиф, – все, уже не заходили. Помню, умерла моя бабушка. Мы собрались в хате у покойной, родня, односельчане. И приехали немцы. Заходят во двор и сразу спрашивают: какая болезнь? Тиф? И бегом отсюда!

Однажды во время блокады трое суток просидели в «лисьей норе» – отрывалось такое укрытие рядом с землянкой, чтобы

укрыться можно было. Лаз, а за ним такая ямка… Маскировалось все тщательно. Сидим мы, притихли, слышим шаги. Полез немец в нашу землянку и поджег ее. А дым к нам в нору потянуло. Мама шепчет: «Раздевайтесь, дети!» Сняли сорочки, и она ими стала щели вентиляционные затыкать. Землянка не хотела гореть, так они ее развалили, столбы, которые крышу поддерживали, повыбивали, все и повалилось… Долго сидели. Потом отец пришел, отвалил лаз, говорит: «Живы? Выходите, ушли немцы». Много в ту блокаду партизан погибло…

Лесная школа
Павлючик Нина Степановна, 1928 г. р

В 1944 году находилась в семейном лагере при партизанском отряде имени Кирова. В настоящее время живет в Дрогичинском районе Брестской области.

В семейный лагерь при партизанском отряде нас – меня, маму и младшего братика – привел отец. Он был инструктором подпольного обкома партии. В 44-м немцы сняли с фронта крупные силы для борьбы с партизанами. Оставаться в деревне было опасно, и папа отвел нас в отряд, в район Споровских болот[24].

Отряды располагались на островах, боевой отряд на одном острове, семейный лагерь – на другом. Между ними километра полтора. Были такие проходы, с гатью, но если не знаешь, где идти, – не дойдешь, провалишься в трясину, и все…

Нас – детей, ребят и подростков – в семейном лагере было, наверное, больше пятидесяти человек. Молодежь ходила на задания, в разведку или на посты. Собиралась группа: обычно, двое подростков и кто-то из старших, как правило старики. Надо было следить за переправой, чтобы никто чужой не пришел на остров. В дневное время девчата дежурили, ночью – мальчишки 12–14 лет. И бегали с донесениями, когда надо было что-то передать из боевого отряда в семейный или наоборот. Оружия нам не давали, но стрелять из карабина учили.

Надо было следить за переправой, чтобы никто чужой не пришел на остров. В дневное время девчата дежурили, ночью – мальчишки 12–14 лет. И бегали с донесениями, когда надо было что-то передать из боевого отряда в семейный или наоборот. Оружия нам не давали, но стрелять из карабина учили.

Еще помогали мамам по хозяйству, стирать, готовить. У нас было в отряде девять коров, мы с девчонками ходили их доить. А потом это молочко давали раненым и больным. За больными надо было ухаживать, даже комаров отгонять, он же не может, если ранен.

Малыши до десяти лет ходили в лесную школу. Был такой обыкновенный шалаш, в нем жили две учительницы. Одну звали Любовь Грицева, она арифметику преподавала, а другую – Мария Шляхтенко, она была литератором. Сама стихи сочиняла, песни

разучивала с ребятами. Писали карандашами на старых газетах, на обрывках бумаги, бересту заготавливали и на ней тоже писали. А в летнее время просто дорожку такую расчищали на земле и палочками писали, задачки решали. Оценок никому не выставляли. Если хорошо учился – хвалили, а если отставал по какому-нибудь предмету – пожурят, и все. Предметы какие? Русский язык, арифметика, физкультура, пение. Мы потом концертики такие устраивали для своих пап и мам: и пели, и танцевали, и стихи читали.

Из одежды на тебе только то, в чем пришел в отряд. Правда, было такое правило: если обносился, можно было прийти в деревню, в любой дом, попросить свежее белье, а свое – оставить. У меня порвалась обувь, так командир нашего семейного лагеря дал мне солдатские ботинки. В тех ботинках я еще год ходила после освобождения. В них и в школу пошла, в шестой класс… В основном, люди носили такие резиновые ботинки, «сиговцы» их еще называли, или валенки, у кого были. А летом – все босиком.

Вши донимали. Там же бани нормальной не было. Мылись через месяц, через два. Землянка была, стоял «парник» [25]. Кипятили воду – носили с болота – и мылись… Какие-то порошки врач выписывал – от вшей, – мы их в воду сыпали. А стирали на золе – называлось это «лух». Обвязывали ушат полотном, сверху сыпали золу. Воду кипятили и заливали. И одежда, и белье очень хорошо отстирывались.

1 мая 1944 года меня и еще двух девушек приняли в комсомол. Это такое событие было! Я такая гордая ходила…

Имеешь оружие – в отряд зачисляют, Нет оружия – добывай
Пархимчик Владимир Васильевич, 1925 г. р

Подростком после окончания восьмого класса воевал в партизанском отряде «Беларусь» (Минская область).

Дело было зимой 1942 года. Летом накосили сена на Диком болоте для наших коров, а зимой на двух санях дядька, отец и я поехали за этим сеном. Дядька в снегу – снег глубокий был – нашел овечьи шкуры замороженные. Достали, стали рассматривать. Только ехать назад – выходят двое партизан. Они, оказывается, за нами все это время наблюдали. Отвели нас в отряд, в землянку. Там допросили, кто мы, откуда, зачем? Составили бумагу: каждый дал клятву, что не расскажет, что видел партизан… Домашние волновались, что нет нас долго, под утро только вернулись. О том, что случилось, – ни слова!

К тому времени я окончил восемь классов Шацкой средней школы. В Шацке стоял сильный гарнизон немецкий. Казармы у них были в зданиях школы и больницы. Там рядом сад большой. И в этом саду окопы были отрыты, точки пулеметные. Ко мне прислали связного из партизанского отряда и дали задание: разведать, какого возраста немцы в гарнизоне, в какой форме, чем занимаются? И я ходил.

Самым интересным для нас, подростков, было оружие. На районных соревнованиях я хорошо стрелял из мелкокалиберки, и мне дали значок «Ворошиловский стрелок». Тогда перед войной учили разбирать оружие, особенно винтовку хорошо знал… Когда наши отступали, через деревню шли поодиночке, группами – оружие бросали, особенно тяжелое. И там много чего осталось. Найдешь карабин, если патроны есть к нему – идем стрелять. Цель какую-то в елки поставим и палим. У нас же глухомань, что еще делать пацану? Станковый пулемет в деле попробовали. И разобрали, и собрали. Все сами. В поле родителям поможешь – и снова в лес… Гранаты бросали. Только проверим сначала, чтобы близко никого не было.

В одном месте там бугорок был и окопы. Раскопал я «лисьи норы» на том бугорке, песок легкий, и нашел сейф развороченный с деньгами советскими.

Если бы знал, что они могут пригодиться, можно было бы

насобирать. Они еще после войны в ходу были, те деньги.

> Раскопал я «лисьи норы» на том бугорке, песок легкий, и нашел сейф развороченный с деньгами советскими. Если бы знал, что они могут пригодиться, можно было бы насобирать. Они еще после войны в ходу были, те деньги.

Пулемет нашел «максим». Разобрал. Ствол отдельно, тележку отдельно. Закутал в плащ-палатку и спрятал. И патроны. Сейчас уже не помню, три или четыре металлические коробки. В болоте валялось много оружия. Можно было целый полк вооружить!

Стал гранаты и патроны домой носить. От деда остались ульи. Но не такие, домиком, а выдолбленные, из толстого дерева. Я туда стал их складывать. Мама нашла и вынесла за деревню, в яму, где глину копали. А мне – фартуком по ушам, чтобы не носил больше!

Однажды к нам в деревню пришли немцы. Я в огороде спрятался, в высокую ботву, а мама – осталась. И я видел, как один немец бил мою маму. Спрашивал: где твой гаденыш? С ними был мой одноклассник – переводчиком. У нас в классе почти у каждого «именушка» была. Меня за мою шустрость звали Молекула. А этого переводчика, у него лицо такое скуластое было, – Чингисхан… Никогда не забуду, как били маму. Она потом едва отошла… После этого и ушел в лес.

Как было: оружие имеешь – в отряд зачисляют, нет оружия – добывай! И добывали, кто как мог. У меня револьвер был и винтовка СВТ (7,62-мм самозарядная винтовки Токарева. – *Ред)*. И штык, но не трехгранный, а кинжалом. Эта винтовка мне была тяжеловата. И тогда командир взвода предложил мне и еще одному партизану поменяться. У него была кавалерийская винтовка – она укороченная. Вот с этой винтовкой и револьвером я и бегал. Но патронов к револьверу не было. Так приспособились барабан рассверлить под автоматный патрон.

Летчик горел заживо, спасая нас
Тищенко Галина Петровна, 1933 г. р, и Форинко Владимир Петрович, 1940 г. р

Бывшие воспитанники полоцкого детского дома № 1. Сейчас живут в Минске. Их обоих эвакуировали на самолете в партизанский тыл во время операции «Звездочка».

В начале 1944 года оккупанты решили использовать воспитанников полоцкого детского дома в качестве доноров крови для раненых немецких солдат. Подпольная группа, которой руководил директор детского дома, решила помешать этому. Сначала директору удалось убедить немецкого коменданта, что детей нужно вывезти в деревню на оздоровление. Комендант согласился. Дети и сотрудники детского дома были переведены в деревню Бельчицы, в которой находился немецкий гарнизон. Уже отсюда партизаны и подпольщики сумели перевезти 154 воспитанника в возрасте от 3 до 14 лет вглубь партизанской зоны.

Следующим этапом операции «Звездочка» стала эвакуация детей по воздуху за линию фронта. В качестве аэродрома использовалось озеро Вечелье (это недалеко от населенного пункта Ушачи), весенний лед на котором еще оставался прочным.

В ночь с 10 на 11 апреля военный летчик Александр Мамкин прилетел за детьми в девятый раз. В Р-5 удалось вместить десять детей, их воспитательницу Валентину Латко и двух взрослых раненых партизан. На подлете к линии фронта наш самолет был атакован и подбит немецким истребителем. Пламя от загоревшегося мотора добралось до кабины пилота. На летчике горела одежда, горел шлемофон, плавились лётные очки, ноги Мамкина обуглились до костей, но он не бросил штурвал и сумел посадить самолет. Все пассажиры остались живы. Летчик от полученных ожогов умер в госпитале.

На подлете к линии фронта наш самолет был атакован и подбит немецким истребителем. Пламя от загоревшегося мотора добралось до кабины пилота. На летчике горела одежда, горел шлемофон, плавились лётные очки, ноги Мамкина обуглились до костей, но он не бросил штурвал и сумел посадить самолет. Все пассажиры остались живы.

Среди спасенных в том огненном рейсе ребят были Галина Тищенко и Владимир Форинко.

Вспоминает Галина Тищенко:

«В полоцкий детский дом мы – я, сестра моя младшая и брат младший – попали в 43 году, после того как нашу маму расстреляли немцы. Отец с первых дней войны был на фронте. Детей было много, разного возраста: были очень маленькие, но были и такие, которые решили с немцами воевать – подпольно. Была организована подпольная группа „Бесстрашные“. Возглавил ее директор детского дома – Михаил Степанович Форинко, у него была связь с партизанами.

…Однажды нас всех собрали, и Михаил Степанович сказал: „Уходим к партизанам“. Предупредил, что по дороге мы должны вести себя очень тихо, не разговаривать, не плакать, потому что немцы могут услышать. Рядом находился немецкий гарнизон, и часть домов рядом с нами занимали полицейские.

Младших посадили на сани, старшие шли пешком, несли какие-то пожитки свои. Дошли до леса, он был очень близко. На опушке нас встретили партизаны в белых маскхалатах. Пересадили еще на несколько саней, и мы все поехали до ближайшей деревни. Там переночевали. Утром повезли дальше, глубоко в тыл, в партизанскую зону.

…Это был последний рейс, на нем летели я, медсестра, мой брат, воспитательница, еще другие дети и два раненых партизана. Не повезло. Как раз в эту ночь какой-то немецкий самолет поднялся и стал охотиться за нашим самолетом.

> А самое страшное было, когда мы сидели ночью на берегу озера в снегу и не знали, где мы находимся – на нашей стороне или на территории врага.

Страшно не было почему-то. Сначала.

Но потом, когда мы услышали, что по самолету как будто бросают чем-то – как камушки или горох, и увидели пламя в кабине летчика, вот тогда я испугалась. Летчик был весь в огне. Огонь и к нам подбирался, он был какой-то синий, шумный. На нас начала тлеть одежда. Летчик не бросал штурвал. У него горели руки…

Потом удар о землю. Летчика, видимо, выбросило из кабины, а самолет покатился дальше. А самое страшное было, когда мы сидели ночью на берегу озера в снегу и не знали, где мы находимся – на нашей стороне или на территории врага.

Утром старшие разошлись в разные стороны искать помощь. Увидели людей в маскхалатах, подошли поближе, смотрят – звездочки на шапках. Свои, партизаны!.. Оказалось, что фронт и немцы находились всего в двух километрах. Летчика нашли на просеке, он был жив, но без сознания. Весь обгорел, в крови, рана

была на голове. И по документам установили, откуда он, с какого аэродрома. Связались, и тогда за нами, за летчиком, за ранеными партизанами прилетели несколько санитарных самолетов. Нас перевезли в тыл, потом в городокский детский дом. В Полоцк вернулись, когда город уже освободили».

> Тесно было очень в самолете. Мы лежали, не могли пошевелиться, потому что нужно было вместить как можно больше детей. В воздухе слышал какой-то стук по обшивке самолета, я тогда еще не понимал, что это пули…

Вспоминает Владимир Форинко: «Помню, как нас сажали в самолет, и летчика помню, как он взял меня на руки. Тесно было очень в самолете. Мы лежали, не могли пошевелиться, потому что нужно было вместить как можно больше детей.

В воздухе слышал какой-то стук по обшивке самолета, я тогда еще не понимал, что это пули…

Не помню, кто и как меня вытащил, но вот что запомнил – заплаканное лицо воспитательницы, как она металась там между нами. И догорающий этот самолет…

Когда нас нашли партизаны на берегу этого озера и привезли в партизанскую зону, в землянки, там, на нарах, по-видимому, кто-то лежал. И меня посадили, как самого младшего, на эту, будем говорить, кровать. И тогда я понял, что рядом со мной лежал наш летчик. И мне стало очень страшно. Висела винтовка на стене, он в беспамятстве тянулся руками к ней, бредил, что-то пытался сказать…

Только спустя многие годы я узнал, что летчика звали Александр Мамкин. Это благодаря ему мы остались живы. Он совершил подвиг, сумел посадить самолет. Хотя мог выпрыгнуть с парашютом. Но тогда бы мы погибли».

Мы собирали лечебные травы
Щерба Нина Трифоновна, 1931 г. р

Нина Щерба в 1943–1944 годах ребенком находилась в семейном лагере при партизанском отряде им. Жданова. В настоящее время живет в городе Дрогичин Брестской области.

У нас в лагере много детей и подростков было. Там такие болота кругом, торфяники, что никак не пройдешь. Мы проходили по бережку. Там такие канавки, они узенькие, кажется, перепрыгнуть можно. Но торфяник, если оступился, то с головой. Все, оттуда не вылезешь…

> Если кто-нибудь из раненых не находил дорогу к лагерю, дежурным приходилось помощь оказывать, провожать его, потому что в лесу дороги нет.

Старшая молодежь до девятнадцати лет – на постах. Лагерь семейный хорошо охранялся. Менялись: одни стоят на постах, другие помогают раненым, третьи помогают на кухне. Если кто-нибудь из раненых не находил дорогу к лагерю, дежурным приходилось помощь оказывать, провожать его, потому что в лесу дороги нет. Еще задание было – собрать лечебные травы: корень валерьяны, чабрец… Мы собирали эти лечебные травы, мыли, высушивали. Потом их самолетами доставляли в госпитали.

Носили то, в чем и пришли в лес, ту же одежду легонькую. Так до конца войны в ней и ходили, спали в ней же. Постелей не было – вместо них в землянке были полки из бревнышек. Мы один к одному прижмемся, чтобы согреться… Костров не зажигали – их с самолетов видно, а ночи холодные такие были… Так мы в мешки закручивались и грелись как могли.

Болели тифом, цингой… Поумирали многие… Я всех помню, все перед глазами стоят…

Обуви не было. Босыми ходили. Или шили такие башмачки из тряпочек. Я и сейчас с завязанными глазами сошью такие башмачки, если надо.

> Обуви не было. Босыми ходили. Или шили такие башмачки из тряпочек. Я и сейчас с завязанными глазами сошью такие башмачки, если надо.

…Еще у нас школа была. Вот я говорю: школа… Можно подумать, что вот здание такое… Не-ет. Школа была под кустами.

Учительница ходила, переживала: все же переростки, три года в школу не ходили.

Она говорит: «Давайте я вас подтяну немножко, подучу!» Мы так обрадовались.

Нам в лагере не разрешили группой собираться, так как это уже могли заметить с самолетов, тогда мы пошли за лагерь, нашли широкую ель, обложили лапником, сделали из бревнышек столики такие маленькие, сели за эти столики и учились. Она нас подтянула крепко. Все устно, а если надо было писать, то мы брали молодую березовую кору, учительница делила карандашик на такие маленькие кусочки, мы их привязывали к палочке и писали на коре березовой…

Уже не помню, к какому празднику сшили нам костюмчики из парашюта. Но не из шелка, нет. Там какой-то другой материал был, как мешковина… Нам сшили эти костюмчики, сшили галстуки, покрасили их чем-то в красное, сделали из нас пионеров. Нам так радостно было!.. А когда нас освободили, мы, дети, сделали своим отцам сюрприз: концертик такой. Стишки, песни, частушки-критику про немцев.

Мне удалось спасти сестру
Холтобин Александр Сергеевич, 1929 г. р

Я родился в Обояни Курской области, на войну меня не призывали, мне тогда было всего двенадцать лет, но награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Будучи школьником, оказывал различную помощь в колхозе, принимал участие в полевых работах, помогал в уборке урожая.

В период оккупации (1941–1943 годы) вместе с моим двоюродным братом Евгением и другими подростками много работал не только в поле, но и рыл окопы, траншеи; в дальнейшем, с весны 1943 года, работал за станком токарем, день и ночь изготавливал, вытачивал детали сначала для ремонта танков в период Курской битвы, потом тракторов, чтобы в поле выходила исправная техника.

Когда началась война, в тылу пацаны пережили много горя, узнали и про злодейства фашистов. Оказывается, в городке Обояни фашисты пребывали долгое время. Ребята невольно наблюдали за тем, как они хозяйничали. Гоняли всех пожилых людей, женщин, детей на работу. Подростков тоже заставляли много работать. Дети ухаживали за лошадьми, работали по хозяйству.

Тяжело пришлось в годы оккупации. Каждый день подросткам стала угрожать опасность. Люди боялись выходить из домов. А дело вот в чём. На железнодорожной станции «Обоянь» склады были полны снарядами. И очень часто немцы прилетали их бомбить. Иногда они не попадали в цель, и бомбы разрывались прямо на обоянских улицах. Один раз было семь промахов, и все эти бомбы попали в наш сад. Когда люди услышали зловещий звук фашистских самолётов, они бросились бежать в укрытие. Так спасалась и сестра Валентина. Невдалеке от неё взорвалась бомба, и её засыпало землёй. К счастью, мне удалось тут же спасти сестру. В этот день осколком бомбы убило соседку, которая кормила грудного ребёнка, лёжа спиной к стене. Осколок пробил стену дома и убил мать, а грудной ребенок Гена чудом остался жив.

На всю жизнь в памяти осталось, как на центральной улице Обояни на трассе увидел очень много виселиц с мёртвыми людьми и дощечками на груди: «Партизан». После этого случая так разозлились подростки на фашистов, начали мстить, как могли. То в бензобак подсыпали песок, то посуду, котлы

недомывали, то в телегу что-нибудь подбрасывали. Однажды в котел с едой бросил кто-то валенок… Фашисты испугались и кричали: «Партизан! Партизан!»

> На всю жизнь в памяти осталось, как на центральной улице Обояни на трассе увидел очень много виселиц с мёртвыми людьми и дощечками на груди: «Партизан». После этого случая так разозлились подростки на фашистов, начали мстить, как могли. То в бензобак подсыпали песок, то посуду, котлы недомывали, то в телегу что-нибудь набросывали. Однажды в котел с едой бросил кто-то валенок… Фашисты испугались и кричали: «Партизан! Партизан!»

После изгнания немцев устроился на работу учеником токаря. Необходимо было изготовлять много деталей для боевой техники, которая ремонтировалась, а затем сразу же направлялась на передовую южного направления Курской битвы в сторону Яковлево, Прохоровки.

Пять лет (с 1949 по 1954 г.) служил мичманом на Северном флоте ВМФ СССР на крейсере «Быстрый». Много раз выполнял боевые операции по обнаружению и уничтожению невзорвавшихся во время Великой Отечественной войны мин, минных заграждений в Баренцевом море, чтобы обеспечить безопасность плавания кораблей. Демобилизовался, вернулся в родной город.

Мы наградили фрицев березовыми крестами
Подшиваленко Николай Иванович, 1925 г. р

С ноября 1941 по шюль 1944 г. – участник ВОВ; с ноября 1941 г. по январь 1942 г. – оборона Москвы. Партизан отряда специального назначения «Боевой».

Награжден орденом Красной Звезды, медалями 3-х степеней: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За отвагу» и др. Юбилейными и трудовыми наградами. Полковник.

В годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, в Витебской, Минской и бывшей Вилейской областях, успешно действовал специальный партизанский отряд «Боевой», возглавляемый Героем Советского Союза чекистом Валентином Леонидовичем Неклюдовым. На базе небольшой группы, перешедшей в марте 1942 года на лыжах линию фронта, вскоре вырос крупный и грозный для врага отряд. Его бойцы пустили под откос 125 эшелонов противника с живой силой и техникой, вывели из строя 113 автомашин и мотоциклов, три бронепоезда, восемь танков, четыре бронемашины, один самолет, взорвали и сожгли 78 железнодорожных и шоссейных мостов, 16 складов с продовольствием и боеприпасами, разрушили несколько километров железнодорожного полотна и телеграфно-телефонной линии. Немало оккупантов погибло от рук народных мстителей из отряда «Боевой».

Я предстал перед командиром, когда отряд был почти полностью сформирован. Здесь были участники боев с гитлеровцами и белофиннами, имевшие разные специальности, столь необходимые теперь в тылу врага. Добрую половину отряда составляли спортсмены – мастера спорта, перворазрядники. Народ в отряде подобрался бывалый и боевой. Поэтому и получил отряд такое грозное и такое обязывающее название.

Мне исполнилось только 16 лет, и успел я окончить всего лишь семь классов. В отряд меня, разумеется, взяли не сразу: мальчишка, да и только. Но вскоре командованию стало известно, что, рано осиротев, я успел поработать в леспромхозе, продавцом в гастрономе. Несколько недель рыл окопы под Москвой. И везде отзывались хорошо.

– Надо взять Колю в отряд, – сказал решающее слово начальник разведки отряда, бывалый охотник Василий Хартулари. – Еще какой боец из него выйдет! Видите, как просится парень в отряд, как рвется в бой, – убеждал он командира.

И меня приняли в отряд. В десятках боевых операций я участвовал, но особенно памятным был бой с гитлеровцами у деревни Половинники в Россонском районе.

Это произошло 4 июля 1942 года. Накануне разведка сообщила: специальный отряд гитлеровцев – примерно сто солдат и офицеров – заночевал в деревне Половинники. С вечера подвыпивший офицер стал бахвалиться, что завтра, мол, они расправятся с «лесными бандитами». Разведчики сообщили также о том, как вооружены фашисты: пулеметы, автоматы и минометы.

– Отряд вдвое больше нашего и вооружен отлично, – выругался капитан Неклюдов. Помолчал, а затем добавил: – Что ж, будем принимать «гостей».

Встречу карателям «назначили» у Сивошинского моста. Вместе с бойцами притаился в засаде и я. Ждали час, второй. Фашисты все не показывались, я стал оглядываться по сторонам.

Стоял погожий летний день. Воздух заполнен беззаботным птичьим разноголосьем. Шурша листвой, по верхушкам деревьев изредка пробегал слабый ветерок.

– Что, заждался «гостей», Коля? – спросил командир. – Не горюй, никуда они не денутся. – И напомнил: – Стрелять только после взрыва моста.

И вот показался отряд карателей. Он все ближе и ближе. Уже различимы сытые, самодовольные загорелые лица. У многих закатаны рукава. В конце колонны – несколько подвод. На первой – тучный солдат наигрывает какой-то мотивчик на губной гармошке. А вот там двое офицеров с серебристыми погонами о чем-то разговаривают между собой.

> Едва голова колонны вступила на мост, сильный взрыв потряс все вокруг, и сразу же на карателей обрушился град пуль.
>
> Я видел, как взметнул руками очкастый гитлеровец, все стрелял и стрелял…

«Скоро мы вам поиграем! Скоро вы услышите настоящую музыку!» – охватило меня волнение.

Едва голова колонны вступила на мост, сильный взрыв потряс все вокруг, и сразу же на карателей обрушился град пуль. Я видел, как взметнул руками очкастый гитлеровец, все стрелял и стрелял…

Засада была для гитлеровцев полной неожиданностью. Те из них, кто остался в живых, не принимая боя, пытались спастись бегством, но это удалось не многим.

Богатые трофеи захватили народные мстители: автоматы, пулеметы, штабные документы.

Построив отряд, капитан Неклюдов поздравил бойцов с победой, объявил благодарность отличившимся и тут же спросил:

– А знаете, кого мы разгромили? Особый карательный отряд, сформированный гитлеровцами из спортсменов. Они прошли специальную подготовку для борьбы с патриотами оккупированных фашистами стран. – Подняв трофейные документы, Неклюдов продолжал: – Вот тут говорится, что они были во Франции, Чехославакии, Польше. Почти все имеют награды, Железные кресты, да еще с дубовыми листьями…

– Ну что же, мы их тоже наградили последними крестами – березовыми, – вставил свое слово начальник разведки Василий Хартулари. – Не топтать им больше нашей земли.

> Октябрьской ночью под прикрытием темноты отряд, разделившись на несколько групп, приблизился к мосту и занял заранее намеченные позиции. Теперь нужно было подползти к часовым и снять их. Но тут вдали послышался шум приближающегося поезда. Он шел в сторону Себежа. И командир неожиданно изменил план операции.

Бойцы были довольны. Ликовал и я, получив благодарность за отличные действия в бою.

Когда было решено взорвать железнодорожный мост у станции Себеж, я, уже опытный партизан, был одним из добровольцев, вызвавшихся принять участие в дерзкой операции: мост охраняла большая группа гитлеровцев, а неподалеку, всего в нескольких сотнях метров, в поселке располагался крупный гарнизон противника.

Октябрьской ночью под прикрытием темноты отряд, разделившись на несколько групп, приблизился к мосту и занял заранее намеченные позиции. Теперь нужно было подползти к часовым и снять их. Но тут вдали послышался шум приближающегося поезда. Он шел в сторону Себежа. И командир неожиданно изменил план операции.

Под прикрытием товарняка бойцы незаметно подкрались к охране и без единого выстрела расправились с ней. Мы вместе с Евгением Ивановым, Александром Прокофьевым и Николаем Ивановым быстро скользнули под мост, ловкими натренированными движениями заложили заряд. И вот по

команде Неклюдова я поджег бикфордов шнур.

Теперь нужно было спешить. Когда партизаны отошли метров на триста, мощный взрыв расколол ночную тишину.

Железная дорога вышла из строя на целую неделю. В ответ на сообщение об этой операции Центр прислал телеграмму с благодарностью. Группа партизан была удостоена наград, в том числе и мне вручили медаль «За боевые заслуги».

Немецкий приспешник расстреливал меня в грудь
Музалев Владимир Федорович, 1931 г. р

Родился я 22 сентября 1931 года в п. Георгиевском Хомутовского района Курской области в семье колхозника. С ноября 1942 года по март 1943 года вместе с отцом находился в партизанском отряде им. Ф. Дзержинского Второй партизанской бригады. После войны окончил школу, Воронежский зооветеринарный институт, проработал более сорока лет ветеринаром.

Осенью 1941 года Хомутовский район Курской области оказался в зоне оккупации немецких войск. Наши солдаты вынуждены были отступать, часто шли ночами и выходили с тяжелыми боями из окружения. Так в октябре месяце через хомутовские села с тяжелыми боями выходили войска 13-й армии Брянского фронта. Тяжелые бои с фашистами проходили в селе Калиновка и Хомутовка, где погибло много красноармейцев, а раненые оставались на излечении у местного населения. Мальчишки ходили по полям, собирали винтовки, патроны, гранаты, прятали их в кустах или в водоемы – копоня, где до войны колхозники замачивали пеньку. Я собрал 10 винтовок. Зимой 1941 года повсеместно создавались партизанские отряды. Бойцы Красной армии, выздоровевшие солдаты вступали в партизанские отряды. Вот и юные селяне достали свои военные запасы, очистили их от ила, ржавчины и передали партизанам.

Мальчишки ходили по полям, собирали винтовки, патроны, гранаты, прятали их в кустах или в водоемы – копоня, где до войны колхозники замачивали пеньку. Я собрал 10 винтовок.

Немцы очень жестоко обращались с мирным населением. Они забирали у крестьян продукты питания, скот, одежду и всех называли «русская свинья». Такое отношение вызывало у наших людей возмущение и недовольство немецким «порядком». Подавляющее большинство населения было явно настроено враждебно к фашистам, всячески помогало партизанам.



Владимир Мурзалев

Мы с отцом выполняли разные поручения партизанского отряда им. Дзержинского, ходили в разведку, передавали продукты, распространяли листовки. Однажды осенью 1942 года, выполняя задание, полученное от партизан, в селе Дубовица были арестованы полицаями, вынуждены были бежать в Хинельский лес к партизанам. После побега приехали полицаи, сожгли наш дом и всё поместье. Так я оказался в партизанском отряде им. Дзержинского 2-й Курской партизанской бригады, которая дислоцировалась в Хинельских лесах Брянской области. Партизанские отряды совершали множественные налеты на малочисленные фашистские гарнизоны, на проходящие по дорогам обозы, автотранспорт, нанося значительный урон. Только за три месяца (к январю 1942 года) были разгромлены все мелкие гарнизоны – более тысячи фашистских солдат и офицеров, пущено под откос четыре эшелона противника с войсками и грузами.

> Для срочной помощи раненым мне поручили из села, оккупированного фашистами, привести сельскую медсестру. Дело было зимой, опасно.

Будучи 12-летним мальчишкой, пережил все лишения и невзгоды партизанской жизни вместе со взрослыми. Зима 1942–1943 годов была очень суровой, при 20—25-градусном морозе жили в лесу в землянках, не было ни теплой одежды, ни продуктов питания, соли и других жизненно важных предметов быта, воду добывали, растапливая снег. Я хотел как можно

больше помочь взрослым партизанам, ежедневно ходил в хозвзвод, кормил лошадей, водил их на водопой на опушку леса, где протекала небольшая речушка, и зимой она не замерзала. Заготовка дров стала для подростков партизанского отряда святым делом. Дрова необходимы были для отапливания землянок. Дрова заготавливали как можно дальше от наших землянок, чтобы их не оголять от маскировки. Дровами топили железные печи, которые изготавливали из бочек из-под бензина. Такие печи топили круглые сутки, иначе в землянках замерзала вода. Юные партизаны ухаживали за ранеными, помогали по хозяйству, ходили в разведку.

Все население партизанского отряда часто ходило на опушку леса, где расчищали большую площадку от снега для приема наших самолетов, которые прилетали к нам. Как мы были рады, когда в партизанский отряд прилетали самолеты, которые привозили оружие, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты, а от нас увозили раненых партизан, малых детей и стариков. Лес часто бомбили. Однажды аэродром разбомбили, мы лишились помощи, не было врачей. Для срочной помощи раненым мне поручили из села, оккупированного фашистами, привести сельскую медсестру. Дело было зимой, опасно, но задание было выполнено.

> Самый трагический момент для меня случился, когда немецкий приспешник расстреливал меня в грудь, это было в марте 1943 года, когда я находился на опушке леса и не заметил, как ко мне подошел человек с немецкой винтовкой на плече. Он снял винтовку и начал целиться в меня, я понял, что он хочет убить меня, и только успел крикнуть: «Не стреляй», – как раздался оглушительный выстрел, меня обожгло огнем, и из груди захлестала горячая кровь.

Помню, рядом с нашей землянкой располагалась еще большая просторная землянка, в которой два ружейных мастера хранили отремонтированное оружие, которое они привели в боевое состояние. Я часто ходил к ним и помогал разбирать винтовки, очищал затворы от грязи и ржавчины. Я хорошо освоил разборку и сборку винтовочных затворов, которые в первый день смазывал щелочью, на второй день тщательно очищал от ржавчины, смазывал ружейным маслом и передавал мастерам на осмотр, за это мне давали патроны для моего иностранного карабина, с которым я в лесу никогда не расставался.

Много было интересных моментов в жизни партизан, которые жили очень дружно и последний кусок хлеба всегда делили

поровну. Мы, подростки, находившиеся в отряде, как и все взрослые партизаны, учились стрелять, правильно обращаться с гранатами и минами.

В лесу нас часто бомбили немецкие самолеты, которые прилетали по 10–15 штук и безнаказанно засыпали бомбами.

Самый трагический момент для меня случился, когда немецкий приспешник расстреливал меня в грудь, это было в марте 1943 года, когда я находился на опушке леса и не заметил, как ко мне подошел человек с немецкой винтовкой на плече. Он снял винтовку и начал целиться в меня, я понял, что он хочет убить меня, и только успел крикнуть: «Не стреляй», – как раздался оглушительный выстрел, меня обожгло огнем, и из груди захлестала горячая кровь, мне хотелось убежать, но ноги не двигались с места, я потерял сознание. Меня нашли и отвезли в местную больницу, где долго лечили. Наверное, молодость победила смерть…

Как я стал народным мстителем Конченков Иван Иванович, 1926 г. р

В нашем селе Звенячка первые партизаны появились летом 1942 года. Конная группа из одиннадцати человек проехала через восточную окраину села с юга, со стороны села Кирилловка, в северном направлении. При этом партизаны застрелили двух полицейских и одного ранили.



Иван Конченков

За лето и осень 1942 года действия партизан в Хомутовском и соседних районах становились все более активными. Они нападали на местную немецкую администрацию (волостные управы, комендатуры), полицейские гарнизоны, немецкие воинские подразделения и штабы воинских частей. Действовали в ночное время.

В начале зимы 1942 года в Звенячку открыто днем приехали на санях партизаны. Это событие повлияло на крутой поворот в моей личной жизни. Партизанам было передано оружие, оставленное мне на хранение воинами Красной армии, выходившими из окружения осенью 1941 года. А в декабре 1942 года меня добровольцем приняли в ряды народных мстителей, в партизанский отряд имени Чкалова 2-й Курской партизанской бригады им. Дзержинского. Так в шестнадцать мальчишеских лет я стал юным защитником Родины.

Партизанский отряд, бойцом которого я стал, был создан коммунистом села Мухино Хомутовского района Курской области

Родивиловым Анисимом Степановичем в марте 1942 года по заданию курского обкома КПСС, полученному в октябре 1941 года.

С первоначальной численности в девять человек отряд увеличился к октябрю 1942 года до 182 человек. Пополнялся он за счет местных жителей, а также за счет бывших воинов Красной армии, попавших в окружение, но не вышедших к фронту и проживавших в селах и хуторах Курской области. В октябре 1942 года решили назвать отряд именем Чкалова.

В ноябре 1942 года приказом орловского областного штаба партизанского движения была создана 2-я Курская партизанская бригада им. Дзержинского из семи отрядов.

Зоной действия отрядов нашей бригады были районы Курской области: Хомутовский, Конышевский, Рыльский, Льговский, Глушковский, Суджанский, Дмитриевский, Крупецкой, а также – Брянской и Сумской областей.

Основная база расположения бригады находилась в Хинельском лесу. Но часть бойцов отрядов занимала посты в деревнях. На многие километры от леса распространялась партизанская зона. Разведка имела в селах связников, которые сообщали в отряды о передвижениях немцев и их подготовке к карательным действиям против партизан.

Вот некоторые эпизоды боевых действий нашего отряда им. Чкалова в 1942–1943 годах.

В хуторе Богомолов житель Годун Иван указал на три дома полицаев. Напали на них, забрали три винтовки и патроны к ним.

В селе Чубаровка обезоружили шестерых полицейских, забрали 6 винтовок и 80 патронов.

На дороге из села Петровское в село Меньшиково напали на восьмерых полицейских, ехавших на двух телегах. Захватили ручной пулемет, 6 гранат и 7 винтовок с патронами, 2-х лошадей с телегами, принадлежавших полицейским.

В деревне Хатуша обезоружили девять полицейских и забрали их лошадей в упряжках. Так добывали оружие и боеприпасы. После этого совершили нападения: на полицейский гарнизон в пос. Посадка Дубовицкого сельсовета, на волостные управления в с. Романово, с. Гламаздино, в Шустово. Разбили полицейский гарнизон в Беляевской волости.

> Оккупанты проводили жестокие репрессии против населения за связь с партизанами.
>
> В декабре 1942 года они сожгли 45 домов в селе Барановка Сумской области, в селе Хинель – 29 домов.

Эффективными по ущербу врагу были рейды на железную

дорогу Конышевка – Льгов. На поставленных 4-х минах подорвался и свалился под откос поезд из 12-ти платформ с артиллерией и 2-х вагонов с живой силой врага. Уходя от погони, сделали засаду, поставили на дороге мину, на которой подорвалась вражеская автомашина. В бою уничтожили 16 солдат и одного офицера, на станцию Крупец, где готовился к отправке в Германию эшелон с молодежью и отобранным у населения скотом, разгромили гарнизон численностью около 60 немцев и полицаев. Сожгли документацию, а молодежь отпустили по домам. Из 123 голов крупного скота 85 коров раздали жителям, а остальных отправили на базу, в лес на питание отрядов; на железную дорогу Колонтаевка – Коренево, где подожгли 5 автомашин, в которых изъяли 5 тюков топографических военных карт. Но здесь 12 партизан были ранены. На обратном пути в селе Петровском напали на волостное управление, сожгли документацию; в селе Павловка напали на дом начальника хомутовской полицейской роты Гущена и 6-х полицейских. Гущин и 3-е полицейских были убиты в перестрелке.

Оккупанты проводили жестокие репрессии против населения за связь с партизанами. В декабре 1942 года они сожгли 45 домов в селе Барановка Сумской области, в селе Хинель – 29 домов. В бою за село Барановка наш отряд им. Чкалова, применив обходной маневр разведвзводом, который вышел в тыл вражеской цепи, разгромил карательную группу. Бросив убитых, гитлеровцы отступили к хутору Михайловскому. Наши трофеи: 5 минометов, 2 ручных пулемета, 3 автомата, 20 винтовок, 13 карабинов, 13 сабель и 13 седел.

Гитлеровцы неоднократно пытались уничтожить партизан, применяя танки, артиллерию. А в первые две недели 1943 года ежедневно бомбили лес авиацией. Но эти попытки были безрезультатны. Партизаны выстояли и продолжали боевые действия.

В конце января 1943 года проведен глубокий рейд нашей бригады на железную дорогу Коренево – Глушково. Подорвали 2,5 км полотна дороги. Подожгли состав из 15-ти вагонов. Взят нашим отрядом трофей – 13 ящиков патронов. Потери отряда: 4 убитых и 7 раненых партизан.

Тяжелым для нашего отряда оказался бой при нападении бригады на хомутовский гарнизон численностью до 400 карателей и полицейских. Отряд был в засаде, но оказался в полуокружении. Только с наступлением темноты немцы ушли, и это спасло нас многих от гибели. Были ранены бойцы Башмаков, Косенков, Щербинин. Немцы оставили на поле боя 17 убитых, 1 миномет, 3 пулемета, 27 винтовок, 4 мины, 280 патронов.

В феврале 1943 года отряд совершил рейд по Дмитриевскому и Конышевскому районам. В с. Береза разгромили волостное управление – сожгли документацию. В с. Нижнее Песочное разгромили полицейский гарнизон, забрали приготовленное для отправки в Германию зерно. В д. Хатуша взяли в плен 4-х полицейских, у них забрали 4 центнера соли.

Тяжелую утрату понес отряд в середине февраля 1943 года. На хуторе Пчелка Меньшиковского сельсовета Хомутовского района полностью погибла группа минеров-подрывников из 7 человек, направленная командованием отряда на подрыв дороги Арбузово – Конышевка. Это командир взвода Лазарев Василий, отважные бойцы Афонин Михаил, Ветров Михаил, Голопупкин Н., Евдокимов А. И., Евдокимов А. Т и Кострубов И.

Мне довелось участвовать в нескольких операциях. Но больше приходилось охранять базу, нести караульную и патрульную службу при стоянках в населенных пунктах. В конце февраля отряд остановился на ночь в одном из сел партизанской зоны. Я находился в парном патруле (старшим патруля). Произошла очень радостная встреча: по паролю, данному нам начальником штаба отряда, мы встретили разведчика Центрального фронта Красной армии. Он сообщил командованию отряда весть о славной победе Красной армии под Сталинградом.

В конце февраля 1943 года командование бригады приняло решение идти на восток, навстречу войскам Центрального фронта, наступавшим из Курска, для помощи в освобождении города Дмитриева и сел Хомутовского и Дмитриевского районов. При движении через село Бреховку Дмитриевского района нас бомбили немецкие самолеты. Потерь не было. В селе Фатеевка заняли оборону против наступающих из села Кузнецовка немцев. Противник имел огромное преимущество в численности войска, и нашим отрядам пришлось раздвинуться в стороны от дороги, по которой на юг шла мощная колонна немцев. У нас в это время осталось по 15–20 патронов на винтовку, поэтому серьезного сопротивления мы оказать не могли. В этом бою были ранены три наших партизана отряда им. Чкалова. Затем отряду была поставлена задача наступать на станцию Дмитриев-Льговский и «старый» город. В этом бою было трое убитых и семь раненых наших товарищей. Большие потери в бою за Дмитриев были в отряде имени Боженко – 42 убитых и 35 раненых.

> Севернее села Чернь мы вынуждены были перейти к обороне. Заняли оборону в мелких одиночных окопах, вырытых в снегу. Метель заметала снегом лежащих в окопах солдат. Для замены надо было сначала откопать

сменяемого, а затем занять его место. Немцы пошли в наступление. Более трех десятков пикирующих бомбардировщиков, выстроившись по кругу, безнаказанно обрабатывали нашу оборону. Затем пошли их танки и автоматчики.

После этого боя мы соединились с Красной армией. То были минуты неописуемой радости и восторга. Нам выдали солдатский сухой паек на трое суток, боеприпасы, и походным маршем нас перебросили под Тросну на орловское направление.

Я попал в 605-й стрелковый полк 132-й стрелковой дивизии 13-й армии, наступавшей на орловском направлении образующейся Курской дуги. В начале марта 1943 года там сложилась тяжелая обстановка со снабжением. Метель занесла снегом дороги. Тыловые подразделения далеко отстали от наступавших частей. Не хватало боеприпасов, горючего для боевой техники. Нас, партизан, даже не обмундировали, мы так и вступили в бой в партизанской одежде с партизанским оружием. Бои были очень тяжелыми. У нас не было поддержки ни танками, ни самолетами из-за отсутствия горючего. Поэтому наше наступление не имело успеха. Севернее села Чернь мы вынуждены были перейти к обороне. Заняли оборону в мелких одиночных окопах, вырытых в снегу. Метель заметала снегом лежащих в окопах солдат. Для замены надо было сначала откопать сменяемого, а затем занять его место. Немцы пошли в наступление. Более трех десятков пикирующих бомбардировщиков, выстроившись по кругу, безнаказанно обрабатывали нашу оборону. Затем пошли их танки и автоматчики. Нам пришлось отступить. Мы несли большие потери. Только за двое суток боев погибли или получили ранения более 120 человек, то есть почти полный состав роты. В том числе командир роты лейтенант Беляев, замполит роты лейтенант Вольфсон, командир батальона старший лейтенант Веселов. Но мы остановили врага.

В одном из боев я получил тяжелую травму ног и надолго выбыл из строя – до конца 1943 года. Этим закончилось мое участие в войне с фашистской Германией. Но тогда я и не предполагал, что мне придется еще воевать.

Лето 1943 года. Я – инвалид войны. Победа Красной армии на Курской дуге стала переломной в Великой Отечественной войне. Но впереди предстояли еще многие кровопролитные бои. Боевые потери личного состава требовали постоянного пополнения армии новыми бойцами. Важным источником пополнения резервов для фронта на западе СССР была

группировка наших войск на Дальнем Востоке. Отправленных на фронт подготовленных бойцов заменяли призывниками.

На освобожденной от оккупации курской земле комиссия военкомата через девять месяцев – 31.12.1943 года сняла меня с инвалидности и вместе со сверстниками 1926 года рождения призвала на срочную службу. 2 января 1944 года нас, призывников из Курска, направили на Дальний Восток.

Сначала я служил вблизи границы с Маньчжурией в 58-м стрелковом полку 190-й стрелковой дивизии пулеметчиком станкового пулемета «максим». С нами вели ускоренную боевую подготовку. Но использовали и на строительстве оборонительных сооружений на границе. Мои успехи в боевой подготовке были отмечены присвоением к 7 ноября 1944 года звания ефрейтора.

Япония, подписав с СССР в апреле 1941 года пакт о нейтралитете, готовилась к нападению на нашу страну. Поэтому советское командование вынуждено было держать на восточных рубежах крупную группировку войск (до 40 дивизий, так необходимых на западе, в войне с Германией). Японцы постоянно совершали провокации против наших войск. Например, за 1944 год они 144 раза нарушили нашу границу.

В ноябре 1944 года меня перевели на службу в авиационную часть, в 315-й военный склад. Служил рядовым технической команды. Мы снабжали авиабомбами самолеты-штурмовики ИЛ-10 и другие. В составе 10-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта наша воинская часть приняла участие в войне против империалистической Японии в августе-сентябре 1945 года. Так я стал участником двух войн.

Будь прокляты навеки те, кто готовит и развязывает войны!

Мне и моим сверстникам пришлось после окончания Второй мировой войны шесть лет (1945–1951) нести срочную службу в Советской армии. С 1946 года шла демобилизация старших возрастов, призванных в годы войны, а младшие возраста продолжали службу. Кроме того, с 1944 по 1948 год не проводился призыв на срочную службу. Да и в 1948 году юношей 1928 года рождения призвали не в армию, а в угольную промышленность для работы в шахтах. Вот и пришлось после войны отслужить три нынешних срока. По окончании срочной службы в 1951 году командование воинской части уговорило остаться на сверхсрочную службу – на два года. Таким образом, я прослужил в Советской армии более 10 лет.

После победы над Японией в 1945 году Советскому Союзу были возвращены южная часть о. Сахалин и Курильские острова. Воинская часть, в которой я служил, в 1946 году была передислоцирована из Хабаровского края на Южный Сахалин, где

я прослужил 7 лет. В июне 1953 года уволен в запас Вооруженных сил СССР в звании «старшина».

После увольнения из армии приехал в Копейск Челябинской области, который стал местом моего постоянного жительства.

Фашисты трижды имитировали мою смерть
Печененко Николай Фомич (1930–1987)

Партизан-разведчик отряда им. И. В. Сталина леса Холодный Яр Черкасской области, с марта по август 1944 года разведчик 32-го гв. артполка 13-й гв. дивизии 5-й гв. армии 2-го Украинского фронта.

С августа 1944 по июнь 1945 года воспитанник 155-й армейской артиллерийской бригады. С боями прошел от Днепра до реки Влтава в 30 км от Праги в городе Кралупа на Влтаве. Победу встретил в мае 1945 года в Австрии. Вернулся домой с орденами и медалями. Ему в тот год исполнилось пятнадцать лет.

> Он писал книги ручкой, зажатой зубами, так как у него была полная парализация конечностей. Собирая материал для книги, Николай Фомич исписал шестьсот ученических тетрадей.

В 1970 году, в 40 лет, его парализовало, Николай Фомич стал инвалидом 1-й группы.

Рабочие завода смонтировали для Николая Печененко специальное кресло, письменный стол с пультом управления, на котором было более пятидесяти различных переключателей. Он писал книги ручкой, зажатой зубами, так как у него была полная парализация конечностей. Собирая материал для книги, Николай Фомич исписал шестьсот ученических тетрадей. По его воспоминаниям вышла книга «Опаленная судьба», (Киев, 1984 год). Спустя три года после выхода книги Николая Фомича не стало.

Отрывок из воспоминаний:

«Мы, трое юных партизан, находились на связи в украинском городе Смела. Они разведали, что гитлеровцы готовят временный склад боеприпасов и в ночь на шестое ноября 1943 года его взорвали, однако уйти не успели. Толю Ткачука часовой застрелил. Я и Вася Хильченко попали в лапы гестаповцев…

После первых вопросов Вася решил: „Лучше погибну от пули, чем от пыток“. И согласился показать врагу базу партизан. Он завел гитлеровцев в глубокий лес, где на них напали партизаны. Во время боя Васе удалось скрыться…

> Фашисты трижды имитировали мою смерть через

повешение. Последний раз, снятый с виселицы, я оказался в полной власти паралича.

А озверевшие фашисты всю ненависть вымещали на мне. Придумывали изощренные пытки: прищемляли в дверях пальцы, загоняли под ногти заостренные спички, выбили передние зубы, повредили слух… Я молчал и, облитый ледяной водой, приходил в сознание в каземате гестапо. Наутро пытки продолжались: с плеч срывали одежду, босого выталкивали на мороз. Однажды, как выстрел в ночи, прозвучала команда: „Повесить!“

Обреченных штыками подталкивали к виселице… Сзади, едва переставляя распухшие ноги, шел я, последним поднялся на эшафот. Ощутил петлю, перехватило горло, увидел нацеленные на меня пистолеты и потерял сознание… Я не слышал самодовольного хохота палачей, что означало конец пытки. Я очутился в каземате.

В то же мгновение произошло чудо – стресс вернул подвижность. Я выполз из землянки, увидел, как по косогору поднимались гитлеровцы. Перестрелка продолжалась, рядом упал смертельно раненный партизан. Слабыми руками дотянулся до гранаты, зубами потянул чеку, ощутил первый щелчок – жить осталось ровно четыре секунды…

Фашисты трижды имитировали мою смерть через повешение. Последний раз снятый с виселицы, я оказался в полной власти паралича.

На рассвете 5 января 44 года (в тот самый день при отражении атаки карательной дивизии войск СС погиб Вася Хильченко) немецкие антифашисты Курт Рейгольц и Отто Роговски по заданию партизанского комиссара Петра Яковлевича Хижнякова похитили меня.



Виталий Чижиков и Николай Печененко

В лазарете я, полностью парализованный, жалел об одном: не успел отомстить фашистам за гибель близких и сверстников. От дум отвлек шум. Услышал спокойный голос начальника медсанбата:

– Кто может держать в руках оружие, ложись в оборону. Гитлеровцы в лагере.

В то же мгновение произошло чудо – стресс вернул подвижность. Я выполз из землянки, увидел, как по косогору поднимались гитлеровцы. Перестрелка продолжалась, рядом упал смертельно раненный партизан.

Слабыми руками дотянулся до гранаты, зубами потянул чеку, ощутил первый щелчок – жить осталось ровно четыре секунды…

Неожиданно с противоположной стороны донеслось громкое „Ура!“, на выручку нашим пришло две роты партизан. И я швырнул гранату вслед удирающим фашистам…»

Нас повезли в сторону оврага. у меня мелькнула мысль: «на расстрел!» Чижиков Виталий Кузьмич, 1927 г. р

«Я чудом спасся». Я – глухонемой юный партизан Великой Отечественной войны. В силу такого физического недостатка в моих воспоминаниях встречаются многие участники событий без имен и фамилий, так как я не слышал их.

Есть события без дат. Такие мемуары многим покажутся скудными, но правдивыми из пера очевидца. Жаль только, я не смог написать этого раньше, когда еще были живы боевые товарищи, бывшие партизаны, которые могли бы дополнить мою историю событиями из их жизни, подтвердить правдивость написанных мною строк, да и легче бы мне писалось. Все написанное мною далось нелегко, так как к немоте прибавилась слепота; пишу в очках плюс три лупы, годы дают о себе знать. Все, написанное мною, – правда, увиденная собственными глазами и мною испытанная. Не позволю приписать себе чужой подвиг. Я не совершил ничего героического, хотя имею почетный знак «Сын полка», которым горжусь и дорожу.



Виталий Чижиков

В мемуарах встречаются и строки на языке того времени, с местным диалектом, чтобы, читая, вы чувствовали себя в духе того времени и чтобы мемуары дышали духом того времени.

Написано и с пословицами, и с поговорками, с Богом, без которого неинтересно писать. Написано с суровой правдой войны, особенно партизанской.

Я родился в мае 1927 года в селе Черновка Дмитриевского района Курской области. Учился в школе глухонемых. Был единственным отличником. Выполнял общественные поручения. Был редактором и художником стенгазеты, пионервожатым.

Однажды мне в руки попался учебник немецкого языка. Я заинтересовался и в свободное время начал изучать этот язык. Это мне пригодилось во время немецкой оккупации.

В нашей школе была дикая дедовщина, от которой мы все страдали. Но на моей учебе это не сказалось.

В школе мы поняли, что такое враг, по кинофильмам, где показывали царских солдат и офицеров, белогвардейцев. Мы устраивали детские игры в войну.

Мы знали о войне в Испании и о падении республиканцев, о трагедии города Герника, о его разрушении от бомбежки и о гибели почти всех жителей города. Мы также видели помещенные в газетах снимки советских воинов, участвовавших в разгроме японских агрессоров на озере Хасан, а затем на реке Халхин-Гол. В школе мы узнали о войне с белофиннами и об ее тяжелых зимних условиях. Многие работницы школы плакали по погибшим мужьям.

Однажды мне в руки попался учебник немецкого языка.

Я заинтересовался и в свободное время начал изучать этот язык. Это мне пригодилось во время немецкой оккупации.

Наша учительница рассказывала, что наша страна окружена капиталистическими странами. Среди них оказалась такая опасная и агрессивная страна, как фашистская Германия. Мы не знали этого и считали основными нашими врагами Францию и Англию.

Мы не знали, что Франция и Польша уже пали под ударом немецких войск и что над нашей родиной висит серьезная угроза неизбежной войны.

В школе нас пугали таким опасным врагом, как фашист со свастикой на рукаве, изображенный на карикатуре. Это был главный враг народа.

Все же, не ожидая приближения войны, мы спокойно сдали

экзамены и разъехались на летние каникулы незадолго до начала войны.

Так в четырнадцатилетнем возрасте я встретил Великую Отечественную войну. К тому времени я был круглым сиротой и жил с семьей брата, который в первый день войны был мобилизован в армию. Со мной осталось три души: невестка Анна, племянник Саша и племянница Зина. Так мы жили в ветхой хате вчетвером.

Я тянулся к знаниям, читал все, что попадалось на глаза, в том числе и учебник немецкого языка, который впоследствии невестка изорвала на розжиг печи.

В школе нам не объясняли, кто такой коммунист, а кто – большевик. В одном из учебников я заметил слово «коммунист». С вопросом, кто такой коммунист, я обратился к своей учительнице, но ответа не получил.

Только во время немецкой оккупации мы разобрались в этом.

Говорили, что немецкие оккупанты преследуют только коммунистов. В действительности все было не так. В оккупацию были грабежи, расстрелы мирных людей, поджог жилищ и многое другое.

Нас воспитали в патриотическом духе, в любви к Родине, в преданности родной стране и в презрении к изменникам Родины, в ненависти к врагу.

Утро пасмурного дня 31 августа 1942 года. Ничто не предвещало угрозы опасности.

Пара зловещих немецких бронемашин совершила разведывательный рейс вокруг леса, называвшегося Воскресная дача, где находился наш партизанский отряд. Немцы своим неожиданным появлением спугнули с поста дежурных, включая и меня. На всякий случай была устроена запоздалая партизанская засада. Среди участников засады был мой близкий боевой друг, начальник партизанского штаба Иван Банных.

Партизаны знали о моем желании вступить в отряд. По их просьбе я бегал в разведку и обратно, выполняя поручения.

Благодаря Ивану Банных я получил возможность участвовать в засаде. Среди бойцов засады был Вася Чижиков, мой сосед. Он был известен в селе Черновке своим скверным характером. Он был зачинщиком неоднократных драк, в том числе и со мной. А вот в партизанском отряде он был одним из лучших бойцов и смелым разведчиком.

В одной конной разведке при перестрелке с полицаями Вася Чижиков был ранен в левое плечо, но он бросил правой рукой фляжку в полицаев, которые приняли ее за гранату, полегли на землю. Вася с трудом взобрался на лошадь и был таков. Только

после прихода Красной армии Вася Чижиков вернулся в родное село.

В засаде мне было скучно. Я решил пойти в сторону поселка Веселый и посмотреть, что там, за лесом. Во время моего пути мне навстречу со стороны поселка в панике бежали трое ребят, среди которых был мой одноклассник, глухонемой Вова Гусев. Жестикулируя руками, он торопливо сообщил о какой-то лошади и побежал дальше. Я не понял и даже недоумевал, что за лошадь, о которой сообщил Гусев. По-видимому, он говорил, что ищет свою лошадь, хотя уже давно у населения отобрали почти всех лошадей.

Однако я продолжил идти своей дорогой в сторону поселка, вдоль леса. Вдруг я подвергся прямому пулеметному обстрелу с поля. На третьем выстреле я рванулся бежать обратно в лес. Там я столкнулся с двумя знакомыми партизанами-разведчиками и жестом сжатых рук, словно держащих оружие, сообщил, что там в меня стреляли, и побрел вдоль опушки.

По пути я думал о минувшем. «Славу Богу, я дважды чудом спасся». Я благодарил Бога за то, что ни одна пуля из пулемета не попала в меня. Также я думал о сумасбродном Васе Гусеве, который ввел меня в заблуждение своей лошадью. Понятно, враг открыл пулеметный огонь по мне, приняв меня за партизана.

> Так, вчетвером, в сопровождении двух мадьяр, мы шли в сторону поселка Веселый. Я волновался. Однако было лучше попасть к мадьярам, чем к немцам или полицаям. Они были менее жестокими, чем другие.

Нужно было выходить из леса. Я с осторожностью вышел на дорогу и по ней вышел к засаде. На мое сообщение о том, что я подвергся обстрелу, не обратили внимания. Хотя Вася Чижиков, с которым я раньше был в компании, это подтвердил. Вскоре, сняв засаду, бойцы стали уходить в глубь леса, не обратив на меня внимания. Мне было обидно, что Носевич – командир роты – не позвал меня с собой. Я пожалел, что не попросил его взять меня. Я подумал о моем боевом друге Иване Банных. Ведь он неоднократно брал меня с собой, дав винтовку. Мне в изорванной одежде деваться было некуда. Я был в затруднительном положении. Решил отправиться в поселок Веселый, чтобы переждать. Но здесь, во мгле, на параллельной дороге увидел четверых ребят. Я направился к ним. Оказалось, троих ребят сопровождал мадьярский солдат-разведчик. Они были из поселка Веселый. Мадьяр, светлорусый, как северный европеец, с добрым на вид, красивым лицом, спокойно шагал с винтовкой, которую я сослепу не заметил. Винтовка была направлена на ребят.

Кроме того, позади меня оказался еще один мадьяр, который совсем близко находился от того места, где была засада. Он хотел меня поймать, но я оказался в руках другого мадьяра. Так, вчетвером, в сопровождении двух мадьяр, мы шли в сторону поселка Веселый. Я волновался. Однако было лучше попасть к мадьярам, чем к немцам или полицаям. Они были менее жестокими, чем другие.

Во время оккупации мы употребляли слово «мадьяр» и изредка «венгры».

Пройдя некоторое расстояние, увидели воз, запряженный лошадьми-тяжеловозами. Как я понял, это были те лошади, о которых мне говорил Вова Гусев. При следующей встрече он мне объяснил, что он меня хотел предупредить о том, чтобы я не шел в ту сторону, так как там немцы. Вова Гусев был тоже схвачен.

Рядом с возом стоял пулемет. Именно из этого пулемета я подвергся обстрелу. Этот станковый пулемет по внешнему виду был похож на наш пулемет «максим», но только с раструбом на торце ствола. Поэтому я, тугоухий, смог расслышать на значительном расстоянии звук выстрела. Этот раструб, находящийся на торце ствола венгерского пулемета, имеет форму рупора, который служит для усиления звука.

Внезапно хлынул сильный дождь. Мадьяры кутались в воротники. Мы вчетвером прижались к копне, и, так как снопы нас плохо прикрывали, мы вымокли.

Один из солдат сделал контрольный выстрел в воздух. Мы вчетвером, в сопровождении двух солдат прошли вдоль ряда сап, вырытых на сжатом поле. В каждой из них лежал солдат, целясь в лес. Навстречу нам из последней сапы поднялся с винтовкой в руке офицер в пилотке с петушиным пером на правом боку, сияя золотым зубом и золоченым орденом в виде восьмиконечной звезды. Судя по петушиному перу, не охотник ли он, офицер? Винтовка была устаревшая. Это говорило о том, что мадьяры вооружены хуже, чем немцы. Нигде у мадьяр я не видел автомата.

Я был старше всех ребят. Нас отвели в лог, заросший вековыми дубами. Здесь нас стали допрашивать. Жаль только, я не слышал речи на допросе, а потому не могу изложить их в своих мемуарах. Офицер показал на меня. Я понял, что он спрашивал обо мне у ребят. Старший ответил, что я глухонемой. Офицер оставил меня в покое.

Вдруг он с поднятой винтовкой прижался ко дну лога и попятился к нам. По противоположному склону, между деревьями, в сопровождении двух мадьярских солдат, показались дед с внучком. Они приближались к нам.

Дед был высокого роста, скуластый, с пышной, чуть

рыжеватой бородой, в зимней кожаной с козырьком кепке и босой.

Кстати, климат на земле Курской в то время был теплым и мягким. В черноземной Курской области земля жирная, плодородная, такая нежная, что приятно по ней ходить босиком. В то время и мал и велик ходили босиком.

Офицер стал допрашивать деда. Недовольный ответом, он схватил его за бороду и стал трепать. Малыш от испуга заплакал, хватаясь за брюки деда.

> Нас повели в сторону оврага.
>
> У меня промелькнула мысль:
>
> «На расстрел». Я не ощутил страха. Сразу вспомнился страшный мартовский день, когда во время расстрела мирных жителей села Черновка сестра Наташа помешала карателю, который целился в меня:
>
> «Не трогай! Он немой и глухой!»

Обозленный и неудовлетворенный ответом, офицер ударил его по щеке и стал опять трепать за бороду. Малыш, прячась за деда, плакал еще громче. Дед успокаивал внука и мужественно переносил побои. Он что-то говорил, говорил, а затем бросил свою кожаную кепку на землю и перекрестился. Покраснев от злости, офицер продолжал бить деда то по спине прикладом, то трепал за бороду, опираясь на винтовку, ударял в бедро сапогами. А дед устоял, как тот дуб, что рос рядом.

Любимый русским народом дуб. Дуб-богатырь. Вспоминается былинный богатырь – Илья Муромец, который по пути в Киев пленил Соловья-разбойника, убивавшего из дупла старого дуба всех, проходивших мимо, своим разбойничьим свистом.

Я очень любил читать сказки, былины. Поэтому не мог не восхищаться подвигом дуба-богатыря на допросе, не мог не уважать русского деда, в дальнейшем оказывая ему почтение. Очень жаль, что, к своему стыду, я не знаю его имени, фамилии.

Наконец или устав, или тронувшись стойкостью деда, офицер брезгливо поднял с земли дедову кепку и подал ему.

Затем один из мадьярских солдат сделал контрольный выстрел в воздух. Нас повели в сторону оврага. У меня промелькнула мысль: «На расстрел». Я не ощутил страха. Сразу вспомнился страшный мартовский день, когда во время расстрела мирных жителей села Черновка сестра Наташа помешала карателю, который целился в меня: «Не трогай! Он немой и глухой!»

А сегодня опять возможен расстрел. Куда же идем, как не в овраг? Подходящее место для расстрела. Нет смысла просить

пощады, тяжело расставаться со своей молодой жизнью.

Однако мы прошли мимо оврага и вышли на свежевспаханное, ждущее посева поле.

Мы пришли в поселок. Точно не знаю его название, но, кажется, Северный. Там под наблюдением немецких офицеров находилось мадьярское войско. Нас встретил мадьярский офицер с короткими, пышными, черными, как смола, усами и с висящим на боку трофейным автоматом. По-видимому, мадьярское войско было свежим, только что прибывшим из Венгрии, с устаревшим вооружением. Нас отвели в одну из хат на допрос. Меня опять не тронули, узнав о моей глухонемоте. Снова мне повезло.

Кстати, как мадьярские, так и немецкие оккупанты не трогали глухих.

После допроса нас вывели к погребу для заключения. У входа нас обыскали, причем вынули из кармана пальто кресало, кремень и фитиль, которые, к счастью, не намокли от дождя. Нас шестерых закрыли в погребе. Намокший и озябший, я провел ночь с невеселой мыслью. Я жалел о том, что не принимаю участия в бою, о том, что не рядом со своим боевым другом, начальником штаба. Вместо него рядом со мной находился командир засады Носович, который не очень жаловал меня.

Вспоминался глухонемой Вова Гусев, который своими жестами сбил меня с пути. Однако, может быть, лошадь здесь ни при чем. Я не понял того, что сказал Вова.

Ясное утро 1 сентября 1942 года. Я проснулся в погребе. Никого не было, все вышли, не разбудив меня.

Я вышел из погреба. Неподалеку стояло артиллерийское орудие малого калибра, стволом в лес. Вблизи от погреба разложили костер, у которого сидели трое ребят. Я подошел к ним. Мы обогрелись у костра. Передо мной на тлеющем угле стоял котелок с молоком, оставленный кем-то из солдат. Порывом утреннего ветра туда занесло мелкий уголек. Это увидел хозяин котелка, подняв на меня свой взор, и, показывая на котелок, толкнул меня в ногу ботинком. Я отошел под сдержанный смех ребят.

Затем нас, четверых ребят, перевели в другой поселок, где заставили пасти скот, отобранный у мирного населения. Сюда же стекались люди со всех сторон. В толпе я увидел и старого деда, которого потом в селе Черновке заживо сожгли. Впоследствии небольшой город Брянской области был назван – Стародуб.

Неизвестность тяготила меня. Ребята со мной не общались, были ко мне безразличны. Их бездушие угнетало меня, давила обида. Я понимал, что в них друзей мне не найти. Они видели во мне чужака, так как я был из другой деревни.

Здесь был и вчерашний рыжий офицер с петушиным пером, и пузатый офицер с короткими черными усами. Забавно было наблюдать, как он проглатывал очищенные яйца: не жуя, целиком. Мое внимание привлек еще один офицер, русый, невзрачный. Крича до покраснения, он спорил с группой офицеров. Я понял, что он был главным, так как к нему прислушивались. Многие мадьярские солдаты с интересом смотрели на нас, словно только что увидели в первый раз русских, пытались с нами заговорить.

Оказалось, многие мадьяры могли говорить по-русски. Судя по всему, они прибыли для борьбы с партизанами, называя их бандитами. Узнав, что я глухонемой, заулыбались.

В операции против партизан приняли участие четыре батальона и полицейский отряд.

Мадьяры несли потери в людях и технике. Партизаны мужественно отстаивали свои позиции. Мадьяры предприняли попытку проникнуть в глубь леса Воскресная дача, чтобы разгромить отряд партизан, но безуспешно.

В толпе оказались и глухие жители поселков. Я видел пастуха Федю Кучеряева с матерью, здесь же я встретил и одноклассника Степу Левых. Мы молча смотрели друг на друга, покачивая головами, понимая все без слов.

Скот пасли в огородах местных жителей. Как только картофельная ботва была съедена, мадьяры заставляли приносить сено из сарая. Сено было там очень туго набито. Мне было очень тяжело его вытаскивать, а иногда и не получалось. За это я получал удары прутом по бедрам. Если я, выдыхаясь, садился передохнуть, получал удары по щекам.

Когда сена было уже достаточно на ночь, мы уходили в сарай, чтобы переночевать на душистом сене. А на проселке согнанное население готовилось ко сну прямо на грунтовой земле. Ах, Земля-матушка, покровитель несчастных людей. Теплая, нежная, Курская, на ней можно спать, не боясь простуды.

Утро 2 сентября 1942 года. Последний, третий день карательной операции против партизан и моего пребывания в плену.

В сарае я проснулся и снова, как и в прошлый раз, обнаружил отсутствие ребят.

Если бы я проснулся немножко позже, то мог бы сгореть. Уже горели соседние хаты. Негодуя на троих ребят, я вышел из сарая. Тут в нос ударил горький запах дыма от пожара. На проселке согнанные жители двинулись на запад. Один мадьярский солдат, увидев меня, отхлестал ивовым прутом в тот момент, когда я пристал к толпе. В толпе были и остальные ребята, которые

покинули меня в сарае. Забыв обиду, я спросил у них о том, куда мы направляемся. Никто не ответил, только старший развел руками.

> Я очень волновался о родном селе Черновка, решил туда вернуться. Я туда бежал почти без остановки. Я до боли напрягал свои близорукие глаза, чтобы увидеть родное уцелевшее село.

А в это время в одном из логов, известном под названием «Свиной лог», происходило крупное сражение. Умелым маневром партизаны наносили противнику серьезный урон. Жаль только, мне не пришлось там участвовать, находясь в трехдневном плену.

К вечеру мадьяры сняли охрану и покинули толпу. Толпа людей, оставшаяся без крова, направилась в село Невара переночевать до утра.

Я остался на проселке один. Одна женщина взяла меня в хату, угостила кружкой молока с хлебом. Я лег спать на наброшенный сеном земляной пол.

Ранним утром хозяйка разбудила меня. За окном уже было светло. Я покинул добрую хозяйку и пристал к той же тройке ребят. С ними я вернулся в поселок Веселый, где мы увидели сожженные дотла, дымящиеся остатки деревянных хат. Мы заплакали.

Я очень волновался о родном селе Черновка, решил туда вернуться. Я туда бежал почти без остановки. Я до боли напрягал свои близорукие глаза, чтобы увидеть родное уцелевшее село.

Дома меня с радостью встретили родные: невестка Анна, племянник Шура и племянница Зина. Они рассказали, как за меня волновались. Я им рассказал о том, как попал в руки врага. Моя одежда была вся изорванная. Невестка сразу починила ее.

За завтраком подали на стол щи из молодой капусты с хлебом. Я давно почти ничего не ел, сразу набросился на еду. После завтрака я вышел из хаты. Тут меня приветствовали соседи – семья дяди Андрея. Самого дядю Андрея мадьяры угнали с другими мужиками в Локоть, поселок нашей Брянской области, который во время оккупации назывался городом, на каторжные работы. (Откуда дядя Андрей все же впоследствии вернется домой к семье.) Так, по иронии судьбы, я стал героем для близких и соседей. Прошло время.

В один из дней, сидя на коне, мой близкий друг Иван Банных беседовал с группой жителей. Я подошел к нему, он пожал мне руку и продолжал беседовать, не обращая на меня внимания. Так я и не смог рассказать о случившемся со мною инциденте. Через день-два я опять шагал партизанскими тропами. Партизаны уже

знали, что я был во вражеских руках. Тут я узнал про предупреждение чешского патриота-коммуниста в венгерской офицерской форме о подготовке к крупной операции против партизан. Партизанский отряд перебазировался, оставив небольшую группу людей для выполнения какой-то задачи. Также я узнал подробности событий, случившихся во время моего нахождения в плену. Вот что произошло.

Благодаря двум перебежчикам мадьяры и полицаи, знавшие уже местность и место нахождения партизан, готовились к крупной карательной операции против партизан. Дмитриевский партизанский отряд, в свою очередь, был готов к отпору.

Рано утром мадьярские войска уже грянули на поселки, прилегающие к лесу, и устроили засаду вокруг леса Воскресная дача. Умелый маневр наших партизан в восточных частях знаменитых брянских лесов, таких как Воскресная и Кишковская дачи, помог им нанести мадьярским войскам немалый урон. Мадьяры не могли ничего сделать, не решились проникнуть в глубь леса. Попытались мадьяры вместе с полицаями совершить атаку в Свином логу, но на них обрушилась буря пулеметно-автоматного огня со стороны партизанских засад. Мадьяры с большими потерями отошли назад, оставляя на поле боя много убитых. Потери понесли и полицаи. Обозленные неудачей мадьяры сожгли пять прилегающих к партизанскому лесу поселков. Отобрали у населения скот, птицу, имущество. После рассказа об этом Кривоглазый, окинув меня взглядом, попросил переодеть меня в трофейную одежду, предупредив при этом, чтобы она была выстирана. Так, на следующий день я получил свои брюки и, в свою очередь, отблагодарил кривоглазого горстью махорки из молодого самосада.

Я читал газету «Правда», доставленную с Большой земли, откуда узнавал о боях на Донском фронте под Сталинградом. Я любовался карикатурой, на которой изображен известный немецкий генерал Паулюс с недовольным лицом.

Майским утром 1942 года в нашу деревню пришли мадьяры. Вместе с полицаями они направились на пастбище. Оттуда пригнали в деревню и распустили по дворам коров. Наша корова направилась к нашему двору. Один из полицаев указал мадьярам на нее, сказав, что у хозяйки этой коровы брат в партизанах. Нашу корову забрали и угнали. Увидев это, невестка, взяв меня как грамотного, пошла в село Дерюгино, которое было как волостной центр. Мы шли 12 километров, чтобы возвратить корову. В управлении Дерюгинской волости находились староста, его жена и Петр Минаков с винтовкой в руках. Жена старосты спрашивала невестку о брате-партизане и этим волновала ее. Она

не реагировала на допрос и обратилась за помощью к старосте. Тот, как я понял, старался помочь невестке, но у него ничего не получилось. Тогда невестка обратилась к Петру Минакову. Тот жестом предложил мне написать заявление в волость о возвращении коровы. Но из-за физического недостатка я растерялся и заявления не написал. Петр Минаков только пожал плечами. Надежда невестки на меня не оправдалась. От этого мне было не по себе. Затем невестка вошла в правление, оставив меня в приемной. В ожидании невестки я рассматривал развешенные там плакаты. Все плакаты были провокационного характера. Я был возмущен. Без результата вышла из кабинета невестка. Мы возвращались домой молча, не проронив за всю дорогу ни слова.

Через некоторое время в село вошли партизаны. Они разгромили хату изменника Петра Минакова.

На следующий день невестка опять пошла в волость с надеждой возвратить корову. А я пристал к бежавшим молодым людям и вместе с ними направился к партизанам.

В правлении Дерюгинской волости невестку приняли как сестру партизана и, дав в спину, как говорят, 25 шомполов, предупредили, чтобы впредь не приходила. А потом долго я видел плачущую невестку, сидящую за прялкой. С этого дня я стал ходить на пост к партизанам.

В один из летних дней 1942 года произошло событие, которое имело решающее значение для начала карательной операции в нашей Воскресной даче.

Утром я пришел на партизанский пост, как всегда. Здесь были только два постовых. На вопрос о враге в моем селе я отрицательно мотал головой. Ничто не предвещало опасности, как… вдруг постовые вскочили и, схватив свои винтовки и телогрейки, побежали в глубь леса, в сторону базы.

Я недоумевал, что могло случиться? Почему оба постовых не заметили, как враг подкрался и застал нас врасплох. С этой мыслью я наткнулся на давно заброшенную партизанскую базу с двумя пустыми землянками. Находиться в них было тяжело, и я продолжил свой путь. С осторожностью вышел на прилегающую к лесу грунтовую дорогу. Вскоре показался партизанский пост. Там были партизаны. К моей радости, среди бойцов был Иван Банных. С ним были комиссар Дмитрий Беспарточный, командир отряда Иван Соприн. Я подошел к Банных и шутливо отдал ему честь, поднеся руку к виску. Тут я неожиданно заметил на грунтовой дороге следы шин автомашин. С вопросом я обратился к Банных, указывая пальцем на следы. Тот вынул из кармана своей телогрейки гранату-лимонку и замахнулся ею, словно бросая, с досадой качая головой. Вот кто спугнул нас с поста. По вине двух

постовых мы пропустили две немецкие автомашины.

На месте партизанского поста была устроена засада, к сожалению запоздалая.

В ожидании, сидя на выступе, Иван Банных подозвал к себе меня, написал на бумажке просьбу сбегать в деревню, разведать о силе врага, разузнать о количестве автомашин, о видах оружия. Мне пришлось бежать пять километров в родную деревню Черновку. Я прибежал в крайнюю, отделенную логом, часть деревни, состоящую из четырех дворов. Во второй от края хате жил Андрюша Чикиров – мой одноклассник. Он сообщил, что машины проехали в сторону поля, где виднелись клубы пыли, поднятой автомашинами. А его сосед, Гура Тимошин, рассказал, что первые две машины направились в сторону деревни Асмонь, а другие две в сторону села Дерюгино. Для проверки я направился в деревню через лог. Убедившись в отсутствии врага, я с облегчением вернулся к засаде. На всякий случай засада еще продолжалась. Я с карабином сидел под деревом.

Солнце спустилось к горизонту. Обойдя другой дорогой, автомашины ушли в сторону села Дерюгино. Засада была снята. Я сдал оружие Ивану

Банных и возвратился в родную деревню. Дома я объяснил племяннику Саше о случае на партизанском посту и своей неудачной разведке, а от него услышал следующее.

Было четыре немецкие бронемашины. Первая пара машин отправилась в сторону деревни Асмоня. Они проходили мимо лога, и одна из машин съехала в лог из-за скользкой дороги после дождя, там она и сгорела. Вторая пара машин направилась в сторону села Дерюгина. Судя по всему, мы поняли, что это был разведывательный рейс вокруг урочища Воскресная дача.

Вскоре после этого события, в свой очередной приход на пост, я заметил станковый пулемет со снятым щитом. За ним стоял пулеметчик. Это был брат моей невестки – Ваня Ефимочкин. После рукопожатия на его вопрос о враге в селе я отрицательно мотал головой. По моей просьбе Ваня без всякого возражения показал, как обращаться с пулеметом.

Через некоторое время в летний пасмурный день 1942 года я спал с племянником Сашей в амбаре. Неожиданно невестка разбудила меня, что-то показывая пальцем в сторону проселка. Там оказались полицаи. Дома я узнал, что из Дерюгина они забрали нашего пастуха Васю Цыганкова за то, что его отец и брат в партизанах. Проспал я не только приход полицаев, но и арест пастуха Васи. Только позже я узнал о подробностях ареста Васи. Дело было так: рано утром полицаи во главе с изменником Петром Минаковым пришли в наше село из села Дерюгина, где

находился мадьярский гарнизон. Они пришли раньше, чем пастух Вася успел выгнать стадо на пастбище. Петр с двумя полицаями вошёл в хату, где жила многодетная семья Цыганковых. Сам Вася был старшим сыном в семье. Полицаи допрашивали его об отце и брате, а затем его забрали.

К нам тоже вошли полицаи. Один из них, в светло-бежевом плаще, попросил у невестки поесть. На стол была подана миска щей с хлебом. За завтраком полицай стал допрашивать невестку о брате. Та упорно все отрицала. К сожалению, содержание допроса я не мог слышать.

После завтрака полицаи попросили закурить. Невестка перевела мне их просьбу. Я дал щепотку махорки. Полицай закурил и продолжал допрашивать. В этот момент я надел свое старое пальто и, прикрыв тихонько за собой дверь, через сени ускользнул из хаты. Увлекшись допросом, полицай не заметил моего исчезновения. Я пробрался к проселочной дороге, на которой не было ни души. Это мне было на руку. Я бежал в сторону партизан. Пробрался по логу до оврага, вышел на еще не сжатое поле, твердя себе, что в селе полицаи.

Увлекшись допросом, полицай не заметил моего исчезновения. Я пробрался к проселочной дороге, на которой не было ни души. Это мне было на руку. Я бежал в сторону партизан.

Когда я подходил к поселку Образцовый навстречу мне вышла беженка, наша односельчанка. Окинула меня вопросительным взглядом. Она была подпольщицей. Вслед за ней вышел юный партизан, брат пастуха Васи – Ваня Цыганков. Я сообщил ему об аресте старшего брата. Это известие облетело поселок и дошло до партизанской базы. Из леса пришел начальник партизанского штаба – Иван Банных. Он с Васей Ермаковым расспросил меня, что я видел и что знаю. Я ответил, что в селе много полицаев и что они спрашивают о партизанах. Спрашивали меня и о силе врага, о вооружении.

Через некоторое время началось размежевание земли между семьями. Этим занимался Петр Минаков, наш сосед. Он служил в армии авиаинспектором. В воздушном бою был сбит, попал в плен и вскоре был отправлен домой со справкой. С Петей я был в дружеских отношениях. Он был свидетелем злодейства немецких карателей в тот страшный мартовский день, знал, что немцы хотели меня убить. Также знал, что у невестки брат в партизанах, что он привез свою семью, оставшуюся без крова после сожжения родного поселка Карпеевского. В его семье было три души.

Во время размежевания я устал и сел отдохнуть на солому.

Рядом со мной лег Петр. Он показал мне повестку, написанную карандашом. Я, по своей малограмотности, не разобрал, что там написано. А вскоре узнал, что он ушел в село Дерюгино и поступил на службу к полицаям. Он приходил в нашу деревню на зачистку во главе группы полицаев. Он был при конфискации у нас коровы, при аресте Васи Цыганкова.

До появления партизан в нашем селе к нам из волостного центра Дерюгино немецкие оккупанты приезжали грабить население. Распространялись немецкие сообщения о победоносных наступлениях немецких войск. Население было введено в заблуждение. Все думали, что Красная армия разгромлена. Я не верил этим сообщениям. Только появление партизан дало понять населению, что все обстоит далеко не так, что Красная армия не дрогнула.

В один из зимних вечеров 1942 года к нам в гости заглянули партизаны: брат невестки – Ваня Ефимочкин и Вася Ермаков. Я передал патроны, которые нашел, и получил за это листовки и газеты, доставленные самолетом с Большой земли. Из них я узнал о разгроме немецких войск под Москвой и о зверстве немецких захватчиков.

В нашем Дмитриевском районе партизанское движение активизировалось все шире и шире и этим беспокоило немецких оккупантов.

С начала зимы 1942—43 годов ожидался приход советских войск, наступающих после уничтожения немцев под Сталинградом. В нашем селе из партизанских листовок было уже известно о совершении крупного в истории сражения с разгромом большой немецкой армии и о начале освободительного наступления наших войск.

Мы узнали и о том, что Красная армия уже ступила на древнюю курскую землю в районе г. Валуйки, подходила к Дмитриевскому району.

До появления партизан в нашем селе к нам из волостного центра Дерюгино немецкие оккупанты приезжали грабить население. Распространялись немецкие сообщения о победоносных наступлениях немецких войск. Население было введено в заблуждение. Все думали, что Красная армия разгромлена.

В то время я с соседкой ходил за 12 километров в село Дерюгино, возя на санках зерно для обмена на соль. Если память не изменяет, один стакан соли стоил двух пудов зерна. После продажи я навещал своего двоюродного брата Николая Новикова. Каждый раз я получал у него по стакану соли.

До войны Коля служил в пограничных войсках на западной границе. Дослужился до старшего лейтенанта.

Как в лесу, так и в нашем селе Черновка партизаны готовились к отправке в село Клишино. Там предстоял штурм немецкого гарнизона, участие в котором приняли Дмитриевские партизаны совместно с другими партизанскими отрядами, а также с частью Красной армии. Кроме того, к партизанам из села Дерюгина стали переходить сами полицаи, почуяв крах немцев и приближение Красной армии. Среди них был мой брат Николай Новиков.

Прежде чем перейти к партизанам, полицаи из села Дерюгина послали своего человека к партизанам на переговоры, а те потребовали захватить полицаев с оружием, до того как они перейдут к партизанам.

Затем Николая Новикова назначили командиром роты и поручили ему сформировать роту. По деревне ходили слухи, что Новиков был разоблачен и казнен.

Прежде чем перейти к партизанам, полицаи из села Дерюгина послали своего человека к партизанам на переговоры, а те потребовали захватить полицаев с оружием, до того как они перейдут к партизанам.

Я был потрясен этим известием и не верил в измену брата. Сколько раз я возил в село Дерюгино на санках зерно на продажу за соль и навещал Колю Новикова, которому предлагал уходить в партизаны. Я подарил ему игральные карты собственноручной работы, а Коля, в свою очередь, подарил мне темно-синие шаровары, которым я и мои домашние были очень рады.

В январе-феврале 1943 года к нашему Дмитриевскому району приближались освободительные советские войска, которые после разгрома немецких войск под Сталинградом вступили в Курскую область.

В последний день перед приходом Красной армии в нашу хату вошла пара немецких офицеров. Взглянув на меня, они обратились к невестке, что-то ей сказали. Та велела мне взять лопату и пойти с немцами, объясняя мне, что после работы я вернусь домой. На проселке собрались пригнанные молодые люди, включая женщин.

Нас заставили чистить от снега дорожки между укрытиями. Кругом, особенно в восточной стороне, бесконечно вспыхивали многочисленные разноцветные ракеты, включая осветительные. Закончив работу, мы благополучно возвратились домой. После ужина к нам ворвалась пара немецких офицеров и приказала освободить горницу для немецких солдат, а нам перебраться в

переднюю. Это были отступающие немецкие солдаты.

На следующий день утром в селе уже не было ни одного немца. К утру следующего дня в наше село с севера, со стороны села Лубашева, вступали первые бойцы освободительных советских войск. Жители нашего села Черновки с радостью встретили воинов-освободителей.

Однако они в селе не задерживались, на ходу спрашивая о немцах, бойцы все в инее, замерзшие от сильного утреннего мороза, стремительно шагали вперед и вперед, на запад, в сторону села Неверь. Бедные бойцы! На их плечи легла тяжесть войны и тяжелые зимние условия. Вслед за ними в нашем селе остановилась последняя часть наших войск. В нашей и соседней хатах остановилось по пять бойцов. У нас остановился их командир.

В это время мой младший дядя вышел из укрытия, в котором прятался от угона немцами на каторжные работы. Он укрывался под сеном в хлеву и продержался до прибытия Красной армии. Дядя Андрей был участником Первой мировой войны, как и старший брат Сосипатр, бывший царский офицер.

Я с племянником Сашей побежал в сторону села Гладкое на место минувшей ночной перестрелки. На полпути между нашим селом и селом Гладкое были расположены покинутые немецкие снежные будки. Мое внимание привлекла пуля, лежащая на насту, пробив какую-то преграду, она упала на наст. Пуля была уже холодная. Под ней снег не подтаял. Мы принесли домой немецкую гранату. Командир бойцов, заметив у меня гранату, немедленно отобрал ее, сделав суровое лицо.

А когда наступили сумерки и у бойцов был отдых, я подошел к командиру и завязал письменную беседу. Я написал, что знаю устройство гранаты и какую опасность она представляет. Командир не согласился. Я сообщил ему, что был в партизанах и знаю все оружие. Тот спросил невестку. Та подтвердила и поведала о ряде моих приключений.

Мы принесли домой немецкую гранату. Командир бойцов, заметив у меня гранату, немедленно отобрал ее, сделав суровое лицо.

В этот момент к нам пришла со слезами на глазах одна из дочерей дяди Андрея и сообщила о трагедии, произошедшей в их хате. Командир вскочил.

Радостный день освобождения омрачился. Участник Первой мировой войны дядя Андрей был далеко от мысли о подстерегающей опасности. Не ожидая беды, ждущей его, он полез по лестнице на чердак за махоркой-самосадом. В это время

в хате бойцы попытались устранить неисправности у ручного пулемета. Раздалась пулеметная очередь. Четыре пули пробили потолок. Одна из них попала в бедро незадачливого дяди Андрея. Его перенесли в хату. На верхних бревнах стены осталась струйка крови. Ногу дяде Андрею перебинтовал сам командир. Так дядя Андрей пролежал несколько дней. Ногу разнесло, началось заражение. Дядя умер.

Однажды я беседовал с одним из бойцов, который относился ко мне с симпатией. Я рассказал ему о том, как чудом спасся во время расстрела мирных жителей, как помогал партизанам, ходил в разведку, откуда приносил сведения о враге. Сетовал на то, что не мог участвовать в сражении, попав в трехдневный плен. Слушая мои рассказы, боец, качая головой, спросил у зашедшей соседки подтверждения сказанному мной. Та утвердительно кивнула головой.

После этой беседы я с соседними девушками пошёл через территорию совхоза туда, где рыли дорожки между укрытиями. По сторонам дороги мы увидели лежащие замерзшие трупы наших бойцов. Их доставляли с мест гибели. Позавчера ночью наши бойцы наткнулись на немецкие засады. Произошла перестрелка. Сколько бойцов пало за освобождение нашего села Черновка? Сколько людей погибло к концу войны? Увы, трупы не избегали мародерства. Вид многочисленных трупов наших бойцов вызвал у меня шок. Я привык у партизан к тому, что наши дмитриевские партизаны выходили из боя с незначительными потерями.

Когда мы вернулись в село, дома уже не оказалось бойцов. У нас в хате остановились вновь прибывшие бойцы Красной армии. Только через несколько дней на обратном пути нас навестил понравившийся мне боец и сообщил, что командир погиб, а сам он ранен. Отобрав у меня злополучную гранату, командир сделал роковую ошибку, которая предсказала ему смерть.

Весна 1943 года. В наше село возвратился партизан, наш сосед Вася Чижиков, с Большой земли, куда был доставлен самолетом для лечения ранения в плечо.

Поздняя весна 1943 года. Я пробыл в районном центре Дмитриеве несколько дней. К моему удивлению, ко мне очень хорошо относились бывшие знакомые партизаны, близкие боевые товарищи, которые занимали высокие должностные посты. Бывший начальник штаба дмитриевского партизанского отряда Иван Банных работал первым секретарем райкома ВКП(б), а бывший комиссар партизанского отряда Дмитрий Беспарточный – председателем райисполкома. Иван Банных всегда давал мне записку, по которой я получал товар в магазине. В этом я никогда

не имел отказа. Беспарточный уговаривал продавца не отказывать мне в выдаче товара, ссылаясь на то, что я был партизаном.

В сентябре 1946 года по призыву правительства я вместе с семьей брата переехал в Калининградскую область. На этом оборвалась связь с моим самым близким боевым другом Иваном Банных.

Дети полка

Дети полка

Еще недавно каждое поколение школьников росло на книге Валентина Катаева «Сын полка». Главный герой повести – Ваня Солнцев – был собирательным образом тех трех с половиной тысяч несовершеннолетних фронтовиков, которые прошли через поля сражений Великой Отечественной. И хотя судьба каждого из «сынов полка» сложилось по-разному, у всех у них было много общего.

Одна из версий появления этого термина утверждает, что выражение «сын полка» пришло в русский язык задолго до Второй мировой войны. В частности, некоторые источники ссылаются на рассказ Редьярда Киплинга «Дочь полка». Однако большинство мнений сводится к тому, что массовое распространение это словосочетание получило с подачи именно Валентина Катаева, написавшего в 1945 году одноименную повесть. Непосредственно же в годы Великой Отечественной нередко использовался термин «воспитанник», а на флоте их именовали «юнгами».

При этом сама традиция, ситуация, когда к армейской части прикреплялись несовершеннолетние, существовала довольно давно. Начиная с 18 века в российских воинских частях были юные барабанщики, а на военных кораблях – гардемарины. В годы Первой мировой войны в некоторых русских частях также были свои воспитанники. Так в фондах Новосибирского областного краеведческого музея хранится фотография 14-летнего «сына полка», кавалера Георгиевского креста, датированная 1915 годом.

Но именно в годы Великой Отечественной это явление приобрело более-менее массовый характер. Фактически, «сыном полка» считался ребенок, которого всем необходимым обспечивала воинская часть. При этом, в одних случаях, детей официально заносили в списочный состав и ставили на довольствие, а в других – напротив – не отражали в учетной документации.

Будущие сыны полка попадали в армию тремя способами. Во-первых, солдаты подбирали детей, которые из-за войны остались без семьи и дома, – в их числе были как сироты, так и просто потерявшиеся. Второй вариант – когда родители занимали командные должности в подразделении и забирали детей с собой, полагая, что так для ребенка будет безопаснее, нежели в тылу. Третий вариант – когда подразделение пополнялось за счет детей, сбежавших из тыла на фронт.

Официальная статистика Центрального архива Министерства обороны России гласит, что в годы войны на фронте сражалось

порядка трех с половиной тысяч юных солдат в возрасте до шестнадцати лет. При этом данная цифра не включает тех, кто в несовершеннолетнем возрасте помогал подпольщикам и партизанам. Тем не менее есть основания предполагать, что эта цифра является заниженной, поскольку многие командиры не стремились афишировать тот факт, что в их подразделении находится ребенок. Нередко вышестоящее командование попросту не знало о том, что в составе подразделения есть сын полка. Если же оно ставилось в известность и к тому же не требовало отослать воспитанника в тыл, то юному бойцу выдавалось обмундирование, а нередко – и личное оружие. Имели место случаи, когда в советских частях «сыновьями» становились польские, словацкие и даже немецкие дети.

Чаще всего сыны полка выполняли хозяйственные функции, помогая тыловым подразделениям. Вместе с тем были среди них и те, кто участвовал непосредственно в боевых действиях: известны примеры юных разведчиков, пехотинцев, танкистов, юнг и даже один летчик – 14-летний Аркадий Каманин по прозвищу «Летунок». Кроме того, были примеры «дочерей полка», как, например, десятилетняя санитарка Вера Белякова, служившая в частях 3-го Украинского фронта, 14-летняя пулеметчица Маша Щербак, 13-летняя санитарка Валя Таран, спасшая от взрыва госпиталь в Бернау.

Нередко юных бойцов награждали орденами и медалями. Так, самым молодым обладателем боевой награды считается шестилетний Сергей Алешкин – воспитанник 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев под Сталинградом он спас командира, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блиндажа, в котором находилось несколько офицеров. Именно за это 26 апреля 1943 года Сергей был награжден медалью «За боевые заслуги».

Впрочем, именно начиная с осени 1943 года несовершеннолетних бойцов стали отзывать с передовой – нередко их отправляли учиться в Суворовские и Нахимовские училища. Между тем многие сыны полка сумели продолжить службу и закончили воевать лишь в мае 1945-го. Уже после войны была подписана Женевская конвенция, положения которой запрещают участие в вооруженных конфликтах детей в возрасте до пятнадцати лет.

У меня было оружие – сабля и дамский пистолетик
Помогаев Леонид Михайлович, 1933 г. р

В сорок втором, когда я увидел своими глазами, что такое война, мне шёл девятый год. Волею судьбы я стал воспитанником 112-й отдельной армейской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи.



Леонид Помогаев

Не одно десятилетие храню пожелтевшую от времени фотографию. Вскоре после войны групповой снимок прислала Анна Степановна, тётя Аня – фронтовой фельдшер. На оборотной стороне: «Вспоминай, Лёнчик, с кем ты был в армии и кто любил тебя». А вот и сама «тётя Аня» – молодая красивая девушка в центре фотографии, в тяжёлые военные годы ставшая для меня второй матерью.

Узловая станция Мармыжи, близ которой жила наша семья, дважды переходила из рук в руки. Здесь стояли три наши бронепоезда. Били зенитки, пулемёты…

Отступая, немцы оставляли за собой дорогу из

всепожирающего огня.

Отца забрали на фронт. Помню, как мы прятались в каком-то погребке. Мать вернулась за узелочком с документами, который забыла дома на окне, сказала:

Здесь во время бомбёжки я и встретил свою будущую полковую мать.

И солдаты, и офицеры её уважали, несмотря на её юный возраст, обращались к ней только «Анна Степановна». За внешностью хрупкой красавицы скрывалась несгибаемая сила русского духа, и все это чувствовали.

– Я скоро вернусь.

В тот вечер мы её так и не увидели.

Наконец, когда мы выбрались из погреба, горели земля и небо. Горела колхозная рожь. И вдруг в этом полыхающем поле колосьев я увидел свою сестру.

– Нина! Нина! – звал её, но всё смешалось в дыму.

Меня подхватили солдаты, которые стояли в деревне. Они торопились воссоединиться с главным управлением.

Ехали долго на лошадях. В дороге есть было нечего. И мне приходилось ходить с котелком по деревне. Давали, кто что мог, а я потом делился с солдатами.

Как-то через реку вместе с лошадью переправлялись на пароме. Только ступили на другой берег, как видим, на той стороне подъехали три немца на мотоциклах и начали обстреливать паром.

Нас спас холмик, за которым мы успели укрыться.

Солдаты догнали своих только в Анненском районе Воронежской области.

Здесь во время бомбёжки я и встретил свою будущую полковую мать.

– Этого мальчика никуда не бросайте, – строго приказала фельдшер.

И солдаты, и офицеры её уважали, несмотря на её юный возраст, обращались к ней только «Анна Степановна». За внешностью хрупкой красавицы скрывалась несгибаемая сила русского духа, и все это чувствовали.

Командир роты Владимир Львович Срулихез встретил меня приветливо, даже катал на своём коне.

Анне Степановне я всегда старался помочь, как мог. Подать таблетки, принести бинты…

Из Воронежа часть двинулась в сторону Старого Оскола. Здесь и приключилось со мной непредвиденное. Машина тянула

зенитку. Шофёр разворачивался и не заметил меня. Зенитка задела плечо. Долго потом я не мог пошевелить правой рукой.

Анне Степановне ничего не сказал, но она и сама заметила.

– Лёнчик, ты что это левой рукой ешь? – спросила за обедом и строгим взглядом обвела сослуживцев. Делать нечего, пришлось рассказывать, как было…

Так и стал я сыном полка. Анна Степановна позаботилась, чтобы мне сшили шинельку. Даже петлички для погон к ней бойцы пришили – не поленились.

Из-за них и случилась со мной оказия.

Как-то приехал в часть важный генерал. Солдаты меня подталкивают в бок:

– Иди, представься генералу.

Я, как положено, доложил «под козырёк»:

– Воспитанник 112-й отдельной армейской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи!

Генерал одобрительно улыбнулся:

– Молодец, парень. Вот только петлицы-то не наши. У нас чёрные с синей окантовкой, а у тебя – красные.

Скосил я взгляд на петлицы и так растерялся, что слёзы из глаз потекли ручьём. Правду сказал генерал – второпях к шинельке пришили «неправильные» петлицы.

Солдаты меня успокоили и перешили петлицы на чёрные с синим.

Было у меня и «боевое оружие» – сабля и дамский пистолетик. К счастью, ни тем ни другим воспользоваться не пришлось.

> Увидев в небе немецкий самолёт, крестьянин с лошадью спешно покидал свой огород, и конь копытом повредил телефонный кабель. Я, как большинство мальчишек, знал немного толк в технике.
>
> Вот и в этой ситуации смог соединить провода, так что связь быстро наладилась.

Я был не юным бойцом, а сыном полка в буквальном смысле этого слова. В бой не шёл на абордаж. Совсем ещё ребёнком был. Но однажды и мне посчастливилось внести свою лепту…

Случилось это в Брянской области. Тогда на вооружение Красной армии поступили радиостанции. Одну такую вышку заметил пилот «мессершмитта» – немецкого истребителя. Нужно было срочно сообщить нашим о воздушной атаке. Но произошло непредвиденное… Увидев в небе немецкий самолёт, крестьянин с лошадью спешно

покидал свой огород, и конь копытом повредил телефонный

кабель. Я быстро сообразил, ведь, как большинство мальчишек, знал немного толк в технике. Вот и в этой ситуации смог соединить провода, так что связь быстро наладилась.

«Мессершмитт» был сбит, а меня наградили перед строем солдат… Есть у меня и другие награды, даже медаль «За победу над Германией», надеваю их только на 9 Мая.

Когда солдаты дошли до польской границы, здесь меня передали одному лейтенанту, который возвращался назад в Россию по семейным обстоятельствам. Дали наказ, чтоб определил сына полка в Суворовское училище. Но судьба сложилась иначе.

По дороге завернули в Мармыжи. Здесь я снова встретил мать. А позже нашлась и сестра. Оказалось, всё это время она была в ульяновском детском доме, а после войны я поступил в музучилище.

Я разрубил свои лыжи, чтобы не отдавать их немцам
Еленский Евгений Ильич, 1929 г. р

Родился я 3 мая 1929 года в Курске, проживал на улице Ендовищенской в доме № 7, который разбомбили во время военных действий.

В 1937 году я начал учиться в средней школе № 4 и в 1941 году окончил четыре класса и один класс по домбре. Мне тогда исполнилось 12 лет.

Наше место жительства стало местом боевых действий. Во дворе располагались защитные и заградительные устройства, был установлен зенитный пулемёт, который вёл бои с немецкой авиацией при налётах.

Шла подготовка к Курской битве, на тротуаре возле дома сооружались два дота, а во дворе устанавливалась противотанковая пушка. Я участвовал в проведении различных земляных работ.

Со 2 ноября 1941 года по 8 февраля 1943 года на временно оккупированной территории в Курске пережил голод, холод, страх. И всё же, чтобы не отдавать немцам свои прима-лыжи, порубил их, хоть и могло последовать жестокое наказание.

8 февраля 1943 года принимал участие в уличных боях при освобождении Курска, помог разведке определить местонахождение немцев.



Евгений Еленский

7 июня 1944 года был принят воспитанником военно-духового оркестра Краснодарско-Орджоникидзевского Суворовского военного училища. Раньше я играл в школьном духовом оркестре на корнет-трубе, а теперь мне предстояло нести службу военным музыкантом вместе с двумя взрослыми трубачами с единственным в курском гарнизоне военным оркестром. Обслуживал не только СВ, но и выступал с концертами в госпиталях, на торжественных мероприятиях городской администрации.

9 сентября 1944 года перед нами была поставлена задача – создать бодрое боевое победное настроение. Оркестр участвовал в торжественной передаче

истребителей и проводах на фронт лётчиков эскадрильи «Курский колхозник».



Проводы получились напутственно-тёплыми. Рвение изо всех сил тянуться в службе за взрослыми и ослабленный пережитым организм сделали своё дело – я оказался на больничной койке и 22 февраля 1945 года выбыл на гражданку, где встретил праздник Победы, окончил семь классов.

Школьные годы после освобождения Курска представляли собой совмещение учебного процесса и трудовых обязанностей, иначе говоря, проходили под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы», а это и ремонт здания школы с установкой «буржуек», выкорчевывание пней для отопления, сбор мебели. Выгружали вагоны, перетаскивали шефские пиломатериалы со станции в школу, выезжали обрабатывать сельхозкультуры.

При подготовке школы под госпиталь собирали койки, постельное бельё, посуду, вскапывали спец-огороды. Школа стала называться мужской средней школой № 4, а ученики были обязаны носить сумку с противогазом.

В 1945 году поступил в Курский железнодорожный техникум паровозного хозяйства, закончил его, затем железнодорожный институт. Проработал на железной дороге пятьдесят лет.

Одна связка гранат на двоих
Анненков Сергей Яковлевич, 1931 г. р

Город Льгов, Курская область, сын полка 65-й армии, юный участник Курской битвы, инвалид 1-й группы, посадивший рощу в 2,5 тысячи деревьев разных пород.

С детства я мечтал стать кадровым военным, в 6 лет потерял мать, со старшим братом Георгием росли, поддерживая друг друга. Отец много работал. Мы работали на огороде в 15 соток, ухаживали за домом. Рано вставали, слово «надо» было на первом месте. Началась война.

> Три дня шли бои, снег был красным от крови. У орудия остались лейтенант и я, снаряды кончились. Осталась одна связка гранат на двоих.

В 1943 году в конце февраля я оказался на северном направлении Курской дуги, куда потоком шли машины с подкреплением и боеприпасами. В одной из них я спрятался и попал в пекло боя – очень хотел воевать с фашистами. Некогда было выяснять: откуда пацан появился в артиллерийской батарее истребителей танков, поступила команда – раз попал в команду смертников, подавай артиллерийские снаряды!.. Заряжай!.. Я представить себе не мог такого кошмара. Взрывы снарядов переворачивали орудия. Три дня шли бои, снег был красным от крови. У орудия остались лейтенант и я, снаряды кончились. Осталась одна связка гранат на двоих. Опять атака на батарею фашистских танков. Лейтенант пополз, размахнулся, чтобы бросить связку в приближающийся танк, но тут же осел – был ранен. Я вырвал связку из рук лейтенанта и бросил ее под приближающийся танк. От взрыва меня отбросило на несколько метров в сторону.

> Забыть первый, и последний трехдневный бой невозможно, он напоминает о себе в кошмарных снах и непрерывных головных болях. И однажды, глядя в окно своей квартиры, я дал себе слово посадить две тысячи деревьев (в память о солдатах, умерших от ран в госпитале).

Очнулся от боли и холода – лежал на снегу, вернее, в замерзшей красной луже. Ощупал голову: широкий и глубокий

шрам на макушке. Услышал за спиной немецкую речь, автоматную очередь – гитлеровцы имели привычку добивать раненых…

Я сжался в ожидании приготовленной для меня очереди автомата, думал: только бы на моем лице не дрогнул ни один мускул. Так хотелось жить. И вдруг резкий удар кованым сапогом в правый висок, пинок второго фашиста пришелся по лицу. «Он мертв», – подытожил третий… Сколько находился в шоковом состоянии, не помню, очнулся в медсанбате…

Понимал, что другим не легче. Как полегчало, стал помогать раненым, выносил не менее двухсот суден или «уток», переворачивал раненых, а в сумерках с возницей приходилось увозить и умерших от ран…

Закончилась война. Стал все же кадровым офицером Советской армии. Но забыть первый, и последний трехдневный бой невозможно, он напоминает о себе в кошмарных снах и непрерывных головных болях. И однажды, глядя в окно своей квартиры, дал себе слово посадить две тысячи деревьев (в память о солдатах, умерших от ран в госпитале). Теперь под окнами выросли белоствольные березы, липы, рябины, лиственницы, сосны, вязы, клены…

Родительский дом был сожжен на Курской дуге
Батюнин Виктор Иванович, 1932 г. р

В 1941 году я вместе со своей тётей поехал в Ленинград, на период летних каникул. Вскоре началась война, и я вынужден был остаться в Ленинграде.

До снятия блокады Ленинграда был воспитанником 3-й зенитной артиллерийской батареи зенитного артиллерийского полка. Я заряжал ленты к ЗПУ, подносил снаряды к 37-миллиметровым пушкам, выполнял различные поручения командного состава батареи. В 1944 году вернулся на свою малую родину, в поселок Конышевка Курской области. Вместо дома увидел развалины. Родительский дом был сожжен во время боев на Курской дуге. Начались поиски какого-либо пристанища для меня, мамы и трех братьев.



В 1947 году пошел работать инструктором РК ВЛКСМ в поселке Конышевка.

В 1953 году был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Прошел свой жизненный путь от матроса до генерала. В 1976 году мне было присвоено звание «генерал-майор артиллерии». В

январе 1980 года был назначен командиром Краснознаменного Ленинградского корпуса ПВО г. Ленинграда. В 1991 году был уволен из рядов Вооруженных сил СССР. С июня 1991 года по 2003 год работал в различных структурах органов власти РФ.

Прошел 20 000 морских миль
Быков Иван Игнатович, 1927 г. р

Родился я в д. Никифоровка Конышевского района Курской области. 4 декабря 1944 года добровольно вступил в ряды Красной армии. В шестнадцать лет – доброволец истребительного батальона, в семнадцать – призван на фронт.

Окончил школу снайперов, попал на фронт, мне тогда было шестнадцать. Участвовал в 12-ти боевых снайперских операциях. Был ранен.



После победы закончил электромеханическую школу в Кронштадте, Балтийский флот, позже в 1946 году вступил в специальную команду в Германии для выполнения специальных заданий Красной армии и флота. В составе сформированной эскадры выполнял особые задания по разминированию фарватера и так, морем, пройдено 20 тыс. морских миль. В 1948 году поступил в Мурманское мореходное училище для подготовки военных специалистов для рыбного, морского и речного флота СССР. Окончил, получил диплом механика дальнего плавания Северного морского пути. Награжден многими орденами и медалями.

В тринадцать получил свою первую медаль «За отвагу» Воднев Алексей Дмитриевич (1929–2003 гг.)

Воспитанник 16-го стрелкового полка 13 гв. СД ГСС А. И. Родимцева.

Летом 1941 года я отдыхал в пионерском лагере, когда утром 22 июня нам сообщили, что началась война. Дома я застал плачущую маму. Она знала, что, проводив на фронт отца, останется одна с четырьмя детьми. Отец мой в первые дни войны записался в ополчение. Да он иначе и не мог. Пятнадцатилетним подростком ушел на Гражданскую войну, попал в Первую конную армию Буденного С. М. За храбрость награжден именным оружием. Тревога взрослых передавалась и нам. Все мы, подростки, вынашивали смелые планы побега на фронт. Был свой план и у меня. Я сел в эшелон, но километров через двадцать меня обнаружили солдаты и сняли с поезда. Пришлось возвращаться пешком домой. Однако моя первая неудача не охладила мой пыл.

Все мы, подростки, вынашивали смелые планы побега на фронт. Был свой план и у меня. Я сел в эшелон, но километров через двадцать меня обнаружили солдаты и сняли с поезда.

В конце октября 1941 года я встретился с разведчиками. Они оказались десантниками из 5-й воздушно-десантной бригады, которой в то время командовал полковник А. И. Родимцев. Я всегда носил красный галстук, и разведчики спросили у меня как у местного жителя, как пройти в Семеновку. Я указал дорогу, помог разведать обстановку. Разведчики в деревне взяли «языка». Я попросил солдат взять меня с собой, так как у меня отец на фронте и я остался один. Слукавил я, сильно хотел помогать взрослым, бить фашистов. Я был зачислен воспитанником полка, а вскоре получил звание ефрейтора.

Во время выполнения задания меня схватили фашисты, привели в хату, где сидели за столом изрядно подвыпившие немецкие солдаты. Скуки ради они стали бросать меня из угла в угол, пинать ногами.

В декабре 1941 года дивизия А. И. Родимцева участвовала в контрнаступлении. У деревни Крюково Черемисинов-ского района наступление наших войск было приостановлено. Фашисты засели в хатах на окраине деревни, ведя пулеметный огонь. Помощник начальника штаба по разведке А. А. Багуркин послал меня в разведку. Во время выполнения задания меня схватили фашисты, привели в хату, где сидели за столом изрядно подвыпившие немецкие солдаты. Скуки ради они стали бросать меня из угла в угол, пинать ногами. Обессилевшего, меня бросили в холодный сарай. Спасло меня наступление нашей пехоты и, наверное, то, что не думали немцы, что я как-то связан с партизанами, – мал еще был. В разгар боя я выбрался из сарая, вернулся в часть, доложил об увиденном. Это было мое боевое крещение. После этого мне довелось поближе узнать Александра Ильича Родимцева. Тогда в сердце родилось решение стать офицером, похожим на своего комдива. Главное качество комдива – беззаветная любовь к Родине. Подтверждать ее в те годы доводилось ежедневно.

Со временем я изучил миномет, приобрел военный опыт. Случалось заменять наводчика, вести огонь по врагу, подставив под ноги ящик от снарядов, чтобы удобнее было работать.

18 мая 1942 года стало поворотным днем в моей судьбе. Командир батареи Воробьев приказал мне выехать в расположение тыла батальона, якобы перешить мне военную форму. Что и говорить, щадили меня однополчане. В тылу было спокойнее. В той же полуторке, где ехал я, отправили в тыл раненых. Неожиданно в небе появились «юнкерсы». Шофер Фоменко свернул в лесок, но пули доставали и там. Фоменко погиб. Я выскочил из заглохшей машины и бросился к нашим танкам Т-34 сообщить, что в машине раненые. На помощь послали водителя. Раненые были спасены. Так в 13 лет я получил свою первую медаль «За отвагу».

Я выскочил из заглохшей машины и бросился к нашим танкам «Т-34» сообщить, что в машине раненые. На помощь послали водителя. Раненые были спасены. Так, в 13 лет я получил свою первую медаль «За отвагу».

К такой же награде я был представлен через год, когда в районе города Кривой Рог вместе с командиром взвода разведки обнаружил замаскированную батарею фашистов. По рации сообщили об этом нашим танкистам. Вражеская батарея была уничтожена. Но вторую медаль я получил лишь 9 мая 1997 года. Как говорится, медаль все же нашла меня. Много разного было в моей военной биографии: битвы за Сталинград и на Курской дуге,

раны и контузии, но самым страшным была смерть моих старших друзей-однополчан.

После войны сбылась моя мечта – стать офицером. Я закончил политическое училище во Львове, затем учился в Ростовской высшей партийной школе, а еще позднее заочно закончил исторический факультет Курского пединститута. Тяга к знаниям у меня была, наверное, потому, что ученические годы оборвала война. Сегодня ценю каждый мирный день. Часто выступаю перед школьниками. Особенно любят меня ребята 12–13 лет, такие, каким я был в годы войны.



Алексей Воднев

Свято храню память о своем командире, дважды Герое Советского Союза, генерал-полковнике А. И. Родимцеве. 16 воспитанников вместе со мной было в 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Около 30-ти лет поддерживаю дружеские отношения с дочерью Александра Ильича – Натальей Александровной Матюхиной, живущей в Москве. Ведь Родимцев А. И. был для меня вторым отцом. Второй мамой для меня была «мама Клара» – основатель курского музея «Юные защитники Родины», который стал для меня родным домом. Здесь всегда нам рады.

Записал внук, аспирант КГУ Гранкин Валерий, по материалам военно-исторического музея «Юные защитники Родины»

Фашистские пираты обстреливали теплоход, не щадя ни детей, ни женщин Шустов Владимир Константинович, 1929 г. р

Участник Сталинградской битвы.

Родился я 24 сентября 1929 года в городе Сталинграде, учился в средней школе № 3 им. Сталина с 1936 года. Пел в хоре, занимался гимнастикой (акробатика), участвовал в художественной самодеятельности, в кружке юного моряка. Впоследствии все это пригодилось.

> В сопровождении двух медсестер Раи и Нины мы переправляли тяжелораненого командира под свист пуль. Быстрое течение реки создавало трудности, мешало управлять лодкой. От разрывов водяные столбы взвивались вверх, и нашу лодку отбрасывало от берега. К тому же мешало причалить множество трупов, находящихся в воде.

В Верхнем поселке был Осоавиахим, где занимались моряки. Туда с товарищами стали ходить и мы. Был учебный пароход-плоскодонка, «Чкалов» как мы его называли.

15 июля 1941 года, когда по радио обратились к жителям с просьбой оказать помощь в строительстве оборонительных сооружений, мы откликнулись на этот призыв. Вначале нас присоединили к 327-му инженерному батальону 62-й армии.

Была организована комсомольская ячейка – группа добровольцев, которой руководил Федя и куда входили сандружинницы Маруся, Дуся, Тоня. Они помогали отправлять раненых бойцов, командиров на остров и левый берег Волги на лодках, катерах.

Я тоже переправлял на остров раненых бойцов, командиров, политработников на левый берег. В сопровождении двух медсестер Раи и Нины мы переправляли тяжелораненого командира под свист пуль. Быстрое течение реки создавало трудности, мешало управлять лодкой. От разрывов водяные столбы взвивались вверх, и нашу лодку отбрасывало от берега. К берегу, к тому же, мешало причалить множество трупов, находящихся в воде.

Раненых выгружали, а на обратный путь мы загружались

боеприпасами, которые переправляли на другой берег реки. Вместе с боеприпасами поместили и комиссара, которого нужно было переправить на левый берег. За это меня наградили куском сахара, и вскоре от имени комиссара за доставку секретных документов мне вручили орден Красного Знамени, отправили на отдых.

> Я спрашивал у всех, что с теплоходом, кто-нибудь доплыл до правого берега? Бойцы ответили, что вряд ли. Но крики, которые доносились с теплохода, мне не давали покоя. Как можно расстреливать женщин, детей?

В конце августа на правом берегу Волги загружался теплоход «Иосиф Сталин»: эвакуировали женщин, детей, стариков. Фашистские пираты осветили Волгу и начали обстреливать теплоход по открытым мишеням, не щадя ни детей, ни женщин. Крики далеко разносились по Волге. Некоторые прыгали в воду.

В это время моя лодка медленно выплывала из-за острова. Мою лодку прибило к пляжной мели. Я ничего не мог понять. Лежал на спине, ноги мои свисали в воду. Очнувшись, понял, что меня контузило. Борта лодки пробиты осколками, как я не взлетел на воздух, уцелел – неизвестно.

По течению я доплыл до правого берега. Мою лодку вытащили на берег бойцы. Я плохо слышал, я спрашивал у всех, что с теплоходом, кто-нибудь доплыл до правого берега? Бойцы ответили, что вряд ли. Но крики, которые доносились с теплохода, мне не давали покоя. Как можно расстреливать женщин, детей?

Все благодарили меня за то, что я вовремя доставил боеприпасы.

В сентябре на центральной лодочной переправе перевозил раненых на остров, и в разговорах мне сказали, что шестилетняя девочка спаслась с теплохода. Ее подобрали бойцы и отправили в медсанбат. В бреду она кричала: «Мамочка, спасайся». Как все это ужасно!

На правом берегу мне выдали справку, по которой, мне сказали, наградят орденом Красной Звезды, поэтому приказали ее хранить.

Вспоминаю судьбу теплохода «Киров»: он переправлял раненых с острова на левый берег Волги, в конце сентября был загружен полностью ранеными, отправился в укрытие. Он был обстрелян немецкими самолетами. Горевший катер врезался в песчаный берег. А раненые прыгали в воду. Ужасное зрелище. Учебная плоскодонка «Чкалов» была разбита, когда горели нефтесиндикаты.

Начальник центральной переправы Куликов говорил: «Вам бы учиться, а на ваши плечи легли нечеловеческие тяготы, подчас взрослому не под силу, а вам приходится носить раненых на себе и выполнять клятву, отстоять город или умереть на подступах, но не пустить вражескую нечисть».

10 октября 1942 года я ходил в разведку с двумя бойцами. Там нас завалило, и я получил ранение в голову. Когда нас откопали, мы были без сознания. Мы оказались в госпитале.

В госпитале нам сообщили о победе под Сталинградом. Нам всем вручили медаль «За победу под Сталинградом».

В сентябре 1943 года меня выписали, а в октябре в воинской части, полевая почта 48317 стал ездовым конюхом. Доставляли мы на подводах обмундирование, боеприпасы. Затем я был дежурным телефонистом.

В 1945 году мы вошли в Берлин, затем нами было занято восемь больших корпусов под склады в городе Беснау – это 25 км от Берлина, отсюда мы ездили с шофером Володей Ястребовым на братские могилы, к Бранденбургским воротам, к Рейхстагу. Он возил офицера. Сам он был из Одессы.

В сентябре 1946 года меня направили на учебу. Получил профессию электромеханика электроустановок и был направлен на работу в Кугаринскую МТС. Затем работал строителем.



В 1977 году по газете меня разыскала бывшая медсестра Нина, с которой мы спасли жизнь командиру и комиссару. Она сообщила о гибели Раи, которая погибла в Берлине в 1945 году.

Потом долго еще мы переписывались с Ниной, вместе ездили на различные встречи ветеранов. Нина вскоре умерла, на 35-летие Сталинградской битвы ее уже не было. Я продолжаю переписываться с детьми Нины.

Приписал себе годы и отправился на фронт
Щербаков Анатолий Павлович, 1925 г. р

Иртыш, седой и могучий, с пологими берегами, поросшими ярко-зеленой травой, вспоминается и сегодня. Здесь, на берегу этой огромной реки, я родился и вырос. Разве можно забыть, поменять или предать то детство, трудное, но все же беззаботное, ту глухую, на десятки километров удаленную от цивилизации деревню, где кто-то заводил единственный на все село граммофон и под чье окно собирались все? Нет, и через 70, 80 и 100 лет не забывается тот негасимый свет, что шел от керосиновой шестилинейной лампы, которой освещались изба, а по вечерам и деревенский клуб села Низовое, какие были по всей России – в Омской или Пензенской, а хоть и в Калужской или в Курской областях… А немое кино, что собирало такое количество ребятишек! Денег ни у кого не было, попасть было невозможно, а так хотелось каждый вечер. Клубный киношник выбирал из них самых «надежных» – крепких, приглашал к себе в будку, и мальчишки, абсолютно счастливые, крутили ручку кинопроектора, кажущегося нам ныне допотопным, до упадка сил…

> В морозные декабрьские дни гнали немцев от столицы. Помню большое количество убитых и раненых, разбросанную повсюду технику и страх. Война представлялась огромным молохом, который размалывает всех на песчинки…

Сибирские морозы не щадили, но закаляли. Потому что, несмотря ни на какие градусы, на то, что приходилось «выкапываться» из собственных домиков, несмотря на то что даже школы не работали, ребятишки все равно неслись на Иртыш, катались до полного онемения рук и ног, а потом – домой, на печь – отогреваться. И не болели!

> Осколок от снаряда в правом плече проносил сорок лет. Когда в госпитале врачи его вынули, показали мне, положили рядом, пока обрабатывали рану, осколок весь рассыпался, как будто бы превратился в пепел.

Учиться я любил, много планов строил после окончания школы, но не успел – началась война. Мне было шестнадцать лет, но, как и многие сверстники, приписал себе годы и отправился на

фронт. Попал в город Барабинск Новосибирской области, окончил полковую школу сержантов, и в ноябре наш 230-й отдельный лыжный батальон загрузили в эшелоны для отправки в Москву. В морозные декабрьские дни гнали немцев от столицы. Помню большое количество убитых и раненых, разбросанную повсюду технику и страх. Война представлялась огромным молохом, который размалывает всех на песчинки…



А. П. Щербаков на конференции

Но у меня уже было четыре человека в подчинении, психологическое состояние которых нужно было поддерживать на самом высоком уровне – боевом. И никак нельзя было показать перед ними слабость, я боролся с собой, и перелом наступил – уже не боялся ничего. Даже после того, как получил первое ранение. 12 марта 1942 года при освобождении деревни Верховое в Смоленской области был ранен первый раз. Тогда я был командиром минометного расчета, я оказался в зоне взрыва мины, осколок попал в правое плечо, чудом не задев голову. Затем меня перевели в Томское военное училище, по окончании которого пришел в 98-ю гвардейскую Краснознаменную воздушно-десантную дивизию. Я сразу убедился в высокой боевой готовности офицеров и солдат, по первому приказу готовых

встать на защиту страны. В этой дивизии я был второй раз ранен и контужен – подорвался на самоходке.

В 1945 году наша дивизия попала в Венгрию. При освобождении города Веспрем меня ранили третий раз, когда я попал в окружение. Войну закончил в госпитале в Будапеште. После выписки, уже после окончания войны, нашел свою дивизию в Чехословакии.

Осколок от снаряда в правом плече проносил сорок лет. Когда в госпитале врачи его вынули, показали мне, положили рядом, пока обрабатывали рану, осколок весь рассыпался, как будто бы превратился в пепел. Вот что делает время не только с человеком, но даже с железом!

Еще на фронте я решил: «если не убьют – буду артистом»
Суржиков Иван Николаевич (09.11.1928—8.03.2000)

В пять лет я остался без матери, а отцу, Николаю Тимофеевичу, трудно было прокормить пятерых детей. Ему много приходилось работать, но русская песня звучала в доме каждый вечер. Самой любимой его песней была «Коробейники».



Иван Суржиков

Известие о начале войны застало нашу семью в Донбассе, куда мы перебрались из курской деревни Романовки в 1934 году после смерти матери. Я учился в седьмом классе. Когда началась война, оставаться на оккупированной территории было небезопасно. Мы отправились в обратный путь пешком до Романовки…

В 1943 году, в 14 лет, я впервые примерил солдатскую гимнастерку, познакомился с уставом армейской службы, став воспитанником 105-го стрелкового полка 65-й армии, а снял ее лишь в 49 году.

Выполнял различные задания во время войны, но самыми любимыми и радостными были выступления перед солдатами в

минуты отдыха и в тяжелые дни перед боем. Во время сражений на Курской дуге «курского соловья», то есть меня, слушали генерал 65-й армии, дважды Герой Советского Союза П. И. Батов, командующий войсками 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовский, который в творчестве для меня был крестным отцом. Еще на фронте я решил: «Если не убьют – буду артистом».

Я решил: «Если не убьют – буду артистом».

Русская народная песня была надежным другом и оружием, я выступал перед бойцами в разных русских расшитых костюмах, нарядных рубашках, в мягких красных сапожках, как положено русскому молодцу. А теперь, когда выхожу в зал к ветеранам, – всегда надеваю строгий костюм с фронтовыми наградами. Самым дорогим считаю орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».

Ещё одна дорогая сердцу награда – реликвия «Благодарственное письмо Суржикову И. Н. от 21 июля 1945 года». Видные военачальники нашли время, чтобы высказать мне, юному бойцу, слова признательности:

«Вам, доблестному воину Красной армии, участнику боев с немецко-фашистскими захватчиками, сражавшемуся в рядах войск 2-го Белорусского фронта, неоднократно отмеченных благодарственными приказами Верховного командующего генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина, Военный совет фронта вручает это благодарственное письмо как память о Великой Отечественной войне. Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей дальнейшей трудовой жизни на благо нашей великой социалистической Родины.

Командующий войсками 2-го Бел. фронта маршал Советского Союза К. Рокоссовский. Член Военного совета 2-го Бел. фронта генерал-лейтенант Н. Субботин. Начальник штаба 2-го Бел. фронта генерал-полковник А. Боголюбов».

С мая 1943 года по май 1945 года я был ординарцем, певцом, артистом ансамбля 65-й армии. В моём хозяйственном ведомстве была собака и лошадь с настоящей тачанкой. Я кормил, чистил и запрягал лошадь, перевозил продукты питания, обмундирование и др., а так как был хорошим наездником, верхом на лошади доставлял в штаб 65-й армии, находившийся в Романовке, важные документы. Прошел Курской и Брянской областями, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Германию. Награжден орденом Красной Звезды, более 20 медалями, в том числе «За боевые заслуги».

Не детское это дело – война. Однако юный солдат с полной ответственностью и ясным пониманием шел в бой наравне со

взрослыми. В той жесточайшей войне на детский возраст скидок не было.

Иван Суржиков стал артистом, как и мечталось. С большим успехом гастролировал в Австралии, Алжире, Англии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Египте, Непале, ЧССР, Шри-Ланке, Югославии. Пластинки с записями песен в исполнении Ивана Суржикова выходили миллионными тиражами (в 1979 году пластинка «Поет Иван Суржиков» вышла тиражом 6 миллионов экземпляров.

Суржиков скончался в 2000 году.

Я спасла шестерых раненых солдат
Селезнёва Валентина Васильевна, 1927 г. р

Когда началась война, я жила во Льгове вместе со своими родителями. Мне было только 14 лет. Отца мобилизовали в армию, а мы с мамой ушли на фронт добровольцами.

За какую только работу не пришлось браться в суровые годы войны! И за ранеными вместе с мамой ухаживала, связисткой была, и ещё успевала на пишущей машинке приказы печатать, иногда сбивая пальцы до крови.

Раз вызвал меня генерал медицинской службы. Начал диктовать: «Москва. Кремль. Сталину…» До четырёх утра печатала.

Раз вызвал меня генерал медицинской службы. Начал диктовать: «Москва. Кремль. Сталину…» До четырёх утра печатала.

А ещё помню, как всю ночь стояла с винтовкой, охраняла склад с оружием. Утром вхожу в землянку, промокшая с головы до ног. Мама из моих ботинок воду выливала. И ничего, не болела. И даже ранена ни разу не была, хоть столько раз под бомбёжку попадала. Бог миловал.

В военные годы, будучи несовершеннолетней, волею судьбы я спасла на Кавказе шестерых раненых солдат, сумела провезти их сквозь огонь. Лошади хрипели с пеной у рта, и, казалось, уже ничто не заставит их сдвинуться с места. Людей, окружённых кольцом пожара, охватило отчаяние, и никто не ожидал такой решительности и отваги от бойкой девчонки. Каким-то чудом я заставила лошадей, вёзших раненых, повиноваться своему кнуту, и люди, и животные были спасены.



В. Селезнева, К. Рябова

У меня пятнадцать медалей и один орден.

А первую получила в 1942 году – значок отличника санитарной службы. Довелось мне повидать и самого Ворошилова, когда он приезжал на Керченский полуостров.

– Что это у тебя за награда? – заинтересовался Ворошилов, увидев у меня на груди значок отличника.

День Победы я встретила в Крыму на высоком кургане, усеянном снарядами, осколками бомб, разбитыми танками. Все

мы, воевавшие вместе, плакали от счастья, потому что наступил День Победы, и ещё от того, что нужно расставаться.

Защищал небо Москвы
Сараев Анатолий Фролович, 1926 г. р

Я родился 8 сентября 1926 года в многодетной крестьянской семье. С раннего детства начал трудиться. Родители воспитывали в нас трудолюбие, уважение к старшим. Трудился в хозяйстве родителей, пас скот, ухаживал за огородом, полол, собирал урожай фруктов в домашнем саду.

В семь лет пошёл учиться в сараевскую начальную школу. После её окончания продолжил учёбу в детевской неполной средней школе. Активно занимался общественной работой, был командиром пионерской дружины, играл в струнном оркестре.

Закончил семилетнюю школу в 1938 году. Педагогический совет принял решение направить меня для дальнейшей учёбы в никольскую среднюю школу. Учился увлечённо. Занимался в военно-спортивных кружках, сдал зачёты, получил удостоверения и значки – БГТО, БГСО, ПВХО, сдал зачёт по стендовой стрельбе, был награждён знаком «Ворошиловский стрелок». Занимался общественной работой, был членом редколлегии стенной газеты, играл в струнном школьном оркестре.



Анатолий Фролович Сараев

До войны я окончил восемь классов никольской средней школы Солнцевского района Курской области.

Началась Великая Отечественная война. Учёба прервалась. Старшеклассники ушли добровольцами на сооружение линии обороны. Руководили ими военные специалисты, они сооружали доты, дзоты, траншеи, противотанковые рвы, ходы сообщений, окопы.

В феврале 1943 года после освобождения из оккупации добровольцем ушёл на фронт. После трехмесячной подготовки в запасном полку, который располагался в Чувашской АССР, был направлен в войска противовоздушной обороны Москвы в части аэростатов заграждения. Период защиты неба Москвы был очень напряжённым.

> Учился увлечённо. Занимался в военно-спортивных кружках, получил удостоверения и значки – БГТО, БГСО, ПВХО, сдал зачёт по стендовой стрельбе, был награждён знаком «Ворошиловский стрелок».

После разгрома немцев под Москвой и по мере продвижения

Советской армии на запад, был переброшен для продолжения службы в 512-й зенитноартиллерийский полк, связистом полевой линейной службы на Калининский фронт. Участвовал в боях за Ржев, Зубков, Калинин, Вязьму,

Смоленск, в освобождении Калининской, Смоленской областей, северозападных областей Белоруссии, Латвии и Литвы. Свой боевой путь закончил штурмом Кенигсберга.

В семнадцать командовал взводом
Пылёв Николай Николаевич, 1929 г. р

Война застала меня в пионерском лагере под Брянском. Еще вчера запускал бумажного змея, а сегодня в небе увидел самолеты с крестами. Подростки в начале войны много работали и после работы обязательно учились.

> Я восхищённо смотрел на Славкину солдатскую шинель и гимнастёрку, на груди которой сверкала медаль «За боевые заслуги», – Слава к тому времени уже служил в артиллерийском полку. Это и решило мою дальнейшую судьбу.

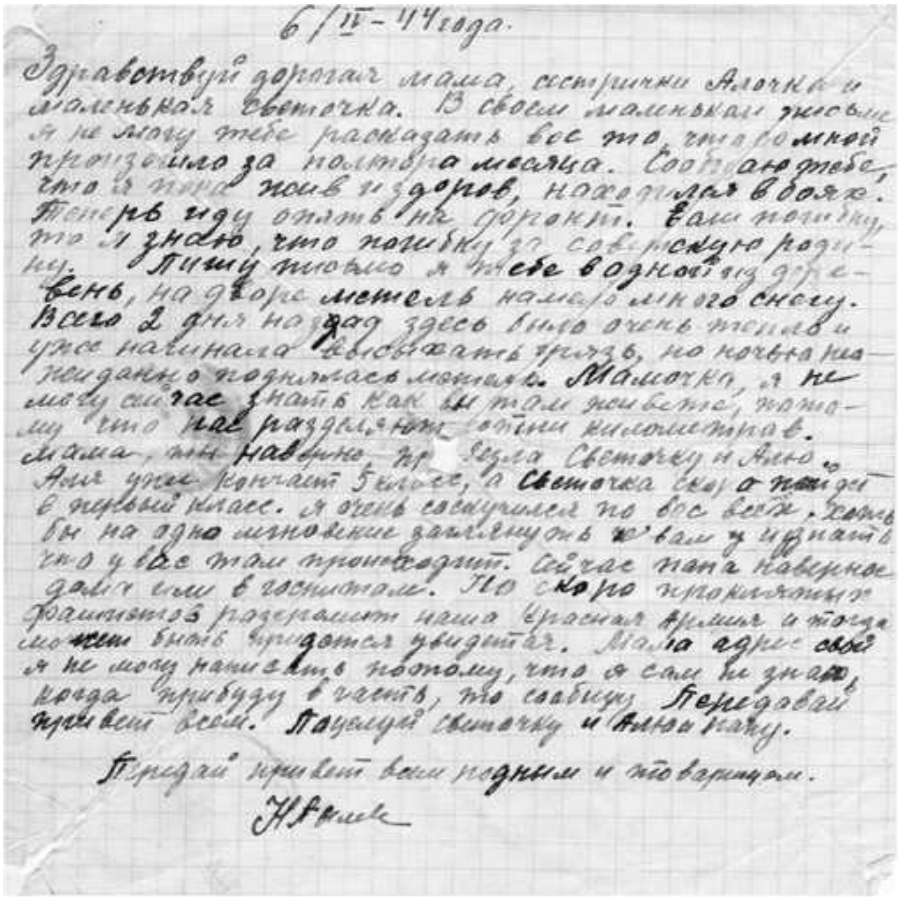
В самом начале Великой Отечественной войны двенадцатилетним парнишкой вместе со своими друзьями-однополчанами Славой Ивановым и Валей Крохиным рыл окопы, в которых прятались люди от вражеских бомб. По ночам патрулировали улицы посёлка и наблюдали за светомаскировкой, ухаживали за ранеными в военном госпитале.

Объектом особого внимания была школа, где мы несли караульную службу по её охране, изучали стрелковое оружие, занимались военно-спортивной подготовкой.

Когда посёлок заняли немецко-фашистские оккупанты, меня вместе с матерью и двумя малолетними сёстрами эвакуировали в Тамбовскую область. В марте 1943 года с родными вернулся в освобождённый посёлок Коренево. Здесь повстречал приехавшего в отпуск друга Славу Иванова, восхищённо смотрел на Славкину солдатскую шинель и гимнастёрку, на груди которой сверкала медаль «За боевые заслуги», – Слава к тому времени уже служил в артиллерийском полку. Это и решило мою дальнейшую судьбу. Тайком от матери вместе с другом уехал в его часть. Определили меня в расчёт батареи 45-миллиметровых орудий, той самой, что 400 суток воевала на Курской земле.

Приходилось чистить снаряды, ходить за почтой, таскать тяжёлые ящики с оружием. В то же время учился в школе младших командиров, откуда вышел старшим сержантом. В 17 лет уже командовал взводом.

Однажды на границе Польши и Чехословакии взрывом снаряда я был ранен в бедро и ногу. Ранение впоследствии сказалось частичной парализацией.



6/IV-44 года.

Здравствуй дорогая мама, сестрички Алочка и маленькая Светочка. В своих маленьких письмах я не могу тебе рассказать все то, что с моей произошло за полтора месяца. Сообщаю тебе, что я пока жив и здоров, нахожусь в боях. Теперь еду опять на фронт. Ваши письма, то я знаю, что посылку за сентябрь родину. Пишу только я тебе в одном из дре-вень, на дворе метель намело много снегу. Всего 2 дня назад здесь было очень тепло и уже начинала подсыхать грязь, но ночью на-неожиданно подморозило. Мамочка, я не могу сейчас знать как мы там заживем, потому что нас разделяют сотни километров. Мама, ты наверно пр... Зину Светочку и Алю. Аля уже кончает 5 класс, а Светочка ско... в первый класс. Я очень соскучился по вас всех. Хоть бы на одно мгновение заглянуть к вам и узнать что у вас там происходит. Сейчас папа наверное дома или в госпитале. По скоро прокляты фашистов разгромит наша Красная Армия и тогда может быть придется увидеться. Мама адрес свой я не могу написать потому, что я сам не знаю, когда прибуду в часть, то сообщу. Передавай привет всем. Поцелуй Светочку и Алю и маму.

Передай привет всем родным и товарищам.

Н. Пылев

Письмо Николая Пылёва

Пять месяцев находился я в госпитале. Затем служил в 56-м запасном полку, откуда вновь попал на фронт – в этапно-заградительную комендатуру, которая занималась проверкой поездов и следила за порядком на вокзалах.

Первую свою награду получил, когда не было 16 лет, – это медаль «За отвагу» за захват в плен немецкого связного с важными документами.

С августа 1943 года по февраль 1945 года воевал в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов, 121-й СД, в противотанковой батарее 45-миллиметровых пушек. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Чехословакии. После окончания курсов стал старшим сержантом, а после одного из боев стал командиром стрелкового взвода 687-го стрелкового полка, 141-й стрелковой дивизии. Был ранен в Польше 13 сентября 1944 года, пять месяцев врачи боролись за жизнь в госпитале, потом меня отправили в 56-й запасной полк, а после победы меня признали инвалидом. Мне было тогда восемнадцать.

После войны добровольцем работал на Сахалине и в Донбассе проходчиком на шахте. На Сахалине встретил Екатерину Волкову, которая стала моей женой. В 1950 году родился сын. А потом потребовались шахтёры-добровольцы на остров Шпицберген в Норвегию, я поехал туда, несмотря на запреты врачей. Выдержал весь договорный срок, проработав в невероятно суровых климатических условиях.

Внезапно случилось обострение болезни, которая с войны не давала о себе знать, – почти полная неподвижность, паралич. Именно тогда впервые взялся за перо. Оно оказалось тяжелее отбойного молотка. Не имея возможности из-за парализации писать правой рукой, свои произведения печатал на пишущей машинке левой.

Хирурги не выходили из операционной сутками
Сергей Пятовский (1935–2010)

Историк, художник, журналист, контрразведчик, подполковник в отставке, ветеран органов госбезопасности, член Союза журналистов с 1964 г.

С ноября 1943 года по 12 августа 1945-го моя жизнь была связана с фронтовым эвакуационным госпиталем № 1394. Ранее он был военно-полевым и формировался в Курске. Госпиталь продвигался вместе с фронтом. Здесь оперировали поступивших с передовой бойцов. Оказался я в госпитале потому, что вся моя семья находилась на фронте. Отец, заместитель начальника госпиталя, рассудил так: как бы военная судьба ни распорядилась, примем ее вдвоем. Так и прошагал я с отцом по фронтовым дорогам сначала на Волховском, потом Ленинградском, Третьем Прибалтийском, а затем на Втором Белорусском фронтах до Берлина. В госпитале я оказывал посильную помощь раненым, санитаркам, читал бойцам письма от родных, исполнял поручения при штабе, трудился на хоздворе.

Помню, госпиталь дислоцировался в Тихвине Ленинградской области. Бомбили нас немцы жестоко и днем и ночью. От взрывов фугасов вылетали окна и двери. Раненые при этом паниковали, кричали, пытались бежать, ползти – спасаться… Все это представляло страшную картину. Отец нередко при обходе палат во время бомбежек брал меня с собой. Присутствие мальчишки, видимо, дисциплинировало и успокаивающе действовало на раненых. Мне было очень страшно, но я чувствовал крепкую ладонь отца и даже пытался петь популярную тогда песню «Гибель „Варяга“».

Отец нередко при обходе палат во время бомбежек брал меня с собой. Присутствие мальчишки, видимо, дисциплинировало и успокаивающе действовало на раненых. Мне было очень страшно, но я чувствовал крепкую ладонь отца и даже пытался петь популярную тогда песню «Гибель „Варяга“».

У меня был приятель Генка – мой ровесник из местных жителей. Во время ночных бомбежек мы с ним не прятались в бомбоубежище, а убегали в огород, бросались в междурядье капусты и оттуда наблюдали, как лучи прожекторов ловят в

черном небе вражеские самолеты. И когда в скрещении лучей появлялся вражеский самолет, кричали: «Огонь!» Мы представляли, что руководим зенитной батареей. Однажды мы «попали»: гитлеровский стервятник вспыхнул и, оставляя огненный шлейф, повалился в ближайший лес. От восторга мы орали как сумасшедшие.

Помню страшную бомбежку тихвинской железнодорожной станции, по соседству с которой размещался госпиталь. Тогда на путях были взорваны скопившиеся железнодорожные составы с боеприпасами, ранеными и беженцами из блокадного Ленинграда.

Весной 1944 года госпиталь передислоцировался из Тихвина в Лугу Ленинградской области. Путь лежал через Ленинград, только что освободившийся от блокады. Запомнились закопченные стены, голые проемы окон, завалы и противотанковые надолбы на перекрестках, серые, изможденные голодом лица людей.

Бои тогда шли за освобождение Пскова. Поступал большой поток раненых. Чтобы их принять, госпиталю надо было подготовить помещение. В Луге это была бывшая школа, которую немцы приспособили под конюшню. Казалось невозможным очистить ее от грязи, навоза, мусора и превратить в стерильно чистое помещение, где разместились бы и хирургическое отделение, и перевязочная, и палаты для раненых. За трое суток это было сделано. Люди валились с ног от усталости.

Из-под Пскова поступали обгоревшие танкисты. Их было так много, что хирурги не выходили из операционной сутками.

> Однажды через окно увидел в пустом дворике странную фигуру. Это был высокий человек, ссутулившийся под накидкой из клетчатого одеяла. Незнакомец наклонился, чтобы открыть дверцу хозяйственной постройки, и я увидел показавшиеся из-под накидки сапоги… Примчавшись в военную комендатуру, я сообщил об увиденном. Комендантский взвод обнаружил в погребе группу спрятавшихся гитлеровцев.

Видел я разрушенную Варшаву, но запомнился мне пограничный немецкий город Бромберг. Чистенький, уютный и совершенно целый. Немцы оставили его без боя. Дома были брошены. Меня интересовали красочные иллюстрации в книгах и журналах, которые я находил в пустующих квартирах. Я с удовольствием их рассматривал и однажды за этим занятием через окно увидел в пустом дворике странную фигуру. Это был

высокий человек, ссутулившийся под накидкой из клетчатого одеяла. Незнакомец наклонился, чтобы открыть дверцу хозяйственной постройки, и я увидел показавшиеся из-под накидки сапоги… Примчавшись в военную комендатуру, я сообщил об увиденном. Комендантский взвод обнаружил в погребе группу спрятавшихся гитлеровцев.



Сергей Пятовский

Однажды ночью я проснулся от грохота залпов расположенной неподалеку зенитной батареи. Слышалась беспорядочная стрельба. Прямо под окном кто-то палил из пистолета. Выскочив на крыльцо, я увидел наших офицеров и солдат. Многие были полуодеты. Они стреляли в небо, кричали и обнимались. Так в госпиталь пришла весть о Победе.

> В обгоревшем Рейхстаге я поднялся в рыцарский зал и там, послюнявив химический карандаш, написал на стене: «Сережа из Курска. 10 лет».

Утром следующего дня состоялся митинг. Начальник госпиталя поздравил всех с долгожданным праздником. Выступил отец. Люди обнимались и целовали друг друга. У многих на глазах были слезы.

В мае с офицерами госпиталя я побывал в Берлине. Германская столица была сильно разрушена. На площадях и улицах – нагромождения из разбитой военной техники. На ступенях метро плещется вода. Бранденбургские ворота

«изранены» снарядами. В обгоревшем Рейхстаге я поднялся в рыцарский зал и там, послюнявив химический карандаш, написал на стене: «Сережа из Курска. 10 лет».

Лошадь ласточка спасла мне жизнь
Малыхин Василий Тимофеевич, 1927 г. р

Воспитанник полевого госпиталя № 3564.

После освобождения Воронежа 60-й армией от оккупации госпиталь готовился в путь – путь лежал в сторону Курска. В полевом госпитале была своя библиотека. В ней было немногим более двухсот книг: потрепанных, обгоревших, порой без обложек. Большая их часть была собрана работниками госпиталя в местах, где хозяйничали оккупанты. Библиотекой ведала Зина Болдырева. Это занятие девушке было не по душе. Она хотела быть медсестрой. Вот её-то я и заменил. Не все больные могли читать самостоятельно – мешали раны.

А потом произошла радостная встреча. Как-то майским днем ехал с завхозом госпиталя на грузовой машине. Они только что получили постельное белье и другие вещи и возвращались обратно. Я ехал в кузове на тюках. Ехали медленно, часто останавливались. Впереди вереницей шли машины. Беспрерывным потоком шли они навстречу. «Васька!» – вдруг раздалось с одной из поравнявшихся встречных машин с бойцами. Вглядевшись в махавшего рукой солдата, я узнал в нем родного брата Тихона.

«Жди меня в 177-м запасном», – успел прокричать брат. В этот же день я бросился искать полк, в котором служил брат. Нашел его быстро. Он стоял в городе. Быстро пролетели часы встречи, первой и последней. Когда я пришел на следующий день, то ни полка, ни брата уже не застал на месте. Их, оказывается, ночью срочно отправили на фронт. Лишь много лет спустя я узнал, что Тихон погиб в 1943 году на Курской дуге.

Следом за фронтом двигался и наш госпиталь. На одном месте долго не задерживался. И я снова укладывал свои книги в ящики. Их количество заметно возросло, я собирал их в освобожденных поселках и городах, в разграбленных и разрушенных библиотеках. Приводил их в порядок: подклеивал листы, ремонтировал обложки.

«Васька!» – вдруг раздалось с одной из поравнявшихся встречных машин с бойцами. Вглядевшись в махавшего рукой солдата, я узнал в нем родного брата Тихона.

Лично участвовать в боях мне не пришлось, но тягот

фронтовой жизни на долю выпало немало: грязь, бездорожье, зимняя стужа, осенние дожди – все это пришлось пережить. По нескольку раз в день приходилось прятаться от воздушных полетов стервятников.

Потом замполит поручил мне брать у связистов свежие сводки. Ежедневно, по два раза, появлялся в блиндаже у связистов. «По тебе можно часы сверять», – шутил дежурный, когда я за несколько минут до передачи Совинформбюро вбегал в землянку. Я усаживался у приемника, доставал бумаги, карандаш и, когда Левитан начинал говорить, старался все записать, боясь пропустить хоть одно слово. Уже в госпитале еще несколько раз переписывал текст на отдельные листочки и разносил раненым.

Ежедневно, по два раза, появлялся в блиндаже у связистов.

«По тебе можно часы сверять», – шутил дежурный, когда я за несколько минут до передачи Совинформбюро вбегал в землянку.

Так что и раненые, и весь медперсонал всегда знали свежие новости из Москвы. Трудность была только одна: приходилось до связистов 5–6 км идти пешком. Вскоре мне повезло. Это произошло в Тернопольской области. Накануне было освобождено небольшое село, в нем размещался госпиталь. Само село было разбросано в лощине, а госпиталь занял просторный дом на возвышенности. Здесь же, в сарае, я расположил и свою библиотеку из тысячи книг. К тому же у меня имелось несколько гитар, мандолин, две гармошки, один баян, настольные игры: шашки, шахматы, домино, которые я добыл в пути. Здесь же я оборудовал и свое рабочее место – стол, два стула и походную кровать. Время было весеннее, на дворе стоял теплый май. Однажды на рассвете сквозь сон услышал совсем рядом тихое ржание. Оно доносилось откуда-то снизу. Оказывается, ночью доставали лошадей из ямы. После многомесячного пребывания в темноте животные отвыкли от дневного света и сразу могли бы ослепнуть. Надо было постепенно приучить их к свету, этим я и занялся. Несколько дней не снимали повязок с лошадиных морд, пока те не привыкли видеть. Породистых рысаков крестьяне прятали от оккупантов, которые отбирали в селе всех имеющихся лошадей.

Сокола и Ласточку жители подарили госпиталю. Я выбрал Ласточку. Сержант обучил меня верховой езде. И мне теперь нестрашны были никакие расстояния. Ласточка признавала только меня одного.

Однажды Ласточка спасла мне жизнь. Это случилось у

польского города Сандомир. Здесь образовался плацдарм, где наши войска вели ожесточенные бои с гитлеровцами. Госпиталь расположился недалеко от линии фронта, в бывшем фашистском военном лагере.

Рано утром я, оседлав Ласточку, отправился в штаб тыла армии, где надо было получить свежую почту и сдать пакет со сведениями. Поручение было ответственное, путь предстоял долгий, и я на этот раз прихватил с собой автомат. Оружием владеть умел. Поездка прошла благополучно. Сдав пакет и получив почту, я не спеша ехал по лесной дороге обратно. Этот день был счастливым. Я получил письмо из Воронежа. Задумавшись, не заметил, как приблизился к лагерю. До него оставалось всего несколько метров. Вдруг раздался пронзительный свист, и впереди, в нескольких метрах, подорвался тяжелый вражеский снаряд. Фашисты открыли стрельбу из дальнобойных орудий. Ласточка круто отпрянула в сторону, а я, оглушенный, вылетел из седла и потерял сознание. Очнулся на больничной койке. Левая ступня была забинтована. Ласточка спасла.

Вдруг раздался пронзительный свист, и впереди, в нескольких метрах, подорвался тяжелый вражеский снаряд. Фашисты открыли стрельбу из дальнобойных орудий. Ласточка круто отпрянула в сторону, а я, оглушенный, вылетел из седла и потерял сознание. Очнулся на больничной койке. Левая ступня была забинтована.

Ласточка спасла.

Оказывается, когда меня выбросило и я упал, Ласточка тревожно и громко начала ржать. Её услышали сослуживцы и прибежали на помощь. Несколько дней пришлось проваляться на больничной койке. Ранение оказалось легким.

Осколок не дошел до кости. Вскоре мне пришлось распрощаться со своими однополчанами. Они решили отправить меня домой. Не помогли ни уговоры, ни просьбы.

Пройдя от Воронежа до Синдомира, домой вернулся в 1946 году. И снова сел за школьную парту, в шестой класс.

Записала Лариса Холтобина, заведующая военно-историческим музеем «Юные защитники Родины»

Я лежал, а немцы стояли с поднятыми руками
Бобовников Виктор Васильевич, 1929 г. р

Курская дуга, 1943 год. Я был включен в состав оперативной группы второго артиллерийского заградотряда 6-й гв. армии. Стояла задача – обезвредить и взять в плен немцев, находящихся на нейтральной полосе немецких и советских войск. У меня был автомат ППШ и браунинг.

Начался поиск, мне повезло: первому удалось заметить 24 лежавших немца у ручья в лесу, рядом с ними лежали гранаты, автоматы. Я бросился вперед, зацепился за куст и уже при падении дал очередь из ППШ примерно в 3–4 метрах от немцев. Я еще лежал, а немцы стояли с поднятыми руками. Они оказались эсэсовцами, через несколько минут их окружили мои боевые товарищи во главе со ст. лейтенантом Сазоновым.

Майор относился ко мне как к сыну
Овчинников Яков Петрович, 1931 г. р

Я родился в 1931 году 31 марта в городе Курске. Отец был военным, мать начальником почты. У меня были брат Толя и сестры Елена и Тамара. Я был младшим ребёнком в семье. В 1936 году родители развелись, и мы со старшим братом Толей остались с отцом, а сёстры с матерью. Вскоре мать, забрав сестёр, уехала в Ташкент.

В 1941 году я закончил третий класс школы № 2 (улица Бебеля). Это совпало с началом войны. Так начинается самая страшная страница в книге жизни.

> Я попросился на фронт у капитана Захарова, так как отец погиб, а брата Толю немцы отправили в Германию. В полку Захарова уже были двое мальчишек: Виталий и Володя – они были в разведгруппе. Так я остался в полку.

В этом же году немцы оккупировали Курск. Увиденное повергло меня, десятилетнего мальчишку, в шок – это и расстрелы, и бомбёжки, и многочисленные издевательства. Многих детей, пойманных немцами, отправляли насильно в Германию в рабство. Понимая угрозу попасть в руки фашистских захватчиков, я убежал за город в село Щуклинка, где до 1943 года скрывался, перебиваясь на бахчах.

В 1943 году город Курск был освобождён. Войска Центрального фронта находились близ Курска в селе Щуклинка, где я попросился на фронт у капитана Захарова, так как отец погиб, а брата Толю немцы отправили в Германию. В полку Захарова уже были двое мальчишек: Виталий и Володя – они были в разведгруппе. Так я остался в полку.

Через 10 дней вместе с полком подошёл к селу Прохоровка, где и состоялось великое Прохоровское сражение. Во время этой битвы разведгруппа, в составе которой были мои товарищи-мальчишки Виталий и Володя, попала в засаду. Они сражались как могли, но Володя был убит, а Виталий тяжело ранен – ему оторвало пятку на правой ноге.

> Захаров относился ко мне как к сыну, так как своих двух сыновей он потерял во время войны.

По окончании битвы наши войска направлялись на запад, где взяли Бахмач и другие малые города и селения. Затем в составе

Первого Украинского фронта (командующий Н. В. Ватутин) я принимал участие в форсировании Днепра, где в последующем с боями взяли город Киев и многие другие важные укреплённые районы, например район Белая Церковь. В последующих боях был взят город Коростень, в дальнейшем продвижении был освобождён Ковель. Бои продолжались до приближения к польской границе и, как итог, к Варшаве. Именно здесь, в Варшаве, в 1944 году я, являясь связным по батареям, выполнял задание командования и попал под обстрел миномёта. В тот момент я был верхом на лошади, когда миномёт засёк лошадь, я был отброшен в сторону, но осколками мне посекло левую руку и левую ногу. До сих пор шесть мелких осколков находятся в ноге. В дальнейшем я был подобран солдатами Красной армии. При разговоре с командиром батареи я попросил найти мой автомат, в затыльнике которого находилось донесение для командования. Затем меня отправляют в санбат, через некоторое время о ранении узнаёт майор Захаров. Он прибывает в санбат и просит санитаров сделать все для того, чтобы мне не удалили ногу. Захаров относился ко мне как к сыну, так как своих двух сыновей он потерял во время войны.

Спустя некоторое время я был направлен в госпиталь на лечение. В конце 1944 года, пройдя курс лечения, попросился домой в город Курск, так как из писем близких узнал о возвращении матери в Курск из Ташкента. Имел при себе документы сына полка и литер для пребывания в Курске на срок около десяти дней. По истечении этого срока майор Захаров просил вернуться. Приехав в Курск, встретился с матерью и рассказал ей о ранении и что я только после госпиталя. Узнав об этом, мать не отпустила меня назад на фронт и уничтожила все мои документы. Я остался в Курске, именно здесь спустя почти год узнал о победе и об окончании войны.

Я подбил вражеский самолет
Букин Николай Фролович, 1929 г. р

Я уже носил пионерский галстук и учился в 5 классе курской школы № 4, когда к родному городу подступили оккупанты. Курск переживал тревожные дни. Жители, заслышав гул фашистских самолетов, бежали в наспех вырытые укрытия. Воздух стонал, свистел и охал от разрывающихся бомб. Меня вызвали в райком комсомола и поручили подобрать из одноклассников команду по уничтожению зажигательных бомб.

> За борьбу с пожарами от «зажигалок» мы с Витей Дубровиным были награждены директором школы новыми портфелями и комплектами учебников для 6-го класса.

Наша команда – десять шестиклассников – сбрасывала с крыш зажигательные бомбы. С конца августа 1941 года немцы стали бомбить Курск, сбрасывая на город, в том числе, и тысячи зажигательных бомб. Вместе с другом Витей Дубровиным и другими мальчишкми наряду со взрослыми дежурили на крыше дома и, когда на него падали «зажигалки», специальными клещами хватали их и совали в ящики с песком, установленными на крыше. За борьбу с пожарами от «зажигалок» мы с Витей Дубровиным были награждены директором школы новыми портфелями и комплектами учебников для 6-го класса.



Фронт все ближе подходил к Курску. Потеряв при эвакуации мать, я с отступающими бойцами доехал до станции Ржава. Фронт остановился, заняв прочную оборону. Я стал сыном полка, солдатом знаменитой 65-й армии генерала П. И. Батова. В годы войны я был разведчиком. В одном из боев на прохоровском направлении, метко бросив в дзот две гранаты, повредил вражеский пулемет и тем самым обеспечил продвижение пехоты, в которой находились боевые танки. За время пребывания на фронте перенес восемь ранений. Однажды, после очередного ранения, меня везли в медсанбат. В это время в небе метнулась зловещая тень «мессершмитта». Заметив телегу, в которой я находился, летчик стал низко кружить над дорогой. Тогда я не выдержал и выпустил по нему очередь из автомата… Вражеский самолет качнулся и врезался в землю. Два месяца пролежал я в госпитале и снова вернулся в свою часть на фронт. Теперь на моей гимнастерке рядом с медалью «За отвагу» поблескивал и орден Красного Знамени.

Затем прошёл Польшу, Венгрию, дошел до Германии. 9 мая 1945 года встретил в Германии. В этот день у меня был двойной праздник. В День Победы мне исполнилось 16 лет.

Записала Лариса Холтобина, заведующая военно-историческим музеем «Юные защитники Родины»

Саперам смерть в глаза дышит
Псурцев Виталий Иосифович, 1928 г. р

Участник Курской битвы, сапер

В 1944 году постановлением Государственного комитета обороны в районах, освобожденных от фашистских оккупантов, формировались особые команды для разминирования и очистки от боеприпасов. Они состояли из местного населения (рабочих, служащих, колхозников и учащихся), преимущественно членов Осоавиахима обоего пола в возрасте не моложе 15 лет.

После считаных дней учебы, уже в первых числах апреля 1944 года, местом проверки наших знаний о разминировании стало село Плоское Орловской области. Так начались наши будни, открылся счет первым обезвреженным минам. Поначалу робко ходили со щупом, оглядывая каждую пядь земли, боясь совершить ошибку и поплатиться жизнью. Но там, где риск, поневоле в тонкости вникаешь быстро. Глаз скоро становится наметанным. Все подмечаешь. Но без пострадавших не обошлось. Через неделю появились первые раненые. Разминировали мы тогда балку, заросшую негустым орешником. На минном поле нас было двое. Я внизу лога, где трава была погуще и надо быть повнимательнее, Федор Митрохин – наверху. И вдруг – взрыв. И тут же крик Федора: ему оторвало кисть правой руки и опалило глаза.

На минном поле нас было двое. Я внизу лога, где трава была погуще и надо быть повнимательнее, Федор Митрохин – наверху. И вдруг – взрыв.

С подоспевшим минером Быстровым мы вынесли Федора с минного поля и стали помогать санитарке Шуре Силюковой. Затем его доставили в дмитриевскую райбольницу. Неделю спустя легкие ранения получили еще шестеро минеров, а седьмой, Василий Чертов, помощник командира команды, погиб. Сплоховал Василий у немецкого блиндажа из нескольких накатов бревен, вокруг которого вся земля была нашпигована множеством «шпринг-мин» STЛ, или, как их еще называли, «мин с усиками». Эти подпрыгивающие мины были начинены шрапнелью. Разваливались на сотни смертельных кусочков на уровне груди человека, стоило лишь неосторожно задеть усик. Эти мины ребята невзлюбили особенно, поскольку с ними было связано большинство неудач. Затем нашей команде пришлось передислоцироваться в родную Курскую область, в Хомутовский

район; и здесь тоже не обошлось без происшествий: были ранены многие наши товарищи. В саперном деле можно надеяться только на себя. На свою зоркость, внимание и на собственную везучесть. Мне сопутствовала удача.

Был такой случай. Мне было поручено проверить место взрыва, где погиб минер. Я нашел противотанковую мину, стал ее разминировать, а боек-ударник начал выползать из моих пальцев. Потом чека стала под углом, и боек задержался, предохранителя чеки не было. Когда я рассказал обо всем сержанту, он заметил: «Ты родился в рубашке или в это время за тебя молились. Еще мгновение – и от тебя осталось бы то же, что от того погибшего минера…»

Никто не имел права приказывать мальчишкам идти на минное поле, идти, проще говоря, на смерть. Но мы шли, выполняя задания, случалось – подрывались, получали ранения, гибли. Фронтовики знают, легко ли оно, саперное дело. И тем, кто не воевал, тоже приходилось видеть в кино, как проводят разминирование. Смерть в глаза дышит. У сапера сердце замирает и пот холодный на лице от напряжения, руки выверяют каждое движение. Каждая секунда при этом, как долгая нота, в ушах звенит. Говорят, что сапер ошибается только раз. Верно говорят. Такие моменты не забыть никогда.

Никто не имел права приказывать мальчишкам идти на минное поле, идти, проще говоря, на смерть. Но мы шли, выполняя задания, случалось – подрывались, получали ранения, гибли.

Позже, осенью 1944 года, когда меня призвали в армию, пришла благодарность за саперную деятельность, перед строем мне вручили премию 500 рублей. Мне посчастливилось видеть и 23 раза приветствовать маршала Г. Жукова, когда тот командовал Уральским военным округом. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

Я твердо решил: «погибну, но в плен не пойду»
Тадеуш Орловский (Польша), 1924 г.р

Поляк по национальности, родился в Житомирской обл.

В 1935 году, когда мне было 11 лет, приехал погостить к старшему брату в Курск, да так и остался здесь. Учился в школе, потом поступил в ФЗУ при обувной фабрике. После его окончания стал работать на этом предприятии. В 1941 году окончил курсы Осоавиахима, получил два значка: «Готов к противовоздушной и химической обороне» и «Готов к санитарной обороне».

Когда началась Великая Отечественная война, стал инструктором на курсах и обучал рабочих обувной фабрики программе ПВХО. В октябре фронт приближался к Курску, фабрику эвакуировали, я остался. Мне было 17 лет, когда я пошел добровольцем в отряд народного ополчения пулеметчиком.

Ополченцы охраняли мосты, железную дорогу и другие важные объекты. Когда фашисты вплотную подошли к городу, бойцы заняли огневые позиции в окрестностях Курска. Окопавшись, всю дождливую ноябрьскую ночь провели в ячейках.

> Утром медленно, очень медленно, начали приближаться к нам фашистские танки. Но у нас не было никакого противотанкового оружия, за исключением связок гранат и огромного количества бутылок с горючей жидкостью. Кое у кого были винтовки, берданки, охотничьи ружья.

Утром медленно, очень медленно, начали приближаться к нам фашистские танки. Но у нас не было никакого противотанкового оружия, за исключением

У связок гранат и огромного количества бутылок с горючей жидкостью. Кое у кого были винтовки, берданки, охотничьи ружья. Поэтому, задерживаясь на безопасном расстоянии от наших позиций, танки могли вести по нам пулеметный и орудийный огонь беспрепятственно. По приказу командира под пулеметным огнем мы отступили на новые оборонительные позиции.



Тадеуш Орловский, 1941 год

По полученным ополченцами сведениям, фашисты замыкали кольцо окружения города. Ополченцы оставили последний рубеж обороны и организованно, прихватив с собой боеприпасы, направлялись к штабу батальона. Местные жители одной из улиц предупредили ополченцев, что на улице Дзержинского прохода нет, поскольку там уже немцы. Ополченцы стали отступать вниз, параллельно улице Дзержинского, в направлении Барнышевской площади (теперь площадь Добролюбова). Но, когда они приблизились к находящейся на перекрестке улиц баррикаде, ранее возведенной здесь, оказалось что она уже захвачена немцами. Гитлеровцы приказали им сдаться. Однако никому из оставшихся в живых ополченцев это даже не приходило в голову. Тогда фашисты открыли ураганный автоматный и пулеметный огонь. Я твердо решил для себя: «Погибну, но в плен не пойду». Вдвоем с товарищем нам чудом удалось спастись, спрятавшись в одном из сараев.

Сколько потом пришлось пережить, пробираясь на родину, в Житомирскую область! Я был схвачен фашистами и брошен в камеру смертников, как заложник. Дважды меня угоняли в Германию, и дважды я совершал побеги из товарного поезда. Участвовал в партизанской борьбе в Западной Украине в составе 16-го кавалерийского эскадрона разведки при 1-м Воронежском партизанском соединении под командованием М. И. Шукаева. В марте 1944 года наша часть вышла к границам Польши. В составе своего соединения форсировал реку Буг. Затем были ожесточенные бои за Варшаву, в которых я был ранен осколком снаряда. Участник штурма Берлина.

За участие в Великой Отечественной войне был награжден

советскими наградами: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», многими польскими наградами. После войны я переехал в Польшу, стал кадровым польским офицером, дослужился до звания подполковника. Многие годы возглавлял комитет польско-советской дружбы в Кросненском воеводстве.

Боевое крещение в четырнадцать лет
Онищук Василий Михайлович, 1930 г. р

Герой Орловского подполья.

Ребенком я остался без родителей и попал в детский дом. Документов при мне не было, и возраст определили на глаз – шесть лет. В отроческие годы сменил несколько детских домов. А перед самой войной воспитывался в интернате военного типа в Краснодарском крае.

На фронт мы рвались с первых дней войны. Еще бы, ведь к тому времени мы освоили многие военные специальности. Знали подрывное, связное, снайперское дело. У нас даже «звания» были введены в детдоме.

В один из дней 1942 года я с другими ребятами побежал к железнодорожной станции. В это время там как раз остановился военный эшелон. Мы уговорили одного из офицеров взять нас на поезд. «Сколько же тебе лет?» – спросил офицер. «Семнадцать», – соврал я, прибавив себе несколько лет. Так и стал молодым солдатом.

Сколько раз ходил за линию фронта и брал «языков»! Специального учета тогда не вел. В составе разведгруппы и самостоятельно приходилось добывать сведения о перемещении и расположении немецких частей. Приводили в штаб и высоких чинов вермахта, обладающих ценной информацией. Таких оберегали, словно детей малых. Буквально закрывали их своими телами, когда тащили через нейтральную полосу под ураганным огнем немцев. Нередко командир перед переходом разведчиками нейтральной полосы говорил: «Первым пойдет Василек», – так как я обладал хорошей реакцией и легко проскальзывал под проволочным заграждением, иногда при этом выполнял и обязанности сапера.

На фронт мы рвались с первых дней войны. Еще бы, ведь к тому времени мы освоили многие военные специальности. Знали подрывное, связное, снайперское дело. У нас даже «звания» были введены в детдоме.

Боевое крещение принял в четырнадцать лет. На станции Дебельцево немецкие самолеты в щепки разнесли эшелон только что сформированной части. Горящие вагоны, бегущие и кричащие люди, стоны раненых, окровавленные тела убитых.

Оставшихся вывели на окраину поселка и приказали

окапываться. Вскоре на склоне холма показались идущие под прикрытием танков немецкие автоматчики. Я впервые стрелял не по мишеням, а по живым людям. Скажу честно: это, брат, не так просто…

– Василек! – прокричал мне на ухо командир отделения. Что-то пэтээровцы замолчали. Давай туда, узнай, в чем дело.

Окопа, из которого вел огонь расчет ПТР, практически не было. Из земли торчал исковерканный ствол противотанкового ружья, валялась расплющенная каска.

– Уходи, сынок! Балкой уходи, – прохрипел раненый боец, из ушей которого текла кровь.

Группами и поодиночке красноармейцы отходили в направлении Ростова. За город на Дону шли ожесточенные бои. Он несколько раз переходил из рук в руки. 23 июня в Ростов снова вошли немцы.

Нас оттеснили к реке. На тот берег переправлялись кто как мог. В качестве простейшего плавсредства использовали пустые бочки. На одной из них поплыл и я. Налетели «Юнкерсы». Пробитая в нескольких местах бочка быстро наполнилась водой. Каждый раз при появлении на поверхности реки водяных фонтанчиков от пулеметной очереди приходилось нырять. Хорошо было видно, как пуля, гася скорость, оставляет за собой шлейф пузырьков. Что произошло со мной потом, не помню. Очнулся на песке без гимнастерки, ботинок. Выплюнул набившийся в рот ил, зачерпнул ладонями из реки воду, чтобы обмыться, глядь – а она красная от крови.

> Взрывом снаряда меня засыпало. Почти пятнадцать часов был заживо погребен. С трудом высвободился из земляного плена. К полудню вышел на железную дорогу, а по ней, к своим.

Однажды случилось так, что во время боя в районе станицы Кущевская мне пришлось заменить погибшего пулеметчика. Немцы шли уже в полный рост. А тут «дегтярев» ожил, пулеметные очереди отбросили противника назад. Расстреляв один боекомплект, я стал снаряжать второй магазин.

Вдруг вижу: впереди из кустарника медленно высовывается ствол пушки.

«Будут бить прямой наводкой», – промелькнуло в голове. Успел скатиться вниз, за тело убитого красноармейца, и сразу же наступила темнота…

В себя пришел на рассвете следующего дня. Было очень холодно. Не мог шевелить ни руками, ни ногами. Во рту, в ушах, под одеждой – земля. Взрывом снаряда меня засыпало. Почти

пятнадцать часов был заживо погребен. С трудом высвободился из земляного плена. К полудню вышел на железную дорогу, а по ней к своим.

Стать бойцом полковой разведки, а затем и военной контрразведки Смерш помог случай.

Август 1942 года. Более сотни вышедших из боя солдат вечером подошли к какому-то населенному пункту, крыши домов которого просматривались через кукурузное поле. Послали трех человек узнать, что за селение и есть ли в нем немцы. В эту группу разведчиков включили и меня. Руководитель группы приказал мне залечь у дороги и вести наблюдение. Остальные вернулись довольно быстро: «Немцев в селе нет». То же самое доложили и командиру – молоденькому младшему лейтенанту, единственному офицеру нашего разношерстного отряда. Неожиданно для всех тот спросил и мое мнение. «Оно, может быть, и так, – говорю я. – Но, с другой стороны, почему не встретили людей? Время-то еще не очень позднее. И почему не лаяли собаки, когда чужие вошли в село? Даже в сожженных дотла населенных пунктах их можно увидеть…» Надо мной посмеялись: малолетка, мол, и не такое наговорит. И двинули прямо через кукурузное поле. Когда до ближайшего сарая оставалось метров сорок, из его стены неожиданно вывалилось бревно, и нас встретил шквал автоматно-пулеметного огня. Многие тогда остались лежать на кукурузном поле. Среди них – один из разведчиков. Второго по решению военного трибунала расстреляли. Со временем меня откомандировали в распоряжение отдела военной контрразведки дивизии.



Вася Онищук справа, госпиталь, Ростов-на-Дону, 1943 год

Дорогами войны прошел до самой Праги. Был ранен в ногу, несколько раз контужен. Попадал в такие переделки, из которых выбраться было невозможно. Смерть меня побаивалась. Всегда кружила поблизости, но не трогала. Не ценен я был для нее. Обо мне и всплакнуть было некому. Сирота. А вот был бы дом, где меня ждали, туда бы точно пришла похоронка.

Записала Зоя Худякова, сотрудник военно-исторического музея «Юные защитники Родины»

Девушка, подбившая танк
Луценко (Букреева) Нина Сергеевна, 1927 г. р

Война – это всегда страшно… Когда слышишь это слово, сразу представляется поле, гул, дым, взрывы, стоны, окопы с солдатами – молодыми ребятами, пламя, сквозь которое видны надвигающиеся громадой танки… Сколько мужества, откуда брались силы?

Мои предки прославили древнюю фамилию Букреевых еще на кровавых фронтах 1-й Мировой войны.

Человек рождается – с ним судьба. Разве думала я, деревенская девчонка из многодетной семьи, ежедневно маршируя по пять километров до школы и обратно, что стану плечом к плечу с опытными офицерами и бывалыми бойцами к противотанковому 45-миллиметровому орудию, буду наводчицей пушки, а за отвагу получу ордена и медали?!

После освобождения села от фашистов пришла к комиссару дивизиона майору Б. Г. Рудницкому, протянула комсомольский билет и попросила зачислить меня в бойцы, сказала, что мое место на фронте. Мне тогда едва исполнилось 16 лет. Непросто, но стала санинструктором. Никогда еще не было в дивизионе девчонок. Но санинструктор батареи был нужен. Взяли. В боях при освобождении Курска пригодились знания, которые получила, окончив до войны первый курс фармацевтической школы во Льгове Курской области.

> Таскала ящики со снарядами, а каждый весил по тридцать килограммов.

С 6 февраля 1943 года у меня – бойца-добровольца Красной армии – началась взрослая жизнь, ежеминутно испытывающая на прочность, тогда я узнала, что такое настоящее фронтовое братство. Я получила первые военные уроки – лечилась от «танкобоязни» во время учений по «танковой обкатке».

С войной шутки плохи; чтобы стать настоящим бойцом, нужно усердно учиться военному делу.

С самого начала меня тянуло к пушкам, украдкой изучала я материальную часть, хорошо освоила устройство автомата и пулемета. Комсомольцы дивизиона избрали меня своим комсоргом. В короткий срок стала опытным артиллеристом 209-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 121-

й стрелковой дивизии. Кроме меня, много курян-подростков, были сыновьями полков 121-й стрелковой дивизии: Валя Пономарёва, Вова Карачевцев, Коля Алфёров, Гриша Сидоренко, Хмелевой, Юрий Аникеев, Слава Иванов, Коля Пылёв и другие.

Воевала наравне с мужчинами, была наводчиком орудия. Никакого послабления, таскала ящики со снарядами, а каждый весил по тридцать килограммов, вместе с другими тянула лямку, чтобы выдвинуть пушку на новую позицию.

Было это страшно. Танки фашистские шли тяжело и «устало». Я, получив приказ, открыла огонь. Вот один вздрогнул, попятился назад и застыл на месте. Бросило в жар, не верила, что попала, да и некогда было думать. Кто-то крикнул: «Наводчик Букреева танк подбила, молодчина!» Бой продолжался. Сержант Яшин ползком со связкой гранат пополз вперед. Бросил связку. Танк закружился волчком, артиллеристы поддержали огнем. Бой закончился. Почувствовала страшную усталость. От шума, воя и грохота голова разрывалась, ломило все тело. Ранило командира батареи осколком в грудь. Именно он поверил в меня и доверил орудие.

Танки фашистские шли тяжело и «устало». Я, получив приказ, открыла огонь. Вот один вздрогнул, попятился назад и застыл на месте. Бросило в жар, не верила, что попала, да и некогда было думать. Кто-то крикнул: «Наводчик Букреева танк подбила, молодчина!»

Комиссар Б. Г. Рудницкий отправил письмо моей маме: «… Нина посылала снаряды в немецкие танки. Она первая девушка, подбившая танк. Благодарю Вас за Вашу дочь – патриотку нашей Родины…»

Москвичи в бескозырках на деле доказали, чего они стоят
Миляев Владимир Михайлович, 1927 г. р

Часто вспоминаю детство – самое счастливое время для многих моих ровесников. Московский двор, дружных соседей по коммуналке, свою школу на Кожуховской.

…А потом началась война. И мы трудились на военных заводах, ездили на лесозаготовки, рыли окопы и мечтали во что бы то ни стало попасть на фронт. В мае 1943 года на Ярославском шоссе создается Московская объединенная школа военно-морского флота, и туда набирают добровольцев, 16-летних мальчишек, еще не подлежащих призыву в армию. Пятьсот человек, разных по характеру, объединяет общее желание – поскорее попасть на флот, на войну. В коллективе из двух рот не существовало понятий «не могу», «не буду». Караулы, наряды, учебные вахты и напряженная учеба без скидок на возраст – все это и сегодня помню. Помню и своих товарищей: радистов, штурманских электриков, минеров, сигнальщиков. В их числе – Николай Ермаков, Михаил Шапошников, Вячеслав Федоров, Владимир

Корнеев, Леонид Евстигнеев, Николай Борисов, Саша Бардин и ставший после войны известным актером Георгий Юматов…

> Мы трудились на военных заводах, ездили на лесозаготовки, рыли окопы и мечтали во что бы то ни стало попасть на фронт.

Жорка стал сигнальщиком потому, что курс обучения там был короче, а он рвался на фронт. И в конце 1943 года он уже воевал в Керченской бригаде бронекатеров. Поначалу моряки называли выпускников МОШ ВМФ салагами, но москвичи в бескозырках на деле доказали, чего они стоят.

Уже после войны (после окончания МОШ ВМФ я воевал на Балтике) встретился со своим однокашником Георгием Юматовым. Мы часто вспоминали месяцы учебы в школе, свои боевые выходы в море, погибших друзей и то, как мечтали о долгожданной Победе.

Георгий рассказывал: «Я пошел в сигнальщики не случайно, мне казалось, что их работа на корабле – одна из самых важных. Сигнальщик – глаза и уши командира, и, даже когда от пуль и снарядов не было спасения, стоя на мостике, ты должен видеть

все на море и на суше…» Юматов мог подробно разбирать, анализировать боевые операции, в которых участвовал, он помнил детали каждой из них до мельчайших подробностей… Но не любил рассказывать о том, как был неоднократно ранен, контужен, но ни разу не сошел на берег, не отправился в госпиталь, а лечился прямо на корабле… Кстати, именно из-за того, что в его военном билете не было отметок о ранениях, Георгий Юматов, награжденный многими орденами и медалями, а среди них и самая престижная морская награда – медаль Ушакова, после ухода на заслуженный отдых получал мизерную пенсию, которой иногда не хватало даже на лекарства…

Георгий Юматов мечтал стать артистом и пришел на киностудию «Мосфильм» в 1945-м, сразу получив небольшую роль в фильме «Александр Матросов». А потом были большие и малые роли более чем в 150 картинах, среди которых «Они были первыми», «Баллада о солдате», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «ТАСС уполномочен заявить…», «Москва слезам не верит», и, конечно, звездная роль Алексея Трофимова в любимом многими фильме «Офицеры» (1971 год). Почти полвека артист служил в Театре-студии киноактера.

Но, несмотря на все награды и звания, Георгий Юматов был скромным человеком. Многие годы, когда не было ролей, он практически бедствовал, но за себя хлопотать не мог.

> Жорка стал сигнальщиком потому, что курс обучения там был короче, а он рвался на фронт.

И тогда я, его боевой товарищ, исходил немало чиновничьих кабинетов, чтобы добиться для Юматова пересмотра пенсии. И нам это удалось.

Народный артист России Георгий Юматов, всеми забытый, ушел из жизни в 1997 году. Больше всего на свете он любил жизнь и собак.

Я, старшина второй статьи, флагманский радист. Тоже был награжден медалью Ушакова, уже в мирное время окончил два вуза, нашел себя в профессии педагога. Сейчас в архивах разыскиваю сведения о своих боевых товарищах-моряках, выпускниках Московской объединенной школы военно-морского флота.

На переднем крае
Гладкова (Пономарева) Валентина Андреевна, 1928 г. р

Я родилась в 1928 году в селе Платава Курской области. В годы Великой Отечественной войны – санинструктор 887-го с. п. 705-го полка 121-й СД 60-й армии 1-го Украинского фронта.



Участница Курской битвы, освобождения Киева, Польши, Румынии, Чехословакии.

В двенадцать лет ушла добровольцем на фронт и в семнадцать лет вернулась с двумя орденами и двумя медалями за мужество и отвагу в борьбе с фашистами.

В 1942 году, когда мне было тринадцать лет, стала связной партизанского отряда. В четырнадцать лет получила свою первую награду – орден Красной Звезды. Не понимая ценности ордена, заплакала, хотела при вручении поменять на медаль, так как считала всегда, что медаль важнее ордена…

После одного из боев с тяжелыми ранениями была отправлена в госпиталь. После выздоровления твердо решила стать медицинской сестрой. И вот я снова на фронте.

В 1943 году меня назначили санинструктором 705-го полка 121-й СД 60-й армии 1-го Украинского фронта.

В наступательных боях 1944 года все время находилась на переднем крае, оказывая первую медицинскую помощь офицерам

и бойцам. Вынесла с поля боя 164 раненых солдата.

(Документы о подвигах Валентины Пономаревой хранятся в курском музее «Юные защитники Родины» и в медицинском музее в Санкт-Петербурге.)

В двенадцать лет я сбежал на фронт
Кузубов Леонид Трифонович, 1929 г. р

Я, уроженец города Шебекино Курской (сейчас Белгородская) области, в 12 лет в 1941 году сбежал на фронт. Самостоятельно добрался до города Жлобина в Белоруссии, где принял первый бой: поднял винтовку у убитого красноармейца и стал стрелять в сторону немцев. Прошел страшными дорогами отступления до Сталинграда, где был ранен и отморозил ноги 2 февраля 1943 года. Был свидетелем пленения немецкого фельдмаршала Паулюса в Сталинграде и завершения Сталинградской битвы. Летом 1943 года наша часть была переброшена на Курскую дугу, под Прохоровку. Так как я хорошо знал местность, меня часто посылали в разведку. Под видом нищего я ходил к немцам в тыл и собирал сведения о них.

В 1943 году под Обоянью повстречался на фронтовых дорогах с прославленным маршалом Г. К. Жуковым.



Кузубов Ленька

Прославленный полководец угостил меня чаем с печеньем и подарил на память свою фотографию, которая хранится, как самая дорогая реликвия, в моём личном архиве.

В 1943 году под селом Соколово Харьковской области встречался и с командиром Чехословацкого корпуса, воевавшего на стороне Красной армии, Людвиком Свободой.

Спустя много лет генерал Свобода, будучи уже президентом Чехословакии, прислал мне свою фотографию с дарственной надписью.

Участник освобождения многих стран Европы от фашистских захватчиков: Польши, Румынии, Австрии, Венгрии, Чехословакии, дошел до Германии, участник штурма Берлина, расписался на стене Рейхстага. Так как я был маленького роста, бойцы подняли меня на руках, чтобы смог сделать надпись, и моя надпись оказалась выше всех.

Был награжден орденом Славы, многими медалями. Демобилизовался в 1945 году, когда мне шёл шестнадцатый год.

После войны стал поэтом. Член союза писателей России, лауреат многих литературных конкурсов. Почетный гражданин Белоруссии.

Сынам полков
Орудий гремели раскаты,
Забыв про учебники-книжки,
Шагали в полках солдаты:
Вальки, Иваны и Мишки.

По десять-двенадцать было
Весен всего от роду…
Но шли сквозь свинцовые были
И защищали Свободу!

Жили в солдатских землянках,
В стужу – шинели носили,
Грелись порой у времянки
Гвардейцы – мальчишки России!

А время – гремело набатом!
А пули – и взрослых косили!
Шагали с солдатами рядом
Мальчишки Великой России!

Гвардейцев полки отдыхают,
А память те годы листает…
Мальчишки в «Зарницу» играют,
Юность отцов вспоминая.

Пусть будет только «Зарница»
Просто игрой, а не силой…
Пусть золотою страницей
Май полыхает России.

Сыны полков

Прибавляли года рождения,
Лишь бы только на фронт попасть,
Боевые прошли крещения,
Защищая Советскую власть!

Часто жизнью своей рисковали
В те свинцовые, трудные дни!
И, случалось, их в тыл отправляли,
Снова в часть возвращались они.

И со взрослыми беды делили,
И в атаку ходили не раз,
И в разведку в лохмотьях ходили,
Выполняя свой сердца приказ!..

И носили полосочки желтых
И полосочки красных лент
На груди – от ранений тяжелых —
В десять лет и в двенадцать лет!

И со взрослыми их награждали,
И горели у них на груди
Ордена, боевые медали
За свершенные подвиги их!

Л. Кузубов

* * *

Юные погибшие герои,
Юными остались вы для нас.
Перед вами вдруг ожившим строем
Мы стояли, не поднимая глаз,
Боль и гнев тому сейчас причина.
Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины,
Девочки, достойные поэм.

Л. Кузубов

До сих пор могу принять на слух радиограмму
Краснов Виктор Михайлович, 1926 г. р

Виктор Краснов:

С 1942 по 1943 год я обучался в первом наборе в Соловецкой школе юнг. Там нас ждала новая жизнь. Поднимались в шесть утра, без тельняшек, обливались холодной водой, зимой обтирались снегом по пояс. Никто не болел. Обстановка была прифронтовой. Дежурство на камбузе, в караульной комнате. В случае невыполнения приказа моментально можно было получить наряд вне очереди. Все понимали, что идет война и что такие строгости необходимы.

Нас приучали к дисциплине, порядку, к полной самостоятельности. Нянек у нас не было. Дали по два комплекта роб – сами стирали белье, производили уборку.

Учились мы в монастырском корпусе, в монашеских кельях, а спали на деревянных нарах в три яруса. В углу – печка. Зимой температура воздуха не поднималась выше 12 градусов тепла. А морозы жарили, север же.

Из нас готовили настоящих моряков. Учились вязать узлы, ходить на шлюпках на веслах, под парусами, против ветра. Учили хорошо плавать, водолазному делу. Помню, посадят нас, мальчишек, 12 человек в баркас – это такая большая шестивесельная или двенадцативесельная лодка – и отпускают в море, даже если был небольшой шторм. Правда, вместе с преподавателем. И вот представьте: весло длиной 3,5 метра весит 22 килограмма, а подростки сами весили лишь в два раза больше. И вот попробуй им греби. И это были для нас уроки мужества. Занимались без выходных. Главная заповедь – была «не бросай товарища в беде»..

Весло длиной 3,5 метра весит 22 килограмма, а подростки сами весили лишь в два раза больше. И вот попробуй им греби.

Однако то, что учили в школе юнг, «въелось в кровь», до сих пор помню азбуку Морзе и могу на слух принять радиограмму.

Кроме плановых занятий, приходилось заниматься и вспомогательными работами: заготовкой дров, уборкой территории. Иногда мы или заступали в караул, или всей землянкой заступали на камбуз – чистили картошку, треску,

готовили. Или шли дежурить в хлебопекарню, на склады. Хлеб сами пекли, нами матрос управлял. Заступаем мы на дежурство, а в бочках треска (я до сих пор ненавижу ее). Треска здоровая! Они, как сельди, были набиты в эту бочку. Становимся мы на эту бочку и вдвоем вытаскиваем. И вот на первое – суп из трески, на второе – сечка с треской, а на третье – компот из хвои, чтобы цинги не было. Отвратительный был вкус у этого компота, делали мы его сами. Мичман стоял у входа в столовую. Пока не выпьешь кружку этой хвои, в столовую не пускали. Питались еще сечкой, овсянкой. Кормили вначале неважно. Мы даже роптали. Позже командование приказало выдавать продукты из неприкосновенного запаса.



Виктор Краснов, 1990 год

И нам стали привозить рис, макароны, и питание наладилось.

Помню: в октябре 1943 года меня распределили судовым электриком на корабль – канонерскую лодку «Москва», хорошо оснащенную боевой техникой, я впервые участвовал в боевой операции.

Вражеские самолеты, примерно двенадцать штук, летали над головой, бомбили корабль. Осколком ранило наводчика пушки. Мы его оттащили, командир приказал: «Виктор, к бою», – я сел на место наводчика 37-миллиметровой зенитной пушки. В боевой операции участвовали и другие корабли дивизиона, бронекатера.

Во время этого боя был подбит один фашистский самолет, потом другой загорелся и третий… Было сбито шесть самолетов. Друг друга поздравляли. Так я прошел первое боевое крещение.

> Во время шторма сорвало антенну с мачты, и мне приказали ее закрепить. Я взял в зубы провод и полез по вантам (это такая веревочная лестница) наверх. Палуба шатается, над головой проносятся «юнкерсы».
>
> А лезть высоко – метров 25–30.

Очень интересно описал жизнь юнг на Соловках, на боевых кораблях, героизм и мужество безусых моряков Валентин Пикуль, сам прошедший школу юнг, морскую службу подростком. Влечет море, почитай В. Пикуля, который прекрасно описал историю Северного флота и флотские традиции.

Михаил Попов:

А я припоминаю момент, когда во время шторма сорвало антенну с мачты, и мне приказали ее закрепить. Я взял в зубы провод и полез по вантам (это такая веревочная лестница) наверх. Палуба шатается, над головой проносятся «юнкерсы». А лезть высоко – метров 25–30. В конце концов установил антенну. Но, что удивительно, страха не было. Вообще, мы, юнцы, переносили условия военного времени легче, чем люди зрелые, бывалые.

Юрий Лебедев:

Но когда сейчас выступаешь в школах или в музее «Юные защитники Родины», где у нас есть своя секция бывших юнг, и рассказываешь о войне, то нам самим не верится, как можно было мальчишкам выдержать все испытания того времени.

Виктор Краснов:

Нас иногда спрашивают: а была тогда «дедовщина?» Я служил на флоте с 1942 по 1950 год, включая время учебы в школе юнг. И когда сейчас говорят о «дедовщине» в армии, то для меня это звучит дико. У нас таких случаев на корабле не было. Наоборот, помогали друг другу.

А еще я встречался в Курске и в Москве с писателем Гузановым, в прошлом капитаном третьего ранга, автором книги «Юнги Северного флота», который был юнгой моего набора. Он мне подарил свою книгу с дарственной надписью: «Привет, юнгаш!» (так мы, юнги, всегда обращались друг к другу), написал теплые слова.

Виктор Михайлович Краснов 1926 года рождения, старший

матрос, 4–1 ВМФ, Балтийский флот, штурмовал Кенигсберг, с октября 1943 по 1947 год командир группы электриков на канонерской лодке «Москва», в 1947–1949 годах служил в дивизионе морских охотников.

Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».

Михаил Павлович Попов был радистом-матросом на линкоре «Архангельск», являлся старшиной первой статьи. Награжден медалями «За оборону Заполярья», «За победу над Германией в годы ВОВ 1941–1945 гг.». Стал профессором Курского технического университета.

Юрий Викторович Лебедев – юнга третьего набора Соловецкой школы юнг, позже стал заместителем командира батальона связи по технической связи.

От связного остались только пилотка и ботинок
Митин Виктор Яковлевич, 1929 г. р

Участник освобождения Орла, Польши, Германии, дошёл до Берлина.

Я родился в 1929 году в Туле. На фронт ушел в 14 лет. Был связным в роте, батальоне, полку. Стал сыном полка.

Первый день войны был пасмурным, напряжения не было, но сама природа сочувствовала людям – дождя не было, но пасмурно и как-то тяжело.

В одиннадцать часов выступил Молотов, у всех были репродукторы. Помню речь Сталина 3 июля, в его голосе чувствовалось, что он до глубины души переживает эту трагедию, обращался к людям «братья и сёстры». Я попал в армию, когда мне не было 14-ти лет, убежал, пристроился в маршевую роту, которая из госпиталя возвращалась в часть. Попал обманным путём, сказал, что родители потеряны. Записали в разведвзвод.

Я в армию попал обманным путём, сказал, что родители потеряны. Записали в разведвзвод.

Воевали в составе Западного фронта севернее Брянска и Орла. К Орловской битве уже во всём ощущался перелом, нам сопутствовал успех, немцы поспешно отступали. Нас повернули в сторону Смоленска, после его освобождения наша дивизия стала называться 321-й Смоленской стрелковой дивизией.

Затем было освобождение Белоруссии, Люблина, Майдана, затем полгода стояли в обороне до Висло-Одерской наступательной операции. Участвовали в ликвидации крепости в Познани. Когда перешли границу Польши, на стенах висели плакаты «Солдат Красной армии, спаси».

Больше месяца сражались за эту крепость. Заняли позиции на западной стороне Одера, в 60 км от Берлина. Каждый день люди гибли, особенно в период наступления. Стрелковая часть, передовая…



Витя Митин, 1944 год

Очень тяжелые бои были за Берлин. Наша дивизия начала наступление 16 апреля, занимала позицию, которая упиралась в Одер. Там неудобный рельеф – ждать помощи от танков не приходилось. А оборона немцев была хорошо организована. На третий-четвёртый день наши танки подошли с тыльной части.

16 апреля потери были большие, 18-го нас сняли на пополнение, 21-го мы опять заняли окопы, 23-го повторили наступление, к 26 подошли к Берлину.

Мы были на окраине Берлина. У немцев были брошены последние силы – те, кто знал, что пощады им не будет. Бомбили самолеты. Обочины были усеяны трупами с обеих сторон. Мне бросилась в глаза среди них красивая, как мадонна, женщина с младенцем.

Они были тоже мертвы, младенец не успел дососать грудь. Отпечаталось на всю жизнь.



Витя Митин с товарищем, 1944 год

Помню, шел впереди солдат, связной, тянул барабан с проволокой, и вдруг разорвался снаряд. Только пилотка и ботинок перед нами упали…

Ещё не могу забыть, как шли санитарка и раненый солдатик, он держал кишки, чтобы не вываливались, и просил её: «Брось меня, не мучай». А она ободрить его пыталась: «Ишь, чего захотел! Сейчас подлечим, и вечером в атаку пойдешь». Я помог ей довести его и пошел на задание. Через час возвращаюсь обратно, зашел узнать, как тот солдат, а его уже не было в живых…

Мы захватили обоз – втроем, я и двое связных, 1926 года рождения, отстегнули лошадей. Оказалось, обоз был штабной, очень ценный. За это нам дали медаль «За отвагу».

Войну закончил под Берлином в составе 1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта.

После войны закончил техникум, институт. В настоящее время проживаю в Туле. Работал старшим инженером электротехнической службы. Не раз избирался депутатом районного Совета. Ветеран труда. Инвалид войны.

Я был самым младшим во взводе Котельников Петр Алексеевич, 1929 г. р

Самый юный защитник Брестской крепости, полковник в отставке, кавалер орденов Великой Победы, Отечественной войны и Красной Звезды.

Когда мне исполнилось шесть лет, умерла мать, через год – отец. Меня вместе с сестрой определили в детский дом в станице Константиновка Ростовской области. Там я учился играть на альте, входил в состав духового оркестра детдома. Мы разучивали разные произведения, больше всего мне нравился Чайковский. Хорошо помню, как наш оркестр стал призёром музыкального конкурса в Ростове и как жена Молотова Полина Жемчужная вручила нашим ребятам комплект музыкальных инструментов. Осенью 1940 года в детский дом приехал представитель 44-го стрелкового полка, дислоцированного в Брестской крепости, и отобрал из оркестра пятерых для музыкантского взвода. Я был самым младшим во взводе. Я очень радовался, что попал в армию: всегда мечтал стать военным.



Петя Котельников

В июне 1941 года мне было 12 лет.

Я проснулся от грохота и разрывов снарядов, не сразу сообразил, что происходит. Сквозь проёмы окон виднелись горящие казармы… Страшный взрыв, меня контузило. Когда очнулся, стал помогать бойцам – заряжал обоймы, пулемётные ленты, подавал патроны, перевязывал раненых. Вместе с ребятами из музыкантского взвода Петей Клыпой, Колей Новиковым, Петей Васильевым вёл наблюдение за фашистами, добывал и доставлял

боеприпасы.

В дни обороны самой тяжёлой пыткой была жажда. До реки Мухавец было рукой подать, но гитлеровцы перекрыли к ней все подступы. Под прикрытием темноты мы по-пластунски делали вылазки к реке, зачерпывали воду котелком, но воды не хватало.

В последних числах июня 1941 года вместе с группой бойцов я вплавь пытался вырваться из окружения. Пули вспенивали воду. На другом берегу нас взяли в плен. Отправили в лагерь для военнопленных в польской Бяло-Поляске. Потом была Брестская тюрьма, откуда нам, бывшим воспитанникам музыкантского взвода, удалось бежать. Деревни обходили стороной, пытались пробраться на фронт, но он был все дальше и дальше. Нас приютили жители деревни Саки Жабинковского района. Оттуда мы поддерживали связь с партизанами.

После освобождения Беларуси в поисках родных попал в Нижний Тагил, окончил школу ФЗО, вытачивал детали для двигателей танка Т-34. Потом вернулся в деревню Саки, по путёвке комсомола был направлен на учёбу в Брест, где в 1950 году был призван на действительную службу. Служил рядовым, сержантом, стал офицером Советской армии, которой отдал три десятка лет. Ещё почти четверть века работал в народном хозяйстве. В семье все любят музыку, дети и внучка закончили музыкальную школу.

Среди любимых книг – мемуары Жукова, Рокоссовского, самый любимый автор – Сергей Смирнов, тот, кто первым поднял тему героической обороны Брестской крепости.

Дети Севастополя

Оборона Севастополя

Одно из главных произведений социалистического реализма – картина А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя». Советские матросы в белой форме, подлинные воины света, повергают в небытие гитлеровские силы тьмы. Город у Черного моря, как и в XIX веке, подтвердил статус «Русской Трои»: героической, кажущейся неприступной, но обреченной пасть.

Севастополь оказался первым городом в Союзе, который подвергся удару фашистской авиации, – подлетное время с румынских аэродромов было невелико, и первые бомбы упали здесь уже в три часа пятнадцать минут. Первыми жертвами еще не объявленной войны стали жители одного из домов в центре города. Сейчас на месте их гибели установлена мемориальная доска.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года ПВО города сумела отбить налет – поэтому немецким самолетам не удалось сбросить магнитные мины, которые бы заперли боевые корабли в севастопольской бухте.

По переписи 1939 года в городе проживало 112 тысяч человек. В годы индустриализации было построено и реконструировано большое количество предприятий, создано две электростанции, активно развивалось жилищное строительство. Как и во все время своего существования, большая часть населения города была так или иначе связана с Черноморским флотом. Севастопольский гарнизон накануне войны насчитывал около 23 тысяч человек. В его распоряжении находилось 150 боевых и береговых орудий, а также 82 самолета.

К началу сентября немецкие войска блокировали Ленинград, овладели Киевом и заняли большую часть Украины. К середине месяца части вермахта вышли к Крыму. Полуостров занимал стратегическое положение – его не зря называли «непотопляемым авианосцем». Во-первых, он выступал в роли одного из коридоров к нефтеносным районам Кавказа, во-вторых, именно с территории Крыма советские самолеты бомбили нефтепромыслы Румынии.

Обороняла полуостров 51-я отдельная армия под командованием генерал-полковника Федора Кузнецова. Ей противостояла 11-я армия под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна – в ее составе было семь пехотных дивизий и румынский горный корпус, состоящий из двух бригад.

К 30 сентября после упорных боев немцы взяли Перекопский перешеек, а 18 октября начали штурм соседних ишуньских позиций. 28 октября оборона была прорвана. Красная армия

отошла к Севастополю и Керчи. 29-го числа в городе было введено осадное положение.

Как и в годы Крымской войны, задача обороны города с суши не ставилась, оборонительные сооружения отсутствовали. Фортификационные работы начались только с 3 июля. В предельно сжатые сроки, к 1 ноября 1941 года, вокруг Севастополя были возведены три рубежа обороны: тыловой, главный и передовой. Было сооружено 82 артиллерийских дота с морскими орудиями и 220 пулеметных дотов и дзотов, 33 километра противотанковых рвов и 56 километров проволочных ограждений. Помимо дотов, минных полей и системы окопов в оборону входили две бронебашенные батареи, вооруженные орудиями калибра 305 мм. Поначалу советская группировка составляла около 20 тысяч человек, но затем ей на помощь перебросили из Одессы Приморскую армию, и общее число защитников выросло до 55 тысяч бойцов.

Важность взятия Севастополя для Германии подчеркивалась и названием, которое предполагалось дать городу после взятия – Теодорихсхафен (гавань Теодориха) – в честь остготского правителя и завоевателя. Сам полуостров должен был быть переименован в Готенланд (земля готов), а Симферополь – в Готенбург.

Природные особенности Севастополя определили специфические черты обороны. Так, связь с тылом была ограниченна – снабжение преимущественно осуществлялось по морю. Отход сухопутных сил Красной армии был затруднен – в этих условиях Черное море становилось для защитников города последнием рубежом. Именно поэтому севастопольский гарнизон так долго и упорно продолжал сопротивляться силам противника.

Первый штурм шел с 30 октября по 21 ноября 1941 года. К 10 ноября части вермахта полностью окружили Севастополь с суши. До 21 ноября шли попытки вклиниться в оборону, но затем в сражении наступила пауза.

Чтобы разрушить артиллерийские форты Севастополя, немцы использовали осадную артиллерию крупных калибров. Плотность огня на километр фронта была одной из самых высоких за всю историю войны. Помимо полевой артиллерии применялись тяжелые гаубицы калибром от 210 мм до 350 мм, а также уникальные осадные мортиры «Карл» (600 мм) и самая массивная пушка всех времен «Дора» (800 мм) – она была способна пробивать скальный массив на 30 метров.

Второй штурм Севастополя длился с 17 декабря по 30 декабря 1941 года. Однако серьезных успехов добиться не удалось, к тому же часть сил вермахта оттянул на себя советский

десант в Феодосии. В итоге Манштейн отдал приказ об отводе частей на исходные рубежи.

Третий, и последний штурм Севастополя начался 7 июня 1942 года. Немецкие части понесли огромные потери – в атакующих ротах осталось, в среднем, по 25 человек. Спустя десять дней наметился перелом – вермахту удалось выйти к Сапун-горе, а также захватить форт «Сталин». Это исключило возможность подвоза боеприпасов по морю для нужд советских частей – немцы могли обстреливать подходы к бухтам. 28 июня части вермахта скрытно, без артподготовки переправились через бухту и атаковали советские части. 30 июня пал Малахов курган. Боеприпасы были на исходе. Командующий обороной получил разрешение Ставки на эвакуацию, однако она коснулась лишь высшего командного состава армии и флота – 200 человек были вывезены самолетами, 700 – на подлодках, еще несколько сотен – на легких кораблях и катерах ЧФ.

Между тем брошенный гарнизон сражался еще две недели – до 12 июля 1942 года. В плен попало 78 тысяч человек. С июля 1942 Севастополь был оккупирован.

Первое, что сделали немцы, – провели перерегистрацию населения. С ее помощью выявлялись коммунисты, евреи, сотрудники госбезопасности и милиции, участники обороны Севастополя. Кроме того, шел учет трудоспособного населения, лиц призывного возраста. Регистрация населения позволяла выявить и лиц, согласных сотрудничать с германскими властями.

В городе был установлен жесточайший режим прописки. Каждый житель, начиная с 16-летнего возраста, после регистрации на бирже труда обязан был в течение 48-ми часов, а с марта 1944 года – в течение 24-х часов оформить прописку в отделении полиции. Для этого необходимо было предъявить паспорт, явочную карточку, выданную на бирже труда, квитанцию об оплате взноса за регистрацию паспорта и прописки в размере 5 рублей, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и другие документы, удостоверяющие личность (трудовая книжка, больничный лист и т. п.). Лицам, не имевшим паспортов, выдавался вид на жительство.

Разрешение на постоянное местожительство выдавался ортскомендантом, на кратковременное пребывание в городе до 3-х дней – начальниками паспортных столов. Люди, находившиеся в городе без разрешения или прописки, а также жители, укрывавшие их, при обнаружении расстреливались.

Выехать из Севастополя в другие оккупированные районы можно было только с разрешения ортскоменданта, бургомистра или старост районов. Наряду с паспортом или удостоверением

выезжавший из города обязан был представить полиции направление или разрешение на выезд, затем в паспортном столе оформлялся листок выбытия. Причем регистрация населения, а также прибывающих и выбывающих из города жителей велась систематически в течение всего периода оккупации Севастополя.

Также был введен и комендантский час: осенью – зимой – с 17.00 до 6.00, летом – весной – с 20.00 до 6.00. Нарушители, задержанные патрулями, отправлялись на принудительные работы на срок до 10 дней.

Люди гибли не только из-за репрессий, но и от голода. Пайки получали лишь сотрудники немногочисленных предприятий и учреждений, открытых оккупационной администрацией. Всем остальным приходилось добывать пропитание самостоятельно.

На территории Севастополя с первых дней оккупации было создано более 20 лагерей военнопленных. Одновременно людей насильно продолжали угонять в Германию – с сентября 1942 по январь 1943 года из Севастополя было насильственно вывезено более 30 тысяч мирных жителей. В итоге к декабрю 1943 года гражданское население Севастополя составляло немногим более 14 тысяч, в том числе: мужчин – 4 тысячи, женщин – 7 тысяч, детей – 3 тысячи. По национальному составу это были преимущественно русские (12 тысяч), крымские татары (1 тысяча) и другие национальности – 2 тысячи.

Освобождение города началось в апреле 44 года.

К тому моменту советские войска блокировали в Крыму 17-ю немецкую армию. Германское командование полагало, что удерживать полуостров в условиях блокады нецелесообразно, но Гитлер потребовал оборонять Крым. Между тем в распоряжении советских войск имелось порядка 470 тысяч человек, почти 600 орудий и минометов, 559 танков и САУ, а также 1250 самолетов. Силы Германии на полуострове насчитывали около 200 тысяч человек, 3600 орудий и минометов, 215 танков, 148 самолетов.

Операция началась 8 апреля с мощной артподготовки. После ее окончания началось наступление. Первым освобожденным крымским городом в тот же день стал Армянск. 11 апреля освободили Джанкой и Керчь, 13-го – Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки. 14 апреля – Судак, 15-го – Алушту. К 16 апреля советские войска вышли к Севастополю.

Попытка взять город с ходу потерпела неудачу. Вплоть до 30 апреля предпринимались попытки штурма, но без стратегических успехов. Главный же штурм начался 5 мая, и после четырех дней упорных ожесточенных боев Севастополь был освобожден. 12 мая остатки немецкой армии на мысе Херсонес сложили оружие. Безвозвратные потери немцев составили 140 тысяч (из них 61 580

– пленными).

К моменту освобождения советскими войсками в 1944 году Севастополь фактически был стерт с лица земли – в результате боевых действий было разрушено 94 % зданий. Если к июню 1941 года в городе проживало 112 тысяч человек, то после освобождения было зарегистрировано лишь 11 тысяч.

До победы в Великой Отечественной войне оставался один год.

Мы выжили благодаря маме
Лактина Раиса Яновна, 1930 г. р

Прошли десятилетия, но я помню все, что с нами происходило, в мельчайших деталях. Я родилась в Севастополе 10 июля 1930 года. Мне посчастливилось прожить почти всю жизнь в этом прекрасном городе. Город, который нельзя не любить, а тем более забыть. Этим воздухом, напоенным ароматом цветущих деревьев и моря, нагретым щедрым южным солнцем, невозможно надышаться. Наверно, поэтому, несмотря на то что я родилась последним пятым ребенком в не очень обеспеченной семье, мы – дети – все равно были счастливы. Потому мне и хочется описать довоенный Севастополь.

Старшая сестра и брат учились в первой школе, вторая сестра и я ходили в тринадцатую школу. Жили мы на Банковском переулке – теперь там главный вход театра имени Луначарского. Дома были, в основном, трех– или четырехэтажные. С одной стороны нашего дома была редакция газеты «Слава Севастополя» – тогда она называлась «Маяк Коммуны». С другой стороны стоял большой солидный дом – банк (собственно, поэтому наш переулок так и назывался).

В домах на первых этажах по всей улице были магазины, булочные, парикмахерские, фотоателье и прочие заведения. Улицы были уже, чем сейчас, машин было мало. Зато везде стояли пролетки – запряженные в коляски лошади.

С нашего балкона было видно море. Так близко, что мама могла, выйдя на балкон, пересчитать наши головы. А море было нашей стихией, с детства мы хорошо плавали, тут же готовили рыбу, собирали мидии. Рыбы было полно, как, впрочем, и крабов – только и смотри, чтобы не наступить, а то укусят. Море было тогда чистое, рапанов не было. А еще было очень много креветок – тогда мы их называли «усиками». Можно было наловить их простым сачком из марли. Вот так летом мы и питались за счет морских даров.

Потом – война. Помню последний мирный день. В близлежащем здании, где располагался Дом туристов, на летней площадке во дворе показывают кино. В тот вечер шла лента «Если завтра война». Фильм закончился в полночь, и мы с братом (он старше меня на два года), взбудораженные, под большим впечатлением, прибежали домой. В это время вернулась мама с дежурства – в то время из женсоветов создавались группы людей, которые дежурили по своим участкам. Потом мы ей рассказывали

впечатления от фильма, ужинали, долго не могли уснуть. Но вдруг начался такой шум, грохот, вспышки в небе. Мы испугались, а родители сказали, что, наверное, начались учения, – ведь накануне в субботу в базу вернулась эскадра с большого учения. В городе по этому поводу был большой праздник, всюду было много народа. На площади и бульваре были танцы, игры, музыка и веселье. И конечно, никто не думал, что это последний день нашей мирной жизни.

> Двухэтажного дома как не бывало. Вместо него – огромная воронка, вокруг валялись вещи, посуда, и самое страшное – детские игрушки.

Еще не была объявлена война, а наш город уже бомбили. Одна бомба упала в жилой дом на улице Подгорной, пока в нем спали ничего не подозревающие люди. Кстати, мамина хорошая знакомая жила на этой улице и как раз дежурила ночью недалеко от этого дома. Когда начали стрелять зенитки, небо осветили прожекторы и она увидела самолет, от которого что-то отделилось, но подумала, что это диверсант, и так как он очень быстро спускался, то она побежала, чтобы его поймать, но не добежала. К счастью, ее отбросило взрывной волной обратно, от ушиба она потеряла сознание, но осталась жива, ее фамилия Козаренко Анна Федоровна.

Днем мы ходили смотреть на этот ужас. Двухэтажного дома как не бывало. Вместо него – огромная воронка, вокруг валялись вещи, посуда, и самое страшное – детские игрушки. Вторая бомба попала на Приморский бульвар напротив Памятника затопленным кораблям. Хорошо, что это было глубокой ночью, но все равно говорили, что пострадали два человека – дежурный милиционер и прохожий.

Буквально сразу всех детей и учеников младших классов вывезли из города. Были задействованы пионерские лагеря. А тех, кто не попал в лагеря, расселили по деревням. Так мы попали в татарскую деревню Уркуста (сейчас, кажется, это село Подгорное). Впервые, мы с братом «вылетели» из родительского гнезда. Дома остались две старшие сестры и мама с отцом. Всю дорогу я проплакала, брат держался как мог, утешал меня. Вывезли нас на грузовых машинах, вместо скамеек были прибиты доски. Остановились ненадолго в Балаклаве, потом поехали дальше.

В деревне нас расселили в татарские семьи, они нас накормили и уложили на сено спать. Потом в местной школе создали что-то вроде пионерского лагеря, там была столовая, с нами там занимались, и мы были под наблюдением учителей и

воспитателей. Прожили мы там 1,5–2 месяца, потом вернулись домой в Севастополь. Город было трудно узнать. Зеленый, чистый, светлый родной город превратился в серый и неуютный. Дома были окрашены пятнами в грязный цвет. На оконных стеклах были наклеены кресты из бумаги. Город еще не сильно бомбили, но жизнь изменилась к худшему. Мы как-то сразу повзрослели, детство закончилось.

Город было трудно узнать. Зеленый, чистый, светлый родной город превратился в серый и неуютный. Дома были окрашены пятнами в грязный цвет. На оконных стеклах были наклеены кресты из бумаги.

В сентябре отца мобилизовали на фронт. Немцы приближались к городу, начали чаще бомбить. Школы перешли в бомбоубежище. Мы с братом учились в подвале дома, где сейчас находится музей Крошицкого. Все больше стало развалин домов, все чаще мы видели трупы людей. К этому нельзя было привыкнуть, но уже и не так мы их боялись, как в первое время. Однажды я спускалась по лестнице с улицы Воронина. Вдруг стали стрелять зенитки прямо над головой. Немецкий самолет стал пикировать и сбрасывать бомбы. Одна из них попала в жилой дом, недалеко от нашего дома, остальные попали в море. Это случилось на моих глазах, и не один раз. Люди уже знали – если бомба свистит, то для тебя она не представляет опасности, но осколки от зенитных снарядов разных размеров могут добраться и до тебя.

Забегая вперед, скажу. Однажды со мной был такой случай. Не было воды, взрослые (с нами была моя старшая сестра) пошли за ней в один из отдаленных домов, где во дворе был колодец. Я тоже пошла с коромыслом и двумя ведрами, чтобы помочь. Отстояв очередь, я наполнила ведра до половины и несла их. Мы возвращались домой. Взрослые ушли вперед, мне было тяжело, я от них отстала. Неожиданно, без объявления тревоги, начали стрелять зенитки. Самолет летел так низко, что было видно на нем кресты. Я присела, чтобы вылезти из-под коромысла и спрятаться под стеной дома, но в этот самый момент я почувствовала, как на голове зашкворчали волосы, и тут же передо мной упал в асфальт огромный осколок. То есть, если бы я не нагнулась, то осколок попал бы мне или в спину, или в голову. Это было мое первое боевое крещение.

Но это я забежала вперед, а пока что на дворе сентябрь месяц 1941 года. Школы перебрались в бомбоубежища. Бомбят нас теперь больше и чаще. Мы – школьники – собираем металлолом, гильзы от снарядов и бутылки для зажигательной смеси. Потом

из них взрослые делали что-то типа гранат. Еще не коснулось нашей семьи черное крыло смерти.

> Самолет летел так низко, что было видно на нем кресты. Я присела, чтобы вылезти из-под коромысла и спрятаться под стеной дома, но в этот самый момент я почувствовала, как на голове зашкворчали волосы, и тут же передо мной упал в асфальт огромный осколок. То есть, если бы я не нагнулась, то осколок попал бы мне или в спину, или в голову. Это было мое первое боевое крещение.

В октябре город перешел на осадное положение. Немец подошел так близко, что нас уже стали обстреливать не только с самолетов, но и из дальнобойных орудий. Но мы еще жили в своей квартире. Наши дома стояли как бы большим квадратом: это наш Банковский переулок, улица Фрунзе и улица Энгельса. Внутри получался двор, а посередине была большая спортивная площадка. Вот там, в закутке от бомбежек, мы и играли. Конечно же, больше всего играли в войну. На всю площадку был выкопан длинный окоп, сверху он был накрыт бревнами в несколько рядов. Из окопа было несколько ходов, чтобы люди в случае бомбежки могли спрятаться. Несмотря на это тревожное время, мы были все-таки детьми, нам хотелось играть, бегать, смеяться.

Я уже писала, что чаще всего мы играли в войну. Никто не хотел быть немцем или шпионом, а все хотели быть красноармейцами и разведчиками. Приходилось бросать жребий, по количеству человек оттачивали тонкие палочки и делили их пополам, и кому доставались длинные, были нашими, советскими, короткая – значит, немец. В тот раз мне не повезло дважды. Во-первых, я была немец, во-вторых, сильно упала и содрала себе кожу на ладонях и коленках, крови было много. Мне сочувствовали, как могли, старались помочь. А один маленький мальчик лет восьми сказал: «Так и надо! Немцев надо уничтожать». Странно, но я на него не обиделась, он был прав.

Незаметно подкралась зима. Мы были к ней не готовы. Я прожила в Севастополе почти всю жизнь, но ни до, ни после такой зимы я не помню – как будто Бог послал нам еще одно испытание. Были жуткие морозы, много снега, и очень долго он не таял. Все побережье в нашей бухте было покрыто льдом. В один из таких дней мой брат (ему было 13 лет) тепло оделся в папины кирзовые ботинки (очень тяжелые сами по себе, они были для него большие), поверх надел тяжелый отцовский бушлат и пошел на пристань проведать своих друзей – моряков-катерников. Он у них был как сын полка. Пристань была обледенелая, не дойдя до

катера, он свалился в море. Одежда и ботинки намокли, стали еще тяжелее – хотя он отлично плавал, его стало тянуть на дно, он барахтался, сопротивлялся. Хорошо, моряки увидели, вытащили его. Переодели в сухую одежду, предварительно растерев его спиртом, напоили горячим чаем. Слава Богу, все обошлось.

> Чаще всего мы играли в войну. Никто не хотел быть немцем или шпионом, а все хотели быть красноармейцами и разведчиками. Приходилось бросать жребий, по количеству человек оттачивали тонкие палочки и делили их пополам, и вот кому доставались длинные – те были нашими, советскими, короткая – значит, немец.

В декабре был ранен отец – он служил в Инкермане, его положили в госпиталь, который находился в инкерманских штольнях. Сразу же он заболел крупозным воспалением легких, и было большое осложнение – видимо, ослабший организм не мог бороться. Врачи немного полечили его и решили комиссовать на полгода, чтобы он в домашних условиях быстрее поправился. Но этого не случилось. Зима холодная, питание плохое, через два месяца у него снова случилось крупозное воспаление легких, и снова госпиталь, но уже пересылочный в Севастополе по улице Карла Маркса, в переулке у бани.

Город уже очень сильно бомбили, раненых было так много, что не разбирали – военные они или гражданские. Все госпитали были заполнены до отказа.

Ночью тяжелых отправляли на Большую землю – лечить раненых и больных было нечем. Был апрель 1942 года – к тому моменту уже полгода как Севастополь был в осаде. Не хватало лекарств, начался голод. Мы часто навещали отца, относили ему все лучшее, что удавалось достать. Но однажды, это было 5 мая, мы с мамой пришли к нему. Дежурная сестра спросила: «А вы к кому?» Мама сказала. А она отвечает: «А мы его уже вынесли». Мама заплакала, а я все не могла понять – почему и куда вынесли папу и почему мама плачет? На мои вопросы она не отвечала, не хотела расстраивать. Накануне мама приходила одна, отец уже бредил, брал ее руки, гладил ладони и говорил: «Что же ты, доченька, руки не моешь, они у тебя грязные».

Мама поняла, что эти слова были адресованы мне. Я в семье была самая младшая, старшие две сестры были уже взрослые. Когда я родилась, отцу было уже 40 лет. Он любил меня больше всех, и мама часто брала меня с собой. Вот и в этот последний раз я была с ней.

Потом были похороны. Домой отца уже не привозили, хоронили из морга, который находился в первой горбольнице. Вывезли его на лошади в повозке. Пока доехали до кладбища, которое находится на улице Пожарова, четыре раза люди разбегались с дороги, потому что город бомбили и обстреливали.

С каждым днем все меньше оставалось целых домов в городе. Мы до последнего жили в своей квартире, если не считать недель, прожитых у маминой подруги, что недалеко от того места, где упала первая мина. Они выкопали в скале углубление, довольно вместительное, прямо в пещере. Вот мы у них и жили, а, когда начался обстрел, прятались вот в этой пещере. У тети Ани было двое детей, муж был на фронте.

В то время у моей старшей сестры родилась дочка, назвали ее в честь моей мамы – Александрой. Родилась она недоношенной, семимесячной, слабенькой, но очень хорошенькой. Мы все ее очень любили. В это время мужа сестры отправляют на фронт, мы возвращаемся в свою квартиру, и сестра с девочкой перебираются от мужа к нам.

В скором времени в наш дом попадет не то небольшая бомба, не то снаряд. Ранним утром, когда мы еще все спали, на чердаке, как раз над нашей спальней, взрывается что-то, срывает крышу с чердака. С одной стороны, где стояла мамина кровать, обламываются балки и падают вместе с потолком вниз. Над мамой небо, а нас потолком накрыло, как в шалаше. Там стояли три кровати, на которых спали мы – дети. Сразу же нас окутало всех пылью, какое-то время было трудно дышать. Тут мы услышали мамин голос. Она звала нас всех по именам, спрашивала, живы ли мы, не ранены ли? В углу у упавшего потолка увидели небольшую дыру, старшие расковыряли ее больше, и мы вылезли на волю к маме. Она лежала в своей кровати очень бледная, но живая. Потом мы увидели на простыне большое пятно крови, а на ноге выше пятки была огромная рана. К счастью, кость не была задета. Она сама смазала ее чем-то и завязала чистой тряпкой.

Тут начали прибегать соседи, чужие люди. Приехала какая-то машина, все спрашивали, нужна ли какая помощь, все ли живы. Мама отказалась ехать в больницу. И тут кто-то увидел, что у меня майка и трусики сильно испачканы кровью. Сестра сказала, что я очень близко находилась от мамы и, наверное, испачкалась ее кровью. Но потом при тщательном осмотре мы увидели на моей руке рваную рану, небольшую, но глубокую. Я совсем не чувствовала и не замечала боли. Видно, этот ужас, страх, боль за маму подействовали на меня как обезболивающее средство. Руку мне тут же перевязали. Кстати, еще тогда мама настаивала белую

лилию на подсолнечном масле – средство, которое быстро заживляло раны. На память о войне остались шрамы: у мамы огромный на правой ноге, а у меня пятисантиметровый рубец на правой руке.

Началась бомбежка, люди спустились в подвал, надеясь спастись там. В дом попала бомба, завалило вход, люди не могли выйти. А потом немцы набросали «зажигалок», все стало гореть, и людей не смогли спасти.

После этого случая мы переселились в убежище, оно находилось в подвале дома недостроенной водолечебницы по улице Энгельса, недалеко от нашего дома. К нашему счастью, там не было ничего, что могло бы гореть. Все было из бетона и кафеля, поэтому это спасало нас от пожаров, но не от бомб и снарядов. Однажды в этот дом залетела огромная бомба, разрушив угол, она пролетела по кафелю несколько метров и, не взорвавшись, остановилась. Сразу же вызвали саперов, и ее разрядили. Мы, дети, бегали на нее смотреть, когда она была уже обезврежена, такая большая, вряд ли кто-то уцелел бы из нас. Мама тогда сказала: «Видно, с нами здесь сидит богоугодный человек. Это и спасает нас».

В последних числах апреля 1942 года в одном из домов по улице Фрунзе выдавали продуктовые и хлебные карточки. Там всегда было много народа, а в тот день особенно. Люди получали карточки на следующий месяц. Началась бомбежка, люди спустились в подвал, надеясь спастись там. В дом попала бомба, завалило вход, люди не могли выйти. А потом немцы набросали «зажигалок», все стало гореть, и людей не смогли спасти. В том подвале тогда погибли хорошая мамина знакомая с дочерью. Свою дочь она везде брала с собой, ей в то время исполнилось шестнадцать лет. Она ее одну не оставляла, говорила: «А вдруг я уйду, а с ней что-нибудь случится, а так если погибнем, то вместе». Вот так и случилось. А мы продолжали жить и спасаться в своем убежище.

Жили впроголодь, не хватало продуктов, не проходило чувство голода, все время хотелось есть. Даже если была крупа, мука, негде было приготовить. Раньше, когда не было керосина, то готовили на улице, на костре. Теперь на улицу было страшно выходить, все вокруг гремело, взрывалось, падало на голову. Начались проблемы с водой. Ее и раньше было мало, а теперь совсем плохо. У нас в убежищах появились раненые – военные и гражданские, которых подбирали в нашем районе. Им оказывали первую помощь, а ночью на катерах переправляли на корабли, которые увозили их. Эвакуировали на Большую землю. Многие

корабли попадали под обстрел и погибали.

> Если повезет, бомба или снаряд могли оглушить рыбу. Тогда наши мальчишки прыгали в шлюпки и собирали ее. Вот тогда и у нас был праздник – наедались досыта ухи. Но это было не так часто.

Не хватало лекарств и перевязочного материала. Наши женщины, в том числе и моя мама, стали помогать медсестрам. Стирали от крови бинты в морской воде с помощью специального мыла КИЛ, предназначенного для морской воды. В короткие промежутки, когда наступало затишье и немцы переставали стрелять, можно было еще приготовить кашу, или на железном листе испечь лепешки, или, если повезет, бомба или снаряд могли оглушить рыбу. Тогда наши мальчишки прыгали в шлюпки и собирали ее. Вот тогда и у нас был праздник – наедались досыта ухи. Но это было не так часто, бомбы и снаряды взрывались и взрывались, носа не высунешь на улицу.

Несколько домов в нашем районе пока еще оставались целыми, в том числе и наш. В один из таких дней кто-то сказал, что в наши дома попало несколько зажигательных бомб. У нас в убежище находились несколько мужчин, у которых была броня или по возрасту их не забрали на фронт. Они всегда вместе с мальчишками, в числе которых был и мой брат Валентин, бегали тушить «зажигалки», спасали наши дома от пожара. У каждого из них на счету было по несколько десятков таких бомб. Их даже собирались наградить медалями, но так и не успели. Немцы были уже слишком близко.

В тот день, когда поступил сигнал, трое мужчин из нашего дома быстро собрались и пошли спасать дом от «зажигалок», к ним присоединился и мой брат. И тут мама как что-то почувствовала, вцепилась в него и не отпускала.

Плакала, просила не уходить (раньше с ней такого никогда не было). Но он все равно вырвался и побежал. У входа стояли матросы с катеров. Мама кричит, просит не выпускать его. Кто-то подставил ему ногу, он упал, пока поднялся, мама снова вцепилась в него. Прошло еще какое-то время, и все-таки он вырвался и побежал догонять мужчин.

> Сейчас, когда думаю о том жутком периоде, мне часто приходит в голову мысль: как же трудно было нашим матерям в то время уберечь нас, накормить, не дать погибнуть. В нашей семье было четверо детей.
>
> И вот представьте, город бомбят ежечасно, каждый из нас может быть в любом месте.

К счастью, их к тому моменту разделяло метров тридцать, когда рядом с мужчинами разорвался снаряд. От взрывной волны мой брат упал. Когда вскочил, то увидел, что все они лежат на земле, двое из них были мертвые, а третий был тяжело ранен в живот. Так мамина интуиция спасла моего брата, он не добежал до них, и это спасло ему жизнь. Вернулся он бледный, с поникшей головой и рассказал, что случилось. Этого раненого принесли к нам в убежище, оказали первую помощь. А ночью его вместе с другими ранеными, которые здесь находились, отправили на Большую землю. Родные так и не получили от него никаких вестей.

Еще немного хочу написать о своей маме, она была героическим человеком. Может, это громко сказано, но сейчас мне не приходит в голову другого подходящего слова. К счастью, таких людей в то время было очень много, иначе мы бы не победили в той страшной войне. Сейчас, когда думаю о том жутком периоде, мне часто приходит в голову мысль: как же трудно было нашим матерям в то время уберечь нас, накормить, не дать погибнуть. В нашей семье было четверо детей. И вот представьте, город бомбят ежечасно, каждый из нас может быть в любом месте. И вот, если в этот момент одного из нас нет рядом, а бывает, что и все разбегутся, – сколько же нужно иметь самообладания, терпения, сдержанности, нервов, чтобы переносить это, и так каждый день по несколько раз. Женщины нашего города – моя мама не исключение – участвовали в общественных делах: расчищали разрушенные дома, спасали людей, стирали раненым. Весь период осады Севастополя мама сдавала кровь от 400 до 800 граммов, у нее была кровь первой группы. Многим раненым она спасла жизнь, за это имела благодарность от командования.

Потом был страшный оккупационный период, начиная с третьего июля 1942 года, когда в наш город пришли немцы. Перед этим первого июля наши части, отступая, уничтожали все, чтобы ничего не досталось немцам, в том числе и продуктовые склады, один из которых был в подвале нашего дома. Так и наш дом превратился в руины, хотя мы много раз спасали его от зажигательных бомб. А вместе с ним были уничтожены наши вещи, мы остались без убежища. Выбежали только в том, что было на нас в то время надето, но зато живые.

> Когда пришли немцы, то через две или три недели они собрали евреев на стадионе «Чайка» и уничтожили их, а потом вывесили приказы такого содержания, что все, кто скрывает у себя евреев, будут расстреляны

вместе с семьей.

Немцы сразу же отгородили все побережье забором из колючей проволоки. На заборах висели объявления, что если кто зайдет на эту территорию, то будет расстрелян. Так мы были вынуждены покинуть родные места. Позже нашли какой-то полуразвалившийся дом почти без крыши, только одни стены. И на некоторое время мы поселились там. Этот дом находился недалеко от первой городской больницы (по улице Октябрьской, как она сейчас называется). Потом мы переехали на улицу Ломоносова.

Когда пришли немцы, то через две или три недели они собрали евреев на стадионе «Чайка» и уничтожили их, а потом вывесили приказы такого содержания, что все, кто скрывает у себя евреев, будут расстреляны вместе с семьей. В то время вместе с нами жил муж моей старшей сестры, он был еврей. После этого он жил у нас еще месяца два. Когда все немного улеглось, он ушел и, слава богу, остался жив. В 1976 году, когда умерла мама, он приехал на похороны, стоял у гроба и сказал: «Какой большой души человек – Александра Ивановна! Ведь она тогда из-за меня так рисковала всей своей семьей. И еще был голод, а она делилась со мной последним». Прожил он до 80 лет и всегда добрым словом вспоминал мою маму.

Помню ужасную деталь. Это было уже лето 1945 года, мы с подругой пришли на Графскую пристань, чтобы на катере переехать в Инкерман, где она жила. Было очень жарко, мы решили искупаться тут же у пристани – тогда это было можно. Прибежали мальчики, решили нас испугать, стали прыгать в воду. А мы с Аней, чтобы с ними не связываться, решили нырнуть и спрятаться между сваями под мостом. Так и сделали, но то, что мы там увидели, поразило нас обеих. Там было сравнительно неглубоко, вода была очень прозрачной. Было отчетливо видно, что на дне стоит матросский рабочий ботинок, в котором за это время накопилось много песку и гравия. А из него была видна оторванная по колено человеческая нога, она качалась от движения воды, и нам – детям, пережившим войну и видевшим еще и не такое, стало страшно. Мы поторопились поскорее покинуть свое убежище и сообщить взрослым об этой страшной находке.

Без надежды на спасение
Абакумова (Костромская) Майя Николаевна

Когда началась война, мы жили на 5-м километре Балаклавского шоссе. Там располагалось городское подсобное хозяйство, которым руководил мой отец, Николай Алексеевич Костромской.

На второй день войны отец, не дожидаясь вызова в военкомат, сказал нам с матерью, что идет в парикмахерскую, а сам прибыл на призывной пункт, и через два дня мы прощались с ним на симферопольском вокзале. На память он купил нам подарки: мне детский зонтик, а маме золотое обручальное кольцо.

На второй день войны отец, не дожидаясь вызова в военкомат, сказал нам с матерью, что идет в парикмахерскую, а сам прибыл на призывной пункт, и через два дня мы прощались с ним на симферопольском вокзале. На память он купил нам подарки: мне детский зонтик, а маме золотое обручальное кольцо. Он поехал на передовую, а мы с мамой вернулись домой в Севастополь. Кроме нас, в нем жили еще наши соседи – Макушенко Петр и Ефросинья, а также их дочь Катя, с которой я дружила.

Севастополь с первых дней войны подвергался сильной бомбардировке.

Мы прятались от обстрелов в вырытом недалеко от дома окопе, но однажды бомба попала прямо в дом. Мы вышли из окопа и увидели, что нашего жилья больше нет – осталась лишь стена соседской квартиры, и на ней висели две иконы, на которых не лопнуло даже стекло. Эти иконы до сих пор хранятся в доме моей подруги Екатерины Макушенко.

Севастополь с первых дней войны подвергался сильной бомбардировке. Мы прятались от обстрелов в вырытом недалеко от дома окопе, но однажды бомба попала прямо в дом. Мы вышли из окопа и увидели, что нашего жилья больше нет – осталась лишь стена соседской квартиры, и на ней висели две иконы, на которых не лопнуло даже стекло.

Когда дома не стало, мы с мамой переехали к моей бабушке,

которая жила в центре города на улице Карла Маркса, напротив нынешнего магазина «Золотой ключик». Вскоре получили от отца известие, что он контужен в бою под Перекопом и находится в симферопольском госпитале. Мы с мамой поехали за ним – он был ранен в позвоночник, находился в гипсе до пояса. Мы увезли его с предписанием врача продолжить лечение по месту жительства. Отец был комиссован, остался инвалидом на всю жизнь. Но, как только с него сняли гипс, он продолжил работу при Севгорисполкоме на должности инспектора по обеспечению продовольствием населения города и воинских частей. К тому времени шла активная эвакуация городских ценностей и архива. Я знаю, что отец участвовал в снятии полотен Панорамы и организации ее эвакуации.

К концу лета город бомбили ежедневно и ежечасно. Мы вынуждены были поселиться в бомбоубежище, которое находилось под клубом «Пролетарская кузница» (ныне магазин «Черноморочка»). Там организовали школу, и я стала учиться во втором классе. Мы готовили бойцам новогодние подарки (варежки, носки, платки, кисеты с табаком и даже бинты). Там же встречали Новый 1942 год. Но к весне бомбоубежище опустело, так как многие эвакуировались, а мы остались с отцом, так как мама была ранена, перенесла операцию и не могла решиться на эвакуацию без мужа. Но отец продолжал работать и не верил в то, что город будет сдан врагу.

Уже летом 1942 года отец перевел нас в городское КП, где находилось руководство города. Оно располагалось под городским центральным холмом. Вход был на улице Ленина, а выход на улице Карла Маркса (возле кинотеатра «Победа»). Но и это бомбоубежище, заметно опустевшее к тому времени, приютило нас ненадолго.

Однажды после бомбежки люди вышли во дворик – кто покурить, кто поговорить. Среди них была и доктор Турская. Ей сказали, что разбомбили ее квартиру. А она успела лишь ответить, что была бы голова цела, как в этот момент рядом разрывается снаряд, осколок попадает ей в сонную артерию, и она умирает мгновенно на наших глазах. Похоронили ее на кладбище Коммунаров.

Немцы продолжали наступление, и нам пришлось отступать. Была надежда, что нас эвакуируют с Херсонесского маяка. Последний день, который мы провели в городе, начался, как обычно, с обстрела. Отец появлялся все реже, и порой мы думали, что его уже нет в живых. Вечерело, когда в наше убежище прибежал матрос с автоматом в руках. Он бежал по коридору и кричал: «Костромская! Кто Костромская?» Мать, услышав

фамилию, отозвалась. Он сказал, что его прислал наш отец и велел ему доставить нас в Покровский собор для дальнейшей эвакуации. Дорога к собору составляла несколько сот метров, но дойти до него не представлялось возможным – немцы вели прицельный обстрел с городского холма. У нас с матерью было пальто, которым она укрыла меня и себя, мы легли на живот и ползли за матросиком, молясь Всевышнему. Пули свистели над головой, но отскакивали в сторону, не зацепив ни нас, ни матроса. Так мы добрались до собора Покровской Богоматери.

> Она успела лишь ответить, что была бы голова цела, как в этот момент рядом разрывается снаряд, осколок попадает ей в сонную артерию, и она умирает мгновенно на наших глазах.

Там мы встретились с отцом, он был переодет в военную форму, в сапогах, темно-синих галифе, с пистолетом и планшетом. Я до сих пор не знаю, что произошло и почему отец был в военной форме. С наступлением темноты на карете скорой помощи по Херсонесскому мосту мы начали движение в сторону херсонесского маяка. Но доехать смогли только до «ОВРы» в Стрелецкой бухте. Дальше дороги не было, сплошные воронки от бомб и нагромождение разбитой и брошенной бронетехники. Нам предстояло продолжить путь пешком.

Мы шли всю ночь. Немцы сбрасывали осветительные ракеты на парашютах и обстреливали даже ночью. Идти было тяжело и страшно. Но вот мы на месте – и что предстало перед нашим взором? Там находилось огромное скопление гражданского населения и войск. Мы провели на маяке два дня и две ночи – одну ночевали прямо на лестницах маяка. Но никакой эвакуации организовано не было, и отец узнал, что транспорт для эвакуации якобы прибудет на 35-ю береговую батарею. Мы в эту же ночь ушли с маяка в район 35-й береговой батареи, но когда туда добрались, то оказалось, что к батарее нельзя подойти, так как там находилось еще наше командование. Батарею охраняли автоматчики. Транспорт подавался редко и только для высшего комсостава.

Мы еще четверо суток провели в этом аду. Однажды под вечер отец остановил машину, задний борт которой был открыт, переговорил с водителем и решил прорываться на Балаклаву. Меня поставили на машину, дали мне в руку бутылочку воды, пачку печенья, которую матросы принесли мне с батареи. Родители не успели запрыгнуть вслед за мною, как вдруг машина рванула с места и помчалась прямо к обрыву. Сквозь шельф бурой пыли я слышала крик матери: «Маечка, прыгай!» Собрав все свое

мужество, я прыгнула в это бурое облако и оказалась в колючем кусте барбариса. Одна из колючек впилась в мою детскую коленку и разорвала кожу – память об этом до сих пор осталась на моей коленке в виде шрама. А машина с обезумевшим водителем и моим НЗ ушла с обрыва в море.

> Меня поставили на машину, дали мне в руку бутылочку воды, пачку печенья. Родители не успели запрыгнуть вслед за мною, как вдруг машина рванула с места и помчалась прямо к обрыву. Сквозь шельф бурой пыли я слышала крик матери: «Маечка, прыгай!»

Здесь же я видела банковскую машину, груженную мешками с деньгами. Она стояла одиноко на виду, и вдруг в нее прямым попаданием попадает снаряд, и деньги разлетелись вокруг, и мы шли по ним, но они уже не представляли никакой ценности. Последнюю ночь перед сдачей мы провели в дзоте, куда нас привел отец и его знакомый. Оба были в военной форме, с партбилетами, с пистолетами. Ночью они сожгли свои партбилеты и приняли решение стреляться. Но, так как мы с матерью не отпускали отца ни на шаг, они решили, что сделают это, когда мы утром выйдем из дзота. И вот настало это утро. Немцы стояли вокруг дзота и переводчик кричал: «Выходите или будете уничтожены!» Отец сказал матери: «Идите». Но мама разгадала их план и не вышла одна. Она сказала ему: «Будем вместе до конца». И мы вышли из дзота все вместе. Там стоял рыжий коренастый немецкий офицер с адъютантом. Увидев отца, он спросил: «Комиссар?» – и показал, что комиссары толстые, а он худой. Тут же приказал снять с отца сапоги, и его и знакомого погнали в колонну для военнопленных. Нас погнали следом. Так начался наш путь обратно в горящий город, но теперь без всякой надежды на спасение.

Никогда не забуду, как освобождали Севастополь
Батманова (Сычева) Надежда Георгиевна, 1928 г. р

Батманова (Сычева) Надежда Георгиевна родилась в Воронеже 25 сентября 1928 года. К началу войны отцу, Сычеву Георгию Евгеньевичу, был 51 год. Маме, Сычевой Раисе Алексеевне, 38.

Когда мне было два года, мои родители переехали в Севастополь – из-за необходимости лечиться в институте имени Сеченова, который тогда находился там. Жили мы по улице Ломоносова, в частном доме № 12, хозяева которого жили в другом месте. Мама работала на железной дороге старшим товарным кассиром, отец работал в Госбанке тоже старшим кассиром.

В 8 лет я пошла в школу № 3 на Советской улице, а с 1938 года стала учиться в музыкальной школе на улице Айвазовского. В музыкальной школе училась у преподавателя по фамилии Гринберг, а в общеобразовательной, где директором была Кораблева Клавдия Ивановна, классным руководителем у нас была Девочко Вера Романовна.

Жизнь протекала счастливо в труде и отдыхе. Ни в еде, ни в одежде нужды у нас не было. Почти каждое воскресенье мы ездили на экскурсии по Крыму. Все было в семье спокойно, без роскоши, но все были довольны.

Но однажды отца арестовали, от меня все скрыли, и я ничего не знала. Лишь тогда, когда отца выпустили, мне рассказали, что у него была недостача денег в кассе, но потом их нашли. Так как в тот момент это все уже было в прошлом, то я легко это пережила.

В 1940 году у меня появилась сестричка Леночка, и я стала главной ее няней.

В 40-х годах в городе часто проходили военные учения, и летом 1941 года было такое же учение, мы даже окна должны были заклеить бумагой. Мне как-то было очень тревожно на душе, лезли мысли о войне, но в газетах много писали о войне за границей. И вот однажды в июне 1941-го в четыре часа утра началась стрельба. Я уже не спала, так как меня разбудили начавшиеся за два часа до этого тревожные стуки в двери некоторых соседних домов. Но когда началась стрельба, то

проснулись все и вышли на улицу. Прожектор поймал самолет, и зенитчики стреляли по нему, но он спокойно летел дальше. Мы с замиранием сердца смотрели на происходящее. Мама плакала и вдруг сказала: «Надюша! Это ведь война!» Мне было очень страшно, но я молчала, молчали и окружавшие нас люди. Вдруг самолет сбросил над нами какой-то предмет, и вскорости прозвучал колоссальный взрыв недалеко от нас – это упала первая бомба.

Очень многие женщины плакали. Вот так для меня началась война. По нашей улице Подгорной, куда выходила верхняя калитка, носили на носилках убитых. Так страх и ужас вселились мне в душу. Дальше бомбежки были очень частыми, и потому отец отправил нас за город, в лес за Инкерманом.

Нам возили еду, мы жили в скалах, а некоторые в палатках. Это было первое наше убежище. Мама была еще на работе, а я сидела одна с сестричкой. Там произошел случай, который врезался мне в память: среди нас была одна женщина, мать военнослужащего, который приезжал к ней. Я эту женщину знала еще до войны, так как она привлекала внимание своей жизнерадостностью, не унывала и всегда всех успокаивала и веселила. И вот ей в голову пришла фантазия. Она вывернула свое легкое пальто наизнанку, надела шляпу по-модному, обувь большую мы ей дали на босу ногу, и она пошла в другой лагерь, якобы она врач и пришла лечить больных. Дети были в восторге от этой затеи, так как заниматься было нечем, было тревожно и скучно, а вернее, однообразно. Я с ней не ходила, так как моя сестричка капризничала, а другие пошли вместе с этой женщиной и смеялись над происходящим. Вдруг к ней подошли двое вооруженных военных и предложили пройти с ними. Дети вступились за нее: «Это наша тетя Катя!» – но военные были неумолимы. Дети вернулись и мне все рассказали. Больше она не появлялась, а потом пришел военный и забрал все ее вещи.

После этого случая я стала очень активно проситься домой. Вскоре отец перевез нас в инкерманские штольни, и там мы находились довольно долго. Нам также возили еду, а Севастополь бомбили каждый день. Потом я стала проситься забрать нас и оттуда.

Мы приехали домой уже к осени, но дома невозможно было находиться, так как негде было прятаться. Помню, мы еще ходили к знакомым на ночь. Жили они за вокзалом в доме, который стоял рядом со скалой, а кухня, в которой мы находились, была просто в скалах.

Но в один день я наотрез отказалась туда идти, а на следующий день мама узнала, что туда попала бомба, и их всех

придавило. С тех пор мама мне верила и насильно никуда меня не водила.

Потом маме предложили сдать деньги на то, чтобы вырыть убежище ближе к дому, на улице Батумской, и она согласилась. Когда убежище было готово, мы пошли на Батумскую. Убежище вырыли в 6–8 метрах под дорогой, а второй выход был во двор дома. Так как это было недалеко от нашего дома, то можно было иногда побыть там. Жили мы у женщины, которую звали Роза, она жила со старенькой мамой. Я часто бегала с ребятами искать бутылки: мы их набирали и бегали сдавать для «коктейлей Молотова». Занимались этим часто, и скоро в домах не осталось бутылок. К этой тете Розе приходил племянник с линии фронта, много рассказывал и о наших ребятах, и о зверствах немцев. Советовал уезжать скорей, но у тети Розы была старенькая мама. У нас к этому времени отец работал в особом отделе флота в столовой, которую надо было обеспечивать продуктами. Он умел, очевидно, работать хорошо, и его не отпускали, а на фронт тоже не брали, ведь ему было уже много лет.

Мама часто бывала с нами, но еще чаще помогала отцу по работе, и мы нередко сидели одни. После того как убежище было готово, мы так и жили в этом доме с тетей Розой и прятались там же. Мама всегда очень боялась моря, так как плавать не умела, а бури на нее производили ужасное впечатление. Эвакуироваться морем она боялась – а другого сообщения, кроме как по морю, не было. При этом мама говорила, что лучше умирать на суше. Так шло тревожное время осады Севастополя.

Каждый день кого-то из знакомых убивало, ранило, каждый день страдания, слезы, переживания, но жизнь шла, надо было есть, пить, мыться, доставать еду. Бомбили очень часто, а мы – дети – научились даже под бомбами бегать то за водой, то за хлебом. Знали уже по свисту бомб: близко она падает или далеко, надо падать или бежать. Очень часто бросали зажигательные бомбы. Если не успеешь сбросить ее с крыши, то все сгорит. Сначала мы лазили на чердаки и крыши, научились сбрасывать их, но потом это стало невозможно, так как бомбы сыпались как орехи – за зажигательной следовала сразу фугасная.

Я часто бегала с ребятами искать бутылки: мы их набирали и бегали сдавать для «коктейлей Молотова».

Занимались этим часто, и скоро в домах не осталось бутылок.

Так проходили день за днем. Воду доставали в колодцах. За водой бегала чаще я, и если принесу половину ведра, то это уже счастье, а так обычно 2–3 кружки оставалось на дне, так как под

бомбами и снарядами приходилось прятаться, ложиться, все проливалось.

> Каждый день кого-то из знакомых убивало, ранило, каждый день страдания, слезы, переживания, но жизнь шла, надо было есть, пить, мыться, доставать еду. Бомбили очень часто, а мы – дети – научились даже под бомбами бегать то за водой, то за хлебом. Знали уже по свисту бомб: близко она падает или далеко, надо падать или бежать

Часто, когда мама оставалась дома с моей младшей сестрой, мне надо было бежать к папе, чтобы отнести ему чистое белье или еще что-то, а дом, где он помещался, был на самом берегу моря (там сейчас Водная станция, слева от Графской пристани), и у самого берега стоял крейсер. Прибежишь к нему с трудом под бомбами, прорвешься – и опять бомбят, а бомбы падают совсем рядом. Очевидно, немцы хотели этот крейсер разбомбить. Я начинала нервничать: ну почему они стоят на одном месте, почему в убежища не уходят?! Но крейсер стоял и стрелял по самолетам. Когда ребята выходили, я к ним обращалась: «Ну почему вы на одном месте стоите, почему не уходите?!» «Команды нет», – отвечали они. И вот в один день в корабль все же попала бомба, много ребят погибло, многих ранило, и опять я много плакала и спрашивала командиров: «Ну почему вы так неповоротливы были?!» – а они мне: «Девочка, не раздирай душу, не наша вина, не было команды, мы не властны над собой. Мы много отличных ребят теряем – война! Не надо травить душу!» Я отлично помню этот разговор.

И опять я шла домой, а мать шла помогать отцу, так мы с ней менялись. Мама хорошо справлялась с расчетами, а папа к тому моменту уже их забывать стал и уже боялся без нее оставаться. Продукты доставали мама и папа, я тоже иногда стояла в очередях.

> Кто начинал плакать, того сразу призывали прекратить слезы, быть мужественней, деваться ведь нам все равно некуда, и сами сделать мы ничего не можем. А как мне терпеть, когда нет с нами мамы, мы одни? Но я терпела и молчала, сестренка Леночка тоже молчала, прижавшись ко мне.

И вот однажды, уже к концу осады, рано утром, в 3–4 часа, пришли к тете Розе пять человек наших бойцов вместе с ее племянником, и он сказал, что Севастополь сдали и что на

следующий день немцы будут здесь. Было очень страшно такое слышать.

Ушли ребята, и тут начался штурм Севастополя. Папа и мама были на работе, а я с сестрой сидела в бомбоубежище – вместе с людьми и с тетей Розой.

Это был страшный ад. Ежесекундно падали бомбы, все грохотало и тряслось, волосы наши подымались дыбом, щебенка сыпалась в волосы, многие плакали, оплакивали своих близких, родных, матерей, отцов. Я держала на руках сестренку и думала: если мы останемся живы, как я накормлю сестренку, где я возьму еду, питье? Мамы нет, папы нет: в этом аду они не могут остаться живы. Каждую секунду рвались бомбы, мы стали задыхаться, спички не горели, мы сидели в темноте.

Кто начинал плакать, того сразу призывали прекратить слезы, быть мужественней, деваться ведь нам все равно некуда, и сами сделать мы ничего не можем. А как мне терпеть, когда нет с нами мамы, мы одни? Но я терпела и молчала, сестренка Леночка тоже молчала, прижавшись ко мне.

И вот, наконец, все кончилось, затихло. Эта тишина была еще страшнее. Ребята полезли к выходу и сказали, что один выход полностью засыпан, придется идти на дорогу, но мы боялись вылезти. Кто-то рискнул первым это сделать, но тут же вернулся и сказал: «Там все разбито, только груда камней, проводов». Мы стали постепенно выходить. Пошла с сестрой и я. Вот тут начались слезы, вой. Дома все разбиты, только воронки глубокие. У кого старики остались дома, отказавшись от убежища, – погибли. Дом тети Розы тоже весь завалило, в него попала бомба, но старенькая мама тети Розы осталась жива, ее откопали, и она потом пришла в сознание.

Мамы и папы нет. До нашего дома не так далеко идти было, но по груде камней и проводов я не смогла с ребенком пройти. И в это время мы вдруг увидели немца с автоматом. Мне казалось, что сердце у меня во рту, я захотела кричать. Мне было неимоверно жаль всех наших ребят, все наши корабли, всю нашу землю. Мне казалось, что-то грязное, неотвратимое, грозное вступило на нашу землю. Я стала просто рыдать. Меня успокаивали окружающие, но я не успокаивалась. Мне говорили, что я должна терпеть, научиться молчать, не показывать своих чувств. Я поняла, что настало время страшное, нельзя быть такой же открытой, надо учиться сдерживать себя, как бы ни было тяжко.

Потом пришла мама. Сказала, что дом наш разбит снарядами, что все стены рухнули, но крыша есть, хотя и побитая, что цело пианино, хотя и засыпано, и вещи остались. Мы все

пошли домой, пробираясь через провода и груды камней. Мама умудрилась достать нам попить и что-то поесть, успокаивала нас. «Что мы можем сделать, – говорила она, – чем могли, мы помогали своей Родине. Мы с отцом работали, а ты вот бутылки собирала, сдавала. Не наша вина, что все так произошло». Но я все плакала и долго не могла успокоиться.

> Вскоре пришли немцы и объявили, что все евреи должны собраться на стадионе. Мама предложила тете Розе пойти к нам домой и в подвале пересидеть, но она наотрез отказалась: «Я свою маму не брошу, а с ней идти к вам опасно, так как мама уже очень стара. У вас дети, и всех нас побьют».

Затем мы стали разбирать камни, песок, откапывать вещи, приводить все в порядок. В итоге у нас дома на Ломоносова мы все прибрали, да и на Батумской люди откопали летнюю кухню, и там все собрались. Начали печь лепешки вместо хлеба. Где-то муку откапывали, воду опять в тех же колодцах брали, выстаивая очереди.

Вскоре пришли немцы и объявили, что все евреи должны собраться на стадионе. Мама предложила тете Розе пойти к нам домой и в подвале пересидеть, но она наотрез отказалась: «Я свою маму не брошу, а с ней идти к вам опасно, так как мама уже очень стара. У вас дети, и всех нас побьют». Мы с мамой настаивали, но она упиралась. «Что всем, то и нам, – говорила она. – Заставят работать, будем работать, а если умирать, то я уже с мамой и со всеми евреями буду». Она осталась непреклонна. Нашила себе и маме звезду на спину, как им было приказано, и поехала по приказу на стадион.

> Я поняла, что немцы сейчас как звери и что надо терпеть, молчать, не плакать, хотя душа моя бунтовала против всего этого.

Маму свою тетя Роза везла в тачке, так как сама она ходить уже не могла. На следующий день мы с мамой пошли относить им еду. Нас немцы пропустили – у мамы был паспорт. Так мы ходили несколько раз. Потом мама пошла одна, но тети Розы и ее мамы уже не было. Куда их отвезли – никто не знает. Через несколько дней стали поговаривать, что их, очевидно, расстреляли. Но за что?! Я поняла, что немцы сейчас как звери и что надо терпеть, молчать, не плакать, хотя душа моя бунтовала против всего этого.

Как-то мама пришла и говорит:

«Знаешь, Надюша, немцы стали пускать к нашим раненым пленным, а они все лежат на полу в бывшей тюрьме». Папа стал какой-то старый, обросший, молчаливый – он оставался с сестренкой, а мы с мамой распороли подушки и наделали маленьких подушечек. Разорвали простыни на бинты, собрали весь йод, какой у кого нашли и пошли к нашим раненым.

Когда я зашла в тот большой зал, я в ужас пришла: на полу лежали почти один к одному наши ребята. Кто стонал, кто молчал, кто воды просил, кто хлеба. Мама и я быстро стали разбирать что принесли: подушки под головы, пить давали, лепешки, которые мама напекла. Ребята меня успокаивали: «Не плачь, девочка. Будь мужественной. Смотри, что фашисты делают, и помни».

Мы несколько раз с мамой ходили туда. Потом один раз пришли, а нам сказали, что якобы раненых положили по больницам, но я уже ничему не верила. Я и сейчас не уверена, что их не расстреляли всех.

Вскоре после этих событий пришли к нам немцы и объявили, чтобы в 24 часа мы покинули этот дом, так как всю территорию, прилегающую к морю, они освобождают от жителей. Родители заметались.

У нас был знакомый, который жил за Историческим бульваром. Мы часто ходили к ним в гости. У них был свой дом, сад, огород, кошка, собака, которые меня любили. Теперь дядя Фома, как я его звала, остался один. Жену его арестовали до войны, как немку или как полячку. Я не помню уже ее национальности, но это была доброжелательная женщина, очень гостеприимная и хлебосольная. Дочь дяди Фомы была где-то в Москве, а сына убило на работе.

Дядя Фома принял нас с радостью, хотя и жить-то у него было негде, так как в дом попала бомба и все было разбито. Но так как человек он был очень трудолюбивый, то он все разобрал и какие-то уголочки дома покрыл железом, так что кое-как можно было существовать. И вот мы переехали к нему, даже пианино, которое откопали в нашем доме, он перевез. Это уж я очень просила, так как ждала, что когда немцев прогонят, то я снова смогу учиться. В этом разбитом доме с сараями, которые все же остались, мы и расположились.

Звали его Дубинин Фома, дом его находился по улице Чапаева, 29. Немцы сюда почти не заходили, и было относительно спокойно. Часть немецкая стояла несколько в стороне, только высокий забор был виден.

Наступали холода уже, осень. Дядя Фома сказал отцу, что как-то надо отремонтировать хотя бы кусочек дома, чтобы мы

могли перезимовать, и начал подготовку. У него было много всякого материала, человек он был хозяйственный и запасливый. Вот только кровельного железа у него не было, но так как вокруг было много брошенных разбитых домов, то он собирался с их помощью решить проблему. Он уходил куда-то, затем возвращался с кусочками железа и складывал их в сарай.

Однажды он ушел и долго не возвращался. Мне было очень тревожно, я думала, а вдруг его убили немцы. Но пришла женщина и сказала: «Идите скорей! Я видела, что на Историческом бульваре лежит Фома в траве, а рядом с ним – лист железа». Отец с матерью побежали туда, принесли Фому на носилках, он был без сознания. Мать стала его лечить чем-то. Отец искал врача, но не нашел. Фома пришел в себя и рассказал, что он упал из-за этого самого куска. Мы его лечили, и ему становилось лучше. Через неделю он уже встал, но сделался какой-то прямой и малоподвижный, и однажды ночью он умер от столбняка.

Все мы были убиты этим новым горем. Что теперь делать? Куда идти? Похоронили мы его. Соседи сказали отцу: «Куда же вы пойдете с детьми? Оставайтесь тут, а мы вам поможем как-нибудь отремонтировать кусочек дома». Мы и остались – ведь идти было некуда, все разбито. Начали потихоньку разбирать камни и строить жилище, чтобы перезимовать. Я все так же ходила за водой, брала ее в колодце под горой. Мама пекла лепешки из муки, которая у нее еще оставалась, и давала нам по кусочку, варила какую-то похлебку.

Потом мы с мамой куда-то ездили, не помню уже куда, и меняли свои оставшиеся вещи на муку, хлеб, соль.

Как-то папа сказал, что можно поехать в татарскую деревню к дяде Шаипу – это давнишний папин знакомый был, которому в свое время папа в чем-то помог. Он поехал один, пробыл недолго и привез нам фрукты, фасоль, горох. Мы были очень рады такому угощению. Через некоторое время дядя Шаип сам приехал и тоже привез фрукты. Я стала просить дядю Шаипа взять меня хотя бы ненадолго к себе в деревню. Он согласился, и меня отпустили. Пошли мы в деревню Старые Шули, где он жил с семьей.

Жена его и четверо маленьких ребят приняли меня очень тепло, хотя по-русски жена его плохо понимала, но как-то уж мы общались. Я старалась помочь ей, чем могла, ребенка маленького качала, кормила иногда, но чаще дядя Шаип брал меня с собой на работу – он был бригадиром сбивщиков грецких орехов. Много я с ним походила и посмотрела. Заходили мы и в другие деревни к его родственникам. Везде меня хорошо принимали, но от себя дядя Шаип меня никуда не отпускал никогда даже за хлебом. Он

говорил мне, что для меня это опасно: «Наш народ поделился надвое: одни за русских, другие против. Вот они-то тебе могут принести зло. Остерегайся их». Я не знала, кто за, кто против, и никуда не отходила от дяди Шаипа. Иногда я ощущала острые взгляды на себе, но отгоняла страх. Когда он отвел меня домой, то дал орехов, фруктов, и я осталась довольна.

Вскоре произошел такой случай. У нас была знакомая молочница. Много лет она носила нам молоко, пока мы жили на Ломоносова, 12. Я часто у нее бывала все лето, помогала ей по хозяйству, пасла коров, овец. Часто я забиралась на дерево во дворе и пела песни, а она очень любила слушать меня.

Я часто помогала ей складывать сено под крышу, а она разрешала мне завалиться там и поспать. И вот она-то и пришла к нам и пригнала своих овец, телку и козу. Плакала, говорила, что немцы все забирают, а у нас спокойней. Пригнала она их рано утром, рискуя жизнью.

Что делать? Мы в растерянности, но долг платежом красен: когда-то она отцу занимала деньги на пианино. Мама утром пошла по балочке пасти стадо, но скоро я поняла, что дома мне одной еще страшнее оставаться. Отец к тому времени работал где-то кладовщиком или уборщиком, точно не знаю.

На следующий день я пошла скотину пасти, а мама осталась с сестренкой. Приходилось убегать от немцев, которые ко мне направлялись. Иногда я даже пряталась в пещерах по пути на Максимову дачу. Не один раз в меня и в овец стреляли немцы, но я все же умудрялась убежать.

Скоро я заметила стадо коз, которое пас какой-то мальчик. Со временем мы познакомились. Это был городской пастух Вася Шанько. Мы подружились и стали сгонять вместе коз и овец – вдвоем было не так страшно.

Вася Шанько был хорошим мальчиком, моим ровесником. Часто он меня просил, чтобы я осталась одна со всем стадом и при этом чтобы я никому не говорила про его отлучку. Уходил он надолго, а когда возвращался, то был молчалив, и я не задавала ему вопросов. Потом, уже позже, я узнала, что он уходил по заданию брата-подпольщика куда-то на связь. Но вскоре он стал молчалив и грустен – немцы арестовали его брата. Это я узнала гораздо позже. Замучили брата зверски. Нашли этих замученных уже после оккупации. Мы с классом ходили на кладбище Коммунаров хоронить этих ребят. Я плакала, учителя наши Клавдия Ивановна Кораблева, Вера Романовна Девочко и Ада Алексеевна успокаивали меня и говорили: «Знай, Надюша, и помни, какой ценой нам досталась Победа!»

Но это было позже, а пока в оккупации оставшиеся учителя

открыли школу № 14 на Пироговке. Вася сказал, что в школу он пойдет, бросит пасти стадо, и посоветовал мне поступить так же, так как в школе будут наши учителя. Я пошла. Учились мы в одном классе, и еще там было много знакомых мне ребят и девочек. Все мы были дружны, все настроены патриотически: за нашу Родину были готовы все сделать, а, как немцам насолить, придумать не могли. Однажды на уроке математики нас вдруг прорвало, и все мы стали громко петь патриотические песни, да с азартом. Учитель наш бедный бегал между рядами и уговаривал нас: «Не надо, ребята, прошу вас, ведь напротив школы – дом, в котором немецкая часть. Сейчас придут и перестреляют всех». Но мы не унимались.

Однажды на уроке математики нас вдруг прорвало, и все мы стали громко петь патриотические песни, да с азартом. Учитель наш бедный бегал между рядами и уговаривал нас: «Не надо, ребята, прошу вас, ведь напротив школы – дом, в котором немецкая часть. Сейчас придут и перестреляют всех».

Только когда успокоились, то стали ждать, что сейчас кто-то придет, и поняли тогда, какой опасности подвергали мы учителей. Хорошо, что в тот раз все для нас обошлось.

Вскоре наступила весна нашего освобождения… Наши подошли близко к Севастополю. Мы ждали их с великой радостью. На Сапун-горе началась битва, мы смотрели туда вдаль, и сердце болело, что наши так задерживаются, ведь это значит, что много наших ребят гибнет. Мама и я плакали, молили, чтобы скорее наши прорвались и нас освободили.

Но вот наконец-то все стихло, и на противоположной горке я увидела нашего бойца. Радость была необыкновенная. Затем на горку пришли еще несколько бойцов. Мы с мамой выскочили из калитки и к ним кинулись, целовали и благодарили их. Они нам сказали: «Отойдите в дом. Еще не все закончено. Кругом засели немцы». И тут я вижу, что они смотрят в сторону Исторического бульвара. Я оглянулась и вижу, что там стоит немец, подняв руки. Наши ребята пошли в его сторону, и в этот момент раздался взрыв, и двое наших упали. Это немец их обманул. Первого – командира Джугашвили – убило, второго тяжело ранило.

Гнев, негодование, ненависть к врагу нахлынули на меня, а ребята меня успокаивали: «Девочка, ты не знаешь, какие это звери. Хорошо, что мы их гоним и выгоним наконец. Жаль наших ребят, но такова война».

Раненого мы затащили к нам в дом. Я металась, чем помочь, но вскоре пришли санитары, перевязали рану на ноге и тихо

сказали: «Этот не выживет». Я ушла на кухню, потом плакала горько, сидела около него. Он верил, что выживет, рассказывал, что у него двое детей, он должен жить. Тут еще принесли одного раненого – молодой красивый лейтенант. Ранило его в живот, он страшно страдал и просил все время пить, а санитары не разрешали давать воды, и я мазала ему только губы.

Хирурги в больницах были страшно загружены, не успевали оперировать, там была очередь. Тогда два бойца, мама и папа понесли лейтенанта на матраце пружинном в больницу, и там его сразу взяли на операцию.

> Тот боец, что в ногу был ранен, скоро скончался. Мама и я очень плакали, жаль было и его, и его детей, что остались без отца. Моя маленькая сестренка, которая уже бегала, тоже очень плакала: «Где дядя?»

А тот, что в ногу был ранен, скоро скончался. Мама и я очень плакали, жаль было и его, и его детей, что остались без отца. Моя маленькая сестренка, которая уже бегала, тоже очень плакала: «Где дядя?»

Вот так было: горе и слезы.

Потом 9 мая вдруг началась страшная стрельба. Я испугалась ужасно, ко мне прижалась сестренка. Что такое? Мы выбежали на улицу и увидели, что все бойцы стреляют вверх. Мы спрашиваем: «Что это вы делаете?» – а они отвечают: «Это салют в честь освобождения Севастополя». А мы-то этого не знали и так напугались.

В нашем доме уже жили наши офицеры, хотя само жилье было непритязательное, строили его своими силами, но и это было в тот момент шикарно. Теперь мы стали получать хлеб и крупу. Стала налаживаться жизнь.

Вскоре нам объявили, что придет наш флот. Все мы пошли на Приморский бульвар его встречать, с цветами, радостные. И вот появились первые корабли. Народу было очень много. Все кричали «Ура!» и плакали от радости. И все помнили, какой ценой досталась Победа.

Из-за фашистов мамина сестра сошла с ума
Буякова Валентина Ивановна, 1934 г. р

К началу войны и осады Севастополя мне было всего восемь лет. Но картины и впечатления, все пережитое в то страшное время до сих пор не стерлись из моей памяти.

Я родилась 23 января 1934 года в Севастополе. Мы с отцом, матерью и младшей сестренкой Тамарой жили в Карантинной балке по улице Понтонная, дом 3. Отец, Буяков Иван Максимович, 1900 года рождения, был участковым милиционером в Карантинной балке. Мать, Буякова Татьяна Степановна, 1914 года рождения, работала в столовой военно-морского училища в Стрелецкой бухте. Она сперва участвовала в подготовке училища к эвакуации, а затем до последнего дня оставалась в воинской части в районе улицы Минной.

> В наш дом попали две зажигательные бомбы. Они пробили крышу, но не взорвались. После одного из налетов, когда мы с сестренкой прибежали домой, то обнаружили их в шифоньере.

Над нашей Карантинной балкой ежедневно пролетали десятки фашистских самолетов в сторону Фиолента, Херсонеса, Казачьей бухты. Рядом с балкой были бухта с кораблями и база торпедных катеров. Бомбили нас ежедневно в любое время дня и ночи. Бомбы попадали почти в каждый дом на нашей улице. Так были разрушены дома наших соседей – под номерами 5, 7 и 9. В наш дом попали две зажигательные бомбы. Они пробили крышу, но не взорвались. После одного из налетов, когда мы с сестренкой прибежали домой, то обнаружили их в шифоньере.

Когда налет заставал нас в доме, мы прятались в маленьком окопчике у дома, который сделал отец. Попасть в него можно было только ползком.

Бомбардировок сначала я очень боялась. Позже настолько привыкла к ним, что иногда во время налета и гула самолетов я приоткрывала дверцу окопчика и, глядя в небо, где отчетливо были видны фашистские бомбардировщики и падающие из них бомбы, комментировала маме: «Над нами летят пять самолетов. Они сбросили 8—10 бомб. Но они на нас не упадут. Их ветром отнесет далеко. Так что ты, мама, не бойся». Но, когда бомбы попадали в наши балки и мы выходили на поверхность, помню, как было жутко. В балке становилось почти темно от пыли и гари. Горели не только дома, но и земля, и камни. Смрад в воздухе,

какой-то пыльный трупный запах, дышать было невозможно. В окопчике нас несколько раз засыпало взрывной волной. Однажды был такой сильный взрыв, что нас оглушило. А у сестренки Тамары, которой было всего три года, проблемы со слухом остались на всю жизнь.

До сих пор не могу забыть страшную трагедию, которая произошла у соседки тети Дуси, которая жила по адресу: улица Понтонная, дом 9. Налет фашистских самолетов застал нас в доме. Мы едва успели укрыться в нашем окопчике. Когда самолеты улетели, я открыла дверцу окопчика и увидела рядом молча стоящую тетю Дусю. Она стояла как безумная, с распущенными волосами, и держала на руках сына Колю, с которым я окончила первый класс в школе номер 19. Голова и руки Коли болтались – он был мертв. Рядом стоял ее перепуганный четырехлетний плачущий сын Виктор. Мы с мамой онемели и не знали, что делать. И тут внезапно снова налет, гул самолетов уже близко. Мама кричит ей: «Дуся, давай Колю оставим здесь и бежим в укрытие. Иначе мы все здесь сейчас погибнем!» Они положили Колю на землю около развалин, и мы побежали в укрытие.

> Воды в городе не было, так как все водопроводы были разрушены. На улице Минной колонка с краном не работала. Поэтому изредка собиралась очередь за водой у колодца, который был у огородника в низине, метрах в ста от нашего дома. Там погибло немало женщин и стариков. Налетали «мессершмитты», низко пикировали на очередь и стреляли в людей из пулеметов.

Потом тетя Дуся рассказала, что, когда приближались фашистские самолеты, ее мама была в доме, а она с обоими сыновьями добежала до летней кухни со двора, бросила мальчиков на пол, сначала старшего, а на него младшего. А сама легла сверху, закрыв их собой. Бомба упала прямым попаданием в их домик. От дома осталась груда камней, а бабушку разорвало на части. После налета тетя Дуся поднялась с пола и с ужасом увидела, что Коля мертв. Хоронили бабушку и Колю в их дворе.

Воды в городе не было, так как все водопроводы были разрушены. На улице Минной колонка с краном не работала. Поэтому изредка собиралась очередь за водой у колодца, который был у огородника в низине, метрах в ста от нашего дома. Там погибло немало женщин и стариков. Налетали «мессершмитты», низко пикировали на очередь и стреляли в людей из пулеметов. Люди разбегались, искали где-нибудь укрытия. Мама иногда оставляла нас в укрытии, уходила домой, чтобы хотя бы согреть

на примусе чай. А, придя, рассказывала женщинам: «Опять были трупы».

За несколько дней до начала оккупации воинская часть, где работала мама, получила указание срочно эвакуироваться. Все выехали в сторону Фиолента. Начальник уговаривал маму уезжать: «Иначе, вы здесь погибнете». Но мама отказалась. Она сказала – ну куда я поеду с детьми, лучше здесь погибнем, чем где-то. Хотя я не знала, что тысячи людей уже не смогли эвакуироваться, так как фашистские самолеты бомбили и топили весь транспорт и у моря, и у берега. Последние несколько дней было очень страшно. Это был ад. Мы в эти дни совсем не выходили из укрытия. Не прекращая, гудели фашистские бомбардировщики, пикировали «мессершмитты», начался артиллерийский обстрел. Слышно было, как где-то недалеко с грохотом вылетали из пушек снаряды. Мы не знали, в какую сторону бежать. Подобное я видела только в кинофильмах о войне на передовой.

> На следующий день началась облава по домам уцелевших жителей. К нам пришли трое фашистов с автоматами. Долго рылись в шкафах, вещах, книгах, альбомах, искали подтверждение наличия в семье евреев, офицеров, коммунистов, книги Ленина, Сталина и другие. Потом вышли во двор, осмотрели сарай. Мама боялась, что они найдут фото отца в милицейской форме.

Помню, что я больше всего боялась взрывов снарядов. Закрывала уши руками, чтобы не слышать этого кошмара, и думала, что теперь мы уж точно погибнем. После этого наступила тишина. С утра не бомбили, не стреляли. Нас в укрытии осталось человек 12 женщин и детей. Мы вышли на поверхность подышать. И где-то часов в 14 мы увидели, как от улицы Пожарова по улице Минной к нам движется группа фашистов-мотоциклистов. Они шли и везли рядом свои мотоциклы. Страшные, вооруженные, в касках, они приблизились к нам, осмотрели нас. Затем один из них дал очередь из автомата внутрь укрытия и, убедившись, что здесь только женщины и дети, по-немецки приказал всем разойтись по домам. На следующий день началась облава по домам уцелевших жителей. К нам пришли трое фашистов с автоматами. Долго рылись в шкафах, вещах, книгах, альбомах, искали подтверждение наличия в семье евреев, офицеров, коммунистов, книги Ленина, Сталина и другие. Потом вышли во двор, осмотрели сарай. Мама боялась, что они найдут фото отца в милицейской форме. А в сарае в бочке под хламом лежало два

килограмма муки, которые она берегла на черный день. Мама держала меня за ручку, и я чувствовала, как дрожит ее рука. И я боялась, что нас убьют фашисты. Но все обошлось.

Хорошо помню, как по улице Пожарова в течение двух дней непрерывным потоком с утра до вечера гнали колонны пленных – последних защитников Севастополя, мужчин и женщин с детьми, которые не успели эвакуироваться и которые работали до последнего дня в воинских частях. Я пошла на улицу Пожарова, надеясь увидеть среди пленных кого-нибудь из родных или знакомых. И то, что я увидела там, меня потрясло. Это забыть невозможно. Шли матросы в тельняшках, раненые, с окровавленными повязками, истощенные, мучимые жаждой, так как была сильная жара, это был июль месяц. Они просили хотя бы глоток воды. Они были обессиленные. Они еле двигались, шли обнявшись и несли на себе других или поддерживали тяжелораненых, которые вообще не могли идти. А фашисты-конвойные на лошадях подгоняли их, кричали и били плетками. Возле дома на улице Пожарова, 10, стояли несколько женщин из уцелевших жителей. А рядом вся в крови лежала убитая фашистами женщина. Ее убили за то, что она вынесла пленным ведро воды. Тут же валялось пустое ведро, и вокруг разлита вода. Одна женщина тихо сказала: «Фашисты не разрешают убрать труп женщины. Они сказали, пусть видят все, кто захочет им принести воду».

В первый день я увидела среди пленников работников воинской части, где работала мама. Я пошла на второй день на улицу Пожарова и прошла дальше до пустыря. Там я увидела родную мамину сестру – Любу и двоюродную – Фиму. Люба в 1941 году окончила 10 классов – работала бухгалтером в воинской части в училище в Голландии [27]. Они шли, поддерживая друг друга. У Любы на голове была окровавленная повязка. Я бросилась к ним и уговаривала их бежать, так как фашиста на лошади не видно. Мы втроем побежали по пустырю к балке. Но фашист увидел нас. Примчался на лошади, стеганул нас плеткой и с криком погнал обратно в колонну пленных. Я горько плакала. Прибежала домой и рассказала все маме. Мама из последней муки испекла лепешки и рано утром пошла с соседкой к тюрьме на улицу Восставших. Не знаю, как им удалось среди тысячи пленных за колючей проволокой разыскать сестер и уговорить охранников их отпустить. Пригодились лепешки и немецкий язык, который Люба неплохо выучила в школе. Мама привела сестер домой. Но через два месяца Любу вместе с другой молодежью города фашисты угнали на работу в Германию, и мы четыре года считали ее погибшей. Только в 1946 году она

вернулась в Севастополь. В 24 года она – красивая и умная – из-за всего пережитого потеряла рассудок. Лечили ее в психбольнице в Симферополе. Она дожила до старости, так и не излечившись.

Любу вместе с другой молодежью города фашисты угнали на работу в Германию, и мы четыре года считали ее погибшей. Только в 1946 году она вернулась в Севастополь. В 24 года она – красивая и умная – из-за всего пережитого потеряла рассудок. Лечили ее в психбольнице в Симферополе. Она дожила до старости, так и не излечившись.

Удивительно то, что во время осады города и после нее мы не умерли от голода. Ведь нам не давали ни пайков, ни хлеба. Магазинов никаких не было. Помню, что ели очистки от картошки и какую-то траву, суп с галушками из муки, облитой керосином, который можно было есть, только зажав нос пальцами.

Помню случай, когда фашисты при разгрузке сосисок упавшую на землю сосиску бросили в толпу детей, как собакам, и, пока мы за нее дрались, они смеялись.

Помню, я лежала больная с высокой температурой и мечтала о кусочке хлеба. Я думала – вот если бы я сейчас съела кусочек хлеба, я бы сразу поправилась. Еще помню, как мы с группой людей пошли в татарские деревни, которые находились в 20-ти километрах от города. Мы надеялись поменять оставшиеся вещи на овощи и молочные продукты. Мама хотела идти одна, но я уговорила ее взять меня с собой, так как боялась, что мама может не вернуться. Слабые и голодные, мы шли целый день. Было тяжело. Страшно болели ноги. Но я не жаловалась. Фашисты объехали на лошадях всю деревню, всех нас выловили, отобрали все, что мы выменяли у старой татарки – несколько картофелин, огурцов и литр простокваши, – посадили нас за решетку и выпустили только вечером, предупредив, что по деревням ходить запрещено, иначе расстреляют.

Вскоре после прихода фашистов в Севастополь они объявили Карантинную балку запретной зоной и обнесли колючей проволокой. Оставшихся в живых жителей переселили на улицу Пирогова в сохранившиеся дома, в которых раньше жили эвакуированные семьи офицеров. Говорили, что фашисты полагали, будто дома заминированы, и сами побоялись в них въехать и потому решили проверить на нас. И мы боялись, что мы в любое время можем здесь погибнуть. Но, когда они убедились, что мин нет, приказали выезжать из Севастополя куда хотим.

Помню, я лежала больная с высокой температурой и мечтала о кусочке хлеба. Я думала – вот если бы я сейчас съела кусочек хлеба, я бы сразу поправилась.

Мама получила в гестапо разрешение, и в 1943 году мы выехали в село Юзскун за Джанкоем, где жила ее мама с младшими сестрами. Там мы продолжили жизнь в оккупации, и только в конце 1945 года смогли вернуться в Севастополь по вызову родственников, так как город был закрыт. Я увидела и запомнила вид центра Севастополя: кроме главпочтамта и храма – груда камней. Нам пришлось жить еще несколько лет в развалинах и подвалах.

После войны я окончила севастопольский судостроительный техникум, затем филиал Николаевского кораблестроительного института в Севастополе, вечернее отделение по профессии инженер-кораблестроитель. По окончании техникума в 1953 году министерством была направлена на работу на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе и проработала там до 1996 года. Ушла на пенсию с трудовым стажем 48 лет.

Работая на заводе, в честь 200-летия основания завода в 1983 году была награждена грамотой Президиума Верховного Совета Украины за заслуги перед Украиной в области судостроительной промышленности. В настоящее время на пенсии и проживаю в Севастополе.

Немецкие конвои не жалели патронов Васильев Борис Павлович

После взятия Севастополя в плен попали десятки тысяч людей, многие из которых не дождались освобождения. Страшные воспоминания поломанного детства, обагренного кровью времени. Вспоминая пережитое, не могу забыть, как после захвата Севастополя немцы гнали людей с мыса Херсонес, где их взяли в плен, в концлагеря Бахчисарая и Симферополя. На всем протяжении дороги оставались лежать наши убитые солдаты и гражданские. До сих дней не могу забыть убитую мать с месячным младенцем, которых тоже взяли в плен, а потом расстреляли. Они лежали сбоку дороги на остановке Дмитрия Ульянова на перекрестке к Херсонесу, а рядом – тела трех солдат, убитых при попытке сбежать из колонны военнопленных под мост.

После захвата Севастополя немцы гнали людей с мыса Херсонес, где их взяли в плен, в концлагеря Бахчисарая и Симферополя. На всем протяжении дороги оставались лежать наши убитые солдаты и гражданские. До сих дней не могу забыть убитую мать с месячным младенцем, которых тоже взяли в плен, а потом расстреляли.

И так было везде, где стояли мосты: пленные старались убежать из строя, но конвоиры не жалели патронов, горы трупов росли, перейти дорогу было нельзя, иначе ты тоже попадал в колонну. Гнали пленных очень долго, говорили, что всего в колонне было 78 тысяч человек. Даже сегодня на остановке троллейбуса № 6, напротив кинотеатра «Россия», колеса машин топчут могилу трех солдат, закопанных в воронке от бомбы. Их закапывала моя мать, которую немцы заставили отрабатывать трудовую повинность. Людей заставляли хоронить трупы, которых было очень много. А по берегам моря лежали утопленники с погибших кораблей, которых тоже надо было хоронить, и тогда мы прятали тела в бесчисленные воронки от бомб и снарядов.

Водопровода не было, воду брали из колодцев, которых было немного, в основном в Карантине, в самом низу балки. Очереди выстраивались огромные со всего города, так как другой воды не было нигде. Мы – я с дядькой, ремонтируя дом, который после бомбежек пришел в негодность, ходили, чумазые и измазанные,

умываться на море, где по всему берегу лежали выброшенные волнами утопленники, раздутые до огромных размеров трупы. Чтобы дойти к воде, мы перешагивали через тела или обходили их стороной – страшно вспоминать, но делать это приходилось. Состояние наше было такое, что от чувства страха и брезгливости не осталось и следа, нужно было жить и выживать, и это было главное.

> Даже сегодня на остановке троллейбуса № 6, напротив кинотеатра «Россия», колеса машин топчут могилу трех солдат, закопанных в воронке от бомбы. Их закапывала моя мать, которую немцы заставили отрабатывать трудовую повинность.

Где-то в августе 1942 года немцы вывесили приказ, чтобы все население покинуло километровую зону у берега моря. В случае невыполнения этого приказа – расстрел. Не хотелось покидать дом, а надо, иначе не жить. Некоторым пришлось жить в пещерах, в окопах – кто где смог себе найти место. А делалось это, как потом выяснилось, из осторожности – немцы хотели обезопасить себя на случай высадки десанта к ним в тыл. Когда начало холодать, немцы объявили сбор всех, кто хочет переехать в другие районы Крыма. Собравшихся сажали в вагоны и вывозили к Мелитополю, вот и мы туда попали. Вначале жили в Песчаном, в школе. Затем попали в Мордвиновку, в школу, затем нас из школы выгнали, и мы попали жить к хозяевам в селе. И там мы работали, пока нас не освободили наши войска. Затем мы вернулись в свой Севастополь.

Меня звали работать в цирке, но мама не отпустила
Вобликова (Тягнибеда) Людмила Степановна, 1928 г. р

Родилась 21 сентября 1928 года в Севастополе. Жила в поселке Инкерман с мамой, папой и двумя братьями в своем доме на Зеленой горке. Училась в школе, была октябренком, пионеркой. Война началась, когда закончила пять классов.

Налеты немецких самолетов все время усиливались. На инкерманском заводе шампанских вин сокращалась работа, освобождались штольни. Там открылись школа, клуб, госпиталь, хлебопекарня. Я в тот момент уже училась в шестом классе. В школьном самодеятельном кружке мы выступали перед бойцами, пели, плясали, читали стихи.

Потом стали привозить раненых бойцов. Усилился поток беженцев из разных городов. Помню, как приехал цирк из Одессы. На уроках физкультуры присутствовал артист цирка, предложил мне выступать перед бойцами. Я с дядей Семеном выступала – делали акробатичные номера. Маму стали уговаривать, отпустить меня с цирком: «У вашей дочери Милочки природные данные: внешность, голос и исключительная гибкость, вы приедете на Кавказ и сразу наш цирк найдете». Но мама отказалась, цирк уехал. Стала я выступать с дядей Колей (он был нашим санинструктором) в клубе.

Посещала госпиталь, выводила на прогулку раненых, лежачим давала пить воду, лекарства, читала им их письма, просили спеть – пела. Днем нас с дядей Колей возили к другим бойцам. Последняя поездка на «козлике» (так машину называли бойцы) была, когда выезжали на Лабораторное шоссе. В темное время на фарах машины щитки – поэтому свет идет лишь через узкую щель. В этот момент начались взрывы снарядов, один взорвался недалеко от нас. Но в итоге мы добрались. Там нас накормили и подарили мне вазончик с цветком цикломеной.

Потом школа закрылась, я пошла работать в спецкомбинат № 2. Работали круглосуточно. Постоянные авианалеты и взрывы снарядов. Оказалась я в 13-й штольне. Пахло вином, лежали на полу раненые бойцы. Женщины снимали нижнее белое белье, отдавали его на бинты госпитальному врачу, который оказывал помощь молоденьким ребятам. Папа работал на этом заводе

комендантом. Его с семьей до последних дней обещали эвакуировать.

> Оказалась я в 13-й штольне. Пахло вином, лежали на полу раненые бойцы. Женщины снимали нижнее белое белье, отдавали его на бинты врачу госпитальному, который оказывал помощь молоденьким ребятам.

Потом пришли немцы. Выгнали нас из штольни. Парень из нашей толпы пытался убежать. Немец выстрелил – он упал, никто к нему даже не подошел. Нас, кто в чем был одет, с двумя часовыми немцы погнали. Привели на луг ниже Зеленой горки, велели всем сидеть. Приезжали две крытых машины, два офицера и четыре солдата. Увозили парней и девочек. Жутко, страшно смотреть и слышать крики дочерей и матерей, солдаты отбивались ногами. Когда с нами остался лишь один часовой, я и мой средний брат рискнули и убежали.

Боялись выстрела в спину, но обошлось.

Ездили к татарам в деревни менять вещи на еду. Вообще, я вспоминаю и думаю: как мы выжили?!

Помню, как приближался день освобождения. Мы прятались уже от наших самолетов. Помню, как румынские солдаты уносили с собой самовары, трюмо, узлы, свертки – забирали у населения то, что им понравилось. Немцы увозили молодежь, увезли и моего старшего брата Сергея.

А нас собрали на Куликово поле, загнали в деревянную конюшню, обнесенную колючей проволокой. Внутри помещения навоз и солома. Нас построили, выдали инструмент для уборки, мы должны были привести все в порядок. Офицер с тросточкой делает обход – к каждому подходит и смотрит. Подошел к среднему моему брату Георгию, который был хромой и ходил с палочкой. Офицер смотрел-смотрел, а потом как дернет за бинт своей тросточкой – я испугалась и смотрю на брата: он от боли скривился, и стоит бледный. Ведь у него и нога, и рука здоровые, а повязка была лишь для того, чтобы его не увезли.

> Потом добрались до церкви – там, за алтарной частью, было маленькое убежище, в котором прятал священник молодежь. Там нас накормили, а позже священник сказал, что наши войска уже на подходе к Севастополю и чтобы мы расходились по одному.

Потом мы с мамой убежали из конюшни. Охраняли нас двое часовых, они встречались друг с другом и затем снова расходились в стороны. Мы с мамой пошли воды из крана

набрать, часовые разошлись, и мы вышли за калитку. Потом ползли по канаве для стока воды. Проехали три машины большие открытые с немцами, но не заметили нас. Мы вышли на дорогу – там бежала лошадка, везла бричку с погонщиком навстречу нам.

Потом добрались до церкви – там, за алтарной частью, было маленькое убежище, в котором прятал священник молодежь. Там нас накормили, а позже священник сказал, что наши войска уже на подходе к Севастополю и чтобы мы расходились по одному.

Помню, как пришла наша армия – брат привел молоденького солдатика с красными матерчатыми погонами. Его мы все обнимали, целовали, от радости рыдали. Солдатик говорил: «Идите по домам, наши в Севастополе, отпустите меня – я должен своих догонять». Мы пошли домой. Наши солдаты останавливали нас время от времени для проверки документов. А на мысе Херсонес еще продолжалось сражение.

Севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных… Густылева Светлана Николаевна, 1926 г. р

До войны мой папа был фотографом, кустарем-одиночкой, работал на Приморском и Историческом бульварах. Мама была учителем в школе глухонемых. Помню, что папа исправно платил налоги. Семья была небогатая, налоги были приличными. Но от сезона к сезону мы как-то держались.

Папа был глухонемым. Работал со своей сестрой, которая хорошо слышала, поэтому тандем держался «на плаву». Будочка фотографа стояла то на Приморском бульваре под мостиком, то на Историческом бульваре с правой стороны от памятника Тотлебену. Я знаю, что серьезная проблема в нашей семье была еще и потому, что с апреля по ноябрь заработок был хорошим, а в остальное время – зимой и осенью – работы не было, хотя налоги приходилось платить. Насколько я помню, финансовый инспектор сам приходил по месту работы отца. Как-то я оказалась случайным свидетелем того, как отец с сестрой распределяли доходы. Это за аренду места, это за оплату материала, это сторожу, который караулит будку. Заработок приходилось делить на две семьи, так как сестры жили отдельно. Поэтому нам жилось непросто.

Вообще же, наша семья приехала в Севастополь еще в 1911 году – отец с сестрами перебрался сюда из Сибири – из Томской или из Иркутской области. До того они объездили всю Россию. Сначала приехали на Кавказ, потом перебрались в Ялту. А там им рассказали о том, что есть замечательное место – Севастополь. И папа потом всю жизнь вспоминал, как его поразили цветущие здесь в декабре розы.

До революции семья жилье снимала, а потом нам дали квартиру, которая находилась на нынешней улице Нахимова. До войны она носила имя Фрунзе. Дом, как помню, стоял рядом с современным Институтом усовершенствования учителей. Отец вспоминал, как в Гражданскую часто менялась власть – в город входили то немцы, то англичане. Хорошо помню, как на Историческом бульваре на всех деревьях и на столбах раскачивались повешенные русские офицеры, а папа рассказывал, что висели офицеры и по кольцу города. Отец, несмотря на то что был малограмотным, очень любил книги, поэтому старался выкраивать средства, чтобы выкупать подписные издания. Так у нас появились в доме томики Тургенева, Толстого и других

классиков.

> Прежде чем враг вошел в Севастополь, пришлось учиться в так называемой «подземной школе», которая находилась по адресу: ул. Ленина, дом 58, рядом с памятником мужеству и стойкости героев-комсомольцев. Школа носила 13-й номер и находилась в бомбоубежище возле территории нынешнего сквера, где в скате горы был подвал.

Работа фотографа была, конечно же, сезонной. Поэтому в зимние месяцы мы жили на то, что зарабатывала мама. Она работала в школе глухонемых, которая находилась на улице Большая Морская, если смотреть на главпочтамт – здание с правой стороны. А напротив нынешнего кинотеатра «Победа» был клуб глухонемых, где находился ликбез. Мама до войны была даже членом райсовета. Она еще в детстве потеряла слух, хотя все понимала по губам и прекрасно говорила. Тем не менее я ходила с ней и помогала, когда нужно было решать какие-то проблемы.

Как только я закончила шесть классов, началась война. Прежде чем враг вошел в Севастополь, пришлось учиться в так называемой «подземной школе», которая находилась по адресу: ул. Ленина, дом 58, рядом с памятником мужеству и стойкости героев-комсомольцев. Школа носила 13-й номер и находилась в бомбоубежище возле территории нынешнего сквера, где в скате горы был подвал.

В начале июля 1942 года в Севастополь стали входить немцы. Помню, как к Хрусталке[28] ползли танки. Чужая речь зазвучала на набережной Корнилова – она тогда называлась улицей Энгельса.

Перед сдачей города мы перестали ходить в убежище, даже когда город усиленно бомбили. Наша квартира находилась на первом этаже здания, а сам дом был трехэтажным. И когда однажды немцы сбросили целую серию бомб, одна угодила в крышу третьего этажа. Последствия взрыва были ужасны. В нашей квартире оторвало массивную ставню и бросило на кровать, где я лежала. Лишь чудо тогда уберегло меня от смерти. Ставня упала на обе спинки кровати, и я очутилась под ней. Так я осталась жива, хотя выбираться пришлось из-под кусков штукатурки. Мы выбежали на улицу, дом сгорел, и никаких вещей спасти не удалось.

Началась жизнь в оккупации. Она оказалась, конечно же, несладкой. Во-первых, негде было жить. Мы с папой ходили в учебный отряд, тащили оттуда уцелевшие бревна, укрепляли их на уцелевших стенах, туда же затаскивали листья железа. Такой

дом стал на первых порах нашим пристанищем. А потом наверху, в массиве, который сегодня расположен над проспектом Героев Севастополя – мы его называли «Бомборы», – я нашла пустой флигелек. И мы перебрались туда.

Другая беда – пришел голод. Я в компании со своими школьными друзьями ходила нищенствовать. Мы переезжали на Северную сторону и шли пешком аж до Николаевки. Очень хотелось есть. Мама с папой пухли от голода, поэтому приходилось просить милостыню. У кого осталось барахло, меняли его у татар на продукты. У нас не было ничего.

Хорошо помню, как севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных. Лагерь для них находился на Матюшенко. Отдавали кто сережки, кто кольцо, тут же придумывали истории, мол, это мой брат или это мой муж. Стояла страшная жара. Лагерь расположился на пустыре. Пленные, многие из которых были ранены, просто лежали или сидели на земле. Мы – ребята старались подносить воду в ведрах. Однажды комиссар передал записку – «воды». И мы, ребята, наполнив ведра, отправились туда. Увидели огромную площадь, заполненную людьми.

Пришел голод. Я в компании со своими школьными друзьями ходила нищенствовать. Мы переезжали на Северную сторону и шли пешком аж до Николаевки. Очень хотелось есть. Мама с папой пухли от голода, поэтому приходилось просить милостыню.

Немцы расстреливали раненых сколько хотели. Мы нашли политрука, которого знали еще по госпиталю. Было страшно, потому что мы несли воду конкретным людям, но пить хотели все. Помню, что находились и подонки. Кое-кто говорил:

«Пан офицер, вот этот „юде“». И тогда людей клали лицом вниз в воронки и расстреливали. Я запомнила, что, когда это происходило рядом, комиссар заслонял мое лицо, чтобы я не видела казни.

Оккупация – страшная вещь. Мы часто наблюдали, как угоняемые в Германию грузились в вагоны. Мы старались быть подальше от зачисток, но однажды я все-таки попала. Шли татарские каратели – они проходили и забирали всех, кто прятался. Нас отвели в здание бывшего райкома на Пушкинской, где сейчас находится суд. Там немцы устроили комендатуру. Меня туда завели в толпе подростков, я была рослая, крупная, лицо было исцарапано. Перед этим мы возвращались с Северной стороны, и на месте церкви, где потом построили 9-ю школу, я потеряла сознание и упала. Сидела комиссия – полицейский, врач, переводчик-немец. Русская врач мне говорит: «Что у вас с

лицом?» Я говорю: «Упала». Она увидела, что переводчик отвлекся, и сказала: «У вас же падучая», – подсказывая мне, что нужно сказать. Поэтому меня отбраковали и не взяли в Германию. И я помню эту женщину всю свою жизнь.

> Хорошо помню, как севастопольские женщины выкупали у немцев военнопленных. Лагерь для них находился на Матюшенко. Отдавали кто сережки, кто кольцо, тут же придумывали истории, мол, это мой брат или это мой муж.
>
> Сидела комиссия – полицейский, врач, переводчик-немец.
>
> Русская врач мне говорит:
>
> «Что у вас с лицом?» Я говорю: «Упала». Она увидела, что переводчик отвлекся, и сказала:
>
> «У вас же падучая», – подсказывая мне, что нужно сказать. Поэтому меня отбраковали и не взяли в Германию. И я помню эту женщину всю свою жизнь.

Потом севастопольцев начали загонять в вагоны и увозить по крымским и украинским районам. И мы с мамой попали в такой вагон, который должен был ехать на Украину. Я удрала и маму вытащила. Моя мама жила под Запорожьем, чтобы туда добраться, я нашла какой-то огромный пустой состав. Был декабрь, шел дождь, хлестал ветер. Мы с мамой залезли в вагон – стены были в нем только боковые – и так доехали до Запорожья. Там поезд остановился и нас задержала полиция. Помню, как полицейские перевели нас в каптерку – на мне был слой замерзшего льда. «Откуда?» – «Из Севастополя». Наверное, во время войны это было ключевое слово. Полицейские как-то смягчились, позвали ближе сесть к печке и дали кружку чего-то горячего. Я рассказала, что у нас родственники в Васильевске. Утром шел поезд, и они нас посадили в него, предупредив, что везде действует комендантский час. Доехав до нужной станции, мы четыре километра шли пешком. Нашли родных. Оказалось, что, когда бомбили Днепрогэс, бомба упала и на Васильевск, – тетю ранило, и она умерла. А муж остался жив. Он сказал: «Будем выживать вместе».

> Людей клали лицом вниз в воронки и расстреливали.
>
> Я запомнила, что, когда это происходило рядом, комиссар заслонял мое лицо, чтобы я не видела казни.

Почему немцы старались выслать население из Севастополя?

Это понятно. Они были обозлены на ожесточенное сопротивление. Старались наказать людей, которые не покорились. Голод был страшный. Начались повальные болезни. Управа давала только по 300 граммов кукурузного хлеба, но этого не хватало. Мы зарабатывали тем, что ходили с мамой копать огороды, выполняли любую работу, лишь бы продержаться. А когда освободили Польшу, появилась возможность покупать фотоматериалы, и папа снова начал работать.

После войны, в 1948 году, я вышла замуж, у меня родилась дочь. Но родители решили, что я обязательно должна получить образование, – так я стала учителем русского языка и литературы, хотя всю жизнь мечтала получить инженерное образование. Но тем, кто оказался на оккупированной территории, дорога в эту профессию тогда была закрыта. В 1955 году мы вернулись в Севастополь. В школе я проработала 53 года. Ушла на пенсию только в феврале 2006 года, накануне своего 80-летия.

Мы выстирали пять тонн окровавленного белья
Джепарова (Бурнашева) Мастюра Валиевна, 1928 г. р

Я родилась в 1928 году в Севастополе, в семье Вене Бурнашева и Инелеевой Хадыче Шарифовны. Всего в семье было четверо детей.

Перед войной и во время обороны Севастополя мы жили в частном доме по улице Лабораторной, 67,– теперь это улица Подольцева, 89. С первых дней обороны мой отец был призван в армию и пропал без вести на передовой. Старший брат работал на Морзаводе, изготавливал втулки для «катюш». Несмотря на бронь, ушел на передовую, но был отозван как стоящий специалист и восстановлен на своем рабочем месте. Он работал в инкерманских штольнях, был на казарменном положении. Только раз в месяц на пару часов его привозили повидаться с семьей. А все наши соседи и я с первого дня обороны по призыву председателя уличного комитета Поповой Надежды Ильиничны ходили копать окопы.

> Директор завода шампанских вин привез нам технический шампанский сахар, похожий на длинненькие хрусталики. Хорошо, что у нас во дворе был колодец: наберешь водички, бросишь туда сахар, и так сладко кажется. Сахару всем перепадало.

В нашем дворе был большой подвал, в него могла въехать грузовая машина. При бомбежке там прятались люди со всей округи, даже стекались жители с улиц Ленина и Карла Маркса. По соседству с нами приютилась семья директора завода шампанских вин. Директор заботился не только о своей семье, он старался оказать посильную помощь всем остро нуждающимся. Однажды привез нам технический шампанский сахар, похожий на длинненькие хрусталики. Хорошо, что у нас во дворе был колодец: наберешь водички, бросишь туда сахар, и так сладко кажется. Сахару всем перепадало. Директор погиб в инкерманских штольнях 30 июня, когда наши при отступлении взорвали штольни вместе с людьми. Его семья уцелела, а кормильца так нелепо не стало.

Когда спустишься с нашей горочки на Лабораторное шоссе, то через дорогу видно воинскую часть. Нас приглашали помогать

варить пищу из концентратов для бойцов. Походную кухню на лошадях возили на передовую, даже до 25-й батареи. Бойцам мы помогали, а сами недоедали.

Из части в наш двор приезжали большие котлы для стирки белья фронтовикам. Мы таскали воду из колодца, а зимой собирали снег. Когда фугасные бомбы разрушали дома, мы бегали на развалины в поисках дров.

Когда исполнилось сорок лет обороны Севастополя, по радио выступил замечательный поэт Роберт Рождественский. Он рассказал, что во время обороны города на улице Лабораторной была создана бригада женщин, стиравших белье для раненых. И он сказал, что возглавляла эту бригаду наша мама. Как мы были счастливы услышать это.

> Задрав голову, мы кричали: «Дяденька матрос! Покорми нас! Отцы и братья на фронте!»
>
> С корабля отвечали: «Забирайтесь на палубу. Наливайте еду в свою посуду».

А еще он сказал, что молодые патриоты – то есть мы, четырнадцатилетние ребята со двора дома № 67 по улице Лабораторной, – выстирали пять тонн окровавленного белья!

Сами же мы были грязные, вшивые, голодные. Когда военные корабли заходили в Южную бухту под прикрытием дымовой завесы, мы собирались стаей по 15–20 человек и бежали под бомбежкой через железнодорожное полотно к клубу. Там к пристани подходил крейсер «Красный Крым». Задрав голову, мы кричали: «Дяденька матрос! Покорми нас! Отцы и братья на фронте!» С корабля отвечали: «Забирайтесь на палубу. Наливайте еду в свою посуду».

А потом, когда донесем до подвала харчи, они покроются песком, ведь мы преодолевали дорогу смерти от моря до горки под прицелом пикирующих немецких самолетов. И каждый раз мы теряли ребят.

Еще мы помогали выхаживать раненых. С гордостью могу сказать, что у нас не умер ни один раненый.

При оккупации города немцами мы помогали партизанам. Рвали съедобный корень барамбульки и из него варили похлебку. После войны на нашей горке уцелело только три дома, среди которых был полуразрушенный наш. В этом доме я живу до сих пор. Из всей семьи сейчас осталась я одна.

Не пойти в школу считалось трусостью Добровольская Светлана Порфирьевна, 02.07.1927 г. р

21 июня 1941 года, в субботу, объявили конец занятий, моряки возвращались домой, весь город засиял огнями. А в ночь на воскресенье все были разбужены страшным грохотом орудий, стрелявших по самолетам. Один из них загорелся и начал падать с черным шлейфом дыма. Прогремел взрыв – это на улице Подгорной упала тонная мина, сброшенная с самолета, она попала в жилой дом, погибли люди.

Но слово «война» никто не произнес, настолько оно было чудовищно. Только утром после обращения по радио слово «война» вошло в нашу жизнь на долгих четыре года. Жуткое это было время.

Вскоре нас, школьников, собрали в Доме пионеров, он тогда находился в караимской кеннасе, в кинотеатре «Ударник» на Большой Морской (он сейчас называется «Победа»). Пришли и школьники, и дошкольники. Моя двоюродная сестра Тамара Спичак привела за руку брата Витю, я – Славика. В этом дворе стало тесно. Перед толпой с пламенной речью выступила Антонина Алексеевна Сирина – секретарь горкома партии, она объявила, что у населения необходимо собрать бутылки, которые будут заполнять специальной горючей смесью и станут использовать как противотанковые гранаты.

Определили место через дорогу на Большой Морской, куда их складывать. Мы сразу же нашли тачки, детские коляски. Распределили, кто на какую улицу и в какой район идет. Участвовали все ребята всех школ и дворов, большие и маленькие. Старшей была Лида Шахова из школы № 2. Наладили учет и всей большой командой собрали 18 000 бутылок. Потом нам привезли железные бочки с водой и чистый песок. Все вместе мы их тщательно вымыли, малышня нам в этом с удовольствием помогала. Редакция газеты «Красный черноморец» наш актив сфотографировала и этот снимок поместила в газете.

> Опаздывать в школу нельзя, ведь если опоздать, то нужно пройти через три класса, как через строй, – с извинениями и разрешениями: классы были разделены фанерными перегородками. А не пойти в школу считалось трусостью. В любую бомбежку или артобстрел мы бежали в свой класс.

30 октября 1941 года береговая батарея № 54 открыла огонь по фашистским танкам, с этого дня началась оборона Севастополя.

А мы продолжали учиться в школе № 2, она тогда находилась по улице Большой Морской (тогда это была улица Карла Маркса) в подвале Дома культуры Морзавода. Вместо него теперь магазин «Черноморочка» с мемориальной доской в память о той школе осажденного Севастополя.

> Началось светопреставление, которое длилось очень долго. Огнем артиллерии сметались курганы, высоты, дома. Казалось, ничто не уцелеет в этом бушующем вихре огня и железа, но черноморцы выстояли.
>
> В школу мы ходили и в эти дни.

В тот подвал-школу мы бегали, а не ходили, так как в небе постоянно волна за волной шли вражеские самолеты и совсем неприцельно на город сбрасывали бомбы. Мы научились распознавать, в какую сторону они полетят и нужно ли бежать или нужно подождать, когда самолеты пролетят. Опаздывать в школу нельзя, ведь если опоздать, то нужно пройти через три класса, как через строй, – с извинениями и разрешениями: классы были разделены фанерными перегородками. А не пойти в школу считалось трусостью.

В любую бомбежку или артобстрел мы бежали в свой класс. Я училась в седьмом «А». Английский преподавала учительница второй школы Александра Григорьевна Рацуцкая, наша любимая «Тыча». Русский преподавала наша боевая «огненная» русачка Ворошилова. Математику нам преподавали не наши учителя, а из первой школы, историю Михаил Михайлович Шиманский из ОНО. Ученики тоже были из разных школ, но большинство – из второй.

17 декабря 1941 года начался второй штурм Севастополя. Утром на рассвете офицеры СС отобрали у солдат шинели и объявили, что их отдадут только в Севастополе. Немцы знали, что их солдаты до ужаса боятся наших матросов, называя их «черной смертью», «черной тучей» и «черными дьяволами».

И вот началось светопреставление, которое длилось очень долго. Огнем артиллерии сметались курганы, высоты, дома. Казалось, ничто не уцелеет в этом бушующем вихре огня и железа, но черноморцы выстояли. В школу мы ходили и в эти дни.

Как-то я бежала и заскочила в соседний подъезд переждать, когда пролетят самолеты, и услышала во дворе взрыв гранаты. Пошла посмотреть, что случилось. Увидела во дворе пять убитых мальчишек без голов, среди них был Жан Миклушев из нашего

класса, он собрал малышей и спешил им показать, как разрядить гранату-лимонку. Рядом лежал его портфель. Все они к моменту взрыва стояли на коленях, наклонив головы, чтобы лучше видеть, где и что нужно отсоединить. В школу я в итоге опоздала. Вошла в класс и рассказала о гибели нашего Жана. Сейчас страшно об этом вспоминать. А тогда поведала с мельчайшими подробностями.

Следующий урок был английский и немецкий в одном классе. Две колонны парт «англичан», две – «немцев». Вошли две учительницы, начался урок и одновременно налет. Из-за грохота не было слышно обеих учительниц.

Через дорогу от школы был магазин, там очередь за хлебом, и в середину толпы упала бомба. Со стороны улицы взрывной волной были выбиты щиты нашего подвала. Осколки, камни, пыль, грязь – все полетело в класс, мы сели под парты, обе учительницы упали на пол. Наша Александра Григорьевна поднялась сама. Вторая учительница продолжала лежать. Ее подняли, дали воды. Мы всем классом побежали на улицу в надежде помочь пострадавшим. Все эти месяцы мы видели много раненых, искалеченных, убитых. Но такое зрелище предстало впервые – помогать было некому. Даже рядом растущие деревья были в крови. На ветках что-то повисло, на асфальте лежало, текло. Кто-то крикнул, что и напротив почты в дом угодила такая же тонная бомба. Все помчались туда. Я рядом жила, поэтому бежала первая. Дом был не мой – 36-й. Его разнесло до основания вместе с подвалом-убежищем.

За день щиты восстановили, электроэнергию починили, в классах навели порядок. Нам тогда было по 13–15 лет, и все воспринималось по максимуму. Утром пришли в школу такие же возбужденные. В один день на детскую психику такая огромная нагрузка. Всем было не по себе. В класс первой вошла наша «Тыча». Все «англичане» встали, следом «немка», ее ученики продолжали сидеть, не ответив на приветствие. Учительница возмутилась, начала их ругать по-немецки. По всей вероятности, и у нас нервы после вчерашнего были на пределе.

Мы стоим, они сидят. Мы слышим непонятную и ненавистную немецкую речь, вдруг клич: «Бей немцев!» Все «англичане» сорвались со своих мест, ринулись бить своих же товарищей, так сказать «немцев». Что могли сделать с этой буйной ватагой две слабые женщины-учительницы? Они начали кричать: «Помогите!» Из соседнего класса прибежали старшеклассники и тоже вступили в драку, пытаясь нас разнять. Кто-то выключил свет, все сели на свои места. Включили электричество, картина была неприглядная.

Пришла директор школы Лидия Владимировна Ткаченко. Всех выгнали из здания, на второй день мы помирились с «немцами» около школы и все вместе вошли в класс. А в классе сидели фронтовики: два офицера и три матроса. Начался разговор о нашем недостойном поведении. Они говорили, что их отозвали из окопов, там их товарищи сейчас, защищая нас, гибнут, а они прибыли нас усмирять. Рассказывали, как 17 декабря, когда начался второй штурм и превосходящие силы противника прорвали нашу оборону на Мекензиевых горах, они в решающий момент надели бескозырки, сняв каски, и пошли в рукопашный бой. Немцы отступили с большими потерями. Эсэсовцам, которые у своих солдат отобрали шинели, некому было их вернуть. Наши гости были с гитарой и спели нам гимн морской пехоты – помню его до сих пор.

Мы были очень благодарны Лидии Владимировне, что она нас не выгнала никуда, как обещала вчера.

Совместных уроков английского и немецкого больше не было. Расписание изменили. На немецком мы шли на 54-й завод делать деревянные коробочки для противопехотных мин. К нашему приходу на железном столе лежали заготовки, гвоздики и молотки. Сначала больше били по пальцам, но вскорости научились и оставляли целую гору коробочек, которые отправляли в штольни, где их начиняли взрывчаткой и соединительным шнуром.

Убежища на заводе не было, поэтому при близкой бомбежке нужно было влезать под стол. Под ним пытались быть бесстрашными храбрецами, но сердце не раз уходило в пятки. Долго бегали в школу – до 1 мая. Перед ним объявили, что, согласно указу из Москвы, осажденные города экзаменов не сдают. Мы ликовали, безмерно были счастливы, что живем в осажденном городе. В дневниках за подписью директора школы № 2 Ткаченко сделали запись: «Переведена в восьмой класс». Нас отпустили на каникулы.

На наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов Долгополова (Романюта) Анна Михайловна, 1935 г. р

Нашу семью война застала в Балаклаве. Отец работал водителем в водолазной школе ЭПРОН, мама инспектором в райисполкоме.

Мой папа – Михаил Михайлович, мама – Александра Николаевна, а также трехлетний брат Валентин и я жили в Балаклаве. В начале войны отец был призван в армию и первые годы служил в 61-м зенитно-артиллерийском полку, который участвовал в обороне Севастополя. Тогда же – в июне 1941 года – мы переехали в Севастополь, где жили в доме по улице Большая Морская, рядом с главпочтамтом. Дом был двухэтажный, с большой деревянной верандой и подвалом, в который мы прятались при налетах немецких самолетов. Взрослые по графику несли дежурства на крышах домов, тушили зажигательные бомбы.

> Однажды при налете бомба попала в наш дом. Была разрушена веранда с лестницей и часть дома. Нас в подвале откопали, но попасть в квартиру мы уже не смогли.

Однажды при налете бомба попала в наш дом. Была разрушена веранда с лестницей и часть дома. Нас в подвале откопали, но попасть в квартиру мы уже не смогли. Жильцы где-то раздобыли пожарную лестницу, и по ней поднялись на второй этаж, забрали некоторые вещи и еду. Так мы остались без крыши над головой и начали скитаться по уцелевшим подвалам, часто находили укрытие в соборе через дорогу от нашего бывшего дома.

Участились налеты на город, самолеты роем кружили в небе. Это было что-то ужасное, одни самолеты улетали, и тут же на их место прилетали другие. Бомбы сыпались на нас беспрерывно, как листья с деревьев, а после налета на этих обгорелых деревьях висели части человеческих тел, их внутренности… Но город жил, и оставшиеся в живых люди в небольшие промежутки между бомбежками вылезали из укрытий, разбирали завалы, бродили в поисках еды, так как дети все время просили кушать.

> Однажды в наш окоп попал снаряд, но он не разорвался, а на наш вопрос, что это было, мама

ответила: «Зайчик».

Тогда мама приняла решение и пошла с нами – двумя детьми шести и трех лет – на передовую в окопы, где она помогала раненым. Мы там питались и жили в окопе. Однажды в наш окоп попал снаряд, но он не разорвался, а на наш вопрос, что это было, мама ответила: «Зайчик».

Осажденный город жил единой семьей, помогая друг другу в минуты горя и отчаяния. Гражданское население помогало военным, а они по мере возможностей делились с населением продуктами, оказывали помощь в похоронах, в расчистке заваленных подвалов и других укрытий.

> Когда армия отступила, мы и тяжелораненые военные остались в окопе. Когда пришли немцы, они на наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов, а нас вместе с другими жителями города собрали на привокзальной площади, где мы жили два месяца.

Когда армия отступила, мы и тяжелораненые военные остались в окопе.

Когда пришли немцы, они на наших глазах расстреляли тяжелораненых бойцов, а нас вместе с другими жителями города собрали на привокзальной площади, где мы жили два месяца. В поисках еды мама с нами ходила по Севастополю, и мы видели, как немцы в воронки от авиабомб сбрасывали живых людей и утюжили их танками. После одного из таких походов, когда мы чудом спаслись от расстрела, мы больше по городу не ходили. От голода люди начали умирать, и тогда немцы товарными поездами стали вывозить людей из города. Вывезли и нас, опухших от голода, в Мелитополь, где мы жили в силосной яме, и, дождавшись прихода Красной армии в 1944 году, вернулись в наш Севастополь. Родители были награждены медалями за оборону Севастополя.

Все восемь месяцев осады я учила стихи
Долгушева Зоя Ильинична, 1930 г. р

22 июня 1941 года, около четырех часов утра мы с родителями (папа – Морозов Илья Александрович, мама – Вера Игнатьевна и я – одиннадцатилетняя Зоя) проснулись от звуков стрельбы зенитных пушек. Была жара, и мы спали на полу у окна, которое выходило на запад, небо было все в разрывах, много трассирующих снарядов, лучей прожекторов, которые метались по небу. И вдруг один из них поймал самолет, другой тоже. И в пересечениях лучей летел освещенный самолет, и по нему сразу все зенитки стали стрелять. Мы, конечно, решили, что это учения (их тогда проводили часто). Но при учениях самолёт тянул за собой мишень, так называемую «колбасу», и уже по ней стреляли. А тут вдруг – по самолёту. Мы очень удивились.

Утром я вышла на улицу, где мальчишки уже хвастались разными красивыми осколками снарядов. Я тоже хотела найти, бродила по Корабельной, но не нашла. А уже в двенадцать часов стали люди кричать, что по репродуктору что-то передают, надо к нему бежать. Репродуктор был на высоком столбе на улице Горького, вблизи улицы Розы Люксембург, с восточной стороны. И там я услышала, что началась война. Но как-то все это приняли спокойно, или мне показалось. Днем узнали о взрывах бомб на улице Подгорной и у Приморского бульвара.

Потом стали быстро организовывать санитарные дружины из неработающих женщин, маму тоже включили. Папа работал на авиасборочном заводе № 45 на восточной стороне Килен-балки. Стали составлять списки, решать, куда детей вывезти из города, ибо его будут бомбить. Детей нашего завода было решено отправить в село Альма (теперь Почтовое). Мне собрали сумку с бельем. И нас без родителей – человек двадцать – привезли в это село. Поселили в школе, на полу были матрацы, набитые соломой. Не помню, какие были подушки. Во дворе школы была построена плита, на которой готовили нам еду. Кормили хорошо. Во дворе был и умывальник. Но где-то через неделю стали приезжать мамы и забирать детишек. Моя мама приехала в тот день, когда после прошедшего ливня река Бельбек вышла из берегов. Мы шли к станции, я брела по колено в воде. Я была маленького роста.

Папа с утра до ночи был на заводе, я на хозяйстве была одна. Кажется, карточек ещё не было, и приходилось бегать по разным магазинам и покупать всё, что попадется. Вдруг с прилавков всё

пропало. Помню лето, жара, я стояла в очереди в магазине в двухэтажном доме розового цвета, построенном Артремзаводом перед войной, на углу улицы Розы Люксембург и 25-го Октября. Купила примерно три килограмма муки. Было тяжело, и этот мешочек поставили мне на плечо. И вдруг – налет и бомбежка. Спрятаться негде. Я просто стала около одного дома, муку поставила на подоконник, чтобы удобно было взять на плечо потом, и смотрела, как летали немецкие самолеты и с них сбрасывались бомбы.

1 сентября я пошла в школу № 12, которая находилась в Ушаковой балке. Она была построена из евпаторийского ракушечника, не оштукатурена, желтые камни. Школа открылась в 1938 году, и я сразу туда пошла в первый класс. Так что 1 сентября 1941 года я пошла уже в четвертый класс. Нас было, помнится, 42 ученика. Учительница была Шкиптан Лидия Петровна. Тогда, кроме основных предметов, нам ввели урок военного дела. Нас учили, что есть газы: иприт, люизит (что я запомнила), учили надевать противогаз. Стали рассказывать (учитель – военный), с кем воюем, чтобы не было паники. Потом вернулась мама. У нас в классе было, как я помню, двое детей офицеров. Это Тарумов Эдик, его отец был врачом в военно-морском госпитале. Они эвакуировались на теплоходе «Армения», и все погибли, когда его потопили. И еще Гаянэ Дошоян (ее отец – армянин), они тоже эвакуировались. Мы проучились всего два месяца, до 30 октября. У меня сохранилось фото нашего 2 «А» класса в мае 1940 года, только с другой учительницей, ее имя я не помню. Наша же Лидия Петровна на год ушла в железнодорожную школу на вокзале. Еще у меня была фотография всех учителей нашей школы, только я ее отдала в Музей героической обороны Севастополя на Историческом бульваре, но они мне документа об этом не дали.

Мы снимали квартиру у хозяйки по улице Карла Либкнехта, № 35, это третий дом от улицы Горького. Вся улица в нашем квартале была из одноэтажных домов. И только по углам с улицей Рабочей было два двухэтажных дома. С нашей стороны в доме № 27 располагался районный отдел милиции. Там же и жили с семьями многие милиционеры, и у них был подвал. На Корабельной стороне не было оборудованного бомбоубежища для населения. Только по улице Карла Либкнехта до войны был построен один четырехэтажный дом № 101, где в подвале было бомбоубежище, но там был продовольственный магазин, где мы отоваривали карточки. Я не помню, когда ввели их, ибо этим занимались в то время родители.

В ночь с 31 октября на 1 ноября, когда начался первый штурм

города, была очень сильная бомбежка. Большая бомба попала прямо на дом № 27, погибли все, кто там прятался. Было очень страшно: сильный грохот, рядом пожары, крики. Папа решил идти всем в Инкерман и прятаться там в штольнях. Мы ночью в темноте шли мимо Ушаковой балки, через Килен-балку, Троицкую и к рассвету добрались туда. Перед входом в штольню была толстая стена, которая защищала вход от прямых выстрелов. В первую и вторую штольни, если считать от моря, нас не впустили, сказали, что нет мест. В третьей сказали, чтобы заходили, места есть, и мы вошли. В штольне был полумрак. Высоко вверху горела электрическая лампочка. Вся штольня как бы состояла из комнат, то есть справа и слева были такие стенки, которые делили всю штольню на секции. И во всех этих секциях были трехэтажные деревянные нары, на которых спали люди. Везде был виден скарб, внизу стояли ведра, горшки, примусы. Мы шли и шли, а нам говорили, чтобы шли дальше, там есть места. Но ведь мы пришли со свежего воздуха, а там было очень душно и нехорошо пахло. Я была маленького роста, а папа – высокий, он стал задыхаться. И тогда сказал нам: «Пошли домой. Будем умирать дома». Мы вернулись.

Папа уже на завод работать не пошел, а перешел полностью на инвалидность. Он из деревни, мастер на все руки. Тогда всех учили, как именно надо копать во дворе такие «щели», то есть узкие окопы Г-образные. И под руководством папы, вместе с двумя хозяевами братьями Константиновыми – пенсионерами Дмитрием Васильевичем и Владимиром Васильевичем, они вырыли такую «щель». У хозяев были какие-то дрова, сделали накат, насыпали побольше земли, деревянную дверь. На дне – настил из досок. И папа (я этого не знала) в углу выкопал глубокую яму и там спрятал самые ценные вещи и швейную машинку. И в этой «щели» мы просидели до 1 июля 1942 года.

Вся штольня как бы состояла из комнат, справа и слева были стенки, которые делили штольню на секции. И во всех этих секциях были трехэтажные деревянные нары, на которых спали люди. Везде был виден скарб, внизу стояли ведра, горшки, примусы. Мы шли и шли, а нам говорили, чтобы шли дальше, там есть места.

Дело в том, что немцы бомбили ежедневно, но с перерывами. От завтрака до обеда, потом от обеда до ужина. Ночью были бомбежки только во время штурмов. Тогда бомбили все время и обстреливали из орудий. Ближе к осени по небу летали только немецкие самолеты, у них особый был гул. Мы, дети, всегда знали, когда немецкие летели, когда наши. С немецкими

самолетами боролись зенитные орудия. Зенитная батарея (видимо, вся часть) находилась на улице Будищева на Воронцовой горе. Это была часть, обнесенная высоким забором, за которым были двухэтажные казармы. Там жили и рядовые, и командный состав с семьями в квартирах. Так было до войны. А потом зенитные орудия уже стреляли и из других мест.

После первого штурма начались большие перебои с водой и электричеством. Воду для готовки и питья брали от колонки, которая находилась посреди улицы Горького, между улицами Карла Либкнехта и Николая Островского. Это был маленький домик. С одной стороны (северной) окошечко с трубой, через которую лилась вода, с другой – дверь. В будочке каменной сидела женщина, у нее в будке был кран, мы клали ей в окошечко копеечку, она наливала нам ведро воды. Так как я была маленькая, то за одну копейку ходила два раза и брала всякий раз по полведра. Улица Горького была не вымощена, просто камни – известняк. Когда маме надо было белить, папа брал молоток, шел туда, отбивал кусочки известняка, клали на уголь, горящий в печке, и получалась нужная известь, которую потом гасили водой. Трамвай первые месяцы ходил к вокзалу, а в ноябре движение прекратилось. Сначала временно, а потом, когда пути были разбомблены, то насовсем.

> Дело в том, что немцы бомбили ежедневно, но с перерывами. От завтрака до обеда, потом от обеда до ужина. Ночью были бомбежки только во время штурмов. Тогда бомбили все время и обстреливали из орудий. Ближе к осени по небу летали только немецкие самолеты, у них особый был гул. Мы, дети, всегда знали, когда немецкие летели, когда наши.

У нас во дворе был глубокий колодец, вода в котором была слегка солоноватая. Этой водой мылись, стирали, хозяева поливали сад, огород. После первого штурма, когда уже водопровод не работал, люди со всей Корабельной приходили за водой к нам во двор. Приезжали и из воинских частей с бочкой и лошадью. Набирали воду, им уступали без очереди, бойцы оставляли маме грязное белье на стирку и мыло. Ночью обычно бомбежек не было. Воду так выбирали, что уже шла грязная какая-то, но люди все равно вычерпывали ее. А днем, когда не было налетов (один-два часа была тишина), мама с папой набирали из колодца чистую воду, на ней мама готовила, стирала, днем сушила. А в следующий приезд бойцы забирали чистое белье и оставляли грязное. Я не помню, чтобы что-то за труд давали. Может, я просто не знала. Тогда считалось, что это

вклад в оборону, в Победу. Никто не роптал, все терпели (после войны новые хозяева превратили колодец в сточную канаву, стали сливать туда все подряд).

У наших хозяев, чуть впереди нашего флигеля (а он был длинный: две однокомнатные квартиры и одна двухкомнатная, мы занимали крайнюю однокомнатную квартиру), была небольшая летняя кухня. Я не помню, пользовались ли ею когда-нибудь. Она была завалена старыми подшивками журнала «Нива» и разными небольшими книжечками в мягком переплете – это приложения к «Ниве». И вот все время, когда я не училась, я пропадала там, брала чтение и – домой. Хозяева не возражали. Мои родители тоже очень много тогда читали. И я все восемь месяцев осады, кроме чтения, учила на память стихи. Великое множество. Многие я помню и до сих пор: все сказки А. С. Пушкина, поэмы Некрасова, Майкова, Фета и др. Тогда я прочла и запомнила две книги: «При дворе Тишайшего» (о правлении Алексея Михайловича) и «Колония Росс» – это о русской колонии на Аляске (теперешняя знаменитая рок-опера «Юнона и Авось»). Я все это знала с детства. Конечно, авторов я не помню. Много других исторических и детских книг я тогда прочла. Это мне помогало в учебе в дальнейшем. Я знала все басни Крылова и так далее. Очень сильно развила тогда память.

Я все восемь месяцев осады, кроме чтения, учила на память стихи. Великое множество. Многие я помню и до сих пор: все сказки Пушкина, поэмы Некрасова, Майкова, Фета. Я знала все басни Крылова и так далее. Очень сильно развила тогда память.

Я писала, что продовольственный магазин на Корабельной стороне был по улице Карла Либкнехта, № 101,– большой четырехэтажный дом. Так вот, в то время, видимо (я точно не помню когда), прямо в середину этого дома попала немецкая бомба, говорили, что весом в 500 кг. Дом устоял, подвал цел, но вот второй и третий подъезды разрушены, а первый и четвертый целы. Магазин работу не прекращал. Я не помню, что и сколько давали по карточкам. Я ходила в магазин и отоваривала только хлебные карточки – сначала для нашей семьи, а потом и для хозяев (последние два месяца, когда были интенсивные обстрелы). Папа получал 300 граммов в день (как инвалид II группы), мама и я – по 100 граммов, а вот сколько получали хозяева – не помню, кажется, по 300 граммов. Насколько мне помнится, последние месяцы давали только хлеб.

18 июня прошел слух по соседям, что немцы высадили десант автоматчиков на Малаховом кургане. Но за хлебом надо было

идти, меня послали.

И мы с соседом Витей, моим ровесником, который тоже был маленького роста (они жили в доме № 37), пошли в магазин. Так как мы жили на этой же улице, то шли спокойно до улицы 25-го Октября, там нас не обстреливали, мы бежали спокойно. А дальше надо было перебегать через поперечные улицы – Волынскую и Севскую. И тут начиналась стрельба из автоматов. Мы бежали, а сзади пули по камням цокали. А мы, глупые дети, перебежим, а потом выглянем и покажем им «нос». Теперь я понимаю, что нас никто не собирался убивать, а только хотели попугать. И так было дня три. А 20 или 21 июня хлеба не было, а карточки начали отоваривать мукой – и так до конца месяца. Последние два месяца я брала карточки у хозяев, мне было очень тяжело. Витя помогал мне нести продукты.

Когда папа окончательно перешел на инвалидность, его прикрепили к столовой, чтобы получать обеды. Столовая, как мне помнится, находилась примерно там, где сейчас в доме № 14 по проспекту Нахимова расположился «Макдоналдс». После первого штурма Севастополя, когда меньше обстреливали город, папа туда ходил обедать, а потом договорился, что будет приходить дочка и брать обед на дом. Несколько месяцев ежедневно, кроме воскресенья, я ходила туда с судочками. Меня иногда спрашивают, неужели мне не было страшно и я не боялась? Дело в том, что меня воспитывали в строгости и труде. Сколько себя помню, я всегда помогала маме. И за провинности наказывали. Так что, если мне говорили «иди и делай», я это выполняла без разговоров. Мне действительно не было страшно. Днем час-два немцы отдыхали после обеда, и, как правило, налетов не было. Я привыкла ходить, и ходила быстро. Что удивительно, я почти никого не встречала по дороге.

Шла к вокзалу, потом по верхней дороге поднималась на улицу Карла Маркса и шла к площади Революции. А уже около столовой встречала таких же «столующихся». Очереди большой не было – два-три человека. Обед был горячий: суп и что-нибудь на второе, но не мясное, а рыба, каша. Потом даже и рыбы не было. В столовой была красивая молодая кассирша. Она, узнав, что я прихожу с Корабельной стороны, предложила мне поискать на заброшенных огородах зелень, приносить ей, а за это она мне будет давать два обеда вместо одного. Я пришла домой и сказала родителям об этом. Они мне сказали, что знакомые наши жили на улице Полтавской, чтобы я там поискала. И вот я утром шла по улицам Истоминской, Полтавской,

Суздальской и там, в заброшенных, разрушенных дворах находила зелень и относила в столовую. Это продолжалось месяц

или чуть больше весной 1942 года. А где-то в конце апреля (примерно) столовую разбомбили, обеды прекратились.

Удивительно, но город был совсем пуст. Я ведь много ходила, но очень редко встречала кого-нибудь. Не было ни патрулей, ни милиции. Совершенно пусто. Два раза я видела убитых лошадей, одну у Лазаревских казарм, а другую – в районе вокзала. У стенки городского холодильника в Южной бухте стоял ошвартованный крейсер «Красный Крым», который иногда из главного калибра обстреливал немцев, а те из дальнобойных орудий отвечали. Или вдруг начинался налет немецких самолетов, бомбили. Тогда мне приходилось прятаться. На переезде в конце Южной бухты было какое-то полуразрушенное строение, что-то бетонное. И внизу была щель, в которую я залезала, пережидала обстрелы. И видела, как самолеты сбрасывают бомбы, они падают струйками. И я всегда знала, куда они упадут. Если близко будут падать, я залезала подальше, чтобы осколками не убило. Знаете, дети очень приспосабливаются и к условиям войны. Я не помню, чтобы когда-то плакала, ужасалась. Вот мертвых лошадей видела, а назавтра их уже там не было. Теперь я думаю, что люди, наверное, на еду их забирали.

Удивительно, но город был совсем пуст. Я ведь много ходила, но очень редко встречала кого-нибудь. Не было ни патрулей, ни милиции. Совершенно пусто. Два раза я видела убитых лошадей, одну у Лазаревских казарм, а другую – в районе вокзала. У стенки городского холодильника в Южной бухте стоял ошвартованный крейсер «Красный Крым», который иногда из главного калибра обстреливал немцев, а те из дальнобойных орудий отвечали.

Во время второго и третьего штурма немцы забрасывали город зажигательными мелкими бомбами, и папа ночами дежурил на крыше и тушил их. Там стояли ведра с водой и щипцы, которыми он хватал горящую бомбу и окунал в ведро. А уже остывшую выбрасывал. Отец флигель сохранил (он цел до сих пор, и даже наша комната такая же, как была, я недавно туда ходила). А вот хозяева свой дом не смогли уберечь. У них была большая и хорошая библиотека, неплохая мебель. Остались они нищими. Осталась цела и летняя кухня, а сами хозяева перешли жить во флигель, в двухкомнатную квартиру, из которой жильцы в начале войны эвакуировались. Я тех соседей не помню.

И вот настало время третьего штурма Севастополя. Я не помню, как долго мы просидели в «щели». Помню, что очень шумело вокруг, взрывалось где-то близко, земля содрогалась.

Всем было страшно. В двери (крышки входа) были щели, на дворе было светло и солнечно. И вдруг все замолкло. Наступила непривычная тишина. Это было 1 июля, часов в 10–11 утра. Моя мама была беременна, она выбежала в туалет, который находился у дальней стены – ограды двора за домом и флигелями. Это деревянная будка, всем пожилым людям знакомая. И она увидела, когда собралась выходить, что в саду два немца с автоматами с аппетитом едят черешню. И она бегом со страху бросилась к нам в «щель». И открыла этим немцам наше убежище. Если бы она не выбежала, то скольких бед мы бы избежали! Но, что было, то было.

Немцы открыли нашу дверцу, направили на нас автоматы, стали кричать: «Вэк, вэк!» Выгнали нас на улицу, где уже стояли несколько наших соседей. Образовали группу и погнали под дулами автоматов за Ушакову балку, туда, где сейчас улица Макарова. По пути присоединялись другие группы. Нас пригнали туда примерно в 11–12 часов. Там было уже два участка, огороженные колючей проволокой. Разделили нас: в один загон – мужчин, в другой – стариков, женщин и детей. Не давали ни есть, ни пить. Насчет туалетов – не помню. Было тепло. Мы ночь просидели на земле. Не помню, была ли там трава или на голой земле сидели. Утром рано мама меня разбудила (я все же спала) и велела перелезть через колючую проволоку, бежать домой. Сказала, где спрятана была мука (немного), как сварить суп-«затирушку» (это побрызгать муку, рассыпанную на доске, и получаются такие катышки из теста). Я должна сварить суп и принести, накормить папу и ее и принести воды. Я перелезла через проволоку с той стороны, где немцы не стояли, и бегом побежала вниз в балку. Немцы кричали, стреляли из автоматов, но, видимо, в воздух. Прибежала я домой. Мы же сутки или двое не выходили из «щели», ничего не видели. В нашу квартиру прямо в стену залетел снаряд. Пробил огромное отверстие, как раз в том месте, где находилась моя кровать. Там же, наверное, разорвался. Но кто-то жил и ночевал у нас в эту ночь. Квартира была освобождена от камней, кровать родителей была аккуратно застелена. Никаких вещей не было. Но кастрюли, чайник и другая посуда на полу валялись. Я разожгла огонь (дров было везде навалом), сварила суп, взяла в ковшик для молока воды, в кастрюльке суп и, не евши сама (да как-то не хотелось, одной было очень страшно), пошла кормить родителей. Сначала накормила через проволоку папу. Немцы делали вид, что этого не видят. Потом накормила маму и с ней поела сама этого так называемого супа. Баланда, но, правда, соленая. Побыла там часа два, все маме рассказала. Она велела мне возвращаться и жить

пока одной. А завтра снова сварить и принести. Но на следующий день – это уже 3 июля – рано утром пришла мама и хозяева.

> Немцы открыли нашу дверцу, направили на нас автоматы, стали кричать: «Вэк, вэк!» Выгнали нас на улицу, где уже стояли несколько наших соседей. Образовали группу и погнали под дулами автоматов за Ушакову балку, туда, где сейчас улица Макарова.

Немцы отпустили стариков, женщин и детей. Мама быстро сварила какой-то суп и послала меня с водой кормить и поить папу. Я прихожу, а там никого уже нет, нет и проволоки. Вместо этого на этом месте стоит походная кухня, и румыны варят мамалыгу. Дело в том, что вместе с немцами город штурмовали румынские войска – им за это на разграбление дали два дня. Они ходили по домам и все, что им приглянулось, забирали. Мамалыгу варили с абрикосами. Радостно меня встретили, что-то лопотали. Увидели мой суп, вылили его на землю, а мне полную кастрюльку дали этой мамалыги. Хлопали меня по плечу. Я ведь ничего не понимала, но разобрала, что они приглашали приходить к ним.

Возвращаясь домой, я увидела наклеенные на электрических столбах листы. Это был отпечатанный на русском языке приказ № 1 коменданта города Севастополя. Первым пунктом (пишу по памяти) было: «За каждого убитого немца будет убито 100 русских». Пункт № 2: «За каждого убитого русского будет убито 10 татар». Якобы татары хотели всех русских убить, чтобы остались только они сами, – об этом говорили соседи. Оказалось, что в нашем квартале еще остались несколько семей, которые, как и мы, сидели в «щелях» или штольнях. Из штолен уже 2 июля стали возвращаться люди. Что стало с нашими мужчинами, нам никто объяснять не стал. Идти было некуда. Власти как таковой еще не было.

Два или три дня я ходила к румынам за мамалыгой, а когда пришла к ним 5 июля, то никаких румын уже не было – там теперь стояла какая-то немецкая часть. А у меня была пол-литровая банка, я ведь пошла за мамалыгой. Вдруг ко мне подходит (как мне тогда казалось) немолодой полноватый невысокого роста немец. Что-то дружелюбно мне говорит. Что уж я говорила, не помню. Он взял мою баночку и ушел. Приносит мне немецкий котелок (плоский) с супом, а к баночке моей приделал ручку из веревки, и в ней полбанки чечевицы с тушенкой. До этого я никогда не видела и не ела чечевицы. И он тоже пригласил меня приходить. Как его звали, я не помню (хотя он мне говорил). Дня два или три я ходила к нему одна. В эти

дни немец мне что-то подолгу рассказывал, показывал довоенную фотографию, где он был с женой и двумя детьми: мальчиком и девочкой. Я не помню, кто из них был старше. Так старший писал ему письма, а тот, кто младше, – присылал посылки.

Возвращаясь домой, я увидела наклеенные на электрических столбах листы. Это был отпечатанный на русском языке приказ № 1 коменданта города Севастополя. Первым пунктом (пишу по памяти) было:

«За каждого убитого немца будет убито 100 русских». Пункт № 2: «За каждого убитого русского будет убито 10 татар».

Помню ночь с 7 на 8 июля. Разбудила меня мама и сказала, чтобы я пошла и привела какую-нибудь пожилую женщину, так как она рожает. Была очень темная ночь, кругом одни развалины. Даже не были очищены дорожки для прохода. Я карабкалась по камням и кричала: «Люди добрые, помогите!» Но вокруг была тишина. Так я дошла до улицы 25-го Октября, то есть до Малахова кургана, завернула на улицу Островского и пошла обратно. Кричать не переставала. И где-то, не доходя до улицы Горького, из какого-то дома (ночь – темень) вышла старушка: «Чего кричишь, девочка?» Говорю, что мама рожает и надо помочь. Она тут же пошла со мной. Пришли, мама стоит на камнях у кровати и кричит. Женщина заставила меня разжечь печку, вскипятить воду, нашли ножницы, чистую простыню она порвала на пеленки и подгузники. Как долго это длилось, не знаю, часов не было. Чуть рассвело, мама стала кричать сильнее, женщина бросилась к ней, а мама меня заставила отвернуться. Потом я услышала крик ребенка. Женщина обрезала пуповину, завернула ребенка (это был мальчик), дала мне. И ушла. Мама легла на кровать, отвернулась и заснула. Я уложила мальчика в деревянное корыто и тоже немного поспала. Мальчик стал плакать. Мама сказала, чтобы я шла и искала ее родную сестру Нину Лаврентьевну Струкову, которая была в блокаду в штольнях. Я стала спрашивать тех, кто был в штольнях, о Нине (она 1923 года рождения). Они сказали, что она с родственниками, кажется, уже ушла домой.

Сразу же после прихода немцев в первые дни горели склады с продовольствием. Я ходила к ним – там было много муки, не сгоревшей, но облитой керосином. Видимо, те, кто жил поближе, смогли забрать то, что было не облито, но нам, детям нашей улицы, взять ничего уже не удалось.

Жили они до войны на улице Корабельной. Я нашла Нину во дворе, она пришла вместе со мной и стала купать мальчика в слабом растворе марганцовки. Она тогда была влюблена в Жору – моряка, и сказала, что братика будем звать Жорик. Мама сказала, что у нее нет молока, а ребенка надо кормить. Нина меня послала в дом за Малаховым курганом (где я собирала весеннюю зелень), там, по слухам, жила бабка с козой. Я пошла и нашла бабушку с белой козой, и она мне бесплатно давала ежедневно 0,5 л козьего молока, которое я должна была пополам с водой кипятить и давать младенцу. Но у меня ведь не из чего было поить ребенка. Я пошла в аптеку, которая находилась на углу улиц Рабочей и Комсомольской в одноэтажном домике. Там была квартира заведующего аптекой по фамилии Лордкипанидзе (как я запомнила), а жену его, по-моему, звали Натальей, русская, полноватая, – она работала там же провизором. Детей у них не было, они были добрые и отзывчивые люди. Они мне дали две бутылочки детские и две соски. Сами сделали и отверстия в сосках. Так что вечером того же 8 июля после купания мой братик уже сосал молоко. А у мамы начался понос, она совсем заболела, вставала только на горшок.

Сразу же после прихода немцев в первые дни горели склады с продовольствием. Я ходила к ним – там было много муки, не сгоревшей, но облитой керосином. Видимо, те, кто жил поближе, смогли забрать то, что было не облито, но нам, детям нашей улицы, взять ничего уже не удалось.

Числа 4-го или 5-го прошел слух, что на Подплаве (воинская часть) в Южной бухте, по дороге ниже Лазаревских казарм (учебного отряда), действует городской водопровод. Я взяла трехлитровый бидончик и пошла туда. У дороги под Учебным отрядом были две штольни, в которых находились раненые моряки: немцы ведь матросов не брали в плен, они всех убивали. Раненые не вышли (или не смогли), и эти штольни немцами были снаружи подожжены. Слышны были стоны, крики, проклятия. Мы спустились к Подплаву, много народу (десятка два) набирали воду из водопровода, чистую. И вдруг кто-то крикнул: «Смотрите, смотрите!» А недалеко по воде плыли головы – это мертвые тела. Немцы моряков, которые еще были живы, завязывали в мешки и бросали в воду, они тонули, а через два дня всплывали. Было жутко. Так говорили взрослые. Я больше никогда туда не ходила, пили нашу колодезную воду.

Потом, примерно в те же дни, прошел слух, что на улице Пушкинской стоят виселицы, на которых вешают партизан. Я тоже пошла туда. Не помню точно, но две или три виселицы стояли, висели люди, на груди таблички: «Я – партизан». Я даже

не смогла смотреть. Увидела мельком и убежала.

> По воде плыли головы – это мертвые тела. Немцы моряков, которые еще были живы, завязывали в мешки и бросали в воду, они тонули, а через два дня всплывали.

Я помню, что у нас на улице Карла Либкнехта, ближе к балке, с нечетной стороны жила ненормальная женщина Сара Корабельская, а рядом в доме – семья армейского или флотского командира. У него была жена – молоденькая и красивая евреечка. У них было двое детей: девочка трех-четырех лет и маленький мальчик на руках у матери, видимо около года. Мальчик был так хорош, что я всегда засматривалась на него.

Помню, еще до первого штурма города стояли мы в очереди за чем-то в магазине, и ее спросили, почему она не эвакуировалась, ведь немцы евреев уничтожают. А она ответила, что, по ее мнению, это пропаганда. Нация, которая дала столько великих гуманистов, поступать так не может. Я стояла рядом, и в меня до глубины души запал разговор. Мы все были воспитаны в добре и человечности, поверить в такие ужасы не могли. Потом, уже при немцах, в первые дни я видела ее, спешащую домой, а на спине у нее на одежде была пришита большая шестиконечная звезда.

Числа 12 июля ребята, которые со мной ходили к немцам за обедом, рассказывали, что бегали к вентиляционным каналам наверху горы, которую взорвали, и слышали стоны и крики.

18 июля я утром проснулась, а мама говорит, что брат Жорик умер. Я бросилась к корыту, оно заменяло детскую коляску, а он лежит холодный уже. Было так жалко. Он родился таким хорошеньким, чистеньким. Мне казалось, что он мне даже стал улыбаться. Я его кормила три раза в день. Но я не весь день была дома, надо было кормить маму и себя, я ходила к немцам ежедневно, кроме того, у мамы после родов начался понос. Где-то у румын выпросила рис, варила его понемногу, маме давала отвар, а сама ела рис. Так мне порекомендовали делать соседи. А еще они говорили, что от поноса хорошо помогает отвар дубовой коры. Я ходила в Ушакову балку, обдирала ножом кусочки коры и тоже давала маме отвар. Мне мама сказала, что нужно найти мужчину, чтобы похоронить Жорика. А где его найти?

> 18 июля я утром проснулась, а мама говорит, что брат Жорик умер. Я бросилась к корыту, оно заменяло детскую коляску, а он лежит холодный уже. Было так жалко. Он родился таким хорошеньким, чистеньким. Мне казалось, что он мне даже стал улыбаться.

Кто-то из соседей посоветовал мне пойти в управу. Это было где-то на площади Ластовой. Полицейскими были молодые, красивые, холеные татары. Сначала они делали вид, что не понимают русского языка (между собой говорили на крымско-татарском), но я плакала и не уходила. В управу зашёл какой-то немец, он привел женщину-переводчицу, и тогда мне выделили пожилого русского мужчину. Я ему все объяснила. Он спросил, какой инструмент у нас есть. Ничего у нас не было – в первые сутки у нас как-то многое пропало. Мужчина взял топор, лопату, и мы пошли с ним к нам. На улице он нашел пару досок, сколотил ящичек, и мы пошли на наше кладбище Оно теперь, кажется, цело, но заброшено – это за Малаховым курганом. Мама мне велела запомнить место, чтобы можно было найти потом. Мы выбрали самое большое дерево, мужчина выкопал ямку, положили Жорика, засыпали землей. А когда, перед отъездом из Севастополя, мы с папой пошли на кладбище, то оказалось, что дерева не было, разрушено в этом месте было все.

В двенадцатых числах июля у меня стал болеть большой палец на правой руке. Я не знала, что это. Из простыни я рвала полоски и бинтовала палец. Он распух, почернел. Врачей не было, поликлиника не работала. Я просто терпела и ходила к немцам за едой. Я ведь говорливая и открытая, рассказала об обедах мальчишкам и девчонкам из нашего квартала. В итоге нас к немцам за обедом ходило уже человек шесть-семь. Мы все стояли около двери, ко мне выходил мой немец – он оказался денщиком у офицеров. Он брал мой котелок и баночку и выносил мне: полкотелка первого и полбаночки второго. А к другим детям выходили другие немцы и со своих тарелок, что не доедали, давали детям в их посуду. Я не помню случая, чтобы кто-то у кого-то отнимал, чтобы лезли без очереди. Все было очень спокойно. Видимо, в этом нас немцы убедили. Мы как-то понимали, что от нас требовали. Никто из нас с пустой посудой не уходил. А взрослые в нашем квартале объяснили нам, чтобы мы не трепались, а то вся Корабельная туда бросится просить и всех прогонят.

Со второго этажа дома ежедневно после обеда спускался высокий стройный старик (как мне казалось тогда), совершенно седой. У него были сапоги, а на задниках были бубенчики, как потом мне объяснили – это шпоры, которые положены кавалеристам. Этот старик спускался, мы отходили подальше, он проходил и на нас не смотрел, будто нас нет. Мы там вообще были очень тихие, молчали. Мы понимали, что если хоть одна жалоба поступит, то нас жандармы с центрального входа прогонят отсюда. И вот мой немец видит, что я несколько дней

прихожу с перевязанным пальцем. Он спрашивает, что случилось, а я молчу, прячу руку. Он схватил тогда мою руку, развязал палец, а верхняя фаланга, где ноготь (нарыв был под ногтем, по народному «волос»), была уже почерневшая. Он поволок меня тут же на второй этаж по этой лестнице. Зашли в большую светлую комнату. Это был медицинский пункт. Этот высокий седой старик был врачом, у него был еще медбрат, немец. Они все о чем-то поговорили. Посадили меня за стеклянный столик посреди комнаты, на котором были инструменты, врач взял в одну руку скальпель, в другую – ножницы. И мне объяснил, если я буду орать и дергаться, то мне отрежут палец. (Как я это понимала?) Заставили меня отвернуться. Я слышала скрип скальпеля по косточке, он ножницами и скальпелем убирал все загноившиеся части. Когда меня отпустили, и я смогла посмотреть, то увидела, что медбрат мокнул бинт в какую-то зеленую жидкость и обмотал палец. Хорошо все забинтовали, руку подвесили на перевязь, я молча плакала, просто текли слезы. Мне дали за хорошее поведение конфету – кругленький леденец. Сказали, чтобы я завтра пришла на перевязку. Ну и обед, конечно, в левую руку дали. Я пришла домой и все рассказала маме. Говорю, что немец мне сказал, что еще два-три дня, и я бы умерла. Мама сказала на следующий день, чтобы я узнала, не можем ли мы врача отблагодарить чем-нибудь. Я сказала врачу, он, смутившись, ответил, что если у нас есть настоящий чай, то он был бы рад. Мама мне сказала, где у нас спрятана в кладовке маленькая упаковка, 50 граммов грузинского чая «Экстра». Я нашла его и отнесла врачу на второй день. Когда я ему отдала пачечку – какой у него был счастливый вид! Он нюхал пачку, закрывал глаза от наслаждения, ее же нюхал и его помощник.

Этот высокий седой старик был врачом, у него был еще медбрат, немец. Они все о чем-то поговорили. Посадили меня за стеклянный столик посреди комнаты, на котором были инструменты, врач взял в одну руку скальпель, в другую – ножницы. И мне объяснил, если я буду орать и дергаться, то мне отрежут палец. (Как я это понимала?) Заставили меня отвернуться. Я слышала скрип скальпеля по косточке, он ножницами и скальпелем убирал все загноившиеся части.

Они делали мне перевязку, за чай дали небольшой кирпичик белого хлеба, как теперь продают, граммов 300, и пачку маргарина. Какое лакомство! Хлеба я не ела с 20 июня. Так я ходила на перевязки дней десять – двенадцать, и в итоге палец зажил, хоть и остался уродливым.

Уже после того, как мой палец зажил, – в августе, я заметила, как по Корабельной стороне по домам ходит пожилой фельдшер по фамилии Крылов. После войны он работал в поликлинике на площади. Это был очень добрый и знающий фельдшер.

Где-то после двадцатого августа прихожу домой и вижу – на полу возле печки лежит папа. Оказывается, он был в лагере под Симферополем, в котором находилось около десяти тысяч командиров Красной армии. Папа говорил, что немцы взяли около ста тысяч в плен. Было несколько лагерей. И когда их (гражданских) стали отправлять на работы, папа еще с двумя сидельцами договорились бежать.

Папа сказал, что маме нужно есть. Того, что я носила, было мало. Папа родом из деревни, а деревенские приучены к любому труду. Мне папа сказал, чтобы я нашла и принесла брезент и покрышку от колеса. Это добро в развалинах можно было найти. Я их разыскала и папа стал шить какие-то примитивные тапочки. Я носила их на рынок, который располагался там, где теперь площадь Ревякина, примерно там, где сейчас стоит мемориальный паровоз. Утром приходила электричка (или на паровозной тяге поезд, не помню), приезжали торговать татары из окрестных сел: молочные продукты, помидоры розовые крупные, сладкий лук, который теперь называют ялтинским, всякая зелень. Я раньше не ходила туда, у нас не было денег. Кстати, в ходу были советские деньги. Я продавала каждый день по одной паре тапочек, покупала что-нибудь из овощей. Хлеба и круп не было. Те сухари, что я насушила летом, мы съели, когда стало голодно, – в последние месяцы осады они нам очень помогли. Где-то через неделю после прихода папы та немецкая часть, которая нас кормила, вдруг исчезла. Мы приходим, а там другая часть, и нас просто прогнали.

> И вот открылась дверь, и выходит солдат с ведром остатков еды и выливает их на асфальт.
>
> И все туда бросаются и молча, без ругани, хватают пригоршнями еду в посуду. Меня это так напугало, что я бросилась бежать домой. Я привыкла, что еду дают, а не выливают.

На пересечении улицы Островского с улицей 25-го Октября перед войной построили новый трехэтажный г-образный дом. Длинной стороной он выходил на Островского, а короткой – к Малахову кургану. Покрашен он был в красно-розовый цвет. Короткая часть здания была совсем разрушена, а длинная – частично стояла. Его срочно отремонтировали, и там расположились части СС. В это здание ходили немцы в черной

форме со свастикой на рукаве. Я слышала, что там жители тоже каким-то образом берут еду. Вот и я взяла свой котелок и к обеду пошла туда. Народу было очень много – человек 20–25: дети и взрослые. И вот открылась дверь, и выходит солдат с ведром остатков еды и выливает их на асфальт. И все туда бросаются и молча, без ругани, хватают пригоршнями еду в посуду. Меня это так напугало, что я бросилась бежать домой. Я привыкла, что еду дают, а не выливают.

С приходом немцев в город начались голодные дни. Не было продуктов нигде, кроме рынка. За неделю, что я папу подкармливала, он окреп. Тапочки, которые он шил, были примитивные, у меня их очень редко покупали. Из молочных продуктов торговали молоком, брынзой, катыком – он похож на сметану, но кислее. Мы с мамой еще долго доедали остатки сухарей.

До войны у нас было много друзей, товарищей папы. Не все эвакуировались. И вот папе рассказали, что люди с вещами ходят по татарским деревням и обменивают их на крупу, муку. А у нас в «щели» кое-что сохранилось в тайнике (в доме в первый же день почти все было украдено). И папа решил рискнуть и пойти, но надо было идти в дальние деревни. И мы в сентябре три раза вместе ходили. Папа до войны сделал две примитивные модели самолетов, которые у них на заводе собирали, достраивали, испытывали. Один был с шасси, а другой – гидросамолетик. Мы два раза ходили в сторону реки Кача. От Павловского мыса яликом – на Северную сторону. Поднимались в гору, а там стояла небольшая часовенка, недействующая. Дальше строений не было. Вся Северная сторона – это несколько улочек внизу у моря, рыбаки жили в пещерах вдоль моря. И мы с папой к вечеру приходили в деревню Мамашай (теперь Орловка). Там у кого-то ночевали, а утром шли дальше, вверх по руслу реки Кача. Я бежала впереди с самолетиком, пропеллер вращался, татарчата гурьбой с криками бежали за мной. А уж потом выходили на крики взрослые, и начиналась торговля. Так мы проходили две-три деревни. Когда все обменивалось, мы возвращались назад в Мамашай, ночевали. К вечеру возвращались домой. Когда впереди видели часовенку, это означало, что скоро будем дома. А в третий раз мы ходили уже другой дорогой, не помню, как именно, но одну ночь ночевали в деревне Каралез (теперь Красный Мак). Самолетиков не было, то есть не было рекламы. Обмен получился плохой, начались холодные дни. Мы больше не ходили.

На улице Комсомольской, в квартале между улицами Рабочей и Горького, жили наши земляки из соседнего села, мы иногда

ходили к ним в гости. Их фамилия была Кошевые, у них две дочери были: старшая Клава и младшая Рая. Я с ними дружила. А поскольку в городе был голод, то в сентябре началась регистрация всех жителей. Теперь жителей стало больше, чем при осаде, некоторые временно жили в ближних деревнях. И тем жителям, которые имели родственников на Украине, предлагали уехать из города. Должны были дать два эшелона и составляли списки.

В один из дней в сентябре или в начале октября погода была солнечной, теплой. Мы пошли в гости. И пока мы у них были, на этой улице убили немца.

Поднялся шум, крики, во двор вбежали автоматчики, всех жителей выгнали на улицу. Собрали сто человек заложников, окружили группу, но собак не было с ними. Прошло немного времени, все стояли. Мне родители говорят, чтобы я бежала домой, зачем же мне умирать. Дождалась, когда двое немцев начнут разговаривать и перестанут на нас смотреть, и бросилась наутек. Мне вслед кричали, стреляли в воздух, но я, не останавливаясь, домчалась домой. Потом всех отпустили.

В октябре должны были подать первый состав эшелона, желающие уехать стали съезжаться к вокзалу из близлежащих деревень и расположились табором на привокзальной площади. Все жители Севастополя пока жили дома. А эшелон все не подавали. Наконец после ноябрьских праздников папа узнал, что подают эшелон. Он срочно добыл где-то тачку на двух колесах, погрузил наши вещи, главное из которых – это мамина ножная швейная машинка, которую купили в 1936 году. Мама ходила на курсы шитья, а потом и вышивания.

Подали теплушки, внутри были трехэтажные деревянные нары. В нашем вагоне ехала Лаврентьева Валентина Емельяновна, которая была детским лечащим врачом на Корабельной и нашим участковым врачом. Она с моими родителями хорошо знакома, ибо я до войны была довольно болезненным ребенком. Она спрашивала у папы, куда бы ей поехать, в какую бы дальнюю деревню, чтобы спокойно пережить войну. И папа посоветовал ей нашу деревню. Было село Зеленое № 1, где мы все родились, а через большой ставок – деревня Рубановка – это чисто украинское село. Теперь это село Рубановка, которое поглотило и наше Зеленое № 1. Только запись в паспорте осталась. Учительница нас послушалась, и там они пережили годы оккупации. Мы медленно, с остановками, поехали в город Мелитополь – конечный пункт.

Я уже упоминала, что два брата – хозяева нашего флигеля – они при немцах совсем голодали. У них все сгорело. Это были интеллигентные люди, они не умели ходить и попрошайничать. А

когда вернулся папа, мы их поддерживали, давали им понемногу еды. Сами-то тоже жили впроголодь. У них не было родственников на Украине, им некуда было ехать. Когда папа в мае 1945 года после окончания войны вернулся в Севастополь, то наш флигель был занят чужими людьми, они его не впустили. А соседи сказали, что прежние хозяева скончались: Дмитрий Васильевич умер вскоре после нашего отъезда, а Владимир Васильевич – в декабре.

Так закончилась наша война в городе Севастополе. Продолжалась она уже на Украине.

> Как оказалось, немцы к вещам эвакуированных не сразу приставили охрану: окрестные жители стали растаскивать вещи.
>
> К счастью, наши вещи уцелели.

Ночью наш эшелон прибыл в город Мелитополь. Выгрузили все вещи на платформу, нас всех простроили в одну колонну и под охраной повели куда-то. Потом распространили слух по колонне, что ведут нас на карантин. Долго шли, медленно. Прошли через реку Молочную, зашли в какую-то деревню, подошли к школе. В школе на полу лежала солома. Мы, одетые, вповалку завалились спать. Проснулась я рано, меня кто-то кусал. Я села и увидела, что по мне лазают (как подсказала мама) огромные белые нательные вши. Мы прежде ведь жили дома, у нас было много воды, и никогда никаких паразитов не было. Я впервые увидела, что вши злые и противные. Папа сказал мне, чтобы я сейчас же перелезла через проволоку, пошла по селу и поискала людей, которые захотят взять нас «на поруки», то есть выдать за своих родственников. Папа велел передать, что он умеет сапожничать, а мама – шить и вышивать на машинке. Вот в третьем доме хозяин – дядя Лука – и согласился.

Я ему все объяснила. Жители деревни знали, что в школе – эвакуированные из Севастополя. Мы с дядей Лукой пошли к старосте. Это был высокий, красивый немолодой человек. И, как оказалось, добрый. Он оформил какую-то бумагу, дал лошадь с бричкой, мы поехали к школе. Родителей под расписку выпустили. Папа с дядей Лукой поехали в Мелитополь за вещами, а мы с мамой пошли в наш новый дом. Как оказалось, немцы к вещам эвакуированных не сразу приставили охрану: окрестные жители стали растаскивать вещи. К счастью, наши вещи уцелели.

Так мы устроились с жильем. Нам выделили комнату. У Луки были жена и сын, который был старше меня. Папа пошел по селу искать, нет ли у кого какого сапожного инструмента. Много чего нашел, стал сапожничать. А мама открыла курсы по обучению

шитью и вышиванию.

В доме рядом жила семья: отец, мать и сын. Их называли «полтора Ивана». Отец и сын – оба Иваны – были очень высокого роста. Да и мать тоже не маленькая. Почему я их так хорошо запомнила? Кроме роста, у них был особый ритм жизни. Они рано вставали, но мать уже к этому времени успевала приготовить обед. Они ели борщ, мясо. Плотно наедались и шли в поле работать до вечера. С собой еду не брали.

Переехали мы в Мелитополь примерно в начале марта. В школе началась четвертая четверть, меня отправили в школу, в третий класс. Школа была в нижней части города, ближе к реке. Посадили меня рядом с девочкой, звали ее Тоня Кругликова. Она была на год или два моложе меня, но была крупнее, круглолицая, полненькая и очень добрая, я с ней подружилась сразу. Ее родители были, как теперь говорят, «из бывших». У них в городе когда-то было имение – большой дом и огромный сад, которые потом стали колхозными. Так немцы им все вернули. В мае, когда мы закончили школу, Тонины родители стали меня приглашать в гости на весь день. У них к тому времени уже поспели фрукты. В обед все вместе садились в саду за большим длинным столом: хозяева, работники и мы, дети. Обед всегда был сытным, вкусным, много зелени и фруктов. Потом я лазила по деревьям и набирала себе отборных фруктов, шла домой. Мы жили довольно скудно.

В Мелитополе был тогда огромный рынок, на рынке были ряды: отдельно муки, крупы, овощей, фруктов. Зерно, муку, крупы продавали мешками или ведрами (оцинкованными) Деньги ходили советские. Помню только, что ведро любых фруктов стоило три рубля.

В конце сентября немцы стали отступать через наше село. Отступали очень быстро, бежали. Всё что могли – хватали с собой. Сутки было спокойно, а утром в село вошли наши войска. Вошли шумно, весело. В это время школа почти не работала, мы помогали колхозу по хозработам.

Нарядов не было, а хотелось что-то сшить. Мы из Севастополя привезли флотский воротничок – мне мама сшила белую кофточку-матроску. Нужна была юбка, а за материалом пришлось ехать в Мелитополь.

Когда пришла советская власть, то начались чистки, у нас пострадал бывший председатель колхоза – староста, его куда-то сослали. А хуже всего пришлось милиционеру-полицейскому Поваляеву. На него кто-то накатал донос (он ведь следил за порядком на селе – были недовольные). И его осудили на десять лет, а у него была большая семья. Им пришлось сразу куда-то

уехать. Мне было их так жаль!

Председателем нашего колхоза был избран пожилой мужчина, имени его не помню, но кличка у него была Ярыга. Папа с ним договорился, что меня возьмут до Мелитополя и обратно, чтоб я купила материал на юбку. Было лето, у меня легкие парусиновые тапочки, легко одета. Приехали в субботу вечером. Я сидела на возу на мешках. Остановились в городе, где собирались ночевать с подводами. Я бросила тапочки на землю, собиралась слезть с телеги, тут вышел Ярыга, сказал, что едем в другое место. Мы тронулись, тапочки я забыла. В городе я спокойно ходила босиком. Договорились, что в понедельник утром рано я приду к ним, и мы поедем домой. Я полдня провела на барахолке. Купила большой сатиновый наперник в полосочку, синюю краску, чтобы была настоящая матросская одежда: темно-синяя юбка и белая кофта с синим воротником – моя очень давняя мечта. Ночевала я у знакомых. Люди в то время были очень добрые и гостеприимные. Они еще и кормили меня.

Вот прихожу я очень рано в понедельник в тот дом, где останавливался Ярыга с подводами, а мне говорят, что они уехали еще в воскресенье вечером домой. Меня бросили. И вот я стою босиком, без денег, без еды, а впереди сто километров проселочной дороги, как понимаете, совсем не гладкой. Первый день я почти без остановок шла до нашего хутора. Пришла с ранами на ногах. Помню, добрая женщина причитала надо мной, парила мне ноги, прикладывала какую-то траву. Утром, накормив меня, дав что-то в дорогу, замотав тряпками мои ноги, проводила меня до дороги, по которой я уже пошла домой. Часа через два тряпки оборвались с ног, я шла, поддерживая себя веселыми маршами. Никаких попутчиков, никого нет, я одна. Село Покровка прошла уже перед закатом солнца, а впереди еще 22 км. Ночь была лунная. Ближе к рассвету я постучалась в дом, где мы снимали у тети Дуси комнату. Мама мне открыла дверь и ушла спать. Здесь надо мной никто не причитал, хотя мои ноги были – сплошные раны. Я сама их потом долго лечила.

Я писала, что до войны я была болезненным ребенком, так вот спартанская жизнь в селе, сон на дворе, очень много ходьбы, тяжелая работа закалили меня на всю оставшуюся жизнь. Вот мне уже более восьмидесяти лет, а я еще сама себя обслуживаю.

А как мы учились? Совмещали с работой, но старались. Раньше в пятом классе было пять или шесть выпускных экзаменов почти по всем предметам. А в шестом – даже семь. Кроме того, после возвращения советской власти нам стали преподавать военное дело. С фронта после тяжелого ранения пришел в школу военрук Усик Виктор Алексеевич. Молодой, красивый, улыбчивый

парень, все девчонки постарше сразу в него влюбились. Мы изучали винтовку и противогаз, которые были в школе в наличии, а в теории – еще и другое оружие. А как он нас гонял на плацу! Построение, маршировка, ползком «по-пластунски», даже в грязь, бросание гранат. Все по-настоящему. И никто не ныл, не отказывался. И это начиная с пятого класса. Мы, дети, так же как и родители, были заняты с утра и до вечера. И нигде ни ссор, ни драк, ни ругани не было. Был тяжелый ежедневный труд.

Я писала, что в нашем селе не было никаких фруктов – а очень хотелось. И вот в августе 1944 года жена нашего директора Шишлакова Мария Петровна (тоже учительница младших классов) с соседкой собрались в Каменку за грушами. Запрягли двух коров, на телегу положили мешочки с мукой и крупой, пригласили детей, меня в том числе, и мы поехали-пошли туда. Коровы не могли везти тяжелую повозку, поэтому на телеге был только груз, а мы все пошли пешком. Сёла эти от нас располагались примерно километрах в сорока – сорока пяти, так что поход длился дня четыре. Совершили обмен продуктами. Груши назывались «морщинкой» и были не гладкие, а такими морщинками, но при этом очень сладкими, вкусными. На обратном пути нас повстречали какие-то люди, стали отнимать корову Марии Петровны, говорить, что это их собственность. Нас, детей, было много, человек восемь. Мы все кричали, держались за корову. Мимо ехали еще какие-то люди и помогли нам отбиться. Мы с большим трудом, но благополучно вернулись домой.

1944 год стал годом побед Советской армии. Был освобожден Севастополь, вся Украина. Все стали ждать конца войны. Стали приходить письма с фронта, посылки. В селе было много тех, кто приезжал из городов к родственникам отсидеться. Стали приходить в начале 1945 года посылки с вещами, разными материалами трофейными. К папе и маме стали приносить материалы для шитья обуви и одежды. Папа уже умел шить модельную красивую обувь. Сам делал разные приспособления, колодки, каблуки. Мама шила нарядные платья. Правда, это все уже в мастерских, официально – тогда нельзя было подпольно что-нибудь делать.

1944 год стал годом побед Советской армии. Был освобожден Севастополь, вся Украина. Все стали ждать конца войны. Стали приходить письма с фронта, посылки. В селе было много тех, кто приезжал из городов к родственникам отсидеться.

Пришел 1945 год. Встречали его с надеждой на скорую победу. Были праздничные концерты. Наша самодеятельность

была нарасхват. Все было общее: участвовали и учителя, и ученики. Из села стали уезжать люди в свои освобожденные города. По воскресеньям вечером учителя делали народу обзор побед наших войск на фронтах, а после – обязательно концерт. У нас в школе был театральный кружок, хор, небольшой оркестр народных инструментов. Я была задействована везде, кроме оркестра. Всегда была очень активна. Родители мои решили остаться в селе, пока война не кончится, здесь был уже налажен быт.

Родители зарекомендовали себя с очень положительной стороны. Осенью 1944 года нам на проживание выделили отдельную хату в приличном состоянии. Там было все как положено: от сеней слева «чистая» горница с окнами на улицу, прямо – маленькая темная комнатка, справа – большая комната с большой русской печью, полатями, из нее вход в большой хлев для скота. Тогда ввели налог на весь скот. Служащим можно было без налогов иметь только кур. К зиме мы вырастили около сотни курочек и петушков. За работу родителям давали (или продавали) иногда колхозное молоко, если оно оставалось, мы делали творог и даже масло. Я научилась все это делать. У нас в селе с царских времен осталась ветряная мельница (ветряк), но она делала крупный помол. Вальцовая мельница (паровая) была только в Нижних Серогозах, там мололи муку на булки, пироги. А черный хлеб мы пекли, пересеивая свою муку. Часть шла в крупу, часть на хлеб. Хлеб, конечно, все пекли свой, подовой. Здесь я не была помощницей. Длинный рогач для чугунков, длинная деревянная лопата для хлеба. А хлеб вкусный, пышный, натуральный, с хрустящими горбушками и с ароматом. В 1944, 1945 и в начале 1946 года мы отъедались.

И вот наступило 9 мая. Из района позвонили в сельсовет, что война окончена. В храме зазвонили празднично колокола, все выскочили на улицу, бежали к нашему зеленовскому сельсовету, где начался митинг. Сколько было слез! Почти все наши деревенские бабы остались вдовами, а дети сиротами. Вот уж действительно – победа со слезами на глазах.

Папа стал собираться в Севастополь. Решено было, что мы с мамой останемся, он едет один. Обустроится, найдет нам жилье, а потом уж приедет за нами. Даже от той сытой и устроенной жизни мы все-таки рвались в Севастополь. Только туда, в наш любимый город. Где нас ждали в 1946–1947 годах голод и невзгоды.

Папа за нами приехал в июне 1946 года. Так закончилась для нас Великая Отечественная война.

Немцы сбрасывали рельсы с самолетов Дремух (Котолупенко) Зинаида Филипповна, 1933 г. р

Родилась в 1933 году. К моменту начала войны жила с родителями в городе Инкерман. Когда началась война, папу призвали на фронт, он служил в кавалерии Буденного, был коммунистом. Мама в период обороны Севастополя работала в воинской части полковника Горпищенко.

Я со своими сестрами тоже помогала. Шила для бойцов рукавицы из одеял. И еще у нас были две бочки соленых огурцов и помидоров – мы носили их солдатам на Сахарную Головку. Когда закончились соленья, носили даже рассол.

Я со своими сестрами тоже помогала. Шила для бойцов рукавицы из одеял. И еще у нас были две бочки соленых огурцов и помидоров – мы носили их солдатам на Сахарную Головку.

Когда закончились соленья, носили даже рассол.

Бомбили днем и ночью, да еще немцы сбрасывали рельсы с самолетов, они так свистели, что передать нельзя. Потом наш полковник Горпищенко сказал, что больше нельзя оставаться в землянках, а надо перебираться в штольню. Там мы были без еды и воды. У нас ноги пухли.

Когда немцы вошли в Севастополь, то нас стали выгонять. На всю оставшуюся жизнь я запомнила, как они кричали, у нас у всех не было сил, нас загнали за колючую проволоку. Потом разрешили набрать воды из речки, но она была вся в крови, кругом были трупы. Было очень страшно при немцах, так как мой папа был коммунистом.

Когда немцы вошли в Севастополь, то нас стали выгонять. На всю оставшуюся жизнь я запомнила, как они кричали, у нас у всех не было сил, нас загнали за колючую проволоку. Потом разрешили набрать воды из речки, но она была вся в крови, кругом были трупы.

Мама ночью нас увела, и мы добрались до города. Жили где только могли. Как-то раз вышла моя сестра из укрытия, к ней подошел полицай и стал кричать: «Партизанка!» – и уже навел на нее пистолет, чтобы убить, но тут выскочила мама, и так как

полицай был татарин, а мама знала татарский язык, то она крикнула, чтобы он опустил пистолет. Тот принял ее за татарку, так как мама родилась в деревне Кучук-Мускомья, там жили всю жизнь и ее родители.

Как-то раз мама вышла на базар купить кусочек хлеба и увидела своего папу, а он ее не узнал, так как думал, что мы все расстреляны. Немцы приходили к нему домой и уже расспрашивали, где твоя дочь и внуки. Дедушка забрал нас и привез в деревню. Когда бабушка увидела нас, то упала в обморок. Затем дедушку вызвал староста и говорит: «Почему твоя дочь не приходит регистрироваться?» Немцев в деревне не было, и староста сказал, что если они узнают про отсутствие регистрации, то всю семью повесят. Дедушка пришел домой и сказал бабушке печь лепешки, чтобы отвести ночью нас с мамой в лес. Когда стало темнеть, пришли партизаны и, услышав рассказ дедушки, сказали: «Не бойтесь, вся деревня окружена партизанами». А через несколько дней вошли наши. Потом освободили Севастополь. Это было 9 мая 1944 года.

Мы мылись золой…
Ерышева Марта Сергеевна, 1936 г. р

Родилась 23 марта 1936 года. К началу войны семья жила в Севастополе на улице Большой Морской. 22 июня мы проснулись утром, родители нас собирались куда-то отвезти. О начале войны узнали по радио – отлично помню голос Молотова. Утром после первого налета пришел кто-то из детей постарше и сказал, что неподалеку осколком мины убило мальчика, помню, как он лежал на столе посреди двора.

До начала осады города запомнились бомбежки. Родители вместе с нами ушли из дома, так как бомбы стали падать рядом с местом, где мы жили. Позже наш дом все равно разбомбили, но мы к тому моменту уже жили у знакомых. Во время войны все старались помогать друг другу. С водой было сравнительно неплохо, так как неподалеку были скважины.

Перед тем как немцы заняли город, родители нас предупредили, чтобы мы при них ни в коем случае не начали петь наши песни.

Перед тем как немцы заняли город, родители нас предупредили, чтобы мы при них ни в коем случае не начали петь наши песни.

Севастополь мы покинули, после того как в город вошли немцы. К тому моменту было очень голодно, все было разрушено. Накануне зимы 1942–1943 годов мы ушли из города в село Орлиное. Помню, как партизаны приходили в барак, где мы поселились. Родители рассказывали, что партизаны увели старосту, и что после этого жизнь у нас началась ужасная, так как сын старосты не давал проходу моему отцу.

В эмалированной кружке мама варила горох, и мы на четверых его делили.

Но и из Орлиного нам пришлось уйти – отец ранее работал на советском предприятии, и об этом знали люди, жившие в деревне. Наша родственница предупредила нас, что лучше переехать, во избежание неприятностей.

Мы перебрались в деревню под Симферополь, а позднее в село Сарабуз (сегодня это поселок Красногвардейское), где был аэродром. Жить там было очень сложно из-за постоянных бомбежек советской авиации. Поэтому мы двинулись на восток Крыма в сторону Керчи и в одной из деревень жили вплоть до освобождения.

Местное население относилось к нам хорошо. В Сарабузе нас приютила женщина, она относилась к нам, как к родным. На всем нашем пути скитаний всегда находились люди, которые нам помогали. В поселке Биюк-Онлар (сегодня – поселок Октябрьское) нас приютила местная семья. Но однажды ночью началась облава, в дом пришел немец и через переводчика потребовал, чтобы мы к утру покинули дом.

Помню, как кушали конский щавель и паслен, из которого мама делала вареники. Мыла не было. В степном Крыму собирали траву, жгли и мылись золой.

В ту ночь моя мама полностью поседела
Живов Владимир Иванович, 10.04.1934 г. р

В 1941—42 годах я и моя сестра Галина находились вместе с родителями в осажденном городе Севастополе. Отец был военнослужащим, офицером, служил в береговой обороне ЧФ. Мать была домохозяйкой. Я и моя сестра – дети шести и пяти лет.

В ночь на 22 июня 1941 года мы проснулись от сильных взрывов в районе Севастопольской бухты. Это, как оказалось, с немецких самолетов сбрасывали морские мины.

От периода осады города врагом остались в памяти постоянные бомбежки, артиллерийские обстрелы, дым от пожарищ, голод и смерть. Город был полностью разрушен. Перед сдачей города немецко-фашистским захватчикам мать, меня и сестру эвакуировали на Кавказ военным кораблем.

В ночь на 22 июня 1941 года мы проснулись от сильных взрывов в районе Севастопольской бухты. Это, как оказалось, с немецких самолетов сбрасывали морские мины.

В ночь на 18 мая 1942 года на корабле было объявлено, что нужно соблюдать спокойствие, что наш корабль окружен немецкими подводными лодками. Моя мать, глубоко верующая, всю ночь молилась Богу и святому Николаю Чудотворцу о спасении. Было холодно, на корабле находились женщины, старики, дети. Матросы укрывали нас бушлатами, и мы спаслись. В ту ночь моя мама полностью поседела. Благодаря Божьему заступничеству мы дошли до города Туапсе. Там нас встретил отец. В освобожденный Севастополь всей семьей вернулись в августе 1944 года.

Из-за нехватки воды умывались шампанским
Касич Инна Ивановна, 1924 г. р

Был июнь 1941 года. Город жил своей обычной жизнью. Люди работали, веселились, мечтали. В школах проходили выпускные вечера. Мы жили в Севастополе на Петровой слободке, вторая линия Бомбор, дом 20, после войны – номер 49.

21 июня 1941 года, как обычно, легли спать. Ночью услышали страшный гул самолетов. Мы проснулись, а мама выбежала на балкончик и увидела прожектора, которые освещали эти самолеты. Они так низко летели, что можно было различить на них знаки, тогда мы не знали, чьи они, думали, что начались учения. А мама сказала: «Нет, дети, это война!» А мы не знали что такое война. Утром 22 июня объявили по радио о нападении Германии на Советский Союз.

С собой люди брали то, что могли унести, как-то пытались спрятаться от бомбежек. Эвакуировались на кораблях, самолетах, и даже на подводных лодках. Зато мародеры пользовались случаем и все очищали: квартиры, дома – у них цель была своя.

Наш город бомбили каждый день, земля содрогалась, было очень страшно. Не знали куда бежать, что делать. Люди с детьми бежали в сторону железнодорожного вокзала – он стоял в черном дыму. С собой люди брали то, что могли унести, как-то пытались спрятаться от бомбежек. Эвакуировались на кораблях, самолетах, и даже на подводных лодках. Зато мародеры пользовались случаем и все очищали: квартиры, дома – у них цель была своя. А мы решили остаться: пусть нами распорядится судьба. Но все, что мы видели, что испытывали, – словами не передать. Прятались дома под скалой: там поставили кровати, а кто-то спал на досках или даже на табуретках. Хотя какой сон, когда бомбили постоянно!

Семья у нас была большая: дедушка, бабушка, мама, сестра, брат, мамина сестра и ее дочь, двое ее внуков – все местные. Соседи с Бомбор и с улицы Пластунской тоже жили у нас. Много было народа, жили очень дружно и сплоченно, делились каждым кусочком кто что раздобудет.

Очень тяжело было нашим бойцам сражаться с фашистами. Я видела, как один наш самолет сражался с несколькими

немецкими и так долго наш летчик боролся против них! И все-таки немцы его подбили. Я видела, как летчик спускался на парашюте, его подобрали наши и отправили в госпиталь учебного отряда. А я там уже работала, увидела этого летчика и сказала ему, что видела, как он сражался с немецкими самолетами и как спускался на парашюте. В госпитале его лечили, ухаживали за ним, жаль только, его фамилии не помню.

В первые дни войны председатель уличного комитета, ныне покойная Прасковья Макаровна Запорожец (все ее называли тетей Паней), собрала жителей и комсомольцев, где мы жили, и предложила копать противотанковый ров, который проходил от Лабораторного шоссе до инкерманской штольни. Люди работали с большим энтузиазмом. У всех были семьи, дети, и все понимали, для чего нужно это делать. У всех было общее горе. Ров рыли около двух месяцев. Меня, семнадцатилетнюю, отправили работать в госпиталь, который находился в учебном отряде. Оттуда мы приносили белье, портянки и прочую одежду – женщины слободки это белье стирали, гладили, ходили собирать подарки для наших воинов, кто что мог дать. Когда подарки собрали, то отвезли их в воинскую часть на Мекензиевых горах.

> Раненых перевязывали, раны зашивали. Раненые поступали в тяжелейшем состоянии: раны загнивали, в них начинали заводиться черви. Медики по нескольку раз промывали раны, обрабатывали их сулемой – без перчаток и пинцетов. Работали сутками, не выходя из штольни: стирали перевязочные материалы, гладили и опять перевязывали.

В части нас встретил майор Мажуло из Ленинграда и сказал, что у него дочь такого же возраста, как я. Он водил нас по части, все показывал и рассказывал. Затем мы пришли к минометчикам, где нас познакомили с командиром подразделения лейтенантом Сергеем Фроловым. Между нами завязалась фронтовая переписка. Письма его я сохранила, но он погиб на Мекензиевых горах в 1942 году, последнее письмо было от 2 мая 1942 года.

Когда сильно стали бомбить, госпиталь перевели на Максимову дачу, а потом в инкерманские штольни. Я работала в армейском госпитале, а рядом находился флотский. Раненых перевязывали, раны зашивали. Раненые поступали в тяжелейшем состоянии: раны загнивали, в них начинали заводиться черви. Медики по нескольку раз промывали раны, обрабатывали их сулемой – без перчаток и пинцетов. Работали сутками, не выходя из штольни: стирали перевязочные материалы, гладили и опять перевязывали. В одной штольне работали, а в другой отдыхали,

если появлялась возможность. Раненые все поступали и поступали. Воду привозили на бричке, а когда воды не было, пили и умывались шампанским – из-за дефицита воды в условиях жаркого лета населению выдавали винное сусло с местного завода шампанских вин.

Воду привозили на бричке, а когда воды не было, пили и умывались шампанским – из-за дефицита воды в условиях жаркого лета населению выдавали винное сусло с местного завода шампанских вин.

Со мной находился мой брат Виктор, ему было десять лет, он работал с армейским старшиной по фамилии Курзон. Когда поступали раненые, они с Курзоном их раздевали, писали записки на одежду – регистрировали поступающих в регистрационной книге. Брат разносил лежачим еду и воду. Когда немцы наступали, все свистело от взрывов, содрогалось, бомбы сыпались как град. Госпиталь был заполнен до отказа: раненые лежали на носилках, на полу, пройти было невозможно, приходилось через них переступать. Срочно нужно было эвакуировать раненых, эвакуацией занимались два лейтенанта: Сергей Кардаш и Михаил Бубенников. У входа в штольню стояли две зенитки, из-за бомбежек выйти на воздух уже было невозможно. Потом увидели тело Сергея Кардаша под бричкой, в которой возили воду: он был мертв.

Вскоре эвакуация раненых прекратилась. И однажды в штольне появился желтый дым, пустили дымовые шашки. Взрыва я не услышала, но вдруг, странное дело, все начали кашлять и задыхаться. Кто из раненых мог двигаться, старались покинуть штольню, а кто не мог, видимо, так и задохнулись. У меня был противогаз, но я его отдала брату, а сама мочила шампанским тряпки и прикладывала к лицу. Так делали все, спаслись чудом.

«Отходим!» – приказал главврач госпиталя. Военнообязанных отвезли на Максимову дачу, а нам велели разбегаться по домам. Уходили ночью по противотанковому рву на Лабораторном шоссе.

И однажды в штольне появился желтый дым, пустили дымовые шашки. У меня был противогаз, но я его отдала брату, а сама мочила шампанским тряпки и прикладывала к лицу.

Так делали все, спаслись чудом.

6 мая 1942 года мы с родственниками стояли на балкончике нашего дома и увидели немецкий самолет, потом еще – они

сбросили на нас бомбы. Моя мама увидела и говорит: «Прощайте, дети!» Мы пригнулись и услышали оглушительный взрыв, а бомба упала рядом, к соседям. Погибло сразу четверо детей: старшему было двенадцать, а самой маленькой около годика. Это такой был страх! А каково родителям! Отца этих детей расстреляли немцы в апреле 1944 года. Их фамилия Богохваловы, их фамилия есть в Книге памяти.

А когда немцы вошли в Севастополь, 4 июля 1942 года при бомбежке погиб мой дедушка Агафонов Сергей Агафонович и его лошадка Ромашка.

Жизнь при немцах

На Лабораторном шоссе находились склады с мукой. Когда наши отступали, облили муку керосином, а мы, голодные, бросились за этой мукой и таскали ее домой. Кушать ее, готовить на ней, казалось, было невозможно, но мы, голодные, пекли из нее лепешки, варили кашу и ели.

Когда немцы оккупировали город, люди делали деревянные тачки и возили на них по окрестностям Севастополя одежду, постельное белье и выменивали на них у татар продукты. Нужно было как-то выживать.

Сколько людей попало в плен! Мы ходили в тюрьму рядом с первой горбольницей и носили нашим раненым передачи. Полицаями там были татары. Один хороший был, звали его Энвер. У немцев выпросим сигарет и носим нашим ребятам в тюрьму, какую-нибудь еду – тоже. Перевязывали их, поднимали. Какие красивые и молодые были командиры и солдаты! Немцы разрешали их навещать, там же были и тяжелобольные раненые. Без слез нельзя было на них смотреть. Однажды пришли, а нас не пускают: началась дизентерия. Потом пленных вели по Лабораторному шоссе, мы давали им сигареты, еду, воду. Куда их вели и что с ними стало – нам неизвестно.

В августе 1942 года была облава, нас забрали и увезли в Германию на принудительные работы. Я работала в городе Гера. Нас, севастопольцев, было человек пятьдесят. Работали мы на фабрике «Техношеверк», кормили нас гнилой брюквой, каким-то серым супом, каким-то хлебом, отдававшим свеклой. Работали день и ночь. Общались с нами по-разному: кто хорошо, а кто плохо. Мы устраивали забастовки. Если какой-то наш – советский – праздник, то мы прикрепляли красный бантик на одежду, останавливали станки на пять минут и стояли без работы. Немцы бегали, злились, кричали, обливали водой, срывали бантики, а

мы все равно бастовали.

> Общались с нами по-разному: кто хорошо, а кто плохо. Мы устраивали забастовки. Если какой-то наш – советский – праздник, то мы прикрепляли красный бантик на одежду, останавливали станки на пять минут и стояли без работы.
>
> Немцы бегали, злились, кричали, обливали водой, срывали бантики, а мы все равно бастовали.

На фабрике была столовая, на обед нас сопровождали надзирательницы Фрида и Эльза. Фрида была фашистка, а Эльза – очень хорошая. Когда заходили в столовую, там на стене висел портрет Гитлера, мы в него бросали гнилой брюквой. Эльза сняла портрет и сказала: «Я из-за вас могу в концлагерь попасть». Там были девочки и из других городов, но самые отчаянные, смелые и бесстрашные – это наши севастопольские девушки. Они были зачинщиками всех протестов.

В апреле 1945 года нас из плена освободили американцы. Мы возвращались в Союз, но вначале находились в пересылочном пункте в городе Цитау. Оттуда нас в теплушках отправили домой, но привезли в какую-то деревню в ста километрах от Севастополя. Там мы должны были отработать шесть месяцев и только тогда получили разрешение на въезд в Севастополь. Мне повезло: за мной приехала двоюродная сестра с мужем-шофером. У меня была справка, что я работала в деревне, меня прописали и выдали паспорт, но на работу нигде не принимали, очень долго не могла устроиться. И только в 1947 году меня по знакомству взяли в редакцию газеты «Красный черноморец». А потом я уволилась из газеты по состоянию здоровья – заболела, отходила от Германии.

Когда я возвратилась из Германии, то получила еще один стресс: на месте нашего города одни развалины, разрушены центр, Панорама. Я не могла это перенести. Но наш дом сохранился во время войны, и люди в нем остались живы.

Родители не верили, что Севастополь сдадут
Корвецкая Александра Яковлевна, 12.02.1938 г. р

В ночь, когда началась война, мама с папой пошли в театр. Рано утром, где-то в четыре часа утра, мы услышали тяжелый гул самолета. Первая бомба на моей памяти упала в Севастополе в районе улицы Частника.

Потом папу забрали на фронт, но некоторое время он был еще в городе. Они тушили зажигательные бомбы, последний раз он забежал домой в фуфайке в обгоревших дырках и сказал маме: «Аня, никуда не рыпайся, береги детей, война скоро закончится. Немцу не видать Севастополя, как своих ушей без зеркала». И убежал. Эта встреча была последней.

Мы жили на Корабельном спуске, где сейчас завод шампанских вин. В 1944 году, когда мы снова туда приехали, там стояла одна голубая стена, причем даже кусок стены, а все остальное было разрушено.

Мама работала дежурным по станции на железной дороге, встречала и отправляла поезда с боеприпасами. Были иногда случаи предательства – вместо боеприпасов в ящиках был песок, гравий. Она почти сутками находилась на работе, а мы с сестрой выйдем на крылечко и сидим, а над нами пули, снаряды, бомбы свистят. В итоге мама решила нас отдать в детский дом, где собирали всех детей, за которыми некому было смотреть. Спустя два-три дня мама нас забрала – сказала, что у нее сердце не выдержало. А на следующий день в этот дом – прямое попадание бомбы. Так мы и коротали время на крылечке, только вот сестру ранило снарядом – у нее вся голова была сплошь в ранах, и поэтому начались приступы эпилепсии.

Рано утром, где-то в четыре часа утра, мы услышали тяжелый гул самолета. Первая бомба на моей памяти упала в Севастополе в районе улицы Частника.

Во дворе нашего дома стояла войсковая часть. Мама им всем стирала белье. Мама еще участвовала в сборе денег и драгоценностей на самолет для Советской армии.

Мама работала дежурным по станции на железной дороге, встречала и отправляла поезда с боеприпасами.

Были иногда случаи предательства – вместо боеприпасов в ящиках был песок, гравий. Она почти сутками находилась на работе, а мы с сестрой выйдем на крылечко и сидим, а над нами пули, снаряды, бомбы свистят.

4 июля 1942 года пришла справка об эвакуации, подписанная Ефремовым.

Мы покинули Севастополь, а немец был уже на Северной стороне. Перед этим мама никак не хотела уезжать, верила папиным словам. Но полковник, который руководил воинской частью, стоявшей у нас во дворе, сказал: «Аня, бери детей и срочно уезжай». Убедил ее.

Мама рассказала, как мы эвакуировались: эскадренные миноносцы «Ташкент» и «Безупречный» вышли в открытое море, матросы брали меня на руки, развлекали, и тут налетели самолеты – они сразу к зениткам и по самолетам стрелять, и так без конца. Потом все-таки бомба или снаряд попала в эсминец, и вот тогда, по словам мамы, начался кошмар. Подошли катера – кто за чемоданы, кто за детей. Крик, шум, начали нас сажать в катера. Она говорит: я вас схватила за руки мертвой хваткой, вот мы и не потерялись, зато из вещей почти ничего не сохранилось. Привезли нас на Кавказ в Буденновск, потом в Кизляр, и началось другое испытание.

В 1944 году, как только мы услышали об освобождении Севастополя, сразу приехали в надежде увидеть папу. Но получили похоронку, что он пропал без вести в мае 1944 года. Это, наверно, случилось за день-два до освобождения города, ведь воевал он в 51-й армии. Той самой, что и освобождала город.

Мы готовили манную кашу на шампанском Кочергина Ксения Андреевна

Коренная жительница города в нескольких поколениях. Мать – домохозяйка Суркова Агрепина Андреевна, отец – Матвеев Андрей Константинович – работал в пожарной охране Севастополя.

Я родилась в многодетной семье – у родителей было три сына и две дочери, жили в доме на горе Матюшенко. Ранним утром 22 июня 1941 года я проснулась от разговоров и ходьбы по квартире. Отец взял рюкзак, поцеловал меня и спящую сестру и ушел. Мама схватила медицинскую сумку, носилки и выбежала на улицу. Так было и раньше, мы решили, что начались учения. Жили мы на улице Карла Маркса, 41. Мы со средним братом – ему было 16 лет – побежали вслед за мамой. Слышались взрывы, с каким-то завыванием спускались маленькие парашютики. Одни взрывались, другие разбрасывали листовки.

Мне из марли сшили пачку, и я танцевала польку.
Раненые тепло принимали нас.

Вскоре вернулась мама, затем отец, и мы впервые услышали слово «война». Отец собрался и ушел на сборный пункт. На следующий день мы ходили с ним прощаться, он уходил на войну. Папа был распределен в танковые войска и погиб при обороне Перекопа.

В первые дни войны наблюдалась растерянность. Мама взяла на руки сестру (ей был один год), через плечо перину, мне дала свой портфель с документами и горшок для сестры, и мы пошли в бомбоубежище, которое находилось в овраге за Панорамой. Там было очень сыро, протекал ручей, спали прямо на земле. Там мы находились недолго. Началась эвакуация. Маму отправляют с яслями (где были дети рабочих завода) в деревню Шули.

Когда немцы начали наступление на Севастополь, нас всех перевезли в инкерманские штольни. Там мама руководила яслями-садом, а в конце обороны еще и детским домом. Из простыней были сделаны перегородки, которые создавали подобие комнат. Младшие были отгорожены от старших, больные от здоровых.

Мы, старшие дети, выступали перед ранеными: читали стихи, пели песни и танцевали. Даже в такое трудное время, когда нельзя было выйти на улицу, наш народ не падал духом и стремился поднять дух выздоравливающим. Мне из марли сшили пачку, и я танцевала польку. Раненые тепло принимали нас.

На всю жизнь в памяти остался один солнечный день. Было затишье, красноармейцы с бидонами и ведрами пошли к Черной речке за водой, а кто мог передвигаться – вышли на воздух и расположились вдоль выхода.

Я была с мамой, после перенесенного ревматизма только начала ходить. Неожиданно налетели немецкие самолеты, небо стало черным, началась бомбежка, творилось что-то страшное, свистели и рвались бомбы. Кругом лежали раненые и убитые, мама рвала свой халат и перевязывала их. Воды не удалось принести. В штольне нам готовили манную кашу на шампанском – его выдавали из-за нехватки воды. Видимо, после этого я лет пятьдесят не могла есть манную кашу.

Неожиданно налетели немецкие самолеты, небо стало черным, началась бомбежка, творилось что-то страшное, свистели и рвались бомбы.

Кругом лежали раненые и убитые, мама рвала свой халат и перевязывала их.

Немцы подходили к городу, надо было уничтожить все боеприпасы, которые находились в штольне напротив. По нашей штольне ходили красноармейцы и предупреждали всех, кто мог передвигаться, чтобы они покинули штольню. Маме дали грузовик, на дно положили матрацы, посадили тринадцать детей, оставшихся без родителей, нас с мамой и работников яслей-сада вместе с их детьми. Дорогу страшно бомбило, снаряды падали то впереди, то сзади. Мы ехали по горящему Лабораторному шоссе, горел вокзал, въехали в пылающий Севастополь.

В бомбоубежище дома, где сейчас бар «Меркурий», нас не приняли, так как оно было переполнено. Затем нас подвезли к бане, во дворе которой находилось другое бомбоубежище.

За мамой ночью пришел матрос с подводной лодки, но мама не могла оставить детдомовских детей. Так мы остались в осажденном Севастополе.

Утром немцы вошли в город. Цокот их сапог до сих пор стоит в ушах. Было очень страшно. Мама обратилась ко всем, кто находился в бомбоубежище, – взять детей, потерявших родителей. Детей разобрали, а мы с мамой пошли на Костомаровскую, дом 6, где до войны в доме сватов жила наша бабушка, которая с началом войны была эвакуирована на Кавказ. Мы находились там до освобождения Севастополя.

Слухи быстро распространялись, передавали, что по улице Восставших ведут военнопленных. Мама сразу побежала туда. Двигался нескончаемый поток раненых, усталых, раздетых до пояса или, наоборот – в тельняшках – защитников города.

Среди военнопленных мама узнала своего старшего брата – Матвеева Александра Андреевича, политрука Черноморского флота. Она закричала: «Саша!» и потеряла сознание. Из колонны удалось выскользнуть девушке, которая подхватила маму и отвела в сторону. Придя в сознание, мама привела ее на Костомаровскую. Звали ее Наташа, у нее было множество ран. Когда раны зажили у нее, она исчезла. После окончания войны она разыскала маму, мы жили тогда уже на Новороссийской улице.

На месте городской тюрьмы немцы разместили лагерь военнопленных. Мама каждый день ходила к тюрьме, носила воду, еду, надеялась найти отца, брата, сыновей. Через колючую проволоку она познакомилась с Наташей Величко, в записках которой сообщалась ФИО военнопленного, которого мама выдавала за мужа. Этого человека выдавали маме, она отводила его домой. И так из раза в раз.

В доме на Костомаровской спасенные раненые вырыли из нашей квартиры проход в подвал следующего дома, который выходил в разрушенный соседний двор. Вскоре там собралось много наших бойцов. Все укрытые в нашей квартире бойцы затем переправлялись в лес через Наташу Величко. Через нее мама получала листовки, которые ночью расклеивала на домах. Приносила листовки я. Мне было семь-восемь лет, я была маленького роста, никто не обращал на меня внимания. Через горки разрушенного города я приходила к дому за банком, где находилась военнопленная Наташа Величко. Стучала в окно комнаты полуподвального помещения, иногда оно было открыто. Наташа уже ждала меня, передавала мне плетеную корзинку с едой, на дне которой находились листовки. Я была предупреждена, если будут обыскивать, то сказать, что нашла. В это, правда, никто бы не поверил.

Мама получала листовки, которые ночью расклеивала на домах. Приносила листовки я. Мне было семь-восемь лет, я была маленького роста, никто не обращал на меня внимания.

Мне просто везло, я благополучно возвращалась домой. Представьте, сколько пришлось пережить маме за время моего отсутствия.

Война для нас закончилась на Костомаровской, в подвале разрушенного трехэтажного дома. Бомбежка была страшная, стены ходили ходуном, с потолка сыпалось. Вдруг в проеме полузасыпанного подвала показался матрос с автоматом и закричал: «Немцы есть?» Все вскочили и начали его целовать. Нас

предупредили, чтобы не выходили на улицу. Но мы, конечно, вылезли и побежали домой.

На следующий день был салют. Ракеты выпускали в небо со всех точек города, салютовали на всех улицах, все небо было в разноцветных огнях. Это была победа!

Я помню, как немцы уничтожали евреев в Севастополе
Красова Людмила Петровна, 1928 г. р

К началу войны мне было тринадцать лет. В ночь с 21 на 22 июня был торжественный вечер, выпускной бал. Играл оркестр… Вдруг со стороны Балаклавы мы увидели два летящих самолета. Они долетели до района стадиона «Чайка» и сбросили парашют. Мы подумали, что скинули подарки, поэтому побежали встречать сброшенный с неба груз. Не успели добежать, как взорвалась сброшенная с самолета мина, и нас накрыло взрывной волной.

Мы прибежали обратно в школу. Утром объявили о начале войны. Папу сразу забрали в армию, так как он был участник Гражданской войны. Его направили в севастопольское ПВО.

Мы остались дома: мама и четверо малолетних детей. Вскоре всех детей собрали в подвале на улице Новороссийской, потом перевезли в инкерманские штольни. Не помню, сколько мы там пробыли, но там вместо воды давали шампанское, было сыро и холодно, поэтому мы с сестрой убежали домой.

Маму мобилизовали на работу в госпиталь. Дома практически никого не было, поэтому мы пошли помогать маме в больницу – она находилась там целыми сутками. Носили горшки, стирали бинты, вываривали их, гладили и скатывали. Бегали с поручениями по больнице. В школу мы первого сентября не пошли, так как занятия, по сути, прекратились. Мы работали в госпитале до последнего дня – все время под бомбежками и обстрелом. Дом наш был наполовину разбит. С водой в госпитале недостатка у нас не было.

От эвакуации в район 35-й береговой батареи мы отказались, так как находились при тяжелораненых, которых не эвакуировали. Отец ушел туда, а семья осталась в городе. Отец сказал: «Сидите дома, будь что будет…»

Когда зашли немцы, то мы три-четыре дня не высовывались из дома, боялись. Огород наш выходил на дорогу, по которой гнали военнопленных в тюрьму. Около нас было два дома. В одном сделали комендатуру, а во втором жили татары-охранники. Через пару дней они пошли по домам, стуком вызывая женщин на работы: «Бабы, выходите». Мы убирали осколки, мусор, расчищали территорию. Потом стали таскать воду для пленных и немцев.

Через неделю-две наши пленные стали умирать от антисанитарии, отсутствия медикаментов и питания. Рядом с

кладбищем Коммунаров вырыли несколько огромных ям, куда скидывали тела день и ночь. Бросали неделю, две, дышать было нечем. До сих пор на месте захоронения не поставлено ни одного памятного знака, не проведена эксгумация…

Хороших, еще здоровых пленных немцы отобрали и загнали на нефтеналивную баржу, человек 100–200. Что случилось дальше, мы точно не знаем, но баржа загорелась, и эти люди сгорели заживо. В наш район прибежали татары и стали просить вилы – вытаскивать обгоревшие трупы из воды.

Через неделю-две наши пленные стали умирать от антисанитарии, отсутствия медикаментов и питания. Рядом с кладбищем Коммунаров вырыли несколько огромных ям, куда скидывали тела день и ночь. Бросали неделю, две, дышать было нечем. До сих пор на месте захоронения не поставлено ни одного памятного знака, не проведена эксгумация…

Спустя некоторое время к зданию, где содержались военнопленные, стали приезжать родственники узников со всего Крыма и, написав записку с фамилией-именем-отчеством пленного, отдавали ее охраннику, который затем шел по камерам и вызывал искомого человека. Убедившись, что он жив, сообщал об этом родственникам, которые отдавали украшения и все самое ценное за то, чтобы его отпустили. Охранники ночью, вынося на носилках трупы в яму, сверху клали живого, и он таким образом оказывался на свободе. Потом он бежал к нашему дому, где во дворе жили его родственницы. Побыв у нас дома пару дней, они уходили в сторону Инкермана. Мы собрались – дети с мамой, – пришли в концлагерь с документами, показали их, отца выпустили, а затем нас всех направили в комендатуру, где зарегистрировали.

Маму и меня немцы отправляли на кухню комендатуры, где мы готовили и убирали. Собирали объедки и очистки еды, выносили их с собой домой. Тем и питались. Территорию своей улицы все время оккупации мы практически не покидали – боялись, что могут схватить и отправить в Германию на работу.

Маму и меня немцы отправляли на кухню комендатуры, где мы готовили и убирали. Собирали объедки и очистки еды, выносили их с собой домой. Тем и питались. Территорию своей улицы все время оккупации мы практически не покидали – боялись, что могут схватить и отправить в Германию на работу.

После регистрации, проведенной немецкой комендатурой, всех евреев собрали на стадионе «Чайка» неподалеку от нашего дома. По городу ездила машина и объявляла о том, что им надо пройти перерегистрацию.

Сначала евреев загоняли в раздевалку, якобы готовили к переселению. Мужчин (преимущественно дедов) – в одну сторону, женщин (в основном, бабушек с детьми) – в другую. Потом их обыскали и повели в тюрьму. Часа в три или четыре утра к воротам тюрьмы подогнали машины-душегубки и загнали туда сначала мужчин, чтобы отвезти ко рву на седьмом километре. Пока они туда ехали, все задохнулись в машине. Потом душегубки вернулись за женщинами. Когда они подошли к машине, то услышали запах страшной вони от рвоты, оставшейся в машинах, и всё поняли. Их убили по такой же схеме.

Я помню, как летели фашистские самолеты бомбить Севастополь
Линецкий Александр Ильич, 26.08.1932

Никто не предполагал, что утро 22 июня круто изменит нашу жизнь, а у многих ее еще и заберет.

Самолеты летели низко со стороны Балаклавы. Небо было предрассветным, еще желтым, освещенным прожекторами и трассирующими снарядами. Первый же взрыв и треск разбившихся стекол вызвал страх и тревогу. Начались постоянные ночные налеты на город.

Наша семья жила на улице Щербака, в доме 61. А учился я на площади Щорса в 16-й школе – впоследствии этой школе присвоили 5-й номер. В предвоенном классе было 40 учеников. Классным руководителем была Юлия Ивановна. Сегодня из моего класса, насколько я знаю, в живых остались только трое.

К сентябрю разрушительные налеты немецкой авиации стали практически постоянными и осуществлялись как ночью, так и днем. Класс был переведен учиться в подвальное помещение на улице Константина (сейчас это улица генерала Петрова). Власть города, как могла, берегла детей. Школьников стали вывозить в сельскую местность.

В конце октября немецкие войска подошли к Севастополю и началась оборона города. Гражданское население ходило работать на строительство оборонительных сооружений. Копали траншеи, противотанковые рвы, дежурили в ночное время, боролись с зажигательными бомбами. Многие погибали при бомбежках и обстрелах. Город стал фронтом.

Становилось все тяжелее. Гражданским людям пришлось жить в бомбоубежищах, которыми стали штольни времен первой обороны Севастополя, подвальные помещения домов, разрушенные строения. Специальных убежищ было мало. Наша семья находилась в штольне-коллекторе под крепостной стеной в бомбоубежище под Краснофлотским бульваром (сейчас —

> Если в десятилетнем возрасте ты видел, как отделяются бомбы от вражеского самолета, видел убитых людей, видел сожженный и разрушенный город, ты не забудешь пережитого и не сможешь простить никогда.

Матросский бульвар), на улице Фрунзе (теперь – улица Нахимова), в подвале полуразрушенного дома на улице

Перелешинской (сейчас – улица Демидова), в собственном доме на улице Щербака.

В 1942 году упал снаряд на угол нашего дома. Счастливый случай спас мою жизнь. Взрыв произошел на уровне крыши. От ранений и контузий нас вылечило время.

Планомерное разрушение врагом города, недостаток воздуха, воды и пищи делали жизнь людей в осажденном Севастополе очень тяжелой. Если в десятилетнем возрасте ты видел, как отделяются бомбы от вражеского самолета, видел убитых людей, видел сожженный и разрушенный город, ты не забудешь пережитого и не сможешь простить никогда.

В мае 1942 года нашу семью должны были эвакуировать на военном корабле. Ночью под обстрелом мы добрались до угольной пристани. Корабль находился в Северной бухте – разгружал боеприпасы. Он должен был подойти и забрать раненых жителей города. Но при подходе к угольной пристани корабль был поврежден. Он не смог забрать людей и ушел. Тишина, наступившая 3 июля 1942 года, оказалась страшнее разрывов бомб. В город вошел враг.

Соседи украли наши вещи
Ляч (Гаврильченко) Мария Михайловна, 1933 г. р

Родилась 20 апреля 1933 года в Севастополе. К моменту начала войны была в детском саду, который выезжал на лето в пионерский лагерь в Мухалатке. Детей должны были вывезти из Севастополя, поэтому родителям нас не отдавали. Но мама получила пропуск для эвакуации на военном тральщике в Поти – туда был переведен ее завод. В итоге маме дали разрешение забрать меня из детсада, меня привезли и высадили возле Приморского бульвара. Подойдя к своему дому, я его не узнала: окна были грязные, на них наклеены бумажные кресты, стены тоже забрызганы грязью. Я зашла в квартиру и увидела стоящие посреди комнаты чемоданы, плачущую маму у окна. Она смотрела на тральщик, уходящий в Поти.

Так мы остались в Севастополе. Мама продолжала работать на заводе, а я 1 сентября пошла в первый класс школы № 16. Потом школу отдали под госпиталь. 30 октября 1941 года началась осада города, рабочим разрешили забрать свои семьи в штольни завода, туда же перенесли и станки. Мы с мамой жили недалеко от завода и иногда, когда стемнеет, приходили домой выкупаться, постирать белье. Около госпитального моста стояла зенитка. Солдаты-зенитчики приходили к нам по очереди помыться, мама стирала им гимнастерки, сушила их над печкой в комнате. На рассвете мы возвращались на завод, так как позже было опасно. Однажды в нас стреляли из дальнобойного орудия, стоявшего на Мекензиевых горах, снаряды перелетали через нас, и мы наклонялись к земле под свист каждого снаряда. Больше мы домой не ходили.

Мама работала в цехе, меня брала с собой. Когда она работала на корабле, я оставалась в штольне. Там работали станки токарные, а на них, стоя на ящиках, работали мальчики лет 13–14. Я была очень маленького роста, и меня, любопытную, прогоняли, чтобы не мешала. Тогда я уходила на площадку около штольни, там играла. Однажды ко мне подошел матрос, взял меня за руку и повел на корабль, что стоял у причала напротив штольни. Посадил меня за стол и ушел. А кок принес два котелка, ложку, все поставил на стол передо мной. Я посмотрела в котелки: в одном был жирный борщ, в другом рисовый плов с мясом. Всего было так много, что я испугалась: все это я должна съесть? Но тут раздалась сирена, и есть мне не пришлось.

Послышался топот ног на палубе – матросы бежали на свои боевые места. Застрочили зенитки по немецкому самолету-разведчику, который называли рамой. Самолет улетел, а командир отдал приказ отчалить от берега. Ему сказали, что на корабле девочка. Он спустился ко мне, остановился, сдвинув на затылок фуражку, и стоял, сложив на груди руки и расставив ноги на ширине плеч. Смотрел на меня и, наверно, думал, что я ему принесу: горе или удачу? Ведь говорят, что если на военном корабле побывает женщина, то корабль тонет. Но я-то была девочкой.

Мы вернулись к причалу невредимыми. Мама узнала, что я побывала на военном корабле, и пришла в ужас. В наказание она устроила меня в инструментальную, чтобы я помогала выдавать инструменты. В семь лет я уже хорошо писала, читала, хорошо считала. Вот я стала работать в инструментальной с Дергачевой Евдокией Васильевной и Мурочкой (так ее звали рабочие). Мне показали, где и в каком ящике лежит инструмент, что обозначают цифры на инструментах. Однажды мы с Мурочкой стояли у входа в штольню и смотрели в сторону улицы, где жила ее лежачая мама, не вставшая с кровати по причине болезни. В штольню бежали рабочие с криками: «Мина! Мина!» Мы посмотрели на небо и увидели, как на парашюте спускается к нам мина. Она не попала в море, а разорвалась на берегу. Не помню, как я очутилась в штольне, только чувствовала боль в затылке. Прибежала мама, стала меня ощупывать, расспрашивать, что у меня болит. Я говорю: «Ничего не болит, я ничего не вижу». К вечеру у меня поднялась температура, мама вызвала врача. Та меня осмотрела и сказала, что не понимает, от чего у меня температура. Мама рассказала, что со мной случилось. Врач сделала вывод, что я получила контузию от взрывной волны. Но и сейчас, через много лет, я иногда на несколько минут теряю зрение.

А тогда, когда мне стало полегче, мы с мамой вышли из штольни. В штольне было темно, а здесь светило солнце. Я оглянулась и увидела, что на стене около входа висит мужчина. Я крикнула: «Мама, смотри!» Мама оглянулась, но там уже никого не было. Стали искать, но никого не нашли, решили что это дезертир прятался. Но через несколько дней его нашли мухи, ведь было очень жарко. Вдруг появился неприятный запах, и роем стали виться мухи. Видно, парень упал со скалы, а камни, осыпавшиеся за ним, схоронили его. Это был молодой парень. Люди, разбирая камни, обсыпали все хлоркой. Родители парня ушли с завода, думая, что их сын дезертир, и так и не узнали, что он погиб.

Второго июля 1942 года немцы сидели на платформах поезда, стоявшего на заводе, собрали детей и под губную гармошку подзывали нас, показывая шоколад. Но никто не подошел.

Когда немцы заняли Северную сторону, мы все находились в штольне без работы и воды. Как-то мы с мамой взяли ведро и пошли к колодцу, который находился на территории завода. Набрали воду и уже хотели уходить. Тут перед нами начали в землю впиваться пули, поднимая пыль. Мы пятились, а они преследовали нас. За стеной развалившегося дома стояли трое наших солдат. Пожилой солдат крикнул, чтобы мы оставили ведро и шли к ним под стенку. Когда стемнело, немцы перенесли стрельбу на другой колодец. Солдат принес нам ведро и предупредил, чтобы мы больше не ходили сюда за водой.

Второго июля 1942 года немцы сидели на платформах поезда, стоявшего на заводе, собрали детей и под губную гармошку подзывали нас, показывая шоколад. Но никто не подошел. Потом повели нас на улицу Макарова, там стояли два разрушенных дома. Женщин отделили от мужчин. Мужчин увели, а нас загнали в дом. Мы с мамой всю ночь просидели в подъезде на лестнице. Утром нас отпустили по домам. Мужчин же угнали в Бахчисарай в концлагерь.

Дом наш был разрушен, он стоял на скале, внизу проходила железная дорога. Немцы выгнали нас на 1,5 км от железной дороги и от морского берега. Мы нашли комнату, в потолке которой была дыра от снаряда. Во второй комнате, когда шел дождь, мы ставили посуду, чтобы как-то уберечь постель от воды, чтобы на ней можно было спать.

Надо было что-то делать, чтобы не умереть с голоду. Нам удалось сохранить некоторые вещи в окопе, забросав их стульями, этажерками, чтобы румыны их не нашли. А соседи наши «не растерялись»: в одной семье я однажды увидела картину из нашего дома, а в другой мамино платье, сшитое на заказ. Вещи мы меняли в Бахчисарайском районе и однажды попали в облаву. Нас забрали в полицию, отобрали все что было, сделали опись вещей.

Старуха соседка, которая украла наши вещи, спросила у мамы, забрали ли у нее паспорт. Мама сказала, что нет. Тогда старуха догнала полицаев и подняла крик. Они вернулись и сказали маме: «Зачем же ты ей сказала про паспорт?

Мы специально оставили тебе документы». Так у мамы забрали паспорт.

А что мы получали за свои вещи? Одну картошку, кусочек хлеба, тыкву, яблочко. И вот теперь у нас отобрали вещи, и даже это немногое мы не могли получить при обмене. Нас посадили в грузовик и сказали: «В Севастополе, когда приедете, все получите назад». Увы, ничего назад мы не получили.

В Севастополе тоже были облавы. Татары привозили из сел овощи, фрукты, люди шли на рынок, и тут-то их и ловили. Отбирали паспорта и велели приходить за ними в полицию, где людям вручали направление на работы в Германии. Мы с мамой тоже попали в облаву, но у мамы не отобрали паспорт. Посмотрели и вернули.

Старуха соседка, которая украла наши вещи, спросила у мамы, забрали ли у нее паспорт. Мама сказала, что нет. Тогда старуха догнала полицаев и подняла крик. Они вернулись и сказали маме: «Зачем же ты ей сказала про паспорт? Мы специально оставили тебе документы». Так у мамы забрали паспорт.

На улице Корабельной была полиция, там на школьной доске писали, когда люди должны были прийти за паспортами. Нам объявили, что мы должны 22 июля явиться с вещами на вокзал, нас посадили в товарный вагон и повезли. Посреди степи остановили поезд и дали на вагон буханку хлеба и ведро воды. Потом нас довезли до города Джанкой, высадили на станции ночью. Рано утром подъезжали подводы – полицаи на них отправляли людей. Нас, севастопольцев, было десять семей, и нас отправили в совхоз Ток-базар. Мы выжили благодаря тому, что совхоз был овощеводческий, были огурцы и помидоры. Мы работали в совхозе и питались в столовой там же. Некоторые жители села нас упрекали, мол, приехали «защитники Севастополя» их объедать.

Нас освободили 11 апреля 1944 года. Мама стала работать в механической мастерской, а я ей помогала.

Отец вошел в город с первой автоколонной Недоруб Евгений Павлович, 1934 г. р

Родился 17 августа 1934 в родильном доме Севастополя на набережной Корнилова. До войны и во время войны мы жили на улице Карла Маркса рядом с главпочтамтом, напротив Покровского собора, пока дом не разбомбили.

Когда немцы подошли к Севастополю, отец повел автоколонну на Кавказ, а я остался с бабушкой и дедушкой в городе. Во время бомбежек мы перебирались либо к нашим знакомым на улицу Частника, либо к дедушке на завод. Поэтому и остались живы, когда наш дом разбомбили.

Когда стало понятно, что немцы все же войдут в Севастополь, бабушка с дедушкой очень боялись, что меня могут расстрелять, поскольку я был очень похож на еврея. Бабушка меня крестила, и мы перебрались в село Кучук-Мускомья, где меня постоянно прятали от фашистов в маленьком обшитом деревом окопчике, а точнее, блиндажике недалеко от дома. Вскоре начался артобстрел деревни. Спасаясь от артогня, мы и многие жители деревни бежали в горы. Там была большая пещера под землей, помню, ее называли «провал». В ней попрятались люди, надеясь дождаться прихода наших, все были уверены, что скоро фашистов выбьют.

Но, убегая от артогня, мы не захватили с собой много продуктов, и пришлось идти в деревню. Помню, мы шли по дну большого оврага и услышали впереди немецкую речь. Дедушка с бабушкой быстро поднялись по склону балки, положили меня под нависающий камень, а сами легли рядом, прикрыв меня. Из-за поворота выехали трое фашистов на лошадях. Как раз под нами они остановились, спешились, постояли, покурили и поехали дальше. Ни один из них не поднял головы и не посмотрел вверх.

Мы шли по дну большого оврага и услышали впереди немецкую речь. Дедушка с бабушкой быстро поднялись по склону балки, положили меня под нависающий камень, а сами легли рядом, прикрыв меня. Из-за поворота выехали трое фашистов на лошадях.

Предполагая, что обстрелы будут продолжаться и дальше, дедушка с бабушкой решили пешком добираться в Ялту, где жили наши хорошие знакомые. Мне идти было очень тяжело, ведь я был маленький и очень уставал. Помню, меня на подводе подвез немного румынский солдат. На середине пути между Байдарами и Ялтой мы остановились в дорожном домике и прожили там

несколько месяцев. Голодали. Мимо шли фашистские войска, у них было много лошадей, «битюгов», как мы их называли. Они их кормили овсом, он рассыпался, бабушка его потом с земли собирала, перебирала и варила кашку. Ели конину, «полакомились» даже собачатиной – немцы пристрелили большую собаку и сами с удовольствием ее съели и нам досталось.

Был и такой случай. Дедушка нашел на дороге деревянный бочонок и спрятал его под мостик. Его схватили и повели на расстрел. Говорили «минен, минен, партизан», дедушка понял, кое-как уговорил пойти на то место, показал бочонок, фашисты долго спорили между собой, но все же отпустили деда.

Помню, что пожилые немцы были более добродушными, более злобными были молодые.

Не знаю, каким образом балаклавские рыбаки-греки узнали о моем дедушке, который был хорошим плотником, столяром-краснодеревщиком, работал модельщиком на чугунолитейном заводе. Они пришли на баркасе и забрали нас в Балаклаву, где дедушка ремонтировал им баркасы. Запомнилось, как я сидел на корме баркаса, а рядом развевался фашистский флаг со свастикой.

В Балаклаве уже восьмилетним я пошел в первый класс. В школе учились смуглые греки, крымско-татарские ребята, и теперь моя еврейская схожесть не бросалась в глаза. К тому же я быстро научился болтать по-татарски.

Жили мы рядом с церковью Двенадцати апостолов. Когда началось освобождение Балаклавы, помню, как сидел у окна и наблюдал, как по набережной Назукина бегают немецкие факельщики, поджигая все, что может гореть. Потом по набережной с винтовкой наперевес и примкнутым штыком пробежал наш солдат. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами: наши пришли. И я начал рисовать Кремль.

На той стороне в каменоломнях засели фашисты. Шли бои, обстрелы, народ скопился в здании ЭПРОНа. В нем же были наши бойцы, в том числе и раненые.

Как-то я стоял на балконе верхнего этажа и наблюдал за воздушным боем. И увидел, что внизу подъехала большая зеленая машина с тентом («форд»). Водитель, сдавая назад, открыл дверцу и стал смотреть. Он был в морской офицерской форме с серебряными погонами. Я представил себе, как машина стоит на корме корабля, ее привязывают. Через какое-то время на балкон залетела женщина-солдатка: «Женя, папа!» Приехал мой отец.

Отец вошел в город с первой автоколонной, машины были американские – «форды» и «студебеккеры». Колонна базировалась

в учебном отряде, где сейчас филиал МГУ. От наших знакомых он узнал, что мы сейчас в Балаклаве «между двух огней». Сам сел за руль «форда», прорвался в Балаклаву и вывез нас оттуда. Поселились мы на улице Карла Либкнехта, 83, в доме моего деда по отцовской линии – дом уцелел. Там на Малаховом кургане, на Корабельной стороне продолжилось мое детство.

Мою сестру расстреляли как подпольщицу Олейникова (Поцелуева) Александра Ефимовна

Мы жили перед войной в поселке Красный Октябрь – в то время это место называлось Крестьянская слободка. Перед войной я перешла в 4-й класс. Школа находилась в поселке. Жили хорошо. Держали хозяйство: корову, свиней, кур. Отец работал в Сухарной балке охранником в воинской части. Мать домохозяйка.

Война началась в июне 1941 года. Видели в небе самолеты, слышали взрывы, подумали, что это учения на флоте. О войне узнали через пару дней по радио. Папу забрали на фронт – в рабочий батальон. Брата забрали по брони в воинскую часть в скале Шампань. Сестра – Поцелуева Ефросинья Ефимовна, служила в воинской части в Сухарной балке учетчиком. Я с мамой пряталась в подвале дома по улице Чернореченской.

Каждый день немцы бомбили и обстреливали Севастополь. Снаряды и бомбы залетали и к нам. Один снаряд вышиб двери дома и разорвался внутри, но выбил только окна, так как дом своими руками построил мой дед, который пилил блоки до войны в той же Шампани. А в подвал не залетали даже осколки. Когда бомбежка затихала, мы выходили во двор, кормили корову, доили ее, раскладывали и сушили сухари. Сестра Фрося раз в месяц приносила паек из воинской части. Вообще, в подвале сидели до прихода немцев месяцев восемь. И последний месяц из-за сильных бомбежек пошли прятаться в гору Шампань. После подрыва горы вернулись в подвал.

> Сестра Фрося была измучена, плохо себя чувствовала. Рассказывала, что ее пытали, выкручивали руки и ноги, топили в бочке с водой. Через три дня опять пришло гестапо и увезли Фросю опять в тюрьму.

Когда пришли немцы, они заставляли работать всех на полях, в мастерских, рыть окопы. Я по малолетству работала на полях. Немец-надсмотрщик иногда огревал плеткой и говорил: «Русские работать здесь – урожай в Германию. Моя семья жить хорошо». Речи о том, чтобы навредить им, не было – убили бы сразу.

Еще в поселке нашем жил немец-комендант. У него была любовница из местных. Она-то и предала всех подпольщиков нашего поселка. После предательства ночью нагрянули немцы, выгнали всех на улицу, тут уже были поселковые подпольщики и

их семьи. Поставили лицом к стене нашего дома. Что-то кричали, ругались, мы думали, нас всех расстреляют. Но они забрали в машину подпольщиков, среди которых была моя сестра Фрося, и увезли в город. Через два дня Фросю отпустили домой, но за железной дорогой сидела куча фрицев, были даже с овчарками, следили – не придет ли еще кто из партизан. Это длилось три дня, все эти дни мы не спали – боялись. Сестра Фрося была измучена, плохо себя чувствовала. Рассказывала, что ее пытали, выкручивали руки и ноги, топили в бочке с водой. Через три дня опять пришло гестапо и увезли Фросю опять в тюрьму.

А весной 1944 года, за 10 дней до освобождения Севастополя от фашистских захватчиков, мою сестру Фросю вместе с несколькими подпольщиками и другими арестованными вывезли из застенков гестапо к авиационной воронке и расстреляли. Воронку тщательно сровняли с землей. Когда вошли наши, то они нашли место гибели подпольщиков, раскопали воронку, через газеты сообщили людям о страшной находке и попросили прийти на опознание. Мы тоже ходили: я, папа, и брат. И нашли нашу родную сестру Фросю.

А потом красноармейцы изъяли из стены, у которой их чуть не расстреляли, радиопередатчик, о котором мы и не догадывались. О чем оставили расписку, которую я храню, как память о подвиге сестры.

Когда вошли наши, то они нашли место гибели подпольщиков, раскопали воронку, через газеты сообщили людям о страшной находке и попросили прийти на опознание. Мы тоже ходили: я, папа, и брат. И нашли нашу родную сестру Фросю.

Похоронили их всех на братском кладбище за 1-й горбольницей. Там стоит памятник Ревякину и мемориальная плита с именами подпольщиков Севастополя. Среди героических имен есть и имя моей сестры – Поцелуева Ефросинья.

А еще накануне самого освобождения весь поселок подняли в четыре часа утра и погнали в центр Севастополя.

Немцы по дороге кричали, стреляли, вытаскивали людей из щелей и гнали в центр. Всех пригнали в район первой горбольницы, чуть выше больницы была тюрьма. Народу тьма, согнали со всего города и всех окрестностей. С нами был военнопленный дядя Сеня – он помог нам бежать. Нас погнали к морю: немцы набивались в корабли и баржи, а верхнюю палубу закрывали плотным строем мирных жителей. По пути к кораблям дядя Сеня засунул меня в один колодец на дороге, а маму в другой – вбил как гвозди. Народу там было как селедки в банке.

Благодаря ему и спаслись.

Снайпер убил моего одноклассника
Романова Александра Ивановна, 22.09.1924

В Балаклаву Великая Отечественная война пришла скоро. Периодически немецкие самолеты сбрасывали бомбы. Затем морским путем стали поступать раненные бойцы из Одессы, где тогда шли бои.

Оборона Севастополя началась 31 октября 1941 года. Помню сражение, когда немцы подошли в местечко Кефало Вриси на восточной стороне Балаклавской горы, – оттуда было много раненых красноармейцев. Им оказывала помощь фельдшер Любовь Харитонская, затем солдат отправляли в санчасть.

В городе стало опасно находиться. Через несколько дней, после того как бойцы Красной армии отбили атаку на горе и не допустили немцев в Балаклаву, усилился обстрел с горы. Там засели снайперы, они свободно убивали всех проходящих по городу: и военных, и мирное население.

> К нам, подросткам, обращались за помощью в чем-нибудь. Сообщали по цепочке один другому (телефонов ведь не было), когда и где собраться.

Приходилось, согнувшись и прячась, пробегать между стенами домов и каменными заборами. Один из минометных снарядов попал в наш дом, когда мы с мамой находились дома, а сестренка была в бомбоубежище, снаряд пробил крышу и разорвался под потолком в комнате, где находилась я. Я не слышала разрыва снаряда, но сразу почувствовала себя оглушенной, не могла крикнуть, почувствовала запах серы и удушливых газов. Мама находилась в другой комнате и позвала меня, так как была ранена в ногу осколком снаряда. Фельдшер оказала нам помощь, остановила кровотечение, сделала перевязку. Потом уже при осмотре комнаты оказалось, что снаряд разорвался в противоположном от меня углу, и все осколки остались там.

Мы перешли жить в другое место – в одно из подвальных помещений все в той же Балаклаве. Занятия в школе прекратились, и я стала ходить на оборонные работы, рыть траншеи вместе с другими учениками. Затем меня позвали поработать на водокачку, которая снабжала питьевой водой город, – она располагалась в каменном помещении с электрооборудованием. Здесь я работала, пока ее не разбомбили. К нам, подросткам, обращались за помощью в чем-нибудь.

Сообщали по цепочке один другому (телефонов ведь не было), когда и где собраться.

Магазины не работали. Хлеб получали по талонам, жили впроголодь. Из моих одноклассников несколько человек погибли. Любовь Аврамиди убили осколком снаряда, а Витю Денисенко убил немецкий снайпер через окно дома.

Впереди было еще много трудных испытаний, которые нам довелось вынести. И вся 250-дневная героическая оборона Севастополя внесла весомый вклад в победу нашей Родины.

Утром отец ушел на завод, и больше я его не видел до конца войны
Смурыгин Иван Григорьевич, 1933 г. р

Родился 25 июня 1933 года в селе Голумбей Бахчисарайского района (теперь это село Некрасовка). К началу войны мне почти исполнилось восемь лет.

Перед самой войной родители попросили бабушку и дедушку привезти меня. Дедушка запряг лошадей, к вечеру мы приехали в Севастополь, мама накормила деда, и он поехал домой. Спать мне постелили на рабочем верстаке отца. Ночью я проснулся от яркого света в окне, было очень много прожекторов. И в одном из прожекторов я увидел самолет, по которому стреляли трассирующими пулями, было очень красиво. После чего я пошел в другую комнату, разбудил отца и спросил, что происходит. Он встал, посмотрел и сказал: «Война».

Утром он ушел на завод, и больше я его не видел до конца войны. Я и две мои сестры остались с матерью. В нашем огороде был выкопан окоп, в котором при налетах и обстрелах прятались все, кто был поблизости. По торцу окопа находилась соседская времянка, в которой ремонтировали винтовки, пулеметы, минометы и ПТР. Все свое свободное время я был там и выполнял любую работу, какую предлагали.

Однажды во время налета никого взрослых не было дома, мать пошла на Северную сторону, чтобы купить кое-какие продукты, я с сестренками был дома. И тут я вижу штук 15 немецких самолетов, которые направлялись в сторону северного дока. Я схватил сестер и затащил их в окоп. Когда вернулся, то увидел, что один бомбардировщик повернул в нашу сторону и летит прямо на меня. Потом увидел, как от него отделилось три точки, это были бомбы. Я прикрыл дверь в окоп и стал ждать. Через мгновение раздался взрыв, дверь вырвало у меня из рук, а меня взрывной волной отбросило на печку. В окопе стало много пыли, а я подумал, что это дым, схватил сестренок

> Тетя Дуся сварила молочную лапшу, разлила по тарелкам и пошла нас звать, в это время раздался взрыв, и у нас рухнула штукатурка прямо с потолка на стол. Жалко было молочную лапшу.

и кинулся к выходу. В это время вбежала тетя Дуся и закричала: «Ты куда?!» Я сказал, что там много дыму, она

ответила, что это пыль. Она была в комнате, сварила молочную лапшу, разлила по тарелкам и пошла нас звать, в это время раздался взрыв, и у нас рухнула штукатурка прямо с потолка на стол. Жалко было молочную лапшу. Когда я вышел из окопа, то увидел, что одна воронка прямо возле окопа. Другая – напротив нашего дома, окон и дверей нет, а от мастерской осталось три ряда рубероида.

Ночью семьи, которые работали в мастерской, отправили в штольни Инкермана. Утром немцы заняли Северную сторону. Когда мы шли на баркасе, нас без конца обстреливали, но мы благополучно добрались и два месяца пробыли в штольне. Воды не было совсем, вместо нее давали бутылку шампанского (в штольнях был склад завода шампанских вин), три сухаря и 150 граммов подсолнечного масла на каждого. Немцы установили танк на мосту через Черную речку и прямой наводкой били по входу в штольню. Так что выйти или войти с риском для жизни можно было только ночью.

Однажды после захода солнца (мы определяли время суток по проему окна под потолком штольни) нам сказали, что те, кому нужно шампанское, пусть идут к подвалам и берут сколько надо, потому что часовых там нет. И еще сказали, что тех, кто сможет подняться на 15-метровую высоту по штормтрапу и пролезть в проем окна, по ту сторону будет ждать теплоход для эвакуации на Большую землю. Часть людей стала собираться у штормтрапа, другие двинулись к подвалам. Через некоторое время с первого этажа стали подниматься люди, таща за собой мешки с бутылками.

Я пошел в свою выгородку и лег спать. Возможно, я очень устал, поскольку взрыва не слышал, а проснулся от того, что меня что-то крепко ударило по мягкому месту. Когда я вышел из выгородки, то увидел мечущихся и кричащих людей, пожар и дым. Через некоторое время соседи привели мою мать, голова у нее была разбита и лицо в крови. Она сказала, что при взрыве стена штольни рухнула на госпиталь, и все, кто там был, – погибли.

> После взрыва на первом этаже уровень шампанского поднялся по щиколотку. Люди ставили кирпичи, клали на них носилки и укладывали раненых, обмывая их шампанским при перевязках.

После взрыва на первом этаже уровень шампанского поднялся по щиколотку. Люди ставили кирпичи, клали на них носилки и укладывали раненых, обмывая их шампанским при перевязках. Стену штольни взорвали в два часа ночи – в стонах и

криках мы дождались утра. Утром почувствовали, что со стороны немцев ведутся раскопки, и стали со своей стороны разбирать завал. Через некоторое время образовалась щель, в которую мы увидели немцев и офицера, который что-то кричал. Потом подошел наш врач, который хорошо говорил на немецком, он переговорил с офицером, а нам сказал, чтобы женщины и дети выходили налево, а подростки и мужчины направо. Немцы, разделив нас всех, погнали через мост. Детей и женщин в малые штольни, нам же дали крючья и сказали: как соберете и сожжете все трупы, тогда вас и отпустим. Более недели мы стаскивали тела, сливали с разбитых машин бензин и сжигали останки под присмотром немцев. После окончании этой работы нашего врача расстреляли, сказав, что он «юде». А нам разрешили идти по домам.

Хотели нас расстрелять, но за нас вступился немец
Сорокина Софья Евдокимовна, 1931 г. р

Я родилась в Севастополе 26 ноября 1931 года. К началу войны мы жили на Северной стороне. За время с июня 1941 года по июнь 1942 года моя семья поменяла пять укрытий из-за массированных налетов немецкой авиации и артобстрелов.

Недалеко от братского кладбища и железной дороги находился рабочий городок, который назывался Севдок. Здесь жили рабочие завода им. Серго Орджоникидзе. Последнее бомбоубежище находилось на территории Севдока, в нем мы и встретили немцев. Я слышала разговор родителей, что скоро придут немцы, так как татары все увольняются и бегут в Бахчисарай.

> Хотели нас расстрелять всех, но за нас вступился немец. Не знаю, кто он был, но чин был высокий, так как к нему все прислушивались.

Ночью я проснулась от шума. Немцы были уже на территории Севдока. Я видела и слышала, как люди уговаривали нашего красноармейца не ходить в город или хотя бы переодеться: «Сними форму. Ведь легко будет уйти от преследователей». Но он отказался от всякой помощи, от всех услуг: «Я должен доставить пакет командования в город». И ушел. Он у нас был недолго, судьбу его мы не знаем. Но нас он спас, иначе бы немцы расстреляли всю нашу семью.

На рассвете раздался громкий стук в дверь убежища. Открыли, а это немцы. Выгнали нас всех из убежища, последней вытащили за руку мою маму, которая держала на руках контуженого четырехлетнего ребенка – моего братика Мишу. Выстроили нас всех в один ряд и пристально смотрят. Вели себя нервно, явно кого-то искали, но никого больше не нашли. Хотели нас расстрелять всех, но за нас вступился немец. Не знаю, кто он был, но чин был высокий, так как к нему все прислушивались. Он всех нас пересчитал по-немецки, а потом сказал на чистом русском языке: «Вот такое количество здесь находится. Никого больше не впускать. Нарушите, знаете что будет?»

Когда немцы заняли Севдок, то на ночь выгоняли всех ночевать в помещение, отведенное специально на его территории. Нас охраняли, а утром отпускали. Так продолжалось недолго.

Вскоре отделили все взрослое мужское население и угнали.

Через некоторое время и нас всех оставшихся выгнали из бомбоубежища. Нам разрешили взять документы и вещи, одежду. Все остальное осталось в укрытии. Мы повесили замок, но, когда вернулись – всё было разграблено.

Немцы довели нас до братского кладбища, а потом сказали: «Дальше идите сами в Бахчисарай». Шли мы пешком, там находился сборный пункт – школа. Шли мы несколько дней, спали у дороги. Я видела, как по дороге гнали наших военнопленных, как над ними издевались. Это страшная картина: измученные, раненые, изможденные лица наших солдат. Постоянные крики и оскорбления со стороны конвоя.

Наконец добрались мы до Бахчисарая. Школа была переполнена людьми: дети, старики, раненые и контуженые. Кормили нас один раз в сутки, пища отдавала керосином. Спали мы на полу в классе. За пределы школьного двора выходить запрещалось.

Вот картинка, которую помню как сейчас. Я сижу на полу. Мама с группой женщин ушла в Севастополь узнать, как там дела. Вдруг в дверях появляется татарин и идет прямо ко мне. Схватил за руку и говорит: «Ты еврейка!» Я молчу. Тогда он говорит: «Скажи: на горе Арарат растет крупный виноград!» Я повторила, но он не отставал. За меня вступились женщины и выгнали татарина.

Вдруг в дверях появляется татарин и идет прямо ко мне. Схватил за руку и говорит: «Ты еврейка!» Я молчу. Тогда он говорит: «Скажи: на горе Арарат растет крупный виноград!»

Я повторила, но он не отставал. За меня вступились женщины и выгнали татарина.

Яркий пример того, как татары встречали немцев в Бахчисарае: радостный шум, вокруг возгласы приветствия. Я увидела, как на центральной улице Бахчисарая появилась немецкая свита. На белой лошади главный немец, остальные на лошадях другой масти. Их со всех сторон окружил народ так, что негде было яблоку упасть.

Вернулись мы из Бахчисарая в Севастополь, арендовав за плату у татарина телегу. На этой телеге сидела я с больной ногой, а вещей у нас было очень мало.

Возница ни разу не разрешил присесть на телегу изможденным женщинам, их было пять или шесть человек.

Жить мы стали в разрушенном бараке на территории Севдока. Затем перебрались жить в разрушенное трехэтажное

здание. Меняли оставшиеся вещи по деревням на продукты. А еще ходили ночью воровать неубранный виноград. Когда виноград кончился, стали днем искать «бубышки» от винограда. Однажды увлеклась я, и не заметила, как наткнулась на препятствие: поднимаю глаза и вижу перед собой обугленную машину «виллис», а за рулем обгорелый труп нашего бойца, который упал на руль всем корпусом, вцепился в него.

В поисках еды я бегала на железнодорожный вокзал. Там наши военнопленные разгружали вагоны с картошкой. Видя голодную детвору, пленные невзначай роняли картошку из дырявых мешков, а мы доставали ее из-под вагонов. Один военнопленный умудрился взвалить себе на спину мешок дыркой вниз. Пока нес – картошка сыпалась дорожкой. Немец увидел и жестоко избил нашего кормильца.

Прошел слух, что будут эвакуировать население Севастополя. Моя семья решила перебраться на Украину, на родину отчима. В октябре 1942 года нас вывезли в товарных вагонах в Николаев. Сначала мы жили в школе, а потом нас расселили по частным квартирам в Николаеве. Потом мы попали на Донбасс и домой вернулись только в 1948 году.

Мы старались помогать армии по мере сил Трачук Екатерина Васильевна, 1929 г. р

Вплоть до начала войны мы жили в районе братского кладбища. На территории было три дома, в одном из которых жила наша семья. Отцу, Окорокову Василию Никитовичу, к началу войны было 45 лет, маме – Василисе Даниловне – 41. Мне к тому времени исполнилось 12, а всего наша большая семья состояла из шести человек. Жили с нами соседи по фамилии Шестун и Кошевец, а еще была комната общежития. Отца призвали в армию, он служил в Дергачах, потом в Казачьей бухте санитаром в госпитале.

С первых дней, как началась война, вся территория была занята под военный объект. В нашей квартире в одной из комнат разместился временный полевой лазарет. В доме, где жили Красницкие, – наблюдательный пункт. В общежитии разместились разведчики – они сообщали, как продвигается фронт. Вести были неутешительные: фронт приближался к Мекензиевым горам. Немцы стали обстреливать церковь, старались сбить наблюдательную вышку. Снаряды летят, бьются о стену, летят осколки. Самолеты сбрасывают бомбы, грохот и пальба. Стали поступать раненые, их привозили и несли на носилках. Все измучены и окровавлены, от боли стонут.

В медпункте им оказывали помощь, а тяжелораненых отправляли в госпиталь. Жители старались хоть чем-то помогать, отдавали простыни. Моя мама стирала, мыла, делала все, что нужно. Я всегда была при ней, потому что мама была инвалидом по слуху. Помню, как две девушки в военной форме обратились ко мне с просьбой постирать их личные вещи. Я выстирала, высушила и отдала им. После войны нам довелось встретиться. Оказалось, это были девушки-снайперы.

Две девушки в военной форме обратились ко мне с просьбой постирать их личные вещи.

Я выстирала, высушила и отдала им. После войны нам довелось встретиться. Оказалось, это были девушки-снайперы.

Дети таскали дрова для обогрева помещения, где находились раненые. Стояла огромная плита, ее топили днем и ночью. Воды не хватало, собирали снег, растапливали его, затем пили и стирали.

Зима 41–42 годов была холодная и снежная.

Моя старшая 16-летняя сестра-комсомолка работала в бригаде по выращиванию овощей для фронта. Немецкий самолет сбросил бомбы, и одна из них прямым попаданием уничтожила весь их труд. Затем сестра рыла подземный ход в штольне на Северной стороне. 14-летний брат был определен в похоронное бюро-команду. Наравне со взрослыми захоранивал погибших бойцов.

Обстрелы усилились, и нас вывезли на Северную сторону, на площадь Захарова. Там мы попали под бомбежку. Немецкие самолеты сбрасывают бомбы, со свистом летят снаряды зажигательные. Все горит: пекарня, пристань, переправа, конюшня с лошадьми, дома рушатся, все в пламени, дым, пыль, взрывы оглушительные.

На переправе скопилось много обозов с военными и снаряжением, их обстреливают. Нам страшно. Побежали к скале, спрятались в пещеры. Там уже находился дедушка с маленькими внуками. Пещера маленькая, наспех вырытая. Мы потеснились и остались. Живем: еды никакой, воды нет, одежда только та, что на себе. Дедушка старый, дети малые. Мама с малым братишкой на руках, поэтому я с братом под обстрелами добывали еду и воду для всех.

Воду добывали под сплошной бомбёжкой
Тутова Анастасия Павловна

Жили мы на слободке Коммунаров, дом 10. И когда 22 июня на улице Подгорной упала первая мина, у нас в доме вылетели все стекла. Утром мама, уходя на работу, не велела нам выходить из дома. Но разве мы могли усидеть?

То, что мы с сестрой увидели, запомнилось на всю жизнь. В этом доме жила моя подружка и одноклассница Надя Степушина с мамой, их засыпало, но они чудом остались живы, хоть и лишились всего имущества.

Мы помогали взрослым, тушили «зажигалки», если удавалось поймать их за хвост и отбросить подальше. Школу закрыли, там устроили сперва госпиталь, а потом эвакопункт.

Затем у нас в городе случилась беда с питьевой водой. А еще я не могу забыть последние месяцы осады, когда уже все было разрушено. Не было хлеба, муки, вместо них давали пшеницу. На два кирпича ставили сковородку в сарае, чтобы не видно даже дымка, жарили эту пшеницу, такое было вкусное лакомство, попьешь водичку и сыт. Потом давали чечевицу, а ее надо варить очень долго, подливая воду.

На два кирпича ставили сковородку в сарае, чтобы не видно даже дымка, жарили эту пшеницу, такое было вкусное лакомство, попьешь водичку и сыт. Потом давали чечевицу, а ее надо варить очень долго, подливая воду.

Воду добывали под сплошной бомбежкой где-то в Карантине, но я помню, что был какой-то источник выведен в трубочку, он тек тоненькой струйкой. Ты ставишь свои ведра, сам прячешься за стенки или камни и следишь, как наполняется твое ведро, затем забираешь. Причем наполнять сразу по два ведра нельзя – надо становиться снова в конец очереди. Накрывали воду в ведре куском фанерки, чтобы не расплескать драгоценную влагу. А лето, жара, пить хотелось все время.

Мама была на работе сутками, она военнообязанная, брат на фронте, старшая сестра работала в штольнях. А я помогала маминой двоюродной сестре.

Им солдаты привозили окровавленное белье и бинты, дрова, воду, которую нельзя было пить, а только с ее помощью стирать. По вечерам, сидя во времянке при коптилке из сплющенного патрона, тетя латала гимнастерки, а я сматывала выстиранные

бинты.

Вербовщики предлагали поехать в сша, но я вернулась в родной Севастополь Чабанова (Фирсова) Нелли Васильевна, 1926 г. р

Мои предки жили здесь едва ли не со времени основания города. А я родилась 11 октября 1926 года. В Севастополе прошло мое радостное детство, но его оборвала война. В то время я была худеньким, но очень любознательным четырнадцатилетним подростком. За 2–3 дня до первого налета немецкой авиации я была в гостях у теток в Симферополе. 23 июня в Симферополе начались волнения среди населения – искали немецких парашютистов. Вскоре я стала очевидцем обороны и немецкой оккупации Севастополя, во время которой людей вывозили на принудительные работы в Германию.

В доме была я одна: папа работал в ПВО, мама на железной дороге круглосуточно. А старший шестнадцатилетний брат работал токарем на Севмор-заводе. Мы жили на Петровой слободке, Пластунский переулок, 16. Иногда домой приходил папа, и в скале за домом выдалбливал убежище, которое потом спасло наши жизни.

Еду мне никто не приносил. Я вставала в полшестого утра, бежала два километра на наш огород. В это время не было налетов, только обстрелы минами или снарядами. Днем бегала по подружкам, а ночью одной было очень страшно – дома были только я и кот.

Когда прошел слух, что «берут на окопы», я стала думать, чем я могу быть полезна. Хотела сначала стать санитаркой, но знакомая сказала, что для санитарки я еще мала. Я со слезами ушла. А когда на другой день пошла в ремесленное училище, то меня там высмеяли… Потом решила пойти в штольни. Там на проходной завода сказала: «Мне надо к директору». Мне ответили, что его нет, и я прождала до вечера. Потом поняла, что меня просто к нему не пустили. Вернулась домой.

Моего двоюродного брата Владимира тяжело ранило, и врач сказал, что его можно поднять на ноги, только если поить молоком. Поэтому я бегала за четыре дома от нас брать коровье молоко в бутылку из-под шампанского и мчалась, пережидая обстрелы и бомбежки, отдать его раненому. Потом я шла к другому своему брату, который выхлопотал для меня у начальства талон на питание. Я брала его и несла домой, где

меня ждали трое малышей со своими мамами в нашем убежище. Мне же доставалась одна ложка от этого обеда. Бывали у меня и голодные обмороки. А еще надо было успеть на занятия в школе к двум часам.

> Хотела сначала стать санитаркой, но знакомая сказала, что для санитарки я еще мала. Я со слезами ушла. А когда на другой день пошла в ремесленное училище, то меня там высмеяли… Потом решила пойти в штольни. Там на проходной завода сказала: «Мне надо к директору». Мне ответили, что его нет, и я прождала до вечера. Потом поняла, что меня просто к нему не пустили.

Практически с апреля по конец июня 1942 года в нашем убежище находились семеро взрослых и трое малышей. Питания не было. Пили только воду по три глоточка. Воду ночью или ближе к утру приносил мой папа из колодца.

Но однажды, незадолго до оставления нашими войсками города, отец не принес воду. Выйдя из убежища, он остановился у калитки с соседом, и они услышали гул. Затем увидели, как над Лабораторным шоссе очень низко летит «мессершмитт». Почти следом за ним летел бомбовоз, который сбросил полутонную бомбу на повозки с полевыми кухнями. Когда пыль осела, папа и сосед увидели, что солдаты и лошади разорваны и разбросаны по улице. Котлы с завинченными крышками лежали на боку – еда в них сохранилась. Тогда люди из соседних домов повыходили на улицу, отвинтили крышки с котлов и стали кто во что половниками набирать эту вареную еду. Папа побежал домой, схватил два ведра, набрал густого борща и вернулся. Второй раз он принес оттуда ляжку жеребенка. Тут послышался гул летящих бомбардировщиков. Когда стихло, люди собрали останки солдат и похоронили их в воронке. Кушая принесенный борщ из ведер, мы плакали, что не узнали имен погибших, чтобы сообщить их родителям. Из мяса мама наделала котлет. Мы с голодухи пообъедались, но чудом остались живы.

Утром 30 июня 1942 года наступила гробовая тишина. По звукам мы поняли, что на крыше нашего дома засели немецкие автоматчики. 1 июля папа тихонько открыл дверь. Он вышел во двор и увидел, как по Лабораторному шоссе и по склонам над ним, по всем тропинкам шли немцы с флагами, но шли тихо. Когда они подошли в район железнодорожного тупика (там теперь памятник бронепоезду), тупик и вокзал вздыбило от мощных взрывов. Начался невиданно жестокий бой, который продлился с семи утра до четырех дня. К тому времени немцы

продвинулись до завода в штольнях, где находился мой брат Володя. Работавшие там старики и подростки отказались по требованию немцев открыть вход. Немцы предупредили, что в таком случае они пустят газ и взорвут штольни. Старики приняли решение открыть вход. Увидев только стариков и детей, немцы отпустили их домой. Вернулся и мой брат. Через 2–3 дня стали ходить по домам гражданские полицаи с повязками. Они сказали брату: «Если хочешь жить, бери документ и иди в Морзавод на трудповинность».

> Папа и сосед увидели, что солдаты и лошади разорваны и разбросаны по улице. Котлы с завинченными крышками лежали на боку – еда в них сохранилась. Тогда люди из соседних домов повыходили на улицу, отвинтили крышки с котлов и стали кто во что половниками набирать эту вареную еду. Кушая принесенный борщ из ведер, мы плакали, что не узнали имен погибших, чтобы сообщить их родителям.

К 4 июля уличные бои постепенно стали затихать. Через неделю прошел слух, что оставшихся в живых защитников города сгоняют на стадион, в тюрьму на площадь Восставших и в горбольницу. Мы с подругой взяли ведро и две кружки, спустились к колодцу, набрали воды и, прячась, чтобы у нас ее не отобрали (в городе воды не было), подошли к воротам больницы и попросились у часовых пройти. Нас пропустили. Весь двор был заполнен нашими военнопленными, которые сидели или лежали очень тесно. Тут же у ворот мы начали раздавать по полкружки воды тем, кто был в окровавленных бинтах. Они терпеливо ждали, оставаясь на своих местах, только кричали: «Доченька, дай мне!» Мы сказали, что принесем еще. Так мы носили тяжелое ведро два-три раза в день. Часовые были недовольны и прогоняли нас. Спасало то, что они менялись. Так мы ежедневно ходили весь июль и больше половины августа. Некоторые раненые давали нам на стирку гимнастерки и нательные рубахи. Потом нас перестали пускать. Тогда мы стали ходить к тюрьме, где были наши пленные офицеры. Мне была особенно дорога 24-я палата, где находились моряки, которые прятали своего командира.

Я не могу забыть, как, проходя однажды мимо холодильника у клуба железнодорожников у Южной бухты, я увидела, как немцы гнали очередную колонну. В последних ее рядах шли пятеро моряков в тельняшках. Когда они поравнялись с берегом моря, они разом бросились все впятером в воду с криком: «Мы на море родились – мы на море и умрем!» Их тут же расстреляли охранники.

Когда во второй половине августа пленных гнали по шоссе, то жители подбегали и кидали в гущу колонны кто что мог.

В оккупации мы питались облитым керосином пшеном и сахаром, которые оставались на складах и которые не успели сжечь. Мама каждое утро промывала водой пшено и сушила на солнышке. Из этого она варила бурду, которую мы с трудом ели, но другой еды не было.

Однажды в начале сентября к нам пришел немецкий офицер. Он осмотрел комнаты и молча ушел. Через два дня пришли полицаи и сказали, чтобы я явилась вместе с метрикой в комендатуру. Я не пошла. Через день снова пришли полицаи и потребовали домовую книгу, где лежали документы на всех нас. Они взяли только мою метрику и сказали немедленно прийти, иначе вся семья будет расстреляна. В комендатуре вручили повестку, чтобы 14 сентября я с вещами к 5 часам вечера пришла на вокзал для отправки в Германию.

По пути следования эшелон первую остановку сделал в Запорожье. Там нам дали по буханке хлеба. Затем остановки были в Днепропетровске, Минске, во Львове. Во Львове нам сделали первую дезинфекцию. Следующая остановка – в Кракове. Там у перрона росли груши и сливы. Когда открыли вагоны, изголодавшиеся люди бросились к этим деревьям, срывая все, что можно было есть. Дальше нас везли почти без остановок. В пути от голода погибло много людей.

Когда нас привезли в Эрфурт, то опять сделали дезинфекцию в перевалочном лагере. Там нас держали шесть суток – шел отбор в разные места. Нас, севастопольцев, построили на плацу еще в шесть утра, и мы простояли до позднего вечера без еды и воды. Нас никто не брал. У одного работника мы спросили, почему нас не покупают. Он сказал, что мы, севастопольцы, очень опасные – сопровождающие нас документы были с красной чертой. Вечером к нам подъехало какое-то начальство. Из нас отобрали 36 человек. Нам смотрели уши, глаза и все тело. Затем отвезли на станцию, посадили в вагон и везли всю ночь. Потом привезли в лагерь Нордхаузен. Он был на 1200 человек и поделен на мужскую и женскую половины. Туда нас привезли на тракторе с прицепом, высадили, покормили и развели по комнатам.

В половине пятого подняли, вывели во двор. Там уже стояла колонна людей, готовых идти на работы. Фабрика «Шмидт-Кранц» находилась от лагеря в пяти километрах. Там нас определили на рабочие места.

Меня определили на третий этаж в контрольный цех. Проработав три месяца, я освоилась и стала допускать брак умышленно, за что меня перевели на первый этаж в механический

цех на сверлильный станок. Работать, подставляя деталь вслепую, было очень страшно, и деталь летела в одну сторону, а сверло, ломаясь, в другую. За это меня били резиновой дубинкой. Одна немка, работавшая рядом, не выдержала этого и договорилась с мастером обучать меня – этим она спасла мне жизнь. Затем меня перевели на фрезерный станок. Из 35 ящиков нормы я делала всего 15–20. Они были очень тяжелые, а так как кормили нас вареной брюквой и подгнившей капустой, то сил у меня выполнить норму не было. Моя фамилия и имена двух моих подруг были написаны большими буквами на немецкой штрафной доске.

Так мы прожили два года и восемь месяцев. Сначала полтора года нас на фабрику сопровождали автоматчики с собаками. Затем, когда вместо военных нас стали сопровождать гражданские, мы, осмелев, начинали орать наши советские песни, и слово «Москва» немцы хорошо понимали. В ход шли дубинки, крайних лупили, а в середине орали еще громче. Жители стали жаловаться. Охрану сняли. Мы стали ходить сами, а куда сбежишь?

В апреле 1945 года нас освободили американцы. Они собрали в соседнем концлагере «Дора» 29 тысяч человек разных национальностей. Так мы прожили 2,5 месяца. В лагере было спокойно, вечерами играли оркестры – у каждой группы свой, и еще были танцы. Затем нас передали советскому командованию. Когда вербовщики предлагали поехать в Америку, я решила, что поеду только домой, в родной Севастополь.

Мама в 27 лет осталась одна с тремя детьми
Чуянова (Повелко) Тамара Григорьевна, 04.06.1935

Я помню, как громко выли сирены, помню стрельбу. По небу бегали прожектора. Люди склеивали стекла бумагой крест-накрест, гасили свет. Над безымянной горой спускались парашютисты. Их искали по квартирам. Так началась война.

Жителей оповещали о налетах, при бомбежках все бежали в Троицкий тоннель – в нем был лазарет. Недалеко от тоннеля стоял бронепоезд «Железняков», там находилась мастерская. А мама убирала в лазарете.

Перед войной родители купили телочку, она отелилась. К нам приходили моряки с бронепоезда и просили помощи для раненых. Мама отдала им ключи от сарая и сказала: «Зарежьте ее, чтобы немцам не досталась». Ребята потом и нам приносили молоко, но мама отказалась. «Нам не надо, спасайте раненых».

Были сильные налеты. Папа иногда приходил нас проведать и вновь уходил на работу. Маме наказывал: «Береги детей».

В один из дней отец не вернулся. Нашли тело – с него была снята обувь, со спецовки ремень, он был обвит вокруг шеи, якобы папа наложил на себя руки. Мама не поверила этому. Она спрашивала у отца, когда он последний раз приходил домой: «Почему ты не ушел на фронт?» Он ответил, что был оставлен по брони, так как по специальности был подрывником. Видно, у него было задание. А может быть, он отказался взрывать штольню? Так мама в 27 лет осталась одна с тремя детьми.

В тоннеле на нарах спали семьями, двери на ночь закрывали. Мы услышали от взрослых, что нет воды, а где-то есть колодец. И вот мы, дети, решили разведать, где он. Пошли по тоннелю, зашли далеко и обнаружили людей. Они сидели и лежали вдоль стены. Один из этих людей сказал: «Девочка, возвращайтесь к родителям. Дальше не идите». Родителям мы не сказали ничего, потому что нас предупредили, чтобы молчали.

По вечерам приоткрывались двери, и дети вместе с родителями наблюдали, как прожектора ловили самолеты. Перед нами пролетали снаряды, одного мужчину чуть не задело.

Потом в тоннель запустили дымовую завесу, стало темно, спичка не горела, тухла. Началась паника, люди стали уходить через дыру рядом с дверью. Потом и дверь открыли.

В тоннеле были рельсы: мы шли по ним, я шла рядом с мамой, спотыкаясь на рельсах, она несла на руках двоих детей. У нас ничего не осталось, все погорело, жилье уничтожил снаряд. Жить было негде, спали в яме на трубах, потом у знакомых, которые жили в частных домах, в подвале. Мама говорила: «Засыплет, так всех вместе».

Семьи военных эвакуировали. Когда мама подошла к ялику, на который садились люди, ей сказали, что это для семей военных. Потом стали эвакуировать и гражданских. Погрузили на баржу, повезли на Фиолент, но там было много людей, и баржу вернули. Высадили нас на Северной стороне, а там кто куда. Шли через балку: там сейчас дорога, а раньше стояла арка в виде ворот. Там валялось много книг, некоторые обгорели, некоторые прострелены. Одну из книг я хотела взять, но мама не разрешила.

Когда мы шли по балке, увидели окоп и решили остановиться. Вдруг услышали голос: «Близко не подходить!» Там были наши бойцы. Не успели мы немного пройти, впереди взорвалась мина. Мама закрыла нас своим телом, сверху нас засыпало землей.

К нам подошел рабочий с ГРЭС и попросил, чтобы его спрятали. Тогда мама с соседкой по бараку переодели его в женское: сверху набросили чехол, потом уложили нас, детей, и приказали: если подойдут немцы, делайте вид, что спите. Так спасли дядю Колю. За его голову немцы давали 25 тысяч марок.

Когда мама пришла в себя, мы пошли дальше. По дороге попали в колонну, которую гнали немцы. Люди, шедшие впереди нас, пострадали. Одной женщине оторвало руку. Стояла жара, очень хотелось пить. Один парень решил пойти за водой. По дороге в село Дуванкой (сегодня – Верхнесадовое) мы увидели в саду домик и колодец рядом. Парень пошел к нему, а тут откуда ни возьмись немцы. Они очень сильно его избили плеткой.

Остановились в саду. К нам подошел рабочий с ГРЭС и попросил, чтобы его спрятали. Тогда мама с соседкой по бараку переодели его в женское: сверху набросили чехол, потом уложили нас, детей, и приказали: если подойдут немцы, делайте вид, что спите. Так спасли дядю Колю. За его голову немцы давали 25 тысяч марок. Значит, сильно он насолил немцам, раз они его так разыскивали.

Потом нас погнали в Бахчисарай, пригнали в Ханский дворец, началась регистрация. Мне почему-то поставили маленькую круглую печать, а у мамы никаких документов не было, только наши метрики и папин пропуск с фотографией. Несколько дней

мы находились в Бахчисарае, потом что-то случилось, и некоторых распустили по домам. Перед этим мы – три семьи поселились в доме на горе. Охраны у нас не было. Ночью нас разбудили родители, и мы ушли.

В Бахчисарае маму чуть не арестовали. Я оторвала в туалете дощечку, кто-то донес. И вот маму хотели арестовать, но ее отстояли люди, мол, дети маленькие, ничего не понимают.

А то еще мы что-то наворовали в столовой. Безногий инвалид увидел нас в окно. «Камарад, рус ворует!» – закричал инвалид, а мы бегом. В Бахчисарае есть речка, над ней мост, мы под мост, а немцы проскочили. Тогда мы на гору бегом.

После освобождения Севастополя маму – Повелко Евдокию Трофимовну – с детьми отправили в село Фронтовое Куйбышевского района, так как у нас не было жилья в городе, а во Фронтовом было грэсовское подсобное хозяйство. И мама проработала в нем двадцать пять лет до пенсии. Умерла она в Севастополе в 1971 году.

На мою маму написали донос
Шергина (Пахомова) Людмила Ивановна, 1939 г. р

Родилась в 1939 году в Севастополе. Коренная жительница города в третьем поколении. Ветеран труда, ветеран спорта. Семья до войны, во время нее и после жила на горе Артиллерийской слободки, в домовладении дедушки, приобретенном им еще в 1919 году. Это по улице Наваринская, 31 Б (ныне это улица Частника) в полутораэтажном доме.

Во время обороны Севастополя наша семья не искала убежища в штольнях. «Помрем вместе – в родном доме», – решили взрослые. Дедушка во дворе вырыл яму, которую заливало жидкой грязью из-за перебитого водопровода. На двух нарах, тесно прижавшись друг к другу, еле вмещались четыре женщины с четырьмя малолетними детьми, которые сидели у них на коленях.

Страдали от бомбежки, артобстрела, глохли уши, задыхались от гари. Мучили нас голод и жажда.

С середины марта 1942 года постановили выдавать по 200 граммов муки вместо хлеба на одного иждивенца. Вместо муки нам перепадала только чечевица. Чудом остались живы. Сначала в наш дом с западной стороны попала бомба. В декабре с Северной стороны в него угодил снаряд. Чуть позже – в вырытой яме родился Боречка. При третьем штурме в шестимесячном возрасте Боречка там же в яме и умер.

28 июня 1942 года в наш изуродованный дом снова попал снаряд. Мама на минутку из ямы занесла меня в уцелевшую комнату переодеться. От взрыва рухнула стена, и меня с мамой заживо завалило. Дедушка откопал. Я была тяжело ранена, без сознания, залита кровью. Пробита голова, разорвана до кости правая ягодица. Но выжила – даже без оказания медицинской помощи.

От взрыва рухнула стена, и меня с мамой заживо завалило.

Дедушка откопал. Я была тяжело ранена, без сознания, залита кровью.

В ноябре 1942 года мою маму по доносу предателя немцы угнали в село Терпение под городом Мелитополем, где нас

испытывали на выживаемость вплоть до конца октября 1943 года. При наступлении наших войск нас этапом погнали в неизвестном направлении. На реке Молочной нас догнала линия фронта. Весь бесконечный этап построили у рва в шеренгу по четыре человека. Открыли огонь. Автоматная очередь совсем рядом. Еще чуть-чуть – и нас не будет на свете. На насыпь взлетает очумевший немец. Держась за голову, кричит: «Ганс! Рус!»

Ганс дергается, и автоматная очередь рикошетом бьет мне по ногам. Три пули. Снова залилась кровью, выжила.

Вернулись в освобожденный Севастополь первым же транспортом в мае 1944 года.

Мы были живым щитом
Кириенко-Гудкевич Ираида Ивановна, 1938 г. р

Я родилась 8 июля 1938 года в Севастополе в семье военно-морского летчика Ивана Яковлевича Кириенко. Он служил в командном составе 40-й эскадрильи Качинского полка, который базировался в бухте Матюшенко. В 1944 году мою маму и меня с сестрой Аней угнали на работу в Германию.

Война в Севастополе началась в 3 часа 15 минут, когда фашистские «асы» пытались поставить мины-заграждения, бросая их на город со своих самолетов. Они думали закрыть эскадру в бухте и не дать кораблям выйти в море. Но глубоко ошиблись. В городе и в гарнизоне проходили учения, и фашистские самолеты были встречены прожекторами и артогнем.

Когда немецкие войска подошли к Симферополю (папину эскадрилью в начале войны перебросили под Симферополь, в Сарабуз), папа прислал за мамой машину с двумя краснофлотцами для встречи. Мама попала в самое пекло: передовая, линия фронта, все охвачено пламенем, подходят немцы. Она так испугалась, что она здесь, а дети остались в Севастополе одни. Она плакала и теряла сознание. Командир кричал на отца: «Что за детский сад,

Мама попала в самое пекло: передовая, линия фронта, все охвачено пламенем, подходят немцы. Она так испугалась, что она здесь, а дети остались в Севастополе, одни. Она плакала и теряла сознание. Командир кричал на отца: «Что за детский сад, Кириенко! Отправите жену, и я вас посажу под арест!» Так мама последний раз видела отца.

Кириенко! Отправите жену, и я вас посажу под арест!» Так мама последний раз видела отца.

Ее отправили обратно в Севастополь с двумя краснофлотцами, дали продукты. Фронт раскололся на два лагеря, и 254 дня Севастополь истекал кровью, превращенный в руины и пепел.

В моей детской памяти остались парашюты-мины в фейерверках разрывов, горящий на глазах собственный дом, крещение румынским попом детей с Корабельной стороны. Почему они нас крестили и почему обязательно крестным отцом

должен был быть румынский солдат – не знаю. Еще помню виселицы и болтающихся на веревках людей с дощечками – «Партизан» (как назидание, они висели почти месяц).

Немецкие войска устроили перепись, целую неделю держали людей на площади возле пожарной части без еды и воды…

Помню, мама попала в облаву на базаре, ее арестовали, посадили в тюрьму за саботаж – то есть за то, что она не работала на Германию – и присвоение чужих детей, несмотря на то что я была родным ребенком. Заставили в тюрьме мыть и чистить туалеты, она мыла и плакала. Подошел австриец, переводчик, спросил: «Что? С немецким солдатом спала?» Она отрицательно покачала головой, объяснила – облава, а у нее двое детей, он посоветовал – пусть соседи напишут заявление старосте и сами подпишутся. Два месяца мама провела в тюрьме, в оккупации.

> Помню, мы лазали на свалке, рядом была немецкая часть, комендатура, собирали очистки картошки и сушили их на буржуйке в детском доме.

Мытарства ее не закончились, выйдя из тюрьмы, она заболела брюшным тифом. Забрали в первую горбольницу, а нас с Анной сдали в приют, он был в центре города, недалеко от главпочтамта. Помню, мы лазали на свалке, рядом была немецкая часть, комендатура, собирали очистки картошки и сушили их на буржуйке в детском доме. Ходили завшивевшие, пухлые, с чесоткой на руках. Пошли проведать маму с сестрой Анютой, нас в больницу не пустили, а во второй раз сказали:

«Мама ваша умерла, и вам здесь делать нечего». Но, Бог милостив, и мама осталась жить, а умерла моя крестная тетя Поля.

В оборону Севастополя мама помогала рыть траншеи и окопы, как и все, помогала в госпитале раненым, стирала перевязочный материал, дежурила ночью на крышах. Мы – дети – тоже помогали гасить «зажигалки», а так как я все время была с сестрой, то и я старалась помочь, от сестры ни на шаг не отходя, ведь она была старше меня почти на семь лет.

Приближался 1944 год, 18 апреля русские войска взяли Балаклаву, мы все ждали, что вот-вот придут наши войска, надеялись, что мы их дождемся в Севастополе. Но фашистский режим коварен во всех своих проявлениях. 1 мая 1944 года весь наш район Корабельной стороны от железнодорожного полотна до Малахова кургана оцепили конвоиры, дали 20 минут на сборы и погнали в завод Орджоникидзе, там построили, рассортировали, пересчитали и загнали в трюмы военных кораблей румынской эскадры. Вышли в море. Шторм 9 баллов,

корабли вернулись, отпустили матерей сбегать за документами и едой.

> Из города уходила военная эскадра с оружием и техникой, а нас увозили как рабов и щит прикрытия. Женщин выгоняли на палубу и заставляли держать детей перед пикирующими самолетами под дулами автоматов врага. Когда самолеты приближались, то мама падала и прикрывала своим телом меня и Анюту.

Мама побежала, хотя она очень боялась, что детей увезут без нее. Видела, как румыны тащили подушки и перины, вероятно для защиты от пуль. В памяти остались слова: «Мамка, курка, яйко есть?» По-моему, их интересовало в войне только это. Фашистские корабли 2 мая вышли в море, нас обстреливали русские самолеты. Из города уходила военная эскадра с оружием и техникой, а нас увозили как рабов и щит прикрытия. Женщин выгоняли на палубу и заставляли держать детей перед пикирующими самолетами под дулами автоматов врага. Когда самолеты приближались, то мама падала и прикрывала своим телом меня и Анюту.

Из двадцати двух кораблей до города Констанца (Румыния) дошли восемь, остальные пошли на дно вместе с людьми и войсками. Потом эшелоны-«телятники» везли нас в Германию. В Германии мы прошли через четыре лагеря: «Гамбург», «Нойн Марка», филиал «Дахау», лагерь-завод «Messerschmitt». Я и сестра были с мамой до конца войны в одном бараке. Мама работала на фрезерном станке в цехе фирмы «Лес». Начальника цеха звали Шмидт. Однажды мама сделала брак детали, мастер бил ее резиновой палкой, она потеряла сознание и упала головой в станок. Ее забрали в гестапо концентрационного лагеря в городе Регенсбурге. Когда она пришла в себя, стали больную водить на допрос. От расстрела спас начальник фирмы «Лес» – сам Шмидт. Не знаю, возможно, он чувствовал, что скоро придут американцы, или же просто взыграли человеческие чувства – его жена была из русских немцев.

27 апреля 1945 город Регенсбург капитулировал. Немецкие войска сдались американским войскам, передав оружие. Мы еще два месяца были в лагере под американским флагом, приезжало русское командование, мы просили скорей нас отправить домой, затем нас погрузили на большие крытые машины и до Чехословакии, до фильтрационного лагеря в городе Будейовицы нас сопровождали американцы.

> В фильтрационном лагере мы тоже пробыли два-три

месяца, сестра пошла в школу, я пошла с ней. Вела я себя в школе хорошо, и меня оставили учиться вместе с сестрой.

В фильтрационном лагере мы тоже пробыли два-три месяца, сестра пошла в школу, я пошла с ней. Вела я себя в школе хорошо, и меня оставили учиться вместе с сестрой.

К концу 1945 года мы вернулись сначала в Симферополь, затем в Севастополь.

Я, конечно, испытала тяготы войны, но самое большое унижение и непонимание испытала моя мама. Когда она пыталась разыскать отца в Сарабузе, то на нее кричал военный, мол, вы враг и ваш муж тоже. Образование она продолжать не могла, хотя перед войной поступила в судостроительный техникум и училась на 3-м курсе, плавать ее не взяли без объяснений.

Я же получила три высших образования, два диплома с отличием. Восторжествовала справедливость. 35 лет я была ведущим инженером ЦКБ «Черноморец». Сейчас я председатель севастопольского городского Совета ветеранов, журналист России, член Конгресса литераторов. Но до сих пор волнуюсь за будущее наших детей и внуков, сказываются воспоминания о проклятой осаде, оккупации, лагере, катакомбах, подвалах, о том, как была ранена осколком во время падения с ржавой крыши разрушенного дома. Но я боевой духом человек. Мне болеть нельзя!

Иллюстрации к книге



Блокада Ленинграда. Ясельная группа на прогулке у Исаакиевского собора, 1941 г.

Автор: ТАСС



Блокада Ленинграда.
Раненые дети в одном из госпиталей Ленинграда, 1942 г.
Автор: Репродукция Олега Пороховникова / ТАСС



Блокада Ленинграда. Ребенок-дистрофик, 1942 г.
Автор: ТАСС



Местные жители покидают родной дом, 1942 г.
Автор: ТАСС



Мать с детьми покидают родное село, 1942 г.
Автор: Владимир Иванов / ТАСС



На военных дорогах Смоленщины, 1941 г.
Автор: Наум Грановский / ТАСС



Дети во время налета немецкой авиации, 1941 г.
Автор: Борис Ярославцев / ТАСС



На развалинах родного дома. Курская область, село Октябрьское, 1943 г.
Автор: Эммануил Евзерихин / ТАСС



Старая мельница, разрушенная во время Сталинградской битвы

В сентябре—октябре 1942 года в этом здании находился командный пункт стрелковойроты и наблюдательный пункт командира полка, оборонявшего подступы к Волге.

Волгоград, 1972 г.

Автор: Николай Суровцев / ТАСС



Распределение продуктов среди местных жителей, работавших в немецких учреждениях, 1945 г.

Автор: Репродукция Валерия Христофорова / ТАСС



Публичная казнь местных жителей, 1944 г.
Автор: Марк Редькин / ТАСС



Казнь белорусских подпольщиков. Минск, 1941 г.
Автор: ТАСС



Село Ульяново, сожженное немцами. Калужская область, 1943 г.

Автор: Михаил Савин / ТАСС



Медицинский осмотр трудообязанных перед отправкой в Германию, 1942 г.

Автор: Репродукция Валерия Христофорова / ТАСС



Узники концентрационного лагеря. Петрозаводск, 1942 г.
Автор: ТАСС



Узники фашистских концлагерей. Германия, 1945 г.
Автор: ТАСС



Еврейские дети, направляемые в лагерь смерти, 1942 г.
Автор: ТАСС



Дети в концлагере, 1944 г.
Автор: Снимок из французского журнала «Либерасьон» / Репродукция ТАСС



Дети – жертвы гитлеровского концлагеря в Освенциме, 1945 г.

Автор: ТАСС



Дети, замученные в концлагере на территории Югославии, 1941 г.

Автор: ТАСС



Плакат художника Виктора Корецкого «Воин Красной армии, спаси!», 1941 г.

Автор: ТАСС



Два партизана, 1943 г.
Автор: Михаил Трахман / ТАСС



Первая помощь в бою. Воронежский фронт, 1943 г.
Автор: А. Грибовский / ТАСС



Юнга на вахте миноносца «Ташкент». Новороссийск, 1942 г.
Автор: ТАСС



Снайпер Ижорского батальона Георгий Розанов. Ленинградская область, 1942 г.
Автор: ТАСС



17-летний разведчик Саша Капустин. За захват «языка» он был награжден медалью «За отвагу», 1943 г.

Автор: Александр Моклецов / ТАСС



Вечный огонь на территории Кремля в Великом Новгороде, 1971 г.

Автор: В. Шуканов / ТАСС



Советский солдат с чешской девочкой на улице освобожденной Праги, 1945 г.

Автор: ТАСС

notes

Примечания

1

Репрессии против финского и немецкого населения в пригородных районах Ленинграда начались еще в 1930-х годах, а с началом войны все ингерманландцы подлежали обязательной эвакуации в Коми АССР, Архангельскую, Иркутскую, Омскую, Вологодскую и Кировскую области, Красноярский край и т. д.

2

В 1990 году финны-ингерманландцы получили от Финляндии право на репатриацию.

3

Дед Льва Шервуда – известный скульптор Леонид Владимирович Шервуд. Автор памятника адмиралу Макарову в Кронштадте. Возглавлял ленинский план «монументальной пропаганды». Главный реставратор Эрмитажа с 1914 года. Выполнил первый памятник «монументальной пропаганды» – памятник Радищеву. Л. В. Шервуд активно занимался педагогической деятельностью: с 1918 года преподавал в бывшей Академии художеств в Петрограде. В 1933 году выполнил знаменитого «Часового», ставшего каноническим образцом соцреалистической скульптуры. Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.

4

ИТР – инженерно-технический работник, ценный специалист, контролирующий производство на предприятии. В блокадном Ленинграде специалисты категории ИТР получали усиленное питание.

5

Расположенная на Пятой линии Васильевского острова бывшая женская гимназия Эмилии Павловны Шаффе. До Первой мировой войны считалась одной из лучших в Санкт-Петербурге. После революции была объединена с мужской гимназией Карла Мая, преобразована в общеобразовательную школу. К началу войны была школой № 5 города Ленинграда. Именно там весной 1942 года возобновились школьные занятия, о которых расказывает Н. Ф. Соболева.

6

Шервуд Алексей Леонидович – крупный врач-ветеринар (специализация: лошади, затем коровы). Во время 2-й Мировой войны капитан, затем майор Советской армии (служил также военным ветеринаром). После войны работал на различных конных заводах, затем в дер. Лялицы под Ленинградом.

7

Бедарка – диалектное обозначение телеги, тарантайки, колымаги.

8

Ручная мельница.

9

Ныне Невский проспект и улица Восстания.

10

Искаж. Kalte – мороз, холод *(нем.)*.

11

«Отлично» – *укр.*

«Ешьте» – *нем.*

13

Appell – построение с перекличкой *(нем.)*. В концлагере был утренний и вечерний аппель – Morgenappell и Abendappell.

14

От немецкого *der Aufseher* – надсмотрщик, die Aufseherin – надсмотрщица.

15

Вахман – der Wachmann – охранник *(нем.)*.

16

Руиг меш! – Ruhig, Mesch! – Успокоились, сволочи! *(Нем.)*

17

Гефтлинг – der Häftling – арестованный, заключенный *(нем.)*.

18

Ауфштейн! – Aufstehen! – Встать! (*Нем.*)

19

Королев Николай Филиппович – с 1941 по лето 1944-го руководил партизанскими и подпольными действиями в Осиповичском районе Могилёвской области.

20

Сейчас Минский станкостроительный завод имени Октябрьской революции.

21

Зыслов – труднодоступный участок суши среди болот в Любанском районе Минской области. В годы войны – одна из главных баз партизанского движения области. Летом 1942 года на Зысловом острове был сооружен партизанский аэродром, который 22 сентября принял первый самолёт с Большой земли.

Халявы – голенища.

23

Радюшка – самотканое покрывало из грубой льняной пряжи.

24

Споровские болота – большой комплекс низинных болот в пойме реки Ясельды Брестской области.

«Па́рник» – каменка.

Голландия – район Севастополя.

28

Городской топоним. Хрустальная бухта, самый центр Севастополя.